



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

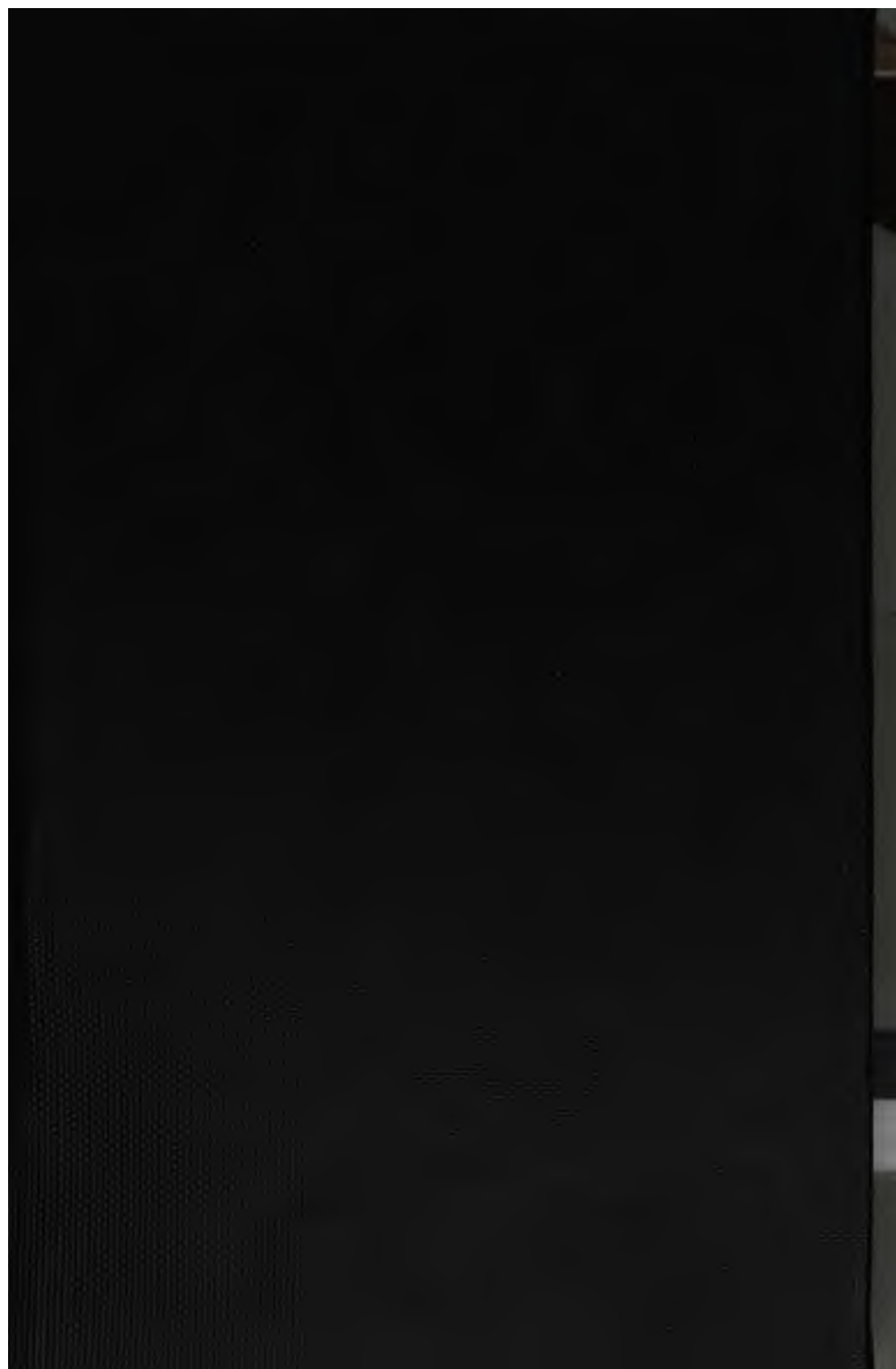
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



4. —————

БИБЛИОТЕКА „СЪВЕРА“



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Д. Л. Мордовцева.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
Д. Л. Мордовцева.

ИДЕАЛИСТЫ И РЕАЛИСТЫ

ИСТОРИЧЕСКІЙ РОМАНЪ
временъ ПЕТРА I-го.

Томъ XXV.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Н. О. Мертца
1902.

Printed in Russia.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 8 декабря 1901 г.

Типографія „В. С. Валашевъ и К^о“. Спб., Фонтанка 95.

Предисловіе къ 3-му изданію.

Считаю необходимымъ, при третьемъ изданіи настоящей книжицы, предпослать нѣсколько словъ, которыя, мнѣ кажется, должны помочь отчасти болѣе ясному уразумѣнію характера главнаго въ романѣ дѣйствующаго лица—„идеалиста“ Левина.

Когда только что вышли въ свѣтъ, первымъ изданіемъ, „Идеалисты и реалисты“, ко мнѣ явился изъ Москвы одинъ господинъ, весьма представительной наружности и, поблагодаривъ за удовольствіе, доставленное ему чтеніемъ моей книги, объявилъ, что онъ—потомокъ Левина. При этомъ онъ объяснилъ мнѣ, что русскіе Левины происходятъ, по какимъ-то сложнымъ генеалогическимъ линіямъ, отъ курляндскихъ владѣтельныхъ особъ, чуть ли не герцоговъ: Левенъ-дрей-Левенъ-фонъ-Левенштейнъ (такъ кажется); что фамильный дворянскій гербъ ихъ—герцогскаго достоинства и что, когда знаменитый временщикъ Биронъ получилъ титулъ герцога Курляндіи, то къ фамильному гербу Левеновъ или Левенштейновъ, который онъ принялъ какъ владѣтельный герцогъ Курляндіи, сдѣлалъ только какія-то добавленія. Въ то же время этотъ потомокъ моего „идеалиста“ объявилъ мнѣ, что съ Левиными онъ ведетъ генеалогическое родство по женской линіи, по матери, которая была урожденная Левина, но что по отцовской линіи онъ—потомокъ Тамерлана.

Это странное сопоставленіе такихъ историческихъ фамилій меня, признаюсь, нѣсколько озадачило; но посѣтитель, котораго имени я не назову, въ доказательство истины своихъ словъ, выложилъ передо мною старинные документы—жало-

ванные или скорѣе „любительныя“ грамоты московскихъ царей до временъ, помнится, Грознаго, а равно и грамоту этого послѣдняго, въ которой къ лицу предка моего посѣтителя московскій царь относился не какъ къ подчиненному, а какъ къ владѣтельной особѣ, которая съ полкомъ изъ своихъ подручныхъ князей и подданныхъ помогала московскимъ царямъ въ войнахъ противъ ихъ недруговъ. Покойный историкъ, С. М. Соловьевъ, которому этотъ потомокъ „идеалиста“ Левина и „реалиста“ Тамерлана показывалъ главную грамоту, призналъ якобы за нею болѣе чѣмъ княжескую или боярскую важность. Посѣтитель, который, какъ оказалось, до тонкостей знаетъ русскую исторію и въ особенности разныя генеалогическія мелочи прошлаго, между прочимъ, объяснилъ мнѣ, что и родъ Годуновыхъ (мурза Четь), какъ и многіе другіе княжескіе роды бывшаго казанскаго царства выведены на Русь его знаменитымъ предкомъ, кажется, Тимурленкъ-Мерлинъ-Ханомъ.

Но не въ этомъ дѣло. Можетъ быть, все это и такъ только къ моимъ „Идеалистамъ и реалистамъ“ оно не относится. Но что говорилъ дальше мой интересный посѣтитель—такъ это уже совсѣмъ относится къ характеристикѣ моего „идеалиста“ Левина, конечно въ силу теоріи Дарвина о преемственности.

Потомокъ Левина и Тамерлана объявилъ мнѣ, что въ числѣ семейныхъ антиковъ у него остался драгоценный камень съ какими-то изображеніями,—камень, который онъ показывалъ въ берлинскомъ музеѣ знатокамъ-археологамъ, и знатоки, якобы, объяснивъ ему, что это камень отъ ханской чалмы, предлагали за него 30 тысячъ талеровъ; но онъ, какъ человѣкъ богатый, продать эту семейную драгоценность не согласился. Прочитавъ же моихъ „Идеалистовъ и реалистовъ“, онъ явился ко мнѣ.—Зачѣмъ? —Вотъ тутъ и выступаетъ на сцену потомокъ „идеалиста“ Левина и „реалиста“ Тамерлана, съ ихъ видовыми историческими рудиментами. Онъ приѣзжалъ ко мнѣ изъ Москвы затѣмъ, чтобы посоветоваться со мной, можетъ ли онъ съ этими документами, которые хранятся у него, ходатайствовать передъ правительствомъ о возвращеніи ему титула предковъ—не „ханскаго“, конечно, и не

„царскаго“, и если уже не титула „высочества“, на который, по его словамъ, онъ имѣетъ право, то по меньшей мѣрѣ титула „свѣтлости“. Я, конечно, ничего не могъ ему посоветовать, сказавъ, что это всего лучше разберетъ законная специалистика по этой части—герольдія, куда онъ и хотѣлъ обратиться, а предварительно послалъ его съ его грамотами къ А. Ф. Бычкову, какъ самому компетентному судѣ въ вопросахъ древности.

Но это еще не все. Потомокъ Левина спрашивалъ моего совета и по другому вопросу, а именно:—можетъ ли онъ ходатайствовать объ отысканіи и возвращеніи ему другой фамильной драгоценности—головы своего предка Левина, головы, которую, какъ онъ узналъ изъ моего романа, палачи доставили въ Пензу въ банкѣ со спиртомъ.—„Да вы дѣйствительно похожи вашими фантазіями на фанатика Левина!“—засмѣялся я ему:—„вѣдь ваше желаніе такъ же странно—отыскать голову казненнаго въ началѣ прошлаго вѣка, какъ если бы кто захотѣлъ отыскать языкъ классической героини Лейаны, который она сама откусила у себя, не желая выдать выпытываемую у нея тайну“.—Но это не убѣдило моего посѣтителя-фантазера. Онъ сказалъ, что, подобно своему предку, попавшему въ банку со спиртомъ, онъ настолько же непреклоненъ въ своихъ рѣшеніяхъ, насколько тотъ былъ непреклоненъ въ своемъ фанатизмѣ. Мало того—онъ сказалъ, что всѣ Левины были нѣсколько эксцентричны и что я вѣрно угадалъ характеръ Левина и совсѣмъ правильно очертилъ его въ своемъ романѣ. Въ доказательство эксцентричности и упрямства всѣхъ Левиныхъ, онъ разсказалъ мнѣ, что одинъ изъ его предковъ, служа, кажется, въ гвардіи, однажды, во время маневровъ при примѣрномъ сраженіи, взявъ въ плѣнъ самого императора Павла Петровича и до того увлекся ролью побѣдителя, что упрямо отказывался, будто бы, отпустить своего плѣнника, чѣмъ и понравился императору, наградившему его разными чинами не въ очередь.

Съ тѣхъ поръ я не видалъ своего современнаго „идеалиста“, хотя онъ очень любезно приглашалъ меня къ себѣ

въ гости, въ Москву, гдѣ у него есть собственный домъ на Тверской и еще нѣсколько имѣній въ провинціи. Но добился ли онъ осуществленія своихъ фантазій—не знаю.

Надѣюсь, что читатель пойметъ изъ вышесказаннаго, въ какомъ смыслѣ я понимаю слово „идеалистъ“ и „реалистъ“ по отношенію къ дѣйствующимъ лицамъ въ предлагаемой здѣсь книжицѣ:—это буквально „идеалисты“, какими и были и Левинъ, и царевичъ Алексѣй Петровичъ, и скитскіе само-сжигатели, и непосѣда Варсонофій. „Человѣкъ идеѣ“—это совсѣмъ другое дѣло:—это не „идеалистъ“, какъ и нынѣшній „дѣлецъ“—далеко не то же, что „человѣкъ дѣла“. Равнымъ образомъ и „реалистъ“—царь Пётръ Алексѣевичъ, его любимцы Данилычъ, Павлуша Ягужинскій и любезнѣйшій Андрей Ивановичъ Ушаковъ—совсѣмъ не наши „реалисты“ въ современномъ значеніи „этого слова“.

I.

Царевичъ Алексѣй Петровичъ въ Кіевѣ.

Весною 1711 года черезъ Кіевъ проѣзжалъ царевичъ Алексѣй Петровичъ, возвращавшійся изъ-за границы, гдѣ онъ, повинуясь указу суроваго родителя, долженъ былъ дать согласіе на бракъ съ Шарлоттою, принцессою вольфенбютельскою.

Горекъ былъ этотъ годъ и для царевича, и для суроваго родителя его, и для всей Россіи. Россія, несмотря на страшное напряженіе всѣхъ своихъ силъ и на громадныя всенародныя жертвы, предшествовавшія несчастному „прутскому походу“, должна была убѣдиться, что жертвы эти напрасны. Петръ, въ первый разъ послѣ нарвскаго пораженія, давно забытаго и стертаго съ народной и его личной памяти полтавскою „викторіею“,—Петръ въ первый разъ почувствовалъ, что и его сердце можетъ нѣтъ болѣю, что и у него есть нервы и слезы, что и его стальная воля можетъ быть растоплена, перекована на наковальнѣ, какую онъ встрѣтилъ на Прутѣ. Робкій царевичъ, передъ которымъ во все время его неохотнаго сидѣнья за границей надъ постылою заморскою фортификаціею и профондметріею носился образъ любимой, насильно отнятой у него дѣвушки, олицетворявшей для него образъ старой, не менѣе дорогой ему Дуся, также отнятой у него въ лицѣ кроткой матери-царицы,—царевичъ долженъ былъ дать слово жениться на немилой „иноземкѣ“ и навѣки „завязать свѣтъ очей своихъ“, забыть своего „друга сердешново Афросиньюшку“.

Это было то горькое время, когда царевичъ, махнувъ рукой на свое личное счастье, тайно отъ отца писалъ своему любимцу, духовнику Якову Игнатьеву, изъ Саксоніи:

„Извѣстную вашей святини: есть здѣсь князь вольфинбительской, живетъ близъ Саксоніи, и у него есть дочь дѣвка, а сродникъ онъ польскому королю, которой и Саксоніею владѣетъ, Августъ, и та дѣвка живетъ здѣсь въ Саксоніи при королевѣ, аки у сродницы, и на той княжнѣ давно уже меня сватали, однако жъ мнѣ отъ батюшки не весьма было открыто—таили; и я ее, ту дѣвку княжну, видѣлъ, и сіе батюшкѣ извѣстно стало, и онъ писалъ ко мнѣ нынѣ—какъ она дѣвка мнѣ показалась, и есть ли моя воля съ нею въ супружество. А я уже извѣстенъ, что батюшка не хочетъ женить меня на русской — скорѣй-де въ гробъ положу, чѣмъ на

россейской тетехъ женю,—но хочеть женить на здѣшной, на иноземкѣ, на какой я хочу. И я писалъ, что когда его воля есть, что мнѣ быть на иноземкѣ женату, и я его воли согласую, чтобъ меня женить на выписанной княжнѣ нѣмкѣ, которую я уже видѣлъ, и мнѣ показалось, что она человекъ добръ, и лучше ея мнѣ здѣсь изъ всѣхъ нѣмецкихъ дѣвокъ не сыскать. Прошу васъ, пожалуй помолись, буде есть воля Божія, чтобъ сіе совершилъ, а буде нѣтъ—чтобъ разрушилъ, понеже мое упованіе въ Немъ, все какъ Онъ хочеть, такъ и творить, и отпиши, какъ твое сердце чуетъ о семъ дѣлѣ“.

А сердце самого царевича чуяло недоброе...

Вѣздъ царевича въ Кіевъ не представлялъ никакой торжественности. Да до того ли тогда было? Казна, а вмѣстѣ съ нею князи и бояре, посадскіе и всякіе „людишки съ женишками, дѣтишками и животишками“ до того обнищали, что у царевича не только не было своего экипажа и корма для лошадей, но и обывательская животиная вся пошла на ратное дѣло. Да и самъ царь не охочъ былъ тратиться на прогоны, коли не было горячаго, дозарѣзнаго дѣла; такъ царевичу о торжественности и думать было нечего. Царя непосѣстнаго Русь узнавала и въ простой телѣгѣ: такъ и сына грознаго батюшки узнавали, въ какой бы онъ ни былъ обстановкѣ.

При всемъ томъ царевича сопровождалъ отрядъ драгунъ. Начальникъ отряда, среднихъ лѣтъ мужчина, въ красивомъ мундирѣ капитана гренадерскаго полка, невольно привлекалъ къ себѣ вниманіе чѣмъ-то особеннымъ, что теплилось въ его глубокомъ, загадочно-задумчивомъ взглядѣ и перебѣгало неуловимыми тѣнями по его блѣдному лицу, болѣе грустному, чѣмъ лицо царевича. И царевичъ дѣйствительно глядѣлъ грустно, устало. Отражалась ли грусть царевича на лицѣ его проводника, или у каждаго изъ нихъ было свое заѣтное горе,—только въ толпѣ зрителей и богомольцевъ, толпившихся у пещерской лавры, когда царевичъ входилъ въ нее не могли не замѣтить чего-то особеннаго на лицѣ царскаго сына и его проводника.

— Охъ, родимущка! какой же онъ съ личушка-то щупленькой да смутненькой, словно бы и у нихъ горе-то бываетъ,—говорила одна богомолка, стоявшая ближе къ драгунамъ, оцѣплявшимъ проходъ въ лавру.

— Ужъ и не говори, матушка: за кѣмъ горе-то не гоняется горемычное,—говорила другая странница съ котомкой:—може дитѣ по матери убивается.

— Какъ не убиваться,—заговорилъ стоявшій съ ними рядомъ сѣдой старикъ, по наружности не-то чернецъ, не-то казакъ:—тамъ у нихъ въ Питерѣ-то не ладно... Последнія времена настали... Царевича-то махонькимъ у матери отняли, а ее-то самое силкомъ во иноческій чинъ произвели... Сына къ матери не пуцаютъ—не легко это.

— Кто же не пуцаетъ, касатикъ?

— Все онъ же.

— Кто, родимущка, не пойму я?

— Самъ, говорю,—черный.

Бабы крестятся.—„Съ нами крестная сила... Святъ, святъ...“

— Три корабля изъ-за моря пригналъ—полнымъ полнехоньки... Пятнать людей будетъ: кто ему поклонится—петать назнаменуетъ на емъ; кто не поклонится—голову долой.

— Владычица, заступи!—въ испугѣ проговорила первая богомолка.

— Кто сей такіъ, дидушка, рубать головы буде—москаль?—спросила молодая чернобровая дѣвушка, съ косою въ оглоблю толщиной и съ полулюбяной разноцвѣтныхъ монистъ на загорѣлой шеѣ.

Старикъ не отвѣчалъ,—не отвѣчалъ, можетъ быть, потому, что въ это время позади толпы раздалось протяжное, тоскливое пѣніе рецитативомъ:

Ой на неби великая сила!

Женивъ батько неволею сына,

Та не хтивъ сынъ та изъ жинкою жити,

Та й пишовъ же винъ по свиту блудити.

У ограды сидѣлъ слѣпой старикъ съ чашечкой на колѣняхъ и пѣлъ эту всегда хватающую русскаго человѣка за сердце пѣсню про „Алексѣя человѣка Божія“. Иныя изъ богомолокъ стояли около пѣвца и плакали. Солнце свѣтило ему прямо въ открытыя слѣпыя очи, а онъ не видѣлъ этого свѣта и какъ бы силился хоть одну свѣтлую точку уловить въ окутывавшемъ его вѣчномъ мракѣ. Рядомъ съ нимъ сидѣлъ семи или восьми-лѣтній мальчикъ съ живыми черными глазенками и пресимпатичнымъ личикомъ.

— Крошечка-то какой—поди сироточка, — говорила баба съ кичкою на головѣ, подавая ему бубликъ:—да, вотъ, родченкѣй, бубличка. Отके-лева вы? а?

— Здалека, тетушка.

— А отецъ-мать есть у тебя?

— Нема. Мати вмерла, а татка на войны вбита.

А слѣпецъ продолжалъ тянуть за душу:

Ой, Олексіечку, та хрищатый барвинку,

Олексіечку единый мій сынку!

Между тѣмъ драгуны, изъ коихъ нѣкоторые спѣшились, вели свой разговоръ, не обращая вниманія на суетню, разноголосое пѣніе нищихъ и смѣшанный говоръ толпы.

— Кабы ежели онъ не зналъ такого слова, не отскочила бъ отъ него швецкая пуля подѣ Полтавой-то,—говорилъ одинъ драгунъ:—самъ я, братецъ ты мой, видѣлъ ее, пулю-то ихнюю.

— Знамо, слово такое есть.

— Ну, а царевичъ вотъ-отъ не въ его пошелъ.

— Не въ его—это вѣрно. А доберь гораздо.

— Доберь, что и говорить... Капитанъ нашъ души въ емъ не чаетъ.

ужь такой, говоритъ, смирена да скромникъ, словно дѣвица красная... Ишь ты, хохоль, штанищи распустилъ—точно онъ въ сарафанѣ.

Замѣчаніе это относилось къ запорожцу, проходившему мимо и видимо гордившемуся своими шароварами, которыя были такой неизмѣримой ширины, что въ каждую штанину, кажется, можно было посадить по шести человѣкъ. Поровнявшись со слѣпымъ кобзаремъ, онъ бросилъ ему горсть мѣдныхъ денегъ.

— Помѣяни, старче Вожій, козака Пивторагоробця, коли вбьютъ,—сказалъ онъ и гордо прошелъ мимо драгунъ.

— Ишь ты, знай, дескать, нашихъ,—замѣтилъ одинъ изъ нихъ. — А лихо молодцы дерутся.

— А Мазепка-то нхній какъ улепетывалъ отъ насъ,—пояснилъ старшій драгунъ.

— Что Мазепка! тотъ отъ старости больше.

Въ это время изъ воротъ лавры вышелъ начальникъ драгунскаго отряда. Лицо его по прежнему было задумчиво, но менѣе грустно. Онъ скомандовалъ „на-конь, ребята, на-конь“!—и всѣ драгуны мигомъ сѣли на лошадей.—„Стройся!“

Говоръ въ толпѣ утихъ, но тѣмъ явственнѣе слышалось стройное, въ два голоса, пѣніе, отличавшееся отъ пѣнія слѣпого кобзыря большею, хотя еще болѣе мрачною мелодіею:

Охъ, какъ и жили грѣшницы на бѣломъ свѣту,
Они ѣли, пили, проклажались,
Тѣлесамъ своимъ грѣшнымъ угаживали,
Грѣхи тяжкіе не замаливали,
Нищимъ убогимъ не даывали...

Это пѣли два высокаго слѣпыхъ старика—„каликъ переходіе“, которыхъ велъ мальчикъ съ длинною палкою въ рукахъ. Палка служила для защиты отъ собакъ и для измѣренія глубины ручьевъ и рѣчекъ, черезъ которые „каликамъ переходжимъ“ часто приходилось переходить въ бродъ. Они шли гуськомъ. Передній изъ нихъ держалъ руку на плечѣ „поводыря“—мальчика, задній—на плечѣ передняго.

— Народу-то, народу, Господи! — шептала первая богомолка, та, что сокрушалась о царевичѣ.

— Народно—что говорить... со всего, вѣдь, російскаго государствія, аки пчелы... потому—чуютъ послѣднихъ временъ приближеніе, —тихо отвѣчалъ старикъ, который говорилъ, что „онъ людей печатать будетъ своею печатью“.

Пѣніе каликъ переходжихъ было покрыто вдругъ церковнымъ пѣніемъ, раздавшимся въ оградѣ лавры. Это братія провожала царевича.

— Идетъ, идетъ! — пронесся говоръ по толпѣ. Калики остановились какъ вкопанные. Капитанъ окинулъ взоромъ своихъ драгунъ, толпу, и вскочилъ на лошадь, которую держалъ подъ уздцы одинъ изъ солдатъ.

Показался царевичъ. На лицѣ была все та же усталость, вдумчивость какая-то, робость.

Вдругъ неизвѣстно откуда выползъ изъ толпы старикъ въ очкахъ, въ подъяческомъ, затасканомъ платьѣ, и на колѣняхъ подползъ къ царевичу, держа обѣими руками на головѣ какую-то бумагу. Царевичъ остановился, почти попятился назадъ.

— Кто ты?—тихо спросилъ царевичъ.

— Ныжайшій и подлѣйшій рабъ вашего царскаго величества, приказу артиллеріи подъячей Микишка Бортневъ.

— Въ чемъ твое челобитье?—спросилъ царевичъ.

— Всемилостивѣйшій, благороднѣйшій, благоутробнѣйшій государь царевичъ, сынъ святыя матери нашей восточныя церкви и сопрестольникъ всея російскія державы, призри благоутробіемъ щедротъ милости своея, ради имени всещедрого милостиваго нашего общаго владыки высокопрестольнаго царя славы, подаждь ми, старцу убогому, милостыню—вели, государь, челобитье мое принять и по оному милость учинить. Государь, смилуйся, пожалуй!

Все это онъ проговорилъ однимъ духомъ, точно выпалилъ изъ своего беззубаго рта; и когда царевичъ взялъ челобитную, подъячій поклонился и поцѣловалъ землю.

— Лобызаю подножіе ногъ твоихъ, — прошамкалъ онъ и снова поползъ въ толпу. Толпа разступилась передъ нимъ, какъ передъ зачумленнымъ. Въ то время, когда существовали застѣнки и пытки, когда одно произнесеніе „слова и дѣла“ увлекало, вмѣстѣ съ произносившимъ его, десятки жертвъ на „дыбы“ и „виски“, а потомъ на висѣлицы, на колеса, на колья,—подача челобитной казалась чѣмъ-то страшнымъ.

Ползущій на колѣняхъ страннаго вида человѣкъ съ бумагой на головѣ, странная, необычайная рѣчь его, цѣлованье земли — все это произвело такое сильное впечатлѣніе на толпу, повѣяло чѣмъ-то до того страшнымъ, словно вотъ-вотъ идетъ что-то невѣдомое, что-то случится, что-то какъ бы ужъ за плечами стоять или выйдетъ изъ земли, изъ пещеръ, что-то невиданное, неожиданное... А тутъ самъ царевичъ, сынъ того великана-царя, который творитъ что-то непостижимое, страшное, за моря невѣдомыя ѣздитъ, по водѣ ходитъ, старину святорусскую гонитъ... а сколько крови—крови—крови... Все это неувимое что-то, что-то безотчетное крыльями повѣяло надъ толпою; толпа застыла...

— Охъ, лишечко! вже й поихали!—раздался вдругъ голосъ въ толпѣ.

Толпа очнулась отъ кошмара. Царевича уже не было.

— Ой, матинко! треба доганять!—продолжалъ звонкій голосъ толсто-жосой съ массою монистъ на шеѣ кievлянки.

Дѣйствительно, кто смогъ, бросился догонять. Вдали виднѣлась пыль, а изъ нея выдѣлялась, въ профиль, поникнутая голова царевича, да статная фигура скакавшаго впереди своего отряда драгунскаго капитана. Толпа хлынула за бѣгущими. У лавры остались только нищіе, слѣпые да старые.

— Се мимо иде — и се не бѣ... Буди благословенно имя Господне, нынѣ и присно и во-вѣки вѣковъ, — произнесъ сѣдой странникъ, говорившій о печатаніи людей, и перекрестился двуперстнымъ крестомъ.

— О-охъ, грѣхи наши тяжки... послѣдніе денечки приходятъ, конецъ свѣтушка, — захныкала первая богомолка; — поди и капустку осенью не успѣемъ собрать, какъ свѣтъ переставится.

II.

Спасеніе утопающей.

Яркое весеннее утро. Невдалекѣ видѣется Кіевъ, расплывшійся по зеленымъ горамъ, полугорьямъ и косогорьямъ, которыя какъ бы играютъ съ зеленью, то прячась въ нее, то выглядывая изъ-за нея на синее небо, на синій Днѣпръ и на синюю даль лѣвобережья. На синевѣ неба отчетливо вырѣзываются куполы, главы и золотые кресты церквей. Видно даже, какъ надъ колокольнями кружатся голуби, всполошенные звономъ колоколовъ.

Голубая масса воды, называемая Днѣпромъ, тихо, словно бы апатично, катится куда-то вдаль къ теплomu югу, катится годы, столѣтія, какъ катилась она даже тогда, когда на мѣстѣ Кіева ничего еще не было, какъ катилась и тогда, когда въ нее глядѣлся Перунище-идолище съ своими металлическими усами, какъ и тогда, когда въ нее сбросили это отжившее идолѣще, и тогда, когда по ней плыли посланн къ Ольгѣ „старіи мужи“ древлянскіе... Святославъ чубатый, Олегъ вѣщій, Несторъ, разбавлявшій свои лѣтописательскія чернила водою этого Днѣпра, а тамъ и казаки, гетманы, батьки отаманы, и голота, и Палій, и Богданъ, и Мазепа, и москаль — все это носила на себѣ эта голубая масса воды и ничего не оставила ни себѣ, ни людямъ на память.

— А я что послѣ себя оставлю, чѣмъ бы имя мое вспоминалось послѣ смерти вотъ этого капитанскаго тѣла? Гренадерскій мундиръ, который останется на сѣденіе моли, когда меня положить въ гробъ въ мундирѣ страшнаго суда — въ саванѣ?... Что ты скачешь на меня, пестъ — давно не видалъ что-ль? Цыцъ, постылый!

Такъ говорилъ самъ съ собою и съ своей собакой знакомый уже намъ гренадерскій капитанъ, который сопровождалъ царевича Алексѣя Петровича въ проѣздъ его черезъ Кіевъ.

Онъ шелъ берегомъ Днѣпра, возвращаясь, повидимому, съ ранней охоты. Черезъ плечо у него перекинуто было ружье тогдашняго неуклюжаго образца, а изъ охотничьей плетеной сумки торчали куличьи носы и ноги. Лицо его было спокойно, не грустно, хотя отражало на себѣ внутреннюю работу мысли и тихую раздумчивость.

Да, дѣйствительно, мысль его вся разбрелась, разбилась въ образы прошлаго, въ воспоминанья, въ воспроизведеніе пережитыхъ ощущеній. То

этотъ задумчивый Днѣпръ съ кигикающими надъ нимъ чайками, то тихо звонящій колоколами Кіевъ, убравшійся въ зелень, словно голова дѣвухи въ „любистокъ“ и „зори“—заслоняли передъ нимъ прошлое, то это прошлое съ его воспоминаніями заслоняло Днѣпръ и Кіевъ, и мысль жила за десятки лѣтъ назадъ, тамъ, тамъ, далеко къ востоку, почти у Волги, за Пензой.

„Вася! Вася! грачи прилетѣли“, — слышится ему веселый, звенящій голосъ старшаго брата Гараси.

И невыразимой мелодіей отдается гдѣ-то въ сердцѣ и въ нервахъ неистовый крикъ грачей, которые на черныхъ своихъ крыльяхъ принесли откуда-то весну съ ея журчащими ручьями, звенящими въ небѣ жаворонками и квакающими въ пруду лягушками, квакающими такъ весело, какъ потомъ онѣ уже всю жизнь не квакали.

— Вася! слышишь, какъ кричить потатуйка? У нея тамъ, подъ рощею, гнѣздо въ старомъ пнѣ, и дѣти ужъ вывелись—я видѣлъ, — снова какъ бы надъ Днѣпромъ проносится голосъ Гараси.

Братъа бѣгутъ къ старому пню, а за ними съ неистовою радостью несется и жучка-собака, которой тоже хочется посмотреть гнѣздо потатуйки. А роща и ложбина стономъ стонутъ отъ птичьихъ голосовъ, отъ всякаго жужжанья, гудѣнья и свисту.

И куда все это дѣвалось? куда отлетѣлъ изъ сердца этотъ рай? куда дѣвались звуки, краски? Даже грачи вылетѣли изъ сердца и унесли съ собою весну.

Откуда-то холодомъ повѣяло на дѣтское сердце Васи. Зима пришла—не та зима, что приноситъ съ собою бѣганье по льду пруда, выслѣживанье по лѣсу, вмѣстѣ съ жучкой, зайцевъ, ловлю красногрудыхъ снѣгирей; нѣтъ, другая зима... Отецъ воротился изъ своего города, изъ Пензы, такой пасмурный. Приходитъ батюшка-священникъ. Тускло горитъ свѣча.

— Послѣднія времена настали,—говоритъ батюшка:—ужъ оклады съ иконъ обдираютъ... святые колокола на пушки переливаютъ...

— Царевну Софью Алексѣевну въ монастырь заточилъ,—говоритъ отецъ.

— Кто заточилъ? за что?—спрашиваетъ себя Вася.

— А на Москвѣ страсти — и не приведи Богъ, — говоритъ снова отецъ: — стрѣльцамъ головы рубить словно кочаны капустные... мертвыя тѣла на колесахъ. а головы на кольяхъ гноить...

— Послѣднія, послѣднія времена,—повторяетъ какъ бы про себя батюшка;—таковой кары Божьей не бывало, какъ и Русь стоять.

И Васѣ страшно становится. Онъ уже начинаетъ кого-то бояться, не любить.

И на деревнѣ мужики говорятъ съ ужасомъ.

„Всѣхъ въ нѣмецкую вѣру повернуть велѣлъ“.

„Бороды всѣмъ брееть, а кто не дается—лучинкой выжигаетъ волосы-то“.

„Сказываютъ, на базарѣ въ Пензѣ: у коихъ стрѣльцовъ головы отрубилъ, велѣлъ у мертвыхъ головъ бороды сбрить“.

Это—первыя историческія свѣдѣнія, запавшія въ впечатлительную голову Васи... А слухи все растутъ и растутъ, и все чудовищнѣе становятся рассказы... Послѣднія времена, антихристъ, ожиданіе, что вотъ-вотъ придутъ клеймить, печатать людей, класть антихристовы знаки... Сны, видѣнія рассказываются... Съ неба упалъ свитокъ, предостерегающій людей отъ грозящей имъ конечной гибели... Колокола ночью плачутъ... Звѣзды хвостатыя и кровавыя по небу ходить... Видѣли кровь на снѣгу... Изъ казанской иконы текли слезы—полну дароносицу натекло...

Изъ Москвы воротились мужики — сказывали: были они на Москвѣ, ходили на площадь смотрѣть, какъ ихъ односельчанъ, двухъ братьевъ Соболяковъ, привязали на кострѣ и сожгли живьемъ... Младшій братъ задыхался въ дыму и все кричалъ: „Православные! не отступайтесь отъ истинной вѣры! умрите, а ее, матушку, не выдайте!.. Истовымъ крестомъ креститесь!“—Такъ и задохся на этомъ.

Прочь, прочь, эти дѣтскія воспоминанія! Ихъ и старику такъ въ пору пережить... Мимо-мимо, горькое прошлое!

Вонъ какъ чайка плачетъ... И вспоминается слышанныя тутъ, въ Кіевѣ, пѣсня:

Киги-киги! злетивши втору,
Прийшлось втопиться у Черному мору...

„Нѣтъ, горько на чужой сторонѣ...—снова думается ему.—Вотъ уже десять лѣтъ я на государевой службѣ — много побродилъ по бѣлу свѣту, многое видѣли глаза мои, многое по сердцу ножемъ прошло... И бояринъ князь Борисъ Алексѣичъ Голицынъ знавалъ меня, и самъ „Данилычъ“ знавалъ меня, и Шереметевъ... А ужъ ни къ кому такъ сердце мое лицомъ не повернулось, какъ къ царевичу... Не красна его жизнь“...

Вдругъ гдѣ-то въ сторонѣ, у Днѣпра или въ самомъ Днѣпрѣ, раздается отчаянный женскій крикъ. Точно льдомъ обдало нашего капитана. Крикъ повторился еще отчаяннѣе,—какой-то рыдающій, умоляющій, смертный крикъ. Собака стремглавъ бросилась къ тому мѣсту, откуда неслись вопли, черезъ заросшія бурьяномъ пригорокъ. Капитанъ за нею.

На берегу, у самой воды, безумно мечется молодая женщина—то она ломаетъ руки и точно къ небу подымаетъ ихъ, желая за что-то ухватиться, то бросается въ воду, плыветъ, ныряетъ, и снова рвется къ берегу съ воплемъ, задыхаясь, захлебываясь. Увидѣвъ человѣка и собаку, она съ ужасомъ присѣла въ водѣ и закрыла лицо руками—она была голая... Но тотчасъ же опомнилась.

— Проби, проби! ратуйте, хто въ Бога вируе!—хрипло закричала она.

— Что, что случилось?

— Панночка, панночка моя втонула...

— Гдѣ? давно?

— Отнуть... оятамъ... заразъ,—говорила она, указывая въ глубь.

Нѣсколько секундъ достаточно было, чтобы на землю полетѣло ружье, сумка, кафтанъ.

Перекрестившись, капитанъ ринулся въ воду и исчезъ въ ней.

Страшныя минуты ожиданія длятся... длятся... о! какъ безпощадно длятся!.. А его нѣтъ—нѣтъ ни его, ни той, что уже погибла, можетъ быть...

Нагая, молоденькая дѣвушка, та, что толкалась въ толпѣ у лавры въ день пріѣзда царевича, то толстокожая съ мовистами дѣвушка—это была она—безумными глазами глядѣла на воду, протянувъ впередъ обѣ руки, какъ бы собираясь броситься туда и утонуть... Громадная, растрепавшаяся, намокшая коса окутала ее всю, словно плащемъ.

А его нѣтъ... ихъ нѣтъ!.. пропалъ и онъ.

Собака завyla жалобно-жалобно и, стремглавъ бросившись въ воду, начала отчаянно кружиться по поверхности и выть.

Но онъ не пропалъ. Онъ вынырнулъ далеко ниже по теченію; но—онъ былъ одинъ.

Собака радостно завизжала и бросилась къ нему. Онъ тяжело дышалъ. Дѣвушка плакала какъ-то тихо, совсѣмъ по-дѣтски и почти беззвучно. Сбросивъ съ себя сапоги, наполненные водой, и разорвавъ воротъ рубахи, который, казалось, душилъ его, капитанъ снова скрылся подъ водой.

Опять секунды—годы ожиданія... разъ... два... три... сердце перестаетъ ждать, перестаетъ биться... Но все же легче страдать, умереть, лопнуть отъ ожиданья, чѣмъ совсѣмъ ужъ не ждать...

Еще дольше — еще страшнѣе... Даже собака не выносить: она еще жалобнѣе начинаетъ выть къ небу, словно молится...

„Се душа панночки“, — безумно представляется чернокозой дѣвушкѣ, потому что чайка, пролетая надъ ней, жалобно выкрикнула.

И вспоминалось ей почему-то, какъ сегодня еще панночка вишни ѣла... Дѣвушка снова заплакала, какъ ребенокъ...

— Ухъ!.. изъ воды вынырнула голова; но это не панночка, это онъ... но онъ что-то тащитъ... ближе, ближе... Это панночка! панночка!

Вотъ онъ подплылъ ближе... становится... приподымается изъ воды... видно бѣлое тѣло, свѣсившіяся руки, а головы не видать... вотъ и лицо; но—оно мертвое...

— Ще живи?—какъ-то шопотомъ спрашиваетъ дѣвушка, словно боясь разбудить утопленницу.

Онъ молчитъ, бережно поднимая тѣло и заглядывая въ лицо трупу. Неужели это ужъ трупъ? Это молодое, прекрасное тѣло — формы точно выточенные изъ слоеной кости, личико полузакрытое мокрыми волосами—неужели это трупъ?

Шатаясь и тяжело дыша, онъ выносить ее на берегъ... Собака съ боязнью смотрѣла на все это...

— Куда нести?—порывисто спрашиваетъ онъ;—гдѣ она жила... гдѣ живеть она?

Тутъ только дѣвушка вспомнила, что она голая... Срамъ... но не до того теперь, не до стыда...

— Скорѣй! куда жъ нести? гдѣ?

— Ось, паночку... онтамъ по-за садомъ...

— Накрой ее сорочкой... юбкой...

И онъ бережно отнял ее отъ себя, вытянулъ руки — она пластомъ лежала на его рукахъ, руки и ноги болтались, голова откинулась назадъ...

Ее накрыли простыней. Онъ нагнулся, чтобы ловче обхватить ее и положить голову къ плечу.

— Не клади, не клади, паночку, на землю! — съ испугомъ закричала дѣвушка.

Онъ ее бережно прижалъ къ себѣ и торопливо понесъ.

Дѣвушка наскоро накинула на себя сорочку, юбку, дрожа и крестясь, и, захвативъ панночкино бѣлье и вещи капитана, бѣгомъ пустилась за нимъ.

Онъ шелъ черезъ пригорокъ, спотыкаясь и едва не падая. Собака слѣдовала молча, поджавъ хвостъ и опустивъ голову. Вонъ изъ-за зелени виднѣется крыша домика, крыльцо... Онъ чувствуетъ... Господи! да чье жъ это тѣло теплое?... ея?... или это онъ согрѣлъ ее своимъ тѣломъ?... „Все-сильный! спаси!“ Да, это ея тѣло теплое... теплое...

„Вася! грачи прилетѣли!“ — послышался вдругъ голосъ... Нѣтъ, это въ вискахъ стучить, это въ сердцѣ стукъ и голоса...

Что это?... У утопленницы вода ртомъ хлынула... Въ тепломъ трупѣ чувствуется трепетанье...

„Вася! Вася! грачи прилетѣли!“ — теперь уже явственно слышится...

Но вдругъ и зелень, и домикъ, и небо, и Кіевъ, и грачи — все исчезло.

Онъ остановился... зашатался... застоналъ... Дѣвушка бросилась къ нему, съ отчаяннымъ усиленіемъ ухватила за свою панночку, вырвала ее...

Когда она опомнилась отъ секунднаго потрясенія — панночка... панночка открыла глаза!

А онъ лежалъ на землѣ, широко раскинувъ руки... Собака лизала ему лицо и тихо выла...

III.

Левинъ и Онсана.

Герой нашъ очнулся въ незнакомой комнатѣ, на низенькой, но мягкой постелькѣ. Оглянувшись, онъ замѣтилъ на себѣ тонкую полотняную сорочку, съ маленькимъ воротомъ, вышитую синими и красными узорами, по малороссійски. Комната была небольшая, но свѣтлая, чистенько прибранная. Передъ образами въ богатыхъ окладахъ теплилась лампадка. По стѣнамъ висѣли ружья, сабли, дробницы, пороховницы, торчали сайгачьи рога. Надъ самой кроватью висѣли двѣ картины, нарисованныя яркими масляными красками. На одной было изображено побоище казаковъ съ татарами. *Для вящаго уразумѣнія мысли и тенденціозности картины, художникъ*

стель благодарнымъ на лѣвой сторонѣ картины, внизу, подписать: „се казаки“, а на правой сторонѣ „а се прокляти татаре“. Общая подпись подъ картиной гласила:

Оттакъ козаки гостей пріймають,
Доброю горѣлкою напувають,
На списи мовъ кобанивъ здіймають,
Гострыми шаблями упень рубають.

На другой картинѣ изображенъ былъ всѣмъ извѣстный запорожець, который сидитъ подъ деревомъ (дерево похоже на пальму, но это—яворъ), пьетъ горилку, играетъ на бандурѣ, а конь привязанный къ воткнутому въ землю „ратищу“ (копье), съ нетерпѣніемъ роетъ копытами землю. Подъ картиной—также всѣмъ извѣстная подпись, поражающая своею неожиданностью: „А чого ты на мене дивишься?“ и т. д. Это историческая картина, цѣлыя столѣтія поражавшая и доселѣ поражающая грамотныхъ украинцевъ. Подходитъ человѣкъ полюбоваться на картину или на портретъ, и вдругъ съ удивленіемъ читаетъ: „А чого ты на мене дивишься?“ Невольно человѣкъ беретъ за бока и хохочетъ.

Улыбнулся и герой нашъ, взглянувъ на картину.

Въ это время дверь комнаты пріотворилась, и изъ-за косяка робко выглянуло прелестное женское личико. Герой нашъ, пораженный этимъ видѣніемъ, невольно приподнялся на локтѣ и перекрестился, словно бы то было ангельское видѣніе. Видѣніе, съ своей стороны, радостно вскрикнуло, перекрестилось и, закрывъ вспыхнувшее краской лицо рукавомъ, исчезло за дверью.

„Вася! грачи прилетѣли! весна пришла“,—слышится въ сердцѣ невѣдомый голосъ, и сердце чувствуетъ, что весна пришла... весной, тепломъ повѣяло къ сердцу... Вспоминается берегъ Днѣпра, страшная, зеленая вода, омутъ, скользкіе, холодные камни подъ водой... звонъ въ ушахъ, точно всѣ киевскіе колокола сошли въ Днѣпръ и звонятъ, звонятъ... Но вотъ нащупывается что-то живое, мягко-упругое...—плечи, волосы, груди... а звонъ все страшнѣе... солнце, свѣтъ, зеленый какой-то, точно вода... И вдругъ,—грачи, весна...

Дверь опять отворилась, и въ комнату съ робкимъ, но радостнымъ лицомъ вошла женщина, уже почти старушка, одѣтая просто, по-украински, но изящно, какъ одѣвались тогда жены казацкой старшины, горожанки.

— Благодареніе Господу, я бачу, що вамъ полегшало,—сказала старушка:—а намъ такъ страшно было за васъ.

И она подошла къ постели.

— Вы спасли отъ смерти нашу дочку—Богъ наградитъ васъ, а мы весь вѣкъ будемъ за васъ молиться, — и она перекрестилась, взглянувъ на образа. — За кого жъ намъ молить Господа Бога? Скажите, будьте ласкови, ваше имя, отечество и званіе?

— Меня зовутъ Васи́ліємъ. Саввинъ сынъ, Левинъ, войскъ его цар-

скаго величества гренадерскаго полка капитанъ, — отвѣчалъ Левинъ (такъ звали нашего героя). Говоря это, онъ приподнялся на постели.

— Лежить, лежить, будьте ласковы, Василій Саввичъ.

Левинъ чувствовалъ слабость; но онъ быстро припомнилъ все, что случилось.

— Не беспокойтесь государыня, я совсѣмъ здоровъ. Но какъ ваша дочка? что съ ней послѣ этого ужаснаго случая? — быстро заговорилъ онъ.

— Слава Богу, слава Богу! Налякала вона насъ — и теперь страшно, якъ згадаю. А Богъ миловать — здоровенька, якъ рыбочка, тилько по васъ дуже убивалась, бідна дитина. „Я, каже, повинна буду въ его смерти“. Дуже плакала, якъ прийшла въ себе, гляючи на васъ. Теперь треба їй порадовати. Оксанко! Оксанко! ходи сюда, дитатко! — громко сказала старушка, обращаясь къ двери.

Видѣніе повторилось. Въ двери опять показалось прелестное личико. Но теперь оно, все пунцовое до кончика ушей, не закрывалось уже рукавомъ. Съ глазами, полными слезъ, дѣвушка подошла къ матери, не смѣя взглянуть на своего спасителя; крупныя, какъ горошинки, слезы не удержались на длинныхъ рѣсницахъ и покатались по щекамъ: то были слезы радости, благодарности и — стыда. Последнее, а отчасти и первое чувство заставило ее броситься на грудь матери и разрыдаться совсѣмъ.

— Годи, годи, дитатко! Ты бачишь — имъ легше — вони слава Богу... Годи жъ, Оксаночко, — говорила мать, глядя по головѣ дѣвушку. — Треба жъ тобі и подяковати Василя Саввича... Не плачъ, не соромся — вони тобі теперь якъ отецъ рідний.

Дѣвушка открыла заплаканное лицо и перенесла свои большіе, сѣрые, какъ шкурка змѣи, глаза на Левина. Левинъ, въ свою очередь, весь по-пунцовѣлъ. Ему казалось, что онъ никогда не видѣлъ такой чарующей красоты, хотя очарованіе это не могло не усиливаться отъ того потрясающаго драматизма, который столкнулъ его съ этой дѣвушкой — гдѣ же? — у порога смерти.

— Я радъ... — началъ было Левинъ, но на этомъ и прекратилась его рѣчь — лексиконъ его истощился.

— Подякуй же, дурна. Чого стопишь? — наставляла мать.

— Дякую, — прошептала дѣвушка.

— Я радъ... — и опять вышелъ весь лексиконъ его.

Въ это время подъ окномъ жалобно завывала собака. Дѣвушка встрепенулась. Большіе глаза ея засвѣтились еще больше.

— Се вона по васъ, — быстросказала она Левину: — такъ убивалась, бідна...

И мигомъ выбѣжала изъ комнаты. Старушка улыбнулась и покачала головой. „Дурна дитина — молода еще“. Черезъ минуту дѣвушка явилась съ собакой. Последняя радостно взвизгнула и бросилась къ Левину, сясь достать до его лица.

— Ну — ну, будетъ, будетъ! Обрадовалась? — сказалъ Левинъ, глядя собаку и отталкивая ее отъ себя.

Лексиконъ его для разговора съ собакой оказался обширнѣе, чѣмъ для разговора съ дѣвушкой. И послѣдняя, въ свою очередь, въ присутствіи собаки стала смотрѣть на Левина смѣлѣй.

— Охъ, аки-жъ мы дурни! — заторопилась старушка: — и подяковати васъ не вмили, а теперъ и не спитаемо — чимъ васъ частувати? Чого бъ, скажить, вамъ принести покушать? У васъ другіи день и крошки во рту не було.

— Благодарю васъ, сударыня, мнѣ ничего не хочется. Я только смѣю спросить васъ, у кого въ домѣ я нашелъ такое гостепріимство? кого я долженъ благодарить за оказанную мнѣ помощь?

— Мій мужъ — сотникъ малороссійскихъ его царскаго величества войскъ Остапъ Петровичъ Хмара. Винъ теперъ съ царемъ у Туречини, на войни. А се наша дочка — Оксенією зовуть. Ого жъ вона и надилала намъ клопотъ, а вамъ ще билитъ, та спасибі Богови — вызволивъ васъ одъ смерти... Та ще жъ се я, дурна, розбалакалась, якъ сорока, а не те щобъ васъ нагодувати та напоити.

Въ то время, когда суетливая старушка топталась на мѣстѣ и тараторила безъ толку, ея „Оксенія“ не оставалась безъ дѣла. Она, повидимому, состояла уже въ большой дружбѣ съ собакой Левина и охотно раздѣляла ея радость: песь минутно скакалъ то къ ней, то къ Левину, старалась поцѣловать или хоть лизнуть своего хозяина или хорошенькую панночку. Послѣдней это очень нравилось, и она весело отбивалась отъ собаки и смѣялась, а Левинъ съ удовольствіемъ смотрѣлъ на дѣвушку и дружески ей улыбался.

— Отъ дурна дитина! — опять затараторила старушка, глядя на дочь: — чи давно жъ таки ще Богъ та добрый человекъ спасли одъ смерти, а воно вже и забуло, дурне, — съ собакою грається... А вже й не маленька — девятнадцате лѣто пишло, якъ пипъ свяченою водою обливъ та Оксенією наименовавъ... Охъ, лищечко! та съ тобою, дурне, я й сама здурела...

И старушка выбѣжала изъ комнаты. Остались только Левинъ, „дурна дитина“, какъ выражалась старушка, и песь. По выходѣ матери, „дурна дитина“ разомъ присмирѣла и хотѣла-было ускользнуть, но Левинъ остановилъ ее.

— А вы, Ксенія Астафьевна, благополучно оправились послѣ того несчастнаго случая? — спросилъ онъ ласково.

— Слава Богу, благополучно, — отвѣтила дѣвушка, защищаясь отъ собаки.

— А очень испугались тогда?

— Я не помню.

— Ермакъ! не трогай панночку. пошелъ! — обратился онъ къ собацѣ, которая совсѣмъ заволомила панночку, на что послѣдняя не особенно претендовала. — А скоро вы пришли въ себя, когда я васъ вынесъ изъ воды? — снова спросилъ онъ.

— Скоро... Якъ вы упали... тутъ я дуже злякалася: я думала вы вмерли.

— А кто эта дѣвушка была съ вами?

— То наша Докійка.

Въ это время дверь растворилась, и сама Докійка влетѣла въ комнату. Она несла поднось, уставленный всякими яствами, питіями и ласочками. Докійка тоже вся побагровѣла, вспомнивъ, въ какомъ костюмѣ она познакомилась въ первый разъ съ этимъ паномъ—одна распущенная коса защищала тогда ея дѣвическую скромность. Теперь эта коса заплетена была жгутомъ и представляла подобіе доброй оглобли, оканчивающейся зеленою и голубою лентами. На крѣпкой шеѣ и высокой груди, выпиравшейся изъ-за шитой сорочки, рассыпано было съ полчетверика всякихъ бусъ и стекляруса, при малѣйшемъ движеніи издававшихъ такой звукъ, словно бы ломовая лошадь встряхивала своею наборною сбруею. Босыя, красныя, хотя соразмѣрныя ноги ступали твердо; короткая юбка-сподница обнаруживала икры невообразимаго въ нашъ щедущій вѣкъ размѣра. Метнувъ своими большущими, черными, какъ шпанская вишня, глазами на пана, она потупила ихъ и снова побагровѣла, когда счастливый Ермакъ хотѣлъ и ее облапить, полагая, что въ этотъ радостный день со всѣми надо цѣловаться. Докійка поставила поднось на столъ и за чѣмъ-то снова побѣжала. За нею хотѣла ускользнуть и сама панночка, но Ермакъ доселѣ не освободившійся отъ телячьего восторга и все еще надѣявшійся лизнуть свою пріятельницу въ самыя губы, зацѣпился лапой за ея монисто.

— Не пускай, не пускай, Ермакъ,—весело сказалъ Левинъ, который, при всей своей слабости, чувствовалъ какой-то приливъ радости и теплоты:— не пускай.

Дѣвушка засмѣялась и точно брызнула изъ своихъ глазъ въ глаза Левина токомъ свѣта.

— Ой! винъ монисто порве,—сказала она, отстраняясь отъ собаки.

Докійка опять вошла своею бойкой походкой, опять метнула на пана черными глазами, звякнула монистами такъ, что Ермакъ бросился сначала къ ней, а потомъ къ подносу съ яствами, и постлала на столъ новую, принесенную ею, скатерть. Вмѣстѣ съ панночкой онѣ стали разставлять на столѣ кушанья и тихо перекидываться словами, относящимися къ дѣлу.

Левину казалось, что онъ дома, въ родной семьѣ. Что-то давнее, дѣтское проснулось въ немъ при видѣ этихъ милыхъ привѣтливыхъ лицъ, и ему хотѣлось встать, обнять всѣхъ, рассказать имъ все, все, что онъ пережилъ, передумалъ, перечувствовалъ. На душѣ у него было легко и свѣтло, какъ въ этой свѣтлой пріютившей его комнатѣ-свѣтлицѣ.

— Какъ же это ты, Докійка, не доглядѣла за панночкой, что она чуть не утонула?—шутя спросилъ онъ.

— Вони не слухали,—отвѣчала Докійка, потупясь:—вони дуже далеко плавали.

— А теперь ужъ вы далеко не будете плавать, Ксенія Астафьевна?—спросилъ онъ самое Ксенію.

— Ни, теперь вже насъ однихъ мама не пустиме...

— Таки й правда—буде вже—докупались трохи не до смерти,—затараторила старушка, переступая через порог и таща какія-то новыя ласощи;—сидить теперь дома, або купайтесь у корыти, якъ утятъ; тутъ не втонете...

— Ну, мамо, яко ты!—возразила Ксенія, ласкаясь къ матери.

— Добре, добре, а все же таки у Днипръ—ни ногою.

— Ну бо, мамцю, мы у бережечка.

— Ни-ни, и не проси... Другой разъ Василій Саввичъ не полizei за тобою, и такъ он-до чого довела чоловіка... Соромъ та й годи! Може ще й не встане...

Ксенія какъ ужаленная бросилась къ Левину, закрыла лицо руками и заплакала. Слезы такъ и закапали сквозь пальцы.

— Ксенія Астафьевна! что съ вами? Ради Бога успокойтесь! Матушка пошутила,—говорилъ встревоженный Левинъ, приподымаясь съ постели.

Дѣвушка продолжала рыдать... „Я—я...“ Рыданья не давали ей выговорить ни слова.

— Господь съ вами! Ксенія Астафьевна! Да успокойтесь, ради Христа!

И Левинъ схватилъ руку дѣвушки.

— Успокойте ее, прошу васъ!—обратился онъ къ матери.

— Ну, годи жъ, годи... — заговорила та, глядя дочь по головѣ.— То-то, дурне,—само наробило добра, та само й плаче... Ну, буде вже—наплакалась.

— Я, мамо... вони... я не хотила... вони не вмрутъ...

И она вновь зарыдала... Все пережитое въ эти дни—и личный испугъ, нравственное и физическое потрясеніе, стыдъ, боязнь за другого, который едва не погибъ, спасая ее, а можетъ быть еще и умереть по ея винѣ,—все, что для другой мѣнѣе крѣпкой натуры могло разрѣшиться горячкой, тяжелою болѣзью,—все это разрѣшилось рыданьями, которыя копились въ молодой груди съ того момента, когда Ксенія, очнувшись на рукахъ своей горничной и собравшись съ мыслями, увидѣла, что ея спаситель лежитъ мертвымъ на землѣ. Теперь, когда мать сказала, что, быть можетъ, „онъ не встанетъ“, молодая энергія лопнула, какъ не въ мѣру согнутая сталь, и въ Ксеніи сказалаь женщина. Она рыдала неудержимо. Встревоженная мать топталась на мѣстѣ, гладила и крестила ее. Даже мужественная Докійка струсила и утирала рукавомъ слезы.

— Пстой, пстой, я заразъ...

И старушка бѣгомъ, словно бы у нея были Докійкины ноги, пустилась куда-то изъ свѣтлицы. Левинъ самъ не выдержалъ—заплакалъ (передрыгавъ этихъ дней и у него разбередила нервы). Онъ потянулся, схватилъ руки Ксеніи и, цѣлуя, обливалъ ихъ слезами...

— Ради Бога... ради Господа всемогущаго,—шепталъ онъ.

Тутъ только опомнилась дѣвушка... Она высвободила свои руки и, глядя въ глаза Левина и сквозь слезы улыбаясь, говорила:

— Я не буду, не буду... не плачьте вы... простить мене!..

— Ось-на! выпій, доню... се свячена вода... заразь полегшає,—суетилась мать, притащившая склянку съ святой водой: — пій, доню, оттагъ, оттагъ...

И она перекрестила дочь. Дѣвушка выпила глотокъ.

— Отъ-бачишь? Разомъ усе прошло отъ святой воды,—увѣренно говорила старушка.

И, дѣйствительно, прошло. „Дурна дитина“ успокоилась. Она, мелькомъ взглянувъ на Левина, вышла изъ свѣтлицы, а за ней вылетѣлъ и Ермакъ, въ полной увѣренности, что ему дадутъ теперь пѣдную миску хлѣба, размоченнаго въ малороссійскомъ борщѣ, вкусъ въ которомъ онъ уже зналъ.

Старушка принялась потчивать своего гостя. Докійка стояла у стола, сложивъ руки на богатырской груди.

— Будьте ласкови, покушайте трошки. Оце печени курчата, оце порося холодне съ хриномъ, оце свижа ковбаска, пампушечки, огирочки... Може выпьете сливянки, медку... Ото яблучка квашени... павидла... покушайте на здоровьячко—вамъ и полегшає.

— Много вамъ благодаренъ, почтеннѣйшая... Я не знаю вашего имени-отчества,—говорилъ Левинъ.

— Олена Даниловна мене зовуть.

— Благодарю васъ, Елена Даниловна, но мнѣ теперь ничего не хочется.

— О! якъ же жъ можно! ни-ни! Хворому треба пидрепы... хочъ курятинки трошки.

Левинъ долженъ былъ повиноваться, и попробовалъ цыпленка.

— Я бы охотно выпилъ чего-нибудь холодненькаго,—сказалъ онъ.

— Медку? кваску?

— Кваску бы.

— Докіє бижи—хутко—напили квасу.

Докія побѣжала. Мониеты ея производили такое звяканье, словно проходилъ взводъ стрѣльцовъ, когда они шли убивать князя Долгорукова, сказавшаго, что послѣ убитой щуки всегда остаются зубы.

— А вы были на войны?—спросила любознательная старушка.

— Какъ же, со шведомъ воевалъ, тоже и въ полтавской викторіи участіе принималъ. За свою службу его царскимъ величествомъ, а особливо свѣтлѣйшимъ княземъ много взысканъ, также и его высочествомъ царевичемъ, коего удостоился сопровождать отъ града Львова, что въ Червонной Руси, до Кіева,—отвѣчалъ Левинъ служебнымъ тономъ.

— Такъ се вы провожали царевича?—съ удивленіемъ спросила старушка.

— Я, Елена Даниловна.

— То-то не даромъ наша служба Докійка казала, що бачила васъ съ царевичемъ у лаври, а потімъ признала васъ, якъ вы вже лежали у насъ хвори. Мы думали, що вона такъ собі меле.

Звяканье монистъ возвѣстило пришествіе Докійки. Она принесла квасъ. Вслѣдъ за нею вошла и Ксенія. Она казалась смущенною.

— Мамо,—сказала она тихо, не гляди на Левина:—прийшли москали,

драгуны, питаются, чи не у насъ ихъ начальникъ, копитанъ Левинъ? Кажуть—пропавъ. Та кажуть, що Ермакъ—его собака. А Ермакъ, якъ побачивъ москаливъ, заразъ до ихъ... такой радый.

— Та такъ же, доно: Левинъ Василій Саввичъ — се жъ вони, ихъ начальникъ, копитанъ... Вияъ же жъ тебе, дурна, и изъ Днипра вызволить.

Дѣвушка при этихъ словахъ взглянула на Левина и остолбенѣла. Краска сбѣжала съ ея лица. Докійка смутилась и покраснѣла. Ей казалось, что у нихъ — самъ царевичъ. Она вспомнила Днѣпръ, воду, себя...

IV.

Признаніе и разлука.

Время шло. Левинъ совсѣмъ поправился, благодаря теплымъ попеченіямъ старушки Хмары, хорошенькой Оксаны и добросердечной, всею душою преданной имъ Докійки, которая была ровесница своей панночкѣ, училась у ней разнымъ молитвамъ, а ей пѣла пѣсни, рассказывала сказки и не чаяла въ ней души. У обѣихъ дѣвушекъ были прекрасные голоса, и, какъ кровныя украинки, онѣ звенѣли ими отъ утра до ночи, особенно когда Левинъ совсѣмъ оправился и дѣвушки замѣтили, что онъ любитъ ихъ пѣніе. А Левинъ дѣйствительно любилъ пѣсню, потому что самъ онъ былъ весь исполненъ самаго страстнаго лиризма. Энтузіастъ по природѣ и лирикъ, онъ, въ силу своего времени и тогдашняго міровоззрѣнія, не могъ никуда направить мощь своего внутренняго лиризма, кромѣ какъ въ религиозную страстность, въ религиозный мистицизмъ. Мысль его, какъ мысль поэта, всегда выливалась въ живые образы, въ мистическія представленія. Оттого еще въ дѣтствѣ и ранней молодости, когда молва о стрѣлцехъ ужасахъ, о кровавыхъ расправахъ Петра съ сторонниками царевны Софьи и старыхъ порядковъ доходила до его родного вотчиннаго села Левина, въ пензенско-саранской глуши, и доходила уже въ легендарной формѣ народнаго и отчасти раскольничьяго творчества, — въ умѣ и въ пылкомъ воображеніи молодого Левина созидались цѣлые образы, и въ концѣ концовъ передъ нимъ выступалъ страшный образъ апокалипсическаго антихриста, съ его соблазнами, направленными на разрушеніе міра, съ его таянственною „печатью“ — погибельнымъ клеймомъ этого всецѣльнаго, человѣконенавистнаго звѣря. Противъ реализма начала XVIII вѣка, реализма, въ фокусѣ котораго стоялъ Петръ I, боролся такой же могущественный и едва ли не болѣе реализма устойчивый идеализмъ, который пріютился въ поклонникахъ старины, въ расколѣ, ушедшемъ въ лѣса, дебри и пустыни и умиравшемъ, — умиравшемъ безстрашно, геройски, на кострахъ, на плахѣ, на колыяхъ и отъ самосожженія, — идеализмъ, который господствовалъ и въ мягкой, поэтической душѣ царевича Алексѣя Петровича, хотѣвшаго лучше отказаться отъ могущественнаго трона всероссійскаго, чѣмъ отъ своего „друга сердешново Афросиньюшки“ и отъ своихъ демо-

кратическихъ симпатій. Къ этому разряду людей, къ идеалистамъ начала XVIII вѣка, принадлежалъ и Левинъ. Только это была едва ли не самая энергическая личность изъ всѣхъ тогдашнихъ противниковъ грубаго, прямолинейнаго, аристократическаго реализма, которому должно было служить все, какъ падишаху, не разсуждая, не чувствуя, даже не понимая его. Въ пензенскомъ захолустѣ выродилась такая странная личность, какъ Левинъ, котораго не прельщали ни карьера, ни власть, ни нажива, ни блескъ; и между тѣмъ все это происходило не отъ природной инерціи духа, а отъ глубокой поэтичности природы, отъ лиризма, который не могъ найти исхода потому только, что Левинъ почерпалъ всю свою школьную мудрость у дьячка своего села, гдѣ отецъ его былъ помѣщикомъ-вотчинникомъ, и высшее образованіе его заключалось въ бесѣдахъ съ левинскимъ попомъ о „сложеніи большого перста съ двумя меньшими“. Окончательную шлифовку характеръ Левина и его симпатіи получили въ средѣ мужиковъ, разсказами которыхъ о своихъ нуждахъ и чаяніяхъ онъ и напоенъ былъ какъ губка. Понятно, что Левинъ не любилъ военной службы, и хоть дошелъ въ 10 лѣтъ до капитана гренадерскаго полка, однако гренадерскій мундиръ не наполнялъ всей души его, какъ онъ наполняетъ души многихъ.

Зато все, гдѣ былъ широкій разгулъ и просторъ для фантазій, — все это любилъ Левинъ. Любилъ онъ и пѣсню.

Вотъ почему, когда хорошенькая, съ своимъ симпатичнымъ контральто, Оксана и звонкоголосая Докійка выходили вечеромъ на берегъ Дѣйпра и, сидя у воды, пѣли глубоко-поэтическія пѣсни своей родины, Левинъ готовъ былъ слушать ихъ пѣніе всю ночь вплоть до зари. Особенно глубоко западала въ его душу мелодія пѣсни:

Туманъ, туманъ по долини,
Широкій листъ на ялини,
А ще ширшій на дубочку,
Понявъ голубъ голубочку—
Та не свою, а чужую...

И когда пѣсня доходила до того мѣста, гдѣ дѣвушка плачетъ о своемъ миломъ, голоса пѣвицъ дѣйствительно выражали этотъ безнадежный плачь, и Левинъ чувствовалъ, что въ его жизни начинается что-то роковое и что не легко ему будетъ оставить этотъ домъ, гдѣ весна просилась въ его душу... И онъ слышалъ въ себѣ эту весну. Тутъ ужъ не одни грачи прилетѣли, а соловьи запѣли въ сердцахъ...

Какъ бы то ни было, но, поправившись совѣмъ, онъ долженъ былъ оставить домъ Хмары.

Разъ вечеромъ, когда дѣвушки сидѣли на берегу Дѣйпра, Левинъ, стоявшій до того времени на крыльцѣ и прислушивавшійся къ словамъ пѣсни—

Пшла бъ лучче я въ черниці съ черною косою
Не терпила бъ я горечка оттакъ молодую—

Левинъ подошелъ къ нимъ и молча сталъ глядѣть на воду, на то мѣсто, гдѣ онъ нашелъ утопавшую тогда Оксану.

— Идѣть до насъ, Василій Саввичъ,—позвала его Оксана. Она уже совсѣмъ привыкла къ нему и не стыдилась его какъ въ первый день.

Левинъ молча подошелъ.

— Сидайте и вы коло насъ,—продолжала дѣвушка.

Онъ сѣлъ рядомъ съ Оксаною.

— Я заслушался сегодня вашихъ пѣсень,—сказалъ онъ:—какую это вы сейчасъ пѣли?

— Про чумака да про молодицу, що задумала съ своею чорною ко-сою въ монастырь итти,—отвѣчала Оксана, которая была на этотъ разъ особенно разговорчива.

— Какой у васъ голосъ славный, Ксенія Астафьевна, — сказалъ Левинъ: — и у Докійки богатый голосъ...

— А чомъ вы намъ не заспѣваете вашон московской пѣсни?—перебила его Оксана. — Я чула, якъ москали спивали — якось — „Не будите мене молоду“—чи що... Таки гарни пѣсни... Заспѣвайте жъ намъ, будьте ласкови.

— Что жъ я вамъ заспѣваю, Ксенія Астафьевна? У меня все невселяя пѣсни.

— Ну, хочъ невеселу.

— Да я давно не пѣлъ, боюсь не сумѣю.

— Ни, ничего—мы послушаемо. А то й мы николи не будемъ вамъ спивать.

— Хорошо... Вотъ развѣ эту, мою любимую.

И онъ запѣлъ извѣстную тогда, разнесенную по всей Россіи опальными стрѣльцами и повизовою вольницею, пѣсню:

Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка,
Не мѣшай мнѣ, добру молодцу, думу думати...

Левинъ пѣлъ хорошо. Какъ идеалистъ того времени, въ сердце котораго далеко западалъ всякій протестующій противъ насилія голосъ, онъ принялъ къ сердцу и эту протестующую, предсмертную пѣсню удалъ-добра молодца, который наканунѣ казни исповѣдывалъ всенародно, въ пѣснѣ, ставшей послѣ него народною и безсмертною,—исповѣдывалъ свою жизнь, свою вину, — и Левинъ пѣлъ страстно, словно бы его самого ожидала завтра казнь.

Дѣвушки слушали внимательно, боясь проронить слово, звукъ, выраженіе голоса. Онѣ такъ и замерли при звукахъ незнакомой имъ пѣсни, которой смыслъ и мелодію онѣ, какъ дѣти поэтической Украйны, чуяли сердцемъ.

— Оттакъ у насъ недавно Кочубея та Искру посикли—головы одрубали,—сказала Оксана задумчиво. — Тато самъ бачивъ, якъ ихъ рубали. За то жъ Богъ и Мазепу покаравъ. А бидна Мотря Кочубевна... Я бачила її, коли вона була вже черникою.

— А Мазепу вы видѣли, Ксенія Астафьевна?—спросилъ Левинъ.

— А якъ же жъ! Вниъ у насъ часто бывалъ, коли живъ тутъ у Кіиви на гетманстві. Я тоди була ще маленька, то було посадовить мене до себѣ на колина та й сміється: „ой-ой, боюсь, каже, боюсь! яки въ тебѣ, каже, очи, Оксанко, велики... Якъ бы, каже, такими очами замисть пультриляли въ мене татары, то пропавъ бы я зовсімъ“. А потімъ уже казали, що вниъ хотивъ узять за себе Мотрю Кочубевичну—а тамъ и самъ пропавъ.

— А въ полтавской баталіи батюшка вашъ принималъ участіе? — спросилъ Левинъ.

— Принимавъ. Я тоди ще въ монастыри вчилась.

— Такъ вы учились въ монастырѣ?

— Чотыри годы вчилась.

— А я панночки ласощи въ монастырѣ носила,—вставила въ разговоръ свое слово Докійка.

— Вотъ какъ! Такъ и ты была черничкою?—шутя спросилъ Левинъ.

— Ни, пане, я такъ ходила.

— Чему же вы тамъ учились, Ксенія Астафьевна? — снова спросилъ Левинъ.

— Божественному писанію... На крылосі спивали... „Трубу“ Лазаря Барановича читали: оце яка бувало въ насъ провиниться, ту заразъ и заставляють читать „Трубу“, а вона заразъ у слезы.

— Отчего же? И что эта за „Труба“ такая?

— Книга така—зовется „Труба“—Лазарь Барановичъ написавъ... И поплакала жъ я надъ сею „Трубою“! така трудна, така товста, що Господи!

Левинъ невольно засмѣялся—такъ ему понравилось это наивное признаніе.

— А вы, вѣрно, большая шалуныя были въ монастырѣ?—спросилъ онъ.

— Я у матушки игуменьи закладку бувало въ „Патерици“ перекладую, а вона й забуде, на якому святому остановилась, та заразъ и каже: „се певно дупоока коза Ксенька Хмара переложила...“ То вже мени й несуть „Трубу“,—а я плакать.

Въ это время на Днѣпрѣ, вдали отъ берега, слышались голоса. Сквозь вечернюю темноту можно было различить, что плыветъ лодка, наполненная людьми. Сидѣвшіе въ лодкѣ говорили по-русски.

— Се москали,—тихо замѣтила Докійка.

Дѣйствительно, слышна была великорусская рѣчь.

— И указалъ онъ, братецъ ты мой, запереть всѣ улицы—„прешпехтивы“ по ихнему, чтобы никто по нимъ, значить, не ходилъ и не ѣздилъ,—говорилъ одинъ голосъ.

— Какъ же такъ? А коли дѣло есть—идти или ѣхать надо: какъ же тутъ быть?

— Поѣзжай въ лодкѣ по Невѣ али по Невкѣ.

— Да какъ же я до Невы-то доберусь? все же надо улицей идти.

— Ни-ни! ни Боже мой! Пророй прежде канаву, да въ лодкѣ и по-

ѣзжай. А коли ты пошелъ либо поѣхалъ по улицѣ—тотчасъ поздри рвать, да въ Сибирь.

— Что ты!

— Вѣрно.

Далѣе словъ не было слышно, а немного погода раздалась пѣсня, доселѣ звучащая по всей русской землѣ: „Внизъ по матушкѣ по Волгѣ“.

Оксана и Докійка слушали эту пѣсню, притаивъ дыханіе. Левинъ тоже сидѣлъ молча, не будучи въ силахъ освободиться отъ тяжелаго впечатлѣнія, произведеннаго на него болтовней солдатъ,—болтовней, которую, однако, повторяла вся тогдашняя, взбудораженная и напуганная петровскою дубинкою, Россія.

Изъ-за сада, за которымъ стоялъ домъ Хмары, слышались окрики: — Докіе? Доко! де ты?

То кричала Одарка, наймичка въ домѣ Хмары, ходившая за панскими коронами, телятами и свиньями и отлично умѣвшая готовить колбасы для самого гетмана Мазепы, до которыхъ покойникъ былъ „вельми ласый“.

— Докійко! де ты, родовая дитина!—повторился окрикъ.

— Ось-де я, бабусю,—отозвалась Докійка и бросилась къ дому.

Левинъ и Оксана остались вдвоемъ. Оба молчали. Первымъ заговорилъ Левинъ.

— Эта пѣсня всегда напоминаетъ мнѣ дѣтство и родную сторону,—сказалъ Левинъ:—я слышалъ ее на Волгѣ, маленькимъ, когда мы съ отцомъ были въ Саратовѣ. Мимо Саратова проѣзжала большая косная лодка, и на ней пѣли эту пѣсню. Сказывали тогда, что то была понизовая вольница. Воевода послалъ команду перехватить лодку, такъ тѣ не дались—изъ ружей палили. Одного казака ранили. А послѣ опять грянули пѣсню—такъ весь Саратовъ сбѣжался на берегъ. Такъ приплась мнѣ по сердцу ихъ пѣсня, что я, маленькимъ, самъ думалъ уйти куда глаза глядятъ, чтобъ потомъ стать атаманомъ, въ родѣ Ермака Тимофѣевича, и идтить въ Ерусалимъ—отбить его у невѣрныхъ. Да такъ на томъ и остался. Взяли меня въ царскую службу, дослужился я до капитана, мыкался по бѣлу свѣту—и опостылѣла мнѣ эта служба. Заскучалъ я. Если бъ мнѣ не думалось послужить послѣ нашему царевичу,—полюбился онъ мнѣ,—такъ я бы давно ушелъ въ монастырь, на Аѳонъ, въ святую землю. Опостылѣла мнѣ Русь, тянетъ куда-то въ страны невѣдомыя. Да я и уйду.

Дѣвушка сидѣла молча, потупивъ голову. При послѣднихъ словахъ Левина она вздрогнула и еще болѣе потупилась.

— Только у васъ, пока я лежалъ больной, я и увидѣлъ свѣтъ божій,—продолжалъ онъ.—Да не надолго и это. А теперь опять пойду горе мыкать по свѣту. Буду вспоминать ваше добро и молиться за васъ. Завтра надо собираться въ путь—указано мнѣ быть въ арміи. Не вспоминайте меня лихомъ, Ксенія Астафьевна...

Что-то какъ бы хрустнуло около него. Онъ взглянулъ на Ксенію. Она стояла, сжимающая руки и ломая пальцы. Бѣлая „хусточка“, которую она держала въ рукахъ, какъ-то странно дрожала.

Левинъ всталъ и нагнулся къ дѣвушкѣ.

— Ксенія Астафьевна, — тихо окликнулъ онъ ее.

Молчаніе; только пальцы на рукахъ дѣвушки хрустнули.

— Ксенія Астафьевна! что съ вами? — съ испугомъ спросилъ Левинъ.

Дѣвушка судорожно рыдала, прижавъ лицомъ къ ладонямъ. Левинъ растерялся. Въ вечерней тишинѣ откуда-то доносились слова пѣсни:

Ой гаю мій, гаю, великій розмаю,

Упустила соколонька, та вже й не піймаю...

А изъ-за Днѣпра, по водѣ, въ гулкомъ воздухѣ несло къ этому берегу треньканье русской балалайки и слышалось, какъ подъ это треньканье солдатикъ отчетливо выговаривалъ:

Ходи изба, ходи печь,

Хозяину негдѣ лечь...

Дѣвушка застонала и рванулась-было уйти.

— Ради Бога! ради Бога! — взмолился Левинъ и старался удержать ее. Дѣвушка дрожала всѣмъ тѣломъ.

— Ксенія... Ксенія Аста...фьевна... Боже мой!.. Что съ вами?

— Вы... вы вже... я...

Голосъ срывался, слова пропадали. Левина жаромъ обдало... „Грачи — проклятые грачи прилетѣли... я упаду...“

— Вы... изъ воды мене... у смерти взяли... — растерянно бормотала Ксенія. Левинъ припалъ губами къ ея рукѣ.

— Я... я не могу... я пропаду... — шепталъ онъ.

Если бы въ это время онъ взглянулъ въ лицо Ксеніи и если бы мракъ не окутывалъ его, то его поразило бы выраженіе этого лица: зрачки глазъ расширились, какъ у безумной, страшная блѣдность покрыла щеки, за минуту до того горѣвшія румянцемъ; во всемъ лицѣ, въ поворотѣ головы, въ складкахъ бровей — разомъ явилось что-то зловѣщее. Она вся какъ бы застыла, превратилась въ камень, въ мраморъ, въ статую. Но это было только одно мгновеніе. Едва Левинъ, самъ не зная, что дѣлаетъ, сталъ гладить ея голову, точно маленькому ребенку, дѣвушка вздрогнула и, обвивъ руками его шею, заговорила задыхающимся голосомъ:

— Охъ, утопи мене... утопи самъ, своими руками... Я не хочу безъ тебя жить... утопи мене... Чомъ ты тоди не втопивъ мене, якъ я потопала? А теперь покидаешь... Утопи жъ, утопи...

Дальше она не могла говорить — нечѣмъ было: губы ея были заняты... Ни о какомъ потопленіи дальше не могло быть и рѣчи, потому что...

— Оксанко! Оксанко! — раздался голосъ матери: — де ты, донько?

Руки дѣвушки разжались. Разжались и его руки... А за Днѣпромъ неутомонный москаль продолжалъ вывертывать:

Ходи изба, ходи печь,

Хозяину негдѣ лечь...

Вотъ такъ-то все въ жизни идетъ вперемежку.

V.

Начало конца.

— Стоимъ мы этакъ, братецъ ты мой, у самово Прута—рѣка такая ту-рецкая, Прутомъ называется... Ужъ и подлинно „прутомъ“ она, окаянная, вышла для нашей армейшки; а такъ плевая, непутящая рѣченка, а поди ты—дала себя знать, подлая... Ну и стоимъ,—не ѣмши, не пимши стоимъ, отъ гладу умираемъ. А онъ, значить, турецкій визирь, съ янычены на-валился на насъ съ трехъ странъ. И откуда нелегкая нанесла эту са-ранчу, и какъ царь со своими енералы въ экую западню попалъ—одияъ Богъ вѣдаетъ. Этакъ, примѣромъ, мы стоимъ, а этакъ онъ, визирь про-клятый, и этакъ онъ: куда ни повернись, вездѣ онъ. И очутились мы, братецъ ты мой, словно рыба въ вершѣ. Какъ тутъ быть? А царь-то съ царницей еще не знаетъ объ этомъ: онъ со своими енералы подаѣтъ стоялъ. Ну, какъ дать знать царю? Мы-то маленько окопались, да за окопами и ждемъ смертушки, словно овцы въ кошарѣ. Отсюда и турецкая рать намъ видна. А чтобы до царскаго отряда дойти, надо чистымъ полемъ прохо-дить: это все равно, отецъ родной, что подъ турецкій прицѣлъ стать. Ну, и выискался, слава Богу, охотничекъ. Ужъ и дьяволъ же его знаетъ, что это за окаянная башка была! Изъ здѣшнихъ, изъ малороссійскихъ полковъ—запорожскій казакъ, черкашенинъ. Стоимъ мы этакимъ спосо-бомъ за окопами, исповѣдуемъ грѣхи свои Господу, какъ вдругъ видимъ: по этому-то чистому полю дьяволъ скачетъ, запорожецъ: шапка на емъ не шапка, кафтанъ—не кафтанъ, штаны—не штаны, а все это, братецъ ты мой, словно на чорта шито, да не ему досталось, а этому черкашенину. И песъ его знаетъ, гдѣ и какъ онъ изъ-за окоповъ выскочилъ, точно изъ земли выросъ.

Разсказчикъ замолчалъ, потому что въ это время изъ сосѣдней ком-наты послышался говоръ. Старческій голосъ, немножко въ носъ и нара-спѣвъ, возвѣщалъ: „Истинно глаголю вамъ—онъ подлинный антихристъ. Внемлите сіе: въ нѣкоемъ монастырѣ, во время пасхи, содѣяся таковое чудное видѣніе: въ ночь пресвѣтлаго христова воскресенія отцы и братія монастыря того въ часовнѣ заутреню пѣли; такожде и матери и сестры вся во своей половинѣ, въ той же часовнѣ, у заутрени стояли; нѣкая же изъ нихъ богобоязливая жена въ болѣзни лежала, не можаше на пѣніи стоять, и въ келіи своей пребывала; вышелъ на переходы посмотрѣть на часовню, и се видѣтъ страшное и ужаса исполненное чудо: видитъ она бѣ-совъ въ образѣ нѣмцевъ и ляховъ, якоже видѣлъ таковыхъ бѣсовъ во образѣ ляховъ преподобный теодосій печерскій; и идутъ тѣ бѣсы къ стѣнѣ часовенной и по стѣнѣ идутъ, яко мыши цѣпляющесе, и быть безчислен-ное множество бѣсовъ, съ яростію на часовню идущихъ; и егда оныя бѣсы приблизились къ дверямъ и окнамъ, и внезапно изыде изъ часовни, изъ

оконъ и изъ дверей, пламень огненный, съ яростію свирѣпо исходящъ и на бѣсовъ нападающъ, пополая ихъ, аки мотыльковъ; и бѣсы аки изумленные съ ужасомъ бѣжали отъ часовни, вопіюще: „пойдемъ во градъ Питеръ, помоллимся господину нашему антихристу—да повелитъ безчисленнѣйшей рати бѣсовской напасти на часовню сію“. И какъ бѣжали бѣсы отъ часовни, и пламень тотъ опять окнами и дверьми въ часовню вошелъ. И по маломъ времени придоша бѣси несмѣтную ратию и, вооружившись своимъ бѣсовскимъ свирѣпствомъ, паки ко оной часовнѣ, ко дверямъ и оконцамъ, аки мошцы малыя устремилися, хотяще въ часовню внити. Пламя же изъ часовни оконцами и дверьми паки свирѣпѣе перваго исходяше и бѣсовъ пожирало. И бѣжаху бѣси съ шумомъ. И въ третій разъ пришли бѣсики аки дождь безчисленны, и съ великою яростію покрыли всю часовню. И паки свирѣпое пламя пожрало оныхъ и разметало, и вси исчезоша, аки дымъ, вопіюще: „антихристе! антихристе! помози намъ!“—таково бысть чудо. Жена та явственно слышала, яко антихристъ во градъ Питеръ царствуетъ“.

Гугнявый голосъ замолчалъ. Слышались только вздохи изъ сосѣдней комнаты.

— Ишь безлѣпцу городить объ антихристѣ,—замѣтилъ рассказчикъ.— Это онъ все сбиваетъ съ толку капитана Левина... Жаль бѣднаго капитана...

— Ну, а ты, дядя, не слушай ихъ,—говорилъ молодой ратникъ старому рассказчику.— Ну, что жъ черкашенинъ-то, запорожецъ, что дальше-то? Выскочилъ онъ, говоришь ты, на чистое мѣсто...

— Вотъ какъ только выскочилъ это онъ на чистоту,—намъ его видно какъ на ладони,—и зачали, братецъ ты мой, въ его турки жаромъ жарить, то-есть, я тебѣ скажу, такъ жарили ружьемъ да стрѣлою въ этого самаго бѣса-запорожца—кажись, цѣлымъ дождемъ въ его сыпанули!.. Мы стоимъ только да крестное знаменіе творимъ: „прими, Господи, душеньку на брани убиеннаго во царствіе твое“. Ну, и чего жъ онъ, окаянная его, прости Богъ, башка бритая, не выдѣлывалъ только! И уму непостижимо, а рассказать—и не спрашивай. Ужъ такіа штуки вывертывалъ, окаянный, и онъ, и лошадь его,—такъ, и лошадь-то не мудреная,—ужъ такіе-то вавилоны творилъ, что и сказать нельзя... Ужъ онъ, братецъ ты мой, кружилъ, кружилъ, вился, вился, какъ ужъ на солнышкѣ—и на эту-то сторону, шельма, перекинется,—кажись, такъ башкой и хлопнется о земь, и на ту сторону, подлецъ, перегнется, подъ самое-то дерево лошади; и припадетъ-то онъ къ лукъ и гривѣ, словно мать родную али любушку обнимаетъ; и откинется-то на сѣдлѣ навзничъ, головой къ самому хвосту,—ну, такъ, кажись, и хряснетъ у разбойника спина; и съ лошадью-то шарахнется въ сторону... То-есть и чортъ его разберетъ, какіе узоры выводитъ онъ, бѣсъ во образѣ человѣка!.. А турки все думать въ его—лопъ, лопъ, лопъ!—и все мимо, все мимо... Вотъ ужъ шельма ѣздить, такая шельма, какихъ я и отроду не видывалъ. На что донскіе казаки люты на

ѣзду—а и тѣмъ далеко до этого бритаго чорта. Ужъ подлинно чортъ! И какая ево черноглазая шельма-мать на свѣтъ породила! Такъ-таки и ускакалъ цѣлехонекъ къ самому царю—только мы и видѣли его.

— Ну, что жъ потомъ было, дядя?

— Да все то же. Ждали смертнаго часу.

— А для чего жъ турки не ударили на васъ?

— Да надо такъ полагать—силу копали, подмоги поджидали, чтобъ заразомъ насъ порѣшить.

— Ты говоришь, запорожецъ скакалъ къ царю съ вѣстями,—продолжалъ спрашивать молодой ратникъ:—такъ зачѣмъ же турки не послали на переемъ своихъ конныхъ?

— А посылали... Кто-жъ тебѣ говорить—не посылали. И съ ихней стороны выскочили двое енычъ. Какъ учали это они полемъ-то гнать за черкашениномъ, такъ изъ Кропотова Гаврилы полка, что окопался поручъ съ нами, ловко попотчивали ихъ свинцомъ—такъ обѣихъ и ссадили съ коней.

— Какъ же вы потомъ выбрались изъ-подъ Прута-то? Баталія была?

— Баталія были раньше, а тутъ насъ хотѣли голыми руками взять, какъ дудаковъ въ гололедицу. Да спасибо матушкѣ-царицѣ, Катеринѣ Алексѣевнѣ,—выручила.

— Какъ?

— Да такъ — красотой своей да умомъ. Какъ ужъ плохо совѣсьмъ пришлось царю, какъ прискакалъ къ ему нашъ запорожецъ съ вѣстями,—что такъ и такъ-де въ вершу-де шука попала, выхода нѣтъ армяушкѣ, и сила турецкая—несмѣтная, окружила со всѣхъ странъ,—такъ, сказываютъ, матушка-царица и пошла прямо къ турецкому визирю, входитъ къ нему въ шатеръ и говоритъ: „читалъ ты, визирь турецкій, святое писаніе?“—„Читалъ“, говоритъ.—„А читалъ ты, какъ Навуходоносоръ-царь напалъ на Ерусалимъ-градъ?“—„Читалъ и это“.—„Помнишь ты, какъ тогда Соломонъ-царь послалъ къ ему Навуходоносору-царю, жену свою прекрасную Соломонію, и какъ Навуходоносоръ царь, пораженный ея красотою, ослѣпъ, а прекрасная Соломонія, взявъ его мечъ, отрубила ему голову и принесла ее къ Соломону на золотомъ блюдѣ? Помнишь, говорить, это?“—„И это помню“,—говоритъ визирь турецкій.—„Такъ теперь, говорить царица, видишь ты, визирь турецкій, мою красоту?“—„Вижу“, говорить.—„Такъ знай же, говорить, что и съ тобой будетъ то же, что съ Навуходоносоромъ-царемъ, ежели ты не покоришься русскому царю“. Ну, и говорить—визирь турецкій согласился.

Разговоръ этотъ вели между собою, въ лазаретной избѣ, въ Нѣжинѣ, двое ратныхъ людей—одинъ старый, участвовавшій въ памятномъ прутскомъ походѣ, а другой—молодой солдатъ. Въ сосѣдней комнатѣ лазаретной избы, въ офицерской палатѣ, находился Левинъ, который давно уже числился больнымъ.

Дѣйствительно, съ тѣхъ поръ какъ онъ узналъ, что Оксана Хмара

любить его, по его жизни проѣхало тяжелое колесо и изломало всю его душу. Онъ былъ неузнаваемъ. Что-то зловѣщее свѣтилось въ его глубокихъ, глубоко-запавшихъ глазахъ. Въ четыре года онъ состарился дѣтъ на сорокъ. На лицо его легла мрачная тѣнь, и тѣнь эта, какъ несмыслимый загаръ души, залегла въ каждую складку тонкихъ морщинъ лба, зашла въ очертанія губъ, подъ глазами, темнѣла въ горькой улыбкѣ, въ самомъ блескѣ глазъ, зрачки которыхъ сдѣлались больше, темнѣе, стояче, какъ у мономана-фанатика.

— „Егда придетъ антихристъ и нача свой бѣсовскій градъ Питеръ строити, именуемый „парадизъ“, сирѣчь рай пресвѣтлый, въ поруганіе якобы раю небесному (доносилась гугнявая рѣчь изъ офицерской палаты), и нача со всея російскія земли народъ сгонять на строеніе бѣсовскаго града того, нача землю рыти и самозванные рѣки, сирѣчь каналы, проводить, иже Богъ не повелѣ рѣкамъ быти,—и съ того часу бысть гладъ въ русской землѣ—хлѣбный недородъ и частыя зябелы, нивы престаша соспѣвати, и быша подати и оброки велии, и ратное дѣло непрестанное, мало старцевъ согбенныхъ лѣтами и ссушихъ младенцевъ не брали въ солдаты, и колокола церковные, и иконные оклады, и ризы въ пѣния нача обращати да въ пушки,—и оттого посѣти Богъ російскую державу скудостію велию, и моромъ, и голодомъ, и нѣмцы. И отъ той скудости начаша люди солому ржаную сѣчи и кору древесную толочь на муку, и начаша хлѣбъ соломенные и древесные ясти—точію растворъ ржаной, а замѣсь соломенной и древесной муки. И тѣ соломенные хлѣбы въ кучѣ не держались—помяломъ изъ печи пахали да въ властяжные бураки и коробки клали.—И такова стала скудость хлѣбная, что днемъ обѣдаютъ, а ужинать и не вѣдаютъ что,—многожды и безъ ужина живутъ. Того ради бѣсовскимъ наученіемъ, по антихристову велѣнію, начаша матери куръ и телятъ красти и дѣтей своихъ въ постѣ скромнымъ кормити. И бысть отъ того на русскую землю Божіе попушеніе. Принмъ антихристъ державу—нача всѣхъ мучити бѣсовскими муками: начаша у людей животы пухнуть отъ вхожденія во чрево съ неблагословенною пищею бѣсовъ, и люди кричаху дома и на обѣдѣ, мятежъ велий во всякъ часъ, и о землю бѣются аки оглашенные, и бысть крикъ неподобенъ и ужаса исполненъ—неподобными гласы кричатъ по весемъ и градомъ мужіе и жены, старцы и юницы и малые робятка. И тѣмъ юницамъ и робятомъ начаша бѣси являтися въ нѣмецкомъ образѣ, имѣя браны оголенные и нѣмецкое одѣяніе на себѣ носяще, и приносили имъ ѣству всяку тайно и кормили ихъ, заказывая никому не повѣдати о томъ. И бысть чудо въ выговской святой пустыни на Выгѣ-рѣцѣ. Видѣвше старцы пустыни тоя такое дьявольское на юницъ и робятъ нападеніе, начаша оныхъ дѣвицъ и парней разспрашивать, и приказывали сказывати имъ, старцомъ, когда къ нимъ оныя бѣсы подходятъ и что приносятъ. И иные изъ нихъ, какъ бѣсы къ нимъ невидимо подходили, начали сказывати старцомъ и указывати на тѣхъ бѣсовъ. И бѣсы, гнѣваясь и ярящеся на нихъ, начали на нихъ нападывати и бити ихъ лютей, и

егда кто скажетъ, что бѣсы пришли, наущаютъ-де хлѣбъ и куръ у старцевъ красти,—и тѣхъ бѣсы о землю бросали и вельми били. И начаша святѣи старцы о семъ зѣло скорбѣти, понеже и въ окрестныхъ и въ дальнихъ обителяхъ масло, и куръ, и телятъ, и огурцы солёные, и грибы бѣлые, и рыбу бѣсы воровали и дѣвкамъ на посѣдки носили, и начаша выговскіе и керженскіе и иные пустынножителіи молити всемилостиваго Господа Бога и спаса нашего Ісуса Христа и пречистую его мать, пресвятую владычицу Богородицу, и частые молебны пѣти начали и оныхъ дѣвокъ и парней на молебнахъ подъ евангеліе водить и надъ ними святое евангеліе по многъ часть читати. И запретили отцомъ и матеремъ дѣтей своихъ на посѣдки и на иныя бѣсовскія сборища отпущати. И отъ таковаго бѣсовскаго нападенія бысть на всѣхъ страхъ и ужасъ не малое время. И начаша бѣсовъ крѣпко караулити и пишу отъ нихъ не веляху принимать и ясти. И возгнѣваша на нихъ бѣсы со отцомъ ихъ сатанюю и ярящися глаголаху имъ: „Почто вы на насъ сказываете? Мы вамъ со всѣхъ обителей куръ и телятъ и рыбу сносили да васъ тайно кормили“. И ругалуся имъ.

— Да что онъ съ капитаномъ-то напимъ дѣлаетъ, гугнявый этотъ,—странныкъ что ли онъ,—къ чему онъ подводить?—спросилъ молодой солдатъ стараго, когда въ офицерской палатѣ смолкла монотонная рѣчь.

— Отчитываетъ его... Съ Василей-то Саввичемъ что-то неладное дѣлается: задумываться сталъ.

— Что-то и я вижу. Да съ чего это думать-то онъ началъ?

— Богъ его знаетъ... Допрежъ того капитанъ Левинъ изъ гренадеровъ гренадеръ былъ—кречетомъ смотрѣлъ; а нынѣ—словно черноризецъ.

— Съ глазу, должно.

— Не съ глазу, а отъ мыслей это бываетъ, братецъ ты мой,—говорилъ наставительно старый солдатъ, что былъ въ прутскомъ походѣ: — а мысли-то вонъ эти шатуны пушаютъ... Ишь его нудить!

Въ сосѣдней палатѣ дѣйствительно слышно было, какъ гугнявый продолжалъ нудить надъ Левинымъ:

— Ты вотъ Левинымъ прозываешься, а не левъ ты у Господа, а песъ смердящій. Аще хочешь быти львомъ, подобаетъ ти въ ризы ангельскія облачитися и житіемъ украситися добродѣтельнымъ, отъ грѣховъ и страстей удалитися и отъ грѣхопадныхъ мѣстъ отпадати, покаяніемъ же себѣ очищати и чисто и цѣломудренно жити, блуда бѣгати, скверны плотскихъ удалитися!..

— Да что ты, старикъ, наладилъ — блудъ да блудъ, да скверны плотскія? Мнѣ и безъ того тошно!—послышался протестующій, хотя слабый голосъ Левина.—Вотъ уже четвертый годъ я не гляжу на женщинъ...

— И благо дѣлаешь, сынъ мой... А въ ту пору, какъ ты былъ въ Кіевѣ, въ проѣздъ царевича Алексѣя Петровича,—не бѣсъ ли, въ образѣ дьявыи лѣтшвидныя, соблазнилъ ты?

Левинъ, повидимому, былъ пораженъ словами старика.

— А ты развѣ видѣлъ меня въ Кіевѣ?—спросилъ онъ.

— Кто жъ тебя тогда не видѣлъ?—отвѣчалъ старикъ.

— Ну, и что жъ дальше?

— Дальше ты самъ знаешь: уязвила тя красота женская. А то былъ бѣсъ блудодѣй...

— Врешь ты, старый чортъ! — воскликнулъ съ негодованіемъ Левинъ:—она—чистая голубица; чистою голубицею и осталась.

— Вотъ оно что,—сказалъ молодой солдатъ:—у нашего капитана—зазнобушка.

Въ это время послышался торжественный звонъ церковныхъ колоколовъ. Всѣ изумились и не знали, что это означаетъ. По улицѣ бѣжали люди.

— Что это такое?—испутанно спрашивалъ Левинъ;—ужъ не царь ли наѣхалъ?

— Пропали мы всѣ, пропали, батюшки!.. Святъ-святъ-святъ Господь Саваофъ, исполнь небо и земля славы твоея! — слышался растерянный голосъ странника.

А колокола все громче и громче заливались. Народъ все больше валилъ по улицѣ.

— Охъ, Господи! печерскіе угодники! укройте невидимую пелену свою,—молился старческій голосъ.

— Намъ нечего бояться,—сказалъ старый солдатъ:—мы бывали на свѣтлыхъ царскихъ очахъ.

— Ну, а вотъ я, дядюшка, не видалъ его, такъ страшновато, — говорилъ молодой солдатъ.—Сказываютъ вить, что у него дубинка въ косяю сажень, и коли что не по немъ, не миновать дубинки.

— Что, братецъ ты мой, дубинка? Она, значитъ, для большихъ бояръ; а коли нашъ братъ-солдатъ въ линіи какъ-есть ходить, такъ царь всегда бываетъ милостивъ. Службу знаешь, артикулы воинскіе произошелъ, стоишь прямо, ходишь чортомъ—ну, и все ладно,—резонировалъ старый солдатъ.

— Такъ-то такъ, дядя,—а все боязно...

— Куда жъ ты, старикъ?—снова послышался голосъ Левина.

— Въ пустыню, батюшка, во прекрасную пустыню иду укрыться отъ свѣта сего прелестнаго... А то не ровень часъ—царь увидить; а онъ нашего брата не жалуетъ.

Колокола смолкли. Слышенъ былъ только говоръ на улицѣ.

VI.

Стефанъ Яворскій въ Нѣжинѣ.

Оказалось, что не царя встрѣчалъ Нѣжинъ колокольнымъ звономъ, а бывшаго обывателя своего, котораго нѣжинцы видѣли босоногимъ мальчикомъ... Много лѣтъ прошло съ того времени, когда тотъ, кого теперь

встрѣчали по-царски, бѣгали по нѣжинскимъ улицамъ маленькими босыми ножками.. Много съ той поры пережила Россія—обритая, одѣтая въ нѣмецкое платье, повернутая лицомъ къ западу. Много пережилъ и тотъ, кого теперѣ встрѣчалъ Нѣжинъ церковнымъ почетомъ и колокольнымъ звономъ.

Это былъ Стефанъ Яворскій, митрополитъ рязанскій, блюститель патриаршаго престола въ Россіи.

Яворскій былъ украинецъ по рожденію. Родина его—Нѣжинъ. Отсюда онъ поднялся на самую высокую должность въ государствѣ и постоянно жилъ въ Петербургѣ со времени его основанія. Но высокій санъ, жизнь среди суровой природы сѣвера, нравственный холодъ, которымъ вѣяло отъ царя и отъ всего, что отъ него исходило,—тяготили Яворскаго. Онъ скучалъ по Малороссіи, тосковалъ по своей далекой родинѣ: тамъ прошла его молодость... Онъ просился у царя на покой—чтобы хоть передъ могилкой родной воздухъ отогрѣлъ и успокоилъ его усталую душу; но царь не пускалъ его; такихъ умныхъ, не закорюзлыхъ въ предрассудкахъ старины, какими были великорусскіе невѣжественные духовные дѣятели, такихъ образованныхъ и въ то же время податливыхъ работниковъ въ дѣлѣ церковныхъ реформъ, какими являлись украинскіе духовные, царь очень цѣнилъ и не легко съ ними разставался.

Старые, усталые отъ многочитанья глаза митрополита, глаза, много видѣвшіе на своемъ вѣку, прочитавшіе, съ холодною непоколебимостью государственнаго человѣка, сотни смертныхъ приговоровъ, отъ его же власти исходившихъ, выдавшіе и блескъ, и роскошь, взяткнутыя на колья головы и поверженные на смертныя колеса трупы казненныхъ,—глаза эти свѣтились слезами умиленія, когда Яворскій вѣзжалъ въ родной городъ, гдѣ онъ не зналъ ни власти, ни блеска, ни славы, а былъ счастливѣе, чѣмъ теперѣ, когда извѣдалъ все это.

Вѣзжавъ въ городъ и направляясь прямо къ церкви, митрополитъ замѣтилъ на одномъ огородѣ очень высокое и очень старое дерево, на которомъ чернѣлось воронье гнѣздо и вокругъ него съ крикомъ кружились вороны. При видѣ этого дерева кроткіе, уже потухавшіе отъ старости глаза митрополита блеснули теплымъ огнемъ, и рука его, украшенная дорогими четками, благословила и дерево, и воронье гнѣздо. Сидѣвшій съ нимъ въ одномъ экипажѣ маленькій пѣвчій, любимецъ митрополита, съ удивленіемъ взглянулъ на своего владыку.

— Тебя изумляетъ крестное знаменіе, которымъ я знаменовалъ сіе дерево и гнѣздо ворона?—спросилъ митрополитъ мальчика.

— Да, владыко,—отвѣчалъ тотъ.

— Дерево это дорого мнѣ по воспоминаніямъ дѣтства,—сказалъ блюститель патриаршаго престола.—Когда я былъ отрокомъ, это дерево было такое же высокое почти, какъ и теперѣ; только тогда оно не имѣло сухихъ вѣтвей. И тогда на немъ было это же воронье гнѣздо. Я любилъ лазить на это дерево въ дѣтствѣ моемъ и всегда наблюдалъ, какъ выхо-

стали въ вороньѣмъ гнѣздѣ птенцы, питаемые неустанно трудившеюся матерью. Эта ворона научила и меня труду—и я благословилъ ея гнѣздо... Сколько поколѣній вывелось въ немъ съ тѣхъ поръ, какъ я не видалъ этого дерева!..

Но было и еще одно воспоминаніе молодости, которое, при видѣ стараго дерева, тѣмъ то растапливающимъ прошло по застывшему уже сердцу маститаго блюстителя патриаршаго престола,—воспоминаніе, посѣщавшее его иногда и въ минуты глубокаго раздумья о судьбахъ Россіи, и во время бесѣдъ съ царемъ, и за чтеніемъ житій святыхъ и подносимыхъ ему для прочтенія смертныхъ приговоровъ, воспоминаніе, пробиравшееся къ его сердцу сквозь митрополичье облаченіе, въ алтарь и на амвонъ, въ моментъ благословенія народа или во время поученій паствы, — воспоминаніе, связанное съ старымъ деревомъ запахомъ „любистка“ и женскимъ шопотомъ... „сердце мое... рыбка моя“... Невольно вздрагивалъ въ рукѣ митрополита благословляющій крестъ во время большого торжественнаго выхода, когда это воспоминаніе съ запахомъ „любистка“ налетало на него среди церковнаго пѣнія, въ куреніяхъ еиміама,—воспоминаніе, безъ котораго вся его жизнь казалась бы долгою, холодною, безпросвѣтною ночью... Но объ этомъ воспоминаніи онъ не сказалъ не только своему маленькому пѣвчему, но и никому въ продолженіе всей своей долгой, безрадостной жизни.

Теперь, въ 1715 году, когда знаменитый сподвижникъ Петра, славный проповѣдникъ и блюститель патриаршаго престола, святитель Стефанъ Яворскій невольно вспомнилъ о „любисткѣ“, — онъ пріѣхалъ въ Нѣжинъ, на освященіе вновь построенной въ этомъ городѣ церкви.

И вотъ онъ совершаетъ это освященіе... Ярко блестятъ паникадила, унизанныя горящими свѣчами. Ярко искрятся на митрополитѣ пышныя ризы, отливающія разноцвѣтными огнями драгоцѣнныхъ камней. Воздухъ церкви переполненъ, не въ мѣру насыщенъ ладаномъ. Церковь полна народу. И сѣдые головы стариковъ съ сивыми казацкими усами, и морщинистыя лица старушекъ, и чубатыя головы черномазой молодежи, и яркоглазые головки украинокъ, утыканныя барвинками, васильками и „любистками“,—все это обращено въ ту сторону, гдѣ, поднявъ руки къ разрисованному куполу, молится старый митрополитъ... Жарко молится онъ о благоденствіи своей родины, о страждущихъ, плѣнныхъ... Утомленные легкія едва выносятся, вдыхая въ себя жаркій, пресыщенный всякими запахами воздухъ... но изъ всѣхъ этихъ запаховъ запахъ „любистковъ“ выдѣляется тѣмъ-то особенно ѣдкимъ для сердца, для глазъ—и старымъ глазамъ владыки плакать хочется, закрыться, чтобы хотя „въ тонцѣ снѣ“ еще разъ увидѣть то старое дерево, то воронье гнѣздо, обонять *тотъ* запахъ „любистка“.

И у Левина на душѣ, какъ видно, былъ свой незасыхающій любистокъ... Вонъ онъ, у праваго клироса, худой, блѣдный, стоитъ и плачетъ...

Стефанъ Яворскій видитъ это. По окончаніи службы, онъ высылаетъ изъ алтаря своего маленькаго пѣвчаго—узнать, что это за человѣкъ, который такъ горько плачетъ.

— Велѣлъ владыка спросить тебя, какого ты чина человекъ? — спросилъ маленький пѣвчій.

— Кротова Гаврилы полка капитанъ, Василій Левинъ, — отвѣчалъ тотъ: — и нынѣ оставленъ съ прочими больными въ Нѣжинѣ.

Пѣвчій ушелъ. Черезъ минуту, онъ опять возвращается изъ алтаря и подходитъ къ Левину.

— Велѣлъ тебѣ архіерей побывать у него на квартирѣ, — говоритъ онъ.

Левинъ благодарить и выходитъ изъ церкви. Народъ не расходится. Пчелинымъ роемъ онъ волнуется и жужжитъ около церкви, у паперти, у воротъ, за оградой. Яркіе цвѣта одежды, особенно на женщинахъ, раскраснѣвшіяся лица, головы, украшенныя цвѣтами, шени, унизанныя монистами, косы съ развѣвающимися яркими „стричками“ — все это напоминаетъ Левину Кіевъ, лавру, пріѣздъ царевича, берегъ Днѣпра... Черная головка съ цвѣтами... голосъ, звукъ котораго годы не убиваютъ, страданія не вытравливаютъ изъ нервовъ, изъ сердца... этотъ дорогой голосъ — его не слышно... И вмѣсто него — звуки проклятой пѣсни:

Ходи изба, ходи печь,
Хозяину негдѣ лечь...

Левинъ, вспомнивъ о приглашеніи митрополита и безнадежно опустивъ голову, побрѣлъ домой.

Цѣлыхъ три дня не рѣшался онъ воспользоваться приглашеніемъ. Чѣмъ могъ помочь его горю митрополитъ? Развѣ онъ въ силахъ возвращать міру людей, которые заживо похоронены? Да и понятенъ ли будетъ для него тотъ мрачный міръ, въ которомъ блуждаетъ теперь душа Левина?

Но, какъ бы то ни было, черезъ три дня онъ пошелъ къ Яворскому. Митрополитъ встрѣтилъ его ласково благословилъ не столько рукою, сколько добрымъ выраженіемъ глазъ, глубоко заглянувшихъ въ душу Левина... Исповѣдальней казалась ему полутемная, съ глядѣвшюю въ окна зеленую, комната, въ которой принялъ его старый архіерей, — только это была не та исповѣдальня, гдѣ каются въ грѣхахъ. Левинъ не чувствовалъ надъ собой тяжести грѣховъ — надъ нимъ тяготѣло что-то иное, ему самому невѣдомое. Одно, что отчетливо и остро сверлило его память, — это чувство утраты чего-то дорогого, незамѣнимаго, невытравливаемого изъ души.

Митрополитъ былъ одинъ. На столѣ лежали крестъ и евангеліе. На маленькомъ окошкѣ, нижняя шибка котораго была поднята, скакалъ воробей, смѣло поклевывая крошки, брошенныя ему рукою стараго архіерея. Въ комнатѣ пахло „любисткомъ“, зеленою котораго былъ обвить крестъ.

— Горе есть у тебя на душѣ, сынъ мой, — почти съ первыхъ словъ замѣтилъ митрополитъ.

— Болѣнь я и душою, и тѣломъ, пресвященнѣйшій владыко, — отвѣчалъ Левинъ.

— Нѣсть болѣзни, ея же бы не уврачевалъ Господь, — замѣтилъ митрополитъ и кротко улыбулся.

Воробей сказалъ уже по столу, боясь приблизиться къ огромной пещерской просфорѣ, лежавшей рядомъ съ евангеліемъ.

— Ты, сынъ мой, похожъ на этого воробья: хочешь вкусить просфоры райской и боишься,—серьезно сказалъ митрополитъ.

Левинъ молчалъ. Поднявъ глаза, онъ увидѣлъ, что митрополитъ съ грустною сосредоточенностью смотритъ на него и какъ бы боится прервать теченіе его мыслей.

— Я не недаромъ призвалъ тебя,—сказалъ, немного помолчавъ, митрополитъ:—кто такъ плачетъ, какъ плакалъ ты въ храмѣ,—у того въ душѣ есть сокровище невидимое. Мои глаза многое видѣли въ этой жизни, сынъ мой,—и я научился отличать одну человѣческую слезу отъ другой. Немногіе такъ плачутъ, какъ ты плакалъ. Не за себя только были эти слезы — онѣ мѣшались, невидимо, съ другими слезами человѣческими. А сихъ послѣднихъ много, о! много, сынъ мой. Ты понимаешь меня?

— Не знаю, владыко.

— Сердце твое пойметъ меня. Повѣдай мнѣ жизнь свою: покажи кости жизни твоея — плоть же и духъ ея я уразумѣю... Давно ты находишься на государственной службѣ?

— Пятнадцатый годъ, владыко.

— Прилежить ли сердце твое къ оной?

Левинъ не отвѣчалъ. Митрополитъ подошелъ къ столу, взялъ евангеліе, раскрылъ его и, подавая Левину, сказалъ: „Прочти это, сынъ мой“.

Глаза Левина упали на текстъ евангелія:—„Да не смущается сердце ваше“,—началь было онъ читать, и не могъ. Слезы подступали клубкомъ къ горлу, къ глазамъ, и онъ заплакалъ.

— Плачь, сынъ мой, — тихо сказалъ старикъ и положилъ руку на голову плачущаго.

Левинъ, схватилъ эту руку, съ плачемъ припалъ къ ней губами.

— Владыко... преосвященнѣйшій... прости меня,—говорилъ онъ, удерживая истерическое рыданье. — Мнѣ легче стало... Я исповѣдую тебѣ жизнь мою...

Онъ остановился, какъ бы собираясь съ силами. Митрополитъ, благословивъ его евангеліемъ, положилъ книгу на столъ.

— Сядь, сынъ мой,—сказалъ онъ.

Въ комнатѣ воцарилось молчаніе. Воробей, наскучивъ бесполезнымъ хожденіемъ около неприступной пещерской просфоры, выскочилъ за окно на сосѣдній бузиновый кустъ и вступилъ въ ожесточенной бой съ другими воробьями, чѣмъ-то его обидѣвшими.

— Не жалею я на этомъ свѣтѣ—только Богъ смерти не посылаетъ, земля меня не принимаетъ,—сказалъ Левинъ, нѣсколько успокоившись;—нѣтъ мнѣ могилы на бѣломъ свѣтѣ; должно быть, дерево, что Господь на гробъ мнѣ ростилъ, черви источили, громомъ разбило... саванъ мой на рубашку врагу моему лютому смерть сама перешла... Да, нѣту мнѣ гроба и савана... Въ утробѣ матери меня кто-то проявлялъ...

— Не говори такъ, сынъ мой,—не гнѣви Бога, — кротно замѣтилъ старикъ.

— Я о себѣ говорю, владыко, о моемъ рожденіи проклятомъ... Родила меня дворянка, и отецъ мой—роду дворянскаго, и я самъ отъ сѣмени дворянскаго—не отъ плоти и похоти хамовой... А вышло мнѣ хамово житье — участь Каина, хоть я и не убивалъ брата своего... Родился я далеко отсюда — за Пензой, подъ городомъ Саранской... Должно быть, мать моя горькимъ молокомъ меня вздойла, горькой полынью поила, на поизни въ зыбкѣ качала, что жизнь мнѣ далась горькая... Помню добрыя очи дьячка Турвона, что грамотѣ меня училъ, крестному знаменію навставлялъ—самъ я закрылъ эти очи добрыя грошами мѣдными, что и въ могилу съ нимъ пошли... На эти гроши я выучился—съ Турвономъ дьячкомъ и наука моя въ могилу пошла... Не посылалъ меня царь за море учиться—Богъ помиловалъ—не изъ такого я знатнаго рода былъ, чтобъ обѣмечиться... А все же какъ стрѣльцовъ всѣхъ перевели, словно таракановъ...

При этихъ словахъ митрополитъ усиленно началъ перебирать четками и такъ загремѣлъ ими, что воробей, снова подбиравшійся къ просфорѣ, съ испугомъ отскочилъ отъ нея, а Левинъ остановился.

— Продолжай, сынъ мой,—спокойно сказалъ митрополитъ, какъ будто сосредоточивая свое вниманіе на воробѣ.

— Такъ вотъ — какъ стрѣлецкую кровь всю извели, понадобилась и дворянская кровь... Взяли и меня... Служилъ я и въ Полуехтова полку и въ гренадерахъ у Кропотова Гаврилы... Много я слышалъ промежъ офицеровъ о томъ, что наверху дѣлается...

Митрополитъ опять зачистилъ четками. Опять у него, кажется, на умѣ воробей.

— Ну, такъ что жъ дальше?—спросилъ онъ.

— Много, много страшнаго въ уши мои вошло, владыко, а назадъ не вышло—на сердце камнемъ упало. И лежить тамъ этотъ камень-то, алатырь камень горючій, что въ сказкахъ сказывается...

Левинъ задумался. Лицо стало еще блѣднѣе — нервныя подергиванья обнаруживали большую внутреннюю тревогу.

— Провожалъ я царевича,—заговорилъ онъ какъ бы про себя, опустивъ голову.

Стефанъ Яворскій весь сосредоточился на воробѣ. — „Царевича...—повторилъ онъ тихо:—гмъ... ахъ ты, воробушекъ, воробушекъ... ну?“

Левинъ взглянулъ на него.

— Ничего, сынъ мой... Я вотъ на Божію птичку смотрю, — сказалъ старикъ.—Ну, что жъ?

— Провожалъ я царевича,—продолжалъ Левинъ, — такой-то онъ замученный да какъ будто притомленный...

— А куда ты его провожалъ?

— Въ Кіевъ, когда онъ ѣхалъ изъ Львова-града... Молился онъ перекрестнымъ угодникамъ и плакалъ... Заплакалъ и я... Должно быть нѣтъ съ

ризы Іоанна Многострадательнаго, когда я молился, попала мнѣ на сердце... Ну и съ тѣхъ поръ не знаю я покою, владыко... Въ землю уходитъ мое сердце, а умирать не умираю...

Онъ замолчалъ. Митрополитъ ждалъ, когда онъ снова начнетъ. Тотъ все молчить.

— Что же еще, сынъ мой?—спросилъ старикъ.

— Ничего... все.

— Ты не былъ женатъ?—спросилъ митрополитъ, немного помолчавъ.

— Нѣтъ, владыко.

— Почему же?

— Я похоронилъ... не я, а другіе похоронили мою невѣсту, когда она еще не умирала.

— Какъ такъ? гдѣ? кто?

— Въ Кіевѣ, послѣ проводовъ царевича, я встрѣтилъ дѣвицу... Я случайно, владыко, спасъ ее отъ смерти—вытащилъ изъ Днѣпра, когда она совсѣмъ уже утонула... Мы полюбили другъ друга. Она изъ хорошаго малороссійскаго роду.

— Чіихъ родителей?—спросилъ митрополитъ.

— Она дочь сотника Евстафія Хмара.

— О, я знаю его: хорошій человѣкъ. Такъ что же вышло?

— Такъ этотъ Евстафій Хмара съ своею сотнею ходилъ съ царемъ въ походъ. Въ прутской кампаніи Хмара показалъ великую храбрость и оказалъ царю личную услугу. Когда визирь съ своими войсками окружилъ при Прутѣ россійскія войска и царю предстояло быть отрѣзаннымъ отъ своей арміи, Хмара вызвался ѣхать къ царю съ вѣстями. Проскакать мимо турецкой позиціи. — а другого исходу не оставалось, — значило идти на вѣрную смерть. Хмара слыветъ лучшимъ наѣздникомъ во всѣхъ малороссійскихъ полкахъ, почитается якобы „характерникомъ“ — вотъ онъ-то проскакалъ мимо турецкой позиціи. Въ него сыпались стрѣлы и пули, а онъ такъ умѣлъ изворачиваться съ лошадыю и укрываться за нею, что въ нее попало нѣсколько стрѣлъ и пуль, а онъ остался цѣлъ, и успѣлъ доскакать до царя на раненой лошади, которая скоро и пала. За это царь и пожаловалъ его царскимъ жалованьемъ, а чтобы еще вѣщшую оказать ему милость, онъ, узнавъ, что у него есть дочь невѣста, общалъ проѣздомъ черезъ Кіевъ, выдать ее замужъ за своего денщика Ивана Орлова. „Надо-де, говоритъ, мѣшать великороссійскую кровь съ малороссійскою, повеже оттого знатные авантюжи для государства произойти могутъ: отъ таковаго-де скрещиванья подобные измѣннику Ивашкѣ Мазепѣ злодѣи въ малороссійскихъ людяхъ всеконечно переведутся“.

Тонкая улыбка пробѣжала по умнымъ глазамъ митрополита, но онъ ничего не сказалъ, а опять занялся воробьемъ.

Левинъ продолжалъ, какъ бы торопясь покончить тяжелую исповѣдь.

— Царскому повелѣнію нельзя не повиноваться. Когда отецъ объявилъ это моей невѣстѣ, она съ горя хотѣла наложить на себя руки. Меня въ

то время въ Кіевѣ не было — я былъ съ своимъ полкомъ въ походѣ... Когда же послѣ воротился въ Кіевъ, чтобы вступить въ бракъ,—невѣста моя уже приняла постриженіе въ ангельскій чинъ... Отъ смерти ее спасла игуменья... А царю доложили, что она раньше дала обѣтъ Богу... Послѣ мнѣ сказывали, что царь велѣлъ перевести ее въ одинъ изъ великороссійскихъ монастырей, куда-то почти къ самому Санктпитебурху, но въ какой—того не вѣдаютъ... Такъ я ее и не видалъ.

Левинъ замолчалъ и какъ-то весь осунулся.

— Да, испытаніе послалъ тебѣ Господь Богъ, — сказалъ старикъ съ чувствомъ.—Но, сынъ мой, надо покориться его святой волѣ.

Глаза Левина блеснули зловѣщимъ огнемъ, но онъ ничего не сказалъ.

— Что же ты намѣренъ дѣлать теперь?—спросилъ митрополитъ.

— Просился, за болѣзнію, въ монастырь... Можетъ тамъ найду свой саванъ, хотя бы и черный — бѣлый украли у меня... Да генералъ Ренне не пускаетъ безъ указу; говорить, что царь-де накрѣпко заказалъ не увольнять изъ военной службы въ монастыри, а велѣлъ-де опредѣлять къ дѣламъ и въ случаѣ болѣзни—для свидѣтельствванія отсылать въ Санктпитебурхъ.

— Такъ просись туда, и когда туда пріѣдешь, то ни къ кому прежде не являйся, а явись ко мнѣ,—сказалъ митрополитъ.

Въ это время въ комнату вошелъ, отстраняя рукою маленькаго пѣвчаго, хотѣвшаго проскользнуть впередъ, новый гость, который, глубоко наклонивъ голову, произнесъ:

— Черниговскій полковникъ Павло Полуботокъ прійшовъ просить благословленія высокопреосвященнѣйшаго владыки...

Левинъ всталъ и ожидалъ приказанія.

— Да будетъ надъ тобой Божіе благословеніе,—сказалъ митрополитъ, благославляя его:—не забудь моихъ словъ.

Затѣмъ тотчасъ же обратился къ Полуботку. Левинъ вышелъ.

VII.

Калины перехоніе.

Стономъ стонетъ Троицкая ярмарочная площадь въ Харьковѣ. Все-возможные крики зазывателей, предлагателей и торговцевъ, которыя точно объ закладъ побились покрыть весь ярмарочный гамъ своими голосами; громкіе вопли и глухіе, но бьющіе въ ухо унисоны нищихъ, ходящихъ, стоящихъ, водимыхъ и возимыхъ по всѣмъ направленіямъ, невообразимый гвалтъ, стоящій надъ цыганскимъ полемъ, на которомъ цыгане устроили ристалище изъ негодныхъ, заѣзженныхъ и всѣми способами искалѣченныхъ лошадей; отчаянная музыка самыхъ негармоническихъ но голосистыхъ, скрипучихъ и визгливыхъ музыкальныхъ инструментовъ; ржанье лошадей, точно одурѣвшихъ отъ цыганскаго экзамена и отчаянно взывающихъ о

спасенія; пискъ, визгъ, смѣхъ и покрывающій все это однообразный гулъ, въ который амальгамировался весь нестройный хаосъ звуковъ,—все это какъ-то особенно приходится по сердцу русскому человѣку, любящему ярмарку, нынѣ вымирающую, любящему окунуться съ головой въ этотъ омутъ звуковъ, потолкаться въ этомъ примитивномъ клубѣ, полюбоваться, какъ вонъ, на солнечномъ припекѣ, донской казакъ, привставъ на сѣдлѣ, съ гикомъ обгоняетъ скачущаго охляпъ цыгана и стегаетъ его нагайкой, а запорожецъ, запродавшій рыбу съ условіемъ, чтобы москаль, вмѣсто могарычу, поставилъ ему „музыки“, съ невозмутимою серьезностью, точно священнодѣйствуя, выбиваетъ гопака въ кругу такихъ же, какъ онъ самъ, серьезныхъ, усатыхъ чумаковъ, привезшихъ на ярмарку соль и спокойно ожидавшихъ покупателей, тогда какъ „музыка“, состоящая изъ двухъ пейсатыхъ жидковъ съ двумя совершенно разноголосыми скрипками, впзжала такъ, какъ сорокъ тысячъ поросятъ визжать не могутъ. А вонъ тамъ, гдѣ особенно людно, сопровождаемые любознательными бабами и дѣтьми и ведомые рябымъ паренкомъ, знакомые уже намъ по Кіеву калики переходятъ гудуть, буквально гудуть, словно шмели, монотонную старокаличью пѣню:

Котора калика заворуется,
Котора калика заплутуется,
Котора обзарится на бабипу,
Со бабою котора стакнется,
Со дѣвкою спарится,—
Зарывать того калику въ сыру землю...

— Захаръ Захребетникъ! здорово, старина!—раздался вдругъ голосъ изъ толпы.

Одинъ изъ каликъ, ветхій, но коренастый старикъ съ сросшимися бровями, чуть не уронилъ при этомъ неожиданномъ возгласѣ своего посоха и невольно остановился. Остановился и его товарищъ съ поводыремъ.

— Здорово, Захаръ!—повторился возгласъ.

Къ каликамъ подошелъ Левинъ и сталъ около старшаго изъ нихъ. Калика страшнѣе порочалъ зрѣнками слѣпыхъ глазъ и переминался на мѣстѣ.

— Здравствуй, кормилецъ, какъ те называть—не знаю,—сказалъ онъ нерѣшительно:—слѣпенькій вить я—ни синь-пороху не вижу.

— Знаю, знаю,—отвѣчалъ Левинъ.—А давно я тебя не видалъ.

— Да ты само-то кто же изволишь быть, родименькій?

— Угадай?

Слѣпецъ задумался и, беззвучно шамкая что-то, только разводилъ руками.

— Нѣту-ти, отецъ родной, не угадаю—гдѣ, чаю, угадать кого слѣпому на чужой сторонѣ?

— Да какъ ты сюда попалъ?

— Въ Кеивъ тоже, кормилецъ, идемъ—къ угодникамъ.

— А изъ села Левина давно? Въ Пензѣ были?

Калика даже объ полы руками ударился и замоталъ головой, бормоча: „Богородушка-матушка, надоумь... Микола угодникъ, оѣсни...“—А Левинъ, улыбаясь, продолжалъ допрашивать свой допросъ:

— А что подѣлываютъ ваши бары—Левины, Герасимъ Саввичъ и Василій Саввичъ?

Калика спохватился.

— Ахъ, батюшка-баринъ, Василь Саввичъ! Какъ васъ Богъ милуетъ? Какъ это вы изъ-за моря-то въ Харьковъ попали? У насъ сказывали, будто васъ въ нѣмецкую вѣру раскрестили и за море услали.

— Нѣтъ, Богъ миловалъ.

— А братецъ вашъ, Герасимъ Саввичъ,—дай Богъ ему здравія,—все съ своими мужиками короводится—бѣгаютъ въ мертву голову... Какъ пошли эти указы на счетъ некрутства да лѣсовъ—чтобы некрутъ въ кандалы заковывать, а за порубку лѣсу—коли кто дерево срубилъ, тому ноздри рвать, а коли кто на лапти ободралъ—того кнутомъ бить, да какъ стали на деревья казенныя „пятна“ класть, а народъ сгонять въ Питеръ, чтобы такимъ же побытомъ, какъ и лѣсъ, пятнать печатями да селить, слышь, на островѣ на Буянѣ, на морѣ на кіянѣ,—ну, и сталъ народъ бѣгать—уйму ему нѣтъ.

— Такъ-такъ... А пойдемте-ка вы ко мнѣ... Я радъ тебя видѣть, стараго балагура.

— Какъ же, батюшка-баринъ, махонькимъ вы еще любили стараго калику Захребетника слушать.

— А кто это съ тобой товарищи?

— Что калика слѣпой—то саратовецъ... давно со мной ходитъ. А паренекъ-ать, коли изволите помнить, такъ Варваринъ Полотковой сынъ.

— Это той, что пѣтъ мастерица?

— Ейный. Въ мать-ту и паренекъ удался—голосистый.

И вспомнилось Левину его родное село... Вечерній хороводъ у мельницы, и эта бѣлокурая Варюша, голосъ которой покрываетъ всѣ голоса хоровода... А тамъ и Кіевъ, и Днѣпръ... Все блѣднѣе и блѣднѣе становятся знакомыя лица за дымкою прошлаго... Только по временамъ обостряется боль воспоминаній и—проходить, какъ все въ этомъ мірѣ...

Ярмарочный гулъ едва слышенъ. Вонъ и домикъ, въ которомъ Левинъ постой держитъ въ своихъ перекочевкахъ... Опротивѣла ему эта жизнь цыганская—сторожевая служба то въ томъ, то въ другомъ концѣ; а въ чистую все не увольняютъ.

Прядя съ каликами на свою квартиру, Левинъ велѣлъ своему денщику отвести ихъ на кухню, и накормить приказалъ и вина дать имъ въ волю;— „люди-де странніе—притомились, такъ имъ подкрѣша нужна“.

Калики были несказанно довольны пріемомъ барина.

— Онъ, какъ и малымъ барченкомъ былъ, завсегда любилъ черныя пароды; а уже наши калицкія пѣсни и-и какъ любилъ слушать—не чета братцу Герасиму Саввичу,—пояснялъ Захребетникъ.

Послѣ угощенія, Левинъ велѣлъ позвать нищихъ въ сѣни своей квартиры. Сѣни были просторныя, свѣтлыя, и Левинъ спалъ въ нихъ лѣтомъ. Левину приятно было поразспросить своихъ гостей о тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ провелъ дѣтство и раннюю молодость и гдѣ онъ не бывалъ вотъ уже пятнадцать лѣтъ. Въ то время, когда пути сообщенія были совсѣмъ примитивны, когда не существовало ни правильной почтовой гоньбы, ни сореманныхъ намъ способовъ передачи извѣстій,—знать, что дѣлается въ какой-либо мѣстности за тысячу верстъ можно было только по бродячимъ слухамъ, переносимымъ то богомольцами, то бѣглецами и рѣдко-рѣдко путемъ переписки.

И Левинъ услышалъ много для него новаго; но во всемъ, что онъ ни слышалъ, преобладало что-то мрачное, подавляющее, такъ что дольше, казалось, жить было невозможно. Населеніе точно въ воду исчезало—все уходило въ лѣса, въ украинныя степи, за Волгу, пряталось въ норахъ и трущобахъ. Гдѣ было по сту, по двѣсти жилыхъ, тяглыхъ дворовъ—тамъ оставалось на половину. Масса народу ходила клейменная—съ крестами на рукахъ, выжженными порохомъ: это—царскія клейма за побѣги.

— Вотъ и мнѣ пожаловали царское клеймо,—сказалъ другой калика, товарищъ Захребетника.

Выпивъ маленько за радушнымъ обѣдомъ барина, который тоже возмущался переживаемымъ страню лихолѣтъемъ, этотъ второй калика сталъ посмѣлѣе.

— Какое клеймо?—спросилъ Левинъ.

— Да вотъ во лбу, баринъ... Были и у меня допрежъ сего глаза, а нонѣ вмѣсто глазъ—клеймы.

— Какъ такъ?

— Выкололи царскіе слуги.

— За что?

— Вотъ за что. Сошелъ я съ товарищами въ Астрахань—бѣжалъ, значитъ. Житіе было не въ моготу. Какъ пришли мы въ Астрахань—анъ тамъ и того хуже. Работы нѣту. Да и какая, баринушка, работа, коли вся Астрахань собралась—было бѣжать въ турецкую землю? Такіе пошли порядки, что и въ пекло бѣжать, такъ въ пору. А воевода, Ржевскимъ прозванный, лютъ-немилостивъ, коли ты въ русской одеждѣ—въ божью церковь не пукаетъ; а коли хочешь войти—на палерти полы велитъ обрѣзывать; коли у тебя борода—волосы вырываетъ, да еще ежели бъ по-христіански одинъ волосъ, а то съ мясомъ и мясо-то съ бородой собакамъ отдаетъ. Такой звѣрь. А тутъ прошелъ слухъ, что изъ Казани нѣмцевъ шлютъ, чтобы, значитъ, русскихъ дѣвокъ на блудъ брать: велѣно-де русскихъ людей въ нѣмцевъ переродить. Ну, кому жъ охота дите свое губить? Взяли астраханцы да и порѣшили: всѣхъ дѣвокъ разомъ обвинчать съ своими же парнями, чтобы нѣмцамъ не достались. Сказано—сдѣлано. А на радостяхъ и съ воеводой покончили: собакъ-де собачья и смерть. Тутъ намъ житіе стало повольготнѣе. Да не надолго этого житія-то хватило. Пришелъ бояринъ

Шереметевъ съ царскимъ войскомъ—и разнесъ Астрахань. Не одинъ топоръ московскіе палачи, сказываютъ, иззубрили на астраханскихъ шеняхъ. Только меня Богъ миловалъ. Я бѣжалъ на Донъ, къ Кондрашкѣ Булавину, въ ту пору онъ атаманствовалъ надъ козаками, которые за волю стояли-супротивъ вѣмеднкихъ порядковъ. Ужъ и пожали жъ мы подъ рукою батюшки Кондратія: не атаманъ—а отецъ родной. А ужъ коли провинился—расправа не долга: товарищамъ крикнетъ бывало: „судите сами“. А судъ у насъ коротокъ—въ куль да и въ воду—и кончено... Вотъ такимъ-то побытомъ, баринушка хорошій, и собрали мы кругъ на Хопрѣ...

— Какъ же, дядя, ты сказывалъ, что допрежъ того вы въ Запороги ходили?—вмѣшался въ бесѣду поводырь, который помнилъ наизусть всѣ рассказы своего слѣплого ментора о похожденияхъ голытьбы.

— Вѣрно, ходили—малець-то правъ... Это было опосля того, какъ мы разбили царскаго воеводу, князя Долгорукова... то-то лихо разнесли мы его на рѣчкѣ Айдаркѣ... Помню, туманное утро было—ни зги не видать... Сиверко такъ—къ зимѣ время шло... Помню, какъ и Долгоруковъ-то князь на осокорѣ висѣлъ... А это мы ему за то, что самъ малыхъ младенцевъ по деревьямъ вѣшалъ, носы и уши рѣзалъ—такъ и доселева на Донцѣ камолые да безносые попадаютъ,—все отъ ево, отъ Долгорукова... А какъ насъ казаки-измѣнники со своимъ хриstopродавцемъ Лукьяшкой стали за ноги вѣшать,—тутъ мы и махнули въ Запорожье. Запорожцы обѣщали стать съ нами заодно. Отселева мы, черезъ зиму, прошли на Медвѣдицу, на Хоперь, да на Бузулукъ. Голытьба, аки саранча шла, къ намъ... Вотъ тутъ-то мы и собирали кругъ на Хопрѣ.

— А какъ вы у измѣнниковъ-казаконъ отвоевали царское жалованье?—снова вмѣшался поводырь.

— Отвоевали—это точно что... Пропили до чиста! А народъ—ни-ни-ни! мизинцемъ не трогали. Народъ—такая же какъ и мы голытьба—люди божьи: за что его обижать?.. Собрались мы это на Хопрѣ. „Братцы,—говоритъ атаманъ,—бояре да нѣмцы всѣхъ въ еллинскую вѣру переводятъ!—Хотите, молодцы, въ еллинскую вѣру!“—„Не любо! не хотимъ въ поганную еллинскую вѣру!“—Вотъ тутъ и написалъ онъ грамотки на весь міръ. Мы сами и грамоты эти развозили по всѣмъ куртамъ да станицамъ. Отъ слова до слова помнимъ слова атаманскія... „Вѣдаете сами, молодцы, говорить, какъ дѣды ваши и отцы положили и въ чемъ вы породились. Допрежъ-де сего старое-то поле крѣпко было и держалось-де, а нынѣ-де нѣмцы старое поле перевели—ни во что почли, и чтобы вамъ старое поле не истерять... А мыѣ-де, Булавину, запорожскіе казаки слово дали, и бѣлогородская орда и иныя орды, чтобъ быть съ нами заодно. А буде кто или которая станица тому войсковому письму будутъ противны, пополамъ верстаться не стануть или кто въ десятки не поверстается—и тому-де казаку будетъ смертная казнь“.

— Однако, вашъ атаманъ, я вижу, съ мозгомъ былъ,—замѣтилъ Леонъ, котораго не могъ не поразить этотъ смѣлый рассказъ ницаго.

— Съ мозгомъ, баринушка,—у, съ какимъ мозгомъ! Съ кашей бы этого мозгу съѣсть, такъ поумнѣть можно.

— Ну, такъ что жъ было послѣ этого? У насъ въ арміи не то болтали,—сказалъ Левинъ, видимо заинтересованный одиссеею калики перехожаго.

— Что дальше-то было, баринушка... Ладно, слушай только... Вотъ словно живой онъ стоитъ передъ моими потухшими очами — атаманъ-то нашъ... Ходить это онъ по майдану, въ кругу-то казацкомъ, въ чекменѣ на распашку, въ кафтанѣ, значить, голубомъ, — да какъ шаркнетъ его оземь, какъ полыснетъ на себѣ рубаху отъ ворота до подола, — и ву ее рвать въ клочки да бросать въ народъ... „Вотъ вамъ моя рубаха, православные! берите ее замѣстъ кабальной записи... Разнесемъ мы такъ Русь боярскую да нѣмецкую, какъ разорвалъ я свою рубаху, и разберемъ по рукамъ... Эй вы, голытьба не поенная, не кормленая, босая и голая! Эй вы, мыши загуменныя, тулупы дубленые, чапаны драные, ноздри рваныя, спины сѣчены, искалѣчены! идите къ намъ, довскимъ казакамъ, за вѣру стоять, животовъ промыслять! Будете вы одѣты и обуты, сыты и пьяны! Эй вы, атаманы-малодцы! Голый и Дранный, Строка и Хохлачъ и ты, Игнапа Некрасовъ! собирайте вы православный людъ, копье къ копыю, чтобы было чѣмъ за вѣру стоять, бороды и головы спасать!“—Ну, и пошла голытьба сыпать къ намъ, аки мухи къ меду. Разбилось наше войско на шесть концовъ. Мы съ Булавинымъ кинулись къ Черкаску—отнимать атаманскую булаву у измѣнника Лукьяшки Максимова. Отняли. Самому Лукьяшкѣ голову съ плечъ долой, совѣтникамъ его—тоже. И пошли на насъ рати царскія со всѣхъ концовъ на наши концы—и конецъ по концу разгромили. Эхъ, было времячко! Ъли кашу съ саломъ, зеленымъ зашивали, горя не знали. А горе у насъ за пазухой сидѣло, съ нами кашу ѣло, въ глаза смотрѣло... Этотъ Илюшка Зерщиковъ — что твой братъ родной атаманушкѣ нашему,—а Илюшка и продалъ насъ—погубилъ атаманушку нашего Кондрашу Булавина. Какъ увидалъ это Кондраша измѣну—самъ на себя руки наложилъ.

— Давно это было?—спросилъ Левинъ.

— На казанскую будетъ ровно восемь лѣтъ—восьмой годъ я и свѣту божьяго не вижу.

Левинъ сталъ считать что-то по пальцамъ... Его солнышко тоже давно закатилось...

— Ну, рассказывай—что же съ вами дальше было?

— Дальше пошло все хуже, да хуже—худая-то полоса всегда длинна и широка да гладка, а хорошая-то полоса—что сорока пестра. Какъ Булавинъ-то застрѣлился, мы и метнулись къ Игвашкѣ Некрасову. Онъ еще держался. Съ Некрасовымъ мы перекинулись черезъ Донъ, за Иловлю-рѣчку, къ самому Саратову. Ужъ и заныло жъ у меня сердечушко, какъ увидалъ я родной городъ! Хоть я не знавалъ я въ немъ радости, а все жъ молодость вспомнилась... Молодое-то и горе—сполагоря, на весеннемъ сол-

ишкѣ таетъ, а старое-то горе и на огнѣ не горитъ, на водѣ не тонетъ... Подошли мы къ Саратову, остановились на Увеѣ — гора этакая надъ Волгой. А Игнаша и говоритъ: „эхъ ты, Волга-матушка, нашему тихому Дону сестрица рожоная! Не слезами-ль ты дополнена, что текутъ въ тебя слезы со всей российской земли? Помоги ты намъ, матушка, помоги намъ, добрымъ молодцамъ, эти слезы высушить“... Такъ нѣтъ — не помогла. Пропало наше дѣло — сгинулъ и Игнаша Некрасовъ.

Ницѣй махнулъ рукой. Всѣ молчали. Паренекъ-поводырь не спускалъ глазъ съ рассказчика.

— Такъ-ту, баринушка (продолжалъ послѣдній) — не веселъ конецъ нашей пѣсенкѣ... А весела запѣвка была... Да что дѣлать?.. Мы къ Саратову-было — а на насъ калмыцкая орда налетѣла... И сломили насъ дьяволы косоглазые... Наши назадъ — степью погнали; а подо мной меренокъ подбился — меня и взяли. Тутъ я и глазъ своихъ рѣшилъ. Полоснулъ я одного косоглазаго, а другіе меня сзади схватили — руки связали. Такая это меня злость взяла, что какъ привели меня къ зайсангу — я ему и плюю въ глаза. За это мнѣ мои глазыньки и выкололи.

— Отчего жъ тебя не убили?

— Да оттого — думали, что я богатый казакъ, выкупъ большой дамъ

— Какъ же ты спасся потомъ?

— Богъ помочь, баринушка. Другой полоняникъ выручилъ — саратовецъ же... Ночью какъ-то мы и ушли съ нимъ. Съ тѣхъ поръ я и сталъ каликою переходимъ.

— Однако жъ ты еще счастливо отдѣлался. Если-бъ тебя поймали въ Черкассѣ, такъ не миновать бы тебѣ колесованья или четвертованья.

— Такъ-то такъ, баринушка, да оно ужъ разомъ, а то еще поди когда до могилы добредешь сослѣпу.

— А что съ Некрасовымъ стало? не слыхалъ?

— Какъ неслыхать — слышали... Въ Саратовѣ ужъ волжскіе казаки сказывали: какъ прибегъ это онъ на Донъ, изъ-подъ Саратова-то, и видѣть: плывутъ это по Дону плоты, а на нихъ висѣлицы, а на висѣлицахъ, все нашъ братъ — голытьба да казаки... Плывутъ это, покачиваются. А воронья-то всякаго, птицы этой голодной — такъ всѣ плоты и усыяла, да на висѣлицахъ сидятъ, да на казачьихъ плечахъ — глаза казачьи выклеиваютъ... А по берегу-то казачки всемъ воютъ — мужьевъ да братьевъ своихъ провожаютъ, малыя дѣтушки за ними бѣгутъ... Таково, сказываютъ, жалостно было.

Въ первый разъ Левинъ слышалъ эти подробности. Многое доходило до него и до товарищей его по службѣ изъ тысячи слуховъ, бродившихъ по Руси, но такихъ подробностей онъ не слыхивалъ. И въ душѣ его все сильнѣе и сильнѣе звучала нехорошая нота.

— Какъ увидалъ это Некрасовъ съ товарищи, — а съ нимъ было тысячи двѣ, — какъ увидалъ онъ это — снялъ шапку, перекрестился и говорить, къ тѣмъ-то, что на плотахъ висячи плыли: „Прощайте, братцы-

товарищи! спасибо вамъ, что за вѣру постояли... Плывите съ Богомъ внизъ по тихому Дону, мимо станицъ до куреней родимыхъ. Опоганена земля православная—вечего и ложиться въ нее костямъ казацкимъ. Плывите, родимые, въ чужую землю, въ турецкую—тамъ легче теперь жить, чѣмъ на Руси православной. Я и самъ иду въ чужую землю, въ турецкую... Прощайте, братцы!“—И какъ гаркнетъ, говорятъ, за нимъ, все это войско „прощайте, братцы!“—какъ всполохнется съ плотовъ птица—воронье да карга всякая, такъ точно хмара надъ Дономъ пронеслася... Такъ и уѣхалъ Некрасовъ съ своими молодцами въ турецкую землю.

— Спасибо тебѣ—не знаю, какъ тебя зовутъ,—сказалъ Левинъ.

— Никитой, а прозывался Бурсакъ, потому маленько учился—дьячковъ сынъ—оттого и слышу Бурсакъ.

— Спасибо, Никита, за рассказъ.

— Не за что, баринушка... Ласка твоя да вино развязали мой языкъ,—ну, и вспомнилось старое.

— А теперь прощенья просимъ, батюшка баринъ, — сказалъ старшій калика: — пора и честь знать, коли господа милостивы. Счастливо оставаться. Коли Богъ доведетъ до Кеива — помость слезами омочу передъ угодничками за твое здоровье.

— Спасибо, Захаръ, спасибо. Только на возвратномъ пути опять заверните ко мнѣ. Я съ вами домой письмо пошлю—къ брату отпишу, чтобъ помогъ вамъ чѣмъ-нибудь.

— А самъ-то, баринъ-батюшка, когда къ домамъ повернешься?

— Ужъ и не знаю, и не вѣдаю когда...

Одаривъ нищихъ на дорогу деньгами, онъ простился съ ними, и долго прислушивался къ странному напѣву пѣсни, которую затянули калики, удаляясь къ ярмаркѣ: „Охъ ты, гой еси, алилуева жена милосердна!“...

VIII.

Царевичъ и Афросиньюшна.

Лѣтомъ ночь въ Петербургѣ въ 1716 году. На петропавловскомъ соборѣ любимые куранты царя, вывезенные имъ изъ голендерской земли, давно пробили двѣнадцать, а бѣлоглазая ночь не думаетъ темнѣть. Черезъ Неву то-и-дѣло скользятъ лодки; по широкимъ, не вездѣ застроеннымъ улицамъ, двигаются люди. Вездѣ видны признаки стройки, снѣжной работы. Лѣсъ, песокъ, глина, камни и громадныя глыбы гранита наворочены горами, словно титаны сооружаютъ свое мнѣическое жилище. Да, это титаны, русскіе люди, строить постылый для нихъ Питерь.

Большой царь давно уѣхалъ за море, а стройка и безъ него не останавливается... Растетъ камень на камнѣ, гранитъ на гранитѣ... Что-то выйдетъ,—думаютъ русскіе люди,—изъ этого новаго Вавилона?.. Не запу-

стѣтъ ли онъ со смертію царя, какъ запустѣлъ старый Вавилонъ?.. Эти широкія улицы и площади травой зарастутъ, гранитныя горы мохомъ зазеленѣютъ, каналы пловчимъ лопухомъ да водяною лиліею подернутся... И будетъ смѣяться бѣлоглазая финская ночь надъ развалинами покинутого города... „Се мимо иде—и се не бѣ“...

— Такъ, матушка: се мимо иде—и се не бѣ... Великое это слово, великое.

Это говорилъ знакомый уже намъ старикъ, котораго мы видѣли въ Кіевѣ, у воротъ лавры, въ проѣздъ черезъ Кіевъ царевича, а потомъ слышали таинственный разговоръ съ Левинымъ въ Нѣжинѣ, въ лазаретѣ. Теперь онъ обращался съ своей рѣчью къ молодой женщинѣ, которая сидѣла за пилцами и вышивала золотомъ, впересыпку съ жемчугами, осьмиконечный крестъ, и изрѣдка взглядывала то на своего собесѣдника, то на окно, изъ-за котораго виднѣлась Фонтанка съ недодѣланною набережною, съ изрѣдка скользящими по ней лодками, а за нею—недавно разведенный самими Петромъ и его „Катеринушкою“ „огородъ“, въ настоящее время—Лѣтній садъ.

По волосамъ, бѣлокुरья съ пепломъ пряди которыхъ были заплетены въ одну косу, и по одѣянію можно было сразу видѣть, что это дѣвушка. Матовая, безъ всякаго даже намека на загаръ, бѣлизна лица и недостатокъ цвѣтности кожи изобличали недостаточность дѣйствія на это лицо солнечныхъ лучей. При всемъ томъ и это лицо, и сѣрые, продолговатые какъ у финка глаза, ясные и чистые какъ у младенца, и исходявшій изъ нихъ ровный свѣтъ не изобличали недостатка внутренней жизненности.

Когда дѣвушка поднимала голову отъ плеча, то на груди ея, прикрытой бѣлою сборчатою сорочкой съ кружевомъ, виднѣлся осьмиконечный крестъ, небольшой, но искрившійся огнями.

— Все мимо идетъ, токмо слово сіе не идетъ мимо, — повторилъ старикъ.

Дѣвушка медленно перенесла на него свои синие глаза.

— А давно она представилась?—спросила она.

— Кто, матушка?

— Святая Евфросинія, полоцкая княжна.

— Давно, матушка... Сотъ пять лѣтъ будетъ, а то и больше.

Дѣвушка перенесла свои медленные глаза на Фонтанку. Она ждала кого-то.

— А усташь, чай, въ пути, дѣдушка?—снова спросила она.

— Нѣту, ластушка моя свѣтлая, не устаю... Порой и притомишься, а все нячего... Что я? Мое дѣло подвижническое дѣло—для Бога, паломническое, бродячее сирѣчь. Скитаюсь я по угоднымъ мѣстамъ и треплю грѣхи мои старые, аки костригу, предъ лицемъ Господа. Истоптали мои ноги старые всю матушку родную землю, Русь святую, отъ стока моря соловецкихъ святынь и до святой горы аѳонской. И роняю я съ подошвъ моихъ приотпавшихся прахъ святой земли по всѣмъ грѣшнымъ мѣстамъ—

аки бисеръ многоцѣненъ—соловецкая-то святая пылица малая ину-пору отряхается съ подошвъ моихъ въ семь новомъ Вавилонѣ, въ Питерѣ; (содомская пыль, матушка, лѣпка и цѣпка, аки грѣхъ), а питерская-то содомская пыль, прилѣпившись къ моимъ грѣшнымъ стопамъ, питерская-то пыль отряхается въ Москвѣ-матушкѣ, у гробовъ угодниковъ божіихъ, а московскую-то драгоценную пыль несу я до Киева святорусскаго, а изъ Киева—въ Пochaевъ,—и переносу я пыль великой земли русской отъ края до края, аки сердце кровь переносить по жиламъ моимъ грѣшнымъ и по всему тѣлу моему мерзкому...

Онъ помолчалъ. Дѣвушка, слушавшая его съ глубокимъ вниманіемъ, встала и подошла къ окну, припавъ головой къ его рамѣ. Въ выраженіи ея лица, въ движеніяхъ, во всей ея симпатичной фигурѣ было что-то совсѣмъ дѣтское, цѣломудренное, хотя полная развитость бюста и всего ея красиваго, статнаго тѣла говорила о совершенной возмужалости.

— И таково-то сладостно и горько, матушка моя, это скитаніе по бѣлу свѣту,—продолжалъ старикъ на распѣвъ и нѣсколько въ ность.—И голоду-то и холоду натерпишься, и въ лѣсахъ и въ дебряхъ отъ рыку звѣринаго страху наберешься,—а все для Бога, ради крестовъ-то грѣховной, что всю душеньку мою исколола... А птички-то божьи въ лѣсахъ и дубравахъ, а цвѣточки въ поляхъ—кринь сельные, а солнышко въ небѣ, ручеечки эти самые, хвалу Господу звенящи, а эта травушка весенняя, что рученьки свои чистыя да головочки безвинныя къ небесамъ аки младенецъ воздвѣваетъ,—тянется эта травушка-муравушка изъ сырой земли ко Господу творцу своему... И всякое-то дыханіе, козявочка малая, метель крылатый, плочушка, божья работница, воскодарница, медодѣлица,—все-то весною красною Богомъ хвалить... Какъ сердцемъ-то да окомъ умнымъ обоймешь все это, матушка-ластуха: такъ сердце твоѣ грѣшное аки воскъ предъ иконою растопится-разойдется, и весь бы, кажись, самъ въ слезахъ сладкихъ вылился передъ Господомъ, аки елей, аки миро благовонное...

При послѣднемъ монолoгѣ, дѣвушка повернулась къ старику, вся напряженно слушая, затаявъ дыханіе; а изъ широко-раскрытыхъ, изумленныхъ глазъ такъ, кажется, и брызнуть горячія слезы.

— Дѣдушка!.. голубчикъ!.. гдѣ же это?..

— Что, голубица моя чистая?

— Гдѣ это, что ты рассказываешь?

— Въ угодныхъ мѣстахъ; матушка, да въ сердцѣ нашемъ.

Дѣвушка опять припала головой къ окну, перекинувъ черезъ плечо свою длинную косу и задумчиво перебирая ее тонкими пальцами.

— И вотъ такъ-то, дитятко малое, и треплюсь я по бѣлу свѣту, пока тѣло мое старое, аки ризу ветхую, аки хоругвь воинскую, въ бояхъ со врагомъ божіимъ истрепленну, прострѣленну, издыравленну не донесу до темной могилы. Вѣтка уже риза моя животная, вѣтка моя срачица тѣльная, что нѣкогда крѣпкою и чистою, паче сѣнга убѣленною, вышла изъ рукъ божіихъ... А все брожу—угомону мнѣ, старому, нѣтъ... Такъ вотъ

и къ ангелу твоему, къ преподобной Ефросиніи полоцкой, бродилъ нынѣ азъ грѣшный грѣшными ногами... Думаю: помолюсь о тебѣ матушка, о рабѣ божіей Ефросиніи, да и о царевичѣ нашемъ благовѣрномъ Алексіи Петровичѣ, дабы Господь сердце его, цареву, укрѣпилъ, разумъ его на все благое наставилъ... И вотъ принесъ вамъ съ царевичемъ по хлѣбцу благословенному да по поясочку освященному отъ мощей преподобной Ефросиніи.

При послѣднихъ словахъ, дѣвушка подошла къ столу, стоявшему подъ образами, и перекрестившись, поцѣловала лежавшую на ней просвируку.

— Спасибо тебѣ, дѣдушка,— сказала она.

Вдругъ за окномъ, на Фонтанкѣ, послышались голоса и плескъ воды. Дѣвушка встрепенулась и поспѣшила къ окну, но плавно, не суетливо.

— Царевичъ,— сказала она и, отойдя отъ окна, снова сѣла за пяльцы. Руки ее немного дрожали.

Старикъ всталъ со стула, на которомъ сидѣлъ, и отошелъ въ сторону, ближе къ дверямъ.

Скоро за дверями послышались голоса и шаги. Двери растворились, и вошелъ царевичъ.

На немъ былъ зеленый кафтанъ съ отворотами и съ широкими обшлагами. Кружевная рубашка съ маншетами отгнѣяла его смуглое, худое лицо съ кроткими, выразительными, но какими-то запуганными глазами. Онъ былъ похожъ на отца, какъ молодой побѣгъ на старое, могучее дерево. Длинные, тонкіи, обутыя въ высокія штиблеты ноги ступали неуверенно. Такія же длинные руки съ тонкими, женоподобно гибкими пальцами, которые могли искусѣе, кажется, владѣть перомъ, чѣмъ топоромъ и саблей. Выраженіе лица, глазъ и очертаніе рта говорили, что на этомъ лицѣ скорѣе виновный могъ прочесть прощеніе, чѣмъ суровый приговоръ. Длинные, рѣдкіе, какъ и у отца, волосы, но какъ-то особенно спадавшіе назадъ, придавали этой головѣ что-то дьячковское... Вообще надъ этимъ добрымъ лицомъ какъ-то не думалось видѣть царскую корону.

— Здравствуй, Фрося,— сказалъ царевичъ, подходя къ дѣвушкѣ.

— Здравствуй, государь,— тихо отвѣчала, вставшая тотчасъ изъ-за пяльцевъ, Ефросинья, опустивъ глаза.

— Хорошій крестъ выходитъ,— сказалъ Алексій Петровичъ, нагибаясь къ пяльцамъ:— только темно—глаза испортишь.

— Нѣтъ, государь, видно.

— А! и ты здѣсь, Никита Паломникъ,— здравствуй,— обратился царевичъ къ старику.

— Многая лѣта здравствовать благовѣрному государю цесаревичу,— отвѣчалъ тотъ, низко кланяясь.

Алексій, снова обратившись къ Евфросиніи и къ ея работѣ, сказалъ съ замѣтною дрожью въ голосѣ, нервно:

— Хорошій крестъ, хорошій... Кому это ты?

— Въ церковь святаго Симеона Богопріимца, государь царевичъ.

— Хорошій крестъ, — повторялъ онъ задумчиво, — такой, какъ ты и мнѣ вышла... на всю жизнь, Фрося... До могилы буду нести твой крестъ...

Щеки Евфросиніи медленно заливались краской... Она не поднимала глазъ.

— Да, донесу, донесу... Бремя его легко и яго его сладко есть.

Въ комнату вошли еще двое мужчинъ. Одинъ—старичекъ, съ прищуренными, близорукими глазами, которые часто моргали и слезились. Вся фигура его напоминала раскольниковъ начетника, хотя это былъ князь Вяземскій, Никифоръ, учитель цесаревича и владѣлецъ дома, въ которомъ происходитъ настоящее дѣйствіе. Въ домѣ его жила и Евфросинья—не-то сѣнная дѣвушка, не-то боярышня. Другой былъ коренастый, среднихъ лѣтъ мужчина, съ энергическимъ лицомъ и какими-то упорными, стоячими глазами, которые, повидимому, не умѣли потупляться. Голова небольшая, но крѣпко посаженная на плечи,—такъ крѣпко, что эту воловью шею могъ, кажется, только топоръ заставить нагнуть. Этотъ другой былъ Кикинь, денщикъ царя и, если можно такъ выразиться, источникъ воды безвольнаго мягкаго царевича.

Вошедшіе низко поклонились.

— Здравствуй, равви! Здорово, Кикинь!

Алексѣй Петровичъ называлъ иногда своего бывшего наставника, Вяземскаго, по-евангельски—„равви“—„учитель“.—„Здравствуйте!“.

— Благовѣрному царевичу радоваться,—отвѣчалъ Вяземскій, который, какъ человѣкъ начитанный, любилъ выражаться по-книжному.

— Здравствуй, государь царевичъ! — по военному отвѣчалъ Кикинь.

Потомъ, поклонившись Евфросиніи и проговоривъ: „Здравствуй, матушка, Евфросинья Федоровна“,—Кикинь обернулся и, замѣтивъ въ сторонѣ Никиту Паломника, прибавилъ: „А! праведный Агасферій! и ты здѣсь?— все свои люди“. А Вяземскій, подойдя къ Евфросиніи, ласково совершенно отеческимъ тономъ замѣтилъ: „А ты, Фросюшка, все томишь свои глазки свѣтлые... Брось, дитятко!...“

Евфросинья ласково улыбнулась и поцѣловала старику руку.

— Я не зашелъ къ тебѣ (обратился царевичъ къ Вяземскому) — думалъ: поздно ужъ — спать-де; а вотъ ее бѣлую голову (онъ обратился къ Евфросиніи) позналъ въ окнѣ—и зашелъ пожурить за полуношничанье... Анъ она не одна—съ Агасферіемъ праведнымъ.

— Хлѣбецъ благословенный принесть да поясокъ отъ преподобной Евфросиніи—и заболтался,—отвѣчалъ тотъ, кого звали и Никитою Паломникомъ, и праведнымъ Агасферіемъ.

— Что, царевичъ, слышно о *нашемъ-то*... о кречетѣ... о соколѣ-то залетномъ?—спросилъ Кикинь, подходя къ Алексѣю.

— О батюшкѣ-то?

— О комъ же иномъ, царевичъ? Онъ одинъ у насъ—свѣтъ очей нашихъ... Только, вить, и свѣту у насъ, что въ окошкѣ...

— Что въ заморье-то прорубилъ окошко-то, какъ самъ сказывалъ?—замѣтилъ насмѣшливо Вяземскій:—точно, точно—одно у насъ окошко-то

слуховое... Въ нево къ намъ и дымъ-отъ идетъ изъ заморья, потому, чать, заморская-то изба по черному топится, и заморскій-отъ дымъ у насъ очи выѣдаетъ...

Алексѣй Петровичъ нервно заходилъ по комнатѣ.

— Такъ... такъ... ѣсть очи—охъ, какъ ѣсть дымъ-отъ этотъ заморскій,—говорилъ онъ, какъ бы про себя.

— А какъ здравіе царево?—спросилъ Никита Паломникъ.

— Сказываютъ, вѣдомости прислалъ своему-то... крестнику... Данилычу-пирожнику,—пишетъ, что-де до селева недугуетъ, — говорилъ царевичъ, продолжая безпокойно ходить по комнатѣ.—Былъ и въ Астрадамѣ-градѣ въ Голендахъ и въ другихъ иноземныхъ странахъ, а нынѣ поѣхалъ чрезъ всю францовскую землю къ самымъ шпанскимъ предѣламъ, въ Пирмонтъ-градъ, зальцбруновыя воды пить для лѣченья.

— То-то,—замѣтилъ Кикинъ:—анисовку, знать, выгопать изъ себя хочеть... Не выгонишь ее этимъ-то водами: она, наша матушка, анисовка, стойка—коломъ ее не выпшибешь, чаю.

— Что жъ, съ анисовымъ-то настоемъ въ животѣ оно крѣпче для нашего батюшки, царя Петра Алексѣича,—замѣтилъ Вяземскій.—Вонъ вѣмецъ Блюментростъ какіе спирты для его кунцкамары стряпаетъ, чтобъ въ нихъ уродовъ сажать — цѣлехоньки... Такъ-то и анисовка — здорово: еще, чай, не одну „шишечку“ сдѣлаетъ своему другу сердешному Катеринушкѣ...

— О! шишечки онъ мастеръ дѣлать: у Данилыча, поди, сколько шишекъ вскакивало отъ батюшкиной дубинки, — сказалъ цесаревичъ; — да мнѣ-то оттого не легче... Господи! что я ему сдѣлалъ? За что онъ меня гонитъ словно врага лютаго? Теперь вотъ — словно коркодилъ пильской приступилъ ко мнѣ: „Или въ монастырь, говорить, или исправься, а то я съ тобою, говорить, какъ со злодѣемъ поступлю“. Да батюшки жъ, мои свѣты! куда я дѣнусь! Господи!

Цесаревичъ въ отчаяннѣ всплеснулъ руками. Всѣ приблизились къ нему. Евфросинія хотѣла удалиться: она была блѣдна, какъ полотно. Царевичъ замѣтилъ это...

— Не уходи! не уходи, голубушка моя!—взмолился онъ:—мнѣ легче при тебѣ... Монастырь... исправься... Да какъ же я, голубчики мои, исправлюсь? Я не ребенокъ ужъ... Правиль онъ меня, всю жизнь мою правилъ, — охъ, какъ правилъ! всю душеньку мою, кажись, вынулъ изъ меня, по ниточкамъ вымоталъ душу мою... А все ему мало не любишь-де, говорить, меня... Господи! я-ли не любилъ его, я-ли не молился за него! А онъ у меня мать отнялъ — кроткую голубицу; заточилъ ее, голубушку... А за что? за то, что ему эта нѣмка Монцова зѣлья приоротнаго дала, а послѣ — эта, мачеха... Боже милостивый! за что жъ жизнь такая сыну? Не смѣй видаться съ матерью родимой, не смѣй думать о ней, молиться за ея здравіе, не смѣй плакать о ней. А какая ее вина? А я тутъ при чемъ, что отъ нелюбимой? Господи! и звѣрь свое дѣтя любить, а меня... меня убить хотять, какъ злодѣя... За что?

Онъ не учился жить. Чувствую, что я не люблю его затѣйныхъ выдумокъ, не бражничанья не дѣлаю? Разсудите вы меня, люди добрые, а вы бы вы мнѣ. Я же не чуждъ у тебя (онъ взглянулъ на Вяземскаго)? Я не дѣлаю мнѣ. А онъ всѣмъ не доволенъ, за все возмущается. Онъ не знаетъ, не любитъ-де отцовскаго дѣла, не любитъ-де отцовскаго дѣла. О, Господи жь, Боже мой! Господи праведный! вѣдь и такое дѣло, какъ ты усердно ни исполнялъ, опостылѣть, коли за него все бѣда. Чо чего онъ довелъ меня: я его, какъ звѣря лютаго, бѣжалъ, а онъ отца-то родного... Я и дѣло возненавидѣлъ за то, что онъ не хотѣлъ идти къ нему меня и меня же глумленію предавалъ, мнѣ же убоимъ нѣмцами да Данилычами унижалъ, — меня, сына роднаго, сына роднаго... Ты не сынъ мнѣ, говоритъ, — ты не любишь Россію, говоритъ. Онъ-то что ли любить ее, матушку Русь, обездоленную, несчастную. То онъ него ли она вся въ бѣги ушла, въ лѣса да въ дебри ушла? Не онъ ли глумился надъ нею? А крови-то, крови сколько пролилъ? Обороты: „для славы-де царствія російскаго...“ Ежели бы онъ не искалъ славы-то, а не себѣ только, онъ не надругался-бы надъ нею, не разорялъ бы ее, Русь родимую... Эхъ! и на свѣтъ-то Божій не надеяться въ землю бы зарылся... Да куда уйти-то отъ него? Гдѣ голову преклонить? Охъ, батюшки-свѣты! спасите меня!

Ефросинія ломала руки, забившись въ уголъ.

Куда я уйду? куда, Господи!—продолжалъ метаться несчастный.

Аще възду на небо — ты тамо еси, аще сниду во адъ.—ты тамо еси, ормывалъ про себя Падомникъ.

Вяземскій и Кикинъ сидѣли мрачные, неподвижные. Они знали, что надо выждать, когда кончится нервный припадокъ ихъ любимца.

Велѣлъ онъ мнѣ тогда женится на этой нѣмкѣ, кровъ-принцессѣ,—продолжалъ онъ нѣсколько покойнѣе: — я исполнилъ его волю — женился на постылой; я не перечилъ ему, виду не показавъ, каково мнѣ вотъ жить-то на сердцѣ... И это не помогло — морить сталъ насъ голодомъ да срамомъ предъ иноземными людьми: корму лошадямъ не на что было купить, слугамъ нашимъ одѣться было не во что... Я на колѣняхъ выпрашивать подаянны у любимца его, у Алексашки проклятаго. — я-то, царевичъ земли російской, будущій царь, великій и малая и бѣлая Россіи самодержецъ... И — Богъ свидѣтель — я не перечилъ родителю, Богомъ мнѣ данному, я въ мысляхъ не измѣнялъ царю своему... Одинъ Богъ видѣлъ, каково мнѣ было жить съ нею, съ постылою-то моею: ни она меня не понимала, ни я ее не понималъ... А я все терпѣлъ, все ждалъ, что Господь склонитъ ко мнѣ сердце родительское... Нѣтъ, не умолилъ Господа... Последніе деньки мои приходятъ, смертушка моя близко, чую я...

Ефросинія рыдала. Услыхавъ ея сдержанные стоны, царевичъ опомнился.

— Свѣтикъ ты мой ясный! отрада моя единая!—закричалъ онъ, протягивая къ ней руки: — какъ мнѣ тебя-то покинуть! Твои-то ошеньки ясныя черною ризою чернецкою закрою я? Скорѣе въ гробъ лягу, чѣмъ тебя по-

кину... Не ты ли научила меня быть добрымъ? Не ты ли научила меня стыда стыдиться, отъ безобразія житейскаго бѣгать? Не ты ли маленькой дѣвочкой, отроковицею чистою, плакала, закрывшись рученками, когда въ первый разъ увидала меня въ пьянственномъ видѣ безобразномъ? Не ты ли очистила меня чистотою твоею непорочною?... Я не забылъ этого, не забылъ — забвенна буди десница моя, коли я тебя забуду.

И онъ гладилъ ея голову, цѣловалъ волосы. Дѣвушка продолжала всхлипывать, бормоча свозъ слезы: „Алешенька... другъ мой... царевичъ мой...“

Старый Паломникъ, глядя на нихъ, также утиралъ украдкою свои мелкія, давно всѣ выплаканныя слезы.

Вяземскій сильно моргалъ своими прищуренными глазами. Стоячіе глаза Кикина словно какъ будто остеклѣли, уставившись въ пространство.

— Еще кто кого — посмотримъ, — сказалъ онъ хрипло, какъ бы про себя.

Алексѣй обернулся къ нему.

— Не кручинься, государь, — погоди, — продолжалъ Кикинъ. — Бабушка на двое сказала... Посмотримъ еще — чья возьметъ, кто кого осилить... Нѣмецкая бритва, что и говорить, чисто бреетъ русскія бороды, — да ей ли вмочь будетъ съ русскимъ топоромъ тягаться? А топоръ-отъ на твоей сгоронѣ, царевичъ... Вонъ спроси ево (онъ указалъ на Паломника).

— Истинно, истинно, государь, — заговорилъ этотъ послѣдній. — Я ли не испятналъ моими стопами русской земли? Я-ли не видѣлъ, сколько слезъ льется отъ Питера до Кіева, отъ отока моря сѣвернаго до сибирскихъ крайнихъ предѣловъ? Истинно говорю — рѣки слезныя... Разорена матушка Русь святая, опустѣла она, аки отъ язвы моровыя... Посѣтилъ ее Господь гнѣвомъ своимъ... Аки рыба распуганная, разбѣжались такъ Россійскіе люди отъ указовъ немилостивыхъ, отъ ноборовъ тяжкихъ, отъ некрутства ежелѣтняго, непрестаннаго... Кровавыми слезами плачется русская земля на родителя твоего, государь, а за тебя и за матушку твою царицу Бога молить.

Алексѣй опять заходилъ по комнатѣ. Лица вѣхъ казались мертвенно блѣдны, — можетъ быть, оттого еще болѣе, что бѣлоглазая ночь становилась все свѣтлѣе и свѣтлѣе, глазастѣе и глазастѣе, словно Евфросинія, египетскіе глаза которой казались еще большими отъ внутренняго волненія.

Воробьи уже чирикали за окномъ. Ласточки и стрижи весело перекликались, начинная свой ранній день и свой вѣчный трудъ изъ-за корму.

Изъ за Фонтанки откуда-то доносилась пѣсня:

Распроклятая сторона,
Чужа дальняя сторона —
Ко Питеру привела...

— Слушай, царевичъ, — сказалъ Кикинъ, подходя къ Алексѣю, и стоячіе глаза его какъ-то помутились: — я говорилъ тебѣ, помнишь, что ежеле

тебя и постригутъ—такъ не бѣда: клобукъ, вить, не гвоздемъ къ головѣ прибить—его и снять можно... А я другого боюсь...

— Чего?—испугался царевичъ.

— Погоди пужаться — рано еще: его нѣтъ здѣсь... Вотъ что: не ряса у него на умѣ, а саванъ твой, понимаешь? Онъ самъ знаетъ, что клобукъ не гвоздемъ прибиваютъ, а вотъ гробовую-то крышку—такъ ту гвоздями...

Царевичъ съ ужасомъ отступилъ отъ него. Руки Евфросиніи невольно потянулись къ Алексѣю.

— Что? что?—шептала глухо послѣдній:—отецъ родной?.. Ты лжешь, подлецъ!

И Алексѣй-было бросился къ нему. Но Кикинъ остановилъ его своимъ оловяннымъ, холоднымъ, какъ олово, взглядомъ!

— Когда у тебя родился сынъ?—спросилъ онъ также шопотомъ.

— Октября 12-го,—отвѣчалъ царевичъ, подумавъ.

— А когда скончалася кронъ-принцесса, супруга твоя?

— Октября 22-го.

— А письмо когда онъ тебѣ отдалъ—то письмо, гдѣ онъ грозитъ лишить тебя престола?

— За день до того, какъ у него родился сынъ.

— А какимъ числомъ оно, письмо это, было подписано?

— Заднимъ числомъ—за шестнадцать день до отдачи.

— Ладно, смекай же теперь, что не о рясахъ думаютъ, а о саванѣ...

Царевичъ чуть не упалъ. Его поддержала Евфросинія.

Кикинъ приблизился къ нему и на ухо сказалъ:

— Не падай, государь,—у тебя есть еще на кого опереться... У Россіи и грудь и плечи могучія; онѣ твои — обопрись на нихъ... А я покачу въ цесарскую землю, въ Вѣну—провѣдую вамъ съ Евфросиньей Федоровной латынскій монастырекъ съ колейкою... не поссоритесь, живучи вмѣстѣ пока... А тамъ... кто знаетъ!

Царевичъ обнялъ его и заплакалъ... А вдали продолжала нить пѣсня:

Распроклятая сторонака...
Ко Питеру привела...

IX.

Бѣгство царевича.

Въ концѣ ноября того же 1716 года, въ Вѣнѣ, въ одной изъ улицъ Леопольдштадта, у подъѣзда богатаго отеля, остановились неизвѣстные путешественники. Подъ ними было два экипажа. По внѣшней обстановкѣ можно было догадаться, что путешественники—особы знатнаго рода. По костюму же слугъ, сопровождавшихъ путешественниковъ, слѣдовало заключить, что прибывшіе были поляки.

Въ первомъ экипажѣ находилось двое молодыхъ мужчинъ. Старшему

изъ нихъ можно было дать отъ двадцатипяти до двадцативосьми-девяти лѣтъ. Онъ былъ высокъ, блѣденъ и задумчивъ, съ такимъ выраженіемъ лица, какое иногда замѣчается у людей, которые сознаютъ, что носятъ въ себѣ неизлѣчимуя болѣзни, или готовятся къ опасной операци, или, наконецъ, рѣшаются на что-нибудь невозвратное. Младшій же былъ совсѣмъ почти ребенокъ, съ совершенно дѣтскимъ личикомъ, и его можно было, дѣйствительно принять за ребенка, если бы высокій ростъ и хорошо развитыя плечи не показывали, что онъ уже пережилъ дѣтскій возрастъ. Онъ былъ въ костюмѣ, напоминавшемъ пажу стараго времени. Но что особенно поражало въ этомъ мальчикѣ—это необыкновенно богатые, роскошно падавшіе на плечи и необыкновенно свѣтлые, почти бѣлые волосы, совсѣмъ не отгнѣявшіе кругленькое, бѣлосвѣжное личико юноши. Зато безподобно отгнѣяли его темные брови, высоко вскинувшіяся надъ сѣрыми глазами.

Въ другомъ экипажѣ находились служители этихъ путешественниковъ.

Въ адресной книгѣ отеля приказано было записать: „польскій шляхтичъ Коханскій“.

— Эти пріѣзжіе польскіе господа, должны быть, народъ богатый,—передавалъ своимъ товарищамъ старый отельный кельнеръ Фрицъ, подмигивая однимъ глазомъ (это, впрочемъ, была его лакейская привычка—таинственничать и таинственно подмигивать, хотя бы ему приходилось сообщать, что вакса не годится).—Люблю я этихъ поляковъ—польскихъ господъ то-есть, пановъ ихъ—сорять дукатами на водку... Зо! (зо—тоже любимое слово Фрица).

— Ну, не говори, геръ Фрицъ, — перебилъ его другой кельнеръ, полякъ Юзефъ. — Какое это польское панство? Ихъ хлопцы, я замѣтилъ, не понимаютъ по-польски. Я съ ними заговаривалъ.

— Такъ что жъ, что не понимаютъ! У польскихъ господъ всегда такія замашки, чтобы лакеи у нихъ были иностранцы—шикъ!—возражалъ Фрицъ подмигивая:—зо!

— Такъ-то такъ, да все что-то не такъ, — отстаивалъ свое мнѣніе Юзефъ:—нашъ братъ полякъ не таковъ, а особливо панъ... Закрутитъ это уса, брякнетъ шпорой, звякнетъ карабелей, глянетъ чортомъ,—ну, такъ душа въ пятки и уйдетъ! А это что?—мокрая курица!—горячился, Юзефъ.

— Да, онъ, можетъ, больной—блѣдный какой-то—зо!

— Больной!.. эка важность! Нашъ братъ полякъ и больной орломъ смотреть...

— То-то отъ орла-то своего, отъ пана, ты и тягу далъ къ намъ въ Вѣну—зо!

Юзефъ сразу не нашелся.

— Что жъ... ну, порютъ, правда... да это все отъ москалей—у нихъ, переняли, — бормоталъ онъ; — слово гонору—у нихъ, у проклятыхъ москалей.

— Ахъ, mein Gott! ach, mein Gott! какіе волосы! ахъ, если бъ у меня такіе волосы! — заахала, вѣбгая къ лакеямъ, краснощекая, красно-

рукая и толстогрудая, но почти безволосая нѣмка-служанка. — Ахъ, Юзефъ! ахъ, Фрицъ! какіе волосы!

— Это у кого?

— Ахъ! у того молоденькаго господина, что пріѣхалъ съ худымъ господиномъ.

Между тѣмъ, этотъ худой господинъ, немного погодя, вышелъ изъ отеля въ сопровожденіи служителя и, взявъ экипажъ, тотчасъ куда-то уѣхалъ.

Какъ оказалось, онъ уѣхалъ во внутренней городъ, въ самую Вѣну, и черезъ нѣсколько минутъ экипажъ его остановился на площади, у подъѣзда отеля „Bei Klappereger“. Господинъ и его слуга вошли въ отель. Былъ уже десятый часъ ночи. Вѣна, какъ аккуратная нѣмка, почти вся спала.

Не спалъ лишь худой господинъ и его служитель. Войдя въ лучшій номеръ отеля и приказавъ запереть дверь, онъ сталъ тревожно ходить, почти бѣгая по обширной комнатѣ. Отельная прислуга въ корридорѣ, ходя на цыпочкахъ, таинственно перешептывалась и пожимала плечами... Кто-то — зачѣмъ? — никто ничего не зналъ...

— Schwedicher König, Karl XII, — шепталъ одинъ.

— Russischer Zaar, Peter der grausamme, — догадывался другой.

— Nein, Mazepa — saporogischer Kozak, — говорилъ самый догадливый.

— Pfai! Mazepa schon gestorben...

Между тѣмъ тотъ, о которомъ толковали проснувшіеся лакеи, продолжалъ бѣгать по своему номеру, борючись какія-то безсвязныя слова. Пріѣхавшій съ нимъ служитель молча ждалъ приказаній.

Наконецъ таинственный господинъ опомнился, подошелъ къ служителю и сталъ шептать ему что-то на ухо. Тотъ молча слушалъ, наклонивъ голову. Что такое говорилось въ номерѣ, лакеи не могли слышать, хотя и ушами и глазами напрягались уловить хоть что-нибудь въ замочную скважину.

Слуга таинственнаго господина вышелъ. Остальные лакеи отшатнулись отъ него, какъ отъ привидѣнія. Одинъ смѣльчакъ, который зналъ о смерти Мазепы, хотѣлъ-было заговорить съ нимъ, но тотъ былъ нѣмъ, какъ рыба. Онъ быстро сошелъ внизъ, взявъ экипажъ и приказалъ везти себя къ императорскому вице-канцлеру Шенборну.

Ключъ въ занятомъ таинственнымъ господиномъ номерѣ снова щелкнулъ.

Любопытство, напряженность лакеевъ дошли до крайней степени.

— O! das ist Menschikoff — Ataman der donischen Kozaken, — рѣшилъ образованный лакей.

Черезъ нѣсколько минутъ воротился слуга таинственнаго господина и, торопливо пройдя мимо одурѣвшихъ отъ любопытства лакеевъ, постучался въ номеръ. Замокъ щелкнулъ, потомъ опять щелкнулъ...

— Что? — послышалось въ номерѣ.

— Вице-канцлеръ ужъ раздѣтъ, но теперь одѣвается и сейчасъ самъ придетъ, — былъ торопливый отвѣтъ.

Лакеи слышали, но ничего не поняли.

— Kozakische Sprache... Donnerwetter!

Но ключъ опять щелкнулъ, дверь распахнулась — и вышелъ *самъ*... такой страшный... глаза дикіе... волосы разстрепанные... шатается...

Лакеи почтительно и съ ужасомъ разступились... „O! schrecklicher Kozak!“

„Страшный казакъ“ быстро вышелъ изъ отеля, оставивъ всѣхъ въ недоумѣніи, въ томительной неизвѣстности. Слуга его также исчезъ.

Черезъ нѣсколько минутъ, таинственный господинъ былъ уже у вице-канцлера. Тотъ не успѣлъ еще одѣться, какъ пріѣзжій былъ уже въ его кабинетъ, съ глазу на глазъ.

— Я русскій царевичъ, Алексѣй,—говорилъ пришедшій, съ нервными жестиками, съ ужасомъ озираясь по сторонамъ и не оставаясь на одномъ мѣстѣ.—Я пришелъ просить цезаря, моего свояка, о протекціи... Пусть цезарь спасетъ мнѣ жизнь... Меня хотятъ погубить, хотятъ и у меня, и у моихъ бѣдныхъ дѣтей отнять корону...

— Успокойтесь, ваше высочество,—говорилъ Шенборнъ:—вы здѣсь въ совершенной безопасности. Расскажите спокойно, въ чемъ ваше несчастіе и чего вы желаете.

— Цезарь долженъ спасти мою жизнь, обезпечить мнѣ и моимъ дѣтямъ сукцессію!—говорилъ несчастный, все болѣе и болѣе впадая въ нервный экстазъ.—Отецъ хочетъ погубить меня—отнять у меня и жизнь, и корону... А я ничѣмъ не виновать... Я ни въ чемъ не прогнѣвилъ отца... Я не дѣлалъ ему зла... Если я слабый человѣкъ, то Меншиковъ умышленно такъ воспитывалъ меня... Меня умышленно спаивали... Мое здоровье пьянствомъ разстроили...

Онъ остановился и застоналъ. Предъ нимъ всталъ образъ плачущаго ребенка... дѣвочка рыдаетъ, закрывшись рученками... Это маленькая Евфросинія... а онъ... безобразно пьянъ... отецъ... Меншиковъ... ассамблея...

— Успокойтесь, успокойтесь, ради Бога.

— Теперь отецъ говоритъ, что я не гоюсь ни къ войнѣ, ни къ правленію... Нѣтъ, нѣтъ? у меня ума довольно, чтобъ управлять... Одинъ Богъ—владыка всего, и онъ раздаетъ наслѣдства, а меня хотятъ постричь и посадить въ монастырь, чтобъ лагать жизни и сукцессіи...

Несчастный начинаетъ повторяться, путаться въ словахъ... Монастырь — клубокъ... черная ряса... клубокъ прибиваютъ гвоздемъ къ головѣ... не ряса, а саванъ... саванъ... гробъ... милый образъ Евфросиніи...

— Нѣтъ! нѣтъ! я не хочу въ монастырь! Цезарь долженъ спасти мнѣ жизнь!

Въ отчаяніи и ужасѣ онъ бѣгаетъ по комнатѣ... У него горло перехватывается, языкъ засыхаетъ. Онъ проситъ пить и, бросившись въ изнеможеніи на стулъ, кричитъ:

— Ведите меня къ цезарю! ведите сейчасъ!

Ему уже слышатся шаги отца, чудится голосъ ужаснаго Ушакова... Застѣнокъ... пытки... дыба... Фигура отца—исполнинская... лицо, это страш-

ное родительское лицо—оно искажено яростью... глаза беспощадны... Вотъ протягивается исполинская рука отца—со всѣхъ сторонъ руки изъ Пармонта, изъ Петербурга...

— Къ цезарю! къ цезарю ведите меня! спрячьте меня у цезаря!

Не легко Шенборну утишить этотъ припадокъ ужаса.

— Теперь поздно идти къ императору,—говорить онъ:—прежде надо представить его величеству правдивое и основательное изложеніе вашего дѣла... Мы ничего не слыхали того, что вы говорите относительно такого мудраго монарха, какъ вашъ родитель.

Тотъ опять начинаетъ умолять, повторять то, что говорилъ уже.

— Я ничего не сдѣлалъ отцу. Я всегда былъ ему покоренъ, ни во что не вмѣшивался... Я ослабѣлъ оттого, что меня хотѣли запоемъ до смерти...

И опять встаетъ передъ нимъ образъ плачущей дѣвочки... А надъ гробомъ она будетъ еще больше плакать...

— Постойте... дайте все припомнить... Да, прежде отецъ былъ добръ ко мнѣ—добръ... Но когда у меня пошли дѣти и моя жена умерла, тогда пошло все хуже и хуже,—особенно когда новая царица родила сына... Она съ Меншиковымъ постоянно раздражала отца противъ меня... У нихъ нѣтъ ни сердца, ни Бога, ни совѣсти... Я противъ отца ни въ чемъ не виноватъ. Я люблю и почитаю его, какъ велятъ заповѣди Божіи. Но я не хочу постригаться и отнимать права у бѣдныхъ дѣтей моихъ. А царица и Меншиковъ непремѣнно хотятъ уморить меня или въ монастырь заточить.

Онъ самъ чувствуетъ, что повторяется... Голова и память отказываются служить... Но надо все припомнить, все сказать—это предсмертная исповѣдь. Когда человѣкъ гибнетъ, онъ протестуетъ къ людямъ, къ небу, къ стѣнамъ, къ лѣсу, къ вѣтру, который колеблетъ веревку, готовую захлестнуть шею, къ топору, который занесенъ надъ нимъ.

— Я никогда не любилъ солдатчины; но когда отецъ поручалъ мнѣ управленіе, дѣло шло хорошо, и отецъ былъ доволенъ...

Нѣтъ, не то онъ хотѣтъ сказать... Передъ нимъ Меншиковъ, который, продавая пирожки, уже продалъ свою совѣсть, а потомъ продалъ сердце и Бога... Передъ нимъ мачеха ужасная—женщина съ змѣиной головой и змѣинымъ жаломъ... У нея змѣеныша... Для нихъ ей нуженъ тронъ, а онъ вырастаетъ... изъ савана... Саванъ—вотъ, что ужаснѣе всего...

— Когда пошли у меня дѣти (повторяетъ несчастный въ третій, четвертый разъ), умерла жена, а у царицы родился сынъ, меня рѣшили замучить до смерти, запоемъ на смерть...

И опять дѣвочка плачетъ... Онъ пьянъ, опоемъ до безобразія... Нѣтъ, не то онъ хотѣтъ сказать, а вотъ что:

— Я спокойно сидѣлъ дома... Отецъ принудилъ меня отказаться отъ престола, велѣлъ идти въ монастырь... А вотъ теперь пріѣхалъ курьеръ съ приказомъ—или къ отцу ѣхать, или немедленно постричься въ монахи...

Я боюсь ѣхать къ нему—ѣхать на муки, на вѣрную смерть—онъ опомтъ меня... Я не хочу въ монастырь—не хочу губить душу и тѣло... Мнѣ дали знать, чтобы я берегся отцовскаго гнѣва, что приверженцы царицы и Меншиковъ хотѣтъ отравить меня—они боятся, что отецъ становится слабъ здоровьемъ...

Нѣтъ, онъ не слабъ, онъ можетъ еще замучить сына, тысячи сыновей... Къ нему страшно ѣхать...

— Я не поѣхалъ къ отцу... Друзья присовѣтывали мнѣ ѣхать къ цезарю—цезарь мнѣ своякъ; онъ великъ, и великодушный государь; отецъ уважаетъ его... Цезарь окажетъ мнѣ покровительство... Я не могъ уйти ни къ французамъ, ни къ шведамъ—они враги отца,—а отца я не хочу гнѣвнть...

Передъ смертью все припоминается... Вспоминается и умирающая, хотя постылая, но жалкая жена, кронъ-принцесса:—умирающая она была такъ несчастна...

— Говорять, будто я дурно обходился съ женой, съ сестрою супруги цезаря... Нѣтъ, нѣтъ! Богу извѣстно—не я съ нею дурно обходился, а отецъ и мачеха—они обращались съ ней какъ съ простою дѣвкой... А она къ этому не привыкла по своей эдукаціи и сидѣно печалилась... И ее, и меня заставляли терпѣть недостатокъ, и особенно стали дурно обращаться, когда у нея пошли дѣти.

При воспоминаніи объ отцѣ, его снова бьетъ лихорадка... Ему кажется, что страшная рука съ топоромъ уже тянется къ нему...

— Я хочу къ цезарю,—кричить онъ:—цезарь не выдастъ меня, не оставитъ моихъ дѣтей, не отдастъ меня отцу... Отецъ окруженъ злыми людьми...

Вспоминаются опять эти злые люди—Меншиковъ, Ушаковъ... Вспоминаются и добрые—Кикинъ, Вяземскій, Никита Паломникъ, Фрося...

— Отецъ—злой, жестокій, свирѣпый человѣкъ... Онъ не цѣнитъ человѣческой крови. Онъ думаетъ, что, какъ Богъ, онъ имѣетъ право жизни и смерти. Онъ уже много пролилъ невинной крови. Онъ самъ налагалъ руку на несчастныхъ—казнилъ собственноручно, какъ палачъ... Онъ гнѣвивъ и мстительнъ, онъ никого не щадить... Если цезарь выдастъ меня отцу, то это все равно, что самъ меня казнить...

Онъ остановился. Онъ не могъ дольше говорить. Слова истощились, силы истощились. Онъ весь усталъ. Шенборнъ видѣлъ это и хотѣлъ навести на дѣло спугавшуюся мысль несчастнаго.

— Неудовольствіе между отцомъ и сыномъ—дѣло щекотливое,—сказать онъ мягко. — Я нахожу, что вы поступите благоразумнѣе, если, для избѣжанія толковъ въ свѣтѣ, не будете требовать свиданія съ ихъ величествами, а предоставите оказать вамъ явную или тайную помощь и найти средства примирить васъ съ родителемъ.

— Нѣтъ, нѣтъ! примирить меня съ отцомъ невозможно? Если отецъ и будетъ ко мнѣ добръ, то мачеха и Меншиковъ уморятъ меня оскорбле-

ниями или опять ядомъ... Отецъ пощадить—такъ эти докопають... Нѣтъ, пусть цезарь позволить жить у него—либо открыто, либо тайно.

Шенборнъ общалъ утромъ же доложить обо всемъ императору и просилъ спокойно выжидать его отвѣта.

Къ утру уже почти воротился царевичъ въ свой отель въ Леопольдштадтѣ. Онъ смотрѣлъ усталымъ, разбитымъ, но нѣсколько успокоеннымъ. Евфросинія ожидала его. Тихо пройдя въ ея комнату, онъ нашелъ ее стоящею на колѣняхъ передъ складнымъ распятіемъ. Она молилась. На ней было легкое пажеское одѣяніе, только безъ верхняго плаща; длинные бѣлые волосы были перевязаны черной лентой.

Увидѣвъ ее, Алексѣй Петровичъ остановился и тихо, съ умиленіемъ, проговорилъ: „Ангелъ-хранитель мой молится за меня“.

Евфросинія встала и подошла къ нему. Глаза ея были заплаканы.

— Что, царевичъ? какія вѣсти?

Алексѣй поцѣловалъ ее въ лобъ и нѣсколько секундъ глядѣлъ молча въ ея глаза.

— Если бъ я и тамъ глядѣлъ въ эти глаза, у меня было бы больше силы,—сказалъ онъ, думая о чемъ-то.

— Видѣлъ цезаря?—спросила дѣвушка.

— Нѣтъ, цезаря не видалъ—поздно было... Вице-канцлера видѣлъ...

• Онъ утромъ доложить цезарю... Общаетъ протекцію...

— Одного боюсь...—сказала дѣвушка, сильно покраснѣвъ.

— Чего, голубица моя чистая?

И онъ гладилъ ея голову, все какъ будто что-то припоминая.

— Чего боишься ты?

— Чтобъ она не провѣдала...

— Кто мой другъ?

— Жена цезаря, царевичъ.

— Почему же ты ее боишься, голубушка?

— Она... сестра... если она узнаетъ...

— Да скажи же, скажи—что узнаетъ?

— Она сестра покойной кровнѣ-принцессы... Если она провѣдаетъ, что я здѣсь, она, печалуясь за покойную сестру, противъ меня гнѣвъ держать станетъ.

— Нѣтъ, она не узнаетъ — никто не узнаетъ... Я тебя укрою отъ всѣхъ... Она не отниметъ тебя, нѣтъ, нѣтъ я скорѣй самъ умру, чѣмъ съ тобою разлучусь, мое солнышко, мой свѣтакъ ясный!

И онъ, схвативъ руки дѣвушки, прижалъ ихъ къ своей головѣ. — „Вонъ какъ горитъ—полымя тамъ...“

— Царевичъ! тебѣ надо успокоиться, уснуть—завтра дѣло будетъ, — говорила Евфросинія.

Онъ цѣловалъ ея руки. Но когда хотѣлъ обнять ее, она тако освободилась...

— Царевичъ... братъ мой... ты общалъ мнѣ... будемъ же какъ братъ и сестра...

Алексѣй что-то хотѣлъ сказать — и заплакалъ: нервы его были долго напряжены; на душу долго былъ наваленъ тяжелый камень; теперь онъ какъ будто отвалился немного и далъ мѣсто слезамъ.

— Да, да... твоя правда... ты сестра моя... ангель-хранитель мой,— шепталъ онъ.

— Алеша, царевичъ мой! успокойся—поди помолись и усни.

Плачущаго и покорнаго, она тихо провела его въ другую комнату, гдѣ ихъ встрѣтилъ камердинеръ царевича, неразлучный спутникъ его Иванъ Большой-Авданаевъ, три раза перекрестила его и сдала на руки этому послѣднему. Сама же, воротившись въ свой номеръ, заперлась на ключъ, и тутъ только освободила себя отъ непривычнаго, тѣснаго и неудобнаго пажекаго одѣянія.

Въ первый разъ послѣ выѣзда изъ Петербурга она здѣсь, въ Вѣнѣ, уснула спокойно.

Лежитъ она, разметавшись среди бѣлыхъ, какъ снѣгъ, подушекъ, — и сама она такая бѣлая, нѣжная. И видится ей чуждый сонъ. Видится ей, что летитъ она надъ землею, подъ теплымъ, ласковымъ солнцемъ, и такъ легко летится, такъ легко ея тѣло. И видится, и слышится ей то, что она недавно съ такимъ умиленіемъ слышала отъ странника божія, отъ Никитушки Паломника — и птички-то божьи въ зеленыхъ дубравушкахъ и по рощицамъ поютъ, и цвѣточки-то въ поляхъ — кринь сельные—цвѣтутъ и ручеечки эти по травушкѣ да по камушкамъ хвалу Господу звенять, и травушка эта, зеленая муравушка, къ небу отъ земли тянется, и сердечушко-то ея аки свѣточка восковая теплится и таетъ, таетъ, таетъ... И пролетаетъ она надъ Москвой бѣлокаменной, надъ церквами золотоверхими... И Господи Боже мой! сколько звону колокольнаго слышитъ она—сорокъ сороковъ церквей поперебой звонятъ, тысячами языковъ мѣдныхъ, тысячами глотокъ серебряныхъ поютъ-славословятъ, кричатъ радостно до самаго неба! И видитъ она—вся Москва колышится—старъ и малъ, богатый и бѣдный, попы и бояре, посадскіе люди и гости — все это разноцвѣтнымъ моремъ переливается по Кремлю и около Кремля. И вѣютъ по аеру тысячи хоругвей, тысячи крестовъ и иконъ блестятъ и горятъ аки жаръ золотыми окладами да узорчюю всякою. И видитъ она на Красной площади сонмъ святителей — владыка патріархъ и митрополиты, архіепископы, епископы, іереи, и весь освященный соборъ, златыми ризами блистающъ... И посреди сонма сгнателей на царскомъ возвышеніи, въ царскихъ ризахъ и въ царскомъ вѣнцѣ стоитъ ея другъ сердечный Алешевъ-царевичъ младъ, а около него стоитъ млада Афросинюшка... И отъ умиленія заплакала она сладкими, сладкими слезами, а заплакавши млада—проснулась.

X.

Царевичъ въ Неаполѣ.

Когда исчезъ царевичъ и никто даже самъ царь и его приближенные не знали, куда онъ дѣвался, по Россіи стали ходить странные, одинъ другого невѣроятнѣе слухи. Говорили, что онъ бѣжалъ отъ отца къ султану турецкому, и что султанъ по этому случаю объявляетъ Россіи войну. Рассказывали, что турецкіе странники узнали его въ числѣ прочихъ монаховъ на Афонѣ. Бабы-богомолки увѣряли, что сами, своими глазами, видѣли батюшку-царевича-млада во кіевскихъ во темныхъ пещерахъ, во келейкѣ убогой, за желѣзною за рѣшеткой: „въ схимѣ батюшку царевича видѣли, а на этой на самой на схимѣ, matka моя, смерть написана—ребры голыя, а въ рукахъ коса косецкая... сама, своими глазаньками видала... а царевичъ-отъ батюшка слезно молится...“ Слухи ходили, что „ушелъ онъ во градъ Ерусалимъ, на Ериховъ-гору, къ самому какъ есть пупу земли, а на самомъ на томъ пупѣ земли пещерушка мала ериховская съ единымъ оконцемъ, а въ той во пещерушкѣ странничекъ младъ—онъ и есть, мать моя, царевичъ Алексѣй Петровичъ: молится — коли, говоритъ, пещерушка ериховская вся наполнится моими горючими слезами, тогда переставленья свѣта не будетъ, а коли не наполнится — будетъ тогда и свѣту переставленья“. Были и такія фантазерки бабы,—и все больше бабы, виновницы созданія всякихъ легендъ,—которыя утверждали: „сама-де, мать моя, видѣла его, царевича Лексѣй Петровича, какъ онъ, батюшка, ходитъ и милостинку проситъ,—и сама я, мать моя, подала ему яничко—Господь удостоилъ...“

Когда эти слухи были въ самомъ разгарѣ, переносились, словно на сорочьихъ хвостахъ, съ ярмарки на ярмарку, съ базара на базаръ, изъ села въ село, и такимъ же путемъ дошли до Левина, который все еще находился на постоѣ въ Харьковѣ. Однажды, вечеромъ, лѣтомъ 1717 года, къ нему зашелъ странничекъ, знакомый и ему, и намъ Никитушка Паломникъ, котораго, впрочемъ, Левинъ зналъ подъ именемъ старца Варсонофія. Онъ былъ, по обыкновенію, съ дорожной котомкой за плечами и съ длиннымъ посохомъ въ рукахъ.

— Откуда Богъ несетъ, старче?—спросилъ Левинъ.

— Изъ Бара-града, батюшка, отъ нетлѣнныхъ мощей угодника Никола чудотворца, изъ самой италійской земли.

— О! далеко же ты былъ, старче божій,—замѣтилъ Левинъ.

— Далеконько, далеконько, батюшка. Для насъ-то оно, для худыхъ ногъ нашихъ далеко, а для Господа-то близко. Для Господа и я трудился.

— Ну и много хорошаго, поди, видалъ, много чудесъ слышалъ?

— Много, много. Всего-то, что видѣли глаза мои старые, всего-то этого и память моя худая вмѣститъ не можетъ, и языку моему косному, нелѣтъ есть глаголати.

— Да и у насъ тутъ не мало чудесъ совершилось,—сказалъ Левинъ:—вотъ хоть бы о томъ сказать—говорятъ, будто царевичъ Алексѣй Петровичъ пропалъ безъ вѣсти, будто видѣли его въ Ерусалимѣ и на Аѳонѣ. Чего-чего не говорятъ! И всѣ жалѣють царевича.

— Такъ, такъ, батюшка. Только слухамъ-то этимъ вѣры давать нельзя. А что государя царевича всѣ жалѣють и всѣ его любятъ, окромѣ враговъ земли руссiйской, такъ это суцiя правда. И вотъ ради-то этой любви всероссiйской, его и спасетъ Господь и укроетъ подъ покровомъ своимъ.

— Гдѣ жъ онъ? Что слышно о немъ?

— Что слышно о немъ-то? Имѣя уши слышати—да слышитъ, имѣя разумъ разумѣти—да разумѣетъ... А я тебѣ, какъ благочестивому человѣку, вотъ что повѣдаю за тайну великую: я самъ видѣлъ царевича здрава и невредима.

— Какъ? гдѣ?

— Слушай, сынъ мой. Когда это пропалъ государь царевичъ, далъ я себѣ обѣтъ сходить къ угоднику, Николаю, мирликійскому чудотворцу, не откроетъ ли онъ мнѣ, батюшка, въ видѣнiи ночномъ, въ тонцѣ снѣ не повѣдаетъ ли, гдѣ мнѣ искать свѣта-царевича. И пошелъ я нынѣ раннею весною въ путь далекій. И Боже мой милостивый! какіе страны и грады привелъ меня Господь увидѣть, какіе языцы услышать—того и рассказать нельзя... Пошелъ я, сынъ мой, чрезъ Кіевъ-градъ, очистилъ стопы мои грѣшныя о слѣды святыхъ стопъ подвижниковъ печерскихъ и направилъ оттуда путь мой на градъ Львовъ, въ цесарской землѣ. Иду это себѣ и день и ночь, иду, и только вѣтерокъ божій главу мою грѣшную лобызаетъ, волосами моими сѣдыми да бородою повѣваетъ. И таково это хорошо кругомъ въ пустыняхъ прекрасныхъ—птица это стенная пролетитъ, орелъ надъ тобою широкими крылами взмоетъ, жавороночекъ въ небѣ прощечечетъ,—ну, и все будто не одинъ идешь, со пустынею разговариваешь... А то горы высокія, каменные, лѣса по нимъ главу свою къ небесамъ поднимаютъ, а тамъ веси и грады всякіе—чего-чего нѣтъ! И дошелъ я до Львова-града—городъ необычной, нарочито невеличекъ, а все въ ономъ чисто и изрядно, а языкомъ говорятъ малороссiйскимъ, какъ и въ Кіевѣ, и образомъ люди походятъ на черкасскихъ людей, и малыя дѣти босикомъ ходятъ, какъ и у насъ, а землю пашутъ не по нашему. А далѣе идучи къ Вѣнѣ-граду великому да къ веницейской землѣ, попадаютъ словенскіе языцы, а разумѣти ихъ неудобъ есть, токмо ежели скажешь церковною книжною рѣчью, и тогда удобѣе разумѣють оныя хорваты, и сербы, и илирцы... Вреду это я себѣ, старая ворона, и вуждѣшки мнѣ нѣту, потому—мѣста тамъ теплыя, а люди добрые, такъ оно и не холодно, и не голодно. Въ Вѣнѣ-градѣ церкви все латинскія, а люди нѣмецкіе; а которые мужики, сказать бы, простой народъ, что побѣднѣе, такъ тѣ словенскаго роду, народъ черно-мазъ гораздо. А въ Венецѣ, градѣ народъ италійской—голосистъ гораздо и всякія бѣсовскія пѣсни пѣтъ гораздо же. Ъзда же по граду Венецѣ бываетъ водой, въ лодочкахъ малыхъ, гондолами называются. А коня тамъ

ни единого не увидишь, токмо на нѣкоей большой площади поставлены для примѣру кони мѣдяны, и кумиры бѣсовскіе, идолы мраморны, въ образѣ голыхъ бабъ и мужиковъ, и онымъ поклоняются. А въ Римѣ-градѣ папезъ живетъ—брить, стриженъ и бѣсовскій табакъ нюхаетъ, и съ онымъ табашнымъ носомъ божественную мшу совершаетъ. А Неаполь-градъ тепелъ аки баня, населенъ больше цыганами. Народъ черенъ и черноволосъ и кудрявъ, аки арапинъ — лазарономъ прозывается: голъ и безстыжъ—почитай что нагишомъ, безъ рубахи и портовъ по улицамъ валяется, потому что тепло, и апельцины жретъ. А живетъ тамъ цесаревъ вице-король, сказать бы приказчикъ, либо воевода, Дауномъ называется. И былъ со мной въ Неаполь-градъ таковъ случай. Прихожу я къ морю корабли посмотришь да грѣшнымъ дѣломъ выкупаться, потому—дуже жарко. Подхожу я одинъ къ берегу и абіе слышу знакомую пѣсню, руссійскую. „Святъ-святъ-святъ!—думаю—уже не бѣсовское ли навожденіе?“ Прислушиваюсь, а самъ творю крестное знаменіе. Нѣтъ, все та же пѣсня, такъ вотъ по морю и разливаются голоса:

Во полѣ березынька стояла,
Во полѣ кудрявая стояла.

„Что за пропасть!“ — думаю. Стою и слушаю. И вотъ теперь какую Господу Богу: хоть и грѣховная это пѣсня — скомрахамъ и мужикамъ подобаетъ оную пѣсню воспретить пѣть,—а я стою и слушаю. Да таково сердце-то мое растопилось, воспоминаючи о святой Руси, что я слушаю-слушаю, а слезы у стараго дурака на италійскую чужую землю капъ-капъ-капъ... И что жъ оказывается? Подплываетъ это къ берегу лодка. Въ ней сидятъ на веслахъ младые люди въ матросскихъ курткахъ, въ такихъ, какъ вотъ и у насъ въ Питерѣ матросы ходятъ. Слышу—говорятъ по-русскіи и скверными словами бранятъ Меншикова, а особливо Савву Рагузинскаго. „Чортъ его возьми, говорятъ, завезъ насъ въ эту проклятую землю, и ни платья, ни раціоновъ не выдаетъ — хоть съ голоду помирай. Что и царь-то смотреть? Да что—говорятъ — царь: онъ и сына-то своего изморомъ морилъ, такъ что и тотъ бѣжалъ за море“. „Ну, думаю, это нашего сукна епанча—на нашей сопѣли и голосъ подаетъ: аукнуться-де можно“. Высаживаются на берегъ. Я къ нимъ. „Здравствуйте, говорю, добрые молодцы, а какъ зовутъ и по отчеству величаютъ — не вѣдаю“. Такъ и опѣшили молодцы.—„Здравствуй, говорятъ, дѣдушка! Кто ты-де, отколь и куда-де Богъ несетъ?“—„Странничекъ, говорю; старыи-де воронъ—вонъ куда-де свои старыя кости занесъ“.—Смѣются, рады покалякать съ землякомъ. „А вы-де, говорю, добрые молодцы, дѣла пытаете, аль отъ дѣла лытаете?“—„Нѣту, говорятъ, дѣдушка,—мы-де ни дѣла не пытаемъ, ни отъ дѣла не лытаемъ, а горе мычемъ на чужой сторонѣ: мы-де царскіе навигаторы, посланы царемъ въ иноземные города въ науку — морское навигаторское дѣло изучать. А эта-де навигаторская наука—сушая мука. Раціоновъ намъ не шлютъ, голодомъ морятъ и домой возвращаться не велятъ. Хоть въ петлю-де такъ впору. Этотъ-де злодѣй Савва Рагузинскій, коему насъ царь

препоручилъ, совѣмъ насъ кинулъ“. А одинъ изъ нихъ и говоритъ: „я-де хочу на Аeonъ бѣжать, въ монахи тамъ постригусь“. — „Благое дѣло,— говорю;—а самъ-де ты кто же будешь?“ — „Я де, говоритъ, сынъ боярина князя Андрея Петровича Прозоровскаго, Михайла, навигаторъ“. — Кто жъ-де, говорю, твоего родителя не знаетъ на Руси—человѣкъ мѣтвой, говорю, стараго роду“.

— Знаю и я князя Прозоровскаго,—сказалъ Левинъ, все время молчавшій и слушавшій рассказъ старика:—и сына его Михайлу знаывалъ. Хорошіе люди... Ну, рассказывай.

— Ладно,—продолжалъ старикъ.—„А что-де, говорятъ, на матушкѣ на Руси новѣ подѣлывается? Мы-де тутъ по ней истосковались—сохнемъ.— „Да на Руси, говорю, не ладно что-то: все тѣ же затѣйныя дѣла дѣлаются—отъ Меншикова, говорю, житя нѣтъ, а у Андрея же Иваныча Ушакова по горло дѣла: его-де монастырь, говорю, всегда полонъ братіи—одного-де, говорю, рясофоруетъ—въ кандалы забиваетъ да въ каменные мѣшки сажаетъ, другого-де хиротонисаетъ—руки на дыбѣ выламываетъ; третьего-де, говорю, совѣмъ постригаетъ—голову топоромъ съ плечъ вмѣстѣ съ волосами снимаетъ“. — Хохочутъ, за бока берутся—знамо, молодость.— „Да ты, говорятъ, дѣдушка, преселый-де“. — „Весель, говорю, дѣтшки, потому-де, что далеко отъ Андрей Иваныча; а дома какъ разъ въ *бѣдность* бы потащили; оттого на Руси нынѣ народъ и сталъ все степенный“. — Смѣются.— „А что-де, говорятъ, подѣлывается сенаторушка Гаврило Ивановичъ Головкинъ, князь Григорій Ѳедоровичъ Долгоруковъ, Яковъ-де Вилимовичъ Брюсъ, Петръ-де Шафировъ да Ягужинскій?“ — „Пошпыгиваютъ-де, говорю, по царской дудкѣ... Какъ крикнетъ-де на нихъ самъ-отъ: „Господа-де сенатъ! видали-де вы сію дубинку, коею-де я надъ вами знатную викторію учиню?“—такъ господа-де сенатъ и пшутъ: „слушали-де и приговорили: черное-де считать бѣлымъ, бѣлое—чернымъ, невиннаго-де казнить, виновнаго-де наградить, трехъ Матренъ въ матросы отдать, а Луку съ Петромъ въ Рогервикъ сослать“. —Еще пуще хохочутъ.

Да и Левинъ не выдержалъ — онъ тоже смѣялся, несмотря на свою постоянную меланхолію.

Ѳ Да ты, старче божій, и впрямъ большой потѣшникъ,—сказалъ онъ.—Ну, что жъ дальше-то было?

— Да много кой-чего было, сынъ мой. Вотъ эти молодые выюноши навигаторы и спрашиваютъ: „А скажи-де намъ, дѣдушка, что царевичъ подѣлывается?“ — „Что-де, говорю, онъ подѣлывается—то мнѣ невѣдомо; а что-де подѣлывалъ — вѣдомо. Приходить къ нему въ нѣкое время князь Меншиковъ, а царевичъ и вопрошаетъ: „Что-де новаго, свѣтлѣйшій, ваши сенаты пишутъ?“ А онъ и говоритъ: „Пашквильное-де подметное письмо, царевичъ, сенаты получили, а въ ономъ пашквилѣ прописано: „повеже-де козлы, носящіе богомерзкія брады, и ихъ жены—козы, ходящія въ россійскомъ одѣяніи, сирѣчь нагипемъ, поелику россійскимъ людямъ портовъ шить стало не на что,—тѣмъ самымъ являются ослушниками царскихъ

указовъ о французіи и ношеніи не указнаго платья, то да повелѣно будетъ какъ осудившимъ-де розыскъ учинить и по сыску-де козловъ кнутъ бить, жидри у оныхъ рвать и въ ассамблею послать, а козъ въ ~~нѣмцкомъ~~ платье одѣть и при дворѣ онымъ жить повелѣть“. „Такъ ~~нѣмцко-де~~ подметчика сыскать и жестокой казни предать“.—Опять смѣются ~~жиди казнителы~~.— „А мы-де слышали, говорятъ, дѣдушка, что царевичъ ~~скажалъ~~“.— „Такъ-то, такъ, говорю: это правда, что безъ вѣсти пропалъ“.— „А тутъ-де, говорятъ, въ городѣ болтають, якобы-де онъ живетъ здѣсь тайно и его-де якобы самъ вице-король Даунъ скрываетъ вонъ въ томъ замкѣ, ~~Сентъ-Альмо~~ называется, что стоитъ вонъ на той высокой горѣ“. И показали мнѣ эту гору. Признаюсь тебѣ, сынъ мой: отъ оныхъ ихъ словъ у меня словно ознобъ по тѣлу пошелъ, и просвѣтленіе разуму сдѣлалось. „Ну, думаю, это, можетъ быть, батюшка Никола, мирликійскій чудотворецъ, мнѣ грѣшному знаменіе посылаетъ за трудъ мой, что я во имя его, угодника, потрудились, и хотя-де еще не дошелъ до Бара-града и не обლობызалъ грѣшными устами моими раки его свѣтительской, иначе онъ, по велицей милости своей, меня грѣшнаго не оставяетъ“.

Старикъ замолчалъ и задумался. Левинъ тоже молчалъ. Мысль его въ это время почему-то перенеслась въ Кіевъ, туда, къ берегу Днѣпра, гдѣ въ послѣдній вечеръ онъ слышалъ пѣсню, тоскливая мелодія которой какъ-то въѣлась въ его душу, въ нервы:

Ой гаю мій, гаю, великій розмаю,
Упустили соколонька, та вже й не піймаю...

И изъ тумана прошлаго передъ нимъ выступило милое лицо, которое онъ не могъ забыть—и эти плачущіе, сѣрые, какъ шкурка змѣи, и ласковые, какъ у его умершей матери, глаза, и вся эта прелестная, украшенная цвѣтами, сизоволосая, какъ вороново крыло, головка, и нитки коралловъ на бѣлой расшитой рубашкѣ... „Оксанко! Оксанко! де ты?“ — Нѣтъ Оксанки, съѣла проклятая доля...

Онъ опомнился. Старикъ грустно смотрѣлъ на него.

— Разсказывай же, дѣдушка, что дальше было,—осилилъ себя Левинъ.

— Такъ я, другъ мой, цѣлый день прохороводился тогда съ ребятами, съ навигаторами-то. Водили это они меня по городу, по церквамъ по тамошнимъ. Завели и въ домъ нѣкій, аки бы въ гости, но не къ себѣ, а такъ, къ примѣру сказать, какъ бы въ нашъ кабакъ,—только это не кабакъ, а мѣсто чистое, изрядное, словно бы наша ассамблея, какъ я слыхивалъ, —и угостили они меня тамъ, дай имъ Богъ здоровья, рыбкою и овощемъ разнымъ, презряднымъ. „Землячку-де сильно ради“, говорятъ. А на прощаньи велѣли кланяться родной сторонущкѣ, а Прозоровской-то князь, вьюношъ, такъ плакалъ, провожаячи меня. „Коли не птичкой, говорить, горькою кукушечкой прилечу на родиму сторонущку, такъ хоть въ рясі черной: отъ міра-де, говорить, откажусь, свѣтъ себѣ завяжу, на святой Руси, говорить, побываю“. Жалко мнѣ его стало.

— На другой день (продолжалъ старикъ послѣ небольшой остановки), чуть свѣтъ, побрелъ я на ту гору, что показали мнѣ навигаторы. Съ горы этой весь Неаполь-градъ—какъ на ладонкѣ. Вотъ и подхожу я къ самому къ замку—вижу, часовые стоять у воротъ. Я прошелъ сторонкой въ обходъ, такъ что часовымъ меня не видно стало, обошелъ замокъ, да на одномъ пригорочкѣ, на камушкѣ, и сѣлъ лицомъ къ замку же. А въ ту сторону, гдѣ я сидѣлъ, въ высокой-превысокой стѣнѣ были окна малыя, за желѣзными рѣштинами. Вотъ сѣлъ я, старый песъ, и сижу. Море это синее раскинулося внизу—и конца-краю ему нѣту, а тамъ гора высокая, острая, аки скуфья, и изъ оной горы дымъ идетъ, словно бы въ оной горѣ, подъ землею, самый адъ находился, а изъ аду-то, отъ смолы испущія смрадный дымъ подымается. Чудно таково и ужаса исполнено видѣніе горы оной. Сидѣлъ я, сидѣлъ, да и запѣлъ „стихъ преболѣзненнаго воспоминанія“, что въ пустыняхъ отшельники поютъ:

По грѣхѣмъ нашимъ на нашу страну
Попусти Богъ бѣду такую:
Облакъ темный всюду осяни,
Небо и воздухъ мракомъ потемни,
Солнце въ небесахъ скры своя лучи
И луна въ ночи свѣтлость помрачи.

— Пою это я, старый, коли гляжу, кто-то изъ замка въ оконце на меня смотреть. И, Господи! такъ сердце у меня и упало: въ оконце-то на меня смотрѣлъ Большой-Аванасевъ, Иванъ, слуга царевича Алексѣя Петровича. Я кивнулъ ему головой, и онъ скрылся. Помедля мало, вижу: Боже ты мой праведный! словно солнышко въ оконце-то глянуло... Я такъ и обмеръ отъ радости, и осянилъ себя крестнымъ знаменемъ и оконце осянилъ: въ оконце-то глядѣло не солнышко, а свѣтлое личико самой Афросинюшки...

— Кто жъ эга Афросинюшка?—спросилъ съ удивленіемъ Левинъ.

— Невѣста царевича Ефросинья Федоровна.

— Какого-же она роду? Чьихъ она?

— Она, надо такъ сказать, приѣмущка князя Вяземскаго, Никифора, учителя царевичева. Ангелъ, а не дѣвица: и богобоязненная, и разумница, и чистотою дѣвическою блистаетъ аки кринъ сельный. Не будь ея, царевичъ давно бы спился съ горя да отъ ласкъ батюшкиныхъ: у батюшки, вить, кто не пьетъ, тотъ и за человѣка не слыветъ, а кто мертвую пьетъ, то и въ рангъ идегъ... Такъ вотъ, какъ глянула на меня изъ оконца Афросинюшка, такъ у меня, стараго, нда слезы радостныя изъ очей полилися на италійскую на землю. А самъ я сижу, да крестныя знаменія творю... Около аду-то ангела нашель!

— По малому времени (продолжать рассказчикъ) вижу—идетъ ко мнѣ Аванасевъ-Большой.—„Здравствуй, говорить, дѣдушка! Откуда-де и какъ?“—„Изъ Питербурха-де, говорю,—только отъ Москвы поклонъ привезъ.“—„Такъ види, говорить, на очи къ царевичу: онъ-де тебя требуетъ“.

Пошли мы. А я иду, и ноги у меня дрожать: тысячи версть прошли—не дрожали, а тутъ, на поди! дрожма дрожать. Ввелъ это онъ меня въ ворота, мимо часовыхъ—тѣ дали дорогу. Прошли черезъ дворъ. Входимъ въ самыя палаты. Откуда ни возьмись, выбѣгаетъ Афросинюшка, да не во образѣ дѣвицы, а во образѣ вьюноши—въ курточкѣ распашной и въ штанишкахъ узенькихъ. Я такъ и ахнулъ, даже попытлся назадъ аки изумленный. А она, голубушка, застыдилась, щечки-то вспыхнули, а сама комнѣ ручки протягиваетъ и говорить таково ласково: „ты не узналъ меня дѣдушка?“ А я, старый песь, и разрюмился. „Дитятко мое, говорю, ластушка свѣтлая! какъ не узнать тебя? Другой такой у Господа нѣтъ“. А она обнимаетъ меня, пса смердящаго, и сама заплакала. Такъ тутъ ужъ я и не знаю, что было со мной.

Говоря это, старикъ отиралъ слезы.

— А тутъ вышелъ и царевичъ,—продолжалъ онъ:—съ лица-то поправился, повеселѣлъ—совсѣмъ молодецъ молодцомъ вдали-то отъ батюшкинаго глазу. Батюшкинъ-то глазокъ сушить... Обрадовался мнѣ и царевичъ. „Ласточка, говорить, съ родной стороны прилетѣла“. — „Собака, говорю, государь, старая съ родной сторонюшки“. Пришелъ и братецъ Афрасинюшкинъ—Иванъ. Онъ тоже съ ними уѣхалъ изъ российской земли. — Поразспросили они меня — что и какъ дома. Я рассказалъ. Дивились, какъ я нашелъ ихъ. „Персть божій“,—говорять. „Только вотъ страшно,—говоритъ царевичъ:—какъ бы слухи, что болтають навигаторы, не дошли до батюшки—тогда пропали мы“.

Левинъ слушалъ разсѣянно. Образъ Евфросиньи снова вызвалъ въ его наболѣвшей памяти другой образъ...

Ой гаю мій, гаю, великій розмаю!

Слова эти слышались гдѣ-то въ мозгу. И голосъ пѣсни слышался въ душѣ, только это былъ голосъ той, которой онъ уже никогда не услышитъ...

О! мимо! мимо!... Такъ можно изойти слезами...

Левинъ долженъ былъ сдѣлать надъ собой громадное усиліе, чтобъ вслушаться и понять то, что говорилъ старикъ. А старикъ говорилъ:

— Поживъ у нихъ мало время, я направилъ стопы моя въ Варьградъ. И на пути бысть мнѣ видѣніе: срѣтоста ми два бѣса—еднѣ во образѣ мурина, другой же во образѣ жены плясавицы...

Мысль Левина опять потеряла нить разсказа. Въ его душѣ были растрavляющіе память звуки:

Ой гаю мій, гаю, великій розмаю!

XI.

Ассамблея у Меншинова.

Передъ нами до сихъ поръ проходили лица изъ тѣхъ сферъ петровской Руси, гдѣ образы стараго склада русской жизни живучими рефлек-

сами коренились еще въ умахъ, привычкахъ и исторически-унаслѣдованномъ отъ предковъ мировоззрѣніи и гдѣ отживавшіе и вырождавшіеся идеалы не могли еще вылиться въ новые, хотя сколько-нибудь ясные и цѣльные образы. Въ этомъ обширномъ морѣ старины глухо, словно волны, перекатывалось недовольство; но эти грозныя волны были безсильны захлестнуть тотъ стойкій, могучій ботъ, который велъ на буксирѣ всю глухостонущую Русь. Правда, старые идеалы были еще такъ же могучи, какъ и тотъ историческій ботъ, объ который хлестались волны стонущей, недовольной Руси; но они покоились на невѣжествѣ массъ, на спинахъ, правда могучихъ, но все-таки на спинахъ слѣпотствующаго доселѣ народа. А образы новыхъ идеаловъ у стонущей недовольствомъ Руси еще не очерчивались въ безпросвѣтномъ мракѣ. Царевичъ, Евфросинія, Кикинъ, Вяземскій, Никитушка Паломничекъ, некрасовецъ и калика переходжій Бурсакъ, Левинъ, навигаторъ князь Прозоровскій—все это какъ бы нервами чувствовало, что жизнь не такъ бы должна идти; съ ними заодно чувствовала и необозримая сѣрая масса, чуждая, что ее, какъ и заповѣдныя рощи, „пятнать“, „клеимить“ скоро будутъ... но — „ничего не подѣлаешь“... Оставалось терпѣть, страдать, и страданіе становится цѣлью, идеаломъ!

Теперь передъ нами пройдутъ другія лица изъ того петровскаго сумрака, въ которомъ даже не разберешь, изъ этихъ-ли темныхъ угловъ свѣтитъ что-то болѣе симпатичнымъ свѣтомъ, изъ угловъ, гдѣ царилъ страхъ и страданіе, или съ бортовъ того могучаго бота, который слишкомъ прямолинейно тащилъ къ своему маяку сѣрую массу, не думая о томъ, что она вся изобьется о подводные камни, шхеры, мели. А надо было тащить, надо, пора... давно пора!.. Передъ нами должны пройти лица иного закала, лица, сидѣвшія на самомъ историческомъ ботѣ русской жизни, уснащавшія его новыми снастями, державшія парусъ, цѣплявшіяся за мачты, рей... У этихъ не тѣ идеалы, да это и не идеалы, а осязательныя реальности, за которыя можно было ухватиться и подняться высоко, до верха мачты. Это—дѣльцы, взбравшіеся на мачту и часто ломавшіе себѣ шею.

Вотъ они почти всѣ налицо или, по крайней мѣрѣ, наиболѣе выдающіеся профили нѣкоторыхъ изъ нихъ—вотъ они собрались на одной изъ первыхъ ассамблей, устроенной по повелѣнію царя. Хотя указъ объ ассамблеяхъ изданъ Петромъ 26-го ноября 1718 года, но самыя ассамблеи существовали уже раньше закона о нихъ,—закона, опредѣлявшаго для нихъ извѣстныя правила, часы собраній и пр. и повелѣвавшаго, чтобы собранія назначались поочередно то у того, то у другого знатнаго лица.

На этотъ разъ — ассамблея у Меншикова. Залы блестятъ убранствомъ, яркостью украшеній, богатымъ освѣщеніемъ и нарядами обоего пола знатныхъ персонъ. Уже одинъ говоръ толпы, летучія выраженія и отдѣльныя слова изобличаютъ, что здѣсь доминирующая нота звучитъ въ устахъ „новыхъ людей“, которые старались выказать свою европейскую „эдукацію“. Старое, непривычное ухо такъ и бьетъ модныя слова — „баталіи“,

„викторіа“, „навигація“, „протекція“, „кондиція“, „сукцессія“, „акциденція“, „ассекурація“ и „авантажи“, „авантажи“, „авантажи“ безъ конца. Но тутъ же, рядомъ съ „авантажами“, старый слухъ ласкають допетровскіе звуки, допетровскіе взгляды и выраженія: „Ахъ, мать моя!“— „Касатикъ мой!“— „Княжна Авдотьюшка“. — „Ахъ, эта дѣвка Марьюшка такой раритетъ!“ и т. д., и т. д. „Гварнизоны“, „фендрики“, „оберштеръ-кригскоммиссары“, „обербергъ-гауптманы“, „духтгаузы“, „шпингаузы“, „артикулы“, „акціи“ (не наши акціи, конечно), „эзерциции“, „салютаціи“— все это словно соль пересыпаетъ дѣловую рѣчь, звучитъ смѣло, авторитетно.

— Ахъ, эта дѣвка Марьюшка Гаментова—какой раритетъ?—восклицаетъ красивая женщина съ опахаломъ, сидящая недалеко отъ царицы Екатерины Алексѣевны, около которой сгруппировались придворныя дамы—которая съ рукодѣлемъ, которая просто съ опахаломъ.

Восклицаніе это вызвано было появленіемъ особы, которая была дѣйствительно тогдашнимъ „раритетомъ“.

Это была фрейлина Гамилътонъ, блиставшая въ то время при дворѣ и затмѣвавшая своей красотой знатныхъ красавицъ своего времени—двухъ Головкиныхъ, княгиню Черкасскую и Измайлову. Фрейлинъ тогда называли „дѣвками“, попросту еще, по-старинному, и потому восклицаніе о „дѣвкѣ Марьюшкѣ“ было весьма естественно въ устахъ придворныхъ дамъ. Та изъ нихъ, которая назвала Марьюшку „раритетомъ“, была въ своемъ родѣ тоже раритетъ и представляла собою придворное свѣтило первой величины, хотя сомнительнаго блеска. Это была знаменитая Матрена Ивановна Балкъ или, какъ ее обыкновенно называли, Балкша. Она происходила изъ рода Монсовъ и была старшею сестрою Анны Монсъ или Аннушки Монцовой, изюземки, дочери виноторговца,—той дѣвушки, изъ любви къ которой Петръ особенно усердно поворачивалъ старую Русь лицомъ къ западу, и поворачивалъ такъ круто, что Россія доселѣ остается немножко кривошейкою.

— Ахъ, по чести сказать—весьма прекрасна,—повторила она.

Дѣвушка въ самомъ дѣлѣ была прелестна. Въ ней было что-то гордое, мраморное, и оттого самая красота ея казалась холодною. Она ступала медленно, увѣренно, какъ бы чувствуя себя на выставкѣ, такъ какъ на самомъ дѣлѣ взоры присутствовавшихъ невольно останавливались на ней чаще, чѣмъ на другихъ, а она какъ бы старалась отразить эти взоры своимъ спокойствіемъ и сдержанностью. Отдавъ подлежащія респекты кому слѣдовало, дѣвушка прошла въ ту залу, гдѣ шли танцы.

Сухая, черствая, немножко фельдфебельская фигура хозяина, самого Данилыча, показывалась то тамъ, то здѣсь, и по лицамъ гостей, къ которымъ подходилъ свѣтлѣйшій, можно было видѣть, что онъ со всѣми обмѣнивался летучими, на ходу брошенными фразами.

— А! достойнѣйшій Петръ Павловичъ! премного счастливъ видѣть тебя въ моей избушкѣ,—обратился онъ съ привѣтомъ къ одному гостю, живой юркій типъ котораго обличалъ что-то еврейское.—Поправляешься?

— Ничайше благодарю вашу свѣтлость,—былъ отвѣтъ гостя, съ еврейскимъ обликомъ:—какъ же мнѣ не поправиться, когда вся русская держава, толико вѣковъ удрученная педагогическими и хирагическими немощами, воспрянула нынѣ отъ единого слова нашего великаго монарха, рекшаго разслабленной Россіи: „возьми одръ твой и ходи“.

Говорившій эти высокопарныя, въ то время высоко стоявшія на общественной и придворной биржѣ фразы былъ Шафировъ—дѣлецъ и шенецъ Петра. Еврейскій обликъ говорившаго свидѣтельствовалъ, что онъ зналъ цѣну словъ на тогдашней биржѣ.

— Слѣпые видятъ и хромые ходятъ,—добавилъ онъ, — поелику ихъ поддерживаетъ неустанная рука вашей свѣтлости.

Меншиковъ улыбнулся и замѣтилъ какъ бы заигрывая:

— Благодарствуйте за знатный комплиментъ. Только вотъ мы никакъ не можемъ съ его величествомъ положить предѣлъ тому, чтобы проснушіеся русскіе не меньше запускали руки въ казенную кошелекъ, а то и слѣпые, и хромые, а наипаче безрукіе воруютъ...

И Меншиковъ, и Шафировъ исчезли въ толпѣ гостей.

Изъ толпы выдѣлилась статная, ловко лавировавшая между дамами и мужчинами фигура молодого человѣка и направилась къ императрицѣ. Черные глаза Екатерины летучимъ огнемъ скользнули по этой статной фигурѣ и быстро опустились.

Молодой человѣкъ, ставъ противъ императрицы, отвѣсилъ ей глубокій поклонъ. Екатерина ласково улыбнулась ему и кивнула головой мѣтѣ величественно, чѣмъ другимъ особамъ.

— А! братецъ Вилимушка!—пропѣла Балкша:—что такъ поздно изволили пожаловать?

— Я имѣлъ счастье исполнять личныя порученія всемилостивѣйшей государыни,—былъ отвѣтъ и поклонъ въ ту сторону.

— Благодарствую,—милостиво выронила императрица.—А государь гдѣ находится?

— На верфи изволилъ осматривать новые корабельные заказы, государыня.

Вновь пришедшій молодой человѣкъ былъ Вилимъ Монсъ, братъ Матрены Балкъ и секретарь личныхъ дѣлъ Екатерины. Монсъ быстро шелъ въ гору: этотъ юный дѣлецъ взибался уже на мачу историческаго бота и обрѣтался въ величайшемъ авантажѣ. Онъ былъ всеобщій любимецъ, и въ особенности среди прекраснаго пола, который былъ отъ него безъ ума. Вилимушка Монцовъ составлялъ душу дамскаго общества. Онъ хорошо пѣлъ все чувствительное и нѣжное. Изъ-подъ его пера выходили восхитительныя, по мнѣнію дамъ, куплеты, стихи и любовныя записочки, которыя онъ писалъ особо придуманною имъ азбукою, взятою изъ латинскаго алфавита. Онъ прекрасно танцевалъ, искусно руководилъ танцами, фантами, сыпалъ остротами и знатными комплиментами какъ горохомъ. Но въ то же время былъ взяточникъ первой руки.

Не успѣлъ онъ достаточно порисоваться передъ дамами, какъ рядомъ съ нимъ очутилась другая угодливая фигура, хотя старая и больше смахивавшая на отжившаго подъячаго, чѣмъ на знатную особу.

— Всемиловѣйшей государынѣ съ чадами долгоденствія и здравія, — сказалъ старикъ, униженно кланаясь.

— Здравствуй, почтенѣйшій Гаврило Ивановичъ, — отвѣчала любезно Екатерина; — какъ твое здоровье?

— Милостями великаго Бога и премудраго государя нахожусь въ удовольствіи!

Это былъ великій канцлеръ Головкинъ, человѣкъ недалекій, взобравшійся на высоту черезъ доносы на царевну Софью, — личность изъ породы пресмыкающихся и надоедливый людямъ и Богу ханжа.

Онъ раскланялся съ Матреною Балкъ, съ другими дамами и съ молодымъ Монсомъ.

— Радуюсь я, государыня матушка, взирая на сіи веселости; а все сіе совершилося благою волею великаго государя... Рече: „да будетъ свѣтъ — и бысть“, — подлаживался старикъ своею псалтырною рѣчью, отъ которой пахло Алексѣемъ Михайловичемъ.

— Да, да, хорошо, — отвѣтила Екатерина, скользнувъ глазами по красивому лицу Монса.

Лисій взглядъ великаго канцлера уловилъ какую-то искорку въ глазахъ императрицы, и старая лиса приняла это къ свѣдѣнію и руководству.

— А ужъ вамъ умнымъ и ученымъ молодымъ птенцамъ, — обратился онъ искателямъ къ Монсу, — вамъ подобаетъ за сіе стопы государевы лобызать, со слѣдовъ его премудрыхъ землицу собирать и въ ладонкахъ, рядомъ съ крестомъ на шеѣ, носить.

— Мы и молимся на государя, — отвѣчалъ Монсъ. — Развѣ въ ваши времена такія великія дѣла совершались, какія нынѣ творитъ Россія по манію монарха? Мы молимся на государя за то, что онъ излилъ на насъ свѣтъ просвѣщенія...

Новые гости, подхлотившіе къ императрицѣ, прекратили этотъ потокъ хвалебной риторики, которая звучала вездѣ, въ каждой группѣ, на улицахъ, въ бумагахъ, въ церквяхъ, во дворцѣ и — удивительно! — не пріѣдалась Петру.

Отходя отъ Екатерины и покосившись на Монса, Головкинъ ворчалъ про себя: „Ишь ты, щенокъ бѣлогубый... изъ молодыхъ, да ранній... молоко на губахъ матурино не обтеръ, а ужъ загребаешь все, что къ намъ, старикамъ, прежде подкатывалось... ишь вѣмецкій убождокъ...“.

— Что ты, Гаврило Ивановичъ, молитву, что ли, про себя творишь въ семь вертепъ? — откуда ни взялся Меньшиковъ.

— Ахъ, свѣтлѣйшій князь батюшка! — спохватился старикъ: — истинно молитву творю за государя да за тебя, свѣта... Все вашими руками...

— Что, жаръ-то загребаешь?

— Охъ, куды мнѣ, старику, батюшка?

— Куды? въ чулокъ—по старинѣ, дочкамъ красавицамъ въ приданое... А! вонъ и *твой*... Ягужинскій... красавецъ,—иронически и довольно ядовито прибавилъ онъ, кивая въ сторону и рѣзко подчеркивая слово *твой*.

Головкина передернуло. Лисьи глаза его запрыгали и, словно мыши, искали норы, куда бы спрятаться... Слово *твой* намекало на постыдную тайну, которая—думалъ великій канцлеръ—давно и глубоко погребена только *ихъ* руками, его самого и Ягужинскаго, и о которой никто въ мірѣ не подозрѣвалъ.

— Да, да... былъ когда-то Павлуша органищикъ... тамъ жильцомъ у меня... а теперь—поди на—генеральсь-прокуроръ,—бормоталъ растерявшийся старикъ.

Ягужинскій гордо поклонился Меншикову и смотрѣлъ на него вызывающимъ взглядомъ. Это былъ взглядъ красивыхъ, но похотливыхъ, женскихъ, а не мужскихъ глазъ, какъ и вся фигура его дышала чѣмъ-то женственнымъ, сластолюбивымъ.

— Здравствуй, здравствуй, господинъ генеральсь-прокуроръ,—ядовито продолжалъ Меншиковъ. — А вотъ я съ *твоимъ* (онъ остановился съ умысломъ на этомъ словѣ и снова отпечаталъ его что называется разрядкой, крупно, курсивомъ...) съ *твоимъ*... бывшимъ... *покровителемъ* (это слово онъ подчеркнул съ наслажденіемъ, какъ именно то самое слово, которое онъ давно искалъ и, наконецъ, нашелъ) заболтался.

Ягужинскій поблѣднѣлъ. И онъ, какъ Головкинъ, понялъ, на что намекаетъ почему-то разсвирѣбъвшій, тоже „бывшій“ въкогда *Herzenskind* царя. Но онъ нашелся скорѣе, чѣмъ Головкинъ, и къ тому же былъ смѣлѣе его, дерзче, неудержимѣе на языкѣ.

— Ваша свѣтлость не можетъ мнѣ завидовать, понеже у васъ *былъ* (тоже подчеркнул и остановился...) болѣе могущественный... *покровитель* (опять курсивъ).

Неизвѣстно, чѣмъ бы кончилась эта схватка, если бы Меншиковъ не былъ позванъ императрицею, которая догадалась, что между нимъ и Ягужинскимъ вышло что-то неладное.

Меншиковъ ненавидѣлъ Ягужинскаго за то, что этотъ послѣдній вошелъ въ такую милость къ царю, что отгѣснилъ всемогущаго Данилыча на второй планъ.

— Ахъ, минъ-геръ, Павелъ Ивановичъ!—подскочилъ, какъ изъ земли выросшій, Шафировъ:—пылалъ страстію видѣть вашу милость...

Ягужинскій усмѣлъ оправиться и весело поздоровался съ Шафировымъ.

— Поистинѣ ргай здѣсь по волѣ мудрѣйшаго царя,—продолжалъ льстить картавый языкъ послѣдняго:—ргай, просто ргай (іудейство говорившаго такъ и хрустѣло на буквѣ р).

— Да, да; думаю, что здѣсь больше веселостей, чѣмъ въ Едикулѣ,—любезно намекалъ Ягужинскій на то, какъ турки томили, еще не очень

давно, этого самого Шафирова, какъ заложника, въ Семибашенномъ замкѣ:—больше пріятства.

Шафировъ таялъ отъ удовольствія и придворной аттенціи царскаго любимца.

— О, минь-прехтигеръ-геръ! больше, больше пріятства здѣсь, чѣмъ въ Едикулѣ,—разсыпался онъ.—О! какъ шагаетъ Россія въ богатырскихъ ботфортахъ великаго царя.

— Да, точно котъ въ сапогахъ...

— Истинно, истинно... и мышей заморскихъ давить.

Откуда ни возмись—Головкинъ съ своими лисьими глазами и ужъ егозить передъ своимъ бывшимъ жильцомъ, а теперь царскимъ любимцемъ, передъ Павлушей Ягужинскимъ.

— Хи-хи-хи, Павлуша, — потиралъ онъ руки: — какъ же ты знатно огрѣлъ „пирожника“... сковородникомъ его, сковородникомъ, да прямо въ рождество...

Шафировъ уже юлилъ и хрустѣлъ своимъ подвижнымъ ртомъ около императрицы.

— Въ рождество, въ рождество,—радостно повторялъ Головкинъ, умильно глядя въ глаза Ягужинскаго,—такъ умильно, какъ лиса смотреть на цыпленка.—А ко мнѣ когда же?

— Постараюсь на дняхъ.

— А женушка что?

— Все въ задумчивости...

— Плохо, плохо... Приходи же:—дочки ждутъ...

У Ягужинскаго блеснули похотливые глаза... „Приду, приду“,—торопился онъ.

А старая лиса Головкинъ шепталъ про себя: „Попался Павлуша... женушку-то задумчивую въ монастырь, а его въ зятки для Аннушки... знатный зятекъ... Ахъ, пирожникъ, пирожникъ... погоди, я тебя уку! Опять заставлю пироги продавать, только ужъ въ Сибири—якутамъ... Погоди, Данилычъ, погоди: дай только намъ женушку Павлуши Ягужинскаго за ея задумчивость накрыть черной рясой, а тамъ моя Аннушка станетъ Ягужинской, а безъ Ягужинскаго онъ-то, царь батиска, и анисовку не пьетъ... Оно и выходитъ: найди ниточку, а по ниточкѣ и до клубочка дойдешь...“

— Что это ты, Гаврило Ивановичъ, на пальцахъ высчитываешь?—вдругъ раздалось надъ его ухомъ.

Старикъ опомнился. Передъ нимъ стояла сама Балкша.

— Что высчитываешь?—повторила она.

— Сѣнцо, матушка Матрена Ивановна,—отъчала лиса самымъ добродушнымъ тономъ.

— Какое сѣнцо?

— Да вотъ мнѣ изъ вотчины сѣнца привезли... Сѣно хорошее. А ты какъ-то плакалась, что у тебя сѣна вѣтъ. Такъ я тебѣ, матушка, десятка два возочковъ привилу.

— Спасибо, спасибо, мой родной. Вотъ ужъ благодѣтель-то.

— А братецъ твой, Вилимъ Ивановичъ, здравствуетъ?

— Что ему? Прыгаетъ.

— То-то. А то я замѣтилъ (и старый хитрецъ понизилъ голосъ) — замѣчаю я, матушка, что нашъ-то римской князь—Данилычъ—косится на васъ съ братомъ: царя, вотъ-на, отъ него заслоняете.

И, бросивъ этотъ камушекъ въ Меншикова, старый интриганъ отретировался, говоря: „А сѣнца-то я тебѣ пришлю“.

Поймавъ Шафирова, онъ и въ него брызнулъ своей ядовитой слюной.

— За что это, батюшка Петра Павлычъ, осерчалъ на тебя нашъ свѣтлѣйшій—свѣте-то тихій нашъ?—спросилъ онъ, улыбаясь.

Шафировъ завился около хитраго старика, какъ вьюнъ, изъ воды выскочившій на песокъ. Плечи его какъ-то егзили, руки складывались то у живота, то у подбородка. Умные, словно бы ласковые глаза, сдѣлались, кажется, еще умнѣе и ласковѣе.

— Осерчалъ, осерчалъ,—повторилъ искуcитель.

— А что? за что жъ? да какъ же жъ это?—зачастилъ Шафировъ.

— Да вонъ тамъ съ Скорняковымъ-Писаревымъ на нашъ счетъ пересмѣивался. Я стороной слышалъ.

— Пересмѣивался? съ Скорнякомъ-то своимъ?

— Съ нимъ, съ нимъ, батюшка. Говорятъ: этотъ-де жидъ Шаюшка—это тебя-то онъ Шаюшкой жидомъ величаетъ—этотъ-де Шаюшка принимаетъ Головкина за головку чесноку и хочеть-де съѣсть его... Съ чего это на него нашло?

— Съ жиру бѣсятся. Видить, что царь меньше къ нему сталъ милостивъ, ну и сердитуетъ на всѣхъ, словно песь, что на свой хвостъ лаетъ.

— Вѣрно, вѣрно.

И оба исчезли.

Зависть, злословіе, какая-то перекрестная клевета, взаимное другъ подъ друга подкапываніе, низкопоклонство, угодливость ради самой угодливости, сплетня, цѣпкая какъ паутина, подлость для подлости, какъ искусство для искусства,—всѣ эти прелести царили въ обширныхъ ярко освѣщенныхъ залахъ дворца Меншикова. А между тѣмъ вѣѣшность, приемы, тонъ рѣчей, выраженіе лицъ, взглядовъ, улыбокъ—все это для посторонняго наблюдателя представляло картину внушительную, полную глубокаго содержанія и драматизма. Да, на самомъ дѣлѣ, она и была внушительна. Эта шипящая ханжа, великій канцлеръ Головкинъ, подманивающій въ себѣ сѣнцомъ вліятельную при дворѣ нѣмку Балкшу и отравляющій злою слюною тѣхъ, кого ему нужно было отравить или привлечь къ себѣ; этотъ Шаюшка-жидъ Шафировъ, ловко извивающійся, подобно угрю, между Меншиковымъ и Ягужинскомъ и обоемъ роющій яму; этотъ женоподобный сынъ кирочнаго органиста Павлуша Ягужинскій, припущенный къ рулю историческаго бота, благодаря своимъ женскимъ прелестямъ; этотъ Вилимушка Монсъ, изъ породы чужедныхъ нѣмцевъ, заполонившій всѣ жеман-

скія сердца и черезъ это осѣдлавшій всѣхъ вліятельныхъ мужицъ, которыми *de jure*, но не *de facto*, должны были приналежать эти полоненныя имъ сердца,—всѣ эти карлы оттиснулись на страницахъ исторіи въ позахъ и съ профилями великановъ, потому что, въ самомъ дѣлѣ, въ ихъ рукахъ кортилась вся Россія, и какіе-нибудь двадцать возовъ сѣна, брошенные на ручку государственнаго рычага скряжническою рукою Головкина и съѣденные лошадьми Матрены Балкъ, заставляли иногда трещать весь государственный механизмъ и стонать миллионы людей, за зипуны которыхъ цѣплялся этотъ механизмъ тысячами своихъ колесъ, зубцовъ, клещей, шестерней и иныхъ трущихъ, мнущихъ, бьющихъ и сосущихъ приводовъ.

Въ другихъ залахъ, въ которыхъ кишѣла ассамблея, была нѣсколько иная атмосфера, но съ тѣми же заразительными міазмами.

Вонъ въ первой парѣ танцующихъ плавно и величаво скользятъ передъ зрителями двѣ звѣзды первой величины, блистающія на придворномъ небѣ—красавецъ Вилимушка Монсъ, успѣвшій отъ императрицы ускользнуть въ залу танцующихъ, и восхитительная „рариретъ“, дѣвка Марьюшка Гаментова, въ движеніяхъ которой столько цѣломудренной граціи, столько чистоты и нетронутости, какъ на поверхности вонъ того большого зеркала, на которое хотя и дышалъ утромъ пьяный ротъ лакея вытиравшего его тряпкой, однако оно блеститъ ослѣпительной чистотой.

Отъ другой пары танцующихъ вѣетъ, кажется, еще большею свѣжестью. И, дѣйствительно, миловидное, совѣтъмъ дѣтское, раскраснѣвшееся отъ удовольствія и ребяческой стыдливости личико княжны-кесаревны Ромодановской, Катюши, такъ и просится вонъ изъ этой отравляющей атмосферы куда-нибудь въ поле, въ ярко-цвѣтистую степь, къ звенящимъ въ небѣ жаворонкамъ, къ жужжащимъ подъ весеннимъ солнцемъ насѣкомымъ,—а ее уже начинаетъ опутывать эта цѣпкая паутина придворной жизни. Съ нею танцуетъ красивый денщикъ Петра—Орловъ, исполнявшій обязанности ближайшаго флигель-адъютанта царя.

Между танцующими очутилась уже и красивая фигура Ягужинскаго, и серьезное, хотя еще очень молоджавое лицо Остермана, который въ это время усиленно учился иностраннымъ языкамъ и никакъ не могъ вдобиться въ латинь.

— Ишь чортъ съ младенцемъ связался,—замѣтила сидѣвшая въ числѣ почетныхъ дамъ генеральша Чернышева, которую царь „любительно“ величалъ „Авдотья бой-баба“, нагибаясь къ своей сосѣдкѣ, княгинѣ Черкасской;—подлинно чортъ.

— Кто это въ черти-то попалъ, а кто въ младенцы? — спросила послѣдняя.

— А Орловъ съ кесаревной Ромодановской.

— Подлинно младенецъ невинный эта Катюша. Ей бы рано и танцовать здѣсь.

— А особливо съ Ванькой-то Орловымъ.

— Ну, что жъ! Онъ, я чаю, хочетъ только этимъ отвести глаза отъ своей зазнобушки, Марьюшки Гаментовой.

— О, не бойся, княгинюшка: съ Машкой-то своей онъ дома и лежа потянуеть, на перинѣ.

И Авдотья бой-баба зло засмѣялась.

— Да,—сказала Черкасская,—а какой тихоней эта Марьюшка прикидывается—недотрога—и на поди.

— Недотрога! А вонъ дотрога-то ее ужъ изъ-подъ роброна лѣзетъ!

— Неужто тяжела!

— Развѣ не видишь? Словно зеленого гороху наѣлась... Подлинно Иванъ да Марья—на одномъ стебелькѣ.

Скользившая въ это время мимо нихъ въ своей парѣ величаява Марьюшка услышала послѣднія слова. Она догадалась, въ кого брызнули этимъ ядомъ... Черезъ нѣсколько секундъ ее выносили въ другую комнату: она упала въ обморокъ.

ХІІ.

Фрейлина Гамильтонъ.

Едва успѣли упавшую въ обморокъ Гамильтонъ перенести въ другія комнаты и привести въ чувство, какъ по ассамблеѣ прошелъ говоръ, что царь пріѣхалъ.

Хозяинъ и хозяйка бросились встрѣчать державнаго гостя, хотя это было противъ ассамблейныхъ правилъ, и Петръ часто обрывалъ хозяевъ, которые его встрѣчали. Но на этотъ разъ Меншиковъ извернулся, сказавъ, что онъ встрѣчаетъ не царя, а спасителя отечества отъ презѣльной зѣвоты, коею Россія одержима была 855 лѣтъ, и при этомъ бросилъ подъ ноги царя цвѣтной шелковый носовой платокъ и вѣтку латанія, которою онъ, вмѣсто опахала, отмахивался отъ жару. „Се одежды, а се—ваи“, сказалъ онъ, кланяясь.

Царь милостиво улыбнулся находчивости своего любимца и спросилъ:

— А гдѣ же оселъ, на которомъ я въѣхалъ въ спасенное мною отъ зѣвоты отечество?

— Оселъ палъ подъ Полтавою, ваше величество,—ловко, хотя грубо нашелся Меншиковъ.

Петръ погрозилъ ему пальцемъ, но, видимо, былъ доволенъ острою.

Головкинъ, Шафировъ, Ягужинскій, Остерманъ, Балкъ, Монсъ и другіе вельможи стояли шпалерами. Царь, привѣтствуя всѣхъ отвѣтнымъ поклономъ, держалъ въ рукѣ какіе-то чертежи и бумагу и говорилъ весьма оживленно:

— Вотъ знатный прожектъ. Его представилъ мнѣ на верфи одинъ веницейскій шкиперъ. Говорить, что съ помощію метательнаго рычага и сугубаго блока можетъ съ великою скоростію потопить всякій непріятель—

скій корабль. Прожектъ сей подобаетъ разсмотрѣть со стараніемъ. Безъ изслѣдованія ничто, хотя бы и невозможное, не должно быть оставляемо: „вся изыскующе, добрая держите“. Можетъ, и отъ сего будетъ что доброе. Христофорусъ Колумбусъ почитаемъ былъ за юродиваго, а сей юродивый великое дѣло совершилъ.

И, обратясь къ стоявшему невдалекѣ знакомому уже намъ красивому деньщику Орлову, сказалъ, подавая ему чертежъ и бумагу:

— На, возьми. Потомъ положишь у меня на ночной столикъ. Ночью разсмотрю.

Орловъ взялъ бумаги и удалился. Лицо его было нѣсколько блѣдно. Онъ казался озабоченнымъ, грустнымъ. Да и было отчего...

Во дворцѣ, на половинѣ фрейлинь царicy, въ одной небольшой, но изящно убранной комнатѣ, опершись руками на уборный столикъ, горько, безнадежно плакала молодая дѣвушка. Плечи ея, отъ которыхъ отливало бѣлизною мрамора, вздрагивали отъ неудержимыхъ рыданій. Прекрасное бальное платье съ распущенною на груди шнуровкою, роскошная, расплетенная и разметающаяся по мраморнымъ плечамъ и по спинѣ коса — все было въ беспорядкѣ, все забылось въ страшномъ горѣ, которое теперь выплакивала и не могла выплакать дѣвушка.

Это была фрейлина Гамильтонъ, красавица Марьюшка, ослѣпительною наружностью которой еще такъ недавно любовалась вся ассамблея. Но куда дѣвался этотъ царственный, побѣдительный, холодный, но въ то же время обаятельный видъ красавицы? Здѣсь была только молодая, прелестная дѣвушка, которую срѣзало непоправимое, незабываемое горе, сразило какъ былинку, — и она теперь неутѣшно плакала, да такъ неутѣшно, что, кажется, съ каждымъ ея всхлипываньемъ разрывалось молодое сердце и истекало кровью, а потомъ вновь разрывалось, исходило кровью, разбивалось о что-то жесткое, безжалостное, неумолимое.

— Мама моя! матушка! — шептала она молитвенно какъ-то: — матушка моя! Для чего ты меня на горе покинула? Родимая моя! охъ, охъ, и горе мое, гореваньице!..

И ея прекрасное, все облитое слезами личико припадало къ ладонямъ, и она всхлипывала, горько, какъ-то по-дѣтски покачиваясь изъ стороны въ сторону.

— Батюшка! родимый ты мой! гдѣ же ты? Охъ, гдѣ та пора-времечко, когда я на рученькахъ у тебя сидѣла, горюшка не вѣдаючи? Батюшка! родненькій!..

И въ эту горькую минуту вспомнилось ей ея невинное, счастливое дѣтство, и не здѣсь, не въ этомъ мрачномъ, заражающемъ душу городѣ, а гдѣ-то далеко-далеко на свѣтломъ, тепломъ югѣ. Спокойная рѣка течетъ подъ крутыми, скалистыми, поросшими боярышникомъ берегами. Виднѣтся на этой родной рѣкѣ рыбацья лодка-каюкъ, а въ ней сидитъ рыбакъ, дѣдушка Власичъ... Маленькая бойкая Марьюшка бѣгаетъ по берегу Дона, у самага обрыва, и видитъ, какъ въ водѣ, на солнышкѣ,

выигрываютъ головы, поблескивая своею серебристою чешуей. А тамъ, за горой, выростокъ казачій, Васюта Баевъ, пасетъ станичныхъ лошадей и поетъ свою любимую цѣсню:

Какъ у насъ на Дону во Черкакѣ
Собирались казаченьки во единѣ кругѣ.

На кусту боярышника воркуетъ горлинка, и маленькой Марьюшкѣ такъ жаль ея дѣтвѣ, которыхъ она видѣла въ гнѣздѣ и приносила имъ хлѣбца, а они хлѣбца не ѣли...

Власъичъ подплываетъ къ берегу, вынимаетъ плетешокъ съ живою рыбою, разводитъ на берегу огонь и, очистивъ рыбу, варитъ изъ нея вкусную щербу...

А вотъ отецъ ѣдетъ съ охоты на ворономъ конѣ. Богатый чапракъ блестятъ узорами, которые мама вышивала... И Марьюшка бѣжитъ навстрѣчу отцу, который сажаетъ ее къ себѣ на сѣдло, и они скачутъ, скачутъ по степи, такъ что духъ захватываетъ...

Смѣлою и своевольною росла Марьюшка. Сама разлѣзала по Дону въ каюкѣ, сама ходила въ лѣсъ къ своему любимому пчелинцу, старому Бобрику... Гудомъ гудятъ пчелиные рои по деревьямъ, заливаются по лѣсу всякая птица, дятель долбитъ дерево... Жаль Марьюшкѣ дятла: по ночамъ, говоритъ Бобрикъ, онъ стонетъ въ дуплѣ, на своемъ гнѣздѣ, стонетъ потому, что у него головка болитъ отъ постоянного долбленія деревьевъ... Марьюшкѣ хочется послушать стонущаго дятла, но по ночамъ она всегда спитъ, и никто ея не будитъ... А кукушка все плачетъ потому, что она безпамятливая—гнѣзда своего не помнить... Для Марьюшки понятенъ говоръ травы въ полѣ, говоръ лѣса, трепетъ горькой осины... О, золотое дѣтство! Куда все это ушло?

А цыганка говорила, что Марьюшка „найдетъ свою долю въ царскихъ палатахъ...”

— Охъ, нашла—нашла я мою долю! нашла въ царскихъ палатахъ!—въ стражномъ отчаяніи ломала она себѣ руки.—Ваня! Ванюшка! ненаглядный мой! не ты отнялъ мою долю, не ты, голубчикъ... Охъ, долюшка моя! растоптана моя долюшка царскими ногами...

И снова въ этой тоскѣ непроглядной картины далекаго дѣтства заволакивали это настоящее съ его острыми ранами...

У Бобрика такіе добрые, ласковые старые глаза... И у Головкина ласковые, но подъ ихъ взглядомъ стыдомъ красятся щеки... У Шафирова паточный голосъ, сладкіе, гадкіе глаза... Власъичъ, Власъичъ добрый! разсказалъ бы лучше, какъ вы подъ Азовъ-городъ ходили... Фу, какая тоска, какая смертная тоска!

А эти ядовитые глаза княгини Черкасской... А эти страшныя слова этой страшной бабы: „Иванъ да Марья—на одномъ стебелькѣ...”

Ухъ! холодною льдиною дотронулись до сердца... Холодно, холодно на сердцѣ...

Нѣтъ, больше не плачутъ глаза—выплакались всѣ слезы, высохли—на душѣ пересохло...

Въ это время въ комнату вошла пожилая женщина, въ родѣ нянюшки, и тихо подошла къ выплакавшейся фрейлинѣ.

— Что, мамушка, выдала?—спросила постѣдная улавшимъ голосомъ.

— Самого выдала, боярышня.

— Будетъ?

— Велѣлъ сказать, боярышня, что будетъ самъ: какъ-де, послѣ ужины, раздѣну царя и уложу спать, такъ-де и приду.

— А обо мнѣ спрашивалъ?

— Пыталъ, матушка: какъ-де Марьюшка въ здоровьѣ?

— Что жъ ты сказала?

— Сказала, боярышня: боярышня-де, говорю, была сомлѣвши, а теперь-де ничего, слава Богу.

— Что жъ онъ?

— Приказалъ: буду-де неупустительно.

Дѣвушка задумалась. Вспомнилось ей, какъ она сблизилась, какъ она полюбила его, какъ потомъ они всѣ вмѣстѣ съ царемъ и съ царицей ѣздили въ иноземныя государства... Былъ тутъ и онъ... Въ Гданскѣ справлялъ царь свадьбу княжны Екатерины Ивановны съ тамошнимъ герцогомъ... Веселости всякія, гулянья... Садъ горитъ потѣшными огнями, а промежъ деревьевъ темно-темно... Музыка такъ вотъ кровь и бросаетъ то къ щекамъ, то къ сердцу... И онъ тутъ—держитъ за руку, обнимаетъ... „Солнышко мое незакатное, Марьюшка... назолушка моя...“ Все сгинуло, все смолкло—и огни, и музыка, и далекій говоръ... Память помутилась, ноженьки подкосились...

— Ты бы, боярышня, сняла съ себя это,—сказала мамушка.

Дѣвушка вздрогнула.

— Дай я раздѣну тебя, родимая,—продолжала мамушка:—дамъ тебѣ что полегче.

Дѣвушка молча повиновалась. А въ душѣ — какой-то разбродъ ощущений, мыслей: впережку, разорванными клочьями образы прошлаго и настоящаго... Мать съ кроткими глазами расчесываетъ ея непослушную косу... За окномъ межъ ветлами иволги пересвистываются... Шелковая, съ серебромъ черная борода отца, которую теревитъ дѣвочка... Нева, дворецъ... Гамъ какой-то невообразимый, въ ухахъ звенитъ... Слышитъ она, какъ царь говоритъ: „взять во дворъ Марью Гаментову...“ Точно голосъ казачьяго сотника Чернухина: „стрѣлай въ этого стрепета, а я въ этого...“

Что это - - какая тоска, Господи! Дѣвушка подняла глаза въ комнату, чего-то проситъ, ждетъ... Нѣтъ, ничего и они не даютъ, ничего!

Совыканье-то наше было тайное,
Разставанье-то наше стало явное...

И это клочекъ чего-то прошлаго, а съ нимъ падетъ

шлаго, отъ которыхъ на душѣ сажется...
на душенькѣ!

Какъ время тинется! И курать...

У, какіе холодные глаза у этой...
ралиши... Бѣдная, маленькая бесарыня...
такъ же будетъ ждать боя куратора...
зами нечистыми захватають, и поди...
ей, свѣжесть, ясность...

„Что это думалъ Ягужинскій, боя...
а недобрые глаза...“

— Не умыть ли тебя, боярышня...
дываясь въ боярышню: — недоброе ок...

— Недоброе око, говоришь?

— Должно—недоброе. Даѣ-ко...

— Нѣту, мамушка не поможетъ.

— Что ты, боярышня! въ утѣ...
мамушка царевны Софьи Алексѣевны...
гало... И покойнаго великаго...
умывали. Дѣло бывалое.

— Это не съ глазу, мамушка.

— Гдѣ не съ глазу! Чего одинъ...
сквозь провазаетъ, что твоя рога...
ниха? Молоко скиснетъ, какъ только...

Когда переодѣванье фрейлины...
порядокъ, мамушка сказала:

— „Нѣтъ пойду теперь—уголь...

— Постой, мамушка. — сказалъ...

— Нѣту, боярышня, — не при...

— Отчего же?

— Да такъ—не вышло. Бѣ...

когда батюшка царь женился...

ровнѣ, присватался ко мнѣ...

рени былъ хорошій и любилъ...

любила, что, кажись, и душенька...

въ него положила. А на ту...

взмышъ что твой соколъ...

Забрать съ собой того-друго...

скоро пришла, что въ озерѣ...

я плакала, что, кажись,...

вышла. Да и впрямь вышла...

мой душенька, и остена...

Взглянувъ на...

— Что...

мушка...

изъ

аясь

двух-

малось

ову къ

а эта, его

схидно на

къ туру дѣ-

на одномъ

Орлова. Тотъ

Теперь ужъ всѣ

Охъ, голубчикъ,

глянулъ на меня, что

— такъ въ Рогервикѣ

дамъ“.

лино металась дѣвушка.

ка.

Развѣ ты не видишь?

ука его дѣйствительно ощу-

вичъ бѣжалъ съ Афросиньей...

въ.

нашего-то, я чаю, не спрячешься

аревича же не нашелъ.

— Ничего, ничего. . У меня еще душа не вся вылилась... не остеклѣло тамъ...

Въ дверяхъ показался дѣвушка изъ царицыныхъ камеринѣ.

— Ты что, Ариша?—спросила мамушка.

— Приказала царица про здоровье боярышни спросить,— бойко отвѣчала востроглазая Ариша.

— Благодарю государыню царицу за милость и память,— сказала фрейлина:—отъ великаго жару въ покояхъ святѣйшаго у меня голова закружилась, а теперь, благодареніе Богу, мнѣ лучше.

Помнявшись на мѣстѣ, Ариша ускользнула, проговоривъ обычное: „Счастливо остаются, матушка боярышня“.

Боясь, что, съ возвращеніемъ царицы и всего придворнаго дамскаго штата изъ ассамблеи, другія фрейлины стануть справляться объ ея здоровьѣ, Гамильтонъ ушла въ свою спальню, а мамѣ велѣла говорить всѣмъ, что она почиваетъ.

— А коли онъ придетъ, мамушка, то его проводи особымъ ходомъ,— добавила она.

Въ спальнѣ на нее снова нахлынули воспоминанья, обрывки которыхъ какъ-то нестройно проходили по ея памяти. Это бываетъ именно тогда, когда нервы, принимая ощущенія какъ-то вразбродъ и, поддаваясь рефлексамъ давно пережитыхъ ощущеній, въ такомъ-же разбродѣ передаютъ мозгу какіе-то лоскутки и тѣхъ и другихъ.

Рядомъ съ нервно-подергивающимся, до непріятности выразительнымъ лицомъ царя, въ одинъ страшно и мучительно памятный въ жизни дѣвочки моментъ, рядомъ съ этимъ подвижнымъ лицомъ и горящими отъ избытка внутренней силы глазами становится спокойное, морщинистое, съ дѣтски наивными глазами лицо пчелинца Бобрика, беззубый ротъ котораго рассказываетъ о томъ, какъ пчела залетѣла въ церковь и увидѣвъ, что тамъ передъ образами горятъ свѣчи изъ ея воску, стала плакать... Говорилъ онъ и объ цвѣтѣхъ Иванъ-да-Марья... Они умерли, убили себя, а мать поливала слезами ихъ могилу—и выросъ цвѣтокъ.

„И мы умремъ съ нимъ разомъ... Кто жъ будетъ плакать надъ нами?..“

„А цыганка говорила: найду свою долю, въ царскихъ палатахъ найду...—Нашла—охъ, нашла я ее!..“

„Что это? Я, кажется, съ ума схожу... Охъ, скорѣй бы онъ пришелъ!..“

А его все нѣтъ. Дѣвушка стала ходить по комнатѣ, въ надеждѣ сократить время. А время тянется—тянется... Въ минуту она переживаетъ годъ, а передумаетъ—всѣ годы своей жизни. А такимъ минутамъ конца нѣтъ, счету нѣтъ.

Образъ Спасителя изъ-за кіоты глядитъ на нее. „Онъ былъ добрый—зачѣмъ же строгимъ написали?“

Замаскированная обоями и драпировкой дверь тихо отворилась, и въ комнату вошелъ статный мужчина. Это былъ Иванъ Орловъ, царскій денщикъ, котораго мы видѣли на ассамблеѣ танцующимъ съ кесаревной Ромодановской.

Увидавъ вошедшаго, фрейлина тихонько вскрикнула, бросилась къ нему и обхватила руками его шею.

— Ванюшка! Ваня!.. милый мой, родной мой,—шептала дѣвушка.

— Что съ тобой, Марьюшка?

— Ваня! Ваня!.. Смерть моя пришла.

— Да перестань, милая, успокойся, садѣмъ. Что же случилось?

Несмотря на то, что Гамильтонъ была не изъ маленькихъ и не изъ худенькихъ Орловъ, не разъ пробовавшій петровской дубинки, не трогаясь съ мѣста, и кулакомъ убивавшій теленка, взялъ ее, приподнялъ какъ двухлѣтняго ребенка и усадилъ на низенькую, крытую штофомъ софу.

— Разсказывай же, моя маленькая казачечка, что съ тобой сдѣлалось тамъ? — сказалъ онъ, садясь рядомъ съ ней и привлекая ея голову къ себѣ на грудь: — съ чего ты тамъ обомлѣла?

— Охъ, и сказать стыдно, и молчать страшно, милый.

— Да что же было-то тамъ такое?

— Ты видѣлъ, Ваня, я плясала съ Вилимомъ Монцовымъ, а эта, его сестрица кумушка, Чернышева Авдотья да Черкаская такъ-то ехидно на меня смотрятъ и на тебя показываютъ... А когда я около нихъ туру дѣлала, слышу — Авдотья и говоритъ: „Иванъ-де да Марья — на одномъ стебелькѣ...“ И такъ-то мнѣ на животъ глазами указываютъ...

Говоря это, дѣвушка совсѣмъ спрятала голову на груди Орлова. Тотъ молчалъ.

— Каково же мнѣ было слышать-то это, Ваня?.. Теперь ужъ всѣ знаютъ, всѣ видятъ.

Орловъ молчалъ и тихо гладилъ ея голову.

— Какъ же быть-то намъ, Ваня?.. Попроси царя... Охъ, голубчикъ, упроси его, а то я руки на себя наложу.

— Намеркалъ стороной, Марьюшка, такъ таково глянулъ на меня, что искры изъ глазъ посыпались... „Хочешь, говоритъ, — такъ въ Ровервикѣ на тачкѣ жену, въ посаженные заплечнаго мастера дамъ“.

— О, Господи, что-жъ намъ дѣлать? — отчаянно металась дѣвушка.

— Подождемъ, Маша, — не убивайся, голубушка.

— Подождемъ... Охъ, — а каково ждать-то? Развѣ ты не видишь? Дай руку...

Онъ обнялъ ее. Но утѣшить не могъ. Рука его дѣйствительно ошутала, что долго ждать нельзя...

— Вотъ что, Ваня: ты знаешь, что царевичъ бѣжалъ съ Афросиньей... Ты знаешь, гдѣ теперь онъ?..

— А что?

— И намъ-бы, милый, къ нимъ бѣжать.

— Что ты! что ты, Марьюшка! Отъ нашего-то, я чаю, не спрячешься нигдѣ: онъ и за тремя морями сыщетъ.

— Нѣтъ, не сыщетъ, Ваня. Вонъ царевича же не нашель.

— Сказываютъ — нашель.

— А насъ не найдетъ. Ну, коли тамъ найдетъ, такъ мы въ лѣса уйдемъ, въ скиты... Мамушкѣ юродивый Оомушка сказывалъ, что въ пустынѣ человѣкъ — словно иголка въ Невѣ: одинъ Богъ его найдетъ, а людямъ его не сыскать.

— Ахъ, Марьюшка, голубушка,—нельзя этого.

— Для чего нельзя? Да и не вѣчно мы тамъ останемся. Какъ самъ-то помреть... такъ царевичъ и простить насъ и ко двору вернуть... Я Афросинью знаю, видала ее у Вяземскаго — она добрая, она за насъ будетъ.

Орловъ качалъ головой.

— Такъ на Донъ уйдемъ, Ваня, а оттуда за Кубань, къ Игнату Некрасову: онъ меня знаетъ, маленькой на рукахъ носилъ, пѣсни пѣлъ про Ермака, да про Стеньку Разина.

— Ахъ, дурочка ты моя милая, казачечка моя неразумная.

— Нѣту, Ваня, соколикъ мой,—я правду говорю... А тутъ мнѣ не жить... На меня ужъ пальцами показываютъ.

Орловъ не зналъ, что сказать. Мелкая, эгоистическая натура его натолкнулась на нравственную дилемму, и чуть только крокодилъ показалъ свою страшную зубастую пасть, петровский дѣлецъ и карьеристъ тотчасъ закричалъ: „пожрай моего ребенка, только меня не трогай“. Онъ глубоко чувствовалъ низость своей души, но тѣмъ съ большею энергіею старался не признавать этой низости и всю тяжесть отвѣтственности сваливалъ на душу невинную, искреннюю, глубоко и страстно привязавшуюся къ своему губителю. Онъ былъ мастеръ выслуживаться передъ царемъ, мастеръ сочинять доносы, въ которыхъ онъ, несмотря на свою молодость, очень набилъ руку, а черезъ это и карманъ; но нравственной жертвы не понималъ. Онъ понималъ только, и понималъ вполне реально, что выгодно и что невыгодно, что пріятно и что непріятно; но дальше этого не шелъ ни его реальный мозгъ, ни его реальное сердце. По этой логикѣ чести онъ увлекся красотой Гамильтонъ, которой увлекались и Петръ самъ, и Меншиковъ, и Шафировъ, и Головкинъ, и Брюсъ, и Толстой; къ несчастью, увлекшись самъ, онъ увлекъ и дѣвушку. И теперь, когда она стояла на краю пропасти, онъ отдернулъ отъ нея свою запачканную доносами руку. Онъ оказался осторожнымъ лично для себя, какъ всякая мелкая трусливая натура: онъ, говоря современнымъ языкомъ, дѣйствовалъ анонимно, какъ всякая бездарность, чувствующая, что она можетъ выказаться невыгодно для себя, и сознающая, что не имѣетъ за собой такихъ качествъ и дарованій, которыя выкупали бы эту мелочность. Удалиться отъ двора, бросить карьеру—это было выше его маленькихъ силъ.

— Ваня! Ваня! что жъ намъ дѣлать?—отчаянно говорила дѣвушка.

— Подожди, подожди, моя лебедушка! Я подумаю,—отвѣчалъ онъ и пояснилъ, что онъ долженъ сейчасъ уйти, что его ждетъ царь для протѣнія какого-то прожекта.—Завтра я приду къ тебѣ.

И, поцѣловавъ плачущую дѣвушку, онъ быстро удалился, какъ бы боясь, что она его остановить.

Оставшись одна, Гамильтонъ серьезно стала обдумывать планъ побѣга. Но она низачто не хотѣла бѣжать безъ своего Вани.

Больше всего сердце тянуло ее къ царевичу. Онъ такъ же, какъ и она, страдалъ и боялся. Онъ надѣялся на болѣе счастливые дни.

„Повидаюсь съ Вяземскимъ Никифоромъ,—думала дѣвушка:—побываю у царевичева отца духовнаго, у отца Якова... Какъ ему не знать, гдѣ царевичъ? Царевичъ ему на духу подлинно сказалъ... А то къ Кикину дойду—и онъ знаетъ, онъ поможетъ намъ...“

И бѣдная вѣрила въ возможность исполненія своихъ плановъ. Она вѣрила, что послѣ непогоды блеснетъ и ихъ солнышко. А у нея одно солнышко—только бы оно было съ нею, только бы оно не заходило...

„А она, Афросинья, добрая—приголубить меня (снова мечталось)... Я и Вяземскаго попрошу...“

— Дай-ка я тебя, боярышня, раздѣну, въ постельку уложу—не ранняя, чай, ужъ пора, матушка; вторые пѣтухи пропѣли,—говорила мамка, входя въ спальную.

— А ты, мамушка, въ Кіевѣ не была?—вдругъ спросила боярышня.

— А что, матушка? на что тебѣ?

— Такъ... Много туда ходу?

— Я чаю—молиться туда хочешь идти? Куда вамъ съ бѣлыми-то ножками!

— Ну, мамушка,—скажи только, голубушка.

— Не вѣдаю, родная, не была сама. А вотъ ужъ какъ увижу Ѳомушку блаженнаго поспрошаю.

Гамильтонъ твердо рѣшилась бѣжать отъ позора. Но было уже поздно, да и некуда: царевича привезли въ Россію...

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, въ Лѣтнемъ саду, въ „огородѣ“, у фонтана, найденъ былъ чей-то мертвый младенецъ, завернутый въ салфетку съ парскимъ гербомъ... Матери ребенка не нашли...

XIII.

Сторонники царевича на ноляхъ—и Левинъ. Ѳомушна юродивый.

Зима 1719 года. Раннее морозное утро. По Кронверкской перспективѣ Петербургской Стороны, отъ Карповки, тихо, задумчиво наклонивъ голову, идетъ прохожій. Иногда онъ останавливается и осматривается по сторонамъ. То обратитъ вниманіе на какую-либо церковь, на домъ, словно изъ-подъ земли выросшій, то вглядывается въ иглы адмиралтейства и Петропавловскаго собора, тонкими линіями вырѣзывавшіяся въ туманномъ, какомъ-то отталкивающе-холодномъ небѣ. Видно, что этотъ человѣкъ или никогда не былъ въ Петербургѣ, или былъ очень давно. Одсжда обличаетъ въ немъ военнаго.

Это—Левинъ. Онъ только-что прїѣхалъ въ Петербургъ, съ юга, изъ Харькова. Затѣжалъ и въ Кіевъ... Съ Кіевомъ у него были счеты—непоконченные... Такіе счеты поканчиваются только ликвидаціею жизни—гробомъ, могилою...

Въ последнее время до того усилились въ немъ нервные припадки, особенно послѣ посѣщенія его старцемъ Варсонофіемъ на возвратномъ пути изъ Неаполя и Бара, что командиръ мѣстныхъ войскъ, генералъ князь Иванъ Юрьевичъ Трубецкой, принявъ проявленіе нервныхъ припадковъ Левина за глубокою меланхолію, превратившуюся въ неизлѣчимую падучую, отправилъ его, на основаніи указа, въ Петербургъ, въ военную коллегію, для медицинскаго освидѣтельствванія. Кромѣ отпуска, Трубецкой снабдилъ Левина особымъ письмомъ къ Меншикову.

Левинъ не забылъ Стефана Яворскаго, задушевную бесѣду митрополита въ Нѣжинѣ, теплое его благословеніе. Не выходить у него изъ памяти участливые, глубоко проникающіе глаза митрополита. Все, все помнится, даже глупый воробушекъ, трусливо скачущій около огромной печерской просфоры.

Рано еще. Петербургъ, повидимому, и не думаетъ просыпаться. Только кое-гдѣ въ морозномъ воздухѣ вьется дымокъ къ голубому небу да озлабшіе воробьи чиркаютъ, напрасно ища зеренъ на мерзлой мостовой.

Какая, однако, громадина выросла на пустынныхъ нѣкогда берегахъ Невы. Левинъ видѣлъ эти берега, почти мальчикомъ, въ началѣ своей службы, вскорѣ послѣ прїѣзда изъ Пензы, передъ нарвской баталіей гдѣ онъ въ первый разъ слышалъ грохотъ пушекъ и свистъ пуль, словно пронизывавшихъ его молодое, лѣтски чуткое сердце, и съ тѣхъ поръ глубоко возненавидѣлъ эти проклятые звуки. Тогда на берегахъ Невы, особенно на мѣстѣ Петербурга, заложеннаго уже послѣ, почти ничего не было. А теперь!.. Боже мой!.. И это все тѣ сѣрые зипуны съ сѣрыми лицами, съ продранными локтями, съ истоптавшимися грязными лаптями,—все это они, вѣчно живущіе впроголодь и впоколотъ, питающіеся чернымъ, какъ комья засохшей грязи, и жесткимъ, какъ эти же комья, хлѣбомъ, они, нагромоздившіе сотни и тысячи бѣдныхъ, грязныхъ городовъ и налѣзавшіе словно стрижевыхъ гнѣздъ милліоны жалкихъ, плетеныхъ, рубленныхъ, мазаныхъ, соломенныхъ, камышевыхъ, кизяковыхъ и иныхъ избушекъ,—все это они успѣли наворотить такую громадину гранитныхъ глыбъ, цѣлыхъ скалъ, камней, мусору, домовъ, палатъ, дворцовъ, церквей, остроговъ, мостовъ... Столько сдѣлали, построили всю Россію, завоевали цѣлыя государства, отвоевали Сибирь, побили шведовъ, захватили новыя моря, настроили кораблей,—столько сдѣлали, столько, кажется, могли заработать—и все голодны, все бѣдны, все необезпечены... Сотни и тысячи судовъ ходятъ по рѣкамъ съ хлѣбомъ, съ товарами, съ казною, съ желѣзомъ, съ пушками, съ ядрами: все это опять-таки они же сдѣлали—и суда построили, и хлѣбъ посѣяли, собрали и обмолотили своими цѣпами, и товару наготовили на всю русскую землю, и золотой и серебряной руды понарили изъ глубокихъ вѣдръ земли, и желѣза оттуда натаскали горы, чтобы надѣлать изъ него

горы ядѣть и завоевать ими новыя земли,—и все-таки сами голодны, бѣдны... Господи!.. Какал, однако, тоска...

Возбужденные нервы, пылающее воображеніе, напоенное такими горючими матеріалами, какъ все видѣнное, слышанное и пережитое, начиная отъ дѣтскихъ впечатлѣній пензенской глуши, отъ потрясенія наравскаго погрома, Полтавы, гдѣ Левинъ съ содроганіемъ видѣлъ рыгающія огнемъ пушки и носимаго на носилкахъ, обезумѣвшаго отъ стыда и ярости Карла XII, и кончая кievской встрѣчей царевича, кievской встряской на берегу Днѣпра, когда въ его рукахъ трепетало что-то необъятно дорогое,—все это рисовало Левину грандіозную, но мрачную картину жизни человѣческой,—картину, которая не могла дольше оставаться такою ужасною, и неизбежно, неминуемо должна лопнуть, разорваться въ безобразные клочки... Все должно разлетѣться вдребезги — покончиться, пропасть, сгинуть... Это конецъ свѣта...

Бѣдный!.. Собственное воображеніе подавляло его, а ухватиться было не за что — ни идеаловъ, ни вѣры въ нихъ, которые бы, какъ чортъ, горами ворочали... Да и какіе могли быть идеалы въ то время?

Что это такое? Какой невообразимый гвалтъ надъ Невомъ, у кронверка!.. Воронье тучами вьется, метается изъ стороны въ сторону, безумно каркаетъ, покрываетъ соседнія крыши, деревья, стѣны крѣпости... Слово черное облако колышется, раздвигаясь, сдвигаясь, опускаясь и подымаясь...

Левинъ подходит ближе къ Невѣ. Открывается площадь. Влѣво церковь. Далѣе — дома, дворцы, флаги. Впереди—Нева. Вправо — каменные стѣны съ башнями, бойницами, зияющими жерлами пушекъ. Церковь съ высокими шпицами... Такъ вотъ гдѣ воронье и галичье царство—надъ площадью, на площади...

На площади торчатъ какіе-то странные столбы, оканчивающіеся чѣм-то еще болѣе страннымъ. Столбы заиндевѣли, только во многихъ мѣстахъ иней сбитъ вороньими и галичьими крыльями...

Одинъ столбъ—два—три—четыре... много столбовъ... На столбы попатыкано что-то тоже заиндевѣвшее, словно клочья сѣдой шерсти.

На нивыхъ столбахъ какія-то колеса съ зубами... На колесахъ тоже валяется что-то распластанное, безобразное... Торчатъ и бѣлѣются кости бѣлые...

Такъ вонъ гдѣ этотъ вороній гвалтъ—около колесъ на колыяхъ, надъ столбами...

Левинъ подходит ближе—и птицы, шарахнувъ вверхъ и по сторонамъ, производятъ ужасный крикъ, кружась въ воздухѣ... Карканье какое-то злое, страшное...

Левинъ подходитъ еще ближе къ столбамъ—и съ ужасомъ отступаетъ... На колесахъ—люди! трупы человѣческіе... Это бѣлѣются кости ногъ, рукъ, ребра голыя... Птицы почти все мясо посклевали...

Ужас охватилъ Левина. Онъ стоитъ и не можетъ двинуться. Онъ бѣжать не можетъ... Эти недоклеваные мертвецы погонятся за нимъ.

А на столбахъ, на кольяхъ—еще ужаснѣе... Это торчатъ исключенныя, заиндевѣвшія головы человѣческія. Ихъ птица не тронула—боятся, глупая, человѣка, его лица. Да и какъ не бояться? Онъ такой страшный звѣрь, страшнѣе всякаго звѣря... Голову человѣка страшно трогать—только она въ состояніи выдумывать такіе ужасы, такіа муки. Страшна голова человѣческая даже мертвая, охъ, какъ страшна! А живая, которая выдумала такіа муки злобныя, должна быть еще ужаснѣе...

И это—какъ разъ противъ самой церкви! Это люди не боятся дѣлать такіе ужасы вблизи мѣстъ и храмовъ, посвященныхъ Тому, Кто былъ весь милость, всепрощеніе, который Самъ приходилъ затѣмъ на землю, чтобы спасти людей отъ этихъ мукъ, отъ этихъ ужасовъ... Напрасно приходилъ, напрасно пострадалъ!

Такъ думалъ Левинъ. Мысль его мутилась.

„Кто они? За что такая казнь?“

А вороны, которымъ помѣшали, у которыхъ отняли снѣдь, каркають, мечутся...

Ухъ, какіе страшные люди, какъ мало въ нихъ человѣческаго!

Вонъ у той головы длинные волосы, какъ у священника, и борода длинная.

„Неужели тутъ и царевичъ?.. Нѣтъ, царевича раньше... лѣтомъ еще.“

Какой-то старичекъ подходитъ къ Левину и всматривается въ него. Лицо, какъ будто знакомое.

— А! здравствуй, Василій Саввичъ! какими судьбами?—спрашиваетъ старичекъ.

Левинъ, все еще подъ влияніемъ ужаса, не можетъ придти въ себя. Не мертвецъ ли и это?

— Не узнаешь стараго Варсонофія? — продолжалъ тотъ. — Вотъ гдѣ привелъ Господь встрѣтиться. Не на добромъ мѣстѣ.

Левинъ приходитъ въ себя, хотя ужасъ не выходитъ изъ души... А эти вороны такъ кричатъ! а кольца и головы такъ неподвижны...

— Здравствуй, дѣдушка, — говоритъ онъ наконецъ: — насилу спозналъ тебя.

— Почто пріѣхалъ въ Вавилонъ сей?

— Отъ князя Трубецкого присланъ въ военную коллегію для освидѣтельствванія въ болѣзни.

— А какъ сюда угодилъ — въ мѣсто экое?

— И самъ не знаю какъ... Шелъ понавѣдаться къ митрополиту, къ святѣйшему отцу Стефану Яворскому... Въ Нѣжинѣ еще бывши, указалъ быть у него... Да вотъ и набрелъ на эту голгоу...

— Истинно голгоуа... Мученики невинные.

— Кто-жъ они? За что казнены?

— Царевичевы—упокой его душу, Господи — слуги: отецъ духовный Іаковъ Игнатъичъ, да Большой-Анастасевъ—думала ли его головушка въ Неаполѣ, что сидѣть ей на колу у Спаса у Троицы?—да дядя царевичевъ Лопухинъ Аврамъ, да Вороновъ.

— А когда замучены?

— Сегодня будетъ мѣсяцъ, какъ казнь и вѣнецъ мученической пріяли. Я каждый день хожу къ нимъ въ гости—про души ихъ помолиться. Скоро отъ нихъ ни чего не останется—птица все съѣсть.

— Головы только пѣлы.

— Да, птица не дерзаетъ на образъ и подобіе божіе.

— Что жъ, развѣ ихъ такъ и не похоронять?

— А Богъ вѣдаетъ. Можетъ, и долго еще будутъ тутъ ко Господу вопіять тѣлеса мучениковъ... Не больно ужъ имъ, не холодно... Только душеньки ихъ содрогаются, скитаются нынѣ по мытарствамъ и навѣщаючи тѣлеса свои, зракъ свой, обезображенный, посрамленный, поруганный...

Левинъ уже безъ ужаса, а съ глубокой грустью глядѣлъ на покрытыя инеемъ головы... Въ одной изъ нихъ онъ силился узнать голову Большого-Аванаस्याева, котораго видѣлъ въ Кіевѣ, въ проѣздъ царевича... Въ Кіевѣ... этому ужъ восемь лѣтъ... восемь лѣтъ!.. И царевича не стало... и ея...

Такъ сердце и упало... Нѣтъ и ее—Оксаны... „Прочь! прочь, невозвратное, мучительное...”

— А Евфросинія?—спрашиваетъ Левинъ.

— Афрасиньюшка? (У старика выступили на глаза слезы)... Обѣй послѣ... Да что мы тутъ-то стоимъ? Пора и проститься... А зайдемъ-ка лучше ко мнѣ въ келейку. Тамъ и поговоримъ.

— А къ митрополиту когда же?

— Отъ меня.

— Да онъ приказалъ къ нему первому придти.

— Къ нему и пойдешь. Я не здѣшній, не ихній,—я божій.

Они пошли по направленію къ Сампсоніевскому мосту.

— Вонъ дворецъ царевъ,—говорилъ старикъ, показывая на небольшой домъ, вправо, у Невы.

Тамъ тоже начиналось движеніе. Окоченѣвшіе часовые стояли какъ статуи.

Вдругъ они встрепенулись и что-то сдѣлали ружьями.

Изъ воротъ дворца вышелъ необыкновеннаго роста человѣкъ. За нимъ вышелъ другой пониже. Великанъ протянулъ руку по направленію къ колыямъ съ взоткнутыми на нихъ головами.

И Левинъ, и старикъ узнали царя. Онъ что-то говорилъ своему спутнику. Лицо его передергивалось, и голова нервно откидывалась назадъ. Страшно было попадаться навстрѣчу такому человѣку. За все—про все воздри рвать, кнутомъ сѣчь, желѣзомъ жечь: такъ, по крайней мѣрѣ, думали современники, и обстоятельства въ значительной степени подтверждали это мнѣніе.

Когда Левинъ и старикъ подходили къ мосту, они замѣтили какого-то оборвыша, безъ шапки и босикомъ, который, взявшись что называется „руки въ боки, глаза въ потолоки“, отчаянно выплясывалъ босыми ногами во снѣгу. Сѣдые волосы нестройными прядями трепались въ воздухѣ, и нельзя было отличить—сѣды ли они отъ старости или отъ вinea.

Левинъ остолбенѣлъ отъ изумленія.

— Да это нашъ Өомушка, божій человѣкъ, юродивый.

— Да что жъ онъ дѣлаетъ?

— Видишь—пляшетъ, радуется божій человѣчекъ.

— Чему жъ это?

— Вѣстимо, Богъ радости послалъ.

Они поровнялись съ пляшущимъ.

— Здравствуй, Өомушка. Богъ въ помощь тебѣ,—сказалъ старикъ.

Юродивый, не обращая на нихъ вниманія, продолжалъ выплясывать:

У Троицы
У Спасушки
На колыскахъ
Головушки
Ужъ и головы торчатъ,
Таки рѣчи говорятъ:
Вы вороны,
Вы черненьки,
Собирайтесь
Солетайтесь
На завтрачекъ,
На полдничекъ:
Царь-отъ батюшка
Вамъ пожаловалъ
Говядинки,
Человѣчинки...

Онъ пѣлъ на голось: „какъ и мой-отъ козель всегда пьянъ и веселъ“.

Левинъ чувствовалъ, какъ холодъ проникалъ ему въ душу. Страшно ему было слушать такія пѣсни послѣ того, что онъ сейчасъ видѣлъ. А юродивый, остановившись на минуту, весело сказалъ:

— Здравствуй, Варсона! Заходи ко мнѣ въ гости: у меня свадьба.

— А ты гдѣ теперь живешь?

Юродивый разсмѣялся, снова подбоченился и, спросивъ: „гдѣ?“— снова началъ приплясывать и приговаривать.

У Марьюшки
У Акимовны
У Иванушки
У Захарыча—
Что у Марьюшки въ шабрахъ,
У Ивана на задахъ...

— Вонъ онъ гдѣ живетъ!—говорилъ старикъ, улыбаясь.—Угадай-ка сго, гдѣ это подворье... Марья Акимовна — это у него дщерь Іоакима и Анны, Марія—Богородица Дѣва: а Иванъ Захарычъ — это сынъ Захаріи и Елисаветъ: значить—Іоаннъ Креститель. Такъ вотъ онъ, божій человѣкъ, гдѣ живетъ: у Дѣвы Маріи въ сосѣдствѣ и у Іоанна Крестителя на задахъ... Вотъ и попадай къ нему въ гости.

— А кого жъ ты замужъ выдаешь, кого женишь?—обратился старикъ къ юродивому.

— Пса смердячаго, что у царя въ покояхъ гадить и на добрыхъ людей лаетъ, женю я, Варсонюшка, на красной дѣвицѣ несчастливой — на Марьюшкѣ Гаментовой.

— А что?—спросилъ старикъ съ недоумѣніемъ, зная вполнѣ, что всѣ намеки и иносказанія юродиваго всегда имѣютъ практическое основаніе.— Что жъ съ нею, съ Гаментовою-то, Өомушка?

— Этотъ песь Орелка нагадилъ на нее, а Андрей Ивановичъ Ушаковъ моетъ ее, голубушку, въ немшоной банѣ.

„Немшоной баней“ у тогдашняго простонародья, иносказательно, называлась тайная канцелярія или пыточный застѣнокъ, а иногда и просто висѣлица: „изба немшона и невершона“.

Юродивый давалъ этимъ знать, что Гамильтонъ за что-то арестовали и что виною въ этомъ былъ какой-то песь Орелка,—конечно Орловъ.

Для юродиваго ничто не было тайной. Это былъ замѣчательный типъ юродивыхъ стараго времени, людей, которые иногда шуткой, иногда иносказаніемъ, иногда голой, грубой правдой бичевали сильныхъ міра, владыкъ свѣтскихъ и духовныхъ, бросали жесткимъ обличеніемъ въ царей—и цари смирялись передъ ними, какъ передъ посланниками божьими, какъ передъ боговдохновенными пророками. Юродивый — это первичная форма сатиры. Такимъ юродивымъ былъ Өомушка, личность необыкновенно замѣчательная. Онъ дѣйствительно велъ святую жизнь, и народъ боготворилъ его. Петръ не любилъ юродивыхъ, преслѣдовалъ все, что только напоминало ему древнюю Русь, и онъ бы давно взоткнулъ голову Өомушки на колъ — „головушку на колышекъ“, какъ выражался Өомушка; но Өомушка былъ не такого закала человекъ, чтобы отдать себя на съѣденіе такъ, въ угоду царской прихоти. Правда когда бы пришлось разсчитываться серьезно, то Өомушка скорѣе далъ бы вытянуть изъ своего сухого тѣла всѣ жилы, вырвать языкъ, изжарить себя на медленномъ, огнѣ, чѣмъ поступиться тѣмъ-либо своимъ. Это былъ закаленный пропагандистъ антипетровскаго содержанія, котораго острый языкъ словно скорпионъ язвилъ не только „новшества“ Петра, его неумѣренную строгость, но и государственную близорукость, какую-то однобокость царя, который, ради многихъ затѣйныхъ капризовъ, далеко не выходившихъ изъ принциповъ государственной пользы, довелъ экономическое состояніе государства до самозадушенія. Мало того, ядовитая параболла Өомушки ставила иногда реформы Петра въ такомъ свѣтѣ, что ясно кидалось всѣмъ въ глаза—отсутствіе въ этихъ реформахъ умной подкладки.

— Есть у меня (говорилъ однажды Өомушка) сынокъ, Петруша-дурачекъ. Росла у него на дворѣ яблонька кудрявая. Давала эта яблонька каждый годъ яблочки, только поздно, не къ Петрову дню, а къ Спасу. Да!—думаетъ Петрушка—заставлю яблоньку давать мнѣ яблочки къ Петрову дню, какъ онъ это видалъ за моремъ, въ теплыхъ краяхъ, гдѣ яблочки

созрѣваютъ къ Петрову дню. Надо сдѣлать—говорить—чтобы яблонькѣ въ моемъ дворѣ было такъ же тепло, какъ за моремъ. Да возьми и сруби надъ яблонькой горенку съ печкой! И ну ее топить и топить! Яблочки-то спеклись, а яблонька сгнула. И остался мой Петруша къ своимъ именинамъ и безъ яблочекъ, и безъ яблоньки.

И лѣтомъ, и зимой Омушка ходилъ босикомъ и безъ шапки. Длинные, сѣдые, нечесанные волосы защищали его уши отъ морозу; но босые ноги его безбоязненно ступали по снѣгу и по льду, какъ ноги собаки. Онъ былъ сухъ какъ скелетъ, а лицо напоминало сушеную грушу. Лицо это освѣщала добрая, какая-то дѣтская улыбка. Но что особенно замѣчательно было въ его лицѣ, такъ это глаза: маленькіе и черненькіе, они смотрѣли необыкновенно умно и необыкновенно добро; это были совсѣмъ молодые глаза—чистые, ясные и бодрые. Какъ онъ своими дерзкими выходками не обратилъ на себя вниманіе Петра и какъ эта ходячая, неустанная, популярная до-нельзя парадоксальность не попадала на висѣлицу или въ Рогервикъ—это останется тайной, хотя нельзя не признать, что сохранностью своей жизни онъ много былъ обязанъ тому, что его боготворили и берегли женщины, начиная отъ простыхъ бабъ и кончая придворными—статсъ-дамами и фрейлинами. Кромѣ того, всѣ недовольные общимъ ходомъ дѣлъ въ государствѣ—а такихъ было чуть-ли не девяносто девять процентовъ—стояли на сторонѣ доктринъ Омушки. Онъ былъ вхожъ и къ самымъ вліятельнымъ лицамъ изъ духовенства и ко двору, но, конечно, больше задними ходами—черезъ служекъ, мамушекъ и нянюшекъ. Изъ духовныхъ савоиниковъ Омушка особенно благоволилъ къ Стефану Яворскому, но зато постоянно язвилъ Теофана Прокоповича и называлъ его „латынскимъ волкомъ“. Постояннаго жительства Омушки никто не звалъ, и на вопросы, гдѣ онъ живетъ, всѣмъ отвѣчалъ: „У Маріи Акимовны въ шабрахъ, у Иванъ Захарыча на задахъ“. Какіе бы богатые подарки онъ ни получилъ, онъ все раздавалъ бѣднымъ, говоря: „возьми—это твое; у тебя украли, а я перекралъ“. На все, что ни происходило въ городѣ или при дворѣ, онъ отзывался какой-нибудь выходкой, злой насмѣшкой или дурачествомъ, такъ или иначе намекавшимъ на данное событіе. Когда по Петербургу прошли слухи, что царевичъ Алексѣй Петровичъ умеръ въ гварнизонѣ, и когда многіе говорили, что „государь-де царевича запыталъ и въ хомутѣ-де онъ умеръ за то, что онъ-де, царевичъ, богоискательный человекъ и не любитъ нѣмецкой политики“, Омушка рассказывалъ своимъ слушателямъ притчу, что былъ-де Авраамъ и хотѣлъ-де принести своего сына Исаака въ жертву Богу—хотѣлъ-де зарѣзать, такъ ангелъ-де удержалъ его руку; а вотъ-де нынѣ царь захотѣлъ принести своего сына въ жертву чорту, чакъ чортъ-де самъ подтолкнулъ цареву руку. А когда приведены были на мѣсто казни лица, замѣшанные въ дѣло царевича, именно: Іаковъ Игнатьевъ, Лопухинъ, Большой-Авдасьевъ и другіе, Омушка явился туда же, на тронцкую площадь, съ кускомъ говядины. Дни тогда были постные—стоялъ филипповъ постъ. Когда осужденнымъ отрубили головы и взоткнули

на колья, Омушка сталъ усердно завтракать своей говядиной, на глазахъ у всѣхъ зрителей. Когда же его спросили, что онъ дѣлаетъ и почему въ постъ ѣсть скоромное, юродивый отвѣчалъ: „Батюшка царь нонѣ человѣчинку кушаетъ, а намъ велѣлъ говядину ѣсть“. Въ другой разъ, именно на страстной недѣлѣ, когда Теофанъ Прокоповичъ отправлялъ богослуженіе въ петропавловскомъ соборѣ, Омушка стоялъ на паперти и ѣлъ моченый горохъ. Такое грѣховное поведеніе святого человѣка всѣхъ благочестивыхъ людей привело въ ужасъ, и когда многіе напоминали юродивому, что ѣсть до службы въ великую пятницу—страшный грѣхъ, Омушка сказалъ:

Сей грахъ
Выросъ на небесахъ
И весь постъ въ водѣ мокъ,
Чтобъ я его ясти возмогъ.
А Теофанъ дѣлалъ не такъ—
Весь постъ нюхалъ табакъ,
А нонѣ обѣдню читаетъ,
А чортъ передъ нимъ на скрипочкѣ играетъ.

Благочестивые толковали, что горохъ мокъ въ водѣ весь постъ—это значить, что Омушка весь постъ ничего не ѣлъ, а теперь и бѣса по-срамилъ, и Теофана-табачника обличилъ.

Встрѣча съ юродивымъ поразила Левина. Да и вообще для него выдалось такое утро, что могло перевернуть и менѣе впечатлительную натуру. Этотъ городъ, выросшій точно изъ земли по мановенію страшнаго волшебника; эти ужасные остатки человѣческихъ тѣлъ на колесахъ; эти заиндевѣвшія на колыяхъ головы, которыя даже птицъ пугаютъ; этотъ странный человѣкъ, пляшущій босыми ногами по снѣгу,—все это ложилось на нервы раздражительно, подмываяще... Хотѣлось что-то сдѣлать, выкрикнуть кому-то угрозу, помѣряться съ кѣмъ-то силами... А съ кѣмъ?—Вонъ съ тѣмъ великаномъ, что по росту даже на человѣка не похожъ!..

— Такъ что жъ съ Гаментовой-то стало, Омушка?—допрашивалъ арсонофій.

— Орелка, Орелка opakostилъ... Ой-ой-ой! страшно на этомъ свѣтѣ. страшно, батюшки!..

И юродивый, закрывъ лицо, зарыдалъ какъ ребенокъ: „Ой-ой-ой! ой, батюшки-свѣты! батюшки!...“

XIV.

Левинъ встрѣчается съ царемъ Петромъ I.

Сама судьба, повидимому, толкала Левина на невѣдомый ему самому подвигъ. Одно, что онъ ясно сознавалъ въ себѣ,—это непреодолимое желаніе помѣряться съ кѣмъ-то силами, да помѣряться съ чѣмъ-либо большимъ, такимъ большимъ, больше и сильнѣе чегѣ нѣтъ въ мірѣ. Образъ этой силы

уже рисовался ему осязательно, и хотя образу этому придавались земныя очертанія, но сила самая казалась неземною. Великанъ, котораго онъ видѣлъ выходящимъ изъ двора, отчасти отвѣчалъ идеалу невѣдомой страшной силы: нечеловѣчскій ростъ, нечеловѣческіе поступки, нечеловѣческое сердце—да, это онъ, онъ, подъ ногами котораго трещитъ земля и стонутъ люди, — онъ, который отнялъ у Россіи покой, а у него самого то, что было ему дороже всего на свѣтѣ...

Когда Левинъ, въ то же утро, послѣ встрѣчи съ юродивымъ, зашелъ къ Варсонофію, этотъ послѣдній разсказалъ ему, что зналъ, о смерти царевича. Потомъ прибавилъ:

— А объ Афрасиньюшкѣ сказываютъ, что ее задавили, когда всѣ допросы съ нея были посымаы. Когда-де, говорятъ, ей сказали, что ее отдадутъ замужъ за престолярнаго человѣка, она, матушка, молвила: „послѣ-де царевича никто при моемъ боку лежать не будетъ“. Ее и задавили.

И, помолчавъ немного, старикъ продолжалъ:

— О-о-хо-хо! Сдается мнѣ, что я видѣлъ ее, голубушку. Разъ это ночью, послѣ кончины царевича, проходилъ я мимо гварнизона. Вижу, у мостковъ стоитъ лодка, а изъ гварнизона невѣдомые люди несутъ что-то:—мѣшокъ, не мѣшокъ, а что-то длинное. Я спрятался и смотрю, что дальше будетъ. Вотъ это они положили мѣшокъ въ лодку, что-то привязали къ мѣшку—не-то камень, не-то ядро, и поплыли по Невѣ вверхъ къ дворцу. Порывавшись съ дворцомъ, остановились. Слышу—отъ дворца свистокъ дали. Какъ свистъ-то раздался, вижу—въ лодкѣ поднимаютъ мѣшокъ да бултыхъ его въ воду! Только и было. Сотворилъ я крестное знаменіе и, крадучись, пробрался домой. Съ той поры объ ней, голубушкѣ, ни слуху, ни духу. Только Омушка послѣ болтала: „дѣвушка-де рыбку ѣла, а рыбка-де дѣвушку съѣла“.

Оба молчали. Видно, что все слышанное и видѣнное Левинымъ пробуждало въ немъ давно дремавшую энергію—энергію борьбы, подвига.

— Такъ какъ ты думаешь, дѣдушка о моемъ дѣлѣ?—спросилъ онъ.

— Вотъ что я тебѣ скажу, сынъ мой,—медленно отвѣчалъ старикъ.— Я знавалъ твоего родителя, хлѣбъ-соль его тоже знавалъ, и тебѣ худа не пожелаю. Допрежъ того, чѣмъ тебѣ итти прямо къ самому Меншикову, хоть у тебя и письмо къ нему есть отъ Трубецкаго, повидайся ты съ Никифоромъ, съ Лебедкой, съ іереемъ. Отецъ Никифоровъ состоитъ духовнымъ отцомъ у самого князя Меншикова. Человѣкъ онъ не изъ нонѣшнихъ—человѣкъ богоискательный: искалъ Бога и обрѣлъ. Онъ тебѣ все разскажетъ, что дѣлать, и къ князю сведетъ.

Нестерпѣніе подмывало Левина. Онъ чувствовалъ, какъ въ немъ прибываетъ силы, какъ крѣпнуть его руки, которыя, казалось ему, въ состояніи были бы землю пошатнуть, море выплеснуть, какъ ковшъ воды, до неба. Ему хотѣлось тотчасъ же схватиться съ кѣмъ-то.

Узнавъ, гдѣ найти Лебедку, онъ немедленно отправился къ нему. Имя

Варсонофія такъ было извѣстно въ домѣ Лебедки, что Левина тотчасъ же выпустили въ комнаты. Его встрѣтила небольшая живенькая дѣвочка, въ личикѣ которой и во всей фигуркѣ было что-то необыкновенно живое, подвижное, ртутное. Курносенькій профиль и голубые глазки выражали самую чистую довѣрчивость. Къ людямъ она, какъ видно, привыкла.

Левинъ залюбовался дѣвочкой. Она напоминала ему что-то такое свѣтлое и чистое.

— Ты отъ дѣдушки Варсонофія?—защебетала дѣвочка, бойко смотря въ горѣвшіе внутреннимъ огнемъ глаза Левина.

— Да, отъ него, милая.

— Для чего жъ онъ самъ не пришелъ?

— Не знаю. Вѣрно, недосугъ.

Дѣвочка повертѣлась, взяла на руки кошку, которая терлась у ея ногъ, и снова заболтала:

— Батя у свѣтлѣйшаго. Онъ скоро придетъ. Хочешь, Маша, молочка? (обратилась она къ кошкѣ). Теперь не постъ... Ахъ, дѣдушка Варсонофія! зачѣмъ онъ не пришелъ? Я его ухъ какъ крѣпко люблю. А онъ тебѣ сказывалъ про Кіевъ?—подскочила она къ Левину.

— Сказывалъ.

— Ахъ, какъ я люблю слушать про Кіевъ! про пещеры, про Баръ-градъ, гдѣ мощи Николая Чудотворца. А ты былъ въ Кіевъ?

— Бывалъ, милая.

— И мощи видѣлъ, а Ивана многострадальнаго, что въ землю уходитъ?

— Видалъ.

— Ахъ, какъ страшно! Сказываютъ, скоро весь войдетъ въ землю—тогда конецъ свѣту.

Левинъ слушалъ это дѣтское щебетанье, и у него на сердце становилось легче.

— Когда я вырасту большая,—продолжала дѣвочка таинственно:—я пойду въ Кіевъ, въ Баръ-градъ, на гору Аѳонъ, въ Ерусалимъ-градъ. Все, все посмотрю, приложусь ко всѣмъ мощамъ, и Ивана многострадальнаго увижу—погляжу, сколько ему остается уходить въ землю. А въ Ерусалимѣ градѣ гробу Господню поклонюсь... А потомъ, знаешь что сдѣлаю?—спросила она еще болѣе таинственно.

— Не знаю, милая,—отвѣчалъ Левинъ, улыбаясь.

— Во пустыню прекрасную уйду...

И дѣвочка приложила пальчикъ къ губамъ. Левину стало больно. Сердце разомъ заняло, заняло...

— Ахъ какъ хорошо въ пустынѣ!—продолжала дѣвочка, нянчась съ кошкой:—цвѣтики алые цвѣтутъ, птички райскія поютъ, старцы и старицы Бога хвалятъ...

Дѣвочка все это болтала съ чужихъ словъ, мечтая объ ужасной пустынѣ, когда въ самой ключемъ была жизнь, да не скитская, а реальная, съ ея реальнымъ счастьемъ и реальнымъ страданьемъ.

— А мама въ кухнѣ. У нея руки запачканы.

Заглянувъ въ окно, дѣвочка закричала:

— Батя идетъ! батя идетъ!—и бросилась встрѣчать отца.

Черезъ нѣсколько секундъ въ комнату вошелъ мужчина, уже не молодыхъ лѣтъ, въ священнической одеждѣ. Онъ ласково поздоровался съ Левинымъ, который подошелъ къ нему подъ благословеніе и поцѣловалъ руку.

— Пришелъ я къ тебѣ, отецъ Никифоръ, отъ старца Варсонофія за совѣтомъ. Я капитанъ коннаго гренадерскаго полку Василій, Саввиачъ сынъ, Левинъ. Пріѣхалъ я сюда съ письмомъ къ свѣтлѣйшему князю Александръ Данилычу отъ командира моего, князь Иванъ Юрьича Трубецкаго, для освидѣтельствованія меня въ военной коллегіи. По болѣзненному состоянію моему и по истовой вѣрѣ желаніе имѣю постричься въ монахи.

— Что жъ, дѣло хорошее, Богу угодное.

— Такъ Варсонофія, по старому хлѣбосольству съ родителемъ моимъ, прислалъ меня къ тебѣ, дабы ты замолвилъ за меня слово у свѣтлѣйшаго.

— Душевно радъ, душевно радъ. Въ какую же ты обитель хочешь?

— Въ Соловецкую святую обитель хотѣлъ бы.

— Такъ, такъ. И самъ я о томъ-же давно думаю. Какъ только выдамъ замужъ дѣвочку, то, покинувъ и попадью, уйду въ монастырь.

Дѣвочка, вознишавшая съ кошкой, услышавъ послѣднія слова отца, побѣжала къ нему и заговорила:

— Нѣтъ, батя, я замужъ не хочу—я въ пустыню хочу.

— Вотъ тебѣ на! Ахъ ты, дурочка. Подожди еще—рано въ пустыню.

— Нѣтъ, не рано батя. А тебя я въ монастырь не пушу—мамѣ скажу.

— Ладно. Сбѣгай къ мамѣ—пускай намъ закуску дастъ, а тамъ и въ пустыню пойдемъ.

Дѣвочка побѣжала.

— Какой милый ребенокъ,—замѣтилъ Левинъ.

— Да, коли бъ не она, давно-бы я въ монастырѣ жилъ,—сказалъ Лебедка;—нынче на міру житіе опасно—душу погубишь.

— И я то же думаю, отецъ,—сказалъ Левинъ:—и вотъ затѣмъ-то къ тебѣ и пришелъ. Я и прежде хотѣлъ смириться—на смиреніе пойти, а какъ старецъ Варсонофія поразсказалъ мнѣ, что здѣсь дѣлается, такъ и на свѣтъ бы этотъ погибельный не глядѣлъ.

— Воистину такъ—одинъ грѣхъ. Не даромъ говорится: у Бога темныя, у чорта—со смолою казанъ. Ты, Василій Саввичъ, хотя и мірской человѣкъ, а благую часть избираешь: могій вмѣстити, да вмѣститъ.

— Я ужъ такъ и рѣшилъ—другой дороги мнѣ нѣтъ,—сказалъ Левинъ задумчиво.

— Ты, значить, женатъ не былъ?—спросилъ Лебедка.

— Не привелъ Богъ.

— Что такъ?

— Царю негодно было. Онъ указалъ другого жениха моей невѣстѣ—денщика своего, Ивана Орлова.

— А! знаю... ловкій парень... да и на ушкѣ виситъ у царя словно усерязъ... Токмо онъ, я знаю, не женатъ, и обольстилъ лестію одну дѣвку дворцовую, Марью Гаментову. Теперь дѣвку приговорили къ смерти и казни, за то яко бы, что ребенка, прижитаго отъ этого Орлова, стыда ради удавила. Ее-то подъ плаху подвелъ этотъ Орловъ, а самъ изъ воды сухъ вышелъ.

— Знатнаго же женишка нашли моей невѣстѣ!—сказалъ Левинъ съ волненіемъ.

— Что жъ она?

— Въ монастырь ушла.

— Ну, значить, и тебѣ дорожку указала—иди, не сворачивай.

— Я и то иду. Да только какъ мнѣ къ князю дойти?

— А со мной. Кстати же онъ приказалъ принести ему книгу Теофана Прокоповича: „О мученичествѣ“, такъ мы, не медля, и пойдемъ.

Взявъ сочиненіе Теофана „О мученичествѣ“, — сочиненіе, написанное въ защиту бранобритія и нѣмецкаго платья, Лебедка повелъ Левина къ Меншикову.

Пройдя прямо къ князю и доложивъ о Левинѣ, Лебедка возвратился домой, наказавъ Левину зайти къ нему непременно послѣ аудіенціи.

Скоро Левина потребовали въ кабинетъ князя. Когда онъ вошелъ, то очутился въ такомъ положеніи: посрединѣ большой комнаты стоялъ столъ, заваленный бумагами; у стола стояло деревянное съ прямой спинкой кресло, а въ немъ сидѣлъ Меншиковъ спиной къ вошедшему; видѣлся только княжескій затылокъ. Меншиковъ не всталъ и не оборотился при входѣ Левина. Послѣдній почувствовалъ себя очень неловко. Но его спасло зеркало, висѣвшее противъ стола. Увидавъ въ этомъ зеркалѣ лицо князя, Левинъ поклонился.

— Ты Левинъ?—спросилъ князь.

— Я, ваша свѣтлость.

— Изъ дворянъ?

— Изъ дворянъ пензенскаго уѣзда, ваша свѣтлость.

— Князь Трубецкой доноситъ, что ты недуженъ. Какимъ недугомъ одержимъ ты?

— Падучею, ваша свѣтлость.

— А на царской службѣ давно ли?

— Седьмой годъ, ваша свѣтлость.

— А давно это съ тобою?

— Восемнадцать лѣтъ, ваша свѣтлость.

— Въ какихъ баталіяхъ былъ?

— Подъ Нарвой, при Лѣсномъ и подъ Полтавой.

— А! Лѣсное помнишь, гдѣ мы знатную викторію одержали надъ Левентъ-Гоуптомъ?

— Помню, ваша свѣтлость.

— А меня видѣлъ тамъ?

— Видѣлъ, ваша свѣтлость... на бѣломъ конѣ ночью...

Лицо Меншикова просіяло.

— Раненъ?—спросилъ онъ.

— Никакъ нѣтъ, ваша свѣтлость.

— А въ прутскомъ походѣ былъ?

— Не былъ, ваша свѣтлость. Я сопровождалъ государя царевича въ Кіевъ.

— А!..

Вдругъ сзади Левина отворилась дверь, и въ зеркалѣ отразилась фигура великана. Левинъ повернулся, какъ ужаленный, и посторонился. Меншиковъ вскочилъ.

— Здравствуй, Данилыч!—сказалъ великанъ.

— Здравія желаю, ваше императорское величество,—привѣтствовалъ Меншиковъ.

— А ты кто?—совершенно неожиданно обратился царь къ Левину.

— Вашего императорскаго величества гренадерскаго коннаго Гаврилы Кропотова полка капитанъ Левинъ.

— Зачѣмъ прибылъ?

— Для освидѣтельствованія въ болѣзни, государь.

— А службу гдѣ началъ?

— Подъ Нарвой, ваше императорское величество.

Лицо великана нервно задергалось.

— А подъ Полтавой былъ?

— Былъ, государь.

— Теперь въ деревню захотѣлъ?

— Въ монастырь, ваше величество.

— А! въ дармоуды записаться... бороду растить... О! бородачи! бородачи! доберусь я до васъ...

Лицо его было страшно. Оно автоматически дергалось. Глаза горѣли.

— Чѣмъ ты боленъ?

— Падучей, государь.

— Вели свидѣтельствовать его наизрожайше,—обратился царь къ Меншикову.

Тотъ поклонился.

— Ступай,—сказалъ царь Левину.

Левинъ вышелъ, какъ ошпаренный. Возвратясь къ Лебедкѣ подъ самымъ тяжелымъ впечатлѣніемъ, онъ засталъ тамъ старца Варсонофія, что-то объяснявшаго первому.

— Ну, что?—спросили оба.

— Былъ,—отвѣчалъ Левинъ.

— Что жъ онъ сказалъ?

— Ничего. Царь помѣшалъ.

— Такъ у него царь?

— При мнѣ пришелъ.

— Говорилъ съ тобой?

— Говорилъ. Сердитый такой. Какъ узналъ, что въ монастырь прошусь, въ неистовство пришелъ. „Въ дармоѣды, говорить, записаться хочешь—бороду растить. Я, говорить, доберусь до васъ, бородачи“.

— Бабушка надвое сказала,—спокойно замѣтилъ Варсонофій.

— Такъ, такъ,—улыбаясь сказалъ Лебедка:—кабы у бабушки бородушка, была бы дѣдушкой... Что жъ, велѣлъ свидѣтельствовать?

— Велѣлъ нансторожайше.

— Ничего. На то сито, чтобъ чище сѣяло.

Разговоръ перешелъ на тягости времени.

— Последнія времена, последнія времена,—повторялъ Варсонофій.

— И я тако жъ слыхалъ,—сказалъ Лебедка.—Одиннадцать лѣтъ тому назадъ, былъ я въ Новѣгородѣ. Повстрѣчался я тамъ на базарѣ съ своимъ бывшимъ духовнымъ сыномъ, съ новгородскимъ съ посадскимъ человекомъ, съ Гаврилою Нечаевымъ. Былъ этотъ Гаврила въ брынскихъ лѣсахъ, у святыхъ отшельниковъ. Прожилъ онъ тамъ не мало время. Такъ этотъ Гаврила сказывалъ, что антихристъ уже приде на землю и въ книгахъ-де это написано.

— Знаю я эти книги,—замѣтилъ Варсонофій: — списаны онѣ рукою книгописца Григорія Талицакаго, пріѣзжаго отъ царя лютую казнь лѣтъ восемнадцать тому назадъ. Писаны книги тѣ съ древнихъ рукописаній, и наименованіе имъ таково: первая книга — „О пришествіи въ міръ антихриста и о лѣтѣхъ отъ созданія міра до скончанія свѣта“; другая книга именуется „Врата“. По симъ книгамъ подлинно выходитъ, что осьмой царь-антихристъ и есть Петръ, похитившій имя царя.

— Воистину антихристъ,—подтверждалъ Лебедка.—Онъ и сына своего не пощадилъ — билъ его, и царевичъ не просто умеръ: знаю, что онъ его убилъ, понеже царевичъ въ гарнизонѣ содержался и питанъ былъ. А царевичъ былъ добрый человекъ; онъ и мнѣ добро дѣлывалъ; когда мы были за моремъ, въ Помераніи, царевичъ берегъ меня.

— И я слыхалъ, что онъ подлинный антихристъ,—замѣтилъ Левинъ.— Въ 716 году, когда мы стояли въ Харьковѣ, лѣтомъ къ дому моему подѣхали три монаха, невѣдомо какіе, всѣ трое образомъ равны, и говорить по-русски, только на греческую рѣчь походить. Остановились они противъ моей квартиры и стали ко мнѣ проситься. Я съ великою радостію принялъ ихъ. Они дали мнѣ винныхъ ягодъ и изюму, а я просилъ ихъ обѣдать со мною. Разговорились. „Откуда, спрашиваю, ѣдете и куда?“— „Изъ Ерусалима, говорятъ, отъ гроба Господня въ Санктійтербургъ — смотрѣть антихриста.“— „Какой тамъ антихристъ?“—спрашиваю.— „Котораго вы называете царь Петръ Алексѣевичъ—тотъ и антихристъ. Прибудетъ онъ въ столицу и не долго-де тамъ будетъ—отъѣдетъ въ Казань, и въ тѣ-де времена уже покою не будетъ...“ Монахи эти и крестомъ съ мощами благословили меня: тутъ онъ—на мнѣ.

— Все сбывается по писанію,—добавилъ Лебедка:—у насъ всѣ это говорятъ.

— Да и въ Малороссіи мнѣ сказывали, — пояснилъ Левинъ: — что царь — не прямой царь, а антихристъ; приводилъ-де, говорятъ, царевича въ свое состояніе, и онъ-де его не послушалъ, и за то-де его и убилъ.

— Не даромъ знаменія на небеси и на земли, — подтвердилъ Варсонофій.

— Правда. И я таковое знаменіе видѣлъ въ 718 году мая 6 дня, — сказалъ Левинъ. — У меня и въ святцахъ записано тако: явленіе было на небеси въ полдень — солнце было въ кругу великомъ темно три часа.

— Это — къ смерти царевича, — сказалъ Варсонофій. — Я помню это. Тогда, въ концѣ апрѣля, привезли Афросиньку изъ Неаполя, потому пытали ее, а къ Петрову дню царевича и ее, голубушки, не стало.

Разговоръ былъ прерванъ дѣвочкой, дочерью Лебедки, которая вбѣжала въ комнату и бросилась къ Варсонофію.

— Ахъ, дѣдушка! — лепетала она: — меня батя хочетъ отдать замужъ.

— Что-жъ — пора, — отвѣчалъ, улыбаясь старикъ и любовно глядя ребенка.

— Нѣтъ, дѣдушка, не пора — я не хочу.

— А чего жъ ты хочешь?

— Я въ пустыню хочу.

— Вотъ какъ! Раненько.

— Я не теперь, дѣдушка, а черезъ годъ, когда буду бодьшая.

— Ну, тогда какъ разъ въ пору.

— Да еще въ Кіевъ хочу, въ пещеры, въ Баръ-градъ, въ Ерусалимъ.

Пока дѣвочка болтала, Лебедка увидѣвъ кого-то въ окно, сказалъ:

— Зачѣмъ это нелегкая несетъ Орлова, денщика царскаго? Претить онъ мнѣ.

— Не орелъ, а воронъ, — вставилъ Варсонофій: — на пададь каркаетъ.

Левинъ поблѣднѣлъ. Онъ вспомнилъ Кіевъ, Оксану... „Такъ вотъ кто отнялъ мою Оксану... и не для себя, а чтобъ живую въ гробъ уложить... Упыри кругомъ, упыри, кровопійцы; скорѣй бы подальше отъ нихъ“, — пробѣгло у него по мозгу и по сердцу.

Вошелъ Орловъ и, не поклонившись никому, сказалъ, обращаясь къ Лебедкѣ:

— Отецъ Никифоръ! царь государь Петръ Алексѣевичъ и свѣтлѣйшій князь приказали тебѣ завтра же прислать къ князю гренадерскаго коннаго полку капитана Левина, слышалъ?

— Слышалъ и исполню волю цареву и приказъ свѣтлѣйшаго.

Орловъ ушелъ. Дѣвочка стояла, раскрывъ свои большіе голубые глазки. Левинъ угрюмо молчалъ.

— Воронъ, воронъ, воронъ, — глухо говорилъ Варсонофій: — на свою голову каркай.

XV.

Левинъ въ крѣпости. Казнь Фрейлины Гамильтонъ.

Когда, на другой день, Левинъ явился къ Меншикову, тамъ уже ожидалъ его сержантъ съ письменнымъ приказомъ къ коменданту крѣпости, Вахміотову. Коменданту предписывалось помѣстить Левина въ лазаретъ и подвергнуть наистрожайшему медицинскому освидѣтельствуванію.

Левина повели въ крѣпость. Хотя онъ самъ добивался освидѣтельствуванія, но, послѣ суровыхъ словъ царя, ему представлялась впереди картина пытокъ... „Что жъ, хомуть—такъ хомуть (шевелилось въ его возбужденныхъ нервахъ): коли выдержи дыбу, такъ выдержи и все. На то пошелъ“.

Въ крѣпость приходилось идти мимо того мѣста, гдѣ стояли страшные колья съ торчавшими на нихъ мертвыми головами. Стаи воронъ кружились надъ площадью, нахально перекликаясь, но боясь опуститься на остатки человѣческихъ труповъ, недоклеваныхъ ими. Народъ проходилъ мимо, взглядывая на колья пристальнѣе, чѣмъ онъ глядѣлъ на фонарные столбы и на деревья: есть явленія, къ которымъ человѣкъ не можетъ привыкнуть, хотя бы они повторялись каждый день, каждый часъ.

День былъ теплѣе предыдущаго. Солнце ярко смотрѣло изъ-за Невы, откуда-то издалека, словно бы оно поднялось тамъ гдѣ то, надъ Кіевомъ, и съ изумленіемъ глядѣло на эти головы, отдѣленные отъ тѣлъ. А головы, торча на кольяхъ, казались гордо поднятыми надъ землею, гордо и торжественно, и Левину сдавалось, что онѣ, обратившись на всѣ четыре стороны, кричали востоку, сѣверу, западу и югу: „Смотрите! смотрите на насъ! Видите, что дѣлаютъ люди съ людьми! Звѣри того не дѣлаютъ съ звѣрями, змѣи и скорпіи добрѣе человѣка!“

— Съѣсть, съѣсть меня,—пробормоталъ все время до того мечтавшій Левинъ.

Сержантъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на него.

— Онъ когтями задушить меня... съѣсть,—снова бормоталъ онъ, хватаясь за кафтанъ сержанта.

— Что съ тобой, ваша милость?—спросилъ изумленный сержантъ, освобождая полу кафтана.

— Онъ меня съѣсть... не давай ему...

— Кто съѣсть?

— Онъ... котъ... котъ меня съѣсть...

Сержантъ разсмѣялся.

— Да развѣ ваша милостьмышь?—спросилъ онъ.

— Мышь... меня въ мышеловку хотятъ посадить... не давай меня.

Онъ говорилъ это торопливо, шопотомъ, оглядываясь испуганно ко

сторонамъ. Глаза дико блуждали. Сержантъ понялъ, что человѣкъ не въ своемъ умѣ.

— Пойдемъ, пойдемъ—я не дамъ тебя коту.

Черезъ крѣпостныя ворота они прямо пришли къ комендантской избѣ. Ихъ впустили въ пріемную, доложили коменданту, передавъ въ собственныя руки пакетъ, съ надписью: *имянный*.

Бахміотовъ немедленно вышелъ съ распечатаннымъ пакетомъ въ рукѣ. Это былъ полный, круглолицый и круглоглазый мужчина, дѣйствительно, напоминавшій откормленнаго кота, но только безъ усовъ и съ бритой мордой. Уши торчали прямо, по-кошачьи, какъ это часто можно видѣть на татарскихъ типахъ. Уши эти, повидимому, были постоянно на-сторожѣ, прислушиваясь къ всякому шороху въ крѣпости.

— Гдѣ больной?—спросилъ Бахміотовъ какъ на переключкѣ.

— Здѣсь,—отвѣчалъ сержантъ, выдвигая впередъ Левина.

Комендантъ подошелъ ближе.

— Мясо все вышло... не надо больше мяса, — заговорилъ Левинъ, дико озвываясь.

— Какое мясо?—спросилъ съ удивленіемъ комендантъ, глядя на Левина.

— Человѣчье мясо... вороны поѣли... однѣ кости тамъ... не давайте имъ моего мяса,—бормоталъ тотъ.

— А!... — сказалъ какъ бы про себя комендантъ и, обращаясь къ стоявшему сзади его писарю, прибавилъ: — отведи его въ лазаретъ; по именному указу—для наистрожайшаго испытанія.

Левина повели въ лазаретъ.

Увидѣвъ на крѣпостной стѣнѣ каркающую ворону, Левинъ закричалъ.

— А! ты на меня каркаешь: моего мяса хочешь, сердце мое клевать будешь... А у меня нѣтъ сердца—его въ Кіевѣ вырѣзали и бросили собакамъ... Орелка съѣлъ мое сердце... Не каркай, проклятая! Кш-киш! киш! аминь-аминъ, разсыпся!..

Въ лазаретѣ его сдали дежурному врачу, съ поясненіемъ, что, по именному указу, больной долженъ быть испытанъ наистрожайше, что онъ—капитанъ Левинъ, лично извѣстный царю.

— Не пускайте сюда ворону—она каркаетъ на мое мясо, на мою голову, на мое сердце... А мое сердце Орелка съѣлъ... Тамъ еще есть мясо—на кольяхъ... Пускай его ѣстъ ворона,—бормоталъ больной.

Докторъ, старый нѣмецъ, нижняя губа котораго сильно отвислая, какъ бы говорила, что она устала, что ей надоѣло служить беззубому рту и хочется на покой, въ могилу, — докторъ равнодушно, спокойно и внимательно слушалъ бессмысленную болтовню больного, словно бы это была умная, серьезная рѣчь, и сквозь круглыя, огромныя, какъ стекло райка, очки добродушно заглядывалъ въ глаза Левина, горѣвшіе лихорадочнымъ огнемъ и дико блуждавшіе.

— Господинъ капитанъ!—сказалъ онъ серьезно:—мы воронъ въ лазаретъ не пускаемъ.

— Она сама влетить...

— Не влетить, господинъ капитанъ. Я отдалъ приказъ не пускать сюда воронъ.

Левинъ какъ будто успокоился.

— Чѣмъ ты нездоровъ, господинъ капитанъ?—спросилъ докторъ.

— У меня падучая.

— Давно?

— Съ 712 года... Я не ѣлъ мяса... А потомъ сталъ ѣсть мясо, какъ ворона, и хотѣлъ жениться, а Орелка взялъ и съѣлъ мою невѣсту и мое сердце.

— Какой Орелка?—серьезно спросилъ нѣмецъ.

— Собака... Она здѣсь...

— Гдѣ?

— У царя.

Нѣмецъ задумался. Въ продолженіе долгодѣтней службы въ Россіи ему приходилось имѣть дѣло со всевозможными больными, съ сумасшедшими, идиотами, безумными и бѣшенными. Въ то время, когда Петръ требовалъ службы отъ каждаго дворянина, а „дуракамъ“ и „дурамъ“ запрещено было даже жениться и выходить замужъ, происходили почти поголовныя свидѣтельства, особенно тѣхъ, которые, отбиваясь отъ службы, притворялись больными, сумасшедшими и дураками. Доктора, поэтому, должны были порядочно набить руку на практикѣ освидѣтельствванія.

Левинъ показался доктору загадочнымъ экземпляромъ. Вся внѣшность говорила, что это — дѣйствительно больной человѣкъ: худъ, блѣденъ, съ вялыми мышцами, съ глубоко запавшими глазами. Но до такого состоянія можно довести себя и искусственно. Можно притвориться и безумнымъ, говорить всякій вздоръ... Но нѣтъ — глаза Левина говорили что-то другое: въ нихъ горѣло или безуміе, или страсть, или фанатизмъ, однопредметное помѣшательство. Такого выраженія нельзя дать глазамъ по своей волѣ; такого выраженія сочинить нельзя... Нѣтъ, внутри этого человѣка сидитъ что-то особенное... Такое выраженіе докторъ замѣтилъ у духовника царевича, у протопопа Якова, когда ему объявлена была смертная казнь.

Докторъ рѣшилъ наблюдать за больнымъ, испытывать его въ продолженіе извѣстнаго времени.

Левина оставили въ лазаретѣ. Каждый день докторъ справлялся объ его здоровьѣ. Больной былъ покоенъ и только иногда заговаривался: опять являлись вороны, клевавшіе человѣческое мясо, собака, съѣвшая его сердце, котъ, намѣревающийся броситься на него — на мышъ... Иногда больного навѣщала попъ Лебедка, который, по просьбѣ Левина, и принесъ ему его святцы. Въ этихъ святцахъ, которыя служили ему памятной книжкой, Левинъ записывалъ иногда событія своей жизни и свои мысли.

Время шло, а докторъ все не могъ понять болѣзни своего пациента. Все казалось ему страннымъ въ его поведеніи, и невольно являлось подозрѣніе, что Левинъ притворяется. Тогда врачъ рѣшился прибѣгнуть къ

сильному средству—къ испытанію больного огнемъ... Въ то ужасное время, когда кнутъ замѣнялъ предварительное судебное дознаніе, застѣнокъ—слѣдствіе, а дыбы—допросъ, медицина, для распознаванія болѣзни, прибѣгала тоже къ пыткамъ—такова была діагноза петровскаго времени! Левину прописано было тогдашнее модное лѣкарство, своего рода хининъ, или *kali bromatum*—именно *огонь*.

— Что это такое, господинъ капитанъ?—спросилъ однажды докторъ, увидавъ, что больной писалъ что-то въ своемъ дневникѣ лѣвой рукой?

— Рука правая отнялась,—отвѣчалъ Левинъ.

Нѣмецъ осмотрѣлъ руку. Она какъ-то странно болталась.

— Гмъ! такъ мы пропишемъ ей огонь... *kali ignis*—раскаленное желѣзо,—сказалъ нѣмецъ серьезно, хотя, видимо, былъ доволенъ своимъ каламбуромъ.

— На томъ свѣтѣ и тебѣ будутъ жечь желѣзомъ правую руку,—возразилъ спокойно Левинъ.

— За что меня будутъ жечь?—спросилъ нѣмецъ.

— За то, что ты не крестишься.

— *O! das ist Dummheit*—это ваши русскіе забобоны. На томъ свѣтѣ желѣза и никакихъ металловъ нѣтъ,—серьезно замѣтилъ нѣмецъ.

Когда черезъ нѣсколько дней докторъ явился съ инструментомъ и съ жаровней и сталъ накаливать желѣзо, желая приступить къ операціи жженія больного, Левинъ хотѣлъ-было уйти, но бывшіе при этомъ фельдшера и сторожа схватили его и стали силой удерживать на койкѣ.

Левинъ, вырываясь изъ рукъ сторожей, неистово кричалъ:

— Антихристъ! антихристъ! антихристъ!... Пустите меня! Я не хочу въ его вѣру!

Его повалили на койку и держали за руки и за ноги. Онъ бился головой о койку и продолжалъ кричать, страшно ворочая глазами:

— Антихристъ!.. Да воскреснетъ Богъ... Аминь, аминь, разсыпся...

Когда желѣзо было накалено добѣла, докторъ подошелъ къ больному и поднесъ свое страшное лѣкарство къ самому лицу его. Увидавъ это, Левинъ весь задрожалъ и застоналъ.

— Печать антихриста... ой-ой! Клеймить хотять... Я не вѣрую въ него... я въ Христа вѣрую... Ой-ой!

Нѣмецъ не обращалъ вниманія на крики. Какъ истый геллертеръ, онъ съ удовольствіемъ приступалъ къ интересному ученому опыту. Нижняя губа его совсѣмъ отвалилась и сладострастно дрожала.

— Держите руку. Дайте сюда эту руку; выше подымите,—говорилъ онъ.

— О! дьяволъ!.. нѣмецъ проклятый... антихристовъ слуга... ой! ой!

— Нѣтъ, нѣмецъ не проклятый! Нѣмецъ честный человѣкъ.

И честный человѣкъ приложилъ раскаленное желѣзо къ рукѣ больного.

— Ай! клеймо... антихристъ...

Левинъ пересталъ кричать. Онъ лишился чувствъ.

— Это хорошо. Опыт удался: рука чувствует. *Sehr gut*,—бормоталъ нѣмецъ.

Но и послѣ этого опыта, когда Левинъ пришелъ въ себя, докторъ не могъ понять, въ сущности, его болѣзни. Въ вѣкъ желѣзныхъ нервовъ, когда съ подсудимыми разговаривали посредствомъ кнута и дыбы, когда больныхъ свидѣтельствовали посредствомъ раскаленного желѣза и когда люди, посаженные на колья, въ состояніи были плевать въ глаза своимъ мучителямъ, о нервныхъ болѣзняхъ не имѣли понятія ни врачи, ни пациенты:—при Петрѣ у людей нервовъ не должно было существовать; нервы были запрещены. Понятны были только осязательныя формы болѣзни: прошибленная до мозга голова, распоротый животъ, переломленная нога, отрубленная рука и т. п.—это ясно, что болѣзнъ; что не подходило подъ эти формы, то шло въ категорію болѣзней отъ порчи, отъ глаза, отъ нечистаго...

У Левина, къ сожалѣнію, оказался запрещенный товаръ: у него были нервы. И вотъ Левинъ пошелъ за порченного, за сумасшедшаго, за бѣсноватаго. Онъ самъ почти такъ о себѣ думалъ. Нервные припадки онъ считалъ падучею, и думалъ, что этою болѣзнію его наказалъ Богъ за то, что онъ „ѣлъ мясо и хотѣлъ жениться“. Дѣйствительно, припадки эти обнаружались въ немъ послѣ страшной нравственной всгряски, когда онъ узналъ, что любимая имъ дѣвушка погибла для него, что его чернокосая Оксана похоронила себя за-живо въ монастырскомъ склепѣ. Съ той поры жизнь его была разбита, нервы пошли вразбродъ; онъ не понималъ самъ, что съ нимъ дѣлается; этого не понималъ никто... Жизнь для него стала нескончаемой мукой. Эта мука на него наслана свыше, какъ небесная кара. И вотъ несчастный пишетъ въ своемъ дневникѣ: „Когда былъ въ полку, въ 1712 году, не ѣлъ мяса, а потомъ сталъ-было ѣсть и хотѣлъ жениться, а за то падучею болѣзнію жестоко наказанъ“. Дневникъ этотъ сохранился донятѣ въ одномъ изъ нашихъ государственныхъ архивовъ...

Въ концѣ концовъ Левинъ пошелъ за падучаго, но все еще оставался въ лазаретѣ на испытаніи.

Послѣ огненной пытки, усталый, разбитый, съ нервами, доведенными до бѣшенаго состоянія, лежитъ онъ день, лежитъ другой, лежатъ третій... Мертвая тишина кругомъ... Загубленная жизнь переживается вновь, чувствуется ея гибель всею суммою пережитыхъ страданій... А возврата нѣтъ и конца нѣтъ... Когда же конецъ? Конецъ, проклятый, мрачный конецъ, когда начала не было! Нѣтъ, не надо конца!..

„Матушка! матушка родимая! гдѣ ты? гдѣ твои глазнышки добрые, гдѣ твои рѣчи ласковыя, гдѣ твои рученьки угодливыя? На то ли ты вскормила меня, на то ли меня вспоила, чтобы отдать на руки горю горючему, чтобы долюшку мою развѣяли вѣтры буйныя? Матушка! матушка!..

„Сторона моя родимая! сторонushка милая! гдѣ ты? Снѣгами тебя поприсыпало, туманами позадернуло, далью далекою ты отъ меня отгорожена... Не ходить по тебѣ ноженькамъ моимъ усталымъ, не видать тебя очамъ моимъ, очушкамъ слезнымъ...

„Дитя мое, дитятко загубленное, дѣвилька моя несуженая! На то ли я тебя у смерти отнял, на то ли ты глазнышки свои открывала ясные, чтобы ризою мертвою ихъ позавѣсили?

„Ахъ ты, жизнь моя, жизнь постылая! Въ трехпогубельную ночьку тебя матушка породила, трехпогубельными пеленушками вспеленывала, въ трехпогубельной водѣ тебя попъ Матвѣй крестилъ, въ полынь-горькой травѣ тебя купывали, въ полынь горькой-травушкѣ купаючи, приговаривали: „расти ты, дитятко, несчастливое, — несчастливое, неудачливое, хлебай ты горе-горюшко нераслѣбное, до темной могилушки иди — не оглядывайся“...

Все это какъ-то само собой поется-плачется въ изболѣвшихъ нервахъ, выстопывается всѣмъ тѣломъ...

А за окнами, за крѣпостною стѣною творится что-то необыкновенное. Слышится гулъ какой-то, словно прибой волнъ, и изъ гула выдѣляются глухіе голоса человѣческіе и воронье карканье. Что-то опять не въ мѣру раскаркались вороны...

Левинъ прислушивается къ этому гулу, но слухъ его не можетъ уловить ничего опредѣленнаго. Слышно только, въ сосѣдней камерѣ сторожа разговариваютъ о чемъ-то.

— Народу тамъ навалило видимо-невидимо, — говоритъ одинъ голосъ.

— Вѣстимо, всякому хочется взглянуть, какъ это голова съ плечъ скатится, — говоритъ другой голосъ.

— Эка невидаль! мало что-ль выдывали этихъ головъ? Вонъ и до сей поры торчатъ головы недоѣденныя — смотри, сколько хочешь... У нашего батюшки-царя эти забавочки частеньки... Казнями этими онъ такъ привадишь къ гварнизону воронъ, что отбою имъ нѣтъ... Кажинный тебѣ день ждуть-каркаютъ: вотъ-вотъ новаго мясца человѣчьяго, свѣжинки, поклевать придется.

— Оно такъ, а все, братецъ, всякому съ охотки-то поглядѣть экую красавицу. Я видѣлъ, какъ ее привезли сюда къ намъ въ гварнизонъ на казенные хлѣбы: красавица, братецъ ты мой, такая, что ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ написать.

— А молода?

— Молодехонька, дите сущее.

„Еще кого-то казнить хотятъ, — думаетъ Левинъ, прислушиваясь къ говору сторожей: — Господи! когда жъ конецъ этому?...

И дѣйствительно, передъ крѣпостью, на площади, противъ Троицы — словно всенародное торжество. Народъ навалилъ со всего Петербурга — барабаномъ сзывали; да оно и занято посмотрѣть, какъ на боярышнѣ головку отрубятъ. Точно масляница на площади... Столбы съ торчащими головами, колеса... А тутъ новый высокій эшафотъ съ пирамидами... Торжество знатное... Да, это всенародное торжество — торжество правосудія... Охъ, ужъ это правосудіе! безъ него бы — бѣда!

— Царь ѣдетъ! царь ѣдетъ! — раздались голоса въ народѣ, и площадь заволновалась.

Солдаты, сплошною цѣпью окружавшіе эшафотъ, сдѣлали на-караулъ. Палачи съ блестящими широкими топорами, до того времени спокойно разглаживавшіе бороды, ходя по эшафоту какъ актеры, сняли свои мѣховыя шапки и приготовились къ приему гостей. Вся толпа также сняла шапки. Но все молчало, словно вымерло; только карканье воровъ стало еще отчетливѣе, назойливѣе, нахальнѣе.

— Везуть! везуть! — пробѣжалъ по народу шопоть, но такой шопоть, отъ котораго многіе вздрогнули.

Изъ крѣпостныхъ воротъ показалась черная телѣга. По бокамъ ея идутъ солдаты съ ружьями. На телѣгѣ, на возвышеніи, словно на тронѣ, что-то бѣлѣется, отливая серебристымъ блескомъ. Види́ются двѣ человѣческія фигуры, которыя при движеніи телѣги качаются изъ стороны въ сторону; но лицъ не видать. Онѣ посажены задомъ къ передку... Страшная, потрясающая душу предусмотрительность! Пусть глаза несчастныхъ жертвъ человѣческаго правосудія не видятъ, что ожидаетъ ихъ впереди. Впереди для нихъ уже ничего не осталось: весь путь ихъ жизни сократился до нѣсколькихъ сажень; эти нѣсколько сажень отдѣляютъ ихъ отъ эшафота, отъ топора, отъ могилы, отъ вѣчности... Вотъ что у нихъ впереди! А позади — цѣлая жизнь. Хотя и не длинна была эта жизнь, но есть на что оглянуться, что вспомнить, о чемъ поплакать въ душѣ въ послѣдній разъ...

— Кого казнить-то будутъ, матушка?

— Боярышню, мать моя, дворскую дѣвку, Марью Гаментову.

— А за что казнять?

— Ребенка, сказываютъ, удушила.

— Охъ, Владычица!

— Спозналась эта дѣвка съ денщикомъ царскимъ и забрюхатѣла отъ его, пса, да со стыда дѣвичьяго и со страху младенца-то и стеряла.

— Ахъ, она, моя сердешная! Почто жъ она замужъ за своего сгубщика не вышла?

— Царь, слышь, не велѣлъ...

И она шепнула своей сосѣдкѣ что-то на ухо...

— Охъ, Владычица! грѣхи-то какіе! А съ нимъ-то, съ погубителемъ ейнымъ, что сдѣлали?

— Что ему, псу! Цѣлехонекъ. Еще не одну такую горемычную сгубить.

— А-а-хти-хти! Горе наше женское...

Но вотъ телѣга поворачивается у эшафота. Блѣдное, прекрасное личико преступницы ярко выдѣляется надъ чернымъ сидѣньемъ. Въ рукѣ ея горитъ большая восковая свѣчка. Блѣдно мерцаетъ ея свѣтъ. Скоро-скоро она потухнетъ, какъ и жизнь той, которая ее держитъ лѣвою дрожащею рукою, а правую крестится — сама себя отпѣваетъ, сама по себѣ отходную читаетъ...

Словно вздохъ пронесся надъ онѣмѣвшею толпою, вздохъ сдержанный, но могучій...

— Охъ, Мати Божія! Владычица! — слышатся сдержанные воскли-

цанія:—да какая жь она красоточка! Охъ, голубушка бѣдная,—плачутся сердобольныя бабы).

А она—ни на кого не смотреть: она заглядываетъ въ свою могилу и въ свое прошлое...

Передъ нею родимый тихій Донъ разстилается... Изъ-подъ горы за-
унывая пѣсня доносится.

Совыканье то наше было тайное,
Разставанье-то наше вышло явное...

Встаютъ дѣтскія воспоминанья, дѣтскія грезы... Стонетъ дятель: „охъ головушка болить“... Въ густой зелени вербъ высвистываетъ иволга.. Слышится незабываемый голосъ матери: „Марьюшка моя, дитятко милое“.. И рѣжетъ сердце другой голосъ: „Вырастешь ты холеная-доленая, золотомъ золоченая, въ царскихъ палатахъ нѣжена“...

А на эшафотѣ уже вырисовывается гигантская фигура Петра. Лицо его задумчиво; но нервныя подергиванья не оставляютъ ни на минуту этого энергическаго лица. Палачи ступеваются передъ этою колос-
сальною фигурою.

Преступница сходить съ телѣги, поддерживаемая приставникомъ и своею мамушкою. У послѣдней по лицу текутъ слезы... Въ толпѣ слышатся сдержанныя хныканья...

— Матушка! Заступница!

Свѣча тухнетъ въ дрожащей рукѣ осужденной... Конецъ—погасла!

Дѣвушка сама входитъ на эшафотъ, шатаясь и путаясь въ платьѣ... Шубка сваливается съ плечъ... Она всходитъ на помость эшафота въ одномъ шелковомъ бѣломъ платьѣ съ черными лентами—такая нѣжная, хрупкая, поблеклая, но прекрасная...

— Здравствуй, Марья! я пришелъ проститься съ тобой,—говоритъ царь громко, отчетливо, рѣзко.

Дѣвушка падаетъ къ его ногамъ. Петръ поднимаетъ ее.

— Царь государь! прости, помилуй!—отчаянно молить несчастная.

Толпа какъ будто замерла, перестала дышать...

— Безъ нарушенія божественныхъ и государственныхъ законовъ не могу я спасти тебя отъ смерти...

Голосъ царя звучалъ какъ что-то металлическое, но надтреснувшее. Отъ этого голоса толпа вздрогнула.

— Прими казнь и вѣрь, что Господь проститъ тебя въ грѣхахъ твоихъ,—помолись только ему съ раскаяніемъ и вѣрою...

— Помилуй! помилуй!

— Рука палача не коснется тебя... Прощай, Марьюшка! — царь поцѣловалъ ее.

Она упала на колѣни и стала молиться... „Рука палача не коснется... Матушка! матушка! не ты-ли замолила за меня!“

Царь что-то шепнулъ палачу... „Помиловалъ! помиловалъ!“—затеplилось у всѣхъ въ душѣ...

Царь отвернулся отъ наклоненной молящейся головки и прекрасной согбенной шеи... Что-то блеснуло въ воздухѣ—это топоръ. Что-то визгнуло и что-то стукнуло о помость — то была отрубленная голова... Палачъ не коснулся тѣла красавицы—коснулось только холодное желѣзо...

Крикъ ужаса замеръ въ воздухѣ, заледенѣлъ...

Царь нагнулся, поднявъ за волосы мертвую голову, медленно и пристально взглянулъ съ ея черты, все еще прекрасныя, какъ бы стараясь запомнить ихъ, и снова поцѣловалъ покойницу. Потомъ, обратившись къ тѣмъ, которые стояли ближе къ эшафоту, и показывая пальцемъ на мертвую голову, сказалъ:

— Вотъ сіи жилы именуются венами, и въ нихъ течетъ кровь венная, а сіи—артеріи, и въ нихъ течетъ кровь артеріальная, которая нарочито отъ первой разнствуетъ... Здѣсь—шейные мускулы, сирѣчь мышцы, тако именуемая того ради, что оныя сжимаются и разжимаются, аки малая мышка—мышенокъ...

И онъ снова, въ третій разъ, поцѣловалъ мертвую головку.

Затѣмъ, передавая голову доктору Блюментросту, который приблизился къ эшафоту, сказалъ:

— Возьми сію голову и, сочпнивь подобающій спиртъ, положи ее въ оный для сохраненія въ нашей кунсткаморѣ, вмѣстѣ съ прочими раритетами, на вѣчныя времена, въ назиданіе нашимъ подданнымъ и ихъ потомству: да вѣдаютъ всѣ, яко въ нашемъ царствѣ пороки всегда наказываются, добродѣтель же торжествуетъ.

И онъ величественно удалился.

Въ толпѣ—хоть бы звукъ. Слишкомъ ужъ подавляющимъ чѣмъ-то легло на массу такое хладнокровіе царя и его правосудіе... Всѣ ждали чего-то другого... У всѣхъ что-то оторвалось отъ сердца — точно что украли у каждаго изъ души, изъ ея теплаго тайника — и стало всѣмъ холодно и какъ-то пусто кругомъ... Человѣкомъ стало меньше!..

Вдругъ изъ-подъ эшафота, изъ-за досокъ, которыми онъ былъ обшитъ съ трехъ сторонъ, выскакиваетъ растрепанная, съ всклокоченными сѣдыми волосами, оборванная и босая человѣческая фигура... Съ нею вмѣстѣ выскочила большая бѣлая собака, вся обрызганная кровью...

Въ толпѣ раздался крикъ испуга, крикъ ужаса...

— Пойдемъ, Орелка, пойдемъ, песь смердящій,—ты теперь палакался невинной кровушки... Тебя бы надо повѣсить—да я милостивъ: блаженъ, иже и скоты милуетъ...

Толпа узнала своего любимца.

— Омушка святой! Омушка!

Но Омушка и его собака исчезли, словно въ воду канули...

XVI.

Катанье на Невѣ.

Снова надъ Петербургомъ глазастая, бѣлобрысая лѣтняя ночь: ни ночь, ни день, ни заря, ни сумерки,—что-то неопредѣленное, какъ будто незаконченное, тревожащее непривычнаго человѣка, разстроивающее нервы, насылающее бессонницу. Такъ и кажется, что солнце вотъ-вотъ выглянетъ изъ-за горизонта, но не тамъ, гдѣ ему Богъ положилъ выглядывать, а не въ указанномъ мѣстѣ, на сѣверѣ, гдѣ-нибудь изъ-за гварнизона петропавловскаго или изъ-за Сампсонія.

Но тѣ, на которыхъ, три года тому назадъ, въ 1716 году, глядѣла эта ночь своими бѣлыми очами—и царевичъ Алексѣй Петровичъ, и дѣвушка Афросиньюшка, такая же, какъ и эта ночь, большеглазая и свѣтло-оклая, и Кикинъ съ своимъ упрямыми, стоячими глазами,—они уже не видѣли этой ночи: они спали крѣпкимъ, вѣчнымъ сномъ, и никакой свѣтъ, никакой мракъ не могли больше дѣйствовать на ихъ навѣки успокоившіеся нервы.

Но этотъ свѣтъ — не свѣтъ, день—не день, повидимому, продолжалъ дѣйствовать возбуждающимъ образомъ на нервы вонъ тѣхъ молодыхъ офицеровъ, которые на легкомъ катерѣ плывутъ по Большой Невкѣ, за Каменнымъ островомъ. Всѣхъ ихъ человѣкъ пятнадцать. Они сами гребутъ и ведутъ оживленный разговоръ. Звонкій смѣхъ, веселые возгласы, шутки гулко раздаются по водѣ и оживляютъ эти, въ то время пустынные, мѣста, покрытыя силошнымъ, дремучимъ лѣсомъ.

— Эхъ, господа, затащить бы теперь нашу питерскую пѣсню, благо тутъ ее никто, кромѣ лѣшаго да водяного, не услышитъ и доносу учинить будетъ некому,—сказалъ одинъ офицерикъ, высокій и худенькій съ черными курчавыми волосами.

— Ханыковъ дѣло говорить—затянемъ панихидку-то нашу,—подхватилъ другой, полный и краснощекій.

— Такъ-то такъ, господа: лѣшій въ доносъ не пойдетъ, а водяной—ему-то братецъ родной... Оба воду любятъ... Такъ водяной-то, чего добраго, и шепнетъ Ванькѣ Орлову, а тотъ—либо самому, либо Андрею Ивановичу... На то онъ и Ушаковъ, чтобъ ему на ушко шептали,—замѣтилъ третій офицеръ.

— Такъ что жъ! Не сидѣть же намъ повѣся носъ, какъ вонъ господинъ капитанъ Левинъ... На то онъ Левинъ: его вонъ и желѣзомъ жгли, такъ не запѣлъ... А вправду, братъ Левинъ, ты вытерпѣлъ—не кричалъ, какъ тебѣ руку жгли въ гварнизонѣ?—спросилъ Ханыковъ.

— Нѣтъ, въ первый разъ не стерпѣлъ—оморокъ на меня напалъ, а какъ жгли вдругорядъ—не пикнулъ... Самъ нѣмецъ диву дался, — отвѣчалъ Левинъ.

— И долго еще послѣ того держали тебя тамъ?

— Не долго ужъ: съ небольшимъ двѣ недѣли. Да пуще, я думаю, потому выпустили, что я на нихъ страху нагналъ.

— Какъ это?

— Да такъ—нашло на меня... Память потерялъ... А было это ночью. Я какъ упалъ въ безчувствіи на постелю, а свѣча-то горѣла у меня, такъ пожаръ въ каморѣ и сдѣлался—насилу потушили... Чуть и самъ я не сгорѣлъ... Ну, и выписали меня послѣ того—чистую дали.

— Иди, молъ, съ Богомъ?

— Да.

— И я бы то же сдѣлалъ, да у меня характеру не хватитъ, какъ у Левина—огненной пытки не выдержу,—сказалъ капитанъ Кропотовъ, ражій мужчина, съ плечами Геркулеса.—Опостылѣла эта царская служба. То ли дѣло дома съ собаками въ отъѣзжемъ полѣ! А то здѣсь, въ этой проклятой чухонской землѣ... Эхъ, тощиша какая!

— Ну, Барановъ, подтягивай,—сказалъ Ханыковъ краснощекому офицеру. И онъ запѣлъ:

Что за рѣчущкой было за Невоею,
За Невоею было съ переправой,
Не ковыль-трава во полѣ шаталася,
Что шаталь-качалъ удалъ добрый молодецъ...

Барановъ подтянулъ, другіе подхватили, что называется, вынесли грудью, и пѣсня заплакала такою русскою глубоко-народною мелодіею, какая могла только создаться степью раздольною, воспитаться столѣтіями народнаго горя, народной тоски, выстонаться народною грудью.

Поэтическая натура Левина не вытерпѣла. Богатый голосъ его потокомъ влился въ общій хоръ, и пѣсня заняла новыми тоскующими нотами:

Что шаталь-качалъ добрый молодецъ,
Онъ не самъ зашелъ, не своей охотою,
Завела его, молодца, неволюшка,
Еще нужда крайняя,
Нужда крайняя—жизнь боярская,
Еще служба царская,
Служба царская—царя бѣлаго,
Царя бѣлаго—Петра Перваго...

— Ай да Левушка!—сказалъ краснощекій Барановъ:—да у тебя голо-синна—и до неба высокаго, и до дна моря глубокаго. Съ такимъ голосомъ не только желѣзную пытку, ты и дыбу вынесешь.

— Да, братецъ, на что у меня грудь такая, что на ней хоть рожь молоти цѣпами, а и въ ней голосу меньше, чѣмъ въ твоей... Вотъ бы въ протодьяконы къ Теофану Прокоповичу,—говорилъ Кропотовъ.

Левинъ задумчиво улыбался.

— А вотъ, господа, вы вѣрно не знаете новенькой пѣсни,—сказалъ онъ.—Слыхалъ я ее въ Харьковѣ отъ каликъ переходящихъ. Есть у меня

такіе казики. Проходили они изъ Кіева и зашли ко мнѣ. Разговорился я съ ними тогда о смерти царевича. Такъ они и спѣли мнѣ пѣсенку объ этомъ. Ну, пѣсенка, я вамъ скажу!

— А что?—спрашивали товарищи.

— Да ужъ такая пѣсня, что изойдешь, кажется, слезами, взнонешься ноемъ сердешнымъ, пока прослушаешь ее.

— Такъ спой ее, Левушка, голубчикъ,—потѣшь насъ,—умолялъ курчавый Ханыковъ. Вонъ и дядя Барановъ послушаетъ.

— Ее немножко опасно пѣть, господа,—упрямился Левинъ.

— Что опасно! кой чортъ насъ услышитъ?

Офицеры бросили весла, и всѣ стали упрашивать Левина. Лодка двигалась все тише и тише и, наконецъ, совсѣмъ какъ бы стала. Левинъ запѣлъ:

Вы не каркайте, вороны, да надъ яснымъ надъ соколомъ,
Вы не смѣйтеся, люди, да надъ удалымъ молодцомъ,
Надъ удалымъ молодцомъ да надъ Алексѣемъ Петровичемъ.

Ужъ и гусли вы, гуслицы!

Не выигрывайте, гусельцы, молодцу на досадушку:

Какъ было мнѣ, молодцу, пора-времячко хорошее,

Любилъ меня сударь-батюшка, взлетѣяла родная матушка,

А теперь да отказалась!

Царски роды помѣшались.

Что ударили въ колоколь, въ колоколъ нерадостенъ.

У плахи бѣлодубовой палачи всѣ испужались,

По сенату всѣ разбѣжались.

Одинъ Ванька Игнашеночъ воръ

Не боялся онъ, варваръ, не опасился.

Онъ стаеѣ на запяточки ко глухой да ко повозочкѣ,

Во глухой-то во повозочкѣ удалой добрый молодецъ

Алексѣй Петровичъ-свѣтъ.

Безъ креста онъ сидитъ да безъ пояса,

Голова платкомъ завязана.

Чѣмъ дальше пѣлъ Левинъ, тѣмъ больше проникался лиризмомъ пѣснй и своимъ собственнымъ, и пѣвучее горло его буквально плакало. Вся молодая компанія, и безъ того лирически настроенная, всецѣло отдалась обаянію пѣснй и забыла все окружающее, а массивный Кропотовъ не чувствовалъ даже, что по его богатырской груди скользнула слеза и какъ бы со стыда спряталась гдѣ-то.

Одинъ Барановъ, который былъ старше своихъ товарищей и котораго они называли дядей, былъ на-сторожѣ.

— А вонъ, господа,—сказалъ онъ:—за островомъ маячитъ лодочка. Ужъ не Орловъ ли Ванька пробирается послушать нашей пѣсенки?

Левинъ опомнился и замолчалъ.

— Да, и въ правду лодка,—заговорили офицеры.—Кому бы охота такъ рано плыть?

— А можетъ такіе же, какъ и мы, гуляки,—замѣтилъ Кропотовъ.

— Нѣтъ, мы домой ѣдемъ, а они, какъ видно, изъ дому.

Встрѣченная лодка приближалась, дѣлаясь все явственнѣе.

— А никакъ это царскій ботикъ,—замѣтилъ Барановъ нѣсколько тревожнымъ голосомъ.

— Ай, батюшки! вотъ бѣда!—засуетилась молодежь.

— Смирно, господа,—отъ него не спрячешься,—сказалъ Барановъ:—онъ ужъ насъ навѣрно замѣтилъ.

— Вотъ непосѣда!—проворчалъ неповоротливый Кропотовъ:—и куда это его спозаранку носить?

— Затѣваетъ что-нибудь новенькое. Ужъ и чадушко же неугомонное!—ворчалъ Ханыковъ.

— Только вотъ что, господа,—предупреждалъ Барановъ:—коли спросить, говори правду, не вилляй: онъ этого виллянья не любитъ. Скажемъ: катались, молъ, ваше императорское величество, на взморье ѣздили.

— Такъ-то такъ, а все страшно,—замѣтилъ юный Ханыковъ.

— Ничего; я его знаю повадку,—успокаивалъ Барановъ:—онъ на водѣ добрѣе, чѣмъ на землѣ,—это вѣрно.

При сближеніи съ царскимъ ботикомъ, офицерскій катеръ сдѣлалъ движеніе, какое подобало дѣлать при встрѣчѣ съ царемъ на водѣ: морскіе артикулы были соблюдены. Царь это замѣтилъ.

— Что вы здѣсь дѣлаете?—спросилъ царь.

— Катались, ваше императорское величество, на взморье ѣздили,—отвѣчалъ Барановъ.

— Хорошо. Пріучайтесь къ водѣ. Вода—школа,—быстро проговорилъ царь.

— Рады стараться, ваше императорское величество!—грянули офицеры.

Царскій ботикъ быстро пронесся. Только тутъ офицеры замѣтили, что Петръ былъ не одинъ: около него сидѣлъ старикъ Апраксинъ, адмиралъ.

— Уфъ! гора съ плечъ!..—тихо проговорилъ Барановъ.—Я вамъ говорилъ, господа, что онъ на водѣ добрѣе.

— А все страшновать,—пояснилъ развеселившійся Ханыковъ.

— Затѣваетъ, непременно затѣваетъ что-то... Самъ не спитъ и старикъ спать не даетъ: точно у него ртуть въ жилахъ вмѣсто крови,—говорилъ Барановъ.

Левинъ угрюмо молчалъ. Въ немъ закипало что-то: какой-то внутренній демонъ напентывалъ ему нѣчто неподобное, неясное, но острое, подмывающее... Шопотъ демона переходилъ въ далекіе звуки, ноющіе, неизгладимые изъ памяти:

Оя гаю мій, гаю, великій розмаю!

„Когда же, когда же замолчить во мнѣ этотъ голосъ?—думалось ему:—когда успокоится смятанный духъ мой, перестанетъ вить сердце?.. когда черною ризою его покрою? свѣтъ когда завяжу себѣ?..“

— Что, Левушка, опять задумался? Али у тебя зазнобушка есть?—

шутить здоровякъ Кропотовъ.—А вотъ у меня—одна зазнобушка: собачки это на зорькѣ потягиваютъ, отъ деревни дымкомъ потягиваетъ, а изъ-за лѣсочка лисушка-матушка вырыскиваетъ... Ухъ, и бестія же! далеко видитъ, далеко чувствуетъ... А тамъ зайчикъ-свертышекъ, свернулся, косою дьяволъ, въ клубочекъ и моргаетъ на тебя... Ату-ату его! И какъ ульнуть это за нимъ собаченьки голосистыя, какъ взмбется это подъ тобою лошадушка, какъ понесется это по полю,—ну, такъ и кажется, что на крыльяхъ въ рай летишь... Вотъ гдѣ зазноба молодецкая, потѣха удалецкая...

— Правда! правда!—хоромъ подтвердила компанія.

— А то на медвѣдя съ рогатиной, на волка съ поросенкомъ... Эхъ, ты охота, охотушка, охота дворянская! Извели тебя люди службою царскою... Зарастаютъ въ полѣ тропочки, по которымъ мы рыскавали, сиротѣютъ наши собаченьки голосистыя, овдовѣла мать сыра земля безъ охотничковъ.

— Ишь распѣлся, словно мать родную хоронить, — шутя замѣтилъ Ханыковъ.

— Не мать, а полюбовницу, любушку-голубушку! Вотъ какова охота-то!—кричалъ Кропотовъ...—А то злѣсь—какая наша жизнь? Холопская! Не смѣй и потѣшиться по-своему, по-русски, а изволь нѣмецкую канитель тянуть—дьяволы!

— Да,—замѣтилъ одинъ угрюмый и молчаливый офицеръ, по фамиліи Суромилловъ:—при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, сказываютъ, не то было. Онъ самъ любилъ охотою тѣшиться, а особливо соколиною... Мнѣ дѣдъ рассказывалъ. Тогда дворянамъ хорошо было жить: хочешь—служи, не хочешь—дома охотою забавляйся. Хорошо было, тихо.

— Да и самого царя типайшимъ звали,—вставилъ Ханыковъ.

— Ну, сынокъ не въ батюшку, — замѣтилъ Кропотовъ.—И въ кого онъ уродился, толчея этакая?

— Самъ въ себя, а обликомъ, говорятъ, въ князей Прозоровскихъ,—отвѣчалъ Барановъ.

— Ну, не всѣ и Прозоровскіе такіе,—сказалъ Кропотовъ:—я знаю одного Прозоровскаго—такъ это тихоня. Онъ теперь монахъ—въ лаврѣ здѣсь.

Левинъ вспомнилъ, что онъ слышалъ о молодомъ Прозоровскомъ отъ старца Варсонофія, который видѣлъ его въ Неаполѣ съ другими русскими навигаторами и слышалъ, что тотъ хочетъ уйти на Аѳонъ. „А что добраго—это онъ и есть,—подумалъ Левинъ:—вотъ бы и мнѣ въ лавру... А то къ себѣ въ Пензу, въ глушь—тамъ тише, къ Богу ближе“.

Катеръ, между тѣмъ, пройдя Аптекарскій островъ и Карповку, приближался къ Невѣ. Солнце взошло. Городъ просыпался.

— Теперь, господа, ко мнѣ на утреннюю закуску,—сказалъ Барановъ:—все равно ужъ спать не будете, а то и днемъ выспитесь.

— Идетъ,—отвѣчало нѣсколько голосовъ.

Катеръ присталъ къ берегу. Тамъ пріѣхавшіе наткнулись на origa-

нальное зрѣлище. Массы голубей и воробьевъ буквально покрывали землю, воркуя, чирикая и на перебой хватая зерна ржи, пшени и крупы, которыми Өомушка, стоя въ позѣ сѣятеля, бросалъ въ разныя стороны изъ висѣвшаго у него на шеѣ мѣшка. По временамъ онъ выкрикивалъ:

— Эй, ты, чубарый! не смѣй трогать волохатаго!—Гуленьки—гулю! Чего, дурашка, боишься? Ёшь не сѣянное, не жатое....—Постой, воръ-воробей! я до тебя доберусь, драчунъ экій!

И старикъ бѣжалъ за провинившимся воробьемъ. Но особенно онъ строго относился къ воронамъ, которые, тоже изъ любопытства, подходили къ трапезующей птицѣ.

— Эй вы, нѣмцы! куда лѣзете? это не для васъ—для васъ царь-батюшка мясо человѣчье доставляетъ... Кипъ-нищ! нѣмецкое отродье!

Офицеры съ любопытствомъ смотрѣли на этого суетящагося старика, воевавшего съ воронами и покровительствовавшего голубямъ и воробьямъ.

— Здравствуй, дѣдушка,—сказалъ Кропотовъ:—что подѣлываешь?

— Сиротокъ кормлю: богатыми у бѣдныхъ краденое, у богатыхъ перекраденое—бѣднымъ даденое, — отвѣчалъ Өомушка, по обыкновенію, загадочно.

И вслѣдъ затѣмъ, поднявъ полы своего ветхаго кафтанишка, онъ бросился бѣжать вдоль берега, торопливо приговаривая:

У боярушекъ бѣда—

Оголена борода.

Носъ вытащилъ—хвостъ увязъ.

Хвостъ вытащилъ—носъ увязъ.

Офицеры захохотали. „Вотъ чудакъ!..“

— Это Өомушка юродивый,—замѣтилъ Левинъ.

— Однако онъ загнулъ насчетъ бороды, разбойникъ,—засмѣялся Кропотовъ.

— Это еще ничего. А въ Москвѣ такъ онъ почище колѣнце выкинулъ,—говорилъ Барановъ:—когда вышелъ указъ о бритіи бородъ и вырита была пошленная на бороды денъга, онъ привѣсилъ эту денъгу козлу на шею и пустилъ его по Москвѣ... Вотъ хохоту-то было! Хорошо, что его потомъ раскольники спрятали гдѣ-то, Өомушку-то, а то бы быть бычку на веревочкѣ.

Квартира Баранова была недалеко отъ пристани, и вся компанія черезъ полчаса угощалась уже радужнымъ хозяиномъ.

Общество оживлялось все болѣе и болѣе. Кропотовъ доказывалъ, что прежде люди были лучше, потому что любили охоту. Суромиловъ приводилъ примѣры изъ русской исторіи вообще и изъ исторіи своего дѣла, въ особенности о томъ, что соколиная охота лучше собачьей. Ханьковъ брелъ на гуслихъ, найденныхъ у хозяина, запѣвалъ разныя пѣсни и не кончалъ ихъ. Одинъ Левинъ попрежнему былъ задумчивъ.

— Ну, Левушка, спой лучше свою новенькую, — присталъ къ нему Кропотовъ.

— Спой! спой!—наставляли другіе.

Левинъ отказывался. Видно было, что онъ тяготился своимъ положеніемъ—мѣста что называется не находилъ. Даже веселое общество товарищей было ему въ тягость, Но его все-таки заставили пѣть пѣсню о смерти царевича.

Попрежнему онъ пѣлъ задумчиво, страстно. По мѣрѣ продолженія пѣсни, онъ становился все возбужденнѣе, а лицо его все болѣе и болѣе блѣднѣло. Пропѣвъ до того мѣста, гдѣ говорится:

Ужъ и гусли вы, гуслицы!

Не выигрывайте, гусельцы, молодцу на досадушку:

Какъ было мнѣ, молодцу, пора-времячко хорошее,—

онъ вдругъ бросился въ кресла и зарыдалъ.

Всѣ были ошеломлены. Думали, что онъ пьянъ. Стали уговаривать, утѣшать, спрашивать его. Онъ продолжалъ рыдать, приговаривая:

— Охъ, батюшки вы мои, голубчики! убейте вы меня окаяннаго! Нѣту моченьки моей такъ жить дольше, нѣту, родимые вы мои! Не жилецъ я на этомъ свѣтѣ, батюшки! Тошно мнѣ до-нелѣзя, тошнехонько до смерти...

XVII.

Левинъ у Стефана Яворскаго.

Прошло еще два года. Левинъ продолжалъ оставаться въ Петербургѣ. Нервная возбужденность попрежнему обнаруживалась въ немъ иногда болѣзненными, даже, повидимому, безумными проявленіями, но зато въ немъ окрѣпла воля, разбросанныя нравственныя силы сосредоточивались на одной поглотившей его идее—идеѣ борьбы противъ грозившаго міру духа зла и погибели. Идея борьбы, неизбежно реализуюсь, принимала и реальныя формы, вызвавъ въ немъ законченное, страстное, безповоротное стремленіе—стремленіе агитаціи. То, что онъ потерялъ въ жизни, и потерялъ безвозвратно—личное счастье, на которое онъ, въ порывѣ глубокаго отчаянья махнулъ рукой,—замѣнялось для него теперь другимъ идеаломъ: идеалъ этотъ былъ—подвигъ. Что бы ни ожидало его—онъ рѣшился на подвигъ; какими бы муками ни грозило ему будущее—онъ не поступится ничѣмъ, ни передъ этими муками, ни передъ истязаніями, пытками, лишеніями, ни передъ неумолимымъ образомъ смерти.

Рѣшеніе это, какъ протоколъ своей совѣсти, онъ записываетъ даже въ свой дневникъ—въ святцы: „положилъ себѣ это намѣреніе“—и баста; что называется хоть „колъ на головѣ теши“ — и это буквально, это не фраза, не похвальба, не рисовка.

И на какое же дѣло долженъ быть направленъ задуманный подвигъ?—На борьбу противъ антихриста!

Уже не разъ слышалъ Левинъ, что антихристъ явился на землю, и явился въ той именно обстановкѣ, въ какой его долженъ ожидать міръ.

Онъ явился во всеоружіи власти и силы: онъ явился въ образѣ земного владыки, въ образѣ царя. Уже книгописецъ Талицкій, представитель церковно-обрядовой книжности, научно доказывалъ, что Петръ и есть этотъ антихристъ. Талицкаго сжегъ антихристъ, но въ ученіе сожженного изувѣра увѣровали многіе, и не одинъ простой народъ, а и архіереи. Потомъ Левинъ самъ видѣлъ шедшихъ изъ Іерусалима странниковъ, которые направлялись въ Петербургъ, чтобы лично видѣть антихриста. Духовникъ самого Меньшикова, друга царя, протопопъ Лебедка, положительно утверждалъ, что духовный сынъ его, свѣтлѣйшій князь, служить антихристу, и что антихристъ этотъ—Петръ. Чего же еще доказательнѣе? Мало того, въ войскѣ самого царя ходятъ зловѣщіе толки. Не только солдаты, но и офицеры хотятъ спастись бѣгствомъ отъ страшнаго „десятирожнаго звѣря“ и „седемглаваго змія“. Двоюродные братья Левина, Петръ и Иванъ Разстригины, служившіе въ преображенскомъ полку, рассказываютъ ужасныя вещи объ антихриствѣ. Разъ какъ-то Иванъ Разстригинъ приходитъ къ Левину и зоветъ его къ себѣ въ гости. Дорогой рѣчь заходитъ о службѣ, о царѣ.

— Я не знаю, что дѣлать,—говоритъ Разстригинъ:—хочу бѣжать изъ полка... Я не признаю, что онъ у насъ государь. Онъ—антихристъ.

Осторожный Левинъ замѣчаетъ ему на это:

— Какъ ты смѣло говоришь—не опасно...

— Нѣтъ, ничего! У насъ изъ офицеровъ многіе такъ говорятъ объ немъ... Они сказываютъ, что онъ въ одно время училъ три роты, на водѣ лѣтомъ, словно на льду... Его вода подымаетъ, а онъ и воду въ кровь превращаетъ,—возражалъ Разстригинъ,

— И солдаты по водѣ ходили?

— Ходили.

На это Левинъ сказалъ рѣшительно:

— Я давно знаю, что онъ не прямой царь, а антихристъ, и для того хочу постричься.

Тогда Разстригинъ сообщилъ своему брату ужасную тайну, ходившую между солдатами.

— А вѣдаешь ты,—спросилъ онъ:—что нынѣ привезли на трехъ корабляхъ знаки, чѣмъ людей клеймить, и самъ государь по нимъ ѣздилъ, и привезены на Котлинъ островъ, токмо никому не кажутъ и за крѣпкимъ карауломъ содержатъ и солдаты стоятъ безсмѣнно...

Въ гостяхъ у Разстригиныхъ было нѣсколько военныхъ. Разговоръ шелъ о томъ же. Старшій Разстригинъ не хотѣлъ вѣрить дикимъ рассказамъ и закричалъ на брата:

— Полно тебѣ врать!

— Что жъ! будто эта тайна?—возражалъ младшій:—многіе говорятъ то же въ полку, не я одинъ... И всѣ то же признаютъ... Да и подобное ли дѣло—если бы онъ прямой царь былъ, такъ развѣ онъ сына своего убилъ бы и постригъ бы царицу?—А эту царицу онъ держитъ только подъ видомъ, а съ нею не живетъ...

Сталкивается Левинъ съ солдатами, и тѣ прямо утверждаютъ, какъ очевидцы:

— Привезены изъ-за моря клеймы, тѣмъ людей клеймить антихристовымъ клеймомъ, и у тѣхъ клеймъ стоимъ мы на караулѣ мѣсяца по два и больше безиремѣнно, для того чтобъ о тѣхъ клеймахъ никто не вѣдалъ.

Чего же больше?

Левинъ вспоминаетъ, что еще въ Нѣжинѣ, пять лѣтъ тому назадъ, митрополитъ Стефанъ Яворскій звалъ его къ себѣ. Онъ отправился къ митрополиту.

При видѣ Левина, старому блюстителю патриаршаго престола вспомнилось блѣдное, симпатичное лицо офицера, горько плачущаго въ церкви. Вспомнилось и многое другое, далекое, невозвратное, молодое... Нѣжинъ... земная левада съ вороньимъ гнѣздомъ на деревѣ... тихая украинская ночь... запахъ любистка... далекая пѣсня...

Ой сонъ, мати, ой сонъ, мати, сонъ головоньку клонить...

А тамъ — монастыри, саккосы, омофоры, рипиды, блескъ архіерейскаго облаченія, митры, благоговѣйная толпа молящихся, куреніе кадиль, патриаршій престолъ — и тоска, тоска, тоска о прошломъ, о невозвратномъ, о бѣдной обстановкѣ, о дорогой Украинѣ, о запахѣ любистка...

И Левину при видѣ стараго митрополита воспоминалась та же далекая, дорогая Украина, гдѣ онъ нашелъ-было свое счастье... Въ миллионный разъ вспомнился тихій вечеръ надъ Днѣпромъ — милый голосъ, неожиданное, громадное, невмѣстимое счастье — и тутъ же злая, зловѣщая нота далекой пѣсни, ставшей похороннымъ пѣніемъ...

— Въ правдѣ ты устоялъ, что ко мнѣ пришелъ, — ласково сказалъ митрополитъ, вглядываясь въ выраженіе лица Левина. — А въ сенатъ являлся?

— Являлся, — отвѣчалъ Левинъ.

— А въ синодѣ былъ?

— Не былъ, владыко.

— Синодъ за сенатомъ. Спроси, тамъ скажутъ. И если ты хочешь постричься, подай тамъ челобитную. Гдѣ-же ты хочешь постричься?

— Хоть зѣсь, въ Невскомъ монастырѣ... Я истомился... Либо клобукъ, либо гробъ, либо плаха!

— Такъ ты поди прежде посмотри, понравится ли тебѣ. А сыщи тамъ старца Прозоровскаго и скажи ему, что отъ меня ты пришелъ. Онъ тебѣ все скажетъ.

Левинъ слушалъ и о чемъ-то задумался. Митрополитъ не могъ не видѣть, какую страшную печать разрушенія наложили годы на этого человека еще не стараго: время провело на немъ какія-то борозды; что-то старческое, дряхлое видѣлось въ его внѣшности, и въ то же время всѣ движенія, молодой огонь глазъ, страстность рѣчи и подвижность выдавали кипучую, не растраченную внутреннюю живучесть и силу. Митрополитъ понималъ, что человекъ этотъ самъ перегораетъ отъ избытка огня...

— А какъ тебя осунули годы, сынъ мой,—тихо сказалъ старикъ, грустно качая головой.—Все скорбишь?

— Велика моя скорбь,—ухъ какъ велика, отче!.. Вотъ...

И онъ показаль митрополиту прожженную руку.

— Что это?—спросилъ тотъ.

— Жгли меня желѣзомъ—пытали, я вынесъ, не крикнулъ, пальцемъ не шевельнулъ... А какъ тутъ (онъ приложилъ руку къ сердцу)—душу желѣзомъ жжетъ—я не выношу... кричу...

— Что жъ тамъ у тебя, сынъ мой?

— Огонь, пекельный огонь... Не залью его... ничѣмъ его не залить... развѣ кровью, христовой кровью...

— Это ты правду сказалъ, другъ мой. Та кровь—пожары всего міра залететь, зло потопить, только не скоро... А ты смирись: могучая сила въ смиреніи: оно горы переставляетъ, волны морскія умиряетъ, великія рѣки останавливаетъ.

Левинъ сталъ прощаться. Митрополитъ благословилъ его. Умный старикъ видѣлъ, что онъ еще не все вывѣдалъ отъ страннаго воина.

— Заходи ко мнѣ послѣ,—сказаль онъ.

— Зайду, не забуду.

Левинъ торопился въ Невскій монастырь. Тамъ ему сказали, что Прозоровскій въ церкви. Въ церкви издали указали ему Прозоровскаго, и онъ, къ неопisanному изумленію, узналъ въ немъ одного изъ тѣхъ странниковъ, которыхъ онъ принималъ у себя въ Харьковѣ и которые сказали ему, что идутъ изъ Іерусалима въ Петербургъ, чтобы видѣть автихриста. Левинъ видѣлъ въ этомъ знаменіе; расpalенное воображеніе его заметалось, какъ спугнутая птица. „Это онъ, это тотъ князь Прозоровскій навигаторъ, котораго старецъ Варсонофій видѣлъ въ Неаполѣ“...

Послѣ обѣдни, когда Прозоровскій шелъ въ свою келью, Левинъ догналъ его и объявилъ, что присланъ къ нему отъ Стефана Яворскаго, митрополита рязанскаго.

— Дай мнѣ разобраться,—сказаль Прозоровскій:—а ты зайди по переюдамъ къ моей кельѣ, я къ тебѣ выйду.

Левинъ повиновался. Скоро вышелъ и Прозоровскій. Левинъ подошелъ къ нему подлѣ благословеніе, не опуская глазъ съ его лица.

— Что, не признаешь меня, святой отецъ?—спросилъ онъ.

Князь, долго вглядываясь въ лицо пришедшаго, отвѣчалъ въ раздумьѣ:

— Не признаю... не припомню...

— А я тебя узналъ... Помнишь въ Харьковѣ офицера, капитана Левина? Васъ было трое—вы изъ Ерусалима шли, и обѣдали у меня.

Глаза Прозоровскаго, доселѣ тусклые, спокойные, блеснули.

— Теперь признаю,—сказаль онъ.—А какъ ты измѣнился! Совсѣмъ старикомъ сталъ.

— Да... переѣхало меня колесомъ... огненное это колесо, божье—раздавило меня и спалило...

Прозоровскій покачалъ головой.

— Страшна колесница Бога живаго,—сказалъ онъ:—и по моей душѣ она проѣхала...

— Не ты ли тотъ князь Прозоровской Михайло, что въ навигаторахъ былъ въ Неаполѣ, въ италійской землѣ?—спросилъ Левинъ.

— Я тотъ самый.

— Какъ же ты попалъ сюда?

— Божіимъ попущеніемъ, самъ того нехотя... Въ 716 году меня, яко княжича и боярскаго сына, царь послалъ для навигаѣторской науки вмѣстѣ съ прочими въ италійскую землю. И учился я. Но была-то всѣмъ намъ не наука, а сущая мука: и голодали-то мы, и по-міру собирались, по-неже Савва Рагузинскій, тѣторъ нашъ, жалованья намъ не выдавалъ. И въ прошломъ 718 году случились въ Италіи быть монахи изъ области султана турскаго, изъ горы Аѣонскія. И я съ тѣми монахами поѣхалъ въ Аѣонскую гору и тамъ постригся. И нареченъ я былъ во иноцѣхъ Сергіемъ и учиненъ тамъ іеромонахомъ. И изъ Аѣонской горы поѣхалъ къ Москвѣ съ тамошнимъ іеромонахомъ Филиппомъ сербниномъ и другимъ—Сгояномъ болгаринѣмъ, кои и въ Ерусалимѣ бывали. И ѣхали мы въ Москву для прошенія милостыни, тогда-то были и у тебя въ Харьковѣ...

— Такъ, такъ, живо это помню... Еще меня мощами святыми удостоили — такъ ихъ на себѣ вотъ тутъ на груди и ношу съ той поры,—въ крестѣ задрланы,—говорилъ Левинъ торопливо. — Помню, помню и тебя, и ихъ...

— И по письму изъ Питербурха ближняго стольника князя Ивана Ѣеодоровича Ромадановскаго велѣно было меня выслать въ Питербурхъ,—продолжалъ Прозоровскій:—и явиться у него въ домѣ, а когда его въ Питербурхѣ не застану, то чтобъ явился во дворецъ. А какъ я въ Питербурхъ прибылъ, а его, князя Ромадановскаго, не засталъ, братъ мой князь Ѣеодоръ Прозоровскій донесъ обо мнѣ царицѣ, а царица указала мнѣ явиться къ ней, и я явился, и она указала мнѣ явиться Невскаго монастыря архимандриту Ѣеодосію, и явись, я жилъ въ домѣ князя Ивана Алексѣевича Голицына, а потомъ по царскому указу опредѣленъ въ сей монастырь.

Онъ на минуту замолчалъ и тихо перебиралъ четки.

— И вотъ я здѣсь... Вспоминаю объ Аѣонѣ... А ты какъ?—спросилъ онъ Левина:—все служишь?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ тотъ:—я уже отъ службы отставленъ, и есть у меня билетъ. Я человекъ свободный, только пришелъ просить твоего совѣта: хочу я постричься.

— Хорошее дѣло. Гдѣ же ты хочешь постричься?

— Мое обѣщаніе есть, чтобъ здѣсь въ Невскомъ постричься. И имѣю я позволеніе отъ рязанскаго архіерея о постриженіи, и платье черное уже у меня готово... Больше хотѣлось бы въ Соловкахъ постричься... А здѣсь можно?

Прозоровскій горячо возсталъ противъ этой мысли.

— Для Бога! не сгуби себя! — заговорилъ онъ быстро. — Меня сюда царь поневолѣ взялъ, а я не хотѣлъ. Буде же ты хочешь мясо ѣсть, такъ постригись здѣсь. Здѣсь монахи мясо ѣдятъ и меня привуждаютъ, только я еще не ѣдалъ. Не одного закона здѣсь монахи, но разныхъ законовъ. Буде не вѣришь, поди на кухню, и посмотри—все мясо готовить ѣсть.

Левинъ отправился на кухню и самъ увидѣлъ, что тамъ, дѣйствительно, готовятъ мясную пищу. Это поразило его — разбивалась послѣдняя вѣра въ святость отшельничества. Гдѣ же правда? Гдѣ конецъ этой міровой, вселенской жи? Міръ долженъ погибнуть! Онъ погибаетъ! У Левина изъ-подъ ногъ исчезала почва... Міръ шатается... земля пошатнулась на оси... Былъ одинъ идеалъ—и тотъ поглотили звѣри-люди...

Мясо ѣдятъ монахи! Да это бездна, въ которую валится міръ!.. Для тогдашняго русскаго человѣка за предѣлами этого міровоззрѣнія начинался уже хаосъ, мракъ, отчаяніе!

Пораженный, уничтоженный, Левинъ воротился къ Прозоровскому.

— Здѣсь бѣсы живутъ, а не иноки,—говорилъ онъ съ ужасомъ. — А ты?

— Я и самъ не хочу здѣсь жить, хочу бѣжать, скрыться,—отвѣчалъ Прозоровскій:—скроюсь не въ знатный монастырь, а въ пустыню.

— И я уйду въ Соловки—дальше, дальше отъ смрада людскаго.

— Что Соловки! И туда послано отсюда три монаха, чтобъ они тамъ приводили монаховъ мясо ѣсть и учили бы, что-де грѣха дальняго въ томъ нѣтъ. Царь указалъ, а синодъ на себя перенялъ этотъ грѣхъ—тягости-де въ томъ нѣтъ, что старцамъ мясо ѣсть; если-де блудъ дѣлать, то и горче-де того... Видѣлъ ли ты здѣсь прядильный дворъ, на которомъ живутъ такіе, что если вдова или дѣвка родить, то ихъ на тотъ дворъ ссылаютъ? Въ день они прядутъ, а къ ночи старцы емлютъ ихъ къ себѣ въ монастырь и спятъ съ ними...

Левину казалось, что онъ стоитъ на оскверненной землѣ, на проклятомъ мѣстѣ; что земля должна разступиться и поглотить осквернителей... Монастырь... святое убѣжище... Да вѣдь въ монастырѣ и она — та, имя которой онъ произнести не смѣлъ,—она, чистая и непорочная!

Простившись съ Прозоровскимъ, онъ тотчасъ же снова отправился къ Стефану Яворскому. Онъ чувствовалъ какое-то глубокое оскорбленіе, нанесенное ему невѣдомо кѣмъ. Чѣмъ съ большимъ благоговѣніемъ вступалъ онъ за нѣсколько часовъ передъ тѣмъ въ лавру, тѣмъ съ болѣе жгучимъ чувствомъ стыда возвращался онъ оттуда...

Когда онъ стоялъ въ лаврской церкви во время службы, то напоенное его собственнымъ идеализмомъ сердце его готово было растопиться въ умиленіи. Тихая и величавая торжественность службы и подавляетъ, и возмущаетъ его: это стройное пѣніе клировъ звучитъ голосами ангеловъ... Невидимыя крылья ихъ тихо волнуютъ и несутъ къ небу дымъ кадила... Не свѣчи горятъ это въ сотняхъ теплящихся огнистыхъ струекъ, а это теплятся души человѣческія въ присутствіи невидимаго Бога... А эти

строгія лица старцевъ, созерцающихъ имъ однимъ видимый ликъ Всемогущаго Бога... Это не они поютъ, а поютъ тысячи умиленныхъ сердецъ, предстоящаго народа... Вотъ ктиторъ обходитъ молящихся... Звякаютъ на его массивное серебряное блюдо тяжеловѣсные рубли, алтыны, гривны, копейки и полушки—это капаютъ мірскія слезы—капъ! капъ!.. Какъ звонки передъ Господомъ эти слезы! Звонче колокола гремятъ онѣ, оглашая людское горе, донося его до самаго неба... Такъ бы и изныть, кажется, въ молитвѣ, такъ бы изошелъ кровью сердца за эти мірскіе алтыны—слезы!..

И вдругъ — эти мірскія слезы идутъ на мясо монахамъ, на наряды прядильницамъ!.. Господи! да гдѣ же правда? Люди слѣпые, кого вы питаете вашими слезами, вашею кровію?

— О! о-о! плачьте, старыя очи мои! О-о-о! разорвися ты, сердце горькое! о-о-о!

Кто это плачетъ такъ горько, разливается?

— О-о-о! плачьте вы, мои очушки, плачьте, плачьте! Не наплакаться вамъ до вѣку! Лейтеся, слезы мои горючія, лейтеся, лейтеся—не вылитесь вамъ досуха!—О-о-о!

Это плачетъ Ѳомушка юродивый, сидя на землѣ у воротъ лавры.

Левинъ остановился въ изумленіи. Слышалось, что въ этихъ слезахъ—страшное горе, что за ними чуждось, какъ сердце плачущаго бьется въ судорогахъ. Левину стало невыразимо жалъ старика. Онъ нагнулся къ плачущему.

— Дѣдушка! объ чемъ ты плачешь?—спросилъ онъ участно.

Юродивый поднялъ на него глаза, съ выраженіемъ совсѣмъ дѣтскимъ, и снова захныкалъ, какъ ребенокъ.

— О-о-о! больно мнѣ, больно Ѳомушкѣ, больно!

— Что же болитъ у тебя, дѣдушка?

— О-о-о! болитъ душенька у Ѳомушки... О-о-о! никого нѣту у Ѳомушки—никого, никого!.. Была у Ѳомушки птичина малая, горлица чистая, а теперь нѣту ее, нѣту-ти... Нѣту у Ѳомушки ясноочушки внученьки Вѣрушки—нѣту! О-о-о!

— Гдѣ жъ она—внучка твоя, дѣдушка?

— Повадилась она, горлица чистая, въ этотъ вертепъ летати—и поймали ее вороны черныя, оципали ея перушки сизыя, выпили кровушку ея молодую, и теперь она на прядильномъ дворѣ... О-о-о! нѣту у Ѳомушки Вѣрушки—нѣту, нѣту!

Левинъ понялъ, на какую дыбу подняли душу юриваго „черныя вороны“... Онъ безнадежно махнулъ рукой и уже больше не оглядывался на лавру.

XVIII.

Въ лѣсъ! въ пустыню!

Стефанъ Яворскій, увидѣвъ пришедшаго къ нему Левина, не могъ не замѣтить, что онъ глубоко потрясенъ чѣмъ-то. Блѣдныя, худыя щеки его горѣли лихорадочнымъ румянцемъ. Та же лихорадка свѣтилась и въ его глазахъ съ расширенными, какъ у кошки, зрачками.

Старикъ митрополитъ тоже казался нѣсколько разстроеннымъ. Передъ приходомъ Левина онъ разсматривалъ оставшіяся послѣ смерти его друга, митрополита Димитрія Ростовскаго, сочиненія этого послѣдняго. Вспомнилось при этомъ далекое прошлое, молодость, незабываемая Украина, бесѣды о судьбахъ своей злополучной родины... Какъ разъ раскрылось то мѣсто „Рождественской комедіи“ Димитрія Ростовскаго, гдѣ пастухи обращаются къ младенцу Иисусу, лежащему въ ясляхъ:

И подушечки нѣту, одѣяльца нѣту,
Чимъ бы тебѣ нашему согрѣтися свѣту!
На небѣ, якъ сказуютъ, въ тебѣ палатъ много,—
А здѣсь что въ вертепишку лежиши убого?..

Почему-то это мѣсто напомнило ему убогую родину... „И подушечки нѣту, одѣяльца нѣту!“

— Что, сынъ мой, былъ въ лаврѣ?—спросилъ онъ кротко.

— Былъ, владыко.

— Видѣлъ Прозоровскаго?

— Видѣлъ.

— И что жъ?

Левинъ упалъ на колѣни. Руки его поднялись какъ на молитву.

— Спаси меня, владыко! Спаси душу мою!—говорилъ онъ страстно.— Я нашелъ тамъ вертепъ разбойниковъ...

— Не говори такъ, сынъ мой,—остановилъ его митрополитъ:—не осуждай брата своего... Помни смиреніе—велика сила его... Смирись—и громы послушаютъ гласа твоего, въ камнѣ сердце разыграетъ и скимень рыкаей слезами оточится... Я зналъ, что ты здѣсь не останешься: здѣсь для братіи соблазна море великое и пространное... Встань, подумаемъ вмѣстѣ, помолимся вмѣстѣ.

Левинъ всталъ съ колѣнъ.

— Благослови меня, владыко, въ Соловецкій монастырь,—сказалъ онъ.

— Хорошо. Я вотъ уже и письмо приказалъ написать къ архимандриту Варсонофію, а тебѣ дамъ копію съ оного. Вотъ что я пишу отцу архимандриту.

И старикъ, надѣвъ очки, сталъ читать:

„Пречестныя и великія лавры святыхъ обители Зосимы и Савватія соловецкихъ чудотворцевъ пречестнѣйшему отцу архимандриту Варсонофію, мнѣ же о Христѣ брату и сослужителю и благодѣтелю: благословеніе отъ

Господа Бога, миръ, тишина, здравіе души и тѣлу долгоденствіе, беспечальное и безмятежное пребываніе и многолѣтнее безболѣзненное да будетъ, всеусердно желаю, а паче спасенія вѣчнаго“.

Левинъ слушалъ внимательно, а при имени Варсонофія ему вспомнился старецъ Варсонофій, его разсказъ о странствованіи въ Неаполь, вспомнился царевичъ, Ефросинья-дѣвушка, Марья Гаментова, подробности казни которой ему передавалъ тотъ же Варсонофій... Въ спирту голова Гаментовой Марьюшки... „А можетъ и мой головѣ на роду написано въ спирту быть“... Онъ невольно вздрогнулъ...

„За симъ вашему преподобію въ обнадѣяніе дерзнулъ писать,—продолжалъ митрополитъ:—просилъ насъ о предстательствѣ къ вашему преподобію гренадерскаго коннаго полка капитанъ, Василій, Саввинъ сынъ, Левинъ, который въ прошеніи своемъ объявилъ мнѣ, что онъ, будучи въ службѣ великаго государя многіе годы, пришелъ къ старости и въ скорбь и положилъ себѣ обѣщаніе, чтобъ ему принять монашескій чинъ и постричься въ обители соловецкихъ чудотворцевъ, которое обѣщаніе оной капитанъ объявилъ прошеніемъ въ правительствующемъ духовномъ синодѣ и по указу царскаго величества онъ, Василій, за скорбью отъ службы отставленъ, и велѣно изъ правительствующаго духовнаго синода въ святой вашей обители постричь его неотмѣнно.“

„Прошу вашей святыни, для нашего прошенія яви къ нему, Василью, свою милость и прими его въ святую обитель и прикажете по обѣщанію его исполнить и постричь въ монашескій чинъ безъ всякаго отриновенія и содержать его при своей святыни за его царскому величеству службу неотриновенно, за что вашему преподобію воздатель всемогущій Господь Богъ, и наше смиреніе долженствуетъ о вашей свѣтыни Бога молить и всякими образы отслуживать. Вашему преподобію, мнѣ о Христѣ любимому брату, всякихъ благъ временныхъ и вѣчныхъ всеусердный желатель богомолецъ и слуга низжайшій, смиренный Стефанъ, митрополитъ рязанскій и муромскій“.

— Возьми же это,—сказалъ митрополитъ, свернувъ письмо и подавая его Левину.

Левинъ горячо поцѣловалъ руку старику, а потомъ приложился губами къ полѣ его ясы.

— Съ этимъ письмомъ,—продолжалъ Стефанъ:—хотя въ Соловецкомъ или въ другомъ монастырѣ тебя постригутъ. А лучше бы постригся ты гдѣ не въ знатномъ монастырѣ.

— Чего ради не въ знатномъ, владыко?

Онъ вспомнилъ, что и Прозоровскій говорилъ ему тоже.

— Ради избѣгновенія соблазна,—отвѣчалъ митрополитъ.

— Соловецкая обитель — старая, святая обитель,—возражалъ Левинъ.

— Такъ, сынъ мой... Только...

Митрополитъ помолчалъ. Онъ разсматривалъ своего собесѣдника. На

лицѣ его онъ прочелъ беззавѣтную искренность и глубину чувства. Это было такое лицо, которому можно было вѣрить и передъ которымъ можно было высказаться въ самой сокровенной тайнѣ.

— Ты говорилъ мнѣ въ Нѣжинѣ, сынъ мой, что у тебя была не-вѣста,—продолжалъ митрополитъ:—и что она пошла въ монастырь. Это была Ксенія, дочь сотника Хмары?

— Ксенія,—отвѣчалъ Левинъ упавшимъ голосомъ.

— И съ той поры ты о ней ничего не зналъ?

— Ничего... Слыхалъ только, что царь велѣлъ увести ее изъ кievскаго монастыря въ какой-то дальній монастырь, и въ какой—того не сказали.

— И ты не забылъ ее?

— Нѣтъ... не дасть Богъ забвенья...

— Хорошее, хорошее было дитя... книжное дитя,—говорилъ старикъ задумчиво:—я видѣлъ ее, когда она еще училась въ монастырѣ... Такъ-то щебетала мнѣ наизусть пѣзъ книги архимавдрита Лазаря Барановича, изъ „Трубы“, какъ птичка щебетала... Хорошее было дитя, Божье... Ее Богъ разыскалъ.

Левинъ сидѣлъ молча. Письмо, которое ему передалъ митрополитъ, видимо дрожало въ рукѣ. Стефанъ замѣтилъ это.

— Ты, сынъ мой, не питаешь ли въ сердцѣ своемъ злобы противъ царя ради того, что, по невѣдѣнію, отянулъ у тебя невѣсту?—спросилъ онъ.

Левинъ молчалъ, только письмо еще больше задрожало.

— Не таи отъ меня сердца твоего, сынъ мой,—продолжалъ Стефанъ:—откройся мнѣ, какъ на духу. Имѣешь злобу?

— Грѣшенъ, владыко... Не могу, видигъ Богъ, не могу не думать о немъ... Всю-то мою жизнь, всего меня онъ въ скорлупу яичную извелъ, выпилъ все изъ меня, высушилъ все во мнѣ, огнемъ выжегъ—и бросилъ.

— Великій это грѣхъ думать такъ, сынъ мой. Не хотѣлъ онъ тебѣ зла: онъ и не вѣдалъ, что есть такой-то на бѣломъ свѣтѣ.

— Вѣрю, а все жъ не могу вырвать терніе изъ сердца.

— Вырви... И у меня, сынъ мой, великое терніе въ сердце вонжено—имъ же вонжено... Вѣнцомъ терновымъ увѣнчалъ онъ сердце мое... душу мою прободѣ копіемъ—и прискорбна оттого душа моя даже до смерти... А я молюсь за него.

— А я не могу.

— Молись. И я когда-то думалъ, что не сумѣю молиться за него, а теперь молюсь... Не меня обидѣлъ онъ, не невѣсту отнять онъ у меня, а обидѣлъ церковь Божию, обидѣлъ народъ свой многотерпѣливый, обидѣлъ кровно—надругался надъ нимъ, тростію своею по главѣ билъ онъ народъ свой, по ланитамъ билъ онъ его дланію своею, оплеваніемъ плевалъ онъ образъ его смиренный... И я все-таки молюсь за него—не вѣдаетъ, бо, что творить... Подъ самое сердце ударилъ онъ родину мою, мать мою, вдовицу убогую — Малороссію, и кровію подтекло великое сердце матери

моея... Не встать ей съ одра болѣзни: изсушили онъ сосцы великіе матери моея, въ огнь и желчь превратилъ млеко сосцовъ ея, чахнутъ ей вѣки многіе... А я все молюсь за него...

Митрополитъ помолчалъ, ускоренно перебирая четки, а потомъ продолжалъ какъ бы про себя:

— Невѣсту отняли... Нѣтъ, землю родную онъ отнял у меня, небо голубое, солнце яркое, душу мою отнял... На колѣняхъ я стоялъ передъ нимъ, я, старецъ ветхій деньми и святитель,—и молилъ отпустить меня на покой... Нѣтъ, не отступилъ... Онъ повелѣлъ мнѣ блюсти патріаршій престолъ... Разумѣешь ли ты, сынъ мой, всю глубину позора моего?—спросилъ старикъ, теребя четки.—Разумѣешь?

— Нѣтъ, отецъ святой, не разумѣю.

— Я блюститель престола патріарховъ всероссійскихъ... Я—песъ, прикованный къ подножію патріаршаго престола... Я повиненъ лаять на всякаго, кто бы дерзнулъ помыслить о семъ престолѣ, возсѣсть на онъ... Я—песъ, лежащій на снѣгъ... Разумѣешь теперь?

— Разумѣю.

— И я молюсь за него. Онъ великій государь. Великій умъ обитаетъ во главѣ царя. Славы и величія хочетъ онъ царству своему и народу своему. Свѣтомъ просвѣщенія озаряетъ онъ землю свою. Аки воля гнетъ онъ выю свою царскую надъ черною работою. Далеко провидитъ око его. Но онъ—человѣкъ, плоть отъ плоти народа своего, и кость отъ костей его. Какъ человѣкъ—онъ ошибается, слѣпотствуетъ, дѣлаетъ зло тамъ, гдѣ хочетъ добра, хочетъ жать тамъ, гдѣ не сѣялъ, и рыбу ловить молотъ, не соплетши мрежей. Какъ человѣкъ—онъ грѣшитъ грѣхами многими, льетъ кровь тамъ, гдѣ потребно слово ласковое, ноздри рветъ у того, кому кусокъ хлѣба дать повиненъ, вnutомъ полосуетъ спину у того, кому онъ повиненъ пріодѣть эту спину нагую, всѣмъ непогодамъ открытую... И я молюсь за него—человѣкъ бо есть...

Съ благоговѣніемъ слушалъ Левинъ эти тихія, скорбныя, но теплыя рѣчи стараго святителя, и засохшее сердце его размягчалось, таяло, къ горлу подступали слезы.

— Научи меня, святой отецъ,—шепталъ онъ.

— Смирись, смиришь, смиришь... И я не умѣлъ прежде смиряться, сынъ мой... Сквозь душу мою прошелъ мечъ, когда я всенародно долженъ былъ предать анаемѣ друга моего, гетмана Мазепу... Вѣдалъ я, что не хотѣлъ онъ зла царю—за край родной поднялъ онъ свою старую десницу, за землю дорогую боялся, за народъ украинскій, за пещеры кіевскія... Онъ боялся, что осквернять ихъ... Я плакалъ, когда возгласилъ анаему,—но я смирился—возгласилъ,—и не онѣмѣлъ языкъ мой, не соохлась гортань моя. Я молился за царя; въ десницѣ его миллионы душъ человѣческихъ, и въ этой же десницѣ мечъ, которымъ онъ властенъ пронзить сердце миллионамъ, воду превратить въ кровь, землю—въ пустыню... И я трепетно молюсь за царя, чтобы Богъ снялъ покровъ съ очей его.

Въ это время на полу кабинета, въ которомъ митрополитъ бесѣдовалъ съ Левинымъ, послышалась возня и какой-то пискъ. Левинъ оглянулся по направленію шума и съ испугомъ вскочилъ, а митрополитъ кротко улыбнулся.

Въ дверяхъ, ведущихъ въ слѣдующую комнату, на полу ежился и фыркалъ какой-то звѣрекъ, величиною съ кошку, только круглѣе, а на него нападала сорока.

Левинъ смотрѣлъ изумленными глазами и ничего не понималъ.

— Что, бѣдный бабасъ, обижаютъ тебя? — сказалъ митрополитъ ласково.

Звѣрекъ завопилъ, сился пробраться впередъ, а сорока еще съ большею запальчивостью наскакивала на него, распустивъ крылья.

— Ахъ ты, разбойница! московка этакая, что ты его поѣдомъ ѣшь? — продолжалъ Стефанъ.

И старикъ всталъ, подошелъ къ сорокѣ, которая и противъ него ошестинилась, поймалъ ее за носъ и отвелъ въ сторону.

— Ну, иди, бѣдненькій бабасъ, не бойся, я не дамъ.

И звѣрекъ сталъ тереться около ногъ старика, а сорока, повидимому обиженная, ушла на ручку кресла и стала разсматривать Левина.

— Вотъ, — сказалъ митрополитъ: — мои друзья, земляки: это — бабасъ, сорокъ по-московски: мнѣ привезли его изъ Малороссіи маленькимъ; онъ впрямь у меня и напоминаетъ мнѣ собой наши милыя украинскія степи... Какъ свистнеть, такъ мнѣ и представится степь, а по ней скрипятъ возы чумацкіе... Такъ-то тепло на душѣ станеть... А вотъ эта разбойница (старикъ указалъ на сороку) напоминаетъ мнѣ Нѣжинъ, дѣтство... А здѣсь, самъ знаешь, и сорокъ-то нѣтъ — одни галки да вороны.

И у Левина защемило сердце: онъ тоже вспомнилъ родную сторону, весну съ ея грачами и жаворонками, крикъ потатуйки у сухого пня, добрые глаза дядька Турвона...

— Вотъ на сей токмо обидѣ я плачусь на царя, сынъ мой, — продолжалъ старый митрополитъ, глядя сурка: — зачѣмъ онъ отнялъ меня у Малороссіи и Малороссію у меня отнялъ? Я бы радъ уйти за Днѣпръ, въ польскую Украину, только бы поближе къ солнцу, къ Богу. Такъ нѣтъ, не пускаетъ.

Задумавшая бесѣда старика окончательно размягчила сердце Левина. Онъ смотрѣлъ съ благоговѣніемъ и любовью на этого маститаго святителя русской земли, который и на высотѣ своего государственнаго положенія сохранилъ молодую свѣжесть сердца и нѣжную отзывчивость на все доброе и благое. Лаская „бабася“, дѣлая внушенія „сорокъ-московкѣ“, старый сановникъ становился еще симпатичнѣе въ глазахъ извѣрившагося въ людей Левина.

Дверь кабинета открылась и на порогѣ показался келейникъ митрополита.

— Что, Машкаринъ? — спросилъ митрополитъ.

— Епископъ Теофанъ, — отвѣчалъ тотъ, низко кланяясь.

т. ххv.

— А!.. Епископъ Ѳеофанъ Прокоповичъ... проси...

Келейникъ скрылся.

— Прокопенко... златоустіе царево и усерязь многоцѣнна, на ушкѣ царевомъ висаща,—бормоталъ старикъ съ видимымъ неудовольствіемъ.

Левинъ всталъ и началъ откланиваться, прося благословенія.

— Заходи ко мнѣ—будутъ старцы изъ Соловецкаго — отъ нихъ ты узнаешь нѣчто,—сказалъ митрополитъ, благословляя Левина.

Черезъ нѣсколько дней Левинъ снова явился къ митрополиту. Послѣдній казался возбужденнымъ. Стоя у аналоя, на которомъ лежала толстая ветхая книга, онъ, скатывая между пальцами маленькіе восковые катышки, приклеивалъ ихъ то тамъ, то здѣсь на поляхъ книги и раздраженно бормоталъ: „Ишь онъ, умникъ... Извѣся языкъ, аки песь въ спожинки, на свой хвостъ червивый лаесть... Мы-де сами по себѣ, а вселенскіе патріархи сами по себѣ... Ишь Прокопенко! понура свинья, а глыбоко землю рое... Подъ корень дерево великое роетъ Прокопенко... Я ему докажу изъ писанія—испытнаю всю книгу“...

Замѣтивъ Левина, старикъ ласково обратился къ нему.

— Ну, что, сынъ мой, какія мысли Господь на душу положилъ тебѣ?

— Не быть въ Соловкахъ мнѣ, владыко.

— Не быть? Что же такъ?

— Душу свою боюсь погубить тамъ.

— А!.. такъ видалъ соловецкихъ старцевъ?

— Видалъ, владыко.

— И трепетъ нападе на тя? И кости твоя смятошася?

— Смятесе душа моя, владыко святей... Старецъ Аксентьевъ Богомъ живымъ закиналъ меня бжжати соблазна соловецкаго. „Для Бога!—говорить:—не для чего туда идти! Монастырь весь разбѣжался-де по лѣсамъ и по пустынямъ, а остались-де только монахи моты и пьяницы, потому-де, что прислано отсюда монаховъ три человекъ, и стали-де приводить, чтобъ мясо ѣли, а попы-бы-де подбрасывали усы, чтобъ-де святые тайны принимать не помѣшательно; а дьяконы-де бороды и усы вкружало держали бы, а дьячки-бъ-де бороды и усы брили, а съ иконъ-де со всѣхъ оклады и приклады собирали и запечатали и отдали подъ сохраненіе“.

Левинъ говорилъ дрожащимъ голосомъ. Еще одна вѣтра разбивалась въ немъ, а на обломкахъ ея становился тотъ страшный образъ, изъ устъ котораго вылетѣли грозныя слова: „О, бородачи! бородачи! доберусь я до васъ!“

— Такъ, такъ,—говорилъ митрополитъ, выслушавъ Левина:—я зналъ это... Прокопенко и не до того доведетъ... Вѣрно, ему въ Римѣ папези хвостъ прищемили, и онъ теперь на иконы лаесть... Что жъ ты думаешь дѣлать?—спросилъ онъ, снлясь успокоиться.

— Поищу незнатнаго монастыря, бѣднаго. Въ пустынѣ, можетъ, скроюсь; можетъ, звѣри лучше людей.

— Не говори, не говори такъ, сынъ мой, — не гнѣви Бога: есть у него хорешіе люди... Много на землѣ хорошихъ людей, добрыхъ, ангеламъ подобныхъ... Забуду ли друга моего и искренняго моего Димитрія, митрополита ростовскаго? Съ той поры, какъ я знавалъ его еще маленькимъ Данилкою, Данькомъ Туталою, когда мы съ нимъ бывало отыскивали, подъ Кіевомъ, гнѣзда сизоворонокъ и когда уже потомъ писалъ онъ свои Четьи-Миней, — съ юныхъ ногтей и до немощной старости былъ онъ святымъ человѣкомъ. Нѣтъ, много хорошихъ людей знавалъ я на своемъ вѣку. Найдешь и ты ихъ, сынъ мой. А въ Кіевъ, въ Печерскій монастырь не хочешь? — спросилъ старикъ, помолчавъ.

— Боюсь, отецъ, святой, — отвѣчалъ Левинъ.

— Чего боишься?

— Смущень буду духомъ... Думать стану — не утерплю, къ старикамъ ея зайду... Слѣды ногъ ея буду отыскивать на берегу Днѣпра... Нѣтъ, владыко...

— Воистину, воистину...

И старикъ задумался. На краю гроба живучая память воскрешала передъ нимъ и зеленую леваду, и тихую ночь, и запахъ любистка. Память молодости вѣдь и въ гробовую крышку стучится...

— Такъ иди въ пустыню... Жаль мнѣ тебя — полюбился ты мнѣ, какъ сынъ родной, котораго у меня не было, — говорилъ старикъ со слезами на глазахъ.

И онъ не замѣчалъ даже, отдавшись своимъ далекимъ воспоминавіямъ, какъ скромный сурокъ, стащивъ гдѣ-то старыя митропольчыи четьи, волокъ ихъ по полу, а сорока напрасно сидѣлась отнять ихъ отъ него.

— Жаль, жаль... прискорбна душа моя...

А на дворѣ — такой яркій день, такое жаркое весеннее солнце, хотъ бы и не въ Петербургѣ.

„Въ лѣсъ, въ пустыню безлюдную, подъ солнышко божье“, — заговорило въ душѣ Левина страстное желанье при видѣ свѣта и солнца.

ХІХ.

Въ Муромскихъ лѣсахъ.

Величественную, внушительную, строго настраивающую воображеніе картину представляютъ Муромскіе лѣса. Не стой за историческими плечами этого великаго бора столько народныхъ, историческихъ и легендарныхъ представленій; не будь на его прошломъ столько яркихъ красокъ, не старающихся тысячи лѣтъ; не рисуясь въ его тысячелѣтнемъ синодикѣ такіе покойники, какъ Илья Муромецъ, безсмертный вѣстунъ всего русскаго народа, какъ Кудеяръ, тоже не умирающій доселѣ народный герой; не будь, наконецъ, имя этого бора пронесено по лицу всей русской земли съ памятью о какихъ-то безыменныхъ, почти мническихъ образахъ „раз-“

бойниковъ Муромскихъ лѣсовъ, — Муромскіе лѣса и безъ этого предрасполагающаго къ себѣ прошедшаго однимъ видомъ своимъ побѣждаютъ васъ, подавляютъ чѣмъ-то массивнымъ, необъятнымъ. Какъ передъ всѣмъ, что грандіозно и могуче, вы невольно останавливаетесь передъ этимъ богатыремъ-боромъ и чувствуете съ одной стороны его силу и ваше безсиліе, съ другой — желаніе противопоставить ваше безсиліе его силѣ, помѣяться съ нимъ...

Вонъ по этому грозному бору между гигантскими елями, раскинувшими свои многочисленныя мохнатыя руки, по извилистой дорожкѣ, то красно-песчанной и чистой, то темной, усыпанной черными чешуйчатыми шишками и колючими иглами, пробираются двое прохожихъ.

Лѣтнее утро такъ ярко; но, посыпая золотомъ зеленныя верхушки бора, дѣлая бирюзу неба еще гуще и глубже, солнце не доходитъ до самой глубины лѣса, до ногъ этого великана, упирающихся въ красно-песчаную землю. Въ глубинѣ бора прохладно и сыро. Птицы радуются лѣтнему, яркому утру только въ вершинахъ лѣса, а внизу изрѣдка простучитъ желна или дятель въ сухую кору стараго, умирающаго медленно, великана-дуба, да шлаква, спугнутая трескомъ ломающагося валежника, иногда шархнется въ сторону, болтая своими неуклюжими крыльями, и снова падаетъ въ гущину бора.

Торжественная, подмывающая тишина, вызывающая думы и грезы...

Думается столѣтіями назадъ, глубоко временъ, когда лѣсъ этотъ все также былъ тихъ и безмолвенъ...

Пронесется вѣка надъ этими борами, почти не задѣвая ихъ, и мысль пронесется надъ ними, воссоздавая ихъ прошлое, богатое образами...

Странники идутъ молча, задумчиво, съ длинными палками въ рукахъ и котомками за спинами, — словно этими палками они мѣряютъ свой далекій путь, а въ котомкахъ несутъ свое прошлое съ его легковѣсными радостями и тяжеловѣсными горями...

Старшій изъ ихъ кажется очень ветхимъ, очень потертымъ жизнью, но потертость его напоминаетъ гладкую потертость валуна, крѣпкаго, неподатливаго, изъ котораго другой камень или желѣзо легко могутъ выбить яркую, воспламеняющую искру. Искра эта сама выбивается изъ маленькихъ, задумчиво-спокойныхъ глазъ, зорко выглядывающихъ изъ-подъ навѣса сѣдыхъ бровей.

Видно, что передъ этими глазами прошло многое такое, что заставило бы другіе глаза закрыться отъ жалости или ужаса. И надъ сѣдою головою пронеслось не мало событій, какъ надъ темнымъ боромъ, который никому не рассказываетъ своихъ тайнъ... Старикъ одѣтъ въ длинное черное полукафтани, напоминающее затрапезную одежду рясофорнаго чернеца. Сѣдая борода ярко вырисовывается на этомъ черномъ фонѣ.

Младшій — высокий, плечистый, но исхудалый мужчина лѣтъ за сорокъ или больше. На блѣдномъ лицѣ его лежитъ какая-то внутренняя тревога, сказывающаяся въ большихъ, черныхъ съ расширенными зрачками глазахъ.

На немъ — полувоенное одѣяніе. На задкахъ сапогъ блестятъ заржавѣвшія мѣстами шпоры. Бритая, но покрывшаяся щетиной, борода придаетъ болезненность и безъ того не цвѣтному лицу путника.

Они идутъ въ чащу. Боръ становится все мрачнѣе и мрачнѣе, но зато тѣмъ болѣе червоннымъ золотомъ брызжетъ солнце на вершины лѣса и тѣмъ глубже и бирюзовѣе становится небо въ просвѣтахъ темной зелени.

— Хорошо здѣсь, — сказалъ, наконецъ, младшій путникъ, отъ глубины лѣса перенося глаза къ голубому просвѣту. — Такова ли и пустыня?

— Пустыня прекраснѣе будетъ не въ примѣръ — отвѣчалъ старикъ. — Это — дебри, храмъ тихаго безмолвія, владычество грознаго Бога. А тамотка — райское пріятство: сами ангелы по травушкѣ-муравушкѣ да надъ мудрыми кусточками, аки метыли, крылышками повѣвають... Цвѣтики алые и лазоревые растутъ — лежечка, кринька сельные, евангельскіе. Птица всякая это щебечетъ — голосъ подается, говоръ свой въ пустынюшкѣ распускаетъ.

— А далеко еще?

— Нѣтъ ужъ, недалече. Али притомился?

— Ноги-то хотя и подшибаются, а душу впередъ тянеть.

— Истинно, истинно: ноженьки-то подшибаются, за душенькой не угоняются... Такъ-то и мои старыя ноги: имъ бы и угомонъ пора, да душа-то угомону не знаетъ. Семъ-ка отдохнемъ.

— Пожалуй.

Они присѣли подъ развѣсистую елью, на выдавшіеся изъ земли, покрытые мохомъ, коренья.

Тишина казалась еще торжественнѣе. Перемежающійся стукъ дятла въ кору дерева гулко отдавался по лѣсу. Отщепленные имъ кусочки коры упали на колѣни старика. Онъ поднялъ голову, и лицо его освѣтилось улыбкой.

— Ишь ты, ничуга малая — тоже хлѣбецъ себѣ добываетъ, — сказалъ онъ любовно. — Ахъ ты, пустынный этакій, птичина божья... И не скучаетъ вѣдь тутъ. Дѣтки у него, поди, малые — ѣсть просятъ... Тоже вѣдь своя семья, своя заботы... О-о-хо-хо! Да зато воля — ни подушнаго оклада, ни гривны за бороду да за неуказное платье не платятъ.

Слушая добродушное бормотанье старика, младшій путникъ грустно улыбался.

Вдругъ, въ сгортѣ, въ гущѣ лѣса послышался трескъ валежника, какъ будто бы шло что-то очень тяжелое. Путники стали прислушиваться. Трескъ повторился — ясно, что это хрустѣло подъ чьими-то ногами.

— Не люди ли? — тихо, шопотомъ произнесъ младшій путникъ.

— Нѣтъ... не человѣкъ то, — также тихо отвѣчалъ старикъ.

— Нешто звѣрь?

— Да. Знакомъ мнѣ этотъ хрясть. Это медвѣдь идетъ.

Они начали приглядываться по направленію треска.

— Что-то черное метлешить, — сказалъ младшій.

— Онъ и есть. А куда идетъ?

— Да прямо будто бы на насъ.

На лицѣ младшаго путника написанъ былъ испугъ. Старикъ былъ спокойнѣе.

— Не пужайся,—сказалъ онъ:—Богъ милостивъ. Я знаю, какъ прогнать звѣря—набилъ руку, мыкаячися по дебрямъ и пустынямъ. Только станемъ такъ, чтобъ онъ не замѣтилъ насъ.

Они стали между стволами елей, густо переплетенныхъ хмелемъ.

Трескъ приближался. Безстрашный дятель продолжалъ долбить своимъ долотомъ, какъ бы исполняя заданный урокъ. Откуда-то выскочилъ заяцъ, поковылялъ впередъ, но вдругъ шарахнулся въ бокъ и исчезъ въ одно мгновеніе.

Трескъ все ближе и ближе. Слышно, кажется, чье-то тяжелое дыханіе. Пересталъ и дятель долбить—точно ждетъ, что будетъ.

— Не пугайся,—шепнулъ старикъ:—я завою.

И вдругъ раздался странный, протяжный, словно жалобный волчій вой. Трескъ валежника сразу оборвался. Изъ-за листвы хмеля можно было видѣть, какъ въ нѣсколькихъ десяткахъ шаговъ, между двумя стволами деревьевъ темнѣла массивная голова, поводя ушами.

Вой повторился еще жалобнѣе, потомъ другимъ тономъ, третьимъ...

Грузное туловище медвѣдя быстро перевернулось, и послышался усиленный хрустъ сухого валежника.

— Вѣжалъ дурачекъ,—сказалъ старикъ, улыбаясь.

Младшій широко перекрестился и вздохнулъ самую глубь груди.

— Здоровешенекъ, да глупешенекъ,—продолжалъ старикъ:—сразу испужался, малый,—думаетъ, стая голодныхъ волковъ. А онъ парень не изъ ловкихъ.

— Да, Богъ спасъ. Теперь бы скорѣй и къ жилью, а то не ровенъ часъ.

— Добре. Идемъ.

И путники снова пошли по тропѣ въ глубь бора. Боръ становился все мрачнѣе, угрюмѣе, тѣнистѣе. Не слышно было ни дятла, ни желны. Стволы деревьевъ гуще и гуще прижимались другъ къ другу.

— Эхъ, вертепа ты, вертепушка божья! Дебря ты безпросвѣтная! — бормоталъ старикъ какъ бы самъ съ собою.—Вспоминалъ я о тебѣ, великой темной деберушкѣ, во пещерахъ кievскихъ.

И снова умолкалъ. Поэтическое чутье могучести и красоты природы, какъ видно, будило въ старикѣ какія-то воспоминанія.

— Мощи тамъ въ пещерахъ лежатъ угодника Божія преподобнаго Ильи Муромца... Чай, видѣлъ?—спросилъ старикъ.

— Какъ же, прикладывался къ нимъ.

— Вспомнились онѣ мнѣ вотъ тутъ, въ этой дебри муромской... Должно, угодничекъ святой Ильи здѣсь хаживалъ — маливался, може, во вертепѣ этой.

Что-то ударило его по головѣ и скатилось наземъ.

— Что это? А! словая шишечка, хоть и не Макаръ я, кажись.

Блювая шишка снова упала. Старикъ поднялъ голову. На нижнихъ вѣтвяхъ ея скакала бѣлка.

— А! это ты, воструха, мечешь въ меня шишками... Ишь скачетъ дурашка—и веселехонька, поди ты... О-о-хо-хо! какъ-то все Господь премудро устроилъ... Вотъ она себѣ скачетъ тутъ по вѣточкамъ—и нуждушки ей нѣтъ до того, что люди дѣлаютъ, что-то творится въ Москвѣ-матушкѣ, что въ Питерѣ подѣлывается, какіе тамъ батюшка царь Петръ Алексѣевичъ новые вавилоны затѣваетъ... Скачетъ она, звѣрина малая, и довольна коли орѣшекъ найдетъ, и завидушки-то у ней нѣту, жадности этой, что у человѣка—окомъ бы не сытымъ и не сытымъ сердцемъ все пожралъ и у друга-недруга кусокъ бы изъ горла отнялъ, да не съ голоду, а съ того, что у самого лари и клѣти отъ богатства ломаются... Э-э-хе-хе! житіе ты человѣческое, житіе плачевное... А бѣлочкѣ божьей и горюшка нѣту.

Но вотъ лѣсъ началъ рѣдѣть. Чаше и чаще становились прогалины, свѣтлѣе становилось кругомъ, голубые просвѣты надъ боромъ расширились, солнце заглядывало глубже и глубже въ разрѣдѣвшую чашу.

Вонъ и поляна вырисовалась изъ-за чаши. Одна половина поляны и окаймляющій ее слѣва лѣсъ облиты были яркими лучами солнца.

На полянѣ, изъ-за деревьевъ, видѣлись строенія. Вился бѣлый дымокъ къ небу.

Присутствіе жизни сказалось сразу, во всемъ, то затыкается собака, то прокричитъ пѣтухъ. И лѣсные птицы стали какъ будто говорливѣе, когда выбрались изъ мрачнаго дремучаго бора.

Гдѣ-то глухо, гнусливо прокуковала кукушка. Кобчикъ, маленькій хищникъ ястребиной породы, задорно и звонко кикикаетъ, гоняясь за каркающей вороной.

Золотистая иволга назойливо преслѣдуетъ неповоротливую сороку и сама же свиститъ и трещитъ, словно бы ее обижали, а не она.

Звуки жизни такъ и хлынули отовсюду, точно выросли изъ земли, зарождались въ воздухѣ.

— Вотъ и скиты—тихое пристанище,—сказалъ старикъ, отирая потный лобъ.

— Слава Богу, пустыня,—отозвался младшій его спутникъ.

— Цавно я тутъ не былъ,—продолжалъ старшій.—Поди, многое измѣнилось.

— А признаютъ тебя, дѣдушка?

— Собаки не признаютъ—чай, новенькія теперь; а люди, надо позвать, такъ признаютъ.

— А какъ-то меня примутъ?

— Вѣстимо какъ: спервоначально съ опаской, съ искусомъ, а потомъ въ свой законъ введутъ—безъ этого нельзя. Да законъ у нихъ русскій, старый истовый законъ и живутъ истово, не то, что въ проклятомъ Вавилонѣ-Питерѣ.

Они вышли, наконецъ, на поляну. Широкая ровная поляна обнару-

жила присутствіе прочнаго и постояннаго жилья человѣческаго. Деревяныя избы, большія и малыя, обнесенныя заборами, и крытые навѣсы раскинулись по полянѣ, а нѣкоторыя хоронились однимъ бокомъ въ лѣсу.

Около одного двора звонко, торопливо залаяла собака.

— А! увидаль песь чужого,—замѣтилъ старикъ:—теперь подымуть лай.

И лай, дѣйствительно, поднялся.

Въ одномъ окнѣ ближайшей избы показалось человѣческое лицо и скрылось тотчасъ.

Подвигаясь далѣе, путники увидали, что на завалинкѣ одной избы, стоящей влѣво отъ главной тропы, сидитъ мужикъ и крестить лѣвой рукой гусятъ, которые паслись передъ нимъ на зеленой лужайкѣ. Около него стояла желтая собака съ острою мордою и острыми ушами и лаяла словно по заказу, не двигаясь съ мѣста.

Путники приблизились къ мужику.

— Господи Иусе Христе, Сыне Божій, помилуй насъ! — сказалъ на-распѣвъ старшій путникъ.

— Аминь,—отвѣчалъ мужикъ, немного подумавъ.

Путники подошли еще ближе. Собака перестала лаять.

— Януарій Антипычъ въ скитѣ будетъ?—спросилъ старшій путникъ.

— А вы что за люди?—въ свою очередь просилъ мужикъ, привставъ съ завалинки.

Тутъ только можно было увидѣть, что правая рука у него была сухая, сведенная, она изгибалась назадъ.

— Странники мы,—отвѣчалъ старшій путникъ.

— А какъ вы сюда-тко попали?—допрашивалъ мужикъ, сѣрые, слюдистые глаза котораго съ особеннымъ недоувѣріемъ останавливались на младшемъ путникѣ.—Кто вамъ дорогу указалъ?

— Господь указалъ.—Ему убо всѣ пути вѣдоми.

Мужикъ, видимо, начиналъ подаваться.

— А какимъ крестомъ ты крестишься — не истовымъ?—продолжалъ онъ допрашивать.

Старикъ сложилъ большой палецъ съ безымяннымъ и мизинцемъ и перекрестился, снявъ свою черную скуфейку.

— Истово—точно, по нашему,—сказалъ мужикъ весело.

И собака дружелюбно замахала хвостомъ, точно и она одобряла истовое сложеніе перстовъ.

— А сотвори-тка молитву Иусову,—экзаменовалъ мужикъ.

Старикъ сотворилъ.

— Таперь вѣрю,—обрадовался мужикъ.—Видишь вотъ мою правую-то руку?

— Вижу. Что она у тебя, родимый,—усохла?

— Усохла—суху руку имамъ. А ты слухъ-ка. Былъ я это еще маховымъ, глупымъ дитей, невѣдникомъ. Изъ Муромъ я, значить, муромецъ, и Ильей зовутъ. Вотъ, сказываютъ, приходятъ это въ избу къ намъ стран-

ники, а въ избѣ только я одинъ, малый ребенокъ. „Какъ,—говорятъ,—зовутъ тебя, малецъ?—„Ильей“, говорю.—„А, Илья-Муромецъ, богатырь,—здравствуй-де“, говорятъ.—„Нѣтъ-ли, говорятъ, Илюша, у васъ кваску или бражки—испить бы“.—„Есть“, говорю.—„Обѣдай, натоци, говорятъ, ковшикъ: мы-де за тебя Богу въ Ерусалимѣ помолимся“.—Побегъ я глупый, натоцялъ, приношу... Перекрестились они это по нашему, истово, выпили... А мнѣ, глупышу, и невдомекъ, что они, калики-то переходжіе, истово крестятся, какъ слѣдъ. А я-то самъ былъ отъ моихъ родителей никоніанецъ, поповникъ, церковникъ, значить, — истоваго креста не зналъ. „А выпей-ка, говорятъ калики, Илюша, самъ ты, да перекрестись какъ слѣдъ“. Я перекрестился неистовымъ крестомъ, никоніанскимъ, щепотью—у меня руку-то и свело... Я такъ и взревелъ...—„Ну, говорятъ, Илюша покаралъ тебя Богъ за твоихъ родителей: будешь ты теперь весь вѣкъ сухоручка“.—Такъ и остался я сухоручкой. Вотъ каковъ онъ, не истовый крестъ-отъ, касатикъ!

— Ну такъ какъ же, Илюша, милый ты человекъ, Януарій-то Антипычъ въ скитѣ обрѣтается?—снова спросилъ старшій путникъ, видя, что Илья Муромецъ, кажись, маленько того—глуповатъ отъ природы:—можно его повидать?

Илья Муромецъ опять опѣшилъ, онъ вспомнилъ, что, по скитскимъ правиламъ, онъ долженъ быть дипломатиченъ съ незнакомыми, остороженъ.

— Да вы чьихъ будете?—спросилъ онъ растерянно.

— Мы страннички, пришли въ вашу обитель на поклонъ къ Януарію Антипычу,—отвѣчалъ старикъ, которому начиналъ уже надоѣдать безтолковый Илья Муромецъ.

— А ейная милость—чьихъ?—опять спрашивалъ онъ, косясь на младшаго путника.

— И онъ божій. А ты вотъ что, Илюша, милый ты человекъ,—проведи насъ къ Януарію Антипычу, а то поди и доложись ему, пришелъ-де старецъ Варсонофій самъ-другъ и принесть-де отъ Кузмы Федотыча, съ Мурома, поклонъ и грамотку.

— Отъ Кузмы Федотыча? Знаемъ—нашъ муромскій человекъ именитый,—осклабился Илья Муромецъ.

— То-то же,—такъ поди и доложись.

Илья Муромецъ опять замылся.

— Мы нечего не знаемъ... Можетъ, ейная милость изъ приказу.

Его, видимо, смущали шпоры младшаго путника.

Между тѣмъ, черезъ поляну, съ правой стороны, шла женщина, которая вышла изъ калитки забора, окружавшаго другую избу, полуспрятанную въ лѣсу. Женщина была вся въ черномъ.

Когда она подошла къ бесѣдовавшимъ, то изъ-подъ чернаго платочка, накинутаго на голову, выглянуло молодое свѣженькое личико. Черные съ синеватыми большими бѣлками глаза казались еще чернѣе по контрасту съ волосами, выбившимися изъ-подъ платка на лобъ и на виски: волосы

эти были, буквально, красивые, съ такимъ нѣжнымъ оттѣнкомъ, что цвѣтъ ихъ впадалъ въ червонное золото.

Дѣвушка поклонилась прохожимъ.

— Какъ бы намъ повидать Януарія Антипыча, милая?—сказалъ старикъ:—мы изъ Мурома, отъ Козьмы Федотыча съ грамоткой.

— А грамотка съ вами, дѣдушка?—спросила она.

— При насъ, милая.

И старикъ, снявъ съ головы скуфейку, вынулъ изъ-за подкладки ея четверо сложенную бумажку и подаль дѣвущкѣ. Та взяла письмо и побѣжала къ центральной большой избѣ съ высокимъ заборомъ и навѣсами. Калитка щелкнула шкелдой, и дѣвушка скрылась внутри двора. Калитка снова захлопнулась.

— Евдокѣюшка мнѣмъ смастерить — бой дѣвка, — заговорилъ Илья муромецъ, снова повеселѣвшій: — ужъ и дѣвка же внезапная! Поискать такой — не найдемъ. А начетчица — ужъ и Господи! Всего семнадцатый годокъ помешъ. ~~Или~~ семнадцатый, а вычитывать по книгамъ такая мастерица, что ~~каждый~~ глаза видить, что въ книгѣ написано. И ужъ какъ начнетъ ~~вычитывать~~ ~~начнетъ~~ — инда волосы дыбомъ стануть — особливо объ антикритикѣ о дементорожномъ звѣрѣ, а то о бѣсѣ, какъ бѣсъ въ рукомойникъ ~~попалъ~~ и креста испужался... А еще о трясавицахъ — дѣвки, значить, ~~и~~ простоволосыя, либо про аллилуеву жену, какъ аллилуева жена ~~милосерднѣ~~ дѣте свое въ печи сожгла... А то про страшный судъ начнетъ, какъ ~~рыба~~ ~~рыба~~, котора рыба съѣла руку человѣчью — и та руку несетъ, ~~котора~~ ~~ногу~~ ~~ногу~~ съѣла — ногу тащить, либо звѣрь — медвѣдь, примѣромъ — ~~который~~ медвѣдь человѣка задралъ и съѣлъ, тотъ человѣка несетъ, а ~~котора~~ ~~птица~~ ~~птица~~ — ворона, сказать ненарокомъ кость человѣчью затащила въ дѣсь, и та птица кость несетъ на судъ... Ужъ и Господи ты Боже мой! какихъ она страховъ, эта Евдокѣюшка, не вычитаетъ — все дочиста выложить... Ужъ такая дѣвка скоропостижная — и сказать нельзя.

Простодушный Илья Муромецъ до того увлекся слышанными имъ отъ Евдокѣюшки чудесами и страхами, что, кажется, никогда бы не кончилъ, если бъ калитка не отворилась и Евдокѣюшка не позвала путниковъ въ горницу.

Читатель, конечно, давно догадался, что путники, явившіеся въ муромскіе скита, были — старецъ Варсонофій или Никитушка Паломникъ, Агасерій тожъ, — и Левинъ.

XX.

Муромскіе скиты. Евдонѣюшна.

Главная изба муромскаго скита, въ которую вступили старецъ Варсонофій и Левинъ, построена была изъ бревенчатого сосноваго дѣсу, съ подклѣтью. Всѣ окна ея выходили на дворъ, и только одно, маленькое,

какъ крѣпостная зорница, выглядывало на поляну, по направленію къ Мурому. Оно было прорублено выше остальныхъ оконъ и служило для раскольниковъ наблюдательнымъ постомъ.

Въ избу вела невысокая лѣстница, упиравшаяся въ широкое крыльцо съ навѣсомъ. На крыльцѣ висѣлъ мѣдный рукомойникъ, а около него полотенце, съ вышитымъ на немъ краснымъ осьмиконечнымъ крестомъ. Съ крыльца ходъ былъ прямо въ сѣни, широкія, во всю ширину сруба, и свѣтлыя, раздѣлявшія избу на двѣ половины: съ правой стороны была моленная, съ лѣвой—жилая горница.

Евдокѣюшка ввела путниковъ прямо въ моленную.

Это была большая квадратная комната, съ четырьмя небольшими окнами, по два въ соприкосающихся, выходящихъ на дворъ, стѣнахъ. Вдоль всѣхъ стѣнъ, исключая того мѣста, гдѣ находилась русская печь, тянулись деревянные лавки. Всѣ стѣны моленной увѣшаны были старинными, разныхъ величинъ образами, иконописно мазанными на деревѣ: на нихъ лежала печать ветхой, самой почтенной для раскольниковъ старины—почернѣлость, закоптѣлость, мрачность; нечеловѣческіе и непремѣнно суровые, отталкивающіе, но не привлекающіе лики—съ квадратными или узкими, какъ у ацтековъ, лбами, съ страшными, неестественно большими глазами, которые якобы все видятъ и за всѣмъ подсматриваютъ, съ кривыми или ненатурально прямыми и длинными носами—все это не человѣче, божественное, карающее, грубо пугающее. Это лики тѣхъ, которые должны быть страшны даже для трясавицъ, дѣвокъ простоволосыхъ, для бѣсовъ, для аллилуевыхъ женъ, не то, что для человѣка. Они—только караютъ и наказываютъ, и ихъ надо молить только о помилованіи: помилуй, помилуй!

Въ одномъ углу—иконостаѣ, такой же закоптѣлый, мрачный, грубый. Изъ него, изъ-за серебряныхъ окладовъ, выглядываютъ такіе же суровые и еще болѣе закоптѣлые святостью лики, гдѣ уже не различишь ни носовъ, ни глазъ, ни лбовъ—все черно, старо, потрескалось, отдаетъ могильностью, склепомъ.

И отъ всей избы вѣетъ склепомъ, мертвечиной... Мигаютъ лампадки, теплятся, отекаютъ и плачутъ, слезятся желтыя восковыя свѣчки передъ этими мертвыми, изъ могилъ выглядывающими ликами.

По избѣ ходитъ запахъ ладана—опять-таки какъ надъ мертвецомъ... Аналой въ плисовой покрывкѣ, въ траурѣ... Грубый крестъ, словно изъ гроба выкопанный археологомъ. Евангеліе въ мѣдной грубой оправѣ. Какіе-то могильные доскуты... Все это словно выкопанное, отвязное у могилъ, украденное у времени, у смерти, какъ въ музеѣ Прохорова... Все могильное... Гдѣ же мертвецъ? Что онъ не лежитъ тутъ?

Нѣтъ, это не мертвецъ поправляетъ лампадку у образа... Соскочилъ съ головы черный платочекъ, золотомъ блеснули рыжіе волосы и длинная коса... Повернулась головка—блеснуло молодое, свѣжее, полное жизни личико съ живыми глазками: это—Евдокѣюшка. Какой страшный контрастъ со смертью!

Поправивъ лампаду, Бадюжишка повернулась, поклонилась низко-низко какому-то старику, накиннула платочекъ на голову и вышла.

Все это мгновенно, какъ видѣніе, промелькнуло по сознанію Левина, когда онъ очутился въ молельнѣ рядомъ съ своимъ спутникомъ, Варсонофіемъ.

Передъ ними стоялъ высокій, бѣлый какъ кипень, но прямой и бодрый старикъ.

— А! Варсонофашка! здравствуй, здравствуй о Христѣ братецъ!— заговорилъ старикъ.— Сколько лѣтъ! Откуда и куда Богъ несетъ?

— Изъ Питера къ вамъ въ святую обитель, а отъ васъ въ Ерусалимъ—грозъ заведетъ—по пути...

— По куту! охъ, ты божій скороходъ—боговы у тебя ноги, неустанныя...—говорилъ старикъ, улыбаясь.

— А къ вамъ новичка привелъ, — сказалъ Варсонофій, показывая на Левина.

— Ты жъ, милости просимъ всегда ради,—говорилъ старикъ, прирѣзавъ свѣтъ.— Побудь у насъ въ обители—тихо у насъ, чисто. Завсегда рады. Поживешь съ нами—не соскучишься: здѣсь вашей братіи много всякаго чина людей. По нынѣшнему времю, только въ нашей вѣрѣ, здѣсь, и спасенье обрящешь. Нынѣ царство антихристово, и вы, не обманывайтесь, погибаете, аки мухи на медъ во геенскую смолу летите. А поживъ у насъ—я тебѣ всю тайну открою.—А самъ-то ты кто?

Быль гренадерскаго полку капитанъ Левинъ, а теперь просто Василий, отвѣчалъ Левинъ.

Кто давила обстановка. Онъ нашель больше чѣмъ ожидалъ. Изъ офицерской столичной обстановки—и вдругъ въ склепъ могильный, въ мрачную, мужичью избу.

— Антихристу, значить, служилъ, за антихристову вѣру плоть свою на побіеніе отдавалъ,—замѣтилъ старикъ.

— Нѣтъ, дѣдушка,—зачѣмъ такъ неистово говорить?—возражалъ Левинъ, у котораго разомъ пробудился духъ отрицанія—дворянскій духъ въ мужичьей избѣ:—не говори такъ: за таковыхъ человѣкъ, которые побіени на службѣ за вѣру христову да за царя законнаго,—за тѣхъ соборная апостольская церковь умоляетъ.

— Оно такъ. Да нынѣ царь не законный—нынѣ антихристово царствіе,—оспаривалъ старый расколучитель.

— Ты говоришь—антихристово царствіе; а я читалъ въ книгѣ, что антихристъ родится отъ колѣна Гданова, отъ сущія дѣвицы жидовки,—возражалъ Левинъ, тоже хлебнувшій расколучничей беллетристики и философіи.

— Такъ да не такъ,—горячился расколучникъ.—Гданъ родился отъ Якова, а отъ Гданова колѣна родился антихристъ отъ дѣвицы жидовки сущія.

— Кто жъ антихристъ?—не поддавался Левинъ.—Я чель книгу Ефрема Сирина о послѣднемъ времени. Написаво въ ней: „въ послѣднее де

время будутъ многіе антихристы и лжепророцы“, а того, кто именно, не написано.

— Такъ да не такъ. Челъ ты да не дочелъ. Ань написано: у Григорья Талицаго въ тетрадкахъ написано—вотъ въ этихъ.

И раскольникъ показалъ ему засаленныя, пожелтѣвшія тетрадки.

— Слыхалъ и объ Григорѣ Талицкомъ,—упрямился Левинъ:—можетъ онъ не отъ божественнаго писанья вывелъ, а изъ своей головы.

— Такъ да не такъ,—повторялъ свою любимую припѣвку въ преніяхъ старый раскольникъ, съ которымъ никто не могъ соспорить:—это Никонъ, б.....нъ сынъ, изъ своей головы—изъ своего поганого рта наблевалъ, а Григорій Талицкій бисеру многоцѣннаго предъ нами свиніями насыпалъ, а мы его ногами попираемъ,—горячился изувѣръ.

— Что жъ, и Талицкій говорить, что который царь будетъ *восьмымъ* по порядку, тотъ и есть антихристъ. А царей было много, не восемь.

— Такъ да не такъ. Восемь и есть: царь Иванъ Грозный—это разъ, царь Ѳеодоръ—это два, царь Борисъ—это три, царь Шуйской—это четыре, царь Михайлъ Ѳеодорычъ—это пять, царь Алексѣй Михайлычъ—это шесть, царь Ѳеодоръ Алексѣичъ—это семь, и за нимъ Петръ—восьмой: онъ и есть антихристъ.

Глаза старого раскольника блистали. Онъ торжествовалъ побѣду—онъ былъ глубоко убѣжденъ, что ученый диспутъ его кончился торжествомъ, что противникъ его пораженъ, посрамленъ и убѣжденъ.

— Что, не такъ ли, старина?—обратился онъ къ Варсонофію, который молчалъ во время диспута и съ удивленіемъ смотрѣлъ на Левина.—Вѣрно?

— Что и говорить! Ты, Януарій Антипычъ, лихъ на божественномъ письмѣ—тебя съ этого коня не ссадишь,—отвѣчалъ Варсонофій.

— Такъ да не такъ—вѣрно: самъ Никонъ-еретикъ не ссадилъ бы.

— Какъ же ты говоришь, что онъ отъ колѣна Гданова родился?—продолжалъ критиковать Левинъ, котораго возбуждала борьба.—А Петръ, подлинно вѣдомо, родился отъ царя Алексѣя Михайловича и отъ царицы матери его, Натальи Кирилловны.

— Такъ да не такъ—бабы это враки. Онъ и высокъ, и персоною черенъ, и кудреватъ, аки жидовинъ сынъ дѣвицы жидовки сущія, на царя Алексѣя Михайлыча и не смахивалъ

— А развѣ ты видалъ царя Алексѣя Михайловича! Онъ давно помре.

— Такъ да не такъ. Въ прошлыхъ годѣхъ, въ послѣднія лѣта царствованія его, была на меня съ братомъ причина за вѣру. Не мы одни въ причинѣ были, а и многіе премудрые въ вѣрѣ учителя. Такъ тогда я видалъ царя Алексѣя Михайлыча... Какъ были это мы съ премудрыми учителями, всего двѣнадцать человекъ, на Москву въ патріаршъ приказъ взяты за вѣру, какъ вѣруемъ мы, и за вѣру сожженно десять человекъ, а братъ мой не сожженъ для того, что принесъ вину; а я хотя и былъ въ оговорѣ и по тому оговору сысканъ и пытавъ, да послѣ съ цыцка

божією помощію ушелъ. А до того оговору я торговалъ въ Москвѣ въ котельномъ ряду въ лавкѣ, и былъ на Москвѣ пожаръ, и послѣ того пожару, какъ я сбѣжалъ съ пытки, братъ мой и другіе такіе же сказали, будто я въ тотъ пожаръ сгорѣлъ, а я не сгорѣлъ, а отъ розыску ушелъ съ Москвы, и жилъ въ Великомъ Новѣгородѣ и въ томъ Новѣгородѣ былъ пойманъ и сидѣлъ въ архіерейскомъ приказѣ въ той же вѣрѣ, и съ приказу паки ушелъ въ Муромъ сюда, а съ Мурома въ лѣсъ, гдѣ и построилъ, сію обитель... Такъ мнѣ ли не знать, что онъ—не сынъ царевъ, а жидовинъ, жидовки дѣвки сынъ, антихристъ, и персоною юдоподобенъ, какъ этого Юду пишутъ на „тайной вечери“, какъ онъ прямо въ солнцу хлѣбомъ мокаеть.

Неутомимъ былъ старый изувѣръ. Неутомимымъ оказался и Левинъ.

— Я много разъ видалъ Петра близко, какъ тебя вотъ,—говорилъ онъ.—Персоною онъ пошелъ, сказываютъ, въ нарышкинскую породу—на Ѳедора Кириллыча походить, да такая же крупная порода и Прозоровскихъ князей. А что онъ въ церковь ходитъ и святую литургію слушаетъ—это мнѣ подлинно вѣдомо.

— Эка важность! въ церковь! А какова церковь-то у нихъ, у церковниковъ, у никоніянцевъ? Не чистая! Съ Никона пошла церковная нечестъ. Вотъ что!—горячился раскольникъ.

— Такъ, ладно. А что ты на это скажешь? Въ прошлыхъ годахъ, какъ мать его парица Наталья Кирилловна немоществовала, и изъ Новодѣвичья монастыря во дворецъ принесенъ былъ образъ Пресвятыя Богородицы, и онъ, царь, тому образу молился со слезами.

Старый раскольникъ ехидно улыбался.

— Куда какую притчу сказываешь ты про Петра!—началъ онъ насмѣшливо.—Въ книгахъ, чай, писано, что онъ, антихристъ, лукавъ и къ церкви приобщень будетъ и ко всѣмъ милостивъ будетъ. А что онъ въ церковь ходитъ—и въ церквахъ нынѣ святости нѣтъ ни на маковую росинку, для того ему и не возбраняется. А чель ты тетрадь учителя Кузьмы Андреева, изъ Керженскихъ лѣсовъ? Лихо на него, Петра, въ тетрадкѣ показано!

— Нѣтъ, не чель,—отвѣчалъ Левинъ.

— Да что тетрадки! Во-очію видно. Намедни былъ у насъ съ Мурома человекъ, былъ въ Питербурхѣ онъ, такъ сказывалъ про тамошнія чудеса: собралъ-де онъ Петръ бѣглыхъ солдатъ человекъ съ дѣстами, и поставя на колѣни, велѣлъ побить до смерти изъ пушки... Эко стало нонѣ христіанамъ ругательство! Да что, полно! говорить страшно...

— Ну, этого мы не видавали,—вмѣшался Варсонофій:—чтобъ въ солдаты стрѣляли изъ пушки, а что лютъ на казни—это подлинно: сына своего родного царевича Алексѣй Петровича стерялъ, нареченную жену его Афросинью Ѳедоровну, должно полагать, утопилъ, Кикина, Афанасьева-Большого, Абрама Лопухина и другихъ казнилъ, Марьи Гаментовой голову въ спиртъ положилъ—это точно!

— Да что мотаться-то!—воскликнулъ Януарій:—антихристъ онъ, да и

все тутъ! Прїѣзжіи челоѣкъ изъ Питербурха сказывалъ, что онъ, Петръ, у образа Господа Саваова отъ вѣнца отнялъ два рога да и положилъ коню подъ чрево.

— Какъ отнялъ и положилъ подъ чрево?—удивился Левинъ.

— Ну, какъ тебѣ растолковать? Ну, говоритъ, взялъ да и положилъ рога подъ чрево лошади... ну, и знай, какъ знаешь!

Левина начинало утомлять все это. При томъ онъ усталъ отъ дороги, дурѣлъ отъ этого тяжелаго воздуха наглухо закрытой избы, отъ этого промозглаго дыму ладеннаго, отъ спора. Внѣшнимъ образомъ, апатично, онъ началъ какъ бы сдаваться. Онъ ждалъ чего-то болѣе чистаго, идеальнаго.

— Да, тяжелое время настало,—сказалъ онъ въ раздумьи:—я самъ ушелъ отъ него, службу бросилъ, ищу тихаго пристанища.

— Ну, и добре. Оставайся у насъ,—обрадовался Януарій, видя, что стадо его увеличивается.

— Спасибо, Януарій Антипычъ, за прїемъ. Поосмотрюсь у васъ—можетъ, душа и прилѣпится къ тихому пристанищу.

— Прилѣпнетъ, яко языкъ къ гортани,—скаламбурилъ Варсонофій.

— Воистину, прилѣпнетъ, только твои хозяина ноги нигдѣ, кажись, не прилѣпнутъ,—отвѣчалъ раскольникъ.

— Прилѣпнуть и онѣ когда-нибудь... къ гробовой доскѣ,—задумчиво сказалъ Варсонофій.

— Это точно, что къ гробовой досточкѣ—липка она, ухъ, какъ липка.

И раскольникъ истово перекрестился, взглянувъ на одинъ изъ суровыхъ ликовъ.

— А хотѣлось бы,—продолжалъ Варсонофій:—чтобъ святая земля, пылъ земли той, гдѣ ходили ножки Христовы, пристала къ моимъ грѣшнымъ ногамъ. Легче бы въ гробъ было ложиться съ пылью-то этою.

— Можетъ, Господь и приведетъ... Принеси-ка инъ ты и мнѣ щепотъ землицы той, Варсонофьюшка, Бога для принеси,—говорилъ Януарій.—А самъ ужъ я не дойду туда.

— Да у тебя стадо здѣсь: ты пастырь. А я—что я?—я овца паршивая.

— Не говори, Варсонофьюшка, ты, може, больше Богу угодилъ, тѣмъ я моимъ глупымъ ученьемъ.

— Да что! овца я—овца и есть, овца безъ стада. Бобыль я на бѣломъ свѣтѣ. Было и мнѣ прежде за кого молиться, а теперь—не за кого: за всѣхъ православныхъ христіанъ. А тяжело это. Птица къ гнѣзду своему летитъ, звѣри пещеръ своихъ ищутъ, лисы язвины имутъ, а въ язвилахъ—дѣтокъ своихъ обрящутъ. А я—аки прахъ въ полѣ, вѣтромъ возмущаемый. Были у меня родичи по душѣ—царевичъ батюшка, что ласково таково звалъ меня Никитушкой Паломничкомъ либо Агасееріемъ, Афросиньюшка была, млада горлинка, Кикинъ благодѣтель — и все это водою мертвою, кровавою водою сплыло... Ну, и молись теперь за всѣхъ православныхъ христіанъ.

— Что же, дѣло хорошее, божье.

— Охъ, божье, божье! А божье-то бываетъ и самому Богу немоготъ.

И Оня, батюшка, въ саду-то Геосиманскомъ восплакался: „Да мимо идетъ чаша сія.“ Тяжка, горька эта чаша.

— Зато слаще будетъ на томъ свѣтѣ,—возражалъ раскольникъ.

— Будетъ, коли Богъ сподобитъ. А все хотѣлось бы пожить на этомъ горькомъ свѣту... Хотя и бобылемъ ты остался, и душенька твоя обобылѣла, а какъ поглядишь на солнышко раннее, на рѣчущку ясную, на травушку зеленую—ну, и не бобылемъ себя видишь, и не хочется крышкою гробовою прикрываться... Ужъ такъ я, старая птица, бродить по свѣту обыкла.

Левинъ слушалъ и не слушалъ ихъ. И его мысль бродила по свѣту. Изъ-за мрачныхъ ликовъ выглядывали другіе лики, свѣтлые, а эти мрачные гнали ихъ, заслоняли собою, ладаномъ дули въ лицо имъ...

— Батюшка! Януаръ Антипычъ!—прозвучалъ вдругъ гдѣ-то серебряный голосокъ.

Левинъ вздрогнулъ.

— Пришла наша скитскіе послушать тебя,—продолжало звенѣть серебро.

Левинъ понялъ: это серебро катилось изъ горлышка рыженькой Евдокѣюшки. Катилось и пѣло.

Евдокѣюшка стояла у порога. Бѣлая рожица ея стыдливо выглядывала изъ-подъ темнаго платочка. Золотая заплетенная жгутомъ коса нерѣшительно переминалась въ рукахъ, голыхъ по локти и бѣлыхъ, какъ только можетъ быть бѣло тѣло у рыжихъ.

Старый учитель съ любовью посмотрѣлъ на свою хорошенькую ученицу. Усмешливое лицо его, напоминавшее стѣнные лики, прояснилось, приняло чело-вѣческое выраженіе.

Много пришло, Евдокѣюшка?—спросилъ онъ.

— Много, батюшка Януаръ Антипычъ.

— Свои?

— Всѣ свои—Илюша всѣхъ перечелъ.

При имени Илюши она улыбнулась.

— Впусти ихъ. Я сичасъ выду.

Евдокѣюшка юркнула въ дверь, словно воробей.

— Пришла паства божественнаго писанья послушать, млека словеснаго отъ сосцовъ книжныхъ напиться,—сказалъ раскольникъ важно.

— Дѣло доброе, божье,—сказалъ въ свою очередь Варсонофій.

— Не хотите ли послушать и вы буйихъ словесъ моихъ? — спросилъ Януарій полускромно, полугордо.

— Какъ не послушать трубы звенящей? У тебя не сквернить изъ устъ,—отпустилъ комплиментъ Варсонофій.

Раскольникъ захватилъ нѣсколько книгъ и вышелъ на крыльцо. Вышли Левинъ и Варсонофій.

У крыльца толпились мужики и бабы. Послѣднихъ было больше, отчасти потому, что онѣ больше падки на всякое ученье, особенно, если въ немъ есть что-то таинственное, загадочное, увлекательное, а отчасти и

потому, что, болѣе впечатлительныя и воспріимчивыя, чѣмъ мужчины, женщины, какъ и дѣти, тѣмъ съ большею жадностью слушаютъ рассказы, проповѣди, сказки и всякія бредни, чѣмъ страшнѣе эти рассказы, чѣмъ невѣроятнѣе сказки. Жажда чудеснаго, жажда эффекта, какъ и жажда красоты — это болѣе потребность женской природы, чѣмъ мужской. А ужъ кто же насаждаетъ больше ужасовъ, какъ не дѣдушка Януаръ Антипычъ?

И бабы жадно ждали выхода проповѣдника. Въ толпѣ ихъ суетился добродушный Илья Муромецъ и рассказывалъ ужасы о трисавицахъ, дѣвкахъ простоволосыхъ, о бѣсѣ въ рукомойникѣ, объ аллилуевой женѣ — любимые его рассказы.

Всѣ замерли на мѣстахъ, когда на крыльцѣ показался Януарій Антипычъ. Лицо его было торжественно. Сѣдая голова и такая же раздвоенная борода просились на икону.

— Миръ вамъ, православные! — произнесъ проповѣдникъ.

— Аминь! — отвѣчала толпа.

— Пришли послушать божественнаго нисанія?

— Послушать, батюшка!

Януарій Антипычъ перекрестился истовымъ крестомъ. И толпа подняла руки со сложенными сорочьимъ хвостомъ перстами и стала творить крестное знаменіе.

— Во имя Отца и Сына, и Рвятаго Духа, нынѣ и присно и во вѣки вѣкомъ! — возгласилъ учитель.

— Аминь! — отвѣчала куча.

— Слушайте! внемлите! Вотъ книги божественныя — „Кирилла Іерусалимскаго“, „Апокалипсисъ“, „Маргаретъ!“

И онъ показывалъ книги, обращая къ слушателямъ корешки и крышки.

— Я шлюся на божественное писаніе, — продолжалъ онъ. — Слушайте! Въ мірѣ антихристъ народился, звѣрь десятирожный, съ хоботомъ презлѣлымъ. Рыкаеть онъ звѣрь, аки левъ, искій кого поглотити.

— Охъ, Мати Божія! Богородушка, не выдай, — слышится въ толпѣ.

— Нынѣе никто души своей не спасетъ, аще не придетъ къ намъ, христіанамъ. А которые нынѣе живутъ въ мірѣ и помрутъ, и намъ тѣхъ поминать не надо и не долѣетъ. А которые щепотью крестятся, неистово, никоніанскимъ буюкрестіемъ, и у тѣхъ на томъ свѣтѣ черти будутъ на вѣчномъ огнѣ пальцы перековывать въ истовый крестъ.

И онъ высоко поднималъ свою востлявую руку, показывая, какъ надо слагать персты.

— Вотъ истовый крестъ, смотрите! — кричалъ онъ. — А тѣ, которые будутъ ходить въ никоніанскія капища, въ поповскія церкви, сирѣчь, — и тѣхъ черти будутъ водить по горячимъ угольямъ. А которые табакъ прожлятый нюхаютъ, и у тѣхъ черти будутъ ноздри рвать горящими щипцами. А которые мужики либо купцы брады бреютъ, и у таковыхъ вмѣсто волосъ, вырастутъ змѣи-аспиды. А которые въ нѣмецкомъ платьѣ ходятъ, и на тѣхъ черти надѣнутъ мѣдные горячіе самовары, аки срачичъ и

порты. А которыя бабы прядутъ въ воскресенье, и тѣхъ черти заставятъ изъ песку веревки вить.

— Батюшка! Микола! заступи! не буду прастъ,—слышится трусливое покаянье бабы.

— Слышали?—спрашиваетъ проповѣдникъ.

— Слышали, батюшка.

— Теперь ступайте съ Богомъ.

Толпа стала расходиться, низко кланяясь учителю.

Левинъ стоялъ на крыльцѣ хмурый, задумчивый. Поднявъ глаза, онъ уловилъ взглядъ Евдокьюшки, которая стояла на противоположной сторонѣ крыльца, смущенно перебирая въ рукахъ дѣстовку.

Левину показалось, что на лицѣ ея, освѣщенномъ солнцемъ, играетъ загадочная, лукавая улыбка.

„Надъ кѣмъ? Надъ чѣмъ?.. Неужели жъ это то, чего я искалъ?..“

Онъ снова взглянулъ на Евдокьюшку. Въ глазахъ ея свѣтилась уже такая доброта, что-то такое жалостливое, участное, что по душѣ его какъ бы разомъ прошли свѣтомъ и тепломъ, и глаза его давно умершей матери, такіе ласковые, жалостливые, и глаза Оксаны, такіе, такіе... для нихъ у него не нашлось точнаго эпитета...

XXI.

Фанатики-раскольники.

Прошло нѣсколько дней со времени прибытія Левина и старца Варсонофія въ муромскій скитъ. Первая проповѣдь Януарія Антипыча произвела на Левина смутное, подавляющее впечатлѣніе: что въ ней не удовлетворяло его, на какіе вопросы его духа и сердца не отвѣчала она, во что долженъ былъ вылиться идеалъ, котораго, повидимому, искалъ онъ,—онъ самъ не могъ уяснить себѣ этого. Чувствовалось только, что все это какъ-то узко, не то, не такъ...

Когда онъ сообщилъ свои недоразумѣнія Варсонофію, тотъ отвѣчалъ:

— И тебѣ, другъ мой, и мнѣ этого наперстка воды мало: ковшемъ воду живу пить хотимъ мы, изъ самаго кладезя, изъ езера, изъ океана, може, цѣлаго, а воробью и изъ наперстка много... Воробьи они, другъ мой, которые сюда летаютъ воду живу пить.

Въ это время въ скитъ пришли новые странники—изъ олонецкихъ и вологодскихъ лѣсовъ. Это были два старика и одинъ молодой парень, худой, блѣдный, но съ необыкновенно выразительнымъ лицомъ: зеленые глаза его отдавали какимъ-то фанатическимъ блескомъ. Въ муромскомъ скиту, какъ видно, ихъ уже прежде знали и встрѣтили какъ дорогихъ гостей. Всѣ скитники, какъ изъ мужскихъ, такъ и изъ женскихъ келій собрались на майданъ—родъ небольшой площади передъ домомъ учителя Януарія Антипыча. Кто сидѣлъ на завалинѣ, кто на землѣ, на травѣ; иные ходили, разговаривали.

На толстомъ, гладко обтесанномъ обручѣ сидѣла ветхая, слѣпая старуха, которую вывела изъ кельи Евдокѣюшка и усадила бережно на этомъ обручѣ, вытесанномъ изъ столѣтняго дуба специально для сидѣнья. О старухѣ, которую всѣ, не исключая и Януарія Антипыча, называли „баушкой Касьяновной“, говорили что ей больше 125 лѣтъ отъ роду. Сама она рассказывала, можетъ быть, и припутывая лишнее отъ старости, будто бы она своими собственными глазыньками, тогда еще молодыми и зрычими, видала вора Гришку Отрепьева, что у вора Гришки Отрепьева была бородавка съ ядреную горошину и жралъ онъ, воръ, по пятницамъ телятину, а Маришку его безбожницу она видѣла, какъ она Маришка-безбожница, сорокою сидѣла на крестѣ церкви Василія Блаженнаго и какъ тотъ крестъ отъ того Маришкина сидѣнья пламенемъ воспламенился, и у той у сороки тѣмъ огнемъ ноги пожгло. И видала она, бабушка Касьяновна, какъ еретикъ Никонишко божественную литургію литургисалъ у Ефимья, и литургисаучи божественную литургію, тотъ еретикъ Никонишко проклятый табачице у престола нюхалъ, и которою ноздрею онъ, еретикъ Никонишко, потянетъ табакъ, и изъ той ноздри огонь исхождаше, и въ томъ огнѣ бѣси малые летаютъ, аки комары, а образомъ люти и свирѣпи, плещущи руками и поуще: „Восплещемъ, восплещемъ! Никонъ проклятое зелье нюхаетъ, что изъ утробы блудницы выросло“...

Около бабушки Касьяновны стояла Евдокѣюшка съ дебелой, круглолицей и курносаватой Агафѣй, стряпкой Януаръ Антипыча, о которой рассказывали злые скитницы, что Януаръ Антипычъ очень ее жалуетъ за то, что если-де Богъ пошлетъ гладъ на обитель святую, то всю-де святую обитель можно будетъ напитать млекою добродородныхъ сосцовъ матери Агапіи, аки манною.

— Ужъ и постникъ какой великій, дѣвынька, сказываютъ,—говорила мать Агапія, положивъ свои мясистыя руки на животъ велій свой, словно на аналой:—ужъ такой постникъ Азарьюшка-младъ, что великимъ постомъ, сказываютъ, по одной просвиричкѣ ѣсть въ день—въ чемъ только и душа его держится.

— Да и худъ же онъ, бѣдненькій,—соглашалась Евдокѣюшка.

— Что жъ мудренаго, что, баютъ, въ соніяхъ видитъ? На голодное-то брюхо чего-чего не приверзится — знамо дѣло,—разсуждала мать Агапія.

— Что ты, матушка! Онъ святое видитъ въ тонцѣ снѣ, а не грѣховное,—возражала Евдокѣюшка.

— Ты что о толокнѣ-то, Евдокѣюшка, баишь? — вмѣшалась глухая „баушка Касьяновна“.

— Что вы, баушка? о какомъ толокнѣ? — засмѣялась Евдокѣюшка:—я говорю, баушка, о тонцѣ снѣ, коли въ соніяхъ видѣнія бываютъ.

— То-то, то-то... А я ужъ думала, что толокна у насъ не хватитъ до новаго.

И старуха закашлялась.

— А какіе страхи вологодски-то странники нонѣ рассказывали,—продолжала мать Агапія:—волосушки дыбомъ становятся.

— Обь антихристѣ-то?—спросила Евдокѣюшка.

— Ну, это само собой. А то бають, что скитники тамъ жгутся.

— Какъ?

— Тѣлеса свои жгутъ, дѣвынька. Запрутся это въ кельяхъ, обложатся паклею да стружками—да и подожгутъ это сами себя: полымя-то ихъ охватить, келья горить свѣчечкой, а они-то все поють, все поють божественно, покуль душеньки съ полымемъ не вылетятъ. Такъ на божественномъ и помирають—и старъ и младъ.

— Охъ, страхи Господни!—вскринула Евдокѣюшка, поблѣднѣвъ.

Дѣйствительно, пришедшіе изъ вологодскихъ и олонекскихъ скитовъ три странника, два старика и Азарѣюшка-младъ, тотъ худой парень съ зелеными глазами, котораго мать Агапія называла постникомъ великимъ, рассказывали ужасы „неисповѣдныя: яко бы-де изъ Питера, отъ самого Сатаны Луцыперыча, присланы аггелы въ образѣхъ гарнодеръ, съ гарнодерскимъ капитаномъ, и у тѣхъ-де гарнодерушекъ указы все печатные, за печатью самого Сатаны Луцыперыча, сѣрою горючею тѣ указы припечатаны, кровію Іуды христопродавца подписаны, жупеломъ присыпаны; и въ тѣхъ-де указахъ прописано-пропечатано, что Сатана-де Луцыперычъ указалъ христіанамъ бороды брить, нѣмецкое платье носить, табакъ богомерзкій пить и шепотью, мать моя, креститься. И какъ пришли-де тѣ аггелы въ гарнодерскомъ образѣ, команда большущая, а съ ними доказчикъ подъячій Микишка Стромилловъ, и подступила та команда ко святой обители съ гласомъ велимъ: „выползайте-де, паршивые, тараканы запечные! Выходи-де, плѣсень огурешная!“ Такъ, мать моя, и обозвали этими словами старцевъ святыхъ. „Изъ-за васъ-де, сволочь, начальство насъ по болотамъ да по трясинамъ день и ночь гоняетъ“. А святые-де скитнички, старцы, говорятъ: „не хотимъ-де слушать указовъ проклятыхъ самого Сатаны Луцыперыча: лучше-де хотимъ смерть мученическую принять, чѣмъ бороды отдать на поруганіе“. И запершись эти скитнички въ обители, затеплили всѣ лампадушки у святыхъ иконушекъ, взяли зажженные свѣчки во свои рученьки лѣвыя, а правыми крестное знаменіе творять, запѣли это стихъ божественскій, да зажгомши, матынька моя, обитель святую,—такъ и погорѣли всѣ—золою святою стали...”

— И золу эту самую, дѣвынька, Азарушка-младъ на крестѣ нонѣ носить съ собой и всѣмъ показываетъ,—говорила Агафія Евдокѣюшкѣ, которая вся дрожала.

И, дѣйствительно, молодой парень съ зелеными фанатическими глазами, говорившій въ это время съ Левиномъ, сильно жестикулировалъ, и, разстегнувъ воротъ своей рубахи, вынулъ изъ-за пазухи гайтанъ и показалъ что-то завернутое въ тряпочкѣ.

Левинъ съ ужасомъ отшатнулся.

— Что это?—спросилъ онъ, указывая на какіе-то обуглившіеся кусочки.

— Это зола отъ угодиначковъ, а это—персты нетлѣнные,—отвѣчалъ парень.

— Чьи персты?

— Скитничковъ-угодничковъ, что погорѣли.

— Гдѣ-жъ ты ихъ досталъ?

— На пожарищѣ. Когда скитъ-то жгли угоднички, я въ ту пору отлучился изъ скита. Прихожу назадъ, подхожу это тряسوبинкой, лѣсомъ дремучимъ, съ задовъ, и слышу шумъ у скита-то. Я и подползъ близко, притаился, гляжу, что будетъ. Вотъ и вижу я—бѣсы во образѣ гарнодеръ, аггелы бѣсовскіе, повелѣвають, чтобы скитъ отворили. Наши не отворяютъ. Бѣсы ломаются, грозятъ. Вотъ и вижу я: загорѣлось внутри скита, полыхнуло полымемъ, а въ скиту-то самомъ слышу пѣніе ангельское.

— Кто жъ это пѣлъ?

— Наши, скитскіе... Да такъ съ пѣньемъ-то божественнымъ и погорѣли. А бѣсы стоятъ да главами помаваютъ: боятся вить они крестнаго знаменья, а паче—стиха божественнаго. Какъ сгинули это бѣсы, провалились скрозь землю, я и ну заливать остаточки-то скита—ничего не осталось, угольки одни, да зола святая отъ тѣлесъ братіи моей. И началъ я эту золу раскапывать съ молитвою, — коли гляжу: лежить рука правая, вся обгорѣлая—однѣ косточки. И—оле дива ужаса исполненна! рученька-то лежить такъ, что персты, косточки-то черныя, сложены истою: большой персть съ двумя меньшими—такъ и сгорѣлъ, значить, угодничекъ, не хотѣлъ щепотью душу погубить... Вотъ, вотъ эти персты...

И парень соваль Левину обуглившіяся кости. Левина била лихорадка.

— Покажи, Азарюшка, покажь, родной, каки-таки святые косточки?—лѣзь къ нему неугомонный Илья Муромецъ.

— Вотъ онѣ—на,—прикладывайся.

Илья Муромецъ перекрестился лѣвой рукой и приложился губами къ золѣ и къ обуглившимся костямъ.

— Ишь Господь сподобилъ,—осклабился онѣ:—отродясь мощей не видывалъ.

— Какъ не видывалъ?—спросилъ Януарій, стоявшій тутъ же.

— Вѣстимо, не видалъ заправскихъ,—отвѣчалъ Илья, не смущаясь.

— А у насъ въ молееньѣ, въ крестѣ? Али то не мощи?

— То, батюшко Януаръ Антипычъ, мощи нетлѣнны, для виду, значить, одного, а это заправскія мощи отъ самаго, сказать бы, отъ тѣла.

— Дуракъ ты, дуракъ и есть,—оборвалъ его старикъ.

А въ сторонѣ, у завалинки, бабы обступили олонецкаго странника Пафутія и слушаютъ его монотонное пѣніе, не-то тягучій речитативъ, наводящій тоску однимъ своимъ безжизненнымъ унисономъ.

„Какъ родился Христосъ въ Вифлеемѣ, какъ крестился нашъ Спасъ въ Иорданѣ, антихристы-жиды его замѣчали, злой смерти придать его возжелали. И кидался Христосъ во келейку, къ аллилуевой женѣ милосердой. Аллилуева жена печку топить, на рукахъ-то ребеночка держить. Какъ возговорить къ ней Христосъ Владыка: „Охъ ты гой еси, аллилуева жена милосерда! кидай ты свое дѣтище во печь, во пламя, прймай меня царя

небеснаго на бѣлы руки“. Аллилуева жена милосерда свое чадо въ огонь, во пламя кидала, Христа на руки примала. Прибѣжали тутъ жида-архирей, антихристы злые фарисей, говорили аллилуевой женѣ пристрасно: „Охъ ты гой еси, аллилуева жена молодая, ты куда Христа схоронила? Возговорить имъ аллилуева жена молодая: „кинула-де я Христа во печь, во пламя“. Жидове, книжницы, архирей, антихристы злые фарисей, подходили къ печкѣ, заглянули, аллилуева младенца въ печкѣ увидали, за-скакали они, заплесали, печку заслонкою закрывали...

— Ахъ, они, окаянныя!—не выдержала одна баба сердобольная.

— Дите-то малое въ печкѣ жечь, матыньки!

— А ты-ка, Оринушка, слушай, что дальше-то будетъ.

Странничекъ, не перемѣняя голоса, продолжалъ:

„Въ ту пору пѣтухи заплѣли-закричали, жида антихристы сгнули-пропали. Аллилуева жена заслонъ отворяла, слезно плакала-причитала: „Ужъ какъ и грѣшница я согрѣшила! Чадо свое въ огнѣ погубила!“ Какъ возговорить ей Христось, царь небесный: „Охъ ты гой еси, аллилуева жена милосерда! загляни-ко ты во печь, во пламя“. И увидала она въ печи вертоградъ прекрасный, въ вертоградѣ травынька-муравынька, во травынькѣ ея чадо гуляетъ, съ ангелами пѣсни воспѣваетъ, золотую книгу евангельскую читаетъ, за отца, за мать Бога молить“...

— Вотъ я тебѣ говорила, Оринушка.

— Что жъ ты мнѣ, мать моя, говорила?

— Что дите не сгоритъ—вотъ и не сгорѣло...

А унисонъ все тянетъ за душу, становясь безотрадиѣе и безотрадиѣе:

Какъ возговорить Христось, царь небесный:
Охъ ты гой еси, аллилуева жена милосердна,
Ты скажи мою волю всѣмъ людямъ,
Всѣмъ православнымъ христіанамъ,
Чтобы ради меня они въ огонь кидались,
И кидали бѣ въ огонь младенцевъ безгрѣшныхъ...

— Матушка! Богородушка! укрой!

— Охъ, матыньки!

— Ой, послѣдніи денечки!

А страшный унисонъ все тянетъ:

Погорите-пострадайте за имя Христово,
Не давайтесь вы во прелесть звѣрину,
Во прелесть звѣрину, во антихристову.
Что антихристъ взялъ силу большую,
Погубить онъ вѣру Христову,
Что поставить свою вѣру злую,
Онъ брады брить повелѣваетъ,
Креститься шепотью завѣщаетъ...

— И приходитъ это онъ, мать моя, антихристъ-отъ, къ ей, къ Варварѣ, въ образѣ вьюноши, и говоритъ это вьюношъ младъ ей, Варварѣ-то: „Варварушка, говоритъ, дай водицы испить“. Вотъ какъ это она дала

ему водицы, а онъ, мать моя, возьми да и выпей безъ крестнаго знаменья, да какъ засмѣется, и говорить: „Будешь ты теперь, Варварушка, помнить меня“. И съ тѣхъ поръ, мать моя, стало у Варвары животь пучить—раснесло во какъ!—слышится въ сосѣдней кучкѣ бабѣ соболѣзнованье.

— А онъ что, антихристъ-отъ, дѣвынька?

— Ему что, псу этакому, подѣлается? Взялъ да и провалился сквозь землю... О-о-охо-хо!

— А Варварѣ, поди, придется рожать?

— Знамо... Да каково отъ бѣса-то рожать?

И вездѣ только и слышно: бѣсъ да антихристъ, да въ образѣ змія, да въ образѣ звѣря, послѣдніе дни да страшный судъ... Жизнь полна ужасовъ, да и на томъ свѣтѣ огонь, смола, горячія сковороды, черти...

Одинъ унисонъ умолкаетъ, а, вмѣсто него, слышится другой голосъ, не старческій, а молодой, страстный. Это поетъ Азарьюшка, спрятавшій уже за пазуху золу и обгорѣлые пальцы фанатиковъ:

Не сдавайтесь, мои свѣты,
Тому змію седмиглаву,
Вы бѣгите во пустыни,
Во темны лѣса дремучи,
Вы костры въ лѣсу поставьте,
Горючей насыпьте сѣры,
Тѣлеса свои сожгите...

— Что жъ, и сожжемъ, коли время придетъ,—говоритъ мрачно старый Януарій.

— Не сдадимся!—слышится мужскіе голоса:—горѣтъ, такъ горѣтъ за вѣру, за бороду.

— Не сдавайся, братцы!—раздается скрипучій голосъ Ильи Муромца.

— Охъ, свѣты мои! охъ, дѣтушки!

Истуканомъ стоитъ хорошенькая Евдокѣюшка—блѣдная, неподвижная. Золотые волосы ея кажутся горящими отъ лучей солнца, которое, скрываясь за муромскій лѣсъ, брызнуло на скитъ пѣлымъ снопомъ свѣта. Отъ послѣднихъ возгласовъ мужиковъ и бабъ дѣвушка вздрагиваетъ и хватается рукою за сердце.

— Евдокѣюшка, гдѣ ты? что это кричать мужики?—спрашиваетъ испуганно слѣпая баушка Касьяновна.

Дѣвушка не слышитъ.

— Что за крикъ? ужъ не Стеньку ли Разина привезли въ Москву казнить? Евдокѣюшка!—взываетъ обезумѣвшая отъ старости старуха.

Дѣвушка нагибается надъ ней.

— Я здѣсь,—баушка, говоритъ она.

— Что это? дождикъ идетъ? Вона на меня капнуло... Что это?... Да теплый какой,—бормочетъ старуха.

Не дождикъ это былъ: то были слезы Евдокѣюшки. Когда она нагнѣ-

лась надъ старухой, брызнули слезы, да такія теплыя, горячія... Ихъ-то слѣзная и приняла за дождь...

Старое, овѣтѣвшее сердце ничего не чувало. Чувало сердце молодое, и чувалось ему что-то недоброе.

Левинъ также вздрогнулъ при послѣднихъ дикихъ возгласахъ скитниковъ. Взглянувъ на Евдокьюшку, онъ увидѣлъ, что она плачетъ, а сердце его сдавилось страхомъ и болью. Вчера еще была она такая веселая, долго говорила съ нимъ, сидя на завалинкѣ, съ любопытствомъ разспрашивала его о Москвѣ, Кіевѣ, и Петербургѣ, говорила, что когда состарѣется, то пойдетъ странствовать по бѣлу свѣту... Ее, видимо, тяготила скитская жизнь, хотя на нее и смотрѣли въ скиту какъ на будущую „богородицу“. Она была круглой сиротой, взята въ скитъ десятилѣтнею дѣвочкой и теперь считалась любимѣйшею и начитаннѣйшею ученицею Януарія Антипыча...

А теперь она плачетъ...

Да и какъ было не плакать? Вонъ слышится глухой, дикій хоръ скитниковъ:

Уходите, мои свѣты,
Во лѣса вы, во пустыня,
Засыпайтесь мои свѣты,
Рудожелтыми песками.
Вы песками, пепелами,
Умирайте, мои свѣты,
Что за правую за вѣру,
За свою браду честную...

XXII.

Самосожженіе скитниковъ.

Старецъ Варсонофій недолго оставался въ муромскомъ скиту. Инстинкты бродяги, воспитанные въ немъ русскою историческою традиціею о святости подвига паломничества и выросшіе на почвѣ его личныхъ инстинктовъ, не сознаваемыхъ имъ, но жившихъ въ глубинѣ его души, — инстинкты поэта, пробивавшіеся изъ-за его грубой духовной коры, когда рядомъ съ любовью къ мертвечинѣ старины, къ ея бессмысленной обрядности и рядомъ съ грубѣйшею вѣрою въ бѣсовъ во образѣ ляховъ, въ душѣ его сталкивались и эти бѣсы, и перстное сложеніе, и глубокая, самая чуткая отзывчивость къ природѣ — къ этой травушкѣ-муравушкѣ, къ этимъ цвѣтикамъ лазоревымъ — кринамъ сельнымъ, къ этимъ кусточкамъ и ручеечкамъ, — эти инстинкты, положенные въ основу его духа, постоянно влекли его куда-то въ невѣдомыя страны, къ невѣдомымъ людямъ, чтобы на подошвахъ своихъ переносить пыль изъ однихъ святыхъ мѣстъ въ другія и трепать свою душу, какъ костригу, передъ Господомъ, мыкаясь изъ мѣста въ мѣсто, изъ града въ градъ, изъ веси въ весь, оправдывая

данное ему когда-то царевичем Алексѣемъ Петровичемъ прозвище „вѣчнаго жидѣ“—Агасѣрія праведнаго или Никитушки Паломника. Это былъ, какъ и Левинъ, идеалистъ, хотя оба они не знали своихъ идеаловъ, а только чувствовали, что въ душу ихъ что-то постоянно толкалось, постоянно нашептывало: „иди, иди — ищи, обрящешь, увидишь, узнаешь...“ А что? гдѣ? какъ?—это не вышептывалось, не подсказывалось, не чулось...

И вотъ Варсонофій, поживъ въ скиту нѣсколько недѣль, снова наладилъ и свою неугомонную душу, и свои неустанныя ноги на далекій путь. Задумалъ онъ пробраться въ Іерусалимъ, куда, какъ ему сказывалъ молодой князь Прозоровскій, монахъ Невской лавры и бывший навигаторъ, можно было пройти народами единовѣрными: „отъ почтаевской Божіей Матери иди ты въ турецкую землю на Вѣль-градъ, а въ Вѣль-градѣ сербинъ живеть, вѣру православную держить, персоною и языкомъ походить на черкашенина, черепъ и высокъ ростомъ, русскаго человѣка братомъ именуетъ и російскую церковь почитаетъ; а изъ Вѣла-града иди ты на Софьинъ-градъ, а въ Софьинъ-градѣ бѣлгаринъ живеть, вѣру православную-жъ держить и персоною и языкомъ тако жъ на черкашенина походить, тако жъ и російскую церковь почитаетъ; а изъ Софьина-града иди тебѣ на Филипповъ-градъ, земли болгарскія жъ и болгарскія вѣры; а изъ Филиппова-града иди тебѣ на Андриановъ-градъ болгарскія же земли; а изъ Андрианова-града иди тебѣ на Константиновъ-градъ, именуемый Царь-градъ; а изъ Царя-града кораблемъ иди тебѣ въ Святой-Горѣ, а изъ Святой-Горы до Іерусалима-града рукой подати...

Развѣ это не заманчиво?

Левинъ тоже задумалъ-было ийти вмѣстѣ съ Варсонофіемъ, но его остановило одно неожиданное обстоятельство. Всѣ скитники и скитницы полюбили его за его доброту и обходительность. Всѣ видѣли, что у него на душѣ какое-то горе, и всѣ соболѣзновали о немъ, особенно бабы: „хоша и дворянская кровь,—говорили скитницы,—да не смердитъ: святымъ ладаномъ прокурена...“ Но не это удерживало его въ скиту...

Разъ какъ-то, по старой привычкѣ охотника, бродилъ онъ по лѣсу недалеко отъ скита, выискивая, нельзя ли хоть какихъ-нибудь лѣсныхъ ягодъ поразмыслить. Пробродивъ даромъ, онъ легъ подъ деревомъ отдохнуть. Черезъ нѣсколько минутъ онъ услышалъ за кустами голоса. Голоса знакомые. Это Евдокѣюшка болтала съ маленькой Полей, дочкой скотницы Орины.

— Такъ кого ты, Поля, больше всѣхъ любишь?—спрашивала Евдокѣюшка.

— Тетю Евдокѣюшку,—отвѣчалъ ребенокъ.

— А еще кого?

— Маму.

— А еще кого?

— Тятюку.

— А кого еще?

— Дядю Васю.

— Какого дядю Васю?

— Дядя Вася.

— Да какой же дядя?

— Въ сапогахъ съ колесцами,—отвѣчала дѣвочка.

Левинъ понялъ, что рѣчь идетъ о немъ, объ его сапогахъ со шпорами.

— За что-жъ ты его любишь, Поля?—приставала Евдокѣюшка.

— Онъ Полѣ далъ бумажку играть.

— А дядя Вася уходитъ отъ насъ.

— Куда?—спросила дѣвочка.

— Далеко, совсѣмъ уходитъ, тю-тю—покидаетъ Полю.

Дѣвочка заплакала.

— О чемъ ты это? а? о дядѣ Васѣ?

— О дядѣ Васѣ,—продолжалъ плакать ребенокъ.

— Не надо, Поленька, не плачь... не надо...

Левинъ слышалъ, что и въ голосѣ Евдокѣюшки звучали слезы.

— Не плачь... перестань... лучше попроси Бога, чтобъ онъ не уходилъ отъ насъ... Богъ тебя услышитъ, и дядя Вася останется у насъ...

Ребенокъ замолчалъ.

— Останется?

— Да. Только помолись Боженькѣ.

— Какъ?

— Скажи: „Господи“... Ну, говори: „Господи“...

— Господи,—повторялъ ребенокъ.

— Услышь молитву младенца...

— Услышь младенца.

Голоса слышались очень близко. Левинъ чувствовалъ, что его сейчасъ откроютъ, и ему стало стыдно, что онъ невольно подслушалъ то, что, быть можетъ, ему никогда не сказали бы въ глаза. Онъ хотѣлъ-было спрятаться за дерево, но было уже поздно.

— Дядя Вася! дядя Вася! — закричала дѣвочка и тащила за собой Евдокѣюшку.

Дѣвушка вспыхнула такъ, что, кажется, корни ея волосъ покраснѣли. Левинъ тоже былъ смущенъ до крайности. Поля, схвативъ за руку, а другой рукой держась за Евдокѣюшку, лепетала:

— Дядя Вася, не уходи отъ насъ, а то я буду плакать и тетя будетъ плакать... Не уйдешь?

— Не уйду, милая, не уйду, — отвѣчалъ тотъ, самъ не зная, что говорить.

— Дядя не уйдетъ, тетя,—успокаивала дѣвочка свою пріятельницу.

Левинъ, наконецъ, побѣдилъ свое смущеніе.

— Вы куда это шли, Дуня?—спросилъ онъ.

— По морошку-ягоду—Поля морошки хочетъ,—отвѣчала дѣвочка, не поднимая глазъ.

— А я вамъ помѣшалъ?

— Нѣтъ...

Оба замолчали. Поля продолжала держать ихъ за руки.

— Иди, тетя, по морошку, и ты, дядя,—болтала она.

— Ты не уйдешь отъ насъ?

— Не уйду, не уйду... А ты, Дуня, хочешь, чтобъ я остался у васъ въ скиту—да?—нѣтъ?

— Не знаю... Скучно у насъ тому, кто привыкъ къ большимъ городамъ...

Поля настойчиво соединила ихъ руки... Левинъ осиялъ уже руку дѣвушки... Черезъ мгновеніе рука Евдокѣюшки была уже въ его рукѣ... Рука не отнималась...

Куда же дѣвался муромскій лѣсъ, раскольниковы скиты, Петербургъ, ужасы послѣднихъ лѣтъ?..

Тутъ Дитѣрь, Кіевъ, а въ рукѣ—трепетная рука Ксенія... И знакомая пѣсня плачетъ:

Ой гаю мій, гаю, великій розмаю!

Упускала соколонька, та вже й не піймаю...

— „Дуня... Дунюшка... добрая моя“,—что-то шептало и пѣло какъ будто.

— Дядя Илюша, дядя Илюша морошку несеть,—закричала дѣвушка. Въ самомъ дѣлѣ, Илья Муромецъ идетъ съ берестянымъ туязкомъ.

Кіевъ, Дитѣрь, Ксенія—все пропало... Муромскій лѣсъ стоитъ, какъ стоялъ...

— Ужъ и морошка же, я вамъ скажу, — говорить, ослабивъ бѣлые зубы, Илья Муромецъ: — ужъ така-то ядрена, словно бусы у Богородицы на шеѣ.

Этимъ лѣсная встрѣча Левина съ Евдокѣюшкой и закончилась. Но въ сердцѣ перваго произошло что-то необъяснимое: тамъ, въ глубинѣ, обиталъ ненсходно образъ черноголовой Ксенія; ко всѣмъ мотивамъ духа—въ воспоминаніяхъ, въ тоскѣ, въ страданіяхъ, въ настоящемъ, прошедшемъ и даже будущемъ—ко всякому акту жизни примѣшивался этотъ образъ; вся жизнь, каждое движеніе мысли и каждое біеніе сердца амальгамировались съ этимъ всепроникающимъ образомъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ въ сердцѣ, въ мысли, во всей жизни чувствовалась пустота... И вдругъ является ощущение, что пустота эта заполняется другимъ образомъ, который не вытѣсняетъ собою образа Ксенія, а соединяется съ нимъ, амальгамируется... Это—смущенное личико рыжеволосой Евдокѣюшки... Владычество Ксенія надъ его духомъ, владычество самодержавное—все также могуче, ненарушимо, незблемо; тоска по ней — все также жгуча и удручающа; но эту тоску хочется, хотѣлось бы излить въ слезахъ на этой груди, которая близко, которая такъ тревожно поднималась, когда маленькая Поля соединила ихъ руки...

И Левинъ не пошелъ съ Варсонофіемъ бродить по свѣту. Онъ пошелъ только проводить его до Починокъ.

Иначе смотрѣло все кругомъ—и лѣсъ, и зелень, и небо: и лѣсъ казался менѣе урюмымъ, менѣе непривѣтливымъ; не мертвецами стояли сто-

лѣтнія ели, свѣсивъ свои гигантскія зеленныя руки; эги многорукіе великаны что-то говорили, кого-то напоминали. И зелень стала зеленѣе, привѣтливѣе, и далекое небо голубѣе: зелень говорила, что и по ней ходятъ живые люди, добрые; голубое небо опрокинуто было не надъ пустыней, не надъ мрачнымъ лѣсомъ... Этотъ стукъ дятла, можетъ быть, слышенъ тамъ, на полянѣ... Это солнце золотитъ золотые волосы...

— Эта дѣвочка съ золотыми волосами напоминаетъ мнѣ покойницу Афросиньюшку—дай Богъ ей царство небесное,—заговорилъ вдругъ Варсонофій, когда муромскій лѣсъ остался уже позади.

Левинъ вздрогнулъ. И онъ объ ней думалъ. Но онъ спросилъ:

— Какая дѣвочка?

— Да въ скиту-то—рыженькая.

— А! Дуня.

— Да, Евдокѣюшка. Только у Афросиньюшки были бѣлые волосы — оттого царевичъ и называлъ ее „бѣляночкой“... Эхъ, царевичъ! царевичъ!

Они замолчали. Всю дорогу Левинъ говорилъ мало, да ему и не приходилось говорить, потому что Варсонофій, предаваясь воспоминаніямъ, выдвигалъ изъ своего, богатаго событіями, прошлаго обрывки картинъ, сцены, давно отошедшія въ вѣчность личности.

— Эхъ, матушка царевна Софья Алексѣевна—соколиный глазокъ— не довелось тебѣ подцарствовать... Да что? такъ, видно, Богу было угодно,— говорилъ онъ какъ бы про себя.—Ишь ты, ишь ты пышные дакіе... стрѣльцы—словно макъ въ огородѣ краснѣютъ кафтаны червленныя... Эхъ ты княже, княже Долгорукой!.. Щуку съѣли—зубы остались... То-то—и лежишь ты на гноищѣ, рыбою покрытъ вмѣсто парчи-савана... Эхъ, Шакловитъ, Шакловитъ—во пари наровить... Гдѣ твоя головушка буйная?.. Всѣхъ-то ты смела со свѣту, метла божія—и злое и доброе, святое и грѣшное... Сметешь скоро и насъ, аки сметіе непотребное...

Когда въ Починкахъ онъ прощался съ Левинымъ, послѣдній сказалъ:

— Поживу я въ муромскомъ скиту, отдохну. Можетъ, смиреніе освѣтитъ мою душу. Митрополитъ Муромскій, Стефанъ, наказывалъ мнѣ смиренія искать. Поищу—можетъ и обрящу... А ты, поклонившись гробу Господню и облобызавъ землю, по которой босыя ноги Его ходили, возвращайся къ намъ въ скитъ.

— Добре,—отвѣчалъ старикъ.—Коли не тѣло мое воротится, такъ душа грѣшная, когда будетъ по мытарствамъ ходить...

Левинъ торопился съ прощаньемъ. Его тянуло теперь въ обратный путь, въ муромскую чащу, на полянку, гдѣ свѣтилась золотистая головка...

Эхъ, ты, сердце человѣческое, море пространное, по коему корабли преплываютъ великіе и малые! Эхъ ты, спальница великая—сердце человѣческое! даешь ты у себя вѣчное успокоеніе и кроткому лику матери родимой, и звѣздѣ падучей, словно по небу по твоей жизни прокатившейся, и рыженькой Евдокѣюшкѣ...

Эхъ, что вы такъ тихо идете, ноженьки рѣзвыя? Что ты тянешься безъ конца дороженька пыльная?..

Эхъ, вы, лѣса, лѣсочки темные, дремучіе, лѣса муромскіе! для чего-то вы стоите стѣною непроглядною—не проглядѣть сквозь васъ глазынькамъ мыстрымъ...

Эхъ, вы, дни-денечки, дни лѣтніе, безконечные!..

Три длинныхъ дня прошло, какъ Левинъ отлучился изъ скита. Что-то амъ подбывается? Ждутъ ли его? Хотятъ ли его видѣть такъ же нетерпѣливо, какъ онъ этого хочетъ?

Все меньше и меньше остается пути. И дальняя дорога, и большая лѣсь — назади. Впереди лѣсь начинается рѣдѣть. Близость поляны щутительна...

Что жъ это за говоръ на полянѣ, шумъ, возгласы?—По полянѣ расаживаютъ и суетливо переговариваются незнакомые люди. Это—солдаты; юманда солдатъ. Зачѣмъ они тутъ, откуда?

— По указу его пресвѣтлаго царскаго величества—отворите скитъ, покоритесь!—раздается возгласъ.

— Не покоримся антихристу!—слышится отвѣтный возгласъ.

Въ послѣднемъ возгласѣ Левинъ узнаетъ голосъ фанатическаго парня, Азарьюшки.

— По указу его величества — выдайте расколучителя,—снова раздается голосъ съ поляны.

— Не выдадимъ!—отвѣчаютъ изъ-за высокой ограды, сдѣланной изъ голстыхъ брусевъ и гладко обгесанныхъ.

— Ребята!—кричить, повидимому, начальникъ команды:—прилаживай гѣстницы, ломай слеги повыше, приставляй къ оградѣ!

— Въ моленную, православные! въ моленную!—раздается за оградой голосъ Азарьюшки.

— Въ моленную!—повторяетъ голосъ Ильи Муромца.

— Зажигай моленную! Погоримъ, а не покоримся антихристу!—неистово юпить Азарьюшка.

Вдругъ за оградой раздается страшный, душу пронизывающій, крикъ.

— Пустите меня! пустите! я не хочу горѣть! Охъ, батюшки! помогите! Огнемъ опалило Левина и холодомъ ожгло!.. Онъ узналъ ея голосъ—олость той, о которой думалъ...

Звѣремъ ринулся онъ черезъ поляну, къ скиту...

— Не трогайте ее! пустите ее!—кричалъ онъ бѣшено.

— Держи его! держи! Кто это?—кричали солдаты, загоразивая ему дорогу.

— Пусти! убью! задущу! О!

Его схватили. Вопль за оградой повторился.

— О! сатанины дѣти! аспиды!—задыхался Левинъ, отчаянно колотясь оловой о землю (его свалили солдаты).

А изъ-за ограды несса, перерываясь, задыхающійся хрипящій вопль вѣушки. Ее, повидимому, тащили въ моленную...

Вопль затахъ... Все затихло на дворѣ... Левинъ безсильно бался въ

железныхъ рукахъ шести солдатъ... Остальные таскали деревья, но деревья нехватили до верху ограды.

Изъ-за ограды, изъ самой модельни, раздалось глухое, мрачное хорвое пѣніе... Пѣли всѣ обитатели скита... Словъ не было слышно, но что-то ужасное въшалъ это пѣніе.

Раздался трескъ, шипѣнье чего-то... Взрывъ женскихъ воплей въ глубинѣ модельни... Изъ трубы повалилъ дымъ... Пѣніе продолжалось — страшное, могильное пѣніе самосожигателей...

Пожарный трескъ все сильнѣе и сильнѣе... Женскихъ воплей уже не слышно... Дымъ охватываетъ половину крыши, клубами вырываетъ изъ большого слухового окна на крышѣ, огороженной перилами для сушки грибовъ, травъ лѣкарственныхъ, бѣлья...

— Поздно! Горять изувѣры... бросьте, ребята,—говоритъ начальникъ команды.

Левинъ не шевелился: онъ былъ въ обморокъ.

Выбилося пламя—выше, выше—вся лѣвая половина крыши въ пламени—прогораетъ, падаетъ...

Пѣнія не слышно ужъ... Задохлись пѣвцы ужасные...

Вдругъ въ слуховомъ окнѣ, на правой, не прогорѣвшей еще половинѣ крыши, показывается человѣческая фигура—обликъ миловидной дѣвушки, съ растрепанною, разметавшеюся по плечамъ золотистою косою и съ искаженнымъ отъ ужаса лицомъ... Она хочетъ черезъ перила броситься на землю. Но въ это мгновеніе на нее сзади, выскочивъ изъ слухового же окна, накидывается молодой парень въ пылающей рубашкѣ...

— Га!—рычитъ онъ звѣремъ.

Дѣвушка бесильно вскрикиваетъ. Начинается борьба...

При крикѣ дѣвушки, Левинъ, котораго уже не держали солдаты, вскакиваетъ съ земли и, протягивая къ борющимся на крышѣ руки, кричать неистово:

— Пусти! пусти ее, проклятый! демонъ!.. Дуня! Дуня!

Несчастная узнала его.

— Вася! Вася!—беззвучно вскрикнула она и—замолчала...

Полубогорѣвшій фанатикъ, обхвативъ ее за талью, вмѣстѣ съ нею ринулся назадъ, въ самую пасть пламени...

Левинъ грохнулся на землю, какъ подкошенный...

Вся команда стояла въ нѣмомъ ужасѣ.

Пламя пожирало все болѣе и болѣе окружающіе предметы... Густой, какой-то сальный и сѣрный дымъ заражаетъ всю поляну. Это жарятся люди, это смердитъ ихъ горящее сало, ихъ растопленный, глупый, о! какой глупый мозгъ!.. Это чадаютъ ихъ глупыя, темныя головы, сложенные на костеръ изъ-за „перстного сложенія“... О, бѣдные, глупые, жалкіе люди!.. Бѣдные, глупые, жалкіе — вы же и могучіе, и великіе, безсмертные идеалисты съ вашимъ „перстнымъ сложеніемъ“... У всѣхъ у насъ есть свое „перстное сложеніе“—и блаженни умирающіе за него...

Бѣдные, бѣдные, глуые, жалкіе люди, коли вамъ приходится умирать за „перстное сложеніе“...

— Какъ шибко и дружно горить,—замѣтилъ кто-то.

— Да они, ваша милость, много сѣры этой владутъ горючей да паки, чтобъ шибче забирало—намъ это дѣло знакомо,—сказалъ бышій стрѣлецъ, обращаясь къ командному офицеру.

Всѣ сгорѣли... И Поля маленькая, что такъ любила морошку, и Януарій Антипычъ, и глупый Илья Муромецъ, и Азарьюшка-младъ, и младая Евдокьюшка съ золотистою косою, и баушка Касьяновна, что своими глазнышками видала, какъ Маришка-безбожница сорокою сидѣла на крестѣ Василя Блаженнаго: всѣ золою стали...

XXIII.

Левинъ на родинѣ.

„Эхъ, ты, степь широкая, раздольная, ты раздольице сиротское, ты гулянице бурлацкое! Разлеглася ты, степь широкая, разлеглася ты, степинушка, отъ Ардатова до Саратова, отъ Саратова Волгой-матушкой да ровнымъ сыртомъ до Царицына, отъ Царицына до Воронежа, отъ Воронежа да до Кадома. Поросла-то ты, да степинушка, кавылемъ-травой все сиротскою. Много въ тебѣ, степь, простору для волюшки, да только волюшка куда-то запропастилася...”

„Ишь ты раскинулася, раздвинулася—ничѣмъ-то ты не огорожена, ни межами не межована,—а все жить на тебѣ тѣсно и гулять-то не радостно, степь ты широкая да посылая... Опостылѣла ты, степь проклятая, опостылѣла жизнь бродячая, во бѣгахъ горе мычучи, во степи подъ дождемъ ночуючи, на степномъ вѣтру просыхаючи, на солнышко жгучее нарекаючи... Эхъ, ты, солнце, солнышко! палишь ты не во-время, печешь буйную голову все не въ пору... Эхъ, вы, вѣтры буйные, разосенніе,—разосенніе вы, самые пронзучіе! пронизали вы всю душевную бродяженьки, изрѣшетили одежку бурлацкую...”

„Эхъ, ты, травнышка сухая, что сухое перекаати-полюшко! несесть тебя, травнышка, вѣтромъ по полю, отъ Ардатова до Саратова, какъ и меня бродягу вольнаго, бродягу вольнаго, сироту горькаго...”

„Эхъ, ты, полоса, полосынька, полоса несжатая! кто пахаль-боронилъ тебя, зерномъ сдобриваль? Эхъ, ты, рожъ высокая, колосистая—колосистая, золотистая! жиналъ я тебя до поту, нажинался до одури, наѣдался лишь не до-сыта, напивался не допьяна...”

— Охъ, спинушку разломил, матушка! потомъ глазнышки заливаются...

— Жни, дочушка, жни—дѣло наше крестьянское, невольное.

— Охъ, матушка, головушка болѣтъ, — отъ солнышка она разрывается.

- Жни, дочушка, жни,—полоса-то велика, несжатая...
- Богъ въ помощь, люди добрые!
- Спасибо, родимый.
- Чье жнете?
- Барское, батюшка.
- А чьихъ господъ?
- Левиныхъ.
- Левиныхъ? пензенскихъ?
- Саранскихъ-пензенскихъ.
- Герасима да Василья Левиныхъ?
- Ихъ, батюшка.

Дѣвушка, жавшая рядомъ съ матерью, вся загорѣлая — загорѣлая такъ, что не только лицо, руки, шея, но и спина, и молодая, крѣпкая, „молокомъ набитая“ груди (жала она въ одной сорочкѣ, спустившейся съ плечъ) казались темно-коричневыми, особенно тамъ, гдѣ рядомъ проглядывало бѣлое, не тронутое солнцемъ тѣло,—дѣвушка, взглянула пристально на прохожаго и, вслушавшись въ его голосъ, точно обомлѣла: глаза расширились, серпъ выпалъ изъ загорѣлой руки.

- Али не признаете меня?—спрашиваетъ прохожій.
- Нѣту, родненькой, не признаемъ,—отвѣчаетъ мать.
- Прохожій смотритъ въ глаза дѣвущкѣ.
- И ты, Дарьюшка, не признаешь?
- Охъ, матушка!

Дѣвушка стыдливо закрыла рубашкой голыя груди и плечи.

- Не признали Яшку бѣглаго?
- Охъ, Яшенька, родненькій! Откелева Богъ несетъ?
- Отъ Саратова до Ардатова, отъ Ардатова до Горбатова, отъ Горбатова до Воронежа, отъ Воронежа до Царицына, отъ Царицына — къ чорту къ дьяволу...

- Охъ, родименькой! куда жъ ты теперь?
- На Волгу... души губить...
- Христосъ надъ тобой! Съ нами крестная сила!
- А что, Дарья, замужъ не сдали еще—въ некруты-то?

Дѣвушка молчала, не смѣя поднять глазъ.

- Нѣту, не сдавали еще,—отвѣчала мать.
- А баринъ на барщину, на поночную работу не бралъ?
- Богъ помиловалъ.
- А за мени, Дарьюшка, пойдешь теперь за бродягу, разбойника-дугеуба?

Онъ выпрямился. Широкая волосатая грудь, широкія плечи и все тѣло сквозило чрезъ дырявыя лохмотья, которыми онъ былъ прикрытъ.

- Что? али не цвѣтно платье на мнѣ?—сказалъ онъ горько:—али не соболья шапочка, не шелковая подпоясочка? али сапожки не сафьянные?
- О-о-охо-хо!—вздыхала мать.

Дочь мрачно молчала.

— Али я не соколъ? али я не ясный? али перушки у сокола опипаны, али крылышки подрѣзаны? — продолжалъ бродяга. — Нѣтъ, не поймай тебѣ, ворона, ясна сокола!

И онъ погрозилъ кому-то кулакомъ. Дѣвушка со страхомъ взглянула на него.

— Что, Дарья? али не любъ я? али не поваженъ въ этихъ ризахъ? А были и на матѣ ризы боярскія, да острогъ-тюрьма все повытрясли. Только я не кручинюсь — на Волгѣ все добуду...

Онъ подошелъ къ самой дѣвущкѣ и положилъ руку на плечо ей.

— Ну, Дарья, глянь въ очи.

Дѣвушка глянула прямо, глубоко.

— Теперь пойдешь за меня?

— Пойду!

Мать всплеснула руками.

— Поцѣлуемся же въ первый разъ.

Дѣвушка безъ словъ обвила загорѣлыми руками вокругъ загорѣлой шеи бродяги.

— Слышишь, Дарья, сердце словно кистень бьетъ; слышишь?

— Слышу, — шептала дѣвушка.

Бродяга повернулся къ матери.

— Благослови насъ матушка, а не благословишь, такъ и вѣтеръ буйный намъ пойдетъ за батюшку рожонаго, а и степь широкая — за матушку родную.

Та благословила.

— Спасибо. Теперь полно служить сѣрпомъ да граблями — будемъ служить царю государю Петру Алексѣичу кистенемъ да дубиною. Любо ли Дарья?

— Любо.

Вдали по дорогѣ слышался звонъ колокольчика. Показалась пыль, а за нею вырисовывались конскія головы.

— Тройка. Кого чортъ несетъ? Эхъ, не въ пору, а то бы ссадилъ гостя.

Онъ сталъ приглядываться.

— Эки дьяволы! Надо хорониться. Жди же, меня, Дарья, дома. Ладно?

— Ладно.

— За мной?

— Въ огонь и въ воду.

Бродяга исчезъ во ржи, словно въ землю провалился.

Тройка наѣзжала все ближе и ближе. Колокольчикъ устало позвякивалъ, словно и ему опротивѣла эта тишь да гладь безконечная.

Тройка поравнялась съ жницами, и запыленные кони остановились.

— Богъ помогай вамъ, жницы, — отозвался проѣзжій.

— Спасибо, батюшка.

— Вы изъ Левина?

— Левински, батюшка баринъ.

Пріѣзжій вылѣзъ изъ телѣги. Это былъ Левинъ. Онъ подошелъ къ жни-
цамъ. Тѣ поклонились ему.

— Здравствуй, Варварушка... Не узнаешь меня?

Баба изумленно, испуганно кланялась.

— Ты ли это, Варя голосистая?—говорилъ онъ съ грустью.

Баба бросилась цѣловать ему руки.

— Батюшка, баринъ! голубчикъ, Василь Саввичъ! Господи! Вотъ не чаяли.

Баба плакала. Она вспомнила свою молодость и молодость того, кото-
рый стоялъ теперь передъ нею сѣдымъ старикомъ. А когда-то пѣвали они
вмѣстѣ, хороводы вживали...

— Не помолодѣла и ты, Варвара,—говорилъ онъ взволнованно.

Только дѣвушка стояла молча, прикрывая свои груди и плечи.

— Кто же это съ тобой, Варварушка?—спрашивалъ Левинъ.

— Дочушка моя, Даша, баринъ. Безъ тебя родилась она.

— А мужъ то твой кто?

— Максимъ, плотникъ былъ.

— Былъ, говоришь? А теперь?

— Десятый годокъ въ бѣгахъ—безъ вѣсти пропалъ.

— А еще дѣти есть?

— Былъ сыночекъ, батюшка.

— Что жъ, померъ?

— Нѣтъ, баринушка, не померъ, а по-міру ходитъ: въ поводыряхъ
состоитъ у слѣпого Захара Захребетника.

— А, помню. Они были у меня въ Харьковѣ. Я и въ Кіевѣ видалъ
Захара лѣтъ десять тому назадъ.

И при упоминаньи Кіева, въ сердцѣ словно засадило... Вся жизнь
постылая развернулась, какъ на ладони... Годы, десятки лѣтъ—какъ одинъ
день... Кіевъ, Петербургъ, муромскій лѣсъ... О, мимо! мимо, горя нерас-
хлебная, боли незаживныя! мимо!

— Къ домамъ теперь, баринъ, ѣдешь?

— Домой... на покой...

Онъ оглянулся кругомъ. Скучная, непривѣтливая степь. Господи! и это
родина золотая, гдѣ прошло золотое дѣтство! Время все съѣло—все поли-
няло: и краски этой степи полиняли, и полиняло родное небо, и даль го-
лубая полиняла... Все выцвѣло, вывѣтрилось, какъ въ душѣ у него.

Эхъ, таланъ ли мой, таланъ таковъ,

Эхъ, ты участь моя горькая!

На роду ли мнѣ написано, али отъ Бога заказано?..

Это затанулъ кто-то далеко за полосою. У Дарьи сердце заняло отъ
этой пѣсни. У Левина тоже защемило сердце, хоть онъ и не зналъ, кто
поетъ, какъ знала эта дѣвушка.

— Что жъ вы одинъ жнете?—спросилъ онъ, желая прервать тягостное
молчаніе.

— Да намъ эта полоса заурочена. Другіе тамотка жнутъ.

— Бросьте все это! бросайте серпы... Пора и вамъ отдохнуть — много осталось...

Тѣ посмотрѣли на него съ изумленіемъ. Они не понимали, что говорить онъ.

— Вонъ и птицы летятъ изъ этой проклятой земли,—указалъ онъ на небо:—скоро солнце помрачится, звѣзды померкнутъ.

Тройка все ждала его. Коренная, отбиваясь отъ мухъ и оводовъ, встряхивала дугой и колокольчикъ жалобно взвизгивалъ.

— Мухи песьи и оводы львиные напали на землю—сосутъ кровь христіанскую,—говорилъ онъ какъ бы въ самозабвеніи:—звени, звени, колокольце—по душѣ звонишь, по усопшей землѣ благовѣстишь...

Вдали слышалось глухо:

Охъ, таланъ ли мой, таланъ таковъ...

Онъ опомнился.

— Братъ дома?

— Дома—въ Чирчимѣ, батюшка.

— Прощай, Варварушка,—прощайте.

— Прощайте, баринъ.

Левинъ сѣлъ въ телѣгу, и тройка тронулась. Ямщикъ лѣниво затянулъ:

Ужъ какъ попила ль моя буйная головушка,
Пила она, пила—погуляла,
Что за батюшкиной, что за матушкиной
За легкою за работой...

Левинъ молча слушалъ. И эта степь, и эта пѣсня переносили его въ годы далекой молодости. Только все это не то. Тогда у него не было двойного зрѣнія, а теперь въ душѣ все раздвоилось: и жизнь, и смерть стоятъ рядомъ... колыбель и гробъ рядомъ.. Вонъ растетъ деревцо—бесчастное! это не оно растетъ, а его смерть... Подымается деревцо, приближается смерть безребрая... Не ямщикъ поетъ—его смерть поетъ: что пропѣлъ онъ—за батюшкиной, за матушкиной за легкою за работой это ужъ умерло, и слова умерли, и голосъ умеръ въ воздухъ... Прежде земля висѣла какъ кадило передъ иконою... а теперь земля сорвалась съ крючка—сорвалось кадило вѣчное, летятъ въ пропасть...

Какъ берутъ меня, берутъ добра молодца,
Берутъ во солдатушки...

— Тебя берутъ?—очнувшись, спрашиваетъ Левинъ.

Ямщикъ удивленно смотритъ на него.

— Кого берутъ въ солдаты?

— Это въ пѣснѣ, баринъ: изъ пѣсни слова не выкинешь.

Не выкинешь!.. А какъ же душу изъ тѣла выкидываютъ?.. „Утопи меня, самъ утопи въ Днѣпрѣ, своими руками утопи... Ты меня изъ воды вынулъ—ты и утопи...“ И ее вынули изъ души—и выкинули, и душу выкинули... Охъ, ты, Петръ, Петръ! много тобою душъ съѣдено, много... Да

не дождены душеньки святые... Вонъ перекаати-поле катится — это ея душенька... Сгорѣла, золою стала—и волоски золотые озолились, опепелились... Дуня! Дуня!

Потатуйка кричать—уту-ту-ту... уту-ту-ту... Это она кричитъ у сухого душлястаго пня, какъ и тридцать лѣтъ назадъ кричала... Тридцать лѣтъ... И потатуйка жива—да это не та—та давно умерла, какъ и я давно умеръ... нѣтъ, не умеръ, какъ и душлястый пенъ не умеръ. Мы живемъ съ нимъ. И у меня въ сердцѣ—уту-ту-ту, уту-ту-ту. Это смерть тамъ—червоточина.

Сгорѣла золотая головка. А черная гдѣ? Ксенія! Оксана! Оксанко! гдѣ ты? И Докійка не откликается. Ахъ, ты песъ, мой вѣрный Ермакъ—и тебя не стало! Да и я съ того свѣта вернулся домой—домой, на ту землю, гдѣ бѣгали мои ножки маленькія. О, мои ноженъки! устали вы теперь, изнасились. Износились вся душенька моя.

Смирение горами ворочаетъ. Эхъ ты, Степанъ, Степанъ Яворскій! сверни-ка ты гору, что у меня на сердцѣ лежитъ. Бѣдный Омушка коридивый—и у тебя горлинку вороны заклевали, Вѣрушку твою чистую. А у меня двухъ горлинокъ заклевали. О! бѣсы, бѣсы!

— Деревню Левину, баринъ, видно. Чирчимъ тожъ.

— А! Чирчимъ, гдѣ я родился. Хорошо.

— На водку дашь, баринъ? Хорошо везъ.

— Дамъ.

Вонъ, тамъ, за тѣми осокорями, могила матери. Матушка! матушка! погляди-ка, что изъ твоего сына сдѣлали, изъ твоего Васеньки. Охъ, матушка родимая! почто на горе родила? Видишь сѣдые волосы у твоего сына? Небо родное! погляди на меня: такимъ ли я бѣгалъ подъ тобою, родное мое, такую ли ты головку грѣло солнышкомъ, какую я привезъ теперь тебѣ? Увезъ русую, кудрявую, привезъ сѣдую, безволосую. Такое ли сердце я вывезъ отсюда—и какое привезъ? Змѣи, гады расплодились въ немъ, и распустилъ я этихъ гадовъ по всей землѣ—къ чему не прикоснусь—змѣя тамъ, къ цвѣтку подойду—и въ цвѣткѣ гадина.

Добрый мой, бѣдный Турвонъ, учитель мой! И твоя могила тамъ за осокорями. Приподымись изъ своего гроба сосноваго. Э! да и гробъ твой давно сгнилъ, только горькая память моя не сгнила. Гноили ее двадцать лѣтъ на службѣ каторжной—не сгноили. Живуча она, не податлива, какъ дерево опаленное. И тебя Турвонъ, помню, и грачей помню—ухъ! какъ весну-то зовутъ, выкаркиваютъ! и Нарву помню—буммъ, буммъ, буммъ!—а мы бѣжимъ, и Шереметевъ бѣжитъ. И Полтаву помню, и Карла въ качалкѣ помню. Эхъ ты горемычный! И Кіевъ помню, царевича помню,—худой и вдумчивый... О, дьяволы, аспиды! съѣли мою душеньку...

— Эхъ, вы, лошадушки! съ горки на горку, дасть баринъ на водку.

И Левинъ вспомнилъ, какъ двадцать лѣтъ назадъ, съ такими же глазами везъ его ямщикъ по этой же дорогѣ въ Москву, въ Петербургъ. Не тотъ и ямщикъ теперь.

— Ты давно ямщикомъ?

— Лѣтъ десять, баринъ, ѣзжу здѣсь.

— А прежде кто возилъ?

— Батка—теперь на печи лежитъ—старо стало.

Какъ постарѣла, сузилась, сморщилась вся родная деревенька. Ветхая часовенка разрушается. Избенки стоятъ оголенные...

— Все больше въ бѣгахъ мужики,—указываетъ ямщикъ кнутовищемъ на оголенные избы.

— Съ чего бѣгаютъ?

— Отъ указовъ больше. Указы эти, да некрутство больно нашего брата донимають.

И ихъ донимають. До живыхъ печенокъ, видно, дошло.

Вонъ и сухой оврагъ. И старый дуплястый пенъ все тотъ же. Даже скворешня старая осталась на скотномъ дворѣ. Все мертвое осталось такимъ, какимъ и было: все живое состарѣлось, искалѣчено, перемерло. Пусто въ деревнѣ—всѣ въ полѣ.

— Къ усадьбѣ, баринъ?

— Къ усадьбѣ.

Лошади рванули, пронеслись по улицѣ и стали у крыльца усадьбы.

— Привезли на родное кладбище,—подумалъ Левинъ.

XXIV.

Постриженіе Левина. Проповѣдь объ антихристѣ.

Непріютнымъ показалось Левину родное гнѣздо послѣ двадцатилѣтняго отсутствія изъ него. Да и самъ онъ былъ не тотъ уже. Въ душѣ порваны всѣ живыя, привязывающія къ жизни и примирающія съ нею струны; зато грубо, болѣзненно, задѣты были непорванные струны, которыя глухо, но могуче, безумно-страстнымъ разладомъ звучали въ немъ, отравляя его мысль, каждый часъ его жизни. Глухой, ему одному слышимый, звукъ этихъ страшныхъ струнъ будилъ его на борьбу, на всенародную проповѣдь, на мученическій подвигъ.

„Иди на муку, ищи муки—и обрящешь: тебя замучать, но ты спасешь миллионы, спасешь Россію отъ того, кто поглотилъ твое счастье, вонзилъ мечъ въ душу твою и довелъ тебя до муки“.

Непривѣтливо такому человѣку смотрѣлъ въ глаза родной домъ. Это была пустыня, но не та, которую онъ извѣдалъ, а пустыня тюрьмы, могильнаго сылепа.

Ни отца, ни матери онъ не засталъ уже въ живыхъ. И могилы ихъ давно бурьяномъ заросли, какъ и всѣ тѣ дорожки, по которымъ бѣгали когда-то его рѣзвыя ноги.

Вмѣсто матери, онъ нашелъ дома мачеху. И ему была чужа Агаѣя Ивановна, и онъ былъ чужой для Агаѣи Ивановны. Что она ему и что онъ ей?

И братъ Гарася одичалъ для него. И его годы перемололи, да только не въ ту муку, въ какую жизнь смолола нашего героя.

И грачи не тѣ, и весна не та: и тѣ грачи улетѣли, и та весна водою уплыла.

А тамъ больной дядя, Петръ Андреевичъ—и онъ сталъ чужимъ человекомъ.

Дядя жалуется на болѣзнь, на то, что старъ сталъ, не можетъ въ отъѣздѣ послѣ за волками гоняться. Братъ жалуется на мужиковъ—мужики разбѣжались, работать не хотятъ, хлѣбъ въ полѣ стоитъ не сжатый, зерно высыпается. Мачеха плачется на прислугу—холопки лѣнятся, дѣвки мало прядутъ, ребятишки мало грибовъ собираютъ. А ему что до этого?

Что ему хлѣбъ не сжатый, высыпавшееся зерно? Пускай оно высыпается—его будетъ клевать голодная птица, подбирать робкій мышенокъ.

Что ему дѣвки, холопки лѣнныя? Пускай лѣнятся, пускай не прядутъ. На кого имъ прастъ? на что? На саванъ? О! на что людямъ саванъ, когда всю землю въ саванъ скоро одѣнуть?

О, какая тоска! какая смертная тоска! Такой тоски не бывало даже тогда, когда изъ него душу вынули. Тогда хоть боль чувствовалась, острая, живая боль. А теперь—боль мертвая, тупая. Тогда кричать хотѣлось. Теперь—молчать, молчать, молчать!

Дни идутъ за днями, чередуясь съ ночью. И день, и ночь—это мертвецы, поочередно лежащіе въ гробъ. То бѣлый гробъ и саванъ бѣлый, то черный гробъ и саванъ черный.

Прошло и лѣто. Подъ свѣгомъ укрылась земля...

И поляну свѣгомъ присыпало, и золу присыпало, и золотую косу, и черныя очи.

А! это онъ, великанъ, онъ вылушилъ изъ меня душу, какъ ядро изъ орѣховой скорлупы, и сердце вылушилъ. Великанъ, саженная душа, саженное сердце—злорада саженная! А! да и у меня не воробьиное сердце было, а ты вылушилъ его. Только вотъ изъ-подъ этого черепка не все вылушилъ—изъ-подъ черепа. Не высохъ тамъ мозгъ, не вылился изъ глазъ вмѣстѣ съ слезами—выходилъ онъ изъ-подъ черепа сѣдыми нитями, серебряными волосами, да не вышелъ.

Одно, что осталось у него, жажда борьбы противъ этого саженнаго человека съ саженымъ сердцемъ. Но какъ съ нимъ бороться? Надо народъ поднимать.

Идетъ церковная служба въ Конопати. Левинъ стоитъ на клиросѣ, рядомъ съ капитаномъ Саловымъ. Тихо поютъ дьячки. Тихо народъ молится. А Левина что-то подмываетъ крикнуть, да такъ крикнуть, чтобъ тамъ, въ Петербургѣ, было слышно, чтобъ великанъ услышалъ.

— Послушайте, православные христіане! слушайте! слушайте!—кричитъ онъ на всю церковь.

Всѣ смотрятъ на него съ изумленіемъ.

— Послушайте! — кричитъ онъ еще громче: — скоро будетъ предствленіе свѣта!.. Царь загналъ весь народъ въ Москву и Петербургъ — и весь его погубить... погубить! погубить!

Онъ поднимаетъ руку, чтобъ видно было народу.

— Смотрите, православные! Вотъ тутъ, межъ этими пальцами, царь будетъ пятнать народъ, и всѣ въ него увѣруютъ... Войтесъ, православные! Онъ — антихристъ! Онъ всѣхъ печатать хочетъ.

Осторожѣлый священникъ кричитъ на него:

— Зачѣмъ ты такія слова говоришь! Я велю твоимъ же крестьянамъ взять тебя.

— Молчи, рабъ лѣнивый! Молчи, пастухъ! гдѣ твои овцы? По лѣсамъ разбѣжались... Скоро и вамъ будутъ бороды брить, и станете вы табакъ тянуть, и будетъ у васъ по двѣ жены и по три... Спасайтесъ, православные, бѣгите! антихристъ идетъ!

Какъ безумный, онъ выбѣжалъ изъ церкви. Народъ со страхомъ разступался передъ нимъ.

— Охъ, матушки, послѣдніе деньки пришли.

— Ой, смертушка наша!

— Печатать всѣхъ, батюшки-свѣты! запятнаютъ насъ

— А кто пятнать будетъ?

— Не вѣдаю, родимые.

Такъ стонали бабы. Мужики недовѣрчиво переглядывались.

Левинъ исчезъ изъ деревни, словно въ воду канулъ.

Прошелъ мѣсяцъ, другой.

Въ Пензѣ, въ Предтеченскомъ монастырѣ обѣдня. По случаю праздника, церковь полна народу.

Церковные колокола звонятъ что-то очень всѣмъ знакомое — но тяжело всемъ становится отъ этого знакомаго звона: это — похоронный перезвонъ. Кого то хоронятъ, кого-то несутъ отпѣвать.

Всѣ ждутъ покойника. Глаза всѣхъ обращаются къ входнымъ дверямъ. Вотъ-вотъ внесутъ... А перезвонъ колоколовъ все унылѣе, унылѣе. Эготъ перебой, эготъ разладъ звуковъ глубоко западаетъ въ душу: словно звонятъ разбитые колокола, и мелодія ихъ какая-то разбитая — разбита жизнь того, по чьей душѣ они звонятъ такъ уныло.

Близко-близко покойникъ. Слышится напутственная, глубоко проникающая въ душу, мелодія погребальнаго канона: „Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурей, къ тихому пристанищу твоему притекъ, вопію ти: возведи отъ тли животь мой, многомилостиве!“

Всѣ крестятся... да, притекъ къ тихому пристанищу... Тихо тамъ, охъ какъ тихо...

Но вотъ и покойникъ... Кто же это? Его не несутъ: а — ведутъ, ведутъ мертвеца! Что же это такое?... Ведутъ кого-то подъ руки, покрываго чернымъ покровомъ, какъ покрываютъ гробъ...

А хоръ не-то торжествуетъ, не-то разрывается—плачетъ: „житейское море...“

Покрытаго мертвеца подводятъ къ амвону. Всѣ напряженно слѣдятъ за нимъ. Снимаютъ покровъ. Шопотъ и стонъ испуга пробѣгаетъ по церкви... Охъ! это—живой мертвецъ въ саванѣ: блѣдное худое лицо, посѣдѣвшіе волосы, низко-низко наклоненная голова.

— Господи! кто это?—проносится въ толпѣ.

А онъ стоитъ неподвижно, голова глубоко опущена.

— Откуда пришелъ еси къ намъ? — спрашиваетъ настоятель монастыря, облеченный въ черныя ризы, какъ на похоронахъ: — откуда пришелъ еси?

— Изъ міра, — тихо, едва слышно отвѣчаетъ 'живой мертвецъ въ саванѣ.

— Почто пришелъ еси?—снова спрашиваетъ тотъ.

— Хочу принять ангельскій чинъ,—отвѣчаетъ мертвецъ.

Зрители не выносятъ этого потрясающаго вопроса. Женщины рыдаютъ.

— Не изъ нужды ли мірскія пришелъ еси къ намъ? — продолжается страшный допросъ.

— Ни, отче.

— Не страха ли ради?

— Ни, отче.

— Не корысти ли ради?

— Ни, отче.

— Не принужденіемъ ли?

— Ни, отче.

— Не отчаянія ли ради?

— Ни, ни отче!

Мертвецъ зарыдалъ—и онъ не выдержалъ! Вся церковь стонала.

И начинается еще болѣе ужасный допросъ—это хуже пытки, хуже дыбы!

— Отрицаешься ли ты отца и матери?

— Ей, отче, Богу споспѣшествующу (рыдаетъ, захлебывается).

— Отрицаешься ли дѣтей своихъ?

— Ей, отче, Богу споспѣшествующу.

— Отрицаешься ли братьевъ и сестеръ, отрицаешься-ли всѣхъ сродниковъ твоихъ?

— Ей, отче, отрицаюсь.

— Отрицаешься-ли друзей твоихъ и всѣхъ знаемыхъ твоихъ?

— Охъ, отрицаюсь, отрицаюсь, отрицаюсь!

Дрожь пробѣгаетъ по церкви. Стѣны стонуть... не выдерживаетъ и тотъ, кто допрашиваетъ—и онъ плачетъ, и изъ его стараго сердца выдавлились слезы...

Будетъ ужъ! довольно пытать его! Нѣтъ—пытають...

Настоятелю подають ножицы. Всѣ смотрять, что дальше будетъ... Взявъ ножицы, старикъ бросаетъ ихъ на полъ. Рѣзко звякнули ножицы о каменный церковный полъ — вздрогнули всѣ, перекрестились... Ждутъ... „Господи! мука какая! за что?“

— Подаждь ми ножицы сіи!—повелительно говорить старикъ.

Посвящаемый нагибается и подаетъ ножицы.

Опять ножицы съ силой ударяются объ полъ. И опять тотъ же повелительный голосъ:

— Подаждь ми ножицы сіи!

Подаетъ... Въ третій разъ ножицы летять на полъ. Въ третій разъ раздается голосъ:

— Подаждь ми ножицы сіи!

Кто-то истерически рыдаетъ... „Унесите ее, бѣдную, унесите!“

Кого-то уносятъ.

И снова начинается какая-то пытка... Присутствующіе истомлены, подавлены...

— Да кого жъ это мучать, скажите, — кого посвящаютъ? — плачетъ женскій голосъ.

— Левина, капитана... помѣщикъ здѣшній.

— Бѣдный, бѣдный.

— Ухъ, янда потъ прошибъ меня, глядучи на экую муку... Ну ужъ, ни за какія, кажись, коврижки не пошелъ бы, — бормоталъ толстый купчина, обливаясь потомъ.

Левинъ—монахъ. Черный клобукъ прикрылъ его сѣдую голову... Все, кажется, кончено...

Такъ прошло нѣсколько недѣль...

Въ Пензѣ праздникъ и базарный день. Базарная площадь запружена народомъ.

На телѣжкѣ самокатѣ сидитъ нищій, покрытый лохмотьями. Около него собралась кучка парней городскихъ, и кто даетъ нищему кусокъ бѣлаго калача, кто бубликъ, кто пряникъ.

— Демка-чернецъ, Демка-чернецъ!—слышится въ толпѣ.

Это и есть Демка-чернецъ, что сидитъ въ телѣжкѣ. Руки и ноги у него дергаются—онъ весь какъ на пружинахъ.

— Отчего это тебя дергаетъ, Демушка?—спрашиваютъ парни.

— По дьявольскому навожденію, отъ винопитія необычнаго — водку жралъ шибко въ монастырѣ, за что и ангельскаго чина обнаженъ—разстригли.

Парни смѣются.

— А съ руками, что у тебя подѣлалось, Демушка?

— Трясеніе веліе — отъ велія дерзновенія ручного — дѣвокъ щупаль.

Общій взрывъ хохота.

— А ноги что, Демушка?

— Все отъ бѣса... Отъ ногамъ-скаканія, отъ хребтомъ-вихлянія, отъ очамъ-нампганія: съ бабами плясалъ, дѣвкамъ подмигивалъ.

Веселая молодежь смѣется. Ципизмъ нищаго не смущаетъ молодую совѣсть.

— А какъ же ты сказывалъ, что тебя подъ Полтавой ранили.

— Подъ Полтавой, братцы, точно.

— А самого Карла короля видалъ?

— Видалъ. Это и телѣжка его. У него отнялъ.

Опять хохотъ. Молодежи и этого довольно: ея на все хватить—и на доброе, и на злое.

— А паря видалъ?

— Видалъ, и съ нимъ за море ѣзжалъ: нѣмецкую водку пивалъ, по-русски пьянъ бывалъ.

И это смѣшно тому, кому смѣяться хочется.

— Калики перехожіе! калики перехожіе!—кричатъ задніе.

По площади идутъ слѣпцы съ поводыремъ. Это они—тѣ, которые пѣли въ Кіевѣ у воротъ лавры, когда оттуда выходилъ царевичъ Алексѣй Петровичъ.

Калики не старѣются—не во что старѣться. Только маленькій поводыръ выросъ въ большого парня.

— Это саратовскіе калили—изъ Саратова,—кричатъ ребятишки.

Голосъ младшаго калики—Бурсака—баситъ на это:

Мы съ Саратова,
Изъ богатова,
Изъ Саранскова
Побиранскова,
А пачпортъ у насъ изъ града Ерусалима—
Бѣжали мы на волю отъ злова господина.
Отпустилъ насъ другой господинъ—
Богъ вышній единъ.
Мы корочку грыземъ—
Волюшку блюдемъ;
Пусты шти хлебаемъ—
Податей не знаемъ.

И вслѣдъ затѣмъ калики затаивули хоромъ что-то строгое, мрачное, безнадежное. Шумливая молодежь затихла. И старые, и малые прислушивались къ этому народному гимну, безконечно-тоскливому, зловѣщему, безпросвѣтному, какъ самая жизнь, которая ихъ окутывала...

Внушительно звучалъ голосъ Захара Захребетника, покрывая голоса товарищей:

Ужъ жизнь сія скончается
И день судный приближается.
Ужаснись, душе, суда страшнаго
И пришествія преужаснаго,
Окрились, душе, крылы твердосты,
Растерзай, душе, мрежи прелести...

— Смотрите! смотрите! монахъ на крышѣ!—кричать въ толпѣ.

— Что это такое? Что онъ дѣлаетъ?

И толпа бросилась къ мяснымъ рядамъ, гдѣ на плоской крышѣ одной лавки стоялъ высокій мужчина въ монашеской рясѣ, въ черномъ клобукѣ и съ клюкою въ рукѣ.

Онъ простираетъ къ небу руки, какъ бы молится, небо призываетъ въ свидѣтели...

— Что онъ,—летѣтъ что ли хочетъ?—раздается голосъ.

— Молчи, щенокъ!

Монахъ снимаетъ съ головы клобукъ и высоко поднимаетъ его на длинной клюкѣ.

— Тсъ! тсъ! онъ говорить.

Монахъ, дѣйствительно, говорилъ.

— Послушайте, христіане, послушайте!—кричитъ онъ рѣзко, отчетливо.— Много лѣтъ служилъ я въ арміи, у генералъ-маіора Гаврилы Кропотова въ командѣ... Меня зовутъ Левинъ... Жилъ я въ Петербургѣ. Тамъ монахи ѣдятъ въ посты мясо и съ блудницами живутъ. И въ Петербургѣ изъ-за моря царь привезъ печати, три корабля, тѣмъ людей печатать... И запечатываютъ всѣхъ антихристовою печатью—запятнаютъ... И тотъ, кто зоветъ себя царемъ Петромъ—и онъ не царь, не Петръ... Онъ антихристъ, антихристъ! слышите?—антихристъ! И въ Москвѣ, и по всей землѣ люди мясо будутъ ѣсть въ сырную недѣлю и въ великій постъ... И весь народъ мужеска и женска пола будетъ онъ печатать своими печатями, а у помѣщиковъ всякой хлѣбъ отписывать, и помѣщикамъ хлѣба будутъ давать самое малое число, а изъ остального отписного хлѣба будутъ давать только тѣмъ людямъ, которые будутъ запечатаны, а на которыхъ печатей нѣтъ, и тѣмъ хлѣба давать не стануть... Бойтесь этихъ печатей, православные! бѣгите отъ нихъ, бѣгите въ лѣса, укройтесь въ пустыняхъ! Солнце сошло съ своего пути... Земля сорвалась... колыхнется... Последнее время... антихристъ пришелъ... антихристъ... антихристъ...

Страшенъ видъ фанатика. Сѣдые волосы, словно иглы длинныя, бѣлыя, рвутся отъ головы.

Народъ въ страхѣ разбѣжался. Площадь опустѣла.

— Ой! ой! ой! — кричалъ Демушка калѣка.— Помогите! помогите! ой! ой!

XXV.

Левинъ въ тайной канцеляріи.

Въ толпѣ, назлектризованной безумною проповѣдью Левина на крышѣ и въ ужасѣ разбѣжавшейся, нашелся одинъ реалистъ, который не испугался, не принявъ словъ фанатика на вѣру, и если, вмѣстѣ съ прочими, бѣжалъ съ базарной площади, то не отъ призрака грядущаго антихриста, бѣжалъ не прятаться, не спастись, а съ тѣмъ, чтобы извлечь изъ этого

происшествія выгоду—поживиться, выслужиться передъ властями: онъ бѣжалъ прямо въ пензенскую земскую контору съ доносомъ—объявить государю „слово и дѣло“.

Этотъ съ реальнымъ мозгомъ человѣкъ былъ пензенскій мѣщанинъ или обыватель Ѳеодоръ Каменьщиковъ.

Немедленно въ монастырь явилась воинская команда—искать бунтовщика.

Левинъ не прятался, не отпирался. Это былъ человѣкъ съ желѣзною волею, которая только теперь сказала въ немъ. Прежде, какъ человѣкъ нервный, какъ идеалистъ, онъ изливался въ лирическихъ порывахъ; когда порывъ переходилъ предѣлы нравственной упругости, предѣлы упругости нервовъ,—нервы эти лопались, какъ стальная пружина, и воля его ломалась, разбивалась въ порывахъ. Теперь эта воля словно окаменѣла въ немъ—окаменѣли и нервы.

— Кто здѣсь Левинъ?—спросилъ офицеръ, явившійся съ командою арестовать *весь* Предтеченскій монастырь вмѣстѣ съ игуменомъ, Левинымъ и братією:—кто Левинъ?

— Се азъ!—отвѣчалъ тотъ.—Я тотъ, котораго вы ищите.

Онъ чувствовалъ, что только теперь начинается его *дѣло*, его борьба.

Игумень Ѳеодосій, который еще такъ недавно посвящалъ его, плачущаго, смиреннаго, которому этотъ робкій неофитъ покорно подавалъ ножницы для постриженія,—Ѳеодосій не узнавалъ его. Падая на скамью въ изнеможеніи, старый игумень шепталъ съ ужасомъ:

— Сатано! сатано! сатано!... Аминь, аминь, разсыпися...

Только у старца Іоны, съ которымъ Левинъ успѣлъ подружиться въ монастырѣ и влить въ этого старика каплю своей энергіи, дико блеснули глаза при арестованіи, и онъ проговорилъ, глядя на Левина:

— Пускай прежде повѣсятъ насъ подъ образами, а тамъ и обдирають съ нихъ ризы.

Когда потомъ Левина, въ губернской канцеляріи, заковывали въ желѣза, онъ, протягивая руки и ноги, сказалъ:

— И нозѣ мой, и руцѣ мой, и главу мою закуйте... Закуете и языкъ мой, да души не закуете...

На него закричали, чтобъ онъ замолчалъ.

— Что кричишь? Бей тростию по главѣ, рукою по ланитамъ... Сподоби мя оплеванія.

Вмѣстѣ съ нимъ заковали и доносчика—реалиста Каменьщикова.

— О, Варрава! Варрава! Ты не умеръ еще,—проговорилъ какъ бы про себя Левинъ, садясь съ своимъ доносчикомъ въ телѣгу, которая должна была везти ихъ въ Москву, какъ важныхъ государственныхъ преступниковъ.

Съ ними отправленъ былъ сержантъ Арцыбашевъ.

Дорогой Левинъ ласково заговаривалъ съ своимъ доносчикомъ, разспрашивалъ его о семьѣ, о дѣтяхъ; но тотъ всю дорогу упорно молчалъ, разъ навсегда заявивши: „Мнѣ съ тобой разговаривать не-слѣдъ, да и не о чемъ: мое дѣло сторона“.

Левина везли изъ Пензы на Муромъ. Когда проѣзжали муромскимъ лѣсомъ, Левинъ просилъ Арцыбашева остановиться на минуту.

— Для чего?—спросилъ Арцыбашевъ.

— Богу помолиться... Тутъ недалеко покойся прахъ сестры моей — персть ея, пыль, зола.

Арцыбашевъ позволилъ. Левинъ, выйдя изъ телѣги, упалъ на колѣни и поцѣловалъ землю. При этомъ кандалы зазвенѣли на немъ.

— Слышишь, сестра моя, слышишь?—сказалъ онъ восторженно:—это не оковы звенять, не желѣзо, а золото... Изъ него куютъ мнѣ золотой вѣнецъ вмѣсто тернового.

И онъ снова поцѣловалъ землю.

— Прощай, прощай, прощай! скоро увидимся.

Вставъ съ земли и поднявъ руки къ небу, онъ радостно воскликнулъ:

— Вонъ она—надъ лѣсомъ летить! Это душа ея... золотой вѣнецъ, золотые волосы!

Потомъ, оборотясь лицомъ къ западу, съ горестью произнесъ:

— А ты гдѣ? ты гдѣ, добрая моя? Увижу ли тебя когда-нибудь?

17-го апрѣля Левина привезли въ Москву и сдали въ тайную канцелярію. Все, что онъ имѣлъ, отобрали у него. Когда въ Муромѣ отказались дать почтовыхъ лошадей подъ колодниковъ, то Левинъ самъ купилъ, для дальнѣйшаго своего слѣдованія вмѣстѣ съ своимъ доносчикомъ и сержантомъ, — купилъ на свой счетъ телѣгу, сбрую и пару лошадей — одну каурую, а другую гнѣдо-пѣгую... Таковыми названы эти историческія лошади въ слѣдственномъ архивномъ дѣлѣ о Левинѣ... У Марка-королевича, югославянскаго героя, былъ „кудрявый“ конь, „шарацъ“, съ барашковою шерстью; у Александра Македонскаго былъ бупефаль-конь; у Левина — каурый и гнѣдо-пѣгій... За все это онъ заплатилъ — 14 рублей! Таковы были тогда цѣны на все — въ томъ числѣ и на жизнь человѣческую... отобрали у Левина дорожный пуховикъ, двѣ подушки, лошаковое одѣяло, серебряную печать, кошелекъ съ замкомъ—все это, вмѣстѣ съ 10-ю оставшимися у него алтынами, становилось государственнымъ достояніемъ.

— Раздѣлиша ризы моя по себѣ,—шепталъ онъ, когда его раздѣвали передъ допросомъ.

Жаль только ему было расставаться съ святцами, подаренными ему Ксенію и служившими для него дневникомъ и памятною книжкою. Тамъ, противъ 24-го генваря, подъ именемъ *Ксенія*, подписано было: „Тобою, свѣтлая, просвѣтися душа моя. Съ тобою, чистая, убѣлюся паче снѣга“.

Наконецъ, онъ предсталъ передъ грознаго Андрея Ивановича Ушакова, который, собственно, по наружности былъ совсѣмъ не грозенъ. Полненькій, жиренькій, гладенькій, съ вздернутымъ носикомъ, съ ожирѣвшими сѣрыми глазками—онъ напоминалъ царскую ключницу, которой не доставало только тѣлогрѣи и бабьей кики. Онъ ходилъ съ развалочкой, говорилъ медленно и ласково, и когда подписывалъ смертные приговоры, то всегда старался,

чтобъ роцкеръ пера вышелъ покрасивѣе. Даже выраженіе „смертная казнь“ онъ всегда старался смягчить тѣмъ, что слово „казнь“ писалъ съ „еремъ“ въ серединѣ: „казнь“, и когда ему говорили, что слѣдуетъ писать безъ „еря“, онъ отвѣчалъ: „съ еремъ, другъ мой, помятче“. Когда въ его присутствіи пытали подсудимыхъ, то лицо его выражало полнѣйшее добродушіе, и когда пытаемый, не вынося мукъ, кричалъ: „скажу, все скажу!“ и часто лишнее, чтобъ только избавиться на секунду отъ адскихъ мукъ, вздохнуть, не задохнуться, не умереть подъ пыткой,—Андрей Ивановичъ обыкновенно говаривалъ съ улыбкой: „Хорошее это дѣло—пыточка: не мучишь, по крайности, долго человѣка—сразу скажетъ“. Зато кучеру своему никогда не позволялъ стегать лошадей, даже слегка. „Что ты жи-водерничаешь? Блаженъ, иже и скоты милуетъ“, обыкновенно—замѣчалъ онъ.

— Что, другъ мой, скажешь хорошенькаго? — ласково спросилъ онъ Левина, когда того ввели въ канцелярію.

Левинъ молчалъ, озадаченный такими словами.

— Благополучно ли доѣхать изволилъ изъ Пензы?—продолжалъ Ушаковъ все тѣмъ же тономъ.

Левинъ опять молчить.

— Сказываютъ, у васъ въ Пензѣ антихристъ появился?—а?

Молчаніе.

— Жаль, жаль... Такъ какъ же, другъ мой? Экой ты не разговорчивый какой... А мнѣ бы любопытно было узнать объ антихристѣ-то... И насчетъ печатей—любопытно, любопытно...

Потомъ, обратясь къ подъячимъ, сказалъ:

— Допросите его по пунктамъ. Меня онъ не хочетъ огорчать.

Начался допросъ. Такъ какъ вопросные пункты вертѣлись исключительно на антихристѣ, то-есть съ кѣмъ именно говорилъ подсудимый объ антихристѣ, связывая его имя съ именемъ царя,—то Левинъ ничего не скрылъ, смѣло отвѣчая на каждый вопросъ.

Допрашивающіе смотрѣли на него съ удивленіемъ, а въ масляныхъ глазахъ Ушакова свѣтилось какое-то сладострастное удовольствіе, точно они хотѣли сказать: „Вотъ лакомый кусочекъ—просто находка“...

Никакого запирательства, никакой робости, но и ничего лишняго, словно дѣльный студентъ сдастъ экзаменъ на кандидата.

Говорилъ онъ объ антихристѣ съ протопопомъ Лебедкой, съ духовнымъ отцомъ князя Меншикова.

Допрашивающіе переглянулись. Ушаковъ ласково кивнулъ головой.

Говорилъ съ княземъ Прозоровскимъ, монахомъ Невской лавры.

Говорилъ съ келейникомъ митрополита Стефана Яворскаго, Машкаринымъ.

При имени Стефана Яворскаго у Андрея Ивановича разлилось по лицу умиленіе и ангельская доброта.

Говорилъ съ дьякомъ дома Стефана Яворскаго, съ Клубничкинымъ.

Въ селѣ Конопати—въ церкви и въ Пензѣ—на площади громко воз-вѣщалъ народу пришествіе антихриста въ лицѣ царя.

Говорилъ объ немъ съ попомъ села Конопати, Глѣбомъ Никитинымъ, который и грозилъ связать его за это въ церкви.

Говорилъ съ попомъ своей деревни—Левиной, Чирчимъ тожъ, съ Иваномъ Григорьевымъ.

Съ двоюродными братьями своими, Разстригиными, служившими въ Преображенскомъ полку: говорилъ объ антихристовыхъ печатяхъ, привезенныхъ царемъ изъ-за моря въ трехъ корабляхъ.

Говорилъ со всѣми своими родными, Левиными, въ деревнѣ.

• Съ драгунскимъ капитаномъ Саловымъ, съ саранскимъ комиссаромъ Языковымъ, съ игуменомъ Θεодосіемъ, съ монахомъ Іоною, глубоко увѣровавшимъ въ проповѣдь объ антихристѣ и кончинѣ свѣта.

Антихристъ... антихристова печать... три корабля съ печатями... антихристовы клейма... печатать людей будутъ, пятнать между большимъ и указательными пальцами... обдирать образа... монахи ѣдятъ мясо, спятъ съ блудницами... у помѣщиковъ будутъ хлѣбъ отбирать...

— Любопытно, любопытно, другъ мой, много любопытнаго ты мнѣ рассказалъ, спасибо, спасибо, мой другъ, — говорилъ Андрей Ивановичъ, ходя или, вѣрнѣе, катаясь шарикомъ по канцеляріи и съ наслажденіемъ потирая свои пухленькія ручки.—А я этого, признаюсь, и не зналъ, сидючи въ своей тайной канцеляріи... А оно вонъ что, на поди! Три корабля печатей... Ахъ ты Господи! Вотъ и угадай его, антихриста-то. Спасибо, мой другъ, что предостерегъ. А я-то, старый дуракъ, думаю себѣ: царь Петръ Алексѣевичъ. Служу ему вѣрой и правдой. А тутъ вонъ что оказывается—онъ насъ всѣхъ морочилъ. Ну, спасибо, спасибо, другъ мой, какъ бишь тебя зовутъ-то?—Василій, а по отчеству?

Левинъ опять молчалъ.

— Саввинъ,—подсказалъ одинъ подъячій.

— Да, да, Василій Саввичъ,—спасибо дружокъ, Василій Саввичъ, что глаза мнѣ открылъ... Ну, такъ какъ же насчетъ печатей-то? Гдѣ эти корабли съ ними стоятъ? У Котлина острова, говоришь? Вотъ бы мнѣ изловить ихъ, печатальщиковъ-то этихъ, да въ тайную. А? какъ ты думаешь, дружокъ?

Молчаніе.

— Такъ и митрополитъ Стефанъ, говоришь, зналъ объ этомъ? а?... Какъ же ему, святителю, не стыдно было отъ меня таять? А мы съ нимъ други-пріятели. Ну-ну! вотъ истинно: не знаешь гдѣ найдешь, гдѣ потеряешь. Ну, а насчетъ самого антихриста-то? Такъ ты, дружокъ, заподлинно вѣдаешь, что онъ во мѣсто царя къ намъ явился? а? Каковъ молодецъ! Какъ подвелъ-то насъ всѣхъ! Каково! Ну, если бъ не ты, Василій Саввичъ, если бъ ты не вывелъ его на чистую воду, быть бы намъ всѣмъ съ печатями.

Потомъ, подойдя къ подсудимому и ласково глядя ему въ глаза, спросилъ:

— Какое твое иноческое имя?

— Варлаамъ.

— Такъ ты, чернецъ Варлаамъ, стояшь на томъ, что показалъ нынѣ на допросѣ?

— Стою.

— Ну, такъ теперь, другъ мой, мы съ той объ этомъ въ застѣнкѣ поговоримъ. Безъ этого нельзя: такъ, пустая форма, какъ нынѣ модники говорить, — одна пустая форма этотъ застѣнокъ, и больше ничего. Разговаривать въ застѣнкѣ — все одно, что послѣ бани блины ѣсть: весело, и на душѣ легко становится.

А потомъ, обратясь къ секретарю, Ушаковъ сказалъ:

— Напиши синоду, чтобы онъ незамедлительно обнажилъ инока Варлаама отъ монашескаго чина. А также послать нарочныхъ за всѣми, которые значатся въ его оговорѣ.

Онъ махнулъ рукой. Левина увели.

— До свиданья, мой другъ, — сказалъ ему вслѣдъ Андрей Ивановичъ. — Вотъ оно что значить книгъ-то зачитываться: отъ нихъ и мысли пойдутъ, а мысли никогда до добра не доводятъ, — замѣтилъ Ушаковъ по уходѣ Левина. — Нѣтъ ничего хуже мыслей. А жили бы тихо, по нашему — держали бы синицу въ рукахъ, — ну, и лучше было бы.

Андрей Ивановичъ былъ реалистъ до мозга костей: онъ твердо помнилъ, что обухомъ не всякую плеть перешибешь. Но затѣмъ ее перешибать, когда можно расплести. И онъ расплеталъ.

Въ тотъ же день нарочные поскакали въ Петербургъ, въ Пензу, въ Симбирскъ, въ Саранскъ, въ Жадовскую пустынь, въ Левино, въ Конопати, въ Рязань. Со всѣхъ сторонъ везли оговоренныхъ, которые должны были помочь развязать страшный узелъ, завязанный Левинымъ.

Начались допросы, передопросы, очные ставки — и пытки, пытки безъ конца. Андрей Ивановичъ какъ сыръ въ маслѣ катался. Въ какихъ-нибудь двѣ-три недѣли онъ успѣлъ стянуть къ узлу всѣ нитки, концы которыхъ были разбросаны по всей Россіи, начиная отъ Петербурга и кончая Конопатами и деревней Левиной.

Въ десятыя числа мая дѣло казалось ему до того яснымъ и такимъ интереснымъ, что, когда 13-го мая Петръ выѣхалъ изъ Москвы въ Астрахань, то Ушаковъ послалъ свой докладъ по этому дѣлу вдогонку за царемъ, спрашивая его:

„Старцу Левину по окончаніи розысковъ какую казнь учинить и гдѣ — въ Москвѣ или на Пензѣ?

„Онъ же, Левинъ, показалъ на родственниковъ своихъ, четырехъ чело-вѣкъ, что при нихъ злыя слова въ домѣ говорилъ, да вышеписанныя же слова говорилъ онъ въ церкви всеародно при капитанѣ, да при комиссарѣ.

„По его же, Левина, разспросу касается нѣчто до рязанскаго архіерея, токмо нынѣ безъ разспросу старца Прозоровскаго нельзя того явственно признать, и ежели по разспросу онаго покажется до него, архіерея, важность, и его допрашивать ли и гдѣ — въ синодѣ ли или въ тайной канцеляріи, и какъ его содержать?“

Докладъ этотъ засталъ Петра уже въ Коломнѣ, куда онъ, отправляясь въ персидскій походъ, приплылъ изъ Москвы водою.

Докладъ подали ему въ тотъ моментъ, когда онъ собирался выходить на берегъ. Прочитавъ бумагу, онъ сказалъ съ сердцемъ:

— Опять попы да монахи! Они, точно кроты, роются подъ мой тронъ. О! долгогривые и долгоязычные! Если я не укорочу имъ эти языки, то дѣти, внуки и правнуки ихъ, рано ли, поздно ли перевернутъ вверхъ дномъ российское царство... Кроты выйдутъ изъ земли—попомните меня!—сказалъ онъ, обращаясь къ окружающимъ.—Теперь они безъ глазъ, воюють, яко слѣпые, изъ-за перстнаго сложенія и изъ-за трегубой аллилуйи. А тогда у нихъ глаза будутъ, и они объявятъ войну царямъ и Богу — и еще невѣдомо, на чьей сторонѣ останется викторія.

И онъ тутъ же положилъ резолюціи по каждому пункту доклада. Противъ перваго пункта, гдѣ Ушаковъ спрашивалъ — „въ Москвѣ или на Пензѣ учинить Левину казнь“, царь собственноручно написалъ на *Пензѣ*. По второму пункту Петръ положилъ резолюцію: *„Слѣдовать и смотреть, дабы напрасно кому не пострадать, понеже и временемъ мѣшается и завирается“* (т.-е. Левинъ и путается и завирается). Относительно Стефана Яворскаго царь написалъ: *„Когда важность касаться будетъ, тогда сенату придти въ синодъ и тамъ допрашивать, и слѣдовать чему подлежитъ“*.

Потомъ, обращаясь къ приближеннымъ, Петръ сказалъ:

— Сей малороссийскій народъ — и зѣло уменъ, и зѣло лукавъ: онъ, яко пчела любодѣльна, даетъ российскому государству и лучший медъ умственный, и лучший воскъ для свѣщи российскаго просвѣщенія; но у него есть и жало. Доколѣ россияне будутъ любить и уважать его, не посягая на свободу и языкъ, дотолѣ онъ будетъ воломъ подъяремнымъ и свѣточью российскаго царства; но коль скоро посягнутъ на его свободу и языкъ, то изъ него вырастутъ драконовы зубы, и российское царство останется не въ авантажѣ.

XXVI.

Левинъ въ застѣннѣ.

Ярко блестятъ золотыя маковки и кресты московскихъ церквей подъ яркими лучами лѣтняго солнца. Дня еще немного прошло, но желѣзныя крыши и каменные заборы успѣли накалились до того, что воробьи и голубы ищутъ зелени, а люди прячутся въ тѣнь, неохотно показываясь на солнцѣ.

Только одна сѣдая голова жарится на солнцѣ. Старикъ, обвѣшанный сумками, опираясь на клюку, бродитъ у генеральнаго двора передъ сенатомъ и что-то бормочетъ. Онъ чѣмъ-то серьезно занятъ. Вынимаетъ поочередно то изъ той, то изъ другой сумки разныя зерна—пшено, крупу, рись—и, изображая изъ себя сѣятеля, сѣетъ прямо на мостовую. Всякое

его движеніе сопровождается голубями и воробьями, которые, разставаясь съ тѣнью крышъ и зеленью палисадниковъ, кучами слетаются на мостовую и клюютъ разсѣваемые сѣдымъ старикомъ зерна.

— Ахъ вы, божьи нахлѣбнички!—обращается старикъ къ воробьямъ:—проголодались, поди... А ни сѣять, ни жать, ни въ житницы собирать не умѣете? Да куда вамъ? Люди бы все у васъ отняли.

Завидѣвъ кошку, которая пробиралась къ воробьямъ, онъ бросился на нее съ клюкой.

— Ахъ ты, Андришка Ушаковъ!—прикрикнулъ онъ на нее:—ишь подбирается къ глупымъ воробушкамъ. У тебя, чай, въ тайной и безъ того мышей довольно.

На одной изъ церквей пробило восемь часовъ. Старикъ перекрестился.

— Однимъ часомъ меньше стало,—сказалъ онъ про себя:—и имъ однимъ часомъ меньше мучиться осталось.

Одинъ голубь сѣлъ ему на плечо. Умные глазки старика засвѣтились молодую радостью.

— Что, гуля, умница, догадался?—ласково сказалъ старикъ.—А онъ не догадывается доселѣ: если бъ и я, какъ онъ, вздумалъ учить гулю дубинкой, то гуля давно бы въ лѣсъ улетѣлъ.

— Богъ въ помощь, Өомушка (это и былъ Өомушка-юродивый):—ты все съ своими дѣтками?

Это говорилъ благообразный старичекъ, повидимому, купецъ.

— Съ дѣтками,—отвѣчалъ Өомушка.—А ты все съ своимъ сыномъ—съ аршиномъ?

И при этомъ пояснилъ говоркомъ:

Аршинъ—аршинъ,
Купецкой сынъ,
Не сѣть, не жнеть,
А все хлѣбъ жуеть
И рубли куеть...

— Вѣрно, вѣрно, Өомушка,—согласился купецъ.

Звяканье кандаловъ заставило ихъ оглянуться.

Къ воротамъ генеральнаго двора подходилъ арестантъ, закованный въ ручныя и ножныя желѣза и сопровождаемый солдатами.

Өомушка, глядяваясь въ него, тихо проговорилъ:

— Бѣдный, бѣдный воробушекъ! Года два назадъ ты прыгалъ въ Питерѣ, на Троицкой площади, съ отцомъ Варсонофіемъ... Видалъ я тебя и съ господами офицерами у Малой Невы... Видалъ я, какъ ты вылеталъ потомъ изъ Невской лавры, а Өомушка въ тѣ поры плакалъ о своей внучушкѣ—горлянкѣ Вѣрушѣ, что монастырскіе вороны заклевали...

Звяканье кандаловъ смолкло. Арестанта ввели во дворъ.

Өомушка, поднявъ кверху клюку, закричалъ:

— Эй, вы, вороны, вороны сызые! нахлѣбнички царскіе-боярскіе! солетайтесь-собирайтесь: скоро вамъ будетъ праздничекъ-пированье, столо-

ванье царское: угощать васъ будутъ мясомъ-говядиной боярскою, а запивать вы будете кровушкой горячею.

Стукъ кареты заставилъ замолчать юродиваго. Карета остановилась передъ сенатомъ, гдѣ уже собралось нѣсколько любопытныхъ, въ томъ числѣ и нищѣ. Өомушка тоже подошелъ къ зрителямъ.

— Отецъ нашъ! кормилецъ!—загѣли нищѣ, увидавъ юродиваго.

— Генераль-прокуроръ Ягужинскій въ сенатъ прибылъ,—пояснилъ купецъ.

— Волкодавъ,—пробормоталъ юродивый.

Еще подъѣхала карета. Изъ нея вышелъ угрюмый, но бодрый старикъ. Купецъ почтительно снялъ шапку и низко поклонился.

— Князь Дмитрій Михайлычъ Голицынъ—ума палата,—пояснилъ онъ.— Это не щелкоперъ, не чета другимъ, а премудръ, аки Соломонъ, и старину любить.

— Михаилъ Ивановичъ Топтыгинъ,—пояснилъ юродивый для себя.

Карета за каретой стали подъѣзжать къ сенату. Приѣхалъ Брюсъ, Яковъ Вилимовичъ, Долгоруковъ князь, Григорій Өедоровичъ, Матвѣевъ графъ, Андрей Артамоничъ.

Послѣдними явились Шафировъ и графъ Гаврило Головкинъ. Они приѣхали въ одной каретѣ.

— Ишь ты, диво какое,—замѣтилъ юродивый:—одна берлога привезла двухъ медвѣдей.

— Должно кого-нибудь судить собрались,—пояснилъ купецъ.

— Кого-жъ больше—праваго,—замѣтилъ юродивый.

— Какъ праваго, Өомушка?

— Вѣстимо праваго. Виноватыхъ никогда не судятъ.

— Для чего такъ?

— Для того, что виноватые сами судятъ.

— Ужъ ты, Өомушка, всегда загадками говоришь.

— Ну, такъ отгадывай. А я тебѣ вотъ что скажу, купецъ, слушай: коли нищій укралъ у тебя кусокъ пестряди на порты, не ты его тащи въ судъ, а онъ тебя за шиворотъ тащить долженъ, и судить тебя за то, что ты его до воровства довель.

Купецъ засмѣялся.

— Такъ по-твоему—воры должны судить неворовъ.

— Должны: „зачѣмъ-де насъ до воровства довели...“

— Чудеса, чудеса!

Послѣдуемъ, однако, за сенаторами.

Въ сенатской залѣ собрался верховный судъ въ полномъ составѣ, За большимъ столомъ, на которомъ лежатъ крестъ и евангеліе, сидятъ судьи въ порядкѣ старшинства. Въ головѣ суда—старый графъ Головкинъ, съ тѣми же старческо-лисьими глазками, съ какими онъ присутствовалъ и на ассамблеѣ у свѣтлѣйшаго Меншикова. Только нижняя губа еще больше отвисла. Далѣе князь Григорій Долгоруковъ. У этого на лицѣ—холодное равнодушіе и скука, какъ будто бы ему все надоѣло.

Нѣсколько поодаль—Яковъ Брюсъ и Шафировъ. Послѣдній, съ еврейскими ужимками, разсматриваетъ массивную золотую табакерку сосѣда и какъ бы мысленно взвѣшиваетъ ея цѣнность.

Князь Голицынъ смотритъ угрюмо: словно бульдогъ, онъ поглядываетъ на своихъ товарищей и особенно косится на Ягужинскаго, который что-то объясняетъ графу Матвѣеву.

Передъ ними стоитъ Левинъ въ кандалахъ. Онъ точно помолодѣлъ. Лицо его оживлено. Только между бровями, при стыкѣ ихъ, встала новая вертикальная складка.

— Такъ ты стоишь на томъ, что показалъ на рязанскаго архіерея?— спрашиваетъ Ягужинскій.

— Стою,—твердо отвѣчаетъ Левинъ.

— И что былъ у него многожды?

— Былъ.

— И на единѣ сиживаль?

— Сиживаль.

— И утверждаешься на томъ, якобы онъ, архіерей, говорилъ тебѣ, что-де государь царь Петръ Алексѣевичъ—иконоборецъ.

— Утверждаюсь.

Судьи переглянулись. Злая улыбка скользнула не на губахъ, а въ глазахъ Шафирова.

— И сказывалъ тебѣ архіерей, будто бы-де государь принуждалъ его быть синодомъ?—продолжалъ Ягужинскій.

— Сказывалъ.

— И сказывалъ онъ, архіерей, что онъ-де якобы стоялъ передъ государемъ на колѣняхъ и просилъ-де не быть синодомъ?

— Ей, сказывалъ.

— Говори сущую правду передъ святымъ крестомъ и евангеліемъ,—возвышаетъ голосъ Голицынъ.

Левинъ вскидываетъ на него глаза и съ силой отвѣчаетъ:

— Всемогущему Богу отвѣчаю—не тебѣ!

— Стоишь на своемъ словѣ?

— Стою—и на немъ въ гробъ лягу.

— И предъ лицомъ архіерея повторить то слово?

— Не предъ лицомъ архіерея токмо, но предъ лицомъ Бога Всемогущаго.

Какъ электрическая искра пробѣгаетъ этотъ отвѣтъ по собранію. Даже Долгоруковъ откидывается на креслахъ и изумленно смотритъ въ глаза подсудимаго.

— Все сказалъ?—продолжаетъ Ягужинскій.

— Не все.

— Сказывай все.

— Говорилъ мнѣ еще архіерей: желаю-де въ Польшу отъѣхать.

— Для чего?

— Дабы не быть псомъ патріарша престола.

— Замолчи! не кощунствуй!—крикнулъ на него Ягужинскій.

— Ты что кричишь, холопъ царевъ! (И подсудимый зазвенѣлъ цѣмью).—Я и на страшномъ судѣ не замолчу.

Всѣ сенаторы встали съ мѣстъ.

— Въ застѣнокъ его,—проговорилъ Головкинъ.

Подсудимаго увели въ застѣнокъ. За нимъ послѣдовали всѣ сенаторы.

— Утверждаешься на словѣ?—еще разъ спрашиваетъ Ягужинскій.

— Утверждаюсь.

— Палачи! дѣлайте свое дѣло.

На подсудимаго надѣваютъ пыточный хомутъ, къ одной ногѣ приязываютъ веревку и тянутъ на дыбу. Отъ тяжести тѣла и еще болѣе того, что одинъ изъ палачей всѣми силами натягиваетъ веревку, приязанную къ ногѣ подсудимаго, руки несчастнаго выскакиваютъ изъ сутаповъ.

— Бей!—говоритъ Ягужинскій одному палачу.

Удары палача не измѣняютъ рѣшимости фанатика. Онъ упорно молчитъ.

Сенаторы ждутъ, думая, что невыносимыя муки заставятъ несчастнаго причать, молить о пощадѣ, измѣнить показанія...

Ждутъ десять минутъ... двадцать... двадцать пять... Можно задохнуться на вискѣ, обезумѣть отъ боли... Нѣтъ!

Палачъ отъ времени до времени повторяетъ свои удары, отъ которыхъ волъ заревѣлъ бы...

Нѣтъ! не реветъ...

Еще ждутъ... Становится скучно и досадно.

— Утверждаешься на послѣднемъ показаніи?—нетерпѣливо спрашиваетъ генераль-прокуроръ.

Молчать.

— Стоишь на словѣ? (къ палачу). Ударь сильнѣе!—Стоишь?

Молчаніе.

Ждутъ... Тридцать минутъ... сорокъ...

— Вѣдомости пришли изъ Астрахани, что государь въ море отплываетъ,—говоритъ Головкинъ.

— Не одобровать Миръ-Махмуду,—замѣчаетъ Брюсъ.

Опять ждутъ.

— Пишутъ мнѣ изъ вотчины—засухи стоятъ, урожаи плохи, чай, ждутъ,—заводитъ Голицынъ.

— Арбузы, сказываютъ, государю полюбились въ Царицынѣ—быковскіе,—поясняетъ Шафировъ.

— Да, въ сухой годъ арбузы хороши бывають, и ягодъ прорва,—добавляетъ Ягужинскій.

Ждутъ. Молчать Левинъ.

— Еще удар!

Ни звука... Ждутъ, слушаютъ... Никакъ говорить?—Да, говорить.

— Матушка! матушка! погляди на меня съ небесъ, на сына твоего, на Васю, — шепчетъ несчастный: — посмотри, матушка! какой я славы дождался...

— Заговаривается, — замѣчаетъ Голицынъ: — пора бы снять.

— Дуня! Евдокѣшка... ты видишь меня... порадуйся...

— Да, бредить.

— А ты, Оксаночка, — гдѣ ты?

— Снимите! — приказываетъ Головкинъ: — сорокъ-пять минутъ висѣлъ.

Снимаютъ. Ждутъ слова, мольбы — напрасно!

Подсудимый поднимаетъ руки къ небу и говоритъ восторженно:

— Благодарю Тебя, Всемогущій Воже, яко сподобилъ мя мученической славы! Славлю имя Твое святое нынѣ и присно!

— Не снимаешь свой оговоръ съ архіерея Стефана? — снова спрашиваетъ Ягужинскій.

— Не снимаю! Суще на архіерея право тѣ слова показаль... А се нынѣ добавлю: онъ же архіерей, говорилъ мнѣ, что будутъ писать токмо три иконы да распятіе, а достальныя-де стануть на воду пускать и жечь. И онъ же говорилъ мнѣ: „ѣдучи до Новгорода, въ дорогѣ, помолчи, а отъ Новгорода сказывай, чтобъ иконы убирали“...

Сенаторы съ недоумѣніемъ, а иные и съ тайною радостью посмотрѣли другъ на друга: приходилось допрашивать великаго старца, блюстителя патриарша престола, митрополита Стефана Яворскаго.

Когда Левина увели, графъ Головкинъ обратился къ сенаторамъ:

— Будемъ допрашивать архіерея, господа сенатъ?

— Повинны въ силу указа царева, — замѣчаетъ Ягужинскій.

— Да будетъ такъ! Воля царева — мать закона: она его рождаетъ, — пояснилъ, не безъ задней мысли, Долгоруковъ.

Когда Левина вывели изъ воротъ генеральнаго двора, чтобы снова отвести въ тюрьму тайной канцеляріи, народъ съ боязнью разступился передъ нимъ: лицо его выражало что-то такое всепрощающее, необычайное между людьми, что становилось страшно чего-то.

Одинъ Омушка не испугался. Напротивъ, онъ быстро подошелъ къ арестанту и поклонился ему до земли. Затѣмъ, сѣвъ верхомъ на кляку, какъ это дѣлаютъ ребятишки, когда играютъ въ лошадки, сталъ прыгать впереди Левина, показывая видъ, что скачетъ.

— Пошелъ прочь, дуракъ! — закричалъ на него одинъ солдатъ, повидавшему, не русскій. — Что ты дѣлаешь?

— Ъду къ Марѣ Акимовнѣ и къ Иванъ Захарычу, — отвѣчалъ юродивый загадочно.

— Затѣмъ? — спросилъ купецъ, знавшій уже, кто разумѣлся у юродиваго подъ именемъ „Марьи Акимовны“, и кто былъ „Иванъ Захарычъ“.

— Чтобъ Марья Акимовна сына своего попросила отворить райскія двери.

— Для кого?

— Вонъ для него.

И юродивый, указавъ на Левина, поскакалъ верхомъ на палочкѣ среди изумленныхъ москвичей.

— Ишь, божій человекъ!— Христа ради юродствуетъ, радуется,— замѣтила баба, несшая хлѣбъ съ базара:— Господь, должно, радость намъ послать— хлѣбушка подешевѣть.

— Держи, баба, карманъ!— обрѣзалъ ее купецъ:— юродивый радуется— къ худу, а плачетъ— къ добру.

Левина уже не видно было. Слышалось только издали мѣрное позвякиванье кандаловъ.

— Слышите! слышите!— говорилъ вновь откуда-то взявшійся Омушка, прислушиваясь къ звяканью желѣза:— это Петруша апостолъ звенить райскими ключами... Отпираетъ, отпираетъ... Ай да Петруша!

XXVII.

Очная ставна съ Стефаномъ Яворскимъ. Левинъ на спицахъ.

Идетъ допросъ Стефана Яворскаго. Митрополита допрашиваютъ не въ синодѣ, а на дому, „ради болѣзни“.

И духовный, и свѣтскій верховные суды, въ полномъ составѣ, собрались вмѣстѣ.

Но кто кого судить? Этотъ ли ветхій, маститый, съ кроткими глазами старецъ, въ митрополичьемъ одѣяніи, сидящій особо, поодаль отъ другихъ, и задумчиво перебирающій свои четки, къ концу которыхъ подвѣшено маленькое золотое распятіе, утвержденное на перламутровой, искусно выточенной мертвой головѣ? Онъ-ли судить это сонмище вельможъ свѣтскаго и духовнаго чина, сидящихъ противъ него за особымъ столомъ? Или эти вельможи, не смѣющіе прямо взглянуть въ кроткіе глаза подсудимаго и точно слышащіе надъ собою приговоръ юродиваго, что судять всегда виноватые правого, а не правый виноватыхъ,—судять этого кроткаго старика?

Въ числѣ судей—врагъ Стефана Яворскаго, пронырливый и завистливый соотечественникъ Стефана, воспитанникъ іезуитовъ, украинецъ Теофанъ Прокоповичъ. Жесткое, хитрое лицо его выражаетъ скрытое торжество подлечиной смиренія. Рядомъ съ нимъ—другіе члены синода: архимандриты чудовскій, новоспасскій и симоновскій. Это—высшій духовный судъ.

Отдѣльно отъ нихъ сидятъ члены свѣтскаго верховнаго суда—„господни сенатъ“: графъ Головкинъ, лукавые глаза котораго, словно мыши, вползали въ норы, князь Григорій Долгоруковъ, Яковъ Брюсъ, Шафиръ, князь Димитрій Голицынъ, графъ Матвѣевъ и Ягужинскій.

Ягужинскій протязно, внятно и съ разстановками читаетъ безконечныя показанія, данныя Левинымъ въ тайной канцеляріи, въ сенатѣ и въ за-

стѣнкахъ подъ пытками 28-го апрѣля, 8, 11, 15 и 26-го іюня и—последнее—5-го іюля.

Утомительно это чтеніе и мучительно для Стефана Яворскаго: имя старика попадаетъ на каждой страницѣ; рядомъ съ этимъ именемъ звучатъ слова—антихристъ, царь, антихристовы печати, блудники-монахи...

При подобныхъ словахъ то въ глазахъ Теофана Прокоповича блеснетъ зловѣщій огонекъ, то глазки Головкина засвѣтятся, словно гнилушка ночью. Но задумчивые глаза подсудимаго старика смотрять куда-то далеко-далеко, не-то на далекую, милую, въ туманѣ старческой памяти выступающую Украину, на родной Нѣжинъ, на старое дерево въ девадѣ съ вороньимъ гнѣздомъ, не-то—въ близкую могилу, у которой уже лежитъ готовая лопата, чтобы засыпать землей кроткіе, отглядѣвшіе свой вѣкъ глаза, чтобы уже не глядѣть имъ въ невозвратное прошлое, на невозвратную Украину.

Ни Прокоповичъ, ни Головкинъ, ни Ягужинскій—ничего не могутъ прочитать въ этихъ глазахъ, потому что ихъ реальный умъ незнакомъ съ тою рѣчью, которую говорятъ задумчивые глаза подсудимаго.

Наконецъ, чтеніе показаній Левина кончено.

Подсудимый глубоко вздохнулъ, но не измѣнилъ ни своего положенія, ни задумчиваго выраженія глазъ.

Помолчавъ немного, Головкинъ медленно произнесъ:

— Что будетъ угодно отвѣтствовать на сіе вашей святинѣ?

Стефанъ Яворскій перенесъ на него свои глаза, потомъ, медленно перенося ихъ на недоумѣвающія лица всего собора, началъ говорить тихо, плавно, спокойно, совершенно дѣловымъ языкомъ:

— Оный Левинъ въ Нѣжинѣ у меня былъ ли и такіа слова, которыя въ разспросѣ его показаны, говорилъ ли, того за многопрошедшими годами сказать не упомяну. А въ Петербургѣ, въ прошломъ 1721 году, онъ, Левинъ, ко мнѣ прихаживалъ не однажды и просилъ прилежно меня, чтобы ему дать грамоту о постриженіи, и я говорилъ ему, чтобы онъ просилъ въ военной коллегіи объ отставкѣ отъ службы, и когда-де свободный отъ службы указъ за руками генераловъ и за печатью ему дадутъ, тогда-де я и о постриженіи его грамоту дамъ. И потомъ онъ сказалъ мнѣ, что оный указъ взялъ и просилъ меня, чтобы я о постриженіи его далъ письмо въ Соловецкій монастырь къ архимандриту. И я такое письмо ему далъ.

Ягужинскій усердно записывалъ каждое слово митрополита. Привычное перо скрипѣло при общей тишинѣ, какъ бы торопяся уловить не то, что говорилъ подсудимый, а то, что онъ думалъ и чувствовалъ..

Помолчавъ немного, митрополитъ продолжалъ:

— Да, все это было такъ, какъ онъ сказывалъ. А такихъ словъ, что будто бы онъ при мнѣ называлъ государя антихристомъ и будто я молвилъ, что-де онъ, государь не антихристъ, а иконоборецъ, и будто я послалъ его, съ келейникомъ своимъ въ сенатъ смотрѣть образа и къ соловѣцкимъ старцамъ будто для провѣдыванія, каково въ оной обители жить, также и въ Невскій монастырь къ Прозоровскому, а также о не-

подписаніи подъ пунктами о синодѣ и о царевичѣ и что будто въ Польшу я хотѣлъ отъѣхать,—и такихъ словъ я отъ Левина не слыхалъ и самъ ему не говаривалъ, и ничего того не бывало.

Перо Ягужинскаго такъ рѣзко скрипнуло на послѣднемъ словѣ, точно крикнуло: „Неправда! неправда!“

И подъ Теофаномъ Прокоповичемъ затрещало старое кресло. Глаза его свѣтились, словно у борзой собаки, несущейся за лисою... „Охъ, уйдесть, охъ уйдесть, старая лиса“!...

А митрополитъ продолжалъ:

— Да и наединѣ со мною Левинъ никогда не бывалъ, и въ спальнѣ у меня не бывалъ также, а бывалъ только въ передней палатѣ или въ крестовой, и то при другихъ людяхъ, а не наединѣ, и многожды дожидался меня на крыльцѣ и прашивалъ дорогою о постриженіи же. А къ полу Никифору Лебедкѣ, можетъ быть, что я его просить о воспомоществованіи у свѣтлѣйшаго князя объ отставкѣ отъ службы и посылалъ, понеже Лебедка отецъ духовный свѣтлѣйшему князю и всему дому его былъ и могъ бы ему помощь учинить.

Митрополитъ замолчалъ. Молчало и все собраніе сановниковъ.

— И о всемъ сказанномъ, ваша святыня, неотступно подтверждаетъ?—спросилъ, наконецъ, Головкинъ.

— Ей, ей,—отвѣчалъ митрополитъ:—о всемъ сказанномъ передъ Богомъ и передъ его императорскимъ величествомъ приношу я самую истину такъ, какъ явиться мнѣ передъ Богомъ. А ежели я въ семъ отвѣтствованіи сказалъ, что не истинно и хотя мыслю къ тѣмъ Левина злымъ словамъ воснулъ, то дабы мнѣ во адѣ со Іудею вѣчно мучиться.

Ягужинскій всталъ и поднесъ ему то, что записалъ съ его словъ. Митрополитъ внимательно прочелъ, и, подойдя къ аналою, на которомъ стояла чернильница, взялся за перо.

Теофанъ Прокоповичъ попрежнему не спускалъ съ него глазъ... „Охъ, уходить старая лиса“...

— Ой!—вдругъ вскрикнулъ Теофанъ въ испугѣ:—что это! что это! съ нами Богъ!

Митрополитъ оглянулся, и кроткое, задумчивое лицо его освѣтилось улыбкой.

— Ахъ ты, бабась дурный! що ты робишь? Якъ злякавъ преосвященнаго владыку,—сказалъ онъ и поспѣшно подошелъ къ испуганному Теофану.

Оказалось, что ручной сурокъ, вывезенный изъ Малороссіи: и выкорщенный Яворскимъ, принялъ полу рясы Теофана Прокоповича за полу своего хозяина, Яворскаго, уцѣпился за нее зубами и тянулъ для какихъ-то своихъ сурковыхъ соображеній. Почувствовавъ это и увидавъ, что его щипать за полу какой-то звѣрь, Теофанъ Прокоповичъ испугался этой неожиданности и закричалъ.

— Ахъ ты, дурной бабась! — продолжалъ добродушно митрополитъ,

грозясь на звѣрка пальцемъ: — выбачайте его, дурного, ваше преосвященство... Простить великодушно... Это у нихъ, должно быть, ссора вышла съ сорокою, такъ онъ меня и зоветъ на судъ.

Въ это время изъ другой комнаты вышла и сорока, скача по полу и держа во рту апельсиновую корку.

— Вотъ она, злодѣйка, — сказала добродушно старикъ.

Все грозное судилище разсмѣялось. Смѣялся и Теофанъ Прокоповичъ, но съ досадою.

— Геть видсия, дурни! — затопалъ на своихъ друзей старикъ и выгналъ ихъ въ другую комнату.

Потомъ, снова подойдя къ аналою и взявъ перо, онъ задумался. Вѣроятно, ему вспомнилась Малороссія, потому что, подумавъ немного, митрополитъ сказалъ:

— Такъ, такъ, припамятоваль... Дай Богъ память — старъ становлюсь, забываю... Да, такъ. Былъ у меня Левинъ въ Нѣжинѣ и просилъ о заступленіи къ генералу Ренну, понеже онъ, Левинъ, въ то время, не вѣдавъ въ какомъ дѣлѣ, былъ арестованъ и шпага у него снята, и по моей просьбѣ шпага ему отдана была попрежнему.

И взявъ перо, онъ дрожащею рукою вписалъ все это въ свое показаніе и подписался.

Головкинъ взялъ подписанное, повертѣлъ въ рукахъ и, метнувъ своими свѣтящимися гнилушками на Теофана Прокоповича, потомъ въ Ягужанскаго, обратился къ Яворскому съ такою медовою рѣчью:

— Ваше высокопреосвященство! мы радуемся радостію великою, что Богу угодно было, въ лицѣ твоей святости, оправить своего служителя предъ лицомъ его императорскаго величества о взведенномъ на твою святость недостойномъ поклѣнѣ. Но дабы убѣлить паче свѣга вѣрность твою предъ его величествомъ, подобаеъ уличить предъ твоею святостию богомерзкаго клеветника и хульныхъ словъ огласителя, онаго Левина. Поставимъ его предъ тобою, и да поразитъ его божій гнѣвъ, аки Ананія и Сапфиру.

Митрополитъ повялъ, къ чему клонилась эта сладкая рѣчь.

— Вы хотите поставить меня къ нимъ на очную ставку, — сказалъ онъ. — Да будетъ воля Божія.

— Нѣтъ, не на очную ставку, ваше высокопреосвященство, а ради улики мерзкихъ дѣлъ онаго Левина.

— Дѣлайте, что вамъ велитъ совѣсть, — сказалъ старый святитель и сѣлъ на прежнее мѣсто.

Дали знакъ, чтобъ ввели Левина. Онъ былъ приведенъ раньше на митрополичій дворъ.

Ввели и Левина. Судьи, которые еще недавно пытали его и дивились его необычайной силѣ воли, свѣтившейся въ каждой чертѣ лица, теперь не узнавали его. Онъ вошелъ въ глубокомъ смущеніи. Никому не кланяясь и не глядя ни на кого, онъ подошелъ прямо къ Стефану Яворскому,

звеня кандалами, и, ставъ на колѣни, поцѣловалъ край его одежды съ такимъ благоговѣніемъ, какъ бы прикладывался къ образу.

Митрополитъ молча благословилъ его.

Поднимаясь съ полу, Левинъ робко взглянулъ на старика. Старикъ плакалъ.

Левинъ не выдержалъ. Все тѣло его затряслось такъ, что зазвенѣли желѣза, и онъ, припавъ лицомъ къ ногамъ митрополита, въ изступленіи заговорилъ:

— Лобзанія мои да будутъ гвоздьми, ими же пригвождены имуть нози твои святыя ко кресту страданія. Слова мои да будутъ вѣнцомъ терновымъ на главу твою честную, отче! Слезы мои да будутъ оптомъ, имъ же напою я уста твои кроткія! Сердце и ребра твои я, окаянный, копіемъ неправды прободу и голени твои хуюлю на тя преломлю, старче Божій!

Всѣ съ удивленіемъ смотрѣли на фанатика. Онъ продолжалъ валяться у ногъ митрополита, звеня кандалами въ судорожныхъ движеніяхъ.

— Встань, сынъ мой,—кратко говорилъ старикъ:—обличай меня.

Левинъ всталъ.

— Слушай отвѣты архіерея,—громко сказалъ Ягужинскій.

И началъ читать показанія митрополита. Левинъ слушалъ, не поднимая глазъ.

— Архіерей утверждаетъ, что ты показалъ на него ложно,—сказалъ Головкинъ по окончаніи чтенія.

— Не ложно показалъ я, а сущую правду, — отвѣчалъ Левинъ съ прежнею энергією.

— И утверждаешься на первомъ показаніи?

— Утверждаюсь!

— И на томъ стоишь, будто архіерей называлъ царя Петръ Алексѣевича антихристомъ?

— Стою и стоять буду!

— Ни отъ одного слова не отрекаешься?

— Нѣтъ! нѣтъ! нѣтъ!

Феофанъ Прокоповичъ, видимо, пряталъ свои торжествующіе глаза... „А! попалася старая лиса!“

— А вѣдаешь ли ты, какими муками ты мученъ будешь за твои цулы?—спросилъ Ягужинскій.

Левинъ посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ.

— Я ишу мукъ, а ты мнѣ грозишь ими! Молю о чашѣ меда, и ты даешь мнѣ ее. Давай же скорѣй! Вотъ мои руки (и Левинъ вытянулъ ихъ), вылушивай кости изъ кожи, отдѣляй суставъ отъ сустава, вытягивай жилы мои, аки струны—и струны сіи будутъ гремѣть хвалу Богу Вседержителю! Га! а они страшатъ меня муками—мучьте же меня больше! Мучьте святое тѣло архіерея Божія—вы не достойны ступать вашими ногами по той землѣ, идѣ же его честныя нозѣ ходятъ! Зовите мучителей, зовите антихристовъ!

Онъ пришелъ въ такое изступленіе, что его тотчасъ же вывели.

Ночь. Казематъ тускло освѣщенъ нѣмкимъ. За рѣшеткою казематнаго окна слышны мѣрные шаги часового.

Левинъ сидитъ у стола, опустивъ сѣдую голову на руки.

— Матушка! матушка! видишь ты славу мою?—говоритъ онъ тихо.— Тѣло мое болитъ, кости ломаютъ во мнѣ,—а я радуюсь духомъ... Дожилъ... Доживу ли до послѣдней славы.

Онъ вспоминаетъ послѣднюю очную ставку съ старымъ митрополитомъ.

— Отче святой, прости, прости меня! Мукамъ отдаю я тѣло твоё ветхое... Я хочу вмѣстѣ съ тобою стоять одесную Бога Вседержителя...

Онъ помолчалъ и, взглянувъ въ оконце, увидалъ, что ночь уже на исходѣ—востокъ алѣетъ, воробьи за окномъ чирикаютъ, ласточки проснулись.

Жаль ему чего-то стало.

— Али мнѣ прошлаго жаль—по младости востосковалась душа? Нѣтъ, не жаль мнѣ младости—не воротить ее. Не почеряѣтъ моею головою сѣдой, не потечи быстрой рѣчушкѣ вспять... Али мнѣ Ксенюшку жаль неповинную? Да и ее не воротить—и къ ней дороженька заросла, а можетъ она и гробовой доской прикрылася... Али объ Евдокѣюшкѣ душевѣнка моя восплакала? Нѣту, разсыпалась она золою по лѣсу, въ дымъ ея тѣло дѣвичье развѣялось... А все онъ, лиходѣй мой, заѣлъ жизнь мою... Одного жаль мнѣ—старца божія, архіерея кроткаго... Плакалъ онъ сегодня, глядячи на мое окаянство. Тяжко мнѣ было видѣть персону его благую, благолѣпную... А какъ и его поведутъ на плаху, на поруганіе? Нѣтъ, сниму съ него оговоръ, завтра же пойду въ тайную и сниму...

Все алѣе и алѣе становится востокъ... Утро заглядываетъ въ тюремное оконце... Скоро день заглянетъ...

А ему что до этого?—День, ночь, жизнь, смерть—все это для него чужое... все пропало... наступаетъ вѣчность...

Жаркій лѣтній день заглядываетъ въ казематное оконце. Желѣзные рѣшетки не мѣшаютъ солнцу, не мѣшаютъ жизни врываться въ тюрьму...

А для него нѣтъ ужъ жизни и солнца нѣтъ—не надо ничего.

Онъ былъ въ тайной. Снялъ оговоръ съ митрополита...

Чего ему это стоило! Онъ снялъ оговоръ на дыбѣ... подъ 25-ю ударами палача—все вынесъ за добраго старичка, и ему теперь легче... Всѣ кости переломаны, вся спина сплошною ранюю стала—а легче!

— Непостижима ты, душа человѣческая!—думается ему.—Легче мнѣ... мама! мама! я къ тебѣ хочу... я плакать хочу, такъ, какъ маленькимъ плакалъ... Нѣтъ, не сумѣю ужъ такъ плакать...

— Господи Исусе Христе Сыне Божій, помилуй насъ! — слышится голосъ за дверью.

— Аминь.

Входитъ монахъ.

— А! это ты, Рѣшиловъ... Опять пришелъ увѣщевать меня?

— Да, ишу твоего спасенія.

— О! Іуда! Вотще трудишься... Поди къ моимъ мучителямъ и скажи имъ послѣднюю волю мою... Коли меня выпустятъ отсюда, я пойду по лицу земли російской и во всѣхъ градахъ и на путяхъ кричать и порицать царя злыми словами буду и новую вѣру осуждать на всѣхъ стогнахъ и распутіяхъ, дабы народъ ужасался... И нынѣ, при тебѣ, въ очи твои лукавыя взирая, вашего антихриста злыми словами стократы порицаю, и новую вашу неправую вѣру оуждаю, и тѣло и кровь Христову, что неправые попы даютъ, за истинное тѣло и кровь Его, Спасителю, не приѣмлю, а иконы ваши на генеральномъ дворѣ идолами называю, потому что у образа Спасителя не написана рука благословляющая, а у образа Пресвятыя Богородицы Младенца не написано, а у образа Іоанна Предтечи благословляющей руки не написано... И то—знаменіе антихристово... Онъ пришелъ—знай это... Вѣдай и сіе: у графа Гаврилы Головкина, что судить меня, у сына его—красная щека, да у Ѳедора Чемоданова у сына жъ его пятно черное на щекѣ, и на томъ пятнѣ волосы черные жъ, а они, Головкина сынъ и Чемоданова сынъ же, братья двоюродные, а такіе люди будутъ всѣ во время антихристово—такъ и въ писаніи сказано! Поди и скажи это всѣмъ, а меня оставь—мнѣ смерть въ очи смотреть.

Онъ замолчалъ и упалъ головою на столъ...

— Уйди! уйди отъ меня! — говорилъ онъ судорожно: — не мѣшай мнѣ глядѣть въ очи смерти... Тамъ я вижу мать мою—и ихъ вижу—ты... Ты не долженъ знать именъ ихъ... Уйди! я съ ними хочу говорить... Рѣшиловъ ушелъ.

Сенаторы на генеральномъ дворѣ. Опять полный соборъ судей.

Левинъ стоитъ на *спинахъ*... Острые зубья впились въ его голыя ноги...

Велика изобрѣтательность человѣка. Великъ умъ его творческій и разрушительный. Велика, страшно велика и воля человѣческая...

Стоя на *спинахъ*, Левинъ говоритъ свое послѣднее слово:

— Все, что я говорилъ прежде—и то я говорилъ съ умысломъ, чтобъ время продолжить, дабы народъ рѣчей моихъ наслушался... И нынѣ я стою на прежнемъ: небо видитъ меня... небо слышитъ мои рѣчи, и оно повѣдаетъ ихъ людямъ... Я самъ искалъ смерти, я самъ, волею моею, пострадать хотѣлъ—я кричу мои слова къ Богу, къ небу...

На рѣшетку двора съѣла ворона.

— Вонъ, птица сія слышитъ мои слова—она повѣдаетъ ихъ людямъ—она выключетъ мои глаза и мозгъ мой—и расскажетъ людямъ мысли мои—каркать будетъ—и люди будутъ думать моею мыслию и видѣть зло міра сего моими очами, какъ я его вижу... Аминь.

Больше онъ не сказалъ ни слова.

А сенаторы ждуть... Да и нервы же были у сенаторовъ!

XXVIII.

Казнь. Возвращение на родину головы Левина в банн со спиртомъ. Идеалисты!..

Неувядаемою славою гремитъ во всемъ мірѣ, въ Старомъ и Новомъ Свѣтѣ, римская Тарпейская скала. Со школьной скамьи имя этой скалы врѣзывается въ память современныхъ учащихся поколѣній. А сколько генераций отжившихъ поколѣній унесли съ собою въ могилу память этого славнаго имени. И не умереть это имя до тѣхъ поръ, пока людей будетъ интересовать прошедшая жизнь человѣчества, пока исторія человѣка и его заблужденій не перестанетъ напоминать людямъ, что медленно, слишкомъ медленно, постыдно медленно превращаются они изъ историческихъ звѣрей въ историческаго человѣка, въ того человѣка, который бы имѣлъ право не презирать себя и сожалѣть лишь о томъ, что люди слишкомъ долго, дольше, чѣмъ опредѣлила сама природа, оставались звѣрями.

Неувядаемую славу въ лѣтописяхъ человѣческаго звѣрства и человѣческой глупости Тарпейская скала заслужила тѣмъ, что съ нея римляне сбрасывали римлянъ же за то, что первые были глупѣ послѣднихъ, а послѣдніе глупѣ первыхъ. Тарпейская скала была для классически глупаго Рима мѣстомъ публичной казни государственныхъ преступниковъ.

Такою Тарпейскою скалою въ старой Москвѣ было Болото.

Неувядаемую славу въ исторіи русскаго народа стяжало Болото въ особенности въ XVII и XVIII вѣкахъ: какія стада раскольниковъ пережгли тамъ на кострахъ, сколько головъ было тамъ отрублено, все въ силу той же неувядаемой человѣческой глупости, какіе звѣри не перебывали на этомъ Болотѣ и въ качествѣ казнимыхъ и въ качествѣ казнящихъ!

Вонъ и теперь Болото запружено народомъ. Должно быть, зрѣлище ожидается—казнить кого-нибудь будутъ...

Какъ любопытно!

А еще такъ рано. Утреннее солнце, смотрѣвшее на глупую, жалкую землю въ этотъ день, 26-го іюля 1722 года, еще не успѣло высушить огромный костеръ, поставленный на Болотѣ для сожженія кого-то и ночью смоченный дождемъ. Капли дождя, какъ будто слезы человѣка, каплютъ съ бревенъ и брилліантами блестятъ на солнцѣ. А скоро эти мокрыя бревна окрасятся человѣческою кровью, тогда зрѣлище будетъ еще величественнѣе. Не даромъ такъ валить народъ къ этому костру. А потомъ его будутъ сушить, да не просто сушить, а вмѣстѣ съ сожженіемъ человѣческаго тѣла. Вотъ зрѣлище-то будетъ величественное и поучительное! Если бъ оно не было поучительно, если бъ оно не было заманчиво и не привлекало толпы любопытствующихъ, то подобныя зрѣлища никогда не устраивались бы—не для кого. А благо есть охотники посмотрѣть, какъ

мучать человѣка, какъ жгутъ его люди же, — ну, и давай побольше такихъ развлеченій...

Старая Русь и новая Русь сошлась у костра. Старая Русь—брадатая, въ неуказномъ платѣ; Новая Русь—бритая, въ указномъ платѣ.

Бородачи робко трутся межъ небородачами — того и гляди потащутъ, хотя они и оградили себя закономъ: вонъ какіе на нихъ зипуны съ стоячими клееными козырями да однорядки съ лежащими ожерельями. Мнутса между ними и старовѣры — у тѣхъ указныи красный козырь. За право носить то, что имъ природа дала—бороды, они заплатили по пятидесяти рублей. Сумма не маленькая въ тѣ времена. На эту сумму можно было купить цѣлую кучу рекрутскихъ квитанцій...

Сбитеньщики выкрикиваютъ сбитень горячій. Пирожники — пироги горячіе. Грушевики зовутъ—по грушу по варену по сладку...

А вонъ и хохоль—черкашенинъ изъ Украйны. Какъ тебя сюда занесла легкая? Шапка-смушка въ поларшина вышины—такъ и гнетъ голову. Шаблюка звенить, словно возъ съ желѣзомъ ѣдетъ. Усища—на диво—по двѣ пяди длиною на грудь свисли. Чоботы желтые на высокихъ подборахъ. А шаровары—Боже мой!—широки какъ замыслы покойнаго—нехай легенько агадается—Ивана Степановича...

И чернички съ кружками—тутъ же. Да какія миловидныя! молодыя еще, только загорѣлыя: должно быть, издалека пришли и случайно сюда попали...

— Охъ, панночко! та се-жъ мабудъ нашъ козакъ—дивиться—онъ иде...

— Та козакъ-же-жъ—запорожець...

И глаза у чернички затуманились... А глаза такіе большущіе, сѣрые, ядовитые да ласковые...

— Пресвята Богородиця! та се-жъ винъ, панночко.

— Хто, Докійко?

— Та Омелько же—Пивторагоробця...

Омелько проходитъ мимо и бросаетъ въ кружки по карбованцу. Звонко крикнули казацкіе карбованцы! Порадовалась душа казацкая.

— За душу раба божого Охрима козака—Пивторагоробця...

— Дядинька! та се-жъ вы?—робко спрашиваетъ черничка съ черными глазами и съ икрами невообразимыхъ размѣровъ.

Запорожець останавливается.

— Та я-жъ,—отвѣчаетъ онъ лаконически.

— А вы насъ и не признали?

Запорожець всматривается, вспоминаетъ.

— Ни, не знаю,—отвѣчалъ онъ.

— Та я та Докійка, що у Хмары жила, а вы мени ще монисто приносили, якъ козаки Синопъ зруйновали... А то — моя панночка, Оксенія, теперь черничка.

Запорожець шибко обрадовался своимъ землячкамъ.

Толпа затерла ихъ, бросившись къ костру, гдѣ стоялъ какой-то высокій

старикъ и громко читаль то, что было написано на большой жестяной доскѣ, прибитой къ столбу.

„Въ нынѣшнемъ 1722 году, іюля въ 26 числѣ, — читаль старикъ, — по указу его императорскаго величества и по приговору правительствующаго сената, старецъ Варлаамъ, а по обнаженіи монашества Василій Саввинъ сынъ, Левинъ, который напредъ сего былъ капитаномъ“...

— А! капитанъ — не нашъ братъ, — замѣтилъ зипунъ однорядкѣ съ клѣенымъ козыремъ.

— Нашему брату много чести... Эки палаты сосновыя, — процѣдила однорядка.

„...казненъ будетъ смертію для того (продолжалъ старикъ): марта въ 19 числѣ сего же году, пришедъ онъ, Левинъ, въ городъ Пензу на торгъ, кричалъ всенародно злыя слова, касающіяся въ превысокой персонѣ его императорскаго величества и возмутительныя къ бунту. А въ тайной канцеляріи по разспросамъ его, Левина, и по розыскамъ явилось, что не токмо на Пензѣ, но и прежде того отцамъ духовнымъ на исповѣди и на Пензѣ, въ Предтеченскомъ да въ Симбирску въ Жадовскомъ монастырѣ игуменомъ и начальному своему отцу старцу Іонѣ, и въ Саранскомъ уѣздѣ, въ церкви всенародно, также ѣдучи изъ Санктъ-Петербурга въ Пензенскій уѣздъ, дорогою всѣмъ тѣ бунтовныя слова онъ, Левинъ, разглашалъ явно, къ тому-жъ показаль онъ разспросомъ, что и впредь-де ежели ему означенную вину отпустить и отъ смерти его освободятъ, то-де имѣль онъ намѣреніе, чтобъ во всѣхъ городѣхъ и на путѣхъ народъ къ бунту возмущать“...

— Это, значитъ, за Докукинымъ нодѣячимъ пошелъ, — замѣтила однорядка.

— Какой такой Докукинъ? — любопытствуетъ зипунъ.

— А что колесовали года три тому будетъ.

— За что?

— А народъ смущаль.

— Ишь ты — не смущай.

— А ты ипѣ слушай! — вмѣшался красный козырь. — Что мелешь — не смущай!..

„Да онъ же, Левинъ (продолжалось чтеніе), при разспросѣхъ своихъ показаль, что-де вѣру христіанскую православную онъ хулить, и тѣло и кровь Христа Спасителя нашего за истинное тѣло и кровь Его не приѣмлетъ, и святыя иконы называетъ онъ идолами, и ежели-де его допустить, то онъ ихъ исколетъ“...

— Вонъ оно что! исколетъ... А то не смущай! — кто смущаешь? — ворчалъ красный козырь — старовѣръ.

— Ну, и искололъ бы, — огрызнулся зипунъ.

— Что жъ! каковы иконы... можетъ, персты не такъ написаны...

— Не такъ! а ему на что? Такъ и колоть Бога-то?

Красный козырь отвернулся отъ зипуна.

„...И тѣмъ онъ, Левинъ (читалось дальше), показаль себя не токмо злымъ порицателемъ его императорскаго величества высокія персоны и возмутителемъ народа, но и богохульникомъ и иконоборцемъ...“

— Ишь куда, братъ, хватилъ! Конобонецъ, слышь... ну, за это и у насъ не похвалили-бы: у насъ конокрадовъ тоже сами мужики жгутъ,—философствовалъ зипунъ.

— Иконоборецъ, а не конокрадъ,—внушала однорядка.

— Все едино—воръ!—настаивалъ зипунъ.

Старикъ читалъ: „Да онъ-же нѣкоторыхъ духовныхъ и мірскихъ оклеветалъ и напрасно, а потомъ въ повинной своей написалъ, что онъ оклеветалъ ихъ напрасно. Да онъ же, богохульникъ, и по объявленіи ему смертной казни, исповѣдаться и святыхъ тайнъ причаститься не хотѣлъ, принося на тѣло и кровь Христа Спасителя нашего хулу; токмо уже предъ самою казною сущюю свою вышписанную злобу объявилъ явственно, и предъ Богомъ и предъ его императорскимъ величествомъ и предъ всѣмъ народомъ принесть вину и чистое покаяніе, написавъ о всемъ своеручно, исповѣдался и святыхъ тайнъ причастился. И хотя за вышписанныя его злыя вины достоинъ онъ былъ по указомъ мучительной казни, однако же для вышписаннаго его покаянія учинена ему будетъ казнь—отсѣчена будетъ голова, а туловище сожжено быть имѣеть, и тое голову послать на Пензу, гдѣ онъ то возмущеніе чинилъ, и поставить на столбъ для страха прочимъ злодѣямъ“.

Статная фигура запорожца съ густо-смуглымъ лицомъ и миловидныя, полузакрытыя черными кlobуками лица черничекъ снова выглянули изъ-за толпы, которая больше кучилась у костра и эшафота, гдѣ происходило чтеніе.

— И давно вже вы, Оксенія Остаповна, черницею?—спрашиваетъ запорожець такъ нѣжно и ласково, какъ повидимому трудно ожидать отъ этого богатыря.

— Десятый вже годъ минае,—отвѣчаетъ Ксенія (это была она).

— А въ якому монастыри?

— На Билоозери...

— О! далеко жъ видъ ридного Кіева.

— Та такъ далеко, такъ далеко, що здається мені—та золота Украина на тмъ свити стоить, що ни птиця зъ милои Украины не долетить сюда, ни мови ридной витромъ не донесе...

Изъ прекрасныхъ глазъ ея выкатились двѣ крупныя слезы и звонко ударились въ жестяную кружку. И Докійка плакала.

— Чомъ же вы, Оксенія Остаповна, у кievскій монастырь не пишли?—участно спрашиваетъ запорожець.

— Я й постриглась у Кієви, та царъ звелівъ заслатъ меня на Билоозеро.

— За що?

— За те, що не хотила выйти за его денщика—москаля, за якого-сь Орлова... А вы жъ якъ попали у Москву?

— Та мы были тутъ зъ паномъ гетьманомъ, зъ Скоропадкою—призвали царя прохати, щобъ не рушивъ козацкихъ вольностей. Такъ Скоро-

надько, хворый, поихавъ до дому, а мы ще zostались — насъ Москва не пускае... Та й очортила жъ бисова Москва? Яка-то вона погана та бридка — такъ бы й поланувъ на Вкрайну, нанизъ, у Запороги.

Ксенія вздохнула.

— И мы зъ Докійкою нагодали йти до ридного края — хочъ разъ глянуть, та и вмерти, — сказала она тихо, оглядываясь.

— А ты, Докійко, сама пшла въ черницы? — спросилъ запорожець.

— Та сама жъ. Якъ ото узято було панночку до Москвы, я вы знала видъ москаля - комиссара, ще бравъ мою панночку изъ монастыря у Києви, що їй наказано везти у якесь Биле Озеро, я взяла та й помандровала... Иду, та тильки й знаю два слова помосковськи — Москва та Биле Озеро — роспитую добрыхъ людей... Такъ и дойшла до самого Билого Озера.

— Отъ-такъ козырь-дивка! — засмѣялся запорожець. — Ты и въ рай дорогу знайдешъ.

— За панночкою хочъ и у пекло, — отвѣчала она смѣло.

— А якъ же вы зъ Билого Озера утикили?

— Насъ одпущено милостыню на монастырь прохати.

Толпа заколыхалась. Показался взводъ солдатъ и телѣга, на которой видѣлось что-то черное. Это былъ Левинъ, который сидѣлъ задомъ напередъ и держалъ въ рукахъ горящую восковую свѣчу... Страшная картина! Только человѣческій геній способенъ такъ унизить себя...

— Охъ, бидный! бидный! — тихо проговорила Ксенія. — Мати Божа! помилуй его... Кто винъ, вы не знаете?

— Казали люди, та забувъ. Копитанъ який-сь.

— А за вищо?

— Богородицю, кажуть, лаявъ. Та брешуть москали.

Телѣга остановилась. Взводъ раздвинулся и, пропустивъ осужденнаго на костеръ, снова сомкнулся.

Начался процессъ чтенія обвинительнаго акта. Последнее прощанье съ людьми, съ солнцемъ, съ свѣтомъ, со всѣмъ міромъ, съ жизнью.

Ксенія не видно лица осужденнаго. Онъ стоитъ, оборотаясь къ востоку, туда, гдѣ когда-то люди прибывали къ кресту Того, Кто желалъ имъ добра больше, чѣмъ они того стоили... Идеалистъ!..

Вотъ онъ кланяется востоку... сѣверу... югу...

Лицо его повернулось къ Ксеніи...

— Охъ, матинко! панночка! *се винъ!* — вскрикиваетъ Докійка. — Мати Божа!

Молнія прорѣзываетъ душу несчастной... Она узнаетъ его — своего спасителя, того, кто возвратилъ ей жизнь... на великое счастье... и потомъ — на величайшую муку...

Раздирающій душу вопль въ толпѣ... Это черничка...

Осужденный вздрагиваетъ. Глаза его ищутъ кого-то... нашли... нашли ее.

Невыразимое блаженство разливается по лицу его...

— Ксенія! Ксенія!—кричитъ онъ, протягивая руки съ высоты костра и намѣреваясь ринуться оттуда.

Но палачи схватываютъ его и бросаютъ на помостъ эшафота...

— Оксано?—Боже! я жить хочу...

Слышится лязгъ топора и—хригѣнье...

Костеръ, облитый горючими веществами, горитъ ярко, жарко, красиво... Только тамъ, гдѣ лежитъ туловище, дымится:—это еще не затлѣлось тѣло, не разгорѣлось сало человѣческое...

Около костра палачъ, держа голову Левина за сѣдые волосы, опускаетъ ее въ банку, которую бережно держитъ аптекаръ-нѣмецъ... Реалистъ держитъ голову идеалиста... Глупая, глупая голова!..

А вонъ казакъ Омелько Пивторагоробца, взваливъ на свои могучія плечи черничку, выносить ее изъ толпы...

Другая черничка плачетъ, такъ реально плечетъ, что не только плечи, но даже толстыя икры вздрагиваютъ...

Изъ толпы выскакиваетъ идеалистъ Омушка на палочкѣ верхомъ и радостно кричитъ:

— Пустите! пустите! къ Марьѣ Акимовнѣ радость везу!

Вѣдныя идеалисты!

Пенза. Базарная площадь, та площадь, гдѣ Левинъ возглашалъ свою проповѣдь на крышѣ... „Проповѣдь на горѣ“—и проповѣдь на крышѣ... Жалкій контрастъ!

На площади—высокій, новый каменный столбъ со шпицомъ.

На шпицѣ—голова Левина. И здѣсь она обращена на востокъ, туда гдѣ... эхъ, идеалисты!

Вокругъ этого столба—четыре другихъ, деревянные, поменьше. На нихъ взоткнуты головы попа Глѣба, попа Ивана, игумена Михаила и старца Юны, тѣхъ, которымъ говорилъ Левинъ, что свѣтъ кончается, что жить такъ нельзя.

Тутъ же стоитъ старикъ Варсонофій. Возвращаясь изъ Іерусалима, онъ зашелъ въ Пензу провѣдать старыя мѣста, и нашелъ голову своего друга. Старикъ не плачетъ—онъ вспоминаетъ царевича Алексѣя Петровича и Афросинюшку.

Черезъ площадь проходятъ старые калики переходжіе и поютъ: „Ой у Бога велика сила“. Идеалисты!

А вонъ въ окошко того домика видно—кто-то считаетъ деньги: „двѣсти-девяносто-восемь, двѣсти-девяносто-девять, триста... всѣ“. Это—посадскій человѣкъ Федоръ Каменьщиковъ, реалистъ, будущій російскій буржуа, получившій триста рублей за глупую голову идеалиста.

Вѣдныя, глухія идеалисты! Когда же вы поумнѣете?

К о н е ц ъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ГЛАВЫ

СТР.

Предисловіе	8
I Царевичъ Алексѣй Петровичъ въ Кіевѣ	7
II Сидячіе утопающей	12
III Левиць и Оксана	16
IV Примианіе и разлука	23
V Начало конца	29
VI Стефанъ Яворскій въ Нѣжинѣ	34
VII Калики переходячіе	41
VIII Царевичъ и Афросиньюшка	48
IX Выходъ царевича	56
X Царевичъ въ Неаполѣ	64
XI Ассамблея у Меншикова	70
XII Фрейлина Гамильтонъ	79
XIII Сторонники царевича на кольяхъ—и Левиць. Отомушка мродивый	87
XIV Левиць встрѣчается съ царемъ Петромъ I	95
XV Левиць въ крѣпости. Казнь фрейлины Гамильтонъ	108
XVI Катанье по Невѣ	112
XVII Левиць у Стефана Яворскаго	118
XVIII Въ лѣсъ! въ пустыню!	125
XIX Въ муромскихъ лѣсахъ	131
XX Муромскіе скиты. Евдокѣюшка	138
XXI Фанатики-раскольники	146
XXII Самосожженіе скитниковъ	152
XXIII Левиць на родинѣ	159
XXIV Постриженіе Левина. Проповѣдь объ антихристѣ	165
XXV Левиць въ тайной канцеляріи	171
XXVI Левиць въ застѣвкѣ	177
XXVII Очная ставка съ Стефаномъ Яворскимъ	183
XXVIII Казнь. Возвращеніе на родину головы Левина въ бан- кѣ со спиртомъ. Идеалисты!	188

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
Д. Л. Мордовцева.

ГАЙДАМАЧИНА

ИСТОРИЧЕСКАЯ МОНОГРАФІЯ

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Томъ XXVI.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Н. О. Мертца
1902.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 2 января 1901 г.

Типографія „В. С. Балашевъ и К^о“. Спб., Фонтанка 95.

Предисловіе къ 1-му изданію.

Предметомъ большей части своихъ историческихъ изслѣдованій, какъ неоднократно уже замѣчено въ печати, я избиралъ преимущественно темныя стороны изъ историческаго прошлаго русскаго народа. Я имѣлъ основаніе отдавать преимущество этимъ темнымъ сторонамъ передъ свѣтлыми, во-первыхъ, потому, что первыхъ, къ сожалѣнію, исторія русскаго народа—собственно народа, а не государства—представляетъ болѣе, чѣмъ послѣднихъ; во-вторыхъ, потому, что безъ нихъ русская исторія всегда являлась бы неполною, недоконченною книгою, картиною безъ тѣней, красокъ и достаточнаго освѣщенія.

Но „Пугачевщина“, „Гайдамачина“, исторія всѣхъ политическихъ самозванствъ и возмущающія нравственное чувство человѣка дѣянія атамановъ и разбойниковъ безчисленныхъ шаекъ понизовой вольницы, какъ поволжской, такъ и поднѣпровой, внося мрачный колоритъ и нерѣдко грязныя краски въ отжитыя русскимъ народомъ историческія эпохи, не могутъ, однако, остаться темнымъ пятномъ на страницахъ его исторіи.

Я уже имѣлъ честь высказывать въ своихъ историческихъ монографіяхъ глубокое убѣжденіе, что народъ, который, при неблагоприятной жизненной обстановкѣ, выдѣлялъ изъ себя Пугачевыхъ, „чудовищъ“ Заметаевыхъ, „главныхъ разбойниковъ“ Шагаль, Богомоловыхъ, Ханиныхъ, Желѣзняка, Гонту и всю массу понизовыхъ разбойниковъ,—этотъ народъ, лѣтъ черезъ восемьдесятъ, черезъ три-четыре генерации, способенъ уже выдѣлять изъ себя благородныхъ представителей во всѣ сферы государственной и общественной жизни—въ сферы литературную, служебную, на поприще широкой коммерческой дѣятельности, на земское дѣло, въ судебный мировой институтъ, и представители эти, правнуки и потомки тѣхъ, которые участвовали въ „пугачевщинѣ“, „гайдямачинѣ“, въ этихъ массовыхъ историческихъ убійствахъ, представляютъ нынѣ общественными и другими весьма сложными дѣлами не хуже почетныхъ историческихъ дѣятелей прежнихъ эпохъ.

Въ своихъ работахъ я исходилъ изъ того убѣжденія, что только при сравненіи съ прошлыми вѣками могутъ рельефнѣе выступать лучшія стороны нашего времени, которымъ мы желали бы гордиться передъ нашимъ прошлымъ, и только при сопоставленіи мрачныхъ и свѣтлыхъ явленій въ жизни русскаго народа можно видѣть, что пройдено этимъ народомъ и какъ пройдено. Потому, выяснитъ во всей полнотѣ исторію извѣстной болѣзни въ государственномъ организмѣ, написать, такъ сказать, скорбный листъ народа за прожитое имъ время и показать этотъ народъ въ болѣе здоровомъ состояніи—это должно быть едва ли не первою задачею для историка нашего времени и его нравственнымъ долгомъ.

Этими именно соображеніями авторъ „Пугачевщины“, „Гайдамачины“, монографій о политическихъ самозванствахъ и понизовой вольницѣ, оправдываетъ свое предпочтительное вниманіе къ наиболѣе темнымъ явленіямъ изъ нашего прошлаго. Въ силу этихъ именно соображеній онъ относитъ такое предпочтительное вниманіе не къ именамъ героевъ, полководцевъ и государственныхъ дѣятелей, которыхъ заслуги и безъ него достаточно оцѣниваются историками, а къ опозореннымъ исторіею именамъ политическихъ самозванцевъ и разбойниковъ, съ ихъ атаманами и есаулами, и гайдамаковъ, съ ихъ „ватажками“ и названными „батьками“.

Настоящая историческая монографія—„Гайдамачина“—подводится подъ общее опредѣленіе моихъ историческихъ изслѣдованій—*„Политическія движенія русскаго народа“* вслѣдствіе того, во-первыхъ, что и въ тѣхъ изслѣдованіяхъ, какъ и въ „Гайдамачинѣ“, выясняются аналогическія движенія русскаго народа какъ на Волгѣ, въ Пугачевщину и въ разгаръ дѣяній понизовой вольницы, такъ и на Днѣпрѣ—въ послѣдней политической вспышкѣ южно-русскаго народа, „уманскою рѣзней“, закончившаго свои ненормальныя политическія отношенія къ полякамъ и историческіе счеты съ ними; а во-вторыхъ, потому, что движеніе народа въ Поволжѣ и въ Поднѣпровьѣ вызывалось одними и тѣми же историческими и фізіологическими условіями жизни русскаго народа обѣихъ половинъ нашего обширнаго отечества, восточной и западной.

С.-Петербургъ,

1 іюня 1870 года.

Предисловіе ко 2-му изданію.

Являющийся нынѣ вторымъ изданіемъ историческій очеркъ, посвященный событіямъ, извѣстнымъ въ исторіи южной Россіи одѣ именемъ „гайдамачины“ или „коливщины“ („колищизна“), исанъ авторомъ еще въ 1868 году, когда архивныя данныя объ той эпохѣ, опубликованныя въ III томѣ „Архива Юго-Западной Россіи“ и обстоятельно разработанныя профессоромъ В. Б. Антоновичемъ, не могли быть доступны автору настоящей книги.

Поэтому неполноты и ошибки, на которыя указалъ профес. Антоновичъ въ своемъ „Изслѣдованіи о гайдамачествѣ“, являлись избѣжнымъ послѣдствіемъ недостатка точныхъ свѣдѣній о даной эпохѣ, и авторъ настоящей книги въ большинствѣ случаевъ полнѣе подчиняется авторитетному приговору почтеннаго профессора, какъ, напримѣръ, о „кавалеріи народной“ и о Саввѣ Чаломѣ.

Но въ послѣднемъ случаѣ авторъ „Гайдамачины“ не счелъ себя въ правѣ игнорировать народную память объ этой личности, акъ онъ не обошелъ и нѣкоторыхъ другихъ народныхъ сказаній бѣ эпохѣ, взятой имъ для своего очерка, на томъ основаніи, что ерѣдко народная память освѣщаетъ извѣстныя историческія событія и лица вѣрнѣе, ближе къ истинѣ, чѣмъ официальные документы, не всегда искренніе, а часто—съ умысломъ лживые. Авторъ, однако, не можетъ не указать почтенному В. Б. Антоновичу на его личную ошибку. Говоря о Саввѣ Чаломѣ, онъ приписываетъ автору настоящей книги, будто,—по его словамъ,—Чалому, подобно какъ и Пугачеву, народонаселеніе оказывало царскія почести: „колокольный звонъ, поднятіе хоругвей церковныхъ, колѣюпреклоненія, поднесеніе хлѣба и соли“ и т. д. (стр. 117).—Ничего подобнаго не было въ 1-мъ изданіи „Гайдамачины“; нѣтъ, конечно, и во 2-мъ. Въ 1-мъ, на стр. 71, сказано: „Всякій гайдамакъ сталъ идти подѣ именемъ Саввы Чалаго, подобно тому, какъ атаманамъ и полковникамъ Пугачева давалось имя Пугача, когда они налегали неожиданно на какую-либо мѣстность, и ему оказывались какія же царскія почести“ и т. д. Эти почести не относились къ

Чалому, а къ полковникамъ Пугачамъ. Можетъ быть, вина автора—
неясность выраженія.

То же повторено и во 2-мъ изданіи, на стр. 47—буква въ букву.

Что же касается до замѣчаній г-на Антоновича относительно того, что авторъ „Гайдамачины“ ошибочно, будто бы, видитъ болѣе гуманности въ отношеніяхъ польскихъ пановъ къ своимъ украинскимъ крестьянамъ, чѣмъ какія были у малорусскихъ пановъ (старшина) къ своему бѣдному люду, хотя и не закрѣпощенному,—то авторъ и теперь остается при своемъ прежнемъ мнѣніи вмѣстѣ съ извѣстнымъ запорожскимъ кошевымъ Гусакомъ, который писалъ Мазепѣ: „теперь видимъ, что бѣднымъ людямъ хуже, чѣмъ было при ляхахъ, потому, что кому и не слѣдуетъ держать подданныхъ, и тотъ держитъ, чтобъ ему сѣно или дрова возили, печи топили, конюшни чистили“ (Соловьевъ, „Ист. Россіи“, XIV, 164).

Во всякомъ случаѣ, пока новаго, полного изслѣдованія о „Гайдамачинѣ“ не появится въ печати, настоящая книга должна по необходимости явиться въ свѣтъ, такъ какъ другой, лучшей—нѣтъ, а читатели требуютъ „Гайдамачину“.

С.-Петербургъ,
6 іюня 1884 года.

Часть первая.



ГАЙДАМАЧИНА.

(1730—1768).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Trudno jest wymagać po Opatrzności, iżby zsyłało nadzwyczajnych ludzi, coby mogli chyłacy się naród dzwignąć ocalić. Jdą zwykle rzęczy ludzkie swym trybem. Wina bez wątpienia narodu rozwijała chyłnie się j-go, spełniła i ostateczny moment upadku.

Lelewel.

I.

вавая народная смута, извѣстная подъ именемъ „пугачевщины“, всегда представляться неполною картиною великаго движенія народныхъ второй половины XVIII вѣка, если не будетъ сопоставлена съ не менѣе кровавою смутою, почти въ одно и то же время затѣянною половинною русскаго народа, хотя значительно меньшею, и на концѣ русскаго царства. Мы говоримъ о томъ народномъ движеніи, которое извѣстно подъ именемъ „коліивщины“ или „гайдамачины“ и тельнымъ актомъ котораго была знаменитая „уманская рѣзня“, я полное право занять такое же видное мѣсто въ исторіи массово-людовѣческихъ преступленій, какъ „варооломеевская ночь“ и „сици-вечерня“.

орія гайдамачины имѣетъ такое же отношеніе къ исторіи пугачев-закъ исторія южно-русскаго народа къ общей исторіи Россіи. Рус-родъ, вслѣдствіе этнографическихъ и историческихъ причинъ, раз-лъ на двѣ большія половины, изъ которыхъ одна стала извѣстна ріи подъ именемъ великорусской вѣтви русскаго народа, а другая—ской, и вслѣдствіе этихъ же причинъ обѣ половины долго жили ою политическою жизнью, пока не возсоединились окончательно въ ѣкѣ.

я та и другая половина русскаго народа жили подъ различными ѣскими условіями и каждая вырабатывала себѣ сообразныя съ этимъ

условіями государственныя формы—первая монархическія, самодержавныя съ преемственностью власти по наслѣдству, вторая—республиканскія, съ выборнымъ началомъ, поставленнымъ въ основу политическаго существованія государства, однако и въ томъ, и въ другомъ государствѣ, и въ монархическомъ, и въ республиканскомъ, ядро населенія составляли несвободныя сословія русскаго народа, и жизнь этихъ несвободныхъ массъ, при диаметрально-противоположныхъ формахъ правленія, представляла довольно замѣтное сходство и въ той, и въ другой половинѣ Россіи. Сходство это, въ свою очередь, повело къ одинаковымъ проявленіямъ народнаго духа тамъ и здѣсь и при томъ почти въ одно и то же время, потому что и тамъ и здѣсь было одинаково тяжело жить несвободнымъ классамъ, собственно народу. И тамъ, и здѣсь народъ, поставленный въ тяжкія условія зависимости, заявилъ о своихъ страданіяхъ кровавымъ протестомъ противъ тѣхъ, отъ кого онъ зависѣлъ и кого считалъ виновникомъ своихъ страданій. Въ Великой Россіи, собственно по юго-восточнымъ ея окраинамъ, пригнетенный народъ рѣзалъ помѣщиковъ и чиновниковъ (пугачевщина и понизовая вольница); въ Малой Россіи, тоже по окраинамъ, только юго-западнымъ, онъ рѣзалъ помѣщиковъ-поляковъ и евреевъ (гайдамачина, колівщина и, собственно, уманская рѣзня). Последняя, самая страшная, вспышка гайдамачины совпадаетъ съ 1768 годомъ, съ тѣмъ годомъ, когда, въ другой половинѣ Россіи, всего замѣтнѣе обозначились разрушительныя дѣйствія понизовой вольницы, кончившіяся пугачевщиной и разбойническими экскурсіями „чудовища“ Заметаева по Волгѣ и по Каспійскому морю.

Какъ пугачевщина, такъ и гайдамачина являются естественнымъ и неизбежнымъ продуктомъ неудачно сложившагося политическаго и гражданскаго строя обихъ половинъ русскаго царства—и монархической, и республиканской. Только до сихъ поръ историки ошибочно понимали, въ чемъ, именно, заключались причины незавиднаго положенія южно-русскаго народа и, вслѣдствіе того, ложно истолковали и самый источникъ народныхъ движеній, которыя разрѣшились уманской рѣзней.

Давно принято за несомнѣнную истину, что южно-русскій народъ былъ доведенъ до политической, такъ сказать, безвыходности неразуміемъ польскаго господства надъ Украиною. Всѣ единогласно обвиняли польскихъ пановъ въ безчеловѣчности ихъ отношеній къ народу, въ абсолютизмѣ права, какъ экономическаго, такъ и гражданскаго, который паны, будто бы, такъ жестоко примѣняли къ своимъ южно-русскимъ крестьянамъ. Обвиненія эти стали ходячими фразами; однако, правды въ нихъ только наполовину. Писатели, для которыхъ русскіе интересы были ближе интересовъ польскихъ, всю вину въ несчастіяхъ южно-русскаго народа сваливали на поляковъ. Съ своей стороны, писатели, для которыхъ польскіе интересы были дороже русскихъ, отклоняли отъ себя эти обвиненія и сваливали ихъ на самый южно-русскій народъ и казачество. Какъ тѣ, такъ и другіе писатели руководствовались въ этомъ случаѣ отзывами близко заинтересованныхъ въ дѣлѣ сторонъ. Первые писали, большею частью, на осно-

ваніи историческихъ документовъ, оставленныхъ потомству стороною имъ болѣе близкою, со словъ и бумагъ южно-русскихъ историческихъ дѣятелей, которые не скупились на обвиненія своихъ враговъ; вторые писали со словъ и бумагъ, оставленныхъ, именно, этими врагами. Естественно, что южно-русскіе историческіе дѣятели говорили только о томъ, сколько зла причинили южно-русскому народу „вражьи ляхи“, и при томъ умолчали о томъ, сколько зла причинили этому народу они сами, ихъ сподвижники и помѣщики. А что они много зла причинили южно-русскому народу, это несомнѣнная истина, хотя объ этомъ никто изъ нихъ не упоминалъ, а за ними, само собой разумѣется, не упоминаютъ и ихъ историки.

Вотъ на эту-то сторону исторіи южно-русскаго народа въ XVIII вѣкѣ мы и намѣрены обратитъ особенное вниманіе, такъ какъ она до сихъ поръ всѣми историками оставляема была въ тѣни, и, къ удивленію, увидимъ, что не во всемъ виноваты поляки, но что, къ половинѣ XVIII вѣка, южно-русскій народъ доведенъ былъ до безвыходности своими собственными законами, своими собственными порядками и, въ особенности, своими собственными властями и помѣщиками: не все давилъ ляхъ, но и свой собственный братъ, возвысившійся и разжившійся на счетъ другого, меньшаго брата. Мы по необходимости должны будемъ убѣдиться, что многіе изъ южно-русскихъ историческихъ дѣятелей XVIII столѣтія, которые представлялись до сихъ поръ героями и мучениками за свободу своего народа, окажутся совершенно въ иномъ, непривлекательномъ свѣтѣ: герои превратятся въ грабителей *), а мученики за народъ—въ мучителей этого народа, который, если бъ былъ подальновиднѣе, то этихъ самыхъ героевъ и мучениковъ повѣсилъ бы на одну осину вмѣстѣ „съ ляхомъ, жидомъ и собакой“, какъ это дѣлалъ онъ во время уманской рѣзни.

Объяснять страшное кровопролитіе, произведенное гайдамачиною, звѣрствомъ запорожскаго казачества, которое, при своемъ политическомъ издыханіи, въ послѣдній разъ захотѣло погулять на могилахъ пановъ и жидовъ, было бы также близоруко, какъ объяснять начало и страшный характеръ пугачевщины какими-либо интригами и появленіемъ самозванца. Равнымъ образомъ было бы несправедливо приписывать южно-русской черни звѣрскую кровожадность, которая заключена въ его личномъ характерѣ и темпераментѣ. Звѣриная кровожадность въ цѣломъ народѣ, какъ и въ отдѣльномъ человѣкѣ, вызывается слишкомъ сильными причинами, отчасти временными, чаще же долго и постоянно дѣйствующими, но далеко и не всегда темпераментомъ. Темпераментъ южно-русскаго народа и въ XIX вѣкѣ, безъ сомнѣнія, остался тотъ же, что былъ и въ XVIII, а, между тѣмъ, этотъ

*) Напр., „герой и мученикъ“ Полуботокъ: его гнусная исторія: 1) съ „дейнеками“, которыхъ онъ грабилъ и—солгалъ, отперся отъ всего; 2) съ Цыбульскимъ—изъ-за табаку, изъ-за покупки мѣди, воловъ; 3) исторія съ дукатомъ, найденнымъ между червонцами; 4) его взяточничество. А. Скоропадскіе, Лизогубы, Милорадовичи—смотри матеріалы у П. Маркевича, Судіенка, Вѣлозерскаго.

народъ не выдумываетъ ни съ того, ни съ другого поголовной рѣзни, не подвергается эпидеміи убійствъ и грабежей, какъ это было сто лѣтъ назадъ: и въ 1768 году онъ былъ все такимъ же кроткимъ и поэтическимъ народомъ, какимъ является и въ 1868 году, и въ 1768 году великорусскій соборъ упрекалъ его въ апатіи и лѣни, какъ упрекаетъ и въ 1868 году. И при всемъ томъ этотъ народъ почти поголовно сталъ убійцею, какимъ въ 1774 году сталъ великорусскій народъ, повидимому, безропотно сносившій до 1774 года и помѣщичье засѣканье, и воеводское грабленіе, и московскую волокиту, и канцелярскія „пристрастные“ плети и батожьи, и комендантскіе зеленые шпицы-рутены. Человѣкъ не легко отваживается на убійство, и если онъ рѣшается убить другого, то въ этомъ случаѣ онъ только дѣлаетъ невольный, мучительный, но неизбѣжный выборъ изъ двухъ золъ—или самому быть убиту, погибнуть на висѣлицѣ, скончаться отъ цынги въ тюрьмѣ, умереть съ голоду, или, чтобы спасти себя—убить другого. Такой же мучительный, но неизбѣжный выборъ представлялся въ XVIII вѣкѣ и южно-русскому народу всякій разъ, когда онъ вынуждаемъ былъ браться за винтовку, за цѣпь или за дубину. Такой же выборъ выпалъ на его долю и передъ гайдамачиной, что мы и изобразимъ въ послѣдовательномъ рядѣ фактовъ на нижеслѣдующихъ страницахъ.

Эти факты мы находимъ въ законахъ, которыми управлялся южно-русскій народъ, въ общественномъ и экономическомъ строѣ, который довелъ его до нищеты въ благословенной плодородіемъ землѣ, въ отношеніяхъ къ властямъ, къ полякамъ, къ помѣщикамъ, какъ чужимъ, польскимъ, такъ и къ своимъ кровнымъ, и во многихъ другихъ сферахъ жизни. Все это мы покажемъ послѣдовательно.

Южно-русскій народъ доведенъ былъ до отчаяннаго положенія, а вслѣдствіе того и до ножа—во-первыхъ, безобразіемъ законовъ, которыми онъ управлялся.

Основнымъ закономъ, которымъ правился южно-русскій народъ и который отдавалъ этотъ народъ въ кабалу, какъ пану-поляку, такъ и пану-украинцу, былъ „Статутъ Литовскій“. Этотъ странный юридическій кодексъ, въ основаніи котораго лежали республиканскія формы законодательства, дѣйствовавшій въ XVI вѣкѣ, оставался дѣйствующимъ и въ XVIII столѣтіи, въ то время, когда одна половина Малороссіи была подъ монархическимъ протекторатомъ Россіи, а другая подъ республиканскою опекою Рѣчи Посполитой. Рядомъ съ республиканскимъ кодексомъ, исполненнымъ самыхъ варварскихъ юридическихъ абсурдовъ (рѣчь о которыхъ будетъ ниже), дѣйствовали такъ называемые великорусскіе „государевы указы“, истекавшіе изъ принципа самодержавной власти. Тутъ же рядомъ стояли и юридическіе абсурды такъ называемаго „Магдебурскаго права“, которое не менѣе „Литовскаго Статута“ было богато юридическими нецѣлостями самаго жестокаго свойства, выдававшими головой слабого сильному бѣднаго, богатому. Этой юридической путаницѣ помогало еще, Богъ вѣсть зачѣмъ,

прилѣпленное сюда саксонское право или такъ называемый „Саксонскій порядокъ“, — и къ этимъ четыремъ сборникамъ абсурдовъ, по свидѣтельству современника, извѣстнаго Теплова, обращались тогдашніе юристы и судьи, чтобы всякое человѣческое дѣло и человѣческое положеніе сдѣлать безвыходнымъ. Эти законодательства четырехъ различныхъ формъ и направлений, съ совершенно противоположными началами и одна другую отрицающими статьями, способны были окончательно убить юридическій и гражданскій смыслъ народа, и они, дѣйствительно, убили не только этотъ смыслъ, но и самый народъ, который оказался неспособнымъ къ государственной жизни и угасъ политически, утративъ свою автономію вмѣстѣ съ тѣми умными головами, которыя верховодили и Рѣчью Посполитою, и Малороссією и которыя погубили и эту несчастную Рѣчь Посполитую, и эту несчастную Малороссію

Въ понятіяхъ „Литовскаго Статута“, преемственно и неповрежденно перешедшихъ черезъ XVI, XVII, XVIII столѣтія, „человѣка простаго стану“ и „станъ шляхетскій“ раздѣляла такая пропасть, которую перешагнуть никому не позволялось, да которую никто и не осмѣлился бы перешагнуть. Шляхтичъ, позволившій себѣ унизиться до какого-либо нешляхетскаго труда, пятнавшаго его шляхетское достоинство, лишался своихъ прерогативъ и становился въ уровень съ прочими „подлыми“ людьми: только осмѣлился онъ взять въ руки аршинъ или поселиться въ городѣ съ цѣлями комерческихъ операций — онъ уже выбрасывался изъ заколдованнаго круга шляхетскихъ вольностей *). Честный трудъ уже пятналъ благороднаго человѣка. Его пятнало и всякое родство съ людьми низшей породы; вдова шляхтянка, рѣшившаяся выйти замужъ за человѣка „простаго стану“, навсегда теряла все свое достояніе, и не только то, которое она имѣла отъ мужа, но и собственное свое приданое, свою „отчизну и материзну“ **). Дѣти, родившіяся отъ шляхтича и не-шляхтянки, причисляются къ благородному сословію отца, но съ оговоркой, чтобы „ремесломъ и шинкомъ не жили, и локтемъ не мѣрили“, т. е. не были купцами: однакожъ, и такой шляхтичъ, унизившійся до ремесла или аршина („локоть“), „если бы шинковъ и ремесло мѣщанское и холопское покинулъ и поступковъ шляхетскихъ рыцарскихъ наслѣдовалъ“, то опять возвращался въ сословіе благородныхъ ***). Человѣкъ, родившійся въ простомъ сословіи, никогда не могъ приобрести шляхетскихъ правъ (развѣ за какія-либо рыцарскія доблести), ни достигнуть какой бы то ни было должности. Покупка имъ земельной собственности считалась недѣйствительною и могла быть отнята прежнимъ хозяиномъ, не взирая на давность владѣнія.

*) См. нашу монографію „Крестьяне въ юго-западной Руси XVI вѣка“ въ „Архивѣ историко-юридич. свѣдѣній“ Н. Калачева, 1861 года, стр. 20.

**) Статутъ Сигизмунда III („Временникъ“, кн. 19, изд. Моск. общ. ист., 1854 г.), стр. 203—204.

***) Тамъ же, стр. 61—62, 60—61, 64, 287—289, 314, 336—337, 334—335.

Уголовные законы отличались уже чисто-драконовскою жестокостью, но только опять-таки въ отношеніи къ „подлымъ людямъ“. Убіиство жены мужемъ, мужа женою, сестры братомъ, брата сестрою и вообще равныхъ равными наказывалось смертію безъ всякаго усиливающаго казнь эпитета; но если холопъ наносилъ только рану шляхтичу, то наказывался, по терминологіи статута, „строга горломъ“ (srogo gardłem) и, какъ измѣнникъ, подлежалъ четвертованію, что, въ сущности было, не легче казни за отцеубіиство, виновнаго въ которомъ возили по рынку, терзая тѣло клещами, потомъ сажали въ кожаный мѣшокъ вмѣстѣ съ собакой, пѣтухомъ, ужомъ и кошкой, зашивали въ мѣшокъ и топили въ самомъ глубокомъ мѣстѣ рѣки или озера. Если бы люди „простаго стану“ убили шляхтича, то, сколько бы ихъ ни было—всѣ наказывались смертію, хотя тамъ же оговорено, что „три головы простыхъ полагается за одну шляхетскую“—только.

Даже евреи, пользовавшіеся всеобщимъ презрѣніемъ, были поставлены закономъ выше южно-русскихъ крестьянъ, и не только крестьянъ, но и купцовъ. Перекрещенный еврей дѣлался не только шляхтичемъ лично, но и семейство его, и потомство приобрѣтали дворянскія права на вѣчныя времена, такъ что южно-русскій крестьянинъ, при всемъ ужасѣ, внушаемомъ ему евреемъ арендаторомъ, не могъ не сожалѣть, что онъ христіанинъ.

Подобныя юридическія нелѣпости не рѣдкость въ статутахъ. Крестьянинъ былъ ниже всего, что только могло жить на его земляхъ, въ его родномъ краѣ. Татаринъ, врагъ христіанства во мнѣніи всей Европы и во мнѣніи самихъ законодателей, личный врагъ Рѣчи Посполитой и ея интересовъ,—даже татаринъ имѣлъ больше защиты въ законѣ родного края южно-русскаго народа, чѣмъ этотъ народъ, хотя бы татаринъ отправлялъ самыя низкія ремесла, занимался продажею скота, дубленіемъ кожъ и т. п., что вообще считалось унизительнымъ.

Само собою разумѣется, что подобные законы защищали только того, кто вовсе не нуждался въ защитѣ и даже мало нуждался въ какомъ бы то ни было законѣ, и не защищали того, кто только въ законѣ и могъ искать убѣжища отъ притѣсненій сильнаго. Неудивительно, если народъ жилъ подъ такими законами и не бѣжалъ куда глаза глядятъ только потому, почему арестантъ не бѣгаетъ изъ-за крѣпкаго тюремнаго замка; но едва онъ находилъ эту возможность, какъ тотчасъ же уходилъ въ степь, къ запорожцамъ ли, къ гайдамакамъ ли—все равно, лишь бы не оставаться тамъ, гдѣ никакихъ силъ не было оставаться. Неудивительно, что такой народъ, какъ южно-русскій, который даже по натурѣ менѣе всего склоненъ къ человекоубійству, котораго даже нравственная статистика ставитъ, по числу совершаемыхъ убійствъ, ниже великорусса или инородца, котораго наконецъ, упрекаютъ даже въ излишней апатіи и неповоротливости,—неудивительно, повторяемъ, что такой народъ вдругъ появляется страстнымъ убійцей, поголовно проливаетъ кровь какъ бы въ опьяненіи, не разбирая ни пола, ни возраста. Удивительно только то, что этому народу, доведенному до крайняго отчаянья и въ порывѣ безнадеж-

ности хватающемуся за ножъ, у нѣкоторыхъ историковъ нѣтъ другого названія, какъ „негодяй“, „хищные звѣри“, „люди преступные и жестокиѣ“, какъ будто тѣ, которые доводили ихъ до забвенія всего человѣческаго, были менѣе негодяи, и какъ будто тѣ, которые ихъ систематически грабили и хладнокровно убивали, имѣли меньше права на названіе хищныхъ звѣрей, на эпитетъ преступныхъ и жестокихъ.

Въ доказательство того, что малорусскіе паны не хуже поляковъ дали свой народъ и довели его до гайдамачины, мы имѣемъ драгоцѣнное свидѣтельство чловѣка, который жилъ во время гайдамачины и который не принадлежалъ ни къ тѣмъ, которые старались закрывать продѣлки поляковъ, ни къ тѣмъ, которые умалчивали о продѣлкахъ малорусскихъ пановъ. Свидѣтельство это принадлежитъ Григорію Николаевичу Теллову, члену малороссійской коллегіи. Въ царствованіе Елизаветы Петровны составлена имъ записка подъ заглавіемъ: „О не порядкахъ, которые происходятъ отъ злоупотребленія правъ и обыкновеній, грамотами подтвержденныхъ Малороссіи“. Съ безпощадною наглядностью онъ изображаетъ безотрадную картину состоянія тогдашней южной Россіи и, преимущественно, южно-русского народа. Онъ не потворствуетъ ни польской, ни южно-русской сторонѣ. Въ его разоблаченіяхъ „хищными звѣрями“, „людьми жестокими и преступными“ являются не тѣ, которые съ отчаянья хватались за ножъ и убѣгали въ лѣса и степи, а тѣ, которые доводили ихъ до этого. Въ этомъ грѣхѣ повинно все, что только пользовалось властью въ южной Россіи, все, что стояло около гетманской булавы, около „атаманскаго пернача“, однимъ словомъ, все, что только не составляло народа: крестьянъ, голытьбы. Все это были хищники и притѣснители народа: въ грабежѣ повинны и гетманы со своею свитою, и гетманскія жены (жена Скоропадскаго, по смерти мужа, захватила не только войсковую казну, но и тѣ принадлежности гетманскаго достоинства, которыми гетманы, какъ лица избранныя, пользовались пожизненно); хищниками и душителями не только народа, но и вольныхъ казаковъ, являются сотники, полковники, есаулы, писаря, судьи; а чѣмъ богаче былъ помѣщикъ, тѣмъ шире шло его грабительство, тѣмъ больше народа стонало подъ его панскою „властною рукою“. Ни правильнаго суда, ни законнаго распредѣленія правъ, ни имущественнаго и личнаго обезпеченія—ничего не существовало въ южной Россіи въ XVIII вѣкѣ: надъ всею страню царствовалъ деспотизмъ только тѣхъ лицъ, которыя успѣли захватить силой или обманомъ кто булаву, кто перначъ, кто войсковую чернильницу съ перомъ (секретарское достоинство), кто побольше нагребилъ земли, лѣсовъ, мельницъ, заводовъ, рыбныхъ ловель и пастѣкъ.

Рѣдко народъ, какой бы онъ ни былъ, отзывается съ укоромъ о *своей собственной странѣ*, въ пѣсняхъ ли то, въ ходячихъ ли преданіяхъ, а южно-русскій народъ до сихъ поръ говоритъ съ укоромъ о своей *благословенной Украинѣ*. До сихъ поръ украинецъ не добромъ вспоминаетъ свое прошлое:

Якъ одѣ кумівщини да до хмелнищини,
Якъ одѣ хмелнищини да до брянщини,
Якъ одѣ брянщини да й до сего-жъ то дня,
Якъ у землі кравевьскій да добра не було...

И дѣйствительно, не было добра въ южной Россіи, какъ это и подтверждаютъ письменные документы того времени.

Относительно управленія старшинъ Тепловъ отзывается общемо рѣзкою фразою, что „все тогда, въ самоволіе превращенное, не правомъ и закономъ управлялось, но силою и кредитомъ старшинъ, въ простомъ народѣ дѣйствующихъ, или лучше сказать—обманомъ грамотныхъ людей“. Это самоволіе и этотъ обманъ сдѣлали то, что въ той странѣ, гдѣ угоды мѣрились не десятинами, а десятками верстъ въ окружности, гдѣ земель могло хватить на каждого мужика столько, что глазомъ не окинешь, гдѣ почва отличалась плодородіемъ баснословнымъ—въ этой землѣ народъ доведенъ былъ до безземельности, а мелкіе владѣльцы записывались въ цѣловальники у богатыхъ, лишь бы чѣмъ было жить и семью кормить. Всѣмъ этимъ земнымъ раемъ завладѣло панство: тамъ владѣль полякъ, тамъ свой сотникъ, разжившійся на счетъ казаковъ, тамъ попы и монаштыри. Народъ могъ расчитывать на такъ называемыя „дикія поля“, на свободныя земли, которыя тянулись на необозримыя пространства, но и тѣ были захватаны богачами, и безпутный законъ санкціонировалъ эти старшинныя захваты, между которыми были и захваты новенькіе, и все это пошло подъ именемъ „старыхъ займовъ“. Разъ дозволенное закономъ грабительство шло все дальше и дальше. Вліятельные люди не остановились на захватѣ земель, плотинъ, мельницъ и рѣкъ: они начали захватывать людей и ихъ свободу. Сначала шелъ въ кабалу посполитый людъ, а тамъ должны были прощаться съ своею волею и свободные казаки, на которыхъ, повидимому, опиралась вся сила государства. Огромное войско, нѣкогда страшное татарамъ, а въ години смуты—и полякамъ, мало-по-малу исчезало, и сами хищники не понимали, куда оно дѣвалось, потому что одинъ хищникъ не зналъ, что дѣлалъ другой, а если и зналъ, то не воображалъ, что воровство идетъ въ такихъ громаднхъ размѣрахъ—воровство государственныхъ земель, воровство казны, воровство угодевъ и людей. Ревизіи производились за ревизіями, и послѣ каждой ревизіи, къ удивленію, замѣчалось, что народъ въ Малороссіи исчезаетъ, что казаки тоже куда-то пропадаютъ. Моровыхъ повѣтрій нѣтъ, голоду повального тоже не было, татары не угоняли народа въ плѣнъ цѣлыми областями, а между тѣмъ населеніе исчезаетъ, Малороссія пустѣетъ. Начали-было истолковывать это тѣмъ, что народъ бѣжитъ за границу, въ Польшу, а оказалось, что народъ томился къ имѣніяхъ хищниковъ, которые при ревизіи утаивали число украденныхъ у государства душъ и вновь производили грабежи до слѣдующей ревизіи. Старшины, чиновные и денежные люди дѣлали, что хотѣли, потому что ничего не боялись, никакимъ законамъ не повиновались и распоряжались какъ въ завоеванной землѣ—жили „въ безстрашіи“,

какъ говорить современникъ. Для закрытія всѣхъ безчинствъ по управленію беззащитнымъ краемъ употреблялись „способы весьма наглые и не трудные“. Впрочемъ, чиновные и денежныя люди не особенно и заботились, чтобы прикрывать свое безобразіе: они безобразничали „явственно, потому наипаче, что дальнее разстояніе и надежда на судныя порядки ихъ укрываютъ“. При томъ защитой имъ служила круговая порука: такъ какъ всѣ были не чисты, и повальное грабительство продолжало спокойно жить при „взаимной другъ ко другу помощи“.

Таково-то было житіе въ свободной Малороссіи, съ ея республиканскими формами правленія. Но это только одна сторона жизни; другія были еще болѣе мрачныя, болѣе безотрадныя.

Южно-русскій народъ считалъ невыносимымъ ярмомъ польское владычество. Служеніе польскимъ панамъ онъ называлъ „плѣненіемъ вавилонскимъ“, „работою людскою египетскою“. Страданіе Малороссіи подъ польскимъ протекторатомъ стало для историковъ общимъ мѣстомъ, которое повторяется ими на всѣ лады. Народу, слѣдовательно, надо было вздохнуть послѣ Хмельницкаго, особенно въ XVIII столѣтіи, когда ляхи владѣли только частью Малороссіи, а вся остальная была свободна и управлялась не чужеземцами, а своими выборными властями. Но тутъ-то народъ и почувствовалъ, что онъ въ египетской неволѣ, но только не у „ляха собаки“, а у своего родного „пана-брата“, который однимъ съ нимъ крестомъ крестился, такой же, какъ и онъ, ѣлъ борщъ, только серебряною ложкою, говорилъ такимъ же говоромъ, какъ и онъ, но только былъ безсердечнѣе своего бѣднаго брата. Уже изъ этой неволи египетской некуда было бѣжать народу, потому что въ самой обѣтованной землѣ народились египетскіе фараоны и закабалили народъ въ новую египетскую работу.

Малороссія, видимо, приходила въ разоръ. Изъ сильнаго и страшнаго для сосѣдей государства она становилась слабою, беззащитною страной. По количеству своего населенія она могла поставить подъ ружье 60.000 однихъ „списковыхъ“ или резетровыхъ казаковъ, а съ выборными ея армія могла выйти въ поле въ числѣ 150.600 воиновъ. Между тѣмъ уже въ половинѣ XVIII столѣтія оказалось, что хищничество умалило эту армію не на десять, не на двадцать процентовъ, а на 500 проц.: полтора-двастатисячная украинская армія превратилась въ пятнадцатитысячную, и все это вслѣдствіе хищничества и насилія украинскихъ пановъ и денежныхъ людей. При разборѣ дѣлъ оказалось, что старшины, захватившіе государственныя земли съ находившимися на нихъ селами и казаками, сами себѣ подяписали фальшивыя купчія на эти имѣнія, и были примѣры, что какой-нибудь господинъ, пожалованный въ сотники только въ 1745 году, уже въ 1737 году подписывался подъ фальшивой купчей сотникомъ. Все это знали и судьи, и гетманы, но „воспященія никто не чинилъ“, потому что, въ противномъ случаѣ, приходилось бы „воспящать“ самимъ себѣ дѣлать возмутительныя безобразія. Тѣ, которые еще были свободны и сидѣли на свободныхъ земляхъ, постоянно тѣснимые панами и доведенные до нищеты,

сами продавали богачамъ и свою землю, и свою свободу. Такимъ образомъ, каждый годъ южно-русскій народъ изъ свободнаго превращался въ кабальнаго, и съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе расширялась и укрѣплялась помѣщичья власть. Самое свободное государство почти незамѣтно преобразовывалось въ самое крѣпостническое, и южно-русскіе паны дѣлались такими крѣпостниками, какими не удавалось быть даже полякамъ, которыхъ такъ боялся южно-русскій крестьянинъ. Этихъ печальныхъ сторонъ южно-русской исторіи не касались историки, а если и говорили о безотрадномъ положеніи Малороссіи, то во всемъ этомъ винили, по старой памяти, поляковъ, не вѣдая, а можетъ быть прикрываясь притворнымъ невѣдніемъ въ томъ, что въ XVIII вѣкѣ роли въ Малороссіи перемѣнились, и потомки героевъ-защитниковъ украинскаго народа превратились въ его тайныхъ мучителей. Конечно, этого могли не знать историки, и оттого южно-русскіе писатели-патріоты, въ родѣ Георгія Конисскаго, оплакивая потерю Малороссіею государственной независимости, видѣли или старались видѣть въ ея прошедшемъ только хорошія, поэтическія стороны и не хотѣли видѣть дурныхъ сторонъ, по которымъ можно было судить, какъ разлагался въ государствѣ гражданскій строй и какъ подгнивали основы, на которыхъ оно было построено. Если бы южно-русскіе патріоты вглядѣлись поближе хотя бы въ исторію XVIII вѣка своей родины, они, можетъ быть, пришли бы къ печальному заключенію, что въ государствѣ ихъ давно гнѣздились элементы разложенія, а быть можетъ, они задались бы и такимъ вопросомъ, который самъ собою встаетъ передъ вами, когда вы задумаетесь надъ судьбами Малороссіи, какъ государства: не было ли причиной недолговѣчности политической жизни Малороссіи ея долгое политическое единеніе съ другимъ государствомъ, которое также было политически несостоятельно? Не заразился ли государственный организмъ Малороссіи тѣмъ неизлѣчимымъ недугомъ, которымъ страдала Рѣчь Посполитая и который свелъ ее въ могилу? Вопросъ этотъ весьма серьезенъ и едва ли на него не придется отвѣчать утвердительно. Малороссія, какъ государство, отъ Польши заимствовала смертную болѣзнь, и болѣзнь эта всего явственнѣе проявляется въ эпоху, которою мы въ настоящее время заняты. Та же политическая безтактность, какъ и въ Рѣчи Посполитой, то же панство, которое изъ народа сдѣлало рабочую скотину, то же равнодушіе къ государственнымъ интересамъ, тѣ же партіи и интриги, тотъ же убійственный деспотизмъ при кажущейся республиканской свободѣ — все это подарила Малороссіи Польша и этимъ подаркомъ погубила того, кому принесла въ даръ и свою свободу, и свою государственную разнузданность. Въ этомъ отношеніи исторія Малороссіи и Польши напоминаетъ поэтическую сказку Вайделоты въ „Конрадѣ Валленродѣ“ Мицкевича о томъ, какъ зачумленный воинъ приходитъ въ станъ непріятеля и, перецѣловавъ своихъ враговъ, заражаетъ всю непріятельскую армію. Въ концѣ концовъ, погибають и онъ самъ, и его непріятели. Такъ погибла и Малороссія, получивъ смертельную болѣзнь отъ Польши, которая погибла въ свою очередь.

II.

Какъ бы то ни было—Польша ли передала государственному организму Малороссіи свои смертельныя болѣзни, подобно гангренѣ, разъѣдавшія ея политическое тѣло, или Малороссія погибла какъ политическій организмъ отъ своихъ собственныхъ болѣзней,—только Малороссія въ XVIII вѣкѣ обнаруживала всѣ признаки политическаго разложенія, и гайдамачина являлась естественнымъ и неизбѣжнымъ симптомомъ неизлѣчимой болѣзни государства.

Но прослѣдимъ дальше тотъ внутренній хаосъ, въ которомъ зарождалась гайдамачина, подобно тому, какъ среди внутренней безурядицы Россіи зарождалась и созрѣвала около того же времени пугачевщина—два родныя дѣтища деспотизма, не государственнаго, а, такъ сказать, семейнаго, патріархальнаго.

Грабежъ земель панами въ южной Россіи кончился тѣмъ, что эти паны захватили въ свои руки всю Малороссію и никому не хотѣли уступить ни клочка земли: участокъ земли, который до разграбленія земель можно было купить за пять полтинъ, нельзя уже было потомъ приобрести и за двѣсти рублей, и оттого безземелье стало удѣломъ всѣхъ бѣдныхъ. Казаки все чаще и чаще дѣлались „мужиками безгрунтовыми“, а затѣмъ поступали въ разрядъ голытьбы, которой оставалось одно спасенье отъ голода—гайдамачество. Къ этимъ безгрунтовымъ примыкали „подусѣдки“ и „нищетные“. Подати, между тѣмъ, были положительно разорительны, но онѣ вовсе не попадали въ казну, а расходились по рукамъ тѣхъ же пановъ, сотниковъ, сборщиковъ и писарей. По выраженію Теплова, вездѣ господствовало „великое воровство народныхъ сборовъ“.

Уже Петръ I обратилъ вниманіе на это бѣдственное положеніе Малороссіи. До него дошли жалобы разоряемаго народа и доносы казаковъ на своихъ старшинъ. Начатыми потомъ слѣдствіями обнаружено множество злоупотребленій. Почти всѣ главнѣйшіе старшины, отъ которыхъ стонала вся страна, были взяты и посажены въ петербургскую крѣпость въ 1724 году. Это тѣ самыя лица, которыхъ близорукіе противники Петра и такіе же близорукіе хвалители южно-русскихъ порядковъ не замедлили канонизовать и возвести въ санъ героев и защитниковъ свободы. Хотя герои оказались достойными висѣльцы и каторги, однако, въ слѣдующее царствованіе ихъ помиловали. Впрочемъ, арестъ главнѣйшихъ грабителей Малороссіи не спасъ ее отъ пѣлаго легіона ихъ преемниковъ и помощниковъ и отъ хищниковъ, такъ сказать, тайныхъ, неофициальныхъ: пока они сидѣли въ крѣпости, другіе продолжали грабить и угнетать народъ. Мало того: когда брали однихъ официальныхъ хищниковъ, тѣ, которые не были взяты, немедленно пускали въ ходъ контръ-доносы и ябеды, обвиняли народъ, сажали въ остроги тѣхъ, которые осмѣливались жаловаться, отбирали у нихъ имущества, и такой ходъ давали всякому дѣлу, что выпутывали изъ петли своихъ по-

давшихъ товарищей. Въ концѣ концовъ, выходило, что всякое начатое дѣло о злоупотребленіяхъ южно-русскихъ властей, какъ бы оно ни было строго, „всегда было долговременными многими ябедами заплетено и иногда доброго конца не воспринимало“. Для того, чтобы это „заплетеніе“ оказалось болѣе дѣйствительнымъ, виновные и ихъ партизаны прибѣгали къ подкупамъ, сорили награбленными сокровищами, подкупали чиновниковъ — и въ концѣ концовъ покупали себѣ право на разореніе страны, на угнетеніе народа. Изъ Петербурга летѣли изъ Малороссіи богатые презенты „милостивцамъ“, — и кони поды драгоцѣнными чепраками и съ серебряными, позолоченными стременами, турецкія шали, золотые кубки и чекаченная золотая монета. Провинившіеся хищники отпускаемы были на свободу, „въ ожиданіи новаго исправленія“, — но этого исправленія не видала ни Малороссія, ни Россія. Въ Петербургъ спѣшили новые доносики, возникали новыя дѣла. На доносы слѣдовали передоносы, которые въ свою очередь „заплетались“ клеветами на доносчиковъ, соперниковъ. Изъ одного дѣла возникало десять съ контрминами противъ прежнихъ дѣлъ, съ новыми ябедами и новыми подкупами. И опять-таки все кончалось тѣмъ, что „соперники сыскивали способы ябедническихъ доносителей опровергать долгою волокитой и напослѣдокъ всеконечнымъ разореніемъ жизни ихъ“.

Мы уже упоминали выше, какая путаница существовала въ законахъ, которыми управлялась несчастная Малороссія. Это была мѣшанина изъ разныхъ разныхъ законодательствъ, иногда діаметрально одно другому противоположныхъ, какъ законы монархическіе и республиканскіе. Одного слѣдовало по „Литовскому Статуту“, другого по „Магдебургскому праву“, третьяго по саксонскимъ законамъ или „порядкомъ саксонскимъ“, четвертаго по указамъ государевымъ, а иного и по всѣмъ четыремъ законодательствамъ разомъ. Кого какимъ закономъ хотѣли судить, такимъ и судили — выборъ былъ весьма достаточный. Коли не было статьи, опредѣляющей строгую казнь тому, кого непременно хотѣли казнить, въ „Литовскомъ Статутѣ“, эту статью искали въ „Магдебургіи“; не находили тамъ — искали въ „саксонскомъ порядкѣ“ или подыскивали въ указахъ. Коли обиженный правъ по монархическимъ законамъ — его осуждали по республиканскимъ *). Мало того этого, юристы въ крайнихъ случаяхъ пускали въ ходъ и „право гражданское“, и „право натуральное“: коли человѣкъ, особливо же бѣднякъ, невинный по праву гражданскому, его сажали въ тюрьму или били кіями по праву натуральному. Путаница страшная! А между тѣмъ вся эта законо-

*) . . . „когда судья видитъ, что статутъ истцу или отвѣтчику строгое рѣшеніе, а не полезное опредѣляетъ, тогда онъ ищетъ въ порядкѣ саксонскомъ, тогда прибѣгаетъ и къ Магдебургскому... и до тѣхъ поръ мечется изъ права въ право, доколѣ сыщеть намѣренію своему полезное; а простой или иначе неграмотный человѣкъ, будучи въ томъ же свѣдущъ, приметъ все за несомнительный законъ. Временемъ, для облегченія пріятелю казни или для умноженія ненавистному вреда, мечутся и въ законы великорусскіе...“

дательная путаница, всё эти юридическіе абсурды ложились невыносимою тяжестью на страну; дѣло шло о жизни и смерти народа... Только въ хаотическомъ состояніи законодательства могли держаться такіе страшные и безнравственные юридическіе парадоксы, которые назывались статьями дѣйствующихъ законовъ: „ежели шляхтичъ убьетъ въ смерть простолюдина“ истецъ (?) *семи шляхтичей же свидѣтелей этого убійства не представить, то шляхтичъ, хотя и разбойникъ, отприсягнуться можетъ!* (разд. I, арт. 24). Въдѣ это просто-на-просто узаконеніе убійства, но только убійства, подлыхъ людей“ благородными, а отнюдь не на оборотъ. Гдѣ же мужику найти благородныхъ свидѣтелей, когда шляхтичъ и панъ стояли другъ за друга и готовы были въ чашкѣ воды утопить хлопа. Наконецъ, если такой убійца панъ даже и отъ присяги откажется, „то платить только малыя деньги за голову“ (разд. 12, арт. I.). Или, напримѣръ: „преступникъ именныхъ указовъ“ казнится смертю, а по литовскому республиканскому статуту — за это только шесть недѣль въ тюрьмѣ, какъ за оскорбленіе короля въ республикѣ.

Вотъ почему Тепловъ имѣлъ полное право бросить въ Малороссію свой рѣзкій отзывъ: „изстари сильные безсильныхъ нападеніями грабятъ и обижаютъ“. А у этихъ сильныхъ, по его же словамъ, „власть почти неограниченна, а взаимное соединеніе мыслей неразрывное“.

Изъ исторіи пугачевщины мы видимъ, что въ числѣ золь, тяготѣвшихъ надъ Россіею и поднявшихъ измученный народъ на кровопролитный бунтъ, было неустроенное судопроизводство, которымъ управляли люди съ „омраченными душами“, какъ выражалась императрица Екатерина II. Такое же судопроизводство, съ такими же „омраченными душами“, а едва ли и не худшее, и выпало на долю Малороссіи. Люди, заправлявшіе дѣлами въ этой странѣ, по выраженію Теплова, „суть великіе ябедники“, и про знающихъ законниковъ обыкновенно говорилось въ то время, что они люди „съ оборотомъ“, т.-е. такіе, которые во всякомъ дѣлѣ могли извернуться, могли дать дѣлу такой оборотъ, какой хотѣли, благодаря безтолковости законовъ. Это были „судьи проницательные и скороспѣлые на всѣ ухватки ябедническія“. Оттого дѣла въ Малороссіи тянутся по судамъ еще дольше, чѣмъ въ Великой Россіи передъ пугачевщиной: истцы всегда были недовольны рѣшеніемъ дѣлъ; апелляціи слѣдовали за апелляціями — изъ „сотенной въ полковую“, изъ полковой въ генеральный судъ, изъ суда—въ войсковую канцелярію, къ гетману, оттуда въ коллегію, въ правительствующій сенатъ, къ государю. Процессы тянулись по дѣлымъ десяткамъ лѣтъ. Одинъ казакъ у другого „отнял плетъ и кнутовище“—и процессъ тянулся болѣе восьми лѣтъ. Одинъ бунчуковый товарищъ отогналъ у другого восемь гусей — процессъ длился шестнадцать лѣтъ!

„Сія ябеда въ такомъ у нихъ кредитѣ и почтеніи (говоритъ Тепловъ), что по большей части лучшихъ фамилій отпы слѣдующее воспитаніе дѣтямъ даютъ: научивъ его читать и писать по русски, посылаютъ въ Кіевъ, Переяславль или Черниговъ для обученія латинскаго языка, котораго не

успѣютъ только нѣсколько обучить, спѣшать возвратить и записываютъ въ канцеляристы, гдѣ... происходятъ они въ сотники, хотя казаки, которые его выберутъ, прежде и о имени его не слыхали“.

Эти-то мнимо-выборные сотники, мнимо-выборные старшины, дѣти помѣщиковъ и сами помѣщики, эти-то паны и были бичемъ южно-русскаго народа. Съ званіемъ бунчуковаго товарища и войскового канцеляриста соединены были немалые „авантажи“. Они пользовались „великою салвогвардію“: кому бы такой господинъ ни причинилъ обиду и гдѣ бы это ни было, въ какомъ бы то ни было полку или повѣтѣ, на него нигдѣ нельзя было жаловаться, какъ только у гетмана. Само собою разумѣется, что всѣ бѣдняки, крестьяне ли то, или казаки, могли быть обижаемы этими „салвогвардійцами“ сколько угодно: до пана гетмана было слишкомъ далеко и слишкомъ велика дерзость—искать управы на высокопоставленномъ лицѣ. И вотъ эти паны рыщутъ по всей Украинѣ и, никого не боясь, „грабятъ и иногда разбиваютъ во всѣхъ отдаленныхъ концахъ Малороссіи“.

Таково было въ главныхъ чертахъ такъ называемое „малороссійское право“ или вольность. „Оно судію дѣлаетъ лихоимцемъ безпримѣрнымъ и повелителемъ народу, а суды—продажными; оно бѣдныхъ простыхъ малороссіянъ въ утѣсненіе приводитъ; оно, напоследокъ, и командующему шефу дѣлаетъ темноту и припинаніе правду снабдить полезною резолюціею“. Куда ни взглянешь, вездѣ „помѣшательство и непорядокъ“. Общественный и экономическій порядокъ поддерживался не правами и вольностями, которыя были хуже неволи, „но грабежомъ и наѣздомъ сильнаго на безсильнаго“.

Приведемъ еще нѣсколько данныхъ, доказывающихъ, до какого безобразія доведены были всѣ отношенія въ этой злополучной странѣ:

„Помѣщики малороссіане“, живущіе большею частію „ни у какихъ дѣлъ“, т.-е. праздно и безобразно, ровно ничего не дѣлая, проводя время въ гульбѣ и охотѣ, „въ томъ главное упражненіе имѣютъ, что за лѣса, за тростники, за степи, за мельницы, за подтопы плотинъ другъ на друга наѣзды дѣлаютъ *вооруженною рукою*, и изъ того рождаются многія смертоубійства“.

Начавъ процессъ, помѣщики „волочатся лѣтъ по десяти и двадцати, въ разореніе дому своему, судьямъ въ несказанную корысть, а главному суду по апелляціямъ въ безконечное обремененіе ябедническими процессами—и сіе есть собственное ихъ разореніе“. Все это такъ и напоминаетъ, какъ у Гоголя два друга поссорились изъ-за „гусака“ и какъ оба разорились на безконечные процессы и какъ, наконецъ, свинья украла ихъ дѣло.

Между тѣмъ эти предки Ивановъ Ивановичей и Ивановъ Никифоровичей держали въ жестокихъ тискахъ не только крестьянъ „грунтовыхъ и безземельныхъ“, не только „подсудковъ“ и „нищетныхъ“, но и вольныхъ казаковъ, ибо „какъ возможно, что казакъ, бѣдный и безпомощный, воспротивился сотнику въ сотнѣ, а сильному помѣщику въ томъ селѣ и деревнѣ, гдѣ онъ казачествуетъ? Всякій сотникъ не успѣетъ только на сотню свою

прѣхать, то казаки первые строители дому бываютъ, первые сѣнокосцы для его скота и первые подводчики, не упоминая о прочихъ разореніяхъ“.

Помѣщики обыкновенно „выѣживали“ у себя вина столько, что не могли „выинковывать“ (распродать) въ своихъ имѣніяхъ, и потому большею частью отдавали какъ бы на комиссію казакамъ и особенно такимъ, „которые бы удобнѣе у нихъ забраться и замататься могли“. Когда же казакъ дѣйствительно заматывался, т.-е. не могъ всего выплатить, то помѣщикъ, „вымучивъ у него обликъ“ (удовольствіе въ долгѣ), билъ на него челомъ, и у казака отбирали землю, домъ, и самъ онъ шелъ въ кабалу къ помѣщику. Такимъ образомъ и безъ захватовъ казаки „претворялись въ мужиковъ“. А эти послѣдніе — „малый народъ или саранча, то-есть мужики, остаются безъ пропитанія и мрутъ съ голоду, или отдаются въ работу и подданство тѣмъ, которые... съ запасомъ живутъ“. И опять-таки все идетъ къ панамъ, старшинамъ и „ихъ собственникамъ“.

Наконецъ, бѣдственному положенію южно-русскаго крестьянина способствовало еще одно зло, котораго не было въ Великой Россіи передъ пугачевщиной,—это вольный переходъ крестьянъ съ мѣста на мѣсто, обставленный такими условіями, что всякаго переходящаго непременно велъ къ ниществу и въ разоръ разорялъ не только податные классы, но и бѣдныхъ землевладѣльцевъ. Свобода передвиженій крестьянъ, какъ она понималась въ Малороссіи, была причиною того, что,—какъ говоритъ современникъ,—„бѣдные помѣщики часть отъ часу въ большую бѣдность приходятъ, а богатые паче усиливаются; а мужики, не чувствуя своей погибели, дѣлаются пьяницами, лѣнивцами и нищими, умирая съ голоду въ благословенной *милородіемъ странѣ*“.

Этотъ вольный переходъ былъ губителенъ по слѣдующимъ причинамъ: богатые помѣщики, „изобилующіе землями—или грабленными государевыми, или за долгъ шинковой себѣ приговоренными, или по сходѣ лѣнивцевъ впускъ лежащими“, обыкновенно подсылали къ чужимъ крестьянамъ своего слугу, и подсылали преимущественно въ имѣнія бѣдныхъ помѣщиковъ. Слуга прельщалъ крестьянъ великими льготами. Такимъ образомъ между крестьянами проходилъ слухъ о томъ, что у такого-то помѣщика даютъ даромъ землю и такая-то и такая-то ожидаетъ льгота. На основаніи такихъ слуховъ и до сихъ поръ волнуется вся Россія, особенно когда придутъ вѣсти, что на Яикѣ сытовые воды и кисельные берега, что въ Анапѣ даютъ много денегъ за поселеніе, а на Амурѣ cadaго переселенца дѣлаютъ помѣщикомъ надъ китайскими крестьянами. Такъ было и въ Малороссіи. Шпіоны богатыхъ помѣщиковъ, переходя изъ села въ село, волновали народъ тайными обѣщаніями, а между тѣмъ на земляхъ этихъ помѣщиковъ, которые желали привлечь къ себѣ чужихъ крестьянъ, выставялись большіе деревянные кресты, а на этихъ крестахъ, для грамотныхъ, вывѣшивались писанные объявленія, а для неграмотныхъ обозначалось „*скажешинами* *проверченными*“, на сколько лѣтъ новопоселившимся обѣщается льгота

отъ всѣхъ „чиншовъ“,—т.-е. отъ оброковъ и барщины *). Крестьяне же съ своей стороны бродили отъ одного мѣста къ другому, выискивая, нѣтъ ли гдѣ креста и сколько на немъ просверлено скважинъ. И вотъ мужикъ провѣдаетъ о новой клнчѣ на слободку и новаго креста ищетъ, и такимъ образомъ весь свой вѣкъ нигдѣ не заводитъ никакого хозяйства, а таскается отъ одного къ другому кресту, перевоза свою семью и перемѣняя свое селеніе“. Все это было новымъ поводомъ къ разоренію крестьянина: зная, что имъ скоро придется выискивать крестовъ и скважинъ, они не заводятся своимъ имѣніемъ, чтобы удобнѣе было тайкомъ выселиться, а иначе „помѣщикъ, подъ претекстомъ тѣмъ, яко бы мужикъ все, что ни имѣетъ, нажилъ на его помѣщичьихъ грунтахъ, какъ скоро провѣдаетъ объ его предпріятіи, грабить все его имѣніе, на которое онъ, по силѣ статута, право имѣетъ“.

И вотъ, пополняются и безъ того богатая имѣнія пановъ-магнатовъ, и бѣдняжъ бѣдные помѣщики, и окончательно нищаютъ крестьяне. Магнатамъ хорошо жить на Украинѣ; цвѣтутъ ихъ имѣнія; пополняются кладовыя сокровищами; къ тысячамъ душъ крестьянъ прибавляются новыя тысячи; на ихъ поляхъ пасутся табуны лошадей, стада овецъ, — и поэтъ послѣдующихъ поколѣній говорить о немъ:

Богатъ и славенъ Кочубей,
Его луга необозримы,
Тамъ табуны его коней
Пасутся вольны, не хранимы.
Кругомъ Полтавы хутора
Окружены его садами,
И много у него добра,
Мѣховъ, атласа, сѣребра
И на виду и подъ замками...

Зато нехорошо жить бѣдному народу на Украинѣ.

Таскаясь отъ креста къ кресту весь свой вѣкъ, онъ ничего не пріобрѣтаетъ, пока окончательно не успокоивается подъ могильнымъ крестомъ. Но болѣе страстныя натуры не примиряются съ этой страдальческою жизнію и, не вытерпѣвъ тяжкаго гнета, уходятъ, куда глаза глядятъ, кто въ Запорожье, кто въ гайдамачину.

Всматриваясь ближе въ положеніе тогдашней Малороссіи, невольно удивляешься, какъ еще могло существовать государство съ такимъ безобразнымъ строемъ. Читаешь и не вѣришь, чтобы все это было только сто лѣтъ назадъ,— а между тѣмъ дѣйствительно было и, къ сожалѣнію, долго оставалось.

„Сіи суть токмо генерально показанные непорядки въ малороссійскомъ

*) Иногда въ просверленные на крестахъ отверстія вбивались колышки, и по числу колышковъ народъ узнавалъ, сколько лѣтъ дается ему льготы. По прошествіи года одинъ колышекъ вынимался, и такъ далѣе, и тогда вмѣсто колышковъ на крестахъ оставались отверстія или скважины, какъ ихъ называетъ Теплово.

народѣ (говорить честный современник); но ежели бы нужда востребовала все сіе ясніе показать, то надлежитъ только заглянуть въ теченіе ихъ судовыхъ дѣлъ, въ произведеніе государевыхъ повелѣній и во внутреннюю ихъ собственную экономію: тогда множайшіе еще показаться могутъ“. Намъ кажется, что и этихъ ужъ слишкомъ довольно! Укажемъ развѣ еще на одно явленіе того времени—на отношеніе пановъ къ панамъ (отношенія пановъ къ крестьянамъ и казакамъ мы видѣли). Въ этихъ отношеніяхъ замѣчается тотъ же возмутительный сословный деспотизмъ, который проявился въ Малороссіи еще въ болѣе грубомъ видѣ. чѣмъ деспотизмъ сословій въ Венеціанской республикѣ передъ ея паденіемъ. Г. Кулишъ, въ предисловіи при изданіи записки Теплова, приводитъ одинъ изъ множества грустныхъ примѣровъ, доказывающихъ, что принципъ давленія слабого сильнымъ былъ какъ бы краеугольнымъ камнемъ, на которомъ держался безобразный механизмъ Малороссіи, какъ государства. *Панъ* Коржевскій, бывши на пиру въ „поважномъ домѣ“ *пана* Горленка, осмѣлился напомнить хозяйкѣ о старомъ долгѣ. Оскорбленный этимъ, панъ Горленко подалъ на пана Коржевскаго жалобу въ полковую судъ, и судъ заставилъ послѣдняго отречься отъ своего требованія и сознаться, что онъ въ домѣ Горленка, „яко песь своею губою брехалъ“. Но въ этомъ не вся возмутительность факта. Возмутительно то, какъ эта ревокація вымучена у Коржевскаго. Бумаги говорятъ, что панъ Коржевскій „за опороченіе такъ поважной персоны былъ наказанъ публично на рынку“ *).

Въ такомъ безотрадномъ положеніи находились дѣла въ Малороссіи передъ гайдамачиной.

Къ сожалѣнію и стыду нашему, историческая безпристрастность обязываютъ насъ сказать, что въ такомъ мрачномъ свѣтѣ рисуется собственно та половина Малороссіи, которая не принадлежала Польшѣ. Въ этомъ случаѣ никакимъ образомъ не представляется возможности историку, изъ ложнаго патріотическаго чувства, свалить всю вину кровавыхъ смутъ гайдамачины и разоренія народа на поляковъ, какъ это силились сдѣлать нѣкоторые писатели, слѣдовавшіе изстари принятому рутинному мнѣнію, что во всемъ виновата Польша. Правда, она виновата во многомъ, но не въ этомъ. Она виновата въ политической деморализаціи страны, она виновата тѣмъ, что дала Малороссіи такія формы правленія, которые погубили и ее самое, и Малороссію; она виновата тѣмъ, что, какъ выражался нѣкогда знаменитый южно-русскій патріотъ Мелешко, по ихъ милости, „украинская кость обросла польскимъ мясомъ и воняла польскимъ духомъ“. Она виновата въ томъ, что развратила высшія сословія Малороссіи, дала имъ свою политическую близорукость, свою гражданскую безтактность, свои жестокіе законы въ отношеніи низшихъ сословій и свой

*) „Записки о южной Руси“, П. Кулиша, ч. II, Спб. 1857 г., стр. 71—196.

деспотизмъ, измельчавшій до того, что панъ пана могъ стѣчь „на коберцу“. Она виновата, однимъ словомъ, тѣмъ, что отъ продолжительнаго политическаго единенія съ Польшей Малороссія сама сдѣлалась неспособною къ самостоятельному политическому существованію. Но въ томъ, что мы сказали вообще о положеніи Малороссіи передъ гайдамачиною, Польша не виновата, а если виновата, то лишь косвенно, по законамъ рефлекса и исторической преемственности. Тутъ виноваты во всемъ конноводы Украины XVIII вѣка, ея собственныя дѣти, родившіяся въ ней отъ отцовъ-освободителей Украины и мучениковъ за ея свободу, взрослыхъ, вспоенныхъ ея молокомъ, развивавшіяся подъ влияніемъ родной природы матери Украины. Польша тогда уже откинута была за Днѣпръ, а на этой сторонѣ управлялись украинскіе паны, да наѣзжавшіе иногда изъ Петербурга чиновники. Напротивъ, въ польской заднѣпровской сторонѣ Малороссіи было сравнительно лучше.

Какъ на фактъ, особенно поразительный, мы должны указать, что тамъ именно, гдѣ свирѣпствовала гайдамачина, на правой сторонѣ побережья Днѣпра, отошедшей къ Польшѣ, польскіе паны—что покажется, можетъ быть, невѣроятнымъ при общепринятомъ понятіи о жестокости польскихъ помѣщиковъ въ отношеніи къ находившимся въ ихъ владѣніяхъ южно-русскимъ крестьянамъ — что польскіе паны были милостивѣе къ южно-русскимъ своимъ крестьянамъ, чѣмъ малороссійскіе паны къ своимъ, которые были ихъ чуть ли не родными братьями, и что южно-русскому крестьянину было легче жить въ XVIII вѣкѣ подъ польскимъ владычествомъ, чѣмъ подъ своимъ украинскимъ и русскимъ. Въ основѣ гайдамачины, какъ и въ основѣ пугачевщины, лежалъ протестъ слабого противъ излишнихъ притязаній сильнаго. Въ пугачевщину шли или крестьяне противъ помѣщиковъ и властей, или казаки противъ правительственной регламентаціи и противъ стѣсненія ихъ старинныхъ вольностей. Казалось бы—да оно такъ и было,—что въ гайдамачину крестьяне, особенно „голода“, а также казаки, должны были идти противъ своихъ притѣснителей, противъ пановъ и старшинъ. Такъ какъ въ гайдамачинѣ, по всемъ имѣющимся у насъ свѣдѣніямъ, дѣйствовали большею частью обитатели не праваго, не польскаго, а лѣваго, русскаго побережья Днѣпра и такъ какъ эти же обитатели составили главное ядро скопищъ гайдамачины, да и затѣяли ее вообще лѣвобережцы, т.-е. русскіе подданные, а польскіе примкнули къ нимъ уже послѣ, то и слѣдовало бы ожидать, что вся гроза должна была разразиться надъ головами тѣхъ, кто былъ причиною и бѣдности, и страданій этой голоды, кто заставилъ ее бросить родные хутора и родныя колокольни и идти въ степь съ рѣзнею и пожарами — именно надъ головами пановъ и старшинъ русскаго лѣвобережья. А между тѣмъ гроза разразилась за Днѣпромъ, на польскомъ правобережьи, гдѣ, какъ мы сказали, было сравнительно легче въ то время жить южно-русскому крестьянину.

Что южно-русскимъ крестьянамъ, отошедшимъ къ Польшѣ, было легче

жить подъ властью польскихъ пановъ, чѣмъ тѣмъ, которые остались подъ властью украинскихъ помѣщиковъ съ присоединеніемъ Малороссіи къ Россіи, на это мы имѣемъ документальныя доказательства. Что южно-русскимъ крестьянамъ было скверно и положительно невыносимо жить, даже при протекторатѣ Россіи, подъ властью своихъ малороссійскихъ старшинъ-гетмановъ, сотниковъ и помѣщиковъ изъ малороссіянъ же, это мы уже видѣли; но что этимъ крестьянамъ было сравнительно легче жить подъ властью польскихъ пановъ, это мы сейчасъ увидимъ.

Послѣ опустошительныхъ войнъ Хмельницкаго, самый центръ Малороссіи обезлюдѣлъ. Это—правобережье Днѣпра, нынѣшніе уѣзды Черкасскій, Чигиринскій и Каневскій, или вообще западная Украина. Что осталось на правомъ берегу послѣ этихъ войнъ,—все перешло на лѣвый, на русскій берегъ. Столица того края—Чигиринъ—была разорена. Изъ уцѣлѣвшихъ селеній, нѣкогда богатыхъ, были перевезены на русскій берегъ даже деревянныя церкви, которые были разобраны и сложены на воза. Прекраснѣйшая и богатѣйшая часть Малороссіи представляла дѣйствительную пустыню, по которой только „волки сѣроманцы“ рыскали, да „орлы чернокрыльцы“ клеткомъ на кости звѣрей созывали. Эту пустыню видѣлъ южно-русскій лѣтописецъ Самуилъ Величко въ 1705 г., проездомъ въ Волынь и, подобно Іереміи пророку, оплакивалъ безлюдье славной Украины. „Поглянувши паки,—пишетъ онъ:—видѣхъ пространныя тогочныя украинно-малороссійскія поля и розлеглыя долины, лѣсы и обширныя садовы, и красныя дубравы, рѣки, ставы, озера запустѣлыя, мхомъ, тростіемъ и непотребною лядиною зарослыя. Видѣхъ же кому на розныхъ тамъ мѣстахъ много костей человѣческихъ, сухихъ и нагихъ, только небо покровъ себѣ имущихъ, и рекохъ въ умѣ: „кто суть сія?“ Тѣхъ всѣхъ, еже рѣхъ, пустыхъ и мертвыхъ насмотрѣвшись, поболѣхъ сердцемъ и душою, яко красная и всякими благами прежде изобиловавшая земля и отчизна наша украинно-малороссійская во область пустыни Богомъ оставленна и насельницы ея, славныя предки наши, безвѣстни явившася“.

Эту пустыню скоро оживили поляки и южно-русскіе переселенцы. Началось заселеніе Уманщины и Смиланщины—главнаго театра дѣйствій будущей гайдамачины. Колонизаторами этой разоренной страны явились польскіе магнаты, Потоцкіе, Любомирскіе, Яблоновскіе, Сангушки и друг., которые были владѣльцами богатыхъ тамъ имѣній до разоренія страны. Они оповѣстили по всей Малороссіи, какъ польской, такъ, преимущественно, и русской, что вызываютъ поселенцевъ на свои свободныя, богатыя земли, съ обѣщаніемъ новонасельникамъ льготъ отъ всѣхъ податей и господскихъ работъ. Это называлось выкликать „на свободу“. Какъ и помѣщики восточной Украины, польскіе помѣщики выставляли на своихъ свободныхъ земляхъ кресты съ колышками, обозначавшими, на сколько лѣтъ дается льгота, и съ повѣшенными на крестѣ снопомъ хлѣба, цѣпомъ и серпомъ.

И вотъ, потянулись украинцы на свободныя земли со всѣхъ мѣстъ, гдѣ имъ было тяжело жить и гдѣ трудъ не обезпечивалъ безбѣднаго су-

ществованія. Кто возвращался на родину предковъ, покинувшихъ правобережье Днѣпра въ эпоху такъ называемой „Руины“, и селился на „свободѣ“. Кто просто шелъ туда искать счастье, которое онъ не нашелъ на русской сторонѣ Малороссіи. Кого соблазняли общаемыя польскими панамъ долготѣнныя льготы. Шелъ на новыя свободныя земли и предприимчивый мужикъ, тянулася и голытьба, бѣжали и несчастные или тѣмъ либо провинившіеся на родинѣ и желавшіе укрыть въ Польшѣ свою буйную голову или просто тѣсными сосѣдями, обижаемые помѣщиками, однимъ словомъ, все, что ищетъ новыхъ мѣстъ, новыхъ условій жизни и новаго лучшаго добра, по пословицѣ, что отъ добра добра не ищутъ. На новыхъ мѣстахъ принимались и не совсѣмъ чистые люди, какъ это было и при заселеніи Поволжья, особенно киргизскихъ пустошей раскольниками и всякимъ сбродомъ, который и составилъ потомъ ядро пугачевщины. Въ этомъ-то и заключается отчасти внѣшнее сходство въ пугачевщинѣ и гайдамачинѣ, такъ что въ первой, есть основаніе думать, участвовали потомъ нѣкоторые изъ такихъ личностей, которыя участвовали въ гайдамачинѣ, но что въ понизовой вольницѣ участвовали чада гайдамачины—то это несомнѣнно. „Сходцы“ принимали дѣятельное участіе въ пугачевщинѣ и понизовой вольницѣ; „сходцы“ же не послѣднюю роль играли въ гайдамачинѣ. Однимъ словомъ, и въ той, и въ другой народной вспышкѣ сказалось свободное, дикое броженіе народныхъ элементовъ, которые болѣе могущественною силою—правительственною регламентаціею и давленіемъ помѣщичьей власти—заковывались въ тѣсныя и не совсѣмъ удобныя государственныя формы. Въ этихъ формахъ, какъ въ узкихъ рамкахъ, не могли уложиться бродячіе элементы, потому что рамки эти жали ихъ со всѣхъ сторонъ, дышать было нечѣмъ—но это бы еще куда ни шло; русскому крестьянину и бѣдняку не до чистаго свободнаго воздуха,—а тѣсть иногда было нечего,—и вотъ дикіе голодные элементы раздавили стѣснившія ихъ рамки и на свою же голову погуляли на свободѣ и на просторѣ.

На правой сторонѣ Днѣпра „сходцамъ“ были рады польскіе помѣщики и потому льготами манили ихъ къ себѣ, и крестьянинъ въ этихъ льготахъ находилъ себѣ роздыхъ, какого онъ давно не видѣлъ на дѣвой сторонѣ Днѣпра, подъ братскою рукою малорусскихъ старшинъ и пановъ. Осталось преданіе, что князь Ксаверій Любомирскій дозволилъ своимъ закликаламъ объявлять на ярмаркахъ, на торжкахъ, на переправахъ и на народныхъ сборищахъ, что къ нему на свободныя земли могутъ идти всѣ, хотя бы кто пришелъ съ чужою женою и чужими волами—онъ и того приметъ и будетъ отстаивать гдѣ нужно. Сторона считалась слишкомъ богатою и баснословно плодородною, чтобъ не привлечь новонаселенниковъ, да при томъ же льготная жизнь, незначительность поборовъ и ничтожное число рабочихъ барскихъ дней—все это манило къ себѣ украинскую чернь. Казна брала необременительное „подымное“ (съ дыму), а панщина требовала всего только двѣнадцать дней въ году съ хаты—баснословно легкія отношенія къ панамъ. Земли родили великолѣпно, об-

ширныя поля и луга, озера, рѣки и лѣса давали возможность вѣзмъ безъ труда нагуливать дешево покупаемый скоть, держать богатые пасѣки для іеду и воску, добывать сало, любимую приправу южно-русскаго крестьянина, и выцѣживать достаточное количество горѣлки. Запорожье давало юда отличныхъ и дешевыхъ лошадей въ обмѣнъ за мѣстные продукты и а фабричныя издѣлія, а равно предметы роскоши.

III.

Нравственный разладъ, существовавшій между такъ называемыми сепитами и хамитами въ заднѣпровской Малороссіи, между католическими анами и греко-русскими крестьянами, былъ однимъ изъ сильнѣйшихъ рычаговъ, которымъ выдвинута была на историческую арену кровавая гайдамачина. Какъ во всѣхъ историческихъ переворотахъ и народныхъ мутахъ новѣйшаго времени, главнѣйшими двигателями являются неразрѣшенные экономическіе вопросы, разрѣшеніе которыхъ идетъ или ненормально, или насильственно несправедливо, такъ и въ гайдамачинѣ, подобно тому, какъ и въ пугачевщинѣ, главнымъ стимуломъ смуты были затунные экономическіе вопросы. Массы пугачевцевъ двигались магическими ловами—„земля и воля“, съ прибавкою словъ: дешевая и безпошлинная соль, свободное пользованіе рѣками и озерами, истребленіе дворянъ, вѣдвшихъ и землю, и волю. Гайдамачина также выдвинута была дурно ложившимся экономическимъ бытомъ крестьянъ въ восточной половинѣ Малороссіи, недостаткомъ земли и излишнимъ давленіемъ сильныхъ на езильныхъ. Но какъ въ поднятіи пугачевщины, такъ и въ основѣ гайдамачины, кромѣ экономического стимула, хотя на второмъ планѣ, дѣйствуетъ также и стимулъ нравственный. Послѣ всесильныхъ словъ,—земля, оля, безпошлинная соль, озера и рѣки, почти всегда раздавались слова: крестъ и борода“, и этими словами Пугачевъ поднималъ на ноги цѣлыя ассы народа. Въ толпахъ черни, валившей въ гайдамачину, на Умань, а Смилу и Чигиринъ, также слышались возгласы: „ксендзы“, „іезуиты“, вѣра поганая латинская“, „ляхи католики“.

Съ этой точки зрѣнія гайдамачина является не чисто экономическимъ ароднымъ движеніемъ, но и религіознымъ.

Кромѣ того, въ народѣ жили воспоминанія прошлаго, и при томъ такіа лавныя, хотя кровавыя воспоминанія. На этихъ самыхъ мѣстахъ, на которыхъ новонаселенники и украинцы обзаводились своимъ хозяйствомъ, на ихъ поляхъ, перепаханныхъ ихъ плугами, предки ихъ, подъ предводительствомъ „батька“ Хмельницкаго, лили потоки и своей, и польской крови а свою свободу, за свою вѣру, за своихъ дѣтей и за послѣдующія поколѣнія—за нихъ, за этихъ пашущихъ теперь землю и обзаводящихся озяйствомъ. Эти плуги, которыми они пахали свои нивы, хрустѣли иногда бѣлыя кости человѣческія, о сухіе черепа—и эти кости, и эти черепа, ожеть быть, принадлежали ихъ славнымъ и несчастнымъ дѣдамъ и пра-

дѣдамъ. Дѣти этихъ новонаселенниковъ, играя въ полѣ, находили иногда заржавленные и поломанные сабли, пули и стрелы—и эти сабли, можетъ быть, тоже принадлежали ихъ славнымъ предкамъ, этими путями, можетъ быть, убиты ихъ несчастные дѣды и прадѣды, отставившіе отъ поляковъ этотъ край, свою свободу и вѣру. Понятно, что нехорошее чувство пробуждали въ украинскихъ крестьянахъ эти невольные воспоминанія прошлого. Народъ, разъ пожившій самостоятельную историческую жизнь, не легко забываетъ свою исторію, и для него несравненно тяжелѣе потеря политической самостоятельности и независимости, чѣмъ для народа, никогда не жившаго самостоятельную политическую жизнь. У новопоселенцевъ западной Украины были общія историческія воспоминанія со всѣмъ южно-русскимъ народомъ. А эти воспоминанія говорили имъ, какъ поляки живого сожгли героя ихъ Наливайку, какъ Острицу и нѣсколько десятковъ старшинъ казацкихъ мучили эти поляки страшными муками и, четвертовавъ, мученическія тѣла ихъ, развезли по всей Украинѣ, какъ Зиновія Богдана и сына его Тимофея полякъ Чарнецкій, коронный гетманъ, мертвыхъ вырылъ изъ могилъ и, кощунствуя надъ тѣлами, сжегъ ихъ на срамъ всей Украинѣ, какъ этотъ же Зиновій Богданъ вырѣзалъ болѣе 40.000 поляковъ надъ Россію, какъ Тарасъ Трясило вырѣзалъ поляковъ надъ Алтою, а Богунъ топилъ ихъ въ Ингуль, какъ поляки запрягали украинцевъ и ѣздили на нихъ, какъ на волахъ, какъ босикомъ заставляли ихъ ходить по льду—все поляки и во всемъ такіа кровавыя отношенія къ полякамъ. Рядомъ съ поляками въ воспоминаніяхъ южно-русскаго народа стояли ксендзы и жидаы—и насильственные крещенія младенцевъ, въ католическую вѣру, и отдача жидамъ на откупъ церквей. А тамъ „старцы“, кобзари, бандуристы и лирники, слѣпые народные поэты, ходя по торжкамъ и площадямъ или сидя у церковныхъ оградъ, поютъ о славной старинѣ, о предкахъ, о войнахъ ихъ съ турками и поляками. Одинъ поетъ:

Ой не развивайся, ты зеленый дубе,
 Бо на завтра морозъ буде!
 Ой не развивайся, червона калино,
 Бо за тебе, червона калино, не одинъ тутъ згине.
 Ой лугами та берегами развивалися віти:
 „Хочуть тебе, Перебийносе, та ляхеньки вбити“...

Ой та не вспівъ же, а панъ Перебийнісъ яа коника систи,
 Якъ почавъ ляхівъ, вражихъ синівъ, на капусту сікти:
 Ой якъ повернется та панъ Перебийнісъ на правую руку,
 Ажъ не вискочить его кінъ воронякій изъ ляхскаго трупу...

Другой поетъ о томъ, какъ у героя украинскаго народа Морозенка ляхи и турки вырѣзали живое сердце:

Ой поведи та Морозенка та на Савуръ могилу:
 „Ой подивися, та Морозенку, та на свою Украину!“
 Вонижъ его а не вбили, а не въ чверті рубали,
 Ой тільки зъ его, зъ его молодого та живцемъ сердце взяли.

Третій поетъ о томъ, какъ жида заарендовали всѣ дороги казацкія, всѣ торги и ярмарки, рѣки и озера и даже церкви украинскія:

Ище жъ то жида—рандари
У тому не перестали:
На славіній Україні всі казацкѣ церкви заорандовали,
Которому бъ то козаку, альбо мужику давъ Богъ дитину появите,
То не йди до попа благословиться,
Да йди до жида-рандара, да положъ шостакъ, щсбъ позволивъ
церкву отчинити,

Туъ дитину охрестити.

Такія воспоминанія, конечно, не могли дѣйствовать успокоительно: въ нихъ отзывалась или горечь пережитой славы, или горечь пережитой, не забываемой обиды. Между тѣмъ, старые обидчики: ляхи, ксєндзы и жида, вездѣ являлись, и хотя довольно милостиво пановали надъ потомками славныхъ украинцевъ, все же пановали, и хотя евреи уже не арендовали церквей, а арендовали только торги и захватывали всю торговлю — все же это были „жиды-рандари“, что когда-то на „славной Украинѣ всѣ казацкія церкви заарендовали“ и не позволяли крестить казакскихъ дѣтей безъ арендаторскаго дозволенія. Рядомъ съ полновластными ксєндзами украинскіе крестьяне видѣли своихъ священниковъ, которые, въ сравненіи съ ксєндзами, являлись на второмъ планѣ, въ тѣни, и которые, волей-неволей, возбудили въ своей паствѣ не совсѣмъ пріятное чувство и къ по-
лкамъ-помѣщикамъ, и къ ксєндзамъ, и къ арендаторамъ-евреямъ.

Иргизскіе монастыри во время пугачевщины играли немаловажную роль. Въ этихъ монастыряхъ давали убѣжище всѣмъ бродягамъ и безпаспортнымъ, которымъ негдѣ было голову преклонить. Въ иргизскихъ скитахъ проживалъ, знаменитый въ пугачевщинѣ, раскольникій старецъ Филаретъ, къ которому польскіе и малорусскіе раскольники-коноводы направили Пугачева, скитавшагося въ то время безъ паспорта и уже задумавшаго, по мысли, поданной раскольниками же, явиться подъ именемъ покойнаго императора Петра III. Въ иргизскихъ скитахъ созрѣла окончательно мысль о самозванствѣ, и въ этихъ же скитахъ, подъ руководствомъ старца Филарета, сдѣланы, такъ сказать, первые наброски той великой интриги, которая поколебала Россію. Въ иргизскихъ скитахъ скрывался Пугачевъ предъ появленіемъ своимъ подъ именемъ Петра III. Такимъ образомъ, фактическій починъ кровавой драмы принадлежитъ иргизскимъ скитамъ.

Ту же аналогію явленій и даже многихъ фактовъ замѣчаемъ мы въ исторіи гайдамачины.

Филаретомъ украинской драмы является игуменъ Мельхиседекъ Яворскій. Какъ по Иргизамъ, бассейнъ которыхъ въ то время только что колонизовался, такъ и въ западной, польской Украинѣ, по рѣкамъ Роси и Тясмину, находились русскіе монастыри, скиты и отдѣльныя пустынножительства. Какъ иргизскіе скиты принимали къ себѣ бѣглыхъ и безпаспортныхъ, такъ равно и въ монастыряхъ по Роси и Тясмину на-

ходили убѣжище всѣ безпріютные украинцы, странники, нищіе и даже гайдамаки. Мельхиседекъ, подобно Филарету, подготовилъ гайдамацкое возстаніе, далъ убѣжище Желѣзняку, какъ Филаретъ далъ пріютъ у себя Пугачеву, и Мельхиседекъ же освятилъ ножи, которыми гайдамаки перерѣзали потомъ столько тысячъ поляковъ и евреевъ.

Еще есть аналогическія явленія въ пугачевщинѣ и гайдамачинѣ, на которыя нельзя не обратить вниманія, потому что явленія эти невольно бросаются въ глаза при сопоставленіи гайдамачины съ пугачевщиной. Въ сосѣдствѣ съ иргизами жило воинственное поселеніе, имѣвшее частыя сношенія съ иргизскими скитами. Это—яицкое войско. Такое же воинственное братство жило въ сосѣдствѣ съ той частью Украины, гдѣ разразилась гайдамачина и гдѣ пустынножительствовавши русскіе монахи по рѣкамъ Роси и Тясмину. Это—запорожское войско. Какъ яицкіе казаки, такъ и запорожцы имѣли немало основаній быть недовольными существовавшимъ порядкомъ вещей: и яицкихъ казаковъ, и запорожцевъ русское правительство вдавливало мало-по-малу въ тѣсныя государственныя рамки, и надъ тѣми и другими тяготѣла правительственная регламентація, и у тѣхъ, и у другихъ мало-по-малу урѣзывались ихъ старинныя вольности, накладывалась правительственная рука на ихъ порядки, на ихъ владѣнія. И тамъ, и здѣсь являлись русскіе и преимущественно нѣмецкіе генералы, полковники и офицеры, вводившіе въ полудикихъ краяхъ европейско-нѣмецкіе порядки. Результатомъ аналогичности обстоятельствъ въ той и другой странѣ, столь далеко одна отъ другой отдаленныхъ, была аналогичность и дальнѣйшихъ явленій. Въ пугачевщинѣ первое знамя бунта подняли яицкіе казаки и довели это дѣло до конца. Въ гайдамачинѣ также запорожцамъ первымъ пришлось взять въ руки „священные ножи“, которыми они рѣзали поляковъ и евреевъ,—запорожцы предводительствовали рѣзней, и запорожцы довели ее до конца.

Вообще гайдамачина готовилась исподволь, какъ въ самыхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ она разразилась, такъ равно въ восточной Украинѣ, гдѣ было тяжело жить крестьянамъ, и въ Запорожьѣ. Вновь колонизованная задніпровская часть Украины, при всемъ благосостояніи ея жителей, какъ поляковъ-помѣщиковъ, такъ и крестьянъ-украинцевъ, имѣла все-таки значительный процентъ бродячаго населенія, которое переходило съ правой стороны Днѣпра на лѣвую и обратно и переносило вѣсти къ своимъ одновѣрцамъ и однородцамъ о томъ, что въ польской Украинѣ, собственно въ Смилянщинѣ, въ Уманщинѣ и проч., жить хорошо, что богатствъ много, особенно у пановъ и ксендзовъ. Переходъ черезъ границу былъ легокъ: вездѣ были земляки, которые могли укрыть бродягъ. У голытьбы, скитавшейся съ одного берега Днѣпра на другой, нерѣдко возбуждалось страстное желаніе поживиться на счетъ пановъ и ксендзовъ, и на эту поживу голытьба смотрѣла не какъ на разбой, а какъ на рыцарскіе подвиги, какъ на продолженіе славныхъ войнъ „батька“ Хмельницкаго съ ляхами за вѣру и какъ на справедливую месть голоты надъ панствомъ за то, что

голода бѣдна, а панство богато, за то, что голоту панъ можетъ давить явно, а голода можетъ придушить пана только тайно, разбойническимъ образомъ. Эта гольтба, съ своей стороны, подготовляла къ гайдамачинѣ и украинскихъ крестьянъ, стонавшихъ подъ ярмомъ своихъ однородныхъ пановъ и старшинъ. Для запорожцевъ также былъ не труденъ переходъ за Днѣпръ, въ польскую Украину: туда они приводили на продажу своихъ коней; на днѣпровскихъ ярмаркахъ, въ Умани и въ Смилой, запорожцы закупали издѣлія польской и европейской мануфактуры и привозили въ Запорожье рассказы о богатствѣ тамошнихъ пановъ и ксендзовъ, о владѣчествѣ ненавистныхъ имъ евреевъ и разжигали въ своихъ товарищахъ или желаніе нагнать польскихъ сокровищъ, или же рыцарскую отвагу побиться съ лихами, какъ бились отцы и дѣды, и порастрепаше, вмѣстѣ съ жидовскими пейсами, ихъ сундуки, набитые золотомъ, и отмстить имъ старыя историческія обиды.

Какъ въ гайдамачинѣ, такъ и въ пугачевщинѣ мы видѣли общія аналогическія явленія, какъ внѣшнія, такъ и внутреннія: одинаковыя мотивы, одинаковыя элементы дѣйствуютъ и тамъ, и здѣсь. По всему видно, что одинаковыя причины вызвали и явленія болѣе или менѣе одинаковыя. Самая подготовка гайдамачины имѣетъ много общаго съ подготовкой пугачевщины. Раньше общаго взрыва, совмѣстившагося цѣликомъ въ пугачевщинѣ, бродячія силы народныя начинаютъ дѣйствовать взрывами мелкими, разсѣянными. Предшественниками Пугачева являются атаманы понизовой вольницы, Шагалы, Дегтяренки, Буковы или самозванцы въ родѣ Богомолова, и Поволжье волнуется, партіи вольницы разбѣзжаются по Волгѣ, шалать на Каспійскомъ морѣ. Но страна еще покойна. Общаго взрыва нѣтъ, пока не приспѣла пора этого общаго взрыва,—и тогда является Пугачевъ, которымъ и завершается великое народное движеніе на юго-восточныхъ окраинахъ. На юго-западныхъ окраинахъ Россіи было то же самое, въ одно и то же время, хотя нѣсколькими годами раньше, такъ какъ и вообще юго-западная половина Россіи начала много раньше жить историческою жизнью, чѣмъ половина восточная. Гайдамацкія вспышки, какъ и вспышки понизовой вольницы, начинаются—первыя въ понизовыхъ Днѣпра, къ морю, вторыя — въ понизовыхъ Волги, тоже къ морю. Волненіе изъ окраинъ переходитъ къ центру. На Волгѣ дѣйствуютъ понизовые атаманы или изъ казаковъ, или изъ малороссіянъ (это вообще очень замѣчательный фактъ), или изъ дезертировъ, а иногда и изъ крестьянъ и даже семинаристовъ, поповичей. Въ днѣпровской Украинѣ дѣйствуютъ гайдамацкіе *атамашки*—тоже атаманы, большею частью запорожцы, подъ знаменемъ *которыхъ* идетъ все недовольное, одинокое, горемычное, идутъ тѣ, кому нечего терять въ жизни. Главный сбродъ въ шайкахъ понизовой вольницы, какъ мы видѣли, составляли безпріютныя головы или доведенныя до разбоя несчастіями, или личности загулявшіяся, потерявшіяся. На Волгѣ дѣйствуетъ „гольтба“, за Днѣпромъ, въ Польшѣ—„голода“, что совершенно одно и то же не только въ этимологическомъ, но и въ логическомъ смыслѣ

слова. И тамъ, и здѣсь дѣйствуютъ „бурлаки“. Въ пѣсняхъ понизовой вольницы мать говоритъ своему сыну, чтобы онъ не водился съ „бурлаками“.

Не водись, мой сынъ, со бурлаками,
Со бурлаками, со ырытами,
Не ходи, мой сынъ, во царевъ кабакъ,
Ты не пей, мой сынъ, зелена вина—
Потерять тебѣ буйну голову...

Въ гайдамацкой пѣснѣ украинская понизовая вольница тоже называетъ себя „бурлаками“.

Свіснувъ вітеръ, свіснувъ,
Загула холодна хвортуна,
Словце Максимъ.*) пискувъ—
Збиралась дружина.
Дві тисячи бурлакъ
Лепнули на Вкраїну польську,
Рушили вони изъ байракъ
Дати ляхамъ хлосту.
Ой годі жъ намъ, козаченьки,
Рябу по Дніпру и Богові ловити,
Сідайте въ човники, бурлаченъки,
Та підемо жидову и ляха палити.
Зібравъ Максимъ, зібравъ бурлакъ,
И всю Вкраїну збунтовавъ:
Тисячу сіромахъ, тисячу гайдамакъ
Въ ватагу свою звербувавъ—и т. д.

Понизовая вольница разтѣзжаетъ въ косныхъ лодочкахъ, „хорошо разукрашенныхъ“, а иногда и въ жалкихъ лодчонкахъ. Украинская вольница тоже разгуливаетъ въ „човнахъ“, пока не выбралась на польскую землю. Однимъ словомъ, и поволжскіе „понизовые“ бурлаки, „добрые молодцы“, и украинскіе бурлаки, гайдамаки, которые тоже называли себя „добрыми молодцами“ изъ „понизоваго“ запорожскаго войска,—были родные братья.

Впрочемъ, въ исторіи гайдамачины мы находимъ еще одно важное обстоятельство, котораго не представляетъ намъ исторія пугачевщины и понизовой вольницы. Шайки понизовой вольницы и толпы Пугачева дѣйствовали хотя противъ помѣщиковъ и дворянъ, но онѣ видѣли въ нихъ все-таки своихъ, русскихъ. Тутъ не было ни національной вражды, ни рвенія религиознаго; сюда не примѣшивались и историческія воспоминанія: была только вражда слабаго къ сильному, угнетеннаго къ притѣснителю, и какъ бы нравственный долгъ, въ глазахъ народа, дать волю мести убогаго надъ богатымъ. Въ исторіи гайдамачины мы видимъ инныя условія: тамъ была и старинная національная вражда, и религиозное рвеніе, и воспоминаніе историческихъ обидъ, за которыя слѣдовало, по мнѣнію народа, отомстить. Для украинскаго крестьянина эта месть казалась болѣе

*) Максимъ Желѣзнякъ,—коноводъ уманской рѣзни.

нравственнымъ долгомъ, чѣмъ для великорусскаго: послѣдній украинскій гайдамакъ, подобно боготворимымъ имъ героямъ, Хмельницкому, Остраницѣ, Морозенку и др., смотрѣлъ на войну противъ своихъ помѣщиковъ, какъ на нравственный и религіозный подвигъ, и ставилъ себя какъ бы на одну доску съ этими героями, прославленными исторіею. Малороссіянинъ никогда не былъ друженъ съ полякомъ: ни политическая связь, ни общіе законы, ни долготѣнее соединеніе съ поляками, ни союзъ съ ляхами во время войнъ съ общимъ врагомъ христіанства — татарами и турками — ничто не сдружило и даже не сблизило ихъ. Но унія, религіозныя гоненія, вынесенныя Малороссіею, господство евреевъ, покровительствуемыхъ поляками, и, наконецъ, казни такихъ лицъ, какъ Острицы и Наливайка, — окончательно и навсегда поставили стѣну между украинцемъ и полякомъ, и сближенія между ними уже не могло быть. Было преданіе, что кровь русская и кровь „лядская“ могла смѣшаться только посредствомъ насилія — на войнѣ, въ пожарѣ, въ гайдамацкомъ наѣздѣ. Супружескія связи не могли существовать между тѣмъ и другимъ народомъ. Тарасъ Бульба убилъ свое родное дѣтище за любовь къ польской дѣвушкѣ. Всякая польская мать и жена боялись больше всего вліянія на своихъ сыновей и мужей украинцѣвъ, которыхъ онѣ называли „чаровницами“. Это были во всѣхъ отношеніяхъ двѣ враждебныя національности, вѣчные враги и тогда, когда они были вмѣстѣ, и тогда, когда они разъединились.

Этой враждебности историческихъ, національных и религіозныхъ отношеній помогали еще другія обстоятельства, которыхъ мы тоже не видимъ въ исторіи понизовой вольницы и пугачевщины. Когда выходцы изъ Малороссіи, по выклику польскихъ помѣщиковъ, стали заселять Закарпатскіе, опустошенное въ эпоху такъ называемой „руины“, старосты, губернаторы и помѣщики польскіе въ округахъ Уманскомъ, Смилянскомъ, Чигиринскомъ, Черкасскомъ и вообще въ пограничной Польшѣ, для охраненія края отъ татаръ, а также, въ случаѣ надобности, и отъ запорожцевъ, организовали особыя войска — такъ называемыя „надворныя хоругви“, — которыми предводительствовали польскіе дворяне, а самыя хоругви состояли отчасти изъ бѣдной шляхты, отчасти изъ украинскихъ крестьянъ. Эти мѣстныя войска назывались также и городовыми казаками. Кромѣ того, магнаты польскіе, наѣзжавшіе иногда въ свои украинскія имѣнія и подолгу тамъ пировавшіе, имѣли при себѣ почетную стражу, гвардію, рейтаръ и другіе отряды, въ которыхъ училась военному искусству польская молодежь. Вмѣсто лѣтнихъ практическихъ занятій, войска эти устраивали нерѣдко воинственные экспедиціи въ степи, во владѣнія запорожскихъ казаковъ, и экспедиціи эти назывались „наѣздами“ и „заѣздами“ (najezd, zajazd). Въ этихъ наѣздахъ польская воинственная молодежь упражняла свои военныя познанія, готовясь къ командирскимъ и полководческимъ должностямъ въ своей свободной, войнолюбивой республикѣ. Въ явленіи этомъ, конечно, отразились двѣ идеи того времени, и хотя эти идеи господствовали почти во всей Европѣ, однако, отъ этого не легче приходилось тѣмъ, надъ кѣмъ

изоцрялись воинственные таланты дворянскихъ головъ. Жизнь того времени была вообще веселая и разнообразная при дворахъ магнатовъ, о чемъ мы скажемъ въ своемъ мѣстѣ подробнѣе: въ продолжительные промежутки между псовыми охотами, между придворными турнирами (gonitwy), пиршествами и танцевальными вечерами, устраивались болѣе серьезныя охоты, охота на людей,—особенно же съ того времени, когда начали появляться гайдамацкія шайки.

Эта охота на людей состояла въ томъ, что отрядъ польской молодежи, съ легкимъ, а иногда съ тяжелымъ вооруженіемъ, отправлялся въ запорожскую глушь, выжигалъ запорожскіе хутора, „паланки“ и зимовники, вытапывалъ ихъ хлѣба, угонялъ скотъ, табуны лошадей, убивалъ и уводилъ въ плѣнъ запорожскихъ казаковъ. Съ приличною торжественностью отряды возвращались въ свои имѣнія, при звукѣ трубъ и литавръ входили въ замки, ведя связанныхъ плѣнниковъ, какъ римскіе полководцы вводили въ Римъ побѣжденныхъ царей. Молодые побѣдители награждались общими рукоплесканіями старыхъ пановъ, улыбками прекрасныхъ паннъ и названіемъ героевъ, а грубые плѣнники, безъ всякаго суда, въ силу юридическихъ абсурдовъ магдебургскаго права, о которыхъ мы говорили выше, отправлялись на висѣлицу или на колъ. Все это было въ порядкѣ вещей въ то дикое, безчеловѣчное время. Загудѣли рожки, затрещали литавры, пушки палать неистово, все валить на площадь, на мѣсто казни, чтобъ полюбоваться, какъ сажаютъ на колъ чловѣка или затягиваютъ его шею веревкой. Грубые запорожцы—хлопы—должны были и умирать грубо, некрасиво. Но чтобъ не ударить лицомъ въ грязь передъ „вражьиими ляхами“, иной добрый молодецъ, умирая на колу, попросить, чтобы ему дали въ послѣдній разъ покурить люльки—и люльку давали, и онъ курилъ и обводилъ страшными глазами своихъ жестокихъ враговъ.

Подобныя наѣзды и захваты людей были нерѣдки и начались довольно рано съ польской стороны. Еще лѣтъ за тридцать до уманской рѣзни, поляки захватили въ Брацлавѣ и въ другихъ своихъ городахъ всѣхъ запорожскихъ казаковъ, захватившихъ туда для торга рыбою, и всѣхъ перевѣшали. Запорожье требовало отъ Польши удовлетворенія—и удовлетворенія не получено. Лѣтъ за двадцать слишкомъ до уманской рѣзни отрядъ польской кавалеріи, переправившись черезъ рѣку Синюху, устроилъ свою дикую охоту на земляхъ бугогардовской паланки, захватилъ у Мертводвѣя казачью усадьбу, сжегъ полковничій зимовникъ, основалъ тамъ свое воинское поселеніе и отсюда дѣлалъ безпрестанные набѣги на окрестности, убивалъ людей, уводилъ скотъ и вообще устраивалъ любимые поляками zajazdy.

Съ 1733 года, со времени возвращенія запорожцевъ подъ русскую державу, по 1750 годъ, какъ свидѣлствуютъ архивные документы той эпохи, бывшіе въ рукахъ у г. Скальковского, поляки только и дѣлали, что вѣшали запорожцевъ, какими бы судьбами они ни попадались къ нимъ въ руки. Когда русскія войска, предводительствуемыя Минихомъ и Ласіемъ, возвращались изъ днѣстровскаго похода противъ турокъ и прохо-

шли через Польшу, раненные и измученные дорогою казаки, тоже попавшие съ этими войсками въ Польшу, были тамъ безчеловѣчно умерщвляемы. Въ 1738 году казацкій отрядъ, въ числѣ 102 человекъ, зашедшій въ Умань для покупки хлѣба, былъ приглашенъ въ домъ уманскаго коменданта Антона Табана „на кушанье“. Тамъ у этихъ казаковъ обманомъ отняли оружіе и лошадей и публично перевѣшали всѣхъ на рынкѣ. Имущество ихъ было заграблено комендантомъ. Другая партія, возвращавшаяся изъ того же похода, числомъ 18 человекъ, остановилась въ мѣстечкѣ Стеблевѣ для покупки припасовъ. Поляки окружили ихъ, схватили и отвели въ Немировъ, какъ военнопленныхъ. Немировскій губернаторъ всѣхъ ихъ перевѣшалъ. Въ слѣдующемъ году губернаторы смиланскій, чигиринскій и богуславскій предали смерти—первый семь казаковъ, второй тоже семь, третій двухъ—опять-таки по своему собственному приговору. Надо замѣтить, что губернаторами назывались тамъ просто управляющіе мѣстечкомъ. Такихъ убійствъ въ теченіе семнадцати лѣтъ было 202 случая, и все это погибали запорожцы. При томъ это только случаи, сдѣлавшіеся извѣстными русскому правительству; а сколько осталось въ тайнѣ, сколько убито казаковъ во время *zajazd'овъ*?

Частыми и жестокими наѣздами прославились въ то время два офицера польской службы: Станиславъ Костка Ортынскій и Михайлъ Закржевскій. Ортынскій былъ комендантомъ въ Умани, въ чинѣ полковника. Изъ жалобъ запорожскаго войска видно, что этотъ польскій офиціальный разбойникъ „съ злодѣйскою партіею своею безпрестанно наѣзжалъ на запорожскія земли и найденныхъ тамъ казаковъ, скотарей и табунщиковъ убивалъ, кололъ, ранилъ, захватывалъ въ плѣнъ, а стада ихъ, и, особенно, табуны лошадей, увозилъ съ собою въ Польшу“. Закржевскій отличался еще болѣе широкими воинскими подвигами. Отряды его наполнены были не только польскими гультаями, но бессарабскими цыганами, молдавскими чабанами и татарами. Съ этимъ сбродомъ онъ охотился на запорожцевъ, опустошалъ ихъ зимовья по рѣкамъ Корабельной, Ингульцу, Солоной и др., убивалъ народъ, а имущество грабилъ и увозилъ въ Польшу.

Такими наѣздниками отличалась Польша во время мирнаго царствования короля Августа III. Внѣшнихъ войнъ не было. Дворянство, особенно благородная молодежь, скучала, а человѣческая жизнь была такъ дешева, потому что на нее, какъ на товаръ, не было спроса: предложеніе превышало спросъ—и вотъ свободные люди и раздували, сами того не понимая, страшную искру, которая скоро превратилась въ пожаръ.

IV.

Приведенныя нами неблагоприятныя дѣйствія отдѣльных личностей польской націи, само собою разумѣется, должны были увеличить ту пропасть, которая съ незапамятныхъ временъ лежала между двумя народами, постоянно сталкивающимися на своей исторической дорогѣ. Поселившіеся на

польской Украинѣ крестьяне видѣли, какъ на площадяхъ ихъ городовъ вѣшали невинныхъ запорожцевъ, и хотя лично къ своимъ панамъ они не могли питать враждебнаго чувства, которое превратилось въ чувство болѣе пріязненное за льготную жизнь, предоставленную имъ панами, однако, старыя историческія обиды должны были всплывать въ ихъ памяти и подготавливать месть, которой въ сущности поляки отъ нихъ и не заслуживали. Эти же крестьяне видѣли, какъ нѣкоторые изъ молодыхъ пановъ отправлялись въ русскую Украину, какъ въ землю непріятельскую, и привозили оттуда вѣсти о своихъ грабежахъ и убійствахъ — и историческія обиды опять-таки вставали въ памяти и требовали отплаты. Еще худшее чувство должно было, въ этихъ случаяхъ, пробуждаться въ сердцахъ запорожцевъ, товарищи которыхъ погибали такою ужасною смертію. Вся Малороссія, какъ польская, такъ и русская, мало-по-малу опять начала электризоваться тѣмъ настроеніемъ, какому она поддавалась въ самыя страшныя и самыя славныя эпохи своей прошлой исторіи. Вспоминалось при этомъ давнишнее нарушеніе поляками правъ и вольностей украинскаго народа, за которое не вполне отплачены поляки, потому что продолжаютъ пановать надъ половиною Украины. Вспоминалось насильственное обращеніе православныхъ церквей въ латинскіе и униатскіе костелы. Вспоминалось господство евреевъ — отдача на откупъ продажи вина и пива, рыбныхъ ловель, перевозовъ черезъ украинскія рѣки и торговли солью, столь необходимой для каждаго бѣдняка. Вспоминалось поруганіе святыхъ — отдача на откупъ церковныхъ и монастырскихъ требъ. Къ этимъ воспоминаніямъ присоединились огорченія ближайшія, матеріальныя стѣсненія со стороны старшинъ и давленіе со стороны русской администраціи какъ на русскую Малороссію, такъ и на Запорожье. Прежде, въ старыя времена, отъ всякихъ невзгодъ можно было хоть укрыться въ Сѣчь. Теперь не осталось и этого убѣжища: тамъ заводилась непривычная строгость, но не казацкая, а московская или, скорѣе, нѣмецкая. Разгуляться нельзя было и негдѣ. Старшины запорожскіе сами боялись новыхъ московскихъ порядковъ и тихонько сожалѣли о старинѣ, а, между тѣмъ, должны были молчать и приказывать молчать своимъ подчиненнымъ. Если бы была возможность, недовольная Малороссія вся поднялась бы на ноги, какъ она поднялась при Хмельницкомъ или Остраницѣ. Но они получили уже нѣсколько горькихъ историческихъ уроковъ и знали, что теперь не такъ-то легко подняться. Участь Мазепы и всѣхъ ему подобныхъ была въ свѣжей памяти у старшинъ и у народа. Полтава, Петръ и московскія пушки были слишкомъ памятны. При томъ старшинамъ, сотникамъ, помѣщикамъ и гетманамъ нечего было подниматься: имъ хорошо было жить; ихъ сундуки наполнялись золотомъ на счетъ народа, для нихъ лахи были нестрашны подъ московскою сильною рукою, гетманы защищали ихъ въ Петербургѣ, и если петербургскіе чиновники иногда опустошали ихъ сундуки, то эти сундуки опять наполнялись народнымъ потомъ и народными слезами, которыя превращались въ золото. Опять-таки оставались недовольными только

простые казаки, крестьяне да голода. Въ Запорожьѣ тоже тяготились своимъ положеніемъ больше всего простые, а не чиновные люди. Итакъ, Малороссіи нельзя уже было подняться всею массою. Она начала подниматься частями, „ватагами“.

Но противъ кого идти? Противъ своихъ прямыхъ притѣснителей, противъ гетмановъ и старшинъ, идти было невозможно: ихъ защищала сильная московская рука; у нихъ подъ руками сильное московское войско. Выхода положительно не было. Въ это тяжелое время народъ понялъ, что какъ ни было сѣверно прежде, подъ поляками, но теперь, за своими старшинами, подъ московскою опекою стало еще хуже, и съ языка народа сорвалось это историческое четверостишіе, которое ложится позоромъ на украинскія власти XVIII вѣка и которое говорить:

Якъ буди мы поляничими,
Годувались паляницями,
А якъ стали за москалями,
Годуємось сухарями...*)

Оставался одинъ выходъ—идти противъ поляковъ, которые хотя были и добрее своихъ собственныхъ старшинъ и помѣщиковъ, однако, нинѣ изъ нихъ, какъ Ортынский и Закржевскій, дѣлали набѣды на украинскія земли и тѣмъ напоминали о старинныхъ долгахъ.

Но кличь противъ поляковъ кликнуть было некому, да и вообще гласно этого дѣлать уже нельзя было, потому что московскіе нѣмцы, какъ, напримеръ, майоръ Вульфъ, стоявшій съ отрядомъ на Орловскомъ форпостѣ, или полковникъ Корфъ, стоявшій въ крѣпости св. Елисаветы, были очень строги.

И вотъ, началась тайная гайдамацкая война противъ притѣснителей, война какъ бы партизанская, которая скоро превратилась въ открытую войну, едва только недовольные почувствовали свою силу и нашли предводителя въ лицѣ Желѣзняка, а со стороны церкви—благословеніе въ лицѣ игумена Мельхиседека Яворскаго.

Вербовка гайдамацкихъ шакъ производилась такъ же, какъ и вербовка шакъ понизовой вольницы. Соглашеніе происходило тайно на какихъ-нибудь отдаленныхъ хуторахъ или уметахъ. Болѣе достойныя личности избирались предводителями или сами себя назначали коноводами партій. Эти предводители въ одной мѣстности назывались атаманами, въ другой „ватажками“, иногда полковниками. Вся шайка обязана была къ нимъ безмолвнымъ повиновеніемъ, и добрые молодцы относились къ нимъ съ почетомъ, называя „батьками“—въ понизовой вольницѣ и „батьками“ въ гайдамацкихъ шайкахъ. Само собою разумѣется, что добрые молодцы украинскіе, и особенно ихъ батьки, смотрѣли на свои подвиги не какъ на

*) Какъ были мы подъ польскимъ владычествомъ, кормились калачами, а теперь кормимся сухарями.

преступныя дѣйствія, но какъ на дѣло геройское и святое. Если народная память освятила глубокимъ сочувствіемъ дѣло Хмельницкаго и Наливайка, если въ этой памяти остались дорогими подвиги Перебийноса, Нечая, Павлюка, Морозенка, Полторакожуха, Лободы и Кривоноса, то и гайдамацкіе „батьки“ разсчитывали на такое же сочувствіе народа, и, какъ оказывалось на дѣлѣ, они находили это сочувствіе. Если гайдамачество Хмельницкаго имѣло въ основаніи своемъ великую цѣль—освобожденіе народа украинскаго изъ-подъ ига „лядскаго египетскаго“, если эта святая цѣль доводила нерѣдко героевъ народныхъ до плахи, до висѣлицы, то тѣмъ же самыми мотивами руководствовались и гайдамацкіе „ватажки“ и такъ же, какъ для тѣхъ историческихъ мучениковъ, для ватажковъ не казалась позорною смерть на полѣ битвы, отъ сабли ли вражеской, или отъ веревки. И тѣ, и другіе искали одного и того же—„до грунту зруйновать лядскую землю“. Это, по мнѣнію народа, святое дѣло не оправдывалось только русскимъ правительствомъ да командирами-нѣмцами: Москва, по народному выраженію, „прибуркала“ крылья у добрыхъ молодцовъ. Нужно было, слѣдовательно, разрѣшеніе Москвы, а Москва разрѣшенія не давала, и потому, чтобы удачнѣе набрать ватагу, ватажки прибѣгали къ хитрости. По землямъ запорожскихъ казаковъ разсѣяны были, на пространствѣ нѣсколькихъ тысячъ квадратныхъ верстъ, запорожскіе хутора, зимовники, пикеты („постныя команды“), рыболовныя заведенія и отдѣльныя усадьбы. Въ эти уединенныя казацкія жилища шло все безпріютное, а иногда и безпокое, что даже не могло быть принято въ самомъ кошѣ. Искать эти безпокіе головы въ степяхъ не было никакой возможности. Невозможность подобныхъ поисковъ народъ выразилъ характеристической пословицей: „шукать вѣтра въ полѣ“, или ловить вѣтеръ въ полѣ.

Въ эти-то пустыни отправлялись предприимчивые ватажки и кликали кличь. Со всѣхъ сторонъ стекалась голытьба—и казаки, и крестьяне. Были такіе, которые шли слѣпо за своимъ предводителемъ, куда бы онъ ихъ ни повелъ и зачѣмъ бы ни привелось идти: противъ ляховъ—такъ противъ ляховъ, а то и противъ москаля. Болѣе осторожные намекали на то, что какъ бы не навлечь на себя неудовольствія старшинъ, а еще горше—Москвы, что теперь уже безъ бумаги ничего нельзя сдѣлать. Тогда ватажокъ показывалъ какую-нибудь бумагу, приказъ, грамоту, а иногда успокоивалъ своихъ подчиненныхъ и тѣмъ, будто старшина поручилъ ему, тайно, словесно, идти „руйновать и плюндровать лядскую землю“, истреблять нехристь, вызволять изъ полону церкви Божія и души христіанскія. И вотъ, гайдамаки вооружаются, добываютъ коней, обвѣшиваются, у кого есть, пистолетами и ружьями, а у кого нѣтъ, тотъ дѣлаетъ себѣ „ратище“ (копье), да суетъ за поясъ или за голенище ножъ—и вооруженіе готово. Самый обыкновенный костюмъ гайдамака—бѣлая рубаха, убранныя въ широкіе штаны, сапоги или „постолы“, за поясомъ ножъ, на головѣ высокая мѣховая (смушковая) шапка, съ выпущеннымъ верхомъ, по-казацки, и въ рукѣ „ратище“.

Но вотъ шайка готова и вооружена. Остается только выбратъся за раницу, во владѣнія Рѣчи Посполитой. Эти границы оберегались крѣпостями, шанцами, пикетами и разъѣздными командами, которыя такъ ловко умѣла обманывать понизовавъ вольница на Волгѣ. Въ самый разгаръ гайдамачины границы оберегались довольно крѣпко. Русскіе гарнизоны сидѣли въ укрѣпленіяхъ Орловскомъ (Орликъ, нынѣ Ольвіополь) противъ огополя, въ Архангелогородѣ (Новоархангельскѣ), противъ Тарговицы, и рыловѣ, противъ Крылова польскаго. Затѣмъ, на границахъ растягивались запорожскія паланки, бугогардовская и ингульская, которыя отъ стѣи Синюхи въ Бугъ, съ одной стороны, и отъ впаденія въ него Ингула— въ другой, оберегали русскую грань и дозорили за степями посредствомъ панидовъ, пикетовъ и разъѣздовъ, ходившихъ отъ Александръ-шанца (нынѣ ерсонъ) до Кременчуга. Польская граница также охранялась мѣстными войсками, о которыхъ мы говорили выше. Польскіе магнаты—Потоцкіе, Ржевускіе, Браницкіе, Мишевъ, князья Любомірскіе, Сангушки, Радзивиллы, бѣлоновскіе и Чарторійскіе, владѣльцы земель, гдѣ большею частью гуляла гайдамачина, располагали своею собственною кавалеріею и на свой счетъ бергали принадлежавшій имъ край. Въ Умани, Чигиринѣ, Немировѣ, Черассахъ, Смилѣ, Саврани, Корсуни, Грановѣ, Тарговицѣ, Лисянкѣ и въ другихъ пограничныхъ мѣстахъ жили ихъ управляющіе, которые назывались „губернаторами“. Они были и коменданты этихъ военныхъ постовъ. Каждое комендантство имѣло укрѣпленный замокъ, съ башнею и пушками. Если не было замка, то имѣлся „лямусъ“ (Iamus) — укрѣпленный казармы со стрѣльницами. Въ этихъ-то войскахъ, называвшихся также и надворными, отличались гайдамацкими подвигами Ортынскій и Закревскій.

Гайдамаки, такимъ образомъ, должны были обманывать бдительность ограниченной стражи какъ съ своей стороны, такъ и со стороны Польши. Если пробратъся было невозможно черезъ рубежъ, то шайка направлялась въ Гардь на Бугъ—обыкновенное мѣсто переходовъ или „перелазовъ“ на еиріятельскую сторону. Когда и тамъ не удавалось перебраться, когда гаршина на паланкахъ не желалъ имъ потворствовать, то гайдамаки находили тайные, имъ однимъ вѣдомые, „перелазы“ черезъ Бугъ или по этой тѣкѣ спускались внизъ до Лимановъ („до Лямы на рыбалкахъ“). Оттуда они спускались въ очаковскую степь, изготовляли себѣ въ лѣсахъ лодки или отнимали ихъ у рыбаковъ и уже съ „ханской стороны“ налетали на польскую Украину, добравшись до тѣхъ мѣстъ, гдѣ они намѣревались же начать свой сухопутный походъ. Въ Польшѣ они усиливались присоединеніемъ къ нимъ годовѣрцевъ, изъ пѣхоты превращались въ кавалерію, брали мѣстныхъ проводниковъ, ознакомились съ мѣстными обстоятельствами и грозю налетали на богатая земли, на монастыри, брали приступомъ города, выжигали ихъ дотла, кололи пановъ и евреевъ,—и возвращались съ богатою добычею. Иногда они обрубались въ лѣсахъ, на островахъ рѣчекъ, снова выходили и доопустошали то, что не успѣвали

опустошить сразу. Захваченные ими табуны лошадей навьючивались польскимъ и жидовскимъ добромъ, плѣнными паненками и ксендзами и слѣдовали за шайками въ видѣ войскового скарба. Страна наполнялась ужасомъ и отчаянными криками: „гайдамаки! гайдамаки!“ Ужасная вѣсть передавалась отъ регимента къ регименту, отъ города къ городу, и губернаторы ставили подъ ружье всю свою милицію, поднимали артиллерію и спѣшили противъ врага. Но врагъ рѣдко оставался побѣжденнымъ: онъ всегда отчаянно пробивался сквозь польскіе отряды, скакалъ на перемѣнныхъ лошадяхъ по нѣскольку сутокъ, налеталъ на другіе города и замки, снова бралъ ихъ приступомъ, зажигалъ и опять начиналъ, подобно урагану, кружить по польской землѣ, пока вьючныя лошади не въ состояніи уже были тащить за собою награбленного добра, а гайдамацкіе поляки („чересь“), куда они прятали золото, не разрывались отъ тяжести. Дѣлая роздыхъ, гайдамаки устраивали укрѣпленный таборъ, обрубались въ лѣсахъ и окапывались валами, зажигали костры и отдыхали, пока ватажокъ не отдавалъ новаго приказа, куда идти. Заходя въ новонаселенныя слободы, обитатели которыхъ были такіе же, какъ и гайдамаки, украинцы, шайки находили нерѣдко радушный пріемъ, и тогда начиналась гуляня, бандуристы пѣли думы о старыхъ войнахъ съ ляхами, прославляли настоящихъ героевъ, пока не раздавался новый крикъ: „ляхи! ляхи!“—и гайдамаки опять на коняхъ, и опять кровавыя схватки, опять скачки по степямъ, опять грабежъ и пожары. Польскія семейства и евреи бросаютъ свои дома, имущества и бѣгутъ прятаться или въ укрѣпленныхъ замкахъ, или въ лѣсахъ. Боясь, что не устоятъ и замки, поляки и евреи бѣгутъ за Днѣпръ, подъ защиту русскихъ укрѣпленій или даже къ татарамъ. Нагулявшись досыта, гайдамаки снова возвращаются въ степь.

Одинъ изъ первыхъ предводителей гайдамацкихъ шаякъ, по времени ихъ появленія на Украинѣ, былъ Савва Чалый. Личность эта приобрѣла почему-то въ народѣ огромную славу, которая ставитъ его на-ряду съ самыми крупными южно-русскими героями. Много романческаго въ жизни этого человѣка и чѣмъ-то мистическимъ отзываются его подвиги въ народной поэзіи. Сынъ якобы знатныхъ родителей и правнукъ кошевого атамана, память котораго не забывало Запорожье, Савва дѣлается предводителемъ гайдамацкой шайки. Онъ въ одно время и запорожецъ, и ренегатъ. Онъ дѣлается опустошеніемъ и въ Польшѣ и въ Малороссіи. Приверженецъ якобы Орлика, потомъ „согласникъ“ короля Станислава Лещинскаго, онъ является страшилищемъ той польской партіи, которая стояла за королей саксонскаго дома. Обласканный потомъ поляками, онъ дѣлается членомъ Рѣчи Посполитой, богатымъ польскимъ помѣщикомъ и, наконецъ, умираетъ въ Запорожьѣ подъ кіями казаковъ у позорнаго столба. Долго личность эта была предметомъ пѣсенъ украинскихъ бандуристовъ; но историки не знали, когда жила эта странная личность. О Саввѣ Чаломъ пѣли въ Кіевѣ, на Подолѣ и на Волини, и народъ, создавшій изъ его жизни цѣлую эпопею, самъ путался въ показанія о времени, которому принадлежитъ

гь народный герой, какъ онъ путаетъ эпохи Хмельницкаго, Наливайка Лазепи. Савва Чалый, наконецъ, далъ богатый сюжетъ для исторической ми одному изъ известнѣйшихъ русскихъ писателей, скрывшему свое подь псевдонимомъ Іереміи Галки (Н. М. Костомаровъ). Но обстоятельства жизни и подвиги Чалаго, какъ лица историческаго, разъяснены ко въ послѣднее время проф. Антоновичемъ.

Савва, или Савка Чалый, былъ сынъ мѣщанина изъ м. Комаргорода. Во ми смуть въ Малороссіи, которыми закончилась первая четверть XVIII сто- іа, Савва Чалый сдѣлался известнымъ какъ полковникъ покаявшихся (амаковъ, слѣдовательно, союзникъ поляковъ, и, по свѣдѣніямъ, извле- нымъ г. Антоновичемъ изъ архивовъ, онъ является въ глазахъ исто- а зауряднымъ гайдамакомъ. Не такимъ рисуется его другой, непризнан- историкъ—народъ. Народная поэзія упрекаетъ отца Саввы въ томъ, онъ выкормилъ такого сына:

Ой бувъ въ Січі старий козакъ, прозваніємъ Чалый,
Вигодовавъ сына Саву у Польщу на славу.
Ой не схотівъ та панъ Сава козакамъ служити.
Вінъ пійшовъ до ляшеньківъ слави залучати.
Вінъ пійшовъ до ляшеньківъ служби відправляти,
И зъ ляхами православну церковь руйновати,
Ой бувъ Сава, та івъ сала, та все паляниці,
Не кохавъ Сава молодихъ дівчатъ, та все молодиці,
Не кохавъ Сава панівъ козаківъ, та все католики,
Загубивъ Сава, протесавъ Сава свою віру на віки.

Какъ бы то ни было, но, согласно преданію, бѣжавъ изъ Запорожья, ый сформировалъ значительную шайку гайдамаковъ и, называя себя рожденьемъ и въ то же время „согласникомъ“ короля Станислава, онъ имени Россіи и Польши производилъ грабежъ въ имѣніяхъ тѣхъ скихъ владѣльцевъ, которые держали сторону короля саксонскаго. ки, считая Чалаго дѣйствительно представителемъ запорожскаго а, требовали отъ русскаго правительства удовлетворенія за нанесен- Рѣчи Посполитой оскорбленіе и ущербъ ея владѣніямъ, и кіевскій раль-губернаторъ, графъ фонъ-Вейсбахъ, тотъ, который основалъ ивскую военную линію, долженъ былъ принять мѣры къ прекращенію иговъ Чалаго. Онъ написалъ въ запорожское войско о Чаломъ и овалъ, чтобы оно командировало въ польскую Украину казаковъ, . начальствомъ искуснаго старшины, для поимки разбойника Савки. геройскіе, по мнѣнію казаковъ, подвиги Чалаго сдѣлали имя его по- рнымъ между низовымъ воинствомъ, и эта популярность, вмѣстѣ съ віемъ имени бывшаго запорожца, приобрѣла ему сторонниковъ между аями. Хотя запорожцы и отрядили казацкую команду въ Немировъ мань, гдѣ всего чаще видѣли Чалаго, однако, тамъ его уже не ли. Узнавъ отъ своихъ запорожскихъ помолонниковъ о состоявшейся ивъ него экспедиціи, Чалый оставилъ въ Польшѣ своего есаула

Василія Шутку и черезъ Балту пробрался во владѣнія Бессарабіи. Шутка и три другіе гайдамаки были пойманы, приведены въ Сѣчь и повѣшены.

Но Чалый и за границей не оставался въ бездѣйствіи. Странствуя по Бессарабіи и Молдавіи, онъ нашелъ возможность примѣнить къ дѣлу свои гайдамацкія способности и что потерялъ въ Польшѣ, то нашелъ за границей. Въ Молдавіи онъ столкнулся съ такими же бродячими вилами, какими богаты были окраины Россіи — тотъ же бездомный людъ, тѣ же недовольные судьбой, тѣ же безпріютныя головы. Изъ молдавскихъ „бродниковъ“ и бессарабскихъ цыганъ онъ сформировалъ новый гайдамацкій отрядъ и повелъ его на свою родину. Имя Чалаго привлекло къ нему еще большія толпы, чѣмъ тѣ, которыми онъ располагалъ прежде, и шайка его усилилась присоединеніемъ запорожскихъ рыбаковъ, которые всегда охотно шли къ гайдамакамъ. За ними пошли и польскіе крестьяне, давно слышавшіе о подвигахъ Чалаго. Мало того, Чалый нашелъ сочувствіе въ запорожской бугогардовской паланкѣ, въ лицѣ очень вліятельной тамъ особы, именно полковника Пхайки.

И вотъ, опять загремѣло имя Чалаго по Польшѣ и по Украинѣ. Шайка его нигдѣ не встрѣчала препятствія, а если и выслались противъ него отряды, то развѣ только затѣмъ, чтобы доставить новую славу имени смѣлаго гайдамака. Во всѣхъ городахъ онъ имѣлъ тайныхъ приверженцевъ, которые извѣщали его о замыслахъ польской партіи, о движеніяхъ командъ и другихъ приготовленіяхъ, клонившихся къ гибели неустрашимаго ватажка. Все русское населеніе польской Украины открыто ему сочувствовало, и Чалый безопасно могъ жить въ многолюдныхъ селахъ и городахъ, не опасаясь, что его выдадутъ полякамъ. Такъ онъ якобы часто бывалъ въ Немировѣ у своей любовницы, и никто изъ жителей, знавшихъ объ его посѣщеніяхъ этого города, не доносилъ на него польскому начальству.

Всего болѣе доставалось отъ Чалаго богатымъ имѣніямъ короннаго гетмана Франца Потоцкаго, который былъ противникомъ партіи Станислава Лещинскаго, а слѣдовательно и его „согласника“ Саввы Чалаго. При томъ имѣнія Потоцкихъ и ихъ многочисленныхъ родственниковъ находились именно въ польской Украинѣ, главномъ поприщѣ дѣяній какъ Чалаго, такъ и всей послѣдующей гайдамачины. Наконецъ, партія Лещинскаго пала. Всѣ украинско-польскіе магнаты, въ томъ числѣ и коронный гетманъ Потоцкій, не видя спасенія отъ дерзости Чалаго, рѣшились принять самыя энергическія мѣры, чтобы положить конецъ похижденіямъ Чалаго. Но никакія мѣры не помогали. Дерзость Чалаго не уменьшалась, а польскіе паны все болѣе и болѣе теряли увѣренность въ своей безопасности. Имя Чалаго, какъ имя Пугачева, стало какимъ-то нарицательнымъ именемъ всякаго, въ комъ гайдамацкія качества выдавались наиболѣе рѣзко. Всякій гайдамакъ сталъ идти подъ именемъ Саввы Чалаго, подобно тому, какъ атаманамъ и полковникамъ Пугачева давалось имя Пугача, когда они налетали неожиданно на какую-либо мѣстность, и имъ оказывались

такія же царскія почести—колокольный звонъ, поднятіе хоругвей церковныхъ, колѣнопреклоненія, поднесеніе хлѣба и соли, — какъ и настоящему самозванцу. Мало того, коляки должны были окончательно растеряться, не зная, кого ловить и кого казнить. Сегодня ловили Савву Чалаго, приводили въ замокъ и казнили. Поляки и трепетные отъ страха евреи видѣли, что казнить наконецъ страшнаго разбойника, видѣли его на колу или на висѣлицѣ собственными глазами, и вдругъ черезъ нѣсколько дней опять слышны въ окрестностяхъ отчаянные крики: „Савва Чалый идетъ! Савва Чалый! Гайдамаки!“ Опять скачутъ гонцы по замкамъ и хоругвямъ, опять идетъ гонка за Чалымъ, а Чалый неожиданно является въ совершенно противоположной отъ поисковъ сторонѣ. Общее смятеніе и страхъ переходятъ въ суетврную панику. Въ подвигахъ Чалаго видятъ что-то сверхъестественное. Его считаютъ колдуномъ, котораго ни пуля не беретъ, ни веревка задушить не можетъ. Оказалось, что всякій гайдамакъ, попадавшійся въ плѣнъ, называлъ себя Саввою Чалымъ и шелъ на колъ и на висѣлицу, а настоящий Чалый оставался живъ и невредимъ и продолжалъ свою охоту за поляками и евреями.

Зато евреи и отмстили этому гайдамаку.

Евреи донесли коронному гетману Потоцкому, что Чалый часто бываетъ въ Немировѣ у своей любовницы, что онъ проводитъ у нея цѣлые дни, прїѣзжая въ городъ съ однимъ только слугою (въ народной поэзіи— „джура“) и оставляя свою свиту далеко отъ Немирова, и что въ этомъ городѣ онъ ведетъ себя такъ неосторожно потому, что надѣется на преданность къ нему всего русскаго населенія. По этимъ указаніямъ евреевъ Потоцкій послалъ своихъ людей и приказалъ имъ схватить гайдамака. Чалаго окружили и взяли. Потоцкій предложилъ ему на выборъ два исхода: или онъ будетъ посаженъ на колъ, какъ разбойникъ, или принимаетъ польское подданство съ обязательствомъ за хорошую плату служить Польшѣ противъ казаковъ и Россіи. Чалый выбралъ послѣднее, такъ какъ въ Россію онъ все равно не могъ возвратиться, гдѣ его ждали казацкіе вѣи или смерть на висѣлицѣ и откуда онъ самъ бѣжалъ, когда имя его, какъ предводителя гайдамаковъ, еще не было страшно ни Польшѣ, ни Запорожью. Онъ, впрочемъ, равно ненавидѣлъ и Польшу, и Россію, потому что та и другая грозили ему смертью. Но въ Польшѣ у него были свои привязанности; наконецъ, съ Польшею его связывали привычки и воспоминанія послѣднихъ лѣтъ. Онъ отлично говорилъ по-польски. Народная пѣсня о Чаломъ повѣствуетъ, что когда запорожцы задумали, наконецъ, схватить его въ самой Польшѣ и тихонько пробирались въ польскія земли, Чалый въ это время гулялъ въ Немировѣ у поляковъ на обѣдѣ, и, какъ выражается пѣсня, такъ и „рубить по-польски.“

Ой пье Сава въ Немірові въ лихивъ на обіді.

Та й не думає й не гадає о своїй горькій біді.

Ой пье Сава и гуляє, *ляхомъ вирубає,*

А до его що до Савы гонецъ прїїзжає.

Во всякомъ случаѣ, Польша тянула его къ себѣ болѣе, чѣмъ Россія. Гетманъ Потоцкій, желая заручиться такимъ союзникомъ, какъ Чалый, сдѣлалъ его атаманомъ и предводителемъ отрядовъ, которые иногда направлялись на русскіе предѣлы съ такъ называемыми „подъѣздами“. Опытность Чалаго ругалась за успѣхъ подобныхъ польскихъ экспедицій, и Чалый не обманулъ общаго довѣрія. Онъ сталъ опаснымъ врагомъ Запорожья, котораго обычаи и слабыя стороны онъ хорошо изучилъ какъ предводитель гайдамаковъ, часто набѣгавшихъ къ нему изъ Россіи. Чалый женился и зажилъ баринкомъ. Народная поэзія иначе не называетъ его, какъ „паномъ Саввою“.

Наѣзды поляковъ на Россію, подъ начальствомъ Чалаго, доказали, что поляки приобрѣли себѣ хорошаго союзника. Въ одну изъ такихъ экспедицій Чалый повелъ свой отрядъ въ запорожскій Гардь, разорилъ тамъ станъ запорожскій, захватилъ ихъ походную церковь и разрушилъ самый Гардь (плотины, устроенныя для ловли рыбы). Въ Польшѣ побѣдителя ждала награда — дарованіе особаго имѣнія въ потомственное владѣніе; зато въ Запорожьѣ накипала все больше и больше злоба казаковъ противъ своего измѣнника. Такимъ образомъ Чалый сдѣлался польскимъ помѣщикомъ, владѣльцемъ селъ Рубани и Степашекъ.

Запорожцы пришли въ негодованіе, узнавъ, что Гардь разоренъ не поляками, а Чалымъ. Надо было во что бы то ни стало уничтожить ренегата, который такъ жестоко надругался надъ своею родиною. Мало того, Чалый однажды оскорбилъ Запорожье и тѣмъ, что, какъ говорятъ преданіе, пригласилъ запорожцевъ въ кумовья къ своей собачкѣ, которой кличка была „Улитка“. Въ пѣснѣ о Чаломъ, записанной Н. И. Костомаровымъ въ 1844 году на Волынѣ и помѣщенной въ нашемъ „Малорусскомъ литературномъ сборникѣ“, говорится, что когда казаки обманомъ взяли Савву Чалаго въ Немировѣ и наказывали его смертью, то приговаривали:

Отсе жъ тобі, Саво, за твої ужитки,
Щобъ не кликавъ у куми до сучки Улитки!

Вообще поэтическія преданія о мести запорожцевъ надъ Чалымъ и о смерти этого народнаго героя въ высшей степени полны драматизма. Когда получена была вѣсть о разбойническомъ походѣ Чалаго противъ запорожскаго Гарда, казаки собрались на совѣтъ—не пришелъ только старикъ Чалый, отецъ Саввы.

Отъ и зібралися запорожці, у раду схожали:
За походи, туди-сюди проміжъ себе рахували.
Усі прийшли, усі прийшли, одного нема.
—„Ой чомъ же тебе, батьку Чалый, у раді нема?
—„Ой чого жъ то мені, панове, у раду ходити?
„Що хочете мого сина Саву на віки загубити.
„Хочъ вінъ ставъ собі до ляхівъ, та вже жъ синку милій.
„Чомъ ти ставъ та до насъ, такий ставъ спесивий?“
Ой спесивий не спесивий—пани кажуть—Сава,

Та не добра, зурівочна стала его слава.
Що не тільки що панъ Сава церковь та руйнує:
И съ бісами ставъ за право—барао знахорує.

Слѣдовательно, сами запорожцы были увѣрены, что Чалый знается съ дьяволомъ, что онъ „знахорує“. Такого человѣка называли „характерникомъ“: объ немъ говорили, что онъ „знаєть“. Такого человѣка не легко было извести, и потому противъ сверхъестественной силы нужны были и сверхъестественныя средства, нужно было найти другого „характерника“. Такимъ оказался запорожець Игнатъ Голый или Гнатко. Пѣсня говорить, что запорожцы упрекали старика Чалаго тѣмъ, что сынъ его жестоко обращается съ плѣнными запорожцами, водить ихъ въ желѣзахъ:

Ой чи бачишь, старий Чалий, что синъ Сава робить:
Якъ піймає запорожцівъ—у кайданахъ водить...

Старикъ говорить, что ему хотѣлось бы побывать въ Польшѣ, поведать сына—можетъ быть онъ и помогъ бы дѣлу.

Коли бъ мені, милі брати, въ Польщі побувати,
Въ Польщі, въ Польщі побувати, Саву поведати...

Казаки отвѣчаютъ:

Да не май его старий Чалий,—всею Січю взяти...

На радѣ порѣшили предоставить это дѣло Игнату Голому. Голый былъ великій „характерникъ“, но еще сильнѣе его былъ Савва Чалый. О Чаломъ говорили въ народѣ, что онъ такъ заколдовалъ себя чарами и заклинаньями, что его не иначе можно было захватить, какъ только въ такомъ случаѣ, когда противникъ его одною ногою будетъ стоять на польской землѣ, другою на запорожской. Это зналъ Игнатъ Голый и принялъ свои мѣры. При описаніи похода на Польшу, одинъ варіантъ пѣсни, записанной г. Костомаровымъ въ полтавской губерніи, говорить, что у Игната была:

Одна нога у сапьянци, а другая боса.

Это значить, что Игнатъ положилъ себѣ въ одинъ сапогъ запорожской земли, а другую ногу разулъ и босикомъ ступалъ по польской землѣ изъ опасенія, что на сапогѣ могла остаться частица земли запорожской.

Но, несмотря, однако, и на эти предосторожности, въ первый походъ Чалаго не могли захватить. Безъ сомнѣнія, Чалый былъ предупрежденъ о походѣ противъ него запорожцевъ, а поляки отразили удачно ихъ нападеніе, такъ что Голый долженъ былъ бѣжать съ своими товарищами. Волинская пѣсня въ сборникѣ Костомарова такъ говорить о первомъ походѣ Чалаго:

Да ще-жъ не світъ, да ще-жъ не світъ, да ще-жъ не світає,
Да вже-жъ Гнатко зъ кравчиною коника сідлає,

Посіддали кониченьки, стали меду пити—
Стали ляхи, вражи сини, у вікна палити.
Ой обмахнулись два ляшеньки нахрестъ шабельками,
Утікъ Гнатко зъ кравчиною по-підъ рученьками,
Да пішовъ Гнатко зъ кравчиною по-надъ Богомъ (Бугомъ?) тихо:
Ой ні кому наказати—буде Саві лихо!

Второй походъ Голаго былъ удачнѣе перваго. Казаки прїѣхали къ Чалому въ то время, когда его не было дома—онъ былъ въ Немировѣ на обѣдѣ у какого-то пана. Во время обѣда прискакалъ къ нему изъ дому гонецъ съ извѣстіемъ, что дома что-то неладно, что около усадьбы начинаютъ бродить подозрительныя личности. Пѣсня говоритъ:

Ой бувъ Сава въ Немирові въ ляха на обіді.
Вінъ не знає, не гадає о своей гуркой біді,
„Да чому-сь мині, милі братя, медъ вино не пьється,
Где-сь на мене молодого бідонька кладеться“.

Когда прїѣхалъ къ нему посланный изъ дому и сказалъ объ угрожающей опасности, Чалый начался хвастаться своимъ войскомъ:

— „А що ти тутъ, Хомку? Чи все гараздъ дома?
— „Протоптана, пане, стежка до вашего дворка.
„Та все гараздъ, та все гараздъ, усе хорошенько—
„Споглядають гайдамаки зъ за гори частенько.
„Отто лихо! виглядають! Я-жъ ихъ не боюся;
„Хиба жъ нема въ мене війска—я не забарюся“.

Хотя варианты пѣсенъ о Чаломъ и рознятся между собою въ подробностяхъ и нѣкоторыхъ выраженіяхъ, однако, въ общемъ они сходны и достаточно пополняютъ одна другую. По всему видно, что Савва пользовался большою популярностію. О немъ поютъ по всей Малороссіи. Его знаютъ даже въ Австрій, въ Галицкой Руси—даже туда прошла его слава. У народа свои герои въ исторіи и свои дѣятели, которымъ онъ отдаетъ свое сочувствіе, а нашихъ героевъ онъ никогда и знать не хочетъ. Народъ помнитъ тѣхъ, которые имѣли активное соприкосновеніе съ его жизнью и дѣйствовали нерѣдко вмѣстѣ, рука объ руку, и рѣдко помнитъ тѣхъ, кого мы называемъ историческими дѣятелями, какъ между благодѣтелями человѣчества, такъ и между его врагами и историческими злодѣями, которыхъ—только подъ другимъ именемъ—было не мало. Для историка необходимо имѣть въ виду народное воззрѣніе насвое прошлое, и онъ не долженъ обходить тѣхъ историческихъ фактовъ, которые затеряла исторія и которые сохранилъ народъ въ своей памяти.

Савва Чалый является однимъ изъ такихъ народныхъ дѣятелей, которыхъ онъ почтилъ своею памятію, потому что дѣло народа и дѣло этихъ дѣятелей имѣли общія стороны: народъ помнитъ гайдамаковъ, потому что они были его дѣтища.

Прослѣдимъ же жизнь Чалаго по народной памяти до конца.

Когда изъ дому прискакалъ гонецъ съ извѣстіемъ объ опасности, Чалый вежѣлъ слугѣ осѣдлать лошадей.

„Да сѣдлай, джуро, сѣдлай, малый, коня вороного,
А собѣ сѣдлай, джуро малый, старого гнідого,
„Да поїдемо до гостоди, хочъ насъ и немного“.
Стоить явіръ надъ водою, въ воду похилився,
Іде Сава зъ Немирова, тяжко засмутився.

Когда, прїѣхавъ домой, онъ спросилъ у челяди, все ли благополучно дома, „челядоньки“ отвѣчали, что госпожа родила сына.

Ой приїхавъ та домоныку, та и скрипнувъ дверима.
Питається челядоньки: „що чувати въ доми?“
— „Гараздъ, гараздъ. пане Саво. щастлива година:
Твоя жінка, наша пані, породила сина“.

Вариантъ этотъ о рожденіи у Чалаго сына въ самый день смерти Саввы имѣется только въ червонорусской пѣснѣ. Въ другихъ говорится, что, подъѣзжая къ дому, онъ задумался о своей долѣ, которая дѣйствительно была такая странная, не подходящая подъ участь другихъ людей. „Охъ ты, доля моя, — говоритъ Савва, — щербатая доля!“ И спрашиваетъ онъ свою челядь:

— Все ли благополучно въ домѣ?

— Все хорошо, пане Саво, только съ тобою лучше, когда мы видимъ тебя на ворономъ конѣ... Все благополучно, пане Саво, все хорошо, только часто казаки выглядываютъ изъ-за горы (въ другихъ вариантахъ вмѣсто казаковъ упомянуты гайдамаки).

Сѣлъ Савва у конца стола, думаетъ тяжкую думу, а молоденькая жена купаетъ ребенка. Сидитъ Савва у конца стола, пишетъ мелкія письма, а жена молодая качаетъ ребенка. Сидитъ Савва, читаетъ письма, а жена его тяжело вздыхаетъ. Савва и говоритъ слугѣ:

— Поди, хлопку, принеси горѣлки: я выпью за здоровье жены. Да ступай, хлопку, принеси вина — выпью за здоровье сына. Да принеси. хлопку, меду: что-то мнѣ тяжело, тошно — головы не подниму.

Сидитъ Савва у конца стола, читаетъ письма, а молодая жена думаетъ-гадаетъ, качая ребенка: „баю, баюшки, мое дитя прекрасное“. И она горько плачетъ.

Не успѣлъ слуга снять со стѣны ключи, какъ явился Игнатъ Голый съ дружиною и стали ворота ломать. Едва Савва успѣлъ открыть окно, какъ гайдамаки были уже въ стѣняхъ. Это казаки прїѣхали въ полонъ брать Савву. И говорятъ казаки:

— Здравствуй, здравствуй, пане Саво! Здорово ли живешь? Издалека прїѣхали къ тебѣ гости — чѣмъ ихъ угощать будешь? Будешь ли угощать медомъ, или пивомъ, или горѣлкою?... Прощайся же съ сыномъ и женою.

— Я не знаю, милые братья, чѣмъ мнѣ угощать васъ... Богъ далъ мнѣ сына — я васъ въ кумовья возьму.

— Мы не затѣмъ пришли, чтобы кумовать у тебя, мы пришли, чтобы разсчитаться съ тобою... Если бы хотѣлъ, пане Саво, насъ въ кумовья брать, не ходилъ бы ты разорять Гардъ... Мы не затѣмъ пришли къ тебѣ, чтобы кумовать, а затѣмъ, чтобы голову твою снять.

Чалый бросился къ своему оружію.

— Постой,—говорятъ запорожцы:—постой, пане Саво!.. Это тебѣ не въ чистомъ полѣ.

Бросился Чалый къ своему ясному мечу—запорожцы подняли его на три копыя. Бьется на коняхъ Савва, шатается и съ женою прощается.

— Дайте мнѣ, братцы, съ женою проститься. Дайте мнѣ, братцы, съ еялою собраться.

Въ это время молоденькая жена Саввы выскочила въ окно и

Зъ чистихъ устокъ на словонько кухарці віддала:

— „Ой кухарко, вірна слуго, подай мі дитину,

Будешь досі пановати, пока я не згину“.

А запорожцы говорятъ Чалому:

— Веди насъ, пане Саво, въ новую кладовую, да отдавай намъ новую сбрую, да отдавай намъ, пане Саво, сукна, бархаты, что ты нажилъ, вражий сынъ, по милости казаковъ.

Потомъ казаки спрашиваютъ его:

— А гдѣ твои, пане Саво, гайдамацкіе кафтаны, въ которыхъ ты ходилъ по Украинѣ, вода свои шайки? Гдѣ твои, пане Саво, битые талера, что набралъ на Украинѣ, вода свои ватаги? Гдѣ твои, пане Саво, китайки, атласы, что ты набралъ на Украинѣ женѣ на пояса? Гдѣ твои, пане Саво, дорогія дамаескія шали, что ты набралъ на Украинѣ женѣ на платья? А гдѣ твоя, пане Саво, великая сбруя?.. Вотъ гдѣ она, виситъ на колышкѣ, да уже не твоя!

Ударился Чалый объ полы руками: „пришлось мнѣ погибать съ женою и сыномъ!“

— Будетъ тебѣ, пане Саво, будетъ уже воевать—не надо было тебѣ церковь грабить.

Заковали Чалаго въ кандалы и положили на возъ. Пѣсня, записанная И. И. Срезневскимъ, говоритъ, что связанный Савва обратился къ казакамъ съ такою рѣчью:

— Развѣ жъ то слава для васъ, паны запорожцы, что забитый въ кандалахъ лежитъ у васъ Савва? Если бѣ вы его на волю изъ кандаловъ выпустили, вотъ тогда бѣ вы себѣ залучили большую славу. Если бѣ вы его вольнаго къ себѣ приняли—вотъ тогда бы была вамъ слава.

Запорожцы дали ему волю и остались довольны „богатыремъ Савою“.

Не успѣлъ Савва на коня сѣсть, какъ началъ ляховъ класть какъ снопы. Видно, впрочемъ, что конецъ, этой пѣсни относится уже не къ Чалому. Участь же Чалаго рѣшилась скоро: онъ погибъ самой ужасною смертію на родинѣ. Запорожцы привезли его, израненнаго и закованнаго,

въ Сѣчѣ, гдѣ военнымъ судомъ онъ приговоренъ былъ къ казни. По обычаю запорожскому, Савва былъ убитъ кіями у позорнаго столба. Съ этимъ согласно говоритъ и пѣсня, которая поется въ Галиціи о Чаломѣ:

Зашуміла шабелечка якъ изъ ліса притинка,
Не зісталася по Саві его молодая жінка.
Гей бачили многи люде вкраїнску совочку,
Що принесла пану Саві смертельную сорочку,
Прилетіли къ пану Саві вкраїнські ворони—
Задзвонили пану Саві разомъ во всі дзвони.

Такъ кончилъ свою жизнь одинъ изъ первыхъ и одинъ изъ самыхъ популярныхъ гайдамаковъ, которому выпала, какъ онъ самъ выражается въ пѣснѣ, какая-то „щербатая доля“. Что сталося съ его товарищами—неизвѣстно.

Однако, жена и сынъ Чалаго спаслись. Польскій писатель Войцицкій думаетъ, что Савва Чалый былъ отецъ одного польскаго генерала, Цалинскаго, и погибъ въ половинѣ XVIII вѣка. Оно такъ выходитъ и по всѣмъ другимъ свѣдѣніямъ. Вѣроятно, этотъ генералъ Цалинскій былъ именно то лицо, которое, въ 1790 году, одинъ членъ польскаго сейма представилъ палатамъ, какъ жертву привязанности Саввы Чалаго къ Польшѣ. Сеймъ даровалъ ему дворянство и имѣніе въ чигиринскомъ староствѣ (у Скальковского).

V.

Трагическая смерть Саввы Чалаго не остановила того народнаго движенія, которое готовилось въ тиши, въ безмѣрныхъ южно-русскихъ степяхъ, по уединеннымъ хуторамъ, въ темныхъ лѣсахъ Задніпровья и въ бѣдныхъ хаткахъ недовольнаго населенія въ пограничныхъ съ Польшею мѣстностяхъ Малороссіи. Со смертью Чалаго гайдамачина только начала разгирываться, захватывая все болѣе и болѣе широкій кругъ.

Жестокая месть, которая обрушилась на голову Чалаго со стороны запорожцевъ, не доказывала, что запорожцы, по убѣжденію, строго отнеслись къ гайдамачинѣ и желали задавить ее въ самомъ началѣ. Напротивъ, въ послѣдующихъ подвигахъ гайдамаковъ запорожцы, — конечно, отдѣльныя личности, — всегда являлись коноводами, потому что, какъ мы сказали выше, въ сердцахъ ихъ давно накопило недоброе чувство и въ отношеніи къ полякамъ и евреямъ, и въ отношеніи къ москалямъ, и въ отношеніи ко всему порядку вещей, который тѣснилъ ихъ на каждомъ шагѣ и былъ предзнаменованіемъ того, что настаютъ послѣдніе часы Запорожья, что враги свободы давно порѣшили—запорожцевъ и ихъ старыя обычаи, и ихъ старинныя вольности „въ шоры убрать“. Запорожская злоба не могла открыто выливаться, потому что они сами были въ тискахъ. Но, если они съ такою же жестокостью отнеслись къ Чалому, такъ это потому, что Чалый измѣнилъ имъ, что Чалый сталъ „паномъ“ и не только грабилъ запо-

рожскую землю съ поляками, но разорялъ и церкви православныя. Его упрекали тѣмъ, что все, что онъ награбилъ, водя свои шайки, было украинское. Мало того, онъ разорилъ Гардъ съ рыбными ловлями—главный источникъ доходовъ Запорожья. На прочіе же подвиги гайдамацкихъ вожakovъ запорожцы не только не претендовали, но даже способствовали имъ. Самый кошъ запорожскій, есть основаніе думать, не только смотрѣлъ сквозь пальцы на гулянки своихъ молодцовъ по польской землѣ, но и видимо, потакалъ имъ, когда русское и польское правительства требовали расправы или отысканія виновныхъ. Этихъ виновныхъ гультаевъ никогда не отыскивалось. Правительство называло ихъ по именамъ, иногда указывало откуда они, объясняло ихъ примѣты, а куренные атаманы стояли на своемъ, что такихъ они знать не знаютъ и вѣдать не вѣдаютъ, что такихъ казаковъ въ ихъ куреняхъ никогда и не бывало, что и въ спискахъ казацкихъ они никогда не были записаны.

То же явленіе мы видѣли въ исторіи понизовой вольницы, на Волгѣ. Вольницѣ потворствовали нерѣдко мѣстныя власти, особенно въ волжскомъ войскѣ, гдѣ станичные атаманы обвинялись не только въ потворствѣ атаманамъ разбойниковъ, но и въ соумышленности съ ними. Мало того, въ исторіи атамана Брагина и его товарища Зубакина замѣшанъ былъ даже войсковой атаманъ. Такія качества обнаружались въ то смутное время во всѣхъ самостоятельныхъ военныхъ общинахъ — въ войскѣ яицкомъ, въ вольскомъ и въ Запорожьѣ; это были послѣднія судорожныя движенія передъ послѣднимъ издыханіемъ всѣхъ изстари существовавшихъ и отживавшихъ свой вѣкъ военныхъ общинъ, братствъ и кошей, которые уступали мѣсто другимъ, болѣе свѣжимъ современнымъ силамъ.

Между Саввою Чалымъ и сотникомъ Харько, который былъ до Желѣзняка и о которомъ мы скажемъ въ своемъ мѣстѣ, особенно крупныхъ личностей между предводителями гайдамаковъ не являлось, а, можетъ быть, объ нихъ только не сохранилось ни письменныхъ документовъ, ни сказаній въ народной поэзіи. Чалый дѣйствовалъ въ сороковыхъ годахъ, Харько въ пятидесятыхъ, а Желѣзнякъ уже въ концѣ шестидесятыхъ годовъ XVIII столѣтія. Между сороковыми и пятидесятыми годами упоминается гайдамацкій предводитель Федоръ Таранъ. Таранъ, по обыкновенію, былъ, кажется, запорожецъ. Изъ его разбойничьихъ походовъ указываютъ на одинъ, когда онъ напалъ на село Салышки, въ корсунскомъ староствѣ. Село было разграблено; табунъ лошадей угнанъ въ степи. Корсунскій губернаторъ Млотовскій писалъ о грабительствахъ Тарана русскому генералу Леонтьеву, требуя сатисфакціи потому, что на основаніи гржимуловскаго трактата, заключеннаго Россією съ Польшею при королѣ польскомъ Іоаннѣ III, въ 1686 году, подобныя нападенія гайдамаковъ, которыхъ обыкновенно считали запорожцами, признавались нарушеніемъ дружественныхъ связей между соседними державами. Леонтьевъ съ своей стороны требовалъ отъ коша удовлетворенія Польши за обиду. Онъ отправилъ въ Сѣчь ордеръ съ корсунскимъ офиціалистомъ Маевскимъ и требовалъ отъ

кошевого Василя Федорова немедленной выдачи гайдамаковъ и удовлетворенія обиженной стороны. Но тутъ ясно высказалось то, какъ смотрѣло запорожское начальство на подвиги Тарана и подобныхъ ему гультаевъ. Требованіе генерала Леонтьева, выраженное отъ лица русскаго правительства, едва не произвело бунтъ во всемъ войскѣ. Старымъ атаманамъ казалось обидою, что русскій генераль, по настоящю ляховъ, какъ бы насильно врывается въ ихъ домъ, въ ихъ семейные порядки и въ казацкія вѣковѣчныя вольности. Вышло то, что прѣхавшій въ Сѣчь съ ордеромъ официалистъ, а въ лицѣ его Рѣчь Посполитая—„жадной сатисфакціи не одобрала“. Самъ кошевой былъ безсиленъ заставить войско сдѣлать то, что ему было нелюбо и казацкой чести обидно: „всѣ атаманы, со всѣхъ куреней собравшись, на то не позволили и самого вельможнаго пана кошевого не послушали“.

Другая шайка гайдамаковъ, имя предводителя которой неизвѣстно, напала на село Колозны, близъ Погребись, въ кievской губерніи, и обратилась на домъ помѣщика. Помѣщикъ этотъ былъ ружанскій стольникъ Модрицкій, „товарищъ гусарскаго знамени присвѣтлаго королевича польскаго Ксаверія“, сына короля Августа III. Модрицкаго гайдамаки захватили въ домѣ. Они требовали отъ него имущества и грозили поднять на копыя и сжечь на жаровнѣ. Поджаривать на жаровнѣ людей была одна изъ пытокъ, которую употребляли и гайдамаки, и польскіе конфедераты. Иногда сыпали горячіе угли за голенища своихъ жертвъ. Солили по живому тѣлу солью, какъ это дѣлали и пугачевцы. Но гайдамаки не убили Модрицкаго: они только разграбили его домъ, угнали лошадей и скрылись. Изъ описи имущества Модрицкаго видно, что этотъ панъ былъ большой щеголь: кармазинные жупаны и сапфирные кожаны, розмариновые кунтуши, лисьи шубы съ золотыми шнурками—таковъ костюмъ Модрицкаго.

Около пятидесятихъ годовъ, передъ Харьковъ, подвизался гайдамацкій ватажокъ Пилипко. Разбойническія эскурсіи его, какъ видно, были довольно разнообразны, такъ что шайка Пилипка гуляла не только по Польшѣ, но и по владѣніямъ татарскимъ. Въ 1748 году онъ ворвался въ уманскую губернію, откуда выгналъ въ степь табунъ болѣе чѣмъ въ сто лошадей. Въ одной схваткѣ съ поляками былъ взятъ въ плѣнъ подчиненный ему гайдамакъ, и оказалось, что гайдамакъ этотъ былъ изъ польскихъ дворянъ, изъ дома Сулистровичей, новогрудскаго воеводства. Какъ и слѣдовало ожидать, онъ попалъ въ гайдамаки черезъ Запорожье. Прежде Сулистровичъ служилъ въ дворцовой гвардіи у разныхъ польскихъ вельможъ, а потомъ съ генераломъ Мокрановскимъ прибылъ въ Кіевъ. Тамъ онъ столкнулся съ запорожскими казаками, которые подговорили его поступить въ запорожское товариство. Сулистровичъ согласился. Запорожцы свезли его на своихъ лодкахъ Днѣпромъ до Сѣчи, гдѣ этого польскаго дворянина приняли и записали въ казачій реестръ по каневскому куреню, подъ именемъ Ивана Ляха. Изъ Запорожья онъ ходилъ съ разными ватажками на разбой въ Польшу и въ татарскія области. Во время этихъ по-

хождений, Сулистровичъ, или Ляхъ, сошелся съ Пилипкомъ. На возвратномъ пути изъ своихъ экскурсій, при грабежѣ польскихъ табуновъ, Сулистровичъ былъ взятъ въ плѣнъ. Какова дальнѣйшая судьба Пилипка, какъ и Тарана—неизвѣстно.

Къ пятидесятымъ годамъ все болѣе и болѣе разыгрывалась гайдамачина. Шайки ея стали многочисленнѣе, нападенія безстрашнѣе и опустошительнѣе. Жажда гайдамачества, какъ при Хмельницкомъ поголовное стремленіе въ казаки, охватывала постепенно большее число и казаковъ, и простыхъ, и посполитовъ. Эту смутную эпоху народъ очертилъ мѣткимъ выраженіемъ: „що не байракъ—то козакъ, що не ярокъ—то гайдамачокъ“. Но гайдамаки все еще продолжало дѣйствовать разьединенными силами, и хотя имѣли почти общую цѣль—месть сильнымъ и богатымъ, и поживу ихъ добромъ, однако, все еще не имѣли общаго знамени и такого имени, около котораго могли бы сгруппироваться. Чѣмъ больше было шаекъ и ватажковъ, тѣмъ труднѣе было указать, кто наиболѣе изъ нихъ дерзокъ и опасенъ, что, конечно, происходило еще и отъ того, что имена ватажковъ были извѣстны только ихъ товарищамъ и подчиненнымъ. По всему видно было, однако, что готовилось что-то страшное, и, конечно, то, что готовилось, было не капризомъ народа, происходило не отъ дерзости отдѣльных личностей, которыя, дѣлаясь предводителями ватагъ, увлекали за собой народъ: явленіе это указывало на болѣе глубокія причины, которыя коренились въ самомъ строѣ общественной жизни и въ горькомъ сознаніи народа, что не въ мочь уже стало ему житіе тяжкое. Такъ всегда бываетъ передъ какою-нибудь большою бѣдой въ государствѣ и передъ великими народными событіями: такъ предсказывались опасными явленіями въ народѣ великія бѣды—передъ возстаніемъ Хмельницкаго, такъ было въ Россіи передъ пугачевщиной, такъ было въ Малороссіи и Польшѣ передъ гайдамачиной. И поляки, и русскіе видѣли эти опасныя явленія, догадывались, что надо ожидать чего-то страшнаго, а чего именно—не знали, и не вполнѣ знали также, съ которой стороны ждать несчастья. Поляки и русскіе не могли не видѣть, что безъ причины народъ бунтовать не можетъ, что ежегодное умноженіе гайдамаческихъ набѣговъ лежитъ не въ капризѣ народа, не въ прихоти гайдамацкихъ атамановъ, а въ роковой необходимости, которая волнуетъ край, повидимому, успокоенный навѣки.

Въ виду этихъ опасеній, Польша и Россія согласились учредить особую международную комиссію для разсмотрѣнія взаимныхъ притязаній русскаго и польскаго пограничнаго населенія. Такимъ образомъ, опасныя признаки, грозившіе великими бѣдами обоимъ государствамъ, поняты были какъ „взаимныя притязанія“. Эти притязанія думали замазать чиновничьей комиссіей, не догадываясь, что канцелярскими средствами—отписками и повтореніями—не излѣчиваются глубокія раны въ государственномъ организмѣ. Въ комиссію эту назначены были: съ русской стороны—пограничный комиссаръ полковникъ Мироновъ и кievскаго гарнизона подполковникъ Рославлевъ, съ запорожской стороны—Николай Багно, Василій

Зеленскій и Дмитрій Романовскій. Польша прислала въ комиссію своего представителя—уманскаго полковника Ортынского, который, какъ мы говорили выше, отличался неумолимымъ преслѣдованіемъ и истребленіемъ гайдамаковъ.

Такъ какъ комиссія учреждена была для разсмотрѣнія взаимныхъ притязаній, то представитель всего Запорожья, кошевой Василій Григорьевъ Сычъ, представилъ кіевскому генералъ-губернатору Леонтьеву обширный списокъ претензій своего войска на Польшу, и въ этомъ списокѣ показалъ, что не проходило ни одного года, чтобы поляки не изрубили или не повѣсили одного или многихъ запорожцевъ. Тутъ напомнили Польшѣ и то, какъ уманскій комендантъ Табанъ пригласилъ къ себѣ на обѣдъ отрядъ въ 102 человекъ запорожцевъ, возвращавшійся изъ турецкой войны съ войсками Миниха и Лассія, и всѣхъ ихъ на рынокъ перевѣшалъ, и то, какъ немировскийъ губернаторъ перевѣшалъ другую партію казаковъ, тоже возвращавшихся изъ турецкой кампаніи. Тутъ же напомнили и о другихъ губернаторахъ, вѣшавшихъ казаковъ ни за что, ни про что. Напомнили и о томъ, какъ неистовствовалъ самъ членъ комиссіи, панъ Ортынский, и такой же другой истребитель запорожцевъ, панъ Закржевскій. Съ своей стороны поляки указывали на грабежи ватажковъ Пилипка, Тарана, на дерзости гайдамаковъ, грозившихъ сжечь на жаровнѣ пана Модрицкаго. Казаки выставляли на видъ, что въ послѣдніе годы польскія власти и частныя лица повѣсили или инымъ образомъ предали смерти, безъ всякаго суда, счетомъ 202 запорожца. Поляки требовали удовлетворенія за разбой Пилипка, и кошъ отвѣчалъ на запросы, что ни Пилипка, ватажка гайдамацкой партіи, ни товарища его Ивана Ляха или польскаго дворянина Сулистровича онъ не знаетъ, что Ляхъ никогда даже въ куренѣ каневскомъ не считался, и т. п.

Такимъ образомъ, пограничная комиссія ничего не сдѣлала, но все-таки эта неудача не убѣдила кого слѣдуетъ, что канцелярскими средствами нельзя спасти государства отъ народныхъ смутъ.

Между тѣмъ, гайдамаки продолжали свое дѣло, не взирая на то, что о нихъ-то и шла рѣчь въ комиссіи. Въ то время, когда происходили совѣщанія этой комиссіи, поляки успѣли заручиться крупными доказательствами виновности и неистовства гайдамаковъ и имѣли право надѣяться, что ихъ plentiful послужитъ сильнымъ средствомъ къ убѣжденію Россіи въ томъ, въ чемъ поляки хотѣли убѣдить ее. Такъ какъ гайдамаки, подобно саранчѣ, продолжали налетать на польскую Украину крупными и мелкими партіями, то мѣстныя власти, отбиваясь отъ нихъ, по мѣрѣ возможности, успѣли нахватать на мѣстѣ преступленій болѣе 200 запорожскихъ гайдамаковъ, именно 212 человекъ, которыхъ уже не было никакой возможности загородить ни русскимъ ни запорожскимъ властямъ. Тогда рѣшились учредить другую комиссію, въ Крыловѣ, на Днѣпрѣ. Но эта вторая комиссія даже не состоялась. Со стороны Россіи въ эту комиссію былъ присланъ комиссаромъ изъ сената особый чиновникъ, именно

Литышовъ; со стороны запорожской прибыли старшины Романовскій, который участвовалъ и въ первой комиссіи, и Якимовъ. Думали, что перемѣной чиновниковъ поправятъ дѣло, а, между тѣмъ, кровавое-то дѣло шло своимъ чередомъ, и не только гайдамаки ожесточались все болѣе и болѣе, но и народъ сталъ смотрѣть такъ подозрительно, что нечего было и думать о скоромъ возстановленіи спокойствія. Это поняли польскіе комиссары, и потому, опасаясь за свою жизнь, не рѣшились ѣхать въ Крыловъ для участія въ комиссіи: они боялись уже не гайдамаковъ только, но и самыхъ крестьянъ.

Впрочемъ, положительно нельзя было ожидать, чтобъ и эта комиссія привела къ какому-нибудь серьезному результату. Разладъ лежалъ глубже, чѣмъ это казалось обѣимъ сторонамъ, и разладъ болѣе основательный, чѣмъ пограничныя претензіи. При томъ же обоюдныя пререкавія между Россією и Польшою въ послѣднее время все болѣе и болѣе запутывались и усложнялись, такъ что, во всякомъ случаѣ, ни изъ русскихъ, ни изъ польскихъ претензій; надо полагать, ничего бы не вышло. Еще въ сороковыхъ годахъ, когда не замѣтно было общаго броженія и ожесточенія на югѣ Россіи, русское правительство обратилось съ своею претензією, по одному малороссійскому дѣлу, къ польскому правительству, и ничего не получило. А претензія была довольно серьезная и основательная. Мы говорили выше, что въ 1742 г. одинъ отрядъ польской кавалеріи, разбойничавшій, подобно записнымъ гайдамакамъ, въ Бугогардовской паланкѣ запорожскаго войска, укрѣпился у Мертвоводя и дѣлалъ оттуда, какъ изъ укрѣпленнаго лагеря, нападенія на русскія владѣнія. Объ этомъ знала сама императрица, до которой дошли извѣстія о походахъ польской кавалеріи на русской землѣ. Объ этомъ русскому послу въ Варшавѣ приказано было спросить польскій дворъ и получить удовлетвореніе. Но польскій дворъ приказалъ своему послу въ Петербургѣ, великому обозному литовскому, графу Огинекому, отвѣчать русскому двору, что нападеніе польской кавалеріи на малороссійскія земли послѣдовало изъ мести, что поляки дѣлали въ Запорожѣ то же, что запорожцы въ Польшѣ, что запорожцевъ хотятъ наказать за ихъ гайдамацкіе набѣги на Польшу и въ особенности за убіеніе казака Саввы Чалаго, бывшаго запорожца, служившаго въ польскомъ войскѣ. Это говорилось, конечно, о той ловушкѣ, которую устроилъ Игнатъ Голый знаменитому Чалому, захвативъ его въ Польшѣ и доставивъ въ Сѣчь для убіенія кіями. Такимъ образомъ, русское правительство ничего не добилося. Само собою разумѣется, что и прочія обоюдныя претензіи того и другого правительства, въ отношеніи подавленія съ той и другой стороны гайдамацкихъ смутъ, грозили такимъ же неудачнымъ концомъ. Казацкая честь требовала не выдавать ляхамъ запорожцевъ, хотя бы они и дѣйствительно были коноводы гайдамаковъ, какъ Пилипко, Таранъ и другіе. По законамъ и обычаямъ товарищества, всякаго провинившагося казака наказывали по приговору всего войска, товарищески. А это товарищеское наказаніе состояло или въ біеніи кіями до смерти у по-

зорнаго столба, или въ біеніи кіями слегка, до увѣчья, или въ осужденіи на тяжкія работы. Первымъ изъ этихъ способовъ наказанъ былъ, т.-е. забить кіями до смерти, Савва Чалый, вторымъ способомъ наказанъ былъ полковникъ Пхайко, соумышленникъ Чалаго въ его бугогардовскихъ похороненіяхъ. Такъ запорожское начальство наказывало и другихъ гайдамаковъ, если они попадались; но чтобы даже попавшагося на разбоѣ выдать ляхамъ—это было унизительно для казацкой чести. „То не шкода, що козакъ ляхамъ нашкодывъ, лядську землю зруйновавъ, жилову пошарпавъ, а то шкода, якъ козака злапають—одъ московскаго суда не одхрестись: сказано, не той здоровъ, що поборовъ, а той, що вивернувся. Умій гайдамакувать, умій и москаля у шори убратъ“, говорили батьки атаманы, читая наставленіе своимъ дѣткамъ. А кто не умѣлъ „москаля у шори убратъ“—вывернуться, тотъ попробуй казацкой каші—отеческаго наказанія кіями. Но выдавать своихъ провинившихся дѣтокъ ляхамъ на поругу,—къ этому и московскіе нѣмцы не могли принудить атамановъ, особенно когда со стороны поляковъ устраивались такія облавы на гайдамаковъ, что казаку нельзя было и носу показать въ степь, чтобы его не поймали и не повѣсили. Поляки же еще меньше расположены были удовлетворять чьи бы то ни было требованія—запорожскія ли, русскія ли—все равно. Въ Варшавѣ даже хорошенько не знали, что дѣлалось въ польской Украинѣ, потому что тамъ было не до гайдамаковъ. Въ Варшавѣ готовилась барская конфедерація; Польша еще болѣе разбилась на враждебные лагеря. Чарторійскіе не хотѣли слушать Потоцкихъ, Потоцкіе Чарторійскихъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и Понятовскихъ. Въ польской Украинѣ распоряжались Потоцкіе, какъ самые богатые землевладѣльцы, которымъ принадлежала чуть ли не вся Украина. Между тѣмъ, въ Варшавѣ начинали верховодить Чарторійскіе, приверженцы Россіи, а слѣдовательно, и Понятовскаго, какъ своего родственника. Естественно, что если изъ Варшавы спрашивали о причинахъ безпорядковъ въ польской Украинѣ, то указывали на гайдамацкія смуты. Потоцкіе не считали себя обязанными давать отчетъ Варшавѣ въ томъ, что дѣлается у нихъ въ имѣніи, т.-е. въ цѣлой польской Украинѣ, тѣмъ болѣе, что Потоцкіе имѣли право сказать, что украинскіе крестьяне ими облагодѣтельствованы, какъ мы это и говорили въ свое время. Изъ недоброжелательства же къ Россіи, Потоцкіе и весь ихъ обширный родъ, владѣвшій цѣлою Украиною польскою, не обращали вниманія на претензіи русскаго правительства въ дѣлѣ гайдамаковъ, тѣмъ болѣе, что у нихъ были свои гайдамаки на жалованьи, въ родѣ Саввы Чалаго, Станислава Ортинскаго и пана Закржевскаго. При томъ это было такое запутанное, несчастное время для Польши, что трудно рѣшить, кто тамъ былъ правъ, кто виноватъ. Поляки, видимо, потеряли голову, предчувствуя, что настаютъ послѣдніе дни ихъ царства, хоть не знали, что волосокъ, на которомъ висѣлъ надъ ихъ головами домоклесовъ топоръ, они сами оборвутъ. Потому есть основаніе довѣрять свѣдѣтельству самихъ поляковъ, которые увѣряютъ, будто самъ Потоцкій не

чисть въ дѣлѣ гайдамачины, будто онъ ихъ поднялъ на зло господствующей въ королевствѣ партіи, приверженной Россіи, не предчувствуя, что его собственные родичи и кліенты захлебнутся въ крови, которую начнутъ точить гайдамаки изъ праваго и виноватаго. Не даромъ современныя той кровавой эпохѣ украинскія пѣсни приписываютъ Потоцкому „бабій разумъ“:

Ой Потоцкій, Потоцкій,
Въ тебе разумъ жіноцькій.

Другая пѣсня говоритъ, что Потоцкій погубилъ не только Польшу, но и Украину:

Ой ти пане Потоцкій, ти прескурвий сину;
Запропастивъ еси Польшу и всю Украину;
Поки світа сонця на небесахъ стане.
Буде на тебе весь міръ плакать, та и не перестане.

Безъ сомнѣнія, это тяжелое народное обвиненіе не даромъ падаетъ на голову Потоцкаго, хотя мы опять-таки повторяемъ, что народъ едва ли могъ плакаться на него, какъ на помѣщика: какъ помѣщикъ, Потоцкій былъ лучше другихъ помощниковъ чисто-украинской крови, и крестьянамъ въ его помѣстьяхъ, какъ и въ помѣстьяхъ его богатыхъ родичей во всей западной Украинѣ, жилось хорошо и было чѣмъ кормиться, тогда какъ на лѣвой сторонѣ Днѣпра, на русской, было жить имъ очень тяжело. Но народъ не даромъ бросилъ словомъ укора въ память Потоцкаго, какъ государственнаго человѣка: если въ дымѣ пожаровъ, которые напустила на Россію пугачевщина, виднѣется фигура конфедерата Пулавскаго, помогавшаго Пугачеву своими совѣтами и указаніями, то и подошвы графа Потоцкаго не совсѣмъ должны быть чисты отъ крови, которую упитали польско-украинскую почву гайдамаки.

Какъ бы то ни было, ни русское, ни польское правительство ничего не успѣли сдѣлать къ 50-му году для успокоенія страны, а съ этого именно года гайдамачина и начинается разыгрываться и, наконецъ, превращается въ уманскую рѣзню.

VI.

Въ исторіи понизовой вольницы, дѣйствовавшей во второй половинѣ XVIII вѣка, на юго-восточныхъ окраинахъ Россіи, мы замѣтили какое-то колебаніе въ отношеніи появленія разбойничьихъ шаекъ и ихъ многочисленности: въ иные годы на окраинахъ Россіи какъ бы все нѣсколько затихало, въ другіе же годы какъ бы все опять поднималось на ноги. Это колебаніе—то временное затишье, то учащенное повтореніе народныхъ вспышекъ—мы замѣчаемъ и въ исторіи народныхъ движеній того времени и на другихъ окраинахъ Россіи, на юго-западныхъ. Безъ сомнѣнія, явленіе это могло завистѣть отъ причинъ чисто внѣшнихъ: въ иные годы, разпореженія лицъ, противодѣйствовавшихъ народнымъ движеніямъ, нѣсколько

парализировали дѣятельность бродячих народныхъ силъ; въ иные же годы нечаянное послабленіе или оплошность со стороны противодействующихъ этому движенію силъ вызывало наружу тѣ элементы, броженіе которыхъ было насильственно останавливаемо. Могло же зависѣть это явленіе и отъ внутреннихъ, болѣе сложныхъ причинъ, которыя неблагоприятно отражались на народной жизни и заставляли выходить народъ изъ его молчаливой, страдательной роли.

Въ нравственной статистикѣ и даже въ администраціи давно замѣчена повторяемость и какъ бы колебаніе случаевъ преступленій въ народныхъ массахъ, смотря по тому, какіе были годы, благоприятные или не благоприятные, хорошіе или дурные. Число преступленій въ народѣ обыкновенно увеличивается во времена голода, неурожая въ извѣстной мѣстности и при другихъ неблагоприятныхъ для народной жизни обстоятельствахъ. Неурожайные годы влекутъ за собою не только накопленіе недоимокъ, умноженіе дѣлопроизводства въ присутственныхъ мѣстахъ, но и усиленіе практики для полиціи и для судебныхъ мѣстъ. Кражи повторяются чаще, грабежи становятся болѣе дерзки, случаи поднятія мертвыхъ тѣлъ, умершихъ насильственной смертью, становятся многочисленнѣе, начинаются разбои, поджоги. И полицейскіе чины и судьи въ такое время положительно завалены работою, и все по дѣламъ о преступленіяхъ.

Эти обстоятельства, повидимому, вызывали болѣе сильныя и учащенныя вспышки какъ въ понизовой вольницѣ, такъ и въ гайдачинѣ.

Такими вспышками ознаменованъ, въ исторіи гайдачины, 1750 годъ, когда на смѣну предводителей гайдацкихъ шаекъ Саввы Чалаго, Тарана, Пилипка и Шутки являются Харько, сотникъ въ Жаботинѣ, Черный и другіе менѣе извѣстные ватажки.

Г. Кулишъ, въ „Запискахъ о южной Руси“, говоритъ, между прочимъ, что сотникъ Харько представляетъ загадочное явленіе въ исторіи польской Украины, что г. Маркевичъ въ своей „Исторіи Малороссіи“, упоминая о его возстаніи, ссылается на неизданную статью г. Максимовича о колівцѣнцѣ (гайдачинѣ), но что г. Скальковский въ „Наѣздахъ гайдамакъ“ не говоритъ о немъ ни слова, хотя не долженъ былъ пропустить его безъ вниманія уже и потому, что о немъ поются пѣсни, изъ которыхъ одна была напечатана г. Максимовичемъ задолго до выхода въ свѣтъ книги г. Скальковского. Можно бы подуматъ, замѣчаетъ дальше г. Кулишъ, что сотникъ Харько былъ предшественникъ Мартына Бѣлуги въ Жаботинской сотнѣ и погибъ незадолго до возстанія своего преемника, по темному подозрѣнію, въ какихъ-то замыслахъ. Въ мѣстечкѣ Смилой г. Кулишъ встрѣтилъ старика, Кондрата Тарануху, который будто бы зналъ лично Харька и по его разсказу выходитъ, что Харько заправлялъ жаботинскою сотнею спустя десять лѣтъ послѣ колівцѣнщины. Но г. Кулишъ сомнѣвается, чтобы Тарануха обстоятельно опредѣлилъ время появленія и дѣйствій Харька въ Жаботинѣ, потому что Тарануха будто бы зналъ Харька послѣ 1775 года, т.-е. послѣ разоренія Сѣчи, а г. Кулишу передалъ свой раз-

сказъ въ 1843 году, и слѣдовательно, если онъ, въ 1775 или 76 году, былъ двадцатилѣтнимъ парнемъ, который могъ, какъ самъ говорить, „добре гулять“ съ товарищемъ Харька, Лелекою, то ему въ 43 году могло быть не менѣе 87 лѣтъ, что для г. Кулиша представляется подверженнымъ сомнѣнію. Тарануха могъ приписать лично себѣ то, что онъ слышалъ, можетъ быть, отъ отца или дѣда, который могъ лично знать сотника Харька и „добре гулять“ съ Лелекою. Вообще г. Кулишъ полагаетъ, что Харько правилъ сотней въ Жаботинѣ никакъ не послѣ колівщини и не послѣ разоренія Сѣчи, потому что послѣ 1775 года въ Украинѣ наступило спокойствіе, не возмущаемое возстаніями ни со стороны городовыхъ и надворныхъ казаковъ, ни со стороны крестьянъ, ни кознями со стороны поляковъ. Кромѣ того, въ преданіи Таранухи ляхи опасаются, чтобы Харько не сдѣлался вторымъ Хмельницкимъ, тогда какъ имъ всего ближе и естественнѣе было опасаться, чтобы онъ не сдѣлался вторымъ Гонтою или Желѣзнякомъ, если бѣ дѣятельность его, напугавшая поляковъ, была послѣ гайдамачины. Наконецъ, если бѣ Харько жилъ послѣ гайдамачины, то пѣсня, сложенная о немъ послѣ разоренія Сѣчи, не могла бы стать народною въ землѣ черноморскихъ казаковъ, гдѣ ее записалъ черноморецъ Вареникъ и куда ее занесли запорожцы, свято сохранившіе пѣсенныя воспоминанія о своихъ „батькахъ“.

Дѣйствительно, сотникъ Харько жилъ и дѣйствовалъ раньше разоренія Сѣчи, раньше даже уманской рѣзни, въ которой отличался его преемникъ, Мартынъ Бѣлуга. Г. Маркевичъ упоминаетъ о возстаніи Харька подъ 1765 годомъ, а о смерти подъ 1766. У г. Костомарова находимъ то же (въ нашемъ „Малорус. литератур. сборникѣ“, стр. 191—192). У г. Скальковского Харько упоминается въ числѣ гайдамацкихъ предводителей. Мы полагаемъ, что сотникъ Харько есть именно тотъ гайдамацкій ватажокъ, который выводится у г. Скальковского подъ 1750 годомъ (стр. 56). Этотъ годъ былъ особенно тяжелъ для поляковъ южныхъ украинскихъ провинцій. Гайдамаки дѣлали такія неистовства и разоренія, особенно въ брацлавской и кievской польскихъ областяхъ, что „почти весь край сдѣлался пустынею: иногда въ одну ночь цѣлое поколѣніе дворянъ—помѣщиковъ, пасторовъ, управителей истребляла гайдамацкая пика, а села, дома ихъ и даже укрѣпленные замки превращались въ развалины и пепель“ (Скальковский).

Въ это-то горячее время дѣйствовалъ и Харько. Тарануха такъ описываетъ его со словъ очевидцевъ: „Славный казакъ былъ! бывало ѣдетъ—жупанъ голубой на немъ сверху, красный подъ-исподью, сапоги сафьянны, шапка черная на бокъ, самъ онъ человѣкъ плечистый, русоволосый, полюлищый. Бывало, одинъ разъ проѣдетъ на сѣромъ конѣ, въ другой на верономъ, въ третій на буланомъ, въ четвертый на бѣломъ... точно генералъ... а казакъ! А на войнѣ такой былъ дока, что съ нимъ казаки ничего не боялись. Проговорить наизворотъ „Отче нашъ“—ступай смѣло: пуля тебя не тронетъ.“

Объ отношеніяхъ его къ польскимъ панамъ говорятъ, что когда онъ былъ сотникомъ въ Жаботинѣ, то, бывало, посылаетъ къ панамъ: „я васъ заслоняю и берегу, а вы за то поставляйте мнѣ содержаніе и провизію.“ Паны и шлютъ ему все это въ Жаботинъ. Вслѣдствіе ли этого самоуправства Харькѣ или поляки начали видѣть въ немъ страшнаго гайдамака, только пошла такая молва, что противъ Харькѣ не устоятъ никто. И начали думать поляки объ его гибели. „Кормимъ мы этого вражьяго сына (говорятъ), да пожалуй выкормимъ такого разбойника, какъ Хмельницкій. Тогда была „хмельнищина“, а теперь будетъ „харьковщина“.

Въ исторіи сотника Харькѣ, какъ и въ исторіи Саввы Чалаго, народная память сохранила только нѣкоторыя отрывочныя событія изъ жизни этихъ двухъ славныхъ гайдамацкихъ предводителей. И пѣсни, и преданія, какъ это всегда бываетъ, возвращаются около послѣднихъ дней жизни и того, и другого.

Поляки погубили Харькѣ обманомъ. Начальникъ польскаго регимента, а можетъ быть и другія лица, подученныя имъ, но которымъ Харькѣ могъ довѣриться, пригласилъ его въ Паволочъ въ гости. По словамъ лирника Дмитра Погорѣлаго, въ Звенигородѣ, Харькѣ поддался обману и безъ опасенія поѣхалъ въ Паволочъ, потому что у него тамъ была крестная мать, госпожа знатнаго рода. Онъ надѣялся, что у такой важной особы его не тронуть.

Разсказъ о смерти Харькѣ начинается съ того (по варианту г. Костомарова), что онъ былъ со своими семьюстами „молодцами“ въ мѣстечкѣ Буланомѣ, гдѣ и загулялъ.

Ой ишовъ сотникъ Харькѣ черезъ Булане мѣсто, да сівъ горілку пити. А за имъ, за имъ сімсотъ молодцувъ: „стой, батьку, не журися!“ Ой якъ же мині, панове молодцове, якъ мині не журиться, Коли подо мною муй кунь вороний да найліпший становиться“*).

Дальнѣйшій разсказъ — какъ онъ отъѣзжалъ въ Паволочъ, какъ его провожала жена и предупреждала объ измѣнѣ, какъ его принялъ паволочскій региментаръ и напоилъ пьянымъ — имѣетъ много общаго по всѣмъ вариантамъ и у г. Метлинскаго, и у г. Костомарова, и у г. Максимовича. Отъѣздъ Харькѣ такъ описывается:

Ой присидали отъ лементаря до сотника Харькѣ листи:

Ой прийдь, прийдь, сотнику Харьку, меду-вина до насъ пити.

Ой якъ ставъ Харько, ой якъ ставъ Харько зъ дому своего виїжати,

А за нимъ его сотничка стара съ хлібомъ-солью провожати:

„Ой не їдь, Харьку, ой не їдь, Харьку; бо то проклятая зрада, Лучче-бъ ти въ замку бувъ зъ козаками, тобъ я тобі була рада“.

Ой тимъ же вінъ собі та поїхавъ, що дуже горілки випивъ,

А за нимъ его та козаченьки: „Ой, стій, батьку, не журися!“

*) „Малорус. литер. сбор.“ Д. Мордовцева. Саратовъ 1859, стр. 191—192.

„Ой якъ же мині, пани молодци, якъ мині не журиться,
Що підо мною кінъ буланенькій та почавъ становиться!
А ще къ тому, мої козаченьки, и на серденьку стуга,
Що покидаю я въ Жаботині свого вірненького друга“.

Когда Харько подъїзжалъ къ Павлочѣ, его встрѣтилъ „панъ паволоцкій“, а по другимъ—сотникъ паволоцкій, онъ же, вѣроятно, и начальникъ регимента. Этотъ полякъ и провель Харька въ „палацъ“ къ его крестной матери:

Ой якъ ставъ сотникъ, ой якъ ставъ Харько у Павалочѣ уїзати,
Охъ ставъ его сотникъ, охъ ставъ его паволочинській Харька зо-
стричати:
Охъ якъ ставъ сотника, а сотника Харька медомъ-виномъ часто-
вати,
У паньскі палаци и къ матці хрещеній у гостину зазивати.
Охъ якъ ставъ же сотникъ, а сотникъ Харько, та й ставъ забу-
ваться,
На паньскі перини ставъ вінъ похилаться.

Крестная мать Харька, участвовавшая въ заговорѣ противъ него, тотчасъ же извѣстила о томъ его враговъ:

„Ой теперъ ви, ляшки, охъ теперъ ви, пани, охъ и теперъ ви поз-
воляйте:
Охъ лежить же п'яний сотникъ Харько, то теперъ его збавляйте!
Теперъ маєте часъ, маєте годину—теперъ ви его оступайте“.

Въ одномъ варіантѣ, записанномъ г. Вареникомъ, говорится, что враги Харька убили его не въ Павлочѣ, а увезли въ Шамраевку и тамъ убили:

Ой якъ приїхали та два ляхи до Харька та зъ порадою,
Ой взяли, взяли сотника Харька у Шамраївку зъ собою.
Ой якъ заржавъ же кінъ буланенькій, стоячи біля пекарни,
Ой залили сотника Харька въ Шамраївці у кайдани *).

До какой степени велико обаяніе на народѣ этихъ героевъ народной вольницы, видно изъ того, что говоритъ, помимо пѣсенъ, особое народное преданіе о смерти Харька. Какъ стали поляки рубить закованного въ кандалы Харька, то три дня рубили, и никакъ не могли изрубить—сабля пззубрилась пуще желѣза. Только послѣ догадались, что его надо рубить его же саблею: а у него была богатырская сабля—она-то его и погубила.

Немало также поэтического и чудеснаго въ разсказахъ и пѣсняхъ о послѣднихъ минутахъ Харька. Разсказывая о своихъ любимыхъ герояхъ, народъ переноситъ насъ къ поэтическимъ временамъ грековъ и римлянъ, и потому совершенно забывается, что лица эти дѣйствовали еще такъ недавно, а между тѣмъ облеклись уже ореоломъ чудеснаго. Видно, что

*) „Народныя южно-русскія пѣсни“, А. Метлинскаго, стр. 425—427.

такъ или иначе, а *за народъ* стояли эти страшные люди, если народъ такъ дорожить памятью о нихъ, и не дорожить памятью тѣхъ людей, которыхъ мы называемъ великими. Народъ говоритъ, что Харькѣ поляки потому только могли погубить, что заранее успѣли приковать его коня, а иначе онъ бы выручилъ своего господина: это былъ такой богатырскій конь, что побилъ бы всѣхъ, разрушилъ бы самый домъ, гдѣ убивали Харькѣ, если бы былъ на волѣ. Но поляки приковали его по всѣмъ четыремъ ногамъ въ конюшнѣ. Конь, почуявъ кровь Харькѣ, сильно и жалобно ржалъ, но уже ничего не могъ сдѣлать.

Мало того, для народа дороги малѣйшіе штрихи, обрисовывающіе его героевъ и все ихъ окружающее и близкое. Когда пришли въ Жаботинъ вѣстники смерти Харькѣ, жена его выбѣжала къ нимъ, оторвавшись отъ своихъ домашнихъ занятій, и пѣсня говоритъ, что у нея были „руки въ тѣстѣ“.

А вже прислали пані сотниці да ляхи вісті,
Ой вибігла пані сотничка, а въ неі рученьки въ тісті.

Загубленнаго, такимъ образомъ, измѣною народнаго героя схоронили въ зеленомъ хворостѣ. Далѣе, пѣсни говорятъ о женѣ Харькѣ, которую называютъ „бѣдною, несчастною вдовицею“ и сравниваютъ съ „приблудною (присталю) яркою“. Она плачетъ и проклиная начальника польскаго регимента:

Бодай тобі, пане лементарю, въ світі три літі боліти,
Що посиротивъ бідну Харчиху и маленькі зъ нею діти.

Тарануха, рассказывая о смерти Харькѣ и о томъ, какъ его поляки подпоили, прибавляетъ: „Ну хоть бы онъ не напивался! Надобно бы было ему выливать вино въ карманъ. Были у него платки — надобно бы въ платки выливать, такъ его все бы еще не взяли. А то какъ напился, такъ его пьянаго взяли къ чорту да и погубили“ *).

Въ числѣ другихъ предводителей гайдамацкаго ополченія упоминается Черный, обстоятельства жизни котораго, впрочемъ, намъ неизвѣстны. Судя по тому, что въ 1750 году учреждена была въ южныхъ провинціяхъ Польши особая милиція для огражденія страны отъ гайдамаковъ, надо полагать, что въ этомъ году нападения ихъ на Польшу были слишкомъ часты и многочисленны, и оттого документы того времени и не сохранили намъ именъ отдѣльных дѣателей этого кроваваго дѣла. Есть, напримѣръ, такія свѣдѣнія, сообщаемыя протестомъ регента или королевскаго прокурора въ Винницѣ, брацлавскаго воеводства, что гайдамаки овладѣли винницкимъ замкомъ и изъ судебной палаты захватили всѣ акты, изъ коихъ одни разбросали, другіе изорвали или употребили на патроны и пыжи къ своимъ ружьямъ. Тутъ же они разграбили и архивы воеводства.

Всѣ эти дѣянія гайдамаковъ совершенно сходны съ тѣми безобразіями,

*) „Зап. о южной Руси“ II. Кулиша, I, стр. 91—99.

какія чинились и ихъ собратьями въ восточной половинѣ Россіи, именно пугачевцами по Поволжью. Канцелярскія дѣла они непременно или бросали въ огонь, или топили въ рѣкахъ, или, разрывая на части, бросали на произволъ вѣтровъ, приговаривая: „Топи его! Жги! это—злѣдѣйское, господское“.

Есть основаніе предполагать, что причиною особаго свирѣпства гайдамаковъ въ 1750 году были сильныя засухи, нѣсколько лѣтъ передъ этимъ стоявшія въ Малороссіи, и послѣдовавшіе отъ того плохіе урожаи въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ. Голодный народъ валилъ толпами въ мѣстности наиболѣе урожайныя, а мужское поколѣніе, особенно батраки „аргаты“ (поденщики), а также рабочіе на винокуренныхъ заводахъ, которыхъ заработки уменьшились, всѣ эти жалкія личности, носившія названія „наймитовъ“, „сиромахъ“, „панскихъ попихачей“, „гольтепакъ“ и „голофы“—бросались на другого рода заработки, ушли за Днѣпръ, нынѣ къ запорожцамъ, а оттуда въ гайдамаки. Всеобщая эпидемія гайдамачества была такова, что поляки рѣшительно не знали, что имъ дѣлать, особенно въ южныхъ территорияхъ Рѣчи Посполитой, отъ Кіева черезъ брацлавское воеводство до Волыни и Подоли. Государственныя войска не могли ихъ защищать, да при томъ войска эти были въ довольно жалкомъ положеніи, потому что все долготѣнее царствованіе въ Польшѣ саксонской династіи отличалось только тѣмъ, что внѣшнихъ войнъ не было, слѣдовательно, и войска было держать незачѣмъ, и потому каждый долженъ былъ „пить, ѣсть и распускать поясъ“ (пословица того времени) и защищать самъ себя. Гайдамаки, слѣдовательно, могли придти и всѣхъ вырѣзать. Они такъ и дѣлали.

Въ такомъ отчаянномъ положеніи дворянству оставалось защищать себя своими собственными средствами, а иначе весь край могъ быть взятъ на копьѣ, чего не безъ основанія боялись польскіе владѣльцы западной Украины.

Лѣтомъ 1750 года Винница была взята гайдамаками и разграблена, а въ сентябрѣ этого года все дворянство брацлавскаго воеводства собралось въ Винницу, на малый сеймъ, для обсужденія мѣръ, какія слѣдовало принять въ томъ безвыходномъ положеніи, въ какомъ находился край. Сюда собрались члены палатъ, т.-е. депутаты и сенаторы, „государственные сановники“, чиновники и земскіе, и полицейскіе, и все рыцарство воеводства брацлавскаго. Какъ великъ былъ страхъ этихъ людей, можно судить по тому, что, собравшись въ Винницѣ, они прежде всего должны были благодарить Бога за то, что онъ, „въ столь злополучное время, по причинѣ разореній, чинимыхъ въ краѣ гайдамаками, позволить имъ безопасно собраться“. Все это дѣйствительно напоминаетъ пугачевщину, когда русское дворянство Поволжья сожалѣло даже о томъ, что судьба привела его родиться въ такое ужасное время.

Собравшееся такимъ образомъ въ разграбленномъ гайдамаками городѣ дворянство постановило учредить особую милицію или земское ополченіе. Такія же милиціи для защиты страны отъ гайдамаковъ учреждены были, какъ

идно изъ документовъ, и въ другихъ воеводствахъ, угрожаемыхъ украинскими ватагами. На самомъ собраніи составленъ актъ „*laudum boni ordinis*“, въ которомъ говорится, что всѣ эти представители страны, соравшіеся въ Винницѣ, избрали единогласно „высокородныхъ господъ депутатовъ главного короннаго трибунала, для представленія королю его милости, примасу, великому гетману и другимъ о томъ, что „воеводство брацлавское, *in confinio* (въ сосѣдствѣ) российской, татарской и волосской раницъ лежащее, представляетъ теперь изъ себя печальное доказательство, что среди всеобщаго мира, *beata tranquillitate sua gaudere* (блаженнымъ спокойствіемъ наслаждаться) не можетъ, ибо своевольныя заграничныя ватаги, уже не *furtivo transitu* (не тайно), но большими дорогами, *iolente et aperte marte dimicando* (насилъственно и явно вооруженною рукою) на земли воеводства *tumultuarie* (толпами) наѣзды дѣлають“. Далѣе, документъ этотъ увѣряетъ, что „нихъ (т. е. гайдамаковъ) неукротимое неистовство, стремясь *in depopulationem* (къ опустошенію) нашего края *praedium et favillam* городовъ, селъ, замковъ и дворовъ помѣщичьихъ, монастырей и храмовъ *utriusque ritus*, къ жестокому избиенію людей *utriusque sexus*, свѣтскаго и духовнаго чина, которыхъ кровь, евинно пролитая, вопіетъ о мщеніи,—свидѣтельствуешь, что они о конечномъ истребленіи нашемъ помышляютъ“.

Что гайдамаки дѣйствительно помышляли, какъ было бы хорошо, сли бъ имъ удалось „до грунту зруйновать лядскую землю“, видно и изъ того, что они, не скрывая, сознавались въ этомъ и даже выражали это желаніе письменно подъ портретами своихъ казаковъ—„лицарей“:

Отже жъ весна наступаєть, що на умі треба оконати:
Якъ день, такъ нічъ все на думці ляха обідрати,
Або въ жида мішокъ грошей узять на рострати.

„Обращая вниманіе,—говоритъ далѣе „*laudum boni ordinis*“, — на то несчастное угнетеніе страны нашей наѣздами своевольныхъ гайдамаковъ, нѣсколько уже лѣтъ продолжающееся, такъ что не только въ дѣлахъ нашихъ безопасно пребывать, но даже государственной службы сполнять не можемъ, не говоря уже о безпрестанно угрожающей намъ потерѣ имѣній, здоровья и жизни, зная также, что всякій имѣетъ природное право думать о своей защитѣ, — мы пожелали, *ad normam* другихъ оронныхъ воеводствъ, учредить у себя свою внутреннюю милицію. Вслѣдствіе сего, со всеобщаго всѣхъ насъ согласія, на защиту воеводства нашего опредѣлили и полагаемъ: учредить ландмилицію, обязываясь, *amorem uni publici*, со всѣхъ имѣній нашихъ, королевскихъ, земскихъ, дворянскихъ и духовныхъ, въ воеводствахъ нашемъ находящихся, со всякихъ ста двадцати избѣ, осѣдлыхъ, тяглыхъ или пѣшихъ крестьянскихъ, свободныхъ *gracialskich*) и чиншовыхъ, и филипонскихъ *), съ тою только разни-

*) „Филипоны“—русскіе раскольники, поселившіеся въ Польшѣ и въ западной Россіи во время гоненій на нихъ, въ началѣ XVIII вѣка.
т. XXVI. 5

цею, что одна изъ раскольниковыхъ избъ за двѣ простыхъ считается будетъ—давать по одному солдату изъ людей, знающихъ уже военную службу, хорошаго поведенія, здоровыхъ и къ службѣ годныхъ. Мундиръ онаго долженъ быть: катанка и шаравары зеленого или травяного цвѣта (вѣроятно, для того, чтобы зеленый цвѣтъ давалъ имъ возможность иногда прятаться въ травѣ или между деревьями и кустами для скрытнаго наблюденія за гайдамаками), на доброй лошади, не менѣе ста золотыхъ стоющей, съ хорошимъ кожанымъ сѣдломъ, съ ружьемъ, пикой, бердышомъ и съ запасомъ пуль и пороху на всю кампанію“.

Земское ополченіе должно было собираться ежегодно 2 апрѣля, т.-е. около того времени, когда обыкновенно гайдамаки, подобно волжской повизовой вольницѣ, отправлялись на свои опасные промыслы, только съ той разницей, что тамъ большею частію экспедиціи предпринимались на лодкахъ, а здѣсь на коняхъ, а иногда и пѣшкомъ.

Ландмилиціоны подлежали военному суду своихъ ротмистровъ или отрядныхъ командировъ. Командиры же обязаны были на свой счетъ содержать прочихъ субалтерныхъ офицеровъ, поручиковъ и хорунжихъ, и имѣть знамя съ гербомъ воеводства. Фуражъ и провіантъ долженъ былъ доставляться земствомъ въ опредѣленной пропорціи. Главнымъ командиромъ всеобщаго вооруженія избранъ князь Михаилъ Святопольскій Четвертинскій, подкоморій брацлавскій. Главнымъ регименторомъ былъ Ожда, староста романовскій, а дворяне Богуславъ Старжинскій и Илья Клитынский — командирами отрядовъ или „подъѣздовъ“.

Въ это же время всѣ украинскіе магнаты-поляки, князья Любомирскіе Чарторійскіе, Яблоновскіе и Радзивиллы, графы Браицкіе и крупные землевладѣльцы польской Украины — Потоцкіе учредили въ своихъ имѣніяхъ особые казачьи команды и полки, которые только и повиновались своимъ помѣщикамъ и ихъ управляющимъ (губернаторамъ), а королевской власти и „свѣтлѣйшихъ“ сеймовъ знать не хотѣли, тѣмъ болѣе, что въ 29 лѣтъ царствованія короля Августа III, который, по выраженію одного нѣмецкаго историка (Вебера), „велъ такую жизнь, какую едва ли можно назвать царствованіемъ“, ни одного сейма не состоялось (Скальковскій, „Наѣзды гайдамаковъ“).

Между тѣмъ, въ это же самое время, когда поляки посылали къ королю депутацію съ изъясненіемъ своего безвыходнаго положенія, когда они сами сознавали, что гайдамаки „помышляли о конечномъ ихъ истребленіи“, въ то время, когда имъ грозила опасность потерять имѣнія и жизнь, когда разрушались ихъ города, села и замки, а „люди *utriusque sexus*, свѣтскаго и духовнаго чина“ жестоко избивались,—въ это самое время въ польскомъ дворянствѣ шла самая безобразная жизнь, съ попойками и танцами, точно они танцевали на своихъ собственныхъ похоро-

Между филипонами, какъ извѣстно, проживалъ одно время Пугачевъ, и изъ филипоновъ же вышли нѣкоторые изъ его сподвижниковъ.

нахъ. Лицо, которое само видѣло гайдамачину и лично участвовало въ походахъ противъ гайдамаковъ, говорить съ возмутительною наивностью: „перовали мы беззаботно и жилось намъ хорошо въ тѣ времена, по пословицѣ: *Za króla Sobka nie było w polu sporaka, a za króla Sasa szłowiek jadł, pił i poruszczał pasa* (при королѣ Собкѣ, т.-е. Собѣскомъ, не было въ полѣ ни снопа, а при королѣ Сасѣ, т.-е. Августѣ III Саксонскомъ, каждый ѣлъ, пилъ и распускалъ поясъ). Пить тогда было у всѣхъ въ обычаѣ: у пановъ и у мелкаго дворянства (исключая молодыхъ людей, которымъ запрещалось прикасаться къ бутылкѣ), у духовныхъ и свѣтскихъ, у судей и адвокатовъ, у военныхъ и статскихъ; а кто отказывался, того умѣли и принудить. Паны не нуждались въ средствахъ къ жизни, а мелкая шляхта жила отъ пановъ... Вѣстной войны мы не вели тогда, но что касается до безопасности внутренней, особенно на пограничьи со стороны Запорожья, то трудно было этимъ похвалиться. Даже и на Волыни не разъ смущали насъ посреди нашихъ увеселеній въ панскихъ домахъ преувеличенные слухи о гайдамацкихъ наѣздахъ. Мнѣ самому случалось два раза участвовать въ походѣ противъ этихъ бродягъ“ *).

Земское ополченіе, о которомъ мы сейчасъ говорили, набиралось изъ мѣстныхъ поселеній, т.-е. изъ украинскаго же элемента, но не изъ польскаго. Въ милиціи, какъ и въ украинской казачинѣ, существовало выборное начало: ополченцы сами избирали себѣ атамановъ, есауловъ и сотниковъ. Такими сотниками были Харько, Мартынь Вѣлуга—въ Жаботинѣ, а впоследствии Гонта въ Умани, которую они погубили вмѣстѣ съ Желѣзнякомъ. Только высшіе начальники, командиры, ротмистры и региментари были поляки, а иногда и нѣмцы. Само собою разумѣется, что такое ополченіе могло быть надежно только до поры до времени: гайдамаки были родные братья ополченцамъ по крови, языку и вѣрѣ. И тѣ, и другіе пѣли одиѣ и тѣ же пѣсни про Вдовнченка, про Савву Чалаго, даже про битвы съ ляхами и про неволю лядскую, египетскую. И у тѣхъ, и у другихъ было „на думці ляха обідрати“. Въ уманскую рѣзню ополченье доказало, какъ опасно было на него полагаться.

VII.

Въ періодъ времени между составленіемъ земскаго ополченія и уманской рѣзней, обнимающей семнадцать лѣтъ, дѣйствовали извѣстные намъ,

*) Это говорить старый польскій панъ, Симонъ Закржевскій, по рассказамъ котораго составлено описаніе двухъ походовъ противъ гайдамаковъ, переведенное г. Кулишомъ на русскій языкъ и помѣщенное въ въ „Зап. о южн. Руси“, т. II. Не родственникъ ли этотъ Закржевскій тому пану Михайлу Закржевскому, который былъ бичемъ гайдамаковъ и который, по справедливости, можетъ назваться „официальнымъ польскимъ гайдамакомъ“.

по описанію пана Закржевскаго, гайдамацкіе предводители Иванъ Чуприна и Семень Чортоусъ.

До сихъ поръ изъ всѣхъ свѣдѣній о гайдамакахъ видно было, что кругъ дѣятельности ихъ ограничивался большею частью правымъ бережемъ Днѣпра и не выходилъ за предѣлы западной Украины. Большею частью они переправлялись черезъ Синюху и, держась праваго берега Днѣпра, дѣлали свои нападенія на ближайшія къ русскимъ границамъ поселенія или же расправлялись въ округахъ городовъ и мѣстечекъ Крылова, Немирова, Жаботина, Умани, Корсуни, Звенигородки или въ воеводствахъ брацлавскомъ, около Винницы и въ ближайшихъ къ Бугу польскихъ имѣніяхъ. Хотя случалось, что, пробравшись вмѣстѣ съ весной на польскія территоріи, они оставались тамъ до глубокой осени, перебираясь съ мѣста на мѣсто, набѣгая на одинъ замокъ и минуя другой, перетаскивая свое добро изъ лѣса въ лѣсъ, однако вглубь польскихъ тогдашнихъ провинцій не заходили, вѣроятно, находя себѣ достаточно разгула и въ этихъ богатыхъ вотчинахъ магнатовъ. Но Чуприна и Чортоусъ забираются уже дальше. Они колесятъ выше истоковъ Буга. Они пускаютъ краснаго пѣтуха въ такихъ отдаленныхъ отъ Днѣпра селахъ, что надо имѣть слишкомъ безграничную дерзость, чтобы рѣшиться, подобно Ганнибалу въ центрѣ Италіи, устраивая свои засады вблизи укрѣпленныхъ и многочисленныхъ городовъ чужого государства. Чуприна и Чортоусъ доводятъ свои ватаги до самаго Полѣсья, въ Полѣсьѣ жгутъ деревни, а потомъ съ награбленнымъ добромъ, съ плѣнными панами, паненками, ксендзами и жидами колесятъ черезъ Волинь, укрѣпляются въ неприступныхъ мѣстахъ, пробиваются сквозь ряды польскихъ отрядовъ и окольными дорогами возвращаются въ свои родныя степи. У Чуприны и Чортоуса такіе кони, которымъ завидовали князья Любомирскіе. Саблю „рѣдкаго достоинства“, которую носилъ при себѣ Чортоусъ и которою онъ рубилъ головы полякамъ и жидамъ, не постыдился надѣть на себя князь Мартынь Любомирскій.

По всему этому видно, во-первыхъ, что гайдамачина усилилась до того, что противъ нея были безсильны даже такія мѣры, какъ земское ополченіе, а во-вторыхъ, что и земское ополченіе или было слишкомъ слабо, чтобы подавить гайдамачину, или дѣйствовало слишкомъ оплошно. Да и когда было земскому ополченію дѣйствовать противъ общественнаго зла, когда оно должно было вмѣсто того, чтобы защищать страну — увеселять своихъ господъ во время ихъ танцевъ и питья безчисленнаго множества тостовъ, осушаемыхъ непременно „при громѣ мортиръ и ручного оружія“. Гдѣ было войскамъ гоняться за гайдамаками, когда артиллерія требовалась не для войны съ врагами общественной безопасности, а для присутствованія, вмѣстѣ съ лакеями, при панскихъ обѣдахъ и танцахъ, чтобы при каждомъ поднятомъ кубкѣ (а кубки поднимались за кубками, какъ говоритъ современникъ) стрѣлять по воздуху. Военная музыка также нужна была не въ полѣ военномъ, но въ полѣ заѣзжемъ, когда „настрѣлявши бездну серня, волковъ, дикихъ кабановъ, лосей, а иногда и медвѣдей,

паны сажались за охотничій обѣдъ“, а военная музыка, рога и валторны должны были трубить въ знакъ торжества, когда паны „трубили въ кубки“.

Замѣчательна въ этомъ случаѣ одинаковость явленій въ то смѣтное время и на дальнемъ юго-западномъ углу нынѣшней Россіи, на Волини и въ Подоліи, и на дальнемъ сѣверо-востокѣ той же Россіи, въ Оренбургѣ. Когда Чуприна и Чортоусъ жгли село за селомъ на Волини, пробирались въ Полѣсье и дѣлали свои засады подѣ самымъ Ровнымъ, въ эти самые дни князья Любомирскіе пировали въ Ровномъ съ своими безчисленными гостями дни и ночи, тащовали, пили до безобразія, устраивали фейерверки, „сгоняли тысячи народа“, чтобы на безлѣсной горѣ посадить цѣлую рощу и напускать въ нее дикихъ звѣрей *въ теченіе одного дня*,— вѣдь это сказки, которымъ бы никто не повѣрилъ въ наше время, а, между тѣмъ, это правда! И въ этой новонасаженной рощѣ паны охотились, когда Чуприна подбирался къ нимъ съ своими ватагами и могъ захватить ихъ всѣхъ врасплохъ и перевѣшать! Точно также, когда Пугачевъ бралъ крѣпость за крѣпостью и подходилъ уже къ Оренбургу, забирая правительственныя войска и артиллерію съ припасами, вѣшая командировъ и разстрѣливая картечью непокорныхъ солдатъ и казаковъ, въ это самое время въ Оренбургѣ, у губернатора Рейнсдорпа, танцовало на балу избранное оренбургское общество, и, по случаю бала, не могли принять необходимыхъ мѣръ къ подавленію мятежа, а въ Петербургѣ въ это время тоже шли пиршества за пиршествами по случаю бракосочетанія великаго князя, у котораго грубый казакъ хотѣлъ отнять наслѣдственную корону.

Нѣтъ ничего удивительнаго, что и при земскомъ ополченіи гайдамаки расправлялись въ западномъ краѣ такъ, какъ бы въ немъ, кромѣ робкихъ евреевъ и такихъ же робкихъ женщинъ, не было ни одного мужчины, не говоря уже о казакахъ и солдатахъ.

Чтобы яснѣе выказалась вся поразительность той противоположности, какая господствовала въ это тяжелое для края время, въ панскихъ богатыхъ замкахъ и въ селахъ, никѣмъ не защищенныхъ отъ гайдамаковъ,— приведемъ рассказъ самовидца о томъ, что дѣлали безпечные паны въ тѣ самые моменты, когда шайка Чуприны подбиралась уже къ мѣстамъ, гдѣ паны такъ беззаботно веселились.

„Находился я при дворѣ князей Любомирскихъ болѣе десяти лѣтъ, но не въ качествѣ дворянина, а въ качествѣ пріятеля дома (говорить панъ Симонъ Закржевскій). Шумно и весело жили тогда въ Ровномъ. Домашнихъ толпа, гостей каждый день биткомъ набито; пиры, музыка, танцы, открытые столы, кубки за кубками, осушаемые при громѣ мортпръ и ручного оружія; горячіе вензеля и фейерверки. Княгиня, урожденная Поцѣва, принесла мужу богатое приданое. Чудная была пани и прелестная, и чрезвычайная охотница до увеселеній. Помню, какъ она бывало отбросить въ сторону нѣмецкіе роброны да помпадуры и явиться въ старопольскомъ нарядѣ: въ бархатномъ кунгушѣ, въ станикѣ (родъ наружной шпуровки) изъ золотой парчи, въ собольей шапочкѣ, на которой сверкаетъ алмазное перо,

и въ красныхъ сапожкахъ, унизанныхъ жемчугомъ и подкованныхъ золотомъ. Пустится, бывало, въ первой парѣ, въ польскомъ или въ мазуркѣ, по огромной дворцовой залѣ, — ну, просто лань; заглядѣнье да и только. А какъ на поворотѣ въ танцахъ звякнетъ подковками, сердце такъ, бывало, и разыграется, что таяпущешь — чуть изъ кожи не выскочишь.

„Князь, коронный подстолий, съ своей стороны любилъ заохочивать собственнымъ примѣромъ къ частымъ кубкамъ (въ тѣ времена всѣ пили въ Польшѣ). Былъ очень горячій охотникъ и часто устраивалъ охоту для своихъ гостей въ огромныхъ размѣрахъ. Въ Тучинѣ у него обыкновенно содержалась безчисленная псарня, на которую онъ опредѣлялъ всѣ доходы изъ этого ключа (извѣстное число селъ). Обширные лѣса были полны крупныхъ звѣрей, на которыхъ мы охотились съ сѣтями и заборами, при помощи безчисленнаго множества мужиковъ. Настрѣлявши бездну сернь, волковъ, дикихъ кабановъ, часто также убивали нѣсколько лосей, а иногда и медвѣдей, садились мы за охотничій обѣдъ. Сколько тамъ было разсказовъ объ охотничьихъ приключеніяхъ, сколько лжи, сколько нахальства! Рога и валторны гремѣли, между тѣмъ, въ знакъ торжества, а мы трубили въ кубки, и я не помню, чтобъ когда нибудь возвратились домой трезвыми.

„Однажды случилось князю пожаловаться, что у него нѣтъ подъ Ровнымъ роцѣ, въ которой онъ могъ бы иногда охотиться хоть за зайцами. Что же? сосѣди и пріятели сговорились сдѣлать ему сюрпризъ въ день его именинъ. Князь выѣхалъ, кстати, на нѣсколько дней въ Дубно къ князю ординату Сангушко и долженъ былъ воротиться только въ день святого Станислава. Наканунѣ этого дня „согнали“ тысячу подводъ съ молодыми деревцами, да тысячу рабочихъ изъ ближнихъ и дальнихъ окрестностей, насадили самымъ старательнымъ образомъ довольно обширный звѣринецъ, пересѣченный правильными просѣками, и пустили въ него множество разныхъ звѣрей. Какъ изумился и обрадовался князь, когда, воротясь ночью въ Ровно и проснувшись утромъ, увидѣлъ передъ городомъ гору, покрытую лѣсомъ. Этотъ лѣсъ потомъ старательно поддерживали, и до сихъ поръ онъ существуетъ. Въ день святого Станислава мы, правда, не охотились, такъ какъ это былъ праздникъ патрона польской короны; но всѣ мы, сколько у насъ было гостей и домашнихъ, двинулись, подъ предводительствомъ князя и княгини, къ лѣсу, который какъ будто какимъ волшебствомъ выросъ изъ земли. Дивное было явленіе — видѣть стада зайцевъ и сернь, испуганныхъ пріѣздомъ экипажей и шумомъ всадниковъ. Они метались въ разныя стороны, но не могли никуда уйдти, потому что лѣсъ былъ окруженъ сѣтями. Только на третій день вечеромъ начали мы охотиться, при свѣтѣ фонарей и плошекъ. А въ день самыхъ именинъ было шумное пиршество.

„Помню, какъ послѣ обѣда показывали на замковомъ дворѣ коня изъ княжескихъ конюшенъ. Всѣ дамы вышли съ княгиней Гоноратой на огромную дворцовую галлерею, которая идетъ вдоль залы, на второмъ этажѣ.

Я приказалъ подвезть мнѣ моего сѣраго въ яблокахъ и давай выдѣлывать на немъ разные штуки. Дамы хлопали мнѣ, а иногда приходили въ ужасъ. А князь, стоя на галлерей съ полнымъ бокаломъ, закричалъ мнѣ сверху: „пане Симон! пью за ваше здоровье въ ваши руки, но только возьмите бокалъ, не слѣзая съ коня!“

„Не нужно было повторять мнѣ этого вызова: я прищипорилъ своего сѣраго и въ нѣсколько прыжковъ по ступенькамъ въ переднія сѣни, потомъ далѣе во внутреннія, а оттуда вѣхалъ по лѣстницѣ въ залу и явился на галлерей, приведя дамъ въ немалый страхъ. Князь подалъ мнѣ большой бокалъ; я опорожнилъ залпомъ за его здоровье, повернулъ коня и той же самой дорогой, хоть уже нѣсколько осторожнѣе, воротился на замковый дворъ.

„Такъ-то въ тѣ годы подвизались мы въ этомъ Ровномѣ, которое теперь такъ отрезвилось. А въ Дубнѣ, въ замкѣ князя ордината, надворнаго маршала литовскаго, текло вино рѣкою, потому что крутоусаго Сангушка не легко было побѣдить на попойкѣ. Лилъ онъ какъ въ бочку и любилъ видѣть вокругъ себя питковъ. Въ замковой залѣ зачастую поднимались пары надъ головами собесѣдниковъ, а на дворѣ клубился дымъ отъ стрѣльбы драгуновъ, которые гремѣли изъ ружей за каждымъ тостомъ“ *).

Вотъ гдѣ были и вотъ чѣмъ занимались драгуны въ то время, когда заряды, пускаемые на воздухъ послѣ каждого тоста, и храбрые войны, упражнявшіеся въ такомъ полезномъ занятіи, нужны были для другого дѣла. Не надо забывать, что это говорить полякъ, лично участвовавшій въ походахъ противъ Чуприны и Чортоуса. Отзывъ его, какъ поляка, о своихъ врагахъ, долженъ быть для насъ особенно важенъ. Онъ говоритъ, что гайдамацкія шайки, человѣкъ въ пятьдесятъ, во сто, а иногда и въ нѣсколько сотъ, выходили почти каждую весну изъ запорожской Сѣчи и только осенью возвращались въ свои логовища. Прочіе поляки были того же убѣжденія, что причиною появленія гайдамачины было Запорожье. Панъ Закржевскій говоритъ, что всякое гайдамацкое скопище состояло „изъ однихъ отъявленныхъ негодяевъ“ и пополнялось разными бѣглецами изъ сосѣднихъ земель, но всего больше украинскими мужиками, между которыми гайдамаки имѣли много доброжелателей и которые указывали имъ, куда безопаснѣе и вѣрнѣе пройти за добычею. По словамъ Закржевскаго, украинныя воеводства, кіевское и брацлавское, всего больше терпѣли отъ этихъ хищниковъ; но иногда проникали они на Подолье, на Волинь и даже къ Мозырю, потому что пограничнаго войска было очень мало, магнаты держали надворныя хоругви при себѣ, а городовые казаки были втайнѣ расположены къ гайдамакамъ (сотники Харько и Гонта). Гайдамаки эти совершали свои походы иногда пѣшіе, но большею частью верхомъ, и увозили добычу на вьючныхъ лошадяхъ, что у нихъ называлось „батовнею“. Каждая шайка имѣла своего предводителя, котораго они называли „ватаж-

*) „Записки о южной Руси“.

комъ“. Ватажка выбирали обыкновенно изъ самыхъ опытныхъ, которые сдѣлали уже нѣсколько разбойничьихъ походовъ и знали всѣ переходы и дорожки. Чтобы внушить своимъ увѣренность, а суевѣрному народу страхъ, рассказывали о немъ, что онъ „характерникъ“, то-есть чародѣй, что онъ умѣетъ заговаривать пули, такъ что его можно убить только серебряною пулею, а въ случаѣ надобности можетъ сдѣлаться и невидимымъ. Сколько они увозили изъ края богатой добычи, замѣчаетъ Закржевскій, и сколько проливали невинной крови, когда ими управляло мшenie! Ужась, овладѣвавшій жителями при извѣстїи, что идутъ гайдамаки, превосходить всякое описаніе: каждый прятался съ чѣмъ только могъ куда ни попало. Но очень часто вѣсть объ ихъ вторженіи приходила слишкомъ поздно, потому что они пробирались какъ волки и дѣлали свои отдыхи по уединеннымъ хуторамъ и пасѣвкамъ.

Если въ исторіи понизовой вольницы насъ поражало то явленіе, что шайки разбойниковъ, уже спустя нѣсколько лѣтъ послѣ Пугачева, безнаказанно могли совершать экспедиціи на пространствахъ нѣсколькихъ сотъ верстъ, если они забирались вглубь нынѣшнихъ населенныхъ губерній, въ самую Русь, какъ они выражались, и безпрепятственно возвращались потомъ въ Поволжье, какъ, напримѣръ, партія атамана Брагина, то еще болѣе поразительною должна быть дерзость гайдамацкихъ ватажковъ, которые, выходя изъ самаго Запорожья или изъ нынѣшнихъ новороссійскихъ степей, проводили свои ватаги безпрепятственно до Мозыря, исходя, такимъ образомъ, почти изъ копча въ конецъ все Царство Польское. При томъ, Брагину сравнительно легко было блудить между Волгою и Вороною, переходить даже эту рѣку, потому что въ той мѣстности войскъ не было, а разъѣзжныя команды самымъ жалкимъ образомъ оправдывали свое назначеніе, да и населеніе въ тѣхъ мѣстахъ было довольно рѣдкое. Но дерзость такихъ разбойниковъ, какъ Чуприна и Чортоусъ, которые проходили съ своими ватагами и съ своими батовнями по довольно населеннымъ мѣстностямъ Царства Польскаго, гдѣ даже существовало особое земское ополченіе, единственная цѣль котораго была ловить такихъ, какъ Чуприна и Чортоусъ, — дерзость этихъ разбойничьихъ коноводовъ поистинѣ изумительна. Надо прибавить къ этому, что первый изъ нихъ сдѣлалъ пятнадцать походовъ на Польшу — и всякій разъ возвращался съ богатою добычею, хоть неоднократно долженъ былъ пробиваться сквозь ряды польскихъ драгуновъ. Онъ дѣйствительно могъ назвать себя чародѣемъ, а свои маленькіе легіоны непобѣдимыми, потому что, при непріятельской атакѣ, ему стоило только скомандовать своей ватагѣ: „або добути, або дома не бути!“ — и ватага пробивалась сквозь сомкнутые ряды польскихъ жолнеровъ, и не только пробивалась сама, но и уводила съ собою своихъ въючныхъ лошадей съ награбленною добычею.

Послѣдній походъ Чуприна на Польшу стоилъ жизни этому знаменитому ватажкѣ. О послѣдней битвѣ съ нимъ поляковъ подробно рассказываетъ Закржевскій, лично участвовавшій въ этой битвѣ. Она происходила

недалеко отъ Ялтушкова, на Подольѣ. Въ ней участвовали два князя Любомирскихъ, Антоній и Мартынъ, тысячи двѣ польскаго войска съ ком-пучовыми гусарами и панцырными, тысячи три вооруженныхъ крестьянъ и всѣ городовые казаки, какихъ только можно было собрать. Это была цѣлая армія съ достаточнымъ числомъ артиллеріи, съ гренадерами, тогда какъ у Чуприны было не болѣе полтораста молодцовъ. Но такова была отчаянная отвага украинской понизовой вольницы, что на нее не безопасно было идти съ силами, не превышающими ее въ двадцать-тридцать разъ.

Однажды, когда князь Любомирскій, владѣлецъ Ровна, гостилъ въ Полонномъ у своего дяди, князя Антонія Любомирскаго, и общество наслаждалось однимъ изъ такихъ роскошныхъ и веселыхъ обѣдовъ, о которыхъ мы говорили выше, въ Полонное прискакалъ гонецъ отъ генеральнаго региментаря такъ называемой „украинской и подольской партіи“, Яна Тарлы, воеводы любельскаго, съ приказомъ, чтобы гетманскій региментъ „иноземнаго автѣрамента“, которымъ начальствовалъ князь Антоній Любомирскій, поспѣшилъ къ Ялтушкову, на Подольѣ. Вместе съ тѣмъ Тарло просилъ его выслать часть собственнаго гарнизона изъ полонской крѣпости съ десятью пушками, — и все это для того, — какъ замѣчаетъ съ удивленіемъ Закржевскій, — чтобы переловить нѣсколько десятковъ гайдамаковъ, которые скрылись съ своей добычей въ ялтушковскихъ лѣсахъ, когда имъ преградили путь къ границѣ, и обрубились тамъ засѣками.

Князь не замедлилъ выступить съ войскомъ лично. На третьи сутки около полудня подошли они на четверть мили къ лѣсу, въ которомъ укрѣпились гайдамаки. Для большей нопѣшности, пѣхоту и пушкарей привезли на подводахъ. Войско построилось въ боевой порядокъ, поставивъ пушки по крыльямъ. Региментарь сдѣлалъ смотры. Потомъ сломали шеренги и отдалъ былъ приказъ, чтобы жолнеры подкрѣпились и выспались, потому что всю ночь будугъ бодрствовать. Войско, нѣсколько отдохнувъ, облегло весь лѣсъ, въ которомъ засѣли гайдамаки. Лѣсъ былъ огромный. Кругомъ него, подъ самой опушкой, разставили въ разныхъ мѣстахъ крестьянъ, которыхъ согнали туда тысячи три. Нѣкоторые изъ нихъ были вооружены ружьями, но большая часть копьями, косами или просто цѣпами. Имъ было приказано крѣпко стеречь, а ночью зажечь огни и часто кричать: „weg da“ *). Позади крестьянъ, шагахъ въ ста-пятидесяти, стояло войско, какъ то, которое прибыло изъ Полоннаго, такъ и то, которое региментарь Тарло, привелъ еще прежде съ собою, всего тысячи двѣ человекъ, между которыми были компучовые гусары и панцырные, въ полномъ вооруженіи, въ леопардовыхъ и волчьихъ шкурахъ, а также и пѣхота. Сверхъ того, собрано было тамъ „безъ числа городскихъ казаковъ“. Все это было разставлено нѣмцемъ полковникомъ, который служилъ у региментаря

*) Этотъ обычай—употребленіе нѣмецкихъ терминовъ въ командѣ—осуждали сами поляки.

адъютантомъ. Панцырными начальствовалъ намѣстникъ князя подстолий литовскаго чесникъ Нурскій.

Настала ночь. Приказано было наблюдать осторожность и тишину. По мѣстамъ горѣли костры, разложенные крестьянами, сторожившими всѣ выходы изъ лѣсу.

Когда Закржевскій, бывшій на этотъ разъ волонтеромъ въ командѣ намѣстника, выразилъ ему удивленіе, что столько войска соединилось противъ какихъ-нибудь полутораста бродягъ, намѣстникъ отвѣчалъ, что для поимки гайдамаковъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть слишкомъ много рукъ, потому что эти злодѣи защищаются отчаянно и гибнутъ до послѣдняго, зная, что имъ пощады не будетъ.

„Ихъ ожидаетъ,—продолжалъ онъ,—собачья смерть на вѣтви дерева, или страшное сидѣніе на колу, и потому они бросаются, какъ бѣшеные, одинъ на десятерыхъ, и часто пробиваются сквозь засаду не только сами, но и съ добычею. Вотъ увидите завтра, въ какихъ они богатыхъ нарядѣхъ. Это они у насъ такъ приодѣлись, потому что изъ Сѣчи выходятъ только въ напоенныхъ саломъ рубашкахъ и кожанкахъ *) изъ телячьей кожи“.

Предводитель гайдамацкой партіи, которую теперь окружили въ лѣсу, былъ именно тотъ знаменитый Чуприна, который сдѣлалъ пятнадцать походовъ на Польшу и всякій разъ возвращался побѣдителемъ, обремененный добычею. За три года до этого онъ напалъ съ шестидесятью молодцами на Шаргородъ, замучилъ отца чесника Нурскаго, настоящаго предводителя панцырныхъ, ограбилъ его домъ и захватилъ въ немъ 40,000 злотыхъ наличныхъ денегъ. Когда же онъ проникнулъ въ самую Волинь и его, съ навьюченною батовнею, окружило триста драгуновъ изъ regimenta королевы, Чуприна ударилъ на нихъ ночью, убилъ полковника, увелъ нѣсколько драгунскихъ лошадей и ушелъ безъ всякой потери.

Этому-то Чупринѣ и жаждалъ теперь чесникъ Нурскій отмстить за пролитую имъ кровь отца. Чесникъ Нурскій помнилъ и другія обиды, которыя оставались еще не отомщенными гайдамакамъ. Гайдамаки напали и на другой его домъ, находившійся въ Сельницѣ, и забрали все, что могли. Но жена его, которая какъ бы предчувствовала посѣщеніе разбойниковъ, спаслась. Она предчувствовала потому, что одинъ изъ находившихся въ домѣ парубковъ ушелъ къ гайдамакамъ. Жена чесника нѣсколько недѣль не ночевала съ дѣтми подъ собственнымъ кровомъ, а ночевала въ оврагахъ, въ коноплѣ и въ лозѣ, перемѣняя мѣсто ночлега каждую ночь и только на день возвращаясь домой. Только эта осторожность спасла ее. Разбойники, вломаясь въ домъ чесника, застали при мамѣ самую маленькую его дочь и хотѣли разбить ее о стѣну, но мамка упала имъ въ ноги и только слезами и просьбами обезоружила гайдамаковъ. Вскорѣ потомъ напали гайдамаки на мѣстечко Красное, гдѣ маленькій сынъ чесника воспитывался въ парафіальной школѣ у директора. Школьники спрятались

*) Кожаная куртка.

въ небольшомъ острожкѣ, но наставникъ ихъ попалъ въ руки гайдамаковъ. Разграбивъ мѣстечко, они приступили къ острожке и требовали сдачи. Но „губернаторъ ключовой“ (управляющій) не отворилъ имъ воротъ маленькаго Гибралтара. Тогда они рѣшились поджечь дубовый частоколъ, который составлялъ главную защиту этого жалкаго укрѣпленія, и начали подкидывать подъ него солому, а чтобы не изнурять перевозкой лошадей своихъ, запрягли въ возъ школьнаго директора вмѣстѣ съ жидомъ. Этимъ способомъ подвезено было уже нѣсколько возовъ соломы, и при этомъ досталось обомъ немало жестокихъ ударовъ. Но вдругъ раздался выстрѣлъ изъ пистолета за мѣстечкомъ, гдѣ гайдамаки поставили свою стражу. Узнавъ по этому сигналу, что приближаются драгуны, они торопливо собрали свой багажъ и поскакали во весь духъ къ Кимчаю (большой лѣсъ въ окрестностяхъ Краснаго). Драгуны, правда, перерѣзали имъ дорогу, но гайдамаки ударили напроломъ, застрѣлили изъ ружей двухъ драгунъ и одного коня и ушли съ добычею.

Теперь Чуприна, окруженный сплошною облавою, выжидалъ утра.

Едва начало свѣтать, какъ вдругъ въ той сторонѣ лѣса, гдѣ стояла польская пѣхота, раздался выстрѣлъ изъ ружей, сперва рѣдкіе, потомъ чаще и чаще, и, наконецъ, загремѣли пушки. Гулъ, крикъ, громъ стрѣльбы и трескъ валящихся деревьевъ широко разнеслись по лѣсу въ утреннемъ влажномъ воздухѣ. Панцирные бросились ихъ останавливать. Въ это время сорокъ человекъ гайдамаковъ, съ двумя десятками вьючныхъ лошадей, выскочили неожиданно изъ лѣсу и дружно ударили на три волошскія хоругви, стоявшія впереди. Волохи не устояли противъ удара и, не сдѣлавъ даже выстрѣла, опрокинулись въ беспорядкѣ на компутовыхъ и, вмѣстѣ съ бѣгущею чернью, произвели такое замѣшательство въ рядахъ панцирнаго войска, что не могли прійти въ себя и построиться. Пользуясь этимъ, гайдамаки выстрѣлили изъ ружей и, убивши нѣсколько рядовыхъ, повернули вскачь къ ближайшему селу. Намѣстникъ и Закржевскій настигли ихъ близко, первый даже положилъ одного гайдамака изъ пистолета; но, оглянувшись и видя, что они гонятся за ними только вдвоемъ, остановились. Гайдамаки, между тѣмъ, пройдя черезъ село и зажегши его за собой, достигли сосѣдняго лѣса. Хотя за ними была послана погоня, которую regimentаръ, занятый на другомъ пунктѣ, едва черезъ часъ могъ нарядить, однако, безъ всякаго успѣха. Гайдамаки, сидя на быстрыхъ лошадяхъ, не дали себя настигнуть и ушли въ Сѣчь, оставляя за собой пожары.

Не такъ удачно подвизались тѣ гайдамаки, на которыхъ наступила въ лѣсу польская пѣхота. Защищались они отчаянно, убили польскаго подполковника, двухъ или трехъ офицеровъ и около пятидесяти рядовыхъ; нѣсколькихъ также равнили, и въ томъ числѣ майора; но трудно было имъ стоять противъ польскихъ ружей и пушекъ, которыя ломали деревья и пришибали ихъ стволами и сучьями. Къ тому же самъ ватажокъ былъ убитъ, и гайдамаки, смущенные этимъ событіемъ, почти всѣ были цеде-

Мертвые и раненные захвачены въ плѣнъ. Погибло ихъ ~~много~~ ^{сорокъ} ~~сто~~ ^{десяти}, а изувѣченныхъ и здоровыхъ схвачено около сорока. Чуприна палъ отъ руки молодого князя Мартына Любомирскаго, который при самомъ вступленіи въ лѣсъ на челѣ своихъ гренадеровъ, зажавъ его и убилъ изъ ружья въ ту самую минуту, когда вожакъ, стоя на колѣняхъ подъ дубомъ, прицѣливался въ него. При Чупринѣ найдено было богатое турецкое вооруженіе въ серебрѣ, нѣсколько брилліантовыхъ перстней на пальцахъ, пять золотыхъ часовъ и полторы тысячи червонцевъ въ поясѣ. У другихъ гайдамаковъ также нашли множество денегъ въ поясахъ и сѣдельныхъ подушкахъ, часовъ и оружія, а въ батовнѣ ихъ—безчисленное количество серебра, дорогихъ матерій, золотыхъ поясовъ, женскихъ нарядовъ и мѣховъ, церковныхъ орнатъ, капъ, рясъ, чашъ и другихъ принадлежностей богослуженія (католическаго), а также и жидовскихъ одеждъ, жемчуговъ, серегъ и тому подобныхъ вещей. Все это было награблено ими въ этомъ несчастномъ пограничномъ краѣ. Взято также нѣсколько десятковъ лошадей, между которыми много было отличной породы. Прочія валялись въ лѣсу убитыя или тяжело раненыя.

Послѣ этого польское войско расположилось обозомъ на возвышеніи и отдыхало трое сутокъ. Въ теченіе этого времени составлена была опись добычѣ и сдѣланъ дѣлежъ между офицерами и рядовыми. Не забыли и вдовъ, оставшихся послѣ убитыхъ въ бою. Каждому капитану досталось по 50 дукатовъ, поручикамъ по 30, унтеръ-офицерамъ по 10, а рядовымъ по 4 дуката. Церковныя же вещи и украшенія разосланы по костеламъ и церквамъ уніатскимъ.

Такъ велика была добыча, захваченная только у тѣхъ изъ гайдамаковъ, которые были убиты или попались въ плѣнъ. А сколько унесли съ собою золота и драгоценностей тѣ сорокъ молодцовъ, которые усакали въ степь, веди за собою двадцать навьюченныхъ лошадей. Все это, конечно, было потомъ пропито и проѣдено: иное пошло на гульню, другое на вознагражденія бандуристамъ, которые воспѣвали имъ ихъ же и ихъ дѣдовъ геройскіе подвиги; много добра бросалось въ шапки бѣдныхъ людей, и иногда разбрасывалось пригоршнями по базарамъ и площадямъ. Иное пошло, можетъ, и въ монастыри: что содрано съ врага православія, то не могло быть противно Богу. Такъ думали запорожскіе молодцы. Но большею частію добытое у ляховъ проѣдалось, пропивалось и протанцовывалось: идти запорожскій гуляка по рынку, увидеть „перерѣзъ“ (смоляная кадка) дегтю, заплатить за него, не торгуясь, выкупается въ дегтю, обваляется потомъ въ пуху и перьяхъ—и тѣшитъ добрый народъ. Такъ гуляли эти ужасныя дѣти того ужаснаго вѣка.

Пока войско отдыхало послѣ побѣды, прибылъ изъ Каменецъ-Подольска войсковою судья съ инстigatorомъ и палачъ съ своими прислужниками. Начался допросъ пойманныхъ гайдамаковъ. Ихъ пытали; изъ ихъ показаній оказалось, что шайка ихъ состояла изъ ста шестидесяти молодцовъ и что ватажко ихъ Иванъ Чуприна остановился и обрубился въ этомъ лѣсу,

поджидая своего отряда еще изъ пятнадцати гультаяевъ, который онъ выслалъ на грабежъ въ другую сторону со своимъ братомъ. При батовнѣ ихъ, какъ они показали, находилось двѣнадцать городскихъ казаковъ, которыхъ они и поименовали, но объявили, что они невинны, потому что служили у нихъ по принужденію. Въ эту ночь Иванъ Чуприна, который былъ большой характерникъ, усомнился въ своемъ счастьѣ, замѣтивши зловѣщій признакъ: когда онъ грѣлся у огня, вся „нужа“ сползлась у него въ воротнику. Тогда онъ сказалъ: „Оттеперь намъ буде лихо зъ вражими ляхами!“

Несчастье дѣйствительно случилось. Раздѣлившись на четыре отряда, гайдамаки намѣрены были ударить на разсвѣтѣ всѣ вдругъ по данному знаку, напроломъ въ разныя стороны. Знакомъ этимъ долженъ былъ служить выстрѣлъ ватажка изъ пистолета, на который отрядъ отвѣтилъ бы двумя ружейными выстрѣлами. Но этотъ планъ былъ разстроенъ непредвидѣннымъ случаемъ. Когда начало разсвѣтать, ватажка поползъ на четверенькахъ къ опушкѣ лѣса, чтобъ высмотрѣть, что дѣлаютъ ляхи. За нимъ поползло нѣсколько молодцовъ, и вдругъ у одного изъ нихъ ружье, зацѣпясь за вѣтку, выстрѣлило. На этотъ фальшивый сигналъ отвѣтили другіе выстрѣлы, и, прежде нежели гайдамаки сѣли на коней и построились въ боевой порядокъ, польская пѣхота двинулась въ лѣсъ и произвела между ними замѣшательство, тѣмъ болѣе, что Чуприна палъ отъ первой пули.

Судья записалъ показанія плѣнныхъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, составилъ длинный списокъ убитыхъ и живыхъ гайдамаковъ и произнесъ послѣдній приговоръ. Однихъ осудилъ онъ на висѣлицу, другихъ на колъ, третьихъ на четвертованье. Живыхъ отослали подъ сильной стражей въ каменецъ-подольскую крѣпость для исполненія этого приговора. *Мертвыхъ же четвертовали на мѣстѣ и разослали головы, руки и ноги по городамъ и мѣстечкамъ для всенародной выставки на кольяхъ.* Остальныхъ зарыли въ ялтушевскомъ лѣсу надъ большой дорогой и насыпали надъ ними, для вѣчной памяти, курганъ.

Истязаніе мертвыхъ преступниковъ было въ обычаяхъ того ужаснаго вѣка, что служило выраженіемъ крайняго поруганія надъ виновнымъ. Наруганье надъ трупами было тогда и въ Россіи: это мы знаемъ изъ исторіи понизовой вольницы. Въ Польшѣ четвертовали мертвыхъ и разсылали части ихъ тѣлъ по разнымъ мѣстамъ для всенародной выставки — таковы были всенародныя выставки сто лѣтъ назадъ! Въ Россіи же мертвыхъ преступниковъ сѣкли, т.-е. надъ преступникомъ, не выдержавшимъ жестокаго истязанія, совершали приговоръ, хоть бы онъ былъ и мертвъ. Такъ, „чудовище“ Заметаевъ былъ наказываемъ послѣ смерти во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, которыя были ознаменованы его разбоями. Есаулъ атамана Беркута былъ сѣченъ кнутомъ въ Астрахани, въ Черномъ Яру и въ Царицынѣ, и хотя онъ дорогой умеръ, его все-таки довели до Саратова и вновь наказывали публично его разлагавшійся трупъ, когда въ немъ уже заветхъ

черви. Это тоже были народные выставки того дикаго времени, которое, кажется, так недавно было.

Что касается до пятнадцати другихъ гайдамаковъ, которыхъ Чуприна отрядилъ съ своимъ братомъ для подвиговъ въ другихъ мѣстахъ и съ главною шайкой поджидать въ лѣсу, то они тоже не ушли отъ бѣды. Двое изъ нихъ, посланные „на чаты“ (для развѣдываній), были схвачены. Старый гайдамакъ не высказалъ ничего и вытерпѣлъ до конца всѣ муки, какими его пытали. Но молодой, вовсе не разбойничьей наружности паренъ, допрошенный особо, объявилъ, что товарищи его засѣли уже нѣсколько дней тому назадъ въ оврагѣ, посреди степей, между скирдѣ, мляхъ въ десяти отъ того мѣста, по направленію къ Константинову. Его поколебали увѣренія, что ему не только будетъ дарована жизнь, но что будетъ онъ даже принять въ особенную панскую милость и поступить въ число надворныхъ казаковъ, потому что онъ понравился молодому князю Любомирскому. Онъ объявилъ также, что шайка ихъ увеличилась до тридцати, новобранцами изъ поселянъ, что они высылаютъ на „Черный шляхъ“ сторожу для поимки прохожихъ, которыхъ она уводитъ въ свой притонъ, и что у нихъ уже множество лошадей, добычи и плѣнныхъ. Въ заключеніе, онъ обѣщалъ проводить къ тому мѣсту поляковъ.

Все это опять изъ глубины Рѣчи Посполитой переносить насъ къ степямъ средняго Поволжья и приводить на память подобныя же черты изъ исторіи понизовой вольницы. И тамъ былъ свой „Черный шляхъ“—это большая дорога, шедшая по горной возвышенности, раздѣлявшей Волгу отъ Дона и Медвѣдцы. Съ возвышеній, отдѣльно выдающихся на этомъ плоскогорьѣ, видно на далекое разстояніе. Съ иного кургана видна Волга на цѣлые десятки верстъ, видно Заволжье и видны степи вправо и влѣво и къ сѣверу. Видно было съ кургановъ, какъ караваны судовъ шли по Волгѣ. Хорошіи глаза понизоваго добраго молодца могъ рассмотреть даже лодки развѣдныхъ командъ, которыя усердный воевода или комендантъ высылалъ изъ Саратова или изъ Царицына для поимки воровскихъ людей. Къ этимъ курганамъ, господствующимъ надъ всѣми окрестностями, атаманы понизовой вольницы высылали своихъ соглядатаевъ, которые и сторожили всякаго проѣзжаго и прохожаго. Проѣзжалъ ли богатый купецъ изъ Макарья—его задерживали добрые молодцы. Слѣдовалъ ли изъ Астрахани въ Саратовъ самъ губернаторъ, подъ особу котораго ставилось по пятидесяти лошадей и который окруженъ былъ цѣлой ватагой канцеляріи и вооруженныхъ провожатыхъ, стража атамана и за нимъ слѣдила, и, при первой возможности, добрые молодцы нападали и на губернатора. Въ оврагахъ и лѣсистыхъ балкахъ „дувалили“ (дѣлили) потомъ добрые молодцы свою добычу: кому доставалась казна золотая, кому кони быстрые, а кому и красная дѣвица. Въ оврагахъ и въ лѣсистыхъ балкахъ поэтому нерѣдко валялись разломанные экипажи, убитыя лошади и никому непригодное добро.

Ту же самую картину мы видимъ и здѣсь, при описаніи схватки польскихъ войскъ съ тою партіею изъ шайки Чуприны, которую онъ высыла

со своимъ братомъ для отдѣльныхъ дѣйствій и для наблюденія за движеніемъ на „Черномъ шляху“. Часовые этого отряда тоже сидѣли подъ курганомъ, тогда какъ весь отрядъ съ добычею былъ въ закрытомъ мѣстѣ.

Когда региментарь, воевода Тарло, узналъ отъ молодого плѣннаго гайдамака о мѣстѣ расположенія всего отряда, онъ тотчасъ выслалъ противъ него триста человѣкъ пѣхоты, посадивъ ихъ на коней, взятыхъ въ волошскихъ хоругвяхъ, и триста городскихъ казаковъ, съ двумя пушками, подъ начальствомъ молодого князя Мартына Любомирскаго, который за успѣшное дѣло въ лѣсу произведенъ былъ въ полковники.

Уже изъ одного этого распоряженія можно видѣть, какою страшною силою казались полякамъ гайдамаки: противъ пятнадцати или тринадцати человѣкъ посылался отрядъ въ шестьсотъ человѣкъ съ двумя пушками. Это значить, что на каждого гайдамака посылалось по 40 человѣкъ польскаго воинства!

Такимъ образомъ помянутый отрядъ двинулся къ указанному мѣсту около „Чернаго шляха“. Онъ шелъ быстрымъ маршемъ, а предводители съ остальнымъ войскомъ выступили вслѣдъ за этимъ отрядомъ. Молодой Любомирскій и здѣсь отличился. Онъ такъ искусно подступилъ къ гайдамакамъ и такъ хорошо воспользовался указаніями помилованнаго разбойника, что окружилъ ихъ со всѣхъ сторонъ, а высланныхъ на Черный шляхъ казаки нашли спящими за курганомъ. Но тѣ, что сидѣли въ оврагѣ, не хотѣли сдаться, хотя для устрашенія по нимъ выстрѣлили изъ пушекъ; напротивъ, они принялись рѣзать своихъ плѣнниковъ, запертыхъ въ одной хаткѣ. Въ этой хаткѣ нашли потомъ зарѣзанными восемнадцать жидовъ, нѣсколько жидовокъ, одного уніата и одного ксендза. Остальные были спасены приспѣвшею пѣхотою. Гренадеры приняли гайдамаковъ въ штыки и кололи какъ дикихъ кабановъ. Трое были убиты, остальные перевязаны; но всѣ они были такъ изранены, что большая часть ихъ перемерла до трехъ дней. Съ польской стороны убитъ былъ только одинъ барабанщикъ и ранено ножами нѣсколько рядовыхъ. Выручено было изъ плѣна шестеро уніатовъ съ женами, шестеро ксендзовъ, два іезуита, болѣе двадцати женщинъ и двѣицъ шляхтянокъ и болѣе дюжины шляхтичей. Всѣ они были биткомъ набиты въ помянутой лачужкѣ и раздѣты почти донага. Но потомъ было открыто еще въ сосѣднихъ оврагахъ человѣкъ пятнадцать замученныхъ шляхтичей. Найдено около полутора ста лошадей, какъ въ батоннѣ, такъ подъ сѣдлами и безъ сѣделъ. Между скирдъ нагромождено было великое множество колясокъ, брикъ, повозокъ, дорожныхъ возковъ, разнаго рода сундуковъ, чемодановъ, шкатулокъ и погребцовъ, награбленныхъ на большой дорогѣ, на „Черномъ шляху“. Региментарь Тарло и князь Антоній Любомирскій только на третій день прибыли съ войскомъ на мѣсто этого послѣдняго пораженія гайдамаковъ. Освобожденные изъ разбойничьихъ рукъ, плѣнники вышли къ нимъ навстрѣчу, какъ къ своимъ спасителямъ. Добыча, найденная при самихъ гайдамакахъ и въ повозкахъ, была очень значительна. Всему сдѣлана обстоятельная опись, а

оставшіеся въ живыхъ владѣльцы показывали, что у нихъ заграблено, обозначая разныя вещи, платья и мѣшки. Потомъ ихъ отвели подъ особенный навѣсъ, гдѣ разложено было все это имущество, и каждый получилъ то, что было признано ему принадлежащимъ.

И здѣсь войско отдыхало трое сутокъ. По распоряженію начальствующихъ, отслужена была печальная панихида въ долину смерти, какъ выражается панъ Закржевскій, и тѣла замученныхъ христіанъ погребены были приличнымъ образомъ на кладбищѣ сосѣдняго села, а евреямъ позволено было забрать трупы своихъ единовѣрцевъ для погребенія ихъ по своимъ обрядамъ. Остальная добыча опять была раздѣлена между войскомъ, а молодой князь Мартынъ Любомирскій наименованъ генераломъ, и тотчасъ отправленъ былъ голецъ къ королю съ просьбою объ утвержденіи его въ этомъ чинѣ.

Для войскового судьи и палача открылось новое поприще допросовъ и пытокъ. Нѣсколькихъ оставшихся въ живыхъ гайдамаковъ четвертовали на мѣстѣ или посадили на колъ, а одному переломали руки и голени и потомъ повѣсили, зацѣпивъ желѣзнымъ крюкомъ за ребро, такъ какъ онъ признался въ самыхъ ужасныхъ преступленіяхъ. То былъ какой-то поповичъ изъ Волыни. Пригласился какой-то немолодой уже госпожѣ, отравилъ ее мужа и женился на ней. Она записала ему свое имѣніе, и онъ началъ было уже называться дворяниномъ и даже паномъ мечникомъ. Потомъ, когда жена ему надоѣла, онъ также отравилъ и ее, а имущество ея присвоилъ себѣ. Наконецъ, началъ дѣлать сосѣдямъ насилія, наѣзжая на ихъ дома. Его судили и приговорили къ смерти; но онъ ушелъ изъ Волыни и присталъ къ гайдамакамъ, которыхъ онъ изумилъ изысканною жестокостью, съ какою онъ забавлялся муками несчастныхъ жертвъ, допрашивая ихъ, гдѣ у нихъ спрятаны деньги, и потому заслужилъ отъ прочихъ гайдамаковъ имя „Исповѣдника“.

Такихъ же поповичей видѣли мы и въ понизовой вольницѣ, и если между понизовыми добрыми молодцами замѣшивался поповичъ, то это была большею частью крупная личность. Атаманъ Заметаевъ, котораго Суворовъ и Панинъ въ публикаціяхъ, разсылаемыхъ по Россіи, называли „чудовищемъ“, противъ котораго высылали цѣлыя отряды и поимку котораго могли довѣрить только Суворову, котораго, наконецъ, не смѣли выслать изъ Царыцына въ Астрахань подъ конвоемъ цѣлаго detaшамента,—это самое крупное страшилище въ понизовой вольницѣ былъ поповичъ. Встрѣчались между ними и другіе поповичи, которые большею частью рѣзко выдѣлялись изъ массы прочихъ разбойниковъ. Таковъ, вѣроятно, былъ и тотъ гайдамакъ, который остался въ исторіи подъ именемъ „Исповѣдника“.

Когда надъ упомянутыми гайдамаками шайки Чуприны, въ томъ числѣ и надъ Исповѣдникомъ, совершена была казнь, то трупы ихъ зарыты были тѣмъ же порядкомъ, какъ трупы первыхъ. Руки и ноги казненныхъ опять-таки развезены были по городамъ и большимъ дорогамъ для поучительныхъ выставокъ. Войско разошлось по старымъ становищамъ, а реги-

ментарь и воевода Тарло отправились съ княземъ Антоніемъ Любомирскимъ въ Полонное. Въѣздъ ихъ въ этотъ городъ былъ триумфальный. Они были встрѣчены пушечною и ружейною пальбою съ крѣпостныхъ валовъ. У самаго въѣзда въ Полонное комендантъ крѣпости, старый французъ, поднесъ князю на бархатной подушкѣ ключи отъ воротъ, а тотъ передалъ ихъ генеральному региментарю. Мѣщанскіе цехи и еврейскіе кагалы ожидали ихъ у городскихъ воротъ, а у гашковыхъ воротъ ректоръ іезуитовъ, на челѣ своего духовенства, встрѣтилъ вождей и привѣтствовалъ ихъ рѣчью, въ которой сравнивалъ ихъ съ римскимъ великимъ Помпеемъ, который также нѣкогда воевалъ съ разбойниками, а молодого князя Мартына Любомирскаго, за его смѣлое вступленіе въ лѣсъ, уподобилъ герою Курцію, который бросился въ открытую бездну. Во дворцѣ, княгиня Любомирская, окруженная многочисленными гостями, привѣтствовала на крыльцѣ побѣдителей... Великолѣпный обѣдъ, частые бокалы, пальба съ валовъ, а вечеромъ фейерверкъ и танцы завершили этотъ день. И надобно сказать,—добавляетъ очевидецъ, какъ бы для большаго контраста съ тѣмъ, что еще такъ недавно эти самые люди, теперь беззаботно веселящіеся, рѣзали руки и ноги гайдамакамъ, вѣшали ихъ на крюкъ, сажали на колъ,—надобно сказать, добавляетъ онъ, что никто не заставлялъ себя упрасивать къ очереднымъ бокаламъ или тянуть за ухо къ танцамъ. Молодой князь Любомирскій и его дядя, князь Францискъ Любомирскій, только что прибывшій изъ-за границы, и нѣсколько другихъ одѣтыхъ въ короткіе французскіе кафтаны, танцовали менуэтъ, экосеесъ, страсбургскій и штрайеръ. Прочіе дворяне, въ кунтушахъ, отпльсывали съ почетными паннами княгини (respektove раппу) мазурку, краковякъ и польскій; а всѣ вмѣстѣ окончили балъ быстрымъ драбантомъ.

Такъ веселились побѣдители Ивана Чуприны и его шайки въ Полонномъ, тогда какъ въ другихъ мѣстахъ бродили другіе Чуприны съ своими шайками и также собирали богатую дань съ веселой страны, и также дрожали по селамъ евреи, а іезуиты и ксендзы по монастырямъ, боясь, что некому будетъ защищать ихъ.

Но увеселенія въ Полонномъ не кончились одними танцами и однимъ днемъ. Побѣда надъ гайдамаками была слишкомъ радостнымъ и рѣдкимъ событіемъ, чтобъ радость эта могла скоро пройти. Надо было отпраздновать эту побѣду чѣмъ-нибудь необыкновеннымъ—и веселое панство устроило необыкновенный спектакль.

Дѣйствительно, на третьи сутки около Полоннаго устроенъ былъ спектакль, представлявшій,—по выраженію самовидца,—пораженіе гайдамаковъ въ долину скирдъ. Невдалекѣ отъ одного изъ предмѣстій прискана была мѣстность, напоминающая тотъ оврагъ, около котораго произошло это пораженіе. Были тамъ и скирды, сложили и хатку въ оврагѣ. Нѣсколько рядовыхъ было одѣто въ гайдамацкіе костюмы. Другіе переодѣлись захваченными на Черномъ шляху профѣзжими. Не было недостатка и въ переодѣтыхъ женщинахъ. Навели туда множество лошадей, навезли повозокъ,

сундуковъ, словомъ—всего, что было нужно для подражанія дѣйствительному происшествію. Все общество двинулось отъ замка къ этому мѣсту—дамы и пожилые мужчины въ многочисленныхъ и блестящихъ экипажахъ, а молодежь вся верхомъ. Когда зрители усѣлись на приготовленныхъ для того, лавкахъ, расположенныхъ уступами и покрытыхъ коврами, раздался сигнальный пушечный выстрѣлъ, и спектакль начался тѣмъ самымъ порядкомъ, въ какомъ происходилъ онъ на самомъ дѣлѣ. Пѣхота и городовые казаки, раставленные въ отдаленіи, начали приближаться, и окружать гайдамацкій притонъ. Молодой Любомирскій взобрался на стогъ сѣна и наблюдалъ все въ зрительную трубу, а французъ-гувернеръ, какъ свидѣтель происшествія, объяснялъ княгинѣ и другимъ дамамъ разныя обстоятельства этой стычки съ гайдамаками. Любомирскій выслалъ одного изъ пойманныхъ шпионовъ къ разбойникамъ, требуя сдачи, потому что они окружены уже со всѣхъ сторонъ. Въмѣсто отвѣта, двѣнадцать гайдамаковъ выѣхали верхомъ на возвышенность и принялись ругать и раззадоривать ляховъ. Выстрѣлили по нимъ изъ двухъ пушекъ: двое повалились съ лошадей; остальные поскакали къ хатѣ и стали терзать плѣнныхъ. Тутъ гренадеры прибѣжали и выломали дверь, съ криками: „бей ихъ! руби ихъ! коли!“ Началась схватка на копьяхъ и ножахъ. Начали таскать убитыхъ и раненыхъ гайдамаковъ и плѣнныхъ. Искусственная кровь лилась потоками, обжигая побѣдителей и побѣжденныхъ. Княгиня мать и присутствовавшія дамы осыпали ласками молодого князя Любомирскаго, который былъ героемъ дня.

Но и этимъ не кончилось торжество побѣдителей—они продолжали свои увеселенія еще нѣсколько дней. Мы не будемъ, впрочемъ, говорить о томъ, какъ они плясали и пили, какъ, послѣ гайдамацкаго спектакля, давали французскій спектакль, какъ потомъ охотились на кабановъ, какъ пили за охотничьимъ обѣдомъ, вмѣсто кубковъ, изъ охотничьихъ роговъ, и какъ, наконецъ, перепились всѣ до того, что потеряли память и движеніе, а гайдуки укладывали ихъ въ экипажи и отвозили въ замокъ. Все это ничего не прибавить къ тому, что мы уже говорили о распущенности и безпечности того общества, подъ бокомъ у котораго гайдамаки задавали свои кровавые, національные спектакли.

VIII.

Какъ ни жестоки были казни, которымъ подвергались гайдамаки, когда они попадались въ руки противодѣйствующей имъ силы, какъ ни впечатлительны были для народа такія зрѣлища, какъ воткнутыя на колья головы разбойниковъ, разсылаемыя и развѣшиваемыя по большимъ дорогамъ и по всѣмъ люднымъ мѣстамъ отрѣзанныя у гайдамаковъ руки и ноги, однако, гайдамаки продолжали свое, не менѣе жестокое дѣло, какъ бы въ отомщеніе за воткнутыя на колья головы ихъ товарищей и за развѣшенные на людныхъ мѣстахъ и на перекресткахъ ихъ руки и ноги, а народъ продолжалъ изъ своей среды выдѣлять этихъ страшныхъ мстителей своихъ

обидъ, и кровавое дѣло не кончалось. Было же что-нибудь, поэтому, въ общественной жизни того времени, такое, что заставляло людей такъ дешево ставить и свою жизнь, и свои физическія страданія, и идти или мучить другихъ безчеловѣчными истязаньями, или самому подвергаться мукамъ, какія только въ состояніи выдумать существо болѣе жестокое и болѣе изобрѣтательное на муки, чѣмъ звѣрь, и болѣе безжалостное, чѣмъ самое кровожадное изъ дикихъ животныхъ. Когда, въ началѣ новыхъ вѣковъ, Западная Европа была потрясена крестьянскими войнами, она видѣла, гдѣ ихъ источникъ. Когда нидерландскіе крестьяне, поднявшіеся многочисленными толпами, выставили на своихъ знаменахъ „хлѣбъ и сыръ“, тѣ, противъ кого шли эти крестьяне, знали, что голодный народъ требуетъ „хлѣба и сыру“ у тѣхъ, кто его имѣетъ съ изливкомъ и добылъ его неправымъ отнятіемъ куска у безсильнаго. Въ Шпейерѣ и прирейнскихъ провинціяхъ хорошо понимали то, чего добивались толпы народа, выставившія на своихъ знаменахъ крестьянскій башмакъ. „Бѣднякъ Конрадъ“ добивался того же, чего добивались крестьяне въ Нидерландахъ и въ Шпейерѣ, чего добивались массы народа, собравшіяся вокругъ отставнаго солдата Ганса Мюллера съ его краснымъ плащомъ и въ кроваваго цвѣта шапочкѣ; вокругъ дворника Георга Метцлера и вокругъ Геца фонъ-Берлингенъ—желѣзная рука. Хотя рожей этихъ стотысячныхъ народныхъ шаекъ и называли „пророками убійства и бѣсамъ разбойничьихъ шаекъ“, хотя испугавшійся Лютеръ и громилъ ихъ своимъ посланіемъ „противъ убійцъ и разбойниковъ крестьянъ“, хотя, наконецъ, эти народныя движенія кончились тѣмъ, что тамъ замучили кровавыми муками одного народнаго вождя, тамъ положили на мѣстѣ до семнадцати тысячъ труповъ народа, тамъ до двадцати тысячъ, наказывая бунтовщиковъ „не только ранами, но и скорпіонами“ и превращая цвѣтушіе и многолюдные края въ пустыни,—однако, то, чего добавились эти люди, рано ли, поздно ли, досталось получить дѣтямъ и внукамъ погибшихъ во время кровавыхъ смутъ, и въ результатѣ выходило, что не даромъ лилась кровь и что смерть сотенъ тысячъ народа была не бесплодна.

Того же самаго, въ сущности, добивались, если не для себя, то для своихъ внуковъ и правнуковъ, и тѣ, повидимому, свирѣпые и дикіе люди, головы которыхъ торчали на кольяхъ, а ноги и руки вывѣшивались для всенароднаго зрѣлища, хотя, при политической близорукости своей и общей неразвитости, они иногда ошибались и не всегда пика ихъ колола тѣхъ, которыхъ бы слѣдовало. Разница только въ томъ, что тамъ, въ Европѣ, началось это раньше, какъ и вся Европа ранѣе насъ начала жить историческою жизнью, а у насъ, въ общемъ медленномъ поступательномъ движеніи къ политическому и гражданскому развитію запоздали и народныя движенія.

Какъ бы то ни было, но гибель Чуприны и его шайки не остановила гайдамачины. Общій народный взрывъ продолжалъ подготовляться, а до того времени отдѣльными шайками, подъ предводительствомъ такихъ же

смѣлыхъ, какъ Чуприна, ватажковъ, продолжали тревожить сытыхъ, безпечныхъ пановъ, нерѣдко оставляя послѣ себя пожарища и разрушеніе.

Въ исторіи гайдамачины этого времени выдается еще одна крупная личность—это ватажко Чортоусть.

Не прошло и двухъ лѣтъ послѣ пораженія шайки Чуприны въ ялтушковскомъ лѣсу, какъ начали ходить по Волини слухи, что сильная гайдамацкая шайка вышла изъ-за рѣки Синюхи, ограбила разныя панскія помѣстья въ кievскомъ воеводствѣ, углубилась далеко въ Полѣсье и будетъ возвращаться черезъ Волинь. Но гдѣ она появится изъ лѣсовъ и зарослей на поляхъ и какимъ именно путемъ будетъ идти—никто не знаетъ. Всеобщій ужасъ распространился между жителями отъ этихъ слуховъ. Съ каждой милей отъ Ровно къ Полонному они становились страшнѣе и страшнѣе. Только и рѣчей было всюду, что о гайдамакахъ. Тамъ видѣли какихъ-то подозрительныхъ людей, то бродягъ, вѣроятно, шпионовъ гайдамацкихъ; въ другомъ мѣстѣ рассказывали, какъ гайдамаки сожгли домъ съ хозяиномъ и всѣмъ его семействомъ. Въ овручскомъ повѣтѣ они, будто бы, обратили въ пепелъ цѣлое мѣстечко, а евреевъ вырѣзали до одного. Въ мозырскомъ ограбили костелъ униатскихъ церквей; а еще гдѣ-то вторгнулись въ монастырь, жгли монаховъ на огнѣ и поролли имъ жилы. И съ каждымъ днемъ силы гайдамаковъ въ этихъ рассказахъ увеличивались, такъ что уже ихъ насчитывали, можетъ быть, въ десять разъ больше, нежели ихъ сколько было въ самомъ дѣлѣ. На дорогахъ безпрестанно встрѣчались шляхта и евреи, перевозившіе женъ, дѣтей и лучшее изъ движимости въ города и небольшія укрѣпленія въ магнатскихъ имѣніяхъ, гдѣ они надѣялись найти какую-нибудь защиту.

Однимъ словомъ, явленіе было одно и то же, что и въ пугачевщину, когда дворяне бѣжали въ города, а воеводы, воеводскіе чиновники и канцеляристы бѣжали изъ уѣздныхъ городовъ въ губернскіе и вмѣстѣ съ тѣмъ тащили съ собою казну для отдачи подъ крѣпкую охрану комендантовъ и оберъ-комендантовъ.

Въ Ровномъ было довольно надворнаго войска. Но слухи о гайдамакахъ такъ напугали магнатовъ, что князь Любомирскій, опасаясь, чтобы гайдамаки не овладѣли Ровнымъ, гдѣ не было укрѣпленій, рѣшился, для большей безопасности и спокойствія, перевезти свою жену, которая была беременна, въ Полонное, гдѣ былъ укрѣпленный замокъ. Другой Любомирскій, Антоній, находился въ то время съ женой въ своихъ сандомирскихъ имѣніяхъ, и потому, по предложенію Мартына Любомирскаго, рѣшился искать защиты въ укрѣпленіяхъ Полоннаго. Онъ двинулся изъ Ровна въ сопровожденіи многочисленнаго конвоя рейтаръ и казаковъ, а пѣхота послана была впередъ. Въ славутскихъ лѣсахъ встрѣтилъ князя и княгиню молодой Любомирскій, Мартынъ, побѣдитель ватажка Чуприны, съ сильнымъ отрядомъ войска и четырьмя пушками, изъ которыхъ, во время отдыха въ лѣсу, приказалъ для забавы книжки раздробить нѣсколько сосенъ. Достигши благополучно Полоннаго, они застали всѣ постоянныя и мѣщанскіе

дома наполненными шляхтою, которая собралась туда изъ близкихъ и далекихъ окрестностей, ища убѣжища подъ защитой крѣпости.

Но долго не было навѣрное извѣстно, куда повернули гайдамаки. Посылали развѣдывать евреевъ, но они возвращались ни съ чѣмъ, потому что хоть ихъ и соблазняла богатая награда, которую имъ обѣщали, но опасеніе попасться въ руки гайдамаковъ подавляло въ нихъ и самую жадность къ деньгамъ.

Наконецъ, князь Мартынъ Любомирскій выслалъ восемь вѣрныхъ и расторопныхъ казаковъ, давши каждому по десяти червонцевъ на дорогу, и обѣщаль дать въ десять разъ больше тому изъ нихъ, кто привезетъ вѣрныя вѣсти о направленіи пути и силѣ гайдамаковъ. Казаки отправились каждый въ свою сторону, и долго не было о нихъ никакого слуху. Наконецъ, четверо воротились ни съ чѣмъ. Собравшаяся въ Полонномъ шляхта, будучи принуждена дорогою цѣною платить за неудобныя помѣщенія и негодные съѣстные припасы, начала ужъ роптать, что ее обманываютъ баснями, что если гайдамаки и были гдѣ-нибудь, то ужъ должны воротиться въ свои притоны, и стала развѣзжаться по домамъ. Въ это время двое изъ высланныхъ казаковъ, Гладкій и Лобода, воротились изъ согладятайства. Ихъ тотчасъ же представили князю Мартыну Любомирскому. Оба они пришли пѣшкомъ, въ крестьянской одеждѣ, и принесли такія вѣсти:

Долго они съ трудомъ пробирались въ одиночку по лѣсамъ и непроходимымъ мѣстамъ. Наконецъ, случайно встрѣтились у одного хутора въ глухомъ бору надъ ручьемъ и только тамъ получили вѣрныя извѣстія о гайдамацкомъ становищѣ отъ стараго пасичника. Старикъ этотъ знался съ гайдамаками, а казаки прикинулись, что тоже хотятъ пристать къ молодцамъ. Онъ и наставилъ ихъ, какъ къ нимъ пробраться, и какъ онъ имъ сказалъ, что гайдамаки покупаютъ лошадей, то они воротились въ мѣстечко Звяхло и, промѣнявъ тамъ свою казацкую одежду на крестьянскую, купили за деньги, данныя имъ княземъ Любомирскимъ, по другой еще лошади и уже знакомыми „мановцами“ (напряжикъ) пустились къ гайдамацкому притону, подъ видомъ парубковъ, которые привели лошадей на продажу. Гайдамаки стояли отъ Полоннаго миляхъ въ десяти, посреди дремучихъ лѣсовъ, въ урочищѣ Обозовище. Казаки-шпіоны застали уже тамъ своихъ товарищей-казаковъ, Кирилла Ласуна и Ивана Ворону, которые тоже были отправлены на поиски. Тѣ прикинулись, какъ будто пристали къ гайдамакамъ, и показывали видъ, что другъ съ другомъ не знакомы. Особенно Ласунъ полюбился гайдамакамъ и жилъ съ старшиною ихъ за панибрата. Онъ ходилъ въ золотѣ и серебрѣ, точно какой вельможа. Да и на всѣхъ гайдамакахъ они замѣтили золотые пояса, красные суконные кунтуши, шелковые жупаны и собольи шапки, а оружіе у нихъ такое дорогое, что и турецкій паша не постыдился бы носить при боку. Гладкій и Лобода продали имъ своихъ купленныхъ лошадей съ сѣдлами. Гайдамаки заплатили имъ за нихъ щедро. Ворона

старался держаться отъ нихъ подальше, чтобъ не дать подозрѣнія, по-сматривалъ только сбоку, поглаживая свой усъ, и изрѣдка подмигивалъ имъ, нахмуривши брови. Но Ласунъ былъ при продажѣ лошадей, помогалъ торговаться, могарычъ пилъ и просилъ ихъ еще привести лошадей съ сѣдлами, а, между тѣмъ, украдкою шепнулъ Гладкому и Лободѣ, что ватажко Семенъ Чортоусъ до сихъ поръ не собралъ еще всѣхъ своихъ молодцовъ, разосланныхъ за добычею, которыхъ у него человѣкъ триста слишкомъ, что пока еще соединились только два отряда, а другихъ двухъ ожидаютъ, что они черезъ два дня выступятъ оттуда двѣ мили дальше, въ урочище Мазепина Могила, гдѣ назначенъ былъ сборъ всѣмъ шайкамъ. Оттуда они намѣрены пуститься дальше искать счастья. Ласунъ велѣлъ Гладкому и Лободѣ летѣть птицей и увѣдомить князя Любомирскаго тайно, чтобы всѣ были готовы и держали ногу въ стремени и ни съ кѣмъ бы не говорили, потому что у гайдамаковъ рездѣ есть свои шпионы. Когда же гайдамаки перейдутъ къ Мазепиной Могилѣ, то Ласунъ обѣщалъ остаться съ ними, чтобъ ихъ обманывать, а Ворона убѣждать и проведетъ войско польское прямо къ гайдамакамъ.

Начали готовиться къ походу, никому не объявляя цѣли этихъ приготовленій и дожидаясь прибытія Вороны. Гладкій и Лобода были награждены, и имъ велѣно было до времени скрыться. Но вотъ на третьи сутки, въ полночь, явился у воротъ Полоннаго гонецъ на усталомъ и задыхающемся конѣ и требовалъ, чтобъ его тотчасъ впустили въ замокъ. То былъ Ворона. Но его никто бы не узналъ: онъ былъ въ богатомъ контушѣ съ рубиновыми пуговицами и въ гайдамацкомъ вооруженіи. Сторожевой офицеръ, по сдѣланному напередъ распоряженію, тотчасъ отвелъ его въ караульню, куда вскорѣ пришелъ и князь Мартынъ Любомирскій. Поклонившись князю въ колѣни, Ворона началъ рассказывать, что, когда, на другой день по прибытіи къ Мазепиной Могилѣ, пришла въ таборъ другая шайка, онъ, воспользовавшись общимъ говоромъ и суматохою, ушелъ отъ гайдамаковъ, не будучи никѣмъ замѣченъ и преслѣдуемъ. Ворона прибавлялъ, что надо поспѣшать, потому что на другой день и остальные гайдамаки соединятся съ ватажкою, а черезъ нѣсколько дней они выступятъ въ степи, къ Константинову, на который намѣрены напасть среди бѣла дня, разграбить и зажечь, потому что чувствуютъ себя довольно для того сильными. Настоящее становище ихъ заросло молодымъ боромъ и довольно просторное. Но окружить ихъ можно, потому что становище расположено на острову, окруженномъ рѣкою и толстымъ болотомъ, черезъ которое не пройдетъ ни человѣкъ, ни конь, ни собака. Ворона говорилъ, что надо взять съ собою хлѣба и другихъ припасовъ для на четыре, такъ какъ онъ обѣщалъ вести войско лѣсами и зарослями, и только будутъ переходить одно село, чтобъ переправиться тамъ черезъ Случь. Пѣхоту и пушкарей надо вести на подводахъ. Гайдамаки ободрились своею удачею и не очень осторожны, потому что до сихъ поръ никто и въ глаза имъ не заглянулъ; а, между тѣмъ, шпионы ихъ,

которые были и въ Полонномъ, донесли имъ, что укрѣпляютъ замокъ, что ихъ боятся, и потому гайдамакамъ не придется въ головы, чтобы кто вздумалъ искать ихъ. Безпечныхъ легко застать врасплохъ, лишь бы не терять времени.

Поляки тотчасъ собрались въ походъ. Уже пришли въ Полонное, два дня тому назадъ, изъ Бара одинъ казацкій и одинъ пѣшій полкъ, которые вмѣстѣ заключали въ себѣ до шестисотъ человѣкъ. Прибавивъ сюда первый regimentъ старосты казимирскаго, князя Антонія Любомирскаго, отрядъ пѣхоты изъ Ровна, часть гарнизона, надворныхъ рейтаръ, да казакъъ полонскихъ и ровенскихъ, насчитали 600 человѣкъ конницы, 750 пѣхоты и 18 пушекъ.

Въ полдень поляки выступили изъ Полоннаго. За городомъ, около Дертки, стояло наготовѣ нѣсколько сотъ подводъ. На каждой изъ нихъ помѣстилось по три пѣхотинца, и войско двинулось въ путь. Впереди казакъъ Ворона указывалъ дорогу. Участникъ этого похода замѣчаетъ, что это была охота на крупнаго звѣря, у котораго и зрѣніе, и слухъ, и обоняніе очень остры, а когти еще острѣе, и потому, подъ строжайшею карою, запрещено было не только разговаривать, кашлять, но даже высвѣгать огонь и курить табакъ. Ворона повернулъ съ большой дороги на тропинку вправо. Войско ѣхало лѣсомъ молча, тихо, такъ что развѣзъ изрѣдка троечное колесо стучало, наскочивъ на древесный корень, или трещали сухіе сучья на дорогѣ. Останавливались на самое короткое время для отдыха, а потомъ шли опять день и ночь. До Случи переправы были еще сносны, но потомъ забрались они въ такія трущобы, заросли, вертепы и выбои, что съ трудомъ вытаскивали возы и пушки изъ этого истинно полѣскаго колтуна. Къ счастью поляковъ, эту часть пути случилось имъ проходить при дневномъ свѣтѣ. Когда они выбрались изъ этой пуши и достигли болѣе жидкаго бора, Ворона соскочилъ съ коня и отъ радости поцѣловалъ землю, благодаря Бога, что помогъ войску выйти безъ всякаго несчастья изъ этой трущобы: ночью имъ удалось бы это развѣ какимъ-нибудь чудомъ. Рѣдкіе люди эти казаки—руссины! (говоритъ Симонъ Закржевскій). Что за проворство, что за смѣтливость! а проводниковъ не найти нигдѣ подобныхъ. Въ бѣдѣ всегда придумаютъ какъ извернуться, и если который изъ нихъ привяжется душою къ пану, то и швейцарца не нужно.

Невдалекѣ отъ этихъ зарослей находился хуторъ того пасичника, о которомъ говорили казаки Гладкій и Лобода. Поляки тотчасъ его окружили и схватили старика. Нѣсколько рядовыхъ было оставлено въ его хатѣ для стражи, чтобы кто-нибудь изъ его семьи не увѣдомилъ гайдамаковъ о польскомъ войскѣ, а самого старика взяли съ собой и велѣли ему вести отряды къ гайдамацкому притону. Ворона предупредилъ, что версты черезъ двѣ по этой дорогѣ стоитъ небольшая лѣсная деревушка, состоящая изъ нѣсколькихъ хижинъ, и совѣтовалъ также окружить ее неожиданно, чтобы и оттуда гайдамакамъ не передалъ никто вѣсти, а, между тѣмъ, можетъ

быть удастся, — говорилъ онъ, — схватить кого-нибудь изъ ихъ шайки. Для этого отправленъ впередъ полковникъ Мурзенко съ его казаками и Вороною, а прочіе слѣдовали за ними поодоль, по указаніямъ пасичника и Лободы. Мурзенку повезло не только окружить деревушку, но и поймать двоихъ гайдамаковъ, которые пріѣхали туда покупать сало и хлѣбъ. И здѣсь, какъ и въ шайкѣ Чурины, красивый и ловкій молодецъ оказался менѣе закоренѣлымъ, нежели его пожилой товарищъ. На особомъ допросѣ онъ признался князю Любомирскому со слезами, что его гайдамаки похитили еще ребенкомъ на Подольи изъ шляхетскаго дома, что онъ выросъ на Сѣчи, какъ воспитанникъ и слуга реестроваго казака, что теперь вышелъ впервые въ походъ подъ надзоромъ этого старшаго гайдамака, котораго приказано ему называть „дядькомъ“, и что на него еще не полагаются и ни на шагъ отъ себя не отпускаютъ. Когда же князь обѣщалъ не только простить его, но еще принять въ число надворныхъ казаковъ, если искренно во всемъ сознается и проводить къ табору ватажка, тогда онъ обѣщалъ и поклялся не только привести, но и указать мѣста, по которымъ всего удобнѣе обложить находящійся среди болотъ островъ, и заградить на трехъ плотинахъ изъ него выходъ. Онъ сообщилъ, что уже всѣ шайки соединились наканунѣ у Мазепиной Могилы, а черезъ день намѣрены двинуться въ степи, къ Константинову. Что касается до описанія мѣстности гайдамацкаго притона, то показанія его согласовались съ рассказомъ Вороны. Но старый гайдамакъ не сознался ни въ чемъ. Ни обѣщанія и увѣщанія войскового судьи, ни пытка, въ которой палачъ работалъ отъ всего сердца — не въ силахъ были прервать упорнаго молчанія закаленного, въ терпѣливости разбойника. Войско провело ночь въ этой деревушкѣ, а, между тѣмъ, пришли толпы крестьянъ, согнанныхъ изъ ближайшихъ селъ, съ заступами и топорами, всего человѣкъ тысяча. Рано утромъ пустились въ дальнѣйшій путь. Мурзенко съ казаками служили авангардомъ. Послѣ дневного похода достигли одного урочища, гдѣ въ старину должно было существовать какое-то поселеніе, потому что въ лѣсу замѣтны были на большомъ пространствѣ слѣды садовъ и загоновъ. Остатки хатъ и колодцы также указывали на пребываніе жителей въ этомъ мѣстѣ. Тамъ новообращенный гайдамакъ сказалъ, что до Мазепиной Могилы остается только полмили и совѣтовалъ, чтобы обождать тамъ до двухъ часовъ пополночи, или, какъ выражался онъ, указавъ на искрившееся звѣздами небо, „пока не зайдутъ хозаре“. А когда князь Любомирскій высказалъ опасеніе чтобы гайдамаки не замѣтили ихъ въ этихъ мѣстахъ, онъ отвѣчалъ: „Не бойтесь, ни одинъ изъ нихъ не осмѣлится ночью заглянуть сюда, потому что урочище считается заклѣтымъ, на которомъ упыри и вѣдьмы дѣлаютъ разныя пакости и пугаютъ прохожихъ, — его называютъ „Купаго Чорта слобода“.

По мѣрѣ того, какъ потухали звѣзды, на небѣ становилось замѣтнѣе зарево отъ разбойничьихъ огней. Основываясь на показаніяхъ Вороны и молодого гайдамака, составленъ былъ планъ обложенія разбойниковъ. При

началъ каждой изъ трехъ плотинъ рѣшено было поставить по шести пушекъ, обезопасивъ ихъ отрядами пѣхоты и рвомъ. Крестьянъ разставили вокругъ острова, въ пятнадцать шагахъ одинъ отъ другого, съ тѣмъ, чтобы они, лишь только начнется пушечная пальба, рубили деревья и кустарники для устройства засѣки,—Мурзенко и Бериславскій съ казаками и рейтарами должны были присматривать за дровосѣками и понуждать ихъ къ работѣ. Остальную пѣхоту предположено было разставить въ качествѣ стрѣльцовъ надъ болотомъ вокругъ острова.

Послѣ этого, въ порядкѣ и молчаньи, двинулись изъ слободы Куцаго Чорта въ два часа пополудни, оставивъ тамъ брики, подводы и крестьянскихъ лошадей. Все шло благополучно. Слабый свѣтъ только что начинающагося утра позволялъ расположить, какъ слѣдовало, пушки, войско, крестьянъ надъ болотомъ,—и сияющимъ послѣ попойки гайдамакамъ даже и не грезилось, что они уже попались въ западню, тѣмъ болѣе, что они полагались на недоступность зарослей и топей и не считали даже нужнымъ поставить на плотинахъ сторожу.

Князь Любомирскій, объѣхавъ всѣ пункты и удостовѣрившись, что уже всѣ на своихъ мѣстахъ, подалъ условный знакъ. Первые шесть пушекъ, поставленные противъ самой большой плотины, грянули, раздробляя въ щепки деревья. Имъ отвѣчали двѣ другія батареи, и тысяча топоровъ вдругъ застучали о сосны. Не весело было проснуться гайдамакамъ среди подобнаго гула и треска. Сдѣлавъ по два выстрѣла, пушки умолкли. Остановились и топоры. Ворона закричалъ разбойникамъ въ жестяную корабельную трубу, чтобы сдались, потому что окружены со всѣхъ сторонъ. Нѣсколько минутъ не было слышно никакого отвѣта. Вдругъ на главной плотинѣ раздался топотъ десяти или пятнадцати лошадей и крики:

— Гони! лови! постой! Кирилло!

Прежде, нежели пѣхота выстрѣлила изъ ружей, прискакала на распушечномъ какъ вихрь конѣ ѣздокъ и бросился между пушекъ. Тогда только узнали въ немъ Кирилла Ласуна. Преслѣдовавшіе его гайдамаки отбиты было густой пальбой изъ карабиновъ, и нѣсколько человѣкъ повалились съ лошадей. Между тѣмъ разсвѣло. На троекратно повторенное воззваніе сдаться, гайдамаки, наконецъ, отвѣчали грубьянскимъ и оскорбительнымъ крикомъ, въ которомъ они не щадили ни поляковъ, ни ихъ матерей. Пушки опять загремѣли и застучали по лѣсу топоры. Въ нѣсколько часовъ крѣпкая засѣка окружила гайдамацкій притонъ, пушечныя ядра повалили по острову множество сосенъ, которыя давили людей, лошадей. Гайдамаки пробовали отстрѣливаться изъ ружей, взобравшись на деревья, и польская пѣхота по нимъ тоже стрѣляла. Но болото было слишкомъ широко для ручной перестрѣлки. Съ польской стороны было убито нѣсколько человѣкъ, да человѣкъ пятнадцать ранено.

Такъ прошелъ цѣлый день.

Кирилло Ласунъ присовѣтовалъ подѣлать на плотинахъ высокіе завалы изъ сучьевъ, пней, стволовъ древесныхъ и хворосту, на которыхъ бы ло-

шади спотыкались и падали, потому что ватажко непремѣнно рѣшится пойти на проломъ. Поляки поступили благоразумно, послушавшись его, потому что, какъ оказалось, Чортоусъ, раздѣливъ своихъ молодцовъ на три отряда, предпринялъ въ эту ночь ударить разомъ въ три стороны на пушки и проломить себѣ дорогу. Поляки сторожили его въ полномъ вооруженіи, прислушиваясь къ малѣйшему шуму. На плотины наведены были пушки, заряженные картечью.

И вотъ, въ глубокую ночь, вдругъ послышался тихій лошадиный топотъ, который по мѣрѣ приближенія къ плотинамъ становился яснѣе. Наконецъ, загудѣли плотины отъ стука копытъ. Гайдамаки громко закричали:

— Нуте, братья, або добути, або дома не бути!

Тутъ они поскакали во весь духъ. Поляки дали имъ приблизиться, чтобъ они всѣ вѣхали на плотину, такъ какъ поляки рассчитывали, что они увязнутъ на переднихъ завалахъ. Наконецъ, грянули пушки. Наступилъ страшный судъ, какъ выражается самовидецъ. Черезъ каждыя двѣ-три минуты батареи отвѣчали одна другой. Стоны умирающихъ и раненыхъ, топотъ лошадей, трескъ раздробленныхъ картечью деревь раздавались по лѣсу, и все это происходило въ ночной темнотѣ, которая только отъ времени до времени, озарялась пушечными выстрѣлами и увеличивалась еще болѣе ужасъ этой сцены. До самаго разсвѣта продолжался громъ пушекъ. Это былъ—по выраженію очевидца—новый родъ игры въ кровавыя жмурки, въ которой пушкарѣ, съ завязанными чернымъ платкомъ ночи глазами, поражали всякаго, кто подвергнется подъ выстрѣлъ. Только при утреннемъ свѣтѣ увидѣли поляки, какое бѣдствіе постигло гайдамаковъ. На каждой изъ трехъ плотинъ лежало по нѣсколько десятковъ убитыхъ людей и лошадей, а въ болотѣ видно было нѣсколько утопшихъ. На большой плотинѣ, посреди вѣтвей и кольевъ, которыми она была загромождена, лежалъ, завязнувши и уже мертвый, ватажка Семенъ Чортоусъ. Подлѣ него издыхалъ конь чудной красоты. Узнали ватажка Ворона и Ласунъ. Богатая сбруя и рѣдкаго достоинства сабля, которую нашли при немъ, сѣлались добычею князя Мартына Любомирскаго *).

По приказанію князя, Ласунъ закричалъ въ рупоръ, чтобы оставшіеся въ живыхъ сдались, если не хотятъ погибнуть. Черезъ нѣсколько времени показалось на плотинѣ 36 разбойниковъ здоровыхъ и 8 раненыхъ—только всего уцѣлѣло ихъ изъ трехсотъ отборныхъ молодцовъ, да еще вытащено нѣсколько человекъ изъ болотныхъ зарослей. Къ нимъ поставили караулъ и велѣли ихъ переодѣть въ крестьянское платье, и изъ cadaго ихъ жупана выноролѣ по нѣсколько сотъ червонцевъ. Потомъ приступлено къ вытаскиванію изъ болота труповъ и перебитыхъ лошадей. Съ однихъ сня-

*) „Должно быть опасно носить оружіе, добытое отъ чародѣя, ка-кимъ считали Чортоуса,—замѣчаетъ самовидецъ Семенъ Закржевскій.—Можетъ быть, въ саблѣ заключена была тайная сила, тянувшая владѣтеля къ насиліямъ и грабежу, которыми, къ несчастію, запятналъ себя впоследствии побѣдитель гайдамаковъ у Мазепиной Могилы“.

малю одежду и вооруженіе, а съ другихъ сѣдла и чепраки. У гайдамаковъ всадѣ были защиты золото, серебро и драгоценности, награбленныя въ католическихъ и уніатскихъ церквахъ и въ частныхъ домахъ. Наконецъ, гренадеры вступили въ гайдамацкій станъ, чтобъ разорить его. Тамъ нашли въ батовнѣ 80 лошадей живыхъ и около 15 убитыхъ. Вытащили изъ лѣсу трупы. Оружіе и сбрую снесли къ мѣсту дѣлежа и тотчасъ приступили къ описи добычи. Прибыль войсковой судья съ слѣдователями и палачъ съ своими прислужниками—одни для изреченія приговора *трупамъ*, а другіе для *глумленія надъ ними*, какъ выражается Закржевскій. Живыхъ плѣнниковъ, для подробнѣйшаго допроса, тотчасъ отправили, въ оковахъ и подъ сильною стражею, въ подземелья полонскаго замка, которыя назывались „Индією“. Войско оставалось въ гайдамацкомъ притонѣ до слѣдующаго дня, и въ это время раздѣлена добыча между офицерами и рядовыми. Даже крестьянамъ дали нѣсколько мѣдныхъ монетъ. Не забыли также ни блюстителя правосудія, ни исполнителей его приговора—палачей.

Палачи увеличили свою награду, найдя въ желудкѣ одного четвертованнаго гайдамака сто червонцевъ, которые онъ проглотилъ, свернувши въ трубочки.

Наконецъ, наступила обычная въ такихъ случаяхъ разсылка по мѣстечкамъ и большимъ дорогамъ головъ, рукъ и ногъ гайдамацкихъ, что, правду сказать, производило больше отвращенія въ прохожихъ, нежели спасительнаго страха въ продавшихъ себя чорту злодѣяхъ, какъ выражается современникъ, присутствовавшій и даже участвовавшій въ этой странной разсылкѣ по странѣ человѣческихъ головъ, рукъ и ногъ.

Такъ погибъ знаменитый гайдамацкій предводитель съ его отчаянною шайкою.

Если въ повѣствованіи о послѣднемъ походѣ польскаго войска противъ Чоргоуса, какъ и въ повѣствованіи о битвѣ съ предшественникомъ его Чуприяю, и замѣчается, можетъ быть, излишняя картинность и битье на эффектъ, то это зависитъ частью отъ эффектности самихъ происшествій, частью же отъ того колорита, который старался придать имъ разсказчикъ-самовидецъ. Какъ самовидецъ, панъ Закржевскій могъ передать самые выдающіеся моменты изъ этихъ двухъ стычекъ польскаго войска съ двумя гайдамацкими коноводами, а какъ полякъ и искусный разсказчикъ, онъ не могъ не придать самимъ фактамъ того колорита, которымъ, въ его собственныхъ глазахъ, окрашивались эти оба событія. Оттого мы и удерживали почти вездѣ дословно его собственную редакцію въ передачѣ извѣстій о Чупринѣ и Чоргоусѣ.

Изъ шайки Чуприны, какъ мы видѣли, нѣсколько человѣкъ съ вьючными лошадьми пробились сквозь тысячное польское войско и ушли въ свои степи. Изъ шайки же Чоргоуса не спаслось никого, кто могъ бы принести въ Сѣчь извѣстіе о гибели трехсотъ украинскихъ добрыхъ молодцовъ съ атаманомъ-батушкою. Нѣкоторые изъ этихъ добрыхъ молод-

цовъ могли развѣ узнать знакомые по обезображеннымъ головамъ, воткнутымъ на колья, если только это возможно, и передать въ задѣлпривскую или русскую Украину вѣсг о пораженіи гайдамаковъ.

IX.

Для болѣе правильнаго пониманія характера гайдамачины, мы должны указать на одно обстоятельство, отличающее народное это движеніе отъ родственнаго ему народнаго же движенія, выразившагося въ понизовой вольницѣ и пугачевщинѣ.

Обстоятельство это—отсутствіе въ южно-русской народной поэзіи одного отдѣла пѣсень, именно разбойничьихъ. Богатая пѣсня велирусскаго народа удѣляетъ большое мѣсто для разбойничьей пѣсни. Въ цикль этихъ пѣсень входятъ и былевые пѣсни о Ермакѣ, о Стенькѣ Разинѣ, о первомъ русскомъ эмигрантѣ, донскомъ казакѣ Игнашкѣ Некрасовѣ. Этотъ же цикль богатъ пѣснями собственно объ удалыхъ добрыхъ молодцахъ, о понизовыхъ бурлакахъ и о всѣхъ тѣхъ личностяхъ, которые положили основаніе понизовой вольницѣ. Въ пѣсняхъ этихъ добрые молодцы иногда откровенно называютъ себя „разбойниками“. Хотя содержаніе этихъ разбойничьихъ или удалыхъ пѣсень весьма разнообразно, но въ большей части изъ нихъ это содержаніе мотивируется понятіемъ о томъ, что добрый молодецъ видѣть себя поставленнымъ во враждебныя отношенія съ общественнымъ порядкомъ, съ властями и съ закономъ. Одна пѣсня говоритъ, напримѣръ, что плыветъ по Волгѣ лодка съ удалыми добрыми молодцами, а на этой лодкѣ красна дѣвица плачетъ, потому что она видѣла сонъ, предвѣщающій, что атаману добрыхъ молодцевъ быть пойману, есаулу быть повѣшену, добрымъ молодцамъ головы срубить, а красной дѣвицѣ въ темницѣ быть. Содержаніемъ другой пѣсни служить то, что удалый добрый молодецъ сидѣть въ темной темницѣ, и растужится, и расплачется онъ въ этой темницѣ, потому что ему, добру молодцу, приходится во темницѣ головушку свою положить. Въ третьей,—добрые молодцы призадумались и закручинились, повѣсили свои буйныя головы, оттого что лихъ на нихъ супостатъ злодѣй, воевода лихой, высылаетъ онъ изъ Казани частыя высылки, что ловятъ и хватаютъ добрыхъ молодцевъ, называютъ ихъ ворами, разбойниками; но добрые молодцы говорятъ, что они не воры, не разбойники, а люди добрые, ребята все поволжскіе, и что ходятъ они на Волгѣ не первый разъ, пьютъ, ѣдятъ на Волгѣ все готовое, цвѣтное платье носятъ припасенное— „воровства-грабительства довольно есть“. Или тоскуетъ удалый, добрый молодецъ о лѣсочкахъ, лѣсахъ темныхъ, о кусточкахъ, кустахъ частыхъ, о станочкахъ, станахъ теплыхъ, потому что всѣ кусточки повыжжены, всѣ станочки разбойничьи поразорены, всѣ его товарищи переиманы, и сидятъ эти товарищи кто во градѣ Кіевѣ, кто въ каменной Москвѣ, кто въ славномъ Питерѣ, одинъ только онъ остался во темныхъ лѣсахъ, да и этотъ добрый молодецъ сталъ кончаться и просить, чтобъ его похоронили, между

трехъ дорогъ и въ руки бы дали ему саблю острую, чтобы люди, проходя мимо него, устрашались, зная, что тутъ похороненъ воръ-разбойникъ. Или, наконецъ, удалая пѣсня говорить, что далече во чистомъ полѣ, при пути, при широкой дороженькѣ, стоитъ береза кудрявая, а подъ той подъ кудрявой березой стоятъ станицы воровскія, а въ той станицѣ красна дѣвица воетъ, плачетъ, что она сорокъ лѣтъ съ разбойниками ходила, сорокъ душъ съ душою погубила, и батюшкѣ и матушкѣ не спустила, и родъ красна дѣвица потребила; а добрые молодцы жалѣютъ, что не стало у нихъ атамана, что засаженъ ихъ атаманъ въ темницу, а въ темницѣ онъ тяжело, больно вздыхаетъ, къ сердечушку бѣлы ручки прижимаетъ, любимую свою рошу вспоминаетъ: „Ой, свѣтъ же ты моя воровская роша! Ужъ какъ мнѣ по тебѣ, роша, не тужить? Надъ широкой дорожкой не стоати, *купеческихъ людей не разбивати, столько золота и серебра не отбирати*“.

Таковыми являются въ пѣснѣхъ великорусскіе удалые добрые молодцы. Они сами сознаются, что они враги общественнаго спокойствія, что они воры и разбойники, хотя не позволяютъ называть себя этими именами, потому что гордятся своими подвигами. Но они знаютъ, что ихъ не пощадаютъ ни воеводы, лихіе супостаты, ни люди добрые: они не скрываютъ отъ себя, что ихъ ждетъ темная темница и два столба съ перекладиной. Они свою рошу называютъ „воровскою“, свои станы—„станцами воровскими“, и признаются, что купеческихъ людей разбиваютъ и у нихъ злато и серебро отнимаютъ. Они даже каются въ томъ, что души губили, какъ та красная дѣвица, которая погубила, „сорокъ душъ съ душою“ и не спустила отцу съ матерью. Такимъ образомъ, русскіе удалые добрые молодцы являются дѣйствительно ворами и разбойниками, потому что грабятъ и убиваютъ *своихъ*, не минуя отца съ матерью, за что и получаютъ возмездіе *отъ своихъ же*, какъ преступники.

Но южно-русскій удалый добрый молодецъ, украинскій гайдамакъ—не воръ и не разбойникъ: ни онъ на себя такъ не смотритъ, ни пѣсня его такимъ не называетъ. Точно также ни народъ, ни сами гайдамаки не считаютъ себя преступниками передъ закономъ и передъ обществомъ, въ которомъ они живутъ. Да разбойниковъ, какъ поминаются они въ исторіи великорусскаго народа, и не представляетъ намъ исторія южно-русскаго народа, потому что историческія условія, въ которыя былъ поставленъ и тотъ, и другой народъ, настолько различны, что не вызывали необходимости появленія на Украинѣ такихъ точно разбойниковъ, какіе были въ великой Россіи. Великорусскій человѣкъ, доведенный непривѣтливою общественною обстановкою до безвыходности и до необходимости искать спасенія внѣ рутиннаго общественнаго строя, обрушивалъ и свое горе, и свою накопившую злобу, и вынесенныя въ жизни обиды на то же общество, которое выдавило его изъ себя, какъ негоднаго или опаснаго члена. Несчастный или испорченный русскій человѣкъ накидывался въ такомъ случаѣ на русскихъ же людей, потому что обидчики его были свои же русскіе люди, а подъ бокомъ не было ни ляховъ, ни татаръ, на которыхъ

можно было бы сорвать злобу, и добромъ которыхъ можно было бы поживиться. Оттого онъ шелъ на Волгу, въ лѣсъ, въ степь, въ воровскую станицу, къ понизовымъ бурлакамъ, и дѣлался удалымъ добрымъ молодцомъ, понизовой вольницей и, нарушая связи съ обществомъ, становился преступникомъ, котораго ждала своя же русская темная темница, своя висѣлица съ веревкою, свитою изъ русской пеньки, и свой топоръ палача, сдѣланный изъ сибирскаго желѣза. Оттого добраго молодца преслѣдовали воеводы, лихіе супостаты, да частыя высылки. Оттого добраго молодца русскіе люди ужасались. Оттого отъ добраго молодца отецъ съ матерью отказались, и весь родъ и племя отрекались, потому де у нихъ въ роду воровъ не было, ни разбойниковъ, а вступалась за него только красна дѣвица, его прежняя полюбовница.

Совершенно не то былъ на Украинѣ. Южно-русскій человѣкъ, доведенный непривѣтливою общественною обстановкою до безвыходности и до необходимости искать спасенія внѣ рутиннаго общественнаго строя, обрुшивалъ нажившую въ сердцѣ злобу и вынесенныя въ жизни обиды и горе бѣдности не на то общество, которое его такъ или иначе воспитало и вскормило, хотя и не уберегло отъ горя и обидъ; напротивъ, такой несчастный или испорченный украинецъ зналъ на кого накинуться, потому что историческими обидчиками своими онъ, какъ и его дѣдъ и батько, считалъ ляха и еврея, которые, какъ и татары, жили у него подъ бокомъ, и на нихъ-то срывалъ онъ свою злобу и ихъ добромъ живился. Каждый гайдамакъ видѣлъ въ себѣ носителя преданій батька Хмельницкаго, Наливайка, Косинскаго, Полторакожука и прочихъ героевъ, сражавшихся съ ляхами, евреями и татарами за свою родную Украину, и каждый такой гайдамакъ считалъ себя однопольчаниномъ Хмельницкаго и прочихъ украинскихъ героевъ, какъ Пій IX считалъ себя въ правѣ надѣть на свою ногу сандалію, носимую когда-то апостоломъ Петромъ. Назвать гайдамака преступникомъ, разбойникомъ, „злодіемъ“, по его мнѣнію, значило то же, что назвать такими именами Хмельницкаго или Наливайка, и хотя начальство въ XVIII вѣкѣ преслѣдовало всякія столкновенія съ поляками, какъ преступленія, а въ томъ числѣ и гайдамацкіе набѣги, однако, гайдамаки понимали это какъ политическую мѣру со стороны своего начальства, вынужденную москалемъ и нѣмцемъ. Оттого игуменъ Мельхиседекъ благословлялъ Желѣзняка и все его гайдамацкое воинство на битву съ ляхами и окропилъ святою водою ножи, которыми гайдамаки должны были рѣзать своихъ историческихъ враговъ. Ножи эти и назывались „священными ножами“, какъ „свячена паска“ и „свячене яйце“. Оттого гайдамака ждала „лядская невола“ и „лядская темница“, и вѣшала его лядская висѣлица съ веревкою, свитою изъ лядской пакли, или пробивала насквозь лядская „пала“ (коль). Оттого и родная мать не отрекалась отъ гайдамака, какъ отрекалась отъ русскаго удалаго добраго молодца. Оттого южно-русская народная поэзія представляетъ намъ пѣсни колыбельныя, любовныя, свадебныя, семейно-родственныя, поминальныя, веснянки, русальныя, купаль-

скія, петровочныя, косарскія, гребецкія, заживныя, осевнія, пѣсни и думы поучительныя, думы и пѣсни былевыя (историческія) — до временъ казачества, съ казачества до уніи, отъ уніи до Хмельницкаго, потомъ XVIII вѣка съ небольшимъ цикломъ гайдамацкихъ пѣсень, наконецъ, пѣсни казачкія, чумацкія, бурлацко-сиротскія, солдатскія, промышленницкія и шуточныя, но не представляетъ тѣхъ пѣсень, которыя въ великорусскихъ сборникахъ пѣсень носятъ названіе удалыхъ, разбойничьихъ, воровскихъ. Украинскому доброму молодцу незачѣмъ было дѣлаться ни воромъ, ни разбойникомъ: онъ могъ быть только „лицаремъ“ или „гайдамакою“—въ позднѣйшее время. Онъ не воровалъ и не грабилъ, а воевалъ, руйновалъ лядскую и татарскую бусурманскую землю, какъ земли непріятельскія, и „шарпалъ“ непріятельскіе города и села. Вмѣсто „купеческихъ людей“, которыхъ грабилъ великорусскій добрый молодецъ, онъ обиралъ евреевъ, считая ихъ нехристью, христопродавцами. Вмѣсто же господъ и воеводъ, которыхъ ненавидѣлъ великорусскій его собратъ, онъ враждовалъ противъ „пана“, разумѣя подъ этимъ словомъ непремѣнно поляка, хотя свои паны были у него несравненно хуже польскихъ. Оттого, если гайдамакъ хвастается тѣмъ, что онъ добылъ себѣ коня непозволительными средствами, то онъ сознается, что добылъ этого коня у „пана“, т.-е. у поляка, убивъ самаго пана:

Ми того коника въ того пана купили,
Въ зеленій діброві гроши полічили,
Въ холодній криниці могоричъ запили,
Підъ гнилу колоду пана підкотили.

До сихъ поръ въ нѣкоторыхъ южно-русскихъ домахъ сохраняется старинная картина, изображающая добраго молодца. Добрый молодецъ сидитъ подъ яворомъ и играетъ на бандурѣ. Голова бритая, чубъ (оселедецъ) за ухомъ, длинные усы. Самъ онъ въ богатой красной курткѣ съ золотымъ позументомъ и кистями, и въ „широкихъ какъ море шараварахъ“. Около него на травѣ бутылка и стаканъ. На яворѣ виситъ его красная феска съ кистью, пороховница, а за плечами винтовка. Тутъ же въ землю воткнутое копьѣ и къ копьѣ привязанъ конь. Подъ картиной подпись: „А чого ти на мене дивишся? Хйба не угадаешъ, відкіль родомъ и якъ зовуть—не чичиркъ не знаешъ. У мене имя не одно, а есть ихъ до ката: якъ улучишъ на якого свата. Якъ хочъ назови, на все позволяю, тільки крамаремъ не называй, бо за те полаю. Я ніколи не міряю по аршину, хйба кому изъ винтівки гостиньця подарю у спину. Та правда, лучалось ярмарковати и зъ ляхами кожухи на жупани міняти, та и горілочку добре куликати. Гай, гай! якъ я молодъ бувавъ: що-то въ мене за сила була; що ляхівъ борючи и рука не мліла, а теперъ здається що и вошъ сильніша якъ козакъ: зъ ляхами тільки день побитися, плечи и кихті бо-

лать“ *). — Какъ картины эти, такъ и изображенные на нихъ добрые молодцы пользуются почетомъ у южно-русскаго простолучина.

Такимъ образомъ, съ понятіемъ о гайдамакѣ никакъ нельзя соединить понятія объ удаломъ добромъ молодцѣ понизовой вольницы. Если между гайдамаками и были разбойники и воры въ полномъ значеніи этого слова, то это только исключенія, но въ отношеніи къ полякамъ и евреямъ даже и эти послѣдніе не считались ни ворами, ни разбойниками. Они также мало могутъ называться разбойниками, какъ всѣ военные люди, въ средѣ которыхъ, разумѣется, встрѣчается значительный процентъ сданныхъ въ рекруты за порочную жизнь, за воровство и другія провинности, не терпимыя въ гражданскомъ обществѣ.

Изъ этого само собою явствуется, что мѣры, къ которымъ прибѣгали поляки для удержанія южно-русскаго народа отъ гайдамачества, какъ-то втыканье на колъ гайдамацкихъ головъ и разсылка по городамъ и селамъ отрубленныхъ у гайдамаковъ рукъ и ногъ, не только не удерживали этотъ народъ отъ походовъ на Польшу, но еще болѣе разжигали въ немъ чувство мести къ панамъ, прибѣгавшимъ къ такимъ позорнымъ мѣрамъ. Г. Скальковскій говоритъ даже, будто поляки нарисовали ту картину, изображающую казака съ бандурою, о которой мы говорили и на которой, для устрашенія народа, нарисованъ былъ повѣшенный на деревѣ гайдамакъ, съ отрубленными ногами и руками—изображеніе участи, ожидающей будто бы въ Польшѣ всякаго гайдамака. Эту картину будто бы поляки старались распространить въ странѣ и тѣмъ удержатъ народъ отъ гайдамачества, но, какъ видно, всѣ усилія ихъ остались тщетными, потому что народъ совершенно иначе, чѣмъ поляки, смотрѣлъ на подвиги своихъ добрыхъ молодцовъ, что и выразилъ въ своихъ пѣсняхъ и преданіяхъ о главныхъ дѣятеляхъ гайдамачины.

При всемъ томъ, такое странное явленіе, какъ постоянные походы украинскихъ гультаевъ на Польшу, должно же было, наконецъ, понудить оба сосѣднія государства, и Россію, и Рѣчь Посполитую, принять болѣе рѣшительныя мѣры противъ гайдамачины, хотя мѣры эти, во всякомъ случаѣ, могли быть только паліативными средствами противъ болѣзни, глубоко коренившейся въ организмѣ котораго-либо изъ двухъ сосѣдственныхъ государствъ. Скорѣе всего приходится согласиться, что болѣзнь эта существовала въ южно-русскомъ общественномъ строѣ. Правда, въ то время Польша доживала послѣдніе дни, и ей немало могло быть своего дѣла и безъ гайдамаковъ, если бъ она и рѣшилась избавить свои южныя провинціи отъ гайдамацкихъ разореній, но вѣдь зло исходило изъ другого государства, и потому это другое государство должно было озаботиться пріисканіемъ мѣръ, могущихъ успокоить и Польшу, и южныя провинціи Россіи.

*) Такой портретъ имѣется въ семействѣ автора. Время, когда его написали, опредѣлить мы никакъ не могли. Подпись подъ портретомъ, находящимся у насъ, не схожа съ тою, которая напечатана г. Кулишомъ („Зап. о юж. Руси“), ни съ тою, какая помѣщена у г. Скальковского.

Въ первой половинѣ XVIII вѣка Малороссія, а вмѣстѣ съ нею и Запорожье, по возвращеніи изъ крымскаго подданства въ подданство русское, управлялись изъ Петербурга. Хотя въ этой нѣкогда независимой странѣ были и свои гетманы, и свои кошевые, но рядомъ съ ними правили иностраню и русскіе генералъ-губернаторы. Хотя тяжело было южно-русскому народу подъ управленіемъ своихъ гетмановъ, сотниковъ, кошевыхъ и разныхъ пановъ, какъ мы сказали выше, но къ этой тяжести прибавилось давленіе и изъ Петербурга, гдѣ существовала особая малороссійская коллегія или министерская канцелярія. О ней архіепископъ Конисскій въ своей исторіи говоритъ, что, по преданію, „общему и достовѣрному, канцелярія эта такъ упиалась кровію южной Россіи, что ежели бы перстомъ руки Божіей изрыть частицу земли на мѣстѣ томъ, гдѣ была министерская канцелярія, то ударила бы изъ него фонтаномъ кровь человѣческая, пролитая министерскою канцелярією“. Но архіепископъ не договариваетъ того, сколько крови южно-русскаго народа пролито было и мѣстными правителями, сотниками, писарями, панами и такими героями, какъ Полуботки и подобные имъ украинскіе дѣятели, которыхъ близорукая исторія чуть-чуть не канонизировала. Какъ бы то ни было, но и петербургское управленіе тяжело отдавалось на южно-русскомъ народѣ. Еще большею тяжестью оно дожилось на Запорожьѣ и на его вольности, изживавшія свой вѣкъ. Линія крѣпостей и шанцовъ, протянутая между южною Россією и землями польскими и татарскими, все уже и уже сдавливала эти вольности. Чѣмъ шире дѣлалась эта линія, чѣмъ болѣе мѣста захватывали новыя русскія, возводимыя на югѣ Россіи укрѣпленія, тѣмъ болѣе суживалась въ своихъ предѣлахъ запорожская земля и ея необозримыя степи. Появились новыя порядки и новыя лица; вмѣсто стагаго запорожскаго воинства, явилось молодое воинство изъ выходцевъ—славянъ, сербовъ и болгаръ, а также молдаванъ и валаховъ. Вмѣсто запорожскихъ куреней, заводились гусарскіе и пандурскіе полки. Рядомъ съ батъками кошевыми и куренными атаманами становились полковники и генералы, какъ Хорватъ отъ Куртихъ или Иванъ Шевичъ и Райко Прерадовичъ. Эти новыя военныя поселенія, новая Сербія и Славяносербія, были хуже татаръ и ляховъ, потому что поселенцы, выдержанные въ желѣзной дисциплинѣ, могли смѣло наступить на горло Запорожьѣ. Такимъ образомъ, подъ бокомъ у запорожцевъ и на окраинѣ южной Россіи вдругъ явились четыре полка, два гусарскихъ и два пандурскихъ, по 4,000 человекъ въ каждомъ, что составляло 16,000 строгаго, не распушеннаго, какъ запорожцы, воинства. Тутъ же скоро очутились русскіе драгуны и русская пѣхота. Заложено основаніе крѣпости св. Елисаветы, и на работы въ этой крѣпости русское начальство посылало, какъ на каторгу, казаковъ, которые, такимъ образомъ, должны были сами ковать цѣпи на свои ноги. Казачество не могло не видѣть, куда гнетъ Москва, и потому болѣе дальновидные изъ нихъ говорили, что „россіяне войско запорожское въ конецъ истребить хотятъ“, что крѣпостями, въ родѣ крѣпости Елисаветы и

другихъ, это „войско все въ мѣшокъ убрано, только же еще, чтобъ якъ тотъ мѣшокъ завязать, россияне способу не избрали“. Оказалось, однако, что россияне скоро избрали способъ, какъ тотъ мѣшокъ завязать, особенно съ помощью нѣмцевъ. Казаки обращались съ своими просьбами къ правительству, а правительство посылало къ нимъ такихъ людей, какъ бригадиръ Муравьевъ, который на просьбы депутатовъ объ указѣ относительно заселенія земель, отвѣчалъ имъ: „я самъ указъ“.

Пришла очередь „убрать въ мѣшокъ“ и гайдамачину. Направляясь къ польской границѣ, чтобы погулять на счетъ польскаго и еврейскаго добра, добрые молодцы, кромѣ своихъ часовыхъ на границѣ, встрѣчали непріязненные имъ лица въ строгомъ нѣмецкомъ начальствѣ, въ гусарской и пандурской стражѣ, а равно въ русскомъ солдатѣ. Тѣ именно мѣста, откуда они обыкновенно пробирались въ польскую землю, находились уже подъ надзоромъ часовыхъ, тянувшихъ руку за московскими порядками. При томъ же и своя собственная старшина стала относиться суровѣе къ добрымъ молодцамъ, которыхъ называли уже „самосбройцами“ (негодьями), „шалостниками“, „пакостниками“, ворами и „проклятыми“ гайдамаками. Старшину, съ своей стороны, сильно прижимало московское начальство, и оттого старшина такъ сурово начала относиться къ шалостямъ своихъ гультаевъ. Прежде запорожскіе старшины, на обвиненія запорожцевъ въ гайдамачествѣ и въ нападеніи, кромѣ Польши, на владѣнія татаръ, отстаивали своихъ молодцовъ, говоря, что татарамъ обиды не запорожскіе казаки приписываютъ, но такіе люди, кои ни въ Малой Россіи, ни въ войскѣ запорожскомъ не служатъ, но что „ушовательно, подъ претекстомъ запорожскихъ казаковъ, сіе чинятъ польскіе гайдамаки и гультаи, шатающіеся по степямъ, и, кромѣ степи, никакого пристанища себѣ не имѣютъ“, и что такимъ образомъ „на запорожскихъ казаковъ только слова и напрасное нареканіе слѣдуетъ“. Но теперь настали не тѣ времена: пришлось уже думать не о гайдамакахъ, а о томъ, устоятъ ли даже войско запорожское съ его стародавними вольностями, съ его безграничными степями и со всѣми его войсковыми клейнотами, ибо московское начальство такъ принялось за это дѣло, что добра ожидать нельзя было.

Запорожское войско видѣло, что конецъ его приближался, и чтобъ и — раздражать „россіянъ“, стало душить гайдамачину.

Въ это самое время гайдамачина доходила до апогея своей силы. У нея были уже свои территоріи, свои крѣпости, какъ бы свое собственное государство, подобно Сѣчи. Россійское давленіе на малороссійскіе и запорожскіе порядки, въ сущности несовременные и дикіе, сдѣлало то, что разнузданному казачеству, не привыкшему къ стѣсненію, стало трудно дышать и въ Запорожьѣ. Сѣчь, подъ россійскимъ „недреманнымъ окомъ“ становилась уже не Сѣчью, а чѣмъ-то въ родѣ конногвардейскихъ казармъ въ Петербургѣ, такъ что свободолубивому казаку нельзя было и въ Сѣчѣ спрятаться. За всякую провинность, по указанію русскаго начальства, казавъ были кіями у столба. Ни въ Польшѣ погулять, ни татаръ облупить

нельзя было,—и вотъ казачество стало подумывать о zaloженіи новой Сѣчи, гайдамацкой. Это были послѣднія судорожныя движенія издыхавшаго казачества. Самые непокорные и наиболѣе провинившіеся изъ казаковъ ушли еще далѣе на югъ, и основали укрѣпленія на рѣкѣ Бугѣ, защищаемыя засѣками и пушками. Притоны ихъ были также на рѣкѣ Громоклѣѣ и село Вербовое около Елисаветграда.

На это то новое гайдамацкое государство—послѣдній отпрыскъ рыцарскихъ безжизненныхъ орденовъ—слѣдовало кошу обратять свои силы, чтобы суровая кара русскаго правительства за гайдамачину не упала на голову Запорожья, и безъ того низко опущенную. Новооснованная гайдамацкая республика была очень сильна, если для покоренія ея потребовалось нѣсколько лѣтъ со стороны цѣлаго Запорожья или такъ называемаго „добраго товариства“, въ противоположность „проклятымъ гультаямъ“. Эта война запорожскаго коша противъ гайдамаковъ началась съ 1755 года, со времени избранія кошевымъ Григорія Федорова Лантуха. Изъ боязни ли русскаго правительства или изъ желанія выслужиться передъ нимъ, Лантухъ открылъ рядъ походовъ противъ гайдамацкаго государства. Ему дѣятельно помогать въ этомъ войсковой есаулъ Петръ Калнишевскій, или Калнишъ, бывшій впоследствии тоже кошевымъ. Можетъ быть, это самое преслѣдованіе казацкихъ и гайдамацкихъ вольностей разумѣетъ народная пѣсня, записанная г. Запарюю въ которой казаки сѣтуютъ на Калниша, какъ видно, уже послѣ разоренія самой Сѣчи:

Та казавъ еси, Калнишъ кошовий, що у січі мудро:
Ой якъ вийшли изъ січеньки, на серденьку нудно.
Та казавъ еси, Калнишъ кошовий, что у січі гречі:
Ой якъ вийшли изъ січеньки, оббивъ ворогъ плечі:
Ой у січі на базарі побито колочки —
Идуть наші запорожці та и безъ сорочки.
Та у січі на базарі загачена гребля:
Ой якъ вийшли изъ січеньки, побивъ ворогъ ребра.

Лантухъ и Калнишъ прежде всего старались сойтись съ гайдамаками дружелюбно, и потому употребляли все свое усиліе и вліяніе, чтобы склонить ихъ къ переходу въ Сѣчь и къ прекращенію своихъ походовъ на Польшу. Дѣйствительно, нѣкоторые изъ гайдамаковъ или, какъ говорится въ бумагахъ того времени, „шатающіеся въ положеніи сѣчевомъ гайдамаки“ (т.-е. принадлежащіе къ запорожскому войску) начали сносятся письменно съ Лантухомъ, какъ бы имъ воротиться въ Сѣчь, если только сѣчевое начальство приметъ ихъ. Въ противоположномъ же случаѣ, писали гайдамаки, „когда-де приняты не будутъ, то могутъ разойтись въ чужіе края“. При этомъ гайдамаки увѣряли Лантуха, что они-де „впредь станутъ жить *постоянно*, въ чемъ и присягати имѣютъ“. Выраженіе жить „постоянно“—весьма многозначительно въ устахъ гайдамака и запорожца: это значитъ — жить добропорядочно, спокойно, не шатаясь, не гуляя по чужимъ краямъ съ мечемъ и огнемъ. Гайдамаки обѣщали даже, что, если

„отъ кого бѣ могли быть до нихъ претензіи, обовязывали себе тѣхъ до-вольствовать“. Запорожцы, получивъ это просительное письмо отъ гайдамаковъ и опасаясь, что эти гультаи, если ихъ не принять въ Сѣчь, „въ чужіе края разойдутся, и не неприключили бѣ тѣмъ войску запорожскому знатной, въ отчаяніи душъ своихъ и злобства, притчины“, т.-е. вреда, рѣшились принять ихъ въ свое товариство и привести къ присягѣ. Тогда къ этимъ гайдамакамъ отъ коша отправлены были четыре атамана: Шкурый, Затковский, Ядуть и Косапъ, „съ напомниманіемъ имъ, гайдамакамъ, чтобы они въ чужую сторону отнюдь не выходили“. Съ этими атаманами гайдамаки прибыли въ Сѣчь и каждый явился въ тотъ курень, къ которому принадлежалъ прежде, когда не поступалъ въ гайдамацкую общину. Начальники сѣчевыхъ церквей Теодоритъ Рудкевичъ привелъ раскаявшихся къ присягѣ „о постоянномъ ихъ впредъ житіи“.

Но такихъ смирившихся гайдамаковъ было немного. На Бугѣ и Громоклей оставалась еще цѣлая община непокорныхъ, которые не хотѣли гнуть шею ни передъ паномъ-ляхомъ, ни передъ москалемъ, ни даже передъ своими батьками-атаманами. Царство ихъ еще не было разрушено, и вотъ противъ этого-то разбойничьяго царства объявлена была война со стороны Лантуха и всего добраго товариства. Война была продолжительна и упорна. Генеральной стычки не было, но зато запорожцы губили гайдамаковъ небольшими партіями и въ одиночку. Пощады не было непокорнымъ: захваченныхъ въ плѣнъ гультаевъ вѣшали въ Сѣчи, по большимъ дорогамъ и вездѣ, гдѣ представлялся удобный случай. Не пощажены были и ихъ укрѣпленія: защищаемыя пушками засѣки на островѣ Буга, притоны на Громоклей, село Вербовое—все было взято и разорено, такъ что у гайдамаковъ не оставалось уже ихъ неприступнаго гнѣзда, въ которомъ они могли укрыться отъ поляковъ и татаръ. Тѣ, которымъ надоѣла кочевая и опасная жизнь, приходили въ Сѣчь съ повинною, а потомъ явилась цѣлая шайка, въ сто человѣкъ, прося пощады и забвенія прошлаго. Шайка отдала Запорожью своихъ лошадей, оружіе, деньги.

Слава Лантуха, какъ истребителя гайдамаковъ, прошла по всѣмъ окрестностямъ, которыя наиболѣе страдали отъ ихъ набѣговъ.

Но гайдамачину не легко было задуть даже и болѣе жестокими мѣрами. Зло, вызвавшее ее, оставалось, и гайдамачина, потерявшая нѣсколько сотъ изъ своихъ членовъ, перешедшихъ въ Сѣчь или повѣшанныхъ при большихъ дорогахъ, пополнялась новыми притоками этихъ бродячихъ силъ. Гайдамаки стали только осторожнѣе, покинули свои прежнія становища, не попадались на глаза запорожскимъ сыскнымъ командамъ, но зато забирались дальше вглубь владѣній Рѣчи Посполитой, перенесли свои притоны на Волинь, на Подолье, и продолжали свое кровавое дѣло, подобно Чупринѣ и Чортоусу. Это уже были, такъ сказать, отпѣтые люди, все кончившіе съ міромъ, и міръ этотъ не могъ ихъ принять, потому что они въ немъ не могли ужиться. Это были своего рода монахи и служители религіи войны и крови, да иначе на нихъ и смотрѣть нельзя, какъ

на монаховъ, отшельниковъ извѣстнаго гражданскаго общества. Всякая идея имѣетъ своихъ подвижниковъ, и таковы были монахи, подвижники идеи христіанства, таковы были рыцари-монахи всѣхъ орденовъ, тоже подвижники идеи христіанства, только не словомъ и жизнью подвизавшіеся за эту идею, а мечомъ и убійствами, и таковы были въ свое время монахи-запорожцы, удалившіеся отъ міра холостяки и служившіе идеѣ православія и идеѣ борьбы съ бусурманами, а потомъ съ католиками, запорожцы съ XVIII вѣка выродившіеся въ гайдамаковъ. Всякая идея имѣетъ своихъ крайнихъ поклонниковъ, эксцентриковъ и фанатиковъ. Когда запорожцы погнулись въ своей стойкости подъ укладистою и тяжелою рукою російскою и начали допускать то, съ чѣмъ не могла помириться самая идея казачества, изъ Запорожья вышли эксцентрики, для которыхъ идеи современности были какъ бы обиднымъ вторженіемъ въ ихъ заколдованный кругъ и которые не хотѣли и не могли погнуться подъ новыми идеями, подъ новыми порядками. Это были люди отсталые по тому времени, обломки стараго общественнаго строя, и для нихъ не было другой жизни, кромѣ войны съ ляхами и со всякими бусурманами. Этихъ монаховъ не тянуло даже на родину, въ міръ, въ гетманщину, подобно тому, какъ оивандскихъ пустынниковъ не тянула къ себѣ жизнь того общества, изъ котораго они вышли. Какъ тѣхъ, такъ и другихъ отшельниковъ отреченіе отъ міра было полное. Въ подписи подъ портретомъ кроваваго схимника выражена тоска монаха—„волоцюги“ по своей молодости. Онъ вспоминаетъ, что за сила была у него въ молодости, такая сила, что, ляховъ „нешадно бьючи“, ни разу и рука не сомнѣла, а теперь казакъ только день побьется, ногти и плечи болятъ. Онъ тоскуетъ, что недолга жизнь человѣческая—скоро цвѣтетъ, скоро и вянетъ, какъ въ полѣ былинка. Нестрашно ему умирать въ степи, жаль только, что некому будетъ похоронить: татаринъ чуждается его, ляхъ боятся приступить, развѣ звѣрь какой за ногу у буеракъ потащить. А все мила ему эта степь одинокая, какъ оивандскому отшельнику мила дикая дебря оивандская, какъ раскольникову-скитнику мила „мать прекрасная пустыня“. И не хочетъ онъ идти въ міръ, на родину, „на Русь“, развѣ ужъ состарившись, воротится къ людямъ, то можетъ быть и „отпоминають попы его душу“. Но опять-таки ему кажется, что „негоже“ умирать „на лавкѣ“ дома, потому что все еще беретъ его охота съ ляхами погулять. Хотя уже онъ немало и захирѣлъ, осунулся, а все-таки чуютъ плечи, что боролся бы еще съ ляхами порядкомъ: кому-нибудь, или жиду, или ляху надо еще утереть носъ. Хочется ему прогнать польскую хоругвь за Вислу. И потомъ опять вспоминаетъ онъ, какъ не разъ доводилось ему „варить пиво“ въ степи, и это пиво пилъ турчинъ, пилъ татаринъ, пилъ и ляхъ надиво. Много и теперь лежитъ съ похмелья мертвыхъ головъ и сухихъ костей послѣ той свадьбы. Есть у него надежда—это мушкетер-сиротинка, да и сабля, сваха его, еще не заржавѣла, хотя не разъ умывалась кровью, а какъ разлутуется, то еще не одинъ католикъ ляжетъ, плашмя ляжетъ, а покусится убѣгать, такъ на копьѣ застрянетъ. Есть у него лукъ—какъ

натянетъ его да брызнетъ тетивою—убѣжить самъ крымскій ханъ съ ордою. И вотъ, степной отшельникъ обращается къ степямъ, какъ раскольникъ обращался къ пустынь: „Горите, степи, пожарами! Пришла пора мѣнять съ ляхами кожухъ на жупанъ“.

Естественно у такихъ людей ничего не оставалось въ жизни, кромѣ нескончаемой, домогильной борьбы съ ляхами. Это были мономаны, такіе же жалкіе и такъ же честно заблуждавшіеся, какъ Донъ-Кихотъ, воевавшій съ мельниками, принимая ихъ за великановъ, и поражавшій стадо овецъ, воображая въ нихъ видѣть непріятельское войско. Они были настолько же разбойниками и убійцами, насколько можно назвать самоубійцами тѣхъ, которые нѣкогда во имя идеи зарывали себя по грудь въ землю и умирали, или тѣхъ изъ фанатиковъ, которые сжигали себя въ религіозномъ экстазѣ. Они были разбойниками и преступниками потому собственно, что съ дѣтства всосали въ себя понятія, которыя прямо граничатъ съ преступленіемъ и плодомъ которыхъ неизбежно являются убійство и грабежъ.

Такихъ людей не могло, слѣдовательно, истребить и запорожское войско, потому что оно само же ихъ, такъ сказать, нарождало. При всемъ томъ войско, понуждаемое, какъ оно выражалось, „высокими велѣніями, довольно въ кошъ насланными“, должно было во что бы то ни стало вытравить гайдамачество съ корнемъ, хотя, какъ оказалось впоследствии, вмѣсто десятковъ повѣшенныхъ гультаевъ, являлись ихъ преемники цѣлыми сотнями, и если гайдамацкая вербовка стала менѣе успѣшна въ Запорожьѣ, гдѣ завелись русскія строгости, то она продолжалась въ русской и польской Украинѣ, потому что тамъ оставались старыя неблагопріятныя условія жизни народа въ прежней силѣ, съ одной стороны, въ русской части Украины, нагнетеніе сильнаго на слабого и богатаго на бѣднаго,—съ другой, въ польской половинѣ, историческая нелюбовь крестьянина къ пану-поляку, хотя бы онъ былъ добрымъ паномъ. Поэтому кошевому Лантуху и войсковому есаулу Калнишевскому приходилось продолжать усердствовать для истребленія гайдамачества.

Съ самой ранней весны 1758 года Лантухъ „съ старшиною и товариществомъ“ отправилъ въ Гардъ, нѣкогда разоренный Саввою Чалымъ и вновь возстановленный запорожцами, особую команду, которой специальное назначеніе было истребленіе гайдамаковъ. Начальникомъ команды назначался „панъ полковникъ“ Дмитро Стягаило, писаремъ при немъ находилъ Яковъ Донъ, а есаулъ—Харько Ведерка. Командѣ дана особая инструкция, какія обыкновенно давались разъѣзднымъ командамъ на Волгѣ, высылаемымъ комендантами и воеводами приволжскихъ крѣпостей и городовъ для истребленія шаекъ низовой вольницы.—„Понеже,—говорилось въ инструкціи,—войско запорожское низовое чрезъ единыхъ умножившихся бродягъ, вчипенными ими сосѣдственнымъ заграничнымъ людямъ грабительствомъ, воровствомъ и смертоубійствомъ такъ весьма въ великое безславіе и въ окружность платежа разореніемъ прійшло, что безъ нужды и донынѣ не оставалось, пачежь, приведа во исполненіе, въ силѣ монаршихъ указовъ.“

великія велѣнія, довольно въ кошъ насланныя, — опредѣлено въ кошѣ войска запорожскаго низоваго, ко всекрайнѣйшему ихъ, воровъ, злаго намѣренія истребленію поставить въ пристойномъ мѣстѣ при Бугу рѣкѣ двухсотную команду, выбравъ съ cadaго куреня на то по 5 человекъ добросовѣстныхъ“.

Изъ этого введенія въ инструкцію видно, что, несмотря на жестокую войну противъ гайдамаковъ всего Запорожья, гайдамаки не уменьшались, но умножались. Войско боялось, что гайдамаки эти не только привели его въ великое безславіе, но и въ разореніе. Но тутъ же признается, что болѣе всего понуждаютъ войско къ истребленію воровъ „высокія велѣнія, довольно въ кошъ насланныя“.

Такимъ образомъ, по инструкціи, полковнику Стягайлу слѣдовало тотчасъ же отправиться прямо въ Гардъ съ своею командою и тамъ распределить ее на нѣсколько „чатеѣ“ (пикетовъ), отправивъ потомъ эти чаты въ опредѣленные мѣста. Далѣе повелѣвалось, прибывъ въ Гардъ и расположась на тѣхъ мѣстахъ, на которыхъ прежде бывшіе полковники стояли лагерями, сдѣлать всей находящейся при Стягайлѣ командѣ перепись, выкликавъ опредѣленныхъ отъ cadaго куреня атамановъ, и если изъ какого куреня полнаго числа казаковъ не явится, то немедленно прислать о томъ вѣдомость. Въ Гардѣ, кромѣ самаго начальства команды, никому не дозволялось заниматься („бадаться“) торговыми промыслами, а особливо шинкарствомъ; но казакамъ и другимъ людямъ позволялось „для пропитанія добыть нѣтъ рыбную, въ рѣкѣ Бугу“. Повелѣвалось затѣмъ командѣ, по зимовникамъ въ Ингульцѣ и въ Великомъ Ингулѣ всѣ казачьи зимовники объѣхать и сколько въ какомъ зимовникѣ у хозяевъ служителей и кто они по именамъ и прозваніямъ, а также сколько у кого скота рогатаго и лошадей, все это записать и велѣть всѣмъ имѣть отъ коша годовые паспорта. Предполагалось, конечно, что подъ мнимо-рабочими людьми часто скрываются самые опасные гайдамаки, которые только и могутъ утаить свое званіе и свою славу подъ одеждой наймита или батрака.

Для наблюденія за проходящими тайно гайдамацкими партіями, Гардъ долженъ былъ почаще высылать, отдѣльными отрядами, „при добрыхъ приставахъ, порознь, пристойное число команды“, а если гдѣ-либо „проищутся“ гайдамаки, то при взятіи ихъ, если будутъ „оборонно удаляться“, поступать какъ съ неприятелемъ, и все, что при нихъ находится, отбивать, а ихъ самихъ „переловивать“ и подъ карзуломъ присылать въ кошъ. Далѣе въ инструкціи находится весьма странный пунктъ, который, впрочемъ, достаточно рисуется и то время, и тѣхъ людей. „Довольствоваться вамъ, полковнику, съ старшиною тѣмъ, ежели что самими вами у воровъ ихъ собственное отбито будетъ (говорить этотъ пунктъ), а что съ командою — то на общество“. Но если у гайдамаковъ будутъ отбиты уснанныя ими лошади или рогатый скотъ, или воровскія вещи — татарскія или другія какія-либо, то все это присылать въ кошъ, для отдачи обидимой сторонѣ. Слѣдовательно, начальство могло отнимать у гайдамаковъ то, что

лично принадлежало гайдамакамъ, и могло этою гайдамацкою собственностью пользоваться. Но у гайдамака не легко было разсортировать такимъ образомъ имущество: у него могло быть все пограбленное—и лошадь, и ружье, и пика, даже рубашка, и все это команда брала себѣ, чѣмъ не гнушались и сами полковники. Если гардовская команда увѣдаетъ, что гайдамаки гдѣ-либо собираются партією и имѣютъ злое намѣреніе, за тѣми слѣдовать секретно особою командою, держась по ихъ слѣдамъ, хотя бы и на далекое разстояніе, „и ихъ собираемыя чаты разбивать и ловить, и къ тому ихъ злому намѣренію отнюдь не допускать; и все что при нихъ находится, отбивать“. Но если, „по малосилъству команды, гайдамацкою шайки разбить будетъ нельзя, то объ этомъ тотчасъ давать знать въ кошъ, и тогда прислана будетъ скорая помощь“. Командѣ строго запрещалось „выѣздить“ или „входить“ за границу, т.-е. за Бугъ и за Синюху. Вместе съ тѣмъ велѣно было ловить всѣхъ безпаспортныхъ, „волочугъ“ и „праздношатающихся“, допрашивать какъ воровъ и присылать въ кошъ. Походной бугогардовской церкви велѣно было быть съ священникомъ тамъ, гдѣ будутъ стоять лагери, а не на островѣ, „и вамъ,—добавлялось въ инструкціи,—дьячка и пономаря ничѣмъ не обижать“. Зимой команду и походную церковь переносить въ Великій Ингуль, и тамъ на зиму заготовлять сѣно, но и тамъ „живущимъ зимовникамъ угрожать и понуждать, чтобъ никого изъ воровъ и волочугъ не держали“.

Въ заключеніе инструкція повелѣвала: „И сіе порученіе вамъ, полковнику, съ старшиною и всею командою исправлять вѣрно и рачительно, не чиня ни малѣйшей ворами потачки и въ томъ къ всекрайнейшему искорененію неотмѣнно чинить исполненіе, опасаясь за неисправку и потачку, за сыскомъ въ кошъ, нашего войскового, жесточайшаго штрафа и истязанія. Не въ порученное же дѣло отнюдь не вступать и безвинно добрыхъ и невинныхъ казаковъ, тако жъ и ватажанъ (обозчиковъ), съ хлѣбомъ, съ рыбою и горѣлкою идучихъ, и мало не обижать, крѣпко того смотрѣть. Атаманамъ, отъ куреней опредѣленнымъ, со всѣми казаками, полковника и старшину должно почитать и во всемъ, что поручать, слушаться, и команду воздерживать отъ всѣхъ худостей, дракъ, ссоръ и пьянства; старшину отъ коша, на сходкѣ опредѣленную, ни за что самимъ и командѣ отставлять или обижать, хотя мало чѣмъ; а кто сіе почнетъ дѣлать, то за сыскомъ въ кошъ, до смерти кіями бить и у столба привязанъ, а худоба (имущество) отобрана будетъ, да и куреню всему за него, изъ чьего то сдѣлается, вина и поруганіе учинятся“.

Этими-то строгими распоряженіями Лантухъ, за время своего управленія Запорожьемъ, приобрѣлъ славу жестокаго гонителя и истребителя гайдамаковъ, хотя до конечнаго истребленія ихъ было еще слишкомъ далеко, какъ это они и доказали уманскою рѣзней. За это усердіе, вѣроятно, Лантухъ и пользовался особою милостію россіянъ, которые, лаская Лантуха, „убирали“ и его въ тотъ мѣшокъ, въ который тогда же начинали уже завязывать не только Запорожье, но и Крымъ. Усердіе Лантуха

послужило къ тому, что, когда этотъ „московскій попихачъ“ не былъ избранъ кошевымъ, графъ Румянцевъ представилъ его въ кошевые, и онъ былъ утвержденъ въ своемъ званіи, несмотря на то, что представленіемъ графа Румянцева избирательныя права запорожскаго войска „въ грязь потоптаны были российской пятою“.

Въ мартѣ 1758 года Лантухъ дѣлалъ вышеупомянутыя распоряженія относительно преслѣдованія гайдамаковъ, а въ слѣдующіе затѣмъ выборы въ кошевые онъ не былъ избранъ въ эту должность президента казацкой республики. Преемникомъ его поставленъ былъ Бѣлицкій.

Слѣдуя по пятамъ своего предмѣстника, Бѣлицкій, также подъ страхомъ строгихъ российскихъ внушеній, обратилъ свое преслѣдованіе на гайдамаковъ, хотя съ меньшею ревностью. Впрочемъ, гайдамаки должны были вызвать неудовольствіе войска, потому что нѣкоторые изъ нихъ, вѣроятно, стѣсняемые въ своихъ переходахъ за польскую границу запорожскими и русскими пикетами съ строгими нѣмецкими начальниками, обратили свое хищничество на своихъ земляковъ. Въ кошѣ сдѣлалось „довольно извѣстно“, и частыя жалобы стали приходить къ войску, „что проклятые гайдамаки идущую изъ Малой Россіи въ Запорожскую Сѣчь ватагу (обозы) начали опять обдирать и деньги отнимаютъ и ватажанъ бьютъ“ и тѣмъ причиняютъ кошу „частыя хлопоты“, а зимовникамъ, лежащимъ по малороссійской дорогѣ, „порокъ наносятъ“.

Вслѣдствіе этого Бѣлицкій отправилъ къ казакамъ, жившимъ въ Солоной, Базавлукѣ и Саксагани, войскового пушкаря съ „крѣпкимъ приказомъ“ и предписывалъ этимъ казакамъ: „начавъ отъ устья Солоной до вершинъ Базавлука и Саксагани, съ каждого зимовника самому хозяину идти съ нимъ, пушкаремъ, въ партію и къ сыску и въ переловленіе таковыхъ пакосниковъ (гайдамаковъ) приложить такое прилежное стараніе, какъ и прошлаго году базавлучане такихъ пакосниковъ переловили, и вы имѣете, очищая свои зимовники, неотмѣнно причиняющихъ ватажанамъ пакости воровъ словить, а въ случаѣ поступать съ ними, въ силѣ многихъ нашихъ приказовъ, какъ съ непріятелями“. Особенно же велѣно было: „кто тѣхъ воровъ придерживаетъ, доискавъ, поступать съ ними такъ, какъ и съ сущими ворами“. Кроме того, казакамъ вмѣнено было въ обязанность, — „наипаче пристани таковыхъ воровъ доискиваться въ тамошнихъ шинкахъ и шинкарей допрашивать: не пріѣзжаютъ ли къ нимъ таковыя недобрые люди горѣлки пить?—ибо то ихъ по шинкамъ первая пристань, и кто таковыя пакости дѣлаетъ, шинкари могутъ знать“. Въ заключеніе крѣпкій приказъ говоритъ, что съ пушкаремъ кошъ потому не посылаетъ особой партіи, чтобы отъ этого не послѣдовало зимовникамъ налоговъ; „но вы сами, — добавлено, — имѣете вышеписанныхъ шалостниковъ неотмѣнно искоренять и во всемъ поступать съ ними и съ предержателями ихъ такъ, какъ выше объявлено“.

Х.

Въ періодъ времени отъ 1760 г. до самой уманской рѣзни преслѣдованіе гайдамаковъ со стороны запорожскаго кеша не прекращалось. Пригоны ихъ по берегамъ Буга, Синюхи, Громоклей уже не были настолькоъ безопасны, какъ это было нѣсколько лѣтъ назадъ, когда тамъ не существовало еще ни зоркихъ пикетовъ запорожскихъ, ни линій русскихъ крѣпостей и шанцовъ. Гайдамацкимъ партіямъ трудно уже было пополняться сбродомъ на „рыбальныхъ“, потому что бродягамъ прекращенъ былъ входъ за гравлицу и выходъ оттуда, а между тѣмъ, какъ видно, потребность гайдамачества существовала въ странѣ, и народъ сталъ искать иныхъ входовъ и выходовъ для удовлетворенія этой потребности. Нѣсколько лѣтъ сряду Малоросію постигаль голодъ, а тамъ начались пожары, которые, вмѣстѣ съ голодомъ, причиняли такія бѣдствія народу, и безъ того обобранному вельможною старшиною и богатымъ панствомъ, что онъ, не смотря на преслѣдованія гайдамачества со стороны Запорожья, какъ и бился, а въ концѣ концовъ пряталъ „ножъ за халяву“ сапога и шелъ искать себѣ ватажка.

Гайдамачина, придушенная нѣсколько въ степяхъ и на Запорожьѣ, начала возрождаться въ самой Малороссіи, въ гетманщинѣ, въ Кіевѣ. Запорожье уже меньше привлекало бродягъ, какъ мало въ настоящее время привлекаютъ крестьянина хорошо устроенныя и строго содержимыя казармы и резервные баталіоны. Голодные и озлобленные уже не шли въ Сѣчь, какъ прежде, а силились найти себѣ дѣло въ гетманщинѣ, и это исканье, часто бесполезное и обидное, доводило ихъ до необходимости идти въ гайдамаки. Въ предводителяхъ, какъ видно, не было недостатка. Видя невозможность разгуляться на мѣстахъ своихъ прежнихъ подвиговъ, въ южныхъ степяхъ, обнесенныхъ, какъ тенетами, запорожскими „четами“ и московскими „бекетами“ (пикетъ), гайдамацкіе ватажки, застарѣлые въ своемъ кровавомъ промыслѣ, кинулись въ гетманщину и тамъ открывали свои гайдамацкія вербовки, потому что и въ гетманщинѣ они находили столько же голодныхъ и озлобленныхъ, какъ и на днѣпровскихъ „рыбальныхъ“ и въ степяхъ очаковскихъ. Иногда подъ видомъ богомольцевъ они заходили въ Кіевъ и тамъ искали себѣ товарищей. Весной Кіевъ наполняется странниками со всей обширной Россіи. Каждый изъ странниковъ и странницъ несетъ кіевскимъ святынямъ или свое горе, или свою благодарность за спасеніе отъ горя. Само собою разумѣется, что такихъ богомольцевъ, которые приносятъ въ Кіевъ горе и отъ этого горя ищутъ въ пещерахъ спасенія, больше, чѣмъ такихъ, которые бредутъ въ этотъ городъ за сотнями тысячъ верстъ съ тѣмъ, чтобы излить передъ святынями свою благодарность за радости въ жизни. Такимъ образомъ гайдамацкіе ватажки, зашедшіе въ Кіевъ изъ далекихъ южныхъ степей Запорожья, немало находили охотниковъ для своихъ промысловъ и для войны съ ляхами за

святую церковь между богомольцами. Они вербовали охотников также по шинкамъ и базарамъ. Приглашая голодныхъ и озлобленныхъ въ шинокъ, они за чаркою водки выпытывали ихъ горе и, насуливъ имъ горы золота и столько довольства, что и лопатами не разгребешь, если эти голодные пристанутъ къ ихъ промыслу, — они дѣйствительно сманивали къ себѣ голытьбу и увеличивали ею свои шайки. Ватажки занимались также наймомъ рабочихъ по базарамъ. Общдая имъ хорошую плату, они, въ качествѣ купцовъ и промышленниковъ, заподряжали, такимъ образомъ, нѣсколько молодцовъ для промысловъ, а въ послѣдствіи раскрывали имъ, какаго рода промыселъ для нихъ будетъ всего выгоднѣе, и такимъ образомъ шайки ихъ пополнялись въ самой гетманщинѣ. По одному, по два и по три человѣка они переходили за польскую границу или же въ рыбачьихъ лодкахъ, подобно волжской понизовой вольницѣ, переправлялись, въ тайныхъ мѣстахъ, черезъ Днѣпръ, и уже въ польской землѣ находили на первое время пристанище у „добрыхъ людей“ — то въ какомъ-нибудь глухомъ хуторкѣ надъ глубокимъ оврагомъ, то въ лѣсу у знакомаго ватажку насичника, то въ благочестивомъ монастырѣ, гдѣ православныхъ странниковъ пріючали и кормили до поры до времени.

Такимъ вербовщикомъ въ Кіевѣ и предводителемъ гайдамаковъ былъ запорожецъ Найда. Происхожденіе и дѣтство этого человѣка носить на себѣ печать легендарности. Никто не зналъ ни отца, ни матери Найды, еще меньше могъ ихъ знать самъ Найда. Его нашли, будто бы, ребенкомъ чумаки около криницы, въ степи, и отдали на воспитаніе запорожцамъ. Запорожцы окрестили ребенка, назвали его Найдю (найденышъ) и поручили кормленіе будущаго гайдамака какому-то кашевару. Еще въ дѣтствѣ Найда отличался необыкновенною живостью и непокорливостью, изъ которыхъ въ послѣдствіи образовался буйный запорожецъ. Преданіе говорить, что, когда Найда былъ еще ребенкомъ, кашеваръ, воспитатель его, боялся чѣмъ-либо обидѣть мстительнаго питомца. Если Найда былъ сердитъ на кашевара, то онъ обыкновенно набрасывался на „казаны“ (котлы), въ которыхъ тотъ обыкновенно варилъ запорожцамъ кашу, и опрокидывалъ ихъ, за что маленькаго Найдю нещадно били запорожцы, но всегда при этомъ замѣчали, что изъ этого мальчика непременно выйдетъ „песиголовецъ“ ¹⁾, хуже, чѣмъ разбойникъ. Еще будучи юношей, Найда показывалъ такую силу, что рѣдкій запорожецъ могъ съ нимъ побиться на кулачки. Когда сталъ „казакувать“, то не было казака храбрѣе Найды, а сила въ рукахъ у него была такая, что онъ и заковывалъ, и расковывалъ своего коня безъ кузнеца, просто голыми руками.

Преданіе не говоритъ, что было причиною изгнанія Найды изъ Запорожя. Надо полагать, что непокорливость и буйство довели его до того, что товарищи вынуждены были такъ или иначе избавиться отъ Найды.

¹⁾ „Песиголовецъ“ — песья голова (въ дрезности народъ „Песей головы“, по народнымъ понятіямъ).

Найда ушелъ на Донъ, къ донскимъ казакамъ, но и тамъ не могъ ужиться. Онъ убилъ двѣнадцать казаковъ и бѣжалъ въ Кіевъ замаливать свои грѣхи. Въ Кіевѣ Найда поступилъ въ монастырь и въ продолженіе двѣнадцати лѣтъ велъ самую строгую монашескую жизнь, замаливая каждый годъ по одной загубленной имъ душѣ человеческой. Черезъ двѣнадцать лѣтъ онъ тайно ушелъ изъ монастыря и сдѣлался предводителемъ гайдамаковъ.

Что побудило его послѣ двѣнадцати лѣтъ отшельничества броситься въ такую страшную крайность, какъ гайдамачество—неизвѣстно. Но всего скорѣе предполагать въ немъ тѣ же неразгаданныя побужденія, какія заставляли Стеньку Разина ходить на богомолье въ Соловки, а потомъ разорять весь юго-востокъ Россіи и погубить десятки тысячъ душъ, о которыхъ онъ, быть можетъ, передъ тѣмъ молился въ Соловкахъ. Въ страстныхъ, сильныхъ характерахъ прошлаго времени проявлялась какая-то непостижимая для насъ двойственность и какое-то непонятное противорѣчіе однихъ моментовъ жизни съ другими. Изъ богомольнаго Степана Разина вышелъ страшный атаманъ разбойниковъ, для котораго ничего не значило брать на конь города и убивать все живущее, который, не задумываясь, бросалъ въ море свою любовницу, далеко ему не опостылѣвшую. Рѣдко можно было найти человѣка кротче, добрѣе и симпатичнѣе Пугачева, когда онъ былъ въ Казани передъ появленіемъ въ полѣ въ качествѣ претендента на русскій престолъ, и этотъ Пугачевъ махалъ хладнокровно рукой, когда къ нему подводили десятки и сотни жертвъ, испрашивая его позволенія повѣсить ихъ или разстрѣлять, и равнодушно смотрѣлъ, когда горѣли передъ нимъ города, разграбленные имъ и зажженные. Въ монастырѣ, говорятъ, долго жилъ и Желѣзнякъ, котораго дѣло—уманская рѣзня—поставило его въ исторіи наряду съ весьма крупными истребителями жизней человѣческихъ. Страстная, порывчатая натура такихъ людей, которые, повидимому, не находили удовлетворенія своимъ внутреннимъ порывамъ, заставляла ихъ бросаться изъ крайности въ крайность: внутри запроса много, а жизнь не представляетъ отвѣтовъ,—отсюда и метанье изъ крайности въ крайность, изъ монастыря подъ градъ пулъ и подъ рѣзню, а изъ рѣзни опять въ монастырь.

Къ такимъ личностямъ, богатымъ по натурѣ и безгранично требовательнымъ, вмѣстѣ съ Стенькою Разинымъ, Пугачевымъ, Желѣзнякомъ и „чудовищемъ“ Заметаевымъ, принадлежалъ и Найда „песиголовецъ“. Въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ онъ водилъ на Польшу свою шайку, и каждый разъ возвращался съ богатою добычею. Найду часто видѣли въ Кіевѣ и въ окрестностяхъ этого города, и всякій разъ онъ являлся въ новомъ видѣ. Чаще всего онъ бродилъ по Кіеву и по сосѣднимъ селеніямъ въ костюмѣ монаха, и монашеская ряса охраняла его отъ всякихъ подозрѣній. Но становище его было за Днѣпромъ, на польской землѣ. Въ дремучемъ лѣсу, въ середину котораго вела одна узкая дорожка изъ глубокаго, заросшаго лѣсомъ оврага, на небольшой полянкѣ вырыты были землянки, въ которыхъ гайдамаки могли жить лѣто и зиму, такъ что имъ съ наступаю-

шимъ холодомъ незатѣмъ было разбродиться въ разныя направленія и искать себѣ пристанища, какъ это дѣлали другія шайки, не имѣвшія у себя прочно устроеннаго и укрѣпленнаго притона. Въ томъ же лѣсу, который простирался на нѣсколько десятковъ верстъ, по другимъ полянамъ, паслись гайдамацкія лошади. Въ этомъ разбойничьемъ гнѣздѣ были и пушки, отбитыя Найдю у поляковъ. Густота лѣса не позволяла никому проникнуть въ самую глубь его, и такимъ образомъ убѣжище Найды не было открыто. Каждый разъ, послѣ погрома поляковъ, шайка его пропадала, какъ будто она проваливалась сквозь землю, тогда какъ она безопасно отдыхала въ своемъ неприступномъ становищѣ.

Однажды Найда прошелъ съ своею шайкою почти чрезъ всю польскую землю, производя неистовства. Особенно жестоко поступилъ онъ съ однимъ польскимъ селеніемъ, въ которомъ поляки замучили двухъ гайдамаковъ изъ его шайки. Приближаясь къ этому селенію, онъ изъ сосѣдняго лѣса послалъ туда своего лазутчика, который долженъ былъ высмотрѣть, въ какомъ положеніи находится это селеніе, есть ли тамъ войско и съ какой стороны удобнѣе на него напасть. Лазутчикъ былъ посланъ въ ночь, но къ утру не возвратился. Найда переждалъ этотъ день и въ ночь послалъ другого лазутчика. Но и этотъ не возвращался. Не было никакого сомнѣнія, что лазутчики или измѣнили, или попались въ плѣнъ, что, въ обоихъ случаяхъ, весьма невыгодно было для гайдамаковъ: если лазутчики имъ измѣнили и выдали ихъ, то поляки могли неожиданно сдѣлать нападеніе на шайку и поставить ее въ затруднительное положеніе; если же лазутчики попались въ плѣнъ, то и въ этомъ случаѣ гайдамаки должны были скоро ожидать нападенія въ лѣсу или засады около самаго селенія. Не довѣряя искусству другихъ гайдамаковъ, Найда на третью ночь самъ отправился въ селеніе на соглядатайство; ночью онъ подошелъ къ селенію съ такою осторожностію, что его никто не замѣтилъ, а когда стало разсвѣтать, онъ подползъ къ самой царинѣ и увидѣлъ, что часовые, поставленные у воротъ селенія, оба заснули. Но тутъ же онъ нашелъ и разъясненіе того, почему посланные имъ на соглядатайство гайдамаки не возвращались. У самой царины, на высокой висѣлицѣ, качались два трупъ, повѣшенные за ноги, и въ трупахъ этихъ Найда узналъ своихъ товарищей. Трупы были безъ головъ. На воротахъ же, на двухъ заостренныхъ частоколинахъ, виднѣлись воткнутыя головы.

Озлобленный разбойникъ тотчасъ воротился къ своей шайкѣ и, не выжидая ночи, пошелъ къ селенію на открытый бой. Село не успѣло проснуться, какъ гайдамаки, зарѣзавъ обоихъ часовыхъ, зажгли селеніе и начали расправляться въ пожарѣ. Всѣ поляки и евреи были вырѣзаны, заколоты и задушены до единого. Маленькихъ дѣтей напарывали на шки и бросали въ огонь. Имущество все разграбили, а ксендза повѣсили на колокольнѣ костела, подвязавъ къ языку колокола, и звонили въ этотъ колоколъ, дергая ксендза за ноги. Но и на этихъ жестокостяхъ не остановились разбойники. Когда все было вырѣзано, гайдамаки сдѣлали „изъ

ляховъ греблю“, и по этой греблѣ Найда самъ переѣхалъ черезъ протекавшую тамъ маленькую рѣчку: всѣ трупы были стащены въ эту рѣчку и уложены одинъ на другой, такъ что изъ мертвыхъ тѣлъ составилаcя плотина, и Найда своимъ конемъ переѣхалъ по трупамъ.

Прекративъ неистовства, шайка направилась дальше; но на дорогѣ встрѣтилась съ сильнымъ польскимъ отрядомъ. Отрядъ этотъ постигшалъ изъ сосѣдняго города къ разоренному селенію, получивъ наканунѣ извѣстіе, что тамъ пойманы два подосланные гайдамаки-шпіоны и что, безъ сомнѣнія, невдалекѣ и самая ихъ шайка. Найда, встрѣтивъ поляковъ, повелъ свою шайку въ атаку. Въ нѣсколькихъ схваткахъ гайдамаки успѣли сломить и разстроить польскихъ конниковъ, но когда подоспѣла польская артиллерія и открыла по гайдамакамъ огонь изъ пушекъ, гайдамаки, потерявъ нѣсколько человѣкъ, бросились бѣжать, тѣмъ болѣе, что вдали показались новые отряды польской конницы. Поляки бросились за бѣглецами и упорно преслѣдовали ихъ по степи на разстояніи нѣсколькихъ верстъ. Заморенные гайдамацкіе кони, навьюченные, сверхъ того, награбленнымъ добромъ, не могли унести на себѣ своихъ всадниковъ, и гайдамаки видѣли, что поляки, рано ли, поздно ли, могутъ ихъ настичь. Вдали разстидалась степь и въ этой степи не было ни лѣска, ни перелѣска, гдѣ бы можно было скрыться отъ погони, которая черезъ часъ должна была настичь разбойниковъ. Тогда Найда остановилъ свою шайку и велѣлъ ей спѣшиться. Степная трава, по которой они скакали, была очень высока, потому что оставалась не скошенною до конца лѣта. Найда командовалъ гайдамакамъ нарвать пучки сухой травы и, растянувшись въ линію, насколько могла хватить шайка, вытянутая такъ, чтобы одинъ человѣкъ отстоялъ отъ другого на нѣсколько десятковъ шаговъ, онъ велѣлъ зажечь сухую степную траву. Трава вспыхнула, и пожаръ охватилъ всю степь, быстро гоня пламя за вѣтромъ. Пожаръ пошелъ прямо навстрѣчу полякамъ, которые въ это время опять показались въ отдаленіи. Страшный степной пожаръ долженъ былъ остановить ихъ, а можетъ и погубить окончательно. Найда же, не преслѣдуемый болѣе никѣмъ, благополучно привелъ свою ватагу въ обычное становище.

О подвигахъ Найды доходили вѣсти и до Запорожья, гдѣ его долгое время считали погибшимъ.

Но вотъ однажды въ Сѣчь прибылъ монахъ, который говорилъ, что странствовалъ по всѣмъ святымъ мѣстамъ, былъ на Аѳонѣ, молился за запорожское войско и за спасеніе его отъ москалей въ самомъ Іерусалимѣ. Запорожцы съ удивленіемъ и большимъ любопытствомъ слушали его рассказы о святомъ городѣ, сожалѣли о притѣсненіяхъ, испытываемыхъ тамъ христіанами. Монахъ-странникъ говорилъ, что на слѣдующую весну опять отправляется на аѳонскія горы и въ Палестину, чтобы молиться о дарованіи долгоденствія славному Запорожью и о покореніи подъ ноги его вѣхъ враговъ и супостатовъ. Казаки щедро одѣляли монаха деньгами, и каждый просилъ помолиться объ его грѣхахъ и о счастьѣ ихъ общей казац-

кой матери. На весну монахъ собрался въ путь. Запорожцы провожали его съ большою честью и отправили съ нимъ проводника, который и довезъ странника до границы Запорожья. Черезъ нѣсколько времени чумаки, привѣзшіе въ Сѣчь изъ Кіева, привезли кошевому атаману большую просфору, изъ которой была вынута часть, а вокругъ просфору были написаны слова, глубоко поразившія запорожцевъ, когда они прочитали ихъ. Слова эти были: „За упокой раба божія, славнаго войска запорожскаго низоваго. Отъ Найдъ“.

Оказалось, что въ одеждѣ странника приходилъ въ Запорожье самъ Найда и, набравъ тамъ большую сумму денегъ, воротился нѣ Кіевъ, откуда и прислалъ запорожцамъ, своимъ прежнимъ товарищамъ, просфору съ надписью за упокой славнаго войска, котораго уничтоженіе готовилось съ осторожностью и тайной.

Но Найда не прекращалъ своихъ набѣговъ на Польшу. Каждую весну онъ появлялся совершенно неожиданно, производилъ опустошенія и съ добычей возвращался въ свое становище, а на зиму часто отправлялся въ Кіевъ молиться Богу.

Послѣдній набѣгъ его на польскую землю былъ неудаченъ. Поляки давно стерегли его и еще съ зимы приготовили для отраженія гайдамаковъ довольно значительныя силы. Шайка его была окружена между двухъ глубокихъ овраговъ, черезъ которые не могли перебраться гайдамацкія лошади. Гайдамаки долго защищались. Множество изъ нихъ было убито, другіе бросились въ оврагъ. Найда отбивался отчаянно, а потомъ, когда подъ нимъ была убита лошадь и заряды всѣ были истрачены, онъ тоже бросился съ обрыва, думая или разбиться, или ползкомъ уйти отъ непріятеля. Но поляки и тамъ нашли его. Ошеломленный паденіемъ, Найда былъ взятъ живымъ и тотчасъ же связанъ. Захватили и другихъ гайдамаковъ, оставшихся въ живыхъ. Говорятъ, что Найду привязали на пушку и въ такомъ видѣ привезли въ городъ. Всю дорогу онъ ругался, проклиная поляковъ и въ безсильной злобѣ „плевалъ на польское небо“, какъ говорятъ преданіе.

Когда гайдамаки, были допрашиваемы въ судѣ, ни одинъ изъ нихъ не сказалъ ни слова. Поляки приговорили ихъ къ жестокимъ казнямъ, и части тѣлъ казненныхъ развѣшали на шестахъ вдоль праваго берега Днѣпра, въ видѣ вѣхъ. Найда былъ упорѣе всѣхъ прочихъ своихъ товарищей, и ему, за нечеловѣческую жестокость, присудили вырѣзать сердце, чтобы посмотрѣть величину и особенность устройства сердца этого страшнаго чедовѣка.

Но тутъ фабулезность разсказа о Найдѣ доходитъ до послѣдней крайности, какъ и разсказъ объ его находкѣ въ степи, около чумацкой криницы.

Пытки Найдѣ производились въ присутствіи губернатора. Когда палачъ сорвалъ съ гайдамака рубашку и хотѣлъ взрѣзывать ему грудь, всѣ замѣтили подъ лѣвой грудью большую родинку—совершенное подобіе креста. Губернаторъ приказалъ палачу остановить на время свои пытки и послалъ за своей женой. Найда лежалъ привязанный къ желѣзнымъ кольцамъ по

рукамъ и ногамъ, съ открытою грудью. Губернаторъ, когда вошла его жена старушка, спросилъ ее.

— Узнаешь ты эту грудь?

— Неужели это грудь моего сына!—вскричала та и бросилась—было къ разбойнику, но тотчасъ же упала въ обморокъ.

Найда не понималъ, что вокругъ него происходитъ, хотя и видѣлъ, что случилось что-то необыкновенное.

Губернаторъ началъ снова допрашивать разбойника и горько плакалъ.

— Говори истинную правду, кто ты?

— Я Найда.

— Откуда ты родомъ?

— Не знаю.

— Кто же знаетъ?

— Криница степовая да дорога чумацкая.

— А кто твой отецъ и твоя мать?

— Отецъ мой великій лугъ, а мать моя Сѣчь.

Наконецъ губернаторъ добился-таки, что узналъ отъ Найды, какимъ образомъ онъ попалъ въ Запорожье.

— Вотъ твоя мать,—сказалъ губернаторъ, указывая на свою жену:— а я твой несчастный отецъ.

Преданіе говоритъ, что Найда дѣйствительно былъ сынъ польскаго губернатора. Въ младенчествѣ еще онъ былъ похищенъ какими-то нищими, въ которыхъ подозрѣвали гайдамацкихъ шпионовъ. У ребенка была замѣчательная родинка подъ лѣвой грудью—совершенное подобіе креста, и по этой родинкѣ мать узнала его больше, чѣмъ черезъ сорокъ лѣтъ. Какимъ образомъ онъ очутился въ степи, около криницы, близъ гайдамацкой дороги—преданіе не объясняетъ.

Казнь Найды была отмѣнена. Говорятъ, о немъ доносили королю, и король самъ помиловалъ его, отдавъ въ распоряженіе губернатора.

Когда Найду спрашивали, что побудило его такъ ожесточиться противъ поляковъ, онъ сказалъ:

— Въ молодости я убилъ двѣнадцать казаковъ и пошелъ въ монастырь замолить свой грѣхъ. Двѣнадцать лѣтъ молился я, цѣлый годъ замаливалъ одну душу христіанскую, и думалъ, что Богъ простилъ. Но Богъ меня не простилъ. Черезъ двѣнадцать лѣтъ во снѣ пришелъ ко мнѣ старичекъ и повелъ меня на тотъ свѣтъ. И вижу я на томъ свѣтѣ адъ, и въ огнѣ, съ другими грѣшниками, мучится какой-то человѣкъ, взбираясь на огненную гору. И спрашиваю я: „чья это душа?“—„Это твоя душа мучится,—отвѣчалъ старикъ: ты погубилъ—на томъ свѣтѣ двѣнадцать душъ, а на этомъ свѣтѣ долженъ перейти черезъ двѣнадцать огненныхъ горъ, чтобъ только издали увидать рай“. И видѣлъ я знакомаго запорожца, который тоже взбирался на огненную гору: у него на плечахъ былъ кожаный мѣшокъ съ человѣческой кровью, и когда онъ поливалъ огненную гору кровью изъ этого мѣшка, огонь потухалъ, и запорожецъ голыми ногами

взбирался на гору. „Кто это?“—спросилъ я.—„Это гайдамакъ: онъ убилъ запорожца, и за это попалъ въ пекло. А въ мѣшкѣ у него людская кровь, что онъ пролилъ за вѣру православную: этою кровью онъ поливаетъ огненную гору, и гора не жжетъ его ногъ, и черезъ эту кровь онъ попадетъ въ рай“. И пошли мы дальше. И увидѣлъ я кровавую рѣку, и черезъ эту рѣку плыветъ много-много народу, но не доплыветъ и до середины—такъ широка рѣка. „А это кто такіе?“—спросилъ я:—„Это ляхи-католики, что рѣзали людей за вѣру православную. А та кровавая рѣка—то кровь русская: поляки столько ея пролили за вѣру, что изъ крови сдѣлалась рѣка, и черезъ эту рѣку ляхи не могутъ переплыть до конца вѣка. А за рѣкою—рай Божій“... Когда я все это увидѣлъ на томъ свѣтѣ (заклучилъ Найда), я и пошелъ въ гайдамаки рѣзать ляховъ за вѣру, чтобъ ихъ кровью на томъ свѣтѣ заливать пекельную огненную гору“.

Такое возмутительное преданіе могла только создать безконечно глубокая историческая ненависть народа къ бывшимъ его гонителямъ. Русская кровь, которой пролита цѣлая рѣка, не позволяетъ полякамъ попасть въ рай, потому что они не въ силахъ переплыть черезъ кровавую рѣку. Напротивъ, польская кровь, которую казаки и гайдамаки проливали за свою вѣру, помогаетъ грѣшникамъ заливать огненные горы, чѣмъ и увеличивается возмутительность и безнравственность всего смысла этого преданія. Неудивительно, что у полудикаго народа, воспитаннаго въ такихъ понятіяхъ, не могла никогда выработаться идея сближенія съ поляками. И едва ли не вся вина въ этомъ страшномъ настроеніи народа лежитъ на іезуитахъ, которые осмѣлились трогать то въ народѣ, до чего прикоснуться страшно; экономическія, такъ сказать, обиды народъ забываетъ, когда улучшается его экономическое состояніе, но нравственныхъ обидъ онъ долго не можетъ забыть.

Что было съ Найдой послѣ этого—преданіе не объясняетъ *).

Эпизодъ этотъ относимъ къ той эпохѣ изъ исторіи гайдамачины, которая предшествовала уманской рѣзнѣ. Во-первыхъ, въ преданіи о Найдѣ нѣтъ никакихъ упоминаній ни о Гонтѣ, ни о Желѣзнякѣ. Во-вторыхъ, гайдамачество въ это время уже преслѣдовалось запорожскимъ войскомъ, а серьезное преслѣдованіе его началось только въ концѣ пятидесятихъ и въ началѣ тогдашнихъ шестидесятихъ годовъ. Въ этомъ преданіи замѣчательно еще то обстоятельство, что гайдамацкіе ватажки перенесли свою вербовку изъ низовьевъ Днѣпра, изъ Запорожья и изъ южныхъ степей въ самую населенную часть Малороссіи, въ Кіевъ, куда запорожскій надзоръ не могъ проникнуть.

Какъ бы то ни было, однако, гайдамачина, несмотря на мѣры, принятія противъ нея поляками и запорожскимъ начальствомъ, не издыхала окончательно, хотя, какъ видно изъ официальныхъ свѣдѣній того времени,

*) Этотъ эпизодъ изъ исторіи гайдамачины записанъ нами отъ г. Калиновскаго, 1859 г.

какъ бы нѣсколько пріутихла. Извѣстно, что между русскими и польскими пограничными землями, не исключая Запорожья, при всей враждебности элементовъ польскаго и южно-русскаго, существовали дружественныя и торговныя сношенія, которыя особенно становились замѣтными съ начала XVIII столѣтія. Кромѣ переселенія на правый берегъ, на льготныя мѣста, что особенно усилилось въ XVIII вѣкѣ, когда южно-русскій народъ чувствовалъ, что ему не легко живется и безъ польскаго ярма, тяготившаго его до Хмельницкаго, существовали и торговныя связи между пограничными народностями, какъ мы уже упомянули объ этомъ. Медъ, воскъ, сало, хлѣбъ, рыба, мѣха, кожи, водка, сукна, лошади и рогатый скотъ, съ другой стороны—издѣлія фабричныя, оружіе, конская сбруя, шелковыя ткани—вотъ что нужно было или правому побережью Днѣпра, или лѣвому, и этими товарами обѣ стороны обмѣнивались на существовавшихъ тамъ ярмаркахъ и рынкахъ. Запорожцу нужны были матеріи и украшенія для его костюма, нужно было хорошее ружье, пистолеть, кинжалъ и наборная конская сбруя съ чепракомъ, и онъ, чего не имѣлъ у себя, шелъ за этимъ въ Польшу, а въ Польшѣ давалъ своихъ степныхъ коней, свою рыбу, шерсть, своихъ овецъ, сало. Торговля, такимъ образомъ, должна была сближать обѣ стороны, а, между тѣмъ, гайдамачина и стояла на самомъ рубежѣ двухъ государствъ и мѣшала этой торговлѣ, такъ что на время она почти совершенно прекратилась, и только изрѣдка видѣли на польскихъ ярмаркахъ запорожцевъ, которые, выручивъ за свой товаръ хорошія польскія деньги, гуляли въ виду польской шляхты, желая тѣмъ показать, что имъ деньги лѣпче. А когда гулялъ запорожецъ, то тутъ,—и музыка, и пляска, и неизбѣжная принадлежность гульни—бандуристы, которые бы прославляли дѣянія славнаго казачества.

Къ шестидесятымъ годамъ правильныя сношенія лѣваго и праваго Приднѣпровья, нарушенныя—было гайдамачиною, опять восстанавливаются.

За это успокоеніе страны поляки особенно благодарили кошевого Лантуха. Такъ корсунскій губернаторъ, Суходольскій, присылалъ ему сшитыя рубашки и благодарилъ за то, что съ паспортомъ, даннымъ ему Лантухомъ, онъ безопасно переѣхалъ всѣ степи до самой Сѣчи, и никто его не тронулъ. Лисянскій губернаторъ Кржимовскій прямо говоритъ Лантуху, что онъ своими распоряженіями умѣетъ „своевольное гультайство строго наказывать и удерживать, отчего теперь польскіе помѣщики, спокойно въ Польшѣ живя, Господа Бога за его добродѣтель молятъ“ (1761). Самый крупный магнатъ польской Украины, у котораго было нѣсколько сотъ тысячъ крестьянъ въ той странѣ, Францъ Салезій Потоцкій, воевода земли кievской, генералъ или предводитель провинціальныхъ сеймовъ, главный региментарь всѣхъ украинскихъ войскъ Рѣчи Посполитой, когда Лантуха опять сдѣлали кошевымъ по представленію графа Румянцева, такъ, между прочимъ, поздравляетъ кошевого съ новою должностію: „Пользуясь случаемъ возложенія на васъ по волѣ ея императорскаго величества власти надъ войскомъ вашимъ и зная благоразумныя ваши распоряженія къ устройству свое-

вольныхъ людей и тѣмъ обезпеченіе мира въ краѣ нашемъ, жалаю вамъ долгодѣтельнаго управленія“ и такъ далѣе (1762 г.).

Всѣ эти изъявленія благодарности къ Лантуху за временное успокоеніе страны отъ гайдамацкихъ набѣговъ ясно говорятъ о томъ, въ какомъ страхѣ держали Польшу украинскіе гультай, а съ другой стороны—свидѣтельствуемъ о безсиліи Рѣчи Посполитой, которая не въ состояніи была сама наказати виновниковъ своего безпокойства. „До чего дошелъ теперь прекрасный край нашъ, имѣя столько источниковъ могущества! (говорить полякъ, современникъ гайдамачины). Нѣтъ намъ ни уваженія у сосѣдей, ни безопасности внутри государства. И всему этому причиною гордость нашихъ магнатовъ. Они не хотѣли повиноваться королямъ своимъ и всячески старались ослабить въ народѣ уваженіе къ престолу. Отравили жизнь вѣскаго героя. Августу II поднесли горькую чашу, хотя, можетъ быть, и по заслугамъ. А что всего хуже, на сеймѣ, который прозванъ „нѣмымъ“, отняли у отечества послѣднія силы, распустивъ народное войско и уменьшивъ его до нѣсколькихъ тысячъ. Самъ нынѣшній король нашъ не былъ бы такъ намъ постылъ, если бъ они не связали ему рукъ. У нихъ довольно на жаловань надворнаго войска, но они его держать только для собственныхъ надобностей. Жалкую жизнь ведутъ наши пограничные обыватели, находясь въ безпрестанной тревогѣ и опасеніяхъ“ *). Какъ ни была слѣдовательно, безобразна жизнь въ русской Украинѣ, но въ польской она была еще безобразнѣе. Въ русской исторіи мы видимъ, напримѣръ, что бродячія силы народа, ищущія разгула, притекаютъ къ тѣмъ оконечностямъ государства, гдѣ всего менѣе проченъ гражданскій строй, и потому народныя смуты преимущественно разыгрывались въ районѣ средняго и нижняго Поволжья. Въ то время, когда русскія войска, подъ предводительствомъ Грознаго, стояли подъ Казанью, все Поволжье было во власти великорусскихъ гайдамаковъ, какими можно назвать буйныя ватаги казаковъ бродившія по юго-восточнымъ рубежамъ Россіи, подъ предводительствомъ Ермака, впоследствии покорителя Сибири. Медленно водворялся гражданскій строй въ Поволжьѣ. Воеводы, правившіе этимъ краемъ въ XVIII вѣкѣ, ничѣмъ не были лучше людей, управлявшихъ польскою Украинною въ половинѣ XVIII вѣка, хотя были несравненно грубѣе послѣднихъ. Воеводы эти, какъ и польскіе губернаторы Украины, не могли устроить и обезопасить края, которымъ правили, и край этотъ легко дѣлался добычею такихъ гайдамаковъ, какъ Степанъ Разинъ и его сподвижники. Въ XVIII вѣкѣ гражданскій порядокъ какъ въ Поволжьѣ, такъ и въ польской Украинѣ былъ одинаково слабъ. Хотя воеводы и коменданты поволжскихъ городовъ, безъ сомнѣнія, ничѣмъ не были ниже воеводъ и комендантовъ болѣе центральныхъ городовъ русскихъ, однако они ничего не могли сдѣлать для успокоенія Поволжья въ то время, когда въ центральныхъ губерніяхъ это спокойствіе давно уже не было нарушаемо такими смутами, какъ каждо-

*) „Зап. о южн. Рос.“ II, 117.

годное появленіе разбойничьихъ шаякъ. Губернаторы и коменданты по-волжскихъ городовъ—Якоби, Кречетниковъ, Цыплетевъ, Перелечинъ, Меллинъ, Юнгерь, Пиль, Бошнякъ—не имѣли въ своихъ рукахъ достаточно силы, чтобы изъ полудикой страны, куда все шло искать или воли, или поживы, сдѣлать подобіе центральныхъ русскихъ губерній, гдѣ давно улеглось броженіе. То же самое было и въ польской Украинѣ, гдѣ Потоцкіе, Браниціе, Яблоновскіе, Сангушки, Любомирскіе и Радзивиллы, несмотря на свои матеріальныя силы, были также безсильны водворить порядокъ въ странѣ, гдѣ государственные элементы еще не уложились въ стройную систему, какъ безсильны были Якоби, Кречетниковы и Цыплетевы въ Поволжѣ.

Такимъ образомъ, мы видимъ во всѣхъ явленіяхъ, сопровождавшихъ развитіе государственной жизни въ нижнемъ Поволжѣ и въ нижнемъ Подніпровѣ, замѣчательную аналогію, которая должна была, въ концѣ концовъ, привести и тамъ, и здѣсь къ аналогическимъ результатамъ. И тамъ, и здѣсь народныя движенія совершаются около двухъ самыхъ большихъ рѣкъ въ Россіи. Съ самаго основанія гражданскаго общества въ Россіи, Волга и Днѣпръ были ареною, гдѣ народная удалъ показывала свои силы. Днѣпромъ ходили когда-то варяги черезъ всю нынѣшнюю Русь до Византіи: это были своего рода удалые добрые молодцы, которые, при норманской наклонности къ гайдамачеству, дѣлали набѣги на Русь и на Грецію. Ватажки скандинавскихъ гайдамаковъ, Аскольдъ и Диръ, взяли съ своими ватагами Кіевъ, подобно тому, какъ русскій ватажокъ удалыхъ добрыхъ молодцовъ, Ермакъ, взялъ впослѣдствіи Сибирь и отдалъ ее Россіи. Какъ варяги ходили по Днѣпру, такъ потомъ новгородскіе добрые молодцы, „ушкуйники“, ходили по Волгѣ и, подобно украинскимъ гайдамакамъ, наводили страхъ на владѣвшихъ Поволжьемъ болгаръ и впослѣдствіи татаръ казанскихъ и золотоордынскихъ. Когда новгородскую вольницу уложили въ рамки государственности и поволжье было покорено Россіею, то, за неимѣніемъ новгородскихъ „ушкуйниковъ“, Волга привлекла къ себѣ другихъ добрыхъ молодцовъ, начиная Ермакомъ, Разинымъ и кончая Заметаевымъ. Когда въ Кіевѣ окрѣпла государственность, бродячія силы народа, или что то же—украинскіе „ушкуйники“, или удалые добрые молодцы, ушли съ своей удалюю на низъ Днѣпра и долго не подчинялись государственнымъ формамъ и требованіямъ порядка. И на Волгу, слѣдовательно, и на Днѣпръ шло все то, что не могло ужиться въ своемъ обществѣ и покориться извѣстнымъ порядкамъ. Но когда бродячимъ народнымъ силамъ стало тѣсно жить и въ Запорожѣ, они выдѣлились отсюда въ видѣ гайдамачины, какъ и въ Поволжѣ выдѣлилась понизовая вольница.

Повторяемъ, все это было только на Волгѣ и на Днѣпрѣ, и ничего подобнаго не было ни на Двинѣ, ни на Окѣ. И на Волгѣ, и на Днѣпрѣ образовались цѣлая народная литература, воспѣвающая подвиги народныхъ героевъ, начиная съ XVI и кончая XIX вѣкомъ, и опять-таки ничего подобнаго не было ни на Двинѣ, ни на Окѣ. Наконецъ, и на Волгѣ, и на Днѣпрѣ въ одно и то же время произошли послѣднія народныя вспыхиванія,

отличавшіяся громадностью размѣровъ, — пугачевщина и коливщина, т.-е. тождественность явленій въ народной жизни и болѣе или менѣе близкая одинаковость положенія народа въ той и другой мѣстности привели къ одному и тому же результату и тамъ, и здѣсь. Значить, и тамъ, и здѣсь, если случилось то, что случилось, то иначе и быть не могло, потому что и то, и другое явленіе, и пугачевщина, и коливщина, были *неизбѣжны*.

Но хотя всѣ явленія въ исторической жизни народовъ совершаются по неизмѣннымъ логическимъ законамъ, а слѣдовательно неизбѣжны, однако изъ этого еще не слѣдуетъ, что и то, что случилось въ Поволжѣ и въ Дѣлпровѣ, во второй половинѣ XVIII вѣка, непременно *должно было* случиться. Все это могло и быть и не быть. Вытекаемость одного историческаго явленія изъ другого служить лучшимъ доказательствомъ того, что если бы въ Поволжѣ и во всей Россіи, а также въ Поднѣпровѣ и во всей южной Россіи и въ Польшѣ, не было того, что было въ XVII вѣкѣ въ этихъ странахъ, если бы положеніе этихъ странъ было болѣе отрадно, чѣмъ оно было на самомъ дѣлѣ, то и не вышло бы того, что вышло въ XVIII вѣкѣ. Если бы, слѣдовательно, тѣ, кому ввѣрены неизбѣжнымъ ходомъ событій судьбы народа, болѣе заботились о благосостояніи народа, то ни въ Россіи, ни въ Малороссіи, ни въ Польшѣ народъ этотъ не страдалъ бы ни въ XVII, ни въ XVIII вѣкѣ, и потому въ этомъ послѣднемъ вѣкѣ онъ не вынужденъ былъ бы заявить кровавымъ протестомъ о томъ, что о немъ забыли, что о немъ не заботились, что ему невыносимо жить. И тамъ, и здѣсь опять повторился неизмѣнный законъ историческаго возмездія. Если бы на благосостояніе народа, въ свое время, употребленъ былъ трудъ, если бы въ свое время позаботились о томъ, чтобы народу легче было жить, то не пришлось бы впоследствии платиться такъ дорого за ту безпечность, съ которой относились къ этому народу тѣ, которые имѣли и силу, и возможность дать народу средства къ жизни и, по крайней мѣрѣ, не дать ему умирать съ голоду — не дали ни того, ни другого, а вмѣстѣ съ тѣмъ не научили его даже тому, чему должны были научить. Оттого и въ великорусскомъ, и въ украинскомъ народѣ сложилось упорное убѣжденіе, которое въ XVIII вѣкѣ было въ полной силѣ, — убѣжденіе, что надо истреблять пановъ; русскій народъ говорилъ, что господъ „по рукамъ“ разбирать будутъ, т.-е. по тому — какія у кого руки, бѣлыя, нѣжныя, или черныя, грубыя, мозолистыя, и у кого бѣлыя руки — тѣхъ истреблять. Это народъ и исполнилъ въ свое время. Украинскій же народъ былъ того убѣжденія, что для того, чтобы на томъ свѣтѣ перейти черезъ огненную гору, надо набрать цѣлый мѣхъ панской, польской и еврейской крови и съ этимъ мѣхомъ идти на тотъ свѣтъ. И народъ старался наполнять мѣха панскою кровью въ то время, какъ паны такъ безпечно играли и своею жизнью, и жизнью народа, и жизнью всего государства *).

*) „Obok tylu klęsk i wysilenia się na prześladownictwo religijne, wzmagala się prawdziwa ciemnota. Ukazały się jednak złe skutki z tych

Такимъ образомъ, сколько вся Россія виновата въ пугачевщинѣ, столько же вся Польша, сама того не вѣдая, а равнымъ образомъ и властвующіе элементы въ Малороссіи виноваты въ гайдамачинѣ и уманской рѣзнѣ.

Къ уманской рѣзнѣ мы и перейдемъ теперь.

XI.

„Уманская рѣзня“ или, какъ говорятъ поляки, „Rzeź Humańska“, „уманская бѣда“, „бунтъ Желѣзняка и Гонты“ или „колившина“ имѣетъ такое же отношеніе къ исторіи гайдамачины вообще, какъ пугачевщина къ исторіи поволжской понизовой вольницы. Уманская рѣзня была заключительнымъ и самымъ страшнымъ актомъ послѣднихъ кровавыхъ движеній южно-русскаго народа, который, послѣ этой вспышки, успокоился, если не навсегда, то, по крайней мѣрѣ, очень надолго.

Впрочемъ, вспышки этой могло и не быть или, можетъ быть, она проявилась бы нѣсколько иначе, не съ тѣмъ ожесточеніемъ, какое въ ней проявилось, если бы поляки сами не приблизили часа развязки, — хотя поляковъ, жившихъ въ тѣ предсмертныя минуты существованія ихъ царства, едва ли можно винить въ чемъ-нибудь, такъ какъ въ ихъ положеніи дѣйствительно можно было потерять голову.

Въ это время у нихъ умеръ послѣдній король, котораго они избрали свободно, по своей волѣ—Августъ III, нѣмецъ изъ Саксоніи, король хотя плохой, но все же никѣмъ не навязанный имъ. Предстояло избрать другого короля. На генеральномъ конвокаціонномъ сеймѣ, созванномъ по этому случаю, примасъ республики, описывая мрачными красками состояніе Польши, указывалъ представителямъ этой погибавшей Польши, что дикое озлобленіе партій, полное непониманія потребностей націи, и бессмысленное пренебреженіе народными интересами ведутъ и ихъ самихъ, и ихъ народъ къ гибели. Онъ взывалъ къ націи, чтобы она опомнилась, наконецъ, поняла бы, что стоитъ на краю глубокаго обрыва, что недалекъ тотъ часъ, когда погибнетъ все, ихъ права и вольности, ихъ гордость и сила, нѣкогда столь страшныя и несокрушимыя. „Вглядитесь, — говорилъ онъ, — какъ внутреннія смуги раздрають наше царство. Всѣ наши разглагольствованія не ведутъ ни къ чему. Наши сеймы бесплодны. Мы называемъ себя свободнымъ и не-

klęsk i umysłowej niewoli. Złobon rozkrzewiony, fanatyczne zawziętości w elką część narodu upodliły i w niechęci utrzymywały. Stanu niższe pozynały przejmować wyraz poniżnia. Sztachnecki, skłajający naród panujący, nie zdolny iść jak niegdyś na równi w postępie świecenia z resztą Europy, w swych uczuciach i działaniu odrętwiały, zaległi ustronią w niezyczności; tam odurzających szukał rzywek; polubino narj, swarliwe pienactwo jedynem stało się zatrudnieniem. Poklask wano, jak się sejmy pozrywały, cieizon) się, że Polska nieładem stała“. Такъ Ладзель оплакиваетъ положеніе Польши, предшествовавшее гайдамачинѣ и уманской рѣзнѣ.

зависимымъ народомъ, а между тѣмъ изнываемъ подъ тяжкимъ ярмомъ неволи, испытываемъ всѣ ужасы войны. Надъ нами тяготеетъ бѣдствіе рабства, а мы не имѣемъ ни довольно силы, чтобы обсудить свое ужасное положеніе, ни мужества отвратить грозящую опасность“. Онъ указывалъ на полное отсутствіе въ народѣ моральныхъ и физическихъ силъ, на недостатокъ администраціи, на пренебреженіе безопасностью страны, которая не имѣетъ ни крѣпостей, ни гарнизоновъ, ни постоянного войска. Заброшенные крѣпости давно запустѣли. Ничтожные гарнизоны безсильны. Границы открыты для всякаго набѣга (что и доказывали каждый годъ шайки гайдамаковъ въ родѣ Чуприны, Чортоуса, Найдъ и другихъ менѣе крупныхъ). „Царство наше, — говорилъ примасть, — похоже на домъ безъ кровли, на зданіе, потрясемое вѣтрами, на жилище безъ владѣльцевъ, готовое рухнуть съ подгнившаго основанія, если только Провидѣніе не сжалятся и не поддержать это зданіе. Воображеніе не можетъ представить ничего печальнѣе нашей участи. Законы въ презрѣніи или бездѣйствуютъ, какъ негодная тяжесть. Суды безсильны противъ посягательствъ и преступленій. Свобода задавлена насиліемъ и произволомъ. Государственная казна истощена наплывомъ иностранной монеты низкаго достоинства. Провинціальныя города, лучшія украшенія царства, теперь безлюдны. Жалкая торговля въ рукахъ евреевъ. Наконецъ, мы должны искать „городовъ въ самихъ городахъ“, потому что въ нихъ все разрушено и опустошено — и дома, и улицы, и площади, и общественныя мѣста. Даже церкви не пощажены: онѣ обращены въ бойни, гдѣ безнаказанно рѣжутъ народъ“ *).

Таково было положеніе Польши передъ уманской рѣзней, по словамъ самихъ поляковъ.

Но вотъ поляки избрали себѣ короля, Станислава Понятовскаго, стольника литовскаго, по обязательной рекомендаціи Россіи **). Избраніе было пышно, но не такъ бурно, какъ въ старые годы.

За избраніемъ Понятовскаго слѣдуютъ еще болѣе жалкіе годы въ исторіи Польши, жалче которыхъ не было да уже и не будетъ. Государство видимо разлагается. Всѣ проявленія представителей націи носятъ на себѣ печать какого-то оуптѣнія. Все дѣлается точно во снѣ. Ни въ чемъ не видно ни смысла, ни цѣли, ни общихъ стремленій. Сила республики давно погибла, а дворянство все еще хватается за какіе-то презраки и само продаетъ послѣднюю тѣнь свободы. Варшава и дворъ пируютъ наканунѣ смерти. Станиславъ любезничаетъ съ дамами и разсыпаетъ остроуміе. Въ театрѣ такъ весело, такъ шумно. Въ гостиныхъ магнатовъ столько блеска и роскоши, такіе звонкіе стихи читаются на вечерахъ, въ пышныхъ двор-

*) См. нашу статью — „Выдержки изъ исторіи Польши“ („Русское Слово“, 1861, № 9).

**) Любопытныя подробности съ этимъ можно найти въ статьѣ г. Дубровина въ „Вѣстникѣ Европы“, а главнѣе — въ „Соревнованіи историческаго общества“.

цахъ, защищенныхъ стражею, которой потому и не хватаетъ на границахъ для защищенія государства отъ гайдамаковъ. А на улицахъ Варшавы уже слышны по вечерамъ звяканье сабель, пистолетные выстрѣлы, призывъ на помощь, и никто не отворитъ окна, чтобы освѣдомиться, кто погибаетъ на улицѣ. Все это такъ обыкновенно, такъ натурально. Варшава веселится— а вдали отъ Варшавы что-то готовится необыкновенное, замѣтно какое-то движеніе, и только холопы крѣпче запираютъ свои жалкія избушки, все чего-то боятся, ждутъ чего-то нехорошаго, потому что хорошаго не видали ни разу въ жизни. Между тѣмъ войска сосѣдей все тѣснѣе и тѣснѣе стягиваются у предѣловъ республики, переходятъ границы, все ближе и ближе къ Варшавѣ. Вотъ уже варшавскія дамы любезно танцуютъ съ русскими и прусскими офицерами *).

Такъ прошло нѣсколько лѣтъ. Въ это время Желѣзнякъ молился въ монастырѣ. Его очередь еще не пришла.

Но вотъ поляки недовольны своимъ королемъ, какъ креатурой русскихъ. Сальдернъ, представитель Россіи въ Варшавѣ, грозитъ имъ Сибирью, говорить, что „всѣхъ зарубить“ (tous sabrer). Поляки одумались и образовали конфедерацію, сначала въ Радомѣ, потомъ въ Варѣ.

Эта послѣдняя конфедерація, совершенно кажется по ошибкѣ, была несчастною причиною того, что Желѣзнякъ пересталъ молиться въ монастырѣ и поднялъ на ноги гайдамаковъ для уманской рѣзни.

Барская конфедерація провозглашена была въ февралѣ 1768 г. Предводителями и руководителями ея были братья Пулавскіе, Іосифъ и Казимиръ, изъ которыхъ одинъ находился послѣ при особѣ Пугачева, Станиславъ Ѳеликсъ Потоцкій,—знаменитый воевода русскій, извѣстный болѣе подъ именемъ „Щенснаго“ (Счастливаго), Ксаверій Враницкій, великій коронный гетманъ, князь Радзивиллъ, воевода виленскій, Венцеславъ Ржевускій, воевода краковскій, съ сыномъ Севериномъ, и князь Любомирскій, воевода брацлавскій, одинъ изъ тѣхъ, которые уничтожали гайдамацкія шайки Чуприны и Чортоуса. Случайно или нѣтъ, но только коноводы барской конфедераціи всѣ были самые богатые помѣщики обѣихъ Украинъ, какъ польской, такъ и русской. Они же были противниками русскаго вліянія при польскомъ дворѣ, а, слѣдовательно, и короля Понятовскаго. Они же были, наконецъ, на зло королю, на зло Россіи и—по ошибкѣ—на зло самой Польшѣ, друзьями іезуитовъ и преслѣдователями „диссидентовъ“, т. е. польскихъ протестантовъ и православныхъ, къ которымъ принадлежали, слѣдовательно, почти всѣ ихъ крестьяне на Украинѣ, а съ ними вмѣстѣ и Желѣзнякъ, въ то время монастырскій послушникъ.

Католическое рвеніе польскаго дворянства, съ XVII столѣтія разжигаемого, во славу папъ римскихъ, отцами іезуитами, много стоило денегъ, и крови Польшѣ. Оно же и погубило ее окончательно. Это рвеніе, выразив-

*) Выдержки изъ исторіи Польши („Политическія движенія русск. народа“).

шеся унию, подыало на ноги Хмельницкаго, а съ нимъ и всю Украину, и заставило эту послѣднюю навсегда оторваться отъ Польши, чтобъ отдаться Россіи. Изъ-за уни велись нескончаемыя войны, которыя и ослабили Польшу. Отцы іезуиты не уговорились и въ XVIII вѣкѣ: имъ все хотѣлось изъ малороссійянъ сдѣлать такой же динарій святого Петра, какой они сдѣлали изъ Польши. Напрасно Россія, Пруссія, Австрія и Англія предостерегали Польшу отъ мѣръ преслѣдованія некаатоликовъ, которыя продолжали приниматься на сеймахъ. Напрасно эти державы напоминали ей о горькихъ послѣдствіяхъ ея неполицныхъ мѣръ. Поляки ничего не хотѣли слышать, и когда Понятовскій, при помощи русскаго вліянія, успѣлъ нѣсколько выгородить права диссидентовъ, польское дворянство, справедливо видя въ этомъ неуваженіе къ ихъ знаменитому „nie pozwalam“, въ сущности дикому и погубившему Польшу, но для нихъ дорогому и священному праву,—рѣшилось такъ или иначе противоѣствовать и королю, и Россіи съ ея союзникомъ Фридрихомъ II, который, въ письмѣ къ Даламберу, называлъ поляковъ „варварами“, и Марією Терезією, которой уже назначена была на булавки „ein elendes Stück von Polen“ *).

Впрочемъ, оставляя въ сторонѣ все, что не касается непосредственно гайдамачины, мы приступимъ прямо къ объясненію того, какое отношеніе барская конфедерація имѣла къ началу уманской рѣзни.

Всѣ польскіе хроникеры, оставившіе намъ описаніе уманской рѣзни, и Янъ Липоманъ, и Вероника Кребсъ, и Тучапскій, одинаково повѣствуютъ, что въ мартѣ 1768 года барскіе конфедераты, въ томъ числѣ Пулавскій, предводитель барской конфедераціи, въ значительной массѣ пришли въ одно изъ имѣній князя Ридзивицка, въ Сичиницы, и часть изъ нихъ, въ числѣ человекъ шестидесяти или болѣе, явилась вглубь польской Украины, въ староство чигиринское и, надѣлавъ тамъ тревоги и замѣшательства, особенно между посольствомъ, удалилось **).

Что именно надѣлали тамъ конфедераты, польскіе хроникеры не говорятъ. Но по разсказамъ очевидцевъ, которыми покойный Шевченко воспользовался при написаніи своей знаменитой поэмы „Гайдамаки“, мы можемъ пополнить этотъ недостатокъ. Шевченко, въ предисловіи къ своей поэмѣ, говоритъ, что событія 1768 года онъ передаетъ такъ, какъ слышалъ ихъ отъ старыхъ людей, но что печатнаго объ уманской рѣзнѣ онъ не читалъ ничего. Дѣйствительно, до 1841 г., когда Шевченко писалъ свою поэму, въ Россіи ничего еще не было печатнаго объ этомъ эпизодѣ изъ исторіи украинскаго народа, и потому Шевченко могъ знать объ этомъ эпизодѣ только то, что говорилъ народъ и что еще помнили въ то время, собственно въ дѣтствѣ Шевченка, старики, у которыхъ воочию соверши-

*) Sybel, Histor. Zeitschr., 1859 (Waitz).

**) „...a norobiwszy trwogi i zamieszkania, szczególnie między pospólstwem, oddalila się“. Rzeź Humańska, J. Lippomana (Bunt Żelazniaka i Gonty: 1768 r. Przypjacieli ludu, w Lesznie 1842—43. T. I и II).

лась гайдамачина, вмѣстѣ съ уманской рѣзней. Въ эпилогѣ своей поэмы Шевченко упоминаетъ даже, что все это онъ еще ребенкомъ слышалъ отъ своего дѣда, который, бывало, рассказывалъ его отцу и сосѣдямъ о томъ, какъ „Желѣзнякъ и Гонта ляховъ покаралъ“, а поэтъ это слушалъ и плакалъ, спрятавшись за печкой. Въ эпилогѣ этомъ Шевченко обращается съ благодарностью къ своему дѣду за то, что старикъ сберегъ „въ своей столѣтней головѣ эту *казацкую славу* и рассказалъ ее потомъ внукамъ“. Рассказчикъ, слѣдовательно, а за нимъ и поэтъ смотрѣли на это кровавое дѣло, какъ на „казацкую славу“, при воспоминаніи о которой у старика „столѣтніе глаза какъ звѣзды блистали, а слово за словомъ лилось и смѣялось“, а потому надо полагать съ увѣренностью, что старикъ свято хранилъ память о „казацкой славѣ“ и, какъ самовидецъ, не забывалъ ни одной черты изъ страшнаго эпизода своей родины. Рассказъ его, такимъ образомъ, становится историческимъ документомъ. Онъ является такимъ при сличеніи его съ опубликованными впоследствии официальными документами и хрониками того времени. На основаніи всего этого мы полагаемъ, что не погрѣшимъ противъ исторической истины, если позволимъ себѣ пользоваться фактами изъ поэмы Шевченка, для сличенія ихъ съ другими фактами, или когда этихъ другихъ фактовъ будетъ не доставать. При томъ же все то, что сказалъ Шевченко въ своей поэмѣ объ уманской рѣзнѣ, не прочитавъ до этого ничего печатнаго, положительно, подтверждается документами, изданными послѣ выхода въ свѣтъ его поэмы, и не противорѣчить имъ.

Такимъ образомъ, на основаніи пародныхъ рассказовъ, приведенныхъ въ поэмѣ Шевченка, мы можемъ знать, что дѣлали конфедераты въ старостѣ чигиринскомъ или, какъ говоритъ польскій храникерь, „*pagobili trwogi i zamięszania*“.

Толпа пьяныхъ конфедератовъ (поступки которыхъ не должны, конечно, ложиться тѣнью на лучшихъ представителей конфедерации, такъ какъ негодяи были и между конфедератами, какъ они бывають вездѣ) вломилась въ корчму еврея, съ бранью и побоями требуя у него вина и денегъ. Когда еврей говорилъ, что у него нѣтъ денегъ, его заставляли „креститься“, а потомъ, наругавшись надъ своей жертвой, вновь требовали денегъ. Еврей указалъ имъ на сосѣднее село Вильшану (или Ольшана), гдѣ, по его словамъ, у ктитора были церковныя деньги. Конфедераты заставили еврея вести ихъ къ ктитору.

Здѣсь уже конфедераты дошли до неистовства. Они требовали у ктитора денегъ,—тотъ молчалъ. Конфедераты скрутили ему назадъ руки веревкой и ударили объ землю. Но и тутъ ктиторъ не сказалъ ни слова. Конфедератамъ показалось мало этой муки. Они вскипятили смолу и стали несчастнаго поливать горячей смолой. Тотъ все молчалъ. Тогда въ голенища ему насыпали горячихъ угольевъ и стали „въ темя закатывать дьяшки“. Этой муки не вытерпѣлъ старикъ и тутъ же подъ ударами умеръ. Конфедераты были поражены этою мученическою смертью и задумались, что

имъ дѣлать. Рѣшили зажечь церковь. Въ это время вбѣгаетъ дочь ктитора. Конфедераты взяли ее съ собой и ушли изъ Вильшаны.

Таково народное преданіе о чемъ, что дѣлали конфедераты въ чигиринскомъ староствѣ, о томъ упоминають Липоманъ и Кребсъ въ общихъ фразахъ.

Само собою разумѣется, что вѣсть о неистовствахъ конфедератовъ въ Вильшанѣ, объ убіеніи тамъ церковнаго ктитора и о похищеніи его дочери быстро разнеслась по польской Украинѣ—и крестьянамъ вспомнились опять всѣ прежнія и новыя обиды отъ ляховъ и католиковъ, кто бы они ни были, и натянутость отношеній между русскими и поляками стала еще замѣтнѣе. Переходу этой натянутости въ прямое раздраженіе помогали и другія весьма сложныя причины: раздраженіе постоянно поддерживалось появленіемъ на польской Украинѣ каждой весной украинскихъ добрыхъ молодцовъ, которые напоминали польскимъ крестьянамъ о томъ, что ихъ братья, живущіе за Днѣпромъ, не боятся ни поляковъ, ни ихъ ксендзовъ, ни даже евреевъ, хотя при этомъ гайдамаки, можетъ быть, и умалчивали, что вмѣсто іезуитовъ и евреевъ у нихъ есть свое панство, не хуже польскаго панства; раздраженію помогали прошедшіе въ народѣ слухи о томъ, что Россія не велитъ полякамъ преслѣдовать православныхъ, а они, не слушаясь Россіи, опять стали ихъ преслѣдовать; однимъ словомъ, для раздраженія было много причинъ, но крестьяне до поры до времени затаили въ себѣ обиду и готовились къ серьезному дѣлу.

Но православное духовенство, жившее въ польской Украинѣ, не дремало. Когда появились тамъ конфедераты и замучили ктитора въ Вильшанѣ *), въ народѣ прошла вѣсть, что ляхи „взялись гвать благочестіе“, что украинскіе крестьяне живутъ будто-бы на ихъ польской землѣ, а въ церквахъ молятся за „благочестиваго государя“, и потому ихъ надо за это преслѣдовать. Эта вѣсть передавала, что въ Мліевѣ сожгли ляхи ктитора и вообще начали „снимать головущки съ благочестивыхъ“, зажигая окрестныя монашескіе хуторки.

Дѣйствительно, въ этихъ мѣстахъ, собственно въ староствахъ черкасскомъ и чигиринскомъ и въ большей части обширной волости смиланской, съ давнихъ временъ существовали православныя церкви и монастыри. Тамъ были мужскіе монастыри въ черкасскомъ староствѣ, на островѣ рѣки Тясмина, въ Медвѣдовкѣ—монастырь Николая, затѣмъ монастырь Мотровинскій, расположенный въ обширныхъ смиланскихъ лѣсахъ, затѣмъ еще надъ рѣкою Тясминомъ, въ Жаботинѣ, монастырь Онуфрія и, наконецъ въ лебединскомъ лѣсу—монастырь Лебединскій. Были тамъ и женскіе, монастыри. Главные изъ этихъ монастырей были—Мотровинскій и Лебединскій. Мотровинскій находился въ чигиринскомъ уѣздѣ, въ 170 вер-

*) По другимъ извѣстіямъ—въ Мліевѣ, гдѣ они сожгли ктитора („Зап. о южн. Рус.“ Кулиша). Но этотъ случай былъ, кажется, уже послѣ уманской рѣзни.

стахъ отъ Кіева и въ 40 верстахъ отъ Чигирина. Онъ построенъ на возвышенномъ мѣстѣ, съ четырехъ сторонъ окруженъ древнимъ великимъ валомъ, заросшимъ старымъ лѣсомъ. Валъ имѣетъ въ окружности 1,750 сажень. Монастырь получилъ названіе свое отъ лѣса, который окружаетъ его и называется мотронинскимъ лѣсомъ. Въ 1669 году монастырь этотъ былъ разоренъ и сожженъ турками, а потомъ вновь возобновленъ. Лебединскій же монастырь находится въ 90 верстахъ отъ Чигирина. Это старый монастырь, помнившій нашествіе на него поляковъ, которые и разорили его. Но украинскіе гетманы и кіевскіе митрополиты дозволили возобновить его.

Рѣки Тясминъ и Турія, около которыхъ въ чащѣ лѣсовъ и около глубокихъ балокъ пріютились эти монастыри и скиты, напоминаютъ другія подобныя же рѣчки на дальнемъ востокѣ, за Волгой. Это Иргизы. Тѣ же густые лѣса, то же уединеніе и тѣ же монастыри и скиты, въ которыхъ укрывались гонимые правительствами—въ первомъ случаѣ — духовенство православное, во второмъ — раскольничье. На иргизскіе монастыри наѣзжали русскіе православные чиновники и брали съ нихъ двойной окладъ за ношеніе неуказнаго платья и бородъ. На украинско-польскіе православные монастыри и скиты наѣзжали польскіе конфедераты и ксендзы и горючей смолой обрашали православныхъ въ унию. И тѣ, и другіе монастыри давали пріютъ удалымъ добрымъ молодцамъ—одни во имя раскольничьихъ тенденцій о страннопріимствѣ, другіе во имя православія. Первые дали пріютъ Пугачеву, послѣдніе пріючали иногда гайдамаковъ.

Конфедераты, надѣлавъ такимъ образомъ тревоги и подготовивъ народъ къ чему-то ужасному, удалились. Но вмѣсто нихъ пришли еще болѣе страшные противники православія, уже другое столѣтіе наводившіе ужасъ на украинскій народъ. Это были іезуитскіе миссіонеры, которые, дѣйствуя заодно съ партією барскихъ конфедератовъ, выслали на Украину своихъ піонеровъ, въ видѣ миссій доминиканскихъ, базилианскихъ и другихъ. Польскіе хроникеры рассказываютъ объ этомъ набѣгѣ гайдамаковъ святого отца, какъ о чемъ-то весьма обыкновенномъ *), но народъ взглянулъ на это духовное нашествіе совершенно иначе. Въ его напуганномъ воображеніи встали страшныя картины давнишнихъ гоненій за вѣру—и сожженіе православныхъ на медленномъ огнѣ, и война Хмельницкаго, и крайнее разореніе страны, и, какъ результатъ всего этого, несчастное раздѣленіе южно-русскаго народа на двѣ половины, на польскую и русскую. Эти прибывшіе вновь католическіе „деканъ“ и „капланъ“ ревностно принялись за свое дѣло, такъ что даже польскіе писатели того времени не скрываютъ неблаговидности тѣхъ мѣръ, къ которымъ прибѣгали іезуиты,

*) Po oddaleniu się konfederatów, przyjechało w starostwo czeheryńskie, złożone z dziekanów, kapłanów i dobrych ludzi świeckich pomocy duchownictwu unickiemu, w zamiarze skłonić duchownych nieunitów do unie... Lippom.

забывшіе, повидимому, страшные историческіе уроки, которые дала Польшѣ унія на Украинѣ. Іезуиты и усердствующіе паны тотчасъ начали съ преслѣдованій *).

Неизвѣстно, чѣмъ бы кончился этотъ первый духовный походъ на Украину, если бѣ тамъ не нашелся на ту пору человекъ, который, кажется, помнилъ исторію своей страны и зналъ, какъ опасно будить заснувшую-было въ украинскомъ народѣ историческую ненависть къ уніи. Это былъ нѣкто Квасневскій. Какъ мы говорили выше, польскіе магнаты имѣли при своихъ дворахъ милицію или дворцовую гвардію. Такая дворцовая милиція находилась въ чигиринскихъ имѣніяхъ князя Яблоновскаго, въ то время воеводы познанскаго, и послѣ кастеляна краковскаго и старосты чигиринскаго. Милиція эта состояла изъ казаковъ, и начальникомъ ея или полковникомъ былъ Квасневскій. Боясь волненія въ народѣ, Квасневскій не рѣшился допустить миссіонеровъ до дальнѣйшихъ преслѣдованій неуніатовъ и, съ помощью казаковъ, бывшихъ подъ его командою, принудилъ ревностныхъ католиковъ удалиться **).

Казалось бы, что этимъ и должно было все кончиться. Нашествіе конфедератовъ и убіеніе ктитора въ Вильшанѣ, если бы и не были забыты народомъ, то, по крайней мѣрѣ, не вызывали бы впослѣдствіи того нетерпѣливаго раздраженія въ русскомъ населеніи польской Украины, которое вызвало уманскую рѣзню. Нашествіе духовной миссіи и ея преслѣдованія могли бы быть также оставлены народомъ безъ кроваваго возмездія, вслѣдствіе оказаннаго въ то время заступничества Квасневскаго, если бѣ попытки католической справы тѣмъ и окончились. Но іезуиты рѣдко отступаютъ отъ разъ задуманныхъ плановъ, и отбитые Квасневскимъ, они начали строить свои подкопы подъ спокойствіе страны.

Впрочемъ, не одни іезуиты виновны въ томъ, что пробудили въ южно-русскомъ народѣ давно дремавшую ненависть, и при томъ пробудили, такъ сказать, поголовно, хотя до этого времени она и проявлялась отдѣльными вспышками, въ видѣ гайдамацкихъ набѣговъ и разореніемъ двухъ-трехъ селеній и дворянскихъ замковъ въ каждое лѣто. Начало всѣхъ дальнѣйшихъ бѣдствій, обрушившихся на польскую Украину, лежало, главнымъ образомъ, все въ той же пагубной барской конфедераціи. Это была капитальная ошибка поляковъ, такая ошибка, что стоила жизни всей ихъ Рѣчи Посполитой. Въ основу барской конфедераціи положена была идея активнаго сопротивленія намѣреніямъ Россіи. Хоть это, впрочемъ, и не ошибка съ политической точки зрѣнія поляковъ, но ошибка состояла въ томъ, что въ лозунгъ своемъ они къ слову „свобода“ прибавляли еще слово „вѣра“ (wolność i wiara). На знамена свои конфедераты помѣстили изображеніе Богородицы, само собою разумѣется—католической. На мундиры свои на-

*) ... gdy ci (неуниты) w żaden sposób do niej (унии) przystąpić nie chcieli, więc zaczęły się różne, nawet dotkliwe, przesładowania.

**) ... „unitów do nieodmiennego wyjazdu przynaglić“.

нили кресты, какъ бы въ знакъ того, что они становятся крестоносцами. Это былъ крупный политическій промахъ, потому что съ идеею крестоносцевъ соединилась защита христіанства отъ мусульманъ, а, между тѣмъ, конфедераты вошли въ дружественныя сношенія съ турками и подняли саблю съ крестомъ на рукояткѣ и знамена съ Богородицею не на мусульманъ, а на православныхъ русскихъ. Они могли бороться съ Россіею— это ихъ историческое и національное право, но не должны были бороться съ вѣрою своихъ подданныхъ, украинскихъ православныхъ крестьянъ. Крестьяне смутно и по-своему понимали этотъ политическій абсурдъ своихъ пановъ, хотя онъ и не казался имъ абсурдомъ, а тою страшною силою, которая поднимала изъ гробовъ давно забытые воспоминанія и ужасы.

Само собою разумѣется, что украинскіе крестьяне, смутно сознававшіе опасность, грозившую имъ отъ соединенія конфедератами неудобосоединимыхъ понятій— „свободы“ и „вѣры“, конечно католической, іезуитской, въ то же время, и такъ же смутно, дѣлѣли тайную надежду на то, что если конфедераты съ своею „свободою“ и „вѣрою“ хотѣтъ стать поперекъ горла Россіи и поперекъ горла имъ, русскимъ по вѣрѣ, то Россія, становясь противъ конфедератовъ, не станетъ противъ нихъ, польскихъ крестьянъ. Эта надежда глубоко въ нихъ засѣла и подвинула ихъ на смѣлое дѣло, хотя черезъ нѣсколько мѣсяцевъ оказалось, что надежда эта была напрасная.

Есть основаніе предполагать съ большою увѣренностію, что надежды эти къ крестьянствѣ польской Украины поддерживало православное духовенство обѣихъ сторонъ Днѣпра, конечно, пограничныхъ мѣстностей, и православное монашество. Объ этомъ говорятъ не только польскіе официальные документы того времени, но и самъ народъ оставилъ въ своихъ воспоминаніяхъ подтвержденіе этому свидѣтельству польскихъ историковъ. Въ „краткомъ описаніи убійствъ (rzezi), произведенныхъ въ городѣ Умані украинскою чернью“, составленномъ на основаніи актовъ уманскаго монастыря, какъ полагають монахомъ Тучапскимъ, въ 1787 году, и подписанномъ ксендзомъ Іосифомъ Моргулецъ, ректоромъ уманскаго монастыря, и Мацевичемъ, вице-ректоромъ закона святого Василя, положительно говорится, что переяславскій епископъ, Гervasій Линовскій, поощрялъ православное духовенство польской Украины и тамошнихъ монаховъ къ построенію новыхъ русскихъ церквей и къ привлеченію въ православіе народа, сопротивляющагося *). Такъ говорятъ католики. Это же говорятъ и самъ народъ, не имѣя политическаго намѣренія скрыть историческую правду и постичь то, что дѣйствительно было. Это народное признаніе записано г. Кулишомъ уже въ сороковыхъ годахъ.

Вотъ какъ народъ передаетъ нынѣ воспоминаніе свое о томъ участіи, какое принимало русское православное духовенство въ поддержаніи въ польскихъ крестьянахъ надеждъ на заступничество Россіи.

Поляки переманили въ унію одного православнаго священника, но

*) „Наѣзды гайдамаковъ“, Скальковскаго, 209.

фамиліи Каряку, говоря, что въ уніи ему „лучше будетъ“. Каряка поѣхалъ въ Польшу, „высвятился на унію“ и воротился на Украину. Паства его, видя, что въ сосѣдней церкви „благочестіе“, а у нихъ унія, рѣшилась найти и для себя „благочестиваго“ попа. Такъ какъ священникъ этой паствы былъ уніатъ, то крестьяне ходили говѣть въ какой-нибудь сосѣдній православный монастырь и всегда слышали отъ монаховъ такіа поученія: „Взбунтуйтесь, да до преосвященнаго добейтесь, такъ и у васъ будетъ благочестіе“. Поддерживаемые, такимъ образомъ, мѣстными православными монахами, нѣкоторые изъ крестьянъ отправились за Днѣпръ, въ Переяславль, къ тамошнему православному архіерею Гervasію Линовскому.

— Ваше преосвященство, — говорили они: — мы пріѣхали просить, чтобъ и у насъ было „благочестіе“, какъ у другихъ людей, а то у насъ унія, которой мы терпѣть не можемъ.

— Дѣтки! — отвѣчалъ Линовскій: — просите Каряку, пускай ко мнѣ пріѣдетъ: я благословлю его на „благочестіе“.

— Святой владыка! мы просили его всѣмъ обществомъ, да онъ не вѣритъ. Онъ говоритъ: „тогда у васъ будетъ благочестіе, какъ у меня на ладони вырастутъ волосы“.

На это Линовскій сказалъ имъ: — „люди добрые! обождите же. *Онъ отомнитъ, да не въ пору...* Потѣжайте, дѣтки, домой — священникъ замъ будетъ“.

Въ одномъ изъ селъ того округа польской Украины, гдѣ это происходило, былъ молодой священникъ, Левицкій. Поляки жестоко мучили его, принуждая принять унію: сыпали за голенище раскаленные уголья и на колесо тянули, какъ нѣкогда русскіе палачи вытягивали на „дыбы“ тѣхъ, кого пытали. Но Левицкій не покорился, ушелъ отъ нихъ и явился къ архіерею Линовскому. Въ это время былъ у архіерея и тотъ ктитореъ изъ Мліева, котораго потомъ замучили поляки. У Линовскаго, такимъ образомъ, сошлись въ одно время два мученика католическаго рвенія къ вѣрѣ и крестьяне, искавшіе себѣ священника. Послѣдніе, ободренные архіереемъ, должны были возвратиться за границу, т.-е. за Днѣпръ, въ польскую Украину. На границѣ стояла русская стража и польская: съ правой стороны Днѣпра стояли польскіе пикеты, съ лѣвой — русскіе редуты, на которыхъ часовые по ночамъ перекликались еще по-старинному обычаю: „Славенъ городъ Петербургъ! Славенъ городъ Переяславль!“ Между тѣмъ, поляки, провѣдавъ, что нѣкоторые изъ крестьянъ ѣздили въ Переяславль къ православному архіерею, старались захватить ихъ на границѣ. Но крестьяне были предувѣдомлены своими земляками и тайно перѣѣхали черезъ Днѣпръ на рыбацкѣй лодкѣ. Крестьяне спаслись, но ктитореъ не спасся: его схватили, связали и прикрѣпили къ телѣгѣ. Въ Мліевѣ его повѣсили на дерево и долго мучили: обматывали тѣло пенькой, потомъ обмазывали смолой и зажигали, пока несчастный не испустилъ духа. Затѣмъ, отъ мертваго тѣла отрубили голову и выставили на „выгонѣ“, на

высокомъ столбѣ. Ночью кто-то похитилъ голову и отнесъ къ Линовскому въ Переяславль.

Эти жестокія мѣры поляковъ побудили Линовскаго приложить всю энергію къ дѣлу поддержанія русскаго элемента въ польской Украинѣ, пока не насталъ часъ кары полякамъ.

Всѣ эти, повидимому, мелкія черты, выясняющія передъ нами, какъ подготовилась уманская рѣзня, какъ мало-по-малу раздражались народныя чувства и какъ будились въ немъ старые, какъ бы органически сросшіеся съ нимъ инстинкты — драгоцѣнны для историка. Неистовства надъ ктитормъ въ Вильшанѣ, его мученическая смерть и похищеніе его дочери, варварское убійство другого ктитора въ Мліевѣ (если только это не одинъ и тотъ же фактъ, различно передаваемый народомъ по памяти) и сожженіе хуторковъ, около мотронинскаго монастыря — вотъ подготовительныя, такъ сказать, труды близорукаго усердія къ интересамъ римской церкви, — труды, принесшіе еще болѣе кровавые результаты. Съ другой стороны, мы видимъ подстрекательство, со стороны русскаго духовенства, — подстрекательство вызванное, впрочемъ, слишкомъ крупными и неблагоприятными мѣрами противниковъ.

Какъ бы то ни было, но въ подготовленіи уманской рѣзни повинны обѣ стороны — польская и русская.

Но былъ еще одинъ человѣкъ съ русской стороны, который не только является дѣятельнымъ подготовителемъ рѣзни, но въ немъ слѣдуетъ искать едва ли не самый починъ этого страшнаго дѣла. Мы говоримъ о монахѣ Мельхиседекѣ Значко-Яворскомъ.

Конецъ первой части.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
Д. Л. Мордовцева.

I.

ГАЙДАМАЧИНА

ИСТОРИЧЕСКАЯ МОНОГРАФІЯ

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

II.

Вспышки понизовой вольницы въ 1812 году.

ИСТОРИЧЕСКАЯ МОНОГРАФІЯ.

Томъ XXVII.

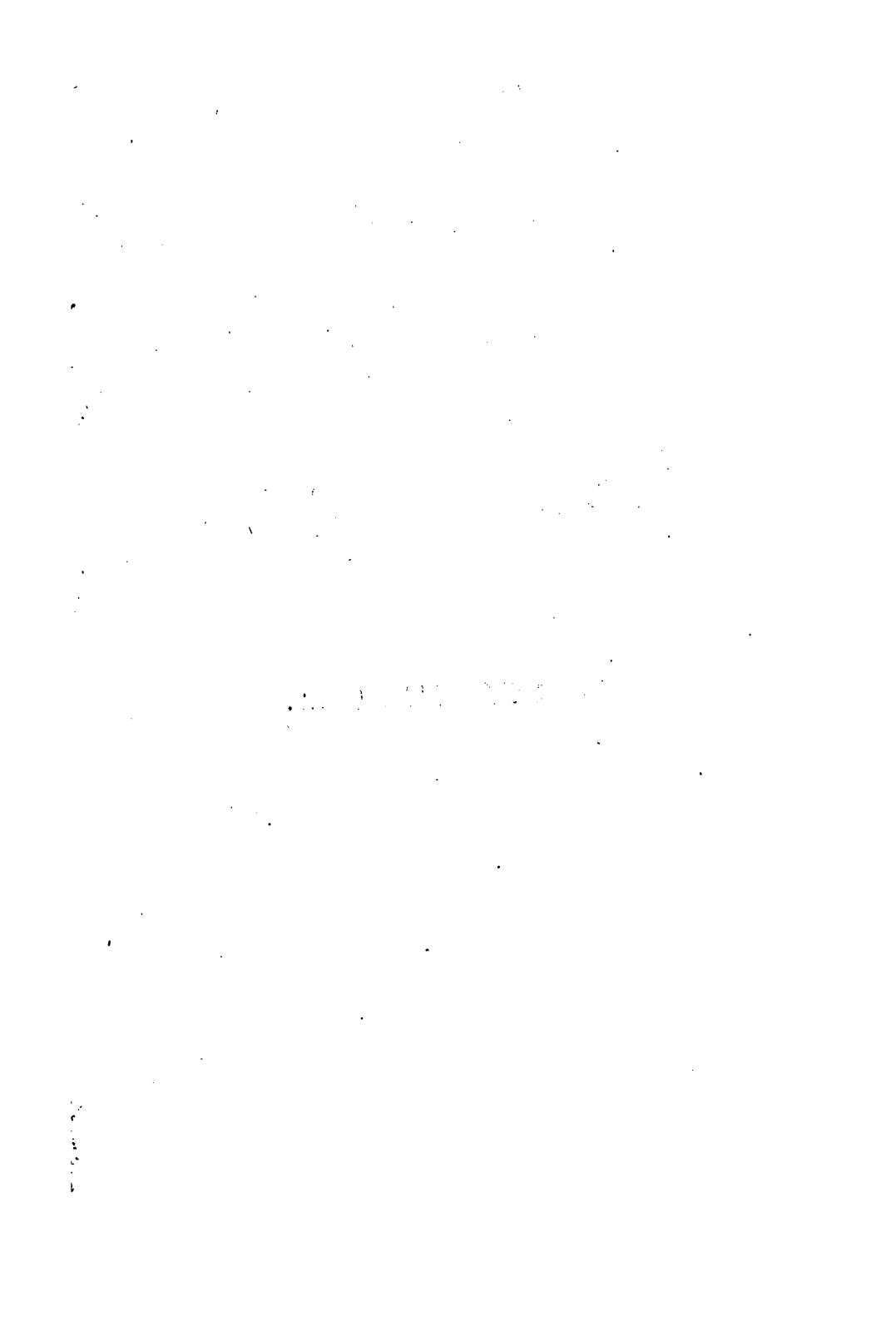
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Н. Ѳ. Мертца
1902.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 2 января 1902 г.

Типографія „В. С. Валашевъ и К^о“. Спб. Фонтанка 95.

Гайдамачина.

Часть вторая.



ГАЙДАМАЧИНА.

(1730—1768).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Мельхиседекъ Значко-Яворскій происходилъ изъ дворянскаго рода. По вѣству польскихъ писателей, онъ былъ „малороссіянинъ“. Одни говорятъ, что Мельхиседекъ былъ архимандритомъ и игуменомъ лебединскаго монастыря, другіе — мотронинскаго. Большинство писателей называютъ его послѣднимъ монастыремъ. Говорятъ также, что онъ былъ, просто который занимался медициною, химіею и другими науками.

вообще дѣйствія этой личности вполне извѣстны изъ всѣхъ свѣтъ уманской рѣзні, однако въ нихъ многое покрыто было глубокою тайною, такъ что нѣкоторые изъ фактовъ его жизни представляются до сихъ поръ загадочными. Видѣлся ли Мельхиседекъ съ императрицею Екатериною II и что она ему сказала на его представленіе? Былъ ли онъ таковъ, какимъ онъ перешелъ въ народъ и сдѣлался достояніемъ? Эти вопросы остаются пока неразрѣшенными. Если разговоръ его затронулъ бы въ глазу на глазъ, то никто, кромѣ Мельхиседекины, и не могъ знать, что они говорили и что именно говорила она, уже замышлявшая въ то время о раздѣлѣ Польши и сносившая о этому предмету тайно съ Пруссіею и Австріею. Что она не дала никому письменнаго отвѣта или разрѣшенія „рѣзать жида и ляха до этого едва ли можетъ подлежать сомнѣнію. Но что отвѣтъ могъ категорическимъ отказомъ или запрещеніемъ, а уклончивымъ отвѣтомъ отъ прямого „да“ или „нѣтъ“ — это весьма можетъ быть, потому что Мельхиседека засадили бы въ Петербургъ въ крѣпость или въ головной польскому правительству.

объ этомъ послѣ.

православные монастыри, находившіеся на польской сторонѣ, въ томъ числѣ лебединскій и мотронинскій, какъ мы упомянули

выше, никогда не пользовались расположеніемъ поляковъ, главнымъ образомъ потому, что пользовались большимъ расположеніемъ православнаго крестьянства или, какъ говорили поляки, служили гнѣздомъ невѣрія *in partibus infidelium* и отъ костеловъ отвлекали къ себѣ этихъ, схизматовъ“ или „неунитовъ“ и „дизунитовъ“. Благочестивый народъ уважалъ ихъ и потому, во 1-хъ, что это были русскіе монастыри и въ нихъ были русскіе монахи, говорившіе по-русски, во 2-хъ, потому, что монастыри эти получили благословеніе изъ Кіева, который для всѣхъ украинцевъ всегда оставался святымъ городомъ, съ которымъ соединены всѣ его и славныя историческія, и святыя христіанскія воспоминанія, и потому, наконецъ, что содержанію ихъ помогали сами крестьяне и запорожцы, а разоряли ихъ нѣсколько разъ или турки, или татары, или поляки съ іезуитами. Было нѣсколько случаевъ гоненія на эти монастыри и въ XVIII столѣтіи. Сначала преслѣдованіе шло отъ іезуитовъ, которые распустили свои миссіи по Украинѣ, наставили по селамъ, около церквей, на площадяхъ и перекресткахъ, высокіе столбы съ воткнутыми въ верхушки крестами, которые тоже назывались „миссіями“ и стояли даже въ прошломъ столѣтіи; потомъ по слѣдамъ іезуитовъ пошли базилиане, какъ знающіе русскій языкъ—и все это цензорски-инквизиторскимъ взоромъ слѣдило за народомъ и за тѣми *къ кому* онъ обращался за совѣтами и утѣшеніемъ. Народъ, разумѣется, обращался не къ нимъ, а къ своимъ попамъ, которыхъ отыскивалъ или по монастырямъ, или по скитамъ. Въ Варшаву и даже въ Кіевъ постоянно приходили жалобы на неблаговидныя дѣйствія монастырей, и жалобы эти шли отъ губернаторовъ, которые дѣйствовали, разумѣется, и въ интересахъ своего правительства, и въ интересахъ своей вѣры. Въ Кіевѣ жалобы эти казались самыми удивительными и невѣроятными, тогда какъ въ Варшавѣ имъ давали вѣру, потому что факты, приводимые въ жалобахъ, были слишкомъ осязательнаго свойства. Монастыри эти обвинялись въ томъ же, въ чемъ обвинялись и наши иргизскіе монастыри за Волгой во время пугачевщины. Говорили, что монастыри эти не только потворствовали, но даже помогали гайдамакамъ въ ихъ наѣздахъ на Польшу, что гайдамаки будто бы находились въ самыхъ тѣсныхъ и дружескихъ связяхъ съ монахами, жили въ монастырскихъ лѣсныхъ трущобахъ и даже въ кельяхъ, что раненые гайдамаки свозились въ монастыри и тамъ лѣчились и кормились, что часть награбленныхъ гайдамаками денегъ шла въ пользу монастырей. Уже разъ монастырь лебединскій, вслѣдствіе подобныхъ на него нареканій, можетъ быть, справедливыхъ, подвергся сильному преслѣдованію со стороны польскаго правительства. Монастырь велѣно было упразднить, а монаховъ предать духовному суду высшей судебной іерархіи. Съ этою цѣлью въ монастырь явилась милиція, отрядъ которой, предводительствуемый полковникомъ Ковалевскимъ, разрушилъ монастырь и церкви, и только св. трапеза осталась неприкосновенною. Однако, монахи, которые считали себя неподсудными польской или уніатской іерархіи, разбѣжались. Мѣсто монастыря, однако, осталось священнымъ у на-

рода, и тѣ же разбѣжавшіеся монахи испросили у польскаго правительства позволенія возвратиться въ разрушенную, но дорогую для нихъ обитель. Разрѣшеніе было дано, благословеніе получено отъ „своихъ изъ Кіева“, и народъ, вмѣстѣ съ запорожцами, опять возобновилъ уважаемый имъ монастырь на остаткахъ разрушеннаго. За это гоненіе святое мѣсто сдѣлалось еще священнѣйшимъ въ глазахъ народа, а запорожцы, да иногда и гайдамаки, имѣли гдѣ голову преклонить и помолиться „своимъ богамъ“.

Однимъ словомъ—русскіе монастыри, русскіе монахи и бродячіе запорожцы съ гайдамаками въ польской Украинѣ въ XVIII вѣкѣ предъиспытали ту же участь, какую и въ прошломъ вѣкѣ испытали въ западномъ краѣ католическіе монастыри, дававшіе пріютъ у себя и простымъ повстанцамъ, и даудцамъ повстанцамъ, и скрывавшіе въ своихъ стѣнахъ оружіе ихъ, раненыхъ и всѣ съѣстные припасы. Только та разница, что ни католическимъ монастырямъ западнаго края, ни ихъ монахамъ и ксендзамъ, ни повстанцамъ народъ въ западномъ краѣ не сочувствовалъ настолько, насколько сочувствовало русское населеніе польской Украины пріютившимся въ ея лѣсахъ православнымъ монастырямъ и монахамъ.

Въ этихъ-то монастыряхъ жилъ и подвизался, предъ уманскою рѣзней, Значко-Яворскій. Малороссіянинъ родомъ, православный по убѣжденію и горячій патріотъ, онъ не могъ хладнокровно смотрѣть, какъ католическое и уніатское духовенство наводняло его родину, отдѣленную отъ Россіи Днѣпромъ и какъ бы брошенную на произволъ судьбы. Чѣмъ ревностнѣе шла уніатская пропаганда, тѣмъ жарче становилось противодѣйствіе Мельхиседека иновѣрному вліянію и тѣмъ открытѣе шла агитація во имя всего русскаго и православнаго. Католики говорятъ, что онъ дѣйствовалъ такъ дерзко и открыто, „вѣроятно по приказанію своего духовнаго начальства“, конечно, изъ Кіева, изъ-за Днѣпра, и что этотъ смѣлый „дизунитъ“ началъ уговаривать жителей всей Украины, разумѣется польской, преимущественно же населеніе смілянкой, черкасской, жаботинской и другихъ губерній, не только простой народъ, но и духовенство, однихъ къ сохраненію „схизмы“ (т.-е. православія), кто же уже былъ схизматикъ, другихъ къ удаленію отъ повиновенія уніатскому митрополиту, которымъ былъ тогда Фелиціанъ Володковичъ. „*Кажется даже*,—говорятъ католики,—что съ особаго дозволенія православнаго епископа переяславскаго Гервасія Линовскаго, онъ рѣшился давать благословеніе на постройку новыхъ русскихъ церквей, посвящать оныя и народъ, всегда уніи сопротивлявшійся, къ себѣ привлекать. Вскорѣ смілянская, жаботинская и другія сосѣднія волости къ этому образу мыслей были преклонены тѣмъ легче, что многіе изъ чужестранцевъ (т.-е. русскихъ запорожцевъ) были съ ними въ родствѣ. Это было причиною, что чернь украинская начала возмущаться и осмѣливалась изгонять, бить и наносить раны уніатскимъ священникамъ, съ явнымъ непослупаніемъ митрополиту (уніатскому же), своему духовному пастырю, съ большимъ неуваженіемъ не только къ храмамъ Господнимъ, но даже и къ святымъ Его тайнамъ“.

Такъ говорятъ уманскіе католическіе монахи того времени объ агитаціи Мельхиседека и о послѣдствіяхъ этой агитаціи. Они, какъ видно изъ этого, единственно обвиняютъ Мельхиседека, какъ виновника смутъ, а, между тѣмъ, забываютъ, что, если строптиво дѣйствовалъ Мельхиседекъ, то противная партія дѣйствовала менѣе осторожно, а иногда и возмутительно жестоко, какъ мы упомянули выше. Если бы жестокость, съ какою дѣйствовала католическая пропаганда, не бросилась тогда же въ глаза людямъ безпристрастнымъ, то Квасневскій, о которомъ мы говорили выше, не выгналъ бы изъ своей губерніи апостоловъ уніи, какъ онъ ихъ выгналъ за нихъ „różne, nawet dotkliwie przesladowania“ православныхъ. Во всякомъ случаѣ вѣсы едва ли могутъ склониться на сторону католиковъ въ данномъ случаѣ, если даже на сторону ихъ вѣсовъ положить трупы двухъ замученныхъ ими около того времени ктиторовъ.

Какъ бы то ни было, но Мельхиседекъ навлекъ на себя сильное неудовольствіе уніатскаго духовенства. Г. Скальковскій говоритъ, что дѣйствія его, вѣроятно, не сопровождались благоразумною осторожностью, и „онъ подвергся гоненіямъ мѣстнаго уніатскаго епископа Гервасія Линовскаго, отъ котораго претерпѣвалъ тяжкое заключеніе“ *). Надо замѣтить, что у г. Скальковскаго произошелъ здѣсь недосмотръ: онъ называетъ, во-первыхъ, Гервасія Линовскаго уніатскимъ епископомъ, тогда какъ онъ былъ православнымъ, о чемъ и говорится у г. Скальковскаго въ той же книгѣ, только ниже, и, во-вторыхъ, тамъ же онъ говоритъ, что заключилъ Мельхиседека въ заключеніе Фелиціанъ Володковичъ, что дѣйствительно и было.

Дѣйствительно, Фелиціанъ Володковичъ, „митрополитъ кievскій и всея Руси“, какъ онъ себя называлъ, рѣшился поставить Мельхиседека въ невозможность дѣйствовать и наказать его жестоко. Католики повѣствуютъ, что Володковичъ, „видя пораженіе своего стада, какъ добрый и чуткій пастырь, не переставалъ изыскивать средства, какъ бы спасти заблудшія свои овцы. Потому прежде всего онъ рѣшился схватить упомянутаго Мельхиседека, какъ незаконно въ его управленіе вмѣшавшагося человѣка. Что, исполнивъ удачно, содержалъ его сперва въ Радомыслѣ, а послѣ въ Дерманѣ, на Волини, гдѣ сей послѣдній добровольно далъ признаніе, *кто его къ такимъ дѣйствіямъ побуждалъ и посылалъ*... Но, ушедъ изъ заточенія извѣстными ему средствами, возвратился опять въ свой монастырь“ **).

Съ этого времени Мельхиседекъ, дѣйствительно, становится уже страстнымъ агитаторомъ и подготовителемъ уманской рѣзни. Одни говорятъ, что тюремное заключеніе подвинуло его на это опасное дѣло, другіе— что наводненіе польской Украины католическими миссіонерами, которыхъ Квасневскій выгналъ изъ чигиринскаго староства. Говорятъ, что тотчасъ послѣ этого изгнанія Мельхиседекъ созвалъ къ себѣ въ монастырь все тамошнее духовенство для совѣщанія, какъ поступать имъ, если католики

*) „Наѣзды гайдам.“, 69.

**) Тамъ же. 209—210.

опять сдѣлають на нихъ подобное нашествіе *). На этомъ совѣщаніи порѣшили послать съ просьбою о защитѣ (о protekcyi) къ кievскому губернатору или къ запорожскому кошевому. Польскіе историки добавляють, что, по свидѣтельствѣ Квасневскаго, знавшаго обо всемъ, что тамъ дѣлалось, просители получили и съ той, и съ другой стороны отказъ (odmowa). Нѣтъ сомнѣнія, что свидѣтельство Квасневскаго достовѣрно, такъ какъ ни кievскій губернаторъ, ни кошевой, которымъ тогда былъ Петръ Калнишевскій, преслѣдовавшій гайдамаковъ не менѣе Лантуха, а, слѣдовательно, едва ли смѣвшій открыто благоволить и ихъ задѣйпровскимъ союзникамъ, не имѣли права дать какую бы то ни было надежду подданнымъ другого государства, въ томъ смыслѣ, что они будутъ ихъ защищать.

Мельхиседекъ не остановился на этой попыткѣ. На его глазахъ происходило такое движеніе въ Польшѣ, которое должно было или погубить польскую Украину, если конфедераты, а съ ними и католическая клика, восторжествуютъ надъ противной партіей, стоявшей за диссидентовъ, или же пагубить самую Польшу. Въ пустынные монастыри, гдѣ сидѣли подобные Мельхиседеку монахи, доходили изъ Варшавы и изъ-за Днѣпра достовѣрные слухи, что въ столицѣ поляковъ уже распоряжается почти самовластно молодой русскій баринъ, Репнинъ, что русскія войска стягиваются къ польскимъ границамъ, что войска эти идутъ защищать безопасность этихъ самыхъ монаховъ, „дизунитовъ“, схизматовъ или диссидентовъ и что польскому государству пришелъ послѣдній конецъ. Слухи эти заставили Мельхиседека рѣшиться на смѣлую попытку, тѣмъ болѣе, что, во всякомъ случаѣ, рано ли, поздно ли, его опять ждала польская тюрьма, а можетъ быть и участь млевскаго ктитора. Получивъ отказъ въ защитѣ отъ кievскаго губернатора и отъ кошевого, онъ положилъ попытаться счастья у самой императрицы, отъ которой исходили повелѣнія и о выводѣ русскихъ войскъ къ польскимъ границамъ, и объ оставленіи диссидентовъ въ покое. Мельхиседекъ, такимъ образомъ, отправился въ Петербургъ ходатаемъ за свою родину и за всѣхъ съ нимъ единовѣрныхъ. Положительныхъ свѣдѣній объ этомъ предметѣ пока нѣтъ, но польскіе историки утверждаютъ, что Мельхиседекъ былъ допущенъ къ императрицѣ. На его представленія, Екатерина будто бы отвѣчала уклончиво, однако же, не прямымъ отказомъ, а еще меньше общаніемъ помощи. Она сказала, что въ чужомъ государствѣ распоряжаться не желаетъ, но что всѣ диссиденты православія исповѣданія въ Польшѣ отъ русскаго посланника, пребывающаго въ Варшавѣ, сильную защиту имѣють.

Съ такимъ отвѣтомъ воротился Мельхиседекъ изъ своего путешествія. Въ эту пору дѣйствія его остаются неразгаданными, и едва ли когда-нибудь исторія можетъ раскрыть тайну, унесенную Мельхиседекомъ въ могилу. Когда онъ воротился изъ Петербурга, у него вдругъ явилась гра-

*) „... jeżeliby podobny na nich zdarzył się napad“ Lippom.

мата, будто бы данная ему императрицею Екатериною II, и въ грамотѣ этой изображено данное войску запорожскому повелѣніе—помогать всѣмъ средствами угнетенной церкви. Если подобная грамота и дана была ему императрицею, что болѣе чѣмъ сомнительно, то такого рода повелѣніе, какъ вмѣшаться тайно въ дѣла другого государства, должно было быть облечено тоже глубокою тайною. Если Екатерина давала предписаніе полководцамъ вести русскую армію къ польскимъ границамъ и тайно переговаривалась съ Фридрихомъ II о раздѣлѣ Польши, то она могла дать тайную грамоту и Мельхиседеку, чтобы онъ ее тайно же предъявилъ запорожскому войску, которое, подобно прочимъ русскимъ войскамъ, и должно было перебраться за польскую границу, въ тамошнюю Украину, для защиты диссидентовъ. А, между тѣмъ, историки подозреваютъ, что грамота была фальшивая, что Мельхиседекъ самъ сочинилъ ее, ничего не добившись въ Петербургѣ. Даже народъ на Украинѣ въ сороковыхъ годахъ говорилъ, что Мельхиседекъ самъ „удралъ золотую грамоту“, что „писака онъ былъ добрый“ и написалъ въ этой грамотѣ, что „великъ свѣтъ государыни велить рѣзать жидовъ и ляховъ до ноги, чтобы они и не смердѣли на Украинѣ“. Можетъ быть, это и клевета на Мельхиседека, но во всякомъ случаѣ тайна эта, пожалуй, и останется навсегда тайною. Мало того, народъ не только былъ увѣренъ, что государыня велѣла рѣзать католиковъ, но что она даже прислала на Украину нѣсколько воевъ ножей, которыми слѣдовало рѣзать евреевъ и поляковъ и которые Мельхиседекомъ были овящены и окроплены молитвенною водою.

(Съ этою „золотою грамотою“ (которую, замѣтимъ кстати, еще недавно поляки хотѣли поднять на ноги украинскій народъ, уже въ XVIII вѣкѣ рѣзавшій пановъ, во имя какой-то „золотой грамоты“) Мельхиседекъ отправился въ Запорожье. Онъ нашелъ тамъ со стороны набожныхъ казаковъ и гостепріимство, и глубокое почтеніе, какое запорожцы оказывали всѣмъ православнымъ монахамъ, подобно тому, какъ оказали они такое же гостепріимство гайдамацкому предводителю Найдѣ, прикрытому монашескою рясою. Мельхиседекъ явился къ кошевому Калнишу и предъявилъ ему грамоту или высочайшій указъ. Кошевой, будто бы „обыкновенно не знающій грамоты“, передалъ указъ для прочтенія войсковому писарю, которымъ былъ тогда Иванъ Глоба, и умный казакъ будто бы немедленно удостовѣрился въ подлогѣ и убѣдилъ кошевого не вмѣшиваться въ это дѣло. Кошевой будто бы далъ такой отвѣтъ игумену: если бы великая монархиня потребовала въ самомъ дѣлѣ службу казаковъ, своихъ „широ-подданныхъ“, то прислала бы свой указъ не черезъ игумена, а чрезъ особаго посланца, „якъ то изъ вѣковъ бывало“ въ Запорожьѣ. Конечно, кошевой былъ правъ въ такомъ только случаѣ, если бы указъ былъ не тайный, но не тайнымъ онъ не могъ быть, а въ дѣлахъ, требующихъ соблюденія глубокой тайны, обыкновенные, „изъ вѣковъ“ заведенные приемы отлагаются въ сторону, и указъ могъ быть присланъ и не чрезъ посланца, когда въ указѣ рѣчь шла о незаконномъ вмѣшатель-

ствѣ въ дѣла другого государства, особенно послѣ того, какъ это вмѣшательство уже послѣдовало открыто.

Не добившись ничего на Запорожѣ, Мельхиседекъ, въ гнѣвѣ будто бы на кошевого, сказалъ что отомстить и ему, и полякамъ, съ которыми онъ и безъ помощи войска управится. Оттуда онъ пробрался къ низовьямъ Днѣпра, гдѣ еще въ старое время организовались шайки гайдамаковъ и гдѣ во всякое время можно было найти и скучающихъ московскими порядками и строгостями запорожцевъ, и безпріютныхъ рабочихъ, перебивавшихся поденщиною на рыбныхъ ловляхъ при устьяхъ Днѣпра и Буга, и опытныхъ ватажковъ, выжидающихъ случая, чтобъ подобрать хорошую сотню пѣхоты и конниковъ и идти въ польскую землю „Христа славить“, или оборванные кожану мѣнять на шитые жупаны. Давая пріютъ украинской вольницѣ въ своемъ монастырѣ, въ чемъ не безъ основанія обвиняли Мельхиседека поляки, онъ зналъ, гдѣ можно положить основаніе гайдамацкому ополченію, зналъ, что между тайными гайдамаками у него найдется не одинъ пріятель, которому онъ давалъ кровь и хлѣбъ въ своемъ монастырѣ или лѣчилъ отъ ранъ, полученныхъ въ стычкахъ съ поляками,—и онъ, дѣйствительно, не ошибся въ расчетѣ. Ему нужно было найти полководца для будущаго ополченія, а съ полководцемъ можно было найти и ратниковъ. Полководецъ нашелся.

Въ бобринецкомъ уѣздѣ херсонской губерніи, на рѣчкѣ Громоклѣ, берега которой и зимовники, около нея лежащіе, издавна были извѣстны гайдамацкими притонами, такъ какъ земли эти, принадлежа къ бугогардовской паланкѣ, менѣе всего могли бояться и московскаго „недреманнаго ока“, и запорожскихъ строгихъ присмотровъ, по причинѣ отдаленности отъ Сѣчи,—жилъ отецъ будущаго главы уманскаго возстанія. Это былъ старый запорожскій казакъ, бывшій когда-то куреннымъ товарищемъ и полковымъ есауломъ, по имени Григорій Желѣзнякъ. Зимовнокъ его былъ тамъ, гдѣ теперь село Алексѣевское. До 1755 года Григорій Желѣзнякъ сидѣлъ зимовникомъ въ казацкой паланкѣ, на рѣчкѣ Сурѣ, гораздо ближе къ центру запорожскихъ владѣній, а съ этого времени переселился на Громоклею, гдѣ было тоже достаточно запорожскихъ зимовниковъ, но гдѣ жизнь была вольнѣе, потому что сторона была глухая и еще не вполне подчинившаяся желѣзной регламентаціи, въ которую обстоятельства все болѣе и болѣе вкочивали вольное запорожское войско. Хотя громоклейскіе, какъ и бугскіе, гайдамацкіе притоны, какъ и столица ихъ на одномъ изъ острововъ Буга или новѣйшая „гайдамацкая сѣчъ“—были разгромлены кошевымъ Лантухомъ и его помощникомъ Калнишемъ, однако, притоны еще оставались, только крупныя и укрѣпленныя пушками становища раздробились на мелкія, незамѣтныя для наблюдательнаго глаза запорожской старшины. Въ этихъ-то пустыняхъ жилъ старый Желѣзнякъ. У него было два сына, изъ которыхъ младшій, Максимъ, будущій „гетманъ славной Украины и князь смилянскій“, заступилъ мѣсто отца въ войскѣ и числился въ тимощевскомъ куренѣ. Запорожцы, товарищи Желѣзняка,

по курению, утверждали, что онъ вышелъ изъ Польши, изъ села Ивковецъ, что и родомъ онъ полякъ и что только въ сороковыхъ или пятидесятыхъ годахъ прибылъ въ Запорожье. Всѣ отзывались также о Максимѣ Желѣзнякѣ, что онъ былъ казакъ храбрый, смѣтливый и грамотный. Онъ былъ артиллеристъ, т.-е. служилъ въ войсковой пушкарской командѣ. Иногда, оставляя на время курень, онъ „аргатовалъ“ въ низовьяхъ Днѣпра, гдѣ много подобныхъ ему казаковъ и простыхъ гультаевъ аргатовало на рыбныхъ ловляхъ, или же „шинковалъ“, продавая водку или въ Запорожьѣ, или въ Очаковѣ. Однимъ словомъ — казакъ бывалый и много выдавшій. Какъ большая часть закоренѣлыхъ запорожцевъ, онъ часто пропадалъ безъ вѣсти. Г. Скальковский говоритъ даже, что въ куренныхъ регистрахъ съ 1750 по 1770 годъ, которые находились у него въ рукахъ, нѣтъ даже имени Максима Желѣзняка, и предполагаетъ поэтому, что Желѣзнякъ, по обычаю войска, имѣлъ тогда, вѣроятно, другое прозвище. Тучапскій въ своихъ запискахъ упоминаетъ, что Желѣзнякъ былъ „запорожскій сотникъ“, и, вѣроятно, какъ на разбойника и смотрѣли на него поляки *), съ чѣмъ, впрочемъ, соглашались, кажется, и казаки, предполагавшіе, что въ то время, когда онъ пропадалъ безъ вѣсти, онъ, безъ сомнѣнія, пускался „въ пѣхоту“ или ломалъ свое ратище съ крымцами и поляками, по обычаю гайдамацкому. Тучапскій же указываетъ на то, что Желѣзнякъ, какъ „кающійся грѣшникъ (pokutnik), находился въ монастырѣ, въ Киевѣ, подобно своему предшественнику, а можетъ быть, и современнику, Найдѣ „песиголовцу“. Указываютъ даже на монастырь, въ которомъ онъ подвизался въ качествѣ послушника, именно монастырь Межигорскій, въ Киевѣ. Но болѣе распространено то мнѣніе, что Желѣзнякъ былъ предводителемъ гайдамацкой шайки и, когда приходила нужда, то укрывался или въ Запорожьѣ, или въ Лебединскомъ лѣсу, или же шелъ въ другой монастырь на службу и тамъ замаливалъ свои грѣхи.

Всѣ эти видимыя противорѣчія—хорошій казакъ, потомъ гайдамацкій ватажокъ, потомъ монастырскій послушникъ, разбой и молитва, а тамъ опять разбой и покаяніе—являются весьма естественными проявленіями одного и того же характера, сложившагося во времена далеко не похожія на наши. Какъ мы уже замѣтили, и Стенька Разинъ былъ очень набоженъ, ходилъ пѣшкомъ въ Соловки, а потомъ выказалъ себя такимъ кровожаднымъ убійцей, какихъ мало представляетъ исторія. И Пугачевъ былъ очень набоженъ, пока Кожевниковъ не передалъ въ его руку древко съ кускомъ полотна наверху и пока это полотно не превратилось въ знамя. Найда также двѣнадцать лѣтъ молился и домолился до того, что счелъ необходимымъ зарѣзать столько пановъ, чтобъ кровью ихъ можно было залить цѣлую огненную гору. Такіе характеры вырабатываются извѣстнымъ временемъ и совокупностью всѣхъ жизненныхъ условій, которыя въ другое время становятся немыслимыми. И что замѣчательнаго въ этомъ

*) „... grabieżem i rozbojem bawjącego się“. Tuczap.

явленіи, такъ это то, что подобные характеры вырабатывались въ личностяхъ крупныхъ, далеко не дюжинныхъ. Пугачевъ и Желѣзнякъ являются цѣльными типами и служатъ какъ бы знаменіями времени.

Нѣтъ ничего удивительнаго, слѣдовательно, если предводитель гайдамацкой шайки, Желѣзнякъ, былъ набожнымъ монастырскимъ послушникомъ *). И онъ тамъ былъ не одинъ, а съ нимъ молилось нѣсколько другихъ запорожцевъ и гайдамаковъ, и въ монастырѣ смотрѣли на нихъ какъ на добрыхъ людей и благочестивыхъ. Въ Запорожѣ Максима видѣли въ послѣдній разъ съ 1767 году.

Такимъ образомъ къ отцу этого Максима пробрался Мильхеседекъ послѣ неудачи своей въ Запорожѣ съ „золотою грамотою“. Старикъ, самъ бывшій запорожецъ и, слѣдовательно, врагъ поляковъ, легко убѣдился доводами Мельхиседека и согласился отпустить своего сына на дѣло, которое затѣвалъ Мильхеседекъ. Надо полагать, что сынъ находился въ это время у отца, хотя польскіе писатели утверждаютъ, что въ самомъ началѣ смуты онъ былъ въ польской Украинѣ и жилъ въ лѣсу съ товарищами, состоя въ то же время на благочестивой службѣ при монастырѣ. Мельхиседекъ переговорилъ лично съ Максимомъ и сильно подѣйствовалъ на воображеніе честолюбиваго запорожца, котораго натура, порывистая и безпокойная, искала, какъ видно, болѣе широкой и славной дѣятельности, чѣмъ тайное гайдамачество и роль служки при монастырѣ. Въ перспективѣ рисовалось ему возстановленіе гетманщины на обѣихъ сторонахъ Днѣпра и гетманская булава въ его собственныхъ рукахъ. Образъ Хмельницкаго всталъ передъ нимъ во всей обаятельной силѣ, а съ нимъ вмѣстѣ истребленіе ляховъ и жидовъ, всегда заманчивое дѣло для казака даже самыхъ честныхъ убѣжденій. При томъ же, Мельхиседекъ давалъ деньги, съ помощію которыхъ можно было не только набрать охотниковъ, но и нанять „зайвыхъ“ гультаевъ на добрыхъ коняхъ и съ хорошимъ вооруженіемъ. Желѣзнякъ тотчасъ сталъ виднымъ предводителемъ народнаго ополченія, и у него явились перначи и знамена — знаки не простого возстанія, а войны — войны народной.

Но прежде, чѣмъ Желѣзнякъ выступилъ во главѣ народнаго ополченія съ знаменами и перначами, возстаніе подготовилось исподволь въ окрестностяхъ и подъ прикрытіемъ тѣхъ монастырей, о которыхъ мы говорили. Сначала изъ Сѣчи прибыло въ мотронинскій монастырь трое гайдамаковъ, какъ бы на поклоненіе, какъ приходилъ прежде и Желѣзнякъ. Гайдамаки эти были — Демьянъ Гнида, Лусконогъ и Шелестъ. Они казались такими „вахляями“, ни къ чему негодными, смиренными. Ходили они въ рубищѣ и смотрѣли такими слабыми, согбенными. Изъ нихъ Гнида отправился въ лебединскій монастырь, Лусконогъ — въ монастырь мошенскій, а Шелестъ остался въ мотронинскомъ. Находясь въ монастыряхъ, они все дѣлали копыя, скупали

*) „... znajdował się w medwedowskim monasterze na posłuszaniju, co znaczy dobrowolne poświęcenie się na usługi monasteru z nabożenstwa. Lipp.

жуяны, шаровары, шапки, сапоги. Видно было, что они готовили все это для народнаго ополченія, но народъ не догадывался, и когда гайдамаковъ спрашивали о назначеніи этого импровизированнаго арсенала, они отвѣчали, что сошлютъ все это въ Сѣчь, какъ гостинецъ, потому что все это тамъ дорого, а народъ все прибываетъ, такъ и трудно достать одежду и вооруженіе. Но для монаховъ не было тайной ни цѣль приходоу къ нимъ гайдамаковъ, ни ихъ занятія. При всемъ томъ монахи молчали и даже позволяли гайдамакамъ укрываться въ такихъ трупобахъ и недоступныхъ пещерахъ, которыя могли быть извѣстны однимъ только отшельникамъ. Въ одной изъ подобныхъ пещеръ, въ недоступной чащѣ лѣса, пребывалъ и Шелестъ, когда требовали того обстоятельства. Между тѣмъ гайдамаки прибывали.

Когда изъ этихъ новыхъ пустынниковъ, у которыхъ вмѣсто четокъ были ножи и копья, составила довольно значительная партія, то они устроили въ мотронинскомъ лѣсу свою собственную сѣчь, подобіе той, какую они покинули на родинѣ, въ Россіи. Замѣчательно, что гайдамаки, вездѣ, гдѣ бы они ни осаживались надолго, устраивали нѣчто подобное своей метрополіи, „матери сѣчи“, съ такими же порядками и обычаями какъ въ истинной Запорожской Сѣчи. Такая гайдамацкая сѣчь была на островѣ Бугѣ, разрушенная кошевымъ Лантухомъ, такая же сѣчь укрывала шайку Найды, и такую же сѣчь устроили гайдамаки въ мотронинскомъ лѣсу, еще до прихода къ нимъ Желѣзняка въ качествѣ главы народнаго ополченія. Для сѣчи выбрано было такое мѣсто, которое съ трехъ сторонъ окружено было буераками, а на четвертой поставлена была башня. Къ этимъ естественнымъ укрѣпленіямъ гайдамаки прибавили еще то, что кругомъ обрубилъ лѣсомъ. Посреди сѣчи, какъ говорятъ преданіе, насыпали кучу денегъ, перекрестили ее ниткою и нитку прикрѣпили въ четырехъ мѣстахъ колышками. Вокругъ этихъ денегъ всегда ходилъ часовой, какъ около войскового казначейства. Самая сѣчь находилась въ одномъ буеракѣ *), а въ другомъ, называемомъ Бойковая Лука, помѣщался „скликъ“—нѣчто въ родѣ вѣчевого колокола, только колоколъ замѣнялся у нихъ котломъ. Котелъ висѣлъ на дубу, а около него была „довбня“—долбешка, которую били въ котелъ. Когда случалась тревога или нужно было оповѣстить о какомъ-нибудь общемъ дѣлѣ или грозящей опасности всѣхъ гайдамаковъ, находившихся въ сосѣднемъ лѣсу, тогда били въ котелъ, и ватага собиралась, гдѣ бы кто ни былъ. Около „слика“ находился „значекъ“—особое мѣсто, отведенное для пастбища гайдамацкихъ лошадей. Верстахъ въ трехъ отъ „значка“, къ мѣстечку Жаботину, на

*) У Липомана гайдамацкій станъ изображенъ нѣсколько иначе. По его словамъ, станъ находился на небольшой чистой полянкѣ, которая занимала не болѣе полморга земли, надъ глубокимъ оврагомъ, называвшимся Холодный Ярѣ, и все это было въ чащѣ огромнаго и густаго лѣса. По оврагу бѣжалъ ручей чистой родниковой воды. Эту поляну, какъ и дорогу, ведущую отъ мельницы до монастыря черезъ лѣсъ, гайдамаки обложили дубовыми рогатками, которыя еще были видны въ 1780 году.

высокомъ курганѣ, находилось „гульбище“. Съ этого кургана виденъ весь Жаботинъ. На гульбищѣ обыкновенно собирались гайдамаки, играли въ карты, пѣли пѣсни—опять-таки повтореніе того же, что дѣлали и за-порожцы въ свободное время въ куреняхъ, на пикетахъ и на рыбныхъ ловляхъ.

Отсюда гайдамаки дѣлали свои вылазки и грабили кого могли.

Такія же шайки, какъ около мотронинскаго монастыря, образовались въ сосѣдствѣ и другихъ монастырей.

Само собою разумѣется, что до польскихъ властей не могла не дойти вѣсть объ этихъ гайдамацкихъ сборищахъ, и власти, конечно, не безъ основанія, подозрѣвали въ этомъ случаѣ не только потворство со стороны монастырей, но и прямую помощь гайдамакамъ. Явные улики прямо говорили, что у гайдамаковъ и у монаховъ общее дѣло, и эти улики раньше были причиною того, что или эти монастыри подвергались нападеніямъ со стороны поляковъ, какъ это было недавно, или же подобные коноводы народнаго движенія, какъ Мельхиседекъ, платились за свои связи съ гайдамаками тюрьмою и болѣе строгими наказаніями. Въ настоящемъ случаѣ поляки также нагрянули на монастырь и начали розыскъ. Монахи вышли къ нимъ съ хлѣбомъ и солью. На вопросы поляковъ, гдѣ гайдамаки, монахи отвѣчали, что ничего не знаютъ. Поляки искали безуспѣшно, несмотря на то, что перерыли все въ мотронинскомъ монастырѣ, искали гайдамаковъ въ церкви, за иконостасомъ—но ничего не нашли, потому что гайдамаки сидѣли въ своемъ укрѣпленномъ притонѣ. Когда эти послѣдніе узнали о нашествіи поляковъ на монастырь, они тотчасъ отрядили двоихъ изъ своихъ товарищей въ сосѣднее мѣстечко въ Замятницу, чтобы тѣ, надѣлавъ тамъ тревоги, отвлекли поляковъ изъ монастыря. Посланные прискакали въ Замятницу и бросились на арендатора и другихъ евреевъ, которыхъ и начали колоть въ корѣмъ. Гайдамаки и здѣсь вполне были увѣрены въ сочувствіи къ нимъ крестьянъ. И, дѣйствительно, когда народъ увидѣлъ рѣзню, онъ понялъ, что это распоряжаются „свои“, что это дѣло „ихъ вѣры“. На вопросъ народа: „а что, господа,—наша вѣра?“—гайдамаки отвѣчали: „сами видите,—что ваша—иначе не кололи бы мы ляховъ да жидовъ“. И народъ не трогалъ ихъ, а, напротивъ, охотники шли въ ихъ шайку.

Между тѣмъ, когда поляки производили тщетный розыскъ въ монастырѣ, туда прискакалъ изъ Замятницы гонецъ, съ извѣстіемъ что „гайдамаки Замятницу вырѣзали“. Не зная ничего вѣрнаго о силѣ гайдамаковъ, поляки бросились въ Жаботинъ. Гайдамаки, уже цѣлой шайкой, двинулись тоже къ Жаботину и засѣли въ лѣсу. Тогда поляки ушли въ Смилу.

Въ такомъ положеніи находились дѣла передъ приходомъ Желѣзняка. Само собою разумѣется, что прибывшіе раньше другихъ изъ Запорожья гайдамаки—Шелестъ, Гнида и Лусконогъ, уже сбросили съ себя маску смиренія и дѣйствовали открыто, какъ опытные воины.

Пришло, наконецъ, время, „освященія ножей“.

II.

„Освященіе ножей“ гайдамацкихъ или „чигиринське свято“ происходило 23 апрѣля, въ день святаго великомученика Георгія, въ который въ лебединскомъ монастырѣ былъ престольный праздникъ. Съ этого дня возстаніе становится открытымъ, и Желѣзнякъ является главою гайдамаковъ.

„Освященіе ножей“ происходило слѣдующимъ образомъ: ко дню храмового праздника изъ всѣхъ околныхъ селъ собрался народъ въ лебединскій монастырь: тутъ уже были не только гайдамаки, собравшіеся гораздо раньше „освященія ножей“ въ монастырскихъ лѣсахъ, но и толпы народа, привлеченныя въ монастырь какъ предстоящимъ праздникомъ, такъ и молвою о томъ, что въ монастырѣ будутъ „ножи святить“ и что съ этого дня, съ помощью святыхъ ножей, начнется истребленіе поляковъ и евреевъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и возстановленіе свободы. Преданіе говоритъ, что къ монастырю подвезено было нѣсколько воевъ, наполненныхъ ножами, и что эти ножи тайно прислапы изъ Россіи, отъ самой императрицы, въ подарокъ русскому народу, находящемуся подъ польскимъ владычествомъ, что прямо и выражено мастерскимъ стихомъ Шевченка въ его поэмѣ „Гайдамаки“ *). Сочинителемъ этого слуха о присланныхъ Екатериною ножахъ былъ, конечно, тотъ же, кто сочинилъ и „золотую грамоту“, однако, на народъ такой слухъ не могъ не произвести сильнаго вліянія, особенно когда онъ не прочь былъ вѣрить всему, что только могло льстить его завѣтнымъ мечтамъ. При томъ же Мельхиседекъ тайно показывалъ всѣмъ, кто колебался, „золотую грамоту“, и, такимъ образомъ, народное чувство, и безъ того враждебное къ полякамъ, доведено было до крайняго напряженія. Послѣ службы и молебна съ водосвятиемъ священники съ хоругвями и образами вышли къ народу, прошли между возами и окропили ножи святою водою.

„Молитесь, братія! молитесь! (такъ говорилъ благочинный, вѣроятно, Мельхиседекъ). Кругомъ святаго Чигирина станетъ стража съ того свѣта— не дасть святаго распинать. А вы Украину спасайте: не дайте матери, не дайте въ рукахъ у палача пропадать. Отъ Конашевича и до сихъ поръ пожаръ не гаснетъ, люди мрутъ, изнываютъ въ тюрьмахъ, голые, босые. Дѣти не крещеныя растутъ—казацкія дѣти! А дочери, краса казацкаго края, у ляха вянутъ, какъ прежде мать увядала, и непокрытая коса стыдомъ сбѣчется, черныя очи въ неволѣ гаснутъ, и расковать казака сестру свою не хочеть и самъ не стыдится изнывать въ ярмѣ у ляха... Горе!

*) При описаніи „чигиринскаго праздника“ онъ такъ говоритъ о ножахъ:

По-підъ дібровою стоять
Вози залізної тарані:
То щедрої гостинець пані—
Уміла що кому давать...

горе! Молитесь, дѣти! Страшный судъ ляхи несутъ въ Украинну, и заплачутъ черныя горы.

„Вспомните праведныхъ гетмановъ — гдѣ ихъ могилы? Гдѣ лежатъ остатки славнаго Богдана? Гдѣ убогая могила Острицы? Гдѣ могила Наливайка? Нѣтъ ихъ! Живого и мертвѣго сожгли... Гдѣ тотъ Богунъ? гдѣ та зима? Ингуль, что зиму замерзаетъ? Не встанетъ Богунъ, чтобы загатить его шляхетскими трупами. Ляхъ гуляетъ. Нѣтъ Богдана окрасить кровью ляховъ Желтыя Воды и Рось зеленую. Тоскуетъ Корсунъ староденный, и не съ кѣмъ ему тоску раздѣлить, и Альта плачетъ: „тяжко жить... Я сохну... сохну... Гдѣ Тарасъ?.. Нѣтъ! не слышно... Не въ отца дѣти“.

Народъ, говорятъ, плакалъ, слушая эти слова. „Не плачьте, братія (продолжалъ „благочинный“), за насъ и души праведныхъ и сила архистратига Михаила. Не за горами кары часть... Молитесь, братія“ *).

И народъ молился, готовясь, какъ онъ полагалъ, на святое дѣло — на убійство. Потомъ сказали народу, чтобы онъ бралъ ножи, и народъ разобралъ ихъ.

Такъ у Шевченка изображено освященіе ножей и такъ передана имъ рѣчь, сказанная къ народу при этомъ освященіи. Все это передано имъ со словъ самого же народа. Такъ ли передана эта рѣчь, какъ она, дѣйствительно, говорила, и не погрѣшили ли мы противъ исторической истины, сообщая ее въ историческомъ очеркѣ — едва ли можетъ это рѣшить самая строгая историческая критика. Вѣроятно, и рѣчи, которыя говорилъ Наполеонъ или другое историческое лицо, говорились далеко не такъ, какъ записаны кѣмъ-либо по памяти, и потомъ передаются историками; но мы вѣримъ имъ, и только грубую ложь или грубую ошибку отвергаетъ историческая критика, а многое, можетъ быть, и ложное оставляетъ нетронутымъ, за неимѣніемъ возможности проверить тотъ или другой фактъ. Въ противномъ же случаѣ, если приведенная нами рѣчь — ложь или сочиненіе поэта, то и всѣ рѣчи Наполеона, говоренныя имъ къ его великой арміи, будутъ ложь, и всѣ русскія лѣтописи, съ рѣчами, влагаемыми въ уста великихъ князей и другихъ лицъ, будутъ ложь и сочиненія поэтовъ — лѣтописцевъ. Задача исторіи, въ такомъ случаѣ, сузится до передачи однихъ послужныхъ списковъ дѣйствующихъ лицъ и ихъ казенныхъ реляцій, если послужные списки и реляціи тоже не ложь до вѣкоторой, впрочемъ, довольно значительной степени. Мы полагаемъ, что такіа скрупулезныя отношенія къ исторіи отрицали бы самое существованіе ея.

Послѣ освященія ножей, гайдамаки три дня не выступали въ дѣйствительный походъ, а оставались въ мотронинскомъ лѣсу. Почему они медлили, ни одинъ изъ писателей не объясняетъ этого. Но едва ли остановка эта происходила оттого, что гайдамаки не имѣли предводителя, что хотя во главѣ ихъ и стояла такая популярная личность, какъ Желѣзнякъ, однако, они и самъ Желѣзнякъ, будто бы, желали имѣть другого предводителя,

*) „Гайдамаки“, Шевченко.
т. XXII.

болѣе авторитетнаго, какъ увѣрять Липоманъ. По его словамъ, Желѣзнякъ съ нѣсколькими изъ своихъ товарищей прїѣзжалъ ночью изъ табора въ Медвѣдовку, къ Квасневскому, подполковнику чигиринскихъ казаковъ, просилъ будто бы его сдѣлаться предводителемъ возстанія, что Квасневскаго будто бы не засталъ дома, а передалъ свою просьбу его жентѣ, которая очень испугалась, когда увидѣла у себя гайдамаковъ, но что Желѣзнякъ попросилъ у нея водки и, напившись съ своими товарищами, спокойно уѣхалъ *). Далѣе говорить, что Квасневскій, по возвращеніи домой, узнавъ объ этомъ посѣщеніи и желаніи гайдамаковъ имѣть его своимъ предводителемъ, и боясь повторенія посѣщеній, предвидя вмѣстѣ съ тѣмъ, что, за отказомъ, гайдамаки могли убить его, а входя съ ними въ какія-нибудь связи, онъ навлекъ бы на себя подозрѣніе правительства и самъ былъ бы признанъ за бунтовщика, видя, наконецъ, сильное замѣшательство въ народѣ (*między rozpólstwem*)—взялъ свою жену и сына и отправился въ городъ Крыловъ, собственно въ ту его половину, которая лежала за рѣкою Тясминомъ и принадлежала русскому правительству **), гдѣ онъ считалъ себя уже не во власти Желѣзняка. Такимъ образомъ Квасневскій избѣжалъ грозившей ему опасности и оставался на русской сторонѣ до самаго усмиренія поднимавшейся бури и въ то же время получалъ обстоятельныя донесенія обо всемъ, что происходило дальше отъ преданныхъ ему поселенъ.

Мы потому не довѣряемъ, въ данномъ случаѣ, показанію Липомана, что не въ характерѣ и не въ расчетахъ Желѣзняка было просить кого бы то ни было принять на себя начальство надъ возстаніемъ, когда это была его заветная мечта, когда впереди у него блестяла обаятельная гетманская булава, возстановленіе гетманщины обѣихъ сторонъ Днѣпра и конечное истребленіе поляковъ. Всего менѣе гайдамаки, а особенно Желѣзнякъ, могли обратиться къ Квасневскому, къ польскому пану, а если и не пану, то такому лицу, которое представляло изъ себя мѣстное, т.-е. польское правительство, потому что въ то время Квасневскій представлялъ изъ себя начальство, былъ „*rzadca*“. А если къ тому же онъ былъ полякъ и католикъ, то первая гайдамацкая пика была бы непременно направлена на него, и всего скорѣе, что отъ самого же Желѣзняка. Этого-то, вѣроятно, и боялся Квасневскій, а не предложенія, сдѣланнаго ему гайдамаками — быть ихъ начальникомъ, и потому раньше всѣхъ успѣлъ бѣжать, потому

*) „...nie zastawszy go (Квасневскаго) w domu, oświadczył przestraszonoj jego żonie (бо już rozszedł się odgłos, że w lesie motrenińskim są hajdamacy), iż by się niczego nie lękała, gdyż on nie przyjechał w jej dom. lecz jedynie z prośbą do jej męża, iżby on koniecznie był ich watażką (duwódcą), potem prosił wódki, i napiwszy się z swoimi towarzyszami, spokojnie się oddalił“. Rzez Hum. Lip.

**) Рѣка Тясминъ служила границей тогдашнихъ русскихъ владѣній съ польскими. Крыловъ лежалъ на обѣихъ сторонахъ рѣки и половинами своими принадлежалъ Россіи и Польшѣ.

что, безъ сомнѣнія, раньше всѣхъ онъ погибъ бы, если бы оставался на своемъ мѣстѣ. Гайдамаки шли противъ поляковъ и властей, а Квасневскій былъ и полякъ, и „намѣстникъ“, т.-е. самая первая власть, которая лежала гайдамакамъ поперекъ дороги. Мы подозреваемъ даже, что никого другого, какъ Квасневскаго разумѣть народный разсказъ подъ тѣмъ „намѣстникомъ“, который, лишь только услышалъ о появленіи гайдамаковъ, убѣжалъ изъ Смилы въ Камянку съ казакомъ Лопатомъ. У него подъ кодою была сотня реестровыхъ казаковъ. Онъ такъ испугался слуха о появленіи гайдамаковъ, что совершенно растерялся. Не зная, что ему дѣлать, идти ли противъ разбойниковъ, или уходить отъ нихъ, онъ спрашивалъ атамана своихъ казаковъ: „можно ли стать противъ гайдамаковъ?“ Когда тотъ сказалъ, что можно, но что бѣда въ томъ, что ихъ „пуля не беретъ“, намѣстникъ кончилъ тѣмъ, что скрылся и отъ гайдамаковъ, и отъ своихъ казаковъ. Бѣгство намѣстника было причиною того, что и реестровые казаки передались на сторону гайдамаковъ.

— Что, будете вы съ нами биться, или нѣтъ? (спрашивалъ посланный къ казакамъ гайдамацкій атаманъ).— *Мы не по своей волѣ пришли*. Смотрите, чтобъ и вамъ не было такой бѣды, какъ ляхамъ.

При этомъ гайдамацкій атаманъ показалъ реестровымъ казакамъ какую-то бумагу. Вѣроятно многозначительная фраза — *мы не по своей волѣ пришли* — имѣла сильное значеніе въ глазахъ казаковъ, потому что они тотчасъ же пристали къ гайдамакамъ. Бумага же, показанная казакамъ, могла быть „золотая грамота“.

Шайка Желѣзняка увеличилась, такимъ образомъ, реестровыми казаками. Но онъ все еще не выступалъ въ походъ, и, безъ сомнѣнія, не по тѣмъ причинамъ, что не находилось предводителя, за отказомъ отъ этого званія Квасневскаго. Во всякомъ случаѣ, мы не можемъ положиться на показаніе Липомана, который тутъ же рядомъ дѣлаетъ весьма грубую ошибку, несмотря на неоднократныя увѣренія, что онъ изъ всѣхъ рукописныхъ сказаній объ уманской рѣзнѣ и изъ разсказовъ очевидцевъ старался извлекать самую „чистую правду“ *). Онъ говоритъ, что когда Желѣзнякъ еще не выводилъ свою шайку въ поле, двое изъ главныхъ гайдамаковъ поссорились между собою, и одинъ другого убилъ изъ пистолета. Это были Шило и Швачка. Липоманъ увѣряетъ, будто Шило застрѣлилъ Швачку во время ссоры. Ничего этого не было, и мы увидимъ Швачку однимъ изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ этой кровавой гульни народной, въ самыхъ жаркихъ дѣлахъ, увидимъ его и въ Бугуславѣ, и въ Умани рядомъ съ Желѣзнякомъ и въ послѣдней его схваткѣ съ казаками, о которой народная память сохранила такое поэтическое воспоминаніе и въ

*) „... Z opowiadań naocznych świadków starał się prawdę wybadać“ или въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: „z rękopismów Tuczapskiego, Krębowej, także z opowiadań naocznych świadków, starał się autor tego pisma wyścięgnąć czystą prawdę“.

такихъ художественныхъ чертахъ. Все это мы увидимъ въ свое время. Правда, въ мотронинскомъ лѣсу произошла ссора между двумя гайдамаками, и одинъ изъ нихъ застрѣлилъ другого, но только не Шило Швачку. Ссора была такого рода: одинъ изъ гайдамаковъ, но не простой „летяга“, а атаманъ гайдамацкій, называлъ за что-то казака „жидомъ“. Такое оскорбительное названіе, обращенное къ лицу казака, вызвало все его негодованіе. Казакъ бросился на оскорбителя съ пистолетомъ. Атаманъ открылъ передъ нимъ грудь и сказалъ: „стрѣляй!“ Его считали „характерникомъ“, такимъ человѣкомъ, котораго не беретъ пуля. Казакъ выстрѣлилъ и убилъ атамана. Когда на него бросились другіе казаки, онъ объяснилъ имъ причину ссоры, говорилъ, что казака нельзя равнять съ жидомъ, что въ такомъ случаѣ—„вы всѣ жида, когда я жидъ“. И казаки оправдали убійцу, сказавъ: „ледачому ледача и смерть“.

Наконецъ, казаки выступили изъ своего лѣсного табора и потянулись по направленію къ Черкасамъ. Первое село, которое они встрѣтили на пути, была Медвѣдовка, въ которой существовалъ древній православный монастырь. Въ самый день прихода гайдамаковъ была тамъ ярмарка, на которую собралось много народа изъ окрестныхъ селеній. Появленіе гайдамаковъ произвело необычайную тревогу и все бросилось спасаться. Но Желѣзнякъ, приказывая своимъ казакамъ останавливать народъ, говорилъ всѣмъ:

— Не бойтесь, люди добрые, мы васъ не тронемъ. Гуляйте себѣ и торгуйте.

Лучшая, отборная часть гайдамацкой ватаги имѣла видъ стройнаго войска. Надъ нею развѣвались знамена и пестрѣли разноцвѣтные значки, прикрѣпленные къ длиннымъ копейнымъ древкамъ. Позади тянулись толпы коннаго и пѣшаго народа въ разнообразныхъ костюмахъ и съ разнообразнымъ вооруженіемъ. Рѣдкій былъ достаточно вооруженъ, но у всѣхъ было что-либо въ рукахъ—у кого ружье, а у бѣдной голытьбы ничего, кромѣ обожженныхъ кольевъ *). Въ этомъ народномъ ополченіи дѣликомъ воспроизводилось поголовное возстаніе при Хмельницкомъ, когда Украина имѣла „больше войска, чѣмъ оружія“. И тогда безоружный народъ шелъ съ кольями **).

Въѣхавъ на ярмарку, Желѣзнякъ прочиталъ къ народу „золотую грамоту“, и толпа легко воспламенилась, имѣя въ перспективѣ свободу, богатство и прекращеніе польскаго владычества. Войско Желѣзняка увеличилось, такимъ образомъ, новыми охотниками.

*) „... wie niaki z różnym orężem, a niektrzy nawet, zamiast pik, z osmolonemi na końcach kijami“.

**) Современная дума такъ описываетъ войско Хмельницкаго:

За імъ козаки йдуть,
Якъ ярая пчола гудуть:

Который козакъ не мае въ себе шабли булатної,
Пищали семипядної,

Той казакъ кій на плечі забірае,

За гетьманомъ Хмельницкимъ увъ охотне військо поспішае.

Оттуда гайдамаки бросились на Жаботинъ, мѣстечко, принадлежавшее ему изъ князей Любомирскихъ, которые за нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ истребили шайки Чуприны и Чортоуса. Въ Жаботинѣ же былъ до тѣхъ поръ начальникомъ казацкой сотни знаменитый Харько, котораго поляки аноимно погубили въ Поволочи. Теперь тамъ командовалъ городовыми войсками князя Любомирскаго Мартынъ Бѣлуга, а губернаторомъ былъ ковникъ Вичалковскій. Бѣлуга тотчасъ же присоединился къ Желѣзнякомъ своими казаками, и Жаботинъ постигла участь взятаго на копье ода. Замокъ разоренъ, мѣстечко разрушено, а польское и еврейское население было переколото пиками или замучено иными муками. Хотя Вичалковскій и успѣлъ спастись бѣгствомъ, но есть основаніе думать, что и не минула общая участь всѣхъ польскихъ губернаторовъ и арендаторовъ. Такъ одна пѣсня о Желѣзнякѣ намекаетъ на участь, постигшую ернатора, котораго Мартынъ Бѣлуга водить за собою по рынку и грозить:

Бѣлуга Мартынъ жаботинскій да по риночку ходить,
Своего пана губернатора за собою водить,
И водючи за собою, та й до его каже:
„Не одного теперъ дяха голова заляже“..

Другое мѣстечко, принадлежавшее князьямъ Любомирскимъ, Смила, же было взято гайдамаками, разграблено и сожжено. Волненіе расхлосъ шире и шире, пожаръ и рѣзня охватывали уже не однѣ окрестномотронинскихъ и лебединскихъ лѣсовъ, а сосѣдніе округи на цѣлыя ятки верстъ. Это состояніе польской Украины изображено такими яркими красками популярнѣйшаго украинскаго поэта:

Задзвонили въ усі дзвони
По всій Україні,
Закричали гайдамаки:
„Гине шляхта! гине!
Гине шляхта,—погуляємъ
Та хмару нагріємъ!“
Зайнялася смілянщина—
Хмара червоніє,
А найперша Медведівка
Небо нагріває.
Горить Сміла, смілянщина
Кровью підпливає.
Горить Корсунъ, горить Канівъ,
Чигиринъ, Черкаси,
Чорнимъ шляхомъ запалало—
И кровь полинася
Ажъ у Волинь...

Какъ и во время пугачевщины, въ разныхъ мѣстахъ появились отьлыныя партіи, подъ предводительствомъ своихъ „ватажковъ“. Недалеко отъ мотронинскихъ лѣсовъ, въ многолюдной Мельниковкѣ, встала одна изъ крупныхъ личностей гайдамачины, Семенъ Неживый. Онъ былъ прежде

простымъ работникомъ у одного гончара (poddany garniezar). Въ этомъ наймитѣ горшечника давно проявлялись честолюбивыя стремленія. Онъ давно говорилъ: „Я хоть на одинъ день, а буду паномъ“. И онъ, дѣйствительно, сталъ паномъ на нѣсколько мѣсяцевъ, распоряжаясь въ обширныхъ старостахъ черкасскомъ и чигиринскомъ, а частью въ смилянщинѣ, какъ въ завоеванной имъ странѣ *). Онъ называлъ себя запорожскимъ казакомъ и именно уманскимъ куреннымъ, и объявлялъ народу, какъ видно изъ послѣдующихъ показаній на допросахъ захваченныхъ гайдамаковъ, что у него есть „нѣякесь дозволеніе“, а этимъ „дозволеніемъ“ ему разрѣшалось собирать „чату“ (шайку), быть командиромъ этой шайки и съ нею идти въ „лядщину на искореніе ляховъ и жидовъ“. Народъ шелъ за нимъ толпами, увлекаемый таинственнымъ „дозволеніемъ“.

Около Хвостова образовались подобныя же шайки **). Въ окрестностяхъ Черкасъ, Чигирива, Корсуни и Канева народъ поднимался по одному слуху, что уже встали не гайдамаки только, а началось „посполите рушеніе“. Поляки и евреи въ страхѣ убѣгали за Днѣпръ, подъ прикрытіе русскихъ крѣпостей, а не успѣвшіе бѣжать въ Россію, искали безопасныхъ мѣстъ въ польской Украинѣ, по городамъ, замкамъ и лѣсамъ. Въ одномъ лѣсу скрывалось довольно значительное число поляковъ, которые тамъ же зарыли въ землю свои сокровища, и когда гайдамаки вошли въ лѣсъ, поляки прятались на деревьяхъ, откуда гайдамаки сбивали ихъ чѣмъ попало, а зарытыя богатства пограбили. Не дожидаясь пришествія Желѣзняка или другихъ предводителей, народъ самъ начиналъ расправу, дѣти шли за родителями убивать пановъ, женщины шли въ гайдамаки, вооружаясь ухватами:

Жінки навіть зъ рогачами
Пішли въ гайдамаки.

Остались по селамъ только собаки да маленькія дѣти—совершенно какъ въ пугачевщину. Во время пугачевщины даже собаки убѣгали изъ деревень и толпами ходили за обозами, или слѣдуя за хозяевами, или съ голоду пожирая убитыхъ и палыхъ лошадей, а нерѣдко и трупы человѣческіе. Если изъ какой-нибудь избенки показывался мужикъ, вооруженный гайдамацкими доспѣхами, пикою или ружьемъ или обожженною дубиною, то это была рѣдкость, и всякій гайдамакъ, увидѣвъ такого „гулящаго чловѣка“, могъ закричать ему: „Убирайся въ хату, сермяжникъ! выстрѣлю!“

Толпы Желѣзняка подходили къ Черкасамъ, куда уже раньше забирались отдѣльныя ватаги, бражничали тамъ, вывѣдывали, силенъ ли черкасскій замокъ, но замка взять не могли. Эта честь выпала на долю Же-

*) Неживый, „oglosiwszy się watażką, zebrał kupe, z kilkuset buntowników składającą się i rozciągnął grabież i zarójsiwa w dosyć obszernych starostwach, czerkaskiem i czeherynskiem, także w znacznej czę ci smila szczyzny.

**) „... około Chwostowa i w innych wielu bardzo miejscach podobne rozliczne buntowników zgromadził“.

лѣзняка. Самовидцы такъ описываютъ торжественный вѣздъ этого народнаго любимца въ Черкасы и его наружность. Передовые отряды его имѣли видъ „настоящаго войска“, какъ и толпы Пугачева, которые разъ самъ Михельсонъ ошибкою принялъ за правительственныя войска — въ такомъ порядкѣ они готовились къ битвѣ. Впереди ѣхалъ Желѣзнякъ, на буланомъ конѣ, въ красной одеждѣ, въ „кармазинѣ“. Шапка на немъ была сѣрая, сафьяные сапоги, безъ сомнѣнія, цвѣтные, шалевый поясъ, за поясомъ пистолеть, съ боку сабля. Онъ былъ человѣкъ еще не старый, лѣтъ сорока или за сорокъ, полный, круглолицый, красивый, роста небольшого, но широкоплечій. Небольшіе русые усы, за ухомъ длинный чубъ. За нимъ ѣхали по два въ рядъ конники, съ копьями, и у переднихъ паръ копыя съ двойчатыми значками—одна половина значка бѣлая, а другая красная, потомъ значки желтые съ чернымъ, дальше красные съ синимъ и т. д. Въ самомъ хвостѣ шли пѣшіе безъ копій и безъ оруженія, а только съ обожженными на концахъ колыями. Это уже были ватаги „винокуровъ“ и другая голытьба. Дѣти стояли по сторонамъ дороги и съ любопытствомъ смотрѣли на эту торжественную процессію, снявъ шапки и кланаясь. Желѣзнякъ обратился къ нимъ съ запорожскимъ привѣтствіемъ:

— Здорово, сучаки!

— Здравствуй, панъ.

— А что, вы не пашете?

— Нѣтъ, панъ.

— А мы ужъ начали пахать!—сказалъ Желѣзнякъ, намекая на начало рѣзни.

Желѣзнякъ проѣхалъ по той улицѣ, которая ведетъ прямо въ черкасскій замокъ. Черезъ мостъ онъ вѣхалъ съ своей толпой въ замокъ, башня котораго была уже отворена. Вѣхавъ въ замокъ, гайдамаки остановились рядами. Желѣзнякъ скомандовалъ: „съ коней!“—и гайдамаки сошли съ лошадей и, поставивъ копыя въ козлы, привязали лошадей у коновязей. Желѣзнякъ съ приближенными прошелъ прямо къ покоямъ. Къ нему навстрѣчу вышли черкасскіе городовые казаки съ своимъ атаманомъ. Казаки сняли шапки передъ Желѣзнякомъ, и онъ, подойдя къ нимъ ближе, тоже снялъ, но тотчасъ надѣлъ снова. Казаки оставались съ открытыми головами.

— Здорово, казаки,—обратился къ нимъ Желѣзнякъ.

— Здравствуй, батько атаманъ!

— А гдѣ вашъ атаманъ?—спросилъ Желѣзнякъ.

Атаманъ тотчасъ выбѣжалъ къ нему съ непокрытою головою. И Желѣзнякъ снялъ шапку. Они обнялись и поцѣловались. „Просите же на покой“, сказалъ Желѣзнякъ, и атаманъ повелъ гайдамацкое начальство въ господскіе покои. Простые гайдамаки разсыпались по городу на промыселъ. „Аренда“ была разбита, обручи съ бочекъ сколочены, и водка потекла ручьями по землѣ. Женщины, не боясь гайдамаковъ, которые ихъ не трогали, какъ и дѣтей, дѣлали изъ песку запруды и черпали водку, разливаемую на землю гайдамаками.

Послѣ водки полилась и кровь рѣкою. Черкасы не пощажены, не смотря на то, что гайдамаки не встрѣтили здѣсь никакого сопротивленія. Желѣзнякъ, стоя на базарѣ, распоряжался грабежомъ и убійствами. „Добре, дѣтки!“—кричалъ онъ, когда гайдамаки неистовствовали.—„Добре, мучьте ихъ, проклятыхъ! Въ раю будете!“ Послѣ грабежа городъ былъ зажженъ и брошенъ гайдамаками, которые потянулись дальше, на новые убійства и грабежи.

Слухъ о томъ, что запорожцы пришли изъ Россіи для освобожденія польской Украины отъ поляковъ, охватывалъ все большее пространство, и вмѣстѣ съ тѣмъ поднималъ на ноги всѣхъ, кто способенъ былъ владѣть, еси не саблей, то хоть просто дубиною. Иныя толпы тянулись къ главной арміи, предводительствуемой Желѣзнякомъ, другіе дѣйствовали самостоятельно во имя все же какъ бы общаго дѣла. Прежняя польская милиція, состоявшая изъ казаковъ, почти вся передалась на сторону гайдамаковъ. Мелкіе катанки кружили съ своими шайками отъ села до села, грабя то, что не было ограблено, и добывая недобитыхъ. Гайдамаки не пропустили ни Корсуни, ни Канева. Каневъ имѣлъ укрѣпленный замокъ, пушки и сильный гарнизонъ, но и это не спасло его. Чѣмъ гдѣ было больше сопротивленія, тѣмъ свирѣпѣе было нападеніе гайдамаковъ. Въ Каневѣ находилось много базилианъ, которые и имѣли свой гарнизонъ, и на базилианъ-то особенно и обрушилась ярость разбойниковъ. Базилиане съ ихъ аббатомъ, онъ же и староста, были захвачены. Убійство шло повальное, лишь бы жертва имѣла польское имя или еврейскій обликъ. Какъ и предыдущіе города и села, Каневъ былъ выжженъ. Часть поляковъ заперлась въ замокъ, обнесенный тройнымъ частоколомъ. Гайдамаки поступили съ этимъ замкомъ, какъ Пугачевъ съ городомъ Осоею: къ частоколу натаскана была солома и зажжена: всѣ укрывшіеся въ замкѣ живьемъ погорѣли *).

Какъ во всѣхъ народныхъ смутахъ, гайдамаками овладѣло какое-то опьяненіе, и они злородствовали надъ своими жертвами, находя время забавляться надъ умирающими и издѣваться надъ трупами. Въ Каневѣ съ евреями посадили рядомъ двѣнадцать евреекъ и, зайдя съ боку, стрѣляли по нимъ изъ пистолетовъ, какъ въ цѣль. Всѣ были убиты. Осталась одна, которую миновали пули. Гайдамаки отправились къ атаману спросить, что съ ней дѣлать. Атаманъ велѣлъ окрестить еврейку, и гайдамаки окрестили ее. Они же были и кумовьями, а потомъ новокрещенной набрасали столько денежекъ, что и конь не въ силахъ былъ везти. Къ несчастью, всѣ мѣстности, по которымъ проходили гайдамаки, имѣли значительный процентъ еврейскаго и польскаго населенія, и это-то самое помогало все болѣе и болѣе разыгрываться страшной бурей. Общаго плана, повидимому, не было, да и не могло быть у гайдамаковъ, хотя самъ Желѣзнякъ и имѣлъ въ головѣ широкіе планы. По при разбросанности и подвижности шайкъ нельзя

*) О нападеніи на Каневъ есть особая поэма Гонзиньскаго—*Zamek kaniewski*.

было и ожидать единства дѣйствія. Главныя силы, конечно, группировались около Желѣзняка, который былъ представителемъ движенія; но какъ во всѣхъ народныхъ смутахъ, имѣющихъ характеръ погодовнаго возстанія, отдѣльныя массы дѣйствовали слишкомъ разбросанно, такъ что самъ Желѣзнякъ не все зналъ, чего онъ надѣлалъ своимъ обращеніемъ къ народу отъ имени будто бы русскаго правительства. Эта разбросанность дѣйствій гайдамаковъ затрудняетъ историка передать въ общей картинѣ это страшное время, потому что кровавыхъ и рельефныхъ эпизодовъ было слишкомъ много, подобно тому какъ и въ пугачевщину самъ Пугачевъ не могъ знать и сотой доли того, что дѣлалось вокругъ него и вдали отъ него атаманами и полковниками, часто отъ его имени, часто именемъ „воли“, за которую шли какъ пугачевцы, такъ и гайдамаки.

III.

Хотя гайдамачина, какъ и всѣ народныя мятежи, представляетъ слишкомъ много доказательствъ совершенно, повидимому, бессмысленнаго ожесточенія, не оправдываемаго никакою логическою цѣлью, однако, самыя возмутительныя безобразія разнузданнаго и какъ бы одурѣвшаго отъ крови народа, въ данномъ случаѣ, имѣли основаніемъ какую-то идею, правда, весьма смутно сознаваемую народомъ. Нельзя отрицать, что всеобщая смута вызвала наружу всѣ таившіяся въ немъ низкія страсти, но даже и въ безнамятствѣ страстнаго порыва народъ зналъ, чего онъ искалъ.

Сажая евреевъ и поляковъ на пики, набивая свои карманы золотомъ, высыпаннымъ изъ кармановъ убитыхъ и сожженныхъ жертвъ своихъ, мѣняя свою ободранную кожушину на богатый кафтанъ, который снимался съ плечъ убитаго, а иногда и недобитаго пана, украинскій повстанецъ видѣлъ въ своей жертвѣ не только католика или еврея, но и *конфедерата*, новаго врага, который, по мнѣнію возставшихъ, грозилъ Украинѣ новыми, какими-то невѣдомыми бѣдами. Слово „конфедерация“ успѣло быстро облетѣть всю польскую Украину и крѣпко засѣло въ головѣ народа. Онъ даже хорошо не понималъ, что это за слово и какая идея съ нимъ соединена, но оно пугало его. Это было что-то хуже и страшнѣе уніи, и народъ окрестилъ это непонятное слово по-своему. Для него это была не „конфедерация“, а „кондирація“, нѣчто въ родѣ сдиранія шкуры съ народа, дранье и по спинѣ, и по карману, и по душѣ. И въ народѣ создалась уже страшная пѣсня объ этой новой бѣдѣ, и онъ поетъ въ этой пѣснѣ:

Теперичка ляхи щось починають,
Кондирацію и панківъ собі собирають.
Ходімо до Потоцького мостці,
До его графської ведьможносці.

Все тотъ же Потоцкій, у котораго „розумъ жіноцький“ и который „запропастилъ Польшу и всю Украину“, и его конфедерация засѣла у

всѣхъ въ головѣ, и вотъ въ безсмысленномъ, повидимому, ожесточеніи масса проглядываетъ цѣль, и къ этой цѣли идутъ массы, по крови и пожарамъ. Объ этомъ гайдамаки разсуждаютъ уже въ Богуславѣ и нѣсколько времени остаются въ нерѣшимости, куда имъ идти, противъ кого обрушить свое озлобленіе. Главные совѣтники Желѣзняка раздѣлились на военномъ совѣтѣ на голоса, и мнѣнія подавались различныя: имъ не хотѣлось пропускать и Бѣлую Церковь, мнѣнія одного изъ заклятыхъ враговъ гайдамачества и казацкой вольности — князя Любомирскаго, но въ то же время ихъ сильно тянуло къ себѣ богатая Умань, средоточіе и польской силы, и польскаго богатства во всей польской Украинѣ. Умань была какъ бы столицею всего заднѣпровья, и какъ Пугачева тянуло къ Москвѣ и Петербургу, такъ Желѣзняка и его сподвижниковъ тянуло къ Умань. Въ Богуславѣ Желѣзнякъ имѣлъ роздыхъ послѣ нѣсколькихъ дней своей кровавой и огненной, такъ сказать, экспедиціи. Въ Богуславѣ къ нему присоединился новый сподвижникъ, Василій *) Шило, а также почти всѣ богуславскіе городовые казаки съ своими начальниками.

Шило — одинъ изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ уманской рѣзни. Онъ былъ тоже запорожецъ. Находились ли онъ съ гайдамаками въ мотронинскихъ лѣсахъ, или теперь только вступилъ въ гайдамацкое ополченіе, объ этомъ нѣтъ прямыхъ указаній, хотя, какъ мы видѣли выше, Липоманъ и говоритъ, что Шило былъ уже между гайдамаками передъ началомъ ихъ возстанія и еще въ мотронинскомъ таборѣ застрѣлилъ своего товарища Швачку. Вѣроятно, до соединенія съ Желѣзнякомъ или съ главными силами ополченія, Шило предводительствовалъ отдѣльною шайкою, на что мы и имѣемъ указанія. Какъ въ пугачевщину, отдѣльные пугачевскіе атаманы, полковники или просто эмиссары, „служители Петра III-го“, какъ они величали себя, вербовали по деревнямъ народъ во имя мнимаго императора и весьма часто дѣйствовали какъ самостоятельные коноводы народныхъ массъ, такъ и товарищи Желѣзняка: Неживый, Шило и другіе иногда дѣйствовали совокупно съ Желѣзнякомъ, иногда отдѣльно. Мы знаемъ, что у Неживаго была своя партія, у Швачки своя, у Шила тоже имѣлось свое ополченіе. Еще до разрушенія Черкасъ главными силами гайдамаковъ, Шило нѣсколько разъ вторгался въ этотъ городъ. Однажды онъ нагрянулъ туда съ своимъ отрядомъ, человекъ во сто, когда губернаторъ еще не успѣлъ бѣжать на лѣвую сторону Днѣпра, подъ защиту русскихъ. Замковыя ворота были заперты, и гайдамаки стали кричать, чтобъ находившіеся въ замкѣ отворили имъ ворота. Хотя въ замкѣ было не мало народу, который могъ бы отбить нападеніе, однако, губернаторъ побоялся оказать сопротивленіе, и ворота были отперты. Шило въѣхалъ на дворъ и потребовалъ губернатора. Когда тотъ явился, гайдамацкій ватажокъ, сидя верхомъ на конѣ, сталъ читать ему указъ „отъ царицы“, повелѣвавшій будто бы рѣзать ляховъ и жидовъ, „такъ чтобъ и на свѣтѣ ихъ не было“.

*) По другимъ свѣдѣніямъ онъ называется Максимомъ.

Губернаторъ, стоя на колѣняхъ, слушалъ этотъ мнимый указъ. Замѣчательно, что спасателями губернатора въ этомъ случаѣ явились мѣстные городовые казаки, которые, какъ мы видѣли выше, набирались изъ крестьянъ. Когда по городу разнеслась вѣсть, что гайдамаки въ замкѣ, одинъ изъ казаковъ, Судденко, который считался лучшимъ стрѣлкомъ въ округѣ, бросился къ замку узнать въ чемъ дѣло. Въ замокъ его уже не пустили, и онъ только сквозь частоколъ могъ увидѣть, какому униженію подвергался губернаторъ. Просунувъ ружье сквозь щель частокола, онъ уже прицѣлился, чтобы убить того, кто начальствовалъ гайдамаками, но полковникъ замка, котораго тревога застала въ городѣ и онъ посѣщалъ теперь въ замокъ, остановилъ его, не приказывая стрѣлять, не узнавъ въ чемъ дѣло *). Полковника тотчасъ впустили въ замокъ, а за нимъ вошелъ и Судденко. Онъ подошелъ къ губернатору, стоявшему на колѣняхъ, поднялъ его подъ руки и сказалъ:

— Встань, панъ. Что это ты дѣлаешь передъ негодяемъ? Не слушайте ихъ—это гайдамаки. Перестрѣляемъ ихъ, вражьи дѣтей!

Губернаторъ всталъ. Тогда Шило, озадаченный такой неожиданностью и дерзостью, обратился къ Судденкѣ.

— Ты что за человекъ?

— А тебѣ кого нужно?—въ свою очередь спросилъ Судденко.

— Ты, вѣрно, Судденко?

— Такъ, Судденко.

А потомъ, обратясь къ своимъ казакамъ, Судденко сказалъ: „Переколемъ ихъ, панове!“

Шило понялъ, что дѣло можетъ быть совсѣмъ проиграно, такъ какъ его предупреждали, что ему погибнуть отъ пули Судденки, и потому отвѣчалъ:

— Что жъ, панове, какой въ томъ прокъ, что вы насъ переколете! *Насъ много* — переколютъ и васъ. *Я не по своей воли припалъ* — *меня послали*.

Эти слова подѣйствовали на городскихъ казаковъ. Они подумали—и выпустили гайдамака изъ замка. Шило, какъ видно изъ его словъ, дѣйствительно, считалъ себя „посланнымъ отъ кого-то“, и если онъ не исполнилъ возложеннаго на него „къмъ-то“ порученія, то долженъ былъ отвѣчать за это. И вотъ онъ, оставивъ замокъ и расположивъ свою шайку въ городѣ, послалъ въ замокъ казака съ запискою просить губернатора для тайныхъ переговоровъ. Губернаторъ вышелъ безъ оружія, но при немъ находился казакъ съ пистолетами. И Шило тоже вышелъ безъ оружія, но и при немъ находился казакъ съ пистолетами. Последній такъ сказалъ губернатору:

*) Преданіе говоритъ, что Судденко потому не застрѣлилъ атамана Шило, что всякій разъ, какъ онъ прицѣливался въ него, конь, на которомъ сидѣлъ Шило, махалъ головой (такъ какъ его мухи кусали) и мѣшалъ Судденкѣ нацѣлиться. „Зап. о Южн. Рус.“

— Не знаю, что и сказать мнѣ своему старшему!.. Уѣзжай изъ Черкасъ, а я скажу что дома не засталъ.

Губернаторъ не замедлилъ воспользоваться этимъ дозволеніемъ и скрылся изъ Черкасъ, а гайдамаки разбили бочки съ водкой, перепились, заграбили, что могли, и отправились на новые подвиги.

Раньше этого гайдамаки дѣлали нѣсколько набѣговъ на Черкасы, но это не былъ повальный грабежъ, а мелкія хищничества. Одинъ разъ гайдамаки явились въ Черкасы тайно, ночью, и по показанію одного „наймита“, поступившаго въ гайдамаки, ужасными жестокостями вынудили бывшаго хозяина этого наймита отдать имъ деньги. Разбойники посыпали спину несчастнаго порохомъ, потомъ зажгли этотъ порохъ, а чтобъ муки были невыносимѣе—драли спину скребницей, чтобъ порохъ еще мучительнѣе жегъ и развѣдалъ тѣло. Но былъ ли въ этой ночной экспедиціи Шило — это неизвѣстно.

Когда Шило соединилъ свою шайку съ общими силами гайдамаковъ, предводительствуемыми Желѣзнякомъ, рѣшено было идти на Умань, главное польское гнѣздо и мѣсто пребыванія барскихъ конфедератовъ.

Что же дѣлалось въ это время въ остальной польской Украинѣ, куда еще не достигло зарево пожара, распущеннаго Желѣзнякомъ и разбрасываемаго въ разныя мѣста, въ видѣ горящихъ головней, другими шайками гайдамаковъ?

„Въ то время, когда Желѣзнякъ — говорятъ поляки, очевидцы этого пожара,—двигался все далѣе и далѣе, грабя и совершая убійства, когда въ цѣлой польской Украинѣ народъ пошелъ на бунты, на грабежъ и разбой, когда Желѣзнякъ, подвигаясь впередъ, обливалъ кровью путь своего шествія и когда потоки этой крови лились уже и по сторонамъ этого пути“—всѣ, угрожаемые этимъ страшнымъ несчастіемъ надѣялись найти убѣжище въ мѣстахъ вполне обезопасенныхъ „отъ такой сволочи“ *), какъ гайдамаки, именно въ Лисянкѣ, Умани и Вѣлой Церкви.

Время показало, насколько были недоступны для „такой сволочи“, какъ гайдамаки, Лисянка и Умань.

Поворотивъ изъ Богуслава на Умань, гайдамаки должны были на пути своемъ встрѣтить прежде всего Лисянку. Лисянка представляла для нихъ хорошую добычу. Это было наслѣдственное имѣніе князя Яблоновскаго, воеводы повгородскаго. Въ Лисянкѣ былъ каменный замокъ съ флигелями, которые, вмѣстѣ съ главнымъ зданіемъ, составляли четырехугольникъ. Въ самой серединѣ замокъ имѣлъ два этажа, одни ворота и два бастіона, возвышавшіеся на горахъ. Бастіоны съ желѣзными гаковницами (родъ пушекъ) могли оборонять всѣ стороны замка, потому что выстрѣлы съ бастіоновъ могли достигать очень далеко. Кромѣ того, замокъ былъ обнесенъ высокимъ дубовымъ палисадомъ и имѣлъ другія деревянныя ворота, также приспособленныя для охраненія замка. Въ замкѣ, для защиты его отъ не-

*) „... w obwarowanych. jak przed takim motłochem miejascach“... Lip.

пріятеля, имѣлось значительное число пѣшихъ казаковъ и достаточное количество амуниціи. Въ это время находился тамъ, прибывшій изъ волынскихъ нѣмній князя Яблоновскаго, комиссаръ Хичевскій, который пріѣхалъ для обозрѣнія лисянской волости. Волость эта была въ то время очень обширна и заключала въ себѣ, по произведенному тогда исчисленію, до 30,000 душъ. Хичевскій долженъ былъ собрать съ лисянской волости доходы и отвезти своему князю.

Желѣзнякъ, подвигаясь къ Лисянкѣ, увеличивая свою толпу, продолжалъ разглашать, что уже нѣтъ больше крестьянъ *), что польская Украина, подобно заднѣпровской, одну только казацкую службу отбывать будетъ и что край этотъ попрежнему будетъ называться гетманщиною. Въ доказательство этого, онъ показывалъ „какое-то фальшивое на пергаментѣ съ вызолоченными литерами письмо“ **). Это-то и была та золотая грамота, въ сочиненіи которой подозрѣвали Мельхиседека. Его потому больше подозрѣвали въ сочиненіи грамоты (o zrobienie tego pisma), что онъ занимался аптекарствомъ. Еще въ 1780 году, въ Мотронинѣ, отъ содержимой Мельхиседекомъ аптеки оставались шкафы, шуфлады (ящики), флажки, а также банки стеклянныя и деревянныя отъ лѣкарствъ, „его рукою золотыми литерами надписанныя“. Все это послѣ было повыброшено, а шкафы отданы въ медвѣдовскую экономію для склада бумагъ. Однако, сами поляки сознавались, что подозрѣніе, взведенное на Мельхиседека, такъ и осталось подозрѣніемъ, нитѣмъ недоказаннымъ и нитѣмъ неопровергнутымъ ***).

Предшественные слухами о всеобщей волѣ, о снесеніи съ лица земли польскаго владычества, о возстановленіи казачества и гетманщины, подобно тому, какъ Пугачеву предшествовала молва объ истребленіи дворянъ и о неподатной свободѣ, пододвигались гайдамаки къ Лисянкѣ. Слухи эти загнали въ Лисянку нѣсколько сотъ человѣкъ дворянъ и евреевъ, искавшихъ тамъ спасенія жизни. Гайдамаки, явившись въ Лисянку, нашли ее довольно крѣпко защищенною и, не надѣясь взять замка приступомъ, обратились къ обывателямъ самаго мѣстечка, надѣясь при помощи ихъ уклониться отъ пушекъ, которыя смотрѣли на нихъ съ бастіоновъ лисянскаго замка. Они говорили крестьянъ посовѣтовать начальству замка не оказывать имъ сопротивленія и тѣмъ не вызывать ихъ на кровопролитіе. Главнѣйшіе изъ обывателей отправились къ замку и просили позволенія переговорить съ комиссаромъ Хичевскимъ. Ихъ впустили въ замокъ. Лица эти, составлявшія какъ бы депутацію отъ мѣстечка, представляли Хичевскому, что всѣмъ находящимся въ замкѣ будетъ дарована жизнь и оставлено ихъ имущество, если замокъ добровольно сдастся. Впрочемъ, добавляли они, во всякомъ случаѣ, сопротивленіе будетъ не только бесполезно, но и опасно потому,

*) „... że juz poddaństwo zniesione“.

**) „... jakieś fałszywe na pergaminie z wyzłoceniemi literami pismo“.

***) „... Porozumienia takiego istota w mgle niepewności pozostata“.

что весь этот край долженъ быть вскорѣ на тѣхъ же правахъ, на какихъ былъ во время гетманщины. Сами гайдамаки представлялись не какъ простые нападатели на замокъ или бунтовщики, а какъ войско запорожское, творившее не свою собственную волю, а волю пославшаго ихъ. Страхъ или мнимые доводы депутаціи, или, наконецъ, сомнѣніе въ благопріятности исхода предстоящей борьбы, такъ подбѣствовали на Хичевского, что онъ приказалъ отворить ворота бунтовщикамъ. Гайдамаки ворвались въ замокъ и начали свои неистовства (*rzeż i okrucienstwa*). Тутъ произошла оргія, страшнѣе и безобразнѣе всѣхъ, доселѣ совершенныхъ гайдамаками оргій: неистовства, произведенныя въ Смилой, Черкасахъ, Медвѣдовкѣ и Каневѣ, были ничто въ сравненіи съ бѣшеною гульней въ Лисянкѣ.

На Хичевского надѣли сѣдло, ѣздили на немъ, какъ на конѣ, и потомъ закололи копьями. Иные несчастные прятались на крышахъ, гдѣ ихъ хватили и сбрасывали на острые пики. Цѣлая толпа жертвъ бросилась было спастись въ каменный покой при поварнѣ, но ихъ и тамъ всѣхъ „до ноги выкололи“ и „разными желѣзными оружіями повырѣзали“. Въ этомъ покоѣ столько было пролито крови и этой кровью такъ смочены стѣны, что еще въ 1779 году ее не могли забѣлить по самымъ окна. Во второмъ ярусѣ замка, который потомъ былъ снесенъ, при самомъ входѣ въ залу, около дверей вся стѣна была избрызгана кровью. Видно было, что убѣгавшіе отъ разбойниковъ были тамъ перехвачены и копьями заколоты,—всѣ эти кровавые слѣды долго напоминали объ участи, постигшей Лисянку. Такимъ образомъ, всѣ спасавшіеся въ замкѣ погибли ужасною смертью. Спаслось только нѣсколько человѣкъ, которые, одѣвши „по хлопску“, успѣли бѣжать съ арестантами, которыхъ гайдамаки тотчасъ же выпустили изъ острога, лишь только ворвались въ замокъ. То же дѣлали всегда и пугачевцы, лишь только самозванецъ входилъ въ городъ—общая черта, говорящая и объ одинаковости мотивовъ, которыми руководилось то и другое народное движеніе и объ одинаковости средствъ, къ которымъ народъ прибѣгалъ и тамъ, и здѣсь. Спаслось также еще нѣсколько дворянъ, которымъ удалось укрыться между трупами. Ночью, когда упившіеся гайдамаки спали, въ увѣренности, что не осталось ни одного дяха, эти укрывшіеся между трупами спустились со второго яруса, случайно отыскавши веревки, и совершенно нагіе, раздѣтые гайдамаками, которые обдирали труны и приняты этихъ тоже за мертвецовъ, всѣ въ крови, успѣли убѣжать къ знакомымъ поселянамъ (*do wieśniaków*). Большая часть изъ нихъ успѣли скрыться въ деревнѣ Сидоровкѣ, миляхъ въ трехъ отъ Лисянки, и тамъ ихъ припрятали добрые люди. Касса и все, что было цѣннаго въ замкѣ, разграблено.

Но и этимъ не удовольствовалося неистовство гайдамаковъ. Имъ нужно было еще надругаться, натѣшиться надъ жертвами, какъ они это дѣлали и въ Черкасахъ, сдѣлавъ мишенью для своихъ выстрѣловъ двѣнадцать евреевъ. Здѣсь они оказались столь избобрѣтательны въ своихъ надруганьяхъ надъ жертвами, что, при входѣ въ костелъ францискановъ, но-

вѣсили на балкѣ рядомъ ксендза, еврея и собаку, а какой-то находившійся между ними гайдамакъ-литераторъ сочинилъ такую надъ этой картиной надпись:

*Ляхъ, жидъ и собака.
Все віра однако *).*

Такая нечеловѣческая жестокость могла быть вызываема только самымъ страстнымъ чувствомъ мести. Это, дѣйствительно, и была месть, потому что гайдамаки не удовлетворялись даже *одною* смертью своихъ жертвъ, а иногда выказывали желаніе дать каждому истязуемому ими нѣсколько смертей разомъ, и оттого „перемучивали“ трупы, вѣшали и душили мертвыхъ, „чтобъ не повставали“. Между тѣмъ, гдѣ чувство мести не руководило ими, гайдамаки выказывали чувство человѣчности и благодарности. Не всякій „наймитъ“ велъ гайдамаковъ на своего бывшего хозяина, а были случаи, когда добрый хозяинъ или господинъ былъ спасаемъ отъ смерти слугою-гайдамакомъ или сами гайдамаки наказывали своихъ товарищей за безцѣльную жестокость, хотя бы въ отношеніи къ панамъ. Когда одинъ гайдамакъ убилъ изъ ружья черкаскаго губернатора, другіе его товарищи бросились на убійцу и закололи его, говоря: „А! вражій сынъ, *доброго пана* сгубилъ“. Когда гайдамаки подходили къ Черкаску и одинъ зажиточный поселянинъ, у котораго „наймитъ“ *пошелъ* въ гайдамаки, рѣшился бѣжать съ своимъ семействомъ за Днѣпръ, подъ защиту русскихъ, то, переѣзжая на лодкѣ черезъ Днѣпръ, онъ бросилъ на берегу своего маленькаго сына, который плакалъ и не хотѣлъ садиться въ лодку, боясь опрокинуться въ воду. Когда этотъ ребенокъ игралъ потомъ на берегу Днѣпра, на него наткнулся изъ прежній наймитъ, ставшій уже гайдамакомъ. Узнавъ отъ ребенка, что отецъ его бѣжалъ за Днѣпръ, гайдамакъ одѣлилъ этого ребенка деньгами и отправился дальше. Другой оборвышъ-гайдамакъ, забравшись на пасику, нашелъ тамъ старика-пасичника и предложилъ ему помѣниться платьемъ. Испуганный старикъ снялъ съ себя все и отдалъ гайдамаку. Гайдамакъ же съ своей стороны отдалъ старику свое платье, въ которомъ ничего не было, кромѣ лохмотьевъ, затѣмъ, попросилъ меду и, удовлетворившись предложеннымъ угощеніемъ, въ благодарность за гостепріимство указалъ старику мѣсто, гдѣ спрятанъ былъ улей, наполненный мѣдною монетою. Впрочемъ, вообще гайдамаки не трогали ни бѣдныхъ людей, ни женщинъ, ни дѣтей, исключая, конечно, евреевъ и поляковъ, которыхъ встребляли безъ различія состояній, пола и возраста. Щадили жизнь только „добрымъ панамъ“.

*) Липоманъ, сочиненіемъ котораго мы пользовались при описаніи гайдамацкихъ неистовствъ въ Лисянкѣ, пріѣхавъ въ лисянскій замокъ въ 1776 г., слѣдовательно, чрезъ восемь лѣтъ послѣ гайдамачины, жилъ тамъ три года, и отъ мѣстныхъ крестьянъ, а также отъ тѣхъ, которые спаслись отъ рѣзни, видѣвъ всѣ ея ужасы, слышалъ подробности о томъ, что въ этомъ замкѣ дѣлалось въ 1768 году и видѣлъ оставшіеся еще цѣлыми кровавые знаки.

Покончивъ неистовства въ лисянскомъ замкѣ, гайдамаки ринулись далѣе къ Умани. Отдѣлившаяся отъ общей массы толпа бунтовщиковъ направилась къ Бѣлой Церкви, которая не менѣе Лисянки представляла заманчивую добычу.

Мѣстечко Бѣлоцерковь стоитъ надъ рѣкою Росью. Въ то время находился тамъ замокъ, расположенный на горѣ и окруженный валами. По валамъ замокъ укрѣпленъ былъ палисадомъ и защищался пушками и гарнизономъ. Крѣпостная артиллерія могла оборонять своими выстрѣлами не только замокъ, но и самое мѣстечко, которое лежало ниже замка и также обведено было палисадомъ.

Едва гайдамаки приблизились къ Бѣлой Церкви на разстояніе пушечнаго выстрѣла, какъ изъ замка былъ открытъ по нимъ огонь, который и не позволилъ имъ подойти къ строеніямъ. Но когда ядра, перелетая черезъ весь городъ, стали достигать до того мѣста, гдѣ стояли гайдамаки, они не осмѣливались оставаться подъ пушечнымъ огнемъ и удалились. Бѣлоцерковь, такимъ образомъ, спаслась отъ угрожавшей ей опасности, которая, впрочемъ, перенесена была на болѣе ненавистное гайдамакамъ мѣсто—на Умань. При всемъ томъ Бѣлая Церковь могла быть обязана своимъ спасеніемъ не столько стрѣльбѣ изъ орудій замка, сколько другому, болѣе пѣнному для гайдамаковъ обстоятельству. Бѣлая Церковь предалась покровительству Россіи. Можетъ быть, гайдамаки приняли во вниманіе это важное для нихъ обстоятельство и, не желая раздражать русское правительство, именемъ котораго они, повидимому, сильно злоупотребляли, оставили Бѣлую Церковь неразграбленною.

Трагическая участь, постигшая Лисянку, навела паническій страхъ на все польское и еврейское населеніе западной Украины. Въ особенности же ужасъ овладѣлъ послѣднимъ населеніемъ. Поляки еще могли скорѣе спастись, чѣмъ евреи, потому что поляки находили больше защиты и въ своихъ замкахъ, и въ своемъ вооруженномъ дворянствѣ, и, наконецъ, въ городской милиціи, въ которой начальниками были поляки. Зато евреи оставались совершенно беззащитными, а на нихъ особенно, кажется, и было обращено свирѣпство гайдамаковъ. Много уже успѣло погибнуть евреевъ, пока гайдамаки двигали свои нестройныя массы отъ Смилой до Лисянки. Вдали представлялись еще большіе ужасы и поголовная смерть всему еврейскому населенію. Въ памяти воскресали ужасныя воспоминанія, и передъ ними вставали кровавыя расправы съ евреями временъ Морозенка, Нечая, Павлюка и Кривоноса, когда въ одномъ Барѣ предано было смерти, пыткамъ и всевозможнымъ истязаніямъ болѣе 15,000 евреевъ, да столько же въ Немировѣ, да въ Бердичевѣ, Погребищахъ, Тульчинѣ, Умани и въ трехъ стахъ другихъ городахъ Украины, Подоліи и Волыни, когда убивали самымъ ужаснымъ образомъ все, что носило имя или обликъ еврейскій. Къ довершенію ужаса, въ эти самые дни, въ концѣ мая, когда гайдамацкая рѣзня разгаралась все болѣе и болѣе, евреи должны были исполнять такъ называемый „постъ помилованія“ и невольно припоминать всѣ ужасы,

обрушившіеся на ихъ племя въ Украинѣ за восемьдесятъ лѣтъ до этого. Въ „постѣ помилованія“ евреи должны были пѣть, „съ воплемъ и завываніями“, во всѣхъ своихъ синагогахъ, молитву, сочиненную въ память избіенія евреевъ украинскими казаками. Постъ этотъ установленъ навѣчно, и каждый годъ евреи въ молитвенныхъ домахъ своихъ должны пѣть потрясающій душу гимнъ, который пѣли они и въ тѣ самые часы, когда гайдамаки уже рѣзали ихъ единовѣрцевъ по окрестнымъ селамъ и на путяхъ. Вотъ этотъ гимнъ: „Господи всемилосердный, сущій на небесахъ, пріими души мучениковъ, дай имъ насладиться миромъ хотя послѣ смерти. Это души праведныхъ учителей и пастырей Твоего избраннаго народа. И вотъ они теперь закланы, какъ стадо звѣрей безсловесныхъ. Орда проклятыхъ нападаетъ на нихъ, завладѣваетъ ими и заставляетъ ихъ испить всю чашу злополучія. Сердца наши раздрались отъ горести, узнавъ, что въ эти несчастные дни, въ эти злопамятные ночи, погибли отъ меча убійцъ величайшіе изъ нашихъ книжниковъ, толкователей священнаго закона. Тѣ, которые день и ночь изучали священный заветъ Твой, пролили ручьи своей крови. Множество учащагося юношества и дѣтей пало отъ ударовъ истребителей. Ихъ стяжанія сдѣлались добычею пламени. Преклонные лѣтами старцы, младенцы у груди матерей своихъ напрасными воплями наполняли воздухъ. Господь отмститъ за неправду. Священная книга, божественный законъ осквернены руками нечестивыхъ. О, нѣтъ! они пограны ихъ ногами. „Гдѣ вашъ Богъ?—говорили эти варвары, эти страшилища,—пусть защититъ онъ васъ“. О, Господи! взгляни на насъ горѣ, и всѣ нечестивые разсыпятся и падутъ какъ плевела изъ колосевъ. О, заповѣди! О, святой заветъ! прикройте рубищемъ, посыпьте главу вашу пепломъ! Кто теперь будетъ читать васъ, кто васъ истолкуетъ намъ? Излей, милосердный Отче, Твои милости на этихъ мучениковъ, да пріютятся они подъ сѣнію Твоихъ крыльевъ и да насладятся миромъ, хотя послѣ смерти“.

И евреи должны были пѣть эту раздирательную молитву, потому что то, что въ ней упоминалось, повторилось вновь на ихъ глазахъ.

Другая молитва, тоже сочиненная въ память истребленія евреевъ во время войнъ казаковъ съ поляками, не менѣе поразительна по содержанію. „Господи милосердный, сущій въ небесахъ (говоритъ эта молитва), упокой души мучениковъ Немирова, Бердичева, Погребищъ, Тульчина, Пулины, Вара, Умани, Краснаго и 300 другихъ городовъ Руси (галицкой), Украинны, Подолія, Литвы и Волыни. Эти несчастныя жертвы были великіе учителя, писатели, просвѣщенные служители божества, отличные проповѣдники, посвятившіе всю свою жизнь изученію закона (слѣдуютъ имена однихъ погибшихъ раввиновъ). Мужчины, жены, дѣвцы, младенцы—всѣ были умерщвлены. Ихъ кровь текла ручьями въ этомъ злосчастномъ году. Эти мученики не хотѣли измѣнять своему закону. „Богъ есть единъ!“—воскликали они и пали подъ ножами убійцъ. Разбойники не пощадили ни пола, ни возраста. Земля была усѣяна убиенными. Ихъ кровь дымилась какъ оіііамъ предъ алтаремъ всемогущаго. О, Господи милосердный! упо-

кой души мучениковъ сихъ, награда ихъ за ихъ испытанныя добродѣтели“ *).

Такимъ образомъ, положеніе евреевъ было гораздо хуже, чѣмъ положеніе самихъ поляковъ. Обремененные большею частью огромными семействами, особенно бѣднѣйшіе изъ нихъ, эти несчастные, которыхъ во всѣ времена такъ безчеловѣчно преслѣдовали всѣ европейскіе народы, не имѣли даже возможности убѣжать куда-либо, какъ бѣжали поляки, потому что самымъ бѣднымъ изъ нихъ не на что было подняться, а многочисленность семейства не всякому позволяла даже спрятаться гдѣ-нибудь въ лѣсу, въ болотѣ или въ оврагѣ, и онъ долженъ былъ пѣть эту ужасную молитву, какъ бы совершая панихиду надъ самимъ собой. Даже гайдамацкія пѣсни говорятъ, что разбойникамъ легче было справляться съ евреями, чѣмъ съ поляками, а гайдамаки прямо грозятъ, что они всѣмъ имъ снимутъ головы, начиная „отъ Нухима“ и кончая „Борохомъ“. Одна такая пѣсня говоритъ:

Ой, полковнику Желѣзняку!
Ходімъ же ми палити,
Кого спершу начнемъ бити,
А кого будемъ полонити,
Ляхівъ будемъ бити,
А жидівъ шаблями христити:
Ляшина превража дитина,
А жидовинъ зайцеві дружина.
Изъ жидомъ усе втнешь,
Куди треба, то й пошлешь.
А не хоче, то й обдерешь,
А вражого ляха того не вжуешь.

Ой, братці, годиночка дорога,
Треба жъ намъ начинати,
Отъ Нухима до Бороха
Всімъ голови стинати.

Тѣ изъ евреевъ, которые имѣли возможность бѣжать, бѣжали въ Россію, за Днѣпръ; иные спѣшили укрыться въ Умани; наконецъ, тѣ, которые не считали и Умань безопасною отъ нападенія гайдамаковъ, поспѣшили на Волинь и даже перебрались въ Галицію.

IV.

Желѣзнякъ, говорятъ, скучалъ этими кровавыми подвигами своихъ шаекъ, считая ихъ для себя слишкомъ мелкими. Онъ мечталъ о болѣе крупномъ дѣлѣ, которое бы прославило его имя. Ему хотѣлось помѣряться силами съ Потоцкими, о которыхъ вообще такъ много говорили на Украинѣ. и не всегда эта народная молва щадила Потоцкихъ. Такъ, по всей Украинѣ ходило много толковъ о Потоцкомъ, извѣстномъ подъ именемъ „пана Каневского“,

*) Обѣ эти молитвы находятся у Скальковского.

и той исторіи, которую онъ имѣлъ въ Луцкѣ съ красавицей Бондаровной, которую Потоцкій убилъ изъ ружья за ея непреклонность, а потомъ хоронилъ съ музыкой и выкинулъ на столъ сто червонцевъ „за черныя брови“ покойницы. Много толковали и о другихъ Потоцкихъ, и слава ихъ имени привлекала честолюбиваго Желѣзняка столкнуться съ ними съ оружіемъ въ рукахъ.

Вотъ почему Желѣзнякъ повернулъ свои толпы отъ Лисянки по направленію къ Умани, главному городу обширной и цвѣтущей въ то время „Уманской области“, которая представляла какъ бы средоточіе польскаго элемента всей польской Украины. Историческій очеркъ уманской волости покажетъ намъ, какую роль играла она въ исторіи польской Украины второй половины XVII вѣка и первой половины XVIII, въ какія столкновенія входила она съ остальной Украиной, съ Запорожьемъ и со всѣмъ казацко-украинскимъ элементомъ.

Со времени воссоединенія восточной половины Украины съ Россією, до самаго раздѣла Польши, а слѣдовательно и до уманской рѣзни, на границахъ русскаго государства, на юго-западѣ, и на смежныхъ съ этою частью Россіи юго-восточныхъ границахъ Польши, за которою оставалась западная половина Украины, лежало широкое пространство земли, ровное и почти никѣмъ не заселенное, и только изрѣдка перерѣзываемое небольшими рѣками Бугомъ, Синюхою и другими. Это была безграничная степь, которую такъ любили запорожцы и на которой они прежде сталкивались съ татарами, а потомъ съ поляками. Гдѣ оканчивалась эта степь, тамъ границы Россіи и Польши составлялъ Днѣпръ. Границы эти были вновь тщательно обозначены особымъ трактатомъ между двумя государствами около пятидесятихъ годовъ прошлаго столѣтія, когда только-что начало обуздываться своевольство запорожскаго казачества и вмѣсто него выступило на сцену и наводнило степь гультайство гайдамацкое. Для наблюденія за казацкою вольницею, и впоследствии за гайдамаками, съ давнихъ поръ въ пограничныхъ польскихъ мѣстностяхъ, по старымъ конституціямъ (*porządek strony pi-zowcow i Ukrainy*), существовали особые польскіе правительственные „дозорцы“, которые должны были наблюдать за границами со стороны преимущественно этихъ „низовцовъ“ и украинцевъ. Дозорцы зависѣли отъ великихъ коронныхъ гетмановъ и обязанность ихъ состояла въ томъ, что они, подобно русскимъ разъѣзднымъ командамъ, должны были недреманнымъ окомъ смотрѣть за границей, доносить немедленно правительству о серьезныхъ нападеніяхъ со стороны сосѣдей, а противъ мелкихъ набѣговъ и своевольствъ принимать мѣры, укрощать виновныхъ. Последнимъ изъ этихъ дозорцевъ былъ уманскій полковникъ Ортынский, о которомъ мы уже говорили прежде, злѣйшій врагъ гайдамачества и при томъ такой ревностный олюститель польскихъ интересовъ, что, какъ жаловались запорожцы, онъ „съ злодѣйскою партією своею безпрестанно наѣзжалъ на запорожскія земли и найденныхъ тамъ казаковъ, скотарей и табунщиковъ убивалъ, кололъ, захватывалъ въ плѣнъ, а стада ихъ и особенно табуны лошадей уводилъ

съ собою въ Польшу“. Другіе дозорцы или ничего не дѣлали, или скорѣе были похожи на правительственныхъ гайдамаковъ Рѣчи Посполитой, чѣмъ на блюстителей порядка. Кромѣ того, воеводы кievскій (въ польской части кievской области) и брацлавскій наблюдали за охраненіемъ правильности пограничныхъ сношеній Польши съ Россією. Съ русской стороны этѣмъ дѣломъ занятъ былъ кievскій военный губернаторъ, который управлялъ также и частью Малороссіи, кромѣ самаго города Кіева. Но этихъ трехъ лицъ было недостаточно для охраненія такой границы, какъ степь, и притомъ въ виду такихъ сосѣдей, какъ запорожцы и татары, а потомъ гайдамаки, и съ русской и съ польской стороны. Границы, можно сказать, при такомъ слабомъ надзорѣ, кипѣли и крупными и мелкими разбоями, а Польша между тѣмъ, тратя огромныя суммы на свое довольство, на роскошь двора, на безобразную расточительность магнатовъ, не имѣла ни войска для защиты своей страны, ни денегъ для содержанія его.

При этомъ надо принять во вниманіе еще слѣдующія обстоятельства. Россія, которая, какъ выражались современники, желала убрать въ мѣшокъ не только Запорожье, но и многихъ изъ своихъ сосѣдей, на юго-западныхъ окраинахъ своихъ возводила укрѣпленія и зорко слѣдила за своими сосѣдями, тогда какъ сосѣди эти продолжали оставаться въ спокойномъ невѣдѣніи того, что вокругъ нихъ дѣлалось. Кромѣ Каменецъ-Подольска и Крылова, Польша, на пространствахъ всѣхъ южныхъ границъ своихъ, не имѣла ни одного укрѣпленія. Ея земли не только со стороны Запорожья, но и со стороны Бессарабіи были открыты для вторженій. Мы видѣли, какъ гайдамаки (шайки Чуприны и Чортоуса), боясь показаться въ виду русскихъ шанцовъ на границѣ, уходили изъ польской Украины черезъ Волинь и возвращались домой съ юга. Польша потому такъ была безсильна на югѣ, что по всей южной границѣ не имѣла ни одного морга казенной земли. Все, что ей принадлежало тамъ и что она и не хотѣла, и не могла оберегать, она раздаривала своему дворянству, которое и должно было само защищать свою собственность. Другими словами, южная Польша и большая часть западной Украины не принадлежали Польшѣ, а составляли вотчины князей Любомирскихъ, Сангушковыхъ, Радзивилловъ, Яблоновскихъ и Чарторійскихъ, а также пановъ Потоцкихъ, Браницкихъ, Мишковыхъ и Ржевускихъ. Это были, если можно такъ выразиться, турецкіе, неограниченно владѣемые пашами, пашалыки въ республиканскомъ государствѣ. Паши эти были или благотѣльные Гарунъ-аль-Рашиды въ отношеніи къ своимъ подданнымъ, дѣлали крестьянъ своихъ помѣщиками, какъ Потоцкій Гонту, или, смотря по капризу, убивали изъ ружей своихъ подданныхъ, какъ Потоцкій же убилъ Вондаровну. Магнаты въ этихъ пашалыкахъ должны были содержать на свой счетъ войска, такъ называемые регименты или хоругви, и этими хоругвями оберегать государство, т. е. свои собственные помѣстья. Это была „панская гвардія“, а въслѣдствіи милиція или городовые казаки. Въ гвардію шло мелкое дворянство, составлявшее собственно дворню магнатовъ, а въ казаки набирались ратники изъ поселянъ. И дворяне, и

казаки служили, впрочемъ, больше для увеселенія господъ, чѣмъ для защиты страны, какъ мы это и видѣли выше при описаніи увеселеній у князей Любомирскихъ, которымъ за обѣдомъ, вмѣстѣ съ лакеями, должны были прислуживать и войска, стрѣляя по воздуху изъ пушекъ и играя въ трубы и другіе военные инструменты. А такъ какъ магнаты рѣдко жили въ своихъ южныхъ имѣніяхъ, а наѣзжали туда только поохотиться за вепрями или за гайдамаками, то вмѣсто себя оставляли въ своихъ вотчинахъ губернаторовъ, и такіе губернаторы были во время гайдамачины, какъ мы видѣли, въ Смилой, въ Лисянкѣ, въ Черкасахъ, въ Корсуни, въ Чагіринѣ, въ Умани и въ другихъ городахъ и мѣстечкахъ. Эти-то губернаторы, вмѣстѣ съ городовыми казаками, оберегали страну, въ случаѣ надобности, укрываясь въ укрѣпленныхъ замкахъ, которые находились въ каждомъ изъ упомянутыхъ городовъ. Эти городовые казаки, нѣчто въ родѣ нашихъ инвалидныхъ командъ, имѣли своихъ полковниковъ, сотниковъ и атамановъ, изъ которыхъ первыми было большею частью поляки, а послѣдними выборные изъ казаковъ. Казаки имѣли свои мундиры—нѣчто въ родѣ ливрей того пана, которому принадлежалъ городъ, и ливреи эти соблюдали цвѣта (барвы) своихъ господъ или своего герба, да и на знаменахъ ихъ всегда изображались гербы или шифры господскіе. Вообще, все это было нѣчто въ родѣ барскихъ гайдуковъ, которыхъ у иного барина, какъ у Потоцкаго, напримѣръ, было по нѣскольку полковъ.

Когда не случалось никакой тревоги ни отъ гайдамаковъ, ни отъ ногайцевъ, казаки почти ничего не дѣлали или же служили своимъ господамъ, какъ, напримѣръ, гусары Потоцкаго, пана каневского, которые съ голыми саблями ловили для него украинскихъ красавицъ или стрѣляли вмѣстѣ съ нимъ дикихъ кабановъ.

Въ Умани особенно было правильно устроено это казацкое войско, на помощь котораго и рассчитывалъ Желѣзнякъ, отправляя свои толпы къ Умани. Умань же была, какъ мы сказали, средоточіемъ польскаго, католическаго и, отчасти, еврейскаго элемента польской Украины.

Разсмотримъ теперь, какимъ образомъ образовался и укрѣпился тамъ польскій элементъ.

До XVII вѣка земли въ уманской волости жалованы были великими князьями литовскими русскимъ людямъ, въ родѣ Семена Кошки, и другимъ „землянинамъ“. Они владѣли этими землями, тогда еще довольно слабо заселенными, на правахъ помѣщиковъ. Потомъ земли эти, которыя назывались „уманскою пустынею“ (pustynia humanska), пожалованы были Валентину Александру Калиновскому, старостѣ винницкому и брацлавскому, и при этомъ королевскіе комиссары размежевали эту землю и сдѣлали ей законный „обводъ“. Сообразно этому обводу, уманская волость захватила огромное пространство земель, которыя, главнымъ образомъ, соприкасались съ тѣми пунктами, гдѣ обыкновенно проходили татары, дѣлая набѣги на Польшу и Малороссію, и гдѣ потомъ подвизались казаки и гайдамаки. Уманская волость упиралась въ рѣку Синюху—а тутъ-то и лежитъ знаменитый „Черный шляхъ“ или „татарская дорога“. Изъ-за Синюхи выходили

также всегда и гайдамаки на Польшу. Далѣ уманская волость упиралась въ рѣчку Удичъ, которая впадаетъ въ Бугъ, а потомъ волость эта тянется до Брацлава. Такимъ образомъ, Умань лежала почти на распутиѣ татарскихъ набѣговъ, которые въ половинѣ XVIII вѣка замѣнились набѣгами гайдамацкими, и отъ Умани вообще не далеко было пробраться до татарскихъ дорогъ, изъ которыхъ одна называлась „криво-саровскою“, или „криво-сарайскою“, а другая „удычскою“.

Прежніе владѣльцы Умани, Калиновскіе, постоянно воевали съ казаками. Сынъ Валентина Калиновскаго, Мартынь, воевода черниговскій и гетманъ польскій коронный, былъ разбитъ казаками подъ Корсуномъ и взятъ ими въ плѣнъ. Подъ Уманью же польскія войска сражались съ русскими при Алексѣѣ Михайловичѣ. Въ 1762 году Умань съ частью Украины была захвачена турками, а потомъ отбита у нихъ гетманомъ Собѣскимъ, впоследствии королемъ Іоанномъ III. Въ 1726 году Умань, въ числѣ другихъ сорока городовъ, перешла во владѣніе Потоцкихъ. Во время гайдамачины, Францъ Салезій Потоцкій, воевода кievскій, имѣлъ въ кievской и подольской Украинахъ до 50,000 семействъ крестьянъ, неизмѣримыя пространства земель и лѣсовъ.

„Черный шляхъ“, проходившій недалеко отъ Умани, былъ причиною того, что городъ во всѣ времена подвергался частымъ нападеніямъ или со стороны ногайскихъ татаръ, или со стороны гайдамаковъ. Эти нападенія, всегда соединявшіеся съ пожарами, которыми заканчивали обыкновенно свои внезапныя штурмы гайдамаки, сдѣлали то, что за девять лѣтъ до уманской рѣзни городъ этотъ, собственно же укрѣпленная часть его, представлялъ одиѣ развалины. На этомъ-то „древнемъ пепелищѣ“, какъ выражаются объ Умани официальные бумаги этого времени, въ 1761 году былъ заложенъ новый городъ, и къ 1768 году онъ представлялъ уже богатое, цвѣтущее и многочисленное поселеніе, съ замкомъ, сильно укрѣпленнымъ, съ костеломъ, синагогою и училищемъ базилианъ, которое имѣло до 400 студентовъ.

Чтобы ближе видѣть, почему Умань считалась лестнымъ пріобрѣтеніемъ для Желѣзняка, возьмемъ современное описаніе этого города, оборонительныя силы, которыми онъ располагалъ, и, по возможности, самое экономическое его состояніе.

Городъ этотъ обведенъ былъ высокимъ дубовымъ палисадомъ съ двумя башнями, чрезъ которыя вѣзжали въ самый городъ. Каждая башня имѣла по двѣ пушки съ принадлежностями и съ ящиками для картечи. Стража, оберегавшая башни, принадлежала къ шляхетству. Такъ какъ городъ самъ по себѣ лежалъ на значительномъ возвышеніи и со стороны предмѣстій огражденъ былъ буераками, да, кромѣ того, съ тѣхъ сторонъ, которыя были открыты, его ограждали валъ, острогъ и ровъ, то въ отношеніи безопасности онъ былъ довольно хорошо обезпеченъ. Въ центрѣ города находился замокъ, съ большимъ каменнымъ магазиномъ и службами. Здѣсь было новое укрѣпленіе—другой валъ и другіе палисады. На верхнемъ

ярусъ магазина находилась башня съ бойницами. Городъ могъ располагать цѣлымъ коннымъ полкомъ, состоящимъ изъ 2,000 казаковъ, набранныхъ въ имѣнιάхъ Потоцкаго. Кромѣ этого, у Потоцкаго было еще 5,000 человекъ пѣхоты, предводителемъ которыхъ былъ Майоръ *). Впрочемъ, большая часть этой пѣхоты стояла въ Могилевѣ на Днѣстрѣ, тоже принадлежавшемъ Потоцкому. Пѣхота была тамъ для огражденія границъ. Часть этой пѣхоты находилась въ гарнизонѣ города Тульчина, также принадлежавшаго Потоцкому. Шестидеять человекъ пѣхоты находились въ Умани **). Пѣхота эта, называвшаяся „надворною“, состояла подъ начальствомъ капитана Ленарда и должна была содержать въ городѣ караулы, а также стеречь арестантовъ, число которыхъ иногда доходило до ста человекъ „преимущественно изъ запорожцевъ“, выбѣгающихъ на грабежъ (гайдамаки) и захватываемыхъ уманскими казаками. Наконецъ, въ Умани было двѣсти конфедератовъ. Кромѣ значительнаго числа пушекъ, городъ располагалъ весьма значительнымъ запасомъ ручнаго оружія, имѣлъ много пороху, пуль, картечи.

Къ числу средствъ обороны слѣдуетъ прибавить еще такъ называемый „экономическій домъ“ (dom ekonomiczny), который былъ укрѣпленъ на подобіе цитадели, обведенъ палисадомъ и защищенъ четырьмя бастіонами. Эта цитадель неоднократно обороняла городъ отъ нападеній гайдамаковъ.

Между многочисленнымъ населеніемъ Умани находилось много купцовъ — русскихъ (rosyan), греческихъ, армянъ и евреевъ. Въ лавкахъ имѣлось много товаровъ. Сверхъ того, было болѣе двадцати дворовъ (dworków), въ которыхъ жили нѣкоторые изъ посессоровъ, укрывавшіеся въ Умани для безопасности отъ нападеній гайдамаковъ. Такихъ посессоровъ было до шестидесяти семействъ, которыя, съ позволенія Потоцкаго, жили тамъ безъ всякой платы.

Правителемъ или комиссаромъ уманской волости былъ Младановичъ. Оставшись сиротой, онъ было воспитанъ въ домѣ князя Яблоновскаго, старосты ковенскаго, и имъ же былъ рекомендованъ воеводѣ Потоцкому, который и назначилъ его губернаторомъ уманскихъ имѣній за одиннадцать лѣтъ до уманской рѣзни. Полкомъ командовалъ полковникъ Обухъ. „Началъ“ (paczal) или старшину составляли сотники, и главнѣйшимъ изъ нихъ былъ Гонта. Весь полкъ имѣлъ однообразную форму. У каждаго казака былъ желтый жупанъ, кунтушъ и шаровары голубыя, „еломы“ или шапки желтыя, съ черною барашковою опушкою, пояса ременные. На поясахъ, на ремневыхъ перевязяхъ, „шабатуры“ или продолговатые картузики для пуль и кремней, изогнутый рогъ для пороху, обтянутый кожей, съ оправкою изъ красной мѣди. Длинный ножъ и ложка за поясомъ, какъ еще недавно водилось это у чумаковъ. У каждаго ружье, которое, по казацки, а не по солдатски, вѣшалось черезъ плечо на погонѣ. У

*)od rzadu krajowego patentowany“. Lip.

**) Króbsowa такъ говорить; у Тучапскаго же до ста человекъ пѣхоты.

сѣдла пара пистолетовъ, а третій на шнуркѣ за поясомъ. Въ рукѣ пика и нагайка. Начальники имѣли подобную же форму, только жупаны ихъ были лучшаго достоинства, шелковые (materyalne), а остальная одежда изъ добраго сукна. Начальники имѣли сабли, чего не имѣли рядовые казаки. У начальниковъ же и оправа на оружіи была серебряная. Коня у казаковъ сортировали по мастямъ, и на каждыя двѣ сотни была особая масть.

Что украинскому посольству, а въ особенности казакамъ, было хорошо и привольно жить въ польской Украинѣ въ половинѣ XVIII вѣка, во всякомъ случаѣ лучше, чѣмъ ихъ собратьямъ на русской сторонѣ, и что польская Украина поднялась въ гайдамачину не изъ-за матеріальной нужды, можно судить по слѣдующему обстоятельству.

Уманскій полкъ составляли такіе поселане этой волости (gospodarze), которые уполнены были отъ всякихъ господскихъ повинностей, отъ такъ называемыхъ „данинъ“ и „платъ“. Пять „дымовъ“ или семействъ давали въ помѣщичью милицію одного казака. Эти служилые люди имѣли свои табуны лошадей, стада рогатаго скота, овецъ и огромныя пасѣки, которые если бы сложить и взять съ нихъ хоть одинъ годъ такъ называемую „челюную десятину“, то помѣщику приходилось бы получить пчелъ десять тысячъ пеньковъ или ульевъ. Они имѣли, слѣдовательно, сто тысячъ пеньковъ въ своихъ собственныхъ пасѣкахъ и ничего не давали помѣщику. Даже тѣ крестьяне, которые не давали казаковъ, имѣли очень много достатка, отбывали самыя незначительныя повинности *), давали небольшую подать и были очень богаты **).

Гонта, который съ Желѣзнякомъ приобрѣлъ такую печальную извѣстность, происходилъ изъ поселанъ и родился въ деревнѣ Росушкахъ, въ имѣніи Нелицкихъ. Та деревня, въ которой онъ считался казацкимъ сотникомъ, отдана ему была со всѣми доходами. Мало того, когда онъ съ своею сотнею былъ на очереди въ Кристинополѣ, резиденціи Потоцкихъ, ему пожаловано было въ пожизненное владѣніе село Орадовка. Гонта умѣлъ говорить, читать и писать по-польски.

Уманскій полкъ, гдѣ Гонта былъ старшимъ сотникомъ, не всегда приходился въ сборѣ, а только собирався въ необходимыхъ случаяхъ, или же однажды въ годъ на смотръ (poris), который продолжался нѣсколько дней. Полкъ становился тогда лагеремъ, бралъ изъ городского штаба знамена, на которыхъ изображены были гербы Потоцкихъ (rółtrzecia krzyża), прапоры, бунчуки, и при звукѣ трубъ, котловъ, съ колокольнымъ звономъ въ церквахъ, послѣ литургіи, отправлялся изъ города въ лагерь. По окончаніи смотра, съ тѣми же церемоніями полкъ возвращался въ городъ, и тогда для начальниковъ полка устраивалось у губернатора пиршество. Казаки провалили также въ лагерь, и тутъ пѣлись пѣсни и думы казацкія ***).

Затѣмъ полкъ расходился по домамъ.

*) ... „Nie nieznaające odbywali powinności“. Krebsowa, Lip.

**) ... „Byli bardzo zamożni“. Id.

***) ... „przy weselości i śpiewach i dum kozackich“.

Всѣхъ сотниковъ въ полку было три. Имена другихъ сотниковъ, кромѣ Гонта, намъ неизвѣстны, хотя одного изъ нихъ нѣкоторые и называютъ Еремою Панкомъ. Къ знаменамъ, которыя были въ каждой изъ трехъ частей полка, приставлены были особые хорунжіе, и такъ какъ это была почетная должность, то хорунжими назначались, большею частью, дворяне. Сотники же, есаулы и атаманы были выборные, изъ самихъ же казаковъ, которые назывались „улитками“ или „лизнями“ (liźnie). Они были, большею частью, вѣстовые и разсылные, когда не было войны; но во время стычекъ съ гайдамаками, они употреблялись въ дѣло и были искусны, когда нужно было выслѣдить гайдамаковъ, добыть языка, захватить часового и прочее. Внутренняя оборона замка возложена была уже не на казаковъ, а на болѣе довѣренныхъ лицъ, на поляковъ же изъ дворянъ. Это былъ особый корпусъ въ 60 человекъ, и при бытности въ Умани самого Потоцкаго, этотъ маленькій корпусъ составлялъ почетныхъ гѣлхраниителей своего „дѣдича“. Не только полковникъ Обухъ и Гонта, какъ наиболѣе почетныя лица въ уманскомъ войскѣ, получали отъ помѣщика въ пожизненное владѣніе какую-нибудь деревню или село, но и другіе сотники имѣли отъ дѣдича по нѣсколько дворовъ крестьянъ съ землею, доходами съ которыхъ и пользовались.

Кромѣ губернатора или комиссара, которымъ былъ Рафаиль Деспотъ Младановичъ, верховный начальник волости и уманскій комендантъ, въ Умани былъ еще казначей или „подскарбій“, повѣренный по дѣламъ или „пленипотентъ“ и нѣсколько „офиціалистовъ“ или канцелярскихъ чиновниковъ. Всѣ они имѣли свои пожизненные аренды отъ помѣщика.

Вообще, жизнь въ Умани и во всей волости представляла всѣ удобства, и знаменитый польскій поэтъ Станиславъ Трембецкій съ полнымъ правомъ могъ сказать о ней:

Kraina mlekiem i miodem.

Впрочемъ, не болѣе какъ за десять лѣтъ до уманской рѣзни, вся эта страна, извѣстная подъ именемъ уманской волости, представляла такую же пустыню, какъ вся польская Украина послѣ „сгону“. Города лежали въ развалинахъ, земли были не обработаны, въ населеніи замѣчался недостатокъ. Самая Умань, представлявшая пепелище послѣ нѣсколькихъ разгромовъ, не была возобновляема, потому что, хотя и находилась въ странѣ, „текущей медомъ и молокомъ“, однако, представляла легкую добычу и для крымцевъ, и для запорожцевъ, и для гайдамаковъ. Волость начала заселяться только тогда, когда польскіе землевладѣльцы кликнули кличъ по всей Украинѣ, что они зовутъ поселенъ на свободныя земли, и на всѣхъ межахъ своихъ выставили кресты съ возможно большимъ числомъ льготныхъ колышковъ. Тогда-то потянулись сюда безземельные южно-русскіе крестьяне, которые и заселили пустыню въ нѣсколько лѣтъ. До переселенія украинцевъ въ уманскую волость, всѣ ея обширныя земли и лѣсныя угодья не приносили Потоцкому и 50,000 руб., между тѣмъ какъ въ годъ уман-

свой рѣзни, при всѣхъ огромныхъ издержкахъ экономія на устройство уманской крѣпости и самаго города, на содержаніе войска и войсковыхъ начальниковъ, на жалованье всѣхъ служащихъ по городамъ и мѣстечкамъ, Потоцкіе получили уже до 1.200,000 руб. ассигнаціями. Этому процвѣтанію уманской волости помогли благоразумныя распоряженія губернатора Младановича, которому Потоцкіе выправили у короля позволеніе устроить крѣпость и ввести магдебургію въ Умани. Крѣпость эта получила, такъ называемый, „инструментъ“, или положеніе объ устройствѣ и о всѣхъ правахъ и привилегіяхъ, 32 пушки, и вступила въ разрядъ государственныхъ пограничныхъ крѣпостей, съ правомъ военнаго суда. Все это послѣдовало въ то именно время, когда гайдамаки начали особенно угрожать этимъ мѣстностямъ и послѣ того какъ въ польской Украинѣ былъ уже введенъ „*laudum boni ordinis*“, или положеніе о милиціи. Для устройства волости въ военномъ отношеніи присланъ былъ туда старый служака, генеральный полковникъ Горжевскій, родственникъ Младановича. Горжевскій, вмѣстѣ съ тѣмъ считался пограничнымъ комендантомъ и кригсъ-комендантомъ „партіи войскъ украинскихъ“.

При нихъ-то вновь заложенъ былъ городъ на развалинахъ старой Умани и укрѣпленъ замокъ. Потоцкій не предвидѣлъ, что крѣпость, возводимая имъ съ особою торжественностью, черезъ семь лѣтъ сдѣлается добычею какъ Желѣзняка, такъ и тѣхъ казаковъ, которые присутствовали при великолѣпной церемоніи закладки города и замка. А этотъ „церемоніаль торжественной закладки новаго города на древнемъ его пепелищѣ“ происходилъ слѣдующимъ образомъ: „Сперва для извѣщенія народа о началѣ торжества сдѣлано было нѣсколько выстрѣловъ изъ пушекъ, при крѣпости имѣющихся, послѣ сего барабаннымъ боемъ и призывомъ трубъ и литавровъ собраны были войска здѣшней милиціи, которыя стройными рядами прибыли въ замокъ. Откуда все собраніе выступило въ слѣдующемъ порядкѣ: въ первой линіи шла сотня стрѣлковъ, при замкѣ постоянно находящихся (это „улитки“ или „лизни“, о которыхъ мы упомянули). Далѣе по-эскадронно маршировалъ казачій полкъ, имѣя впереди свои знамена, барабаны, трубы и литавры и всю свою старшизну. За нимъ слѣдовалъ собственно гарнизонъ или пѣхота (дворянская); наконецъ, среди многочисленнаго стеченія собравшагося на это торжество народа, слѣдовало мѣстное начальство, владѣльцы и арендаторы (*possessorowie*) сосѣднихъ имѣній, сюда приглашенные, и духовенство (*utriusque ritus*) въ полномъ церковномъ облаченіи. Прибывъ на одинъ бастіонъ основывающейся крѣпости, войска выстроились въ боевой порядокъ, а духовенство обоихъ вѣроисповѣданій, при многихъ пушечныхъ и ружейныхъ выстрѣлахъ и громѣ военной музыки, отслуживъ приличное молебствіе, благословило мѣсто основанія бастіона, а послѣ трехъ другихъ и всей линіи возводимаго вокругъ города укрѣпленія, и окропило ихъ святою водою. По окончаніи священнаго обряда, всѣ присутствующіе были приглашены въ замокъ, гдѣ было приготовлено для нихъ богатое угощеніе“.

Торжественность эта прикрывала чисто практическіе расчеты Потоцкаго, который объявлялъ во всеобщее свѣдѣніе, что „причиною столь великолѣпнаго торжества была истинная любовь къ отечеству и къ своимъ согражданамъ“, что онъ, „зная очень хорошо, что уманская его вотчина, со всею тою околицею ему принадлежащая, находится на самой границѣ трехъ государствъ—російскаго, турецкаго и татарскаго, и, по близости важнѣйшихъ дорогъ, съ этими странами соединенная, для торговли и, слѣдственно, для пользы здѣшняго народа весьма способна“, что „городъ Умань“ съ давнихъ уже временъ своею торговлею какъ въ Польше, такъ и за границею былъ извѣстенъ, *такъ что многіе географы называли его—одни столицей всей Украины, другіе—преддверьемъ пограничнымъ*“, что онъ „многими преимуществами отъ польскихъ монарховъ обогащенъ“, но что „всѣхъ такихъ выгодъ своихъ лишился со временемъ какъ отъ внутреннихъ въ королевствѣ смятеній, такъ и отъ частыхъ наѣздовъ разныхъ заграничныхъ негодяевъ (гайдамаковъ и погайцевъ), отчего этотъ городъ многократно былъ разграбленъ, сожженъ, разоренъ и почти съ землею сравненъ, къ крайнему для сего края вреду и опустошенію“, что „желая, слѣдственно, воскресить помертвѣвшую въ немъ дѣятельность, владѣлецъ его рѣшился собственнымъ иждивеніемъ эти развалины въ такое привести положеніе, которое бы для отечества славу, для здѣшняго края защиту, для народа польскаго и здѣшнихъ жителей безопасность, пользу и разныя выгоды приносило“. Вотъ съ этой-то цѣлью городъ былъ укрѣпленъ палисадами, валами и возведеніемъ на трехъ углахъ „пентагономъ баціоновъ“, такъ что, при расположеніи улицъ въ городѣ, эти баціоны и батареи могли обстрѣливать всѣ входы и выходы, которые, кромѣ того, укрѣплялись рогатками. На рыночной площади устроена была „гіельда“ (gielda), ратуша, вмѣстѣ съ гостиннымъ дворомъ, на 20 лавокъ, и все это защищалось четырьмя баціонами, устроенными въ центрѣ города.

Таково было значеніе Умани для всего этого края. Такимъ же считали этотъ городъ и гайдамаки, которые видѣли въ немъ новую Варшаву, только построенную поляками на *чужой*, украинской землѣ.

Дѣйствительно, этотъ городъ быстро выросъ какъ изъ земли, благодаря своему счастливому положенію и тѣмъ льготамъ, которыя были ему даны. Въ семь лѣтъ онъ оставилъ далеко позади за собою старые, славные казачіе города и мѣстечки—Чигиринъ, Крыловъ, Черкасы, Каневъ, Вѣлую Церковь. и казачеству, въ томъ числѣ и гайдамакамъ, не могло не быть завидно, какъ растетъ польскій городъ у нихъ подъ бокомъ, а ихъ славный Чигиринъ лежитъ въ запустѣніи и развалинахъ, такъ что слѣды рукъ батька Хмельницкаго годъ отъ году стирались съ лица украинской земли. Въ Чигиринѣ была бѣдность, а въ Умани было житѣе привольное. Всѣмъ городскимъ обывателямъ, имѣвшимъ дома въ Умани, дозволялся всякій родъ торговли, незапрещенной закономъ, безъ платы какихъ бы то ни было податей и сборовъ въ теченіе четырехъ лѣтъ, а по прошествіи этого срока, хотя платажъ и устанавливался,—однако, гораздо меньшій противу другихъ городовъ.

„Для вящей городу и его жителямъ безопасности“, число казачей и иностранной милиціи было умножено до тѣхъ размѣровъ, какъ мы видѣли выше. Въ Умани учреждено было нѣсколько ярмарокъ, всѣ трехдневныя и одна двухдневная, „съ свободной винной продажей“. Торговля на ярмаркахъ была свободная же, *безъ всякихъ торговыхъ пошлинъ* какъ для мѣстныхъ обывателей, такъ и для прїѣзжихъ. На ярмарки привозились: медъ, воскъ, хлѣбъ, сало, водка, мѣха, кожа, рыба, сукна, мануфактурныя издѣлія и всѣ другіе предметы, равно какъ и лошади, скотъ и овцы. Для поощренія торговли и для „умноженія дружескихъ сношеній съ сосѣдними государствами“, дозволялось всѣмъ поселянамъ и жителямъ уманской волости, „уже не однимъ откупщикамъ“ (agendarzam), какъ это прежде водилось, но всѣмъ свободно торговать въ Умани на ярмаркахъ медомъ, воскомъ и другими сельскими произведеніями. На ярмаркахъ этихъ, „для совершенной купечества и покупателей безопасности“, къ обыкновенному гарнизону, всегда находившемуся въ городѣ, еще прибавлялась военная сила. Всѣмъ отпавившимся на ярмарки, особенно же заграничнымъ купцамъ, какъ русскимъ, такъ турецкимъ и татарскимъ подданнымъ, „для вящей ихъ безопасности“, посылался военный конвой, когда они присылали въ уманскій замокъ извѣщенія о томъ, что приближаются къ польскимъ границамъ. Равнымъ образомъ, конвой сопровождалъ и тогда, когда они возвращались изъ Умани. Все это, конечно, дѣлалось въ предупрежденіе набѣговъ со стороны гайдамаковъ. Мало того, иностранные гости, какъ изъ восточныхъ народовъ, такъ и русскіе подданные, перевозились черезъ рѣку Бугъ безденежно, а въ самой Умани получали квартиры и сѣно для лошадей. Для пригоняемыхъ на ярмарку стадъ овецъ и рогатаго скота, для табуновъ лошадей отводились нужныя и выгодныя пастбища, а на ярмаркахъ — площади. „Для прїохоченія иностранныхъ торговцевъ и усиленія репутаціи самыхъ ярмарокъ“, Потоцкій изъ своихъ доходовъ отпускалъ нѣсколько тысячъ злотыхъ. Если иностранцамъ не удавалось продать на ярмаркѣ свои товары, какъ-то: сукна, мануфактуры, бакалею, соль, рыбу, кожи, медъ, воскъ, сало, горячее вино и пр., то имъ дозволялось всѣ эти товары складывать въ городѣ и хранить до слѣдующей продажи безъ всякой за то платы. Наконецъ, всѣмъ иностраннымъ подданнымъ, русскимъ, турецкимъ, татарскимъ, молдавскимъ и другихъ государствъ, также всѣмъ принадлежащимъ къ уманской волости и внутри королевства живущимъ всякаго званія людямъ давалось всеобщее позволеніе — основывать себѣ жилища въ Умани, строить тамъ дома, заниматься торговыми и другими промыслами, винною продажей и проч., подъ защитою и покровительствомъ Потоцкаго *).

Не удивительно, что Умань въ нѣсколько лѣтъ такъ поднялась, что стала завистью для всей Украины. Дочь Младановича, которой во время уманской рѣзни было восемнадцать лѣтъ и которая оставила намъ записки объ этомъ несчастіи своего города, говорить по поводу торговли, богат-

*) Скальковский.

ства и дешевизны въ Умани: „Въ лавкахъ было мало жиловъ, а больше грековъ и турокъ, оттого не только множество бакален, но апельсинъ мы имѣли по двѣ копейки, каштаны все равно, что жолуди, икру бочками, а семга, какъ свиное сало, въ большомъ количествѣ продавалась“.

Кромѣ уманскихъ богатствъ, которыя не могли не дѣйствовать обаятельно на гайдамаковъ, кромѣ сосредоточія въ Умани польскаго элемента, который также, не менѣе богатой добычи, манилъ къ себѣ этихъ злѣйшихъ враговъ всего польскаго, уманская волость должна была сдѣлаться жертвою народнаго возмущенія уже потому, что она сама представляла въ то время какъ бы гайдамацкую колонію. Въ уманской волости находилось до тысячи семействъ, главы которыхъ въ молодости были гайдамаками, а потому и не могли не вспоминать иногда дѣянія своей молодости. Это случилось такимъ образомъ: Младановичъ, желая истребить какимъ бы то ни было способомъ гайдамачество и бродяжничество, вздумалъ прибѣгнуть къ самому романтическому, чисто сказочному способу для обузданія гультаевъ. Каждый годъ гайдамаки нападали на уманскую волость, грабили ее, жгли, и каждый годъ Младановичу удавалось ловить гайдамаковъ десятками и сотнями. Какъ комендантъ пограничной крѣпости, владѣя правомъ военнаго суда, а, слѣдовательно, правомъ живота и смерти, Младановичъ обыкновенно судилъ взятыхъ въ плѣнъ гайдамаковъ военнымъ судомъ, по магдебургскому закону. Въ ратунѣ же писалъ онъ виновнымъ смертные приговоры и выводилъ на площадь для казни. Но прежде чѣмъ гайдамака посадить на колъ или повѣсять, Младановичъ показывалъ его уманскимъ дѣвушкамъ, которыя славились красотой. Такъ какъ гайдамаки были съ ними одной и той же украинской крови, то и они были не менѣе красивы, чѣмъ эти дѣвушки, можетъ быть, сестры ихъ товарищей—гайдамаковъ. Если какая-нибудь дѣвушка выбирала себѣ какого-нибудь изъ осужденныхъ на смерть гайдамаковъ и если этотъ послѣдній давалъ присягу сдѣлаться земледѣльцемъ и селяниномъ, то его немедленно прощали, давали ему свободу и, какъ бы въ приданое, онъ получалъ еще землю, скотъ, хлѣбъ и на постройку избы лѣсъ и даже деньги. Этимъ способомъ, говорятъ современники, Младановичъ далъ уманской волости до тысячи семействъ въ десять лѣтъ, что даетъ, въ свою очередь, сто прощенныхъ каждый годъ гайдамаковъ.

Эти бывшіе гайдамаки, съ своей стороны, тянули къ себѣ толпы Желѣзняка, и толпы эти дѣйствительно шли на Умань.

V.

Посмотримъ теперь, что дѣлается въ Умани, въ то время, когда гайдамаки свирѣпствовали въ Смилой, въ Черкасахъ и въ Лисянскѣ.

Едва только разнеслась страшная вѣсть *) о гайдамацкомъ ополченіи,

*) ...„jak przerażająca błyskawica z ogromnemi przegrupami“, по выраженію польскихъ писателей.

которое принимало размѣры поголовнаго народнаго возстанія, и когда въ страчѣ распространились ложные слухи о томъ, какими опасными мотивами руководилось это движеніе, польское и еврейское населеніе Украины (szlachta i żydowstwo) съ ужасомъ бросились искать спасенія кто въ Лисянку, кто въ Бѣлую Церковь, кто въ Умань. Мы уже видѣли, какая участь постигла тѣхъ, которые укрылись въ Лисянкѣ. Спаслась только Бѣлая Церковь. Но единственная надежда оставалась на Умань, и „несчастные великими толпами бѣжали“ въ этотъ городъ. Бѣжавшихъ было столько, что городъ, несмотря на то, что былъ довольно обширенъ, не могъ всѣхъ помѣстити въ себя. Площадь, улицы, предмѣстья—все наполнилось обозами съ имуществомъ и спасающимися поляками и евреями. Однихъ посесоровъ насчитывалось до 226. Прочихъ бѣглецовъ можно было считать тысячами.

Когда не оставалось никакого сомнѣнія, что возстаніе не ограничивается одной Смиланщиной, но что бунтовщики, подвигаясь далѣе и далѣе, буквально „хлупаютъ по крови“ и „плещутся“ въ ней, по выраженію очевидцевъ, Младановичъ приказалъ всему казачьему полку, который не квартировалъ въ городѣ, немедленно собраться въ Умань какъ бы на смотръ (на порис). Когда всѣ собрались, Младановичъ счелъ нужнымъ секретно поговорить съ сотниками, въ числѣ которыхъ, какъ мы сказали выше, былъ и Гонта, на котораго болѣе всего и надѣялся Младановичъ и вся Умань. Младановичъ объяснилъ имъ причины, заставившія его собрать полкъ. Онъ заговорилъ объ опасности, которая грозитъ краю, о томъ, что полкъ долженъ выступить противъ Желѣзняка, чтобы не дать возмущенію усилиться и принять болѣе грозные размѣры. Онъ старался поощрить сотниковъ къ этому подвигу. Затѣмъ вся полковая старшина съ знаменами отправилась въ православную церковь св. Николы, присягнула вновь, какъ того требовала важность обстоятельствъ. По совершеніи этой церемоніи, знамена были отнесены въ казачій лагерь, расположенный подъ небольшимъ лѣсомъ у самой Умани, который назывался Грековымъ. Между тѣмъ Обухъ, Гонта и прочіе сотники и со всею казацкою старшиною вновь пошли къ Младановичу.

„Тогда-то я разсмотрѣла хорошо черты лица Гонты и слышала, съ какимъ искусствомъ говорилъ онъ по-польски и какія краснорѣчивыя дѣлалъ общанія. О. еслибъ сдержалъ онъ все то, что тогда общалъ!“—говорить въ своихъ запискахъ дочь Младановича, Вероника, которой тогда было восемнадцать лѣтъ и которая спаслась отъ смерти, оставивъ послѣ себя записки объ уманской рѣзнѣ, извѣстныя подъ именемъ записокъ вдовы Вероники Кребсъ (Krebsowa).

Вскорѣ потомъ уманскій полкъ выступилъ на встрѣчу гайдакакамъ по звенигородской дорогѣ, общая уничтожить бунтовщиковъ. Эти же послѣдніе, съ своей стороны, подвигались къ Умани, разсыпаясь иногда по сторонамъ, выскивая, не скрылись ли гдѣ поляки и евреи.

Вслѣдъ за уходомъ полка, новыя толпы поляковъ и евреевъ стекались

въ городѣ, убѣгая изъ губерній лисянской, звенигородской, бѣлоцерковской, смиланской и другихъ мѣстъ, гдѣ уже свирѣпствовали гайдамаки, добывая, дограблявая и сожигая все, что оставалось тамъ. Число этихъ бѣглецовъ до того увеличилось, что городъ не могъ уже принимать ихъ къ себѣ, и они должны были становиться таборомъ волизи города, котораго, однако, запереть нельзя было, такъ какъ въ немъ не было воды и за немъ обыкновенно ѣздили версты за три къ ручью, называемому Каменка, гдѣ теперь находится знаменитый садъ Потоцкихъ—Софievка. Къ этому табору прибывали новыя массы, искавшія спасенія отъ смерти. Иждивеніемъ Потоцкаго въ Умани устроены были школы, которыми завѣдывали базилиане, и въ школахъ этихъ, какъ мы сказали, было до четырехъ сотъ студентовъ. Начальникъ школъ, съ титуломъ ректора, ксендзъ Ираклій Костецкій, въ виду грозившей городу опасности, велѣлъ прекратить ученіе и позволилъ не только студентамъ, но и профессорамъ уѣхать изъ города. „Но куда они могли уѣхать, — спрашиваетъ Липоманъ — когда со всѣхъ мѣстъ люди искали спасенія въ Умани?“ Тѣ, которые были въ таборѣ, за городомъ, везли все, что у нихъ было цѣннаго (swoje przesyosa), въ городъ и отдавали на сохраненіе Младановичу и ксендзу Костецкому.

Страшные слухи росли, между тѣмъ, съ каждымъ часомъ. Толпы бѣглецовъ не переставали прибывать къ городу и тѣмъ увеличивать страхъ, который началъ уже тревожить и тѣхъ, которые сидѣли въ Умани за башнями и крѣпкими полисадами. Страхъ переходилъ въ ужасъ, и Младановичъ нашелъ необходимымъ запереть городъ, несмотря на недостатокъ воды въ то жаркое лѣтнее время. Въ городѣ вырыли, было, глубочайшій колодезь, прорыли до двухъ сотъ сажень глубины, но воды не нашли даже на этой глубинѣ.

Но вотъ на таборъ какъ бы упала (gruchnęła—какъ говорятъ польскіе писатели) ужасная вѣсть, будто Гонта вошелъ въ сношеніе съ Желѣзнякомъ и дѣйствуетъ съ нимъ заодно. Последняя надежда, слѣдовательно, пропадала, и спасенія уже не было ни откуда. Нѣсколько почтенныхъ особъ явилось изъ табора къ губернатору, передали ему эту страшную вѣсть, говоря, что узнали ее отъ преданныхъ имъ поселянъ, которые завѣряли, что „Гонта измѣнилъ, что онъ сообщникъ Желѣзняка, того самаго, который получилъ благословеніе въ лебединскомъ монастырѣ и который былъ главою смиланскаго мятежа“. Эти дворяне просили губернатора, чтобъ онъ принялъ какія-нибудь мѣры для своего спасенія и для защиты города, чтобы онъ подъ какимъ-нибудь предлогомъ, для предупрежденія несчастія, могущаго разразиться надъ ними, вызвалъ Гонту и, при помощи магдебургскаго права, лишилъ бы его жизни немедленно. „Мой отецъ—говоритъ Кребсова,—отвѣчалъ, какъ слѣдовало въ подобномъ случаѣ благородному человѣку, но Гонтѣ съ другими сотниками приказалъ явиться къ нему“. Сотники немедленно явились, и тогда Младановичъ, вызвавъ изъ табора значительное число обывателей, вышелъ съ ними и съ сотниками на рынокъ и обратился къ Гонтѣ съ такими словами:

— Пана Гонто! миѣ доносятъ, что ты въ заговорѣ съ Желѣзнякомъ. Я этому не хочу вѣрить. Если ты теперь пользуешься столькими благодѣніями отъ нашего пана (Потоцкаго), то чего можешь ожидать еще, когда имѣнія его спасешь отъ бунта, поднятаго Желѣзнякомъ!

Говорятъ, что Гонта съ удивительнымъ краснорѣчіемъ оправдывалъ себя отъ этого обвиненія, и когда говорилъ о своей благодарности къ Потоцкому, то плакалъ *). „Надо было слышать (прибавляетъ Вероника Кребсъ), какъ онъ защищался!“ Гонты написали особенную присягу и дали, чтобъ онъ прочиталъ ее, потому что онъ умѣлъ и читать, и писать, Гонта потребовалъ, чтобы его къ этой присягѣ приводили публично и торжественно. Желаніе его исполнили. Изъ трехъ церквей вышли священники обоихъ исповѣданій, капеланы и ректоръ базилианъ, ксендзъ Костецкій, въ полномъ облаченіи, съ крестомъ, евангеліемъ и хоругвями. Вмѣстѣ съ Гонтою пришли на площадь и другіе сотники. Эту повторительную присягу онъ принималъ на крестѣ и евангеліи и притомъ „цѣловалъ руку ксендза ректора Костецкаго, а этотъ мученикъ благославлялъ своего палача“. Никто не можетъ постигнуть, къ чему все это Гонта дѣлалъ. Или, по мнѣнію однихъ, онъ еще не рѣшился тогда на столь кровавую измѣну и притворною готовностью хотѣлъ усыпить бдительность Младановича и города, или, по мнѣнію другихъ, въ то время онъ еще не былъ втянутъ въ бунтъ Желѣзнякомъ, потому что, еслибъ это было, то едва ли онъ послушался бы приказа Младановича, или же онъ не успѣлъ еще преклонить на свою сторону всѣхъ казаковъ, потому что въ томъ положеніи, въ какомъ казаки находились, они, можно сказать, плавали въ довольствѣ и нелегко могли склониться къ бунту. Можетъ быть, потому онъ и прибѣгъ къ этой хитрой и измѣннической уклончивости, что хотѣлъ успокоить Младановича, очень къ нему преданнаго и при томъ находившагося съ нимъ въ кумовствѣ, и чтобы своимъ довѣріемъ достигнуть, на случай неудачи, возможности оправдать свое двусмысленное поведеніе. Какъ бы то ни было, но эта торжественная присяга закрыла всѣмъ глаза, но только очень не надолго.

До сихъ поръ остается не вполне разъясненнымъ то обстоятельство, гдѣ и когда Гонта первоначально вошелъ въ заговоръ съ Желѣзнякомъ. Шевченко, на основаніи разсказовъ очевидцевъ уманской рѣзни, увѣряетъ, будто въ первый разъ сошлись они въ Лисянкѣ, гдѣ оба заговорщика вмѣстѣ „закурили люльки“ **) на пожарѣ, и гдѣ Желѣзнякъ, послѣ всѣхъ,

*) При этомъ Липоманъ восклицаетъ: „takto ten zdrajca mial izar na pogotowiu“.

**) Шевченко говорить:

Смеркалося. Изъ Лисянки
Кругомъ засвітило:
Ото Гонта съ Залізнякомъ
Люльки закурили,

описанныхъ нами выше неистовствъ, велѣлъ ставить на базарѣ столы, за которыми гайдамаки пировали ночью при заревѣ пожара, а Желѣзнякъ предлагалъ *тосты за убитыхъ*:

За прокляті ваші трупы,
За душі прокляті
Ще разъ випью. Пийте, діти!
Випьемъ, Гонто, брате!

Народное преданіе добавляетъ къ этому, что въ Лисянкѣ же Желѣзнякъ и Гонта разрушили „старосвѣтскій будинокъ“—зданіе, построенное будто бы Хмельницкимъ, но въ которомъ въ то время засѣли поляки.

Есть основаніе полагать, что Гонта не самъ рѣшился на измѣну, но что онъ вовлеченъ былъ въ это преступленіе обманомъ. Мы уже упоминали выше, что Умань была ненавистна Желѣзняку, какъ средоточіе польскаго элемента и польской силы. Религіозный или казацкій фанатизмъ (что почти одно и тоже), которымъ, какъ видно, руководился Желѣзнякъ, бывшій до того времени монастырскимъ послушникомъ и разжигаемый въ этомъ фанатизмѣ хитрымъ Мельхиседекомъ, былъ причиною того, что Желѣзняку захотѣлось подрубить на Украинѣ польское дерево въ самомъ корнѣ, а этотъ корень былъ въ Умани. Прочіе гайдамаки, не чуждые тоже своего религіознаго фанатизма въ отношеніи къ полякамъ и евреямъ, ненавидѣли Умань еще и потому, что городъ этотъ велъ съ ними въ послѣдніе годы самую ожесточенную войну, такъ что каждый такой годъ стоилъ гайдамакамъ десятковъ, а иногда и сотенъ своихъ товарищей, которыхъ или казнили въ Умани, или женили на уманскихъ красавицахъ, Уманскій губернаторъ называлъ себя даже стражемъ Польши со стороны Сіняюхи, то-есть, со стороны казацкихъ и гайдамацкихъ вторженій. Неудивительно, что Умань всѣхъ ихъ тянула къ себѣ, даже и тѣмъ, что они ожидали себѣ тамъ такой богатой добычи, какой не могъ имъ дать ни одинъ городъ въ польской Украинѣ. Но городъ этотъ былъ въ то же время и страшенъ для нихъ. Бастіоны его стрѣляли довольно далеко, что уже не разъ испытали на себя гайдамаки. Въ Умани было много войска, больше чѣмъ во всѣхъ другихъ польскихъ городахъ всей той мѣстности. Но съ казаками можно бы было еще сладить, потому что между ними было не мало людей гайдамацкаго происхожденія. Притомъ всѣ они были православные. Но зато въ Умани было много дворянъ, постоянно тамъ жившихъ, и, кромѣ того, до двухъ сотъ барскихъ конфедератовъ, которыхъ Потоцкій и держалъ тамъ съ тою именно цѣлью, чтобъ они были стражниками города отъ гайдамачины. Сверхъ всего этого, въ Умань прибыло нѣсколько десятковъ радзивилловскихъ казаковъ, которые провожали туда *сестру Младановича*, комиссаршу Бендзинскую. Такимъ образомъ, Же-

Страшно, страшно закурили,
И въ пеклі не виють
Такъ закурить...

лѣзнику страшно было идти къ Умани, не переманивъ къ себѣ уманскій полкъ и въ особенности Гонту, на котораго возлагали надежду,—и Младановичъ, и Потоцкій, и весь городъ. Потоцкій, сдѣлавъ Гонту, простого казака, помѣщикомъ села Орадовки, надѣялся посредствомъ него овладѣть расположеніемъ всего казацкаго полка и держать его въ своихъ рукахъ противъ всякихъ невзгодъ со стороны гайдамаковъ и всего украинскаго элемента, въ случаѣ его волненія.

Желѣзнякъ, такъ сказать, обошелъ довѣрчиваго Гонту ~~максимовича~~ манифестомъ русской императрицы. Между гайдамаками и уманскими казаками были товарищи по прежней жизни, по гайдамачеству, и родственники по вѣрѣ, по крови и по общности историческихъ воспоминаній. У уманскихъ казаковъ была таже родина, что и у гайдамаковъ, и у запорожцевъ—Украина. У всѣхъ у нихъ былъ одинъ батько Богданъ. Всѣ они пѣли однѣ и тѣже думы о Морозенкѣ, о Харькѣ, о Саввѣ Чаломѣ. — Замѣчательно, что пѣсня о Саввѣ Чаломѣ:

Ой бувъ Сава въ Немірові
Въ ляхівъ на обіді...

приводила въ такой опасный экстазъ уманскихъ казаковъ, когда ее пѣли бандуристы во время торжественныхъ обѣдовъ полка послѣ смогровъ, и такъ воспламеняла казацкія сердца, которыя легко могли обратить воинственный жаръ казаковъ на самую Умань же, что Младановичъ запретилъ бандуристамъ пѣть не только ее, но и думы о Хмельницкомъ и вообще всѣ былевые пѣсни казацкія. Такъ съ этими-то казаками легко сошлись гайдамаки и сообщили имъ, что у нихъ есть приказъ царицы рѣзать ляховъ и жидовъ. Пѣсни того времени вполне подтверждаютъ это, особенно одна, изданная Максимовичемъ:

Да стоявъ, стоявъ сотникъ Гонта въ степу три неділі,
Наіхали смілянчики, да вінъ ся имъ ввіривъ.
„Годі, годі, сотнику Гонто, у степу стояти,
Ходи зъ нами козаками Умань грабовати“.

Пѣсня говоритъ о томъ времени, когда Гонта выступилъ съ своимъ полкомъ изъ Умани противъ гайдамаковъ и стоялъ въ степи или въ перѣшести, ожидая ихъ. Гонта отвѣчалъ „смилянчикамъ“:

Ой якъ міні, пани—молодці, Умань грабовати
И на свого батька—пана руку подіймати?

Увѣряютъ, что Желѣзнякъ еще раньше познакомился и подружился съ Гонтою. Когда послѣдній выступилъ съ своимъ полкомъ противъ гайдамаковъ, между ними завязалась переписка, и твердость Гонты была поколеблена. Другая пѣсня уже какъ бы отъ лица уманскихъ казаковъ говоритъ, что Гонта далъ имъ бумагу отъ царицы, которая повелѣвала кошевому идти на Польшу:

А намъ сотникъ Гонта папиръ отъ париці давъ,
Та й давши, намъ всімъ въ голосъ сказавъ:
Що париця кошовому звеліла такъ служити,
Щобъ ити на Польшу жидову и ляха падити,
И ляхамъ и жидамъ ратунку не робити,
А всіхъ жидів та ляхівъ колоти та палити.
А добро ихъ и пожитки межъ нами ділити.

Вообще тутъ главнымъ образомъ дѣйствовало на всѣхъ, въ томъ числѣ и на Гонту, имя русской парицы. Когда состоялось свиданіе между Гонтою и Желѣзнякомъ, послѣднему легко было дѣйствовать на перваго, имѣя въ рукахъ грамоту съ позолочеными буквами. Притомъ же Желѣзнякъ умѣлъ затронуть самую чувствительную сторону въ казацкомъ сотникѣ—его безграничное честолюбіе. Гонта былъ прежде простымъ казакомъ, такимъ, какъ всѣ казаки его полка. Хорошія качества, цѣнныя въ казакѣ, дали ему возвыситься надъ другими. Его выбрали сотникомъ. Такъ какъ онъ пользовался вліяніемъ на свой полкъ, то на него и обращено было особое вниманіе властей: самъ Потоцкій отличалъ его передъ другими, не только казаками, но и сотниками. Кромѣ обыкновенной сотничьей аренды, ему дали особое имѣніе, слѣдовательно, возвели въ званіе дворянина и помѣщика. Это до того возвысило Гонту въ его собственныхъ глазахъ, что онъ не только не боялся своего полковника, но хотѣлъ уже какъ бы стать на одну доску съ губернаторомъ и питалъ къ нему зависть и скрытую злобу. Желѣзнякъ и билъ уже по этимъ слабымъ струнамъ. Сначала онъ, говорятъ, показалъ ему сочиненный Мелхиседекомъ манифестъ или именной указъ императрицы, который, если не обманулъ Глобу, писаря запорожскаго войска, и кошевого, привыклихъ видѣть именныя указы, то легко могъ обмануть Гонту, который никогда не видалъ ничего подобнаго. Желѣзнякъ подарилъ при этомъ Гонтѣ письменное благословеніе лебединскаго игумена. Онъ говорилъ ему о рыцарской славіи истребленія католиковъ, какъ это дѣлалъ славный Хмельницкій, о распространеніи православія, о торжествѣ казачества, и въ тоже время обольщалъ его богатою добычею. Завоевателямъ польской Украины русская парица, въ лицѣ Желѣзняка, своего посланца, дарила всѣ богатія имѣнія Потоцкихъ, самую Умань могъ взять себѣ Гонта. Русская парица дѣлаетъ сотника воеводою русскимъ на мѣсто Потоцкаго. Гонта не могъ не вѣрить этому, видя своими глазами золотую грамоту и другія доказательства истинны словъ Желѣзняка. Русскія войска, подъ предводительствомъ Кречетникова и другихъ начальниковъ, уже воевали съ поляками, усмиряли конфедератовъ. Умань тоже принадлежала къ партіи конфедератовъ, потому что была собственностью Потоцкихъ и даже вмѣщала въ себѣ нѣсколько сотъ конфедератовъ. Все говорило въ пользу того мнѣнія, что русскіе не въ ладахъ съ поляками, особенно съ конфедератами. Желѣзнякъ былъ представитель русскіхъ отъ лица запорожскаго коша и потому ему нельзя было не вѣрить. И не одного Гонту могли смутить всѣ эти обстоятельства. Мало того, Гонта видѣлъ явное подтвержденіе справедливости доводовъ Желѣз-

ника. Всѣ городовые казаки въ губерніяхъ Черкасской, Смилянской, Лисянской, Звенигородской, Бѣлоцерковской передались на сторону гайдамаковъ. Не передалась одна только казацкая милиція Гранова, гдѣ было пятьсотъ храбрыхъ и хорошо вооруженныхъ казаковъ, и не передалась потому именно, что ей не для чего было измѣнять своему помѣщику, князю Адаму Чарторійскому. Чарторійскій не принадлежалъ къ партіи Потоцкихъ, слѣдовательно, къ партіи конфедератовъ. Онъ принадлежалъ къ партіи Понятовскаго, какъ его родственникъ, и, слѣдовательно, былъ сторонникъ Россіи. Всѣ же прочіе были враги Россіи, а, слѣдовательно, и Желѣзнякъ долженъ былъ быть имъ врагомъ, какъ представитель Россіи въ польской Украинѣ. Всѣ эти соображенія, а вдали—воеводство русское, владѣніе Уманью, слава, богатство, почести—не могли не поколебать Гонтю. Когда Желѣзнякъ говорилъ ему, что онъ будетъ воеводою русскимъ на мѣсто Потоцкаго, Гонта спросилъ:

— Добре: а ви, пане Максиме, чимъ будете—полковникомъ, чи що?

— Отъ дурень!—отвѣчалъ на это Желѣзнякъ,—та я жъ буду гетманомъ обоихъ сторонъ, якъ панъ Хмельницкій.

Желѣзнякъ, какъ видно, самъ увлекался своими мечтами, самъ вѣрилъ своему высокому призванію, въ которое заставилъ его увѣрять Мельхиседекъ, и увлекъ за собою другого честолюбца. Убѣжденіе, съ которымъ говорилъ Желѣзнякъ, убѣдило и Гонтю. Онъ повѣрилъ, что будетъ русскимъ воеводою, и рѣшился дѣйствовать заодно съ Желѣзнякомъ.

Что же дѣлалъ въ то время полковникъ Обухъ, прямой начальникъ Гонты, который вмѣстѣ съ нимъ выступилъ противъ гайдамаковъ, когда Гонта входилъ въ сношенія съ Желѣзнякомъ и оба они рѣшали участь всей польской Украины и гибель Умани? Тучапскій говоритъ, что, когда получено было достовѣрное извѣстіе, что болѣе 500 гайдамаковъ находятся уже по пути къ Умани, въ селѣ Соколовѣ, и что они уже пробіраются къ этому городу, тотчасъ приказано было казачьему полку, оставя въ городѣ пѣхоту, идти на „подѣздъ“ противу гайдамаковъ. Вся надежда, по его словамъ, была на Гонтю: таково было значеніе Гонты по всей казачьей милиціи, между тѣмъ какъ онъ былъ только подчиненное Обуху лицо и отъ него могъ зависѣть только его отрядъ. Этой экспедиціей командовали оба полковника—и Обухъ, и Магнушевскій. Едва полкъ выбылъ изъ Умани, какъ казаки, по настоянію Гонты, тотчасъ отрѣшили отъ должности обоихъ полковниковъ, давая тѣмъ знать, что между ними и Желѣзнякомъ уже все улажено. Тучапскій прибавляетъ, что Гонта, изъ уваженія къ давней къ нему дружбѣ Обуха и Магнушевскаго и во вниманіе къ ихъ заслугамъ, далъ имъ средства уйти за границу. Однако, нѣсколько казаковъ и тамъ ихъ преслѣдовали, изъ опасенія, чтобы они не предувѣдомили Умань и чтобы городъ этотъ, вполнѣ положившійся на Гонтю, легче было захватить въ свои руки.

Свидѣтельство это доказываетъ, что Гонта, когда вторично давалъ торжественную присягу на вѣрность своему долгу, уже былъ въ сношеніяхъ

съ Желѣзнякомъ и рѣшилъ гибель Умани. Ложной присягой онъ хотѣлъ только усыпить Младановича и оставшееся въ городѣ войско подъ начальствомъ капитана Ленарда и хорунжаго Марковскаго. Этимъ еще болѣе подтверждается то извиняющее Гонтю обстоятельство, что онъ далеко былъ не злодѣй, а несчастная жертва обмана *). Такой же жертвой былъ и самъ Желѣзнякъ, котораго обманулъ Мельхиседекъ, и на этого монаха должна падать вся тяжесть тѣхъ преступленій, которыя совершены были тысячами обманутаго имъ народа.

На другой день по выbytи казаковъ изъ Умани навстрѣчу гайдамакамъ, безпокойство въ городѣ не уменьшилось, а постоянно возростало. Приходили слухи за слухами, что гайдамаки приближаются къ городу, а что дѣлали казаки и Гонта,—никто не могъ сказать ничего опредѣленнаго, и страшныя подозрѣнія стали колебать всю массу, съ часу на часъ ждавшую рѣшенія своей участи. Въ невыразимомъ ужасѣ всѣ католики начали готовиться къ смерти, а кто имѣлъ что-либо цѣнное, спѣшили скрыть, и потому въ землю зарывалось золото, серебро и всѣ драгоценности, „которыя и до сихъ поръ откапываютъ“, добавляетъ Тучапскій въ 1787 году, почти черезъ десять лѣтъ послѣ рѣзни. Католическое духовенство, ректоръ Ираклій Костецкій, второй миссіонеръ Епифаній Саходкій, третій миссіонеръ Либерій Очакскій, всѣ три монаха базилианскаго ордена, и другіе рѣшились остаться въ монастырѣ, другіе-же монахи-учителя, числомъ шесть, съ позволенія своего ректора, уѣхали на Волынь. Оставшіеся въ городѣ монахи, въ теченіе трехъ дней, въ пятницу, субботу и воскресенье, т. е. 5, 6 и 7 іюня, до 8 часовъ утра, всѣхъ къ нимъ прибѣгающихъ, исполненныхъ ужаса обывателей утѣшали, въ вѣрѣ святой утверждали, исповѣдывали и причащали, а въ четвертый день, 8 іюня, въ понедѣльникъ, и они—заключаетъ Тучапскій — вмѣстѣ съ другими ужасной смерти были преданы“.

Но между тѣмъ, пока еще не насталъ этотъ роковой день, когда введенный гайдамаками всеобщій ужасъ умножилъ таборъ бѣглецовъ, стоявшихъ у Грекова, всеобщая паника заставила многихъ изъ обывателей, особенно дворянъ, собраться къ Младановичу и уговорить его отправить женщинъ и дѣтей въ Тарговицу, мѣстечко, лежащее недалеко отъ Умани на рѣкѣ Синюхѣ, на самомъ берегу русской границы и какъ разъ противъ русской крѣпости Новоархангельска, съ тѣмъ, чтобы всѣ эти несчастныя могли перейти на русскія земли и тамъ укрыться отъ неминуемой гибели подъ защитой русскаго оружія. Все уже было готово къ отбѣзду. Но въ эту же самую ночь, когда уманскіе обыватели, жившіе по предмѣстьямъ, узнали, что жены и дѣти лучшихъ фамилій бѣгутъ спасаться на

*) Липоманъ замѣчаетъ по этому поводу: „Gonta nie był tak ciemny, żeby nie oparłszy się na jakiejś podstawie, u, chociaż zrecznie wymysloniej, i będąc tyle udobrodziejstw wany od wojewody kijowskiego, dał się ułudzić, co się przy zgonie jego, jak się niżej powie, okazało, wreszcie jak nastąpiła śmierć jego z Żelazniakiem, o tej nic statego powiedzieć nie można“.

русской землѣ, и когда эти женщины и дѣти садились уже въ экипажи, въ замокъ вбѣжали толпы женщинъ, мѣщанъ, священники и евреи, съ плачемъ и просьбами, умоляя, чтобы тѣ, которые приготовились къ побѣгу, не дѣлали этой тревоги, что, въ противномъ случаѣ, и они всѣ убѣгутъ изъ города. Они увѣряли, что казаки уничтожатъ сволочь (motloch) Желѣзняка. „Ихъ слезы и просьбы убѣдили насъ, — говоритъ Вероника Кребсъ, которая тоже собиралась съ матерью и сестрами убѣжать изъ Умани, — и мы остались, радуясь, что не покидаемъ отцовъ и мужей въ опасности“.

Но не такъ смотрѣли на это другіе современники — поляки. Вероника Кребсъ, какъ дочь Младановича, естественно, одобряла распоряженія своего отца, не позволившаго женщинамъ и дѣтямъ искать спасенія на русской землѣ, и потому она говоритъ, что рада была остаться тѣмъ болѣе, что ей удалось спастись отъ смерти какимъ-то чудомъ. Но Липоманъ прямо упрекаетъ его за то, что онъ отступилъ отъ своего спасительнаго рѣшенія и другихъ потянулъ за собою въ бездну ¹⁾.

Въ продолженіе всѣхъ этихъ дней, когда тревога въ Умани дошла до крайнихъ предѣловъ, отъ казачьяго полка не приходило, положительно, никакихъ вѣстей, и это еще болѣе усиливало ужасъ. Думали, что по звенигородской дорогѣ и не могли дойти вѣсти, потому что вѣстниковъ не допускали гайдамаки. А между тѣмъ неопредѣленные, но тѣмъ болѣе страшныя вѣсти не переставали облетать весь городъ и таборъ, и всѣ ждали смерти. Одни говорили, что было письмо отъ полковника Обуха, ушедшаго вмѣстѣ съ казаками, другіе — что вѣсти приходили невѣдомымъ образомъ, и вѣсти все безотрадные, и тѣмъ напряженнѣе и безвыходнѣе становилось состояніе города, съ часу на часъ ожидавшаго гибели.

Былъ въ это время въ Умани землемѣръ Шафранскій, присланный для измѣренія земли. Человѣкъ этотъ находился прежде въ военной службѣ у короля прусскаго, и потому былъ знатокъ военнаго дѣла. Шафранскій, говорятъ, былъ человѣкъ замѣчательный. Онъ безпрестанно говорилъ о Берлинѣ и Фридрихѣ Великомъ, котораго зналъ лично. Хотя одѣвался въ старинный польскій костюмъ и по званію своему былъ землемѣромъ и архитекторомъ, но по всему видно было, что онъ служилъ въ военной службѣ, и — какъ предполагали — въ Пруссіи. Графъ Потоцкій прислалъ его въ Умань, какъ архитектора и инженера, для возведенія крѣпости и городскихъ зданій, для основанія базилианскаго монастыря и отвода дарованныхъ ему земель и имѣній. Шафранскій одинъ не потерялся въ самый день уманской рѣзни, и еслибъ польскіе дворяне, защищавшіе вмѣстѣ съ евреями городъ, не перепились до пьяна, можетъ быть, единственно за недостаткомъ въ Умани воды, и еслибъ они дѣйствовали такъ же добросовѣстно и самоотверженно, какъ дѣйствовали робкіе и никогда не бравшіе въ руки ружья евреи, которыхъ Шафранскій поощрялъ и училъ стрѣлять,

¹⁾ ... z innych pociągnął za zobaq“.

то Умань, можетъ быть, была бы спасена, благодаря дѣятельности и распорядительности Шафранскаго и удивительной отвагѣ, съ которою дѣйствовали евреи, робкіе и невоинственные по природѣ.

Этого Шафранскаго, вмѣстѣ съ казначеемъ Рогашевскимъ, Младановичъ послалъ за городъ узнать расположеніе табора, собравшагося у Гркова, и сосчитать число этихъ несчастныхъ таборитовъ. Шафранскій воротился и увѣдомилъ, что въ таборѣ находится до шести тысячъ человѣкъ, но число это постоянно возрастаетъ.

Нѣсколько дней, какъ видно, гайдамаки боялись идти прямо на Умань и оставались въ нерѣшимости, несмотря на то, что они уже заручились союзомъ уманскихъ казаковъ. Нерѣшительность эта выражается и въ народной пѣснѣ объ „уманской побѣдѣ“. Гайдамаки обращаются къ своимъ отцамъ-начальникамъ:

Ой, батьки-начальники,
Що то буде зъ нами?
Здається, що наше життя мине,
И насъ візьмуть зъ нами.

На это Желѣзнякъ отвѣчаетъ твердой увѣренностью, что имъ нечего бояться, что они еще дадутъ Умани крови пить:

Не тужіте, мої діті,
Не журітесь, бистрі орленята!
Ще мі дамо Уманеві крові пити,
Ще дадуть намъ горілки ляхи и жиданята.

Тогда гайдамаки съ своей стороны выражаютъ, что съ Желѣзнякомъ имъ бояться нечего и что съ нимъ они готовы идти въ адъ:

Охъ, батьку Максиме, прости,
Ми й забули, що ми зъ тобою.
Кажі, вели куда йти,
А ми хоть въ пекло зъ тобою.

Тутъ они спрашиваютъ Желѣзняка, называя его „полковникомъ“,—кого прежде имъ начать бить, а кого брать въ плѣнъ. Желѣзнякъ объясняетъ, что бить будутъ ляховъ, а жидовъ будутъ крестить саблями, потому что „ляшина—превраща дитина“, а робкій еврей, „жидовинъ—зайцеві дружина“. Онъ говоритъ, что съ евреемъ можно все сдѣлать: и послать куда нужно, и ободрать его, а „вражого ляха не ужуешь“. Далѣе гайдамаки говорятъ:

Охъ, Максиме Желѣзняку!
Ходімо въ Смілу ляхівъ гафтовати,
А після тої поживи
Підемо Умань штурмувати.

Отвѣчая на это, Желѣзнякъ одно твердить, именно то, что нашепты-
ваетъ ему его религіозный и казацкій фанатизмъ:

Ой, ходимо, діті, Умань штурмовати
И свою братську кровъ відъ католика відбивати.

23 апрѣля гайдамаки присутствовали при освященіи ножей въ лебе-
динскомъ монастырѣ, а 8 іюня они были подъ Уманью и готовились этими
ножами вырѣзать всѣхъ „до ноги“.

VI.

Шафранскій, о которомъ мы говорили въ предыдущей главѣ, избралъ
для своего пребыванія одну изъ башенъ, находившихся около экономиче-
скаго дома, и выбралъ самую высокую изъ нихъ, съ которой бы видѣе
было въ подзорную трубу наблюдать окружающія городъ окрестности. Тамъ
онъ занимался своими математическими работами.

8 іюня утромъ, по направленію къ Грекову, показалось облако пыли.
Шафранскій приближалъ къ Младановичу и объявилъ, что въ зрительную
трубу онъ замѣтилъ, какъ вдали показался полкъ уманскихъ казаковъ,
который приблизился къ Грекову и тамъ у лѣска остановился. „Сердца
наши,—говоритъ Вероника Кребсъ,—наполнились страхомъ и надеждою“.
Всѣ съ радостью предполагали, что уманскій полкъ, разбивъ гайдамацкое
ополченіе, возвращался въ Умань, или же, въ крайнемъ случаѣ, что казаки
спѣшатъ на защиту своего города, къ которому скоро должны подойти
гайдамаки. Но радость и надежда тотчасъ смѣнились отчаяньемъ, когда,
вслѣдъ затѣмъ, вновь сбѣжалъ съ башни Шафранскій и принесъ печальную
вѣсть, что онъ замѣтилъ толпу конныхъ, приближающихся туда же, и при-
томъ въ различныхъ одеждахъ и различно вооруженныхъ. Видно было, что
это уже не уманскіе казаки, которые имѣли извѣстную мундирную форму
и однообразное вооруженіе, одинаковыхъ лошадей. Шафранскій видѣлъ,
какъ предводитель этой новой толпы, приблизившись къ Гонтѣ (котораго
Шафранскій узналъ) и сошедши съ лошади, привѣтствовалъ его, какъ
пріятеля, какъ они подали другъ другу руки и обнялись. Но полковника
Обуха между ними не было видно. Наступила страшная тревога, потому
что уже не оставалось сомнѣнія, что Гонта соединился съ Желѣзнякомъ и
что этотъ послѣдній прибылъ къ Умани по слѣдамъ Гонта. Это страшное
опасеніе окончательно подтвердилось, когда вся эта нестройная орда, вмѣстѣ
съ уманскими казаками, бросилась на таборъ у Грекова и начала всѣхъ
колоть и вырѣзывать „до ноги“, какъ выражаются свидѣтели этой страшной
сцены. А свидѣтели эти, дѣйствительно, видѣли эту рѣзню изъ города, но
ничего не могли сдѣлать для спасенія убиваемыхъ, потому что сами ждали
той же участи.

Шафранскій не ошибся: то были гайдамаки. Отчаяніе вынуждало при-
бѣгнуть къ защитѣ, хотя надежда на успѣхъ была менѣе, чѣмъ сомни-
тельна. При слабости и нерѣшительности губернатора, Шафранскій самъ

принявъ въ свои руки защиту города и тотчасъ же распорядился обороной, какъ главный командиръ. Онъ тотчасъ же роздалъ оружіе евреямъ и поставилъ ихъ у палисадовъ, приказывая стрѣлять, лишь только гайдамаки покусятся приблизиться. Въ башенныхъ воротахъ, при пушкахъ, онъ поставилъ надворную пѣхоту и самъ распоряжался дѣйствіемъ артиллеріи. Хорошо вооруженные пѣшіе казаки — „лизни“ — также посажены имъ за палисадами, вмѣстѣ съ еврейскими стрѣлками. Мосты, которые вели въ городъ, были подняты.

Гайдамаки, вырѣзавъ таборъ, подступили къ городу. Нѣкоторые изъ нихъ, переходя предмѣстья, бросались къ воротамъ, но картечь остановила ихъ, и они, подобравъ раненыхъ, съ воплемъ бросились назадъ. Тогда нахлынула гораздо большая толпа — и это уже были не гайдамаки, но и измѣнившій Умани казачій полкъ. Одна часть толпы бросилась къ палисадамъ, другая къ крѣпостнымъ воротамъ, намѣреваясь штурмомъ взять или башни, или деревянные стѣны. Но изъ башенъ ихъ посыпали картечью изъ пушекъ жолнеры, а изъ-за палисадовъ били ихъ ружейными выстрѣлами еврей и „лизни“, которые просовывали ружья въ отверстія, сдѣланныя въ палисадахъ, и пускали пули прямо въ толпу. Робкіе еврей, несмотря на свою національную антипатію къ войнѣ, дѣйствовали отлично, и сами поляки отдавали имъ справедливость въ той энергіи, съ которою они исполняли обязанность стрѣлковъ *). Отбиваемые картечью и ружейнымъ огнемъ, гайдамаки съ бѣшенствомъ спускались внизъ отъ замка, рыскали по предмѣстьямъ и убивали безъ разбору попадавшійся имъ на встрѣчу народъ, и поляковъ, и мѣщанъ. Потомъ гайдамаки съ новой силой бросались на башни и палисады, и вновь были отбиваемы.

Эти отчаянныя нападенія и эта защита тянулись очень долго, между тѣмъ какъ гайдамацкія ядра и пули летали уже въ городъ и падали между народомъ. Ни гайдамаки, ни осажденные ими поляки и еврей, по видимому, не уставали, и на первое время всѣ дѣйствовали съ полною энергіею. Конфедераты, съ своей стороны, отважно помогали защитѣ города. Къ этой стойкости, говорятъ, въ началѣ осады города, поощряли всѣхъ и пруссаки, которые прибыли въ Умань, въ числѣ пятидесяти человѣкъ, за ремонтомъ лошадей, но когда приготовленія къ битвѣ уже были готовы, они, не имѣя приказанія отъ своего начальства на участіе въ битвѣ съ той или другой стороны, спокойно ретировались въ тѣ ворота, которыя не были атакованы гайдамаками.

„Защищаться было легко, — говоритъ Тучапскій, — ибо имѣлись пушки осадныя и полевые, множество оружія и довольно пороху, картечи и пуль“.

Атака продолжалась, такимъ образомъ, цѣлый день и всю слѣдующую ночь. Но вдругъ „лизни“, наскучивъ трудною обороною и, вѣроятно, сомнѣваясь въ успѣхѣ, такъ какъ гайдамаки рѣшительно не показывали при-

*) «Żydzi czynnie i gorliwie przyczyniali się do obrony i wszelkie rozporządzenia Szafranskiego wypełniali».

знака утомленія, — перелѣзли черезъ ограду и соединились съ разбойниками. Мало того, арестанты, сидѣвшіе въ уманской тюрьмѣ, оставленные, во время штурма, безъ надзора, разломали колодки, разбили тюремныя двери и также передались гайдамакамъ.

Во время этой осады, ректоръ Костецкій и другіе католическіе и униатскіе священники, видя всеобщій ужасъ и уныніе, вышли изъ церквей въ полномъ облаченіи и, предшествуемые святыми дарами, въ продолженіе двадцати восьми часовъ ходили по улицамъ съ пѣніемъ и молитвами. Ихъ сопровождали вопли, елезы и крики слѣдовавшаго за ними народа. Гайдамаки завладѣли уже форштатами и стрѣляли оттуда по городу. „Я помню, — говоритъ Вероника Кребсъ, — что пули изъ предмѣстья Турокъ, лежавшаго на возвышеніи, но ниже стараго города, долетали до насъ, слѣдовавшихъ за крестнымъ ходомъ“, но только никого не убили. Несчастные осажденные, — замѣчаетъ съ своей стороны Липоманъ, — почитали это предсказаніемъ благоприятнаго исхода обороны. Шафранскій, видя малое число шляхты и измѣну лизней, не переставалъ учить и поощрять жидовъ стрѣлять черезъ палисады. Но въ это время гайдамаки со всѣхъ окрестныхъ селъ и деревень, изъ Помыиника, Маньковки, Ивановки, Полковничей и другихъ, нагнали цѣлыя толпы крестьянъ, которые бросились на палисады и начали подрубывать сваи. „Въ столь грозный часъ опасности, — продолжаетъ Вероника Кребсъ, — мужество многихъ поколебалось, и неудивительно: кромѣ трудной защиты обширнаго города и страха неумолимаго и дикаго врага, къ тому же еще дни были знойные, а воды въ городѣ ни капли. Жажда, а, быть можетъ и отчаяніе заставило дворянъ пить вино, медъ и наливки, которыми вели торговлю евреи, и большое ихъ количество хранили всегда въ погребкахъ. Это иногда уничтожало всякій порядокъ. Одинъ Шафранскій не терялъ духа: онъ вездѣ былъ лично, и правду сказать, — онъ одинъ и распоряжался“ (въ этомъ случаѣ уже рассказчица не можетъ скрыть полной бездѣятельности своего отца, который, какъ видно по послѣдующимъ его дѣйствіямъ, окончательно потерялъ голову). „Гдѣ былъ тогда командиръ регулярнаго пѣхотнаго отряда капитанъ Ленардъ, — не знаю. Что дѣлали конфедераты? Почему они, привыкшіе къ битвамъ, не защищали Умань, трудно сказать. Шафранскій жаловался на эту толпу дворянства и въ упрекъ ставилъ имъ примѣръ жидовъ, твердо державшихъ свои посты, несмотря на труды и раны. Со стороны гайдамаковъ видно было, что только Желѣзнякъ дѣйствовалъ, ибо онъ ни на минуту не оставлялъ предмѣстій“.

Но и въ этомъ отчаянномъ положеніи осажденные все еще держались. Хотя Желѣзнякъ и зналъ, что взять Умань было не такъ легко, какъ всѣ другіе города, имъ уже взятые и раззоренные, однако, онъ не ожидалъ такого упорнаго сопротивленія, несмотря на то, что на его сторонѣ было уже все уманское войско. Объ этомъ упорствѣ осаждаемыхъ говорить и пѣсня, прославляющая подвиги Желѣзняка.

Ой пішовъ Желізнякъ до воріть,
Та й адібавъ три копн клопівъ.

Это единственное мѣсто въ пѣснѣ, гдѣ сами гайдамаки сознаются, что у замковыхъ воротъ Умани они встрѣтили „три копы хлопотъ“. Въ другихъ мѣстахъ они только хвалятся своими удачами и своей жестокостью. Въ то время, когда изъ замка еще отражали ихъ нападенія выстрѣлами изъ пушекъ и ружей, они уже успѣли завладѣть всѣми предметами, и Асташевымъ, и Бабанкой, и Туркомъ, и Новымъ Мѣстомъ. Весь городъ былъ въ ихъ рукахъ, а оставался цѣль только замокъ (stage miasto), господствовавшій надъ всею мѣстностью, да овраги и палисады, которые гайдамаки хотя и подрубали и подкапывали, однако, въ самый замокъ не могли ворваться, а между тѣмъ насчитывали все большее и большее число убитыхъ и раненыхъ своихъ товарищей. Гонта, знавшій лучше своихъ товарищей оборонительныя средства города, повидимому, выжидалъ: онъ зналъ, что тамъ пить нечего осажденнымъ, такъ какъ въ городѣ не было ни капли воды; онъ же зналъ, сколько въ уманскомъ цейхаузѣ артиллерійскихъ и ружейныхъ припасовъ; онъ зналъ, болѣе какого количества зарядовъ городъ не можетъ выпустить и, когда должна будетъ по необходимости умолкнуть канонада. Онъ вѣрно разсчиталъ это и медлил, вполне увѣренный, кромѣ того, что Умани ждать помощи не откуда, по крайней мѣрѣ, на первое время, а до той поры осажденные сами попросятъ пощады.

Дѣйствительно, 9 июня, около второго часа пополудни, Шафранскій увидѣлъ, что у него не осталось уже ни одного пушечнаго заряда. Запасъ былъ небольшой, а, между тѣмъ, во все время осады изъ города безпрепятственно стрѣляли по осаждающимъ картечью, и только этимъ прогоняли ихъ, а потому на третій день осады стрѣлять уже было нечѣмъ. Дальше отражать нападеніе оставалось невозможнымъ. Въ это время Гонта, вѣроятно, сообразивъ, что средства обороны города истощились, а также разсчитывая, что при помощи хитрости легко завладѣть замкомъ, приблизился къ замковымъ воротамъ со всѣми своими „началами“ и со всѣми признаками того, что онъ желаетъ вступить въ переговоры съ осажденными. Тучапскій говоритъ, что, сидя на лошади, Гонта въ знакъ мира и безопасности для города, показывалъ осажденнымъ бѣлый платокъ на пикѣ, а другой такой же послалъ къ Младановичу, приказавъ сказать ему, что, такъ какъ онъ обѣщалъ вѣрность помѣщику и городу, то и теперь не намѣренъ дѣлать имъ никакого вреда, лишь бы его съ казаками впустили въ замокъ. Въ противномъ случаѣ, грозилъ самымъ жестокимъ мщеніемъ. Слѣдуетъ припомнить, что къ подобному же парламентерскому средству, для обмана поляковъ, прибѣгли гайдамаки и въ Лисянскѣ, гдѣ имъ вполне удалась ихъ злая выдумка. Здѣсь произошло тоже. Гайдамацкіе посланцы говорили, хотя просто, но такъ хитро, что убѣжденный ими губернаторъ не позволилъ, или какъ говорятъ другіе, — рѣшительно запрещалъ защищать городъ. Тогда-то, по словамъ очевидца-монаха, осажденные, не надѣясь спасти жизнь свою, тѣлились только о спасеніи души, а потому одни въ базиліанской церкви, другіе — въ приходской, исповѣдывались и поцѣлывали

полное разрѣшеніе грѣховъ, какъ передъ смертью. Иные же, не помѣщаясь въ церквахъ, приобщены были святыхъ таинъ чрезъ базилианъ на рынкахъ или улицахъ. Ужасъ объялъ всѣхъ, страхъ извлекалъ слезы и стоны, всѣ другъ съ другомъ прощались, какъ бы разставаясь на вѣки (что, дѣйствительно, и случилось). Тучапскій присовокупляетъ, что капитанъ Ленардъ и хорунжій Марковский не соглашались съ Младановичемъ на сдачу города и хотѣли изъ пушекъ и ружей стрѣлять по идущимъ къ воротамъ гайдамакамъ; но губернаторъ опять-таки запретилъ. Послѣ недолгаго спору, ворота были отперты.

Въ фактической точности этихъ показаній мы сомнѣваемся. Ни Ленарду, ни Марковскому спорить съ губернаторомъ не приходилось, потому что стрѣлять было нечѣмъ. Притомъ же, какъ видно и изъ предыдущихъ свѣдѣній, защитой замка распоряжался Шафранскій, чего и не скрываетъ дочь Младановича, знавшая, что отецъ ея такъ растерялся, что не могъ дѣйствовать. А что касается до Ленарда и Марковского, то она—Вероника—сама же спрашиваетъ, гдѣ они были и что дѣлали конфедераты? Если бы они были на виду и дѣйствовали, какъ Шафранскій, то свидѣтельница всѣхъ ужасовъ, происходившихъ въ Умани, Вероника Кребсъ, все время осады вмѣстѣ съ другими слѣдовавшая за крестнымъ ходомъ, не стала бы спрашивать, гдѣ были въ то время Ленардъ и Марковский, которые тотчасъ же успѣли бѣжать изъ города, лишь только ворота были отворены для осаждавшихъ.

Вообще Вероника Кребсъ рассказываетъ исторію сдачи города нѣсколько иначе и, по нашему мнѣнію, правдоподобнѣе Тучапскаго.

Она говоритъ, что—когда Шафранскій замѣтилъ, что боевые запасы истощены и отстаивать замокъ уже невозможно и что, съ своей стороны, Гонта приблизился къ замку, онъ посовѣтовалъ Младановичу испытать средства къ примиренію. Рѣшились дѣйствовать на слабую сторону Гонты, на которую дѣйствовалъ и Желѣзнякъ, переманивая его на свою сторону—именно на непомѣрное честолюбіе сотника. Младановичъ и Шафранскій для этой цѣли приказали мѣщанамъ выйти на встрѣчу къ Гонтѣ съ хлѣбомъ-солью и подарками, а Младановичъ долженъ былъ войти съ нимъ въ переговоры. Шафранскій же, какъ бы не желая никакихъ сношеній съ измѣнникомъ, долженъ былъ показывать видъ запальчивости и непреклонности. Когда Младановичъ выйдетъ за ворота, вмѣстѣ съ прочими депутатами отъ города, для встрѣчи Гонты, Шафранскій долженъ былъ стоять у пушекъ съ зажженными фитилями, и, когда приблизится Гонта, онъ долженъ былъ показать видъ, что хочетъ приложить фитиль къ пушкѣ, чтобы выстрѣлить, а Младановичъ долженъ былъ удержать его руку *).

*) Липоманъ же сомнѣвается, чтобы Шафранскій могъ подать такой совѣтъ, когда онъ самъ и вооружалъ евреевъ, и отражалъ бунтовщиковъ пушечною пальбою и ружейнымъ огнемъ, а потомъ и самъ оборонялся,

Советъ Шафранскаго былъ принятъ, и все было сдѣлано, какъ онъ предполагалъ сдѣлать, но все было напрасно.

Ворота были отворены. Младановичъ, сопровождаемый властями города и почетнѣйшими обывателями, съ хлѣбомъ и солью вышелъ къ приближавшимся Гонтѣ и Желѣзняку. Но они, зная состояніе гарнизона и недостатокъ въ боевыхъ припасахъ и водѣ, съ презрѣніемъ отвергли всѣ условія. Гонта не хотѣлъ даже и говорить съ Младановичемъ и, отвернувшись *) отъ него, вѣхалъ въ городъ. Младановичъ, отступивъ отъ него и обратившись къ своимъ, сказалъ: „Нѣтъ никакой надежды—надо поручить себя Богу и погибать“.

Толпы гайдамаковъ тотчасъ же ворвались въ городъ, поставили свои караулы у обѣихъ церквей и у еврейской синагоги, окружили ратушу со всѣхъ сторонъ и разсѣялись по городу. Но убійство еще пока не начиналось. Младановичъ прибѣжалъ къ своему семейству и сказалъ съ отчаяніемъ: „Я говорилъ съ Гонтою. Нѣтъ никакой надежды,—остается поручить себя Богу и умирать“. Тогда-то поднялись вопли и стоны, еще болѣе раздражающіе, чѣмъ во всѣ предыдущіе дни. Младановичъ и все его семейство, а также духовенство, бросились въ базилианскую домовую церковь, „чтобы въ этихъ, Богу посвященныхъ зданіяхъ, положить животъ свой“. Остальные католики и униаты толпились въ своей приходской церкви. Евреи заперлись въ своей синагогѣ, кто могъ въ ней помѣститься.

— Ну-те, братці, пора начинати діло,—сказалъ Гонта, посоветовавшись съ Желѣзнякомъ и видя, что весь замокъ былъ уже въ ихъ рукахъ.

Тогда начались убійства во всѣхъ концахъ города, и при этомъ совершались такіа жестокости, которыхъ, по словамъ очевидца, случайно слышавшагося, и описать невозможно. Первыми жертвами гайдамаковъ были тѣ, которые попались на площади: ихъ кололи, рѣзали, убивали на улицахъ и по домамъ, безъ всякаго сожалѣнія къ лицамъ, къ ихъ просьбамъ и слезамъ. Несчастныхъ дѣтей подкидывали вверхъ или съ крышъ бросали на пики, и пробитыхъ, такимъ образомъ, если они оставались еще живы, добивали, чѣмъ попало. Плачъ, крики и моленія наполняли воздухъ. Тамъ стонали беременныя женщины, которымъ поролі животы, чтобы вырванный плодъ убивать жестокимъ образомъ. Остальная, неизмѣнившая мнѣнія и конфедераты защищались еще, но недолго, бывъ лишены предводителей. Ленардъ, тотчасъ послѣ открытія воротъ, ускользнулъ изъ города. Оставшіеся конфедераты, убивъ и ранивъ многихъ гайдамаковъ, всѣ, безъ исключенія, были истреблены.

Народное преданіе рассказываетъ, что этой страшной рѣзнѣ предшествовали торжественныя похороны, которыя гайдамаки велили своимъ

съ оружіемъ въ рукахъ, до послѣдней минуты своей жизни, когда городъ уже былъ взятъ, когда все въ немъ было вырѣзано и оставался отронутымъ почти одинъ Шафранскій. Lip. § VII.

*) Липоманъ говоритъ даже, что Гонта „oburzył się na Mładanowicza“.

жертвамъ справить по себѣ еще при жизни. Это опять-таки было то злое глумленіе надъ несчастными, которое гайдамаки дѣлали въ Черкасахъ надъ двѣнадцатью еврейками, а въ Лисинкѣ надъ ксендзомъ и евреемъ, повѣшенными на одну балку съ собакой. Преданіе говорить, что, когда гайдамаки взяли Умань, то сѣли на стульяхъ посреди города и велѣли позвать къ себѣ духовныхъ. Къ нимъ привели базиліанъ. Атаманъ и говоритъ:

— Ну что, паны-отцы? Мы васъ слушаемся: послушайтесь же вы насъ хоть одинъ разъ, и мы васъ наградимъ.

— Что прикажете, вельможные паны?—говорятъ базиліане, дрожа отъ страха.

— Возьмите вы кресты, пройдите по улицамъ и справьте похороны.

Базиліане взяли кресты и пошли по улицамъ, отправляя свои похороны. Народъ плачетъ по всему городу. И базиліане, отправляя похороны, плачутъ.

Когда кончилась похоронная процессія, атаманъ наградилъ базиліанъ червонцами и обратился къ гайдамакамъ:

— Ну что, молодцы, видите какіе хорошіе жупаны на панахъ? А у насъ бѣдныхъ, иной разъ и рубашки нѣтъ. А нуте-ка, принимайтесь за дѣло.

Тогда уже и началась рѣзня *).

Самъ Гонта съ другими сотниками и цѣлою толпою казаковъ подошелъ къ базиліанскому монастырю, гдѣ скрывался Младановичъ и другіе, ожидавшіе смерти католики. Остановясь у церковныхъ дверей, Гонта приказалъ, чтобы Младановичъ и подскарбій Рогашевскій явились къ нему. У Младановича была жена, 84-лѣтняя мать, четыре сестры, два шурива, трое дѣтей, въ томъ числѣ Вероника, разсказомъ которой мы теперь пользуемся, и нѣсколько племянниковъ. Рогашевскій имѣлъ жену и четырехъ дѣтей. Прежде вызвали Младановича **). Онъ вышелъ на церковную паперть и вмѣстѣ съ женою и дѣтьми подошелъ къ Гонтѣ. Вероника была около отца и хорошо слышала, что онъ говорилъ Гонтѣ:

— Пане Гонто!—сказалъ онъ.—Ты уже много милостей получилъ отъ нашего пана, и получишь еще больше, когда его имѣнія и этотъ городъ спасешь отъ новыхъ бѣдствій.

„Не знаю, что отвѣчалъ Гонта, — замѣчаетъ дочь Младановича, — но я помню свирѣпое выраженіе лица его“.

Говорятъ, что Гонта, указавъ Младановичу на убійцъ и на бывшій лагерь у Грекова, сказалъ:

— Дивись, панъ подоголій, якъ гуляють.

*) Кулишъ, Записк. о Южной Руси.

**) Липоманъ говоритъ только, что въ костелѣ „dał się słyszeć głos jakiegoś z tych sbójców naczelnika, izby wyszedł z kościoła do Gonty komisarz i kassyer z całą rodziną“.

Тогда Младановичъ, обращаясь къ другому уманскому сотнику, изъ села Хвашеватой, Ереміи Панку, сказалъ въ полголоса:

— Пане Еремо, спасай насъ.

— Нехай васъ Богъ ратуе, а я уже васъ не обороню, — отвѣчалъ тотъ со слезами.

Младановичъ, услышавъ это, обратился къ Вероникѣ, какъ къ старшей дочери, имѣвшей 18 лѣтъ, и, возлагая на нее снятую съ себя небольшую икону Божіей Матери, сказалъ: „Это наслѣдіе моихъ предковъ. Пусть Пресвятая Дѣва, здѣсь изображенная, защититъ тебя. Если переживешь наше бѣдствіе, то храни свято послѣдній даръ мой“. Потомъ, вынувъ кошелекъ и положивъ его въ карманъ Вероники, присовокупилъ: „Вотъ все, что тебѣ могу оставить“. Это былъ кошелекъ съ золотыми деньгами. Но тутъ Гонта крикнулъ, чтобъ оба семейства, и Младановичей, и Рогашевскихъ увели прочь.

Были причины, по которымъ Гонта такъ ожесточенъ былъ противъ Младановича. Потоцкій, узнавъ о волненіяхъ на Украинѣ и желая обезопасить свои имѣнія, особенно Умань, за нѣсколько недѣль до взятія этого города гайдамаками, написалъ Гонтѣ очень ласковое письмо *) и обѣщалъ ему подарить въ полную собственность хутора (folwarki), которыми уже владѣлъ Гонта, а двѣ деревни оставить ему въ пожизненное владѣніе, если онъ въ охраненіи Уманщины, и въ особенности Умани, останется вѣрнымъ и старательнымъ **). Младановичъ, изъ зависти ли, или изъ презрѣнія къ Гонтѣ, или по какимъ-либо другимъ причинамъ, письма этого ему не отдалъ и даже не сказалъ объ немъ ничего. Но Гонта какимъ-то образомъ узналъ объ этомъ письмѣ, когда еще не выходилъ противъ гайдамаковъ, а потомъ, когда имущество Младановича было разграблено и принесено къ Гонтѣ, между разными бумагами найдено было и это письмо, за которое Гонта и возненавидѣлъ Младановича. Онъ велѣлъ привести къ себѣ губернатора и со злобой сказалъ ему:

— „Зрадца! измѣнникъ! почему ты не показалъ мнѣ этого письма? Что ты выигралъ, утаивъ его? Ты далъ поводъ ко всѣмъ этимъ жестокостямъ! Ты (показывая на трупы) причина разлитія этой крови!“ — и ударилъ его саблею по открытой головѣ.

Окровавленный Младановичъ упалъ у ногъ Гонты и тутъ же изрубленъ былъ въ куски казаками. Его жена и остальное семейство, за исключеніемъ дочери Вероники и маленькихъ сыновей, несмотря на просьбы и горькія слезы, были раздѣты донага и среди безстыдныхъ ругательствъ и насмѣшекъ исколоты пиками. Тутъ же разбойники привели эконома уманскаго замка, Скаржинскаго, босого и одѣтаго въ рубище и, несмотря на то, что Гонта хотѣлъ защитить его, крестьяне, которыхъ онъ по своей должности иногда наказывалъ, требовали, чтобъ онъ былъ убитъ. И онъ былъ убитъ ружейнымъ выстрѣломъ (z tłumu zażartego pospółstwa).

*) „pełen łaskawycg wyrazów list“.

**) „wiernym, cznym i starannym“.

Вероника Кребсь говорить, что, когда ее увели отъ отца, она почти безъ памяти прошла на церковный дворъ. Но тутъ кто-то ударилъ ее пикою и она упала. Ударившій поднялъ ее за волосы, чтобы отнять отцовскія деньги. „Я думала,—говорить она,—что уже пришелъ мой послѣдній часъ, что онъ убьетъ меня, но толстый на косточкахъ корсетъ, который тогда носили, спасъ меня отъ смерти: пика причинила мнѣ только легкую рану“.

Вскорѣ пригнали къ нимъ еще большую толпу людей, и они всѣ, посреди мертвыхъ тѣлъ, брошенныхъ на улицахъ, добрались до „комисарни“, которая была огорожена палисадомъ на подобіе замка. Вероника Кребсь говорить, что съ нею была одна ея тетка, дѣвица, которая занималась ея воспитаніемъ. Вероника и десятилѣтній братъ ея, Павелъ, держались этой тетки и среди двора ожидали такимъ образомъ своей участи. Когда тамъ набралось довольно дворянскихъ и еврейскихъ дѣтей, согнанныхъ гайдамаками, то всѣхъ ихъ повели въ церковь св. Николая, чтобы обращаться въ православіе. Тетка Вероники, услышавъ это, упала на колѣни и воскликнула: „я хочу лучше умереть, нежели измѣнить вѣрѣ, въ которой родилась“. Но она не успѣла выговорить этихъ словъ, какъ сторожъ губернаторскаго дома однимъ ударомъ топора убилъ ее на мѣстѣ *). „Тутъ уже я совсѣмъ лишилась чувствъ,—говорить Вероника,—и не знаю, какъ очутилась въ церкви, среди поддерживавшихъ меня мѣщанокъ, а брата моего увидѣла на рукахъ у какого-то казака“.

Тогда началось крещеніе католиковъ и евреевъ. Крещеніе это происходило при колокольномъ звонѣ, среди священныхъ хоругвей. Священникъ дрожалъ отъ страху, совершая это странное крещеніе,—и нельзя было не дрожать: другой священникъ, который отказался совершать этотъ обрядъ, былъ убитъ. Кумовьями были тѣ же самые гайдамаки, которые согнали въ церковь толпу православныхъ по неволѣ. Когда начали крестить дѣтей Младановича, старикъ священникъ, совершавшій этотъ обрядъ, съ горькими слезами спросилъ: „Гдѣ же воспріемники отъ купели?“ Толпа казаковъ закричала: „хрестить! хрестить! Желѣзнякъ и Гонта кумы!“

Послѣ церемоніи всѣхъ перекрещенцевъ погнали въ казармы, гдѣ прежде содержались преступники. Туда они шли буквально по трупамъ. Въ казармахъ было уже такое множество народа и такая тѣснота, что даже стоять свободно нельзя было. Крики убійцъ, вопли и стоны убиваемыхъ раздавались безпрестанно. Уже смеркалось, когда Вероника увидѣла, что какой-то молодой казакъ пробивался въ толпѣ и громко спрашивалъ: „Есть тутъ діти Младановича?“ Когда онъ приблизился, Вероника узнала въ немъ старшаго сына Рогашевского, бывшаго казначея, который уже былъ убитъ въ этотъ день. Молодой Рогашевскій былъ переодѣтъ въ казацкое платье и потому не могъ возбуждать въ гайдамакахъ подозрѣнія. Онъ разсказать,

*) Липоманъ, говоря, что эта женщина *«od chlora miała rozciętą głowę tak łusie skórczyła»*, прибавляетъ, что подобныхъ жертвъ (ofiar) было еще двѣ.

то ни родителей Младановичъ, ни его собственныхъ родителей и даже никого изъ родныхъ не осталось въ живыхъ. Всѣхъ ихъ привели къ дому городского головы (wojta) Игната Богатаго, гдѣ поселились Желѣзнякъ и Гонтя, и тамъ немедленно приговорили къ смерти и казнили: всѣхъ этихъ несчастныхъ, безъ различія пола и возраста, покололи пиками. Молодого же Рогашевского, вмѣстѣ съ его двумя младшими братьями, спасъ одинъ казакъ изъ той деревни, которая дана была Потоцкимъ Рогашевскому вмѣсто жалованья. Этотъ казакъ схватилъ ихъ подъ тѣмъ предлогомъ, тобы убить на просторѣ, а между тѣмъ спряталъ на время въ какомъ-то подвалѣ. Вскорѣ потомъ этотъ казакъ воротился въ подвалъ, принесъ Рогашевскому казачій нарядъ и пикю и совѣтовалъ „погулять“ подобно прочимъ. А маленкихъ братьевъ спряталъ на предмѣстьѣ у какого-то поселеннина *).

Липоманъ говоритъ, что не одинъ Рогашевскій спасся подобнымъ образомъ. Злоба гайдамаковъ направлена была на поляковъ и на евреевъ, а потому, тобы спастись, надо было скрыть свое польское или еврейское происхожденіе и свой шляхетскій или еврейскій обликъ и выговоръ. Въ пугачевщину, такимъ образомъ, спаслись отъ смерти дворяне, одѣваясь въ крестьянское платье и пачкая себѣ лице и руки, тобы они казались за-грубѣлыми, мужицкими. Такъ и поляки дѣлали въ Умани. Иные изъ шляхтичей, не успѣвши спастись бѣгствомъ, особенно знавшіе нѣкоторыя православныя молитвы и умѣвшіе пѣть русскія пѣсни, выдавали себя за крестьянъ, и такимъ образомъ избѣжали смерти. Липоманъ прибавляетъ, что особенно спасительнымъ въ этомъ случаѣ оказывалось пѣніе или молитва о святомъ Николаѣ *). Были случаи, что гайдамаки и уманскіе казаки, присутствовавшіе при крещеніи шляхтянокъ и евреекъ, выбирали себѣ тѣхъ, которыя имъ нравились, и женились на нихъ; другіе же брали себѣ знакомыхъ мужичъ и посредствомъ крещенія старались избавить ихъ отъ смерти; третьи же просто изъ жалости заступались за незнакомыхъ, крестили ихъ и потомъ выпускали на свободу. Но бывали и такіе случаи, что казаки убивали евреекъ уже окрещенныхъ, особенно, когда узнавали о ихъ родителяхъ, на которыхъ прежде, во время стоянокъ въ Умани, казаки могли имѣть какое-либо неудовольствіе.

Но самыя страшныя жестокости ожидали базилианъ, спрятавшихся въ своемъ костелѣ, и евреевъ, запершихся въ синагогѣ. Тучалскій, какимъ-то чудомъ спасшійся отъ смерти, такъ описываетъ нападеніе гайдамаковъ на католическія церкви: „Когда уже не осталось никакого сопротивленія, гайдамаки бросились, какъ бѣшеные,—одни въ базилианскую, а другіе—въ

*) Липоманъ говоритъ, что молодой Рогашевскій, когда явился въ казармы, тобы спасти дѣтей Младановича, то именемъ Гонтя приказалъ, тобы никого изъ крещенныхъ не убивали.

**) ...„umięją y dobrz pacierz i spiewać ruskie pieśni, osobliwie o s. Mikolaju“. Какія это молитвы и пѣсни?

приходскую католическую церковь (kościół farny). Въ сей послѣдней одинъ изъ атамановъ вбѣжалъ на амвонъ, и тамъ, ругая безстыднымъ образомъ присутствующихъ дворянъ, осмѣивая святыя обряды и литургію, богохульствуя, ругаясь даже надъ святыми тайнами, иконами и вѣрою латинскою, закричалъ на своихъ: „Ну-жъ, братці, убивайте!“—гайдамаки ринулись на самыхъ важнѣйшихъ и почетнѣйшихъ людей. Настоятель церкви, отецъ Вадовскій, приколотъ копьями у самаго алтаря. Дворянъ—однихъ обнажали и топорами рубили, другихъ пиками, ножами, дубинами смерти предавали. Съдовласыхъ старцевъ за волосы вытаскивали, женщинъ (delikatne damy) публично безчестили и убивали. Дѣтей въ куски раздирали. То же происходило въ церкви базилианской (kaplica św. bazylijanów). Ранивъ ружейными выстрѣлами отца ректора Костецкаго, когда онъ, несмотря на свои мученія, разбросанные по землѣ для поруганія святыя дары (hostiae) собиралъ и съѣдалъ, пиками добили и въ канаву бросили. Другихъ базилианскихъ монаховъ, вице-ректора Яна Левицкаго, Илію Магеровича, Епифанія Кахоцкаго, Либерія Очаскаго и Маевского, извлекши изъ церкви и раздѣвъ, жестоко били, требуя, чтобы они показали скрытое имущество церковное и то, которое дворянство отдало имъ на сохраненіе (obywatelskie depozyta). Но не нашедъ ничего въ указанномъ мѣстѣ, ибо другіе грабители все расхитили, привязали этихъ монаховъ къ большимъ шестамъ, били ихъ по головамъ, по лицу и по всему тѣлу (po plecach i brzuchu) нагайками, дровками отъ пикъ и палками, кололи ихъ, вода съ ругательствами вокругъ ратуши, и уже полумертвыхъ отдали подъ стражу въ домъ мѣщанина и войта Игната Богатаго, гдѣ уже содержались Младановичъ и Рогашевскій. Но вскорѣ крики фанатиковъ ихъ оттуда вывели, и несчастные были влечены вторично по улицамъ, и близъ православной церкви умерщвлены, а постѣ брошены на поруганіе черни“ *).

Надо замѣтить, что сцену эту описываетъ Тучапскій, монахъ базилианскаго ордена, свидѣтель этихъ убійствъ, чудесно спасшійся отъ смерти. Можетъ быть, жестокости эти изображены имъ слишкомъ густыми красками. Онъ говоритъ даже, что всѣ эти монахи были взяты изъ дома Игната Богатаго, выведены на улицу и мучительно умерщвлены, „по просьбѣ православнаго священника св. михайловской церкви“, около которой и брошены тѣла замученныхъ базилианъ. Но, во-первыхъ, церкви св. Михаила и не было въ Умани, а православная церковь была тамъ во имя св. Николая (sw. Mikołaja). Во-вторыхъ, Липоманъ говоритъ, что базилиане были взяты изъ-подъ стражи и замучены на улицѣ **). Тучапскій, какъ врагъ православія, могъ и самъ выдумать эту клевету на извѣстное лице, и могъ слышать ее отъ другихъ. Безъ сомнѣнія, казню всѣхъ почетныхъ лицъ Умани, взятыхъ подъ арестъ и содержавшихся въ домѣ го-

*) Скальковскій. Наѣзды гайдамаковъ.

**) „Za nastaniem jednego z wspólczników“.

родского войта, Игната Богатого, гдѣ была квартира Желѣзняка и Гонты, послѣдовала не безъ вѣдома этихъ начальниковъ возмущенія. Такъ молодой Рогашевскій тайно передалъ Вероникѣ Кребсъ, когда она послѣ крестинъ заперта была вмѣстѣ съ прочими въ казарменной кордегардіи, что ея и его отца *приговорили* къ смерти въ домѣ Игната Богатого, въ квартирѣ Желѣзняка и Гонты, и что тѣла ихъ тамъ же и брошены на улицѣ. Въ этой же главной квартирѣ или въ штабѣ предводителей мятежа, безъ сомнѣнія, послѣдовалъ смертный приговоръ и базилианскимъ монахамъ и миссіонерамъ, а только ректоръ Костецкій убить въ самомъ костелѣ, когда съѣдалъ святыя дары *). Объ измѣнникѣ войтѣ, Игнатѣ Богатомъ, народное преданіе говоритъ, по свидѣтельству Скальковскаго, что „перстъ божій“ наказалъ его вскорѣ по совершеніи жестокостей надъ жителями Умани; черезъ два или три дня послѣ главной рѣзни въ Умани, находясь на банкетѣ съ гайдамаками, онъ умеръ въ самыхъ жестокихъ мученіяхъ: его животъ лопнулъ и всѣ внутренности вытѣкли наружу.

Еще болѣе страшныя жестокости обрушились на евреевъ. Въ одной синагогѣ перерѣзали ихъ 300 душъ обоего пола. Страшно было видѣть, говорить Тучапскій, какъ они плавали въ собственной крови, безъ рукъ, безъ ногъ, безъ ушей, обнаженные, которые сами просили, чтобы ихъ добивали, — и ихъ добивали собравшіеся изъ ближнихъ селъ поселяне. Многихъ изъ погребовъ, рововъ и другихъ мѣстъ, гдѣ они скрывались, вытаскивали и, какъ стадо животныхъ, въ одно мѣсто сгоняли. Тутъ ихъ, сами даже женщины, ожесточенныя примѣромъ мужей, дубинами, ножами, лопатами, серпами рѣзали и убивали, даже дѣтей своихъ къ этой жестокости принуждая.

Г. Скальковскій приводитъ отрывокъ изъ сказанія самихъ евреевъ объ уманскихъ жестокостяхъ. Сказаніе написано очевидцемъ, въ видѣ дневныхъ записокъ о нападеніи гайдамаковъ на Умань, и, при всей наивности и библейской манерѣ описанія, не можетъ не поражать очевидностью фактовъ, которые подтверждаются другими документами. Вотъ что говорятъ еврей—самовидецъ о „третьемъ днѣ“ уманскихъ жестокостей.

„Войдите въ городъ—всѣ жители онаго, евреи и христіане, издають вопли и стоны; даже иностранцы, искавшіе убѣжища въ Умани, падаютъ подъ ножами убійцъ. Такого жалобнаго и ужаснаго плача не слышно было отъ сотворенія міра. Тысячи евреевъ были умерщвлены, малолѣтнія ихъ дѣти, связанныя вмѣстѣ, были брошены кучами на улицахъ подъ ноги

) Г. Скальковскій говоритъ, что въ 1843 году онъ видѣлъ въ уманскомъ монастырѣ одну большую картину „съ изображеніемъ въ ростъ мученичества несчастнаго Ираклія Костецкаго“. Монахъ, судя по рисунку, былъ еще очень молодъ, блѣнокуръ и имѣлъ весьма кроткую и привлекательную наружность. Подъ картиною была слѣдующая надпись: R. P. Heraclius Kostecky O. S. Basilii, primus collegii Humanensis rector, zelosissimus missionarius, qui magna suae sanctitatis dedit documenta in provincia Russiae, cum suis sociis, crudeliter occisus anno D-ni 1768 r. die 9 junii.

лошадей. Была въ Умани одна дѣвица несравненной красоты. Гайдамаки хотѣли ее обезчестить насильно, но, вѣрные обычаямъ своей стороны, которые не позволяли убійцамъ осквернять себя прикосновеніемъ къ жидовкѣ, они принуждали ее перемѣнить вѣру, — и она отвѣчала: „Мою душу предаю Богу, а съ тѣломъ дѣлайте, что хотите“. Они наострили ножъ въ ея глазахъ и сказали: „Ты видишь этотъ ножъ? Если не будешь повиноваться намъ, мы изрѣжемъ тебя въ куски“. Но она отвѣчала съ гордостью: „Подлые и нечистые люди, вы не принудите меня оставить вѣру отцовъ моихъ, убейте меня, дѣлайте, что хотите“. Они связали ее и бросили въ колодезь, гдѣ она погибла. Всѣ жиды заключились внутри своей синагоги. Враги узнавъ объ этомъ, бросились за ними, но евреи стали защищаться. Одинъ изъ нихъ, называвшійся Лейбою, выхватилъ мечъ у одного разбойника и убилъ двадцать враговъ. Другой, нѣкто Мо-зесъ Мохеръ, защищаясь отчаянно, убилъ ихъ тридцать. Наконецъ, разбойники, видя невозможность ворваться въ синагогу, привезли пушки и ядрами стрѣляли по ней. Тысячи евреевъ лишились тамъ жизни, но они сдѣлались мучениками за вѣру. Одна женщина, именемъ Брейла, боясь, чтобы послѣ ея смерти дѣти не были обращены въ другую вѣру, — несчастная! — утопила ихъ въ рѣкѣ. Гонта-извергъ, — да будетъ имя его проклято! — прибывъ въ Умань, издалъ объявленіе, чтобы богатые еврейскіе купцы, если пожелаютъ спастись отъ гибели, принесли ему немедленно значительный окупъ. Купцы повѣрили и принесли оный въ ратушу. Гонта взялъ деньги, а несчастныхъ, выбросивъ въ окошко, лишилъ жизни. Уманскій проповѣдникъ, балъ-ааршоль со многими своими братьями, скрылся въ глубокомъ погребѣ и тамъ они проводили время въ молитвѣ, прося Бога спасти ихъ отъ гибели. Но счастье имъ измѣнилось. Враги пробрались и въ это убѣжище. Они сперва отрубили голову проповѣднику на самомъ порогѣ подвала, а послѣ умертвили такимъ же образомъ и другихъ евреевъ. Отсюда убійцы пошли въ молитвенные дома. Евреи немедленно вынесли оттуда святое писаніе (пятикнижіе), наполняя воздухъ криками, воплями и молитвами, но это не остановило убійцъ. Они отняли эти священные свитки, попрали ихъ ногами и тутъ же убили цѣлыя тысячи евреевъ. Ихъ кровь переливалась за порогъ синагоги. Кто когда видѣлъ столь кровавыя сцены? Безчисленное множество сыновъ Израиля было заклато, какъ стадо овецъ; но они умерли мучениками. Убійцы топтали младенцевъ въ глазахъ ихъ матерей, живыхъ дѣтей вбивали на острія пикъ и съ торжествомъ носили по улицамъ, какъ бы торжествуя побѣду. Трупы побитыхъ они бросали за городомъ безъ погребенія и гнали туда собакъ и свиней“.

Въ то время, когда одни гайдамаки занимались крещеніемъ поляковъ и евреевъ въ православной церкви, убивали тѣхъ, которые не повиновались, когда другія толпы ихъ рыскали по улицамъ, добывая недобытыхъ и грабя недограбленное, когда пушками разбивали еврейскую синагогу и выискивали въ подвалахъ и по крышамъ своихъ жертвъ, — въ это время

продолжались безобразія въ католическихъ церквахъ. „Одни,—говорить Тучапскій, — снявъ съ убитыхъ одежду, немедленно скидывали свои лохмотья и въ нее наряжались. Другіе, сидя на алтарѣ, лапти скидали и захваченные сапоги надѣвали. Одинъ изъ гайдамаковъ, именемъ Тытыкъ *), сохранившій еще немного уваженія къ святынѣ, схватилъ было чашу съ дарами (puszke z eucharystya), завернутую въ воздухи, и уносилъ ее въ церковь православную; но гайдамаки, отобравъ ее, бросили святыя дары и топтали ихъ ногами въ крови, наполнявшей помость церковный. Одни ломали кресты и, ругаясь, плевали на нихъ. Другіе въ церковныхъ облаченіяхъ пускались на безчинства. Третьи, завладѣвъ дисками (patuny), дырявили ихъ и носили на лентахъ вмѣсто орденовъ, или изъ священныхъ сосудовъ пили горячіе напитки (opilstwa)“. Вообще, не только богатые дома съ бывшимъ въ нихъ имуществомъ были разграблены, но ободраны были и мертвыя тѣла,—церкви, лавки разграблены.

Польскіе писатели говорятъ, что вся награбленная добыча сносима была къ Гонтѣ. Вѣроятно, награбленное имущество приносилось въ квартиру Гонты и Желѣзняка, чтобы послѣ все это отдать въ общественный дѣлежъ, какъ мы это и увидимъ ниже.

VII.

Когда всѣ начальники города, Младановичъ, Рогашевскій, Скаржинскій, а равно представители католическаго духовенства были убиты, никто не могъ ничего сказать о томъ, что случилось съ Шафранскимъ, энергіею и искусствомъ котораго городъ держался нѣсколько дней, несмотря на всѣ приступы гайдамаковъ.

Когда ворота замка были отворены гайдамакамъ, и Гонта ясно показлъ Младановичу, что никого не намѣренъ миловать, Шафранскій еще думалъ сопротивляться съ помощью евреевъ. Онъ убѣждалъ ихъ не бросать оружія и защищаться до послѣдней крайности. Но евреи, до того времени стойко державшіе свои посты за палисадами, тотчасъ потеряли мужество, когда увидѣли гайдамаковъ въ самомъ замкѣ. Они бросили оружіе и почти всѣ заперлись въ главной синагогѣ, чтобы тамъ ожидать смерти. Шафранскому ничего не оставалось, какъ искать спасенія въ какомъ-либо, по возможности, безопасномъ мѣстѣ и, въ случаѣ нападенія, не отдавать даромъ своей жизни убійцамъ. Онъ засѣлъ въ той самой башнѣ, на которой занимался своими математическими работами, и тамъ ожидалъ рѣшенія своей участи. Оттого никто и не зналъ, куда дѣлся Шафранскій, хотя гайдамаки не могли не искать его, такъ какъ они хорошо знали, что защита Умана, стоившая имъ многихъ жизней, велась Шафранскимъ.

Случайно и изъ любопытства гайдамаки стали добывать ту башню, на которой сидѣлъ Шафранскій. Когда они начали ломать дверь, Шафранскій

*) У другихъ — Tytek который и названъ: «bogobojny ataman»

пистолетнымъ выстрѣломъ убилъ одного изъ нападателей. Испуганные гайдамаки пригнали къ дверямъ поселянъ съ топорами, но Шафранскій не переставалъ защищаться: нѣкоторые изъ крестьянъ и гайдамаковъ были убиты имъ пистолетными и ружейными выстрѣлами, и потому рѣшились подвезти къ убѣжищу Шафранскаго пушку. Пушечнымъ выстрѣломъ былъ убитъ слуга Шафранскаго, скрывавшійся подъ крышей башни, но самъ онъ не сдавался. Наконецъ, гайдамаки взяли башню и Шафранскій былъ схваченъ и изрубленъ въ куски.

Для полноты картины уманской рѣзни мы не считаемъ себя въ правѣ обойти молчаніемъ рассказъ о томъ, какъ Гонта, во время уманскаго шогрома, зарѣзалъ своихъ собственныхныхъ дѣтей. Преданіе говорить, что дѣти Гонты учились въ уманской базилианской школѣ и тайно, при посредствѣ матери, обращены были въ католичество.

Въ поэмѣ Шевченка (который въ этомъ случаѣ ссылается на свидѣтельство Павла Младановича, учившагося вмѣстѣ съ дѣтьми Гонты и спасающагося отъ смерти съ сестрою своею Вероникою) обстоятельство это описано такимъ образомъ: когда Гонта вмѣстѣ съ Желѣзнякомъ распоряжались описанными нами выше неистовствами, гайдамаки привели къ нимъ ксендза и двухъ мальчиковъ. Ксендзъ, обращаясь къ Гонтѣ, сказалъ: „Гонта! это твои дѣти! Ты насъ рѣжешь—зарѣжь и ихъ: они католики. Чего жъ ты сталъ? Что не рѣжешь? Зарѣжь ихъ, пока они маленькія, а то вырастутъ и тебя зарѣжутъ“.

— Убейте его,—закричалъ Гонта къ гайдамакамъ,—а этихъ щенятъ я своей рукою зарѣжу. Зовите громаду! Признавайтесь (къ дѣтямъ), что вы католики.

— Католики,—отвѣчали дѣти,—потому что насъ мать...

— Молчите! молчите! Я все знаю!—вскричалъ Гонта.

Собралась громада.

— Мои дѣти—католики,—сказалъ Гонта,—чтобъ не было измѣны, чтобъ не было поговору, панове громада,—я присягалъ, бралъ священный ножъ, чтобъ рѣзать католика... Сыны мои! отчего вы не велики? Зачѣмъ вы ляха не рѣжете?

— Будемъ рѣзать, тату.

— Не будете! не будете!.. Будь проклята мать—католичка, что васъ народила. Зачѣмъ она не утопила васъ до восхода солнца? Меньше бы грѣха, вы бы умерли не католиками. А теперь, сыны мои, горе мнѣ съ вами! Поцѣлуйте меня, дѣти,—не я васъ убиваю, а присяга.

Махнулъ ножемъ — и дѣтей не стало. Попадали зарѣзанные и, умирая, бормотали: „тату, тату, мы не ляхи!“

— Не похоронить-ли?—спрашиваютъ.

— Не надо, они католики... Сыны мои! зачѣмъ вы не рѣзали! Зачѣмъ не убили мать, ту проклятую католичку, что васъ народила?

Сказавъ это, Гонта взялъ Желѣзняка, оба пошли вдоль базара и оба закричали: „кары—ляхамъ! кары!“

И карали!.. Страшно, страшно
Умань запалала.
Ни въ будинку, ни въ костелі
Нигде не осталось—
Всі полягли.. Того лиха
Не було ніколи,
Що въ Умані робилося:
Базиліянь школа,
Де учились Гонти дѣти,
Самъ Гонта руйнує:
„Ти поїла моїхъ дітокъ!“
Гукає, лютує:
„Ти поїла нсвеликихъ,
Добру не навчила...
Бийти стіни!..“ Гайдамаки
Стіни розвалили;
Розвалили обѣ каміння
Ксендзівъ разбивали,
О школярівъ у криниці
Живихъ поховали.

— Несмотря на то, что колодезь этотъ (криница) былъ глубиною до двухъ сотъ сажень, онъ весь наполненъ былъ трупами. Дѣтей же своихъ Гонта, разыскавъ ночью между грудями убитыхъ, вынесъ тайно за городъ и похоронилъ. Неудивительно, что, когда всѣ гайдамаки пировали по совершении своего страшнаго дѣла, одинъ Гонта,—говорятъ польскіе писатели, тосковалъ и далеко не былъ счастливъ торжествомъ своихъ товарищей.

Волге сутокъ провели гайдамаки въ этомъ опьяненіи. По свидѣтельству одного писателя, погело въ Умани до 18,000 убитыхъ и замученныхъ всякими муками жертвъ народнаго ожесточенія *). По другимъ—въ уманской рѣзнѣ погибло до двадцати тысячъ **). Только подъ конецъ, утомившись жестокостями, гайдамаки „начали смиряться и, желая пощадить остальныхъ жителей, поставили окрестить или обратить ихъ въ православіе посредствомъ прежде употреблявшагося обряда троекратнаго погруженія въ святой купели“. Подобная пощада оказана была и дѣтямъ Младоновича, которыхъ даже позволили увести изъ Умани. „10 числа передъ полуднемъ—говоритъ Вероника Кребсъ—услыхали мы (въ казармахъ) голоса казаковъ, говорящихъ, что Желѣзнякъ и Гонта прибыли къ казармамъ и приказали отыскать дѣтей Младоновича. Я почти радовалась этой участи, думая, что мой послѣдній часъ насталъ... Когда мы вышли на улицу, то увидѣли Гонту, сидящаго на лошади, а подлѣ него какого-то старика поселянина, низко кланяющагося и усердно цѣловавшаго его ноги. Гонта, увидя насъ, сказалъ ему: „Отъ тобѣ собакъ двое—бери ихъ“. Желѣзнякъ, стоявшій немного подальше, тоже верхомъ, приказалъ подвести

*) ... „w krótkim czasie więcej ośmnastu tysięcy ludzi tyrańską śmiercią zginęło“. Tuczarp.

**) Lip.

насъ къ себѣ. Долго глядѣлъ онъ на насъ молча, и я могла замѣтить, что онъ былъ русоволосый, большого росту, хорошей наружности и одѣтъ въ богатое польское платье. Тотъ же старикъ поселянинъ подошелъ къ нему и, цѣлуя въ ногу, что-то говорилъ. Желѣзнякъ сказалъ кротко, обращаясь къ Гонтѣ: „тось, пане воеводо, подаровавъ тії діти?“ Гонта отвѣчалъ: „нехай до чорта беруть“, и, обратившись къ старикѣ, сказалъ: „беріть ихъ собі, бо и панъ Желѣзнякъ просить, щобъ ихъ вамъ подаровати“. Услышавъ это, старикъ еще разъ поклонился, взялъ насъ за руки и, пробираясь чрезъ груды труповъ, довелъ до своей телѣги, въ которой сидѣлъ другой старикъ, немного помоложе перваго. Насъ усадили на телѣгѣ, которая и поѣхала довольно скоро. Когда мы выбрались въ поле, нашъ путеводитель сказалъ: „мої бідні діти, Богъ зъ вами, не лякайтесь, — я осадчій зъ Оситни, а то мій братъ“. Такъ насъ привезли въ Оситну, гдѣ и переодѣли въ крестьянское платье. Днемъ съ поселянами ходили мы въ поле какъ бы для работы, а ночью прятались въ камышахъ. Добрые избавители наши боялись еще поселянъ, которыхъ часть пристала къ гайдамакамъ. Дня два спустя, пришелъ туда молодой учитель брата моего Павла, Хмѣлевичъ, спасшійся тѣмъ, что, переодѣтый казакомъ, рыскалъ по городу съ гайдамаками, и потому невольно былъ свидѣтелемъ всѣхъ ужасовъ. Онъ мнѣ рассказывалъ, что видѣлъ, какъ много мертвыхъ тѣлъ бросали въ упомянутый выше колодезь, передъ ратушею, и что тамъ же погребены тѣла несчастныхъ нашихъ родителей“.

Въ исторіи пугачевщины представляется тотъ замѣчательный фактъ, что крестьяне *весьма рѣдко* спасали своихъ господъ отъ мщенія пугачевцевъ: такъ, были случаи, что крестьяне изъ любви и жалости къ „доброму барину“ укрывали или его самого или его дѣтей, наряжая въ крестьянское платье, иногда крестьяне пачкали барчатамъ лицо и руки, чтобъ они болѣе походили на крестьянскихъ дѣтей. Но эти случаи, повторяемъ, были весьма рѣдки, тогда какъ случаи протівоположнаго свойства представляются на каждомъ шагѣ: то госпожу, которая давала мало соли своимъ дворовымъ, сбѣкли до крови и по избитымъ мѣстамъ посыпали солью; то выдавливали у беременныхъ дворянокъ „дворянское отродье“; то вѣшали помѣщиковъ за члены, съ помощью которыхъ они особенно злоупотребляли своею властью. Такихъ возмутительныхъ примѣровъ пугачевщина представляетъ такъ много, что перечисленіе ихъ и утомительно, и оскорбительно для нравственнаго чувства человѣка. Эта же возмутительная сторона весьма ярко выступаетъ и въ исторіи гайдамачины, а въ особенности въ уманской рѣзнѣ. Но послѣдняя представляетъ особенное явленіе, отличающее ее отъ пугачевщины.

Въ пугачевщину, русскій человѣкъ, вовлеченный въ общее народное движеніе, является только какъ крестьянинъ по отношенію къ помѣщику, и потому на помѣщикѣ, какъ и на всякомъ представителѣ власти, вымѣщается всѣ свои жизненные невзгоды. Движеніемъ южно-русскаго народа во время уманской рѣзни руководили болѣе сложные нравственные мотивы: южно-русскій народъ ставилъ себя не только въ положеніе крестьянина по

отношенію къ помѣщику, но и въ положеніе русскаго по отношенію къ поляку. Вотъ почему въ исторіи гайдамачины насъ поражаетъ слѣдующее явленіе, котораго мы не замѣтили въ исторіи пугачевщины. Когда украинецъ сталкивался съ полякомъ, какъ съ полякомъ и латинцемъ, или съ евреемъ, какъ съ христопродавцемъ, онъ былъ неумолимъ и ожесточеніе его являлось какъ бы бессмысленнымъ. Тутъ шло выдавливаніе дѣтей изъ материнскихъ утробъ, битье младенцевъ объ камни, бросанье юныхъ студентовъ базилианской школы живьемъ въ глубокой колодезь, вѣшанье поляка, еврея и собаки на одной балкѣ. Противъ поляка и еврея шли поэтому и женщины съ лопатами и серпами (z ozogami, pożami, rydlami, serpami). Но когда украинецъ сталкивался съ полякомъ, какъ съ помѣщикомъ, онъ былъ милостивѣе къ нему, чѣмъ великорусскій крестьянинъ къ своему барину въ пугачевщину. Фактъ этотъ стоитъ вниманія. Въ XVIII вѣкѣ полякъ, какъ помѣщикъ, былъ добръ къ своему крестьянину и — какъ мы сказали въ своемъ мѣстѣ, несравненно добрѣе, чѣмъ украинскій панъ и старшина къ своему брату украинскому крестьянину. Въ первомъ случаѣ являлось чисто національное и историческое, хотя, можетъ быть, не вполне логическое озлобленіе. Оттого гайдамакъ, не будучи крестьяниномъ, а изображая изъ себя нѣчто въ родѣ казака, былъ неумолимѣе къ поляку, чѣмъ крестьянинъ, поднятый въ гайдамачину общимъ движеніемъ. Гайдамакъ имѣлъ дѣло только съ полякомъ, тогда какъ крестьянинъ — и съ полякомъ, и съ помѣщикомъ, и, какъ помѣщика, онъ щадилъ поляка и, при возможности, спасалъ его, что казалось бы совершенно негармонизирующимъ съ общимъ народнымъ настроеніемъ того времени.

Вотъ почему для насъ становится весьма понятнымъ, что при такомъ страстномъ напряженіи національнаго чувства, какъ въ уманскую рѣзню, южно-русскій крестьянинъ осмѣливается цѣловать ноги у развирѣвшихъ Гонты и Желѣзняка и просить пощады дѣтямъ Младановича и Рогашевского. Вотъ почему въ Черкасахъ гайдамаки наказали смертью своего товарища за то, что онъ убилъ черкаскаго губернатора, котораго называли „добрымъ паномъ“. Дѣтей Рогашевского спасъ казакъ изъ села Градзівой. Это село было дано Рогашевскому въ аренду вмѣсто жалованья, и за добрыя качества Рогашевского, какъ помѣщика, казакъ изъ его имѣнія спасъ его дѣтей, рискуя самъ быть заколотымъ гайдамацкими пиками. Дѣтей Младановича спасъ осадчій изъ села Оситны, которое тоже дано было Потоцкимъ вмѣсто жалованья. Осадчимъ (основателемъ) назывался обыкновенно тотъ крестьянинъ, который первымъ сѣлъ на свободныя помѣщичьи земли, а такимъ осадчимъ былъ тотъ крестьянинъ, который вымолилъ у Желѣзняка и Гонты дѣтей своего „добраго пана“, въ благодарности за его добро.

Когда Желѣзнякъ и Гонта увидали себя полными самовластными обладателями Умани, а, вмѣстѣ съ нею, и всей польской Украины, они начали приводить въ исполненіе свои честолюбивые планы и, такъ сказать, закончивать то дѣло, которое стоило столько слезъ и крови. Въ освобожденной

изъ поля польскаго владычества Украинѣ необходимо было назначить новаго начальникова, внести новые порядки и установить правительство, если не постоянное, то временное, на мѣсто опрокинутого польскаго государственнаго строя. Къ этому начальники мятежа приступили немедленно. Когда рѣзня въ городѣ кончилась и уже не оставалось никого ни изъ поляковъ, ни изъ евреевъ, кромѣ новообращенныхъ женщинъ и дѣтей, казаки и гайдамаки собрали все оставшееся въ живыхъ населеніе Умани, и въ ратушѣ произвели торжественное избраніе новаго правительства. При громѣ пушекъ, ружейной пальбѣ и восклицаніяхъ толпы, Желѣзнякъ провозглашенъ былъ „гетманомъ и княземъ смиланскимъ“, а Гонта—уманскимъ полковникомъ и русскимъ воеводою на мѣсто Потопкаго *). Казакъ Уласенко, бывший торговщическій сотникомъ, назначенъ былъ губернаторомъ Умани **) на мѣсто убитаго Младановича. Другіе гайдамаки получили назначеніе, соответствовавшее ихъ заслугамъ въ кровавомъ дѣлѣ истребленія поляковъ и евреевъ, и, какъ выражаются польскіе писатели, тотъ изъ нихъ получить высшую должность, кто наиболѣе совершилъ убійствъ ***). Между приноженными къ Желѣзняку и Гонтѣ лицами были: жаботинскій сотникъ Мартынъ Вѣдуга, который, какъ мы видѣли выше, водилъ по рынку, въ Жаботинѣ, губернатора Вячалковскаго и говорилъ, что „не одного теперь наша голова заляже“; уманскій сотникъ Ерема Панко, котораго Младановичъ передъ своей смертью просилъ о пощадѣ, балтенскій сотникъ Потаненко, запорожецъ Шило, передъ которымъ такъ унижался черкасскій губернаторъ, запорожецъ Семень Неживый, бывшій горшечникомъ и давшій себя слово хоть на одинъ день быть паномъ, Швачка и, наконецъ, Журба и Мотылица, которыхъ г. Скальковскій называетъ „бездомными разбойниками“. Пѣсня, прославляющая „уманскую рѣзню“, такъ изображаетъ, кромѣ Желѣзняка и Гонты, второстепенныхъ начальниковъ мятежа:

Ой, пішовъ Швачка голкою шити,
Ляхівъ, жидівъ по Умані лупити,
А нашъ Неживий цокоче,
Ужъ Умань зубами скригоче.
А Журба ходячи зажурився,
Що, головка бідна, Умань загорівся,
Та въ бандуру міцно грає,
Себе козака пісню розважая.

Журба изображается, такимъ образомъ, тѣмъ-то въ родѣ казака—бандуриста, тогда какъ, по свидѣтельству Шевченка, — за гайдамаками вездѣ слѣдовалъ слѣпой кобзарь, котораго называли Волохомъ. Гонта изображается съ „указомъ царицы“. Между тѣмъ Мотылица является до-

*) Липомень говоритъ, что Гонта, кромѣ того, получилъ титулъ „князя уманскаго“, какъ Желѣзнякъ „князя смиланскаго“.

**) „Humańszczyzny rządca“.

***) ... „dajac temu urząd wyższy, kto więcej popełnit zżabójstw“

вольно загадочною личностью. Хотя г. Скальковский называет его, вмѣстѣ съ Журбою, „бездомнымъ разбойникомъ“, однако въ пѣснѣ объ уманской рѣзнѣ передъ нимъ стоитъ зпнать „сотника“ и въ этой же пѣснѣ говорится, что Мотылица почему-то измѣнилъ гайдамакамъ и былъ ими казненъ*).

Въ то время, когда Вероника Кербсъ съ ея братомъ прятались отъ гайдамаковъ въ селѣ Оситномъ, приходившій къ нимъ тайно въ казачкомъ платьѣ молодой Хмѣлевичъ опять возвратился въ Умань, чтобы развѣдать о дальнѣйшихъ происшествіяхъ. Онъ, дѣйствительно, успѣлъ пробраться въ покоренный городъ, не будучи ни кѣмъ узнанъ, и принесть довольно важныя и, повидимому, утѣшительныя вѣсти. Видно было, что гайдамаки уже утомились разбоемъ или только отдыхали, собираясь съ силами для новыхъ неистовствъ. Шайки ихъ только грабили въ окрестностяхъ Умани или занимались пьянствомъ въ своемъ лагерѣ. Хмѣлевичъ передавалъ при этомъ, что небольшой русскій отрядъ неизвѣстно откуда прибылъ въ Умань, но гайдамаки, сознавая превосходство своей силы передъ этимъ отрядомъ, приняли его хорошо и оставались спокойны. Русскимъ отрядомъ, какъ сообщалъ Хмѣлевичъ, командовалъ генералъ Кречетниковъ, дѣйствовавшій въ Польшѣ противъ конфедератовъ, тотъ самый Кречетниковъ, который — замѣтимъ кстати — былъ потомъ астраханскимъ губернаторомъ и такъ странно дѣйствовалъ во время пугачевщины. Хмѣлевичъ встрѣтилъ въ Умани тоже переодѣтаго въ казачье платье молодого Рогашевского и они вмѣстѣ проникли до гайдамацкаго табора. Тамъ они своими глазами видѣли, какое множество труповъ лежало безъ погребенія, и собаки пожирали эти трупы, между тѣмъ какъ большая часть убитыхъ была брошена въ глубокой городской колодезь или вывезена въ поле, къ селу Карповкѣ. Хмѣлевичъ видѣлъ цѣлыя горы пограбленнаго имущества, сундуки серебра и денегъ, и все это добро дѣлили между собою гайдамаки, почти всегда пьяные. Между тѣмъ, тамъ же толпились

*) Въ пѣснѣ такъ говорится о Мотылицѣ:

Тільки сотникъ Мотилиця
Ні къ чорту—батькові не годиться:
Мабудь онъ хотівъ змиліти
И на насъ залізни цяцьки надіти.
„Знай, кобило, де брикати,
А тутъ тобі вже не фицяти:
Отакъ, сотнику Мотилиця,
Такъ робити не годиться“.
Каже ему Швачка и Желѣзнякъ:
„Ти хотівъ насъ въ шори убрати,
Теперь же тобі світа не видати“.
— „Слухай, Максиме, Швачко и Неживий,
Водай же кінець вашъ нудний та гіркий!“
Махнувъ Максимъ разъ, махнувъ Швачка два,—
Покотилася Иванова на землю голова.

купцы изъ Кіева и Балты и хладнокровно закупаѣи у грабителей добытыя кровью богатства за самыя малыя деньги.

Дѣйствительно, по совершеніи убійствъ и избраніи Желѣзняка гетманомъ и княземъ смілянскимъ, а Гонта—воеводою русскимъ, гайдамаки выбрались съ своею добычею за городъ. „Ужасное зрѣлище!—(говоритъ Тучапскій.—Множество мертвыхъ тѣлъ, вездѣ валявшихся, и потоковъ крови, которою земля и даже стѣны домовъ были обогрены, и ожиданіе смрада отъ ихъ гнѣнія,—такъ какъ гайдамаки никого не погребали, считая убитыхъ недостойными преданія землѣ *),—не давали покоя душамъ убійцъ и не позволяли имъ долго оставаться въ городѣ“. Притомъ же дни стояли знойныя и, если не отъ труповъ, то отъ одной человѣческой крови могъ заразиться воздухъ, ибо этой крови пролито было столько, что она долго не могла высохнуть. Одинъ гайдамакъ, спасшійся отъ казни и бывшій слугою Желѣзняка въ дни уманскаго погрома, рассказывалъ послѣ своимъ односельцамъ, что во время самой рѣзни кровь бѣжала изъ замка по косточку человѣческой ноги, такъ какъ замокъ былъ на возвышеніи и кровь оттуда стекала въ предмѣстья...

Въ виду этого неудобства, гайдамаки выбрались въ поле, къ югу отъ Умани, къ такъ называемому мѣстечку Карповкѣ. Тамъ они остановились лагеремъ, обвели его валомъ и укрѣпили пушками, которыхъ у нихъ было пятнадцать. Знаменъ въ войскѣ гайдамацкомъ считалось тридцать. Тутъ же въ лагерѣ Желѣзнякъ и Гонта приступили къ правильному сформированію нестройнаго войска, раздѣлили его на сотни или „громады“, назначили сотниковъ и другихъ отрядныхъ начальниковъ. Тутъ же начался „дуванъ“ награбленныхъ богатствъ. Изъ суконъ, шелковыхъ матерій, мѣховъ, парчей и разныхъ другихъ вещей и одеждъ сложили нѣсколько грудъ или „могилъ“, какъ называютъ ихъ польскіе писатели. Кромѣ значительнаго количества денегъ и часовъ, одного серебра въ ломъ было шесть сундуковъ. Желѣзняку, кромѣ множества разныхъ дорогихъ вещей, досталось три сундука серебра, которое онъ тотчасъ же и продалъ одному кіевскому купцу за 10,000 злотыхъ, хотя оно стоило гораздо дороже. Остальное серебро и драгоценности достались Гонтѣ. Прочее имущество раздѣлено было между гайдамаками, „сообразно съ заслугами всякаго во время убійствъ“.

Мы видимъ здѣсь черту, рѣзко отличающую предводителей южно-русскаго народнаго движенія, Желѣзняка и Гонту, отъ предводителя движенія народныхъ массъ въ Великой Россіи, Пугачева. Гетманъ обѣихъ сторонъ Днѣпра, и князь смілянскій, и воевода русскій, и князь уманскій,—участвуютъ въ общемъ дѣлѣжѣ награбленныхъ богатствъ и не стыдятся захватить себѣ половинную долю. Между тѣмъ русскій же-императоръ всѣ захваченныя имъ при взятіи городовъ богатства и царскую казну отдавалъ „на общество“ и когда появлялся среди народа, то сыпалъ въ него гор-

*) Липоманъ тоже говоритъ, что „zbrodniarze ci osadzili że wymar-dowani rzez nich niegdni sa izby ich zwłoki ziemia pokryta“.

стями деньги, а когда его уже везъ Суворовъ закованнаго и загороженаго, какъ звѣря, деревянною клѣткою, то нашли при немъ зашитые въ платкѣ только четыре червонца, которые онъ, какъ видно, оставилъ себѣ на черный день изъ всего того добра, которымъ онъ владѣлъ, владычествуя надъ половиной Россіи.

Когда раздѣлена была добыча, въ гайдамацкомъ таборѣ начались пиршества. Пирь давались новоизбранными начальниками своимъ повелителямъ и товарищамъ. Простое гайдамачество вело свои шумныя и дикія оргіи. Припасовъ было вдоволь: вся околица и несчастный городъ довольствовались славное воинство. Въ польскихъ и еврейскихъ погребяхъ были въ изобиліи всякіе напитки, меды, вина, водки, и гайдамаки всего этого натащили въ свой таборъ до ста шестидесяти бочекъ. Пирь шли каждый день, и цѣлыхъ двѣ недѣли,—говорятъ поляки,—пьянствовали и веселились гайдамаки среди восклицаній, музыки, танцевъ и разврата. Одинъ Гонта, говорятъ, не участвовалъ въ банкетахъ, потому-ли, что его тяготила память о гнусной измѣнѣ, или онъ тосковалъ по убитыхъ имъ дѣтяхъ, или былъ онъ дальновиднѣе другихъ и предчувствовалъ, что все ихъ страшное дѣло не кончится добромъ,—только его видѣли въ вѣчномъ безпокойствѣ, замѣшательствѣ и тревогѣ. Онъ постоянно тосковалъ и, потирая чубъ, не разъ говорилъ своимъ товарищамъ: „ой, братці отамани! не выпьемъ ми того пива, що теперъ наварили!“

Пиршества тянулись слишкомъ долго, чтобы не повредить дѣлу, которое, повидимому, кончилось такъ легко и скоро, а между тѣмъ для будущаго никакихъ мѣръ не принималось. Желѣзняку и Гонтѣ слѣдовало упрочить свое положеніе или продолжать свое дѣло, не останавливаясь на полдорогѣ. Но какъ продолжать это дѣло? Куда вести его и гдѣ остановиться? Тутъ уже, повидимому, у предводителей мятежа не хватало болѣе политическихъ соображеній. Польская Украина завоевана, народъ поднялся вездѣ и далеко отъ Умани распространилось народное волненіе, которое уже шло помимо распоряженій Желѣзняка и Гонты. Дѣло освобожденія страны отъ поляковъ принялъ народъ въ свои руки, а руководителя не было, хотя и избранъ былъ гетманъ обѣихъ сторонъ Днѣпра, а рядомъ съ нимъ сидѣлъ и русскій воевода. Идти на Варшаву, завоевать всю Польшу? Это можно бы было сдѣлать при той внутренней слабости Польши, о которой мы говорили; вся Рѣчь Посполитая не имѣла въ то время подъ оружіемъ и 20,000 регулярнаго войска; но и эти ничтожныя силы разбѣлись на конфедераціи; мало того, конфедератовъ еще недавно разбили русскія войска подъ начальствомъ русскихъ генераловъ Кречетникова и графа Апраксина,—однако, ни Желѣзнякъ, ни Гонта не могли загадывать о Варшавѣ, пока не узнаютъ, какъ посмотреть на ихъ подвиги „москалей“, которые еще не подавали своего голоса изъ-за Днѣпра. Гайдамаки хорошо расположились въ польскихъ земляхъ, которыя они считали своими; Желѣзнякъ чинилъ судъ и расправу именемъ „москалей“ и своего коша,—но что скажутъ эти „москалей“, особенно кievскій генераль-губернаторъ?

Воейковъ и суровый кошевой Калнишъ? Какъ посмотреть на все это великѣ свѣтъ-матушка государыня?

Вотъ что, безъ сомнѣнія, западало въ голову Желѣзняку и Гонтѣ во время ихъ пиршествъ, и вотъ почему тосковалъ послѣдній. Между тѣмъ, кучи мертвыхъ польскихъ и еврейскихъ тѣлъ, брошенные безъ погребенія и тлѣвшія подъ знойнымъ солнцемъ, наполняя ужаснымъ зловоніемъ воздухъ, мѣшали этимъ пиршествамъ. Хотя эти валявшіеся вездѣ трупы и пожираемы были собаками, хищными звѣрами и птицами *), однако ни звѣри, ни птицы не въ состояніи были съѣсть всѣхъ мертвыхъ тѣлъ, и оставшіеся въ живыхъ обыватели города просили Желѣзняка и Гонту, чтобы они позволили убрать мертвецовъ. Но выкопать нѣсколько тысячъ могилъ не было никакой возможности, да и одну громадную яму, которая могла бы вмѣстить въ себѣ нѣсколько тысячъ труповъ, также было не легко выкопать, то и рѣшили всѣ валявшіеся по городу тѣла „купою на купѣ“ (груды на грудяхъ) бросить въ тотъ колодезь, вырытый на площади около ратуши, въ которомъ уже было похоронено живьемъ значительное число студентовъ базиліанской школы **). О числѣ жертвъ уманской рѣзни приблизительно можно судить и потому, что, по свидѣтельству Тучапскаго, основанному на актахъ уманскаго монастыря, колодезь этотъ былъ совершенно наполненъ мертвыми тѣлами, хотя часть труповъ и была пожрана собаками. Извѣстно, что колодезь рыли въ замкѣ для того, чтобы во время осады замка неприятелями или на случай такого несчастія, какъ описываемая нами „уманская бѣда“, городъ не могъ нуждаться въ водѣ, имѣя свой колодезь. Но какъ замокъ стоитъ на возвышеніи, то, сколько ни рыли землю, а вода не показывалась въ колодезѣ и на глубинѣ двухъ сотъ сажень. Слѣдовательно, колодезь, глубиною въ двѣсти сажень, былъ весь наполненъ трупами. Полагая, что въ одной кубической сажени можетъ помѣститься до пятидесяти человѣческихъ тѣлъ, мы получимъ страшную пропорцію на двѣсти кубическихъ сажень пространства, которое все было наполнено трупами.

Какъ бы то ни было, трудно рѣшить, не имѣя никакихъ данныхъ, что думали Желѣзнякъ и Гонта, оставаясь въ бездѣйствіи около Умани цѣлыхъ двѣ недѣли. Не могли же они думать, что дѣло ихъ кончено благополучно, и хотя они считали себя вполне безопасными со стороны поляковъ, не могли же они постоянно оставаться около Умани. Всего скорѣе, что, зная слабость Польши и считая свое дѣло правымъ, и убійства свои—славными дѣяніями, воскресившими геройскіе подвиги Остролицы, Наливайка и Хмельницкаго, они не спѣшили уходить куда-либо и выжидали, что Россія и запорожская стѣча похвалятъ ихъ за освобожденіе половины Украины отъ поляковъ и евреевъ. Еслибы политическая близорукость не позволяла имъ надѣяться, что Россія наградитъ ихъ за то, что

*) ... „pożarcie psów, bestyom i drapieżnym ptakom“.

**) „Studentów żywych wrzucono“.

они „лядскую землю до грунту зруйновали“, они бы не тратили время въ бездѣйствіи, а ушли бы съ своею богатою добычею, куда глаза глядятъ.

Безъ сомнѣнія, Желѣзнякъ говорилъ искренно, когда на просьбы уманскихъ жителей поставить на мѣсто убитыхъ другихъ начальниковъ города и губернатора, отвѣчалъ, что онъ уже „послалъ въ Кіевъ письмо къ главнокомандующему тамъ генералитету, съ просьбою о присылкѣ оттуда потребныхъ начальниковъ“. Нѣтъ сомнѣнія также, что за уничтоженіемъ губернаторовъ и всего польскаго правительства въ томъ краѣ, онъ по праву считалъ себя распорядителемъ и устроителемъ страны, имъ завоеванной, и потому распоряжался въ ней, какъ глава временнаго правительства въ государствѣ, въ которомъ или оружіе, или внутренній политическій переворотъ ниспровергли существовавшій до того порядокъ и кассировали прежнее правительство. Пріѣзжавшіе туда должны были являться къ нему съ почтеніемъ, какъ къ главѣ вновь установленнаго правительства, а отъѣзжающимъ въ другія страны онъ выдавалъ отъ своего имени открытые листы и паспорта, подъ которыми, впрочемъ, подписывался не какъ гетманъ обѣихъ сторонъ Днѣпра и свѣтлѣйшій князь смилянскій, а скромно, сообразно тому чину, который онъ считалъ себя достойнымъ въ своей странѣ, и именно въ Россіи или въ запорожскомъ войскѣ: подъ паспортами онъ подписывался какъ „полковникъ Максимъ Желѣзнякъ“. Въ паспортѣ, напримѣръ, данномъ торговавшимъ въ Польшѣ обывателямъ (Остапу Поломанному и Остапу Бочкѣ) значится, что „объявители сего“ такіе-то съ товарищами, что „слѣдуютъ они съ горѣлкою, въ возы девятнадцать, въ Сѣчь“, слѣдовательно въ другое государство, въ Россію изъ Польши, что „сіе свидѣтельство“ дано имъ, „явившимся въ лагерь войска запорожскаго, зъ канцеляріи“. Ватагу свою, расположившуюся таборомъ подъ Уманью, считалъ онъ, слѣдовательно, „лагеремъ войска запорожскаго“, который при штабѣ своемъ имѣлъ канцелярію. Желѣзнякъ, такимъ образомъ, не отдѣлялъ себя и своего войска ни отъ Россіи, ни отъ Запорожья, а во всемъ предполагалъ съ ними полную солидарность, и потому на командующихъ русскими войсками въ Польшѣ, отправленными противъ конфедератовъ, на генерала Кречетникова и на графа Апраксина, смотрѣлъ какъ на сослуживцевъ, какъ на товарищей по оружію, хотя и ставилъ себя ниже ихъ чиномъ, а только выше званіемъ своимъ, какъ князя смилянскаго. Въ паспортѣ рекомендуется всѣмъ подлежащимъ властямъ, чтобы предъ явителямъ того паспорта „свободный былъ пропускъ вездѣ, какъ отъ пробѣжающихъ войска запорожскаго казаковъ, *яко и на границѣ, до уроченнаго имъ мѣста, сюда и туда обратно, былъ чиненъ, по силѣ высочайшихъ указовъ*“. Мало того, какъ во всѣхъ международных сношеніяхъ, Желѣзнякъ прибавляетъ въ паспортѣ фразу: „не дѣлать и малѣйшей обиды *просимъ*“. Наконецъ, вѣря въ законность своихъ распоряженій, Желѣзнякъ добавляетъ: „а для нужнаго вѣроятія и подтвержденія, собственною своею рукою подписуюсь“. Что еще болѣе замѣчательно, такъ это то, что въ законность распоряженій Желѣзняка увѣровалъ даже стцо-

гій исполнитель закона, русскій нѣмецъ, именно майоръ Владиміръ Вульфъ, начальникъ пограничнаго форпоста Орловскаго, которому на границѣ предъявленъ былъ выданный Желѣзнякомъ паспортъ и который сдѣлалъ помѣтку: „по сему билету, означенные въ немъ польскіе жители, слѣдующіе до сѣчи запорожской чрезъ форность Орловскій зъ Польши, съ указнымъ досмотромъ пропущены, въ 1768 году іюня 19“.

Что Желѣзнякъ считалъ себя представителемъ Россіи и товарищемъ по оружію съ генераломъ Кречетниковымъ, видно изъ того, что онъ постоянно показывалъ всѣмъ данное ему русскимъ правительствомъ „позволеніе“ воевать польскую землю, и позволеніе это онъ не считалъ вымышленнымъ. Какъ полковникъ запорожскаго войска, онъ смотрѣлъ на себя, какъ на предводителя части этого войска, посланной по повелѣнію императрицы исключительно на истребленіе въ польской Украинѣ ляховъ и жидовъ, и хотя лично отъ коша, ни отъ кошевого онъ не получалъ такого приказа, но у него было нѣчто сильнѣе этого приказа, именно золотая грамота „великѣ свѣтъ-матушки государыни“. Это еще болѣе подтверждается тѣмъ, что воротившійся изъ Польши въ Сѣчь 4 іюля того года запорожець Лавринъ Кантаржей показывалъ въ войсковой канцеляріи, что когда онъ, „по купечеству польской области въ разныхъ дальнихъ городахъ былъ и слѣдовалъ уже обратно въ Сѣчь запорожскую, натоваряся разными товарами, чрезъ польскій городъ Умань, 9 числа, то засталъ подъ Уманью стоящаго въ двухъ тысячахъ войска, называющаго себя запорожцами, при 30 прапорахъ и 15 пушкахъ, подъ командою полковника Максима Желѣзняка, къ которому какъ онъ явилъ себя и просилъ его, чтобъ отъ его команды, какъ тамъ въ простойкѣ, такъ и въ пути ему не учинилось какого худа и на товаръ бы его, который стоялъ подъ селомъ Березднуо, нападенія не было,—то оный Желѣзнякъ созвалъ своихъ сотниковъ двухъ человекъ и далъ ему, Кантаржею, отъ себя свидѣтельство, чтобъ вездѣ отъ его команды проходить, даже до границы российской быть“. При этомъ случаѣ Желѣзнякъ „хвалился“ Кантаржею, *„что-де состоящий съ дивизією въ Польшѣ русскій генералъ Кречетниковъ его благодарилъ чрезъ письмо, что онъ Умань въ конецъ раззорилъ и всѣхъ въ оной Уманѣ ляховъ и жидовъ вырѣзалъ“*. Съ своей стороны, Кантаржей прибавлялъ, что онъ видѣлъ тамъ, какъ многіе „съ польскихъ подданныхъ, католическаго закона люди врѣзжаются къ Желѣзняку съ разныхъ тѣхъ мѣстъ, въ коихъ лихи и жида въ конецъ разорены, прося въ него, Желѣзняка, начальства, и онъ, Желѣзнякъ, всякаго съ ихъ по достоинству жалуя, и даетъ отъ себя всѣмъ людямъ письменный приказъ, чтобы въ точномъ его всѣ смотрѣніи были и всѣ происходящіе отъ него порядки оставались бы въ его власти, а ослушника жестокимъ штрафомъ страшая“ *).

Хотя по извѣстію, принесенному въ запорожскую Сѣчь Кантаржеемъ,

*) Скальковскій (изъ запорожскаго войскового архива).

ватага Желтзняка, стоявшая таборомъ подѣ Уманью, состояла изъ двухъ тысячъ вооруженныхъ людей, однако, по свидѣтельству польскихъ писателей, эта толпа гайдамаковъ постоянно возрастала отъ прибывавшаго со всѣхъ сторонъ хлоства *). Съ своей стороны, Тучапскій говоритъ, что гайдамаки, „опомнившись послѣ пьянства, какъ отъ омертвенія“, вмѣсто того, чтобы „смириться и прекратить убійства, составили совѣтъ, на которомъ положили разсылать въ ближайшія мѣстечки и села свои отряды на разбой и грабежи и для набора новыхъ ватагъ, которыя и безъ того увеличивались наплывомъ крестьянъ. Тому изъ нихъ, кто больше убивалъ поляковъ или жидовъ, обѣщаемо было высшее званіе“. Такимъ образомъ, гайдамацкіе отряды разсылались по мѣстечкамъ и селамъ, лежавшимъ въ районѣ мятежа. Уманскія жестокости повторялись, вслѣдствіе того, въ Тепликѣ, Дашовѣ, Тульчинѣ, Монастырицѣ, Гайсинѣ, Копелахѣ, Босовкѣ, Жыбычинѣ, Ладыжинѣ и въ Грановѣ, хотя въ этомъ послѣднемъ, по свидѣтельству другихъ писателей, городовые казаки остались вѣрны своему помѣщику, князю Чарторійскому, можетъ быть, потому, что князь считался сторонникомъ короля Понятовскаго, а, слѣдовательно, и Россіи, и врагомъ польской патріотической партіи или конфедератовъ, и не допустили до раззоренія волостей своего помѣщика. Прочія мѣстечки были разграблены, польское и еврейское населеніе истреблены и награбленное имущество стекалось въ главный штабъ гайдамацкаго войска, подѣ Умань.

Сотникъ Шило, который и прежде дѣйствовалъ независимо отъ главныхъ силъ гайдамацкихъ и съ своими собственными шайками дѣлалъ набѣги на Черкасы и другіе города, по взятіи Умани, пошелъ искать себѣ новыхъ мѣстъ для кровавыхъ подвиговъ. Взявъ съ собою пятьдесятъ хорошо вооруженныхъ конныхъ казаковъ и двѣ пушки, онъ бросился къ турецкой границѣ, на мѣстечко Балту. Его влекло туда извѣстіе, что многіе поляки и евреи, спасаясь отъ гайдамацкаго погрома, забрали свое имущество и ушли за рѣку Кодыму, въ турецкія области, какъ поднѣпровскіе и потыясминскіе обыватели польской Украины уходили или за Тясминъ, или за Днѣпръ, въ русскія владѣнія. Шило, прибывъ въ Балту и желая вырѣзать поляковъ и евреевъ, какъ онъ рѣзалъ ихъ во всѣхъ польскихъ мѣстечкахъ, требовалъ у турецкаго каймакана, чтобы онъ ихъ выдалъ. Надо замѣтить, что Балта одною частью своей принадлежала Польшѣ, а другою Турціи, подобно тому, какъ городъ Крыловъ одною половиною своей стоялъ на польской землѣ, а другою на русской. Слѣдовательно, поляки и евреи, спасавшіеся отъ гайдамаковъ, перебрались въ турецкую половину Балты. Паша, несмотря на требованіе Шила, не выдавалъ гайдамакамъ польскихъ подданныхъ, просившихъ покровительства турецкихъ властей, и гайдамаки хотѣли было уже воротиться въ свой таборъ, но неизвѣстно почему, какъ говоритъ Тучапскій, одинъ турокъ убилъ грека изъ гайдамацкаго отряда. Грекъ этотъ, вѣроятно, принадле-

*) Lip.
т. XXVII.

жалъ къ гайдамакамъ, потому что въ шайкахъ ихъ и прежде находился всякій сбродъ—волохи, молдаване, греки, турки и татары. Сотникъ, разгнѣванный убійствомъ одного изъ своихъ подчиненныхъ, собралъ вдвое большую толпу, и такъ сильно ударилъ на турокъ, что тѣ, несмотря на храбрую защиту, не выдержали натиска и бѣжали изъ города, захвативъ изъ своего имущества все, что у нихъ было поцѣннѣе. Шило потерялъ при этой битвѣ одного изъ своихъ атамановъ и нѣсколько гайдамаковъ, которые были убиты въ схваткѣ,—однако, до тѣхъ поръ не прекращалъ атаки, пока не завладѣлъ всею турецкою стороною Балты и пока не умертвилъ всѣхъ находившихся въ городѣ. Хотя на помощь городу и явились потомъ буджакскіе ногайцы, однако, было уже поздно, потому что гайдамаки, раззоривъ мѣстечко и захвативъ съ собою все, что могли найти тамъ лучшаго, возвратились къ своему главному лагерю подъ Умань.

Вообще сотники, атаманы и начальники отдѣльных гайдамацкихъ шаекъ, желая отличиться и снискать большее уваженіе своихъ начальниковъ, Желѣзняка и Гонты, всѣхъ поляковъ и евреевъ, которые попадали въ ихъ руки и которыхъ они не хотѣли убивать своею властью, приводили съ собою въ Умань и тамъ, передъ толпами своихъ товарищей и въ виду начальства, или закалывали несчастныхъ пиками, или стрѣляли въ нихъ изъ ружей, какъ въ мишени *). При самомъ же возвращеніи этихъ сотниковъ и начальниковъ отрядовъ изъ отдѣльных экспедицій съ добычею, новобранцами и плѣнными, въ главномъ лагерѣ встрѣчали ихъ пущечною и ружейною пальбой, восклицаніями и похвалою за удалство, а потомъ угощали пирами въ гайдамацкомъ и казацкомъ вкусѣ—попойкой, пляской, пѣснями и всѣмъ дикимъ разгуломъ.

VIII.

Въ то время, когда, по взятіи гайдамаками Умани, вся польская Украина находилась въ ихъ рукахъ, Польша была до того безсильна, что не въ состояніи даже была со всѣми силами своего государства справиться съ толпою гультаевъ, которые неограниченно владѣли богатѣйшими ея провинціями, и вырвать диктатору изъ рукъ Желѣзняка. Сами поляки не скрываютъ своего безсилія и той неладицы, въ которой изнывала Рѣчь Посполитая въ то несчастное время **), и потому мы нисколько не преувеличимъ, если скажемъ, что гайдамаки могли бы безпрепятственно дойти до Варшавы и завоевать всю Польшу, если бы не защитили ее русскія войска. Собственно польскаго правительственнаго войска въ то время

*) На основаніи показаній современника, Квасневскаго, съ которымъ Липоманъ жилъ вмѣстѣ около полугода и все это записалъ отъ него въ 1780 году.

**) „Polska w tym czasie zostawała w okrepném domowém zamieszanu i ostatecznym nieladzie“. I. Lip.

почти не существовало. Часть его соединилась съ конфедератами и должна была раздѣлять съ ними общую участь. Конфедератамъ было не до спасенія Украины, когда они сами должны были отбивать съ оружіемъ въ рукахъ и свою свободу, и свои земли, тогда какъ русскія войска тѣснили ихъ на каждомъ шагѣ и оттѣснили далеко отъ Украины, гдѣ распоряжался Желѣзнякъ, и гдѣ въ огнѣ и подъ гайдамацкими ножами погибало все польское. Феликсъ Потоцкій, необъятныя имѣнія и богатства котораго погибали теперь на Украинѣ вмѣстѣ съ имѣніями другихъ Потоцкихъ, его родственниковъ, долженъ былъ унижаться передъ турецкими визирями, нищенски вымаливая у нихъ себѣ защиты противъ Россіи. Знаменитый и гордый „Щенсный“ Потоцкій, у котораго въ свѣтѣ находилось 150 конныхъ жолнеровъ и уланъ и 12 колясокъ, несмотря на такую царскую обстановку, ползалъ у ногъ великаго визиря и, простершись передъ нимъ на землѣ, какъ рабъ передъ своимъ господиномъ, долженъ былъ „цѣловать полу одежды его и въ самыхъ уничижительныхъ выраженіяхъ изъяснять нужды собратій своихъ (конфедератовъ), что, хотя гордынѣ и величавости ихъ вовсе противно, но несказанная ихъ противъ Россіи злоба, неудовлетворенная никакимъ мщеніемъ, преклоняла чело ихъ къ самой персти, сущей подъ ногами турковъ“. Когда же Потоцкимъ было думать о польской Украинѣ и своихъ имѣніяхъ, которыми распоряжались гайдамаки? Потоцкіе въ это время рабски докладывали великому визирю, что конфедераты „повергають себя подъ защищеніе лучезарнаго, непобѣдимаго и святѣйшаго магометанства знамени, которому да пошлетъ Богъ на россіянъ совершенную побѣду“. Потоцкіе ждали, что визирь „благоволить“ дать имъ войска, и должны были выслушивать „гнѣвные“ выраженія гордаго турка, который, не стѣняясь, въ лицо Щенсному бросалъ такимъ оскорбленіемъ на всю польскую націю, что „онъ, визирь, никогда не можетъ и не долженъ ввѣрить мусульманскаго войска таковымъ безвѣрнымъ, каковы суть поляки, а что ежели султану угодно будетъ послать имъ помощь, въ такомъ случаѣ можетъ онъ поручить начальство надъ войскомъ своимъ достойнымъ пашамъ“. Потоцкій долженъ былъ все это выслушивать и не оскорбляться и, „безмѣрно оробѣвъ и упавъ визирю въ ноги, просить рабски у него извиненія въ дерзновеніи своемъ“, предавать себя во всемъ волѣ его и „молить только о помощи изъ единого великодушія его султанскаго величества и его свѣтлѣйшей особы“ *).

Въ такомъ-то жалкомъ и унижительномъ положеніи были владѣльцы польской Украины, а войско ихъ было разгоняемо русскими отрядами и вытѣсняемо съ одного мѣста на другое, когда Желѣзнякъ увидѣлъ себя главою южныхъ польскихъ провинцій. Другая часть польскаго войска оставалась при правительствѣ и королѣ **), однако разбросана была по разнымъ мѣстамъ: или „оберегала Варшаву отъ поляковъ“ же, или въ

Плѣвъ и страданіе россіянъ у турокъ. Спб. 1790.

**) Т. е., защищала интересы правительства (stała przy rządzie i królu).

Варшавѣ содержала караулы. Эта часть, слѣдовательно, также не могла оставить Варшавы на произволъ полякамъ (странное и обидное положеніе страны) и идти спасать польскую Украину отъ Желѣзняка, Гонты, Шила, Швачки и проч. Хотя, затѣмъ, третья, ничтожная часть польскаго войска и находилась вблизи гайдамацкаго мятежа, на Подоліи, однако, она была слишкомъ безсильна для того, чтобы одолѣть гайдамачину и усмирить крестьянское волненіе.

Не было, такимъ образомъ, надежды ни на свои войска, ни на помощь Турціи: оставалась одна надежда на русскихъ, которые и должны были усмирить русскій же мятежъ на польской землѣ.

Какимъ образомъ поляки исходатайствовали себѣ въ этомъ случаѣ помощь русскихъ войскъ, обращались ли они прямо къ петербургскому кабинету или къ какому-либо изъ представителей русскаго правительства въ Польшѣ, объ этомъ польскіе писатели говорятъ неопредѣленно, и при томъ въ самыхъ общихъ выраженіяхъ, именно, — что польское правительство обратилось съ просьбою о помощи къ русскому двору и получило ее *). Безъ сомнѣнія, помимо императрицы и нельзя было исходатайствовать помощь, потому что было бы несомнѣнно съ принципами международныхъ сношеній какому бы то ни было войску вмѣшаться, безъ разрѣшенія высшаго правительтства, во внутреннія дѣла другого государства, и особенно странно было русскимъ войскамъ, воевавшимъ противъ конфедератовъ, не получивъ дозволенія императрицы, тотчасъ же обратить свое оружіе какъ бы въ защиту тѣхъ же конфедератовъ, имѣнія и подданные которыхъ подверглись жестокому преслѣдованію со стороны не только русскихъ гайдамаковъ, но и такихъ людей, какъ Желѣзнякъ, которые говорили, что они дѣйствуютъ отъ имени императрицы, подобно тому, какъ дѣйствовали съ своими войсками графъ Румянцевъ, Кречетниковъ и графъ Апраксинъ. У г. Скальковскаго мы находимъ только, что помощь эту выпросилъ у Кречетникова графъ Ксаверій Браницкій. Г. Скальковскій говоритъ, что въ эпоху этихъ ужасныхъ происшествій, графъ Браницкій, главный врагъ короля, по обычаю польскихъ вельможъ, занимавшихся, или паршествами или политическими интригами, угощалъ въ своемъ имѣніи, въ Шаргородѣ (въ Галиціи), русскихъ генераловъ—Кречетникова и графа Апраксина, побѣдителей барскихъ конфедератовъ (которыхъ Браницкій въ то время уже оставилъ),—когда до него дошла вѣсть о томъ, что гайдамаки завладѣли всею польскою Україною и неистовствуютъ въ Умані. Не смѣя послать противъ гайдамаковъ свою дивизію польской народной кавалеріи, потому что гайдамаки черезъ слугъ и „дюровъ“ (фурлейтовъ) немедленно бы узнали о приближеніи польскаго войска и легко могли скрыться въ Турціи и на Запорожьѣ, Браницкій просилъ русскихъ генераловъ взять на себя это щекотливое дѣло.

*) Udal się więc rząd polski z prośbą o pomoc do dworu rosyjskiego, i tę otrzymał“. Lip.

Мы думаемъ, что Браницкій не могъ послать свою кавалерію потому, что силы гайдамаковъ были нешуточныя и войско Браницкаго было слишкомъ недостаточно, чтобъ подавить бунтъ во всей Украинѣ, на что, повидимому, едва ли хватило бы всѣхъ военныхъ силъ Польшы.

Когда Кречетниковъ узналъ, какими мотивами руководилось народное движеніе въ польской Украинѣ и какія разглашались вѣсти объ участіи русскаго правительства въ поднятій польскихъ крестьянъ, онъ рѣшился дѣйствовать и безъ прямого разрѣшенія высшей власти, такъ какъ обстоятельства были такого рода, что медлить было невозможно, и только поспѣшилъ донести обо всемъ какъ въ Петербургъ, такъ и въ Кіевъ, къ тамошнему генералъ-губернатору. Онъ взялъ съ собою одинъ полкъ донскихъ казаковъ и отрядъ гусаръ и поскакалъ въ Умань. Вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ увѣряютъ поляки, онъ приказалъ везти вмѣстѣ съ своимъ отрядомъ нѣсколько повозокъ цѣпей и веревокъ, которыми можно было бы перевязать всѣхъ плѣнныхъ гайдамаковъ.

Слѣдовавшіе съ Кречетниковымъ отряды по всей дорогѣ видѣли признаки необычайной тревоги въ населеніи, которое, повидимому, не знало, кого считать врагомъ и кого спасителемъ. Они постоянно встрѣчали обозы, нагруженные разнымъ имуществомъ, какъ польскимъ, такъ и еврейскимъ, и всѣ эти обозы тянулись въ ближайшія, а иногда и отдаленныя польскія крѣпости, не зная, гдѣ искать спасенія. Мало того, когда донцы спрашивали евреевъ, куда они намѣрепы идти съ своимъ имуществомъ, тѣ отвѣчали, что „за наступившимъ на нихъ великимъ гоненіемъ“ они дошли „даже до послѣдняго отчаянія“, и если ихъ не примутъ въ „нѣмецкихъ странахъ“, то они намѣрены изыскивать средства, какъ бы имъ, „всѣмъ еврейскимъ народомъ, въ Іерусалимъ переселиться и, получивъ, отъ кого слѣдовать будетъ, законное дозволеніе, тамъ на вѣчно остаться“. Слухи ходили между евреями, что гайдамаки высланы въ Польшу „по указамъ“, и что цѣль Россіи въ этомъ случаѣ состояла въ томъ, чтобы, очистивъ Польшу отъ евреевъ, заселить ее „великороссійскими людьми“ *).

Само собою разумѣется, что такіе странные слухи могли родиться въ Польшѣ, особенно между еврейскимъ населеніемъ, когда гайдамаки вездѣ разглашали о своей солидарности съ русскимъ правительствомъ, которое положило будто бы въ конецъ истребить Польшу, особенно ту ея часть, въ которой преобладаетъ элементъ украинскій, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, уничтожить всѣ слѣды и еврейскаго элемента, сильно тамъ преобладавшаго. Эти-то слухи, подтверждавшіеся истребленіемъ польскаго и еврейскаго элемента въ Черкасахъ, Смилой, Лисянкѣ, Умани и во всѣхъ тѣхъ областяхъ, заставили евреевъ подумать о переселеніи въ Іерусалимъ, чтобы

*) Объ этомъ походѣ Кречетникова съ донскими казаками подѣ Умань мы нашли любопытныя подробности въ рукописномъ дневникѣ одного донскаго казака или офицера Калмыкова, который, какъ видно, участвовалъ и въ польскомъ, и въ турецкомъ походѣ 1769—1774 г. Выдержки изъ этого дневника обязательно сообщены намъ г. Кузнецовымъ.

хоть тамъ преклонить свою голову. Слухи эти подтверждались также и появленіемъ донскихъ казаковъ, хотя эти послѣдніе мирно относились къ евреямъ, которыхъ они встрѣчали на пути, и даже совѣтовали имъ не дѣлать „напрасной порухи“, а оставаться на мѣстахъ, такъ какъ — прибавляли донскіе казаки — „отъ великороссійскихъ людей, такъ же и отъ донскихъ казаковъ, имъ никакого истязанія и разоренія чинимо не будетъ“. Въ одномъ мѣстечкѣ, до котораго, какъ видно, еще не успѣлъ дойти украинскій пожаръ, а между тѣмъ, слухи самаго страннаго свойства держали населеніе въ постоянномъ ожиданіи тревоги, донской полкъ былъ встрѣченъ со всѣми признаками величайшаго смятенія; но когда мѣстные жители узнали, что донцы обращаются съ ними, какъ съ людьми „одинаковаго закона“, то полкъ, который долженъ былъ въ этомъ мѣстѣ сдѣлать кратковременный „маршевой роздыхъ“, былъ буквально заваленъ съѣстными припасами, притащенными со всѣхъ сторонъ „возрадовавшеюся о своемъ спасеніи жидовою“, какъ выражается въ своемъ дневникѣ Калмыковъ — „винъ угорскихъ и сантуринскихъ всѣмъ казакамъ навязали въ торока курятины и гусятины, и лошадей напихъ изъ рукъ своихъ поили, ровно бы мы къ родной матери на постой прибыли“. Когда Кречетниковъ послѣ роздыха велѣлъ сняться своимъ отрядамъ и слѣдовать дальше, еврейки, боясь, что за уходомъ донцовъ на нихъ нагрянутъ „хохлы“, съ воплемъ бѣжали за генераломъ, умоляя остаться, и бросились цѣловать его ноги, хватали его за стремяна и за „чумбуръ“ удерживали его лошадь.

Чѣмъ дальше подвигались отряды Кречетникова, тѣмъ болѣе поражаемы были или запустѣніемъ нѣкоторыхъ селеній, или необычнымъ въ нихъ движеніемъ, которое предсказывало, что и тамъ скоро долженъ вспыхнуть мятежъ. Въ одномъ мѣстѣ они встрѣтили огромный чумацкій обозъ, при приближеніи къ которому увидѣли, что „всѣ чумаки, сбившись въ кучу у самой дороги, стояли на колѣняхъ и земно кланялись“. Оказалось, что обозъ принялъ казаковъ за гайдамацкій отрядъ и, опасаясь, чтобъ гайдамаки не разграбили чумацкаго добра, не отняли воловъ и денегъ, чумаки заранѣе повалились въ землю и просили пощады. На другой день казаки встрѣтили въ степи, на перекресткѣ двухъ дорогъ, „латинскій голубецъ“ (вѣроятно, часовня), на верху котораго, на крестѣ, повѣшенъ былъ еврей, „коему лицо уже изрядно было птицами поклевано“. Это было вѣрнымъ признакомъ того, что въ окрестностяхъ или уже разыгрывается гайдамачина, или только-что готовится. Казаки, снявъ трупъ еврея съ креста, точась-же его „человѣческому погребенію предали“, выкопавъ неглубокую могилу имѣвшимися въ обозѣ лопатами и казацкими пашками.

Но дальше трупы убитыхъ попадались все чаще и чаще, такъ что отряды Кречетникова, спѣшившіе къ Умани, уже не находили времени убирать эти тѣла и предавать землѣ. На какомъ-то уединеніи хуторѣ, встрѣтившемся имъ на дорогѣ, они не нашли ни одной живой души, но только у колодца, вырытаго подъ хуторомъ, увидали нѣсколько труповъ, пожираемыхъ собаками и хищными птицами. „Завидѣвъ насъ, — говоритъ

Калмыковъ,—воронье разлетѣлось, а собаки, отбѣжавъ въ сторону отъ колодца, были жалостными голосами, потому наиболѣе полагать должно, что кормились они тѣломъ своихъ хозяевъ, кои ихъ при жизни своей кормили“. Въ одномъ домикѣ (въ куренѣ), въ который зашли казаки на этомъ хуторѣ, они ничего не нашли, кромѣ мертваго ребенка, лежавшаго въ колыбели, а полъ въ домѣ былъ весь изломанъ и подполье изрыто.

За нѣсколько переѣздовъ до Умани, казаки проѣзжали черезъ одно селеніе, крестьяне котораго всѣ были вооружены, чѣмъ попало. Когда казаки спрашивали ихъ, куда они собираются и для чего вооружились, поселяне отвѣчали:

— Засылаетъ къ намъ государыня ваша грамоты и даруетъ всѣмъ намъ вольность, чтобъ казаками впредь именоваться.

— Грамоты тѣ подлинно-ль вы видѣли?—спрашивалъ ихъ Калмыковъ.

— Видѣли подлинно, и на грамотѣ печать царская.

При этомъ поселяне говорили, что грамоту привозили къ нимъ запорожскіе казаки и велѣли имъ немедленно вооружиться и идти подъ Умань, чтобы „царскимъ посламъ присягу дать на вѣрность російскому престолу.“

Отряды Кречетникова прибыли, наконецъ, къ самой Умани, но изъ осторожности не подѣхали къ городу, а остановились въ небольшомъ отъ него разстояніи, въ селцѣ Соколовчкѣ. Чтобы судить о силѣ гайдамаковъ и расположеніи ихъ стана, Кречетниковъ оставилъ весь полкъ въ помянутомъ селцѣ и съ нѣсколькими донцами отправился къ гайдамакамъ. Подѣзжая къ ихъ лагерю, онъ былъ сначала остановленъ передовыми ихъ караулами, но, когда начальники освѣдомились о томъ, кто прибылъ, то его тотчасъ же пропустили въ самый станъ. Липоманъ говорить, что Кречетниковъ, прибывъ подъ Умань, не тотчасъ же поѣхалъ въ гайдамацкій станъ, а послалъ просить къ себѣ Желѣзняка и Гонту, велѣвъ сказать, что ему нужно посовѣтоваться съ ними объ очень важномъ для нихъ и выгодномъ дѣлѣ. Но осторожные предводители черни не сразу поддались на уловку москаля. Они велѣли отвѣчать Кречетникову, что ихъ нѣтъ въ станѣ.

Кречетникову приходилось хитрить, тѣмъ болѣе, что силы гайдамаковъ были весьма не ничтожны. Двухтысячная ватага ихъ была хорошо вооружена; гайдамацкая кавалерія имѣла добрыхъ коней, потому что было изъ чего выбирать. Артиллерія ихъ имѣла пятнадцать пушекъ. Кромѣ того, значительныя шайки гайдамаковъ рыскали по всей странѣ, и эти шайки съ своими ватажками могли явиться на помощь своей главной арміи. Наконецъ, сторону гайдамаковъ держали крестьяне, и они легко могли поголовно двинуться на русскіе отряды, если бы провѣдали, что Кречетниковъ держитъ сторону поляковъ.

Кречетниковъ, взявъ съ собой нѣсколько офицеровъ, самъ поѣхалъ въ гайдамацкій станъ. Онъ нашелъ этотъ станъ довольно укрѣпленнымъ и хорошо оберегаемымъ разставленными вездѣ караулами, которые находились и въ городѣ, и за городомъ. Вокругъ стана, на большомъ разстояніи, бродили табуны лошадей, стада овецъ, рогатаго скота, оберегаемые стражками.

Въ станѣ лежало кучами награбленное польское и еврейское имущество, мѣдные деньги ссыпаны были въ особыя кучи, а серебро въ кадочки. Желѣзнякъ и Гонта приняли Кречетникова дѣйствительно по-княжески. И тотъ, и другой были въ богатой одеждѣ, въ шелковыхъ цвѣтныхъ „чекменахъ“ съ золотыми украшеніями. Около нихъ стояли есаулы съ булавами. Въ лагерѣ слышенъ былъ шумъ и говоръ. Въ иныхъ мѣстахъ гайдамаки играли въ карты и шашки. Кречетникова приняли какъ гостя, и онъ старался обходиться съ коноводами гайдамаковъ самымъ вѣжливымъ образомъ, показывая видъ, что нуждается въ ихъ помощи.

— Прослышали мы,—сказалъ Желѣзнякъ,обращаясь къ Кречетникову,—что российская держава надъ проклятыми поляками не безъ побѣды.

Кречетниковъ отвѣчалъ, что они дѣйствительно „надъ бунтовщиками и ослушниками указовъ ея императорскаго величества знатныя баталіи одерживали и впредь таковыя одерживать не безнадѣжны“.

— Великой государынѣ и мы служить охотны,—сказалъ Гонта,—и за ея интересы до пролитія всей своей крови стоять будемъ.

Тогда Желѣзнякъ, подходя къ двери своей палатки и указывая рукою по направленію къ Умани, спросилъ Кречетникова:

— А вы бачили, пане-генерале, що мы въ Умани нарobili?

— Видѣлъ,—отвѣчалъ Кречетниковъ.

— И то мы нарobili по указу и благословленію владыки,—замѣтилъ Гонта.

А Желѣзнякъ, показывая на свои ноги, обутыя въ желтые съ серебряными подковами сапоги, сказалъ:

— Отъ сими подковками я буду и въ Варшавѣ брязгати, ляхамъ жалу завадати.

Кречетниковъ сталъ объяснять имъ свои намѣренія, которыя, главнымъ образомъ, и привели его къ гайдамакамъ. Кречетниковъ передалъ Желѣзняку и Гонтѣ, что, хотя войска конфедератовъ и разбиты русскою арміею, однако, часть конфедератовъ заперлась въ Бердичевѣ, въ кармелитскомъ монастырѣ, который былъ достаточно укрѣпленъ. Русское войско держало Бердичевъ въ осадѣ, но крѣпости взять не могло, и потому Кречетниковъ просилъ Желѣзняка и Гонту дѣйствовать заодно съ русскими войсками и помочь ему добыть Бердичевъ. Желѣзнякъ и Гонта охотно согласились на это предложеніе.

Тучапскій, между тѣмъ, говорить, что въ Умань прибылъ прежде не Кречетниковъ, а поручикъ Кривой только съ шестьюдесятью казаками, а что уже послѣ достигъ цѣлый полкъ карабинеровъ подъ командою полковника Нолкина. Показаніе это, впрочемъ, не противорѣчитъ и другимъ показаніямъ историковъ и хроникеровъ объ этой эпохѣ, такъ какъ и поручикъ Кривой и полковникъ Нолкинъ могли оба состоять подъ командою генерала Кречетникова. По словамъ Тучапскаго, „гайдамаки сильно испугались, узнавъ о прибытіи русскихъ, и положили было вести себя осторожно и избѣгать сношеній съ русскими солдатами; но умный поручикъ

(Кривой) такъ ловко успѣлъ увѣрить гайдамаковъ въ своей искренней дружбѣ, что убѣжденные Желѣзнякъ и Гонта не только его къ себѣ на банкеты приглашали и подарки ему дѣлали, но даже согласились, чтобы онъ свои, вмѣстѣ съ разбойничьими, поставилъ караулы. Чтобы однакожъ оправдать свои дѣйствія передъ русскимъ офицеромъ и тѣмъ болѣе съ нимъ сблизиться, гайдамаки показали ему упомянутый выше указъ императрицы, Мелхиседекомъ изобрѣтенный, изъявляя ему готовность исполнить всѣ повелѣнія ея императорскаго величества и въ ея службѣ послѣднюю каплю крови пролить. Для того они предлагали вмѣстѣ съ казаками (донскими) идти въ Бердичевъ, для уничтоженія тамъ конфедератовъ. Все это похвалилъ поручикъ, обѣщая, что имъ будетъ сопутствовать цѣлый полкъ карabinеровъ, который уже приближался къ Умани. Но онъ требовалъ прежде, чтобы тѣ изъ поселенъ (вооруженныхъ), которые имѣютъ свое хозяйство и семейства, были оставлены въ домахъ, ибо они не могутъ выдержать военныхъ трудностей и невзгодъ, а привязанность ихъ къ своему достоинію и семействамъ, кромѣ замѣшательства и непорядка, ничего другого принести не можетъ. Между тѣмъ край опустѣетъ, не имѣя рукъ для занятія хлѣбопашествомъ. Мнѣніе его одобрено и сдѣлано обѣщаніе, что всѣ вышеупомянутые люди, равно какъ и тѣ, которые не чувствуютъ въ себѣ довольно мужества къ перенесенію трудовъ и приключеній, свойственныхъ военному быту, особенно во время похода, могутъ оставить войско (гайдамацкое ополченіе) и въ дома свои возвратиться. Въ самомъ дѣлѣ, многіе крестьяне этому приказу послушались, но гораздо большее число осталось на мѣстѣ*.

Дѣйствительно, и по свидѣтельству другихъ писателей, сношенія Кречетникова съ гайдамаками происходили почти такимъ образомъ, какъ выше описано. Когда Желѣзнякъ выразилъ русскому генералу согласіе идти не только подъ Бердичевъ, но обѣщалъ потоптать своими серебряными подковками даже Варшаву, Кречетниковъ, желая окончательно выиграть расположеніе гайдамаковъ, сталъ учашать къ нимъ свои визиты. Всякій разъ, пріѣзжая къ нимъ, онъ обходился съ Желѣзнякомъ и Гонтою съ притворною вѣжливостью*) и, наконецъ, снискалъ со стороны ихъ такое довѣріе, что они осмѣлились заплатить Кречетникову визитъ въ его ставкѣ**).

Калмыковъ въ своемъ дневникѣ рассказываетъ объ одной случайности, которая вполне обрисовываетъ честолюбивую натуру Желѣзняка. Кречет-

*) „...z udaną grzecznością.“ Lip.

**) Эти посѣщенія Кречетникова съ донскими казаками гайдамацкаго лагеря разумѣть, вѣроятно, и народный разсказъ, который говоритъ, что, когда гайдамаки завладѣли Уманью и поставили вездѣ свои караулы, вдругъ ѣдутъ два „доны“ („донцы“), одинъ какъ бы старшина, а другой простой. Желѣзнякъ принялъ ихъ какъ гостей: такъ угощаетъ, что куды! Какъ вотъ, спустя немного времени, ѣдутъ опять три донца. Онъ и тѣхъ принялъ. Какъ вотъ ѣдетъ уже человѣкъ пять гусарь. Тогда онъ и догадался, что будетъ бѣда...“ Зап. о южн. Рус.

никовъ, ласково принявъ Желѣзняка и Гонтѹ, которые прїѣхали въ сопровожденїи есауловъ съ булавами, сталъ радушно угощать ихъ. Въ это время донскіе казаки, собравшись въ кружокъ, по приказанію Кречетникова, запѣли военныя пѣсни для увеселенія гостей. Желѣзнякъ долго слушалъ и потомъ, подпивши немного, обратился къ Гонтѣ съ такими словами:

— И объ насъ, пане Гонто, будутъ пѣть такія пѣсни, ибо мы, подражаючи Хмельницкому, землю русскую отъ ляховъ и жидовъ чистою сдѣлали.

Вообще Кречетниковъ обходился съ начальниками мятежа самымъ предупредительнымъ образомъ, желая польстить ихъ самолюбію и чрезъ то усыпить ихъ бдительность. Онъ устраивалъ имъ попойки, на которыхъ гайдамаки, впрочемъ, вели себя, повидимому, сдержанно. Кречетниковъ ласкалъ ихъ, сколько могъ, и даже провожалъ ихъ домой, какъ бы между ними существовала самая искренняя прїязнь *). Гайдамаки все болѣе и болѣе подавались на ласки и любезности, и Кречетниковъ все болѣе прїобрѣталъ ихъ довѣріе. Особенно же, по свидѣтельству Калмыкова, гайдамакамъ нравились донскіе казаки, которые хвастались передъ украинскими казаками своею ловкою ѣздой на копяхъ, стрѣльбою въ цѣль и разными воинскими артикулами, такъ что Желѣзнякъ не разъ говорилъ одобрительно:

— У нашей матушки государыни добрыхъ воинскихъ людей не безъ недостатка.

Съ своей стороны, Гонта похвалялся „городскими казаками“, а Желѣзнякъ на это замѣтилъ:

— Съ донскими, такожъ и съ запорожскими казаками мы своей матушкѣ подъ ея царскую руку не токмо Польшу, но и весь свѣтъ покорить не сумѣваемся.

Когда, такимъ образомъ, установилось видимое довѣріе съ обѣихъ сторонъ, Кречетниковъ напомнилъ Желѣзняку и Гонтѣ, что пора уже готовиться къ началу соединенныхъ военныхъ дѣйствій. При этомъ онъ указалъ имъ на отсутствіе военнаго порядка въ ихъ станѣ, на неправильность въ распредѣленіи отрядовъ и неудобства въ передвиженіи обоза. Онъ совѣтовалъ имъ привести обозъ въ возможный порядокъ и такой же порядокъ установить въ гайдамацкомъ войскѣ. Онъ просилъ дозволить ему вмѣстѣ съ начальниками гайдамаковъ осмотрѣть ихъ войска, вооруженіе, если можно раздѣлить гайдамаковъ на сотни, и, исправивъ всѣ военныя потребности, тогда уже назначить походъ противъ Бердичева.

Какъ ни былъ остороженъ и догадливъ Желѣзнякъ, недаромъ проведеншій и дѣтство, и молодость въ Запорожѣ, выдавшій всякіе воинскіе порядки, наученный быть вѣчно на сторонѣ, особенно съ москалями, которые

*) Кречетниковъ Желѣзняка и Гонтѹ „jak przyjaciel wyprowadzał, i u nich także często bywał, dom nawet Gonty i jego familja, jak świadczy Krebsowa, odwiedził“. Lip.

между украинцами всегда пользовались репутацией хитрых и вѣроломныхъ, однако, московское лукавство побѣдило и его запорожскую осторожность. Гонта, повидимому, былъ довѣрчивѣе своего товарища и потому во всемъ шелъ по слѣдамъ Желѣзняка. При томъ же и тотъ, и другой все еще сомнѣвались нѣсколько въ правотѣ своего дѣла и, зная московскую строгость, боялись отвѣтственности, смутно сознавая, что въ ихъ казацкихъ подвигахъ не все можетъ быть одобрено русскимъ правительствомъ, и потому желали заручиться такимъ товарищемъ, какъ генераль Кречетниковъ, который, въ случаѣ невзгоды, могъ бы служить для нихъ защитой. Въ виду этихъ соображеній, Желѣзнякъ и Гонта велѣли собраться своему войску для смотра, привели въ порядокъ обозъ, коней, оружіе, и когда все было готово и люди *) заняли свои мѣста, — они пригласили къ себѣ Кречетникова.

Кречетниковъ пріѣхалъ въ гайдамацкій лагерь со своими офицерами. Калмыковъ говоритъ, что, когда они проѣзжали мимо одного оврага, подъ самымъ городомъ, то на днѣ оврага они видѣли множество костей, изъ коихъ многія были обглоданы собаками и обнажены отъ тѣла хищными птицами, но на иныхъ еще оставалось „черное мясо“ — однако, прибавляетъ очевидецъ, различить было невозможно, „все ли въ томъ баракѣ (буеракѣ) кости были отъ людей, въ бывшее въ томъ городѣ рѣзoviще побитыхъ, или же часть оныхъ были кости конскія“. Въ гайдамацкомъ лагерѣ Кречетниковъ тотчасъ занялся, вмѣстѣ съ гайдамацкимъ начальствомъ, осмотромъ ихъ обоза, дѣлалъ смотръ людямъ, пересмотрѣлъ все ихъ вооруженіе, лошадей, сѣдла и прочее. Гайдамаки тотчасъ были раздѣлены на сотни по тому указанію, какъ дѣлалъ Кречетниковъ. Наконецъ, онъ посоветовалъ имъ ввести въ гайдамацкомъ войскѣ такіе же порядки, какіе были въ его отрядахъ, а, главное, онъ рекомендовалъ имъ устроить особую гауптвахту (odwach), гдѣ, подъ присмотромъ часовыхъ, сложено было бы оружіе. Затѣмъ, онъ совѣтовалъ, чтобы каждая гайдамацкая сотня имѣла особый станъ (stanowisko). Гайдамаки, слѣдуя совѣтамъ Кречетникова, все это исполнили. Затѣмъ, Кречетникову оставалось только привести къ окончанію свой губительный для гайдамаковъ планъ.

Донскіе казаки и русскіе солдаты, прибывшіе съ Кречетниковымъ, приближались также къ гайдамацкому табору и стали особымъ обозомъ.

Когда Кречетниковъ, такимъ образомъ, подготовилъ все, чтобы гайдамацкихъ начальниковъ и всю ихъ ватагу забрать живьемъ въ руки, Желѣзнякъ неожиданно исчезъ... Этотъ коноводъ гайдамачины, прибавляетъ при этомъ Липоманъ, — былъ дальновиднѣе всѣхъ своихъ сотоварищей и, какъ надо полагать, давно подозрѣвалъ, что Кречетниковъ задумалъ что-то недоброе, хотя сомнѣній своихъ не довѣрилъ даже Гонтѣ, вѣроятно, зная, что и помощь Гонты не спасетъ его отъ русской силы. Когда другіе гайдамаки пьянствовали, онъ одинъ оставался трезвымъ и, видя, что русскіе

*)... jeżeli ich godzi się nazwać ludźmi, — прибавляетъ при этомъ Липоманъ.

отряды уже стали бокъ-о-бокъ съ его отрядами, сказалъ своимъ товарищамъ, съ которыми началъ гайдамацкое дѣло еще въ лебединскомъ монастырскомъ лѣсу.

— Не уберечь меня, запорожца, москаль въ свои шоры.

Это было въ ночь съ 16 на 17 іюня: Желѣзнякъ ускользнулъ изъ рукъ Кречетникова въ то самое время, когда его оставалось связать веревками и желѣзными путами, какъ потомъ донцы и карабинеры перевязали всѣхъ остальныхъ гайдамаковъ.

Желѣзнякъ бѣжалъ изъ гайдамацкаго стана съ нѣсколькими изъ преверженцевъ своихъ, не предувѣдомивъ даже Гонтю. Кречетниковъ, узнавъ объ этомъ раньше Гонты и видя, что исчезновеніе Желѣзняка привело Гонтю въ смущеніе, поспѣшилъ окончаніемъ своего плана, изъ опасенія, чтобъ и Гонта не ускользнулъ у него изъ рукъ. Онъ шутя сказалъ Гонтѣ:

— Поспѣшимъ, пане Гонто, къ Вердичеву, а то панъ Желѣзнякъ одиень его добудеть и намъ передъ людьми будетъ стыдно.

— Желѣзнякъ безъ меня не станетъ добывать Вердичева, — отвѣчалъ Гонта.

Но когда Кречетниковъ сказалъ ему, что Желѣзнякъ исчезъ, Гонта, видимо раздосадованный, замѣтилъ:

— Запорожцу, яко сущему вору, вѣрить не слѣдуетъ, — или обманетъ, или украдетъ.

— А панъ Гонта не запорожець? — спросилъ Кречетниковъ.

— Я обыватель и дворянинъ, — отвѣчалъ Гонта, — у меня жена и хозяйство въ изобиліи.

Воспользовавшись неудовольствіемъ Гонты на исчезнуваго Желѣзняка, Кречетниковъ сталъ обходиться съ нимъ еще ласковѣе и дружественнѣе и, думая назначить на другой день походъ, просилъ Гонтю показать ему свое имѣніе, находившееся въ селѣ Росушкахъ. Предлогомъ этого визита служило отчасти то, что Гонта передъ походомъ долженъ былъ проститься съ своимъ семействомъ, а главное — что Кречетниковъ, лстя Гонтѣ и другимъ гайдамакамъ-атаманамъ, выразилъ желаніе лично познакомиться съ семействомъ новаго русскаго воеводы и князя уманскаго. Гонта, говорятъ, охотно согласился угостить у себя генерала съ его штабомъ, и потому всѣ тотчасъ же собрались въ путь. Гонта ѣхалъ на бѣломъ, „знатной крови“ турецкомъ конѣ, окруженный своими атаманами и сотниками въ богатыхъ нарядахъ. Впереди и позади скакали гайдамаки. Въ Росушкахъ, во время пиршества, русскіе офицеры употребляли всѣ усилія, чтобы гайдамацкіе атаманы и самъ Гонта перепились окончательно, а между тѣмъ, сами должны были воздерживаться отъ питья. „Русскіе офицеры и донцы, говоритъ г. Скальковский, — исполнили это дѣло весьма удачно, даже гусары водки не пили“. Подъ вечеръ вся компанія воротилась въ лагерь подѣ Умань.

Между тѣмъ, Кречетниковъ распорядился, чтобы въ то время, когда они съ старшиною будутъ пировать въ Росушкахъ, въ лагерь тоже должна была происходить попойка въ обоихъ войскахъ, какъ въ гайдамацкомъ, такъ и въ русскомъ. Гайдамакамъ выкатили нѣсколько бочекъ горѣлки.

Солдатамъ своимъ, стоявшимъ особымъ обозомъ, въ виду гайдамацкаго табора, Кречетниковъ строго запретилъ напиваться, но чтобы легче обмануть гайдамацкую подозрительность, онъ велѣлъ своимъ солдатамъ показывать видъ, что и они пьютъ въ своемъ лагерѣ, но только, чтобы вмѣсто воды солдаты пили простую воду, „выкрикивая здоровье“ гайдамаковъ *). Гайдамаки, напившись на водку, пили ее до отвала (do zbytku), и, наконецъ, перепились до того, что потеряли всякое сознаніе и забыли всякую осторожность. Часовые ихъ также перепились.

Гонта, воротившись изъ Росушекъ пьяный, не отдалъ никакихъ приказаній, а сотники, съ своей стороны, не сдѣлали никакихъ распоряженій, не имѣя приказа отъ главы всего гайдамацкаго ополченія, и такимъ образомъ настала ночь, столь памятная въ исторіи уманской рѣзни. Въ этотъ же вечеръ, послѣ захожденія солнца, прибыли и каргопольцы и расположились биваками подъ самымъ гайдамацкимъ лагеремъ. Гайдамаки, видя возы, нагруженные цѣпями, колодками и веревками, спрашивали казаковъ.

— Чего это вы, москали, привезли къ намъ?

— Сухари,—отвѣчали казаки.

— А мы сухарей не жуемъ,—говорили пьяные гайдамаки,—у насъ вся естрава мягкая.

— Мы ѣдимъ только курятину и баранину,—хвастались другіе,—поживите, москали, съ нами, и вы богатыми быть должны.

— Долой московскіе сухари,—кричали третьи **).

Казаки едва могли успокоить этихъ недовольныхъ „московскими сухарями“, и когда наступила ночь, весь гайдамацкій станъ погрузился въ глубокій сонъ.

IX.

Въ эту ночь у Кречетникова было уже въ распоряженіи довольно значительное войско, такъ что онъ могъ бы при дружномъ нападеніи на толпы гайдамаковъ разбить ихъ и безъ помощи обмана, безъ спайванія гайдамацкихъ начальниковъ и всего гайдамацкаго ополченія. У него былъ полкъ донскихъ казаковъ, въ количествѣ, по свидѣтельству Липомана, до тысячи коней, полкъ карабинеровъ, гусары и драгуны. Но ему недостаточно было разбить на голову и даже уничтожить гайдамацкія ватаги: въ его расчеты входила та цѣль, чтобы, если возможно, всѣхъ ихъ забрать живьемъ, не употребляя кровопролитія.

Онъ такъ и поступилъ. Когда въ гайдамацкомъ станѣ уже не было видно никакихъ признаковъ бодрствованія, когда главные гайдамаки заснули въ своихъ палаткахъ, а вслѣдъ за ними уснули и пьяные часовые,

*) „Swoim żołdatom, osobnym obozem stojącym, zakazał (Кречетниковъ), iżby jej (горѣлки) nie pili i nie łączili się z tymi buntownikami, lecz żeby pili wodę, wykrzykując za ich zdrowie“.

**) Дневникъ Калмыкова.

равно и караульные посты, стерегшіе лошадей, Кречетниковъ скомандовалъ начинать дѣло. Довскіе казаки, ловкіе загонщики табуновъ, тотчасъ же отбили гайдамацкихъ коней отъ лагеря и угнали въ степь, такъ что караульные ничего не слышали. Остальные отряды оцѣпили весь гайдамацкій станъ, такъ что никто не могъ пробраться, если бъ и произошла нечаянно тревога. Пушки, боевые припасы и другое оружіе, сложенное особо, по совѣту Кречетникова, немедленно было обведено особой цѣпью, и, такимъ образомъ, спящіе гайдамаки очутились отрѣзанными какъ отъ коней, такъ и отъ артиллеріи. Донцы, гусары и драгуны явились въ лагерь съ веревками, цѣпами, колодками и „кляпами“ для забиванья ртовъ гайдамакамъ, въ случаѣ, если который-либо изъ нихъ сталъ бы кричать.

Захватъ всей гайдамацкой старшины сдѣланъ былъ необыкновенно быстро и успѣшно. Сонныхъ и полусонныхъ сотниковъ, атамановъ и прочихъ гультаевъ вязали веревками, забивали въ колодки, связывали попарно, забивая рты кляпами. Нѣкоторые изъ гайдамаковъ, пробужденные шумомъ и крикомъ товарищей, хватались было за оружіе и убили нѣсколько солдатъ; но донцы такъ ловко и скоро вязали ихъ, что весь лагерь скоро былъ перевязанъ. Когда нѣкоторые изъ гайдамаковъ спасались бѣгствомъ, въ нихъ не велѣно было стрѣлять, а хватать живьемъ и безъ всякаго шума завязывать ротъ. Старый гайдамакъ, служившій вмѣсто конюха у Желѣзняка и случайно спасшійся отъ общей участи, рассказывалъ въ послѣдствіи, что донцы вязали гайдамаковъ подвое вмѣстѣ: „связжутъ двоихъ руками и спинами одинъ къ другому, да и земли мѣшокъ положить—такъ они бѣдные и стоятъ вмѣстѣ“. Одинъ изъ гайдамацкихъ есауловъ, по имени Тома, схватилъ оружіе, сталъ кричать: „измѣна! измѣна!“—но окруженный донцами, онъ былъ схваченъ, хотя и убилъ нѣсколько донцовъ. Другіе связаны были сонными, не понимая, что съ ними дѣлается. Другіе, пользуясь темнотою ночи и общимъ смятеніемъ, успѣли было проскользнуть изъ лагеря, пробравшись ползкомъ подъ брюхомъ лошадей, на которыхъ сидѣли русскіе гусары, окружая таборъ живою стѣною, но и этихъ послѣ переловили. Гайдамаковъ было такъ много, что у русскихъ не достало веревочекъ и колодокъ, и тогда ихъ продержали до утра подъ карауломъ, а утромъ уже позапирали въ погреба и ямы.

Гонта былъ захваченъ въ числѣ первыхъ. Когда стали вязать его есаула, спавшаго съ нимъ въ одной палаткѣ, есаулъ закричалъ:

— Гонта! Гонта! мы пропали.

— Спи, чортовъ сынъ,—не мѣшай мнѣ спать,—отвѣчалъ полусонный Гонта, и былъ тотчасъ же связанъ.

На утро, когда Гонтѣ привели къ Кречетникову и генералъ сказалъ ему, что долженъ „препоручить его законной власти“, Гонта мрачно спросилъ:

— Какой? Вашей російской или же моей польской?

— Ты польскій подданный,—отвѣчалъ Кречетниковъ,—и польскимъ закономъ судиться долженъ.

— Такъ закуй и себя вмѣстѣ со мною: ты самъ говорилъ, что въ баталіяхъ до нѣскольکو тысячъ ляховъ вырѣзалъ.

Кречетниковъ приказалъ увести его подъ стражу *).

Вмѣстѣ съ Гонтой взяты были и другіе коноводы мятежа, Мартынъ Бѣлуга, бывшій жаботинскій сотникъ, Василій Шило, Попатенко—балтскій сотникъ. Но не нашли между плѣнными ни Желѣзняка, ни Семена Неживого, ни Швачки, ни Журбы. Оказалось, что Желѣзнякъ, наканунѣ этой катастрофы, захвативъ вѣрнѣйшихъ сподвижниковъ,—Неживаго, Швачку, Журбу, а также Василія Волошина, молдавскаго чабана, и Ивана Сараяна, бѣглаго изъ Новороссійскаго поселенія гусара, какъ самыхъ опытныхъ и самыхъ отчаянныхъ гайдамаковъ, достойныхъ своего предводителя,

*) У Тучапскаго разсказъ объ арестованіи Гонты и Желѣзняка въ главныхъ чертахъ расходится съ приведеннымъ нами разсказомъ. Тучапскій говоритъ, что, когда въ лагерь отданъ былъ приказъ, чтобы всѣ гайдамаки готовились вмѣстѣ съ русскими въ Бердичевъ, русскій поручикъ Кривой, заправлявшій всею этою военною выдумкой, посовѣтовалъ гайдамакамъ приготовить пиръ для своего тора, какъ бы для возбужденія въ нихъ охоты и отваги. На этомъ пирѣ всѣ гайдамаки такъ уподчивались водкою и медомъ, что едва ли кто-либо изъ нихъ остался въ силахъ или при здоровомъ умѣ, между тѣмъ, русскіе солдаты, которые заохочивали ихъ къ пьянству, сами остались совершенно трезвы. Когда Желѣзнякъ и Гонта совершенно опьянѣли, Кривой, притворясь тоже пьянымъ, пригласилъ Желѣзняка и Гонту на свою квартиру въ городъ. Тѣ согласились, и когда пробыли тамъ нѣскольکو времени, въ дружеской бесѣдѣ, какъ поручикъ получилъ, наконецъ, свѣдѣніе, что карабинеры, которыхъ онъ ждалъ, прибыли и уже близко отъ гайдамака тора, — тогда онъ приказалъ тотчасъ же заковать въ желѣзо и Гонту, и Желѣзняка, и съ ними еще нѣскольکو гайдамаковъ, находившихся въ томъ же домѣ. „Оцѣпенѣли отъ ужаса Желѣзнякъ и Гонта, когда донцы бросились на нихъ и изъ опасенія, чтобы крикомъ не возмутили другихъ, забили имъ рты кляпами и послѣ били ихъ по лицу и крѣпкими цѣпями связали. Сидя въ одномъ углу комнаты, только кивая головою, они могли оплакивать горькую участь, которую вмѣстѣ заслужили“. Точно также донцы и карабинеры окружили таборъ. Гайдамаки не испугались этого движенія русскихъ, потому что считали ихъ союзниками. Но когда услышали приказъ немедленно положить оружіе, то есаул Тома, закричавъ: „измѣна! измѣна!“ и схвативъ оружіе, убилъ нѣскольکو донцовъ, а потомъ, окруженный другими, погибъ самъ. Другіе гайдамаки, бросившись тоже защищаться, объаты были паническимъ страхомъ и, не видя предводителей, тотчасъ же покорились. Большая часть или такъ были пьяны, или такъ крѣпко спали, что даже ничего не могли знать, какая постигла ихъ участь. Когда солдаты вязали ихъ веревками и забивали въ колодки, то въ этомъ помогали имъ и крестьяне, призванные изъ села Городецкаго, ближайшаго къ Умани. Все взятое у гайдамаковъ имущество было передано полковнику Нолкину. Но и послѣ того цѣлыми десятками приводили гайдамаковъ и записывали въ реестры. „Всѣхъ же со всего обдирали“ (кто? русскіе?). Тоже самое почти говорить и Липоманъ на основаніи показаній Тучапскаго. Но что Желѣзнякъ не былъ взятъ вмѣстѣ съ Гонтою, это доказываютъ его подвиги въ Балтѣ и въ Голтѣ, о которыхъ мы скажемъ ниже.

ушелъ изъ-подъ Умани съ отрядомъ не болѣе двадцати человѣкъ. Бывшаго торговицкаго сотника Власенка (или Уласенка), котораго Желѣзнякъ, по раззореніи Умани, поставилъ въ губернаторы этого города, давно не оказалось въ гайдамацкомъ войскѣ. Послѣ кратковременнаго управленія Уманью, этотъ импровизированный губернаторъ изъ гайдамаковъ, захвативъ свои деньги и сколько могъ изъ награбленнаго польскаго и еврейскаго добра, черезъ Балту пробрался въ Буджакъ, а оттуда за Дунай въ Молдавію *).

Захвачено было всего 887 гайдамаковъ. Если судить по этому числу, то уничтоженіе Кречетниковымъ гайдамацкой ватаги было далеко не полное, такъ какъ подъ Уманью стояло болѣе двухъ тысячъ гайдамаковъ. Число это, впрочемъ, мы находимъ только у г. Скальковского. Что же касается до польскихъ писателей, то они, какъ, напримѣръ, Липоманъ, говорятъ, что число это было несравненно больше. У Липомана положительно упоминается, что „таковымъ мудрымъ распоряженіемъ тотъ достопочтенный и достойный (czcigodny i dostojny) предводитель (Кречетниковъ) съ далеко меньшимъ числомъ людей, безъ потери хотя бы одного человѣка и безъ выстрѣла, захватилъ до *четыресть тысячъ* вооруженныхъ и имѣющихъ пушки бунтовщиковъ“ **). Остальная ихъ часть, въ такомъ же, а, можетъ быть, и большемъ числѣ, находилась по деревнямъ и селамъ около Умани. Имѣя своихъ предводителей, а иногда и завися отъ ватажковъ, которые оставались въ главномъ таборѣ, всѣ эти толпы не могли быть въ одно время въ Умани, отчасти потому, что занимались разбоями на сторонѣ, и отчасти потому, какъ это всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, и какъ это уже было и въ пугачевщину, не всегда слушались приказаній своихъ предводителей ***)) и бродили вездѣ по своему собственному усмотрѣнію, такъ что Кречетниковъ не могъ захватить сразу и десятой части бунтующаго и съ оружіемъ въ рукахъ вездѣ шатавшагося народа. При томъ же, однихъ уманскихъ казаковъ, измѣнившихъ городу и приставшихъ къ гайдамакамъ, было около двухъ тысячъ, кромѣ „лезней“, которые тоже соединились съ Желѣзнякомъ и Гонтою.

Но какъ бы то ни было, только распорядительности и находчивости русскихъ военачальниковъ (кто бы они ни были—генералъ ли Кречетниковъ, полковникъ ли Нолкинъ или Гурьевъ или, наконецъ, казакій поручикъ Кривой) Польша была въ данномъ случаѣ обязана тѣмъ, что главное гнѣздо гайдамаковъ было разгромлено, и въ народномъ движеніи, принявшемъ столь опасные размѣры, уже не было сосредоточенности.

*) Польскіе писатели говорятъ о немъ, что Уласенко, назначенный „hetmańszczyzny rzędcą... najlepiej na tym urzędzie wyszedł, bo zabrawszy pieniądze, na włosz. yzne uciekł“. А потому мы не встрѣчаемъ его въ числѣ захваченныхъ Кречетниковымъ.

**) Przyjście Ludu, стр. 171.

***)) „... Zwykłym, jak w takim łotrowskim zbiorze, nieposłuszeństwem i opieszałością w wykonaniu ich (watażków) rozkazów powodowaną“ (część).

Какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, удачный ударъ въ центръ тяготѣнн разгулявшихся народныхъ силъ поколебалъ все остальное, и уже послѣ уманскаго погрома гораздо легче было тушить пожаръ, все еще продолжавшій перебѣгать съ мѣста на мѣсто по польской Украинѣ. Оттого польскіе писатели расточаютъ самыя лестныя похвалы Кречетникову, который, впрочемъ, оказался далеко не такимъ находчивымъ въ Саратовѣ и Астрахани, черезъ шесть лѣтъ, во время пугачевщины, какимъ оказался подъ Уманью. Съ гайдамачиной, какъ видно, легче было справиться, чѣмъ съ пугачевщиной. Зато на мѣстныхъ польскихъ начальниковъ, и въ особенности на уманскаго губернатора, современные польскіе историки возлагаютъ тяжкое обвиненіе въ томъ, что ихъ бездѣятельность и отсутствіе находчивости были причиною не только пролитія рѣкъ человѣческой крови, но и того, что эти слабые люди дали усилиться народному движенію, которое польскіе хроникеры называютъ „ядовитымъ гадомъ“.

Польскіе хроникеры уманской рѣзни утверждаютъ, что въ томъ положеніи, въ какомъ находилась Умань во время нападенія на нее Желѣзняка, одна уманская милиція, еслибъ только ею расторопно и умно управляли, въ состояніи была загасить пожаръ, охватившій польскую Украину. Милиція эта была довольно многочисленна, хорошо организована и сконцентрирована въ одномъ мѣстѣ, а не была разбросана, какъ милиція другихъ губернаторовъ польскихъ. Она имѣла, кромѣ того, пѣхоту и пушки. У нея была, наконецъ, хорошо защищенная и всѣмъ необходимымъ для выдержанія осады снабженная крѣпость. При этомъ польскіе писатели указываютъ на расторопность и умъ русскихъ, преимущественно Кречетникова. Одинъ русскій полкъ подъ начальствомъ этого человѣка, вспомоществуемый (podsucopy) тысячею донскихъ казаковъ, успѣлъ погасить пожаръ, когда сила этого пожара значительно возросла въ сравненіи съ тѣмъ, что было въ моментъ приближенія Желѣзняка подъ Умань. Въ то время онъ располагалъ большею частью нестройными ватагами крестьянъ, между которыми былъ незначительный процентъ городовыхъ казаковъ изъ Лисянки, Черкасовъ и другихъ мѣстечекъ, уже взятыхъ Желѣзнякомъ, и еще менѣе значительный процентъ опытныхъ и хорошо вооруженныхъ воиновъ-запорожцевъ. У Желѣзняка не было тогда еще ни уманскихъ казаковъ, хорошо выдержанныхъ и привыкшихъ къ войнѣ, ни крѣпости, никакой артиллеріи, какую онъ имѣлъ уже послѣ взятія Умани. Между тѣмъ „мудрый Кречетниковъ“, съ его слабыми средствами, сравнительно съ войскомъ гайдамаковъ, умѣлъ задуть этого „ядовитаго гада“ уже послѣ разоренія Умани, хотя гадъ этотъ былъ несравненно сильнѣе того, что онъ былъ до разоренія Умани. Все это доказываетъ, по мнѣнію польскихъ писателей, что Умань дурно была защищаема и что ея милиція управлялась недостойными начальниками. Вездѣ оплошность, недосмотръ, слабость, трусость.

То-же явленіе бросалось намъ въ глаза при изученіи подробностей пугачевщины и тѣ же обвиненія обрушились на головы дѣйствовавшихъ тогда русскихъ и нѣмецкихъ начальниковъ, начиная отъ губернаторовъ,

ушелъ изъ-подъ Умани съ отря-
таго торговецкаго сотника Вла-
по разореніи Умани, постав-
оказалось въ гайдамацкомъ

Уманью, этотъ импровизиро-
тивъ свои деньги и ско-
скаго добра, черезъ
въ Молдавію *).

Захвачено было
то уничтоженіе
ное, такъ какъ
Число это, въ
касается д.
говорять.

тально
почт.

ко-
Но во время народныхъ смуть, особенно когда
цѣль и вылы, а бабы хватаются за ухваты, чтобъ защи-
или завоевать дешевый хлѣбъ и дешевую соль, чтобъ
свободу отъ барщины, отъ податей и рекрутчины,—всѣ обык-
средства оказываются недостаточными, и когда во главѣ дви-
жениа есть лицо, говорящее или о всеобщей волѣ, или о всеобщей безо-
протности, и это лицо не взято и не лишено свободы,—тогда съ народ-
воиненіемъ не сладить и не такимъ силамъ, какими располагала
тогда вся Польша, не только Умань.

Польскіе писатели говорятъ, что Умань была хорошо защищена, по-
тому что всегда (задолго до уманской рѣзни) стояла на стражѣ противъ
гайдамачины и противъ всякаго безъ цѣли и безъ дѣла бродившаго по южной
Польшѣ гультайства. Но, вѣдь, и Казань была защищена въ свое время,
и Саратовъ, и всѣ сибирскія крѣпости, взятая Пугачевымъ, однако, когда
на эти города нападаетъ не иноземный врагъ, а свой собственный на-
родъ, братья и отцы котораго сидятъ и въ крѣпости, и подъ крѣпостью,
тогда ни крѣпость, ни пушки, ни войско ничего не значатъ. Дочь Мла-
дановича, выгораживающая передъ судомъ исторіи неумѣлость и слабость
своего отца, пишетъ, что въ Умани находилось только шестьдесятъ жол-
неровъ пѣхоты, т. е. отрядъ изъ шляхты, нѣсколько пушекъ и всего
только тридцать казаковъ „лизней“, кромѣ того полка, который съ Обу-
хомъ, Гонтою и другими сотниками пошелъ навстрѣчу Желѣзняку. Число
это дѣйствительно ничтожно. Притомъ, „лизни“, прежде отстаивавшіе
крѣпость, когда увидѣли своихъ товарищей-казачковъ на сторонѣ осажда-
ющихъ, перелѣзли черезъ полисады и ушли къ гайдамакамъ, что дѣлали,
обыкновенно, правительственныя войска, казаки и крестьяне во время
пугачевщины, когда бѣлое знамя самозванца показывалось въ виду жи-
телей осаждаемаго города. Но кромѣ лизней и жолнеровъ, Умань была

„полна шляхты“, какъ говорятъ польскіе писатели, и шляхта эта была „не безъ оружія“, потому что съ оружіемъ она стекалась со всѣхъ сторонъ въ Умань, думая защищаться за ея стѣнами. Въ Умани находилось множество евреевъ, которые доказали, что умѣютъ защищать свою жизнь, свое достоинство и свои семейства не хуже самыхъ храбрыхъ воиновъ. Въ Умани, наконецъ, было четыреста студентовъ, „между которыми должно было находиться много взрослыхъ“. Изъ этого множества народу, которому грозила неминуемая смерть въ случаѣ взятія города, можно было, по мнѣнію поляковъ, организовать достаточную милицію, которая могла постоять и за цѣлость города, служившаго ей убѣжищемъ, и за свою собственную жизнь. Милиція эта могла не только защищать крѣпость, но, видя, что за городомъ, гдѣ стояли таборомъ не помѣстившіеся въ крѣпости бѣглецы изъ разныхъ мѣстъ польской Украины, между которыми могли быть родственники, жены, дѣти и пріятели тѣхъ, которые успѣли спрятаться въ крѣпости,—уже начали гайдамаки свою рѣзню, эта милиція могла броситься на помощь этимъ жертвамъ съ мужествомъ, на которое способенъ всякій въ минуту отчаянія, могла помѣшать этой рѣзнѣ, могла даже, если не разбить, то утратить толпу гайдамаковъ, а въ случаѣ крайней неудачи могла снова запереться въ крѣпости, чтобъ оттуда дѣйствовать и пушками съ башенъ и ружейнымъ огнемъ изъ-за палисадовъ, какъ это, было, и сдѣлалъ Шафранскій, который одинъ дѣйствовалъ съ толкомъ и даже изъ робкихъ евреевъ сдѣлалъ въ нѣсколько часовъ довольно искусныхъ стрѣлковъ. У гайдамаковъ же не было этихъ средствъ, и едва ли были осадныя орудія, такъ что крѣпость приходилось имъ брать чуть ли не голыми руками, въ то время, когда изъ крѣпости ихъ могли осыпать и картечью, которой было въ городѣ достаточно, и ружейными пулями, въ которыхъ тоже недостатка не было.

Такъ думаютъ польскіе писатели. Но опять мы должны прибавить, что съ такими же средствами, какія были у гайдамаковъ, пугачевцы брали иногда русскія крѣпости: Пугачевъ взялъ сильную и неприступную Троицкую крѣпость „голыми руками“, а другія крѣпости—бралъ съ помощью соломъ. И у гайдамаковъ, кромѣ пикъ и ружей, была другая сила—сочувствіе массъ.

Тучапскій, которому не изъ-за чего было заслонять неумѣлость Младановича, какъ заслоняетъ его родная дочь, насчитываетъ гораздо большее число вооруженныхъ людей, которыми могла защищаться Умань даже безъ своихъ казаковъ. Онъ утверждаетъ, что, въ моментъ нападенія на Умань гайдамаковъ, въ городѣ находилось до ста человекъ пѣхоты, двѣсти конфедератовъ, достаточно разнаго оружія, военныхъ припасовъ и большее число пушекъ, чѣмъ говоритъ госпожа Кребсъ. Наконецъ, Тучапскій не говоритъ о томъ, что въ городѣ не было воды. Слѣдовательно, Умань, въ такомъ положеніи, въ какомъ описываетъ ее Тучапскій, могла еще удачнѣе или, по крайней мѣрѣ, долѣе защищаться противъ бунтовщиковъ. При стойкости защиты, оставалось бы время выждать помощь пѣшей милиціи того же Пестонкаго, стоявшей въ числѣ нѣсколькихъ сотъ чело-

въѣхъ и въ Могилевѣ, и въ Тульчинѣ. Наконецъ, могли подойти русскія войска, особенно еслибъ во время были предувѣдомлены о грозившей городу опасности, что потомъ и сдѣлано было, только уже поздно, когда Умань была затоплена кровью.

Младановича упрекаютъ во многихъ ошибкахъ. Во-первыхъ, если все такъ было, какъ описываетъ его дочь, то Младановичъ, высылая всѣхъ казаковъ противъ Желѣзняка, напрасно оставилъ городъ совершенно обнаженнымъ отъ войска и не заботился своевременно о пополненіи запасовъ, которыхъ бы достало не на два дня обороны, а, по малой мѣрѣ, на двѣ недѣли. Во-вторыхъ, если въ городскомъ колодезѣ не было воды, безъ которой осажденная крѣпость положительно не могла обойтись, то отъ него зависѣло обезпечить городу приступъ къ ближайшей рѣкѣ *), которая текла у самыхъ почти крѣпостныхъ палисадовъ. Въ такомъ разѣ не случилось бы того несчастія, что, во время самаго штурма города, дворянство польское, за неимѣніемъ воды, должно было пить водку и вино и, такимъ образомъ, перепилось до невозможности защищаться. Въ-третьихъ, когда Гонтю заподозрили въ сношеніяхъ съ Желѣзнякомъ, а онъ для оправданія себя отъ подозрѣнія пріѣхалъ въ городъ, то отчего Младановичъ, имѣя его въ рукахъ, не воспользовался этимъ, потому что, если бы онъ и не вѣрилъ этому обвиненію, то все-таки долженъ былъ подыскать какимъ-нибудь предлогомъ задержать Гонтю въ Умани. Тогда полковникъ Обухъ, по своему происхожденію долженствовавшій отстаивать интересы польскаго дворянства, съ остальными сотниками, которыхъ онъ могъ отвлечь отъ измѣны, даже отъ сношенія съ гайдаками, имѣлъ бы возможность помѣяться силами съ Желѣзнякомъ, еслибъ на его сторонѣ былъ даже и Гонта своею собственною особой, могъ бы и разбить его шайки, прогнать отъ Умани и остановить разлитіе крови, которой и безъ того было пролито уже слишкомъ много. Въ-четвертыхъ, Младановичъ okazaлъ крайнюю неспособность и оплошность въ томъ, что повѣрилъ обѣщаніямъ Гонты и, имѣя еще средства защищаться, впустилъ гайдаковъ въ городъ, въ надеждѣ, что Гонта исполнитъ слово и пощадитъ покорившихся ему безусловно, между тѣмъ какъ Гонта поступилъ въ этомъ случаѣ совершенно такъ же, какъ поступилъ Желѣзнякъ въ Лисянкѣ, увѣривши тамошняго комиссара Хичевского, что пощадитъ замокъ, когда Хичевскій сдастъ его гайдакамъ безъ бою.

Изъ свѣдѣній, сообщаемыхъ Тучапскимъ, видно также, что наканунѣ осады Умани тамъ находился прусскій офицеръ, прибывшій туда для покупки лошадей въ Украинѣ, и съ этимъ офицеромъ было пятьдесятъ другихъ пруссаковъ, но что пруссаки, не желая участвовать въ защитѣ города, вышли изъ Умани въ ту сторону, на которой не было атакующихъ гайдаковъ. Квасневскій же утверждалъ, что этотъ прусскій офицеръ, не

* .. „dla zeg, miał czas i ręce“, прибавляетъ Липоманъ.

видя возможности возвратиться въ Пруссію по случаю бунта на Украинѣ укрывся было въ Умани, а замѣтивъ, что городъ этотъ намѣренъ отдать гайдамакамъ, приказалъ своему отряду, чтобы онъ выбрался изъ города тайно, ночью, что пруссаки нашли отверстіе въ палисадѣ, въ которое и проѣхали гуськомъ, по одной лошади, оставивъ на произволъ судьбы городъ съ такимъ дурнымъ начальствомъ и со всѣми признаками того, что тамъ легко погибнуть.

Такимъ образомъ, всѣ современные свидѣтельства подтверждаютъ тѣ тяжкія обвиненія, обрушившіяся на голову Младановича, хотя обвинять его одного въ гибели Умани также несправедливо, какъ и взваливать всю отвѣтственность за пролитую въ описываемый нами мятежъ кровь на Желѣзняка или Мельхиседека. Въ такихъ историческихъ явленіяхъ, какъ гайдамачина или уманская рѣзня, никогда не можетъ быть отвѣтственно одно лицо, потому что уманская рѣзня, по закону исторической вытекаемости событій изъ условій жизни, было бы и тогда, когда бы ни Желѣзняка, ни Мельхиседека вовсе не существовало. Польскіе историки, обвинительно относящіеся къ памяти Младановича, не обвиняютъ его въ томъ, что онъ не казнилъ Гонтю, когда на него пало подозрѣніе, и такимъ образомъ не отвергали послѣдовавшей затѣмъ измѣны уманскихъ казаковъ: Онъ не осмѣлился, можетъ быть, отнять жизнь у Гонты потому, что боялся раздражить народъ, въ которомъ имя Гонты пользовалось авторитетомъ. Онъ, быть можетъ, и потому не казнилъ Гонтю, что не былъ увѣренъ въ его преступныхъ сношеніяхъ съ Желѣзнякомъ. Но онъ долженъ былъ, по мнѣнію польскихъ писателей, по крайней мѣрѣ, задержать Гонтю въ Умани и обезпечить городъ какъ военными припасами, такъ и водою, что вполнѣ было въ его власти. Во всякомъ случаѣ, его ошибки ускорили гибель города.

„Но кто же, — восклицаетъ одинъ изъ обвинителей Младановича, именно Липоманъ, — кромѣ Найвысочайшаго Существа, свободенъ отъ ошибокъ. Людямъ легче судить о дѣлахъ своихъ ближнихъ, одинаково смертныхъ, нежели предвидѣть могущія послѣдовать событія. Вѣдь, Младановичъ не хотѣлъ гибели самому себѣ и своимъ близкимъ, не хотѣлъ также погубить и иныхъ столькихъ тысячъ людей. Онъ дѣлалъ, какъ человѣкъ, что могъ, и ошибался, какъ приходилось ошибаться и гораздо выше поставленнымъ людямъ. Онъ имѣлъ основаніе вѣрить Гонтѣ. Это чудовище оказалось злѣе всѣхъ, до него бывшихъ мятежниковъ. Отнятіе жены у Хмельницкаго, публичное наказаніе (zbicie publiczne) сына и забраніе имущества было причиною озлобленія этого человѣка и вызвало его на месть. Гонта же былъ облагодѣтельствованъ, и Младановичъ могъ надѣяться, что онъ приложитъ все свое стараніе, чтобы разгромить предводительствуемую Желѣзнякомъ толпу и тѣмъ остановить кровопролитіе и опустошеніе. Не видно, что непостижимый рокъ, котораго никто ни предвидѣть, ни предотвратить не можетъ, затемнивши прозорливость людскую, какъ то часто случается, для исполненія своего строгаго предопредѣленія,

хотѣлъ, чтобы искавшіе спасенія своей жизни въ Умани пали жертвою взбунтовавшагося хлопча“ *).

Кречетниковъ, разгромивъ, такимъ образомъ, гайдамацкій таборъ и захвативъ значительную часть ихъ скопища и нѣкоторыхъ изъ главныхъ предводителей, тотчасъ же рассортировалъ ихъ по принадлежности: гайдамаки изъ польскихъ подданныхъ, какъ Гонта, Шило, Потапенко, вносились въ особый реестръ, съ показаніемъ ихъ преступленій, а русскіе гайдамаки, собственно запорожцы, вносились въ особый реестръ. Русскихъ подданныхъ въ числѣ плѣнныхъ насчитано было 150 человекъ, которые Кречетниковымъ и отосланы были въ Россію, къ кievскому военному губернатору Воейкову для производства надъ ними суда и приличной ихъ преступленіямъ казни. Замѣчательно, что изъ русскихъ коноводовъ гайдамачины ни одинъ не былъ пойманъ Кречетниковымъ; всѣ они—Желѣзнякъ, Неживый, Швачка, Журба, Волошинъ и Саражинъ—ушли изъ-подъ Умани, когда догадались, съ какими намѣреніями пришелъ къ нимъ генералъ. Желѣзнякъ, безъ сомнѣнія, понималъ, что дѣло его, несмотря на золотую грамоту императрицы, было не совсемъ чисто и потому во время успѣлъ убраться въ безопасныя мѣста. Польскимъ же подданнымъ, вовлеченнымъ имъ въ свою толпу золотою грамотою и завѣщеніемъ о своей солидарности съ запорожьемъ и русскимъ правительствомъ, какъ-то: Гонтѣ, Шилу, Потапенку и другимъ, онъ не сообщилъ своихъ сомнѣній и вѣроломно бросилъ ихъ на жертву русскому генералу. Гонта и его приближенные слѣпо увѣровали въ подлинность высочайшихъ указовъ, привезенныхъ имъ Желѣзнякомъ, и хранили эти указы, какъ залогъ правоты своего дѣла. Изъ русскихъ подданныхъ попались въ руки русскихъ солдатъ только тѣ, которыхъ Желѣзнякъ не успѣлъ захватить съ собою и которые, можетъ быть, какъ Гонта, вѣрили въ золотую грамоту и въ союзъ съ Россією.

Этотъ странный фактъ—что *всѣ русскіе коноводы* уманской рѣзни ускользнули изъ рукъ русскаго генерала—невольно наводитъ на источникъ народной молвы, говорившей, что „священные ножи“ присланы были гайдамакамъ отъ „великаго свѣта матушки“ и что Россія участвовала въ возбужденіи бунта въ польской Украинѣ, а потомъ, когда дѣло было сдѣлано, русскіе воины шепнули Желѣзняку, чтобъ онъ убирался изъ Польши съ своими ближайшими сотрудниками по рѣзнѣ. Молва эта распространилась въ народѣ, вѣроятно, на томъ основаніи, что, если въ Петербургѣ не согласились на опасныя предложенія Мельхиседека и не дали ему прямого разрѣшенія дѣйствовать именемъ Россіи, то почему человека съ такими опасными предложеніями не препроводили къ польскому правительству, а свободно дозволили возвратиться на родину сочинять золотыя грамоты и бунтовать народъ. Если бы между русскимъ и польскимъ дворомъ въ то время дѣла велись на чистоту, то Мильхиседека или задержали бы въ Петербургѣ и сдали на руки жившему тамъ польскому послу, или

*) Lip. § XII.

прямо отправили бы под карауломъ въ Варшаву. А его, между тѣмъ, отпустили и, какъ говорить молва *), безмолвно согласились дозволить ему поднять южно-русскій народъ противъ Польши. Народная молва усилилась, вѣроятно, еще и тѣмъ, что во время пребыванія Мельхиседека въ Петербургѣ тамъ же готовились послать въ Польшу Кречетникова и другихъ генераловъ съ войскомъ, чтобы защищать права русскихъ диссидентовъ и воевать съ конфедератами. Чтобы дать время разыграться народному мятежу въ польской Украинѣ, чтобы лишить Польшу послѣдней возможности послать туда и свои войска для подавленія мятежа, слѣдовало, какъ говорила молва, отвлечь силы Польши къ западу отъ Украины, т.-е., затѣять войну съ конфедератами. Оно на самомъ дѣлѣ такъ и было. Мало того, народное волненіе въ пользу Россіи вспыхнуло, какъ бы предумышленно, именно въ той части Польши, владѣльцы которой — Потоцкіе, Браницкіе, Радзивиллы, Огинскіе и Любомірскіе — заявили себя противниками Россіи и стали на сторону конфедератовъ. Тамъ же, въ центрѣ гайдамацкаго мятежа, въ имѣніяхъ приверженца Россіи, князя Чарторійскаго, русскіе поселяне и даже казаки не бунтовали, а, напротивъ, отстояли имѣнія своего дѣдича отъ гайдамаковъ. Все это дало новую силу всѣмъ народнымъ подозрѣніямъ, и Мельхиседеку, при такомъ положеніи дѣлъ, оставалось идти домой, сочинить указъ, разрисовать его золотомъ и пустить въ народъ. Если бы даже конфедераты не подали повода посылать въ Польшу русскія войска, тогда по необходимости слѣдовало бы послать ихъ, если въ польской Украинѣ вспыхнуло волненіе именемъ Россіи.

Кречетниковъ, захватывая весь гайдамацкій таборъ, при этой опасной операціи *никого не убилъ* и не хотѣлъ даже этого дѣлать, не велѣлъ *ни въ кого стрѣлять*, а заранѣе, до прибытія въ Умань, запасся только цѣпями, колодками и веревками. *Русскіе коноводы* гайдамачины ушли изъ искусныхъ рукъ русскаго генерала, оставивъ въ его рукахъ только бездомныхъ гультаевъ и ни одного вліятельнаго гайдамака. Кречетниковъ могъ дать понять Желѣзняку, что его политическая миссія кончена, и онъ можетъ спастись, если можетъ это сдѣлать. Все это было возможно въ то странное время, когда Фридрихъ Второй писалъ Даламберу, что онъ смотритъ на себя „какъ на Лигурга или Солону этихъ варваровъ“ — поляковъ, и австрійскому послу Фанъ-Свитену тихонько говорилъ, въ своемъ кабинетѣ, что онъ хочетъ и Польшу приобщить къ магометанскому закону, т.-е. подвергнуть ее обряду „обрѣзанія“. Все это, повторяемъ, было возможно, когда для равновѣсія Европы рѣшено уже было, въ тиши сосѣднихъ съ Польшою кабинетовъ, „расчленивъ“ ее на такія части, чтобы, положа эти части на вѣсы, которыми измѣрялось равновѣсіе Европы, можно было привести

*) Впрочемъ, не одна молва, но и польскіе писатели, какъ Чайковский (онъ же Садыкъ-паша) въ „Hyst. Kolesz.“ и въ Wernygora и кс. Кятовичъ въ „Pamiętnikach“, о коихъ мы считаемъ необходимымъ упомянуть.

вѣсы въ спокойное состояніе, когда, наконецъ, Фридрихъ, имѣвшій подагру въ ногахъ, скорѣе готовъ былъ допустить „подагру у себя въ головѣ“, чѣмъ отказаться отъ проекта „распластанія“ тѣла Польши.

Въ такомъ случаѣ уманскую рѣзню мы должны считать прототипомъ другой рѣзни, бывшей двадцать лѣтъ назадъ почти тамъ же, именно въ австрійской Галиціи, когда австрійское правительство, улыбувшееся двусмысленно и кивнувшее головой по направленію къ Галиціи, подняло на нее тѣхъ же малороссіянъ, которые рѣзали ляховъ въ уманскую рѣзню, и они стали рѣзать поляковъ-пановъ, обитавшихъ въ австрійской Галиціи.

Если же намъ замѣтить, что русское правительство не оставило безъ преслѣдованія и казни Желѣзняка и другихъ *русскихъ* коноводовъ уманской рѣзни, когда изловило ихъ, то на это мы можемъ отвѣчать, что лица эти были согнаты съ лица земли, когда въ нихъ уже не предстояло надобности и когда они выполнили свою политическую миссію.

Мы считали необходимымъ высказать все это, какъ историческую догадку, и считали себя обязанными не утаивать этой догадки въ надеждѣ, что возбужденный, такимъ образомъ, вопросъ будущіе историки рѣшатъ или отрицательно, или утвердительно на основаніи несомнѣнныхъ данныхъ. Если же историческая наука не будетъ допускать догадокъ, какъ вопросъ, предлагаемый будущимъ изслѣдователямъ, то въ исторіи тогда останется больше бѣлыхъ страницъ, чѣмъ исписанныхъ.

Во всякомъ случаѣ, и пребываніе Мельхиседека въ Петербургѣ, и его разговоръ съ Екатериною, и его золотая грамота, и посольство Кречетникова въ Польшу, и—главное—взятая на себя Кречетниковымъ, самолично, безъ предварительнаго разрѣшенія правительства, защита польской Украины въ то время, когда онъ воевалъ съ владѣльцами этой Украины, съ Потоцкимъ и проч., и, наконецъ, непонятное спасеніе изъ-подъ Умани Желѣзняка и всѣхъ русскихъ предводителей волненія, — все это обстоятельства, требующія документальнаго разъясненія.

Народное преданіе говоритъ, что, когда надъ польской Украиной разразилась уманская рѣзня, польскій король началъ писать къ „матушкѣ“: „Великъ свѣтъ матушка! Что это дѣлается въ Польшѣ? Какіе-то бурлаки разбойничаютъ въ народѣ“. Тогда императрица послала въ польскую Украину одинъ полкъ „легкоконный“, а другой — донцовъ. Гайдамаки стояли тогда въ Розсошинцахъ, говоритъ преданіе. Это, конечно, то селеніе Росушки, которое подарено было Потоцкимъ Гонтѣ и въ которомъ русскіе, въ день взятія гайдамацкаго табора, пировали съ главами гайдамачины. — Донцы прибыли въ Розсошинцы и говорятъ гайдамакамъ: „Примите и насъ къ себѣ. Мы къ вамъ пристаедемъ“. Гайдамаки приняли ихъ. Донцы же переловили и перевязали гайдамаковъ. Тогда донской полковникъ написалъ къ „матушкѣ“: „Что съ ними дѣлать“? Она ему отвѣчала: „Кому вредъ сдѣлали, тому ихъ и въ руки отдайте“. Вслѣдствіе этого плѣнныхъ гайдамаковъ и отдали польскому правительству.

Х.

По взятіи Кречетниковымъ уманскаго гайдамацкаго табора, прибылъ туда командиръ польско-украинской партіи графъ Браницкій. Русский генералъ отдалъ ему часть своихъ плѣнныхъ, собственно польскихъ подданныхъ, въ числѣ которыхъ были Гонта, Мартынь Бѣлуга, Шило и Потапенко.

— Ты сотникъ Гонта?—спросилъ графъ Браницкій самопоставленнаго русскаго воеводу, который стоялъ передъ нимъ въ желѣзахъ, обвивавшихся вокругъ его шеи, пояса и ногъ, и въ богатомъ воеводскомъ нарядѣ.

— Я былъ сотникомъ Гонтою,—отвѣчалъ бунтовщикъ.

— Тебя разыскалъ графъ Потоцкій знатными милостями, и ни его ли, благодѣтеля, господскую руку укусилъ ты, песъ?

— Его графской руки я не укусывалъ, а бирюковъ да лисицъ, что въ нашу кошару повадились, я точно покусалъ и впредь таковыхъ кусать не премину.

„Въ семь его, Гонты, иносказаніи подъ бирюками и лисицами тотъ разумъ понимать надлежитъ, яко бы тѣ волки, въ образѣ поляковъ и поповъ латинскихъ, малороссійскимъ народомъ правили“,—замѣтилъ Калмыковъ.

— Не на отца ли родного поднялъ ты холопскую руку твою?—замѣтилъ ему какой-то „знатный гусаринъ польскій“.

— Нѣтъ у насъ отца, а токмо мать всемилостивѣйшая, и передъ нею вамъ за меня въ отвѣтъ быть.

Услышавъ эти слова, Кречетниковъ сказалъ „со строгостью“:

— Всемилостивѣйшая государыня за измѣнниковъ не заступница.

Гонта просилъ, чтобъ его, по крайней мѣрѣ, не отдавали полякамъ, а отправили въ Кіевъ. „Въ россійской землѣ, у всемилостивѣйшей государыни, правда не подъ замкомъ“, говорилъ онъ, настаивая на томъ, чтобъ его отдали русскому правительству. Но графъ Браницкій велѣлъ привести къ нему другихъ „злу начальниковъ“, и Гонтѣ увели подъ прикрытіемъ особой стражи *).

Графъ Браницкій, съ своей стороны, сдалъ плѣнныхъ обозному региментарю украинской партіи Стемковскому, въ послѣдствіи воеводѣ кіевскому, такъ какъ главный региментарь Вороничъ, нѣкогда замучившій ктитора въ Мліевѣ, былъ боленъ и, отказавшись на время отъ своей должности, жилъ въ своемъ помѣстьѣ. Болѣзнь его, впрочемъ, была, какъ можно догадываться, вызвана тѣмъ страшнымъ временемъ: подобно русскимъ губернаторамъ Бранту, Шетневу и Кречетникову, во время пугачевщины старавшимся держать себя въ отдаленіи отъ центра волненія, Вороничъ не выѣзжалъ изъ своего помѣстья, пока гайдамачина была въ апогее своей страшной силы.

Начался судъ. Русскіе солдаты во все время суда содержали караулы, потому, вѣроятно, что на польскихъ караульныхъ не надѣялись. Суть

*) Дневн. Калмыкова.

кончился довольно скоро, потому что бунтовщиковъ судили по военному уставу. Инстингаторомъ или королевскимъ прокуроромъ называютъ нѣкоего Ставскаго. Гонтѣ поставили на видъ, что онъ былъ причиною и главнымъ орудіемъ уманской рѣзни. Какъ измѣнникъ, мятежникъ, убійца и грабитель, взятый съ оружіемъ въ рукахъ и при томъ поднявшій оружіе и противъ своего правительства, и противъ своего родного края, вовлекшій съ собою въ пропасть цѣлыя тысячи народа, — Гонта долженъ былъ понести жесточайшее наказаніе. У Гонты на груди нашли благословеніе, писанное Мельхиседекомъ и давнее Желѣзняку, благословеніе, которымъ освящалось кровавое дѣло гайдамаковъ. Гонтѣ приговорили къ самой безчеловѣчной казни, какую только способно было выдумать то жестокое время, отъ котораго мы, съ нашимъ временемъ, стоимъ такъ близко, что даже не вѣрится, чтобы все это было такъ недавно.

Гонта упрямо продолжалъ думать и доказывать, что онъ не бунтовщикъ, не разбойникъ.

— Чѣмъ мы хуже Хмельницкаго?—говорилъ онъ графу Браницкому; подобно ему, мы съ Желѣзнякомъ рѣзали ляховъ и жидовъ.

— Тѣмъ,—отвѣчалъ ему гетманъ,—что Хмельницкій каралъ виновныхъ въ несправедливости къ Украинѣ поляковъ, а ты терзалъ и мучилъ однихъ невинныхъ.

Послѣ суда Гонтѣ повезли въ село Сербы, близъ Могилева на Днѣстрѣ. Во всю дорогу онъ, говорятъ, не переставалъ спрашивать: „Гдѣ Желѣзнякъ? Почему со мною нѣтъ Желѣзняка?“

Въ Сербахъ совершена была надъ нимъ казнь, такая изысканно-безчеловѣчная, что американскіе дикари не могли бы похвалиться, видя эту казнь, большей изобрѣтательностью, чѣмъ та, какою отличилось одно изъ славянскихъ государствъ во второй половинѣ прошлаго вѣка. Подобно американскимъ дикарямъ, скальпирующимъ черепа своихъ плѣнниковъ, поляки содрали кожу съ головы Гонты, когда онъ былъ еще живъ, и посолзав эту голову. Кромѣ того, съ живого сдирали кожу въ продолженіе двухъ или трехъ дней *). Другіе прибавляютъ, что его вагого посадили на раскаленные полосы желѣза, и потомъ палачи содрали съ него двѣнадцать полосъ или ремней кожи. Во время этихъ мукъ онъ продолжалъ спрашивать: „Отчего же нѣтъ здѣсь Желѣзняка? Онъ обѣщалъ мнѣ, что я буду воеводой кievскимъ и господиномъ Уманщины“ **). Передъ казнью Браницкій велѣлъ отрубить ему правую руку и вырѣзать языкъ, „чтобъ Гонта не сказалъ чего-либо на Браницкаго“. Тучапскій говоритъ, что, содравъ съ Гонты кожу, отрубили ему руки и ноги, а потомъ вырвали сердце. Послѣ уже, все еще дышащаго, четвертовали, по знаку, данному Бра-

*) Липоманъ говоритъ, что „kat żywcem darl z niego pasy.“

**) Говорятъ еще, что когда у Гонты сдирали со спины кожу, онъ говорилъ: „Отъ казали, буде боліти, а воно ні трішки не болять—такъ наче блохи кусають!“

нищимъ, когда Гонта страшно повелъ глазами и глянулъ на своего мучителя. Тучапскій прибавляетъ: „Эту праведную казнь переносилъ онъ очень терпѣливо, ибо къ смерти онъ весьма прилично приготовился“.

Народная память сохранила въ назиданіе будущимъ поколѣніямъ картину этой жестокой казни, и пѣсня до сихъ поръ поетъ о Гонтѣ.

Вони-жъ его насампередъ барзо привѣтали,
Черезъ сімъ дней зъ его кожу по поясъ здірали,
И голову облупили, солью насолили,
Потомъ ему какъ честному назадъ положили.
Пань рементаръ похожае: „дивітеся, люде!
Хто ся тілько взбунтоваль, те всімъ тее буде“.

При этой казни присутствовалъ, въ числѣ прочихъ, поручикъ кавалеріи народной, впоследствии бригадиръ Голѣвскій, и какъ самовидецъ передалъ потомъ подробности казни Вероникѣ Крепсѣ.

Та же казнь исполнена была надъ Мартыномъ Бѣлугою и Шиломъ. Попатенко посаженъ на колъ или, по запорожскому выраженію, „на острую палю“. Больше семисотъ человекъ вѣшали въ разныхъ мѣстахъ, начиная отъ Умани до самого Львова въ нынѣшней австрійской Галиціи. Гайдамаковъ этихъ развозили по разнымъ городамъ и мѣстечкамъ польской Украины и предавали смерти въ виду народа, чтобъ онъ видѣлъ и понималъ, что всякаго бунтовщика ждетъ жестокая казнь, что всѣмъ гайдамакамъ и непокорнымъ „тоже будетъ“. Такимъ образомъ, казни гайдамаковъ видѣлъ народъ въ Брацлавѣ, въ Винницѣ, въ Каменцѣ-Подольскомъ, Кременцѣ, Житомирѣ, Могилевѣ и другихъ городахъ: гдѣ казнили 5 человекъ, гдѣ 7, гдѣ 8. Въ Львовѣ повѣшено было 200 гайдамаковъ. Другимъ рубили головы. По народному преданію, въ одномъ Монастырищѣ казнили девятьсотъ гайдамаковъ. Казнь усѣченія головы производилась просто: выкапывали глубокую яму, клали колоду вмѣсто эшафота, и на этой колодѣ палачи рубили головы, а потомъ и головы, и туловища сбрасывали въ яму *). Народное преданіе говоритъ, что въ Монастырищѣ, когда надъ этими ямами, наполненными обезглавленными гайдамаками, навалили земли, то кровь изъ ямъ пробивалась сквозь землю и фонтаномъ била въ вышину человѣческаго роста. Въ Монастырищѣ же разстрѣляли трехъ коноводовъ гайдамачины, которые подъ видомъ странниковъ жили, за нѣсколько лѣтъ до уманской рѣзни, въ тясминскихъ монастыряхъ и готовили для предстоящаго восстанія гайдамачія пики, шапки, кафтаны—именно Лусконогъ, Гнида и Шелестъ **). Головы предводителей восстанія втыкались на колья и выставлялись по городамъ и перекресткамъ для народнаго зрѣлища.

Были и такіе счастливыя между гайдамаками, собственно не въ числѣ гайдамаковъ по профессіи, а между взбунтовавшимися крестьянами, ко-

*) „...nad wykopaną głęboką jamą, na jej brzegu do kłody każdemu z przysłanych kát toporem głowę usinal i w jamę wraz z ciałem wrzucał“.

**) Зап. о южн. Руси.

торыхъ жизнь была пощажена, но зато имъ рубили по одной ногѣ *), правую руку съ лѣвой ногой или лѣвую руку съ правой ногой, и изувѣченныхъ, такимъ образомъ, „вылѣчивали“ и возвращали на родину. При этомъ мы не можемъ не припомнить, что участвовавшихъ въ пугачевщинѣ наказывали менѣ жестоко. Мы не говоримъ о коноводахъ пугачевской смуты, которыхъ и вѣшали, и четвертовали, и разстрѣливали; но обыкновенныхъ, рядовыхъ пугачевцевъ, собственно бунтовавшихъ крестьянъ, наказывали менѣ жестоко и менѣ увѣчили: ихъ сѣкли кнутомъ подъ висѣлицей или били плетью „вещадно“, урѣзывали по одному уху или брили полъ-головы, а потомъ на канатахъ возвращали на родину, къ помѣщикамъ. Въ Польшѣ же гайдамака или бунтовавшаго крестьянина дѣлали калѣкой и окончательно неспособнымъ къ работѣ. Иныхъ мучили тѣмъ способомъ, коимъ замученъ былъ мліевскій ктиторъ передъ уманской рѣзней: обмотавъ обѣ руки паклю, напитанною дегтемъ, закидали и водили по селамъ и мѣстечкамъ. Двадцать пять лѣтъ назадъ, г. Скальковский, въ своей монографіи о гайдамакахъ, говорилъ, что „многіе старики, жители западной Россіи, помнятъ еще, что въ молодости видѣли такихъ несчастныхъ, изувѣченныхъ въ глубокой уже старости, которые, сидя у церквей или на большихъ дорогахъ, просили милостыню. Народъ не отказывалъ имъ въ подаваніи, и на вопросъ любопытныхъ: что это за люди?—отвѣчалъ: „не пытайте, то люди бубалые“, т. е. гайдамаки.

Между тѣмъ, въ эти самые дни, когда южно-русскій крестьянинъ проявилъ столько безчеловѣчной жестокости къ своимъ панамъ и ко всѣмъ исторически, такъ сказать, враждебнымъ ему элементамъ, и когда паны, въ свою очередь, безчеловѣчно мстили кровью за кровь всѣмъ тѣмъ, которые увлечены были потокомъ общаго волненія, этотъ же самый народъ, по свидѣтельству людей, близко жившихъ къ описываемой нами эпохѣ, проявилъ, въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ случаяхъ, много великодушія въ отношеніи къ панамъ, такъ звѣрски убиваемымъ другими его братьями.

Польскій писатель, для котораго уманская рѣзня была самымъ свѣжимъ преданіемъ и который лично зналъ людей, оставшихся въ живыхъ отъ того времени, въ такихъ теплыхъ, хотя наивныхъ выраженіяхъ говорить о „любо-скости—какъ онъ выражается—нѣкоторыхъ крестьянъ въ то ужасное время.“

„Отвратимъ отъ этихъ страшныхъ картинъ мысль нашу, пораженную столь ужасными истязаніями несчастныхъ жертвъ, падшихъ подъ убійственною рукою обезумѣвшихъ отъ ярости злодѣевъ, истязаніями, совершенными потомъ надъ ними самими, а равно казнями подозрѣваемыхъ въ злодѣяніяхъ, и порадуемъ измученное столь безчеловѣчными происшествіями и удрученное болью сердце наше, обративъ вниманіе на тѣхъ поселянъ (wieśniaków), которые увезли къ себѣ двоихъ сиротокъ Младановича, и вида дальнѣйшую ихъ заботливость объ этихъ сироткахъ, укрѣпимся въ той увѣренности, что въ простыхъ сердцахъ крестьянскихъ, въ пору столь

*) Какъ говорили поляки—„на krzyż“; т. е. крестъ на крестъ

страшнаго озлобленія массъ, имѣла прибѣжище истинная христіанская любовь къ ближнему. Любовь эта, несмотря на склонность человѣческой природы къ порчѣ, была бы въ сердцѣ каждаго человѣка, если бы добродѣтельные родители, сверхъ изящнаго воспитанія и высшихъ наукъ, вселили эту любовь, въ ея истинной простотѣ, въ сердце каждаго дитяти съ самой колыбели, въ каждомъ состояніи, безъ различія вѣры и общественнаго положенія. Мы уже видѣли этихъ крестьянъ, съ какою горячностью цѣловали они ноги Гонта и Желѣзняка, прося ихъ, чтобъ они освободили и отдали имъ дѣтей Младановича, и какъ ихъ старый осадчій пряталъ у себя. Теперь посмотримъ, какъ дальше онъ заботился о нихъ *) и т. д.

Этотъ наивный панегирикъ „хлопскому“ сердцу обнаруживаетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и ту наивность взгляда тогдашняго польскаго помѣщика на южно-русскаго крестьянина, наивность, которая и служила нравственною пропастью, отдѣлявшею поляка отъ южно-русскаго народа. Для поляка казалось удивительнымъ, что у крестьянина могло быть сердце и въ этомъ сердцѣ „имѣла убѣжище христіанская любовь“. Этой наивностью пониманій отличаются, впрочемъ, всѣ „благородныя“ сословія того жалкаго времени, не постигавшія, что именно эта самая наивность пониманій и была причиною какъ уманской рѣзни, такъ и пугачевщины.

Липоманъ рассказываетъ при этомъ, что, когда въ селѣ Оситномъ узнали чрезъ Хмѣлевича, что главный таборъ гайдамаковъ былъ взятъ Кречетниковымъ, и большая часть начальниковъ смуты попалась въ плѣнъ и когда прибѣжалъ одинъ изъ ушедшихъ отъ плѣна гайдамаковъ и подтвердилъ вѣсти, сообщенныя Хмѣлевичемъ, говоря, что причиною такого несчастія гайдамаковъ была измѣна,—осадчій рѣшился передать дѣтей Младановича въ болѣе надежныя руки. Онъ уже пересталъ съ ними прятаться въ лѣсу, въ оврагахъ и камышахъ, а осмѣлился держать ихъ у себя дома. Третьяго ребенка Младановича, которому было всего полгода и котораго онъ также выручилъ изъ рукъ убійцъ, препоручилъ кормилицѣ, а самъ поѣхалъ въ Умань удостовѣриться въ истинѣ дошедшихъ до его села извѣстій о трагической катастрофѣ, постигшей гайдамацкое ополченіе. Хотя извѣстія и подтвердились, однако, все еще было страшно рисковать, когда все населеніе находилось въ такомъ напряженномъ состояніи, и когда гайдамачина, разбитая подъ Уманью, продолжала гнѣздиться въ каждомъ селѣ и при первомъ удобномъ случаѣ могла подняться съ новою силою. Воротившись изъ Умани, осадчій совѣтовался съ Хмѣлевичемъ, гдѣ бы найти безопасное убѣжище для сиротъ, и Вероника Младановичъ сказала имъ, что у нея есть дядя на Подолѣ, около Каменца. Тогда рѣшились препроводить ихъ туда. Когда взбунтовалась Уманщина, и по приходѣ Желѣзняка подъ Умань, крестьяне села Оситнаго, по примѣру прочихъ крестьянъ, убили своего эконома, то разобрали между собой запасы помѣщичьяго сала, до котораго всѣ малороссіяне большіе охотники, и

*) Lżpom.

пшено, приготовленное къ отправкѣ для продажи. Осадчій былъ увѣренъ, что крестьяне, узнавшіе о происшествіяхъ подъ Уманью, возвратятъ награбленное сало и пшено, и потому обратился къ нимъ за помѣщичьимъ добромъ. Такимъ образомъ, осадчій могъ набрать три воза сала, и уложилъ его въ этихъ возахъ такъ, что въ серединѣ каждаго воза оставалась пустота, куда онъ спряталъ своихъ барчатъ, въ каждой телѣгѣ по одному. Кормилица младшаго Младановича, хотя имѣла своего ребенка и семью, не хотѣла бросить барченка и также была спрятана подъ сало. Осадчій накрылъ потомъ телѣги дубьями, далъ къ каждой телѣгѣ по провозатому, а Хмѣлевича нарядилъ чумакомъ и отправилъ ихъ въ путь. Но такъ какъ въ краѣ было не покойно, то телѣги ѣхали закрытыми до самаго Тульчина, и только тамъ распаковали ихъ и вынули дѣтей на свѣжій воздухъ.

Такимъ образомъ спасены были дѣти Младановича, изъ которыхъ двое—дочь Вероника и сынъ Павелъ—оставили записки объ уманской рѣзнѣ.

„Этотъ поступокъ добродѣтельнаго старца и крестьянъ села Оситнаго заслуживаетъ памяти въ исторіи человѣчества (говоритъ Липоманъ послѣ разсказа о спасеніи дѣтей Младановича). Но не въ этомъ одномъ мѣстѣ почтенные поселяне доказали великодушіе сердецъ своихъ, разными способами спасая жизнь несчастнымъ, и не въ виду того, что за это получать награду отъ богатыхъ, а, напротивъ, они спасали и тѣхъ, о которыхъ знали, что они не имѣютъ, чѣмъ отблагодарить ихъ. Это доказываетъ, что простой народъ требовалъ только простого признанія его нравственныхъ чувствъ и своей неприкосновенности (nietykalnosci). А когда затронута была въ немъ чувствительная струна, тогда вспыхнула та электрическая искра, которая и произвела огонь, превратила его потомъ въ пожаръ, съ каждымъ мгновеніемъ усилившійся и пожирившій все, къ чему только ни прикасался, — многія тысячи людей, безъ различія пола и возраста, а вмѣстѣ съ тѣмъ, и ихъ добро. Подобныя печальныя событія должны были быть какъ-бы пророческими предостереженіями для тогдашняго правительства. Но что могло сдѣлать правительство, лишенное всякой силы и само угрожаемое? Анархія ничему пособить не можетъ, а напротивъ все повергаетъ въ пропасть безначалія“.

Но мы сказали, что Кречетниковъ овладѣлъ гайдамацкимъ таборомъ подъ Уманью и, взявъ въ плѣнъ значительную часть гайдамацкаго ополченія вмѣстѣ съ его руководителями, сдѣлалъ только начало дѣла подавленія народнаго мятежа. Защитники смуты остались на свободѣ и передъ ними открывалось широкое поле для новыхъ подвиговъ. Обратимся же теперь къ похожденіямъ этихъ спасшихся гайдамаковъ и прослѣдимъ ихъ дѣятельность до того времени, когда и Польша, и Россія могли сказать, что гайдамачина кончилась.

Мы сказали, что въ день разгрома гайдамацкаго табора ушли изъ-подъ Умани: Желѣзнякъ, Неживый, Волошинъ, Саражинъ, Швачка и Журба. Между ушедшими, надо полагать, былъ и знаменитый Галайда, о

которомъ, хотя мы и не находимъ упоминаній у Скальковскаго, однако, въ народной поэзіи лицо это осталось, да и по народнымъ преданіямъ Ерема Галайда играетъ не послѣднюю роль въ исторіи гайдамачины. Галайда былъ наймитомъ у еврея и ушелъ къ гайдамакамъ, когда конфедераты похитили его невѣсту, дочь ктитора, о мученической смерти котораго мы говорили при началѣ разсказа объ уманской рѣзнѣ. Про Галайду сохранился отрывокъ пѣсни, записанный въ Харьковѣ гг. Бѣлозерскимъ и Метлинскимъ:

А въ нашего Галайди та сивні кони,
Та сивні коні, поводи шовкові...
А въ нашего Галайди та сивая шапка,
Та сивая шапка, за нимъ иде Гапка...

Достойно замѣчанія, что народная украинская поэзія почтила памятью преимущественно тѣхъ изъ гайдамаковъ, которые происходили или изъ запорожья, или изъ русской Украины. Такъ о Желѣзнякѣ, любимомъ народномъ героѣ, пѣсня говоритъ:

Максимъ козакъ Залѣзнякъ съ славного Запорожжа,
Прощітає на Вкраїні, якъ въ городі рожа.
Распустивъ військо козацьке въ славнімъ місті Жаботині,
Гей розлилася козацька слава по всій Україні! и т. д.

Такъ о Швачкѣ до сихъ поръ поется прекрасная пѣсня, напоминающая своими поэтическими оборотами лучшія думы о временахъ Хмельницкаго; но пѣсня эта относится уже къ той порѣ гайдамачины, когда на нее налегла „Москва“ свою желѣзною рукою:

Ой на козаченьківъ, ой на запорозцівъ та пригодонька стала.
Ой у середу та й у обідній часъ ихъ Москва забрала и т. д.

Всѣ эти пѣсни о гайдамакахъ *русскаго* происхожденія доказываютъ, по нашему мнѣнію, что подвиги ихъ были ближе къ сердцу южно-русскаго народа, чѣмъ подвиги тѣхъ изъ гайдамаковъ, которые, какъ Гонта, пристали къ Желѣзняку, и что русскіе гайдамаки смотрѣли на себя, какъ на истинныхъ преемниковъ славы Хмельницкаго, Наливайка, Остраницы и др. Мало того, гайдамаки, ушедшіе изъ-подъ Умани и продолжавшіе свое кровавое дѣло, не считали для себя пораженіемъ то, что Кречетниковъ взялъ таборъ подъ Уманью и цѣлыя ватаги польскихъ гайдамаковъ, въ томъ числѣ и русскихъ, отдалъ въ руки правительства. Гайдамаки, ушедшіе изъ-подъ Умани, такъ говорятъ о себѣ и о своихъ подвигахъ:

Умань до кілка спалили,
Жидівъ и ляхівъ до ноги побили.
А сами коні посідали
Та й за Богъ и Синюгу влутили.
Буде Сміла, Чигринъ насъ знати,
Коли були ми въ гостяхъ,
Буде Умань помятати,
Якъ бувъ въ нашихъ пазурахъ.

О поражении ихъ подѣ Уманью—нѣтъ даже и слова, точно дѣятельность ихъ ни на минуту не была прерываема приходомъ русскихъ войскъ.

У Желѣзняка подѣ командою было не болѣе двадцати человѣкъ, когда онъ ушелъ изъ-подѣ Умани, но вскорѣ шайка его возросла до двухъ сотъ человѣкъ, потомъ до трехъ сотъ, потомъ до пяти сотъ, далѣе у него очутилась артиллерія, и онъ могъ снова отвѣдиться на крупныя подвиги. Все это опять напоминаетъ намъ пугачевщину, когда самозванецъ всякій разъ, теряя все свое огромное войско, убѣгалъ отъ правительственныхъ войскъ, въ числѣ десяти или двадцати человѣкъ, а черезъ нѣсколько дней снова стоялъ въ головѣ огромнаго „толпища“ и снова становился непобѣдимымъ, и снова бралъ города и крѣпости. Желѣзнякъ отъ Умани бросился на югъ, къ турецкой границѣ. Безъ сомнѣнія, онъ не безъ расчета выбралъ эту мѣстность: недалеко отъ Балты сходились границы трехъ государствъ—Польши, Турціи и Россіи—и туда-то, къ равнинамъ, орошаемымъ вершинами Буга и Днѣстра, за рѣчки Синюху и Кодымъ, онъ направилъ свой путь, откуда обыкновенно гайдамаки выходили на Польшу и куда они обыкновенно уходили, когда ихъ разбивали польскіе отряды, или когда они, награвивъ польскаго и еврейскаго добра, сколько могли поднять ихъ вычужныя лошади, сами возвращались въ Россію или въ свои уединенныя притоны. Имя Желѣзняка сдѣлалось уже славнымъ. Опытные гайдамаки не сомнѣвались идти подѣ команду этого покорителя Умани, хотя слышали, что русскія команды уже начали тушить пожаръ, раздутый Желѣзнякомъ. Желѣзнякъ продолжалъ являть передъ всѣми, что онъ представитель Россіи. Онъ окружалъ себя такими знаками, которые ясно говорили, что онъ смотритъ на себя, какъ на власть имѣющаго. Есаулъ его, постоянно слѣдовавшій за нимъ, носилъ его серебряный перначъ или булаву, которая имѣла важное значеніе въ глазахъ не только казаковъ, но и всякаго гайдамака. Съ нимъ неразлучно находились и другіе атрибуты власти и официальности: хорунжіе возили впереди его отряда одно большое знамя и восемь малыхъ. Онъ продолжалъ смотрѣть на себя или, по крайней мѣрѣ, выдавалъ себя за представителя русской иди и поборника православія.

Съ 16-го по 17-е число Желѣзнякъ ушелъ изъ-подѣ Умани, а 18-го числа онъ уже имѣлъ 300 отчаянныхъ удалцевъ, съ которыми полетѣлъ на польское мѣстечко Палѣво Озеро, въ Подольской губерніи. И здѣсь, какъ во всей его дѣятельности, имъ руководила одна и та же идея—добывать польскій и еврейскій элементъ, недобитый имъ въ Умани, въ Лисянкѣ и Черкасахъ. Взявъ это мѣстечко, онъ немедленно вырѣзалъ всѣхъ поляковъ и евреевъ, а чего не дорѣзалъ, то утопилъ въ рѣчкѣ. Нѣкоторые изъ жителей Палѣва Озера успѣли спастись бѣгствомъ въ Балту, куда прятались и другіе поляки, и евреи, и гдѣ ихъ рѣзалъ Шило со своимъ отрядомъ. Желѣзнякъ, считая этихъ несчастныхъ бѣглецовъ своими жертвами, послалъ въ Балту своего есаула и письменно требовалъ отъ балтскаго каймакана, чтобъ онъ немедленно выдалъ ему всѣхъ укрыв-

нихся въ Балтѣ, подъ турецкою защитою, польскихъ подданныхъ. Желѣзнякъ, слѣдовательно, повторилъ тотъ же самый пріемъ, какой за нѣсколько дней до этого употребилъ Шило, приходившій въ Балту изъ-подъ Умани. На требованіе Желѣзняка каймаканъ отвѣчалъ отказомъ. Тогда Желѣзнякъ рѣшился напасть на Балту вооруженною рукою. Но прежде того, онъ усилилъ свой трехсотенный отрядъ новою партіею гайдамаковъ, бродившихъ по степямъ и состоявшихъ большею частью изъ уманскихъ казаковъ и крестьянъ. Отрядъ этотъ состоялъ изъ двухсотъ человекъ и имѣлъ четыре пушки. Это доказываетъ, что Кречетниковъ подъ Уманью захватилъ весьма незначительную часть гайдамацкаго ополченія, такъ что и уманскіе казаки не всѣ были взяты въ плѣнъ. Съ пятисотенной ватагой, съ пушками и знаменами, Желѣзнякъ пошелъ прямо на Балту. Атака была весьма удачна. Турецкій отрядъ, посланный каймаканомъ противъ гайдамаковъ, былъ разбитъ, Балта взята приступомъ и вторично опустошена: поляны и евреи, не только польскіе подданные, спасшіеся изъ Палѣева Озера и изъ другихъ областей польской Украины, но подданные крымскаго хана—были перебиты, имущество пограблено. Турецкій гарнизонъ, разбитый при самой атакѣ Балты, былъ выгнанъ изъ города.

Балтскимъ каймаканомъ или гетманомъ Балты былъ Якубъ-ага, подданный крымскаго хана. Онъ видѣлъ, что имѣвшихся подъ его командою отрядовъ было слишкомъ недостаточно, чтобъ положить преграду натиску гайдамаковъ, тѣмъ болѣе, что онъ не могъ ожидать скорого подкрѣпленія отъ своего правительства, такъ какъ неизвѣстно было, когда придетъ къ нему ногайская орда, кочевавшая въ то время въ степи. Чтобы выиграть время, онъ рѣшился начать переговоры съ Желѣзнякомъ, и переговоры эти каймаканъ нашелъ всего болѣе удобными вести чрезъ представителя Запорожя. Этимъ представителемъ былъ запорожскій полковой старшина Семенъ Галицкій, котораго Сѣчь выслала на турецкую границу для развѣдываній о томъ, что дѣлалось тогда въ польской Украинѣ и о чемъ приходили въ Сѣчь такіе страшныя вѣсти, что нельзя было не принять какихъ-либо мѣръ, чтобъ не остаться въ отвѣтѣ передъ русскимъ правительствомъ. Галицкій былъ тайнымъ агентомъ запорожскаго коша и присланъ къ польско-турецкой границѣ какъ бы по торговымъ дѣламъ, а, между тѣмъ, долженъ былъ наблюдать, что вокругъ него дѣлалось и, по примѣру правительственныхъ агентовъ, доносить своему начальству о результатахъ своихъ „политическихъ наблюденій“. Такимъ образомъ, Якубъ-ага обратился къ посредничеству Галицкаго и далъ ему въ помощь двухъ своихъ сейменовъ. Чтобы не сдѣлать политической безтактности и не остаться въ отвѣтѣ передъ своимъ правительствомъ, Якубъ-ага долженъ былъ узнать навѣрное, кто такой этотъ Желѣзнякъ, какія его намѣренія, отъ кого онъ посланъ и по какому праву онъ, называющій себя представителемъ Россіи, распоряжается жизнью и имуществомъ не только польскихъ подданныхъ, но и подданныхъ крымскаго хана. Якубъ-ага потому находился въ нерѣшительномъ положеніи, что сношенія съ нимъ Желѣзняка обставлены были

нѣкоторыми признаками официальности. Гайдамацкій посолъ, прибывшій къ каймакану, увѣрялъ, что прибывшая съ Желѣзнякомъ шайка составляетъ часть запорожскаго войска и что войско это прислано по распоряженію коша для истребленія на Украинѣ поляковъ и евреевъ. Какъ доказательство своего посланничества, гайдамацкій посолъ показывалъ грамоту или „листъ“,—безъ сомнѣнія, ту самую золотую грамоту или копію съ нея, которая уже успѣла надѣлать столько шума и бѣдъ во всей польской Украинѣ. Якубъ-ага подозрительно относился къ этому посланничеству и не зналъ, что ему дѣлать. Неловкость его положенія увеличивалась еще и тѣмъ, что толмачъ каймакана, родомъ грекъ, знавшій по-русски и неоднократно бывавшій по дѣламъ службы въ Новосербіи, собственными глазами видѣлъ, что на большомъ листѣ, предъявленномъ каймакану гайдамацкимъ посланцемъ, огромными буквами было написано: „указъ ея императорскаго величества самодержицы всероссійской и проч. и проч. Объявляется во всенародное извѣстіе“... Въ концѣ указа находилась слѣдующая подпись: „Атаманъ кошевой Петръ Калнишевскій, з'Петербургга“. Въ этихъ-то сомнѣніяхъ Якубъ-ага обратился къ Галицкому и просилъ его принять на себя роль посредника.

Галицкій согласился отправиться къ гайдамакамъ, имѣя побудительныя къ тому причины, во-первыхъ, въ томъ, что этимъ онъ исполнялъ свою прямую обязанность, возложенную на него кошемъ, во-вторыхъ, въ томъ, что дѣло шло „о чести и славѣ войска запорожскаго“, а, въ-третьихъ, къ этому примѣшались собственные интересы Галицкаго, потому что, во время набѣда на Балту, гайдамаки ограбили домъ, въ которомъ онъ жилъ, захватили его пожитки и угнали лошадей.

Весьма любопытное посѣщеніе Галицкимъ гайдамацкаго стана выписано г. Скальковскимъ изъ архивовъ запорожской сѣчи, и мы приводимъ это показаніе, какъ характеристику того времени и дѣйствующихъ лицъ:

„Балтскій каймаканъ Якубъ-ага, задержавъ сумнительство, что тѣ гайдамаки точно себя запорожцами называютъ, его, Галицкаго, спрашивалъ: *не дано ли имъ позволенія отъ коша такія шалости чинить?* А какъ онъ, Галицкій, въ самой точности его увѣрилъ, что никогда никому отъ войска такого дозволенія не давалось, то онъ, ага, къ лучшему еще того осведомленію, послалъ его, Галицкаго, придавъ ему двухъ своихъ сейменовъ конныхъ, къ онимъ гайдамакамъ. Когда онъ къ нимъ пришелъ, то увидѣлъ онъ ихъ всѣхъ вообще въ одной компаніи надъ разставленными напитками сидящихъ, гдѣ и его, Галицкаго, посадивъ, довольно подчивали и просили его о прощеніи, что съ нимъ нѣкоторые шалуны покушались въ обиду его товарища (запорожца Алексѣя Шульгу) взять и, при товарищѣ его, экипажъ разграбить. При томъ обрадовали его было тѣмъ, что все безъ потерянія его имущество они отыщутъ, а ежели не отыщутъ, то вдвое награждать. Между тѣмъ, любопытствуя съ ними въ разговорахъ, ни единого съ нихъ, гайдамакъ, не призналъ запорожскимъ казакомъ, потому что они по войсковымъ запорожскимъ обычаямъ лошади

осѣдлать, на лошадь всѣдять, ратища въ рукахъ держать и лошади навьючить не умѣютъ. По большей части видѣлъ по нимъ, что они самые простые мужики безопасные, ибо когда они турокъ изъ Балты выгнали и до тысячи ногойцевъ встрѣтили, то, заряжая пушки рубленными желѣзомъ, порохъ изъ висящихъ у нихъ роговъ за однимъ разомъ издержали, и если бы по счастью трехъ татаръ не убили и другихъ чрезъ то не разогнали, то долѣе съ своими пушками удержаться бъ не могли“.

Галицкій пробылъ у гайдамаковъ только нѣсколько часовъ и, воротившись къ Якубъ-агѣ, передалъ ему сдѣланныя имъ „политичныя наблюденія“. Главная цѣль Галицкаго состояла, конечно, въ томъ, чтобы выродить подозрѣваемое въ этомъ дѣлѣ участіе запорожскаго войска и тѣмъ защитить его честь.

„На другой день (говорить Галицкій въ своемъ показаніи) присланы были къ Якубъ-агѣ отъ гайдамацкой шайки два человека, изъ которыхъ одинъ называлъ себя есауломъ, а другой сотникомъ, съ какими-то письмами. Въ тотъ же часъ подоспѣла къ Балтѣ орда и пришелъ отъ оной къ Якубъ-агѣ мурзакъ. Къ чему и его, Галицкаго, призвалъ. Гдѣ онъ, посидя, видѣлъ (ибо турецкаго языка не понималъ) между Якубъ-агомъ и мурзакомъ многіе разговоры, а потомъ Якубъ-ага сталъ сказывать присланнымъ отъ гайдамаковъ есаулу и сотнику ихъ: „что вы это сдѣлали и съ какимъ вы намереніемъ городъ Балту раззорили? Видѣть можете сами, что орда подошла, и она напрасно отойти не можетъ. Отъ вы запропастили своимъ своевольствомъ Украйну“. Получивъ отвѣтъ аги, посланцы уѣхали, но вскорѣ отъ одной гайдамацкой шайки прислано къ Якубъ-агѣ письмо: „дабы онъ съ ними вступилъ въ перемиріе и росписался, а они его, аги, и его команды убытки съ избыткомъ будутъ награждать“. И какъ то уже между ними поставлено, онъ, Галицкій, не знаетъ, а только видѣлъ, что турки вдоволь отъ гайдамаковъ арбами имущества своего (въ Балтѣ у нихъ заграбленнаго) польскаго и жидовскаго не мало на свою сторону везли. При чемъ и Галицкій къ гайдамацкой шайкѣ вторично поѣхалъ и требовалъ у нея возвращенія забранныхъ у него имущества и лошадей, а себя—свободнаго отпуску. Но они, и его уже отъ себя не отпуская, вели при нихъ быть до тѣхъ поръ, пока они въ томъ мѣстѣ себя не успокоятъ и примутъ въ другое мѣсто походъ, гдѣ общались его съ вознагражденіемъ отпустить. Тогожъ дня есаулъ гайдамацкой шайки, выѣхавъ въ замокъ (въ Балту), возвратился и отдалъ всѣмъ приказъ, чтобы всѣ, не медля, на мелкія шайки раздѣлясь, къ походу готовились, а послѣ не медля и самъ есаулъ съ своими сотниками, сѣвъ на лошадей, а съ ними и Галицкій съ товарищемъ, подъ политичнымъ наблюденіемъ гайдамаковъ, при пушкахъ уѣхали. Когда выѣхали въ степь, то подъ часъ ночлегу, есаулъ съ старшинами дали всѣмъ лозунгъ, чтобы на запросъ кто они такіе?—отвѣчать: „казакъ съ чаты“ (съ поста) *), А кто этого при-

*) „Чаты“ или сторожевые пикеты назывались: Тимошева, Бобринцева, Чавлынцева, Запорожцева, Сибѣянцева, Поповичева, Вербивцева и др.

казу не исполнялъ, тѣхъ били или даже убивали. Когда они начали подъѣзжать къ рѣчкѣ Саврани (Подольской губерніи) и входить въ село Песчаное, то онъ, Галицкій, видя, что они ему вознагражденія не чинятъ, за дозволеніемъ гайдамацкаго есаула, съ товарищемъ своимъ уѣхали въ свой путь къ Запорожью“.

Такимъ образомъ, Галицкій благополучно воротился въ Запорожье, а куда прошла гайдамацкая партія, какія были ея дальнѣйшіе подвиги, — неизвѣстно. Извѣстно только, что шайка эта считала своимъ командиромъ Желѣзняка, есаулъ котораго и управлялъ ею во время отсутствія своего начальника; самого же Желѣзняка при шайкѣ не было.

Изъ показанія Галицкаго видно дальше, что, когда онъ воротился на Запорожье и явился къ полковнику бугогардовской паланки, то почти вслѣдъ за нимъ прискакалъ изъ Голты, турецкаго мѣстечка, бешлей тамошняго гарнизона, нѣчто въ родѣ полицейскаго солдата, и привезъ письмо къ полковнику. Бешлей спрашивалъ:

— Кто такіе запорожцы, которые Голту раззорили? Если они не запорожцы, то ногайская орда, которая уже выступила, всѣхъ ихъ вырубить.

Полковникъ и Галицкій отвѣчали посланцу:

— Тѣ гайдамаки не запорожцы, а самосбройцы (бездѣльники), не извѣстно какіе люди. Дѣлайте съ ними, что хотите.

Оказалось, что это былъ Желѣзнякъ.

Но посмотримъ, что дѣлали въ эти самые дни русскіе отряды, бывшіе подъ Умань съ Кречетниковымъ и захватившіе тамошній гайдамацкій таборъ.

XI.

По свѣдѣніямъ, извлеченнымъ нами изъ дневника Калмыкова, видно, что въ то время, когда Кречетниковъ оставался еще подъ Уманью, нѣсколько сотенъ донскихъ казаковъ отправлено было имъ въ разныя мѣста для поисковъ за отдѣльными гайдамацкими шайками. Изъ народныхъ преданій можно заключить также, что донцы преслѣдовали бѣглецовъ по разнымъ направленіямъ, иногда мелкими партіями, иногда цѣлыми отрядами. Но и въ бѣгствѣ гайдамаки не переставали преслѣдовать идею, во имя которой погибли уже тысячи жертвъ ихъ фанатизма. Одна партія, человекъ въ десять, уходя въ Запорожье отъ русскихъ отрядовъ, кинулась къ Днѣпру и на лодкѣ поплыла внизъ по теченію это рѣки. Приставъ около Черкасъ, они вошли въ городъ, явились на базаръ и тамъ, не боясь никого, дерзко захватили писаря, который перемѣнилъ православіе на католичество, и вывели его за городъ для казни. Несчастному связали назадъ руки, завязали глаза бѣлымъ платкомъ и велѣли стать на колѣни. Тогда одинъ изъ гайдамаковъ, зайдя сзади, выстрѣлилъ изъ ружья и убилъ „перехриста“. Совершивъ этотъ подвигъ, гайдамаки поплыли далѣе, спасаясь отъ русскихъ.

Сохранился также разсказъ о бѣгствѣ Лопаты, бывшаго слугою у Же-

лѣзняка, во время его походовъ на Украину. Когда Желѣзнякъ, догадавшись о намѣреніи Кречетникова захватить гайдамацкое ополченіе, рѣшился бѣжать изъ подъ Умани, онъ призывалъ Лопату, далъ ему денегъ и коня и велѣлъ уходить куда глаза глядятъ. Лопата съ другимъ гайдамакомъ скакалъ цѣлыя сутки, преслѣдуемый двумя донцами, пока ночь не помѣшала донцамъ ловить бѣглецовъ. Тогда они пробрались на родину, въ Смилянщину, и уже оттуда Лопата переплылъ на лѣвый берегъ Днѣпра, выхлопоталъ у общества удостовѣреніе въ томъ, что время уманской рѣзни онъ находился на русской сторонѣ Днѣпра, гдѣ „вѣялъ жито“, и только съ этимъ свидѣтельствомъ онъ могъ не бояться, что его возьмутъ, какъ гайдамака, и отрубятъ голову.

Партія донскихъ казаковъ, въ которой находился Калмыковъ, преслѣдуя отдѣльныя ватаги бродягъ, дошла до самаго Днѣпра. Во всей странѣ казаки видѣли „крайнее разореніе и въ народѣ къ мятежу склонность“. Хлѣбъ стоялъ въ поляхъ большею частію не убранный, во многихъ мѣстахъ „потолоченный (вытоптанный) проходомъ великаго множества народу“. При входѣ въ села въ глаза бросалась какая-то пустота, „безлюдіе“. тогда какъ въ другихъ мѣстахъ села наполнены были разнымъ сбродомъ, на улицахъ „великое смятеніе“, по базарамъ „нагlostные крики“, въ шинкахъ „пьянственное веселіе и непотребное иныхъ пьяницъ между себя руганіе, свара, драка и смертное убійство“. Казаки встрѣчали уже кое-гдѣ польскіе отряды, которые, повидимому, осмѣливались показываться среди волнующагося населенія, ободряемые присутствіемъ русскихъ войскъ, и жестоко мстили народу за свой недавній страхъ, за свой срамъ и за погибшія жертвы. По крайней мѣрѣ, Калмыковъ говоритъ, что онъ видѣлъ, какъ въ одно село „польскіе гвардейцы за ноги привязаннаго арканомъ къ сѣдлу бунтовщика, по землѣ волоча, нагlostной смерти въ томъ селѣ прелали“. Зато въ другомъ мѣстѣ донцы наткнулись на сцену, когда „малороссіянки съ малыми ребятами дѣвку изъ жидовскаго племени, найдя въ ливадѣ на укрывательствѣ, собаками травили, за каковую провинность (прибавляетъ Калмыковъ) отъ насъ тѣ малороссіянки въ село проведены и нагайками высѣчены“. Въ третьемъ мѣстѣ, при проѣздѣ черезъ лѣсъ, по донцамъ „изъ лѣсу того невидимо кѣмъ стрѣляно и одного станичника, прозваніемъ Дротика, въ плечо ранено“. Въ четвертомъ мѣстѣ донцы проѣзжали мимо польскихъ „панскихъ куреней, изъ которыхъ одинъ до рундука огнемъ сожженъ, а въ другомъ оковницы выломаны“. Захваченныхъ нѣсколько чело-
вѣкъ „невѣдомыхъ людей, въ конѣ примѣчены были бунтовщики и смертоубійцы“, донцы сдавали польскимъ старшинамъ.

Около самаго Днѣпра донцы, какъ выражается Калмыковъ, имѣли „знатный случай и баталію“. Дѣло въ томъ, что, подѣзжая къ Днѣпру, они поймали какого-то бродягу, который на вопросы донцовъ — кто онъ такой и куда идетъ — отвѣчалъ, что онъ „съ того боку Днѣпра наймитъ и приходилъ въ монастыри, по усердію своему, для богомолья“. Но когда казаки, при обыскѣ бродяги, показавшагося имъ подозрительнымъ, нашли зашитыми

въ рубахѣ золотыя монеты, а въ нищенской сумкѣ пару заряженныхъ pistolетовъ и дорогіе часы „съ боемъ и алмазами“, то бродяга подвергнутъ былъ „немалому испытанію“. Въ чемъ состояло это „немалое“ испытаніе“, Калмыковъ умалчиваетъ, но, безъ сомнѣнія, оно было такого рода, что развязало языкъ упорному гайдамаку (это былъ дѣйствительно гайдамакъ). и онъ, „мало не умеревъ отъ истязанія, въ худостяхъ своихъ повинился“. Перехваченный казаками гайдамакъ находился подъ командою „атамана Бабася, въ партіи коего подъ Умань ходилъ и онаго Желѣзняка милостями разыскавъ“. Шайка Бабася, какъ оказалось, бѣжала изъ-подъ Умани въ ночь разгрома гайдамацкаго табора и, прискакавъ къ Днѣпру, послала своихъ эмиссаровъ или, какъ ихъ называетъ Калмыковъ, „наборщиковъ“ на лѣвый берегъ, „въ малороссійскія слободы“, для набора новыхъ ополченцевъ, а сама засѣла въ сосѣднемъ лѣсу, въ ожиданіи прибытія подкрѣпленія. Въ шайкѣ находилось до пятидесяти человекъ хорошо вооруженныхъ гайдамаковъ, которые, послѣ раздѣла и подкрѣпившись новобранцами, а также „выправивъ потомленныхъ многими походами коней своихъ“, намѣрены были или идти на соединеніе съ Желѣзнякомъ, или, если не найдутъ его, то направить свои набѣги на такія мѣстности польской Украины, куда еще не заходили гайдамаки и гдѣ „польскіе паны въ великихъ богатствахъ живутъ“.

Казаки увидѣли, такимъ образомъ, необходимость тотчасъ же напасть на шайку Бабася, пока она не подкрѣпилась „сикурсомъ“ и не прошла еще въ возможность мѣряться силами съ донскимъ отрядомъ. Перехваченный казаками гайдамакъ, у котораго пала лошадь, шелъ въ сосѣднее село для покупки лошади и на дорогѣ попался въ руки донской командѣ. Плѣнный бродяга долженъ былъ служить проводникомъ, и потому посаженъ былъ на вьючную казацкую лошадь подъ наблюденіе двухъ казаковъ, которымъ велѣно было немедленно убить проводника, если онъ попытается дѣлать побѣгъ или что-либо другое ко вреду казацкаго отряда. Въ строжайшей тишинѣ двинулись казаки впередъ и дойдя до лѣсу, углубились въ чащу, по которой извивалась дорожка, шириною „до трехъ коней“, т. е. такая, по которой могли рядомъ пробѣжать три всадника. Но едва стали они выѣзжать на полянку, со всѣхъ сторонъ окруженную лѣсомъ, какъ раздался выстрѣлъ, и гайдамакъ, служившій проводникомъ, громко закричалъ: „москва иде! ратуйте!“ Оказалось, что то былъ выстрѣлъ гайдамацкаго часового, который находился при въѣздѣ на поляну и замѣтилъ приближеніе донцовъ. Едва эти послѣдніе успѣли выбраться на поляну и построить весь свой отрядъ четырехуголю „глубою“, вѣроятно въ каррэ, какъ снова раздался выстрѣлъ изъ лѣсу и донцы увидали перебѣгающихъ между деревьями гайдамаковъ. Донцы бросились по тому направленію, откуда раздался выстрѣлъ, и завязалась перестрѣлка. Сидя за деревьями, гайдамаки защищались отчаянно. Пули донцовъ не всегда достигали по назначенію. потому что разбойники, послѣ каждаго выстрѣла, прятались за деревья, а донцы, ничѣмъ не прикрытые, представляли изъ себя мишень

и въ эту мишень гайдамацкія пули попадали довольно часто. Тогда часть донцовъ спѣшилась и кинулась въ лѣсъ „добывать тѣхъ разбойниковъ руками“. Завязалась рукопашная схватка. „Оныя разбойники, имѣя драговища, не по обычаю донскаго воинства, длинною несравненно больше нашихъ, насть къ себѣ не подпуская, кололи и до нѣскольکو казиковъ поранили (говорить Калмыковъ). Когда-жъ въ шашки скомандовано было и оными казаки наши тѣ ихъ разбойничьи драговища перерубали и самихъ разбойниковъ окружа немилосердно кололи, оныя злодѣи, и того не убоясь, на ножахъ рѣзались и въ припоръ пистолетами стрѣляли“.

Схватка, однако, кончилась тѣмъ, что гайдамаки были разбиты и разсыпались по лѣсу. Казаки бросились за ними въ чашу, но, по густотѣ лѣса, не могли продолжать преслѣдованіе, тѣмъ болѣе, что на сосѣдней полянѣ паслись ихъ лошади, и разбойники, захвативъ ихъ, усакали. На мѣстѣ схватки осталось нѣскольکو убитыхъ гайдамаковъ (одиннадцать головъ) и пять донскихъ казаковъ. Нѣскольکو донцовъ было ранено. Въ карманахъ и „сброѣ“ гайдамацкой найдено было много зашитаго золота и серебра. У одного убитаго, на шеѣ, на золотой цѣпи висѣлъ портретъ польскаго короля, оправленный въ золото (безъ сомнѣнія, захваченный при грабежѣ какого-нибудь богатаго польскаго дома). Но ни одинъ гайдамакъ не дался въ руки живымъ, кромѣ того, который служилъ донцамъ проводникомъ и котораго они, во время схватки, когда онъ покусился соединиться съ товарищами, „волосянымъ арбаномъ къ сѣдлу привязали и ротъ заклепали“.

Похоронивъ на полянѣ убитыхъ товарищей, донцы въ тотъ же день, подъ вечеръ, выбрались изъ лѣсу и направились къ городу Крылову, чтобы сдать подлежащимъ властямъ своего плѣннаго и заявить о послѣдней битвѣ съ гайдамаками. Но когда провѣдали (отъ кого, Калмыковъ не говоритъ), что въ эту ночь изъ-за Днѣпра должна была перебираться на польскую сторону вновь набранная гайдамаками въ малороссійскихъ слободахъ партія для соединенія съ шайкою Бабаса, они рѣшились перехватить эту переправу. Дѣйствительно, въ эту же ночь они засѣли въ скрытомъ мѣстѣ у самаго берега Днѣпра, въ томъ именно мѣстѣ, гдѣ должны были переправляться гайдамаки, и ждали ихъ появленія. Когда начало уже свѣтать, казаки увидѣли, что отъ того берега Днѣпра, изъ камыша и прибрежнаго тальнику, отдѣлилось нѣскольکو „каюковъ“ и большихъ лодокъ, наполненныхъ людьми. Казаки выжидали приближенія ихъ къ самому берегу и едва лодки причалили, какъ казаки, выбѣжавъ изъ засады, бросились на нихъ и нѣскольکو человѣкъ успѣли захватить. Прочіе же бросились опять въ лодки и отплыли къ тому берегу. Казаки кричали имъ вслѣдъ:

— Стойте! Ежели вы добрые люди, мы васъ не тронемъ!

— Ступайте къ чортовой матери, москали проклятые,—кричали убѣгающіе гайдамаки,—насть вамъ не поймать.

— Воротитесь,— снова кричали казаки,—дабы напраснаго кровопролитія е учинилось. Мы по васъ стрѣлять будемъ.

Бѣглецы, „ругаясь неподобно“, продолжали отплывать дальше. Казаки дали по нимъ нѣсколько выстрѣловъ, но, за отдаленіемъ, вреда онымъ разбойникамъ учинить было невозможно.

Плѣнные изъ нихъ говорили, что они вовсе не гайдамаки, но что за ними пріѣзжалъ „польскаго господина писарь“ и нанялъ ихъ всѣхъ на „заработки“. Какъ бы то ни было, ихъ, какъ подозрительныхъ людей, казаки сдали по принадлежности и отправились въ дальнѣйшіе разѣзды.

Эта вербовка гайдамаковъ въ русской Украинѣ эмиссарами гайдамацкихъ шакъ доказываетъ, съ одной стороны, что гайдамачина пользовалась одинаковымъ сочувствіемъ народа въ обѣихъ Украиняхъ, съ другой—что мужское населеніе польской Украины, безъ сомнѣнія, все шло на кличъ Желѣзняка, если приходилось вербовать новыя партіи въ Гетманщинѣ. Гетманщина же и самый Кіевъ съ окрестностями, какъ мы видѣли выше, поставляли гайдамаковъ и въ шайку ватажка Найды.

Въ то время, когда казацкая разѣздная команда повернула отъ Крылова вдоль по польской границѣ, въ направленіи къ рѣчкѣ Синюхѣ, ей представился еще болѣе знатный случай, чѣмъ тотъ, о которомъ мы говорили выше. Казаки ѣхали теперь по той полосѣ земли, черезъ которую обыкновенно врывались и въ прежніе годы гайдамацкія шайки въ польскую Украину. Долго они ѣхали по степи, перерѣзывая широкія „сакмы“ или степныя дорожки, выбиваемыя конскими копытами. Нигдѣ не было ни жилья, не видѣлось слѣдовъ ни „косовищъ“, ни пахотныхъ полей,—все была гладкая степь, „подобіе имѣющая съ нашей манычской степью“,—прибавляетъ Калмыковъ. Казацкія лошади, хотя привыкшія къ донскимъ степнымъ переходамъ, уже начали истомляться, потому что нигдѣ не было ни рѣчекъ, ни озеръ, ни отдѣльных водопоевъ. Къ вечеру они уже замѣтили, что подѣзжаютъ къ такому мѣсту, по характеру котораго казаки могли догадаться, что здѣсь близко должна быть вода. И дѣйствительно, два казака подсказали вперед и скоро воротились съ извѣстіемъ, что они видѣли пасущихся тамъ „въ треногахъ“ спутанныхъ коней, а около самаго водопоя „на подобіе майдана сидящихъ и пьющихъ невѣдомыхъ людей, примѣчаются въ нихъ не татары и не чумаки, а запорожскіе хохлы“, и что людей этихъ „число безопасное“.

Предполагая, и весьма справедливо, что это гайдамаки, казацкій отрядъ тотчасъ же рѣшился употребить хитрость, чтобы, „не теряючи ни пыжа“, захватить ихъ живьемъ, по примѣру того, какъ они захватили уманскій таборъ. Остановившись на томъ мѣстѣ, гдѣ казаковъ застигла эта нечаянная встрѣча съ неизвестными людьми, начальникъ казачей команды (имя котораго намъ неизвѣстно, хотя Калмыковъ и называетъ его просто Захаромъ Ивановичемъ) отправилъ къ нимъ, какъ бы для переговоровъ, самого Калмыкова, бывшаго тогда молодымъ хорунжимъ, и съ нимъ другаго казака. Посланцы привязали на пику („дратовище“) бѣлую „ширинку“, въ видѣ парламентарскаго флага, и подѣхали къ тому мѣсту, гдѣ сидѣли невѣдомые люди. Когда присутствіе казаковъ было замѣчено, неизвѣстные

вскочили съ своихъ мѣстъ и бросились было къ лошадямъ, но, увидѣвъ вдали бѣлый платокъ, остановились и закричали:

— Что за люди?

— Казаки съ Дону,—отвѣтили тѣ.

— Для чего жъ вы въ степи безъ дороги ѣдете, куда и зачѣмъ?

— Ъдемъ мы въ Польшу по наказу.

— По какому наказу и за кого стоять должны?

— По наказу царскому и стоять должны за россійскихъ людей.

— Идите къ намъ,—сказали гайдамаки,—ежели вы люди добрые, мы васъ примемъ и вмѣстѣ пойдемъ.

Посланцы донскихъ казаковъ подъѣхали ближе. Гайдамаки пригласили ихъ „въ кругъ“.

— Такъ то правда, якобы Россія Польшу подъ свою руку забрать хочетъ?—спрашивали гайдамаки.

— То подлинно правда,—отвѣчалъ Калмыковъ, желая оныхъ вопрошателей мысли къ себѣ привернуть.

— А у насъ слышно было, что то враки, хотя жъ въ тому и говорили, яко бы сіе дѣло государыня въ секретѣ держать велѣла, чтобъ на нее отъ иноземныхъ королей наговору не было,—замѣтилъ одинъ изъ гайдамаковъ.

— А ваша команда по наказу-ль какому въ походѣ стоитъ?—спросилъ Калмыковъ.

— По наказу, и тотъ наказъ секретный,—отвѣчалъ гайдамакъ.

— Секретный былъ, а нынѣ не секретный,—вмѣшался другой гайдамакъ;—сказываютъ, что въ польскихъ земляхъ свыше тысячнаго числа наши поляковъ и жидовъ вырѣзали.

Казацкіе послы ясно видѣли, что это гайдамаки, и такъ какъ ихъ было немного или—какъ выражается Калмыковъ—„безопасное число“, то посланцы эти еще болѣе утвердились въ мысли, что гайдамаковъ этихъ можно будетъ захватить живыми, „не теряючи ни пыжа“. Но они все-таки видѣли впереди затрудненіе—какъ свести оба отряда, чтобъ не возбудить въ гайдамакахъ подозрѣніе. Но гайдамаки сами разрѣшили это недоразумѣніе.

— Въ вашей командѣ много ли коней?—спросили гайдамаки.

— Наша команда о стѣ конь,—отвѣчалъ Калмыковъ.

— А при комъ она состоитъ?

— При сотникѣ.

— По войсковому обычаю мнѣ подъ рукою сотника стоять было не безъ обиды,—сказалъ тотъ изъ гайдамаковъ, который, повидимому, управлялъ этой шайкой,—хотя бъ мы и пошли вмѣстѣ, только-бъ сотнику свою сотню вѣдать, а мнѣ свою, и въ наши войсковые порядки вамъ бы съ сотникомъ не мѣшаться.

— Правда, правда,—говорили прочіе гайдамаки,—у васъ свои порядки, у насъ свои.

— Мы вашихъ порядковъ ломать не будемъ,—отвѣчалъ на это Калмыковъ.

Такимъ образомъ, предварительные переговоры кончились благополучно. Оставалось только соединиться обоимъ отрядамъ.

— Наши кони безъ воды потомлены,—сказалъ Калмыковъ.—Можно ль нашей сотнѣ къ вашему водопою слѣдовать, дабы коней въ конецъ не заморить?

— Если вы люди добрые и съ нами въ одну мысль, то и водопою нашъ для васъ не заказанъ,—отвѣчали гайдамаки.

Однако, изъ осторожности гайдамаки оставили у себя Калмыкова заложникомъ, а прибывшаго съ нимъ казака послали за сотней, которая оставалась въ степи, ожидая конца переговоровъ. Возвратившійся къ сотнѣ казакъ объявилъ, что встрѣченная ими неизвѣстная команда послана „по секретному наказу“ въ Польшу, что, по всѣмъ видимостямъ, это гайдамаки, которыхъ онъ насчиталъ до сорока трехъ человекъ и которые соглашаются соединиться съ сотенною казацкою командою.

Казаки тотчасъ же двинулись къ водопою. Гайдамаки встрѣтили ихъ, сѣдя уже на коняхъ, съ пиками на перевѣсѣ и выстроившись по казацкому обычаю „лавою“. Когда начальникъ казацкой команды, вмѣстѣ съ другимъ хорунжимъ, выѣхалъ впередъ, начальникъ гайдамацкой шайки также выдѣлился изъ своей „лавы“ и они съѣхались на довольно близкое разстояние.

— Мы хотимъ быть съ вами заодно,—сказалъ казацкій сотникъ,—вамъ дороги въ польской землѣ не безвѣстны, а мы въ Польшѣ, какъ въ темномъ лѣсу бродимъ.

— Мы вамъ дорогу покажемъ,—отвѣчалъ гайдамацкій начальникъ.

— Ежели вы будете съ нами заодно, и васъ въ Россіи за то великимъ жалованьемъ награждать,—сказалъ сотникъ.

— За Россію мы стоять рады противу оныхъ польскихъ людей,—отвѣчалъ гайдамакъ.

— А вы гдѣ (куда) путь держите?

— До Брацлава.

— А на Умань вамъ итти не наказано?—спросилъ сотникъ.

— Въ Умани кормиться не чѣмъ.

— По какому приключенію въ Умани корму не стало?..

— Казаки поѣли.

— Какіе казаки?

„На сіе оный разбойникъ въ смѣхъ отвѣтствовалъ: — Наши казаки въ ономъ городѣ всѣхъ свиней посмалили и поросятъ поѣли, за тѣмъ и корму тамъ не стало. Нынѣ жъ, сказываютъ, Варшава насъ въ гости ждать должна“.

Изъ этихъ словъ ясно было видно, что настоящая партія гайдамаковъ еще ничего не знала объ участи, постигшей гайдамаковъ подъ Уманью, а до нея дошли вѣсти только о томъ, что Умань взята и разграблена. Оттого, безъ сомнѣнія, и эта гайдамацкая партія такъ неосторожно дозволила приблизиться къ себѣ разбѣдной казацкой командѣ. Нельзя не видѣть также изъ всего разсказа Калмыкова, что и эти гай-

дамаки шли въ полной увѣренности, что они дѣйствуютъ заодно съ Россією и что сама императрица сочувствуетъ гайдамацкимъ подвигамъ и тайно руководить движеніемъ. Оттого казацкій отрядъ они приняли за своихъ товарищей и соединились съ нимъ.

Увѣренные такимъ образомъ въ томъ, что донскіе казаки идутъ рѣзать поляковъ и евреевъ, гайдамаки свободно дозволили имъ подойти къ водопою и сами оставались тамъ же. Въ нихъ, по замѣчанію Калмыкова, не видно было никакой „торопливости“ (т. е. боязни, а не смѣлности), только соединиться въ одинъ отрядъ съ донцами они не хотѣли, и собственно потому, что гайдамацкій атаманъ не хотѣлъ быть подъ командою казакаго сотника, а желалъ быть самостоятельнымъ вождемъ своей шайки и распоряжаться ею по своему усмотрѣнію. Эту ночь казацкій и гайдамацкій отряды провели вмѣстѣ, только такъ, что гайдамаки расположились по одну сторону водополя, а донцы по другую, гайдамацкія и донскія лошади паслись отдѣльно и караулы около каждой партіи дозорились отдѣльно.

На утро и тотъ, и другой отрядъ снялись со стоянки и отправились далѣе. Впереди ѣхалъ гайдамацкій отрядъ, а за нимъ слѣдовали казаки. Оба отряда шли, такимъ образомъ, цѣлый день. Казаки сходились съ гайдамаками и разговаривали свободно „о походахъ и баталіяхъ“, хотя казакамъ и дано было наставленіе, какъ держать себя въ отношеніи къ гайдамакамъ и о чемъ преимущественно говорить съ ними. По всему видно, что казацкая развѣзная сотня повторила, въ данномъ случаѣ, съ гайдамаками ту же военную уловку, съ помощью которой Кречетниковъ уничтожилъ главные гайдамацкія силы подъ Уманью.

Въ предстоящую ночь донцы порѣшили перевязать гайдамаковъ спящими. На ночлегъ подъ небольшимъ лѣскомъ, обѣ партіи опять раздѣлились надвое, и расположились въ недалекомъ одна отъ другой разстояніи. И донцы и гайдамаки разложили костры и, поужинавъ, улеглись вокругъ тлѣвшихъ огней. Но казаки съ намѣреніемъ наложили въ свой костеръ слишкомъ мало дровъ, чтобъ онъ скорѣе потухъ, и гайдамаки смѣялись еще надъ донцами, говоря, что „москали не умѣютъ огня загнѣтить порядкомъ“. Дѣйствительно, костеръ, разложенный „москалями“, слабо освѣщалъ спящихъ и увеличивалъ темноту окрестностей. У казаковъ же все было готово для предстоящаго дѣла: при каждомъ нахожденіи арканъ, съ которымъ казакъ не разлучается въ походѣ; пистолеты и ружья ихъ были заряжены. По данному сотникомъ знаку, казаки поплыли по направленію къ гайдамацкому костру, и когда уже были недалеко отъ костра, стремительно бросились на спящихъ и стали ихъ вязать. На каждого гайдамака приходилось болѣе двухъ казаковъ, и потому сопротивленіе первыхъ оказалось бесполезнымъ. Схватка была, однако, отчаянная. Гайдамацкіе часовые, дремавшіе въ сторонѣ отъ костра, только тогда замѣтили свою оплошность, когда нѣкоторые изъ донцовъ уже успѣли налѣсть на спящихъ гайдамаковъ, которые „въ великомъ изумле-

ніи пробуждаясь, всего происходимаго съ ними въ разумъ взять не могли“.

Нѣкоторые донцы были поранены и искусаны гайдамаками. Донцы такъ увлеклись борьбой, что двухъ изъ сопротивлявшихся гайдамаковъ задушили до смерти. Успѣли ускакать только тѣ, которые стерегли гайдамацкихъ лошадей.

— За что вы насъ на подобіе воровъ связали?—спрашивали нѣкоторые гайдамаки.

— Запорожцы до послѣдней души вырѣжутъ Донъ за то, что вы насъ повязали,—говорили другіе.

— Наша всемилостивѣйшая государыня повелѣла намъ переловить всѣхъ разбойниковъ, что польскихъ людей мучили.

— Мы не разбойники,—говорили гайдамаки.

— Вы разбойники и царскихъ указовъ ослушники,—говорилъ предводитель гайдамацкой шайки.

Плѣнные гайдамаки были навязаны, въ видѣ вьюковъ, на коней, которыхъ казаки переловили, и отправлены съ казацкой командой до Умани.

„Увѣдавъ же отъ насъ (говоритъ Калмыковъ) оные разбойники о взятіи и разореніи российскими и донскими командами городища, что подъ Уманью находилось, а наипаче узнавъ о разбитіи оной гайдамацкой сволочи, также и о взятіи начальниковъ злу и ихъ подкомандныхъ, оные разбойники, оторопѣвъ духомъ, говорили: „Пропали наши головы! Пропало славное войско запорожское“.

Не смѣя подозрѣвать Калмыкова въ хвастовствѣ, отъ котораго, какъ мы видѣли въ исторіи пугачевщины, не были свободны храбрые донцы даже въ официальныхъ своихъ реляціяхъ, мы должны, однако, замѣтить, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ его дневника, между замѣчаніями о погодѣ, о болѣзни лошади, о дороговизнѣ или дешевизнѣ въ Польшѣ грушъ, овса, наливкохъ, какъ бы невольно пробивается наружу похвальба, будто одни донцы „оному польскому бунту конецъ положили“ и что безъ донцовъ, можетъ быть, конфедераты „арканъ на россиянъ накинули бъ и всеконечно-бъ отъ Россіи отбились“. Во всякомъ случаѣ, донской полкъ игралъ важную роль въ прекращеніи гайдамачины, а окончательное ея исчезновеніе послѣдовало только тогда, когда русское правительство обратило на событія въ польской Украинѣ серьезное вниманіе и, вмѣнивъ въ обязанность Запорожью искоренить гайдамачество, въ тоже время послало въ польскую Украину эскадроны гусаръ, составленные изъ сербовъ и другихъ славянскихъ колонистовъ въ Россіи, и эти гусары положили конецъ гайдамачинѣ, подобно тому, какъ гусары Михельсона нанесли рѣшительный и послѣдній ударъ пугачевщинѣ.

Конечное истребленіе гайдамачины составитъ содержаніе послѣднихъ главъ нашего очерка объ этомъ предметѣ.

XII.

Взятіе Умани гайдамаками и рѣзня въ этомъ городѣ происходили 9 и 10 іюня. Два мѣсяца русскія пограничныя власти спокойно смотрѣли на то, что дѣлалось въ польской Украинѣ, и только уже черезъ двѣ недѣли послѣ раззоренія Умани, кievскій генералъ-губернаторъ Воейковъ, 24 іюня, спрашивалъ запорожскія власти, какія отношенія имѣеть кошъ къ предводителямъ народнаго бунта въ Польшѣ, такъ какъ молва говорила, что это дѣло запорожскихъ казаковъ.

„Появившаяся въ уманской, чигиринской и смиланской губерніяхъ гайдамацкая шайка,—писалъ Воейковъ къ кошевому,—своими разбоями и грабительствомъ не только многія мѣстечки и села въ той околѣцѣ разорила, многихъ изъ шляхетства и изъ другихъ чиновъ, тако-жъ жидовъ, гдѣ только кого достать могла, безчеловѣчно мучила и умерщвляла, но и своими ложными разглашеніями простой, во тьмѣ невѣжества погруженный, народъ къ бунту противу властей, начальниковъ и помѣщиковъ воздвигнула“. Но почему Воейковъ относился со всѣмъ этимъ въ Запорожье, такъ это то, „что главный вождь помянутой гайдамацкой шайки называется полковникомъ войска запорожскаго низоваго и называется Максимъ Желѣзнякъ, при коемъ яко бы дѣйствительно до ста человекъ запорожскихъ казаковъ находится, имѣеть нѣсколько хоругвъ и перначей, разглашаетъ, что онъ по указу посланъ противу конфедератовъ, и такимъ образомъ, простой народъ прельщая, побуждаетъ къ бунтамъ и къ своей привлекаетъ шайкѣ, чѣмъ не малое поношеніе и безславіе всему войску запорожскому наносить“.

Что же дѣлалъ въ то время кошъ, когда на правой сторонѣ Днѣпра шла рѣзня и именемъ Запорожья и русской императрицы, подъ предводительствомъ нѣсколькихъ отчаянныхъ головъ, производилось фактическое отдѣленіе западной половины Украины отъ Польши, съ которою эта страна давно соединена была политически? Какъ оказывается, кошъ ничего не дѣлалъ, безъ сомнѣнія, полагая, что не его дѣло мѣшаться во внутреннія неурядицы другого государства, хотя эти неурядицы, какъ оказалось впоследствии, и исходили, главнымъ образомъ, изъ Запорожья.

Въ 1768 году Запорожская Сѣчь переживала одинъ изъ важнѣйшихъ моментовъ своей исторической жизни. Въ это время для нея рѣшался вопросъ жизни и смерти, т. е. вопросъ о будущности ея политическаго существованія. Въ Москвѣ собрались представители всѣхъ частей государства, всѣхъ сословій и отъ всѣхъ отдѣльныхъ политическихъ единицъ и народовъ, входящихъ въ составъ русской имперіи, для присутствованія въ коммисіи, высочайше утвержденной на предметъ составленія новаго уложенія Россіи. Съ дѣйствіями этой коммисіи для Запорожской Сѣчи соединялось ея политическое „быть или не быть“, потому что и запорожцы отправили въ эту коммисію своихъ депутатовъ. Между тѣмъ, по всѣмъ видамъ, хорошаго ничего нельзя было ожидать для Запорожья. Новымъ

силы, проявившія о своемъ существованіи на югѣ Россіи, повидимому, начинали заѣдать старое, отживавшее Запорожье. На этомъ югѣ Россіи Запорожье и Малороссіи не оставались уже единственными обладателями тѣхъ странъ, а тамъ какъ бы изъ земли выростала неслыханная дотогѣ „Новая Россія“. Съ разныхъ славянскихъ, нѣмецкихъ и турецко-молдавскихъ странъ тѣснились туда переселенцы и захватывали свободныя необозримыя пространства, по которымъ нѣкогда гуляли только запорожскіе казаки. Эти разноплеменные насельники мало того, что захватывали земли, которыя запорожцы считали своими, но захватывали и самую свободу запорожцевъ, ихъ вольности и все, чѣмъ дорожили „изъ вѣковъ“ запорожцы. Ко всему этому на запорожское войско сыпались обвиненія отъ этихъ пришлецовъ и отъ ихъ начальниковъ, какъ русскихъ, такъ нѣмецкихъ и сербскихъ. Запорожцы дѣйствительно видѣли, что это былъ „мѣшокъ“, въ который „россияне хотѣли убрать Запорожье“ и только „не знали, какъ завязать этотъ мѣшокъ“. Къ довершенію зла, въ самомъ войскѣ, подъ навѣсами „куреней“ и на войсковыхъ „радахъ“ (совѣты), пошли нелады. Мы уже говорили, что кошевые атаманы, пугаемые московскою и нѣмецкою строгостію, сами становились не въ мѣру строги къ вольному казачеству. Новые люди завелись и на Запорожьѣ: Калнишевскій, шесть лѣтъ державшій казаковъ на сильно натянутой уздѣ, въ тоже время заводилъ новые порядки и російскую субординацію, а стариковъ куренныхъ атамановъ возмущалъ противъ себя тѣмъ, что и ихъ держалъ грозно, по-московски, ограничилъ ихъ патріархальную, доходившую до жестокости власть. Эти батьки-атаманы не смѣли уже, какъ прежде, „убивать въ смерть“ своихъ казаковъ по своему усмотрѣнію, не смѣли сажать безъ суда добрыхъ молодцовъ на колъ („на острую палку“), не могли даже бить ихъ у позорнаго столба кіями: на все это нуженъ былъ формальный судъ и формальный приговоръ войска съ конfirmaціею начальства. Казаки наказывались уже за то, что прежде награждались именемъ „славныхъ рыцарей“ — и рыцари эти уже съ острасткой пускались на войну во славу Запорожья, т. е. въ гайдамачину. Между казаками, такимъ образомъ, накапливалось неудовольствіе, и въ 1768 г. разразилось бунтомъ, а потомъ, вслѣдъ за нимъ, другимъ бунтомъ, когда „нѣсколько буйныхъ головъ забушевало и подняло оружіе на кошевого и войсковую старшину“.

Среди такихъ-то неблагоприятныхъ условій застала Запорожье уманская рѣзня. Официально оно, повидимому, ничего не знало, что подготавлиалась общая гайдамачина, а если и доходили до него вѣсти, то оно смотрѣло на набѣги буйныхъ головъ въ Польшу, какъ на обыкновенное гайдамачество, повторявшееся каждый годъ. Объ угрозахъ Мельхиседека — что онъ и безъ запорожскаго войска расправится съ поляками, да и Запорожью отмстить, — оно, какъ видно, забыло. Объ „освященіи ножей“ Запорожье также, надо полагать, ничего не знало официально. А между тѣмъ, тамъ уже началась кровавая расправа именемъ Запорожья и Россіи, и въ нѣсколькихъ губерніяхъ уже лилась кровь. Но вотъ, въ маѣ, кошъ получаетъ

рапортъ полковника бугогардовской паланки, Моисея Головка, что „5 мая, ѣздивши по должности на низъ рѣчки Буга и вверхъ по Ингулу, узналъ онъ отъ нѣсколькихъ казаковъ, что изъ ингульскаго вѣдомства болѣе 30 казаковъ пѣшкомъ отправились въ Польшу, и что, когда такихъ людей спрашивали, куда они идутъ, отвѣчали: „Куды намъ Богъ дастъ, туды и идемъ“. Затѣмъ пришелъ въ кошъ другой рапортъ, отъ другого паланкинскаго полковника, именно отъ Федора Великаго, съ прогноинской паланки, что на другой сторонѣ соляныхъ озеръ Прогноевъ, около Кинбурна, „рыбалки, оставя своихъ хозяевъ, идутъ на турецкую сторону рѣки Буга, на Киселевку и Гордѣеву балки, гдѣ составляютъ не малыя чаты для гайдамачества: хозяева не хотятъ объ этомъ говорить, а, между тѣмъ, полковнику и старшинѣ эти люди угрожаютъ, такъ что безъ особой помощи коша жить тамъ уже не можно“.

Для Запорожья подобныя вѣсти были не новость. Уже нѣсколько лѣтъ, съ началомъ весны, оно командировало на цѣлыя лѣта казаковъ въ ту сторону, откуда обыкновенно выходили на Польшу гайдамаки, именно въ бугогардовскую паланку. Въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ самъ атаманъ отправлялся иногда съ войскомъ для истребленія гайдамацкихъ притоновъ, особенно по рѣкѣ Бугу. Такъ поступило Запорожье и въ настоящее время. Оно немедленно командировало отъ всѣхъ куреней по нѣскольку человекъ для составленія разѣздныхъ командъ и выслало эти команды на подкрѣпленіе бугогардовской и прогноинской паланокъ, съ наказомъ, учредивъ на всей польско-турецкой границѣ строгій кордонъ, бѣглецовъ и бродягъ останавливать и въ Сѣчь посылать, а куренямъ ни подъ какимъ видомъ въ Польшу и ханскую область своихъ казаковъ не отпускать. Кромѣ того, какъ мы упоминали выше, на эту границу посланъ былъ особый тайный агентъ для „политическихъ наблюдений“ за ходомъ пограничныхъ дѣлъ. Это былъ полковой старшина Галицкій, котораго показаніе о раззореніи гайдамаками Балты и о посѣщеніи имъ гайдамацкой стоянки мы привели въ своемъ мѣстѣ. Впрочемъ, результаты „политическихъ наблюдений“ Галицкаго надъ тѣмъ, что происходило въ пограничныхъ областяхъ и что сдѣлала тамъ гайдамачина, успѣли въ кошъ только тогда, когда гайдамачина почти уже не существовала, будучи задавлена въ Польшѣ русскими войсками.

Съ начала мая до начала іюля Запорожье положительно ничего не знало официально о томъ, что въ то время происходило въ Польшѣ, хотя частно не зная оно не могло, потому что знали объ этомъ запорожцы и уходили цѣлыми десятками въ Польшу поработать вмѣстѣ съ Желѣзнякомъ. Но только получивъ ордеръ отъ Воейкова о томъ, что въ польской Украинѣ бунтъ и что этимъ бунтомъ заправляетъ Желѣзнякъ, называющій себя полковникомъ запорожскаго войска и навосающій тѣмъ „не малое поношеніе и безславіе всему войску запорожскому“, что въ польскомъ мятежѣ принимаютъ участіе до ста человекъ запорожскихъ казаковъ,—кошъ взволновался и началъ собирать свѣдѣнія о польскихъ происшествіяхъ. Обвиненіе,

выраженное Воейковымъ въ ордерѣ кошу, было слишкомъ важно для Запорожья въ виду постоянныхъ подозрѣній русскаго правительства въ поворствѣ гайдамакамъ со стороны Запорожья, чтобъ не встревожиться за серьезныя послѣдствія этого обвиненія. Въ самомъ дѣлѣ, собранныя кошми свѣдѣнія подтверждали, что польскій мятежъ столько же былъ поднятъ именемъ Россіи, сколько и именемъ Запорожья.

2 іюля явились въ Сѣчь съ обозомъ уманскіе купцы Остапъ Поломанный и Остапъ Бочка и предъявили билетъ, выданный имъ изъ уманскаго лагеря Желѣзнякомъ. Разсматривая этотъ билетъ, запорожскій кошъ увидѣлъ, что документъ этотъ выданъ въ *лагерь войска запорожскаго*, въ Умани, изъ *канцеляріи* этого войска, и подписанъ *полковникомъ Желѣзнякомъ*. Исно было, что именемъ запорожскаго войска распоряжались въ Польшѣ такіе люди, которымъ войско не давало этого полномочія. Мало того, документъ, предъявленный уманскими купцами, былъ визированъ на границѣ, какъ подлинный, и комендантъ пограничнаго форпоста Орловскаго, маіоръ Вульфъ, при всей своей нѣмецкой исполнительности и аккуратности, ничего не заподозрилъ въ этомъ документѣ и пропустилъ черезъ границу предъявителей его. Остапъ Поломанный и Остапъ Бочка, при допросѣ ихъ въ войсковой канцеляріи, показали, что „9 іюня гайдамацкая шайка въ 1,000 человекъ конныхъ, при одномъ большомъ и нѣсколькихъ меньшихъ знаменахъ, подъ начальствомъ какого-то полковника Максима Желѣзняка, договоривъ четырехъ уманской губерніи сотниковъ, онаго города Умани Ивана Кузьменка и Гонтю, хашоватскаго Панка, тарговицкаго Власенка и при нихъ казаковъ конныхъ и вооруженныхъ пятьсотъ, 10 числа іюня напавъ на этотъ городъ, бывшихъ въ немъ шляхтичей до 100 и жидовъ до 300, въ томъ числѣ женщинъ и младенцевъ, умертвили (такое число убитыхъ въ Умани показано Поломаннымъ и Бочкою неправильно, такъ какъ они, вѣроятно, показали это число наобумъ, не выдавъ самой рѣзни и находясь по торговлѣ внѣ этого несчастнаго города). Все городское имущество, въ томъ числѣ знамена и пушки захватили, и расположились подъ однимъ городомъ въ полѣ лагеремъ. Тѣла умерщвленныхъ жидовъ и поляковъ были брошены и остаются безъ погребенія. Эта гайдамацкая шайка называетъ себя запорожскими казаками, но въ самомъ дѣлѣ они не запорожцы, но сущій сбродъ польскихъ мужиковъ, винокуровъ и обитающихъ въ Очаковѣ и его окрестностяхъ аргатовъ. Они разсказываютъ о себѣ, что имѣютъ какое-то позволеніе на истребленіе въ Польшѣ ляховъ и жидовъ. Этотъ Желѣзнякъ имѣетъ управленіе надъ городомъ Уманью и цѣлою этою губерніею, и между ихъ жителями производитъ судъ и расправу“, и т. д.

Такимъ образомъ, только 2-го іюля запорожское войско узнало нѣкоторыя подробности о событіяхъ, которыя такой тяжестью обрушились на польскую Украйну, начавшись въ апрѣлѣ и окончательно разразившись надъ Уманью 10 іюня. Оно не могло, слѣдовательно, предупредить ни смиланской рѣзни, ни черкаской, ни лисянской, ни уманской, ни даже

балтской, которая происходила уже послѣ взятія Кречетниковымъ уманскаго гайдамацкаго табора.

4 іюля явился въ Сѣчь другой свидѣтель уманской рѣзни, запорожскій казакъ Лавринъ Кантаржей, которому Желѣзнякъ тоже далъ свидѣтельство для проѣзда изъ Польши въ Россію и передъ которымъ хвастался, что-де состоящій „съ девизією въ Польшѣ русскій генераль Кречетниковъ его благодарилъ чрезъ письмо, что онъ Умань въ конецъ раззорилъ и всѣхъ въ ономъ Умани ляховъ и жидовъ вырѣзалъ“. Отъ Кантаржея запорожское войско узнало, какъ велики силы этого новаго „запорожскаго“ войска, состоявшаго подъ командою Желѣзняка, какъ этотъ Желѣзнякъ самовластно, подобно диктатору, управляетъ всею польскою Україною, выдаетъ всѣмъ билеты, принимаетъ и отпускаетъ приходящихъ къ нему съ почтеніемъ, „по достоинству жалуетъ“, раздаетъ письменные приказы — однимъ словомъ, царствуетъ, „ослушниковъ жестокимъ штрафомъ страшая“.

Наконецъ, 11 іюля запорожское войско записало новое показаніе отъ третьяго очевидца уманской рѣзни, отъ запорожскаго же казака Максима Высоцкаго, который, какъ и Кантаржей, по торговымъ дѣламъ находился въ Польшѣ всю весну и былъ въ Умани на третій день послѣ ея раззоренія гайдамаками. Высоцкій сообщилъ кошу, что онъ слышалъ тамъ отъ одного обманщика, называвшагося тоже запорожскимъ казакомъ, будто онъ и три другіе казака прибыли недавно изъ Сѣчи съ письмомъ „отъ пана кошевого къ полковнику Желѣзняку, чтобы поряdkовалъ хорошо“. Этотъ казакъ-гайдамакъ также увѣрялъ Высоцкаго, что атаманы куренные уходу изъ Запорожья казакамъ въ гайдамачество не препятствуютъ, а напротивъ, говорить: „Боже помогай, ступайте! А потомъ, можетъ быть, и сами пойдемъ, только теперь не можно, чтобъ граница безъ войска не оставалась и ногайцы напасть не могли“. Этотъ-же Высоцкій показалъ, что послѣ онъ самъ видѣлъ, какъ имѣющуюся по Украинѣ своевольствующую партію, состоящую въ немаломъ числѣ гайдамаковъ, между кою сказывался полковникомъ Максимъ Желѣзнякъ (кои-де по рѣчамъ, отъ нихъ слышаннымъ, вышли изъ монастыря мотронинскаго въ 30 человекъ и насобираны тамо, жили-жъ съ мужиковъ, раззоренія и умерщвленія чинили), прибывши подъ Умань находящагося въ Польшѣ русскаго войска, каргопольскаго карабинерскаго полка полковникъ Гурьевъ съ донскимъ полковникомъ, а какъ его зовутъ—не упомянуть, съ командою его атакowałъ и, подъ караулъ взявши, всѣхъ въ колодки позабавилъ“ *).

Со всѣхъ сторонъ, такимъ образомъ, приходили доказательства, что въ польской Украинѣ мятежъ всеобщій, но что зачинщики его—запорожскіе самозванцы, а если не самозванцы, то тѣмъ болѣе тяжкое обвиненіе должно было пасть на Запорожье. А Запорожье все-таки бездѣйствовало, потому что не считало себя въ правѣ усмирять мятежъ въ чужой

*) Наѣзды гайдамаковъ.
т. XXVII.

землѣ, особенно когда высшее правительство молчало, кромѣ того, что Воейковъ выразилъ свое неудовольствіе кошу, подозрѣвая, что Желѣзнякъ не безъ вѣдома коша увелъ въ Польшу своихъ сподвижниковъ-головорѣзовъ, да графъ Румянцевъ прислалъ ордеръ „объ озарничествахъ запорожскихъ гайдамаковъ, происходившихъ въ Польшѣ“.

Но вотъ вдругъ въ Запорожѣ получены разомъ два строгихъ ордера отъ упомянутыхъ высшихъ русскихъ властей, подписанные въ одно и тоже число, хотя въ разныхъ мѣстахъ — одинъ въ Глуховѣ, другой въ Києвѣ, именно ордеръ графа Румянцева и ордеръ Воейкова. Оба подписаны были 2 іюля.

Румянцевъ, между прочимъ, писалъ запорожскому войску, что по рапорту пѣхотнаго козловскаго полка полковника Корфа, состоящаго въ крѣпости св. Елизаветы „объ озарничествѣ запорожскихъ гайдамаковъ“...— „сіи злодѣи не только умножаютъ дѣлности свои въ Польшѣ, но, пускаясь уже нападать и на области ханскія, какъ купцы крѣпости св. Елизаветы дали сказки, что 18 числа прошлаго іюня, въ бытность ихъ въ польскомъ мѣстечкѣ Палѣвомъ Озерѣ, пріѣхало туды человекъ до 300 запорожскихъ казаковъ, и бывшихъ тамъ поляковъ и жидовъ умертвили и, когда-де нѣкоторые изъ нихъ спаслись бѣгствомъ въ ханское мѣстечко Балту, то они и оттуда требовали ихъ выдачи, и получа тамошняго каймакана въ томъ отказъ, оные гайдамаки, подкрѣплены будучи прибывшею къ нимъ еще партією, въ нѣсколько сотъ человекъ съ 4 пушками, произвели съ турками сраженіе и, напавъ на самое мѣстечко Балту, убили тамъ многихъ жидовъ и поляковъ укрывшихся, и принудили оттуда турковъ бѣжать, чиня погоню за ними. Вездѣ же сіи злодѣи, такъ въ Польшѣ, яко и по границѣ турецкой разглашаютъ, якобы они посланы по ея императорскаго величества указу“.

Объ этомъ нападеніи на Балту одного изъ есауловъ Желѣзняка съ отрядомъ гайдамаковъ мы уже говорили. Но главное въ ордерѣ Румянцева—это обвиненіе запорожскаго войска въ солидарности съ гайдамаками, и даже въ посылкѣ подъ Умань особой команды запорожскихъ казаковъ.

„Находящійся въ Гарду запорожскій писарь Быстрицкій объявилъ маіору Вульфъ (продолжаетъ Румянцевъ), что онъ часть, яко тѣ нападатели изъ числа команды запорожской, отправленной въ Умань. Вы съ симъ нарочнымъ безъ малѣйшаго промедленія дайте мнѣ отвѣтъ: *какая и для чего отъ васъ команда отправлена въ Умань*, какъ означенный писарь показалъ? И извѣстны ли вы, кто сіи запорожскіе казаки, учинившіе вышеописанныя наглости въ областяхъ подольской и турецкой? И для чего вы столько слабое смотрѣніе имѣете, что могутъ свободно изъ вашихъ подчиненныхъ выходить такіа разбойническія партіи, которыхъ своевольства, въ разсужденіе сосѣдственныхъ державъ, рождаютъ самыя худыя слѣдствія. И для того возьмите самыя строгія мѣры къ наказанію новинныхъ и къ истребленію всѣхъ подобныхъ своевольствъ, *ибо вси знатоси смѣхъ важныхъ происшествій непремѣнно ляжетъ на ваши плечи*“.

Такимъ образомъ остается подозрительнымъ то обстоятельство, будто самъ кошъ отправлялъ въ Умань особую команду. Однако, фактовъ, подтверждающихъ или опровергающихъ это обстоятельство, нѣтъ въ оставшихся отъ того времени документахъ.

Съ своей стороны, генераль-губернаторъ Воейковъ писалъ кошевому: „Прежнимъ моимъ, отъ 24 числа прошедшаго мѣсяца, ордеромъ вашему высокоблагородію предписано о проявившейся въ польской Украинѣ вдругъ разбойнической, такъ называемой подъ именемъ запорожскихъ казаковъ, гайдамацкой шайки справку въ подчиненномъ вамъ войскѣ сдѣлать, не отлучился ли кто изъ какого куреня на такое богопротивное и безчеловѣчное злодѣйство, и стараніе употребить, такое въ кошѣ сдѣлать распоряженіе, чтобъ никто къ той шайкѣ, не только явнымъ, но и тайнымъ образомъ пристать не могъ. Но какъ между тѣмъ отъ находящагося при орловскомъ форпостѣ майора Вульфа мнѣ рапортовано, что 21 числа прошедшаго мѣсяца, упомянутой злодѣйской шайки, пріѣхавъ въ пограничную ханскую слободу Голту нѣсколько человекъ, яко бы запорожскихъ казаковъ съ крайнею дерзостію и звѣрскою яростію напали на оную слободу, и укрывшихся отъ тиранства ихъ въ оной нѣсколько человекъ польскихъ шляхтичей и жидовъ, безчеловѣчнымъ образомъ измуча, покололи и убили, между коими и три голтянскіе жиды находились, а другихъ въ рѣку Бугъ потопили,—почему голтянскій каймаканъ, опасаясь своего живота, приближище взялъ въ Орловскую слободу, и что при Гардѣ 24 числа минувшаго перешло черезъ Бугъ рѣку до 30 человекъ пѣшихъ и 20 конныхъ запорожскихъ казаковъ, кои въ урочищѣ Романовской, разстояніемъ отъ Голты въ 15 верстахъ, расположились, и что главный начальникъ рѣченной злодѣйской шайки, Максимъ Желѣзнякъ, называющійся полковникомъ, имѣетъ при себѣ есаула съ перначемъ, одну хороговъ и 8 прапоровъ,—то за необходимое признаваю вашему высокоблагородію чрезъ сіе, силу прежняго моего ордера подтверждая, наиприлежитѣе препоручать удобовозможное съ вашей стороны распоряженіе и предосторожность употребить, чтобъ никто изъ подчиненныхъ вамъ войска запорожскаго казаковъ отъ своихъ мѣстъ отнюдь отлучаться и къ сей шайкѣ пристать не осмѣлился, подъ опасеніемъ жесточайшаго по обыкновеннымъ войска запорожскаго правамъ наказанія. Впрочемъ, предавъ сіе попеченіямъ и благоразсмотрительному вашему распоряженію, о исполненіи ожидать имѣю вашего обстоятельнаго рапорта“ *).

Мы уже видѣли выше, что турецкія мѣстечки Балта и Голта были разорены гайдамаками, первое подъ предводительствомъ есаула Желѣзняка, второе подъ личнымъ предводительствомъ самого Желѣзняка. „Многіе евреи, говорятъ лѣтописцы этого народа, не надѣясь на покровительство Польши (въ то время, когда въ польской Украинѣ свирѣпствовала гайдамачина), бросили свои города и ушли за границу въ Турцію,

одни въ Балту, а другіе въ Бендеры. Но изверги кровожадные и тамъ ихъ преслѣдовали. Завладѣвъ городомъ, они собрали евреевъ и потребовали большого откупа деньгами и вещами, обѣщая пощадить ихъ жизнь. Но лишь только злодѣи завладѣли имуществомъ, предали всѣхъ смерти немилосердной. Ихъ трупы вездѣ валялись по полямъ. Одинъ еврей съ опасностью жизни вошелъ въ городъ и нанялъ 20 турокъ, чтобы они собрали тѣла побѣжденных и благочинно предали ихъ землѣ *). Ушедшіе въ Бендеры были столь же несчастны: однихъ убили турки, другіе, ограбленные татарами, скитались безъ пищи и пристанища по степямъ, такъ что многіе съ отчаянія погибли въ волнахъ Днѣстра или умерли отъ голоду“. Голта разорена была вскорѣ послѣ Балты. Желѣзнякъ, говорятъ, не надѣялся на вѣрность своей шайки, особенно послѣ того, что потерѣли гайдамаки подъ Уманью отъ донцовъ и русскихъ, и ушелъ къ Бугу. Тамъ въ окрестностяхъ мѣстечка Орлика (нынѣ Ольвиополь), онъ скрылся въ урочищѣ Романкова балка, имѣя около себя не болѣе двадцати товарищей, на которыхъ онъ могъ положиться. Онъ выжидалъ случая пуститься на крупное дѣло, какимъ онъ считалъ разореніе польской Умани или завоеваніе всей польской Украины, и положительно не хотѣлъ пускаться въ мелкій грабежъ и въ разбой по большимъ дорогамъ, не считая себя разбойникомъ, а понимая свою миссію, какъ защитника православія и представителя интересовъ древняго казачества. По всему видно было, что онъ не хотѣлъ стать въ уровень съ обыкновенными гайдамаками, а если и грабилъ, то лишь для удовлетворенія алчности своихъ ватагъ, между тѣмъ какъ самъ преслѣдовалъ болѣе высокія цѣли, хотя это преслѣдованіе и выражалось въ рѣзнѣ и разбояхъ. Но, вѣдь, не меньшую рѣзню производилъ и Хмельницкій. Еще большая рѣзня слѣдовала по стопамъ Наполеона I и всѣхъ завоевателей, такъ что исторіи трудно провести черту между завоевателемъ и гайдамакомъ, вродѣ Желѣзняка.

Какъ бы то ни было, Желѣзнякъ, дождавшись, когда къ нему прибыли другія ватаги гайдамаковъ, возвратившіяся изъ похода противъ Балты, повелъ свою толпу на Голту, несмотря на ближайшее сосѣдство этого мѣстечка съ русскимъ гарнизономъ. И здѣсь, какъ во всей польской Украинѣ, онъ преслѣдовалъ польскій и еврейскій элементъ, не покушаясь грабить ни турокъ, ни татаръ. Напавъ на Голту, онъ захватилъ спасавшихся тамъ польскихъ шляхтичей и евреевъ, безчеловѣчно ихъ мучилъ, а потомъ однихъ перекололъ, а другихъ въ рѣкѣ утопилъ. Голтыяскій камаканъ, боясь этихъ свирѣпыхъ нападателей, бѣжалъ изъ Голты и искалъ покровительства у русскихъ въ орловскомъ укрѣпленіи.

Объ этомъ-то нападеніи, какъ мы видѣли выше, спрашивалъ прися-

*) Скальковскій говоритъ, что въ лѣсахъ Подольской губерніи по настоящее время сохранились такъ называемыя „еврейскія могилы“. Одну изъ нихъ онъ видѣлъ въ 20 верстахъ отъ мѣстечка Вороновицы по дорогѣ къ Кальнишику, въ тавровскомъ лѣсу. Имя этой могилы „Жиди“.

кавій изъ Голты къ бугогардовскому полковнику турецкій бешлей, говоря, что если нападатели не запорожцы, то могайская орда „всѣхъ ихъ вырубить“.

Но Желѣзнякъ не ограничился однимъ нападеніемъ на Голту. Въ концѣ іюня, послѣ схватки гайдамаковъ съ ордою, Желѣзнякъ опять видѣли въ Голтѣ, и опять онъ расправлялся въ этомъ мѣстечкѣ самымъ жестокимъ образомъ съ тѣми, на преслѣдованіе которыхъ онъ, повидимому, посвятилъ свою жизнь.

Это было такимъ образомъ: вслѣдствіе постоянно возрастающихъ опасеній относительно гайдамацкихъ неистовствъ и вслѣдствіе доходившихъ до запорожской Сѣчи неблагоприятныхъ вѣстей о томъ, что гайдамаки особенно часто появляются въ предѣлахъ и по сосѣдству съ бугогардовской паланкой, полковникъ этой паланки, Моисей Головко, былъ вызванъ въ Сѣчу для объясненій. Второго іюля, проѣзжая изъ своей паланки, собственно изъ лагеря, расположеннаго у Мертвоводья, въ мѣстечко Орликъ, съ двумя „компанейцами“ и миновавъ Мигейскій островъ на рѣкѣ Бугѣ, увидѣлъ онъ на той сторонѣ Буга, на турецкой землѣ, что гайдамаки выгоняютъ жителей изъ Голты въ ханское село Гидиримъ и занимаютъ скотъ. Когда же Головко подъѣхалъ къ самому берегу рѣки, то съ другой стороны подскакало, къ берегу тоже, семь человекъ конныхъ и стали спрашивать: „кто ѣдетъ?“ Полковникъ назвалъ себя и взаимно спрашивалъ, что они за люди. Тогда одинъ изъ конныхъ отвѣчалъ:

— Я Желѣзнякъ.

Но когда Головко замѣтилъ, что Желѣзнякъ находится въ Умани, послѣдній отвѣчалъ:

— Меня великорусскія команды изъ-подъ Умани выгнали. А давно ли ты былъ въ Сѣчи и скоро ли ты туда поѣдешь?

Полковникъ отвѣчалъ, что онъ немедленно, по возвращеніи изъ Орлика, отправляется въ кошъ, и Желѣзнякъ на это сказалъ ему:

— Егда поѣдешь, поклонись пану кошевому и скажи, что мы будемъ на той сторонѣ Буга и въ Сѣчи въ гостяхъ.

— Когда-бъ ты до сѣчи пробрался, то-бъ ужъ больше *никуда не поѣхалъ*,— замѣтилъ на это Головко.

Тогда Желѣзнякъ закричалъ ему:

— Пройдемъ такъ, что вы и прочіе тамошніе и въ Сѣчи и нигдѣ не удержитесь!

Послѣ этого о подвигахъ Желѣзняка уже не слышно было. Русскія, польскія и запорожскія команды со всѣхъ сторонъ обступили арену гайдамацкой кровавой расправы и все тѣснѣе и тѣснѣе становилось гайдамакамъ. „Уманскіе шалостники“ или сидѣли въ колодкахъ, или давно лежали—кто въ сырой землѣ, кто брошенный въ оврагъ безъ погребенія, кто торчалъ на колу или ходилъ изъ села въ село съ обожженными руками. Донцы рыскали по всѣмъ направленіямъ и ловили „шалостниковъ“. Шайка Вабаса была разбита казаками и планы его—идти въ глубину Польши—разрушены. Другая шайка перевязана живьемъ. Гонимы и дру-

гихъ уманскихъ сотниковъ уже давно не было. Наступали и для Желѣзняка съ его подвижниками—Неживымъ, Швачкою, Саражиномъ, Волошиномъ, Журбою и Галайдою—последніе дни.

Вообще надо замѣтить, что, когда главныя силы гайдамаковъ были поражены русскимъ войскомъ подъ Уманью *), оставшіеся гайдамаки, которыхъ, впрочемъ, оставалось гораздо болѣе, чѣмъ уничтожено, уже не продолжали дѣйствовать общою массою, какъ подъ начальствомъ Желѣзняка, а разбѣлились на отдѣльныя шайки, можетъ быть изъ предосторожности, чтобы малыми отрядами удобнѣе было и дѣйствовать, и въ случаѣ опасности, убѣгать и скрываться отъ преслѣдователей. „Великое множество бунтующихъ ордъ,—говоритъ Липоманъ,—какъ вышедшихъ изъ Умани, такъ и особо повставшихъ, въ разныхъ мѣстахъ и на большомъ пространствѣ“, продолжали производить „рѣзъ и разбой“. Желѣзнякъ дѣйствовалъ на югѣ польской Украины. Неживый, отдѣлившійся отъ него, съ особою шайкою подвизался около Чигирина, на своей родинѣ, гдѣ онъ недавно „горшки обжигалъ“. Журба и Бондаренко подвизались особо. Русскимъ и польскимъ отрядамъ приходилось гоняться за ними по всѣмъ направленіямъ. Кромѣ русскихъ карабинеровъ, донскихъ казаковъ, гусаръ, драгунъ и польскихъ коронныхъ, а также помѣщичьихъ надворныхъ командъ **), противъ гайдамаковъ посланы были—сначала кievскимъ генералъ-губернаторомъ Воейковымъ—три эскадрона новопоселенныхъ въ Новой Россіи гусаръ, подъ командою полковника Чорбы, а потомъ, когда въ Запорожѣ получены были строгіе ордера графа Румянцева и генерала Воейкова,—и команды запорожскихъ казаковъ, которымъ вмѣнялось въ обязанность преслѣдовать и въ конецъ истреблять гайдамачину.

Желѣзнякъ схваченъ былъ однимъ изъ первыхъ и, надо полагать, вскорѣ послѣ разоренія Голты, хотя есть преданіе, говорящее, что Желѣзнякъ, когда услышалъ о страшной участи, постигшей его „названнаго брата“, Гонту, когда онъ узналъ, какъ поляки замучили, съ согласія русскихъ, самоназваннаго воеводу русскаго, Желѣзнякъ не вынесъ этого извѣстія, захворалъ, заплакавъ первый разъ въ жизни, и умеръ. Гайдамаки похоронили его въ степи надъ Днѣпромъ, насыпали надъ нимъ высокую могилу (курганъ) и разошлись ***). По другимъ свѣдѣніямъ, надо полагать, болѣе достовернымъ, Желѣзнякъ былъ отправленъ въ Кіевъ, гдѣ и

*) Или какъ выражаются польскіе писатели „główna siedsiba buntu. Humań, z gadu tego jadewitego mądrem rozporządzeniem Kreczeticowa był oczyszczony“.

**) „Oddziały wojsk rossyjskich i polskich koronnych, oraz nadworne pandw komendy“.

***) На основаніи этого преданія, Шевченко говоритъ о Желѣзнякѣ

Нудьга его задавила
На чужому полі,
Въ чужу землю положила—
Така его доля.

казненъ, а, всего вѣроятнѣе, былъ сосланъ въ Сибирь по наказанію кнутомъ. Подробностей о поимкѣ этого главы гайдамачины мы не знаемъ.

Одновременно съ поимкою Желѣзняка произошла и поимка Швачки. Есть преданіе и пѣсня, что Швачка былъ застигнутъ русскими отрядами около Смилой, въ дозахъ. У гайдамаковъ нечѣмъ было стрѣлять—всѣ пули вышли, тогда они начали вырѣзывать пули изъ лозы, нарѣзывали на нихъ крестики и стрѣляли. Но они все-таки не могли устоять противъ „москалей“ и всѣ были захвачены. Прекрасная народная пѣсня такъ передаетъ это событіе (мы приводимъ цѣликомъ эту пѣсню отчасти потому, что въ ней выражаются подробности самой поимки Швачки, отчасти и потому, что въ ней намечается какъ бы на тѣсную связь между гайдамаками и запорожскимъ кошемъ):

Ой на казаченьківъ, ой на запорозцівъ та пригодонька стала:
Ой у середу та й у обідній часъ їхъ Москва забрала.
Крикнувъ Швачка та на осаулу: „Изъ коней додолу!
Охъ и не даймося, панове молодці, ми москалямъ у неволю.“
Москалики умні, москалі разумні, розуму добрали:
Ой напередъ Швачку изъ осаудою докупи звязали.
Охъ звязали и попаровали й на вози поклали.
Изъ Богуславы до Білої Церкви їхъ у неволю забрали.
Охъ дежъ ваші, панове молодці, воронні коні?
Ой наші коні въ пана на привоні, а самі ми въ ниволі.
Охъ а дежъ ваші, панове молодці, а срібні узда?
Ой наші узда въ коняхъ на занузді, а самі ми у нужді.
Охъ а дежъ ваші, панове молодці, ясененькі списи?
Ой наші списи вже въ пана у стрісі, а самі ми у лісі..
Охъ а дежъ ваші, панове молодці, грімкі рушниці?
Ой наші рушниці въ пана у світлиці, а самі ми въ темниці.
Охъ а дежъ ваші, панове молодці, голубні жупани?
Ой наші жупани поносили пани, а самі ми пропали.
Охъ а дежъ ваші, панове молодці, чоботи сапьянці?
Ой наші сапьянці позабірали райці у неділеньку вранці.
Охъ пошлімо галку, охъ пошлімо чорну, а до Січи рибу їсти,
Охъ нехай донесе, охъ нехай донесе до кошового вісти,
Охъ уже жъ галці, охъ уже жъ чорній та назадъ не вертаться;
Ой уже жъ намъ, панове молодці, изъ кошовимъ не видаться.

XIII.

Всеобщая гонка за гайдамаками началась съ первыхъ чиселъ іюля. Самыя крупныя личности гайдамачины уже лишены возможности дѣйствовать. Гонга, Бѣлуга, Шило, Потапенко—въ рукахъ поляковъ. Желѣзнякъ и Швачка—въ кіевской тюрьмѣ. Остаются еще на свободѣ Неживый, Бабасъ, Волошинъ, Саражинъ, Журба, Губа, Галайда, Дейнекій, Шереметь, но это—свѣтила второй величины. Болѣе другихъ самостоятельно дѣйствуетъ Неживый, который нѣкогда, обжигая горшки, говорилъ: „хоть на одинъ день, а буду паномъ“. Теперь онъ дѣйствительно панъ. Спасшись отъ русскихъ войскъ подъ Уманью и отдѣлившись отъ Желѣзняка, онъ направилъ свой путь туда, гдѣ и прежде дѣйствовалъ, когда гайдамачина

только начинала вставать около лебединского и митронинского монастырей и когда мятеж только-что разгорался въ Смилянщинѣ. Въ Чигиринской губерніи онъ собралъ довольно значительную ватагу, и подобно Желѣзняку, разглашалъ, что онъ имѣетъ грамоту отъ коша на истребленіе шляхетства и жидовства. Крестьяне, до которыхъ еще не достигла вѣсть о пораженіи гайдамаковъ подъ Уманью, довѣрчиво или подъ команду Неживого, тѣмъ болѣе, что служить у него было выгодно и въ нѣсколько дней можно накопить немалыя деньги. Все прибрѣтенное шайкою добро шло въ дуванъ. За Неживымъ пошло также нѣсколько человѣкъ запорожцевъ. Онъ говорилъ, что намѣренъ предпринять походъ въ самую „Лядщину“, хотя, неизвѣстно по какимъ соображеніямъ, долго оставался въ Чигиринской губерніи и разтѣзжалъ съ своею шайкою по окрестностямъ, можетъ быть готовый броситься въ глубину „Лядщины“ только тогда, когда его шайка разростется до значительныхъ размѣровъ, какъ это предполагалъ сдѣлать и Бабасъ. Въ это время онъ командовалъ сотнею гайдамаковъ, составленныхъ большею частью изъ крестьянъ, но не изъ одной голоты, а и изъ людей достаточныхъ и семейныхъ, изъ такихъ, которые имѣли „не малыя имущества“. Люди его команды (себя онъ называлъ „командиромъ“) были вооружены пиками, по обыкновенію гайдамацкому, иные мушкетами, а иные только саблями. Мѣстопробываніе Неживого было въ селѣ Медвѣдовкѣ, Кіевской губерніи, гдѣ онъ расположился какъ полный господинъ села. Онъ доходилъ, впрочемъ, до Бѣлой Церкви, и этотъ походъ, вѣроятно, и былъ причиною скорой гибели этого предводителя гайдамаковъ. Бѣлая Церковь отдалась подъ покровительство Россіи, и генераль-губернаторъ Воейковъ выслалъ гарнизонъ для защиты этого города. О шайкѣ Неживого узналъ также и высланный Воейковымъ противъ гайдамаковъ съ тремя эскадронами гусаръ сербскій полковникъ Чорба *).

Мы уже сказали, что, какъ видно по дѣйствіямъ гайдамаковъ, въ голову каждого изъ нихъ засѣло убѣжденіе, что они дѣйствуютъ заодно съ русскими. Ихъ не разубѣдила въ этомъ даже катастрофа подъ Уманью и арестованіе русскими войсками нѣкоторыхъ изъ ихъ коноводовъ. Безъ сомнѣнія, они полагали, что Кречетниковъ съ своими карабинерами и донцами измѣнили Россіи или подкуплены поляками, оттого и напали на гайдамацкій лагерь подъ Уманью. Гонимъ выразилъ это прямымъ обвиненіемъ Кречетникова въ измѣнѣ и тѣмъ, что нагло сказалъ ему: „Закуй и себя вмѣстѣ со мною“. Гайдамаки были убѣждены, что дѣлаютъ такое дѣло, за которое ихъ и похвалить, и наградить Россія. Оттого они, повидимому, и не боялись русскихъ войскъ, какъ это мы видѣли въ дневникѣ Калмыкова при разсказѣ о томъ, какъ донцы перевязали цѣлую шайку гайдамаковъ потому только, что они думали вмѣстѣ съ донцами идти на Вар-

*) „Неякійсь сербинъ Шорба“ (какой-то сербъ Шорба), какъ его называли гайдамаки. Липоманъ лично зналъ Чорбу, въ послѣдствіи генераль-поручика, который и бывалъ у него въ домѣ.

шаву. Эта увѣренность гайдамаковъ въ сочувствіи къ ихъ подвигамъ Россіи погубила и Неживого.

Полковникъ Чорба, явившись съ своими гусарами въ село Галагановку, пограничное съ польскими владѣніями, и, не входя въ Польшу, сталъ писать приглашеніе къ Неживому, чтобы тотъ пріѣхалъ къ нему съ своею шайкою для какихъ-то переговоровъ („для нѣякогось уговору и совѣту“). Гайдамаки говорятъ, что Чорба дѣлалъ это „подманомъ“. Польскіе же писатели сообщаютъ, что Чорба приглашалъ Неживого на пиръ (zwabiw-szu na ucztę). Долго гайдамаки не поддавались обману, но убѣжденіе въ солидарности своихъ дѣйствій и политическихъ плановъ съ дѣйствіями и тайною политикою Россіи побудило Неживого, какъ и другихъ гайдамаковъ, довѣриться русскому командиру. Онъ оставилъ Медвѣдовку и двинулся съ своею шайкою къ Чигирину, гдѣ и велѣлъ ей дожидаться себя, а самъ съ есауломъ своимъ, которымъ назначенъ былъ медвѣдовскій писарь, и съ сотникомъ города Канева, который тоже служилъ у него подъ командою, отправился къ Чорбѣ. вмѣсто пира и совѣщанія, Неживого и его адъютантовъ ждали тамъ кандалы: Чорба тотчасъ же велѣлъ ихъ арестовать и забить въ желѣза. Оставшаяся подъ Чигириномъ шайка отправила въ Галагановку нарочнаго для развѣдыванія о томъ, какая участь постигнетъ ихъ командира, и возвратившійся къ нимъ нарочный объявилъ, что Неживой, его есаулъ и каневскій сотникъ взяты подъ караулъ. Не имѣя предводителя, шайка тотчасъ же разсѣялась, а потомъ, снова собравшись малыми группами и избравши себѣ предводителей, гайдамаки шайки Неживого продолжали свое дѣло въ меньшихъ размѣрахъ, выходя на добычу изъ лѣсовъ лебединскаго монастыря и вновь скрываясь въ этихъ лѣсахъ при малѣйшей опасности.

Предводителемъ подобной шайки, составившейся изъ раздробленныхъ частей шайки Неживаго, является Бондаренко.

Бондаренко былъ малороссіянинъ, русскій подданный, а не полякъ, и родился въ лубенскомъ полку, чигринъ-дубровской сотни, въ селѣ Могулевцѣ. Отецъ его былъ Василій Бондарь, „званія посполитаго“. Когда сынъ его Ѳеодоръ Бондаренко, будущій гайдамакъ, былъ еще ребенкомъ („будучему ему еще малолѣтну“), Бондарь перешелъ въ Польшу и поселился въ Чигиринской губерніи, въ селѣ Чаплинцахъ. Въ этомъ селѣ по смерти отца и жилъ потомъ Бондаренко. Въ 1768 году, когда гайдамаки были разбиты подъ Уманью, „въ Петровъ постъ“, въ ихъ село пріѣхалъ Неживой, или, какъ выразился потомъ на допросѣ Бондаренко, „нѣякись (какой-то) Семень Неживой“. Называя себя запорожскимъ казакомъ, „уманскимъ куреннымъ“, Неживой „началъ объѣзжать всѣ тамошнія околичныя села“, прибылъ потомъ и на родину Бондаренка, объявляя при томъ, что у него есть *нѣякъсь* (какое-то) *дозволеніе*—а отъ кого, онъ, Бондаренко, по своей простотѣ (какъ послѣ самъ говорилъ на допросѣ), не доискивался,—збирать чату, при коей быть ему командиромъ, и идти съ оною въ Лядщину, на искорененіе ляховъ и жидовъ“.

Вондаренко, какъ самъ признался впоследствии, можетъ быть и ложно, „будучи тѣмъ дозволеніемъ отъ него (Неживого) объявленнымъ, увѣренъ, и при томъ смотрячи, что многіе тамошніе жители, оставя свои жилища и въ нихъ немалыя имущества, вдаются ему въ команду, и онъ вдался, и съ нимъ вмѣстѣ итти, куда прикажетъ, польстился. И такъ, оставя маѣ свою въ домѣ таможъ въ Чаплинцахъ и все свое имущество, къ нему, Неживому, въ тую чату, коей всей въ собраніи было до 100 человекъ конныхъ и пѣшихъ, иныхъ съ ратищами, а иныхъ съ мушкетами, иныхъ единственно только при шабляхъ, присовокупился“.

Вообще показаніе Вондаренка, отобранное у него въ запорожскомъ „войсковомъ секвестрѣ“, столько-же относится къ обстоятельствамъ, объясняющимъ подвиги Неживого, какъ и происхожденія самого Вондаренка. „За собраніемъ-же той чаты онъ, Неживой, въ Лядщину и никогда не ходилъ, но стоялъ съ оною въ тамошнемъ-же селѣ Медвѣдовцѣ, около двухъ недѣль, и стоячи объѣздилъ околичныя Чигринской губерніи села и по онымъ, гдѣ скотъ *самый только жидовскій* находилъ, оный весь забралъ, *не причиняя при томъ больше никакого грабительства, бою и обидъ*, продавалъ разнымъ мало-и великороссійскимъ и лядскимъ купцамъ, и деньги отъ нихъ по договоренной цѣнѣ отбирая въ дуванъ пускалъ, по своему разсмотрѣнію, кому что дать, коего дувану и ему, Вондаренку, довелось разными числами собрать сто рублей“.

Затѣмъ, какъ извѣстно, шайка Неживого разсѣялась, когда Чорба „подманомъ“ зазвалъ къ себѣ главныхъ ея командировъ и забилъ ихъ въ колодки. Вондаренко остался на свободѣ. Пойманный впоследствии запорожскими командами въ степяхъ и допрашиваемый въ концѣ, онъ говорилъ о себѣ, какъ о лицѣ совершенно неважномъ въ гайдачинѣ, что будто-бы, послѣ ареста Неживого, его подговорилъ какой-то запорожецъ идти съ нимъ въ Сѣчь, что въ дорогѣ, около хутора полковника Щербина (коимъ владеетъ, какъ онъ слыхалъ, нѣякісь сербинъ Шорба), онъ тамошними жителями былъ пойманъ, но что потомъ „бѣгомъ“ отгуду спасшійся, дошелъ до запорожскаго степу, на коемъ полковымъ старшиною Павломъ Попатенкомъ найденъ, взятъ и представленъ въ войсковую пушкарню“.

Затѣмъ онъ пробрался въ запорожскую степь изъ Польши, на какомъ дѣлѣ пойманъ,—Вондаренко объ этомъ благоразумно умолчалъ, когда его допрашивали. Между тѣмъ, польскіе писатели говорятъ, что у Вондаренко была большая „орда“, что онъ былъ не простой, не рядовой гайдамакъ, а предводитель, „ватажко“, что его шайку переловилъ Щербина, сотникъ изъ Макарова *), съ своими казаками, и что за эту вѣрность и услугу, по представленію своего помѣщика, Каетана Люцанскаго, король, по рѣшенію сейма, наградилъ Щербину шляхетствомъ и денежнымъ жалованьемъ (kwota) для покупки земли.

Послѣ Неживого и Вондаренка пойманъ былъ Саражинъ. Семень Са-

*) „...z dobr kornińskich, imienia praskurów dziedzicznych“.

ражинъ былъ гусаромъ въ 4-й ротѣ „чернаго“ сербскаго полка. Вѣжавъ изъ новороссійскихъ поселеній, Саражинъ скрывался въ Запорожьѣ, но тамъ былъ уличенъ въ воровствѣ и убійствѣ и приговоренъ къ смертной казни—посажениемъ „на острую палю“ (на колъ).

При помощи своихъ сподвижниковъ онъ бѣжалъ отъ казни и сдѣлался однимъ изъ важныхъ предводителей гайдамаковъ, отличаясь отъ прочихъ дерзостью и жестокостью. По примѣру всѣхъ буйныхъ головъ, онъ ушелъ въ Польшу въ то время, когда тамъ вспыхнулъ мятежъ, и участвовалъ въ уманской рѣзнѣ. Когда, съ прибытіемъ подъ Умань русскихъ отрядовъ, русскіе гайдамаки ушли оттуда, ушелъ и Саражинъ, чтобы дѣйствовать во главѣ отдѣльной шайки. Несмотря на то, что въ Запорожьѣ онъ приговоренъ былъ къ смерти, Саражинъ не побоялся явиться туда для вербовки себѣ товарищей. На рѣчкѣ Грузной онъ сошелся съ гайдамаками Остапомъ Дономъ, Иваномъ Вовкомъ, Олексю Дейнекомъ и Савкою Тараномъ и людей этихъ „совѣтомъ къ ходу въ Польшу на грабительство побудилъ“. Они вышли въ Польшу, „подаваясь“ къ Вѣлой Церкви, и, тамъ, ограбивъ на дорогѣ ляховъ, бѣжавшихъ въ Умань подъ защиту „отъ проходящихъ по тамошнимъ мѣстамъ гайдамацкихъ партій“, возвратились для дувана награбленнаго добра къ Найденовымъ байракамъ. Потомъ ограбили какой-то хуторъ и возвратились въ Запорожье, и изъ Запорожья вновь ходили на разбой. Но однажды, возвращаясь изъ своихъ гайдамацкихъ экскурсій, они настигнуты были запорожскими разбѣдными командами и взяты въ плѣнъ, кромѣ Саражина *). Но и Саражину недолго пришлось гулять на волѣ: подобно прочимъ ватажкамъ, Волошину, Шеремету и Губѣ, онъ былъ пойманъ и отданъ въ руки правосудія.

Журба и его тридцать товарищей были убиты въ сраженіи съ карабинерами.

Но за поимкою коноводовъ гайдамачины самая гайдамачина все еще не прекращалась. Объ уманской рѣзнѣ и объ участіи въ ней запорожцевъ узнали, наконецъ, въ Петербургѣ. Государыня съ неудовольствіемъ приняла извѣстіе о событіяхъ въ польской Украинѣ и въ строгой грамотѣ высказала свой гнѣвъ запорожцамъ.

Чтобы отклонить отъ себя грозу, запорожскій кошъ представилъ свои оправданія и графу Румянцеву, и государынѣ. Собраны были также свѣдѣнія какъ отъ взятыхъ въ плѣнъ гайдамаковъ, такъ и отъ запорожскихъ

*) „По таковомъ возвращеніи (говоритъ гайдамакъ Таранъ), извѣстясь, что за поимкою таковыхъ, какъ и онъ, Таранъ, гайдамакъ разбѣдныя команды ходятъ, опасаясь тѣхъ командъ, находившихся по разнымъ рѣчкамъ на степу, довольствуясь харчами, просьбою съ зимовниковъ достаячи. Напоследокъ его, совокупшагося съ другими, съ имъ Тараномъ въ Польшу на грабительство бывалыми Дономъ, Кравцемъ и Иваномъ Пастридою, на устьѣ рѣчки Плетенаго Ташлыка, находящаяся при войсковыхъ старшинахъ Макару Нагаю и Олексю Черномъ команда сыскавъ, забрала, а отъ ихъ, старшинъ, присланы они до коша“.

казаковъ, а равно извлечены изъ дѣлъ коша доказательство о томъ, что, хотя Желѣзнякъ и принадлежалъ нѣкогда къ запорожскому казачеству, но еще въ 1762 году пересталъ числиться въ войсковыхъ реестрахъ и никогда не носилъ званія полковника запорожскаго войска. Свѣдѣнія эти Запорожье представило русскому правительству для доказательства своей непричастности къ кровавому мятежу на польской землѣ и для защиты своей древней славы, которою такъ дорожило Запорожье. Кошъ представилъ, что онъ не имѣлъ никакой солидарности съ тѣми предводителями ватагъ, которые, набравъ со всѣхъ сторонъ бродягъ, наймитовъ и рыболововъ, никогда не принадлежавшихъ къ запорожскому товариществу, ложно выдавали себя за чиновныхъ людей Запорожья, за его полковниковъ и атамановъ, а равно и своихъ соумышленниковъ называли запорожцами, когда они и не бывали на Запорожьѣ, что захваченныхъ разными командами гайдамаковъ кошъ не находить въ своихъ куренныхъ спискахъ, и что кошъ не только не посылалъ отъ себя командъ подъ Умань для истребленія поляковъ и евреевъ, но даже ни одного казака не отпускалъ въ Польшу на это гнусное дѣло. Какъ доказательство непричастности гайдамаковъ къ Запорожью, кошъ указалъ на то обстоятельство, что гайдамаки нападали на имѣнія запорожскихъ казаковъ и, между прочимъ, ограбили зимовникъ одного изъ заслуженнѣйшихъ запорожскихъ старшинъ, Сидора Вѣлаго, и что, если бы гайдамачина была продуктомъ Запорожья и его сыновъ, то менѣе всего гайдамаки могли рѣшиться дѣлать зло самимъ себѣ и своимъ товарищамъ. Кошъ доказывалъ, что гайдамаки были сбродъ, не принадлежавшій ни къ какой народности, хотя между ними и могли быть запорожцы. Затѣмъ кошъ отправилъ свои команды для преслѣдованія тѣхъ изъ гайдамаковъ, которые будутъ уходить изъ Польши съ добычею на Запорожье или будутъ проходить запорожскими землями.

Гайдамаки, такимъ образомъ, были охвачены войсками со всѣхъ сторонъ. По границамъ ихъ стерегли русскія и запорожскія разъѣздныя команды. Русскія же и польскія команды (надворныя) выискивали гайдамаковъ внутри польской Украины и попадавшимся имъ въ руки отдавали на казнь. Гонка была повсемѣстная. Ожесточенные поляки мстили страшно за все, что имъ сдѣлала гайдамачина. Региментарь Стемпиковскій, явившись съ командою въ Лисянку, напомнилъ жителямъ этого мѣстечка, какъ они заодно съ гайдамаками повѣсили на одной балкѣ ксендза, еврея и собаку, и повторилъ надъ ними эту злую насмѣшку: безъ суда и слѣдствія *), онъ приказалъ повѣсить въ Лисянкѣ шестьдесятъ обывателей. Всѣ села и мѣстечки, волей и неволей принимавшія участіе въ возстаніи, пострадали: русскія и польскія разъѣздныя команды, вывѣдывая о всѣхъ крестьянахъ, такъ или иначе прикосновенныхъ къ бунту, брали ихъ и высылали по принадлежности для исполненія надъ ними судебныхъ при-

) Какъ говорятъ сами польскіе хроникеры—„bez żadnej formalności prawnej.“* Lip.

говорювъ или просто для казни безъ всякаго суда, и въ особенности такіа жертвы мщенія отправлялись до мѣстечка Кодня, не далеко отъ Житомира, гдѣ стояла „войсковая команда“, и тамъ, надъ выкопанной глубокой ямой, на краю которой устроена была плаха, палачъ топоромъ отрубалъ голову и сбрасывалъ въ яму вмѣстѣ съ туловищемъ *). А когда наполнилась одна, копали другую. Въ этомъ мѣстѣ такимъ образомъ великое множество поселянъ лишилось жизни **).

Могли пасть тамъ и невинныя жертвы, по злобѣ обвиненныя въ преступленіи (говорить Квасневскій), когда достаточно было малѣйшаго подозрѣнія, чтобы доказать прикосновенность того или другого какимъ бы то ни было образомъ къ мятежу.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, отъ польскаго правительства шли награды и милости тѣмъ, которые во время мятежа остались вѣрны своимъ властямъ или дѣйствовали противъ бунтовщиковъ, не допуская и другихъ до возстанія. Такъ осадчій села Подвисокаго, лежащаго въ уманской волости и весьма многолюднаго, когда вездѣ по сосѣдству разгорѣлся бунтъ, никого изъ крестьянъ не допустилъ до мятежа, а хотѣвшихъ пристать къ бунтовщикамъ отговорилъ отъ этого или усмирилъ (uskromit) и тѣмъ возстановилъ спокойствіе, за что по прекращеніи на Украинѣ мятежа не только самъ уволенъ былъ помѣщикомъ отъ всѣхъ повинностей и платежей, но и селу своему доставилъ тѣмъ много добра (wiele dobrodziejstw). Казачій полковникъ бугулавскаго старства Шелестъ, принимавшій дѣятельное участіе въ успокоеніи крестьянъ своего старства и въ усмиреніи мятежа, награжденъ королемъ золотою медалью, съ портретомъ Станислава Августа, для ношенія на шеѣ. Королевскую награду получилъ также начальникъ надворной милиціи старства каневского, Оксентій (Oxenty).

До самой осени продолжалась гонка за гайдамаками и рубанье головъ правому и виноватому. Къ осени, когда гайдамаки, по обыкновенію, должны были возвращаться изъ Польши въ свои степные притоны, въ балки, въ буераки, на зимовники и на острова рѣки. Буга, чтобы въ уединеніи и вдали отъ преслѣдователей провести зиму, Запорожье выставило на границахъ Польши и по степямъ новыя разбѣдныя команды, такъ что въ полѣ у нихъ находилось до 3,000 казаковъ, командированныхъ отъ всѣхъ 38 куреней. Начальство надъ этимъ войскомъ поручено было храбрѣйшимъ изъ войсковыхъ старшинъ—Макару Нагаю, Алексію Черному, Андрею Лукьянову и полковнику Андрею Кійнашу.

Эти войска снабжены были отъ коша такою инструкцію: „Многими ордерами отъ его сіятельства господина генераль-аншефа и кавалера графа Румянцова и господина генераль-аншефа, губернатора кievскаго Воейкова,

*) „Tam nad wykopaną głęboką jamą, na jej brzegu, do kłody każdemu z przystanych kat toporem głowę ucinął i w jamę wraz z ciałem wrzucał.“

**) Отсюда вышла пословица, уже забытая, впрочемъ, теперь: „А щобъ тебе святая Кодня не минула“.

кошу предлагано, дабы къ взбунтовавшимся въ польской области на Украинѣ тамошнимъ подданнымъ народамъ въ сообщество съ здѣшнихъ подчиненныхъ никто уходить и оттуда за нихъ же бунтовщиковъ въ сіи границы убѣгать не могли, къ сыску и переловленію таковыхъ взять отъ коша всевозможныя средства. О чемъ и высочайшею ея императорскаго величества грамотою, съ нарочнымъ оберъ-офицеромъ присланною, войску запорожскому низовому строжайше подтверждено. И хотя къ истребленію таковыхъ злочинцевъ изъ войска запорожскаго низоваго отправлены съ командами господа войсковые старшины: Макаръ Нагай и Алексѣй Черный, но что и нынѣ полученными въ кошѣ отъ высочихъ генералитетовъ повелѣніями, притверждается означенныхъ *шалостниковъ* пересматривать и переловлять, для того въ кошѣ опредѣлено: къ онымъ господамъ старшинамъ еще команды приумножить и къ оной съ довольнымъ наставленіемъ опредѣлить васъ *) да полковника Андрея Кійнаша“.

Командирамъ этимъ предписывалось, принявъ команду, слѣдовать въ бугогардовское вѣдомство, главное поприще гайдамачины, и, по прибытіи туда, всѣмъ старшинамъ съѣхаться въ одно мѣсто со всѣми командами. Тамъ Алексѣй Черный долженъ былъ взять въ свою команду казаковъ изъ десяти куреней, Кійнашъ изъ девяти, Нагай тоже изъ десяти и Лукьяновъ изъ десяти куреней, и всѣ эти команды расположить особыми ставками: Алексѣй Черный долженъ былъ стоять въ низахъ рѣчки Еланки, въ Одерицахъ, Андрей Кійнашъ на рѣчкѣ Черномъ Ташлыкѣ, у Робленой могилы, Макаръ Нагай въ Бешбайракахъ, а Лукьяновъ у Мертвоводя, „въ зарытыхъ мѣстахъ“, принадлежащихъ къ землямъ запорожскаго войска. Команды эти должны были по всей границѣ „ставка отъ ставки“ дѣлать „безпрерывные разъѣзды и всеприлежно пересматривать, не будутъ ли убѣгать зъ Польши въ здѣшнія мѣста или не отважится ли кто зъ тугейшихъ подвластныхъ въ польскую Украину въ единомысліе къ тамошнимъ бунтовщикамъ уходить“. Такихъ велѣно было „переловить“, а потомъ „по переловленіи присылать со всѣмъ, что при нихъ будетъ, до коша, къ поступленію съ ними по надлежащему“.

- „Если бы надъ чаяніе (далѣе говорится въ инструкціи), зъ сихъ злочинцевъ, за многимъ ихъ сборищемъ, гдѣ-либо кому изъ васъ взять неудобно могло казаться, при такомъ случаѣ одинъ къ другому въ ставки ваши нарочными о дачѣ вамъ вспоможенія давать знать; во время жъ сопротивленія ихъ, поступать съ ними примѣрно, какъ съ разбойниками и нарушителями общаго блага“.

„Ежели вамъ при разъѣздѣ по границѣ въ какомъ мѣстѣ случится съѣхаться съ крымскими татарами и оныя васъ спрашивать имутъ, за чимъ вы съ командами ѣздите, вы имъ имѣете съ *учтивостью*, не *оказывая ничего суровости*, объявить, что вы для переловленія разсѣянныхъ россійскими командами въ Подольѣ гайдамацкихъ щаскѣ нахо-

*) Лукьянова.

даться. Однако жъ того остерегаясь, чтобъ, при случитѣся могущей иногда встрѣчѣ съ татарскими разъѣздами, отнюдь никакой причины къ раздору не подавать, хотя бъ иногда отъ татаръ къ тому и поводъ поданъ былъ; но всѣми мѣрами отъ ссоръ убѣгать и уклоняться, отговариваясь, что такіе поступки зъ сосѣдственною дружбою ни мало не сходственны, и если имъ какія обиды причинены, то должно жаловаться начальникамъ, отъ коихъ и справедливаго удовольствія ожидать имѣютъ. Въ крымскія жъ границы отнюдь и малѣйше вамъ не въѣздить!“

Вообще, во всѣхъ распоряженіяхъ какъ высшаго русскаго правительства, такъ и запорожскаго коша въ отдѣльности, проглядываетъ боязнь и видимое нежеланіе столкновѣній съ Крымомъ и Турціею. Такъ, когда гайдамаки разорили всю польскую Украину и произвели неслыханную рѣзню въ Умани, русское правительство, повидимому, не особенно тревожилось этимъ явленіемъ: въ Украинѣ погибало населеніе большихъ городовъ, подданные Речи Посполитой истреблялись тысячами, а Воейковъ съ Румянцевымъ, которые могли остановить эти неистовства, слишкомъ поздно вздумали помочь Польшѣ. Но когда есаулъ Желѣзнякъ напалъ на Балту и самъ Желѣзнякъ завладѣлъ Голтою, мѣстечками, принадлежавшими Турціи, и когда въ этихъ мѣстечкахъ зарѣзано было всего три еврея—турецкихъ подданныхъ да нѣсколько другихъ особъ не польскаго подданства, тогда и Румянцевъ, и Воейковъ очень встревожились и поспѣшили отправить въ Сѣчь грозные ордера. Точно такъ и запорожскій кошъ, давая ордера своимъ разъѣзднымъ командамъ, строго предписываетъ, чтобъ при встрѣчѣ съ татарами команды обходились съ ними „съ учтивостью, не оказывая ничего суровости“, еслибъ даже отъ татаръ и былъ къ тому поданъ поводъ. По этому же самому, изъ чувства предосторожности, разъѣзднымъ командамъ вмѣнялось въ обязанность, во время разъѣздовъ „присматривать, нѣтъ ли гдѣ татарскихъ собраній, и ежели есть, то въ какомъ они обращеніи и войсковой исправности и намѣреніи, секретнѣйше развѣдать и, по достовѣрному увѣдомленіи, кошъ рапортовать“.

Наконецъ, инструкция строго предписывала командамъ, „въ своей дистанціи и въ разъѣздахъ будучи, имѣть крѣпкую и недремательную предосторожность за денными и ночными отводными караулами“. Затѣмъ, „въ сей командировкѣ будучи, такъ у чабановъ крымскихъ, яко и ни въ кого заграничныхъ и здѣшнихъ народовъ отнюдь ничего не брать и не обижать и команды не распускать и не сходить за стѣну, а быть всегда въ разъѣздахъ до нашего особаго къ вамъ повелѣнія, и что будетъ происходить, о томъ имѣете почасту кошъ рапортовать“.

И дѣйствительно, до самаго ноября разъѣзжныя запорожскія команды не сходили со стѣны, несмотря на наступившее суровое время года, и, при постоянномъ и тяжеломъ трудѣ, терпѣли всевозможныя лишенія. Результатомъ стоянки въ стѣни этого трехтысячнаго войска было, однако, то, что имъ захвачено было нѣсколько болѣе 200 гайдамаковъ, менѣе важ-
~~ныхъ, чѣмъ въ~~ которые уже были переловлены въ польской Украинѣ. Это

были тѣ изъ запорожцевъ и бродягъ, которые, будучи преслѣдуемы разбѣдными русскими и польскими командами внутри польскихъ владѣній и не находя тамъ пріюта у поселянъ, подвергавшихся отъ командъ великому гоненію, пробирались на зиму въ свои разбойныя захолустья. Всѣ они препровождены были въ кошъ для строгаго суда и строгой казни.

О послѣднихъ дняхъ Желѣзняка, Неживого, Швачки, Бовдаренка, Саражина, Губы, Дейнека, Волошина, Шеремета, Вовка Дона, Тарана и Галайды мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній. Можетъ быть, въ послѣдствіи эти архивные документы отыщутся и опубликуются, но теперь мы должны ограничиться только тѣмъ, что сохранила намъ народная память. Народная пѣсня говоритъ, что плѣнный Желѣзнякъ находился въ Кіевѣ и въ „печерскомъ богу работалъ“, т. е. сидѣлъ въ тюрьмѣ и выгонялся на работы вмѣстѣ съ другими арестантами. Гетманъ обѣихъ сторонъ Дѣтпра былъ сравненъ съ простымъ рядовымъ арестантской роты. Вотъ, какъ говорить объ этомъ пѣсня:

Ступай, ступай, Желѣзняку, годі вже гуляти.
Підемо въ Кієвъ, въ печерское, богу работати.
И говорить Максимъ казакъ, сидючи въ неволі:
„Не будуть матъ вражі ляхи на Україні волі!
Течуть річки аъ всего світа до Чорнаго моря—
Минулася на Україні жидівська воля!“.

Другая пѣсня, народность которой подлежитъ сомнѣнію и которая имѣетъ заглавіе „плачъ Желѣзняка въ тюрьмѣ“, говоритъ отъ лица этого народнаго героя, обращающагося къ Дѣтпру:

Батьку Дніпре, въ море течи
Та й назадъ вернися,
Мій каміння та въ нихъ плеци,
Та звісточку дати не барися.

Народная память, такимъ образомъ, какъ бы сравняла Желѣзняка и Хмельницкаго, относя едва ли не одинаковое сочувствіе къ тому и другому, какъ къ поборникамъ народной воли, національности, религіи и политической независимости Украины. Народъ видѣлъ въ результатѣ дѣйствій того и другого ту идею, что, „вражьи ляхи ужъ не будутъ имѣть на Украинѣ воли“ и что, вмѣстѣ съ тѣмъ, „минулась на Украинѣ и жидовская воля“. Часто народныя симпатіи расходятся съ симпатіями историковъ, и какъ бы исторія ни изображала Желѣзняка извергомъ, въ народѣ все-таки останется о немъ воспоминаніе, какъ о героѣ, пока у народа не выяснится взглядъ на его прошедшую исторію и онъ не будетъ смотрѣть на народныхъ дѣятелей, какъ онъ самъ выражается, „по учебному“, „по письменному“. Тоже самое, какъ бы историки, особенно Александровской эпохи, ни превозносили память Аракчеева, какъ здмнина-стратора и политика, народъ долго еще, вѣроятно, будетъ пѣть:

Охъ разсукинъ сынъ Ракшей дворянинъ,
Солдатъ голодомъ поморить...

Какая участь постигла игумена Мельхиседека, главного виновника уманской рѣзни и всѣхъ предшествовавшихъ ей и сопровождавшихъ ее ужасовъ, объ этомъ нѣтъ положительныхъ извѣстій. Г. Скальковский, называющій Мельхиседека „жестокимъ игуменомъ“ и обвиняющій его во всемъ, что происходило на Украинѣ въ 1768-мъ году, говоритъ, что „подъ его вліяніемъ пало столько невинныхъ жертвъ“ и что „на Запорожьѣ, которому онъ желалъ мстить, легло вѣчное пятно безславія“. Объ участи этой загадочной личности г. Скальковский рассказываетъ со словъ г-жи Кребсъ, которая, съ своей стороны, повторяетъ то, что слыхала отъ польскаго бригадира Голѣвскаго, личнаго свидѣтеля происшествія. Голѣвскій, бывшій тогда поручикомъ гвардіи народной и служившій въ командѣ жестокаго региментаря Стемпковскаго во время взятія гайдамаковъ подъ Уманью, присутствовалъ и при казни Гонты. По словамъ его, Стемпковскій, предводительствуя отрядомъ кавалеріи, составленной изъ одного польскаго католическаго дворянства, съ восемью пушками, окружилъ лебединскій монастырь во время заутрени. Мельхиседекъ съ нѣсколькими монахами вышелъ навстрѣчу къ полякамъ, какъ бы къ богомольцамъ. Но увидя по грозному лицу Стемпковскаго, что тотъ пришелъ не за благословеніемъ, предложилъ ему на серебряномъ блюдѣ четыре тысячи червонцевъ выкупа за себя и за монастырь. Но это не могло умиловать жестокаго поляка, который неизвѣстно гдѣ былъ и что дѣлалъ въ то время, когда Желѣзнякъ былъ въ силѣ. Стемпковскій приказалъ своимъ солдатамъ вкопать въ землю колъ, и по приказанію его, палачи схватили игумена. На всѣ протесты и жалобы Мельхиседека региментарь отвѣчалъ тѣмъ, что показалъ ему благословеніе, данное имъ на письмѣ Желѣзняку и найденное на груди у Гонты во время его казни. Игумень былъ замученъ на колу, а двумъ монахамъ отрубили головы. Говорятъ, что монастырь былъ пощажень и что колъ, на которомъ умеръ игумень, видѣнъ былъ еще въ 1820-мъ году, хранимый поселянами, какъ память жестокаго обращенія поляковъ съ православными.

Тучапскій же говоритъ, что Мельхиседека вмѣстѣ съ Желѣзнякомъ и другими зачинщиками уманской рѣзни отправили въ Москву, гдѣ они были биты кнутомъ на площади и сосланы въ Сибирь. Мельхиседекъ будто бы скоро былъ прощенъ, возвращенъ въ Кіевъ и сдѣланъ архимандритомъ. Иные же говорятъ, что Мельхиседекъ раньше ушелъ въ Малороссію, оправдался тамъ отъ всѣхъ обвиненій и получалъ въ управленіе монастырь.

Вообще надо сказать, что тѣ изъ гайдамаковъ, которые попались въ руки польскаго правосудія, большею частью наказаны смертію. Тѣ же, которыхъ судили въ Россіи; большею частью биты кнутомъ, въ то время національнымъ орудіемъ наказанія, которымъ били и сподвижниковъ Пугачева, и атамановъ понизовой вольницы, начиная отъ Иванова и кончая Заметаевымъ.

XIV.

Современники уманской рѣзни, люди, сужденія которыхъ имѣютъ цѣну въ глазахъ польскихъ писателей *), удостовѣряютъ, что Польша, въ періодъ этого несчастнаго мятежа, кромѣ уничтоженія и потери на многіе миллионы имущества, утратила *до двухъ сотъ тысячъ человекъ*! Въ это громадное число они включаютъ и тѣхъ, которые умерли съ голоду во время укрывательства отъ гайдамаковъ, которые погибли, наконецъ, отъ другихъ причинъ, неразрывно связанныхъ съ бунтомъ народа, включаютъ и самихъ гайдамаковъ, казенныхъ на плахѣ, на вистлицѣ и на колу и убитыхъ въ схваткахъ съ войсками, которыхъ было, впрочемъ, очень немного, и поселянъ, наказанныхъ смертью за прикосновенность къ бунту. Включаютъ въ это число и тѣхъ, которые пали отъ гайдамаковъ уже вслѣдствіе ихъ кроваваго увлеченія: когда уже для бунтовщиковъ не стало ни поляковъ, ни жидовъ, они бросились на зажиточнѣйшихъ крестьянъ, сыпали имъ огонь за голенища, дабы тѣ сознались, гдѣ у нихъ спрятаны деньги“.

Двѣсти тысячъ человекъ, погубленныхъ гайдамачиною одного 1768 года, составляютъ такую громадную потерю, какую понесло человѣчество только отъ самыхъ опустошительныхъ войнъ. Новѣйшая исторія показываетъ намъ, что даже такія гибельныя войны, какъ германская (австро-прусская 1866 года) и итальянская истребили народу меньше, чѣмъ бунтъ крестьянъ, поднятый Мельхиседекомъ и Желѣзнякомъ, и только крымская и сѣверо-американская междоусобная война превышаютъ гайдамачину своей опустошительностью. По свѣдѣніямъ, выведеннымъ г. Покровскимъ на основаніи изслѣдованія Леруа Боле (Les guerres contemporaines), оказывается, что войны, начатыя и оконченныя въ послѣднія 15 лѣтъ, погубили народу: американская 800,000 человекъ, крымская 784,000, экспедиціи французовъ 65,000, итальянская и германская обѣ по 45,000, шлезвигская 3,500 человекъ **).

Такия народныя движенія, какъ пугачевщина и гайдамачина, тѣмъ именно и ужасны, что они истребительнѣе самыхъ ожесточенныхъ войнъ. Если въ крымскую и американскую войну погибло такъ много народу, то это весьма естественно, такъ какъ и та, и другая война велись въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ. Между тѣмъ, пугачевщина продолжалась ровно годъ и погубила народу, можетъ быть, не менѣе крымской войны, гайдамачина же, собственно рѣзня, произведенная по зову Мельхиседека и Желѣзняка, въ какихъ-нибудь три или четыре мѣсяца истребила 200,000 народу.

Но, при столь истребительномъ характерѣ гайдамачины, громадное значеніе ея въ исторіи Россіи только тогда вполне опредѣлится, когда мы выяснимъ ея органическую связь съ пугачевщиною и при этомъ укажемъ

*) Или по выраженію Липомана, „mogące dobrze sądzić o rzeczach ówczesni światli ludzie“.

**) Отеч. Запис. 1868 г., кн. 7.

на то обстоятельство, еще доселѣ никѣмъ неподмѣченное, по которому оказывается, что начало пугачевщины отчасти лежитъ въ гайдамачинѣ, и что гайдамаки были не послѣдними дѣятелями въ подготовкѣ пугачевского мятежа. Въ архивныхъ документахъ изъ времени Пугачева, мы нашли указанія на прямую, непосредственную связь народнаго движенія въ Малой Россіи съ народнымъ движеніемъ въ Великой Россіи.

Когда Россія, вмѣшательствомъ въ дѣла Польши, уничтожала планы барскихъ конфедератовъ, и когда коноводы конфедераціи, Пулавскій, Потоцкій и другіе, взятые въ плѣнъ русскими войсками, сосланы въ Казань и Сибирь, то изъ мести къ Россіи они принимали дѣятельное участіе въ пугачевщинѣ: помогая Пугачеву, Пулавскій и Потоцкій хотѣли выиграть въ Казани и вообще въ поволжѣ то, что потеряно въ Варѣ и вообще въ предѣлахъ Рѣчи Посполитой. Какъ оказывается теперь, тоже самое дѣлали и гайдамаки: Уже въ исторіи понизовой вольницы мы не могли не обратить вниманія на то обстоятельство, что между поволжскими разбойниками весьма часто попадались малороссіяне. Между поволжскими разбойниками находился не одинъ атаманъ, вышедшій изъ Малой Россіи. Такими были атаманы: Шагала, Дегтяренко и Беркутъ. Простыхъ разбойниковъ изъ малороссіянъ было еще больше; малороссіяне участвовали во всѣхъ народныхъ смутахъ, происходившихъ въ Поволжѣ. Малороссіяне являются дѣятельными помощниками всѣхъ самозванцевъ, какъ это и можно видѣть изъ нашихъ монографій о самозванцахъ Богомоловъ и Ханинъ. Мы замѣтили тогда гадательно, что между этими личностями были, вѣроятно, и такія, которыя участвовали когда-то въ гайдамачинѣ и въ уманской рѣзнѣ, и которые потомъ, по разгромѣ гайдамацкихъ шаекъ русскими, польскими и запорожскими отрядами, разбѣлились по Россіи „съ ножами за голенищемъ“.

Въ настоящее время высказанныя нами предположенія подтверждаются документами, о которыхъ мы прежде не знали, и изъ этихъ документовъ видно, что дѣло Мельхиседека и Желѣзняка, начавшееся за Днѣпромъ, въ тясминскихъ лѣсахъ, не остановилось на Умани, а пошло въ глубь Великой Россіи, прошло черезъ Яикъ, Оренбургъ и Казань до Сибири, прошло по всему Поволжью, коснулось Нижняго, Воронежа, Тамбова, Саратова, Симбирска, даже Москвы и Петербурга, и кончилось казнью Пугачева. Въ одномъ архивномъ дѣлѣ, изъ эпохи пугачевщины*), мы нашли допросъ одного пугачевца, который былъ участникомъ гайдамачины и уманской рѣзни, и изъ показаній котораго видно, что южно-русскіе гайдамаки не только участвовали въ пугачевщинѣ, но и подготовляли ее, желая мстить „великороссіянамъ“ за то, что они тѣснили гайдамаковъ и урѣзывали права и вольности казакціи.

Участіе гайдамаковъ въ подготовкѣ пугачевщины задумано въ тотъ самый годъ, когда была уманская рѣзня. Изъ показаній малороссіянина

*) Изъ стараго архива саратовскаго магистрата.

Дударенка, отобравныхъ отъ него въ саратовской воеводской канцеляріи, мы узнаемъ эти любопытныя обстоятельства. Дударенко взятъ былъ за Волгой противъ Саратова, и обвинялся „въ подговорѣ“ поселенныхъ за Волгою малороссіянъ къ „прилѣпленію всѣхъ тамо жительствовавшихъ въ злодѣйской Пугачева толпѣ“. Дударенко самъ сознался, что шесть лѣтъ назадъ онъ былъ гайдамакомъ, и хотя не называлъ себя собственно этимъ именемъ, однако, показывалъ, что „въ прилучившееся польскимъ господамъ и жидамъ отъ запорожскихъ казаковъ купно съ малороссійскими крестьянами разореніе“ онъ былъ въ Польшѣ и „по наказу войсковаго начальства съ оными польскими людьми воевалъ“. Потомъ, когда великороссійскія команды, по оговору польскихъ господъ, яко бы оное запорожское войско, въ коемъ и онъ, Дударенко, казакомъ состоялъ, „суть разбойники и гайдамаки, стали запорожцевъ (т. е. гайдамаковъ) изъ Польши выгонять, а многихъ подъ караулъ брали и въ смерть убивали“, то Дударенко, вмѣстѣ съ прочими запорожскими командами изъ Польши вышелъ, и совокупившись съ другими казаками, въ запорожскую землю прибыли, и тамо проживя, уговоръ имѣли запорожцы, какъ бы имъ въ Крымъ на волю изъ-подъ россійской руки выйти“. Тогда находившійся между ними одинъ запорожскій казакъ, который былъ родомъ съ Дону, сталъ говорить товарищамъ, что „какъ-де запорожскому войску и всему малороссійскому народу отъ великороссіянъ и великороссійскихъ господъ великое утѣшеніе учинено, и казакамъ тако-жъ и посполитымъ людямъ ходу нѣтъ“, то онъ и предлагалъ охотникамъ перебраться на Донъ, а „съ Дону-де на Янкѣрѣнку рукой подать“. Этотъ запорожецъ съ Дону говорилъ также, что донскіе казаки „великороссійскимъ господамъ въ обиду себя отъ вѣку не давали“, а если и на Дону будетъ „таковое-жъ какъ и въ малороссійскихъ областяхъ гоненіе“, то „казаки-де, совокупившись, возьмутъ съ собою яицкихъ казаковъ и уйдутъ въ Турцію, изъ коей, поворотясь съ турецкою аріею, россійскую имперію вверхъ дномъ поставить могутъ“.

Это совѣщаніе гайдамаковъ кончилось тѣмъ, что они переправились черезъ Днѣпръ, выше Самары, на русскую сторону, и тамъ прожили зиму въ разныхъ зимовникахъ, а весной собравшись, по уговору, у одного казака „камбулупцака куреня“ (имени его Дударенко припомнить не могъ), вся эта гайдамацкая партія вышла на Донъ, собственно на рѣчку Деркулъ, „вѣдомства донскаго войска на хуторъ старшины Лазарева“. Что эта партія дѣлала тамъ, неизвѣстно, только Дударенко отдѣлился отъ прочихъ гайдамаковъ, которыхъ было 27 человекъ, и, опасаясь отъ донскихъ чиновныхъ людей взыску“, бродилъ изъ одной мѣстности въ другую, жилъ большею частью у раскольниковъ, а съ Дону перебрался на Иргизы, гдѣ и жилъ по разнымъ скитамъ.

Это шатанье бѣлаго гайдамака по раскольникамъ и по скитамъ напоминаетъ такое же шатанье Пугачева, когда онъ вышелъ изъ Польши. Безъ сомнѣнія, раскольники жаловались на трудное житье въ Россіи, на гоненіе православія (т. е. старой вѣры) и на все, на что они жаловались и Пу-

гачеву. Дударенко съ своей стороны говорилъ, что такіа же трудныя времена настали и для Малороссіи, и для Запорожя, что никому тамъ „ходу вѣтъ“, и при этомъ припоминались слова того гайдамака изъ донскихъ казаковъ, что „россійскую имперію“ слѣдовало бы „вверхъ дномъ поставить“, чтобъ въ ней не было ни господъ, ни чиновниковъ, какъ это и думали сдѣлать запорожцы еще въ 1770 году, говоря, что они, „выбивши всѣхъ пановъ, и москаля не забудутъ“ или, что они „всѣхъ пановъ побивши, другихъ себѣ пановъ найдутъ“, и что у нихъ ужъ „давно готовое мѣсто есть“ *).

Подтверженіе этому мы находимъ въ показаніяхъ самого Дударенка. Когда онъ жилъ въ Иргизахъ, то въ 1772 году, въ великій постъ, пріѣхали съ Дону на Иргизы, въ скитъ старца Питирима, два донскихъ казака, изъ которыхъ одинъ назывался Забродею. Казаки пріѣхали въ скитъ „богу молиться“. Однажды, „между разговоръ, оный Забродя, жалуюсь на старшинскіе непорядки, какъ у нихъ подъ московскими генералитетами трудно жить стало“, говорилъ:

— А впредь хуже того будетъ.

— Святой вѣрѣ гоненіе не перестаетъ, и слышно, что церковныхъ поповъ брать будутъ и въ римское облаченіе одѣнутъ,—замѣтилъ съ своей стороны старецъ Питиримъ.

— Я подлинно вѣдаю,—сказалъ опять Забродя,—что какво гоненіе на запорожскихъ казаковъ воздвигнуто господами, такое же и на всѣхъ насъ казавовъ будетъ. Уже малороссійскіе люди, не стерпя того гоненія, всю землю къ намъ идти желаютъ.

— Помогай имъ Воже,—прибавилъ на это Питиримъ,—они люди добрые и съ московскими господами, чаю, тоже учинять, что и съ польскими было.

На это Дударенко, помнившій, какъ приняло русское правительсто ихъ гайдамацкіе подвиги въ Польшѣ, возразилъ:

— Упаси ихъ Богъ отъ таковаго дѣла.

Но когда Забродя спрашивалъ, почему онъ такъ думаетъ, Дударенко отвѣчалъ:

— Нашего-де брата, запорожца, за то россійское начальство на кобылу клало.

— Всѣхъ россійскихъ людей да и казаковъ донскихъ, такожъ и янцкихъ, буде одною мыслью бунтъ учинять, на кобылу не положишь,—закричалъ Забродя.

„Не стерпя таковыхъ рѣчей и опасаясь за оныя взыску“, Дударенко ушелъ изъ кельи Питирима. Дальнѣйшія похождения Дударенка принадлежать уже къ исторіи пугачевщины, и потому мы объ нихъ не будемъ распространяться. Мы должны только замѣтить, что въ жизни этого стараго

*) Показаніе іеродіакона Амвросія и казака Григорія Кренича на казаковъ Цыгана и Стороженка.

гайдамака какъ бы воплотилась исторія всего русскаго народа, обѣихъ его половинокъ, и именно исторія XVIII вѣка. Сначала русскій народъ поднимается на западъ Россіи, желая уничтожить панство вмѣстѣ съ поляками, а потомъ, выбивши пановъ и добравшись до москаля выбрать себѣ новыхъ пановъ, т. е. совершенно передѣлать государственный строй, которымъ народъ былъ недоволенъ. Но когда исполненію народнаго желанія помѣшали русскія команды, западно-русскій народъ пріутихъ, покорился необходимости. Положеніе народа не измѣнилось къ лучшему, а, напротивъ, ухудшилось, и наименѣ нетерпѣливые изъ народа или наиболѣе притѣсняемые, „не стерпя того гоненія“, потянулись на востокъ Россіи, гдѣ было тоже недовольство существующимъ ходомъ дѣлъ, что и на западѣ, гдѣ также были всеильные паны, также съ каждымъ годомъ урѣзывались казацкія вольности. И вотъ на востокъ Россіи народъ также поднялся, только ужъ не подъ знаменемъ казака Желѣзняка, представителя Малороссіи, потому что казачество, вслѣдствіе разныхъ историческихъ условій, было ея идеаломъ, а подъ знаменемъ самозванца и мнимаго благодѣтеля народа. Дударенко, составлявшій малѣйшую единицу въ великомъ русскомъ народѣ, вмѣстѣ съ русскимъ народомъ страдавшій и въ западной, и въ восточной половинѣ Россіи, принялъ участіе и въ томъ, и въ другомъ движеніи народа. И такихъ гайдамаковъ, какъ Дударенко, было немало въ то время, на что указываютъ малороссійскія фамиліи, часто попадающіяся и между низовыми поволжскими добрыми молодцами, и между пугачевцами.

Въ заключеніе мы должны сказать, что, хотя украинскій народъ въ своей поэзіи и выражаетъ сочувствіе къ самымъ выдающимся личностямъ гайдамачины, къ Саввѣ Чалому, къ сотнику Харьку Жаботинскому, къ Желѣзняку, Гонть, Швачкѣ, Мартыну Вѣлугѣ, Неживому, Журбѣ и Галайдѣ, о которыхъ онъ поетъ думы, одинаково дорогія его сердцу, какъ и думы о Хмельницкомъ, которыхъ считаетъ носителями своей исторической славы,—однако, самое понятіе гайдамачины и идея, соединенная съ словомъ „гайдамакъ“, не пользуются въ настоящее время общою симпатіею народа: собственно гайдамака онъ какъ бы отдѣляетъ отъ героевъ гайдамачины, и понимая послѣднихъ, какъ защитниковъ Украины и православія отъ польскаго панства и латинства, самихъ гайдамаковъ онъ понимаетъ не иначе, какъ разбойниковъ, „злодѣевъ“ и душегубцевъ.

Поразительное подтвержденіе этому мы видимъ въ извѣстномъ разсказѣ старой Дубинихи, которая „обмирала“ и, подобно Данте, была въ аду, гдѣ и видѣла ужасы, какіе ожидаютъ грѣшныхъ людей въ загробной жизни. Между прочимъ, она видѣла тамъ гайдамака, мученія котораго были ужаснѣе всѣхъ грѣшниковъ, совершавшихъ въ земной жизни самыя страшныя преступленія.

Послѣ описанія всѣхъ ужасовъ ада, старая Дубиниха такъ говоритъ о своей встрѣчѣ на томъ свѣтѣ съ гайдамакомъ: „идемъ мы,—говоритъ она,—дальше и видимъ—гайдамакъ, такой старый да здоровенный, загибаетъ руками изъ ямы въ яму переносить, а демоны его желѣзными острогами

погоняють. Старичекъ и говорить (какъ Данте на томъ свѣтѣ водила тѣнь Виргилія, такъ и Дубинику водилъ какой-то старичекъ): „Этотъ много навѣвалъ грѣховъ на томъ свѣтѣ, и эпитимію великую выдержалъ—но и эпитимію его не освободила. Тяжки, велики грѣхи его. За то онъ и мучится горше всѣхъ грѣшныхъ душъ. Долго разбивалъ онъ народъ, рѣзалъ стараго и малаго, а потомъ одумался и пошелъ исповѣдываться. Пришелъ къ одному священнику и говорить: „исповѣдай меня, отче, да наложи эпитимію“.—„Какіе же твои грѣхи?“—„Вотъ какіе: много я душъ со свѣта согналъ, и отца съ матерью убилъ“.—„О, на такіе грѣхи нѣтъ — меня эпитиміи“. Онъ взялъ да и убилъ того священника. Идетъ къ друу гому: „Исповѣдай меня, отче, да наложи эпитимію“.—„Какіе же твои грѣхи?“—„Такіе и такіе“.—Тотъ и говоритъ: „Нѣтъ на нихъ эпитиміи“. Онъ и этого убилъ. Потомъ видить, что никто его не исповѣдуетъ, — онъ услышалъ, что есть гдѣ то такой священникъ, что еще маленькимъ отецъ продалъ его нечистому, за то, что нечистый помогъ ему высвобить возъ изъ лужи; такъ этотъ священникъ былъ уже въ аду и оттуда какъ-то освободился и сдѣлался священникомъ. „Пойду, говоритъ гайдамакъ, искать этого священника: этотъ уже навѣрное наложитъ на меня эпитимію“. Пошелъ, а этотъ священникъ и идетъ ему навстрѣчу. Гайдамакъ спрашиваетъ: „Ты былъ въ аду?“—„Былъ“.—„А видѣлъ ты тамъ мой образъ, мою душу?“—„Видѣлъ“.—„Что она тамъ дѣлаетъ?“—„Змѣй руками изъ ямы въ яму переноситъ, а демоны ее желѣзными острогами погоняють“.—„Ну, когда ужъ ты и съ того свѣту вернулся, то ты на меня наложишь эпитимію“.—„Какіе же твои грѣхи?“—„Много я душъ со свѣта согналъ и отца съ матерью убилъ“.—„О!—говоритъ, — тяжки твои грѣхи! И повелъ его на гору, на курганы, и говорить: „Возьми ты эту яблонную палку—она мнѣ еще отъ дѣда досталась, да посади ее вотъ тутъ на курганахъ, да вонъ видишь ли тамъ далеко, далеко въ полѣ родникъ—ходи ты утромъ и вечеромъ до того родника, носи воду ртомъ и поливай эту палку. Когда она примется и вырастетъ изъ нея яблоня и поспѣютъ яблоки, и ты всѣхъ ихъ отрясешь съ дерева, тогда спадутъ съ тебя и всѣ твои грѣхи“. Сказалъ и поѣхалъ себѣ. Но вотъ лѣтъ черезъ тридцать ѣдетъ вновь тотъ священникъ черезъ тотъ лѣсъ, мимо тѣхъ кургановъ, ѣдетъ, а ему откуда-то и запахло яблоками. Видить, а на курганахъ такая хорошая да густая яблоня стоитъ, а на яблонѣ яблоки все серебряныя, только два золотыхъ, а подъ яблонею сидитъ старикъ сѣдой-сѣдой, какъ молоко. Увидѣлъ священника, узналъ, да только рукой на яблоню показалъ: ужъ и слова не вымолвить. — „А!—говоритъ священникъ, —это тотъ гайдамакъ, на котораго я эпитимію наложилъ... Ну, стряси яблоки!“—Старикъ началъ встряхивать дерево—всѣ серебряныя яблоки обсыпались, а два золотыхъ висятъ. — „Вонъ, —говоритъ священникъ,—твои два грѣха висятъ что ты отца съ матерью убилъ“. Да, набравши въ платочекъ яблокъ, и поѣхалъ. А гайдамакъ такъ и скончался. И мучится тутъ онъ

горше всѣхъ грѣшниковъ и никогда не будетъ ему прощенья. Всѣмъ будетъ когда-нибудь прощенье, а ему не будетъ *).

Этотъ суровый взглядъ на гайдамака созданъ уже въ послѣдствіи, когда гайдамакъ превратился въ простаго разбойника и уже убивалъ не поляковъ и не евреевъ, а своихъ ближнихъ, не милуя ни отца, ни матери. Такіе разбойники были и въ Великой Россіи, между понизовыми добрыми молодцами, гдѣ особенно, по народнымъ пѣснямъ, извѣстенъ ужасный разбойникъ—женщина, именно „дѣвушка Пелагеюшка“, которая убила отца съ матерью, убила родного брата и вынула изъ него живое сердце—„на ножѣ сердце встрепенулося“, она, „красная дѣвица, улыбулася“, а „добрые молодцы“, которымъ она рассказала объ этомъ отвратительномъ убійствѣ, „ужасались и въ воду покидались“.

Между тѣмъ, въ свое время, на сторонѣ гайдамачины были всѣ симпатіи народа, и эти симпатіи выразились въ народной поэзіи. Въ новѣйшее время выразителемъ народной симпатіи въ гайдамачинѣ, какъ къ послѣднему проявленію самобытнаго духа украинскаго народа, былъ популярнѣйшій южно-русскій поэтъ, который до конца жизни думалъ заодно съ своимъ народомъ и въ поэмѣ котораго („Гайдамаки“) вполне отразилось возрѣніе украинскаго народа на описываемую нами смутную эпоху.

Вотъ заключительныя слова Шевченка о гайдамачинѣ:

„Посѣяли гайдамаки на Украинѣ жито, да не они его жали... что-жъ дѣлать! Нѣтъ правды, не выросла,—кривда вездѣ гуляетъ. Разошлись гайдамаки, куда глаза глядятъ, кто домой, кто въ лѣсъ, съ ножомъ за голешищемъ—жидовъ кончатъ: такая и до сихъ поръ осталась за ними слава. А тѣмъ временемъ стародавнюю Сѣчь разрушили: разошлись казаки—кто за Дунай, кто на Кубань, только и остались дѣпровскіе пороги, что ревуть, завываютъ: „похоронили дѣтей нашихъ, и насъ разрываютъ“. Ревуть пороги, и будутъ ревѣть—ихъ люди миновали, а Украина на вѣки, на вѣки заснула! Съ той поры на Украинѣ жито зеленѣетъ, не слышно ни плача, ни пушекъ, только вѣтеръ вѣетъ, нагибаетъ вербы въ лѣсу да траву въ полѣ... Все замолкло... И пусть молчить—на то Божья воля“.

К о н е ц ъ.

*) Зап. о юж. Рус.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Д. Л. Мордовцева.

ВСПЫШКИ
ПОНИЗОВОЙ ВОЛЬНИЦЫ

въ 1812 году.

ИСТОРИЧЕСКАЯ МОНОГРАФІЯ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Издание Н. Э. Мертцъ.
1902.



Вспышки понизовой вольницы въ 1812 году.

I.

Въ монографіи о послѣднихъ политическихъ движеніяхъ южно-русскаго народа „Гайдамачина“, мы по возможности выяснили ту аналогичность явленій, какая существовала въ народныхъ движеніяхъ южной Россіи, собственно Украины, съ Россією восточной, между гайдамачиной, понизовой вольницей и пугачевщиной, и ту органическую связь, которою связывались въ нѣчто единое и цѣльное движенія народныхъ массъ обѣихъ половинъ Россіи. Въ нихъ была одна душа, одно знамя. Въ числѣ понизовыхъ добрыхъ молодцовъ были и гайдамаки съ Днѣпра. Днѣпровскіе же добрые молодцы, мѣшаясь въ общемъ дѣлѣ съ поволжскими добрыми молодцами, участвуя нерѣдко въ однихъ и тѣхъ же шайкахъ, были отчасти и подговителями пугачевщины. Какъ тѣ, такъ и другіе говорили: „Мы тряхнемъ Москву“. Въ другомъ случаѣ удалые добрые молодцы хвастались: „Мы Россійское государство вверхъ дномъ поставимъ“, или по ідиомамъ южнорусской рѣчи, на которой объяснялись добрые молодцы,—не вверхъ дномъ, а „до горы ногами“ (чего имъ, конечно, не удалось). Элементы этихъ народныхъ движеній, самая закваска броженій не улегшихся народныхъ силъ, какъ оказывается, долго не выдыхались изъ характера русскаго народа, и броженіе это ясно чувствуется еще въ 1812 году. Какой-нибудь поповичъ Ильинъ, какъ мы увидимъ ниже, хочеть воскресить времена Стеньки Разина; въ народѣ проявляется общее „озорничество“, какъ тогда выражались, задоръ и „шумство“. Въ публичныхъ мѣстахъ слышатся „необычныя“ угрозы, неизвѣстно къ кому обращенныя: „мы-де васъ переберемъ... мы-де до всѣхъ доберемся“. А когда такое шумство проявляется въ народѣ, естественно,—понизовая вольница, повидимому вымершая, снова поднимаетъ голову. Старыя явленія повторяются. Разсматривая такія историческія явленія, какъ понизовая вольница, какъ всѣ казачества на южныхъ и восточныхъ окраинахъ Россіи, какъ Запорожская сѣчь и какъ органическое выдѣленіе и продолженіе ея—гайдамачина, разсматривая это всеобщее народное „шумство“ съ точки зрѣнія общечеловѣчески-историческаго развитія, мы не можемъ не прійти къ убѣжденію, что всѣ эти явленія не что иное, какъ формы или видоизмѣненіе проявленій одной и той же

силы, въ которой совершается процессъ историческаго роста, что аналогическія эти явленія раньше прошли по всѣмъ фазисамъ развитія на западѣ, что запорожская сѣчь, гайдамачина и понизовая вольница, только въ нѣкоторыхъ иныхъ формахъ и съ своими наименованіями, были и въ западной Европѣ, что и западная Европа видѣла и свое казачество, и свою понизовую вольницу, и свою гайдамачину, и даже свою пугачевщину. На западѣ сѣчевики и удалые добрые молодцы носили названіе то мальтійскихъ рыцарей, то храмовниковъ, то меченосцевъ. У западныхъ добрыхъ молодцовъ были свои сѣчи, свои укрѣпленные мѣста, свои „станы“ и „притоны“, какіе были и у гайдамаковъ, гдѣ-нибудь на рѣкѣ Синюхѣ, и у поволжскихъ добрыхъ молодцовъ, гдѣ-нибудь на волжскомъ островѣ, въ глухомъ буграктѣ, въ отдаленномъ степномъ урочищѣ. Во всемъ этомъ видны явленія одного и того же химическаго процесса горѣнія или растенія человѣческихъ обществъ, процессы отживанія, гніенія и разложенія однихъ и тѣхъ же тѣлъ и возникновеніе изъ нихъ новыхъ, съ другими проявленіями дѣятельности; только на западѣ все это шло нѣсколько иначе, чѣмъ у насъ, на востокѣ, какъ и все тамъ шло не совсѣмъ такъ, какъ у насъ, и не къ тѣмъ приводило результатамъ, къ какимъ приводитъ у насъ. Такимъ образомъ, когда тогдашняя русская правительственная регламентація стала давить запорожскую сѣчь и въ ней самой, какъ и во всѣхъ тогдашнихъ казачествахъ, начался процессъ отживанія, горѣнія, гніенія или разложенія, то отъ давиваго и разлагающагося тѣла стали отдѣляться особыя частицы, которыя, вслѣдствіе унесенныхъ ими изъ прежняго тѣла жизненныхъ, еще не умершихъ началъ, слагались въ отдѣльные живые или только въ полуживые организмы, а эти послѣдніе, полуживые или больные организмы, въ свою очередь, силились воспроизвести, для укрытія себя, для рожденія, питанія и покоя, свои норы, трущобы и логовища. Эти норы на западѣ назывались орденами (ордена тамплиеровъ, тевтонитовъ и всѣ монашествующія и нищенствующія шайки западной понизовой вольницы), а у насъ или гайдамацкими притонами, или разбойничьими станами,—наконецъ, просто „воровскими рощами“. Въ эти станы и притоны, какъ и въ запорожскую сѣчь, какъ и въ рыцарскіе ордена, стекалось все недовольное существовавшими порядками, не уживавшееся съ общою обрядовою, традиціонною стороною жизни, или все пригнетенное, придавленное обстоятельствами, порой спившееся съ кругомъ, порой не удовлетворявшееся узостью круга радовой пошлости и благонамѣренной дюжинности, подобно тому, какъ и удалый добрый молодецъ Степанъ Разинъ, сынъ Тимофеевичъ,

Во казачій кругъ Степанушка не хаживаль,
Онъ съ нами, казаками, думу не думываль,
Ходилъ, гулялъ Степанушка во царевъ кабакъ,
Онъ думалъ крѣпку думушку съ голытьбою *).

*) Голытьба, голь кабацкая — на восточной окраинѣ Россіи, — голода, голытепака — на южной.

Эти бродячія, протестующія силы русскаго народа вызвали въ народномъ творчествѣ цѣлую литературу, которая вошла воспитательнымъ и поучительнымъ элементомъ въ жизнь нѣсколькихъ сотъ генерацій русскаго народа какъ въ XVII, такъ XVIII и даже XIX вѣкѣ. Это та литература, которую противная протестующей сторонѣ часть русскаго общества, т. е. тѣ, съ которыми ни Степанушка, ни другіе добрые молодцы не хотѣли „думать крѣпкую думушку“—назвали литературою „разбойною“ или пѣснями „разбойничьими“, „удальми“. Литература эта до сихъ поръ обращается въ устахъ народа, и то, о чемъ онъ поетъ, и тѣ удалые добрые молодцы, которыхъ прославляетъ пѣсня, составляютъ какъ бы гордость народа, его прошедшую славу, его собственную, прочувствованную всѣмъ народомъ исторію. Для историка явленіе это составляетъ одно изъ такихъ историческихъ явленій прошедшей жизни русскаго народа, которое давно должно бы было вызвать особенно тщательную разработку условій народной жизни и событій, вызвавшихъ это крупное явленіе. Что народъ глубоко сочувственно относился къ этому протестующему элементу, доказывается не только тѣмъ, что онъ создалъ цѣлую литературу этого любимого имъ предмета, какъ создалъ Илиаду и Одиссею, но и передалъ ее противной сторонѣ, не протестующей. Благонамѣренные и образованные классы русскаго общества не менѣе протестующей голытьбы восхищались этими разбойничьими пѣснями, и мы всѣ пѣли и до сихъ поръ поемъ ихъ, какъ нѣчто всѣмъ родное и дорогое. Это уже освящаетъ собой не только самое явленіе, вызвавшее народное творчество, но даже и самые факты, ставшіе достояніемъ всего русскаго народа и потому получившіе право на память исторіи. Вся Россія донинѣ поетъ, какъ народный гимнъ, знаменитую русскую пѣсню:

Внизъ по матушкѣ по Волгѣ,
По широкому раздолью.

Устами и сочувствіемъ цѣлой Россіи освящена эта пѣсня. Она какъ бы характеризуетъ весь русскій народъ, всю Россію, какъ характеризуетъ ее „камаринскій мужикъ“ въ музыкѣ Глинки, какъ „Partant pour la Syrie“ характеризуетъ духъ француза, какъ „Wo ist des Deutschen Vaterland“ характеризуетъ духъ нѣмца; чтобы показать Европѣ, какая въ репертуарѣ русскихъ народныхъ пѣсень наиболѣе русская, наиболѣе характеристичная и наиболѣе любимая, русскій непремѣнно пропѣетъ „Внизъ по матушкѣ по Волгѣ“. А между тѣмъ эта пѣсня—разбойничья, удалая. Въ ней воспѣвается все та же „вольная“, „раздольная“ Волга, все та же знаменитая „лодочка“, въ которой гуляла понизовая вольница и разбивала „суда“, „бусы“, „корабли“ и „расшивы“. На ней гребцы—все тѣ же „ребята“, все тѣ же удалые добрые молодцы. Какъ устами и сочувствіемъ цѣлой Россіи освящена эта пѣсня, такъ этими же устами и народнымъ сочувствіемъ освящена вся разбойничья литература, весь циклъ поэзіи понизовой вольницы. Вотъ почему явленіе это, его видоизмѣненія, его былая лѣтопись и прославленные народомъ выразители

этого явления, удалые добрые молодцы и ихъ „атаманушки“, должны непременно занять соответствующее имъ мѣсто въ русской исторіи, какъ въ исторіи западныхъ народовъ заняли свои мѣста удалые добрые молодцы—меченосцы, крестоносцы, тампліеры, тевтониты, мальтійцы, іезуиты, какъ въ исторіи южной Россіи заняли подобающее имъ мѣсто запорожцы, а потомъ, какъ ихъ преемники, гайдамаки. Обращаясь къ исторіи южныхъ славянъ, мы и тамъ находимъ и удалыхъ добрыхъ молодцевъ, и понизовую вольницу. Это — „ускоки“, „хайдучи“—то же, что „воры-разбойники“, то же, что „сходцы“, „бродники“, „гультаи“, „гайдамаки“, голытьба, голь. „Ускоки“ такой же протестующій элементъ въ южномъ славянствѣ, покоришемся турецкому ярму и турецкимъ порядкамъ, такія же бродячія силы, какими являются понизовые добрые молодцы и гайдамаки, только „ускоки“ ведутъ войну съ врагами своего племени, съ врагами христіанства. Какъ и удалые добрые молодцы, „ускоки“ не имѣютъ ни родного дома, ни родной семьи,—это все они покинули, не вынося существующихъ порядковъ, и скитаются по скаламъ и темнымъ лѣсамъ, по „платинамъ“ и „горамъ зеленымъ“ Балканскаго полуострова. У „ускоковъ“, какъ и у понизовой вольницы, есть свои станы въ горахъ и лѣсахъ, а иногда они находятъ пристанодержателей и между своимъ роднымъ славянскимъ населеніемъ. Какъ творчество русскаго народа создало цѣлую литературу, воспѣвающую подвиги удалыхъ добрыхъ молодцевъ, такъ и творчество южныхъ славянъ создало свою литературу объ „ускокахъ“ и другихъ борцахъ за народное дѣло, начиная отъ Марка Королевича и кончая послѣднимъ „момче неженено“. Какъ русская литература сочувственно относится къ удалымъ добрымъ молодцамъ и ихъ представителямъ, „славнымъ атаманушкамъ“, такъ и южно-славянская народная поэзія отдаетъ свои симпатіи героямъ національнаго дѣла, въ томъ числѣ и простымъ „ускокамъ“. Для народа драгоценъ всякій малѣйшій штрихъ, обрисовывающій не только характеръ его любимцевъ-героевъ, но и ихъ наружность, ихъ привычки. Описаніе ихъ подвиговъ и всего, до нихъ относящагося, принимаетъ чисто эпическую форму. Какъ понизовая вольница, „ускоки“ также являются всегда небольшими партіями, шайками, „четами“. Они смѣло появляются около городовъ и селеній, нагоняють страхъ на турокъ и исчезаютъ безслѣдно *).

Юш зарица не забиѣлила,
Ни даница лица помолила,
А од дана ни помена нема,
Но продъоше четири ускока
Передъ іаіца града биѣлога,
Сваки води не два добра коня,
Све іеднаке у неге лиіева,
Сваки носи по тридестъ стриѣла,
Сваки носи по двадестъ пушакъ,
Све на іедну бурму завніене,

*) Вотъ для сравненія съ описаніями партіи понизовой вольницы эпическое описаніе одной небольшой партіи „ускоковъ“.

Сваки носи зелене гадаре
Подъ колане съ обадвие стране,
О поіасу сабље аламанке,
А на нѣма од челика баліе,
На главѣ им капе од три вука,
На ледѣма коже од медѣра,
На рамена бнѣли штитови.

Противъ нихъ, какъ и противъ понизовой вольницы, всегда высылають вдвое, втрое и вдесятеро сильнѣйшіе отряды, и „ускоки“ непременно разбиваютъ ихъ, потому собственно, что они выражаютъ собою народъ, его чаянія, его протестующую силу. Такъ, напримѣръ, появляется около турецкаго города партія изъ четырехъ „ускоковъ“ — Іована Шандича, Вука Мандушевича, Марка Карапанджи и Дмитрія Удбара — и изъ города высылають противъ нихъ четыреста турецкихъ охотниковъ подъ предводительствомъ Ибрагима. Турки настигаютъ „ускоковъ“ въ лѣсу, но не рѣшаются атаковать ихъ. Тогда самый младшій изъ „ускоковъ“, у котораго еще было совершенно дѣвическое лицо, безъ усовъ и бороды, Дмитро Удбаръ, рѣшается одинъ идти въ турецкій отрядъ. Тридцатью стрѣлами онъ убиваетъ ихъ еще двадцать, а „зеленымъ гадаромъ“ разгоняетъ всѣхъ по лѣсу. Такова сила „ускоковъ“. Такова-же, по выраженію народной поэзіи, и сила удалыхъ добрыхъ молодцевъ, которые „кистенеиъ махнутъ—корабли берутъ“. Какъ необыкновенна сила у удалыхъ добрыхъ молодцевъ, такъ необыкновенны у нихъ и кони, которые и понимаютъ ихъ и говорятъ съ ними. Когда „ускокъ“ Дмитро Удбаръ разогналъ всѣхъ турокъ, которые разбѣжались по лѣсу, покинувъ своихъ лошадей, то онъ позарился на вскормленныхъ турецкихъ жеребцовъ и, оставивъ своего коня, сталъ загонять турецкій табунъ. Опомнившіеся турки напали на пѣшаго Удбара и отрѣзали ему голову. Тогда остальные три ускока, въ свою очередь, напали на турокъ, всѣхъ ихъ убили, но не могли убить одного изъ предводителей, Ибрагима, который обратился въ бѣгство на конѣ Удбара. За нимъ поскакалъ въ догонку старшій изъ „ускоковъ“, сѣдобородый Іованъ Шандичъ, но не могъ настигнуть своего врага, потому что подъ нимъ былъ добрый конь „ускока“. Тогда сѣдобородый Шандичъ закричалъ къ коню Удбара, „крчату“:

Стан, крчате, изіели те вуци!
Не носи ми Дмитрова крвника.
Таде коньци усерд поля стаде,
Іел поаднаде друга Дмитрового.

Все это общія эпическія черты какъ у русскихъ удалыхъ добрыхъ молодцевъ, такъ и у юго-славянскихъ „ускоковъ“. Не удивительно послѣ этого, что освященная сочувствіемъ народа понизовая вольница становится такимъ живучимъ явленіемъ, что, проходя самой яркой полосой чрезъ всю народную исторію, не вымираетъ даже въ нынѣшнемъ столѣтіи, какъ по настоящее время не вымирають юго-славянскіе „ускоки“, хотя теперь они дѣйствуютъ подъ другими именами и добиваются не совсѣмъ того, чего

эти

при

въ

до

ка

а

с.

в

ч

т

.

:

... в деревнях понизовой
... жизни показанъ нами
... пятидесятихъ годовъ
... въ девятнадцатое
... становятся рѣже,
... стихійности. Про-
... снова даетъ знать
... девятнадцатаго столѣтія го-
... изъ всѣхъ концовъ
... возможность погулять на
... „пошалить“, и понизовая
... обнаруживая сво-
... его вызывавшія, все еще
... общественныя формы, въ ко-
... были заставить уলেখся въ
... силы народа, которыя, повн-
... своего центра притяженія и не
... особенно обнаруживаются въ
... дѣйствія въ некоторыхъ шакъ воль-
... 1812 годахъ.

... правленіе Покровскаго города
... Саратовъ за Волгой, явился одинъ
... бывшій работникомъ у мало-
... явилъ, что въ бытность на хуторѣ
... за Волгой-же, въ степи, раз-
... вѣретахъ во сто, въ ночь съ 25-го на
... хуторъ неизвѣстно какого зва-
... *огнестрѣльными орудіями*
... *разбойнымъ*, насильствомъ, разбойниче-
... дившихся при ономъ хуторѣ рабочихъ
... стабили. Разграбивъ хуторъ, неизвѣстные
... правленіе, выслушавъ заявленіе
... о томъ происшествіи въ Саратовъ.
... о поимкѣ неизвѣстныхъ разбойни-
... подлежащимъ властямъ, сообщили въ
... присутствія иностранныхъ поселенцевъ и въ
... когда власти дѣлали эти распоряженія о
... разбойниковъ, разбойники нагрянули на
... было 1-го мая вечеромъ. Въ громадское
... Тихонъ Быковченко и объявилъ, что
... Пономаренка „пріѣхали неизвѣстные люди,
... орудіями, и начали дѣлать изъ *оныхъ во дворѣ*

выстрѣлы“. Нападеніе разбойниковъ на домъ головы Пономаренка сдѣлано было въ его отсутствіе: Пономаренко находился въ это время въ громадскомъ правленіи и за нѣсколько минутъ до прихода Выковченка вышелъ, чтобъ отправиться домой. Притомъ нападеніе сдѣлано было въ самомъ центрѣ многолюднаго городка. Слободской атаманъ Зоря и десятники немедленно оповѣстили объ этомъ дерзкомъ и неожиданномъ нападеніи на слободу всему населенію. Между тѣмъ Пономаренко, приближаясь къ своему дому и ничего не зная о случившемся, услышалъ ружейные выстрѣлы, и потому тотчасъ же приказалъ бить въ набатъ въ обѣихъ церквахъ, „въ колоколы“. По набату сбѣжался народъ. Но разбойники, не думая отступать, „начали дѣлать на нихъ (т. е. на сбѣжавшихся малороссянъ) изъ огнестрѣльныхъ орудіевъ выстрѣлы“, и пока собралась большая масса народу, они успѣли ограбить домъ Пономаренка и „мучительно тиранили жену его, мать и сына“. Захвативъ добычу *) они усаkali изъ слободы „съ такою поспѣшностью, что по наступившей темной ночи не можно было замѣтить, куда они скрылись“. Для розыска разбойниковъ громадское правленіе въ ту-же ночь отрядило въ разныя мѣста сорокъ верховыхъ, которымъ, конечно, нелегко было ловить конныхъ хищниковъ въ необозримой завожской степи, особенно, когда даже неизвѣстно было, куда они отправились,—на югъ, на востокъ или на сѣверъ. О нападеніи на слободу дали знать въ Саратовъ. Изъ Саратова тоже были наряжены двѣ конныя команды для розыска разбойниковъ, и команды эти должны были преслѣдовать хищниковъ—одна по луговой, другая по нагорной сторонѣ Волги. Оповѣщено было также объ этомъ во всѣ содѣйныя правительственныя учрежденія. На другой день въ слободу пришли новыя вѣсти о разбойникахъ. Въ громадское правленіе явился малороссянинъ Ѳеодоръ Черторый и объявилъ слѣдующее“. Находился онъ при

*) Не безынтересно описаніе вещей, пограбленныхъ разбойниками у Пономаренка, преимущественно носильнаго платья. Вотъ что носили богатые малороссяно-колонисты Поволжья 58 лѣтъ назадъ: „2 кафтана темнозеленаго сукна, обложенные золотымъ гасомъ, стоящихъ 300 рублей, 3-й кафтанъ-же палеваго цвѣта сукна, обложенный золотымъ гасомъ, переплетеннымъ чернымъ шелкомъ, стоящій 200 руб., 4-й и 5-й темнозеленаго сукна, обложенные золотымъ гасомъ, стоящіе 250 руб., 2 бешмета: 1-й штофной, малиноваго цвѣта, 2-й черный атласный, обложенные золотымъ гасомъ, стоящихъ 200 р., 11 жилетовъ разныхъ матерій, стоящихъ 230 р., 5 кушаковъ, изъ коихъ 2 персидскіе краснаго цвѣта, стоящихъ 100 р., 2 шелковыхъ съ разными цвѣтами, изъ коихъ 1 съ золотыми кистями, 150 р., 5-й шелковый-же малиноваго цвѣта, стоящій 35 р., череску, спитую на манеръ кафтана съ англійской нанки бланжеваго цвѣта, обложенную золотымъ гасомъ, стоящую 50 рублей, три платка шелковые, изъ коихъ 1 ранжеваго цвѣта съ золотыми цвѣтами, стоящій 20 р., 2-й шелковый клѣтчаты, стоящій 25 р., 3-й малиноваго цвѣта съ золотыми цвѣтами, женскихъ два креста серебряныхъ съ позолотою и съ камнями, стоящихъ 55 рублей, три пары серегъ же серебряныхъ съ позолотою, стоящія 20 руб., пряжки серебряныя насыпныя, стоящія 20 руб., ~~золотыя~~ гасу на 30 р., медальоны и проч., да денегъ 400 р.

рѣчкѣ Ерусланѣ, состоящей отъ слободы Покровской въ отдаленности также состоящаго при оной рѣчкѣ тестя его, малороссіянина Василія Зимы, хутора при хлѣбопашествѣ, отколь того-жъ апрѣля 30-го числа предъ вечеромъ прїѣхалъ онъ къ показанному своему тестю Зимѣ въ хуторъ для взятія на посѣвъ пшеницы; но по прїѣздѣ его, оной тесть его Зима извѣстилъ ему, что сего апрѣля съ 29-го на 30-е число вечеромъ прїѣхало къ нему на хуторъ неизвѣстныхъ четыре человѣка, вооруженныхъ огнестрѣльными орудіями, *изъ коихъ у одного ноздри вырваны*, начали мучительно тиранили его, Зиму, и жену, намѣреваясь сжечь огнемъ, дабы они чинили о деньгахъ признаніе и отдавали бы оныя имъ, но денегъ у него не было, то они только взяли нѣсколько пироговъ, одинъ пудъ сала, арчакъ, ведро вина, и близъ онаго хутора у находившагося при гуртѣ саратовскаго купца Дениса Канина работника его, по имени неизвѣстнаго, арчакъ и самого его мучительно тиранили, убили изъ ружья теленка, коего сваря у него, Зимы, себѣ для пищи, потомъ уѣхали незнаемо куда^а. Снова послѣдовало распоряженіе о розыскѣ разбойниковъ, снова о томъ-же подтверждено коннымъ командамъ, но все напрасно. Въ этотъ же день еще пришли вѣсти о разбойникахъ, и все изъ-за Волги. 29-го апрѣля изъ слободы Новотроицкой вышла партія рекрутъ, составленная изъ новобранцевъ слободы Александрова Гая, заключающая въ себѣ человѣкъ пятьдесятъ и сопровождаемая „многимъ народомъ“. Начальникомъ партіи былъ голова четвертой узеньской волости Бардинъ. Переправившись черезъ рѣку Малый Узень, партія остановилась на роздыхъ и на кормъ лошадей. Въ это время къ партіи явился экономическій крестьянинъ слободы Малаго Узеня, Агеевъ, избранный обществомъ для отдачи рекрутъ цовоузенскихъ, которыхъ онъ и велъ къ общей рекрутской партіи. „Агеевъ,—пишетъ голова Бардинъ въ своемъ донесеніи, — подошедши, показываетъ мнѣ: бои, причиненные наѣхавшими на нихъ со степи, отѣхавши отъ рѣки Малаго Узеня, разстояніемъ въ тридцати верстахъ, гдѣ былъ прежде постъ, называемы Ямы, не далѣе отъ нихъ пяти верстъ, четыре человѣка разбойниковъ, съ орудіями, по одному ружью, два пушкетовъ и одной сабли, котораго они нещадно били плетью, отняли у него, Агеева, данныхъ отъ общества на отдачу рекрутъ денегъ сто тридцать пять рублей, причемъ, кромѣ его, обиды никому не учинили“. Бардинъ присовокупилъ, что Агеева они тотчасъ освидѣтельствовали и нашли, что онъ дѣйствительно „по плечамъ бить“. Между тѣмъ розыски разбойниковъ продолжались. Разосланные вездѣ конныя казачьи команды и конные малороссіяне Покровской слободы подъ начальствомъ брата головы Пономаренко напали на слѣдъ бѣглецовъ, которые, повидимому, дѣйствовали не совсѣмъ осторожно, надѣясь на быстроту своихъ коней и на свое вооруженіе. Наконецъ, чрезъ недѣлю въ Саратовъ пришло утѣшительное извѣстіе, что разбойники послѣ отчаянной схватки съ ними казаковъ, малороссіянъ и нѣмецкихъ колонистовъ и послѣ жаркой перестрѣлки, захвачены живыми въ руки, хотя тяжело раненые, и только атаманъ шайки убитъ во время пере-

стрѣлки. Разбойники настигнуты были и выдержали стычку съ своими преслѣдователями уже не въ заволжской степи, гдѣ они разбойничали, а на пагорной сторонѣ Волги, далеко ниже Саратова, между селеніемъ Ахматовъ и нѣмецкой колоніей Севастьяновкой. По первоначальному дознанію оказалось, что эти разбойники осенью 1811 года пріѣхали на лодкѣ на стоящій у Волги хуторъ Шаловый, къ покровскому малороссіянину Куяниченку, и просили отвести ихъ „для перезимовки“ въ степныя мѣста, какъ это обыкновенно дѣлали шайки понизовой вольницы передъ наступленіемъ зимнихъ холодовъ, когда по Волгѣ въ косныхъ лодкахъ гулять становилось неудобно. Куяниченко согласился отправить ихъ въ глубь степей Заволжья, именно въ урочище Малый Гашонъ, отстоящее отъ Покровской слободы на 90 верстахъ. Тамъ Куяниченко сдѣлалъ для зимовки разбойниковъ землянку и въ теченіе зимы снабжалъ ихъ „сѣстными и ружейными припасами“. За это разбойники дали Куяниченкѣ 945 рублей. На основаніи этихъ извѣстій, изъ Покровской слободы немедленно были командированы нарочные на хуторъ Шаловый для привода малороссіянина Куяниченко. Куяниченко былъ представленъ въ громадское правленіе и сознался, что, дѣйствительно, осенью 1811 года на хуторъ къ нему пріѣзжали разбойники на лодкѣ, которую и оставили около хутора, а сами просили Куяниченко отвезти ихъ „въ безопасное для пребыванія мѣсто“, обѣщая ему за это и за доставленіе какъ сѣстныхъ припасовъ, такъ равно пуль и пороху, не 945 рублей, а только пятьсотъ. Куяниченко согласился на предложеніе разбойниковъ, и отвезъ ихъ въ урочище, называемое Гашонскія Вершины, разстояніемъ отъ Покровской слободы верстахъ въ 90. Но при этомъ Куяниченко говорилъ, что землянки разбойникамъ не дѣлалъ и сѣстныхъ припасовъ къ нимъ не возилъ. Правда, разъ онъ намѣренъ былъ доставить припасы въ разбойничій притонъ, „но когда оныя повезъ, то началъ идти сильный снѣгъ, и не довезши верстъ за двадцать, воротился обратно въ свой домъ“. Такъ какъ Куяниченко показалъ, что онъ отвезъ въ разбойничій притонъ пять разбойниковъ, а теперь было поймано только трое, то изъ Покровской слободы вновь командированы были конные отряды въ Гашонскія Вершины и въ окрестныя степныя мѣста для розыска и поимки остальныхъ разбойниковъ, а равно „для развѣдыванія, не участвовали-ли кто изъ малороссіянъ, имѣющихъ близъ сказаннаго урочища свои хутора, въ доставленіи онымъ разбойникамъ сѣстныхъ припасовъ и прочаго“. Изъ Покровской слободы Куяниченко привезенъ былъ въ Саратовъ. Здѣсь снова начался допросъ. Куяниченко и въ Саратовѣ показывалъ на допросѣ то-же, что показалъ въ громадскомъ правленіи, только съ большими подробностями. Въ 1811 году, въ одну изъ осеннихъ ночей, вошли къ нему на дворъ два неизвѣстныхъ человека, и просили продать имъ сѣстныхъ припасовъ. Полагая, что неизвѣстные были просто бурлаки, пріѣхавшіе съ судна на берегъ для закупки провизіи, какъ это часто случалось, и не видя въ нихъ ничего подозрительнаго, Куяниченко продалъ имъ печенаго хлѣба и арбузовъ, за

что и получилъ деньги. Пришельцы, не входя къ нему въ избу и ни о чемъ не говоря, ушли на Волгу. На слѣдующую ночь, по прошествіи сутокъ, очень поздною порой, когда Куяниченко уже потушилъ у себя въ домѣ огонь и все его семейство легло спать, онъ услышалъ стукъ въ дверь. Куяниченко всталъ и вздулъ огонь. Но едва онъ отперъ дверь, чтобы узнать кто тамъ стучитъ, какъ къ нему въ домъ вошли пять неизвестныхъ человѣкъ, съ ружьями и пистолетами, но были-ли при нихъ сабли, Куяниченко не могъ потомъ припомнить. Въ числѣ пришедшихъ онъ узналъ въ лицо и тѣхъ двоихъ, которые прошлую ночью приходили къ нему за хлѣбомъ. Наружность ихъ была такъ подозрительна, что Куяниченко спросилъ:

— Вы что за люди?

— Мы бѣглые изъ Сибири—дѣлаемъ разбойничество,—отвѣчали пришедшіе. Затѣмъ разбойники тотчасъ же „велѣли“ Куяниченку отвезти ихъ въ безопасное для зимовки мѣсто, котораго „не можно было бы никому знать, и чтобы снабдилъ ихъ хлѣбомъ и говядиною, да и впредь доставлялъ бы имъ съѣстные припасы“. По словамъ Куяниченко онъ отказывался отъ исполненія этого требованія разбойниковъ, „но они устраивали его убить до смерти“. Тогда Куяниченко, запрягъ въ сани пару своихъ лошадей, положилъ четыре мѣшка пшеничной муки пудовъ въ двѣнадцать, два мѣшка пшена въ пять пудовъ, пудъ коровьяго масла, и отвезъ разбойниковъ въ степь за 90 верстъ отъ Шаловаго хутора, въ урочище Гашонскія Вершины, „гдѣ ни пашня, ни гуметь, ни скотоводства не состоятъ и даже проѣздомъ никто не бываетъ“,—слѣдовательно, помѣстилъ ихъ въ самомъ глухомъ степномъ мѣстѣ, „въ небольшомъ беракѣ при лѣсочкѣ“. Разбойники заплатили Куяниченку за все это пятьсотъ рублей и приказали ему и на будущее время доставлять въ притонъ съѣстные припасы, обѣщая за все платить ему деньги. Куяниченко, воротясь домой, никому не говорилъ о разбойникахъ, а на полученные отъ нихъ деньги исправилъ нѣкоторыя хозяйственные надобности,—запасъ солевозными фурами, потому что по профессіи былъ солевозчикомъ, купилъ пару лошадей и проч. Затѣмъ, въ первыхъ числахъ декабря, вновь собрался ѣхать къ разбойникамъ, и для этого нагрузилъ фуру съѣстными припасами. Но въ глухой степи, по дорогѣ къ разбойничьему стану, Куяниченко захваченъ былъ зимнею непогодью, сбился съ дороги, такъ какъ ѣхалъ „дѣликомъ“, т. е. безъ всякаго пути, провелъ выжнущую ночь въ степи и на другой день воротился домой. Къ этому Куяниченко прибавилъ, „что съ тѣми разбойниками нигдѣ и никогда по сіе время не видался, и съ ними въ грабежѣ сообщества не имѣлъ, и слѣдовъ имъ кого-либо грабить не пересказывалъ, грабленнаго имущества не принималъ, земляки имъ въ помянутомъ урочищѣ не рылъ и къ рытью ничего не давалъ, кромѣ какъ только взяли они у него топоръ; для варенія пищи они нѣли у себя два мѣдные котелка, и изъ нихъ разбойниковъ у трехъ *вырваны ноздри*, зовутъ ихъ Матвѣй, Федоръ, а прочихъ имена не припо-

нить, и Матвѣя съ вырванными ноздрями въ голубомъ кафтанѣ называли атаманомъ". Взята была и жена Куяниченка и привезена въ Саратовъ. Она показала во всемъ согласно съ мужемъ. Вслѣдъ затѣмъ въ Саратовъ пришли болѣе подробныя свѣдѣнія о поимкѣ разбойниковъ. Объ этой поимкѣ такъ сообщаетъ чиновникъ Конищевъ, отряженный саратовскимъ губернаторомъ Панчулидзевымъ для преслѣдованія разбойниковъ 2 мая. Конищевъ прибылъ въ Покровскую слободу и потребовалъ отъ начальника казачьей команды Копытина вооруженныхъ казаковъ. Здѣсь Конищевъ узналъ отъ головы Пономаренка только то, что разбойники были каторжные, такъ какъ въ этомъ изобличали ихъ рваныя ноздри. Конищевъ учредилъ въ слободѣ особый караулъ и тутъ же узналъ отъ малороссіянина Островскаго, пріѣхавшаго изъ сосѣдней нѣмецкой колоніи, что разбойники, разряженные въ награбленное у Пономаренка богатое платье, были въ колоніи Кизицкой, купили тамъ два штофа французской водки и неизвестно куда уѣхали. Островскій сообщилъ также, что вслѣдъ за разбойниками поскакалъ братъ головы Пономаренка съ конными малороссіянами, Конищевъ также отправился по слѣдамъ бѣглецовъ. Въ колоніи Кизицкой онъ узналъ отъ мѣстнаго форштетгера, что разбойники дѣйствительно купили у тамошняго цѣловальника два штофа французской водки, заплатили за нее пять рублей и за колонкомъ Березовымъ пили эту водку и „усильно“ напоили пьянымъ коннаго пастуха. Оттуда они направились въ колонію Куксъ. Конищевъ съ своею командою скакалъ вслѣдъ за ними. Въ колоніи Куксъ онъ узналъ, что наканунѣ его пріѣзда разбойники въ самый полдень наняли тамошнихъ колонистовъ и бурлаковъ, которые и перевезли ихъ вмѣстѣ съ лошадьми на нагорный берегъ Волги, въ село Ахматъ, окрестности котораго издавна славились притонами шаекъ понизовой вольницы. За ними по пятамъ гнался Пономаренко съ вооруженными малороссіянами, и также переправился черезъ Волгу. Конищевъ нѣсколько опоздалъ съ своими казаками: когда онъ переправился въ Ахматъ, а оттуда доѣхалъ до колоніи Севастьяновки, то отъ колонистовъ узналъ, что разбойники уже настигнуты малороссіянами и колонистами въ ближайшихъ дачахъ, но такъ какъ завязалась съ обѣихъ сторонъ перестрѣлка и разбойники отчаянно защищаются, то ихъ взять и не могутъ. Конищевъ съ казаками поскакалъ на выручку малороссіянъ и колонистовъ, которыхъ разбойники, отчаянно защищаясь, могли побѣдить и перестрѣлать. Но не доѣзжая до мѣста схватки, онъ уже съ горы увидѣлъ, что перестрѣлка кончилась, что одолѣли преслѣдователи и что разбойники уже взяты. Конищевъ нашелъ плѣнныхъ страшно израненными и избитыми. Особенно сильно пострадалъ атаманъ шайки, каторжникъ Ястребовъ. Раны его были такъ жестоки, что онъ едва доезженъ былъ до Ахмата, гдѣ тотчасъ же и умеръ. Конищевъ отъ преслѣдовавшей разбойниковъ партіи малороссіянъ и колонистовъ требовалъ объясненія, почему они такъ жестоко ранили бѣглецовъ, и тѣ объяснили, что они ранили ихъ по необходимости, защищая свою собственную жизнь отъ ихъ смертельныхъ выстрѣловъ, такъ

какъ при этомъ и изъ колонистовъ многие были ранены разбойниками. Кто убилъ ихъ атамана,—осталось неизвестнымъ. Отъ оставшихся въ живыхъ разбойниковъ Ковишвъ узналъ, что, какъ убитый атаманъ ихъ, такъ и они сами бѣжали изъ Сибири и производили разбой на Волгѣ, что противъ Саратова, съ хутора Шалова, ихъ перевезъ въ зимній притонъ неизвестный имъ малороссіянинъ, который и получилъ съ нихъ за это 945 рублей, а потомъ доставлялъ имъ хлѣбъ, вино и пр., что онъ же совѣтовалъ имъ на весну ограбить голову Пономаренка, а въ табуна Валанды взять подъ свою шайку добрыхъ коней. Изъ Ахмата разбойники были привезены въ Саратовъ, вмѣстѣ съ захваченными у нихъ деньгами (245 рублей), имуществомъ, лошадьми, оружіемъ, кромѣ того что было расхвачено колонистами послѣ схватки съ шайкою. Равенные въ схваткѣ колонисты были освидѣтельствованы и сданы на лѣчение лекарямъ. Атамана шайки похоронили въ Ахматѣ.

III.

Въ Саратовѣ разоблачены были еще большія подробности о началѣ и походе шайки Ястребова и о томъ, что шайка эта составляла какъ бы малѣйшій осколокъ невидимой народной арміи, которая отдѣльными и весьма мелкими партіями вела свою партизанскую войну, цѣли которой сильно расходились съ цѣлями партизанскихъ дѣйствій Фигнера, Дениса Давыдова и другихъ извѣстныхъ сподвижниковъ отечественной войны. Шайка Ястребова, о которой теперь идетъ рѣчь, состояла большею частью изъ людей, бѣжавшихъ съ каторги, и каторжники же составляли ядро и начальство этой шайки. Люди эти сошлись на Волгу со всѣхъ концовъ Россіи, побывавъ прежде въ Сибири; такъ, покойный атаманъ Ястребовъ былъ родомъ съ Волги, малороссіянинъ Камышинскаго уѣзда *), другіе разбойники, какъ, напримѣръ, Соболевъ,—изъ Архангельска, слѣдовательно, съ самаго далекаго русскаго сѣвера, сосланный въ Сибирь за грабежъ; Смирновъ—изъ Калуги, изъ знаменитыхъ лѣсовъ брянскихъ. Разбойники эти работали прежде на нерчинскихъ заводахъ. Въ 1811 году, весною, Ястребовъ подговорилъ съ собою двѣнадцать другихъ каторжниковъ, которые и бѣжали съ заводовъ въ лѣса. Часть бѣглецовъ осталась въ нерчинскихъ лѣсахъ, а другіе, подъ предводительствомъ Ястребова, переселись до Екатеринбурга, питаются воровствомъ и разбоемъ, такъ какъ инымъ способомъ они не могли питаться, ибо гнѣвъ ноздри изобличали въ нихъ бѣлыхъ каторжниковъ. Ястребовъ велъ товарищей на Волгу, на вольное и „широкое раздолье“, гдѣ онъ самъ родился и гдѣ съ самаго дѣтства какъ бы напился традиціями понизовой вольницы. Разбойниковъ не тѣнуло ни въ далекій Архангельскъ, ни въ центральную Калугу, ни даже въ брянскіе лѣса, нѣкогда славившіеся своими удалыми добрыми моло-

*) Всюду малороссіяне, потомки запорожцевъ и гайдамаковъ, играли не послѣднюю роль въ исторіи поволжской вольницы.

цами. Ихъ, напротивъ, тянуло на Волгу, гдѣ находили исходъ всѣ бродячія, не улегшіяся въ гражданскія формы безпокойныя, стихійныя силы русскаго народа, начиная отъ элементовъ нѣкогда вольнаго и преимущественно своевольнаго казачества, отъ Ермака Тимофеевича, Игнатки Некрасова, Стеньки Разина; Стеньки-же Маноцкова, уцѣлѣвшихъ гайдамаковъ въ родѣ Дударенка, Дегтяренка, Шагалы и кончая Пугачевымъ, поповичемъ Заметаевымъ, поповичемъ Казанскимъ и, напоследокъ, каторжникомъ Ястребовымъ. Изъ Екатеринбурга Ястребовъ повелъ своихъ товарищей на рѣку Чусовую. Перебравшись черезъ Уральскій хребтъ, разбойники у самыхъ верховьевъ Чусовой приобрѣли себѣ лодку, купивъ ее, какъ показывали на допросѣ, у неизвѣстныхъ людей, а, можетъ быть и, украли, подобно тому, какъ украли ружья и прочее вооруженіе *). По Чусовой они вышли въ Каму, проплыли Пермь, Оханскъ, Осу и другіе города и выбрались на Волгу. Это громадное разстояніе отъ верховьевъ Чусовой до устьевъ Камы они должны были проплыть по возможности осторожно, воровски, питаясь тѣмъ, что могла послать имъ судьба и добыть ко всему привычная воровская рука, скрывать свои рваныя ноздри и отъ чиновника, и отъ мужика, ночевать вдали отъ селеній, по тальникамъ и по оврагамъ. На причалѣ, ниже Сengiлея, въ лѣсу, они сошлись еще съ однимъ бродягой, Матѣевымъ, „который (какъ въ послѣдствіи разбойники показывали на допросѣ), узнавъ о насъ настоящее, согласился ѣхать съ нами“. Это былъ, — надо полагать поэтому, — „жигулевецъ“, удалый добрый молодецъ съ Жигулевскихъ горъ, имѣвшихъ тоже немалое значеніе въ исторіи понизовой вольницы, не только въ XVIII-мъ, но даже и въ прошломъ столѣтіи. „Настоящее“, слѣдовательно, не испугало жигулевца — и онъ пошелъ въ шайку. Какими именно разбойными подвигами сопровождалось путешествіе шайки Ястребова отъ Нерчинска до Саратова, съ какими другими шайками сходилась шайка Ястребова и много-ли на долю этой послѣдней пришлось грабежей и убійствъ въ теченіе лѣта, — этого разбойники не выдали на допросѣ. Но по всѣмъ видимостямъ, 1811 годъ былъ для нихъ довольно удаченъ: у Ястребова, у бѣглаго каторжника, которому въ началѣ побѣга вѣчѣмъ было кормиться, къ концу лѣта скопилась значительная казна, такъ что шайка за одно пристанодержательство въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, могла заплатить до тысячи рублей—сумма, которой въ то время безъ сомнѣнія, не платили даже за самыя дорогія губернаторскія квартиры. Подвиги шайки Ястребова нѣсколько разоблачаются уже въ предѣлахъ Саратовской губерніи, и то потому только, что разоблаченіе это послѣдовало помимо собственнаго желанія разбойниковъ. Изъ показаній добрыхъ молодецвъ оказывается, что Куяниченко, онъ же и Шкваринъ, самъ пригласилъ ихъ въ свой домъ, когда атаманъ шайки вмѣстѣ съ однимъ изъ товарищей явились на хуторъ Шаловой за покупкой припасовъ. Куяниченко,

*) ... „сняли съ пружинъ у тамошнихъ обывателей поставленные на убій ошейя ружья“.

когда разбойники „склонили“ его поступить въ ихъ шайку, принявъ ихъ предложеніе, согласясь помогать тайнымъ намѣреніямъ разбойниковъ. На другой день Ястребовъ и его товарищи вмѣстѣ пьянствовали въ Покровской слободѣ. Изъ слободы уже Куяниченко повезъ ихъ въ степь, въ самое глухое изъ урочищъ, въ Малый Гашонъ, гдѣ и устроилъ имъ зимній притонъ. Землянка была возведена быстро, потому что орудія для этой работы привезъ съ собой Куяниченко;—топоры, желѣзные и деревянные лопаты—все это доставилъ разбойникамъ опытный Куяниченко. Полосыа отъ саней, на которыхъ разбойники прѣѣхали въ Малый Гашонъ, были поставлены въ землянкѣ вмѣсто дверныхъ косяковъ у входа въ притонъ. Тутъ же Куяниченко снова пропьянствовалъ съ разбойниками два дня и въ пьяномъ видѣ похвалялся своими разбойническими качествами и своею опытностью. Черезъ недѣлю Куяниченко прѣѣхалъ въ разбойничій станъ съ цѣлою фурую припасовъ—пять ведеръ вина, куль печенаго хлѣба, сухари, болѣе двадцати пудовъ пшеничной муки, пшена на кашу, пороху, свинцу для жеребьевыхъ пуль и дроби. Оказалось, что это былъ человѣкъ бывалый, много видѣвшій на своемъ вѣку, несмотря на свою захолустную жизнь въ глухомъ хуторѣ. Куяниченко сознавался разбойникамъ, что, назадъ тому лѣтъ семь или болѣе, по неудовольствію на голову Пономаренка, онъ намѣревался лишить его жизни, и уже накинулъ на него петлю, но только удушить не успѣлъ по непредвидѣннымъ обстоятельствамъ (по случаю помѣшательства). Онъ прибавлялъ, что много выдавалъ онъ „таковыхъ партий“, что много гостило у него „добрыхъ людей“, что „до двадцати атамановъ“ перебивало у него для „совѣта“ и всѣмъ имъ онъ находилъ и „укрывательство“, и „работу“. Признаніе Куяниченка бросаетъ, такимъ образомъ, свѣтъ на состояніе всего Поволжья въ 1811 и 1812 годахъ: понизовая вольница, повидимому, нѣсколько примолкшая въ первые годы царствованія Александра I, къ 12 году встала съ новой силой и наводнила собой приволжскій край, преимущественно, кажется, лѣвое Заволжье, гдѣ шайкамъ вольницы удобнѣе было скрываться, и изъ пасущихся тамъ табуновъ выбирать для себя походныхъ коней, какъ это и дѣлала шайка Ястребова. Косные лодки въ это время, повидимому, стали выходить изъ моды у разбойниковъ, потому что за Волгой и за ходомъ по ней каравановъ все болѣе и болѣе начало сторожить правительство, и къ коснымъ лодкамъ добрые молодцы стали прибѣгать только въ крайней необходимости или по особымъ расчетамъ. Одинъ Куяниченко насчитываетъ до двадцати „партей“ и до двадцати атамановъ—слѣдовательно все Поволжье могло насчитывать сотни партій понизовой вольницы. Изъ показаній разбойниковъ обнаруживается также, что Куяниченко во время посѣщенія разбойничьяго стана давалъ шайкѣ нѣкоторые совѣты и по его указаніямъ разбойники потомъ, съ наступленіемъ весны, совершили нападеніе на Покровскую слободу, собственно на домъ головы Пономаренка, и на хуторъ Баланды. Въ землянкѣ своей разбойники провели цѣлую зиму, нигуда не отлучаясь, потому что у нихъ было всего вдоволь — и „горячаго вина“, и хлѣба, и сухарей, и свиного сала, и другихъ припасовъ.

да и самая степь съ небольшимъ лѣскомъ по оврагу Гашонъ давала имъ возможность охотиться на зайцевъ и на зимнюю птицу. Только разлитіе водъ выгнало ихъ изъ землянки, и хотя еще было довольно холодно, однако, они вышли въ степь въ концѣ великаго поста, на вербной недѣлѣ. До пасхи они скитались по степи, „питаясь (какъ сами они говорили потомъ) остальнымъ хлѣбомъ и битыми изъ ружей дикими гусями, вареными въ бывшемъ съ ними котелѣ“. На пасху, по совѣту Куяниченка, разбойники направились черезъ степь въ хуторъ Баланды, стоявшій на рѣкѣ Караманѣ, въ уединенномъ мѣстѣ. Хуторъ этотъ они ограбили, выбрали себѣ изъ табуна лошадей, захватили верховую конскую упряжь, сѣдла, узды, пороку, свинцу, съѣстныхъ припасовъ и снова потянулись въ степь, ища новой добычи. Они добрались до Узеней. На Ямахъ они напали на партію рекрутъ, взяли у этой партіи общественныя деньги, приглашали молодыхъ рекрутъ идти съ ними на вольное, разбойное дѣло, хотя никто изъ рекрутъ на призывъ разбойниковъ не пошелъ, несмотря даже и на то, что разбойники рисковали тѣхъ изъ новобранцевъ, которые закованы были въ желѣза. Далѣе слѣдуетъ нападеніе на табунъ, поѣздка на Ерусалагъ, посѣщеніе хутора Зимы, ссора съ жигулевскимъ разбойникомъ, происшедшая во время гульни въ степи. Жигулевецъ, уснувшій отъ излишняго употребленія „горячаго вина“, брошенъ ими на дорогѣ на произволъ судьбы *). Затѣмъ—возвращеніе къ Волгѣ, нападеніе на Покровскій городокъ, изгнаніе жены Пономаренка и сына, грабежъ дома. Часовой, поставленный разбойниками у воротъ дома Пономаренка, ружейными выстрѣлами устрасалъ и останавливалъ малороссіянъ, которые по набатному звону колоколовъ сбѣгались на мѣсто происшествія. Несмотря на общую тревогу, разбойники успѣли навьючить своихъ лошадей награбленнымъ ими добромъ и благополучно выбраться изъ „городка Покровскаго“ въ степь. Дорога разбойникамъ лежала на югъ, и они отправились чрезъ Узморскую слободу на нѣмецкія колоніи. Ъхали они уже наряженные въ богатое платье головы Пономаренка и пьянствовали при первой возможности, не особенно стѣсняясь присутствіемъ нѣмцевъ: денегъ у нихъ было довольно, кони добрые, оружіе хорошее, а о будущемъ они не думали. Они позволяли себѣ даже изысканныя удовольствія: такъ, около колоніи Березовой, они взяли пастуха конскихъ табунъ, нѣмца, „усильствомъ“ напоили его до пьяна французской водкой и заставили плясать—и нѣмецъ выплясывалъ по степи, въ виду своего табуна, въ угоду развеселившимся удалымъ молодцамъ. За пляску дали нѣмцу „худой тафтяной платокъ“. Разбойники вездѣ дѣйствовали самоуправно, не боясь народа. Колонистовъ они заставляли дѣлать все, что имъ было угодно, и цѣлыя колоніи не смѣли имъ сопротивляться, вѣроятно принимая ихъ, по ихъ богатому одѣянію, за людей вліятельныхъ, несмотря на то, что у нихъ ноздри были рваны. Впрочемъ, за работу и за послугу разбойники пла-

*) Тѣхъ не мѣнѣ, атаманъ оставилъ покидаемому имъ товарищу небольшую сумму денегъ, —разбойничья честность!

тили деньгами: такъ, въ колоніи Куксъ, они принудили колонистовъ перевезти ихъ на нагорный берегъ Волги въ расшивѣ, принадлежавшей бурлакамъ, но бурлаковъ не обидѣли, а, напротивъ, заплатили за расшиву десять рублей. Заѣзжая къ ловцамъ, они брали у нихъ рыбу, но въ то же время давали и деньги, какъ-бы въ награду за послушаніе. Такъ они поступили и съ рыбаками села Ахмата и колонистами колоній Севастьяновки и Антоновки. Но разбойники не подозрѣвали, что по пятамъ ихъ слѣдуетъ погоня—казаки, малороссіяне и колонисты. За Антоновкой разбойники остановились въ лѣсу на роздыхъ и стали варить себѣ уху изъ купленныхъ у рыбаковъ стерлядей. Лошади ихъ паслись въ томъ-же лѣсу. Наскакала погоня. Завязалась жаркая перестрѣлка съ обѣихъ сторонъ. Разбойники стрѣляли пулями и картечью, подъ которой, вѣроятно, надо разумѣть неправильные жеребьи, нарѣзываемые изъ свинцовыхъ полосъ *). Стычка кончилась не въ пользу разбойниковъ, потому что численное превосходство было на сторонѣ ихъ противниковъ. Атаманъ, весь покрытый ранами, отдался въ руки преслѣдователей. Раненые, избитые и истомленные продолжительной борьбой разбойники также принуждены были сдаться. Мы видѣли уже, что атаманъ скоро умеръ отъ ранъ и похороненъ въ Ахматѣ, а другіе разбойники—привезены въ Саратовъ. Но прежде отправки ихъ въ Саратовъ, на мѣсто происшествія командированы были изъ губернскаго города доктора. По свидѣтельству ихъ, оказалось, что раны разбойниковъ не смертельны. Изъ числа раненыхъ колонистовъ одинъ 60-лѣтній старикъ Эйхнеръ не подавалъ надежды къ выздоровленію: онъ былъ прострѣленъ и избитъ, и даже одинъ глазъ былъ поврежденъ ружейнымъ выстрѣломъ. Другіе раненые колонисты—Медгеръ, Вауеръ, Кайзеръ и Бопль—находились внѣ опасности, и имъ подано было медицинское пособіе со стороны пріѣхавшихъ изъ Саратова штабъ-лекаря Константиновича и доктора Эглау. Послѣ схватки и побѣды надъ разбойниками, имущество ихъ, особенно же цѣнное, почти все было растащено колонистами, но и оставшагося въ цѣлости было немало. Кромѣ лошадей, оружія и конской сбруи, тутъ были и женскіе медальоны, и женскія дорогія серьги, дорогіе золотые и серебряные кресты, чашки, ложки и куски червоннаго золота, оцѣненные въ 120 рублей. Въ то время, когда разбитая и переловленная шайка атамана Ястребова допрашивается въ Саратовѣ, за Волгой производились розыски какъ остатковъ этой шайки, такъ и другихъ разбойничьихъ партій. Посланные изъ Покровской слободы для развѣдываній малороссіяне Шапранъ и другіе принесли извѣстіе, что „во время ихъ поиска нашли слѣды и даже слухи о нахожденіи въ луговой сторонѣ, въ глухомъ и весьма отдаленномъ мѣстѣ отъ означенной слободы, разбойниковъ, верхами на лошадяхъ, вооруженныхъ ружьями, пистолетами, саблями и дротиками, но по малости числа малороссіяне преслѣдовать

*) ... Стрѣляли въ тѣхъ колонистовъ и малороссіявъ пулями и картечью изъ ружей.

тѣхъ разбойниковъ не могли, стремленіе конѣхъ, по слуху, должно быть внизъ около рѣки Волги“.

Послали погоню и за этой новой партіей, но найти ее нигдѣ не могли. Конныя шайки дѣлали свои перѣзды слишкомъ быстро и легко могли рысать незамѣченными или принимаемыми за казацкіе отряды, переходя то на возвышенный сырть дальняго Заволжья, то на плоскую возвышенность волжско-медвѣдickaго водораздѣла, гдѣ и встарь было такое приволье для сухопутныхъ шаякъ понизовой вольницы, отъ Волги доходившей до рѣки Вороны и далѣе. Другую развѣдочную партію малороссіянъ послали на мѣсто бывшаго притона шайки атамана Ястребова, къ Гашонскимъ вершинамъ, гдѣ должны были, какъ предполагали власти, оставаться еще два разбойника этой-же шайки. Развѣдная партія воротилась съ поисковъ и привезла свѣдѣнія: „По прибытіи нашемъ къ оному урочищу, усмотрѣли мы, что разбойническая землянка уже сожжена неизвестно кѣмъ, на развалинахъ которой начала уже вырастать трава, близъ мѣста землянки имѣются свѣжіе конскіе слѣды, которые, начинаясь отъ сего мѣста, продолжались по ерику Гашону внизъ онаго по примѣру версты въ восемь, потомъ заняты пасущимися тамъ табунами малороссійскаго скота. Почему, не зная, въ которую они сторону обратились и по неполученіи ни отъ кого по развѣдыванію нашему о томъ извѣстія, мы, объѣздивъ въ многія мѣста, преслѣдованіе оставили. Проѣзжая по слѣдамъ сихъ, легко было намъ примѣтить по влажнымъ мѣстамъ, что лошадей было четыре и столько-же на нихъ человекъ, ибо гдѣ они останавливались для роздыху, тутъ примѣтныя по смятой травѣ мѣста лежанія ихъ. А что они должны быть подобны прежде пойманнымъ разбойникамъ и, можетъ быть, товарищи ихъ, можно заключить изъ того, что приѣзжали на мѣсто убѣжища разбойниковъ, куда никто ни зачѣмъ ѣздить надобности не имѣетъ, равно изъ показанія тамъ живущихъ при рѣчкѣ Еруславѣ малороссіянниномъ Василюмъ Зимомъ, что саратовскаго купца Павла Канина работникъ, въ проѣздъ къ рѣчкѣ Узеню, говорилъ ему, что разстояніемъ отъ урочища Гашона, верстахъ въ 15, видѣлъ онъ четырехъ человекъ, вооруженныхъ огнестрѣльными орудіями, развѣзжающихъ по степи верхами, кои и отняли было у него арчакъ, но когда увидѣли, что оный за ветхостью неспособенъ, бросили оный, а сами уѣхали“. За этой партіей снова послали сыскную команду; но какъ и предыдущія двадцать „партей“ съ ихъ двадцатью атаманами, о которыхъ говорилъ Куяниченко, такъ и эта партія исчезла базслѣдно, можетъ быть, продолжая рысать по степямъ Заволжья, или находя себѣ „удобные притоны и работу“ на болѣе населенной нагорной сторонѣ. Для окончательнаго уясненія нападенія шайки Ястребова на Покровскую слободу, взяты были личныя показанія головы Пономаренка, его жены и матери, исключительно пострадавшихъ во время нападенія.—„Сего мая 1-го числа вечеромъ находился я по должности моей въ громадскомъ правленіи (показывалъ Пономаренко), откуда уже въ десятомъ часу пополудни конь

домой съ десятиникомъ малороссіяниномъ Семеномъ Зимою, но, не доходя на небольшое къ оному разстояніе, услышалъ топотъ бѣгущихъ необычайно людей и говорящихъ между собой, что въ домѣ моемъ разбойники. Я чрезвычайно сему удивясь, а особенно услышавши уже выстрѣлъ, послалъ того десятиника Зиму къ дому моему, о семъ происшествіи извѣстясь, увѣдомить меня, а самъ остановился отъ ихъ дому двора черезъ два. Десятникъ Зима, немедленно возвратясь ко мнѣ уже съ сотникомъ Степаномъ Козорѣзовомъ, сказалъ, что домъ мой грабятъ воры, стрѣляя при томъ изъ ружей, присовокупляя, что ихъ должно быть не малое число, но за темнотою ночи ничего не видно. Между тѣмъ, я слышалъ множество бѣгущихъ людей къ дому моему и отъ онаго, но также по темнотѣ никого изъ оныхъ именно примѣтить не могъ. Сколько встревоженный симъ случаемъ разсудокъ мой, да и самая опасность жизни моей мнѣ внушили, я приказалъ сему-жъ десятинику и сотнику Козорѣзову бѣжать по разнымъ улицамъ, крича, требовать у обывателей помощи къ защитѣ отъ грабежа дому моему и поимкѣ самихъ разбойниковъ; но видя или болѣе слыша притекающихъ къ дому моему и обратно, устрася выстрѣловъ бѣгущихъ, потерялъ въ томъ надежду. Явившимся обратно ко мнѣ десятинику и сотнику опять приказалъ послать по церквамъ бить въ колокола тревогу, а самимъ всемирно повуждать обывателей къ подачѣ помощи. Напослѣдокъ, когда уже было бито въ набатъ, узналъ я, что разбойники изъ дому моего выѣхали. Я пошелъ въ оный и увидѣлъ прѣхавшаго въ то только время изъ степи брата моего, малороссіянина Ивана-жъ Пономаренко, коему велѣвъ ѣхать для преслѣдованія бывшихъ въ домѣ моемъ разбойниковъ, взявъ съ собою, кого поскорости будетъ можно; атаману-жъ Василію Зорѣ, ко мнѣ тогда явившемуся, также приказалъ отправитъ въ самой поспѣшности въ разныя стороны для поимки тѣхъ разбойниковъ потребное число людей, снабдя ихъ верховыми лошадьми и орудіями, какія отыскать будетъ можно, и извѣстить о семъ живущихъ въ хуторахъ и слободѣ Узморской малороссіянъ, также и разныхъ колоній колонистовъ. Учinia такое распоряженіе, вошелъ въ горницу, гдѣ увидѣлъ жену мою отъ безчеловѣчнаго истязанія въ обморокъ падшую. По приведеніи ее черезъ не малое время въ чувство, она рассказала, какимъ образомъ разбойники, нечаянно вбѣжавъ въ домъ мой, страхомъ и побоями принудили ее отдать имъ деньги и показатъ разное имущество и платье. Въ соучаствованіи-жъ въ грабежъ моего дома изъ малороссіянъ моего вѣдомства ни на кого я подозрѣнія не имѣю. Жена Пономаренка говорила: „Перваго мая вечеромъ поздно находился мужъ мой въ громадскомъ правленіи, почему и была я въ домѣ только одна съ малолѣтнимъ сыномъ моимъ Гавриломъ и свекровью Марьею Экимовою и во время ужина увидѣвъ вбѣжавшаго нечаянно и съ великою поспѣшностью сперва одного человѣка великаго росту и страшнаго вида съ вырванными ноздрями, въ пестромъ халатѣ, имѣющаго въ одной рукѣ пистолетъ и стремящагося прямо на насъ, крайне испугалась. Сей чело-
вѣкъ и еще другой небольшого росту, видомъ черноватый, тутъ же

завшійся, связавъ меня и приставивъ ко мнѣ пистолеты, требовали отдать имъ деньги и показать платье и прочее имущество, угрожая въ противномъ случаѣ меня убить. Я, видя, что они разбойники, и бывъ въ совершенной опасности о моей жизни, принуждена была приказать сыну моему, что-бы онъ, сыскавъ ключи, показалъ имъ платье и разное имущество. Но разбойники, не дожидая сего, внеся бревно, разбили шкафъ, въ которомъ находилось разное платье, деньги и имущество, которое они ограбили. Во время грабежа разбойники причинили мнѣ и сыну моему Гаврилѣ удары разными имѣвшимися въ рукахъ ихъ орудіями, надѣвъ на сего послѣдняго на шею петлю изъ ремня и водя то за сей ремень, то за волосы по горницѣ для показыванія вещей. Свекровь мою одинъ изъ разбойниковъ ударилъ прикладомъ ружья, отъ чего она упала, но, опомитовавшись, ушла въ окно въ сосѣдній домъ малороссіянина Авраама Вергуна. Сія два разбойника были вооружены ружьями, саблями, пистолетами и кинжалами. Мы, бывшіе въ горницѣ, слышали на дворѣ частые ружейные выстрѣлы, а когда послѣдовалъ колокольный звонъ, тогда разбойники съ ограбленнымъ имѣніемъ съ поспѣшностью изъ дома нашего удалились. Сколько-жъ числомъ было всѣхъ разбойниковъ, того я не знаю. — „Когда вбѣжали въ горницу разбойники и производили грабежъ имущества (показывала, наконецъ, свекровь Пономаренка), тогда я получила отъ одного изъ нихъ ударъ прикладомъ ружья, отъ коего упала въ безпамятствѣ, по прійденіи-жъ въ чувство, ушла изъ горницы въ окно въ сосѣдній дворъ малороссіянина Авраама Вергуна, въ коемъ случившимся зятю его малороссіянину Тихону Быковченку и сыну Василию Вергуну объявляя о происшедшемъ въ домѣ сына моего, просила ихъ бѣжать въ громадское правленіе и дать оному о томъ знать, почему они въ то-же самое время въ оное и бѣжали, а сама оставалась въ домѣ Вергуна до совершеннаго прекращенія безпокойствія“. Три года сидѣли разбойники въ острогѣ, пока тянулось объ нихъ дѣло. Наконецъ, вышло имъ рѣшеніе: спины, уже испытавшія кнутъ передъ первой ссылкой, снова выдержали по двѣсти ударовъ того же кнута; рванья ноздри снова были вырваны; на лицахъ ихъ, уже отмѣченныхъ „штемпелевыми знаками“, снова поставлены эти знаки для большей наглядности, подобно тому, какъ землемѣръ возобновляетъ ветхіе межевые знаки. Въ свою очередь, Куяниченко, какъ руководитель въ нѣкоторой степени шаекъ понизовой вольницы, получилъ двѣсти пятьдесятъ ударовъ кнутомъ *), жена его пятьдесятъ; и тотъ, и другая лишлись ноздрей, и тотъ и другая отмѣчены позорными клеймами, и всѣ посланы на каторгу, только уже не въ Нерчинскъ, а въ Херсонъ, гдѣ въ то время производились каторжныя работы. Такъ распалась одна изъ тѣхъ двадцати поволжскихъ шаекъ понизовой вольницы, которая приходилось звать Куяниченкѣ и давать имъ не только убѣжище, но и „работу“.

Куяниченко значить, подвергся болѣе жестокой казни, чѣмъ
ссыльные.

IV.

Но распаденіе шаекъ не было ихъ конечнымъ уничтоженіемъ. Погибли ихъ атаманы, какъ погибъ Ястребовъ въ схваткѣ съ своими преслѣдователями, многіе пропадали безъ вѣсти, многіе шли въ каторгу, и снова бѣжали оттуда, вмѣсто бывшихъ атамановъ выбирались новые; вмѣсто выбывшихъ рядовыхъ разбойниковъ, находились новые товарищи, которые искали своей доли либо въ камышахъ, либо въ вольной степи, либо въ темномъ лѣсу, да на поволжскомъ широкомъ раздолѣ. Такъ было и въ 12-мъ году. Наводненіе въ этомъ году Поволжья разбойничьими шайками объясняется, кромѣ общаго неудачнаго хода исторической жизни русскаго народа, еще и тѣмъ, что ожиданіе нападенія на Россію Наполеона I требовало особеннаго напряженія силъ государства, а усиленные рекрутскіе наборы вызывали усиленные побѣги рекрутъ, уже забранныхъ, или тѣхъ, которыхъ ждала рекрутская очередь. Вотъ нѣсколько случаевъ проявленія усиленнаго движенія понизовой вольницы въ это время. Лѣтомъ 12-го года огромная партія солевозцевъ возвращалась съ солью отъ Элтона къ Саратову. 15 іюня, вечеромъ, партія эта остановилась въ степи на ночлегъ и на кормъ воловъ, и по обыкновенію того времени, столь безпокойнаго, расположилась по военному— „таборомъ“. Впрочемъ, такъ какъ солевозцы были малороссіяне, то они въ расположеніи своихъ обозовъ „таборами“ руководствовались, конечно, преданіями и воспоминаніями, вынесенными изъ своей родины, гдѣ сосѣдство татаръ и всякихъ хищниковъ научило не только запорожцевъ, но и простыхъ чумаковъ, солевозцевъ, рыбозоцевъ, всякую остановку въ дорогѣ дѣлать „таборомъ“. Фуры обыкновенно ставились въ кругъ или въ каре, плотно, фура къ фурѣ, а въ серединѣ обыкновенно собирались чумаки и варили себѣ на треногахъ кашу. Въ этотъ кругъ, какъ и въ майданъ или на городскую площадь, сходилось все общество чумаковъ, а на виѣшной сторонѣ табора становились часовые или просто пастухи и „подпаски“ съ своими помощниками и ночными дозорцами—собаками, и сторожили воловъ, пасшихся въ сторонѣ отъ табора. Во время нападенія хищниковъ, воли сгонялись въ кругъ табора, гдѣ находились и сами чумаки, и защищаемые фурами, весьма стойко принимали и удачно отражали нападенія непріятеля, стрѣляя въ нападающихъ изъ-за своихъ фуръ, нерѣдко укрѣпляемыхъ „подостями“, т. е. кошмами или толстыми войлоками, сквозь которые не всегда могла прострѣлить пуля. Такимъ образомъ остановилась въ завожской степи партія солевозцевъ, возвращавшаяся съ Элтона. Ночью, когда весь таборъ уже спалъ, чумаки разбужены были ружейными выстрѣлами, раздавшимися въ той сторонѣ, гдѣ паслись ихъ воли подъ надзоромъ „еще не бывшихъ доселѣ въ ходѣ молодыхъ ребятъ“. Затѣмъ послышались крики „подпасковъ“, призывавшихъ чумаковъ на помощь. Многіе чумаки, „съ великою поспѣшностью вооружаясь, кто имѣлъ кинжи, топорами и огнестрѣльными орудіями“, бросились на призывъ подпасковъ.

увидѣли, что „невѣдомые люди, числомъ по примѣру, болѣе десяти, верхами и яко-бы въ военномъ одѣяніи, съ немалою стремительностью завернувъ по степи воловъ гнали“. Чумаки бросились наперерѣзъ хищникамъ и стали кричать имъ, „чтобъ воловъ ихъ не трогали и отъ табора въ степь не отбивали“. Невѣдомые люди отвѣчали выстрѣлами, и одного изъ чумаковъ, „пулею пониже локтя въ правую руку прострѣломъ ранили“. Другіе изъ нихъ бросились на табора и, подскакавъ разстояніемъ не болѣе, какъ на двѣ фуры, закричали:—Кто обозу атаманъ? Малороссіяне, помня преданіе и даже порядки своей родины, нѣкогда свободной Малороссіи и Запорожя, и даже по переселеніи въ великую Россію удержали нѣкоторые изъ своихъ общественныхъ порядковъ: такъ они не только избирали атамановъ въ своихъ новыхъ селеніяхъ и отдавали имъ въ руки, на правахъ выборнаго начала, управленіе общественными дѣлами, но они сохранили этотъ обычай и въ другихъ случаяхъ, гдѣ примѣнны были или артельныя, или общинныя начала, какъ, на примѣръ,—во время чумацкихъ ходоковъ они иногда избирали себѣ атамана, который и заправлялъ дѣлами всего обоза въ качествѣ начальника или капитана на пароходѣ.—Кто обозу атаманъ?—повторили невѣдомые люди, остановившись передъ таборомъ и „уграживая дротиками и саблями“. Изъ табора никто не отвѣчалъ.

— Кто между вами старшина, тотъ выходи изъ табора,—снова сказали неизвѣстные люди.

— А вы что за люди?—отвѣтили изъ табора.

— Мы люди вольные, и вамъ волю привезли,—говорили неизвѣстные хищники.

— Намъ вашей воли не надобно,—отвѣчалъ изъ табора малороссіянинъ Семенъ Дудникъ, бывшій атаманомъ обоза.—Ступайте своею дорогою и насъ не трогайте, какъ мы васъ не трогаемъ.

Неизвѣстные люди настаивали на томъ, чтобы къ нимъ изъ табора выслали атамана. Но Дудникъ не выходилъ, „опасаячися за свою жизнь“. Тогда неизвѣстные люди открыли по табору „нестерпимую ружейную пальбу“. Изъ табора также отвѣчали выстрѣлами изъ „имѣвшихся у нѣкоторыхъ чумаковъ винтовокъ и дробовиковъ“. Хотя перестрѣлка продолжалась не долго, однако, чумаки, „опасаясь быть на смерть побитыми“, уговорили атамана выйти къ разбойникамъ и спросить ихъ, чего они требуютъ отъ обоза. Дудникъ вышелъ. Одинъ изъ „нападающихъ, повидимому, атаманъ оной разбойнической партіи, поздоровавшись съ нимъ, Дудникомъ, и назвавъ его по имю и отчеству“, спросилъ: много-ли у васъ громадскихъ денегъ? Дудникъ отвѣчалъ, что у нихъ въ обозѣ громадскихъ денегъ нѣтъ. Тогда одинъ изъ разбойниковъ громко сказалъ:

— У дяди Дудника всегда деньги бывали—онъ человекъ достаточный.

„По симъ рѣчамъ оными чумаками опознанъ былъ малороссіянинъ Узморской слободы Максимъ Середенко“, говорится въ объявленіи, поданномъ чумаками въ ~~уездное~~ правленіе Покровской слободы. Какъ оказалось,

Максимъ Середенко былъ отданъ въ послѣдній наборъ въ рекруты, бѣжать изъ Саратова вмѣстѣ съ другими новобранцами, поступилъ потому въ одну изъ пачекъ понизовой вольницы и по голосу былъ опознанъ чумаками въ числѣ прочихъ разбойниковъ. Дудникъ снова говорилъ, что у него нѣтъ ни своихъ, ни громадскихъ денегъ и просить разбойниковъ возратить обозу отогнанныхъ у него воловъ. „Неправду сказываютъ дяди Дудникъ, — снова закричалъ изъ пайки разбойниковъ Середенко, — у него деньги задолжены въ важнищъ“. Надо замѣтить, что малороссійскіе чумаки, отправляясь куда-либо въ далекій извозъ („въ холку“) „въ дорогу“ — на Маяны ли за солью, или на Донъ за рыбой, или въ Крымъ, или на Эльтонъ, имѣли обыкновеніе прятать находившіяся съ ними въ дорогѣ деньги такъ, чтобы никто не могъ догадаться о мѣстѣ ихъ нахождения. Имѣть при себѣ деньги считалось неосторожнымъ въ виду частыхъ опасностей отъ воровъ и разбойниковъ: также неосторожнымъ считалось зашивать деньги куда-либо въ платье. Самымъ безопаснымъ способомъ храненія денегъ въ дорогѣ считался слѣдующій: отправляясь въ холку, чумаки обыкновенно просверливалъ или продавливалъ у своей фуры оглоблю (у конной фуры) или важняпу (у фуры воловьея), такъ чтобы въ это продолбленное мѣсто можно было спрятать деньги, — и оттого у чумаковъ до сихъ поръ въ обычаѣ особенно тщательно беречь свои важницы. Вотъ на это обстоятельство указывалъ и разбойникъ Середенко. По этому указанію разбойники требовали у Дудника выдачи важницы. Дудникъ и тутъ не послушался. Тогда разбойники „мучительски его тиранили“, т.-е. были нагайками и „имѣвшимися у нихъ сыромятными путами“, заставляли выдать не только важницу, въ которой, когда ее изрубили, ничего не оказалось, но и деньги триста двадцать пять рублей, которыя хранились въ самой фурѣ. Получивъ деньги, разбойники оставили у себя одного только вола, впрямую, себѣ въ пищу, и не сдѣлавъ больше никакого вреда чумакамъ, скрылись въ степи. Возвратившись въ Покровскую слободу, чумаки подали въ громадское правленіе объявленіе о нападеніи на ихъ обозъ разбойниковъ. Громадское правленіе донесло объ этомъ въ Саратовъ. Посланы были розыскы по всѣмъ измолжекімъ мѣстамъ и по нагорной сторонѣ Волги. Но разбойники нечаяли безслѣдно. Около этого же времени много надѣлала шуму въ Поволжьи одна разбойничья шайка, атаманомъ которой былъ поповичъ. Участіе поповичей въ дѣлахъ понизовой вольницы — явленіе не новое и весьма характеристическое, на которое мы и обратили вниманіе въ одной изъ прежнихъ нашихъ монографій *). Явленіе это до сихъ поръ еще не было замѣчено ни однимъ изъ русскихъ историковъ, а оно стоитъ того, чтобы исторія выяснила всѣ фазисы его развитія, его источникъ и всѣ его извѣщія, имѣющія важное значеніе въ исторіи русскаго общества. Явленіе это представляетъ такіе крупныя, ярко выдающіеся рельефы въ историческомъ прошломъ русскаго народа, что наглядно обрисовываетъ при

*). О частіи семинаристовъ въ народныхъ движеніяхъ XVIII-го вѣка.

тщательномъ изслѣдованіи его, весь процессъ государственной жизни Россіи. Не вдаваясь въ дальнѣйшее развитіе этого вопроса (такъ какъ онъ, только косвенно относясь къ содержанію нашей настоящей статьи, долженъ быть избранъ предметомъ особаго изслѣдованія), мы считаемъ необходимымъ указать лишь на то, что знаменитый Заметаевъ, котораго правительство официально называло „чудовищемъ“ и который послѣ Пугачева взволновалъ было все юго-восточное Поволжье, былъ сынъ дьячка; что однимъ изъ весьма опасныхъ агитаторовъ того-же времени былъ поповичъ Казанскій (изъ Камышина), поднявшій на ноги калмыковъ, киргизъ-кайсаковъ, волжскихъ казаковъ и поволжскихъ бурлаковъ, и что, наконецъ, въ рѣдкой шайкѣ понизовой вольницы XVIII-го вѣка не было дѣятельныхъ агентовъ изъ поповичей—или сынъ попа, или сынъ протопопа, или дьячковскій сынъ и т. д. Въ 1807 году, изъ Николаевского городка, что противъ Камышина, за Волгой, заселеннаго въ XVIII-мъ вѣкѣ выходцами изъ Украины, бѣжалъ сынъ тамошняго попа Ильина, Данило Ильинъ. Повидимому, онъ былъ преслѣдуемъ въ своемъ городкѣ за буйственный характеръ и неповиновеніе какъ отцу, такъ и мѣстнымъ властямъ. Четыре года пропадалъ поповичъ и на родину объ немъ не приходило никакихъ вѣстей. Впослѣдствіи оказалось, что онъ всѣ четыре года мыкался по Поволжью и за границей. Бѣжавъ изъ родительскаго дома и поддѣлавъ себѣ фальшивый паспортъ, онъ подъ именемъ крестьянина Семена Петрова поступилъ на судно (на расшиву) астраханскаго купца Хлѣбникова въ качествѣ бурлака и на этомъ суднѣ слылъ до Астрахани. „Намѣреніе мое было (говорилъ впослѣдствіи Ильинъ на допросѣ) какимъ ни на есть способомъ пробратца въ Персію и обогатясь тамъ выдти обратно въ Россію, а есть-ли сіе не удастся, то, полонивъ, какую попадется, богатую княжну персидскую, на которой женюсь и получа богатое приданое, навсегда въ Персію остатца. Есть-ли въ Персіи мнѣ не посчастливится, то думалъ сдѣлатьца таковымъ же, какъ былъ Стенька Разинъ, и подговоря охотныхъ людей, коихъ въ Астрахани довольно шетаецца безъ дѣла и промыслу, намѣревался съ оными разбивать корабли персидскіе съ товарами“. Планы поповича были, такимъ образомъ, очень широкіе, только исполненіе ихъ, особенно въ девятнадцатомъ вѣкѣ, было уже не такъ легко, какъ это могло быть въ семнадцатомъ, даже въ восемнадцатомъ вѣкѣ, при Пугачевѣ и до него. Судьба и слава Стеньки Разина были, какъ видно, очень заманчивы въ глазахъ поповича, и безъ сомнѣнія съ исторіей Разина онъ познакомился по народнымъ пѣснямъ, очень распространеннымъ по всему юго-востоку Россіи. Какъ-бы то ни было, Ильинъ пробрался въ Астрахань, а оттуда на какомъ-то „морскомъ суднѣ“ одного персіянина ему удалось попасть и въ Персію. Надо полагать, что въ Персіи онъ не нашелъ того, чего искалъ,—ни богатства, ни персидской княжны, ни возможности сдѣлаться новымъ Стенькою Разиннымъ. Во всякомъ случаѣ, онъ умалчиваетъ о своей жизни и о своихъ похожденияхъ за границей, а говоритъ, что „проживши тамъ съ годъ времени въ работникахъ, скучился по своей

сторонѣ и обратно прибылъ въ Астрахань“. Работая на рыболовныхъ ватагахъ, Ильинъ сошелся съ нѣкоторыми изъ личностей, недовольныхъ своимъ положеніемъ и искавшихъ выхода куда-бы то ни было изъ своей незавидной доли, и задумалъ вмѣстѣ съ ними выбиться изъ унижительной роли ватажнаго рабочаго, если уже ему не суждено было сдѣлаться вторымъ Стенькою Разинымъ. Весною 1810 года поповичъ наwerbовалъ себѣ до двадцати человѣкъ охотниковъ, которые и выбрали его своимъ атаманомъ „съ общаго согласія“. Въ день пзбранія атамана, эта вновь сформированная шайка, по указанію ватажнаго работника Луки, безъ отчества и фамиліи, и подъ начальствомъ новаго атамана, руководившаго первой разбойничьей экспедиціей, напали на рыболовную ватагу купца Крюкова, ограбили ее, взяли съѣстные припасы, ружья, порохъ и нѣсколько кусковъ свинцу на пули, тутъ-же захватили „старую мѣдную пушку съ клеймомъ“, двѣ лодки, боченокъ водки, двухъ телокъ, и, размѣстившись на этихъ двухъ захваченныхъ лодкахъ, отѣхали на ближайшій островъ, „притчемъ никто изъ ватажанъ ни убитъ, ни раненъ не былъ“. На острову разбойники зарѣзали и сжарили обѣихъ телокъ, взятыхъ на ватагѣ, устроили себѣ пиршество, и въ эту-же ночь отправились вдоль морского побережья. Въ теченіе двухъ дней поповичъ со своею шайкою ограбилъ еще нѣсколько ватагъ, увеличилъ запасъ оружія и продовольствія, приобрѣлъ въ артельную казну до пятисотъ рублей, три пушки, много цѣннаго платья, и вывелъ свою маленькую флотилію, состоявшую изъ пяти лодокъ, при сорока и болѣе разбойникахъ, въ открытое море. Въ первый же день вывода своей флотиліи въ море, поповичъ напалъ на шедшее по направленію изъ Астрахани морское судно и чалъ первое морское сраженіе. „Выпала изъ пушекъ и окружа оное судно, я взошелъ на него съ моею командою, но смертнаго убійства не чинили, а только экипажъ и начальникъ судна связали, деньги же, а равно все для моей команды пригодное взяли и между собою подѣлили“, говорилъ поповичъ на допросѣ, повидимому даже кичась своими подвигами и „своею командою“. Второе морское сраженіе съ персидскимъ судномъ поповичъ имѣлъ въ виду Тюленьяго острова, но судна этого не взялъ „за быстрымъ онаго ходомъ и за сильною въ меня пушечною пальбою, которою одна въ моей командѣ лодка и потоплена въ морѣ, изъ коей мною спасены только два человѣка“. У атамана, такимъ образомъ, осталось всего четыре лодки. Послѣ этого сраженія разбойники долго крейсировали вдоль морского берега, а потомъ въ виду того, что „на всѣхъ ватагахъ нами много шуму было надѣлано“, говорилъ атаманъ, „я повелъ свою команду къ трухменскимъ берегамъ, думая тамъ переждать нѣкоторое время, доколѣ молва о нашихъ разбояхъ не утихомирится“. Но молва, повидимому, „не утихомирилась“. Когда разбойники, придерживаясь берега, пробирались около волжско-каспійскаго берега, то у Долгой косы они столкнулись съ двумя „казенными баркасами“, которые были вооружены пушками, и здѣсь, у этой косы, поповичъ-атаманъ долженъ былъ выдержать третье морское сраженіе.

— Мои пушки осилили, и оные баркасы, поворотя, за косою скрылись,—признавался впоследствии атаманъ-поповичъ въ своихъ подвигахъ. Оттуда атаманъ провелъ свою шайку вдоль лѣваго морского побережья, причемъ разбойники заходили иногда на ватаги „по знаемости оныхъ нѣкоторымъ команды моей людямъ“, какъ выражался атаманъ-поповичъ, и тамъ запасались хлѣбомъ и другими припасами, когда шайка начинала чувствовать въ нихъ недостатокъ. Такъ она прошла до устья рѣки Урала, миновавъ Гурьевъ городокъ пробралась до устья рѣки Эмбы до Мертваго Култука. Въ этихъ мѣстахъ разбойниковъ захватила осень, а потомъ зима, и потому они принуждены были разбиться на мелкія шайки и скитаться по берегу въ видѣ рабочихъ людей. Атаманъ, однако, съ небольшою частью своей шайки нашелъ пустую рыболовную ватагу съ теплымъ помѣщеніемъ, въ которой оставшіеся семь человекъ разбойниковъ и провели зиму, „питаясь угоняемою у кочевавшихъ тамъ по близости киргизовъ скотиною и убиваемыми изъ ружей зайцами“. На весну, какъ видно, атаманъ уже не могъ собрать всѣхъ разбойниковъ, бывшихъ въ его первой, весьма многочисленной шайкѣ, которую онъ гордо именовалъ „своею командою“, и долженъ былъ ограничиться одною лодкою и одною пушкою *). Прочіе разбойники разбились на отдѣльныя шайки и избрали себѣ другихъ атамановъ, какъ это всегда бывало въ обычаяхъ понизовой вольницы. Причины неудовольствія разбойниковъ на своего прежняго атамана поповичъ не объяснилъ, хотя слава его, какъ хорошаго и удачливаго атамана, должна была бы привлечь къ нему всѣхъ, бывшихъ подъ его командою и счастливо выдержавшихъ три сраженія. Надо полагать, что атаманъ-поповичъ не всегда соблюдалъ артельныя разбойничьи начала, въ силу которыхъ въ шайкѣ преобладали общинныя права, вся добыча шла въ дуванъ, а на казну, находившуюся въ завѣдываніи атамана, всякій разбойникъ имѣлъ почти равныя права съ атаманомъ. Въ одномъ мѣстѣ Ильинъ выразился, что, когда передъ наступленіемъ зимы, захватившей его шайку у Мертваго Култука, нѣкоторые изъ разбойниковъ требовали у атамана себѣ на зиму денегъ (на харчи), то атаманъ „въ деньгахъ имъ до весны отказалъ“.

Оставшись съ небольшимъ числомъ разбойниковъ, весною 1811 года поповичъ вывелъ ихъ на Волгу, пробравшись мимо Астрахани въ ночное время. Повидимому, поповичу хотѣлось пройти на родину, въ малороссійскую Николаевскую слободу. Дорогой у него отстало три человека, „кои намѣреніе имѣли идтить на Донъ къ роднымъ“, а въ Царицынѣ, на пристани, между бурлаками онъ нашелъ двухъ охотниковъ, которые оказались бѣглыми рекрутами, принятыми въ Камышинъ въ послѣдній наборъ. Черезъ нѣсколько дней атаманъ былъ уже на родинѣ. Что его тянуло туда,—не-

* всѣхъ-же команды моей людей, за выбраніемъ оными себѣ новъ, собрать было невозможно“.

известно, только ночью 25-го іюля онъ явился въ свою родимую слободу и пробрался къ дому отца, стараго священника Ильина.

Отецъ и мать Данилы ужинали, когда онъ вошелъ къ нимъ въ домъ. — Хлѣбъ-соль, батюшка съ матушкою, — сказалъ атаманъ, здороваясь съ родителями, которыхъ не видалъ четыре года. — Признаете меня?

„Не столь обрадовавшись оному, сколько испугавшись, поелику не чаяли видѣть своего сына въ живыхъ, отвѣчали“ (писалъ потомъ священникъ въ своемъ заявленіи камышинскому земскому суду): — Ежели ты добрый человѣкъ, то признаемъ въ тебѣ нашего сына, а есть-ли обезчестилъ наше имя, то уходи, откуда пришелъ.

— Я добрый человѣкъ, и вы меня принять должны, — сказалъ атаманъ, и при этомъ вынулъ изъ кармана мѣшокъ съ золотомъ и, показывая деньги отцу, прибавилъ: — вотъ моя казна — съ казною я повсюду находилъ отца съ матерью: теперь и вы меня богатаго не прогоните.

— Какимъ дѣломъ ты оныя деньги добылъ? — спросилъ отецъ,

— Добрымъ дѣломъ. Нынѣ я уже не поповичъ, а командиръ.

— Кто-жъ тебя въ командиры пожаловалъ? — снова спросилъ отецъ.

— Самъ, — отвѣчалъ атаманъ.

„Устрашенный сими словами паче прежняго“, старикъ священникъ не зналъ, что ему дѣлать, „боясь отвѣтственности передъ строгостью закона“.

— Гдѣ-жъ ты былъ по сіе время? спросилъ старикъ, „думая распросами удержать его у себя и тайно довести о томъ начальству для задержанія онаго безпутнаго сына моего“, прибавилъ онъ въ заявленіи.

— Бывалъ я въ персичкой землѣ, и иностранные корабли на морѣ разбивалъ, — снова отвѣчалъ поповичъ: — а нынѣ пришелъ съ долгами расплачиваться.

Оказалось, что это была угроза: поповичъ явился на родину съ тѣмъ, чтобы отмстить своимъ прежнимъ врагамъ. Въ то время, когда онъ говорилъ съ отцомъ, недалеко вспыхнулъ пожаръ. Поповичъ, подойдя къ окну и указывая на зарево, сказалъ: — Видите, это моя команда за мои долги золотомъ расплачивается. „Сія слова повергли меня въ безпамятство“, писалъ старикъ священникъ, „и когда я пришелъ въ чувствіе, то онаго злодѣя, сына моего Данилы, въ горнищѣ уже не было, и гдѣ онъ нынѣ находится, мнѣ тако-жъ неизвѣстно“.

Разбойники, по приказу и по указанію атамана, подожгли домъ бывшаго писаря Дѣжи.

Дѣжа былъ личнымъ врагомъ атамана-поповича, когда Данило жилъ у отца. Старикъ по совѣту Дѣжи хотѣлъ отдать своего безпутнаго сына въ рекруты, а потому тотъ и бѣжалъ.

Вотъ что на другой день писали въ Камышинъ изъ Николаевской слободы:

„Сего мѣсяца, 25 числа, ночью, явившись къ дому оной слободы малороссіянина Антона Дѣжи, три неизвѣстные человѣка и тотъ домъ съ прицепка зажгли, и когда оный Дѣжа, выбѣгши на улицу, кричалъ о помощи, то однимъ изъ тѣхъ злодѣевъ, подошедшимъ къ Дѣжѣ и ударивъ его“

шимъ его ружейнымъ прикладомъ въ грудь, отъѣствовано: „Вотъ тебѣ поклонъ отъ нашего батюшки Данила Захарьевича“, и въ ту-жъ минуту скрылись. И по тѣмъ оныхъ злодѣевъ словамъ уповательно, что оный поджегъ учиненъ по наущенію бѣжавшаго изъ оной слободы священника нашего Захарія сына Данила, который въ ту-жъ ночь къ отцу своему священнику Захарію приходилъ, не бывше съ четыре года, и отмстить угроживалъ, а кому,—не сказалъ, только на горящій писаря Дѣжи домъ, показывая, сказалъ, что-де моя команда за меня золотомъ платигъ, и съ тѣми словами невѣдомо гдѣ скрылся, а священникъ Захарія отъ такихъ угроживаній сына своего упалъ безъ чувствъ и потому злодѣя задержать не могъ“. О розыскѣ и поимкѣ разбойниковъ немедленно дано было знать во всѣ сосѣдственныя мѣста. Вызванъ былъ въ Камышинъ отецъ атамана разбойниковъ, священникъ Захарія, который и далъ вышепоказанное объясненіе о ночномъ посѣщеніи его сыномъ атаманомъ. Прошелъ почти годъ, но поиски ни къ чему не привели: ни атамана, ни его шайки никто болѣе не видалъ въ тѣхъ мѣстахъ и о подвигахъ ихъ ничего не было слышно.

Правда, носились слухи о разбояхъ, видѣли на Волгѣ, по лѣсамъ и по степямъ, бродягъ и разбойниковъ, ловили ихъ и допрашивали; но ни самъ поповичъ не давался въ руки, ни одинъ изъ его разбойниковъ. Атаманъ-поповичъ между тѣмъ снова былъ далеко отъ мѣста своей родины. Его, какъ видно, тянуло въ Казань, къ Макарью, на макарьевскую ярмарку, на которую со всѣхъ концовъ Россіи и Азіи всегда стекались такіе разнообразные элементы и гдѣ, въ толпахъ пришлаго и пріѣзжаго народа, привольно было толкаться мелкимъ шайкамъ понизовой вольницы. И Ильинъ дѣйствительно водилъ туда своихъ товарищей, хотя и не говорить о своихъ похожденияхъ на ярмаркѣ, а упоминаетъ только въ своемъ показаніи, что лодку свою разбойники, по прибытіи къ Макарью, оставляли „у знакомаго товарищу ихъ Петру Красину ловца, за Волгою“. На возвратномъ пути атаманъ заводилъ своихъ товарищей въ Казань, но въ этомъ городѣ они „никакого дѣла не дѣлали, а только въ разсужденіи уже холодныхъ ночей, купили себѣ теплой одежды и обуви, да въ Казанскомъ монастырѣ у чудотворной иконы Казанскія Божія Матери, по свѣчкѣ поставили“.

У.

Послѣдній фактъ, что разбойники отъ усердія своего поставили по свѣчкѣ передъ образомъ Казанской Богородицы,—эта замѣчательная черта въ характерѣ всего русскаго народа. Просматривая сотни разбойничьихъ дѣлъ XVIII-го вѣка, мы постоянно видѣли въ признаніяхъ разбойниковъ, нерѣдко жестокихъ и безчеловѣчныхъ убійцъ, что они усердно „у исповѣди и святаго причастія бывали“. Поднося ножъ къ горлу своей жертвы, иной разбойникъ творитъ крестное знаменіе и призываетъ Бога, что-бъ онъ помогъ удачно ~~забить~~ того, кто ему подъ руку подвернулся. ~~Показывая~~

награбленные съ помощью убійствъ и пожаровъ деньги,—разбойники говорятъ объ этихъ деньгахъ, что это „Богъ имъ далъ“. Вотъ почему атаманъ-поповичъ ведетъ своихъ подкомандныхъ разбойниковъ въ Казанскій монастырь, чтобъ образу Богородицы по свѣчкѣ поставить. Это—отъ усердія, отъ своихъ трудовъ праведныхъ, какъ выражается русскій человѣкъ, потому что для понизоваго добраго молодца разбой—трудъ, „ремесло“, дѣло, какъ всякое другое дѣло, не осуждаемое ни гражданскимъ чувствомъ, ни гражданскими правилами. Вотъ почему въ народныхъ пѣсняхъ, когда „воеводы, лихіе супостаты“ высылаютъ для поимки удалыхъ добрыхъ молодцевъ частыя высылки, называя доорыхъ молодцевъ „ворами, разбойниками“, народное чувство, какъ-бы вступаетъ за добрыхъ молодцевъ и народъ поетъ ихъ именемъ:

Мы не воры, не разбойнички,
Мы люди добрые, ребята все поволжскіе,
Ходимъ мы на Волгѣ не первый годъ,
Пьемъ, ѣдимъ на Волгѣ все готовое,
Цвѣтно платье носимъ припасенное—
Воровства, грабительства довольно есть.

Послѣдняя строка въ пѣснѣ прибавляется какъ-бы для того, чтобы показать, что и безъ добрыхъ молодцевъ вездѣ царить грабежъ и воровство. Такимъ образомъ, поставивъ по свѣчкѣ въ Казанскомъ монастырѣ и удовлетворивъ тѣмъ чувству набожности, а, можетъ быть, просто обрядовой стороною народнаго воспитанія, разбойники продолжали свой путь внизъ по Волгѣ. Ниже Саратова, у села Золотого, у нихъ была схватка съ „неизвѣстными проѣзжими“. Надо полагать, что проѣзжіе“ были также добрые молодцы, какъ и товарищи „командира-поповича“, и такимъ образомъ шайка нарвалась на другую разбойничью шайку. Изъ показаній разбойниковъ видно, что „проѣзжіе напали на нихъ ночью, въ небольшой лодкѣ со снастями“, и „выпали изъ ружья“, требовали, чтобъ тѣ остановились. Но когда съ лодки атамана Ильина также отвѣчали выстрѣлами и атаманъ, скомандовавъ „на греблю“, закричалъ „лови ихъ мошенниковъ“—неизвѣстные проѣзжіе обратились въ бѣгство. Лодка Ильина гналась за ними вплоть до самаго берега, но достигнуть не могла. Преслѣдуемые, выскочивъ изъ лодки на берегъ, скрылись въ дѣсь, оставя лодку, въ которой Ильинъ нашель желѣзный ломъ и небольшой „казанокъ“ (котелокъ), а въ „казанкѣ“ два куска золотой парчи, аршина на четыре, пустую церковную кружку, мѣдную лампадку и „скрученную въ трубку серебряную ризу Спасителя“. По вещамъ, найденнымъ въ покинутой неизвѣстными людьми лодкѣ и въ особенности по оставленной ими въ казанкѣ парчѣ, церковной кружкѣ, лампадкѣ и ризѣ отъ образа, можно заключить, что лодка эта тоже принадлежала разбойникамъ, которые ограбили какую-либо церковь, и не зная, съ кѣмъ ихъ столкнутъ случай на Волгѣ, намѣревались было ограбить такихъ же, какъ и сами, удалыхъ добрыхъ молодцевъ, но только встрѣтивъ въ нихъ опасныхъ противниковъ и должны были сами спастись бѣгствомъ.

Пріѣхавъ въ Камышинъ, атаманъ-поповичъ узналъ, что его съ шайкою разыскиваютъ и что примѣты его разосланы по всѣмъ тамошнимъ мѣстамъ. Оставаться, такимъ образомъ, вблизи своей родины было небезопасно, а между тѣмъ наступила зима, надо было подумать о томъ, гдѣ и какъ провести это время, когда нельзя будетъ ни на лодкѣ разъѣзжать по Волгѣ, ни ночевать подъ яромъ и кустомъ, ни скитаться по снѣгу. Надо было распустить шайку до весны, чтобъ „каждый о себѣ подумалъ“. Разбойники разошлись. Но прежде чѣмъ проститься съ атаманомъ, они продали лодку незнакомымъ рыбакамъ, а пушку и ружья, которыя при нихъ были, равно pistols, сабли и прочіе военные снаряды, „обвинъ соломою и циновокми, въ яръ, повыше города Камышина, къ вершинамъ Кривова барака, въ землю зарыли“. Оставшись одинъ, атаманъ-поповичъ на зиму превратился въ купца. Накупивъ въ Камышинѣ соленой красной рыбы, добывъ себѣ лошадь „съ пошевнями“, онъ всю зиму разъѣзжалъ по дальнимъ селеніямъ и станицамъ на рѣкѣ Медвѣдицѣ и продавалъ казакамъ рыбу. На весну 1812 года онъ снова появился на Волгѣ въ качествѣ атамана шайки. Въ „малиновой черкескѣ, обшитой золотымъ гасомъ“, съ пистолетомъ за поясомъ и съ „персичкою высокаго разбора саблею“ при бедрѣ, поповичъ красовался на лодкѣ, которая, въ случаѣ надобности, могла пустить въ дѣло двѣнадцать веселъ, и въ теченіе лѣта успѣлъ разбить до пяти большихъ судовъ. На одномъ суднѣ, во время схватки, купецъ, хозяинъ судна, ранилъ атамана-поповича въ лѣвую ключицу, и поповичъ, высадивъ на берегъ рабочихъ этого судна, обобравъ у купца деньги, паспорта рабочихъ, хлѣбъ и сухари, вмѣстѣ съ хозяиномъ-купцомъ, затопилъ въ Волгѣ, пониже столицъ Корованки. Сожженіемъ дома писаря Дѣжи въ Николаевской слободѣ, какъ видно, не вполне было удовлетворено чувство мести поповича, и потому онъ снова тайно явился въ свою родимую слободу, подломалъ алтарь въ церкви, унесъ церковныя деньги и серебряную утварь, зажегъ домъ атамана этой слободы, Артема Гарковенка, и снова ушелъ на Волгу. Но къ концу лѣта атаманъ-поповичъ былъ пойманъ съ однимъ изъ своихъ товарищей, съ разбойникомъ Петромъ Краснымъ. Его схватили въ Камышинѣ, въ слободкѣ, въ домѣ его любовницы, солдатской жены Натальи Любимовой, у которой онъ пировалъ всю ночь, наканунѣ Спаса-Преображенія. Послѣ первыхъ допросовъ, снятыхъ съ разбойниковъ и раскрывшихъ всю сложную исторію походовъ атамана-поповича и его шайки, атаманъ и его товарищъ Красный, по оплошности караульных солдатъ, бѣжали. Что сталося потомъ съ атаманомъ-поповичемъ и его шайкою, — изъ дѣла не видно. Во всякомъ случаѣ, мечты его — сдѣлаться вторымъ Стенькою Разинымъ — далеко не осуществились. Не то было уже время и не тѣ люди, съ которыми ему приходилось бороться. Пожалуй, можно было бы и въ то время поднять на ноги половину Россіи, какъ это сдѣлалъ за сорокъ лѣтъ до него Пугачевъ, но **явленіе Пугачева** было митивировано иными условіями государственной жизни. ~~Въ то время~~ обставлено было самое его дѣло. Имя Пугачева стано-

лось знаменемъ извѣстной идеи, извѣстныхъ исканій цѣлаго народа, а атаманъ-поповичъ, повидимому, широко и глубоко не загадывалъ: онъ не былъ пароднымъ знаменемъ, какъ былъ имъ, до извѣстной степени, въ свое время Стенька Разинъ, которому поповичъ вздумалъ неудачно и не-своевременно подражать. Какъ бы то ни было, но изъ всего вышесказаннаго достаточно, кажется, явствуетъ, что и пятьдесятъ восемь лѣтъ назадъ, при отцахъ нашихъ, условія государственной и общественной жизни нашего отечества были еще таковы, что понизовая вольница продолжала жить между нами и топтать ногами нѣкоторыя права наши, какъ доселѣ, въ объединенной Италіи, рядомъ съ Гарибальди и его сыновьями, шайки бандитовъ, этой итальянской понизовой вольницы, топчутъ своими ногами тѣ человѣческія права, которыя, кажется, достаточно освящены исторіею и наукою. А кто виноватъ? Исторія и на это должна дать категорическій отвѣтъ — и она скоро дастъ его.

К о н е ц ъ.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Д. Л. Мордовцева.

БЪГЛЫЙ КОРОЛЬ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВѢСТЬ.

Томъ XXVIII.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Н. Ѳ. Мертца.
1902.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 4 февраля 1902 г.

Типографія „В. С. Валашевъ и К^о“. Спб., Фонтанный б-къ.

I.

Въ Камчаткѣ—альпійская роза.

Это было въ Камчаткѣ, въ Большерѣцкомъ острогѣ.

Зима приближалась къ концу и безконечныя сѣверныя ночи, хотя и значительно укоротились, однако, все еще были томительно долги.

Въ одну изъ такихъ ночей, уже близко къ полуночи, въ просторной деревянной избѣ, съ широкими нарами, сидѣло нѣсколько человѣкъ. Сальма свѣча, поставленная на столѣ, слабо освѣщала ихъ пасмурныя лица.

— Странный ты человѣкъ, Батуринъ,—сказалъ одинъ изъ сидѣвшихъ стола, плотный мужчина, лѣтъ за пятьдесятъ, съ сильной просѣдью въ рыжихъ волосахъ, обращаясь къ бѣлому, какъ лунь, старику, съ блестящими, какъ у юноши, черными глазами.

— Чѣмъ-же я страненъ?—спросилъ старикъ.

— Да какъ-же!—говоришь, что здѣсь жизнь—раздолье.

— Конечно, государь мой, раздолье. Не забудь—кто мы. А вотъ хотимъ безъ цѣпей, дышемъ не спертымъ воздухомъ подземныхъ каземаговъ, воздухомъ полей, лѣсовъ...

— И тундръ,—перебилъ его первый.

— И подлинно,—вмѣшался въ ихъ разговоръ третій, болѣе молодой мужчина съ сѣрыми, грустными глазами:—у нашего воеводы живемъ, какъ Христа за пазухой.

— Ахъ, государи—мон!—покачалъ головою первый, сѣдой, какъ лунь, старикъ, котораго называли Батуринымъ:—видно, что вы новички въ юй шкурѣ.

— Хороши новички!—перебили его собесѣдники:—скоро, кажется, ниѣмъ здѣсь отъ цынги.

— Эхъ!—махнулъ рукой старикъ:—а вы попробовали-бы моего! вѣно двадцать лѣтъ въ Шлиссельбургскомъ казематѣ, въ одиночномъ заключеніи—вѣдь, это, государи мон, семь тысячъ триста дней играть въ млчанку.

— Семь тысячъ триста дней! Это ужасно!—согласились собесѣдники.

— Да, государи мон, ужасно,—продолжалъ старикъ.—Удавялюсь, какъ не разучился говорить! И еще что, государи мон: каждый часъ ждешь, а вотъ-вотъ звякнетъ ключъ въ дверяхъ, а тамъ... Я, знаете, государи мон, отъ тѣхъ-то тамъ дни и часы. И знаете, сколько часовъ на-
вѣтъ? Двадцать восемь тысячъ!

— Капиталец! — протянули сѣрые, грустные глаза. — И вы счетъ вели?

— Вель-съ — что-жъ было дѣлать! Какъ только кончался день, я и ставлю крестъ на стѣнѣ — похерилъ одинъ день! Такихъ херомъ я и нацарапалъ семь тысячъ триста съ хвостикомъ.

— Это високосы въ хвостъ? — улыбнулись сѣрые глаза.

— Високосы, точно. А часы, государи мои, я считалъ особо. Какъ звякнетъ колоколъ на башенныхъ часахъ и гулко отдастся у меня въ сердцѣ, — я черточку на стѣнѣ провожу. Всѣ стѣны каземата исчертилъ.

— Ну, лѣтопись! Дневничекъ занятный! — снова улыбнулись грустные сѣрые глаза.

— Да-съ, государи мои, — вотъ я такъ все и чертилъ. А потомъ начну считать да снова пересчитывать, — такъ день и пройдетъ.

Онъ задумался, машинально перебирая пряди своихъ серебристыхъ волосъ.

— Такъ-съ, — тоже задумчиво сказали грустные сѣрые глаза: — это ты, братъ, помѣчалъ на стѣнахъ дни и часы, а годы сама природа отмѣчала мѣломъ вотъ на этихъ волосахъ, что серебромъ отдаютъ.

Тотъ плотный мужчина, что первый заговорилъ съ старикомъ, всталъ и быстро зашагалъ по избѣ,

— Это ужасно! — сказалъ онъ, какъ-бы про себя: — семь тысячъ триста крестовъ, четыреста тридцать восемь тысячъ черточекъ! Да я-бъ не вынесъ этого, я голову разможилъ-бы объ стѣну и мозгомъ бездольной головы моей забрызгалъ-бы и эти кресты, и черточки.

— Н-ну! — отозвались сѣрые глаза: — Батурийъ былъ умнѣе насъ.

— Не умнѣе, — возразилъ старикъ: — а жить хотѣлось мнѣ, думать и — любить! Смѣшно сказать — любить въ одиночномъ заключеніи! А я любилъ, государи мои.

— Въ казематѣ-то?

— Въ казематѣ, государи мои.

— Кого же это?

— А паука-съ.

— Какъ паука?

— Такъ просто-съ, — паука. Представьте себѣ, государи мои, — старикъ всталъ и оперся руками на столъ: — зашелъ надъ моею койкой, въ углу, паучокъ, свилъ себѣ тенетцы тонкія, — ну, и бѣгаетъ по нитямъ своимъ, а то сидитъ и глядитъ на меня. Мнѣ казалось, что онъ понимаетъ меня и охотно, какъ другъ, раздѣляетъ со мною мою неволю. И удивительное дѣло, скажу я вамъ: онъ также, бывало, какъ и я, вздрагивалъ на своихъ тенетцахъ, когда, бывало, ударить колоколъ на башенныхъ часахъ, либо звякнетъ запоръ и замокъ у нашей двери — онъ тотчасъ-же прятался въ углу. И представьте себѣ, до чего доводитъ одиночество: я такъ привязался къ моему паучку, что, когда мнѣ объявлена была милость, — вмѣсто каземата ссылка сюда, въ Вольшервѣцкій острогъ, — мнѣ жалъ стало моего паучка: съ кѣмъ-то ты, думаю, останешься, мой другъ?

Онъ помолчалъ. Молчали и остальные его собесѣдники. Было тихо въ избѣ, только за печкою трещалъ сверчокъ да за окномъ уныло гудѣлъ вѣтеръ.

— Такъ-то, государи мои,—снова продолжалъ старикъ, садясь на прежнее мѣсто:—а здѣсь что? Здѣсь раздолье! Здѣсь вотъ я васъ вижу, съ вами бесѣдную; здѣсь я хожу вольно по этому пустынному острогу, по тундрамъ, вижу небо, горы, а по пути сюда такъ и пѣніе птицъ слышалъ... А вотъ чудно, государи мои: никакой птицѣ я такъ не обрадовался, какъ сорокѣ, когда въ первый разъ увидѣлъ ее въ дорогѣ послѣ двадцатилѣтняго шлиссельбургскаго сидѣнья. А ты, Хрущовъ, что молчишь? Все тоскуешь, небось?

Слова эти относились къ четвертому собесѣднику, который сидѣлъ въ сторонѣ у окна и не принималъ участія въ разговорѣ. Это былъ стройный блондинъ, съ тонкими чертами лица и черными глазами.

— Что—тоскуешь, другъ?—повторилъ старикъ.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ тотъ, котораго назвали Хрущовымъ:—не тоскую, а слушаю, какъ подъ окномъ вольный вѣтеръ плачетъ.

— Эхъ ты, поэтъ!—отозвались сѣрые глаза:—объ чемъ тамъ вѣтру плакать? Развѣ онъ ссыльный, какъ мы съ тобой? Онъ у нашего идола Нилова не подъ командой: ему вольно летѣть, куда угодно, хоть въ Питеръ.

— Питеръ!—съ горечью повторилъ, какъ-бы про себя, тотъ, котораго назвали Хрущовымъ:—ахъ какъ живо помню я этотъ Питеръ и этотъ хмурый день, когда меня, да брата Алексѣя, да Гурьевыхъ трехъ братьевъ, въ тяжелыхъ кандалахъ, привели на мѣсто казни. Сколько народу, войска!—И стали читать... Помню я даже слова этого чтенія: я думалъ, что это были послѣднія слова, которыя суждено мнѣ было услышать на землѣ... „За богомерзкое и толь злодѣйское дѣло, какъ изблеванье хулы величества, по всѣмъ законамъ, Петра Хрущова да Гурьева Семена, яко главныхъ въ томъ дѣлѣ зачинщиковъ,—четвертовать и голову отсѣчь, а Гурьевымъ Ивану и Петру—тожъ головы отсѣчь“... И глухо, глухо тамъ, гдѣ-то, подъ нами барабанъ стучитъ... И жду я, безумецъ, жду,—вотъ шевельнется масса, вотъ послышится голоса изъ толпы: „Зачѣмъ казнить? Они за законнаго государя да за насъ стояли“... Нѣтъ, все молчитъ кругомъ—одинъ барабанъ говорить... Вѣтерокъ повѣялъ мнѣ прямо въ лицо и бросилъ на лицо прядь моихъ волосъ, и я вспомнилъ, какъ эту прядь когда-то ласкала милая рука, а теперь эту прядь схватитъ рука палача, чтобъ вмѣстѣ съ головой сбросить внизъ, къ ногамъ толпы... А около меня все читаютъ: „повелѣваемъ мечъ, намъ Богомъ данный и, по словесамъ Его, не безъ ума носимый нами, удержать въ ножнахъ и, жизнь оставя имъ, послать въ Камчатку на вѣчное житіе“... И вотъ я здѣсь! Семь лѣтъ гнию средь этихъ тундръ, въ снѣгахъ, семь долгихъ лѣтъ все думаю о томъ, что вѣчно закрыто для меня!

— Эхъ, поэтъ, поэтъ!—вздохнули сѣрые глаза:—все-то изукрасить крѣпкими краснорѣчія, даже тоску свою.

- А что не видать Гурьева?—оглянулася Хрущовъ на остальныхъ.
— Да, онъ все дома сидитъ, рѣдко къ намъ ходитъ,—отвѣчалъ одинъ изъ собесѣдниковъ.
— Онъ что-то дичится насъ,—замѣтилъ другой.
— Давно не былъ и Беніовскій,—вставилъ третій.
— Онъ рисуеъ карту Камчатки и Курильскихъ острововъ,—пояснилъ первый.
— Зачѣмъ она ему?
— На случай—пригодится.
— А можетъ быть, для своей ученицы.
— Для Аѳанасіи Григорьевны?
— Да... Онъ, кажется, къ ней—тово.
— Да и она тоже... А славная дѣвочка! И какъ такой роскошный цвѣтокъ распустился на снѣгахъ Камчатки, среди проклятой тундры!
— Альпійская роза: она и на снѣгу растетъ.
Въ снѣгахъ избы послышались чьи-то шаги.
— Кто-то идетъ! Ужъ не онъ-ли?
Дверь отворилась, и на порогъ показалась высокая стройная фигура мужчины лѣтъ за сорокъ, съ смѣлымъ взглядомъ продолговатыхъ, точно у сфинкса, и, какъ у сфинкса—почти не мигающихъ глазъ.
— Ба-ба! легокъ на поминѣ!

II.

„Не во вредъ Россіи“,

Вошедшій былъ знаменитый въ прошломъ вѣкѣ энтузіастъ, баронъ Морицъ Анадаръ Беніовскій.

Беніовскій считался венгерцемъ, но онъ скорѣе былъ полякъ и по рожденію, и по воспитанію, и по своимъ политическимъ симпатіямъ. Въ-стѣ съ польскими конфедератами Пулавскимъ, Огинскимъ и Пацемъ, онъ сражался противъ русскихъ войскъ, которыми и былъ взятъ въ плѣнъ, а въ 1769 году сосланъ былъ въ Камчатку, въ Большерѣцкій острогъ.

Здѣсь онъ сошелся съ другими ссыльными русскими, съ которыми онъ уже отчасти познакомился въ предыдущей главѣ. Серебристоголовый старикъ, готорившій о своемъ двадцатилѣтнемъ пребываніи въ Шлиссельбургской крѣпости, былъ Батуринъ, Яковъ. До ссылки онъ состоялъ въ артилеріи, въ чинѣ полковника, и за покушеніе, въ 1743 году, возвести на престолъ великаго князя Петра Ѳедоровича, былъ заключенъ въ Шлиссельбургскій казематъ, гдѣ, дѣйствительно, и высидѣлъ въ одиночномъ заключеніи двадцать лѣтъ. Затѣмъ, въ 1769 году, одиночное заключеніе было замѣнено для него вѣчною ссылкой въ Камчатку-же, въ Большерѣцкій острогъ.

Другой, плотный мужчина, съ сильной просѣдою, былъ Степановъ, Ипполитъ, нѣкогда капитанъ арміи, а теперь тоже арестантъ Большерѣцкаго

острога. Это быть, повидимому, очень мощный и энергичный человекъ, съ силой буйвола.

Сѣрые грустные глаза принадлежали его молодому другу, Панову, товарищу по ссылкѣ. Пановъ былъ душею и любимцемъ этого небольшого кружка ссыльныхъ, и хотя онъ постоянно шутилъ и острилъ, развлекая товарищей въ минуты тоски по родинѣ и вызывая улыбки на ихъ хмурые лица, но глаза его при этомъ постоянно оставались задумчивыми и грустными. Оттого шутки его отдавали какою-то скрытою горечью, и веселость казалась напускною.

Тотъ, кого онъ называлъ „поэтомъ“, былъ Петръ Хрущовъ, нѣкогда поручикъ лейбъ-гвардіи измайловскаго полка, а съ 1762 года—арестантъ Вольшерѣдскаго острога. Петръ Хрущовъ былъ главою извѣстнаго заговора Хрущевыхъ и Гурьевыхъ—заговора, которымъ, такъ сказать, открылось царствованіе императрицы Екатерины II. Это была натура нервная до болѣзненности, а потому подчасъ безсильная обуздать свое пылкое, тоже до болѣзненности, воображеніе.

— Что вы такіе мрачные, друзья мои?—спросилъ Бениовскій, садясь около Батурина.

— Да вотъ все Хрущовъ смущаетъ,—отвѣчалъ Пановъ, кивая головой по направленію къ Хрущову.

— Чѣмъ-же это?

— Да все поэзіей—такое несетъ, что уши вянутъ: говорить, что слушаетъ, какъ вѣтеръ плачетъ,—и чего ему плакать? То самъ съ вѣтромъ разговариваетъ, и будто-бы вѣтеръ говоритъ ему: „ахъ братъ, Хрущовъ, какъ усталъ я носиться вокругъ земного шара“. А кто его, дурака, гонить? Пролеталъ я, говорить, будто-бы Америкой и Тихимъ океаномъ, и вездѣ-то, говорить, все Хрущовы хнычутъ. Хотѣлось-бы мнѣ, говорить, въ Россію полетѣть (и кто мѣшаетъ?), посмотреть, что „тамъ“. А Хрущовъ и говорить вѣтру: „лети, братецъ, да поклонись родной сторонкѣ—скажи, какъ мы здѣсь изнываемъ на волѣ“. А я и говорю: да ты не очень-то подбивай вѣтеръ, а то и его, дурака, постегаютъ да сюда-же сошлютъ подъ команду Нилову—шутить-то тамъ и вѣтру не позволять. Вонъ, на что галки—птицы!—а и галокъ сотъ пять сослали, говорятъ, въ Целымъ за то, что, глупыя, глазѣли надъ дворцомъ, когда тамъ изволилъ почивать свѣтлѣйшій герцогъ Биронъ.

Бениовскій загадочно улыбнулся.

— Bene, bene!—сказалъ онъ весело:—*si non e vero, ben' trovato*—похоже на истину: у васъ на святой Руси все возможно.

Хрущовъ всталъ съ нервнымъ подергиваніемъ губъ.

— Не говорите такъ, панъ Бениовскій!—горячо сказалъ онъ.—Вы не то полякъ, не то венгерецъ,—вы не поймете насъ.

— Дѣйствительно, я васъ не понимаю,—пожалъ плечами ссыльный конфедератъ.—Вы бы стыдились любить такую родину, какъ ваша.

— А вы свою!—горячился Хрущовъ.—Да у васъ и родины-то нѣтъ....

За кого-жъ вы бились? За пановъ? За Пулавскихъ да Огинскихъ? Имъ вы продали свой мечъ и свою кровь!

Вскочилъ, въ свою очередь, и Беніовскій.

— Ложь!— сказалъ онъ, поблѣднѣвъ:— я ничего не продавалъ! Я бился за вѣчность, рвуность, неподлежность, и буду биться за нихъ вездѣ, на кого-бъ не надѣли цѣпи рабства, будь то въ Польшѣ, въ Камчаткѣ-ли— все равно!

— И за пелымскихъ галокъ?—вставилъ Пановъ.

— Я рыцарь!—продолжалъ, не слушая его, Беніовскій:— только я рыцарь новаго покроя и ношу цвѣта моей прекрасной дамы, и буду вездѣ за ея честь сражаться—въ Польшѣ-ли, бокъ-о-бокъ съ Огинскимъ и Пулавскимъ, въ Камчаткѣ ли,—рядомъ съ вами...

— И съ Ниловымъ?—не утерпѣлъ Пановъ.

Но Беніовскій не слушалъ его.

— Только этой дамѣ я и посвятилъ и кровь мою, и мечъ.

— А позвольте узнать имя вашей прекрасной дамы?—спросилъ Пановъ.

— Свобода!

— А!—протянулъ Пановъ:—мы съ этой милой дамой незнакомы... Она и вамъ, злодѣйка, измѣнила...

— О, нѣтъ!—горячо, но загадочно возразилъ конфедератъ:—она лишь прячется стыдливо отъ грубой силы русскихъ... А хотите, я васъ представлю ей?

— О, да!—отвѣчалъ Степановъ:—мы всѣ васъ объ этомъ просимъ.

— Только не я!—возразилъ Хрущовъ:—я не желаю *вашей* дамы, господинъ баронъ. Я лучше буду жить съ моей бѣдной дамой — съ разбитой надеждой. И я когда-то мечталъ, и я надѣялся... Но видите-ли?.. Тотъ гренадеръ, который клялся мнѣ за согласіе всего своего полка,—этотъ самый гренадеръ, когда намъ съ Гурьевыми читали указъ о смертной казни, глядя на насъ, преспокойно ковырялъ въ носу.

— Жаль мнѣ васъ, Хрущовъ,—сочувственно сказалъ Беніовскій.—И мнѣ понятны муки разбитыхъ надеждъ. Памятны мнѣ тяжелыя мгновенья изъ прежней жизни: шли мы съ Пулавскимъ противъ русскихъ; въ свой отрядъ мы всю душу вложили; они клялись стоять, хотя-бы ихъ живыми зарывали въ землю... И какъ горячо я цѣловалъ ихъ, плакалъ съ ними! А они меня и Пулавскаго, словно краденые сапоги за квартиру горѣлки,—отдали герръ фонъ-Вринку. И вотъ я здѣсь, а Пулавскій—въ Казани.

— А галки галдятъ въ Пелыми,—не унимался Пановъ.

— Правда, другъ,—улыбнулся Степановъ:—вѣдь, ты вмѣстѣ съ галками сосланъ въ Пелыми, а въ Камчатку попалъ ошибкой.

— Правда и то!—согласился Пановъ:—вѣдь мы съ тобой вмѣстѣ каркали, когда императрица въ Москву наказъ прислала и велѣла намъ уложеніе сочинять—помнишь? Ты каркалъ ворономъ, а я только галченкомъ.

— Помню, помню!—отозвался тотъ:—да не въ этомъ, другъ мой, дѣло.

Беніовскій прервалъ ихъ разговоръ. Онъ, видимо, хотѣлъ сказать что-н

особенное, и потому лицо его выражало и нетерпѣніе, и твердую рѣшимость.

— Оставьте, господа, бесполезные разговоры,—сказалъ онъ какъ-будто съ раздраженіемъ въ голосъ:—довольно мы вели здѣсь пустыхъ бесѣдъ, довольно и бесполезно плакались, какъ бабы, на свою участь. Надо дѣло дѣлать. Гдѣ остальные наши товарищи по острогу? Винбладъ, Мейдеръ, Гурьевъ, Гурчениновъ?

— Зачѣмъ вамъ они?—спросилъ Батуриный.

— Дѣло есть,—былъ отвѣтъ.

— Какое дѣло?

— Сейчасъ скажу!

— Да на Гурьева плоха надежда для дѣла,—замѣтилъ Батуриный.

— А что?—спросилъ конфедератъ.

— Не надеженъ онъ,—удаляется... А Гурчениновъ бесполезенъ для бесѣды. На что годится человѣкъ, у котораго вырѣзали языкъ?

— Ахъ да! Скажите, пожалуйста, за что его у бѣднаго вырѣзали?—спросилъ Веніовскій.—Я до сихъ поръ этого не знаю.

— Да за то,—сказалъ Пановъ загадочно:—за что сослали Овидія.

— Полно тебѣ болтать!—перебилъ его Батуриный:—Гурчениновъ былъ камеръ-лакеемъ у правительницы Анны Іоанновны, и въ 1742 году ко-свенно участвовалъ въ заговорѣ противъ Елизаветы Петровны, то-есть, онъ просто смолчалъ тамъ, гдѣ отъ него требовали отвѣта, и вотъ для того, чтобъ ужъ онъ никогда не говорилъ, ему на плахѣ и совсѣмъ вырѣзали языкъ.

— Остроумно!—улыбнулся конфедератъ.—Это будетъ почище Овидія... Впрочемъ,—прибавилъ Веніовскій:—такой человѣкъ всего болѣе пригодится въ нашемъ дѣлѣ.

— Своимъ краснорѣчіемъ?—спросилъ Пановъ лукаво.

— Именно краснорѣчіемъ!—горячо отвѣтилъ конфедератъ.—Краснорѣчивъ фактъ—для народа... Слушай те-же!

Онъ выпрямился, оглядѣлся, потомъ взялъ со стола свѣчу и вышелъ въ сѣни. Тамъ онъ осмотрѣлъ всѣ углы, заперъ сѣни и воротился въ избу.

— Друзья и товарищи моего печальнаго плѣна!—началъ онъ торжественно, дрогнувшимъ голосомъ:—я пришелъ къ вамъ съ великимъ дѣломъ. Клянется-ли вы мнѣ, что то, что я сообщу вамъ сейчасъ, останется тайною между нами? Клянется-ли?

— Если только не во вредъ Россіи,—возразилъ Хрущовъ.

— Не во вредъ,—спокойно отвѣчалъ конфедератъ.—Клянется-ли?

— Я клянусь!—сказалъ Батуриный.

— Клянусь и я!—повторилъ за нимъ, поднимая правую руку, Пановъ.

— И я! и я!—повторили Степановъ и Хрущовъ.

— Но,—прибавилъ медленно Батуриный, какъ старѣйшій:—мы можемъ и не принять того, что вы намъ предложите?

— Это ваша воля, — отвѣчалъ конфедератъ: — но я убѣжденъ глубоко, что вы примете. Слушайте-же! Я все вамъ открою.

III.

За Павла Перваго.

— Я давно лелѣю въ душѣ великій планъ, — началъ Веніовскій торжественно, и немигающіе глаза его, казалось, остеклѣли и похолодѣли. — Мое сердце, какъ, надѣюсь, и ваше, жадно просить воли, а съ волею — и счастья. Душѣ такъ обидно томиться въ этомъ склепѣ, въ этой снѣжной могилѣ, гдѣ только дикій воронъ кричитъ, да по ночамъ стонетъ филинъ надъ забытыми могилами погибшихъ здѣсь вдали отъ родины. Настъ всѣхъ ждетъ эта могила: мы присланы сюда на вѣчное житье, на вѣчное! Развѣ мысль ваша не ищетъ живого дѣла, руки — работы, только не каторжной? А настъ окопали снѣгами, обвели холоднымъ, безпредѣльнымъ моремъ, какъ души умершихъ эллиновъ обводили мрачнымъ Стиксомъ. Но то, вѣдь, были тѣни мертвыхъ, а мы — мы живые! — мы жизни просимъ, свободы! — И я все это дамъ вамъ, дамъ, клянусь всемогущимъ Богомъ!

Онъ остановился, тяжело дыша. Всѣ сидѣли, потупивъ головы.

— Я дамъ вамъ, все, все! — продолжалъ конфедератъ. — Какъ сказочная птица, помчу я всѣхъ васъ на могучихъ крыльяхъ. Изъ могилы — не мертвыхъ, а живыхъ васъ, сильныхъ, я выну и, какъ евангельскій демонъ Христу, покажу вамъ всѣ царствія міра — сказочныя царства — Япоцію, Китай, Офиръ библейскій. Я покажу вамъ край, гдѣ пальмы зрѣютъ, гдѣ нѣтъ снѣговъ, гдѣ воздухъ нѣгой дышетъ, гдѣ нѣтъ ни тундръ, ни тюремъ, ни цѣпей! Обѣихъ Индій страны покажу вамъ, Великаго Могола царства, Цейлонъ роскошный и Мадагаскаръ, я родину вамъ негровъ покажу, страны, гдѣ львы гуляютъ на свободѣ и зрѣютъ лопасти банана! А тамъ — все дальше, дальше понесу васъ!

Батуринъ безнадежно махнулъ рукой, еще ниже опустивъ свою серебряную голову.

— Эхъ! это сонъ, несбыточный, но сладкій сонъ! — тихо сказалъ онъ, поднимая блѣдное лицо и глядя въ глаза конфедерату. — Зачѣмъ вы демономъ сюда явились, чтобъ нашъ покой могильный нарушать? Зачѣмъ, когда мы жаждой умираемъ въ степи безводной, вы намъ показали моря воды живой, чтобъ агонію нашу, муки смерти увеличить!

Веніовскій ничего не отвѣчалъ. Какъ ловкій ораторъ, привыкшій говорить на сеймахъ, онъ ждалъ перваго эффекта своей рѣчи.

Пановъ съ жестомъ отчаянія подошелъ къ конфедерату.

— Веніовскій! Демонъ! Вы точно демонъ! — задыхаясь, говорилъ онъ. — Зачѣмъ мой смѣхъ и шутку вы убили? Мнѣ плакать хочется!

— Извините, — сказалъ въ свою очередь Хрущовъ: — все это только — польское краснорѣчіе. Зачѣмъ мнѣ льва и лопасти банановъ? Вы дайте мнѣ Россію, край мой милый и далекій! Дайте поглядѣть мнѣ на русскіхъ

избушки, на бѣленькія хатки Украины, на степи и поля! А то бананы, тамаринды!

Конфедератъ былъ, видимо, задѣтъ за-живое словами Хрущева... „польское краснорѣчіе, лопасти банановъ“!..

Онъ подошелъ къ столу, вынулъ изъ кармана карту и разложилъ ее на столѣ. Собесѣдники окружили столъ.

— Вотъ какимъ путемъ я поведу васъ къ русскимъ избушкамъ и къ бѣленькимъ хаткамъ Украины,—серьезно сказалъ конфедератъ, обращаясь къ Хрущеву:—сначала Камчатскимъ моремъ, потомъ вдоль Курильскихъ острововъ до Японіи—вотъ этимъ курсомъ, нанесеннымъ мною на карту. Оттуда Корейскимъ проливомъ мы выйдемъ къ Китаю... Дальше,—слѣдите за моимъ пальцемъ,—Формоза, Кантонъ, Макао, Сайгонъ, Сингапуръ, Суматра. Далѣе мы огибаемъ Африку, а оттуда къ Европѣ путь направимъ... А тамъ—кресты родимыхъ колоколенъ, поля родныя, рѣчь родная—и милыя, старыя лица, которыя насъ дѣтскими любили и ласкали: тамъ и русскія избушки, и бѣленькія хатки Украины.

— Богатая фантазія!—грустно покачалъ сѣдою головою Ватуринъ:—но мы не дѣти, чтобъ вѣрить сказкамъ. Откуда вы, нашъ чародѣй, возьмете коверъ-самолетъ, чтобъ на коврѣ этомъ, черезъ морскія бездны, пронести насъ по воздуху вокругъ земного шара, подобно тому, какъ ангелъ переноситъ души умершихъ отъ ложа смерти въ незримый край новой жизни?—Сказки! Сказки, мой другъ!

— Иллюзіи!—грустно повторилъ и Степановъ.

— Фантазій, баронъ, фантазій!—насмѣшливо махнулъ рукой и Пановъ:—вы только доказываете этимъ вѣрность пословицы, что у всякаго барона своя фантазія.

— Нѣтъ, не фантазія!—гордо выпрямился конфедератъ. — Садитесь и слушайте дальше!

Онъ прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ, обдумывая то, что намѣренъ былъ сказать. Глаза его снова сдѣлались холодны и неподвижны.

— Такъ слушайте-жъ!—началъ онъ, останавливаясь посреди комнаты.—Камчатка, гдѣ мы живемъ теперь и ждемъ безвременной и безславной могилы, какъ вамъ извѣстно, почти безлюдный край, а Вольшерѣцкъ—ничтожный городишко, въ которомъ всего тридцать пять маленькихъ избушекъ. Гарнизонъ большерѣцкій вы также знаете—всего полсотни казаковъ, и притомъ хромыхъ, кривыхъ, слѣпыхъ и безоружныхъ. Вся казна—у Нилова, у коменданта: мы возьмемъ ее. Пушки, порохъ, свинець, гранаты, картечь, ружья—все это у насъ подъ руками, и стоитъ только руку протянуть, чтобъ взять. Провіанту у насъ порядочный запасъ,—надолго хватитъ. Мы овладѣемъ острогомъ безъ всякихъ усилій, и на каланчѣ разовьемъ государственное знамя съ именемъ—*Павелъ Первый!*

Ватуринъ прервалъ эту рѣчь знакомъ нетерпѣнія.

— Какъ вамъ не стыдно, баронъ, играть нашими чувствами!—съ горечью сказалъ онъ.—Что-жъ, вы думаете отдѣлать Камчатку отъ

Россіи? Довольно того, что и Польши-то вы не смогли отдѣлить отъ Россіи!

— Нѣтъ! — горячо возразилъ конфедератъ: — не того я хочу... Съ большерѣцкой каланчи мы знамя *Павла Перваго* перенесемъ на стѣны Петропавловской крѣпости.

— Какимъ это образомъ?

— Вы не дали мнѣ досказать, — холодно отвѣтилъ Веніовскій.

— Виновать, государь мой, — погорячился... Мои лѣта... — и Батуринь махнулъ рукой.

Конфедератъ опять прошелся по комнатѣ, какъ-бы припоминая что-то.

— Да! — остановился онъ, какъ вкопанный. — Еще тогда, когда мы плыли изъ Охотска вотъ съ ними (онъ указалъ на Степанова и на Панова), прошлымъ лѣтомъ, на гальотѣ, когда насъ въ Вольшерѣцкѣ ссылали, а васъ на особомъ суднѣ отправляли, — во мнѣ созрѣлъ ужъ замыселъ спасти себя и васъ. Въ открытомъ морѣ, ночью, я думалъ стражу заманить въ каюты — въ открытомъ морѣ стража такъ беспечна, — и, люки заклепавъ, принять команду надъ гальботомъ и направить путь нашъ къ югу, къ владѣніямъ испанскимъ. Но тогда, вѣдь, время было неудобное — лѣто къ осени сближалось, а на гальотѣ было мало и орудій, и провіанту, а равно боевыхъ запасовъ и команды: намъ пришлось бы голодомъ томиться въ невѣдомыхъ моряхъ, безъ картъ, безъ инструментовъ, и, въ концѣ концовъ, мы попали-бы въ руки пиратовъ. Теперь не то! — онъ понизилъ голосъ до шопота: — теперь у насъ будетъ прочный военный гальотъ, пушки, порохъ, всѣ боевые припасы, ружья, провіантъ и казна... У насъ команды до ста человѣкъ, у насъ морскія карты, инструменты! У насъ и флагъ и прапоръ царскій! А на прапорѣ мы имя императора поставимъ. Отъ имени царя насъ примутъ въ Іеддо, какъ представителей Россіи. На моряхъ и въ гаваняхъ будетъ развиваться россійскій флагъ, и флагъ тотъ будутъ созерцать и берега Китая и обѣихъ Индій, колоніи испанцевъ и французовъ, и берега Европы будутъ видѣть нашъ полосатый флагъ и прапоръ царскій! Проснитесь-же! Весна ужъ не далеко: съ разливомъ рѣкъ должны мы выйти въ море!

Рѣчь смѣлаго конфедерата произвела ошеломляющее впечатлѣніе.

— О, сонъ отрадный! — какъ-бы простионалъ Батуринь.

— Сонъ! Но, Боже, какъ сладокъ этотъ сонъ! — съ тоскою произнесъ Степановъ.

— А мнѣ такъ плакать хочется отъ несбыточнаго счастья, и слезы мнѣ шутить ужъ не даютъ... Но это — только сонъ! — безнадежно опустилъ голову Пановъ.

— Не сонъ! — возразилъ Веніовскій: — проснитесь-же! Весна стучится въ двери!

— Ахъ, не весна — стучатся слезы въ горло, глаза мнѣ застилаютъ! — махнулъ рукою Пановъ. — Видите, я плачу...

Онъ дѣйствительно плакалъ.

Беніовскій видѣлъ, что произведенное имъ впечатлѣніе было очень сильно и, боясь скорого отрезвленія своихъ слушателей, продолжалъ говорить:

— За нами пойдутъ Винбладъ, Мейдеръ, Гурчениновъ, Чулошниковъ, Бочаровъ, Чуринъ, Рюминъ да Уфтожаниновъ—мой ученикъ: онъ за меня пойдетъ въ огонь и въ воду... Гурьевъ...

— Гурьевъ не надеженъ,—тихо сказалъ Хрущовъ.

— А команда?—спросилъ Батуриный.

— Съ посадскими и казаками—до ста человѣкъ, и все это народъ надежный: они чего-то ждутъ, а я, какъ порохъ на огонь, не разъ уже бросаю въ народъ имя Павла и „зеленую грамоту“...

— Какую „зеленую грамоту“?

— Объ этомъ послѣ, послѣ!

— А гальотъ?—спросилъ Батуриный.

— Гальотъ готовъ, хотя не для насъ,—отвѣчалъ загадочно конфедератъ:—но онъ нантъ! Это вѣрнѣ смерти—за гальотъ я ручаюсь.

Сѣдая голова Батурина тряслась отъ волненія, когда онъ всталъ и зашагалъ по комнатѣ, бормоча словно въ забытыя:

— Полны соблазна демонскія рѣчи... Горячимъ пламенемъ онъ льются въ душу, и это пламя течетъ по старымъ жиламъ—я снова молодъ!—сѣдой мой волосъ снова почернѣлъ—я снова чую въ себѣ силу, какъ въ тотъ день, когда я шелъ со шпагою на цѣлый полкъ и на престолъ видѣлъ ужъ Петра—теперь-же Павла!

— И вы увидите его тамъ!—настойчиво подтвердилъ конфедератъ.

— И родину увидимъ? Родныя кровли?

— Все, все увидите, только клянитесь—поклонитесь именемъ Отца и Сына и Святаго Духа! Клянитесь потерянную вами свободой, и честью, головами клянитесь идти со мной!

Батуриный поднялъ руку. На глазахъ его сверкали слезы.

— Клянусь!—сказалъ онъ сильнымъ голосомъ:—клянусь сѣдою головой и честью!.. клянусь двадцатилѣтнею неволей!.. клянусь землею и небомъ, и тѣмъ, что подъ землею и на небѣ,—клянусь идти въ огонь и въ воду, на жизнь и смерть!

Словно безумные, вторили ему въ одинъ голосъ и Степановъ, и Пановъ, и Хрущовъ:

— Клянусь и я!.. клянусь!.. клянусь!

Беніовскій горячо всѣхъ обнялъ и вынулъ изъ кармана какія-то бумаги.

— Теперь, друзья, обсудимъ наше предпріятіе, — сказалъ онъ, перебирая бумаги.

Но въ это время что-то постучалось подъ окномъ—и онъ мгновенно умолкъ. Стукъ повторился отчетливѣе.

— Кто тамъ?—спросилъ Беніовскій.

— Вѣстовой!—послышался отвѣтъ.

— Чего тебѣ?

- Барона командиръ спрашиваютъ.
- Кто спрашиваетъ меня?
- Командиръ, ваше благородіе!
- А гдѣ онъ?
- Дома былъ—у себя.
- Пьянъ?
- Есть, кубить, маленько.
- Такъ скажи, что скоро буду.
- Семинуть приказано, ваше благородіе.

Беніовскій значительно переглянулся съ товарищами.

— Хорошо—иду! До свиданья, товарищи! До завтра!

И онъ ушелъ, оставивъ всѣхъ въ глубокомъ волненіи и точно ошмѣвшими.

IV.

На родину—безъ меня!

И надъ Камчаткой, наконецъ, ходитъ весеннее солнце. Оно смело и снѣжные сугробы вокругъ Большерѣцка, и бѣлый иней смело съ толстыхъ группъ искривленнаго березняка, и жалкую зелень вызвало изъ непривѣтливыхъ тундръ. Но только рѣка еще не вскрылась отъ льда, хотя посинѣла уже и мѣстами вздулась.

Изъ-за пригорка видѣется колокольня церкви Большерѣцкаго острога. Берегомъ рѣчки идетъ казакъ съ тенетами за плечами и тянетъ заунывную пѣсню.

Ахъ, таланъ ли мой, таланъ таковъ,
Али участь моя горькая,
На роду-ли мнѣ написано,
Али на дѣлѣ досталось,
Что со младости до старости,
До сѣдова бѣла волоса
Во весь вѣкъ мнѣ горе мыкать.
Что до самой гробовой доски.

И казакъ скрывается за возвышеніемъ. Изъ-за березняка показываются двѣ фигуры—не то казаки, не то матросы.

— Ее, слышь, мать-ту, прочать въ монастырь,—говоритъ первый, высокий рыжій мужикъ.

— За што такъ?—спрашиваетъ другой, низенькій, съ простодушнымъ взглядомъ.

— За што—знамо, за родителя да ради спасенья молиться.

— А нешто и они въ грѣхѣ, то-ись?

— Каковъ случай... Не ровень часъ, а лукавый, чу, силенъ... Она-жъ тово...

— Поди ты—на!—А онъ-то?

— А онъ себѣ знай—ну, и тово.

Ишь ты! Вотъ дѣла!

А то какъ-же! Всяко бываетъ.

— Ну, и что-жъ, паря?

— Ну, и тово—по боку.

— А сынъ-то какъ-же?... а?

— Ну, сынъ, знамо: ты незнамай, слышь,—онъ отецъ мой былъ...

— Ишь ты куда!—та-та-та-та!

— Нда, каконъ ни-на-есть отецъ, а все-жъ...

— И точно—отецъ, сказать-бы,—родитель.

— Ну, причта та и вышла,—а вотъ и къ намъ.

— А мы-то што-жъ, паря?

— Штобы мы, значить, за ево.

— На кой песь?

— На кой! Бейнакъ сказывалъ, — зелену, чу, грамоту привезъ за ечатю да за ево рукой.

— Ой-ли—за ево рукой!... И зелена?... Къ кому-жъ она?

— А къ Кесарю, баятъ: нашъ-то жениться задумалъ, дакъ у Кесаря оць сватать хочетъ.

— А Кесарь что-жъ?

— Какъ што! Онъ на насъ пойдетъ, коль мы зятю ево не дадимъ рясги.

— Вонъ оно куда гнеть! А кто-жъ зять-ту?

— Да нашъ-то! Али не смекнулъ?

— Кубыть, теперь мекаю... Она тово, а онъ тово,—ну, мекаю... Ишь ты! Бесѣдующіе также скрылись за возвышеньемъ, изъ-за котораго высился рестъ большерѣцкой колокольни.

День обѣщалъ быть тихимъ и теплымъ. Въ голубомъ небѣ заливались аворонки, для которыхъ и угрюмыя тундры Камчатки были такъ-же милы, акъ и привольныя степи далекой родины Бениовскаго.

Это онъ выходитъ изъ-за пригорка и въ глубокомъ раздумьи оставливается на берегу рѣки. За послѣднее время онъ какъ-будто похувалъ, но зато въ лицѣ его и въ глазахъ замѣтно было болѣе мягкости, иплоты.

Онъ думалъ о своемъ дѣлѣ, о далекой родинѣ, о разбитыхъ надеждахъ олодости. Пѣсня казака, которую онъ слышалъ, нагнала на него щемяую тоску. Казалось, что пѣсня эта, ея трогательная, грустная мелодія, слова, полныя безнадежнаго отчаянія, какъ долгое эхо, стояли въ его ердцѣ, и онъ невольно становился этимъ эхомъ...

На роду-ли мнѣ написано,
Или на дѣлѣ досталось,
Что со младости до старости.
До сѣдова бѣла волоса..

Онъ невольно, какъ-то машинально захватилъ за ухомъ прядь своихъ длинныхъ, вьющихся волосъ, и притянулъ къ глазамъ. Въ длинной пряди

черныхъ, какъ вороново крыло, весть блестя серебряныя нити. Онъ грустно покачалъ головой: „да, вотъ онъ, сѣдой бѣлый волосъ, да и не одинъ“...

Машинально онъ опустился на камень, торчавшій надъ пологимъ берегомъ рѣки. Невеселыя мысли тѣснились ему въ голову. Неужели къ этимъ угрюмымъ тундрамъ рвалось его сердце, когда онъ бросилъ свою родину, мать, родную кровлю, табуны отцовскихъ коней и все, все милое и привычное, когда, въ послѣдній разъ поцѣловавъ дорогую, низко наклоненную, всю въ слезахъ, золотистую голову Ванды,—пошелъ искать боевыхъ подвиговъ, рыцарской славы бокъ-о-бокъ съ Пулавскимъ и Огинскимъ. Чѣмъ-то невыразимо прекраснымъ и дорогимъ казались ему теперь его родныя Угры, гдѣ его юное воображеніе ласкали и знойныя степи, и темныя рощи, и звонкіе горные ручьи, и синева небесъ глубокихъ. И вмѣсто всего этого,—Камчатка, холодное море, полярныя льды. Здѣсь, на безотрадномъ концѣ вселенной, ему суждено томиться теперь въ неволѣ, довольствоваться этой чахлой природой, и небомъ такимъ-же печальнымъ, жалкимъ, безпривѣтнымъ. Ему казалось, что кругомъ все тоскуетъ, какъ и онъ, все по жизни ноетъ, и небо тоскуетъ, и лѣсъ такой-же чахлый, какъ трава и люди, и чахлое, какъ этотъ березнякъ, солнце, чахлое и злое, какъ чахлы тутъ и злы люди, и холодное, какъ цѣпи, которыя онъ когда-то носилъ здѣсь на своихъ ногахъ. Мрачно настроенному воображенію его представлялось, что тутъ все тоскуетъ, все тутъ въ цѣпяхъ, все въ вѣчной ссылкѣ—и небо, и люди, и тундры, и солнце—все въ ссылкѣ, отъ всего тутъ отвернулось лицо Создателя—и стала ссыльной тутъ, опальной вся природа, точно преступникъ предъ всемогущимъ и милостивымъ Богомъ!

Онъ глянулъ на рѣку, потомъ на солнце. Рѣка, казалось, и не думала вскрываться—такъ все лѣто и не вскрыется! Солнце не въ силахъ растопить ледъ своими жалкими лучами, не порветъ эти ледяные запоры, и воды и рѣки не потекутъ свободно въ море, чтобъ унести съ собою невольниковъ и ихъ тоску.

Онъ готовъ былъ броситься на землю и плакать, плакать, какъ онъ это дѣлалъ ребенкомъ; но нечаянно взглядъ его упалъ на медленно двигавшуюся отъ Большерѣцка, по берегу рѣки, женскую фигуру. Онъ тотчасъ же узналъ эту задумчиво наклоненную голову. То была Аванасія, молоденькая дочка капитана Нилова, большерѣцкаго воеводы и главнаго начальника Камчатки,—ученица Веніовскаго.

— Вѣдное дитя!—подумалъ онъ, любуясь ея стройною походкой:—ребенокъ милый! Нѣжный цвѣточекъ, распутившійся подъ этимъ непривѣтливымъ солнцемъ, цвѣтокъ, которымъ гордилось-бы по праву и наше жаркое солнце, и наше голубое небо,—и вотъ онъ выросъ на жалкихъ тундрахъ, среди природы, отъ которой отвернулось лицо Создателя и Бога,—выросъ затѣмъ, чтобы завянуть, не извѣдавъ счастья. Вѣдное дитя! Большое горе ждетъ тебя, и въ этомъ горѣ я буду повиненъ: я дамъ тебѣ

это горе, бѣдное дитя, а самъ я унесу съ собою болѣе глубокія страданія и горе большей глубины, чѣмъ то, которое тебѣ я дамъ...

Дѣвушка увидѣла его и въ нерѣшимости остановилась. Беніовскій всталъ съ камня и подошелъ къ ней.

Это была еще очень молоденькая дѣвушка, лѣтъ пятнадцати-шестнадцати, но вполне сложившаяся. Высокенькая и стройная, съ мягко округленными плечами и бюстомъ, съ бѣлымъ личикомъ, какъ первый зимній снѣгъ Камчатки, и свѣтло-голубыми глазами, какъ лѣтнее небо ея родины, съ немножко вздернутымъ вверхъ носикомъ и съ роскошною перельнаго цвѣта косою, заплетенною въ два толстыхъ жгута, Аеанасія дѣйствительно напоминала альпійскую розу въ снѣгахъ Камчатки.

— Здравствуйте, Фанни, — ласково сказала Беніовскій, протягивая Аеанасіи руку.

— Здравствуйте, баронъ, — отвѣчала дѣвушка, и лицо ея покрылось нѣжнымъ, едва замѣтнымъ румянцемъ: — вы зачѣмъ здѣсь?

— А вы какъ попали сюда и притомъ такъ далеко отъ дому? — въ свою очередь спросилъ конфедератъ. — Вы не боитесь?

— Чего-же мнѣ бояться? Я здѣсь всегда одна гуляю лѣтомъ, — меня всѣ знаютъ.

— Но теперь еще не лѣто, — какимъ-то глухимъ голосомъ произнесъ Беніовскій.

— Лѣто скоро придетъ, — отвѣчала дѣвушка: — я каждый годъ хожу сюда въ апрѣлѣ или маѣ, чтобъ любоваться, какъ рѣка вскрывается отъ льда.

При послѣднихъ словахъ, Беніовскій вздрогнулъ и замѣтно поблѣднѣлъ.

— А вы все грустите? — участливо поглядѣла на него дѣвушка.

— Да... Вы знаете, милая дѣвочка, что вотъ уже третій годъ мнѣ гложетъ сердце тоска по родинѣ, — тихо отвѣчалъ конфедератъ, не смѣя взглянуть въ доверчивые глаза своей собесѣдницы.

— Ахъ, зачѣмъ тосковать! — горячо заговорила послѣдняя: — васъ всѣ здѣсь полюбили! Папа со всѣми ссыльными изъ благородныхъ ласковъ, а васъ онъ особенно любитъ и уважаетъ за то еще, что вы меня и брата моего учите. А вотъ и лѣто скоро придетъ — лѣтомъ такъ хорошо здѣсь! — Мы будемъ гулять, рвать цвѣты, кататься на лодкѣ, рыбу удить!

Она вся зардѣлась, говоря это. Ей припомнилось прошлое лѣто, катанья въ лодкѣ вечерами при лунѣ, когда она первый разъ въ жизни испытала сладостное ощущеніе, и это тревожное, но томительно сладкое чувство вызывала почему-то близость Беніовскаго, его голосъ, его неразгаданные глаза, ощущеніе его сильной, горячей руки...

— Бѣдный ребенокъ! — съ нѣжностью въ голосѣ произнесъ конфедератъ: — вы здѣсь выросли, среди грустныхъ картинъ, какъ нѣжный цвѣтокъ на тундрахъ. Здѣсь ваша родина и все здѣсь вамъ родное. А моей родины вы не знаете, милое дитя! Моя родина далеко, — о! какъ далеко, милая Фанни! И какъ она не похожа на вашу родину! Тамъ и солнце

привѣтливѣе и жарче, чѣмъ у васъ въ Камчаткѣ; тамъ и зелень зеленѣе и цвѣтнѣе, тамъ и птичья пѣсня звонче, небо голубѣе! Самъ Богъ тамъ ласковѣе смотритъ на свое созданье—на милую природу на людей. Тамъ и люди любить умѣютъ жарче!

Какъ очарованная, слушала его дѣвушка, и чудной музыкой звучалъ для нея его голосъ. Но при послѣднихъ словахъ она смѣло подняла поблѣднѣвшее отъ волненія личико.

— Жарче!—сказала она горячо:—нѣтъ, не жарче!.. И здѣсь умѣютъ любить... У васъ жаркое солнце, а у насъ и подъ снѣгомъ клокочетъ лава нашихъ сопокъ и изъ-подъ льда бѣгутъ ключи живой воды.

Теперь она вся раскраснѣлась. Это былъ уже не ребенокъ, а женщина, изъ души которой разомъ вылилась страсть, какъ тѣ ключи живой воды, о которыхъ она упомянула.

— Я вѣрю, бѣдный другъ мой!—ласково сказалъ конфедератъ.

— Бѣдный!.. Кто бѣдный?—горячо возразила дѣвушка:—я?.. Я не бѣдна—не бѣдна, когда меня такъ... цѣнить умнѣйшій изъ людей и меня, камчатскую диварку, называетъ своимъ другомъ.

— Да, другъ мой!—нѣжно заговорилъ конфедератъ. — Васъ, доброе дитя, самъ Богъ послалъ въ этотъ суровый край замѣнить жаркаго солнца и голубого неба, чтобы вы для насъ, бѣдныхъ невольниковъ, замѣнили собой и жаркое солнце, и голубое небо... Да, я вѣрю, доброе, хорошее дитя, что лицо Создателя не совсѣмъ отвернулось отъ этихъ угрюмыхъ мѣстъ. Вы, милая Фанни...

Онъ не договорилъ. Аванасія, закрывъ лицо руками, тихо, но страстно шептала: „Боже мой! Боже мой!“

— Что съ вами, бѣдное дитя?—тревожно спросилъ Беніовскій.

Аванасія не отвѣчала, но видно было, что все тѣло ея вздрагивало отъ рыданій.

Беніовскій растерялся отъ неожиданности. Онъ не думалъ, что дѣло зашло уже такъ далеко.

— Другъ мой! Объ чемъ вы плачете? Скажите! — Беніовскій хотѣлъ отнять руки отъ лица плачущей дѣвушки: онъ все еще думаетъ относиться къ ней, какъ къ ребенку, потому что зналъ ее съ двѣнадцатилѣтняго возраста.—Фанни! дѣвочка! ученица моя хороша! Откройте же ваше личико, откройте! Пусть оно солнцемъ юга глянеть на этотъ чадный безрезнякъ и на меня, печальнаго, какъ этотъ край печаленъ! Откройте личико, ребенокъ свѣтлый! Взгляните на меня!

Дѣвушка взглянула на него сквозь слезы, хотѣла улыбнуться, но не могла, и опять уткнулась лицомъ въ ладони, какъ это дѣлаютъ маленькія дѣти.

— Мнѣ жаль васъ, бѣдный, бѣдный!—всклипывала она:—поймите—мнѣ васъ жаль! Ахъ, зачѣмъ! Скажите, кто этотъ злой, что сослалъ васъ!.. Кто васъ ко мнѣ... кто мнѣ васъ... показалъ! Зачѣмъ я васъ однихъ... Ахъ, уйдите!

Она сама хотѣла уйти, но Веніовскій удержалъ ее за руку. Онъ былъ очень блѣденъ.

— Постойте! — Фанни... ангелъ мой! — задыхался онъ: — Богъ мой!.. Нѣтъ, нѣтъ!.. Уходите, уходите!

Аванасія на мгновеніе остановилась-было, но потомъ съ воплемъ въ голосъ быстро проговорила:

— А на родину бѣгите!.. безъ меня!.. Я не могу, я...

И она, закрывъ лицо руками, быстро пошла назадъ.

V.

Зеленая грамота.

Веніовскій рванулся-было за дѣвушкой, но потомъ остановился въ раздумьи.

— Она догадывается... Чуткимъ сердцемъ женщины угадала... Женщина въ ней проснулась...

Онъ понялъ весь трагизмъ своего положенія, но въ немъ, прежде всего, шевельнулся эгоизмъ ссыльнаго, боязнь, страхъ за свою тайну...

— Нѣтъ, она не выдастъ... Она сказала: на родину бѣгите—безъ меня... Но она не сказала—бѣжите, а бѣгите—она посылаетъ меня на родину, гонить меня... А сама?—развѣ не любить она меня?—Но она сказала: безъ меня!—но какъ сказала?—съ горечью, съ тоской? или...

Передъ нимъ разомъ встала неразрѣшимая дилемма. Онъ понялъ, что дѣвушка его полюбила со всею безавѣтностью первой страсти и что она готова на все. Но такъ-ли?—„Безъ меня“—она сказала. А развѣ онъ самъ можетъ ее бросить здѣсь въ этихъ тундрахъ?—Въ немъ ощутилась борьба двухъ силъ. Она?—съ нею остаться здѣсь?—Но съ нею—ссылка, Камчатка, тундры, этотъ чахлый березнякъ, и это небо, это солнце и вѣчная неволя. А тамъ—свобода, жизнь, но—безъ нея!—Душа, все существо его свободы просить, а сердце—счастья. А безъ свободы—развѣ есть счастье? А свобода безъ счастья?

— О, проклятая дилемма!—невольно вырвалось у него.

А между тѣмъ изъ-за березняка неслась знакомая пѣсня:

Что со младости до старости
Да сѣдова бѣла волоса...

— А! да замолчи ты, дьяволъ, со своею пѣсней! Всю душу вымоталъ!

Но пѣсня не умолкала, и пока конфедератъ сидѣлъ въ мучительномъ раздумьи, до него продолжали отчетливо доноситься и голосъ пѣсни, и ея слова:

Прикажи скорѣй казнить!
Не прикажешь ты меня скорѣй казнить,
Прикажи на волю выпустить,
Не прикажешь ты вонъ выпустить,
Напишу я вскорѣ грамотку,
Не перомъ я, не чернилами—

Я своими горячими слезами
Ко товарищамъ на тихій Донъ...

— Нѣтъ, я казни не хочу!—срываясь съ камня, тряхнулъ посеребренными кудрями конфедератъ.—Я жить хочу—и буду жить!

Онъ направился къ березняку, на голосъ волновавшей его пѣсни.

— Какой это чортъ тамъ потѣшается? Охота пѣть такія пѣсни, которыя способны душу перемучить! А голосъ знакомый...

У березняка, на берегу рѣки, онъ увидѣлъ двѣ фигуры, изъ которыхъ въ одной тотчасъ узналъ своего ученика, поповича, сына большевѣдскаго священника, Илью Уфтюжанинова. Это былъ коренастый юноша лѣтъ девятнадцати, очень живой и способный малый, боготворившій своего учителя. Онъ-то и пѣлъ хватающую за душу пѣсню.

Около него сидѣлъ, глубоко сгорбившись, сѣдой старикъ, съ лицомъ, изборожденнымъ морщинами. Въ послѣднемъ Беніовскій узналъ Гурченинова, того самаго, у котораго, еще въ 1742 году, вырѣзали языкъ на плахѣ. По щекамъ старика катились слезы.

И Уфтюжаниновъ, и Гурчениновъ узнали конфедерата и встали при его приближеніи.

— Я не зналъ,—сказалъ послѣдній,—что ты такъ хорошо поешь, Илюша!

— Да это я вотъ для Андрея Павлыча,—отвѣчалъ юноша.

Старикъ улыбался и утиралъ слезы. Говорить безъ языка онъ не могъ—тридцать лѣтъ уже не было у него языка, и только съ большимъ трудомъ, и то привыкнувъ, можно было разобрать нѣкоторыя, съ большимъ усиліемъ произносимыя имъ слова.

— Вотъ... вспоминая... Донъ... тихій Донъ... старину,—сидѣлъ сказать несчастный.

— А вы съ Дону родомъ?—участливо спросилъ Беніовскій.

— Съ Дону... потомъ... во дворцѣ... вонъ!—онъ открылъ страшный ротъ, гдѣ въ глубинѣ болтался пенекъ языка.

— Знаю, знаю!

— Просить, чтобъ я пѣлъ ему,—пояснилъ поповичъ,—а самъ сидятъ и плачутъ.

— Да... плачу... сладко...

— А, можетъ, мы еще и Донъ увидимъ,—многозначительно сказалъ конфедератъ.

Старикъ не то съ радостью, не то съ сомнѣніемъ покачалъ головой.

— Мы затѣмъ и пришли сюда, — тоже многозначительно произнесъ поповичъ.

— Зачѣмъ?—спросилъ Беніовскій.

— Да вотъ все ждемъ,—не начнетъ-ли рѣка вскрываться.

— А-а!—протянулъ конфедератъ—и задумался.

— Проходили тутъ съ охоты—березнякомъ шли—Андреяновъ и Поголовъ,—заговорилъ таинственно поповичъ:—и разговаривали.

— Ну?—очнулся Беніовскій.

— А насъ имъ не видно было.
— О чемъ же они говорили?
— О зеленой грамотѣ... Андреяновъ — онъ ловкій, пройда... И про кесаря говорилъ, и на женитьбу на кесаревой дочери намекалъ...
— Вѣрять, значить, зеленой грамотѣ?
— Какъ не вѣрять-то! — и на базарѣ слухи ужъ прошли про льготы...
Ко мнѣ ужъ и Лемзаковъ подходилъ — такая лиса!
— Кто этотъ Лемзаковъ? — спросилъ Беніовскій.
— Сержантъ у Нилова, — такъ на ушкѣ у воеводы и висить.
— Что-жъ, и онъ объ зеленой грамотѣ спрашивалъ?
— Объ ней... Такъ я ему и говорю: на базарѣ слышалъ; а базаръ — не ротокъ, не накинешь платокъ: кто что слышитъ, то и болтаетъ, а особливо этотъ дикарь — камчадалы.

Беніовскій все болѣе и болѣе убѣждался, что зерно смуты, брошенное его ловкою рукою, упало на благодарную почву.

„Базаръ заговорилъ“, — подумалъ онъ съ радостной тревогой и, простившись съ Гурчениновымъ и Уфтяжаниновымъ, направился въ острогъ, чтобъ еще разъ условиться съ товарищами о томъ, какъ имъ дѣйствовать, когда наступитъ начало конца.

„А если придется пожертвовать отцомъ Фанни? — шевельнулось у него на совѣсти: — „что дѣлать! Когда горитъ костель, сгораютъ и свѣчи“...

VI.

Усыпленіе подозрѣнія.

Что же дѣлало въ это время начальство Большерѣцка — Ниловъ, отецъ дѣвушки, о которомъ сейчасъ думалъ Беніовскій?

Воевода Ниловъ жилъ въ небольшомъ деревянномъ домѣ, имѣвшемъ четыре жилыхъ комнаты. Нилова въ настоящее время не было, онъ занятъ былъ въ канцеляріи, а въ домѣ находилась только его хорошенькая дочка Фаня, какъ называлъ ее самъ отецъ. Мать ея давно умерла и дѣвочка воспитывалась сначала на рукахъ старой няни, потомъ первоначальнымъ образованіемъ ея занимался отецъ, а съ двѣнадцати-тринадцатилѣтняго возраста дальнѣйшимъ образованіемъ Фани занялся Беніовскій, умѣвшій вполне завоевать довѣріе Нилова.

Да и неудивительно. Венгерско-польскій конфедератъ былъ человекъ очень ловкій, вѣжливый, обходительный, притомъ же Ниловъ смотрѣлъ на него не какъ на государственнаго преступника, а какъ на военнопленнаго, взятаго въ полонъ въ честномъ бою, съ оружіемъ въ рукахъ. Это не то, что тѣ — Батурины, Хрущовъ, Степановъ, Пановъ, Гурчениновъ, это — „варнаки“, бунтовщики; они бунтовали противъ своего правительства и достойны были смертной казни за свою продерзость, „за изблеваніе хулы величества“. А Беніовскій — совсѣмъ другого поля ягода. Ниловъ поэтому и пригласилъ его давать уроки сыну его Васѣ и дочкѣ Фанѣ.

Фаня воротилась съ сегодняшней прогулки очень взволнованная и очень грустная. Она съела было за работу—за пяльцы; но работа не вязалась: игла постоянно выскользала изъ руки дѣвушки, или же рука эта, занесенная надъ шитьемъ, чтобы продолжать узоръ, такъ оставалась въ воздухѣ, не дотрогиваясь до узора.

Дѣвушка думала о томъ краѣ далеко, о которомъ тосковалъ Морицъ. Въ умѣ своемъ Фаня не иначе называла Веніовскаго, какъ Морицъ и даже—„мой Морицъ“.

Гдѣ-то тамъ за Польшей этотъ край, дальше Польши. Карпатскія горы тамъ, о которыхъ Морицъ такъ часто упоминалъ. Къ Дунаю туда—гораздо дальше Россіи, о которой она, родившаяся и выросшая въ Камчаткѣ, имѣла очень смутное представленіе.

Хорошо, должно быть, въ этомъ чудномъ краю, гдѣ почти нѣтъ ни зимы, ни снѣговъ. Недаромъ такъ тоскуетъ объ этомъ краѣ Морицъ. Вѣчно онъ скучный, вѣчно задумчивый. Случается такъ, что сидитъ съ нею за урокомъ, она отвѣчаетъ ему, а онъ и не слушаетъ, а все думаетъ, все думаетъ о чемъ-то, какъ будто бы онъ позабылъ что-либо и все хочетъ вспомнить, да никакъ не вспомнить, бѣдный. И какъ дѣвушка жаль его становится въ это время! Такъ бы и хотѣлось сказать, чтобы онъ не вспоминалъ того, что позабылъ. Такъ нѣтъ,—все думаетъ. А то какъ будто онъ ждетъ чего или потерялъ что очень дорогое, и все ищетъ-ищетъ, а найти не можетъ.

Фаня что-то вспомнила—и все лицо ея залилось краской, но это не была краска стыда—въ глазахъ свѣтилось глубокое счастье... Онъ сказалъ ей сегодня: „Ангелъ мой! Богъ мой!“ Вотъ отчего она теперь вся зардѣлась. Она давно ждала этого, ждала—и боялась. А теперь онъ сказалъ самъ. Она уже теперь для него не „дѣвочка“ только, не „ребенокъ“... Сердце ея трепетало такъ, что она схватила за него рукой.

Но онъ задумалъ уходить, бѣжать... Какъ!—и отъ нея бѣжать?—ее покинуть? Она угадала это недавно, и сама не знаетъ почему, но угадала: въ глазахъ его, должно быть, прочла.

И краска ея нѣжныхъ щекъ смѣнилась блѣдностью.—Любить ли онъ ее?—Если она для него „ангелъ“, „Богъ“, то какъ же онъ бѣжитъ отъ нея?—О, еслибъ ее сослали хоть на Курильскіе острова, на Аляску, хоть бы въ кромѣшный адъ; еслибъ отняли у нея родину, да не Камчатку, а Италію, о которой онъ ей рассказывалъ когда-то; еслибъ отняли у нея и голубое небо, и жаркое солнце, и зелень лѣса,—все, все отняли, но если бъ оставили его съ ней,—она бы все забыла для него—всю природу, небо, землю! Еслибъ онъ сказалъ ей: „Фанни! Забудь все и останься только со мною“, — она бы все забыла и осталась съ нимъ.—А онъ—бѣжитъ отъ нея! — баронъ Морицъ Анадаръ Веніовскій бросаетъ свою дикарку!

Дѣвушка заплакала. Ее охватила такая тоска, что хотъ утопиться,—такъ впопору. Бурный приливъ счастья слишкомъ быстро смѣнился такимъ же бурнымъ приливомъ отчаянія...

Слезы такъ и лились на пальцы, на шитье... Она отодвинула пальцы и, чтобъ унять слезы, взяла лежавшую на нихъ книгу. Это былъ одинъ изъ тогдашнихъ журналовъ — „Трудолюбивый Муравей“ или „Мѣшанина“.

— Онъ такъ любить читать.

И раскрывъ маленькую книжку журнала, Аванасія стала читать вслухъ, чтобъ отвлечься хоть механически отъ охватившей ее тоски.

— Первая епистола:

Для общихъ благъ мы то передъ скотомъ имѣемъ,
Что лутче, какъ они, другъ друга разумѣемъ,
И помощью словъ пространна языка
Все можемъ изъяснить, какъ мысль ни глубока,
Описываемъ все, и чувствіе и страсти,
И мысли голосомъ дѣлимъ на мелки части:
Пріявъ драгой сей даръ отъ щедрого Творца,
Изображеніемъ вселяемся въ сердца.
То, что постигнемъ мы, другъ другу сообщаемъ
И въ письмахъ то своихъ потомкамъ оставляемъ.
Но не такіе такъ полезны языки,
Какими говорятъ мордва и вотяки;
Возьмемъ себѣ въ примѣръ словесныхъ человѣковъ:
Такой намъ надобенъ языкъ, какъ былъ у грековъ:
Какой у римлянъ былъ, и слѣдуя въ томъ имъ,
Какъ нынѣ говорятъ Италія и Римъ,
Каковъ въ текущій вѣкъ прекрасенъ сталъ французской,
Иль, наконецъ сказать, каковъ способенъ русской.
Довольно нашъ языкъ въ себѣ имѣетъ словъ,
Но нѣтъ довольнаго на немъ числа писцовъ...

— Ахъ, какъ это скучно.

Аванасія закрыла книгу и подошла къ окну. Въ это время въ сѣняхъ раздался сердитый голосъ Нилова и вскорѣ самъ онъ появился въ дверяхъ.

— Головорѣзы!—Вотъ навязали на шею этихъ варнаковъ!

Это говорилъ Ниловъ. Вольшерѣцкій воевода представлялъ изъ себя типъ стараго служакки еще елизаветинскихъ временъ. Красное, бритое, довольно обрюзгое лицо, свѣтлоглубые глаза на выкатѣ, которые постоянно стараются быть строгими, грозными, и не могутъ. Брюшко, мясистыя руки съ короткими пальцами, рыхлый подбородокъ, форменная косичка на затылкѣ, пухлыя щеки—все изобличало въ немъ добряка, котораго заставляютъ быть „недреманнымъ окомъ“ надъ ссыльными, а ему пріятнѣе было бы сладко дремать въ халатѣ послѣ сытнаго обѣда съ запеканкой.

— Ужъ и головорѣзы!—сердился онъ:—черти! Да я имъ покажу!

— Ты что, папочка? Кто тебя такъ разстроилъ? — не безъ тревоги спросила Аванасія, подходя къ отцу.

— Кто-же больше, какъ не они—все эти фармазоны!—ворчалъ добрякъ.

— Какіе, папа, фармазоны?

— Да вонъ—твой-то соколъ.

Дѣвушка смутилась. Ужъ не случилось-ли чего-нибудь серьезнаго?

— Какой, папа, соколъ? съ испугомъ спросила она.

— Да учительшка твой—баронъ этотъ, да паршивый шведъ.

— Это Винбладъ?

— Да всѣ они,—и Винбладъ, и Хрущовъ, и Степановъ, и эта старая собака Ватурина—ишь, старый хрычъ! Туда же!.. И барониска!

— Веніовскій, папа?

— Ну да, онъ!—вѣдь, онъ всегда главный зачинщикъ, а тѣ за нимъ, какъ овцы за козломъ.

— Что жъ онъ сдѣлалъ?—вся блѣдная, спросила дѣвушка, ухватившись за пальцы.

— Уфъ!.. Усталъ!—Ниловъ опустился на диванъ.—Я давно замѣчаю, что у нихъ тамъ что-то неладно. Тайны какія-то завелись у нихъ да сходни по ночамъ у этого стараго чорта Ватурина. Я думалъ, тягу дать хотятъ—велѣлъ, подъ рукою, смотрѣть за ними построже, недреманно. А тамъ слышу—ужъ и базаръ заговорилъ: царевичъ въ ходъ пошелъ—объ немъ болтаютъ, объ великомъ князѣ-то... Я ухо на гвоздикъ—прислушиваюсь себѣ. А тутъ и матросы и казаки какъ-то сторонятся, шепчутся... Что за притча! Вдругъ—на!—зеленая грамота пошла въ ходъ!

— Какая зеленая грамота, папочка?—дѣсколько успокоившись, спросила Фаня.

— Я самъ не знаю, а болтаютъ: „зелена грамота!“.

— Отъ кого?

— Не знаю, говорю тебѣ!

— А у кого, папа?

— У него!—у сокола.

— У барона? У Аѣзнасія опять ноги подкашиваются.

— Ну да, да! Я — обыскъ: ничего вѣтъ! Ну, думаю, пустяки—бабы рѣчи. А вчера, смотрю, ужъ и Гурьева прибили.

— За что, папочка?

— Ну, извѣстно, въ шайку къ нимъ нейдетъ—парень смирный, покался въ своемъ окаянствѣ. Я велѣлъ къ нимъ караулъ пославить. И что-жъ бы ты думала?—Прогнали караулъ: „не хотимъ-ста! Мы дворяне-де!“ Дамъ я имъ дворянъ! Я ихъ, дружковъ, въ бараній рогъ согну. Пусть не забываютъ, что они ссыльные, варнаки, и я могу ихъ кошками драгъ, какъ простыхъ матросовъ. Я такъ ихъ отпорю, что небу будетъ жарко.

Пылъ его началъ, однако, проходить и Аѣзнасія это замѣтила.

— Папочка милый! успокойся!—ласкалась она къ нему.

— То-то. Успокойся? Какъй тугъ покой! Просто фармазоны!

— Ну, ну, мой хорошій!—продолжала ласкаться дѣвушка, —отдохни немножко... Ты, бѣдняжкѣй, усталъ... Да не сердись голубчикъ,—тебѣ это вредно...

— То-то, вредно! А имъ не вредно будетъ, какъ спины то вспишу? Ужъ этотъ мнѣ баронъ!—вотъ тутъ сидитъ (указываетъ на шею). И человека-бы, сказать, хорешій и знающій, образованный, тебя вонъ съ братишкой даромъ учить, а ужъ заноза!.. у!

— Нѣтъ, папочка, онъ добрый и умный такой...

Старикъ развѣжился отъ ласкъ дочери и сталъ гладить ея пепельную головку.

— Ужъ ты у меня!—умный! Тебѣ, я чаю, все сказки рассказываетъ, исторіи всякія,—ну, тебѣ и любо. Ты у меня, плутовка, любишь сказки—хлѣбомъ тебя не корми, а онъ, пожалуй, и про Польшу тамъ, и про Италію лихія болѣсти плететъ—ужъ знаю!—слыхалъ! Неаполь, да Венеція...

— Какой ты добрый, папочка! мой хорошій!

— То-то, добрый! Велика лучше дать мнѣ закусить — усталъ я съ этими фармазонами!

— Сейчасъ, сейчасъ, папочка, я принесу запеканки,—радостно отвѣтила Аванасія и, поцѣловавъ пухлую щеку отца, выпорхнула въ другую комнату.

VII.

Запеканна.

— Запеканка—это дѣло,—пробормоталъ Ниловъ, съ любовью глядя вслѣдъ дочери:—ахъ ты кошечка моя! Уфъ! Вотъ и унялось маленько сердце—отходчивый я больно, да ужъ и дѣвчонка моя хоть кого умаслить... А только въ другой разъ я имъ не спущу, фармазонамъ!

Въ передней послышалось шарканье ногъ.

— Кто тамъ?—окрикнулъ Ниловъ.

— Сержантъ, ваше благородіе!—былъ отвѣтъ.

— А! Лемзаковъ?

— Такъ точно, ваше благородіе... Фу, ты пропасть!

— Ты что тамъ возишься?

— Шашка зацѣпилась, ваше благородіе. Ахъ ты, окаянная!

Въ дверяхъ стоялъ навятяжку, но сильно пошатываясь, старый казакъ, съ рѣдкою сѣватою бородкою и съ узенькими, какъ у калмыка, глазами. Это и былъ сержантъ Лемзаковъ.

— Здравія желаемъ, ваше благородіе!—пріосанился сержантъ.

— Ладно. Куда ходилъ?

— По секрету, ваше благородіе.

— По какому секрету?

— Прислушаться, ваше... ваше благородіе—въ оба, значить...

— Ну, что-жъ тамъ?

— Дакаря много, ваше благородіе, на рѣчкѣ... камчадалы.

— Ну!

— Все благополучно, ваше благородіе.

— Да ты, скотина, пьянъ?
— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе.
— Зачѣмъ же ты лѣзешь ко мнѣ?
— По секрету, ваше благородіе.
— Ну, и говори.
— Водку все жреть, ваше благородіе.

— Кто?
— Дикарь эстотъ.
— А ссыльныхъ видѣлъ?
— Видѣлъ, ваше благородіе.
— Спокойно все?— не шумятъ?

— На что шумѣтъ, ваше благородіе! Шумѣтъ не стануть даромъ, а не пушаютъ только караула... Знамо, бары... Можетъ, и вправду у нихъ зелена грамота.

— Какая зеленая грамота, болванъ?—привскочилъ воевода.—Ты что тамъ бредишь?

— Зелена, слышь,—обиженно оправдывался сержантъ:—а бредитъ мнѣ на что-же? Я маковой росинки не видалъ—ни синь-пороха, не то, что водки: гдѣ-жъ мнѣ, ваше благородіе, бредитъ? Я бредитъ не люблю—на то начальство... А что зелена грамота, такъ може и впрямь зелена—кто ее видѣлъ? Царевичъ, слышь, зеленымъ зельемъ пишетъ—на то царевичъ онъ... А что этотъ поповичъ...

— Какой поповичъ?—заинтересовался воевода.

— А отца Никифора сынъ—Устюжанинъ...

— Ну! Такъ что-жъ поповичъ?

— А ничего, ваше благородіе... Онъ мнѣ четверть поставилъ, ваше благородіе... только я не пилъ—лопни глаза—утроба... ни синь пороха... А что-жъ мнѣ бредитъ—ни въ жисть...

— Такъ что-же поповичъ?

— Умень, ваше благородіе,—у!—умница... Ужъ такого, говорить, воеводы, какъ нашъ Григорій Петровичъ Ниловъ—это про васъ, ваше благородіе,—такого, говорить, воеводы и во всей Россіи нѣтъ.

— Ну, будетъ тебѣ врать!—остановилъ его Ниловъ.

— На что мнѣ врать, ваше благородіе!—обидѣлся сержантъ:—на эстотъ-же мѣстѣ провалиться... А что я по секрету—это истинно... Матушку-царицу, слышь въ монастырь...

— Это поповичъ говорить?—спросилъ быстро Ниловъ.

— Нѣ-нѣ! ваше благородіе... А это люди врутъ... Врать-то можно—для-че не врать... А чтобъ я пьянъ былъ—этого ни-ни!—ни—Боже мой!

— Довольно!—сердито проговорилъ воевода:—поди проспись!.. А то я!..

Сержантъ неловко повернулся къ двери и, путаясь съ пашкой, договорилъ свое:

— Зелена—ишь ты притча!—зелена грамота—а може синя, а може красна... А мнѣ что-же брехать-ту... Коли тово, дакъ и въ монастырь—шлывишь!..

— Да и пьянъ же ты, мерзавецъ! — махнулъ рукой воевода. — Ну, ужъ я все это разберу по ниткѣ... зеленая грамота — царевичъ — монастырь... А что же запеканка?

VIII.

С о в е р ш и л о с ь !

Прошло нѣсколько недѣль.

Весна и въ Камчаткѣ вступила въ свои права. Куда сугробы снѣгу исчезли! Горные ручьи давно сбѣжали. На тундрахъ показалась свѣжая зелень, а по ней зацвѣтели и цвѣты. Чахлый березнякъ одѣлся нѣжною листвою. Чекавка, на которую Веніовскій возлагалъ столько надеждъ, пропала и уже совсѣмъ очистилась отъ льдинъ.

И на воеводскомъ дворѣ показалась зеленая травка.

Но Аванасію не радуетъ весна. Ея Морицъ сталъ еще загадочнѣе, хотя глаза сдѣлались нѣжнѣе, ласковѣе, голосъ — задушевнѣе. Все это время онъ былъ очень озабоченъ тѣмъ-то. Видно было, что онъ хотѣлъ ей что-то сказать, но не рѣшался, и только долго-долго и какъ-то грустно глядѣлъ ей въ глаза, когда вчера за тѣмъ-то приходилъ къ отцу и засталъ ее за пальцами. Она ему вышивала подушку. Но, кажется, онъ не дожидается ея работы. Онъ, безъ сомнѣнія, задумалъ бѣжать. Но неужели онъ даже не простится съ нею?

— А тутъ этотъ Гурьевъ ведетъ себя какъ-то странно. Аванасія давно замѣтила, что онъ украдкой засматривается на нее и все вздыхаетъ. Женскимъ чутьемъ она его скорѣе разгадала, этого, тѣмъ Морица. Она ясно видѣла, что Гурьевъ ревнуетъ ее къ Морицу и ненавидитъ послѣдняго. Но сердце дѣвушки не лежало къ этому тайному вздыхателю. Притомъ-же она узнала, что изъ ненависти къ Веніовскому онъ наушничаетъ на него отцу. А такіе поступки казались дѣвушкѣ отвратительными.

Ночь на исходѣ, но Аванасія что-то не спится. Она заснула съ вечера, а послѣ третьихъ пѣтуховъ проснулась, и теперь не можетъ заснуть.

А если-бы онъ взялъ ее съ собой? — О, она пошла-бы за нимъ хоть на край свѣта! Жаль ей отца, но у него останется Вася, братъ, а у Морица никого здѣсь нѣтъ на свѣтѣ, ни одной родной души. Вонъ онъ какъ посѣдѣлъ, а ему еще далеко нѣтъ пятидесяти; а вонъ отцу ея и за шестьдесятъ, а у него нѣтъ ни одного сѣдого волоса. Не радостно живось бѣднякомъ Морицу. Какъ-бы она утѣшала его, если-бъ могла! Она-бы разгладила всѣ хмурки на его миломъ лицѣ, она-бы такъ ласкала его славою голову, что не давала-бы ей никогда грустить и тосковать по далекой родинѣ. Она-бы и туда съ нимъ пошла, подъ то далекое, голубое небо, къ тѣмъ звонкимъ горнымъ ручьямъ его милыхъ Карпатъ.

Она чувствовала, что краска заливала ея лицо при одной мысли о томъ, какъ онъ будетъ ее ласкать, какъ скажетъ ей — ей одной, чтобъ

никто, никто не слышалъ, даже ночь чтобъ не слышала: „ангелъ мой! Богъ!—ты моя“!...

Ей стало жарко въ постели. Она сбросила съ себя одѣяло и перекинула черезъ плечи на грудь свои тяжелыя косы, прислушиваясь къ какому-то отдаленному шуму.

— Это вѣтеръ или рѣка шумить?—подумала она.

Свѣтало уже. Въ окна ея спальни, переплетенныя желѣзными рѣшетками, сквозь кисейныя занавѣски алѣла утренняя заря.

Вдругъ послышался крикъ филина — она невольно вздрогнула: такъ поздно, почти на зарѣ, кричить филинъ. Крикъ повторился въ другой сторонѣ, но очень близко.

Въ это время что-то треснуло и съ грохотомъ упало. Тамъ, на дворѣ, или въ самомъ домѣ, послышались голоса, крики...

Аеанасія услышала голосъ отца. Онъ кого-то зоветъ. Другіе голоса покрываютъ его голосъ. Дѣвушка быстро вскочила съ постели и, наскоро набросивъ на себя блузу и надѣвъ туфли, побѣжала въ переднія комнаты, гдѣ слышались крики. Она ничего не помнила, что дѣлала: ей только хотѣлось видѣть отца, узнать—что съ нимъ...

Она вбѣжала въ залу. Сквозь выломанныя окна и дверь въ комнату врвался утренній свѣтъ и освѣщаль лежавшую на полу какую-то бѣлую, окровавленную массу.

Несчастная сразу все узнала. На полу, въ одномъ бѣлье, окрашенномъ во многихъ мѣстахъ кровью, лежалъ ея отецъ...

Съ нечеловѣческимъ крикомъ бѣдная дѣвушка бросилась на трупъ...

Въ то-же мгновеніе она услышала знакомый голосъ, отъ котораго вся вздрогнула.

— Гдѣ воевода?—тревожно говорилъ этотъ голосъ.

Это былъ голосъ Веніовскаго, который показался въ дверяхъ съ саблею наголо.

— Мерзавцы! они убили его!—со всею силою негодованія крикнулъ онъ и упалъ на колѣни передъ трупомъ. — Іезусъ-Марія!.. что они надѣлали!.. О, бѣдное дитя!

Вслѣдъ за Веніовскимъ въ комнату вошли Батуринъ, Хрущовъ, Степановъ, Пановъ и остановились съ испугомъ передъ потрясающей картиной.

— Убить несчастный!.. Бѣдный Ниловъ!

— Кто убилъ его? Гдѣ тотъ негодай?

— Вѣроятно, онъ защищался, несчастный,—съ грустью замѣтилъ Батуринъ:—вонъ и сабля его на полу валяется.

— Но его не вѣлено было убивать,—сказалъ Хрущовъ:—его приказано было только арестовать.

Веніовскій поднялся съ колѣнъ блѣдный, взволнованный.

— Бѣдное, бѣдное дитя!—шепталъ онъ, не смѣя, однако, прикоснуться къ Аеанасіи и не замѣчая, что она лежала въ обморокѣ. — Аеанасія Григорьевна! бѣдное дитя! Пощадите себя!

— Она умерла!—съ испугомъ вскричалъ Батуринъ, нагибаясь къ дѣвушкамъ.

— Іезусъ!—еще этого не доставало!—схватилъ себя за голову Беніовскій и бросился къ лежавшей безъ чувствъ Аѳанасіи.

Ставъ на колѣни, онъ бережно прикоснулся къ плечу дѣвушки, которая лежала ничкомъ на груди мертвѣго отца, Беніовскій приложился ухомъ къ спинѣ Аѳанасіи.

— Domine! Sancta Maria!—вскричалъ онъ радостно:—она жива!—она дышетъ!.. она въ обморокѣ.

И онъ бережно, какъ малаго ребенка, приподнялъ дѣвушку. И голова ея и косы свѣсились. Одна коса была въ крови.

— На ней—на косѣ—кровь,—съ испугомъ замѣтилъ Хрущовъ.

— Это не ея кровь,—тихо отвѣчалъ конфедератъ, взявъ дѣвушку на руки.—Ее надо отнести въ спальную—позовите нянюшку!—сказалъ онъ.

И Беніовскій осторожно понесъ Аѳанасію въ ея почивальню.

— А тѣло ведите убрать сію-же минуту,—обернувшись назадъ, шопотомъ сказалъ онъ:—чтобъ она его не видѣла, какъ придетъ въ себя. Яковъ Петровичъ!—тихо позвалъ онъ Батурина:—идите за мной... Я вамъ поручаю бѣдную дѣвочку; я прошу васъ.—не отходите отъ нее, берегите ее.

Между тѣмъ, на церковной колокольнѣ раздался набатный звонъ. Беніовскій заранѣе распорядился набатомъ извѣстить народъ о совершенномъ заговорщиками переворотѣ, чтобъ тотчасъ-же и привести всѣхъ къ присягѣ на вѣрность императору Павлу Петровичу. Юный попovitъ Уфтужанинъ въ точности исполнилъ приказъ своего учителя и кумира, и теперь усердно звонилъ на колокольнѣ, тогда какъ отецъ его, священникъ большерѣцкой церкви, въ полномъ облаченіи ожидалъ въ церкви новыхъ подданныхъ новаго императора.

— Мы сейчасъ-же пойдемъ въ церковь,—тихо сказалъ Беніовскій, унося безчувственную Аѳанасію въ ея опочивальню:—а вы, Яковъ Петровичъ, пока побудьте около дѣвочки—вы и послѣ успѣете присягнуть.

Сѣдая голова Батурина молча наклонилась въ знакъ согласія.

— Папа! папа!—послышался за дверью жалобный крикъ Аѳанасіи.

Къ несчастной воротилось сознание.

IX.

Ссылные—хозяева.

Когда Беніовскій, оставивъ рыдающую Аѳанасію на попеченіи Батурина и нянюшки, вышелъ изъ дома воеводы и когда онъ, а съ нимъ Хрущовъ, Степановъ и Павовъ, приблизились къ церкви, то они увидѣли, что къ церковному крыльцу уже столпилось все населеніе Большерѣцка—казаки, матросы, посадскіе и много камчадаловъ,—а на верхнихъ ступенькахъ крыльца стоятъ безъ шапки старый Гурчениновъ и, широко раскрывъ свой беззубый ротъ, тычетъ туда пальцемъ, указывая зрителямъ

на пенеѣ торчавшаго въ глубинѣ раскрытой пасти вырѣзаннаго дочиста языка. Изъ этой страшной пасти глухо вырывались какіе-то страшные звуки—не то мычаніе, не то невнятные, но страшные, какъ вопли отчаянія слова...

— Вырѣзали... до корня... злодѣи... за вѣрность мою престолу...

Это было что-то ужасное—вся эта высокая фигура старика, сѣдые пряди волосъ, развѣвавшіеся отъ вѣтра, глухіе вопли изъ гортани и разверстая пасть,—все это было страшно до отвращенія.

Площадь, казалось, стонала при видѣ этого ужаснаго зрѣлища. Ни Беніовскій, ни другіе его товарищи-заговорщики не ожидали такого потрясающаго эффекта отъ этой нѣмой проповѣди оратора безъ языка.

Между тѣмъ, рядомъ съ этимъ страшнымъ ораторомъ стоялъ на томъ же крыльцѣ молодой поповичъ Уфтяжаниновъ и громкимъ голосомъ пояснялъ народу смыслъ ужасной проповѣди оратора съ вырѣзаннымъ языкомъ.

— Смотрите, православные!—кричалъ онъ на всѣ стороны:—это мучители вырѣзали языкъ за вѣрность престолу!—Тридцать лѣтъ безъ языка!.. Таковы они, тираны, Пилаты римскіе!—сидятъ тамъ въ Питерѣ и мучатъ православныхъ—у кого вырѣзываютъ языкъ, у кого отрѣзаютъ носъ и уши, а то и всю голову, жгутъ на кострахъ цѣлыми скитами и поселками—можеть, слышали, православные!

— Слыхали! слыжали!—пронесся рокотъ по площади.

— А теперь новый государь, императоръ Павелъ Петровичъ, не позволяетъ злодѣямъ дѣлать этого, и мы должны присягнуть ему, батюшкѣ, и служить ему вѣрой и правдой,—ораторствовалъ поповичъ хриплымъ отъ усилія голосомъ.

А старый Гурчениновъ все мычалъ, какъ звѣрь, размахивая длинными руками и показывая на свою отвратительную, разинутую пасть.

— Смотрите! Смотрите, православные!—снова вопилъ поповичъ.

Когда Беніовскій и его товарищи по перевороту подошли къ церкви,—всѣ стоявшіе на площади сняли шапки. Беніовскій и его свита отвѣтили тѣмъ-же на нѣмое привѣтствіе толпы.

— За нами, въ церковь, православные!—обратился первый изъ нихъ къ народу, поднявшись на крыльцо:—идите присягать новому государю, императору Павлу Петровичу! За нами!

Принявъ присягу, заговорщики тотчасъ-же вышли изъ церкви, приказавъ находившимся тамъ матросамъ и казакамъ, по принятіи присяги, тотчасъ-же идти во всѣ мѣста, гдѣ поставлены съ утра караулы—у воеводской канцеляріи, у гауптвахты и у ларечной избы,—перемѣнить часовыхъ, поставить новые караулы изъ приведенныхъ уже къ присягѣ, а смѣненныхъ, не присягавшихъ еще часовыхъ, тотчасъ-же послать въ церковь къ присягѣ.

Заговорщики направились къ воеводской канцеляріи.

— А гдѣ сержантъ Лемзаковъ?—спросилъ Беніовскій у часового, стоявшаго у дверей канцеляріи.

— На абвахтѣ, ваше благородіе!—отвѣчалъ часовой, дѣлая на караулѣ.

— А тѣло измѣнника еще не убрано?

— Не могу знать, ваше благородіе, какого измѣнника?

— А бывшаго воеводы Григорія Нилова—не убрано?

— Никакъ нѣтъ-съ, ваше благородіе,—въ сѣнцахъ лежитъ.

— Хорошо, молодецъ.

— Ради стараться, ваше благородіе!

Заговорщики вошли въ канцелярію. Беніовскій сѣлъ на воеводское мѣсто, а прочіе размѣстились вокругъ присутственнаго стола.

У двери присутственной комнаты въ качествѣ вахтера стоялъ навязку Андреяновъ, „за матроса казакъ“, какъ онъ значился по документамъ,—тотъ самый рыжій, высокій казакъ, который нѣсколько недѣль тому назадъ, проходя берегомъ рѣки, толковалъ своему товарищу, неуклюжему и безтолковому Потолову, о „зеленой грамотѣ“ и о томъ, „что царевичъ сватается за кесарскую дочь“.

Взглядъ Беніовскаго, едва онъ сѣлъ на воеводское мѣсто, упалъ на портретъ императрицы Екатерины Алексѣевны, висѣвшій на стѣнѣ, какъ разъ противъ кресла воеводы. Беніовскому показалось, что императрица выходитъ изъ рамы, отдѣляется отъ полотна и съ улыбкою не то презрѣнія, не то негодованія приближается къ столу, глядя въ упоръ въ глаза конфедерата. Онъ невольно вздрогнулъ, и хотя сразу понялъ, что это—болѣзненно настроенное воображеніе говоритъ въ немъ, нервы,—однако ему разомъ страшно стало.

— Убрать этотъ портретъ!—торопливо сказалъ онъ Андреянову.

— Куда прикажите, ваше благородіе?—спросилъ послѣдній.

— Куда хочешь—хоть въ сѣни, къ Пилову, къ ея вѣрному слугѣ...

— Слушаю-съ...

— А мы слуги его императорскаго величества, государя Павла Петровича,—какъ-бы оправдывался заговорщикъ въ своемъ рѣзкомъ поведеніи.

На столѣ канцеляріи лежали дѣла, бумаги, журналы, казначейскія книги, реестры. У стѣны, подъ портретомъ императрицы, стоялъ большой, желѣзный кованный сундукъ. Едва Андреяновъ успѣлъ снять со стѣны портретъ, какъ Беніовскій, вынувъ изъ кармана своего камзола ключъ, всталъ, чтобы отпереть сундукъ.

— Надо провѣрить казенныя деньги, сказалъ онъ, щелкая замкомъ:—все-ли въ порядкѣ у Нилова.

— Онъ былъ честный человѣкъ,—замѣтилъ Пановъ, разбирая на столѣ бумаги.

— Я знаю... но все-же казна прежде всего,—отвѣчалъ конфедератъ.

— А мнѣ кажется, баронъ,—мягко возразилъ Пановъ:—прежде всего надо похоронить бѣднаго Нилова... Пошадимъ чувства его несчастной сиротки... Вѣдь, что будетъ съ нею, если она вновь увидитъ его въ томъ положеніи, въ какомъ мы его бросили: онъ страшно обезобразенъ, вся лѣвая рука изрѣзана, лицо пробито насквозь:—его надо немедленно похоронить!

— Правда, правда, согласился Бениовскій:—мы его велимъ похоронить по церковному обряду, хотя безъ церемоній.—Вѣдь, согласитесь, въ глазахъ народа...

— И нашихъ,—горько улыбнулся Пановъ.

— Да, и нашихъ, согласился Бениовскій:—онъ—измѣнникъ, противникъ царской воли.

— Совершенно вѣрно,—подтвердилъ Пановъ.

— Андреяновъ,—сказалъ Бениовскій вахтеру, возвратившемуся въ это время въ присутственную комнату:—пошли..

— Что прикажете, ваше благородіе?

— Тѣло измѣнника все тамъ же валяется, въ сѣняхъ?

— Такъ точно, ваше благородіе,—въ сѣняхъ!

— Такъ пошли Потолова сейчасъ въ острожный цейхаусъ — тамъ есть запасные гробы: пусть велитъ принести одинъ гробъ въ церковную сторожку, а потомъ пускай возьмутъ тѣло воеводы и отнесутъ туда-же, въ сторожку, и положить въ гробъ. Да чтобъ, когда будутъ нести воеводу, такъ чтобъ накрыли его рогожкой. Понялъ?

— Точно такъ, ваше благородіе!

— Хорошо, распорядись-же живо! Да чтобъ впередъ послалъ нѣсколько человекъ выкопать могилу за церковью, тамъ, гдѣ похоронена бывшая жена воеводы. Пусть спросятъ у батюшки — онъ покажетъ это мѣсто. Да пускай отъ моего имени скажетъ отцу Никифору, что, какъ только приведетъ всѣхъ вѣрныхъ къ присягѣ, тотчасъ-бы похоронилъ Нилова.

Бениовскій остановился и поглядѣлъ на Панова, но какъ-то вопросительно.

— Кажется, ничего не забылъ?

— А въ чемъ его похоронять?—спросилъ Хрущовъ, отрываясь отъ бумагъ.—Онъ тамъ лежитъ въ одномъ бѣльѣ—хорошо-ли такъ?

— Что дѣлать!—передернулъ плечами кофедерать.—Если взять его мундиръ изъ воеводскаго дома, то какъ-бы не узнала объ этомъ его бѣдная дочь.

— Хорошо,—сказалъ Хрущовъ рѣшительно:—такъ я пойду самъ распоряжусь его похоронами—я не потревожу Аѳанасіи Григорьевны — она ничего не будетъ знать; я зайду какъ-бы для того, чтобы справиться объ ея здоровьѣ.

— Да, да!—подтвердилъ Пановъ:—такъ будетъ лучше.

Бениовскій согласился и сталъ вынимать изъ сундука мѣшки съ казенными деньгами, приказывая Андреянову переносить ихъ на присутственный столъ.

— А вы, господа, тѣмъ временемъ потрудитесь пересчитать деньги, чтобъ потомъ наличность свѣрить съ казначейскими книгами.

Въ это время въ канцелярію вошелъ высокий, въ одеждѣ мѣщанина, человекъ уже не молодыхъ лѣтъ, съ кинжаломъ и пистолетомъ за поясомъ.

За нимъ два казака внесли по мѣшку съ чѣмъ-то и опустили мѣшки на полъ. Тотъ, что былъ съ кинжаломъ и пистолетомъ, перекрестился на образъ, вистѣвшій въ переднемъ углу, встряхнулъ волосами и поклонился присутствовавшимъ.

— А—это ты, Чулошниковъ,—сказалъ Беніовскій, кивнувъ головой вошедшимъ.

Чулошниковъ былъ приказчикомъ купца Холодилова, забывшаго въ руки всю торговлю Камчатки и безсовѣстно эксплуатировавшаго ея население. Въ настоящее время онъ былъ въ Охоткѣ.

— Съ чѣмъ пришелъ?—спросилъ Беніовскій Чулошникова.

— Съ казной, ваша милость,—отвѣчалъ тотъ:—это ларешня деньги: ваша милость приказали взять ихъ отъ ларешнаго.

— А кто ларешнымъ?

— Казакъ Никита Чорный, ваша милость. Только онъ денегъ не давалъ, упирался, ларешную избу на крюкъ заперъ и въ окно въ солдаты и въ казаковъ стрѣлялъ изъ ружья. Такъ мы дверь выломали и его маленько поужали стрѣльбой-же.

— Что-жь, убили или ранили?

— Нѣтъ, ваша милость,—все обошлось благополучно,—отобрали казну.

— А самъ онъ гдѣ?

— Его господинъ Винбладъ на абвахту отослалъ.

— Хорошо, братецъ,—спасибо, а теперь можешь идти. Только ты намъ еще понадобитсяъ.

— Слушаю-съ, ваша милость.

— И ты, Андреяновъ, можешь уйти; намъ теперь пока ты не нуженъ, а тебѣ надо отдохнуть—ты всю ночь не спалъ.

— Покорнѣйше благодаримъ, ваше благородіе! Счастливо оставаться.

X.

„Не надѣнетъ!“

Когда Беніовскій, Степановъ и Пановъ остались одни, они долго, не говоря ни слова, занимались счетомъ денегъ въ мѣшкахъ и провѣркою книгъ.

Когда-же все было кончено и мѣшки съ деньгами уложены были въ сундукъ, Беніовскій обратился къ Степанову, который разсматривалъ инвентарныя книги канцеляріи:

— Ну что, Ипполитъ Ивановичъ, каковы наши боевыя средства?

— Не велики,—отвѣчалъ Степановъ:—три пушки, одна мортира. За то ружей, картечи, пороху, свинцу и пуль, а равно шпагъ — достаточное количество.

— Но не забудьте,—прибавилъ Беніовскій: — нашъ гальотъ хорошо вооруженъ—на немъ хорошія пушки.

— Тѣмъ для насъ лучше,—замѣтилъ Пановъ:—мы должны помнить, что имѣемъ дѣло съ цѣлой Россіей.

— Ну!—возразилъ конфедератъ:—пока только съ одной Камчаткой; но во всякомъ случаѣ намъ терять времени нельзя: сейчасъ-же надо готовить паромы для перевозки на галюти пушекъ, запасовъ, провіанту и всего экипажа, какой пойдетъ съ нами въ море. Не забудьте, — народная молва всегда летаетъ на соколиныхъ крыльяхъ...

— Нѣтъ, баронъ,—на сорочьихъ хвостахъ,—улыбнулся Пановъ:—у насъ говорить о молвѣ, о вѣстяхъ: сорока на хвостѣ принесла.

— Все равно, и сорока летитъ довольно быстро,—возразилъ Беніовскій:—море молвы не остановитъ, и ваша сорока быстро очутится въ Охотскѣ. А тогда все поднимется на насъ.

— Да подниматься-то нечему,—замѣтилъ Пановъ:—въ Охотскѣ силы военные не ахти какія.

— Но и наши не громадны. Во всякомъ случаѣ, надо торопиться, хоть гавань и недалеко... А тамъ, какъ только мы поднимемъ паруса на галюти и выйдемъ въ открытое море,—пусть ловятъ вѣтеръ въ чистомъ полѣ!

Беніовскій опустился на кресло и, наклонившись надъ бумагами, положилъ голову на руки.

— Голова какъ-будто въ огнѣ,—нервно проговорилъ онъ какъ бы самъ съ собою:—такія острия, разнородныя ощущенья! И въ головѣ и въ сердцѣ! Кажется, каждый волосъ живетъ и сердце приливовъ крови не вмѣщаетъ въ себѣ,—тѣсно и сердцу, и тѣлу.

— Не удивительно!—замѣтилъ Степановъ:—вѣдь, мы порвали связи съ цѣлымъ міромъ.

— Зачѣмъ!—возразилъ конфедератъ, поднимая голову:—мы только стоимъ теперь на рубежѣ двухъ жизней: за ними — мракъ. смерть, хуже смерти, и къ прежней жизни нѣтъ ужъ намъ возврата, какъ и Нилову, а впереди насъ—тоже мракъ и тайна, но этотъ таинственный мракъ мы сами должны освѣтить—во что бы то ни стало; сами мы должны искать разгадку той тайны, что впереди, какъ-бы разгадку бытія за гробомъ...

— Такъ, такъ,—задумчиво возразилъ Степановъ:—но теперь намъ надо привести въ извѣстность нашу команду и составить списки.

— Это мы сдѣлаемъ тотчасъ-же,—отвѣтилъ Беніовскій:—какъ только всѣхъ приведутъ къ присягѣ, мы сейчасъ сдѣлаемъ переключку: охотники—этимъ особый счетъ и особая вѣра имъ съ нашей стороны, а кого неволей заручимъ въ нашъ экипажъ...

— О! это особъ статья,—замѣтилъ Пановъ, отодвигая отъ себя счетныя книги и счета.

— А! панъ Адольфъ! Мамъ гоноръ...

Привѣтствіе это относилось къ бѣлокурому, стройному субъекту въ польскомъ кунтушѣ. Это былъ одинъ изъ семи главныхъ заговорщиковъ—Адольфъ Винбладъ. Онъ былъ родомъ шведъ, но долго жилъ въ Польшѣ, служилъ ей вмѣстѣ съ конфедератами, и, взятый въ плѣнъ русскими, вмѣстѣ съ Беніовскимъ, Батуринымъ, Степановымъ и Пановымъ сосланъ былъ тоже въ Вольшерѣцкѣ.

— Гдѣ панѣ былъ?—спросилъ вошедшаго Беніовскій.

— Осматривалъ караулы, пане, а потомъ водворялъ на гауптвахтѣ ларешнаго, Никиту Чернаго;—отвѣчалъ пришедшій.

— Въ порядкѣ караулы?

— Все въ порядкѣ, только, мнѣ сдается, на гауптвахтѣ тѣсно, двоихъ-бы арестантовъ можно и выпустить.

— Кого именно!

— Измайлова да Зябликова. Это тѣ, что подслушали насъ, когда мы въ послѣдній разъ совѣщались, и хотѣли еще вчера донести на насъ Нилову, но онъ уже спалъ.

— Помню, помню.

— Хоть они и зрадыцы—измѣнники, однако, имъ можно простить,—продолжалъ Винбладъ:—они теперь раскаялись и будутъ намъ вѣрно служить.

— А присягу дали?—спросилъ Беніовскій.

— Нѣтъ еще—вѣдь, они съ вечера ужъ подъ карауломъ были.

Винбладъ и Беніовскій взглянули на товарищей.

— Я думаю, ихъ можно отпустить,—сказалъ послѣдній:—помялованный врагъ часто дѣлается лучшимъ другомъ.

— Да и сила теперь на нашей сторонѣ,—добавилъ первый.—Нилову ужъ выкопали могилу.

— А панѣ развѣ видѣлъ?—спросилъ Беніовскій.

— Видѣлъ, и самого Нилова видѣлъ: при мнѣ его одѣвали и клали въ гробъ.

— Кто одѣвалъ?

— Казаки и Хрущовъ.

— Въ мундирѣ его положили?

— Въ мундирѣ... Тяжело мнѣ было глядѣть на него. Мнѣ казалось, что онъ изподлобья глядитъ на меня дѣвымъ, незакрытымъ глазомъ, и какъ-будто говорить: „Теперь ужъ я не буду спускать вамъ больше, фармазоны!.. Берегитесь!..“ Онъ и въ гробу какъ-будто думаетъ про себя: „Что-то, что-то скажутъ тамъ, какъ узнаютъ, что тутъ у насъ произошло?“

А дочери его не видѣлъ панѣ?

— Нѣтъ. Но Хрущовъ говорить, что она и не знаетъ о похоронахъ отца.

— Такъ Хрущовъ ее видѣлъ?

— Видѣлъ... Плачетъ, бѣдная, говорить, и все про пана спрашивала.

— Про меня?—Беніовскій вздрогнулъ, спрашивая это.

— Да, про пана: она боится за пана—не убили ли и его во время бунта.—Ей Батуринъ объяснилъ, что отца ея убили казаки, которые были имъ недовольны за то, что онъ не позволялъ имъ обижать туземцевъ.

Беніовскій всталъ и тревожно заходилъ по присутствію, часто прикладывая руку къ головѣ.

— Теперь не время толковать о слезахъ дѣвочки и объ ея мертвомъ

отца, заговорилъ онъ, какъ бы опомнившись: — надо кончать начатое нами дѣло.

— Легко сказать—кончать!—заговорилъ въ свою очередь Степановъ.— Мы начали тѣмъ, что свергли здѣсь законную власть, и теперь прячемъ ее въ могилу. Отлично! Она изъ гроба не встанетъ ужъ. Мы возвели на русскій тронъ новаго императора. Но что скажетъ здравствующая императрица? Ее нельзя, какъ Нилова, спрятать, хотя-бы въ монастырь. Мы заставили народъ присягнуть Павлу Петровичу. Положимъ, рано или поздно, онъ долженъ бы былъ присягнуть ему. Но какъ мы оправдаемъ свой поступокъ передъ императрицей и сенатомъ, пока на русскомъ престолѣ не возсѣдаетъ Павелъ! О! Коронуйся онъ завтра—мы бы первые, можетъ быть, были взысканы его милостями, потому что мы первые ему присягнули, не боясь смерти. Даже и въ лучшемъ случаѣ: что скажемъ мы сенату? Кто далъ намъ право начать кровавую расправу? Наше дѣло онъ бунтомъ назоветъ, а насъ—крамольниками. Во всякомъ случаѣ, намъ уже нѣтъ возврата въ Россію, а это—ужасно!

— Нѣтъ! горячо возразилъ Веніовскій: — мы и возвратъ себѣ обезпечимъ.

— Чѣмъ это, государь мой?

— Мы пошлемъ въ сенатъ съ курьеромъ донесеніе. Мы обвинимъ воеводу и начальника Камчатки въ измѣнѣ отечеству. Мы скажемъ, что онъ притѣснялъ народъ, грабилъ страну, убилъ всѣ казенные промыслы, продалъ весь край Холодилову и его баскакамъ, всю Камчатку—купцовъ, посадскихъ, казаковъ, камчадаловъ—всѣхъ закабалилъ Холодилову. Народъ ропталъ, жаловался намъ, просилъ защиты. Мы и порѣшили арестовать измѣнника на время, чтобъ спасти весь край отъ разоренья. Но пьянство, а не мы, погубило воеводу: онъ скончался отъ удара. Тогда меня народъ поставилъ воеводой.

— Все это хорошо, баронъ,—замѣтилъ Пановъ:—но чѣмъ мы объяснимъ нашу присягу новому императору?

— Смертью императрицы,—отвѣчалъ Веніовскій.

— Какъ смертью?

— Скажемъ, что по всей Камчаткѣ прошелъ слухъ о ея смерти, а какъ сюда манифестъ не скоро дойдетъ—мы, и присягнули законному наслѣднику престола... Впрочемъ, что я!—сказалъ онъ съ рѣшительнымъ жестомъ:—я не русскій подданный! Я не присягалъ вашей императрицѣ! я самъ воевалъ съ войсками Екатерины! Да что объ этомъ думать!— Пока курьеръ будетъ везти наше донесеніе сенату,—мы будемъ далеко въ морѣ, — будемъ охранять честь русскаго народа, честь царскаго прапора и имя государя. А тамъ—что будетъ! Рубиконъ за нами!

— Такъ, баронъ,—за нами,—согласился Степановъ: — но Римъ—не передъ нами!

— Да,—подвердилъ и Пановъ:—и Римъ за нами и весь міръ—мы изгнанники.

— Сто дьяблуть!—энергически взмахнул длинными волосами Беніовскій:—возврата нѣтъ намъ въ прошлое: кто разъ разбилъ цѣпи, въ другой разъ волей не надѣнетъ.

— Не надѣнетъ!—раздался сзади громовой голосъ.

Всѣ невольно оглянулись. Въ дверяхъ стоялъ Батуричъ. Сѣдые, длинные волосы его, казалось, ореоломъ окружали энергическое лицо старика. Что-то величественное было въ его осанкѣ.

— Не надѣнетъ!—повторилъ онъ.—Нѣтъ, въ Шлиссельбургъ меня ужъ не заманять! Морскіе вѣтры, лучше, пусть размычутъ сѣдые волосы мои, чѣмъ въ неволю отдать на поруганье эти сѣдины—да! Пускай меня, умершаго, бросаютъ, въ безбрежномъ морѣ за бортъ, какъ собаку, въ добычу хищнымъ рыбакамъ, лишь не врагамъ моимъ на посмѣянье! И мертвый я носиться буду въ морѣ на свободѣ, безъ цѣпей: мою свободу пусть охраняютъ бездны океана!

Слова старика воодушевляли всѣхъ. Неподвижные глаза Беніовскаго сверкнули. Винбладъ горячо пожалъ руку Батурина.

— Хвала вамъ! Хвала сѣдинамъ вашимъ! И я охотой не надѣну цѣпи снова. Когда умру я въ морѣ, пусть и меня бросаютъ за бортъ въ бездну. Лучше сдѣлаться жертвою акулы, чѣмъ гнить живымъ въ Камчаткѣ!

XI.

„Вездѣ было!“.

Шумъ и неясный говоръ на площади передъ воеводской канцеляріей привлекли общее вниманіе. Первымъ выглянулъ въ окно Степановъ. Тамъ двигалась толпа. Впереди, размахивая руками, шелъ Гурчениновъ.

— Народъ сюда идетъ,—сказалъ Степановъ:—должно быть, кончилась присяга.

— Да, да,—замѣтилъ и Пановъ:—вонъ Гурчениновъ въ роли предводителя, и юный Уфтюжаниновъ шныряетъ въ толпѣ—бѣдовый попovitъ!

Къ окну подошелъ и Беніовскій.

— Да, это они идутъ отъ присяги. Надо имъ показать прапоръ!

Винбладъ взялъ стоявшее въ углу знамя и подаль его Беніовскому. Последний отворилъ окно. Гулъ голосовъ сдѣлался еще громче, особенно когда Беніовскій показалъ въ окно цвѣтное и блестящее золотомъ, широкое полотнище прапора. Съ толпою подошли къ окну Хрущовъ, Гурчениновъ, Чулошниковъ и Уфтюжаниновъ.

— Присяга всѣми принята,—сказалъ Хрущовъ, приблизившись къ самому окну и отдавая честь знамени:—Ниловъ похороненъ.

Къ окну приблизились Чулошниковъ и Уфтюжаниновъ.

— Надъ Ниловымъ прикажете поставить крестъ?—спросилъ первый:—али бросить такъ, потому какъ онъ измѣнникъ.

— Нѣтъ, крестъ поставьте,—отвѣчалъ Беніовскій:—послѣ него осталась дочь и сынъ.

— Слушаю-съ.

— А тебя, мой достойный ученикъ,—обратился Веніовскій къ Уфтіюжанинову,—благодарю за усердіе и ревность: изъ тебя выйдетъ бравый вояка.

Между тѣмъ изъ толпы раздавались отдѣльные голоса:

— Гдѣ самъ онъ? Пуцай бы самъ вышелъ.

— Грамоту зелену подавай! Царски знаки показывай!

Веніовскій выше поднялъ знамя и потрясалъ имъ въ воздухѣ.

— Вотъ царскій знакъ!—Ему вы должны служить вѣрой и правдой.

— Ура! ура!.. Сымай шапки!.. шапки долой!

Головы обнажились. Иные крестились на знамя.

— А гдѣ жъ зелена грамота?—слышались голоса: — зелену грамоту подай!

Веніовскій подошелъ къ столу, передавъ знамя Батурину, отперъ ключикомъ стоявшую на столѣ шкатулку и, вынувъ изъ нея большой зеленый бархатный пакетъ, снова воротился къ окну.

— Вотъ зеленая грамота, православные!—сказалъ онъ громко, показывая пакетъ:—тутъ знаки царскіе и рука царская!

— Рука царска, слышь-ты—царска рука вона!—пошелъ гулъ по толпѣ.

— Покажь руку царску! Вычитай зелену грамоту!

— Вычти грамоту!.. Покажь руку!—гудѣли голоса.

— Тутъ нельзя читать—не мѣсто!—нашелся Веніовскій:—ее читать надо въ церкви!

— Въ церкви, слышь, вычитаютъ зелену грамоту!.. въ церкви!

Веніовскій продолжалъ махать въ воздухѣ зеленымъ пакетомъ.

— Гляди! гляди-тко! И впрямь зелена!

— Ишь ты диво! А царски знаки гдѣ? Царска рука! Гдѣ, братцы?

— Тамотка!—тамъ! Что ты? Вотъ тѣ Христось!

— А Холодилова долой, братцы?

— Вѣстимо долой! Вонъ и Чулошниковъ съ нами!

— Ай да грамотка зелѣна!

Винбладъ, спрятавшись за простѣнкомъ, тихо смѣялся.

— Вездѣ такое же бессмысленное быдло... Зелена грамота! Вотъ быдло!

XII.

Въ Тихомъ океанѣ.

Вотъ уже болѣе мѣсяца гальотъ „Святой Петръ“ носится по водамъ Тихаго океана.

На гальотѣ находятся наши большерѣцкіе знакомые—Веніовскій, Батуринъ, Хрущовъ, Степановъ, Пановъ, Винбладъ, Гурчениновъ, молодой Уфтіюжаниновъ и еще одна личность, съ которой мы еще, кажется, не познакомились. Это—Магнусъ Мейдеръ, который служилъ прежде въ Петербургѣ, въ должности „адмиралтейскаго лекаря“, а потомъ посланъ

былъ въ Большерѣцкѣ. Мейдеръ также принималъ непосредственное участіе въ большерѣцкомъ бунтѣ Беніовскаго и потому бѣжалъ изъ Камчатки, вмѣстѣ съ другими заговорщиками, на гальотѣ „Святой Петръ“.

Находилась на гальотѣ и интересная бѣглянка, которая, однако, не принимала участія ни въ заговорѣ Беніовскаго, ни въ бунтѣ. Это—Аванасія Григорьевна Нилова. Оставшись круглою сиротою послѣ трагической смерти отца, потому что во время бунта исчезъ и ея единственный братъ, который, какъ не безъ основанія полагали, испуганный погромомъ, бѣжалъ ночью же изъ Большерѣцка въ тундры и, вѣроятно, погибъ тамъ съ голоду или былъ растерзанъ дикими звѣрями вмѣстѣ съ другими, бѣжавшими въ ту же роковую ночь,—дѣвушка не видѣла другого исхода, какъ бросить навсегда ту мѣстность, которая, кромѣ ужасовъ и невозвратныхъ потерь, ничего не могла ей напомнить, и бѣжать вмѣстѣ съ Беніовскимъ и его товарищами по злосключеніямъ. При томъ же Аванасія любила своего Морица первою молодую любовью, охватившею все ея существо, овладѣвшюю ея душою, всѣми ея помыслами и надеждами только-что начинавшейся распускаться молодой жизни. Безъ него — что у нея оставалось въ Камчаткѣ? — Только двѣ родныхъ могилы, да третья — неизвѣстная. Кромѣ Камчатки и собственно Большерѣцкаго острога, она ничего не видѣла. Она не знала даже, что такое Сибирь, а еще меньше знала Россію. Она даже въ воображеніи не могла себѣ ее ясно представить. Она скорѣе могла живо вызвать въ своемъ воображеніи Венгрію съ ея горами и степями, Польшу, съ ея вольностью и блестящимъ панствомъ, Италію — съ ея дивнымъ небомъ и бирюзовымъ моремъ: — со всѣмъ этимъ ее познакомилъ Беніовскій, когда она была еще тринадцати-четырнадцатилѣтнею дѣвчонкою-дикаркою. Но Россіи она не знала и не могла ее любить. Что же могло удержать ее въ Камчаткѣ? Съ Беніовскимъ, съ его побѣгомъ для нея исчезло съ горизонта ея солнце: она не могла даже представить себѣ всего ужаса того одиночества, какое ожидало ее на самомъ концѣ и притомъ на самомъ пустынномъ концѣ цивилизованнаго міра, гдѣ уже начинался безбрежный, холодный океанъ. И дѣвушка пошла за своимъ солнышкомъ. Старая няня, Пахомовна, или, вѣрнѣе, — Пахонина, какъ называла ее прежде маленькая Фаня, Пахонина, выросившая барышню-сиротку на своихъ рукахъ, — конечно, не могла разстаться съ нею, и также промѣняла Камчатку на гальотѣ „Святой Петръ“.

Экипажъ гальота состоялъ изъ нѣсколькихъ десятковъ матросовъ и казаковъ, въ томъ числѣ уже знакомые намъ Андреяновъ и Потоловъ, а также Измайловъ и Зябликовъ, покаявшіеся въ своемъ предательствѣ, хотя не удавшемся, и прощенные Беніовскимъ, затѣмъ Сафоновъ, камчадалъ Паранчинъ съ женою. Жена Андреянова также не хотѣла разлучиться съ своимъ мужемъ и покинула Камчатку для скитальческой жизни. Нѣкоторые матросы были тоже съ женами.

Вообще крутобокій „Святой Петръ“ представлялъ собою цѣлую плавающую русскую колонію, хотя главою и полновластнымъ диктаторомъ ея,

въ качествѣ капитана гальота, былъ Беніовскій, человѣкъ, ни по своему рожденію, ни по духу, ни по симпатіямъ не принадлежавшій къ русской національности.

Бѣглецы давно уже проплыли Курильскій архипелагъ, и уже находились у одного небольшого острова изъ группы острововъ Японіи. Немало они испытали невзгодъ за время своего скитанья по океану: то ихъ трепали бури и штормы, то приводили въ отчаяніе мертвые штилы, когда южное солнце такъ пекло, что некуда было спрятаться, а дубовую палубу гальота накаляло такъ, что ходить по ней было горячо ногамъ.

Вчера ночью гальотъ кинулъ якорь у береговъ одного небольшого лѣсистаго острова, названіе котораго не было показано на большой морской картѣ, имѣвшейся на гальотѣ.

Южная ночь была роскошна, и Аѳанасія вмѣстѣ съ Беніовскимъ и другими бѣглецами долго сидѣли на палубѣ, любясь туманными, какими то волшебными, подъ луннымъ освѣщеніемъ, очертаніями и берегами зеленого острова. Всѣ сидѣли молча, задумчиво, можетъ быть потому, что къ грустной задумчивости и воспоминаніямъ побуждали ихъ слова пѣсни, которую матросы пѣли на другомъ концѣ гальота.

Запѣвалой въ хорѣ былъ молодой Уфтюжаниновъ. Онъ затянулъ заунывнымъ голосомъ особенно любимую матросами пѣсню:

Сторона-ль, моя сторонushка
Сторона-ль, моя незнакомая!

Матросы подхватили дальше, и волшебная южная ночь въ незнакомой сторонѣ и на невѣдомомъ морѣ огласилась за душу хватающею мелодіею:

Что не самъ-то я на тебя зашелъ,
Что не добрый-де конь меня завелъ,
Завела меня, доброва молодца,
Прыткость, бодрость молодецкая
Да хмѣлинушка кабацкая.

Никто не замѣтилъ, однако, въ темнотѣ ночи, какъ подъ эту грустную, хотя молодецкую пѣсню, Аѳанасія тихо плакала: она сидѣла спиною къ освѣщавшей ея стройную фигуру лунѣ. Слезы, впрочемъ, не разъ уже, никѣмъ, однако, не замѣчаемыя, туманили ея прелестные, дѣтски невинные глаза. Только старая Пахонина о чемъ-то догадывалась и тяжело вздыхала, молясь каждый вечеръ особенно усердно за свою любимицу.

Сегодня утро выдалось такое же тихое, какъ и прошедшая ночь.

Солнце живописно освѣщало роскошныя рощи и каменистые берега незнакомаго острова. Неизвѣстныя, невиданныя деревья росли то въ видѣ пальмъ, то раскидывались патрами. Изъ лѣсу неслись голоса незнакомыхъ породъ птицъ, да и тѣ, которыя летали у берега, были не тѣ, которыхъ Аѳанасіи доводилось видѣть въ Камчаткѣ. Только знакомый, жалобный крикъ чайки, которыя кружились около гальота или садились на гладкой, какъ зеркало, поверхности океана, напоминали ей далекій, давно помянутый сѣверъ.

Матросы съ ранняго утра отправлялись въ шлюпкѣ на островъ, чтобъ сдѣлать для корабля достаточный запасъ свѣжей прѣсной воды, такъ какъ ровно противъ того мѣста, гдѣ „Святой Петръ“ бросилъ якорь, въ океанъ изливалась маленькая, въ видѣ гремучаго ручья, горная рѣченка,—и уже привезли на гальботъ не одинъ боченокъ драгоцѣнной въ океанскихъ плаваніяхъ влаги.

При видѣ прелестнаго острова и его роскошной зелени, Аѳанасіи очень захотѣлось побывать на берегу, почувствовать подъ собою землю, дотронуться хоть до зелени деревьевъ, походить и посидѣть на травѣ, полюбоваться на цвѣты. Вѣдь, ноги ея такъ давно не касались земли, глаза не видѣли и руки не осязали ни деревьевъ, ни зелени.

Хрущовъ предупредилъ, угадалъ ея желанье. Недаромъ Пановъ называлъ его поэтомъ и фантазеромъ. Въ его душѣ дѣйствительно тлѣла поэтическая искра и мечтательность легла основнымъ элементомъ въ его внутренний міръ. Недаромъ онъ когда-то, еще юношей, серьезно мечталъ ошастливить Россію, внеся элементъ мира и свободы въ ея общественную жизнь,—и за эту мечту угодилъ въ Камчатку, благо пылкую голову его не признали нужнымъ отрубать на плахѣ.

— Не побхать-ли намъ, Аѳанасія Григорьевна, на берегъ?—заговорилъ онъ, замѣтивъ грустный взоръ дѣвушки, устремленный на островъ.

— Я сама только-что объ этомъ думала, — отвѣчала Аѳанасія, оживляясь.

— Что-жъ вы не сказали объ этомъ раньше?

— Да я не рѣшалась: Морицъ Іосифовичъ занятъ—дневникъ, кажется, писать.

— О! мы его сейчасъ вытащимъ изъ берлоги,—улыбнулся Хрущовъ, и пошелъ въ каюту капитана.

Къ Аѳанасіи подошелъ Пановъ.

— Каково утро-то!—сказалъ онъ, разкланиваясь:—въ воздухѣ столько разлито поэзія, что даже Гурчениновъ, кажется, заговорилъ стихами.

— Вѣднй онъ!—серьезно сказала дѣвушка.—Каково это — почти всю жизнь провести безъ языка!

— Э! Аѳанасія Григорьевна!—улыбнулся Пановъ:—что ему! Вотъ если-бъ у меня, у болтуна, языкъ отрѣзали—я-бы повѣсился. Ну сами посудите: какъ-же это всю жизнь не болтать! А какъ вы находите — что красивѣе: ваша Камчатка, или вотъ эта штучка?—сказалъ онъ, указывая на поэтическій островъ.

— Но только онъ, кажется, безлюдный,—замѣтила Аѳанасія.

— Да-съ, барышня, безлюденъ. Хорошо еще, что объ немъ не провѣдалъ Степанъ Ивановичъ Шешковскій, а то-бъ сейчасъ заселилъ его поэтами.

— Кто это Шешковскій?—спросила Аѳанасія.

— Да есть тамъ у насъ, барышня, въ Питерѣ вѣтрогонъ такой, что какъ только кто замечется, такъ онъ его сейчасъ—фюить!—на какой-ни-

будь поэтической полуостровъ, вродѣ Камчатки, любоваться природой, и притомъ такой добрякъ этотъ милостивецъ, что всегда даетъ возможность поэтамъ кататься на казенный счетъ. Такой добрякъ!

— О комъ это вы?—спросилъ Беніовскій, подходя, вмѣстѣ съ Батуринымъ и Хрущовымъ, къ Аванасіи и ея собесѣднику.

— Да это я говорю барышня о нашемъ отцѣ и благодѣтелѣ Степанѣ Ивановичѣ Шешковскомъ,—отвѣчалъ Пановъ.

— Д, да! милѣйшій человекъ!—засмѣялся конфедератъ:—онъ, видите-ли, отправляя меня въ Камчатку, потиралъ руки отъ радости и говорилъ: „Ахъ, мой добрый другъ! какъ я радъ за васъ, что вамъ именно назначена Камчатка: какая тамъ величественная природа, какія поэтическія мѣста! Вспомните меня, мой другъ, когда будете любоваться всѣми этими прелестями!“ И я вспоминалъ его: добрейшей души человекъ! — Такъ ты, Фанни,—обратился онъ къ дѣвушкѣ,—хотѣла-бы съѣздить на островъ?

— Да, Морицъ,—отвѣчала Аванасія.

— Отлично!—согласился Беніовскій:—мы всѣ туда отправимся: вѣроятно, тамъ отличная охота.

— Нанчудесно, государи мои!—обрадовался Пановъ.—Насгрѣляемъ тамъ дичи, всякаго звѣря, наслонимъ въ прокъ—нанчудесная штука будетъ!

XIII.

Измѣна.

Скоро съ гальота спущены были на воду двѣ шлюпки. Въ одной изъ нихъ помѣститься—Беніовскій, Аванасія, Батуринъ, Винбладъ и Уфтюжаниновъ, въ другой—Хрущовъ, Степановъ, Пановъ и Магнусъ Мейдеръ. На гальотѣ остался только Гурчениновъ съ прислугою.

Черезъ нѣсколько минутъ шлюпки пристали къ острову. Такъ-какъ воды океана, несмотря на зеркальную поверхность послѣдняго, далеко, хотя плавно, забѣгали на отлогій берегъ и такъ-же плавно съ математическою, кажется, правильностью отступали назадъ, и лодки сильно качало у берега, то Аванасію Беніовскій вынесъ изъ шлюпки на рукахъ и, при крикахъ „ура“ со стороны Панова и Уфтюжанинова, торжественно поставилъ ее на землю.

— Ура!—радовался Пановъ:—пусть Аванасія Григорьевна будетъ царицею этого прелестнаго острова.

Мысль Панова всѣмъ понравилась, и Беніовскій первымъ преклонилъ колѣна предъ юною царицею.

— Ваше величество!—торжественно сказалъ онъ:—позвольте повергнуть къ стопамъ вашимъ мои вѣрнопопдадническія чувства.

Аванасія улыбалась и краснѣла.

— Да здравствуетъ Аванасія Первая, божіею милостію императрица океанская!—воскликнулъ Пановъ, тоже припадая на одно колѣно.

— Ура!—повторили другіе:—да здравствуетъ Аванасія Первая!

— Ваше величество!—сказалъ Беніовскій, вынимая изъ ноженъ свою

шпагу и подавая ее Аеанасіи:—вы прикосновеніемъ шпаги къ плечу должны посвятить меня и другихъ вашихъ благородныхъ слугъ въ рыцари.

— Да! да!—подхватили прочіе.

Улыбаясь и продолжая краснѣть, дѣвушка сдѣлала то, что отъ нея требовали. Каждый поочередно подходилъ къ ней, преклонялъ колѣно, и импровизированная царица всѣхъ посвятила въ рыцари.

Между тѣмъ, молодой Уфтюжаниновъ успѣлъ тутъ-же, по близости, наврать роскошныхъ тропическихъ цвѣтовъ и сплести изъ нихъ вѣнокъ.

— Молодецъ мой ученикъ!—воскликнулъ Беніовскій, увидѣвъ вѣнокъ въ рукахъ Уфтюжанинова:—надо вѣнчать нашу царицу!

И вѣнокъ былъ дѣйствительно возложенъ на прелестную головку дѣвушки. Она казалась какимъ-то видѣніемъ на берегу неизвѣстнаго острова, передъ безграничною далью океана.

— Пусть этотъ островъ будетъ „островомъ Аеанасіи“,—провозгласилъ старикъ Батуринъ.

— Правда! правда! ура!—согласились прочіе.

— Вивать,—сказалъ Беніовскій:—именемъ Аеанасіи я и на своей картѣ отмѣчу этотъ островъ.

— Ничудесно!—воскликнулъ Пановъ.

Они не долго, однако, забавлялись своей выдумкой и скоро направились въ глубь острова—искать звѣрей и птицъ.

— Вы, молодежь, идите стрѣлять, а мы, старость и юность, будемъ цвѣточки рвать,—сказалъ Батуринъ, глядя на Аеанасію:—не такъ ли, барышня?

— Благодарю васъ, Яковъ Петровичъ, — согласилась дѣвушка: — я охотно останусь съ вами.

— А меня, старика, не примите въ свою компанію?—обратился Хрущовъ къ Аеанасіи:—я не охотникъ убивать невинныхъ птичекъ и звѣрей.

— Какой же вы старикъ?—замѣтилъ Батуринъ:—вы мнѣ въ сыновья годитесь.

— Я старъ душою,—отвѣчалъ Хрущовъ.

— Ну, ладно, оставайтесь, — согласился старикъ:—у васъ-же кстати ружье: не ровенъ часъ на насъ нападутъ звѣри или дикіе люди.

— Въ самомъ дѣлѣ,—подтвердила Аеанасія:—оставайтесь съ нами, Петръ Алексѣвичъ,—съ вами не такъ страшно.

— Такъ вы намъ головой ручаетесь за безопасность нашей всемирно-стивѣйшей государыни,—церемонно поклонился Беніовскій:—до свиданья.

Оставшись съ Батуринымъ и Хрущовымъ, Аеанасія также прошла съ ними нѣсколько въ глубь острова.

Никогда не видала она такой богатой растительности, такихъ очаровательныхъ цвѣтовъ—и все это было совсѣмъ не похоже на то, что она видѣла прежде—и эти гигантскія деревья, и эти невѣдомые цвѣты. Атмосфера тропическаго юга такъ и охватила ее, и ей казалось, что она бродитъ въ сказочномъ мірѣ. По деревьямъ порхали никогда невиданные ея

прежде птицы такихъ яркихъ цвѣтовъ, какихъ она и не предполагала въ царствѣ пернатыхъ, зная только нѣкоторыхъ птицъ Камчатки.

— Мнѣ даже жаль рвать эти прекрасные цвѣты, говорила она, очарованная всѣмъ видимымъ.

— Отчего-же?—успокаивалъ ее Хрущовъ.—Ихъ такъ много здѣсь.

— Да зачѣмъ они мнѣ?

— Ахъ, милая барышня,—въ свою очередь говорилъ Батуриный:—вы-бы этими цвѣтами свою каютку украсили—какъ бы хорошо было!

— И вправду,—согласилась дѣвушка:—я и вашу каютъ-кампанію украсу цвѣтами, и букетъ для нашего капитана сдѣлаю.

— Нанчудесно!—какъ говоритъ Пановъ.

Между тѣмъ изъ-за лѣсу, изъ разныхъ мѣстъ, уже доносились выстрѣлы.

— Должно быть охота знатная,—замѣтилъ Батуриный.

— Какъ не быть охотѣ! Вонъ сколько птицъ!

Вдругъ Аѳанасія вскрикнула, разроняла цвѣты, которыхъ набрала уже цѣлую охапку, и, блѣдная вся, бросилась къ Батурину.

— Что вы, милая барышня?—встревожился онъ:—чего вы испугались?

— Вонъ тамъ, на деревѣ, у того куста...

Дѣвушка вся дрожала.

— Что-же тамъ—не змѣя-ли?

— Змѣя... огромная... пестрая...

— Петръ Алексѣевичъ!—закричалъ Батуриный:—скорѣй бѣгите сюда!

— Что тамъ?—отозвался Хрущовъ изъ-за зелени.

— Да идите-же! Давайте ружье!

Хрущовъ прибѣжалъ. Испуганная дѣвушка показала ему на дерево.—Вонъ, смотрите, смотрите!

Вокругъ дерева, дѣйствительно, обвивалась громадная, изжелто-коричневая змѣя. Длинная, узкая голова ея съ маленькими блестящими глазами была обращена именно туда, гдѣ стояла Аѳанасія съ Батуринымъ. Изъ пасти чудовища высовывался и дрожалъ въ воздухѣ черный языкъ, въ видѣ раздвоенной стрѣлы.

Хрущовъ приложился, прицѣлился, и мгновенно раздался выстрѣлъ. Когда дымокъ разсѣялся, присутствующіе увидѣли, что разможенной голова змѣи какъ-то свисла съ дерева и кольца ея длиннаго остраго тѣла, обвивавшія дерево, конвульсивно сжимались и тотчасъ-же опускались ниже и ниже.

— Убита!—облегченно вздохнулъ Хрущовъ.

— Но она еще жива,—шепотомъ сказала Аѳанасія.

— Ничего, милая барышня,—не бойтесь теперь: она ужъ безопасна,—успокаивалъ ее Батуриный.

— А другія? Вѣдь, она, вѣрно, не одна тутъ... Пойдемте отсюда... Тутъ страшно...

Аѳанасія взяла подъ руку Батурина и, ее страхомъ оглядываясь по сторонамъ, потащила его и Хрущова къ берегу.

— Хорошо, что вы остались съ нами,—говорила она Хрущову:—а то что-бы мы стали дѣлать безъ ружья?

— Да ничего,—отвѣчалъ послѣдній:—она бы васъ не тронула.

Въ то время, когда они подходили къ берегу, на кораблѣ раздался звонъ вахтеннаго колокола; но это былъ не простой звонъ, а какой-то тревожный, точно онъ звалъ кого-то на помощь. Между звономъ кто-то кричалъ въ рупоръ, но что кричали,—словъ нельзя было разобрать, такъ какъ за выдающимися изъ моря рифами корабль не могъ близко подойти къ острову и бросилъ якорь на далекомъ разстояніи.

— Что бы это значило?—удивился Батуринъ.—На гальотѣ какъ-будто тревога.

— Но съ чего? Кому угрожаетъ опасность?—недоумѣвалъ и Хрущовъ.

— Развѣ замѣтили въ морѣ пирата?

— Но тамъ, кругомъ, ничего не видно.

— А можетъ быть, матросскіе глаза лучше нашихъ.

Колоколъ продолжалъ звонить съ прежнею тревогой и рупоръ не умолкалъ.

— Не бунтъ-ли между матросами?—замѣтилъ Батуринъ.—Это иногда случается на морѣ.

Аеанасія стояла блѣдная и трепещущая. Напрасно она напрягала зрѣніе, чтобы разглядѣть, что происходило на гальотѣ: она видѣла на немъ только какое-то движеніе.

— Боже мой!—ломала она руки:—хоть-бы Морицъ скорѣе пришелъ!

Беніовскій не заставилъ себя ждать: обвѣшанный разнообразною дичью, онъ показался надъ обрывомъ, а скорѣе къ нему присоединились другіе охотники.

— Морицъ! Морицъ!—кричала ему Аеанасія:—что тамъ дѣлается?

— Въ шлюпки! скорѣе въ шлюпки!—отвѣчалъ Беніовскій.

Черезъ нѣсколько минутъ шлюпки быстро неслись къ гальоту.

XIV.

На необитаемомъ островѣ.

Когда шлюпки находились уже не въ далекомъ разстояніи отъ корабля и когда пересталъ звонить колоколъ, то можно было явственно разслышать, что на гальотѣ какъ-будто бы что-то рубили или выбивали что-то тяжелыми ударами.

— Что за тревога на кораблѣ?—закричалъ Беніовскій, складывая ладони въ видѣ рупора.

— Измѣна, капитанъ!—отвѣчалъ рупоръ.

Стукъ на гальотѣ прекратился.

— Кто измѣнники?—спросилъ Беніовскій.

— Измайловъ и Зябликовъ,—отвѣчали въ рупоръ.

— О, я такъ и догадывался!—замѣтилъ Беніовскій.—Эти волки всегда были для меня подозрительны... Хорошо же, до ста дьяблужъ! — я имъ покажу!

Вотъ что произошло на кораблѣ, когда Беніовскій и Аванасія съ прочими отъѣхали на островъ.

Рыжій Андреяновъ, очень преданный Беніовскому, и жена его, Анна, толстая добруха, души не чаявшая въ „барышнѣ“, т. е. Аванасіи, давно стала замѣчать, что у нихъ на гальотѣ что-то неладно. Особенно подозрительными казались прежніе доносчики Нилова—Измайловъ и Зябликовъ. Они иногда шептались между собою, обмѣнивались какими-то знаками, и вообще съ этой стороны, какъ выражался Андреяновъ, „было что-то нездорово“. Замѣтно было, что къ нимъ вязался также камчадалъ Паранчинъ, который плавалъ на китоловныхъ судахъ и очень хорошо зналъ западную часть океана, въ особенности-же всю линію Курильскихъ острововъ и все азіатское восточное побережье до самой Кореи и далѣе. Какъ знатокъ моря, онъ взятъ былъ Беніовскимъ на эмигрантскій корабль. Андреяновъ, притворяясь ни объ чемъ не догадывающимся, зорко, шагъ за шагомъ, слѣдилъ за этими подозрительными личностями. Но что они задумывали,—онъ никакъ не могъ разгадать, какъ ни ломалъ голову. Отъ времени до времени онъ замѣчалъ, что и казакъ Сафроновъ, лѣтний малый съ огромною серьгою въ ухѣ, то-же какъ-будто держитъ ихъ руку.

Но сегодня все открылось. Сказавъ Беніовскому, что ему что-то нездоровится, Андреяновъ забрался въ трюмъ и спрятался тамъ за ящиками. Онъ это сдѣлалъ въ то время, когда Измайловъ, Зябликовъ, Паранчинъ, Сафроновъ и другіе матросы утромъ отплыли на островъ запастись водой, и, слѣдовательно, никто не замѣтилъ, какъ онъ спускался въ трюмъ. Когда Измайловъ и другіе воротились съ острова и спустили бочки съ водой въ трюмъ, чтобы наливать воду въ баки, Андреяновъ и подслушалъ ихъ разговоръ. Измайловъ съ досадою сказалъ своимъ товарищамъ, что „подлецъ Потоловъ“ мѣшалъ ему тамъ открыться товарищамъ, и что у нихъ съ Зябликовымъ, Паранчиннымъ и Сафроновымъ давно созрѣлъ такой планъ: такъ-какъ теперь всѣ „господа“ съѣхали на островъ охотиться, то никто имъ, Измайлову съ товарищами, не мѣшалъ теперь обрубить якорь, поднять паруса и плыть домой, въ Камчатку. „А господа пушай, какъ крысы, подохнуть на острову“.

Всѣ согласились на предложеніе Измайлова и хотѣли тотчасъ-же привести его въ исполненіе.

Но Андреяновъ предупредилъ ихъ. Ужомъ проползъ онъ между ящиками и бочонками; и, никѣмъ не замѣченный, очутился на палубѣ. Въ одно мгновеніе онъ шепнулъ Потолову и другимъ матросамъ, не причастнымъ къ заговору Измайлова, какая ожидаетъ ихъ опасность, если гальотомъ завладѣютъ заговорщики,—и тѣ моментально захлопнули дверь трюма, навалили на нее канатовъ и ящиковъ и ударили тревогу.

Заговорщики очутились въ западнѣ. Всѣ скрѣпленія на кораблѣ и въ трюмѣ были прочныя, желѣзныя, и какъ ни старались попавшіе въ ловушку измѣнники выбить дверь трюма,—они ничего не могли сдѣлать.

Когда Беніовскій, войдя на корабль, узналъ обо всемъ этомъ, то при-

шелъ въ такую ярость, что тотчасъ-же хотѣлъ перестрѣлять всѣхъ заговорщиковъ, какъ собакъ, или же повѣсить на реяхъ. Дѣйствительно, извѣстiе, которое сообщилъ ему Андреяновъ; было ужасное: заговоръ на кораблѣ, въ открытомъ морѣ, заговоръ, такъ сказать, въ своей собственной семьѣ—что-же можетъ быть страшнѣе!—На кого-же положиться?—На сущѣ еще можно спастись, уйти отъ заговорщиковъ; на сущѣ можно искать помощи, убѣжища; но въ морѣ, на кораблѣ?—Оттого нигдѣ такъ не строга дисциплина, какъ на морѣ, и оттого въ морѣ, въ океанѣ, капитанъ корабля дѣлается самовластнымъ властелиномъ надъ жизнью и смертью всѣхъ своихъ пассажировъ: въ морѣ онъ—диктаторъ своего плавучаго государства. Разъ уже онъ помиловалъ измѣнниковъ, когда они хотѣли было довести покойному Нилову о его собственномъ заговорѣ. Онъ даже выразилъ тогда такую мысль: помилованный врагъ часто дѣлается лучшимъ другомъ. И вотъ что вышло!

Беніовскій былъ страшенъ въ своей ярости. Красивое лицо его какъ бы окаменѣло, а глаза его, всегда холодные и глубокіе, какъ глаза фанатика, теперь свѣтились фосфорическимъ блескомъ, какъ вспыхнувшіе гнѣвомъ въ темнотѣ глаза кошки.

Аеанасія, сама блѣдная и вдвойнѣ перепуганная—сначала, тамъ на острову, видомъ чудовищной змѣи, потомъ здѣсь этимъ ужаснымъ извѣстiемъ,—робко приблизилась къ своему бывшему учителю и просила его успокоиться. По онъ почти не слыхалъ ея тихой мольбы.

Она подошла къ Батурину, задумчиво опустившему свою сѣдую голову, и взяла его за руку.

— Яковъ Петровичъ, вы старше всѣхъ здѣсь, опытнѣе, — тихо сказала она:—придумайте, какъ поступить съ несчастными?

— Я одно могу сказать, милая барышня,—также тихо отвѣчалъ старикъ:—сами согласитесь, что на кораблѣ ужъ ихъ нельзя оставить на свободѣ: ихъ надо приковать. Такимъ образомъ, они уже перестанутъ быть матросами, а едѣются для гальота только лишними ртами. А мы должны дорожить своими запасами: океанъ—та-же пустыня.

— Да, вы правы,—грустно согласилась дѣвушка.—Какъ-же быть?

— Примѣнить къ нимъ то, что они замыслили для насъ.

— Какъ-же такъ! Я не понимаю.

— Высадить ихъ на этотъ островъ—пусть живутъ себѣ.

— А чѣмъ-же они будутъ питаться?

— Тамъ много птицъ и звѣря. Можно даже оставить имъ одно или два ружья съ порохомъ и пулями: повѣрте они не умрутъ съ голоду.

— А змѣи тамъ?

Батуринъ только махнулъ рукой.

Когда первая ярость нѣсколько улеглась въ душѣ Беніовскаго, онъ допустилъ уговорить себя—сейчасъ-же составить военный совѣтъ и общими усиліями придумать наказаніе для измѣнниковъ.

На совѣтѣ было принято мнѣніе Батурина. Только Беніовскій, по праву

капитана, сдѣлалъ небольшую поправку или добавку къ принятому рѣшенію: всѣхъ измѣнниковъ, передъ высадкою на островъ, жестоко наказать кошками.

Экзекуція тотчасъ-же была приведена въ исполненіе.

Заключенныхъ въ трюмѣ выпускали оттуда по одиночкѣ, объявивъ имъ предварительно рѣшеніе совѣта.

Первымъ вышелъ на налубу Измайловъ. Онъ не просилъ прощенія и вообще не говорилъ ни слова. Лицо его выражало упрямую рѣшимость.

Подали кошки... Аеанасія убѣжала въ свою каюту и спрятала голову въ подушки.

Но зачѣмъ изображать возмутительныя картины прошлаго? Исторія не должна ихъ забывать: въ исторіи онѣ не должны стираться, какъ клейма позоровъ, пережитыхъ жалкими людьми. Но мы во всякомъ наказаніи видимъ только нѣчто оскорбительное, деморализующее, а отнюдь не поучительное... Напротивъ! о, напротивъ!..

Немного погодя, двѣ шлюпки отошли отъ гальота „Святой Петръ“. Въ каждой шлюпкѣ лежало человѣкъ по пяти связанныхъ. Въ каждой шлюпкѣ было также по одной бабѣ: то были жены Измайлова и Паранчина. Ихъ положено было посадить на берегъ вмѣстѣ съ мужьями.

Когда шлюпки пристали къ острову и связанныхъ изгнанниковъ матросы перетаскали на берегъ, бабы тотчасъ-же стали ихъ развязывать.

Шлюпки оттолкнулись отъ берега.

— Прощайте, земляки!—крикнулъ съ одной шлюпки Андреяновъ:—счастливо оставаться! Увидите своихъ—кланяйтесь нашимъ!

— Смотрите только—изъ-за бабьятины не передеритесь!—захохоталъ Потоловъ.

Съ берега послышались ругательства.

Аеанасія стояла на палубѣ гальота и печально смотрѣла на островъ. Она видѣла издали, какъ вставшіе на ноги изгнанники поднимали къ педу кулаки и гровили плавно качавшемуся на синевѣ океана кораблю.

— Вотъ вашъ островъ теперь уже не безлюдный,—съ улыбкой замѣтилъ Хрущовъ, подходя къ Аеанасіи.

— Бѣдныя!—прошептала дѣвушка.

— Чѣмъ бѣдныя?—подхватилъ, тоже подходя, Пановъ. — Навчудесно заживутъ себѣ. Вѣдь, островокъ-то—настоящій рай; только въ настоящемъ раю была всего одна Ева, а тамъ у нихъ двѣ.

— Евы-то и соблазнили нашихъ Адамовъ,—засмѣялся Беніовскій.

— Какъ?—спросилъ Пановъ.

— Да такъ — Евы: я досконально узналъ, что все это бабы заварили:—бабы соскучились по Камчаткѣ и подбили своихъ мужьевъ къ измѣнѣ. Жаль, что я не велѣлъ пошлепать ихъ кошками.

— Ну, ихъ можно было и котятками—помягче,—сострилъ Пановъ.

Вдругъ съ острова явотвенно донеслись голоса развеселой, вѣсѣ знакомой пѣсни:

Ахъ, Иванушка на печкѣ лежитъ,
А Ульянушка на печку глядитъ,—
Какъ пришла ли ея мать,
И учала ее ломать:
Учала ее ломать,
Только косточки гремятъ,
Всѣ суставы говорить...

Видно было, что на берегу плясали.

— Ну, совершенно дикіе люди, звѣри! — махнулъ рукою Беніовскій. — Мало я ихъ поролъ...

XV.

В ъ Я п о н і и .

Въ тотъ же день гальотъ „Святой Петрѣ“, пользуясь небольшимъ попутнымъ вѣтромъ, снялся съ якоря и, поднявъ паруса, пустился въ дальнѣйшій путь.

Долго на берегу покинутого острова видѣлись очертанія выброшенныхъ туда заговорщиковъ гальота; но потомъ очертанія эти становились все менѣе и менѣе явственны и, наконецъ совсѣмъ задержнулись синеватою дымкою дали, хотя самъ островокъ продолжалъ еще темнѣть на далекомъ горизонтѣ океана.

Скоро и эта темная точка скрылась подъ водою.

„Святой Петрѣ“ держалъ курсъ по направленію къ югу. Томительно было однообразіе океана, но при попутномъ вѣтрѣ, когда шумѣли паруса и реи, все-таки чувствовалась жизнь среди мертвого однообразія безбрежной синей влаги; когда же наставалъ мертвый штиль и опускались паруса, какъ безжизненное тѣло, — душа чувствовала такую отчужденность отъ всего міра, такое одиночество, что становилось страшно и мысль близка была къ отчаянію.

Такое душевное состояніе болѣе всѣхъ испытывала Аванасія. Выврванная роковыми событіями, какъ нѣжный цвѣтокъ, изъ почвы, на которой она выросла; потерявъ въ одну ночь и притомъ при такихъ потрясающихъ обстоятельствахъ — все, что она считала въ своей жизни своимъ, близкимъ, роднымъ, поглощенная роковымъ чувствомъ, которое увлекло ее какъ вихрь, какъ ураганъ, не давъ ей опомниться и прийти даже къ неизбѣжному заключенію, что для нея нѣтъ выхода никуда, что для нея ничего не осталось въ мірѣ, — бѣдная игрушка судьбы, случая, кровавыхъ столкновеній, въ средину которыхъ ее толкнула эта же судьба, какъ щепку въ бурный потокъ, — дѣвушка, конечно, должна была сильнѣе, жгучѣе, острѣе всѣхъ чувствовать то, что въ эти послѣдніе мѣсяцы проходило по ея душѣ.

Въ то же время она всею полнотою сердца, всѣмъ существомъ своимъ переживала то, тотъ жгучій и страшный и обаятельно сладкій

періодъ молодой жизни, когда она узнала то, о чемъ только смутно догадывалась. Она любима, она нашла то, что не всякой дѣвушкѣ суждено найти въ жизни...

Неудивительно, что она жила за это время удесатеренными мѣрами жизни, удесатереннымъ чувствомъ—и чувствомъ блаженства, и чувствомъ страданія.

Прошло немало дней съ тѣхъ поръ, какъ корабль ихъ покинулъ невѣдомый островъ, оставившій въ душѣ Аеанасіи тяжелыя воспоминанія. Но земли все не было видно. Наконецъ, однимъ жаркимъ утромъ, когда чайки особенно назойливо кричали надъ моремъ и поминутно садились на полосу воды, оставляемую быстро идущимъ кораблемъ, и когда на реи галіота прилетали иногда неизвѣстныя птицы,—Винбладъ, какъ истый потомокъ скандинавскихъ пиратовъ, обладавшій прекраснымъ зрѣніемъ, радостно воскликнулъ:

— Ура! земля!—къ зюдь-зюдь-весту видны очертанія земли.

— Это должно быть островъ Кіусіу,—не безъ волненія въ голосѣ замѣтилъ Беніовскій:—островъ Нипонъ, вѣроятно, остался много лѣтъ.

Стали держать курсъ на зюдь-зюдь-вестъ. Чѣмъ выше поднималось солнце и сгоняло съ моря остатки предутренняго тумана, тѣмъ яснѣе вырѣзывались на горизонтѣ очертанія земли. Уже явственно можно было отличить темную зелень лѣса отъ сѣрыхъ, голыхъ горъ. Скоро въ зрительную трубу можно было рассмотреть на землѣ признаки населенности: это уже не былъ необитаемый островъ.

Но, какъ на зло, вѣтеръ, послѣдніе дни дувшій попутно, по мѣрѣ приближенія къ землѣ сталъ мѣняться и надувать паруса въ противную сторону. Кораблю, вслѣдствіе этого, приходилось то лавировать, то ложиться въ дрейфъ. Это очень замедляло движеніе. Какъ бы то ни было, къ полудню галютъ такъ успѣлъ приблизиться къ землѣ, что уже простыми глазами можно было явственно различать селенія на берегу моря. Но и самыя селенія и постройки ихъ казались какими-то странными, невиданными: какія-то вычурныя башенки, точно слѣпленныя изъ картонной бумаги—такія легкія и фигурныя—вѣроятно, то были храмы, кумирни,—думала Аеанасія, стоя у борта рядомъ съ своей няней Пахомовной, которая неустанно продолжала вязать нитяныя чулочки для своей любимицы. — „Это не въ Камчаткѣ, — говорила она: — тутъ вонъ какая жарынь—надо и чулочки тоненькіе носить“.

А земля подходила все ближе и ближе. На полугорѣ, не далеко отъ высокаго мыса, которымъ какъ бы замыкался входъ въ бухту, раскинулся довольно большой городъ. Въ бухтѣ видны мачты кораблей и множество мелкихъ судовъ. Въ городѣ и въ гавани замѣтно оживленіе — отчетливо видны человѣческія фигуры, какіе-то странные экипажи, носилки съ сидящими въ нихъ людьми.

Ясно было, что это Японія.

— Но, вѣдь, японцы не пускаютъ къ себѣ европейцевъ,—сказалъ Ба-

туринъ Беніовскому, когда гальотъ приблизился къ самому входу въ бухту и намѣревался бросить якорь.

— Я потому и не ввожу корабль въ бухту, — отвѣчалъ Беніовскій, приказавъ выкинуть на гальотѣ русскій флагъ:—а тамъ посмотримъ... Во всякомъ случаѣ, намъ нужно опять запастись провизіей и водой.

Скоро якорь съ шумомъ и звономъ упалъ въ море.

— Приважите, Яковъ Петровичъ, салютовать городу по силѣ регламента морскаго, — обратился Беніовскій къ Батурину, какъ къ бывшему артиллерійскому полковнику.

Батуринъ направился къ орудіямъ.

Скоро бухта огласилась пушечнымъ выстрѣломъ, затѣмъ грянулъ второй выстрѣлъ, третій...

— Нѣтъ отвѣтнаго салюта, — недовольнымъ голосомъ произнесъ Беніовскій. — Дикари! Океанскіе обезьяны!

Но едва растаялъ въ воздухѣ дымъ отъ послѣдняго салютационнаго выстрѣла, какъ гальотъ почти моментально былъ окруженъ цѣлою флотиліею маленькихъ, длинноносыхъ, какъ кулики, японскихъ лодокъ съ зеленою, фруктами, хлѣбомъ, всевозможными плодами. На лодкахъ привѣтливо кривлялись, улыбались и кланялись въ странныхъ отъяніяхъ люди, предлагая все, что у нихъ было въ лодкахъ. Они усердно кричали, старались перебить другъ друга; но ни одного слова изъ того, что они выкрикивали, никто на гальотѣ не понималъ, что вызвало среди экзотическаго гальота взрывы хохота и всевозможныхъ остротъ.

— Эй, ты, чортова перешница! — почему огурцы? — кричалъ одинъ.

— Къдай сюды твои яблоки, обезьяные рыло! — острилъ другой.

— Эй вы, хвостатые дьяволы! — затѣмъ у дѣвокъ косы пооббрѣзали? Хвостатые люди, съ своей стороны, добродушно смѣялись и цѣплялись то за руль, то за якорную цѣпь гальота.

Ясно было, что никакихъ враждебныхъ дѣйствій отъ этого добродушнаго народа нельзя было ожидать, и потому Беніовскій самъ рѣшился поѣхать въ городъ, чтобы развѣдать — такъ-ли дружелюбно будутъ приняты русскіе путешественники японскими властями, какъ принялъ японскій народъ, хотя сильно сомнѣвался въ этомъ.

— Почему же? — спрашивалъ его Батуринъ: — по видимости, японцы доброжелательны къ намъ — видите, какъ подружились съ матросами нашими...

— Ха-ха-ха! — засмѣялся Пановъ: — вонъ даже воздушные поцѣлуи посылаютъ нашимъ молодцамъ.

— А ваши молодцы — смотрите — на ихъ любезности отвѣчаютъ кукишами, хотя тоже добродушно, — замѣтилъ и Беніовскій, улыбаясь. — Но не въ томъ дѣло. Японцы — народъ, я увѣренъ, приняли бы насъ, какъ братьевъ; но правительство ихъ, власти японскія — врядъ-ли. Развѣ вы не знаете, что японцы, собственно правительство Японіи, не допускаютъ въ свою страну иностранцевъ? Народъ-то во всѣхъ странахъ — добръ и многокъ, онъ

считаетъ всякаго пришельца братомъ, гостемъ, и не возбуждай соперничашія правительства одинъ народъ противъ другого—на землѣ давно воцарилось бы всемірное братство. Это—святая истина. Изъ-за чего бы, напримѣръ, вамъ, русскимъ, ненавидѣть насъ, поляковъ? Нѣтъ ни причины, ни повода. А какъ задумали-было наши Сигизмунды да Владиславы саять Мономахову шапку съ головъ вашихъ Ивановъ да Борисовъ, ну, ваши Иваны да Борисы и стали науськивать васъ на насъ, да вотъ и до уськались до того, что, пожалуй, раздѣлятъ нашу бѣдную Польшу и вмѣсто нашего Станислава или Жигимонта дадутъ намъ „двухъ Матрентъ да Луку съ Петромъ“, какъ говорить ваша русская пословица. Тоже и въ Японіи... А народъ что! Народъ вонъ ужъ обивается съ нашими матросиками!

Дѣйствительно, нѣкоторые изъ японцевъ успѣли по якорной цѣпи взобраться на гальбортъ и уже цѣловаались съ матросами, а послѣдніе то дружески трепали гостей по плечу, то дергали ихъ за штаны и куртки и заливались дружнымъ хохотомъ.

— Ай-да штаны! Сала мала-джинъ-чхи-ачхи!—старались они поддѣлываться подъ говоръ японцевъ.

— Хамала-шабала-дзень-стрень-брень мои гуселки!... ха-ха-ха!

Беніовскій приказалъ спустить на воду одну шлюпку и, взявъ Андреянова и Потолова въ качествѣ гребцовъ, вмѣстѣ съ Батуринымъ отправился въ гавань, къ городу.

XVI.

Отбитое нападеніе.

Въ это время матросы, желая еще болѣе очаровать глазѣвшихъ на нихъ японцевъ, стали въ кружокъ и затянули свою любимую пѣсню, такъ соответствовавшую ихъ душевному настроенію:

Сторона-ль моя, сторонушка,
Сторона-ль моя, незнакомая!

Японцы слушали невиданныхъ гостей, словно очарованные. Но особое одушевленіе проявили пѣвцы, когда приходилось выливать изъ души заключительныя строфы пѣсни:

Породила меня матушка
Во безчастной день, во пятницу,
Въ зеленомъ саду гуляючи,
Что подъ вишенкой, подъ зеленою,
Что подъ яблонькой подъ кудрявою.
Пеленала-де меня матушка
Во свивальничекъ алой бархатной,
Одѣвала меня матушка
Одѣяльцемъ соболинымъ,
Верегла меня матушка
И отъ вѣтру, и отъ вихоря,

Что отъ часта мелка дожжичка:—
Только не спасла меня матушка
Что отъ службы государевой,
Отъ чужедадьней сторонущки...

Пѣсня разливалась по водѣ стройно, величаво. Все изъ города пова-
лило на берегъ слушать неслыханную мелодію. Бухта и гавань еще болѣе
запестрѣли яликами съ туземцами.

— Эхъ, ребята!—сказалъ, подходя къ пѣвцамъ, Пановъ:—эдакъ вы
своей пѣсней заставите хныкать всѣхъ этихъ черномазыхъ. Вы-бы хватили
что-нибудь веселенькое, залихватское!

— И то правда, ваше благородіе,—согласились матросики.

— А ну-ко, запѣвало,—заводи (это къ Уфтюжанинову).

— Да какую вамъ, братцы?

— А хуть про суздальцовъ, володимерцовъ.

Тогда Уфтюжаниновъ, выступивъ на середину палубы и, взявшись
въ-боки, сталъ притопывать и приговаривать:

Ахъ, вы, суздальцы, володимерцы,
Что горазды плясать, что горазды скакать,
И скакать и плясать съ колокольчиками...

Его подхватилъ хоръ, и залихватская пѣсня продолжалась словами:

Съ колокольчиками, съ болобольшичками!
Ахъ и станемъ говорить, выговаривати,
Черно на бѣло выворачивати:
Ахъ медь поспѣлъ, медь сычонный,
Ахъ я была молодка да молоденька,
А мужъ-ать мой онуча неношенная...

Этого показалось мало: два матроса пошли въ присядку. Стуча каблу-
ками, одинъ выговаривалъ:

Какъ у Карпова двора
Да окатана гора!

другой, сѣменя ногами, отвѣчалъ ему:

Ходи изба, ходи печь,
Хозяину негдѣ лечь!

А первый на это второму:

Стала тутъ изба ходить,
За собой гостей водить!

Второй не оставался въ долгу и снова сѣменилъ и приговаривалъ:

Хвостъ вытащилъ—носъ увязъ,
Носъ вытащилъ—хвостъ увязъ!

— Это мы, — лукаво подмигнувъ Пановъ Степанову:—хвостъ выта-
щили, а носъ увязили.

Въ самый разгаръ воодушевленія матросиковъ—съ одной стороны, и

невыразимаго изумленія японцевъ съ другой, со стороны гавани показалась шлюпка, которая отвозила въ городъ Беніовскаго и Батурина. Теперь они возвращались на гальотъ.

— Чѣмъ-то порадуютъ насъ наши послы?—сказалъ Степановъ, указывая на шлюпку.

Шлюпка подошла къ гальоту. На палубѣ пѣсія разомъ оборвалась. По лицу капитана матросы сразу догадались, что онъ не въ духѣ.

— Что-жъ вы перестали, ребята?—крикнулъ Беніовскій, взбираясь на палубу гальота по брошенной къ шлюпкѣ лѣстницѣ.

Матросы снова затаили, но уже другую:

Ужъ какъ полно, красна дѣвица, тужити,
Не наполнишь ты сине море слезами...

— Ну что—какъ?—спросилъ Степановъ Беніовскаго.

— Да такъ, какъ я предполагалъ,—отвѣчалъ послѣдній.

— Не пускаютъ?

— Конечно, боятся: когда мы подъѣзжали къ берегу, намъ оттуда стали дѣлать угрожающіе жесты. А потомъ на берегу появились и драконы.

— Какіе драконы?

— Разумѣется, рисованные: они, галганы, всѣхъ иностранцевъ пугаютъ нарисованными на огромныхъ полотнищахъ драконами и всякими чудовищами—думаютъ поугатъ.

— Какъ-же намъ быть?—спросилъ Пановъ: — и мы должны испугаться?

— Должны,—былъ отвѣтъ: — иначе намъ не дадутъ запасть ни провизіей, ни водой.

— Ну, такъ и чортъ съ ними и съ ихъ драконами!—обругался Пановъ.—Была бы провизія и вода.

Дѣйствительно, Беніовскій тотчасъ-же распорядился закупкою провизіи изъ лодокъ, окружавшихъ гальотъ, а матросы, подружившись съ новыми своими пріятелями, японцами, легко имъ растолковали, что для корабля нуженъ запасъ свѣжей воды, и японцы, какъ приморскіе жители, скоро поняли въ чемъ дѣло: одни продавали провизію, а другіе тотчасъ-же отправились въ городъ за водой, и скоро гальотъ готовъ былъ вновь пуститься въ путь.

Вскорѣ, однако, обнаружились и враждебныя дѣйствія со стороны японскихъ властей. Изъ гавани вышло нѣсколько большихъ лодокъ, наполненныхъ вооруженными людьми. По всѣмъ признакамъ можно было предположить, что это были японскіе солдаты. Прежнія лодочки, окружавшія гальотъ и вступавшія въ торговыя сношенія съ экипажемъ русскаго корабля, увидѣвъ угрожающую демонстрацію со стороны городскихъ властей, словно ласточки разлетѣлись отъ гальота и поспѣшили укрыться въ гавани; а вышедшія изъ гавани лодки, напротивъ, стали обходить гальотъ, стараясь повидимому отрѣзать ему отступленіе.

— Настъ, кажется, хотѣтъ застукать, какъ рыбу въ вершѣ, — замѣтилъ Батуринъ, глядя на эволюцію японскихъ лодокъ.

— На то похоже, — замѣтилъ и Беніовскій: — но мы прорвемъ эту гни-
лую вершу. — Вы, Яковъ Петровичъ, распорядитесь пушками, чтобы по
первому моему сигналу открыть огонь по этимъ мерзавцамъ, и панъ
Адольфъ (онъ обратился къ подошедшему въ это время Винбладу) рас-
порядится тотчасъ-же поднятіемъ якоря и парусовъ: кстати-же и вѣтеръ
намъ благопріятствуетъ.

На гальотѣ все разомъ пришло въ движеніе: якорь вынуть изъ воды,
паруса распушены и пушки стояли на своихъ мѣстахъ съ зажженными
фитилями.

Беніовскій махнулъ платкомъ.

— Разъ-два-три... пли! — раздалась команда.

Пушки грянули, гальотъ дрогнулъ всѣмъ корпусомъ и быстро пошелъ
прямо на японскія лодки. Тѣ, какъ испуганныя черепахи, неуклюже за-
махали веслами и поспѣшно удалились съ пути, по которому величе-
ственно, подъ всѣми парусами, шелъ русскій корабль.

XVII.

У острова Формозы.

Вѣтеръ благопріятствовалъ нашимъ бѣглецамъ. Много дней они все
плыли къ югу. Солнце все болѣе и болѣе поднималось къ зениту и такъ
жгло въ теченіе дня, что почти невозможно было оставаться на палубѣ, а
между тѣмъ въ каютахъ было такъ душно, что воздуху не хватало для
дыханія. На палубѣ, въ тѣни тента, можно было оставаться только по-
тому, что здѣсь нѣсколько охлаждалъ адскую жару постоянно дувшій съ
сѣвера вѣтерокъ.

Зато ночи были божественны. Ночью только и оживало все общество
нашихъ невольныхъ путешественниковъ, размѣщаясь по палубѣ, какъ кому
было удобнѣе.

Вотъ я теперь они всѣ на палубѣ. По вычисленіямъ Беніовскаго и
Винблада, корабль ихъ не сегодня - завтра долженъ уже встать на тро-
пическую линію Рака и не сегодня - завтра на горизонтѣ долженъ бу-
детъ показаться островъ Формоза.

— Формоза — да, вѣдь, это что-нибудь нанчуднѣйшее, — обратился Па-
новъ къ Аванасіи, задумчиво глядѣвшей на безконечную даль океана,
окутанную мракомъ тропической ночи: — не правда-ли, Аванасія Гри-
горьевна?

— Почему-же вы такъ полагаете? — очнулась она изъ задумчивости.

— Да потому, что по-латыни *formosus*, *formosa* — это нѣчто наи-
чудесное.

— Можетъ быть... Но я все равно буду очень рада землѣ, — я ее
такъ давно не видала.

- А въ Японіи?
- Да, вѣдь, тамъ мы ее только издали видѣли.
- И то правда... Эй, Хрущовъ!—обратился онъ къ послѣднему, сидѣвшему нѣсколько въ сторонѣ:—что стихи, небось, сочиняешь?
- Нѣтъ, считаю твоихъ цѣлымскихъ галокъ,—отвѣчалъ Хрущовъ.
- Какія это цѣлымскія галки?—подлюбопытствовала Аеанасія.
- О! это цѣлая исторія, барышня!—засмѣялся Пановъ. — Это дѣло было еще при Виронѣ... Слыхали вы про этого сокола?
- Какъ-же—мнѣ Морицъ Юсифовичъ о немъ много рассказывалъ.
- Наичудесно, барышня,—продолжалъ Пановъ: — такъ этотъ самый Виронъ такъ любилъ ссылатъ въ Сибирь добрыхъ людей, что, когда людей не хватало, онъ сталъ ссылатъ галокъ.
- Вы все шутите,—улыбнулась дѣвушка.
- Нѣтъ, барышня, не шучу—это очень серьезная исторія: однажды галки такъ галдѣли надъ дворцомъ, что мѣшали спать Вирону... Свѣтлѣйшій обозлился, велѣлъ всѣхъ бунтовщицъ переловить и сослать въ Цѣлымъ.
- Ну, Пановъ, ты повторяешься съ своими остроуміями,—замѣтилъ Хрущовъ:—это скучно.—А поглядите, Аеанасія Григорьевна,—обратился онъ къ Ниловой:—видите вы эти прекрасныя звѣзды, которыя въ видѣ креста такъ ослѣпительно блистаютъ надъ океаномъ?
- Да,—отвѣчала дѣвушка:—я ихъ давно замѣтила—что за прелестныя звѣзды! Да и вообще здѣсь всѣ звѣзды удивительно прекрасны — не то, что у насъ въ Камчаткѣ!
- Воздухъ здѣсь не тотъ Аеанасія Григорьевна, да и ночи тропическія не похожи на наши сѣверныя,—оттого и звѣзды здѣсь очаровательно горятъ. Я когда-то порядочно зналъ звѣздное небо — мечталъ быть астрономомъ,—и вотъ, въ продолженіе всего нашего безконечнаго пути отъ Камчатки, я постоянно наблюдалъ за звѣзднымъ небомъ: съ каждымъ градусомъ, что мы подвигались къ югу, наши сѣверныя созвѣздія опускались все ниже и ниже, а южный горизонтъ небеснаго свода все болѣе и болѣе, казалось, ратширялся; и по мѣрѣ того, какъ исчезали за сѣвернымъ горизонтомъ или опускались ниже наши милые, мои старые знакомцы—Арктуръ, Лира съ блестящею Вегею, Орель съ Атавромъ, Лебедь съ Денебомъ, Персей съ Головою Медузы, Альдебаранъ и Плеяды,—все выше и величественнѣе поднимались Орионъ и Сиріусъ, Антаресъ и Офіукунъ, и вотъ этотъ поразительный по красотѣ и величію крестъ! Онъ и называется созвѣздіемъ Южнаго Креста.
- Онъ дѣйствительно поражаетъ,—согласилась Аеанасія, не отрывая глазъ отъ поразительной картины южнаго звѣзднаго неба.
- А оглянитесь назадъ!—сказалъ Хрущовъ.
- Всѣ невольно оглянулись. Но и къ сѣверу небо сверкало яркими, хотя не такими величественными какъ Орионъ съ Сиріусомъ и Южный Крестъ, созвѣздіями.

— Вгляните на полярную звѣзду,—продолжалъ Хрущовъ.

— Я ее не знаю--я ни одной звѣзды не знаю,—смущенно проговорила Аванасія.

— Вотъ она—маленькая такая,—указалъ Хрущовъ:—почти надъ самою поверхностью океана—такъ, кажется, и погрузится въ море... А за-то въ Камчаткѣ какъ высоко стояла она надъ горизонтомъ!

— А въ Петербургѣ еще выше,—замѣтилъ Пановъ:—выше Петропавловскаго шпица, выше даже Гурченинова (Гурчениновъ былъ, дѣйствительно, выше всѣхъ ростомъ).

— Въ твоей шуткѣ есть, однако, доля правды,—сказалъ Хрущовъ:—вѣдь Петербургъ сѣвернѣе Большерѣцка.

— Ну, ужъ это ты вздоръ говоришь, господинъ астрономъ,—не соглашался Пановъ.

— Не вздоръ, мой милый, а правду,—настаивалъ Хрущовъ:—Большерѣцкъ лежатъ подъ пятьдесятъ вторымъ эдакъ съ половиной градусомъ сѣверной широты, а Петербургъ почти подъ шестидесятымъ.

— Не можетъ быть!—отозвался Беніовскій, выходя изъ каюты, гдѣ онъ работалъ.

— Вѣрно, вѣрно, баронъ!—утверждалъ Хрущовъ:—посмотрите на ландкарту!

— Вотъ никогда-бы не повѣрилъ. А мнѣ казалось, что проклятый Большерѣцкъ почти у сѣвернаго полюса.

— Смотрите, смотрите!—раздался вдругъ голосъ Винблада, стоявшаго на вахтѣ:—луна выходитъ не изъ океана.

— Какъ не изъ океана?—удивились всѣ.

— Да, да—не изъ воды... Тамъ земля—это островъ.

— Это Формоза!—радостно воскликнулъ Беніовскій.

— Ура! земля! Формоза! *insula formosa*!—кричалъ Пановъ.

— Мои вычисленія, значитъ, не обманули,—продолжалъ Беніовскій:—пане Адольфе!—крикнулъ онъ Винбладу.

— Цо, пане баронъ?—отозвался послѣдній.

— Мы должны остановить ходъ гальота—лечь въ дрейфъ на ночь: если близко земля, то подъ водой могутъ быть и рифы, и мели, и шхеры.

— Правда, правда!

Послѣдовала команда—и гальотъ задрейфовали.

Когда на утро Аванасія вышла изъ своей каюты, глазамъ ея представился волшебный край. Она какъ бы не вѣрила, что это была дѣйствительность, а не сказочный міръ.

Гальотъ стоялъ почти у самаго берега, и потому все видно было—вся развертывавшаяся передъ нею дивная панорама. Никогда не виданныя ею такой величины и формы деревья—тюльпановыя рощи, всѣ какъ-бы обсыпанныя яркими пушцовыми цвѣтами, огромные, съ гигантскими листьями стволы банановъ, отягченныхъ плодами въ видѣ зеленыхъ исполинскихъ звѣздъ, гигантскія пальмы съ вѣрообразными вершинами, и надъ всѣмъ

этимъ такое голубое, такое роскошное небо, что пораженная всею этою роскошью природы дѣвушка, выросшая среди мховъ, лишаевъ и болотъ, казалось оцѣпенѣла отъ изумленія и восторга. Слухъ ея поражали крики летавшихъ по деревьямъ попугасовъ — красныхъ, зеленыхъ и всевозможныхъ цвѣтовъ и окрасокъ другихъ птицъ этого райскаго мѣста, начиная отъ едва замѣтныхъ глазу колибри и кончая голубыми инсепараблями, названія которыхъ она, конечно, не знала. По вѣтвямъ лазили, кривлялись и кричали обезьяны; въ воздухѣ сверкали и переливались всѣми цвѣтами радуги стаи бабочекъ и другихъ насѣкомыхъ, и весь этотъ воздухъ былъ напоенъ ароматомъ.

Это былъ настоящій Эдемъ, тотъ Эдемъ, о которомъ она задумывалась ребенкомъ...

— Что, милая Фанни, нравится?

Аванасія взрогнула отъ неожиданности. Она не слыхала, вся отдавшись созерцанію дивной картицы, какъ сзади подошелъ къ ней Беніовскій и любовался очарованіемъ дѣвушки.

— Ахъ, это вы, Морицъ!

— Нравится?—да?

— О, Морицъ!—я ничего подобного и во снѣ не видала.

— Сны, милое дитя,—отраженіе дѣйствительности—видѣннаго и слышаннаго, а ты, кромѣ Большерѣцка, ничего не видѣла... А я покажу тебѣ еще и не такіе волшебные края.

— Гдѣ же? и долго мы еще будемъ въ морѣ?

Къ нимъ подошелъ Батуричъ. Старческое лицо его, казалось, свѣтилось дѣтскою радостною улыбкою. Онъ по привычкѣ ерошилъ свою длинную, бѣлую, какъ кудель, бороду.

— Съ добрымъ утромъ, государи мои!—поклонился онъ Аванасіи:—ужъ и истинно доброе утро! Сколько ни живу я на свѣтѣ, а ничего подобного не видалъ; а ужъ я-ли чего не видалъ!—и Францію, и Швейцарію, и Италію...

— А Ладожское-то озеро и забыли? — вмѣшался Пановъ, подходя къ нимъ.

— Ахъ ты, скоморохъ!—добродушно улыбнулся старикъ:—и Ладожское видалъ...

— И въ паука—виновать—въ прекрасную паучку влюблены были, почтеннѣйшій Яковъ Петровичъ... Онъ вамъ еще не рассказывалъ этой исторіи, Аванасія Григорьевна?—обратился путникъ къ Ниловой.

Та съ улыбкой посмотрѣла на него.—„Ужъ вы вѣчно выдумываете“...

— Убей меня Выборгскимъ кренделемъ! Лопни глаза и утроба Шешковского,—коли я выдумываю, барышня: самъ Яковъ Петровичъ намъ на духъ покался—„влюбленъ, говоритъ, былъ въ прекрасную паучку, когда въ Шлюшинѣ въ терему сидѣлъ“... Ей-Богу-съ! А что до красоты этихъ мѣстъ, такъ у насъ въ Лужскомъ уѣздѣ много того пріятнѣе-съ.

— Полно, мельница!—махнулъ рукой Батуричъ.

— Да молоть-то нечѣмъ,—засмѣялся Пановъ:—вода вся вышла... Въ самомъ дѣлѣ,—обратился онъ къ Веніовскому: — нашъ запасъ воды на исходѣ, да и та уже протухла. Прикажете, господинъ капитанъ, водой запастись? Я живой рукой съ молодцами оборудую.

— А гдѣ брать воду?—спросилъ Веніовскій.

— Молодцы говорятъ, что тамъ, влѣво, за тѣмъ зеленымъ мыскомъ, видѣли устье какой-то рѣчки. Я самъ съ ними поѣду—страхъ, какъ хочется попасть скорѣй на этотъ райскій островъ.

— Да только вы поосторожьте,—замѣтилъ Веніовскій:—можетъ быть, тутъ гдѣ по близости засѣли туземцы и высматриваютъ насъ.

— Пустяки-съ!—весело сказалъ Пановъ:—берегъ кажется, пустынный. А вамъ,—обратился онъ къ Аѳанасію,—я нарву цвѣточковъ, да попугая и обезьяну поймаю: все-же будетъ вамъ чѣмъ забавляться въ нашемъ монастырѣ. До свиданія!

И онъ пошелъ распорядиться насчетъ шлюпки и боченковъ для воды.

XVIII.

Смерть Панова.

Черезъ нѣсколько минутъ шлюпка была спущена на воду. Кромѣ Панова, въ нее сѣли юнгъ Половъ и Лонгиновъ, которымъ тоже скорѣй хотѣлось на берегъ, и два матроса.

Пановъ казался очень веселымъ, оживленнымъ.

— Какого попугая, барышня, привезти вамъ—зеленаго, сѣраго или бѣлаго съ краснымъ?—крикнулъ онъ изъ шлюпки.

Сѣвъ у руля, онъ вдругъ затянулъ—„Внизъ по матушкѣ, по Волгѣ“. Его поддерживали матросы, а матросы на галютѣ хоромъ подхватили—и разлилась по водѣ поволжская пѣсня—гдѣ-же—въ Тихомъ океанѣ, у острова Формозы!

Аѳанасія, Батурина, Степановъ, Хрущовъ и всѣ-всѣ, въ какомъ-то скорѣе грустномъ, чѣмъ радостномъ умиленіи, слушали эту пѣсню тутъ, въ неведомыхъ моряхъ, за тридевять земель отъ далекой родины. Аѳанасія казалось, что океанъ слушаетъ эту пѣсню, а удивленные птицы и обезьяны на островѣ замолчали и также прислушиваются.

Гурчениновъ, сидя на спирали каната, утиралъ катившіяся по щекамъ слезы.

— Я только теперь узналъ и полюбилъ русскаго человѣка,—задумчиво проговорилъ Веніовскій.

— Онъ стоитъ любви,—съ чувствомъ замѣтилъ Хрущовъ.

— Да,—продолжалъ Веніовскій: — въ немъ — беззаветная удалъ, и что-бы съ нимъ ни было, онъ не падаетъ духомъ и—поетъ. Оттого я и люблю, когда мои матросы поютъ—это укрѣпляетъ ихъ духъ...

Шлюпка, между тѣмъ, скрылась за зеленымъ мысомъ, осѣненнымъ роскошными букетами зонтикообразныхъ пальмъ, и скоро пристала къ берегу.

въ небольшомъ затонѣ рѣчного устья, поросшемъ у краевъ высокою травой, за которою безобразно торчали косматые кактусы и гигантскіе арумы.

Не выходя, однако, на берегъ изъ шлюпки, Пановъ нагнулся и зачерпнулъ горстью воды.

— Итъ, братцы, надо взять повыше,—сказалъ онъ, отбѣдавъ воду:—кажись, вода маленько солоновата.—Отваливай.

Шлюпку отпихнули веслами и багромъ отъ берега и поплыли выше по узкой, довольно быстрой рѣкѣ, окаймленной кактусами и бананами. Надъ головами смѣльчаковъ неистово кричали попугаи. Обезьяны съ сердитымъ ворчаньемъ испуганно перебѣгали на самыя вершины деревьевъ.

Какъ околдованный, глядѣлъ на все это Пановъ и его спутники. Столько жизни въ каждомъ деревѣ, въ каждой вѣткѣ!—Но людей не видно въ этомъ раю: люди забрались куда-то далеко на сѣверъ, за эти голубые моря и океаны, вдаль отъ этого крика попугаевъ и обезьянъ, отъ всего этого блеска, отъ подавляющей роскоши природы...

Но если бы Пановъ и его спутники могли заглянуть за эти почти сплошныя заросли кактусовъ и гигантскихъ папоротниковъ, проникнуть взоромъ за эти исполинскіе стволы пальмъ и банановъ, то они увидѣли-бы нѣчто необыкновенное и не такъ-бы безопасно созерцали эту чудную природу тропиковъ. Они увидѣли-бы, какъ какія-то человѣческія тѣни неслышно, словно страшные призраки, по мѣрѣ движенія шлюпки, перебѣгали отъ одного ствола пальмы къ другому, отъ банана къ банану. Они увидѣли-бы, что эти тѣни—почти голыя, съ бронзовымъ цвѣтомъ тѣла, разрисованныя странными фигурами, съ длинными черными волосами, съ искрещавшимися глазами; что головы ихъ и бедра украшены яркими перьями, а въ рукахъ у нихъ тонкія, какъ иглы, и длинные копыя...

— Сюда, ребята,—къ этому бережечку,—сказалъ Пановъ, направляя шлюпку къ берегу.

— Вода знатная, ваше благородіе,—замѣтилъ младшій юнга, Лонгинъ, зачерпнувъ воды шляпой и отбѣдывая ее.

Шлюпка ткнулась носомъ въ берегъ и остановилась.

— Наливайте, ребята, воду, а я пройдусь немножко — посмотрю, сказалъ Пановъ.

Онъ вскинулъ ружье на плечо, выпрыгнулъ изъ шлюпки и скрылся въ густой зелени. Слышно было, какъ онъ тихо напѣвалъ:

Ужъ какъ полно, красна дѣвица, тужити:
Не наполнишь ты синя моря слезами,
Не воротишь друга милаго словами...

Онъ шелъ, съ трудомъ раздвигая вѣтви невѣдомыхъ ему растений и глядя, какъ на вѣтвяхъ исполинскаго тамаринда качалось цѣлое семейство обезьянъ...

Мысль его мгновенно перенеслась за десятки тысячъ верстъ, за эти необозримыя пучины океана, за сибирскія горы Азіи, за безконечныя

пустыни и равнины—на бѣдную природой, но милую его сердцу родину, въ небольшую деревеньку подъ Лугою... Песчаные, покрытые рѣдкимъ ельникомъ и березникомъ холмы, зеленые, упирающіеся въ топкія болота лужайки, беззвучно текущій межъ корнями старыхъ сосенъ ручеекъ, заросшій кувшинчиками и водяными лиліями прудъ, въ которомъ когда-то маленькій Костя удилъ рыбу, и на вершинѣ старой сосны каркающая ворона,—какъ это давно было и какъ это далеко теперь!.. Строе, пасмурное небо, по которому вѣтеръ гонитъ тяжелыя, точно свинцовыя тучи, звякающій подъ дугой коренника валдайскій колокольчикъ, старый Игнатъ на козлахъ, помахивающий кнутомъ на лошадей, везущихъ маленькаго Костю въ Питеръ, въ училище... Зеркальныя окна магазиновъ на Невскомъ, отражающія въ себѣ его новенькій съ иголочки офицерскій камзолъ и несущаяся по Невскому раззолоченная коляска, поворотившая къ дворцу и забрызгавшая грязью весь чистенькій камзолчикъ юнаго офицера Панова... А тамъ—казематъ, Сибирь, Камчатка...

Онъ поднялъ глаза къ этому бирюзовому небу, которое казалось еще голубѣе сквозь гигантскіе, перистые листья пальм...

— Милая, далекая Луга!—беззвучно прошепталъ онъ.

Вдругъ что-то со свистомъ промелькнуло въ воздухѣ и два тонкихъ какъ иглы копыя вонзились въ его грудь... Съ нечеловѣческимъ крикомъ онъ вскинулъ вверхъ руками и навзничь опрокинулся въ густую листву папоротника.

— Батюшки!—да это никакъ Константинъ Андреичъ!

— Онъ и есть... кому-жъ больше... Господи!—всполошились матросы и юнги.

Схвативъ ружья, они бросились на крикъ. Поповъ выстрѣлилъ на воздухъ...

— Чтوبъ наши услышали... може чего, не дай Богъ...

Скоро ихъ глазамъ представилась страшная картина. Въ зелени папоротниковъ, навзничь, раскинувъ широко руки, лежалъ Пановъ. Изъ груди его торчали два тонкихъ копыя—одно угодило прямо въ сердце...

— Батюшки!.. его убили!

— Заряжай ружье! Злодѣи близко... може и насъ.

Лонгиновъ и юнги стали на колѣни у распростертаго трупa. Пановъ былъ мертвъ.

Кругомъ—тихо, только въ густой листвѣ и на вершинахъ деревьевъ слышны были крики попугаевъ, и рычанье обезьянъ. Гдѣ же убійцы? Кто они? Ни звука, ни шороха...

Матросы и юнги бережно подняли мертваго товарища и понесли къ шлюпкѣ.

Крикъ и выстрѣлъ услышаны были на гальботѣ и вызвали тревогу. Веніовскій немедленно велѣлъ спустить на воду остальные двѣ шлюпки, приказавъ матросамъ захватить съ собою ружья, палаши и топоры, и вмѣстѣ съ Степановымъ, Хрущовымъ, Вибладомъ и Мейдеромъ, разбѣ-

ставившимися въ обѣихъ шлюпкахъ, на всѣхъ веслахъ полетѣлъ съ своимъ маленькимъ десантомъ за зеленый мысъ, откуда послышались подозрительный крикъ и выстрѣлъ.

Не успѣли эти шлюпки войти въ устье рѣки, какъ навстрѣчу имъ неслась третья — та, которая должна была запастись водой.

— Что случилось? — крикнулъ Беніовскій издали.

— Несчастіе, ваше благородіе! — былъ отвѣтъ.

— Что такое? — у Беніовскаго дрогнулъ голосъ. Всѣ ждали отвѣта.

— Коставтина Андреича убили, — отвѣчалъ одинъ изъ матросовъ.

— Кто?.. какъ?

— И сами не знаемъ — въ лѣсу кто-то.

Шлюпки облизались. Въ той, что плыла изъ рѣки, на днѣ ея лежалъ Пановъ. Изъ груди его торчали два копыя.

Беніовскій и Мейдеръ вскочили въ эту шлюпку. Послѣдній, какъ врачъ, тотчасъ же нагнулся къ убитому, чтобъ удостовѣриться, нѣтъ-ли хоть признаковъ жизни въ несчастномъ, но почти тотчасъ же поднялся и печально развелъ руками.

— Убить напавалъ — прямо въ сердце!

Всѣ сняли шляпы и набожно перекрестились. Мейдеръ съ трудомъ выдернулъ изъ трупа копыя.

— Копья, — должно быть, отравлены, — сказалъ онъ, разсматривая ихъ зазубренные острія съ узенькими проколами для яду: — отравлены — это ясно.

Всѣ сосредоточенно, съ глубокой жалостью глядѣли на блѣдное, спокойное лицо мертвеца. Черныя пряди волосъ свѣсились ему на высокий лобъ и отгнѣяли это спокойное, какое-то задумчивое чело. Сѣрые, всегда задумчивые и грустные, несмотря на видимую веселость глаза, были закрыты, но вѣки съ длинными рѣсницами, казалось, вздрагивали подъ лучами тропическаго солнца, уже поднявшагося довольно высоко надъ вершинами пальмъ.

— Вѣднѣй! — прошепталъ Хрущовъ, глядя въ лицо покойнику: — а давно-ли онъ шутилъ, дурачился?

— Обѣщалъ Аванасіи Григорьевнѣ поймать попугая и обезьяну, — такъ же тихо проговорилъ Степановъ.

Шлюпки, не удерживаемыя веслами, тихо плыли по теченію. Изъ лѣсу попрежнему неслись нестройные голоса птицъ. Всѣ стояли въ какомъ-то оцѣпененіи — такъ неожиданна была эта смерть!

— Надо наказать убійцъ! — прервалъ общее молчаніе Беніовскій. — Это малайцы — это ихъ дѣло. Надо сдѣлать облаву въ этомъ лѣсу. За весла, ребята! Къ тому мѣсту, гдѣ его убили.

Шлюпки направились вверхъ по рѣкѣ.

— Чтобъ ружья были наготовѣ! — приказалъ Беніовскій. — Они, мерзавцы, непременно изъ-за деревьевъ наблюдаютъ за нами.

Скоро маленькая флотилія пристала къ тому мѣсту, гдѣ покойникъ

Пановъ выходилъ на берегъ. При шлюпкахъ оставили по одному матросу, а всѣ остальные пошли на поиски, раздѣлившись на три партіи.

Но какъ найти дикаря въ его родныхъ, дѣтственныхъ, ему одному извѣстныхъ лѣсахъ? Застѣвъ въ какое-нибудь древесное дупло или спрятавшись въ листьяхъ банановъ, арумовъ, онъ такъ же безопасенъ въ своемъ убѣжищѣ, какъ бѣлка въ дуплѣ стараго кедра.

Поиски оказались бесполезными: убійцы Панова точно сквозь землю провалились.

XIX.

„Житейское море!..“

Черезъ часъ маленькая флотилія возвратилась къ галіоту съ тѣломъ Панова, прикрытымъ плащомъ Веніовскаго. Остававшіеся на галіотѣ — Аеанасія, Батуринъ, Гурчениновъ, нянюшка Пахомовна и жены матросовъ ожидали возвращенія шлюпокъ съ нетерпѣніемъ и тревогою.

„Что случилось тамъ?“—каждый задавалъ себѣ этотъ вопросъ — и не могъ на него отвѣтить.

По воть шлюпки у самаго борта. Въ одной шлюпкѣ лежитъ что-то, прикрытое плащомъ. Матросы осторожно поднимаютъ это что-то и несутъ по трапу. Ясно, что несутъ человѣка. Но кого? Вольного, раненаго или мертваго?

Кого? Аеанасія тотчасъ же догадалась и сердце ея болѣзненно запыло. Она видѣла тамъ, внизу, Веніовскаго, Степанова, Хрущова, Винблада, Мейдера:—нѣтъ одного Панова! Это его несутъ.

Вотъ его внесли на палубу.

— Матушки! Владычица! да никакъ это Константинъ Андреичъ! — всплеснула руками сердобольная нянюшка.—Господи! что съ нимъ?

— Убить,—былъ короткій отвѣтъ.

— Кто его убилъ?

— Никто не видалъ—должно дикари.

На палубу входятъ Веніовскій и прочіе его спутники.

— Неужели убить?—вся блѣдная и дрожащая спрашиваетъ Аеанасія.

— Да, милая Фанни.

— Кто же убилъ его?

— Конечно, туземцы, малайцы.

Дѣвушка заплакала. Плакали и другія женщины. Гурчениновъ, ставъ на колѣни, снялъ плащъ съ лица покойника. Мертвое лицо оставалось все такимъ же спокойнымъ, задумчивымъ. Тѣни отъ рѣсницъ, казалось, дрожали словно не у мертваго, а уснуваго. Руки уже сложены были на груди.

Гурчениновъ безмолвно прикоснулся губами ко лбу покойника. Лобъ, несмотря на зной тропическаго солнца, былъ уже холоденъ какъ мраморъ.

И Аеанасія стала на колѣни и глядѣла сквозь слезы въ лицо мертвеца.

— Бѣдный! бѣдный! А давно-ли съ шуткой общалъ мнѣ достать попугая, обезьяну, нарвать цвѣтовъ?

Она тихо приложила трепещущими губами къ рукѣ мертвеца. Рука была холодна, какъ и лобъ. Съ берега неслась вся та же нестройная, но гармоническая мелодія жизни тропиковъ; но тутъ была уже смерть. На одной реѣ сидѣла ласточка и весело щебетала.

Глядя заплаканными глазами въ лицо мертвеца, Аеанасія вспомнила самый горькій моментъ въ ея молодой жизни. Такъ же лежало распростертое на полу, какъ это на палубѣ, мертвое тѣло. Въмѣсто яркаго тропическаго солнца то лицо освѣщало блѣдный отсвѣтъ утренней зари. Но она не цѣловала холодной руки того мертвеца — онъ весь былъ еще теплый, да она и не помнить почти ничего изъ того ужаснаго момента. Помнить только, какъ она пришла въ себя — на рукахъ у Морица, уносившаго ее отъ мертвеца. Но зачѣмъ онъ не далъ ей проститься съ нимъ? Она не видала, какъ его и похоронили. Не лучше-ли это? — Морицъ говорилъ, что лучше, легче. Видѣть то дорогое, которое теряешь, которое отнимаютъ у тебя, переживать этотъ процессъ потери — несравненно мучительнѣе, чѣмъ узнать, что все уже кончено, узнать, не видѣвши...

А этотъ лежитъ такъ спокойно, задумчиво, точно прислушивается къ тому, что щебечетъ ласточка на тонкой реѣ гальота.

Не шутить ему больше, не смѣяться. Еще сегодня ночью эти, теперь закрытые глаза, смотрѣли вмѣстѣ съ ея глазами на созвѣздія Оріона и Южнаго Креста. Мысль его загадывала впередъ, улетала далеко за эти синія моря...

— Полно, милая Фанни, — тронулъ ее за плечо Беніовскій: — встань, ангелочекъ мой, — не воротись того, что случилось.

Дѣвушка поднялась съ колѣнъ и отошла въ сторону.

— Надо его сейчасъ же похоронить, — сказалъ Беніовскій Батурину: — видъ мертвеца удручающе дѣйствуетъ на экипажъ.

— Да, надо хоронить, но не на берегу же.

— Нѣтъ, конечно: тамъ дикари могутъ вырыть его трупъ для поруганія.

— Въ океанъ спустимъ его, — замѣтилъ Хрущовъ: — океанъ — это братская могила моряковъ.

Матросы вынесли на палубу столъ и положили на столъ мертвеца. Нянюшка положила ему образокъ на грудь, перекрестила и приложила къ образу. Около стола сталъ Уфтюжаниновъ и, привыкнувъ читать надъ покойниками, онъ сталъ читать наизусть: „Блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ“...

Однообразное заунывное чтеніе поражало слухъ такимъ надрывающимъ душу диссонансомъ, въ виду этого безбрежнаго океана и этой подавляющей роскоши тропической природы, среди которой звучали и трепетали могучія мелодіи бьющей ключемъ жизни, что, казалось, было бы менѣе тоскливо на душѣ, если-бъ это чтеніе псалмовъ слышалось не здѣсь, среди этой торжествующей природы, подъ яркими, отвѣсными лучами тропиче-

скаго солнца, а гдѣ-нибудь въ бѣдной хижинѣ, подъ пасмурнымъ небомъ сѣвера, подъ шумъ падающаго съ этого хмураго неба осенняго дождя.

Въ то время, когда Уфтюжаниновъ читалъ, въ сторонѣ, подъ навѣсомъ парусиннаго тента, Аванасія и нянюшка шили саванъ для покойника—широкій мѣшокъ изъ грубаго холста, а Андреяновъ съ Потоловымъ обшивали рогожкою пушечное чугунное ядро, которое должно быть привязано къ ногамъ покойника при опусканіи его въ океанъ.

Когда все для совершенія печальнаго обряда было кончено, экипажъ сталъ прощаться съ покойникомъ. Первымъ подошелъ Беніовскій.

— Прощай, дорогой товарищъ! — сказалъ онъ торжественно. — Тебѣ не суждено было воспользоваться плодами нашего труднаго дѣла. Ты палъ на пути къ славѣ, которая ожидаетъ насъ. Въ тебѣ мы потеряли душу, веселость нашего доблестнаго экипажа. Но если духъ твой витаетъ надъ нами, освобожденный отъ узъ земныхъ и земныхъ печалей, — онъ долженъ радоваться, что умеръ ты не въ цѣляхъ, не въ неволѣ, а на полной свободѣ, и ляжетъ твое тѣло не въ холодную землю неволи, а въ синія пучины свободнаго, какъ твой духъ, океана. Вѣчная-память погибшему за свободу!

— Вѣчная память! — подхватилъ Уфтюжаниновъ, и хоръ всего экипажа огласилъ грустнымъ погребальнымъ напѣвомъ и тихія воды океана, и берегъ роскошнаго, но рокового острова.

Женщины рыдали. Между тѣмъ, по распоряженію Батурина, пушкари медленными залпами отдавали послѣднюю честь рано потерянному товарищу.

Больше всѣхъ плакалъ Степановъ, съ которымъ покойный и взятъ былъ вмѣстѣ и вмѣстѣ отправленъ въ ссылку.

Когда всѣ простились съ покойникомъ, Андреяновъ и Потоловъ надѣли на него саванъ и завязали выше головы. Тогда весь экипажъ, построившись вдоль палубы въ два ряда, сталъ подъ ружье. Несли тѣло къ борту гальота Беніовскій, Батуринъ, Степановъ и Хрущовъ.

Стоя подъ ружьемъ и управляемые Уфтюжаниновымъ, матросы пѣли:

„Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурей“...

Дружный залпъ огласилъ воздухъ, когда тѣло Хрущова съ глухимъ плескомъ погрузилось въ океанъ.

XX.

Мечты о коронѣ.

Послѣ неудачнаго посѣщенія острова Формозы, гальотъ „Святой Петръ“ еще нѣсколько мѣсяцевъ бороздилъ поверхность тропическихъ морей. Заходилъ онъ и въ китайскія владѣнія, именно въ Макао, былъ и на Цейлонѣ, въ Индѣйскомъ океанѣ, пересѣкъ линію экватора, гдѣ отъ жару едва не взбунтовались матросы, и только благодаря находчивости и энергіи Беніовскаго все обошлось благополучно.

Только на Аванасію это безконечное мыканье по невѣдомымъ океанамъ,

подъ палящими лучами экваторіальнаго солнца, начало производить гибельное дѣйствіе. Она видимо похудѣла и прелестные глаза ея стали еще больше. Да и нравственное состояніе ея было мучительно, хотъ Беніовскій и сулилъ ей впереди какой-то волшебный рай; но гдѣ этотъ рай и когда они достигнутъ его—она не знала. Чаше и чаще мысль ея улетала далеко на сѣверъ, и дивная природа такихъ острововъ, какъ Формоза и Цейлонъ, только не надолго приковывала къ себѣ ея глаза и сердце. Все это ей казалось чужимъ, какими-то станціями по пути къ чему-то ей невѣдомому. Гдѣ же конецъ? Гдѣ отдохнуть утомленная мысль, болѣзненно настроенное воображеніе?

Не здѣсь-ли?

Въ тихую лунную ночь, не имѣя силы оставаться въ душной каютѣ, она вышла на палубу. Гальотъ стоялъ на якорѣ въ виду какой-то земли. По палубѣ въ глубокой задумчивости тихо бродилъ Беніовскій, по временамъ останавливаясь и какъ-бы разговаривая самъ съ собою.

— Гдѣ мы теперь, Морицъ?—тихо подошла къ нему дѣвушка.

— Это—Мадагаскаръ, милая Фанни,—отвѣчалъ Беніовскій.

Свѣтъ полной луны падалъ на лицо дѣвушки, и это невозможно похудѣвшее и поблѣднѣвшее личико съ пепельными волосами, серебряными луннымъ свѣтомъ, казалось, принадлежало какому-то видѣнію, неземному существу.

Беніовскій глядѣлъ на нее и ему казалось она чѣмъ-то вродѣ чуднаго видѣнія не отъ міра сего.

„Такія не живутъ“, промелькнуло у него въ умѣ, и ему невыразимо стало жаль бѣдной дѣвочки. Онъ вспомнилъ, что, постоянно занятый своими думами о будущемъ, своими таинственными планами, которыхъ не довѣрялъ никому, даже своему другу Вибладу, — онъ мало думалъ о лишенной имъ семьи и родины дѣвушкѣ: онъ больше думалъ о себѣ—только о себѣ!

Онъ положилъ руку на голову Аѳанасіи и сталъ ее нѣжно гладить.

— Ты скучаешь, мое дитя?—тихо спросилъ онъ.

— Нѣтъ, Морицъ—я, вѣдь, съ тобой,—также тихо отвѣчала дѣвушка.

— Но ты худѣешь, дитя мое.

— Это, вѣроятно, отъ непривычки къ морю, къ южному зною.

Онъ привлекъ ее къ себѣ и продолжалъ гладить ея серебряные лунной волосы. Но и въ это время онъ думалъ о своемъ дѣлѣ, хотя дѣвушка и не могла чувствовать, что ласки его — машинальныя, что мысль его не съ нею.

— Ты что думаешь дѣлать на Мадагаскарѣ?—спросила Аѳанасія, взглянувъ на его задумчивое лицо.

— На Мадагаскарѣ, дитя?

Онъ какъ-бы очнулся отъ сна и пересталъ гладить волосы дѣвушки. Та вопросительно глядѣла на него и, повидимому, ждала отвѣта.

— Я еще самъ не знаю,—отвѣчалъ онъ:—надо оглядѣться, Фанни...

то не Формоза, но все-же надо принять предосторожности. — Тебѣ не вѣжо, однако. дѣвочка моя?

— Нѣтъ, Морницъ.

Беніовскій взялъ ея руки. Руки были холодны.

— Я боюсь, дитя мое, какъ бы ты не простудилась,—заботливо сказалъ Беніовскій.—Эти тропическія ночи очень предательскія—долго-ли лиорадку схватить?

— А Мейдеръ на что? — улыбнулась дѣвушка. — Онъ лѣкарь—онъ ѣлѣчить.

— Нѣтъ, нѣтъ, дѣвочка,—иди въ каюту.

Изъ двери каюты послышался заспанный голосъ Пахомовны.

— Ты чево, полуношница, не спишь? Прогоните ее, баринъ. Вонъ го выдумала!

— Мнѣ въ каютѣ жарко было, Пахонина,—шутя, извинялась дѣвушка.

— То-то, Пахонина! Заразъ лисой прикинется, вотъ какъ и махонь-ой—такой-же лисой свою Пахоницу за носъ водила,—ворчала нянюшка.

— Право-же жарко, няня.

— А руки холодныя?—перебилъ ее Беніовскій, опять взявъ руки дѣ-ушки.—Нечего спорить съ няней—маршъ въ каюту!

Анастасія повиновалась и, подставивъ свой мраморный лобъ для по-блуга, пошла въ свою уютенькую какъ гнѣздышко, ремеза опочивальню.

А Беніовскій опять продолжалъ ходить по палубѣ. Въ головѣ его все мѣе и болѣе выяснялся и созрѣвалъ планъ его будущихъ дѣйствій. Преж-е его планы не имѣли подъ собою никакой реальной почвы. Это скорѣе или бродячія фантазіи счастливо вырвавшагося на свободу ссыльнаго, хотя него и былъ въ распоряженіи военный корабль и хорошо ему предан-ый экипажъ. Но что сдѣлаешь съ однимъ гальботомъ и горстью людей въ открытомъ океанѣ? Нужна страна, нужно имѣть въ виду государство, ко-рое дало-бы его планамъ реальную почву. Правда, въ его умѣ давно змѣчено было это государство. Не даромъ, въ качествѣ конфедерата, онъ жтъ-о-бокъ съ французскими волонтерами шелъ противъ москалей.

„O! przekleta Moskwa!“—мысленно повторялъ онъ иногда.

А Дюмуре? Не безъ согласія-же короля онъ пошелъ на помощь конфедератамъ?

А недавно, у острова Сокотры, онъ, Беніовскій, счастливымъ обра-мъ выручилъ изъ неизбежной было аваріи одинъ французскій корабль, зторый изъ Портъ-Луи шелъ въ Индію, и сошелся съ капитаномъ этого урабля, любезнымъ monsieur Chauquet. Мосье Шокэ много интереснаго зсказалъ ему о современныхъ событіяхъ во Франціи и во всей Европѣ, чемъ до Камчатки не доходило даже слуховъ, -- и воображеніе Беніов-аго разыгралось. Мосье Шокэ далъ ему также порядочную пачку газетъ, въ которыхъ, по прочтеніи ихъ, быть можетъ, въ десятый разъ, самъ не ждался, и изъ этихъ газетъ онъ узналъ много такого, о чемъ ему и не шлось.

Въ Черногоріи появилась какая-то таинственная личность, которая называетъ себя русскимъ императоромъ Петромъ третьимъ, спасшимся отъ смерти и явившимся къ своимъ единовѣрцамъ, черногорцамъ. Черногорцы признали въ немъ русскаго императора и подъ его предводительствомъ разбиваютъ турецкія арміи и венеціанскія эскадры на-голову. Надѣются, что онъ скоро пойдетъ на Россію и ссадитъ съ престола свою супругу, Екатерину Алексѣвну.

Беніовскій думалъ, что такое событіе неизбежно льетъ воду на колеса его мельницы, на колесо его фортуны.

Беніовскій былъ сынъ своего вѣка, а XVIII-й вѣкъ былъ какимъ-то особеннымъ вѣкомъ въ цѣломъ рядѣ предшествовавшихъ столѣтій. Это былъ вѣкъ приключеній по преимуществу, когда ловкіе авантюристы дѣлали чудеса—чуть не покоряли царства, а люди, обладающіе пылкимъ воображеніемъ, дѣлали чудеса. Беніовскій былъ, кромѣ всего этого, полякъ и большой энтузіастъ, и нервная атмосфера сангвиническаго XVIII-го вѣка была какъ-разъ его стихіею.

Въ самомъ дѣлѣ, чего не видѣлъ и чего не продѣлалъ XVIII вѣкъ, хотя-бы за вторую половину? Это былъ вѣкъ масонства и всѣхъ его странныхъ таинственностей. Это былъ вѣкъ великой революціи, выдвинувшей на сцену Наполеона I-го, величайшаго авантюриста и проходимца, какихъ не видѣлъ міръ со времени своего сотворенія.

А эта мелкота, драпирующаяся мантиями величія! Какой-то словакъ, которому на родинѣ, быть можетъ, суждено-бы было ходить по улицамъ съ деревянными дудочками и жестянками для ловли мышей и взбиванія яичныхъ желтковъ, и кричать—„я бити, мыши ловити“,—такой словакъ драпируется русскою императорскою мантиею, идетъ въ горы къ черногорцамъ, выдаетъ себя за русскаго царя Петра III-го—и вгоняетъ въ тревогу три самыя могущественныя тогда державы—Турцію, Россію и Венеціанскую республику. Объ немъ трубятъ всѣ газеты, объ немъ пишутся книги, издаются его портреты.

Какой-то шарлатанъ—графъ Калиостро,—дурачить все, что только считалось самымъ просвѣщеннымъ въ своемъ вѣкѣ, издѣвается въ глаза и надъ коронованными и не коронованными владыками земли—и, разня ротъ, всѣ ему рукоплещутъ. Другой шарлатанъ—графъ, проходимецъ Сенъ-Жерменъ, также превращаетъ всю высокопоставленную Европу въ балаганъ и полновластно господствуетъ надъ умами, призванными править міромъ.

Кавалеръ Дзонъ до сихъ поръ задаетъ работу историкамъ, любителямъ пикантныхъ исторіекъ, а не настоящей трезвой и строгой исторіи, и они продолжаютъ ломать голову надъ вопросомъ: не переодѣтая-ли дѣвка былъ этотъ графъ Дзонъ, или онъ былъ разомъ и кавалеръ и дѣвка?

Княжна Тараканова и княжна Владимірская... А эти сколько испортили крови коронованнымъ особамъ! Сколько сановниковъ они свели съ ума своею таинственностью! Чего стоили государству ихъ таинственныя пре-

тензии! И все это таинственно, таинственно, какъ кривлянья новопосвящаемыхъ въ масонскія таинства.

А эти землепроходы—братцы, графы Зановичи, Марко и Аннибалъ, братцы-славяне, изъ которыхъ младшій былъ и иезуитомъ! Они втирались въ дружбу къ такимъ тузамъ ума и таланта, какъ Вольтеръ, Дидро, Даламберъ, Мармонтель—и надували ихъ, а потомъ, какъ отчаянные шулеры, возбудили негодованіе всей Венеціи до того, что ихъ венеціанская прокуратура приговорила къ казни чрезъ повѣшеніе, а они улизнули изъ тюрьмы, и вмѣсто нихъ Венеція повѣсила на площади Марка изображеніе этихъ проходимцевъ, которые чуть не довели до войны изъ-за нихъ Голландію съ Венеціей, а потомъ очутились у насъ въ Шкловѣ, у авантюриста-же Зорича, и стали дѣлать фальшивую монету, пока не попали въ крѣпость!

А Изантъ-бей, племянникъ падишаха, бродяга, игрокъ, пріятель мерзавцевъ Зановичей и Зорича, развѣ не претендовалъ онъ на тронъ?—А кончилъ шулерствомъ.

А мужикъ Богомоловъ, мечтающій о русскомъ престолѣ? А оружейникъ и слесарь Ханинъ, драпирующійся величіемъ и именемъ Петра III! А солдаты Кремневъ, предвосхищающій идею Пугачова! А этотъ самый Пугачовъ, Емельянъ Ивановичъ, отхватившій половину Россіи у законной императрицы?

Удивительный вѣкъ! А поглядите съ другого конца: Потемникъ тутъ, Костюшко тамъ—и все это грандіозно, блестяще!—все это метеоры на русскомъ, американскомъ и иныхъ горизонтахъ.

Чѣмъ-же хуже ихъ баронъ Морицъ Анадаръ Веніовскій? Чѣмъ онъ хуже Костюшки? Почему его красивой головѣ не мечтать о коронѣ? И онъ мечталъ, ходя ночью въ раздумьи по палубѣ гальота „Святой Петръ“ въ виду береговъ Мадагаскара.

XXI.

Король безъ штановъ.

Своими сообщеніями мосье Шокэ поднялъ цѣлую бурю надеждъ въ пылкой душѣ Веніовскаго, и онъ обдумывалъ дальнѣйшіе ходы своей игры.

На Мадагаскарѣ давно живетъ французскій миссіонеръ, патеръ Леонъ Сандо, святая личность, уважаемая даже дикими гавасами за его чело-вѣколюбивыя отношенія къ островитянамъ. Самъ вождь гавасовъ, молодой Радама, относится съ почтеніемъ къ патеру Сандо, который вылѣчилъ мать Радамы отъ тяжелой болѣзни.

Теперь патеръ Сандо, чувствуя приближеніе смерти, сталъ тосковать о своей прекрасной Франціи, которую онъ оставилъ пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ и поселился среди дикихъ гавасовъ. Но какъ попасть во Францію съ острова Мадагаскара? Гдѣ тотъ корабль, который бы доставилъ его во Францію? Корабль, которымъ командовалъ капитанъ Шокэ, долго еще не

увидить береговъ милой отчизны. Изъ Индіи путь его лежитъ въ Тихій океанъ, къ берегамъ Китая.

Чего-же лучше! Патеръ Сандо можетъ отправиться на родину вмѣстѣ съ мосье Беніовскимъ, на галютѣ „Святой Петръ“. Такъ думалъ мосье Шокэ—и эта мысль, это сорвавшееся съ развязнаго языка мосье Шокэ слово—это-то слово и подняло въ душѣ Беніовскаго бурю надеждъ.

Онъ возьметъ съ собою патера. Онъ имѣетъ къ почтенному миссіонеру рекомендательное письмо отъ мосье Шокэ. А тамъ... но этихъ думъ Беніовскій не желалъ-бы повѣрять даже своей подушкѣ...

Луна поднялась уже очень высоко и отбрасывала отъ гальота темную тѣнь на ближайшую поверхность океана, которая по временамъ вспыхивала фосфорическимъ блескомъ. На вахтѣ слабо мигалъ и покачивался фонарь, мимо котораго какъ-бы автоматически двигался темный силуэтъ часового, сверкая гранями штыка подъ меланхолическими какими-то лучами мѣсяца.

Въ ночной тиши раздался звонъ корабельнаго колокола и отзвукъ его прокатился по морю. Это была смѣна вахты.

Беніовскій подошелъ къ часовому.

— Кто на вахтѣ?—окликнулъ онъ.

— Я, ваше благородіе, — Андреяновъ, — былъ отвѣтъ.

Къ часовому подошелъ другой матросъ, съ ружьемъ.

— Кто смѣняетъ вахту?—окликнулъ снова Беніовскій.

— Я, ваше благородіе, — Уфтожаниновъ.

— А!.. молодецъ... А какой пароль?—спросилъ Беніовскій.

Уфтожаниновъ приблизился къ нему и чуть слышно шепнулъ на ухо: „Аванасія“.

— Хорошо. А лозунгъ?

Уфтожаниновъ снова шепнулъ: „императоръ Павелъ“.

— Можешь смѣнить, — пароль и лозунгъ знаешь.

— Есть! и Уфтожаниновъ брякнулъ прикладомъ ружья.

Провѣривъ вахту, Беніовскій ушелъ въ свою каюту.

Утромъ, на главной мачтѣ гальота взвился русскій флагъ. На берегу, осѣненномъ группами пальмъ, видѣлись странныя постройки, то въ видѣ бѣлыхъ кубическихъ мазанокъ съ куполообразными крышами, то въ видѣ шалашей, покрытыхъ громадными, высохшими отъ солнца листьями. У самаго берега толпились темнокожіе люди, ничѣмъ почти неприкрытые. Вмѣсто одежды, на шеѣ у нихъ блестяги грубыя ожерелья изъ морскихъ раковинъ, а на поясѣ, спереди, висѣли какія-то лохмотья, прикрывавшіе то, что дикари, въ силу присущей имъ свѣтскости и скромности, считали необходимымъ укрывать отъ постороннихъ взоровъ. Костюмъ женщинъ былъ такого-же легкаго покроя: красавицы были одѣты — только лучами жаркаго тропическаго солнца, за то врожденное всему прекрасному полу кокетство заставляло ихъ украшать головы какими-то подвязками, уши — громадными кольцами, а кисти рукъ — грубыми браслетами.

Иные изъ дикарей торопливо сажались въ стоявшія у берега длинныя лодки, отплывали отъ берега, но къ гальоту, повидимому, приблизиться не рѣшались.

Палуба гальота была покрыта его немногочисленнымъ экипажемъ и пассажирами. Беніовскій, Батуричъ, Хрущовъ, Степановъ, Винбладъ и Мейдеръ одѣты были въ офицерское платье, которое они взяли изъ большерѣзцаго вещевого склада аммуниціи. Матросы также были одѣты въ морскую форму и стояли подъ ружьемъ.

Скоро отъ берега отчалила довольно большая двѣнадцативесельная лодка, въ которой среди темнокожихъ гребцовъ возвышалась полувропейская фигура въ широкополой шляпѣ изъ тонкаго тростника и въ одѣяннѣ французскаго матроса и поднимала надъ головою нѣчто вродѣ краснаго флага.

При видѣ этого флага, на гальотѣ выкинули бѣлое знамя съ вышитой золотою мишурою надписью: „императоръ Павелъ Первый“.

— Эти дикари, какъ видно, не безъ дипломатическаго такта, — съ улыбкою замѣтилъ Батуричъ.

— Какъ-же! и флагъ у нихъ, — отозвался Степановъ: — только дипломаты-то эти — голенькіе.

— Чистота души, — едва замѣтно улыбнулся Беніовскій.

— Да, но они могутъ скупать насъ при этой чистотѣ души, какъ скушали когда-то Кука, — пожалъ плечами Винбладъ,

— О!.. то не здѣшнимъ чета, — тѣ полинезійцы, — проговорилъ Мейдеръ.

Лодка, между тѣмъ, была уже у самаго борта гальота. Съ послѣдняго спустили трапъ. Беніовскій съ палубы дѣлалъ любезныя знаки голымъ дипломатамъ, а Батуричъ спустился внизъ по трапу, чтобы почетно встрѣтить дорогихъ гостей.

Онъ молча приложилъ руку къ сердцу и знакомъ пригласилъ посланцевъ на гальотъ.

Первымъ вошелъ загорѣлый субъектъ въ широкополой шляпѣ изъ циновки. За нимъ шесть голыхъ спутниковъ, съ длинными тонкими копьями въ рукахъ.

Загорѣлый субъектъ любезно снялъ шляпу и раскланялся самымъ элегантнымъ образомъ.

— Осмѣливаюсь спросить, — заговорилъ странный субъектъ на чистѣйшемъ парижскомъ жаргонѣ: — кого мой непобѣдимый повелитель, король Радама, имѣетъ честь принимать въ своихъ владѣніяхъ?

— Посольство его императорскаго величества, государя Павла Петровича, царя и обладателя всея Россіи, — торжественно отвѣчалъ Беніовскій: — когда мы можемъ получить аудіенцію у его величества, непобѣдимаго обладателя Мадагаскара, и вручить его величеству вѣрительную грамоту нашего повелителя?

— Я доложу его величеству, — отвѣчалъ загорѣлый субъектъ: — а вы

ренъ, мой повелитель будетъ счастливъ видѣть пословъ повелителя сѣвера. Беніовскій и прочіе офицеры поклонились.

— Будемъ ждать приказаній его мадагаскарскаго величества, — пояснилъ первый.

— Я не замедлю возвратиться съ отвѣтомъ, — шаркнулъ ножкой странный посолъ Радамы.

Онъ раскланялся съ балетной граціозностью. По знаку Беніовскаго, матросы гальота отдали честь посланцу голаго короля, и онъ спустился въ свою лодку.

— Надо готовиться къ аудіенціи, — съ лукавой улыбкой сказалъ Беніовскій, провожая глазами удалявшуюся лодку.

— А гдѣ же мы возьмемъ вѣрительную грамоту? — серьезно спросилъ Батуринъ.

— Хе! — пожалъ плечами интриганъ-конфедератъ: — голому королю, я увѣренъ, можно написать на клочкѣ бумаги — „Чижики, чижики, гдѣ ты былъ!“ — и онъ приметъ это за императорскую грамоту, а этотъ шутъ гороховый, вѣроятно французскій парикмахеръ, причесывающій грязныя головы женъ короля, такихъ-же голыхъ, какъ и онъ самъ, — конечно, не понимаетъ ничего по-русски.

— Конечно! — засмѣялся Степановъ: — напишемъ въ грамотѣ — „Здравствуй, милая, хорошая моя“, — и баста.

— Но у меня есть настоящая грамота, — загадочно сказалъ Беніовскій.

— Какая? — спросилъ Хрущовъ.

— Грамота русскаго императора къ королю Мадагаскара, — отвѣчалъ Беніовскій.

Всѣ посмотрѣли на него съ удивленіемъ.

— Не удивляйтесь, — серьезно сказалъ конфедератъ.

— Развѣ „зеленая грамота“? — улыбнулся Батуринъ: — та, что въ Большерѣцкѣ шуму надѣлала? Но здѣсь не Камчатка.

— Да и грамота у меня не зеленая, — отвѣчалъ Беніовскій. — Пойдемте въ каюту — я вамъ покажу ее, благо надо готовиться къ аудіенціи у его величества безъ штановъ.

Всѣ пошли къ каютѣ капитана.

— Вы должны знать, господа, — началъ Беніовскій, — что, когда мы овладѣли Большерѣцкомъ, я забралъ всѣ дѣла тамошней воеводской канцеляріи — на всякій случай. Дѣлъ было немного, особенно стоящихъ вниманія. Но, между прочимъ, одно дѣло обратило мое вниманіе. Это — о командированіи еще императоромъ Петромъ I-мъ Беринга для проѣзда изъ Камчатки сухимъ путемъ въ Америку. Тогда думали, что на сѣверѣ Камчатка сходится съ Америкою. Берингъ предпринялъ эту экспедицію моремъ, изъ Камчатки, и именно изъ Большерѣцка. Это-то дѣло я и нашелъ въ воеводской канцеляріи.

— Вотъ оно, — продолжалъ Беніовскій, когда офицеры вошли въ его каюту.

Дѣло лежало у него на столѣ. Онъ перелистовалъ нѣсколько столбцовъ и остановился на одномъ.

— Вотъ—это инструкция, данная Петромъ Берингу: „изъ Камчатки ѣхать на ботахъ возлѣ земли, которая идетъ на нордъ, и по чаянію, понеже оной конца не знаютъ, кажется, что та земля—часть Америки, и для того искать, гдѣ она сошлась съ Америкою“.

— Это любопытно!—заинтересовались всѣ.

— Значить, о Беринговомъ проливѣ тогда и не подозрѣвали?

— Конечно. Берингъ и открылъ его, оттого онъ и названъ его именемъ. Такъ вотъ въ этомъ-то дѣлѣ—продолжалъ Беніовскій—и есть то, о чемъ я вамъ говорю.

— Это грамота-то мадагаскарскому королю?

— Именно. Дѣло было такъ: Петръ I, отправляя, въ 1723 году, Беринга на сѣверъ открывать сухопутный проѣздъ въ Америку, въ то-же время задумалъ отправить, изъ Большерѣцка же, другую экспедицію, только не на нордъ, а на зюйдъ—именно въ Мадагаскаръ. Эта послѣдняя экспедиція поручена была Петромъ вице-адмиралу Вильстеру, которому и вручена была грамота для представленія мадагаскарскому королю.

Беніовскій бережно развернулъ свитокъ, приложенный къ дѣлу, и тамъ оказался большой, изъ красной, золотомъ тисненой кожи пакетъ.

— Вотъ она!—сказалъ онъ, раскрывая пакетъ.

Въ пакетѣ дѣйствительно была грамота, на пергаментѣ, богато расписанная красками и золотомъ, съ большою красною печатью на шелковомъ шнуркѣ.

Всѣ съ любопытствомъ разсматривали драгоценный историческій документъ.

— Но, вѣдь, это грамота Петра,—замѣтилъ Батуринъ:—а мы изображаемъ пословъ Павла.

— Теперь это и есть грамота Павла,—улыбнулся Беніовскій.

— Какъ-такъ?

— Читайте.

Батуринъ началъ читать: „Вожією милостію, мы, Павелъ Первый“...

— Какъ же это? изумился онъ.

— Просто.—Я измѣнилъ только три буквы—и грамота стала Павлова, пояснилъ Беніовскій.

— А!—и Батуринъ продолжалъ читать:—„Павелъ Первый, императоръ и самодержецъ всероссійскій и прочая, и прочая, и прочая. Высокопочтенному королю и владѣтелю славнаго острова Мадагаскарскаго наше поздравленіе. Понеже мы заблагоразсудили для нѣкоторыхъ дѣлъ отправить къ вамъ нашего вице-адмирала Беніовскаго съ нѣкоторыми офицерами, того ради васъ просимъ, дабы оныхъ склонно къ себѣ допустить, свободное пребываніе дать и въ томъ, что они именемъ нашимъ вамъ предлагать будутъ, полную и совершенную вѣру дать и съ такимъ склоннымъ отвѣ-

томъ ихъ къ намъ паки отпустить изволили, каковаго мы отъ васъ уповаемъ и пребываемъ вашимъ пріятелемъ. Павелъ Первый“ *).

— Хорошъ пріятель!—засмѣялся Степановъ:—безъ штановъ!

— А все-же его величество, хотя и голое,—улыбнулся Хрущовъ.

— Но какъ-же эта грамота попала сюда?—спросилъ Батуринь.

— Вмѣстѣ съ дѣломъ,—отвѣчалъ Беніовскій:—по написаніи этой грамоты и отправкѣ Вильстера въ Большерѣцкѣ, Петръ Первый вскорѣ, какъ извѣстно, умеръ, а въ одно время съ нимъ умеръ въ Большерѣцкѣ и Вильстеръ, простудившись дорогой гдѣ-то въ Сибири, и такимъ образомъ, за смертью императора Петра и Вильстера, экспедиція разстроилась, и скоро о ней и со всѣмъ забыли, какъ забыты были многія предначертанія геніальнаго царя, когда въ Россіи, при его преемникахъ, начались придворныя смуты.

— Понятно, понятно,—согласился Батуринь.

— Такъ вотъ эту-то грамоту мы и поднесемъ мадагаскарскому безштанному величеству,—продолжалъ Беніовскій:—да въ подарокъ предложимъ вотъ эту саблю.

Онъ указалъ на висѣвшую на стѣнѣ саблю въ красивой оправѣ.

— Это Нилова?—спросилъ Батуринь.

— Нѣтъ, это и есть сабля Вильстера, пожалованная ему царемъ Петромъ; а ихъ величествамъ, прекраснымъ женамъ короля,—ихъ у него, навѣрное, порядочный табунокъ...

— Косякъ,—перебилъ его Степановъ.

— Ну, косякъ,—согласился Беніовскій:—такъ этимъ красавицамъ безъ юбочекъ мы презентуемъ вотъ эти брильянты.

Беніовскій досталъ изъ-подъ койки рѣзной ящикъ въ футлярѣ. Въ ящикѣ блестяла масса яркихъ бусъ всевозможныхъ цвѣтовъ и стекларуса.

— Все это я закупилъ въ Коломбо, на Цейлонѣ,—пояснилъ Беніовскій:—я зналъ, съ кѣмъ намъ придется имѣть дѣло... Все копѣчная дрянь—эти бусы, а я увѣренъ, что ихъ голенькія величества передерутся изъ-за этой дряни.

• — Однако, вы человѣкъ предусмотрительный,—замѣтилъ Батуринь.

— Нельзя-же,—отвѣчалъ конфедератъ, и въ неподвижныхъ глазахъ его блеснулъ огонекъ, смыслъ котораго никому не былъ понятенъ.—Огонька этого не понимала даже Аавасія, когда замѣчала его въ глазахъ своего идола, иногда даже во время самыхъ его, рѣдкихъ, правда, но очень горячихъ и подчасъ бурныхъ ласкъ.

Въ дверяхъ каюты показался Уфтужаниновъ.

— Ты что?—спросилъ Беніовскій.

— Лодка, ваше благородіе, опять ѣдетъ сюда,—отвѣчалъ поповичъ-матросъ:—энтотъ вонъ кургузый, что давѣ былъ.

*) Грамота эта не вымышлена нами, а она — историческій фактъ, подтверждаемый документами (см. „Очеркъ морской русской исторіи“ О. Веселаго, стр. 396 и послѣд.).

XXII.

Пріемъ пословъ.

Чтобы придать болѣ торжественности своему представленію къ высочайшему двору его голаго величества, Веніовскій приказалъ матросамъ своего гальота съѣхать на берегъ и выстроиться въ двѣ линіи подь ружьемъ.

Матросы, предводительствуемые Андреяновымъ, исполнили этотъ приказъ, тѣмъ и произвели на туземцевъ, толпившихся на берегу, внушительное впечатлѣніе: всѣ они отодвинулись на почтительное разстояніе и смотрѣли на русскихъ съ дѣтскимъ любопытствомъ и страхомъ.

Затѣмъ съ гальота съѣхали на берегъ Веніовскій, Батуринъ, Степановъ, Хрущовъ и Мейдербъ, и только Винбладъ остался на гальотѣ, чтобы, по составленной наскоро программѣ церемоніи, дѣлать соотвѣтственные распоряженія на кораблѣ, на которомъ оставались пушкаріи при своихъ орудіяхъ.

Когда Веніовскій вступилъ изъ шлюпки на землю, держа на головѣ красный пакетъ съ поддѣльною грамотою, съ гальота привѣтствовали это вступленіе троекратнымъ пушечнымъ выстрѣломъ. За Веніовскимъ вышелъ на берегъ Батуринъ, держа надъ головою саблю покойнаго Вильстера, предназначенную въ подарокъ дикому королю. За Батуриномъ шелъ Степановъ, неся на головѣ ящикъ съ бусами и стеклярусомъ.

Едва мнимые послы очутились на берегу между двухъ линій своихъ матросовъ, какъ къ нимъ подошелъ тотъ странный субъектъ въ шлемѣ изъ циновокъ, что былъ уже на гальотѣ и изображалъ изъ себя, повидимому, оберъ-церемоніймейстера двора его мадагаскарскаго величества. Онъ по-прежнему любезно расшаркался и пригласилъ мнимыхъ пословъ слѣдовать за собою. Когда они двинулись въ путь, съ корабля опять раздались пушечные выстрѣлы.

— А вы, ребята, оставайтесь здѣсь, — сказалъ Веніовскій, проходя между двухъ линій матросовъ; — въ случаѣ чего — я дамъ знакъ свисткомъ, и тогда вы бѣгите къ намъ. Поняли, молодцы?

— Поняли, ваше благородіе! — гаркнули матросики.

— Смотрите-же!

— Рады стараться, ваше благородіе!

Продолжая свой путь въ сопровожденіи страннаго оберъ-церемоніймейстера и сопутствуемые толпою туземцевъ всѣхъ половъ и возрастовъ, мнимые послы достигли полукруглой площади, осыпанной высокими пальмами, подь которыми ютились, разбросанныя въ безпорядкѣ, то кубическія мазанки съ куполообразными крышами, то тростниковые шалаши. Впереді группы наибольшихъ мазанокъ, подь тѣнью пальмовой рощи, на разостланныхъ циновахъ, окруженный съ тыла и боковъ голыми воинами съ копьями, возсѣдалъ самъ Радама со всѣмъ своимъ придворнымъ штатомъ. Штатъ этотъ составляли его голенѣи, чернотѣлыя жены, а голые санов-

ники стояли по бокамъ, вѣскольکو поодаль. Его величество былъ голъ, какъ соколъ, съ однимъ пояскомъ и талисманомъ на извѣстномъ мѣстѣ и металлическихъ браслетами на рукахъ и на ногахъ. Зато на курчавой головѣ его величества, вмѣсто короны, надѣта была набекрень треугольная шляпа, обшитая галунами. Рядомъ съ нимъ сидѣла старая полная женщина. Это была королева-мать, ея величество Ранавало, одѣтая по послѣдней модѣ: на шеѣ—ожерелье, на рукахъ и на ногахъ—браслеты и на бедрахъ скромная драпировочка.

Такъ-же были одѣты и всѣ придворныя дамы, между которыми видѣлись очень миловидныя дѣвочки, едва переступившія десятилѣтній возрастъ, но уже удостоившіяся чести быть супругами короля и раздѣлять его тростниковое, покрытое шкурою льва ложе.

Радама былъ еще очень молодъ, но мужественныя черты его изобличали въ немъ суроваго воина.

Мнимые послы приблизились и стали въ рядъ. Любопытство дикарей, при видѣ краснаго пакета, блестящей сабли и рѣзного ящика, было возбуждено до крайности.

Бениовскій первымъ подошелъ къ королю и, приложивъ лѣвую руку къ сердцу, правую подаль Радамѣ пакетъ. Радама раскрылъ пакетъ, предварительно потеревъ его носомъ въ знакъ почтенія и привѣта, и вынулъ оттуда грамоту. Пестрота красокъ и буквъ на пергаментѣ, повидиму, произвела пріятное впечатлѣніе на дикаря, и особенно заняла его большая, на шнурѣ, красная печать, которую онъ тотчасъ-же и приложилъ къ своей черной груди, вѣроятно, соображая, что какъ было-бы красиво, если-бы эта отличная штука висѣла у него на груди, какъ ожерелье. Приложившись грамотѣ и къ печати носомъ, дикарь подалъ пергаментъ стоявшему тутъ-же знакомому уже намъ странному субъекту. Этотъ послѣдній, взявъ грамоту и видя, что она писана на непонятномъ для него языкѣ, обратился къ Бениовскому.

— Моссе! сказалъ онъ по-французски:—я не понимаю языка этой бумаги.

— Она писана по русски, отвѣчалъ Бениовскій.

— Такъ потрудитесь перевести ее на мой языкъ, а я передамъ ее содержаніе его величеству.

Бениовскій переводилъ медленно, слово за словомъ, и французъ передавалъ содержаніе Радамѣ. Этотъ послѣдній въ знакъ удовольствія кивалъ головой и повторялъ какое-то слово.

Тогда французъ, по окончаніи передачи содержанія грамоты, поднесъ ее къ лицу Радамы и показалъ на мнимую подпись императора Павла. Радама почтительно приложилъ носомъ къ подписи и подалъ грамоту матери. Та такъ-же привѣтствовала ее приложеніемъ къ своему носу, обнюхала ее и печать, и положила на циновку рядомъ съ своимъ пакетомъ.

Молоденькихъ женъ Радамы видимо разгорѣлись глаза при созерцаніи интересной штучки, но онѣ не смѣли подойти къ ней.

Тогда къ Радамѣ приблизился Батуричъ и почтительно вручилъ ему саблю. Теперь у этого дикаря при видѣ блестящей сабли разгорѣлись радостью глаза и онъ горячо, страстно обнюхалъ ее и долго любовался красивой оправой ея и блестящимъ клинкомъ. Потомъ онъ быстро всталъ съ циновки и гордо прицѣпилъ къ своему бедру драгоценный подарокъ.

Настала очередь выступить впередъ Степанову съ его бусовыми драгоценностями.

— Доложите его величеству, что это подарки для почтенной королевы-матери и для прекрасныхъ его супруговъ,—пояснилъ Бениовскій французу.

— Благодарю, мосье,—отвѣчалъ послѣдній, и передалъ Радамѣ и Ранавало слова Бениовскаго.

Лица женщинъ просіяли, глаза заискрились и онѣ едва сидѣли на мѣстѣ.

Степановъ подошелъ и, раскрывъ ящикъ, поставилъ его передъ Ранавало. Крикъ восторга вырвался изъ груди дикарки. Прочія красавицы повскакали съ мѣстъ, забывая всякій придворный этикетъ, и бросились къ ящику. Тутъ уже никто не могъ ихъ удержать. Онѣ жадно хватили изъ ящика связки блестящихъ бусъ, смѣялись отъ восторга, рассматривали ихъ, надѣвали на шею, снова снимали, завидуя одна другой и примѣряя къ себѣ то ту, то другую связку. Онѣ были несказанно милы въ своей дикой, совсѣмъ дѣтской наивности. Ничего подобнаго онѣ не видали. Вѣдь, эти ожерелья не изъ раковинъ, не изъ жемчуга, который такъ надоѣлъ имъ. Жемчугъ, что!—что въ немъ красиваго! Бѣлый какъ морская пѣна—и только! А что имъ въ морской пѣнѣ!... что въ жемчугахъ! А эти драгоценности—и красныя, и синія, и зеленыя, и пестрыя! Сколько въ нихъ красоты, блеску!

Жемчугомъ сверкають бѣлыя зубы красавицъ—никогда въ жизни не были онѣ такъ веселы, счастливы, эти чернотѣлыя дѣти!

Тогда Радама заговорилъ что-то съ французомъ. Тотъ кивнулъ головой въ знакъ согласія.

— Его величество проситъ васъ садиться, пояснилъ французъ слова Радамы.

Всѣ усѣлись на циновки, какъ кто умѣлъ.

Дикарь опять заговорилъ съ своимъ переводчикомъ.

— Его величество желаетъ почтить васъ военной пляской,—перевелъ этотъ послѣдній.

— Благодарите его величество—мы рады видѣть военную пляску,—отвѣчалъ Бениовскій.

Тогда, по знаку Радамы, приблизились стоявшіе въ сторонѣ его сановники и воины—и подъ дикіе звуки тамтама началась неистовая пляска. Было что-то бѣшеное и страшное въ этомъ кривляньи черныхъ голыхъ людей, вооруженныхъ длинными копьями. По движеніямъ ихъ можно было видѣть, что они—то преслѣдуютъ непріятеля, то наносятъ ему удары, повергаютъ на землю, то съ звѣрскою радостью въ глазахъ убиваютъ его. Это было адское зрѣлище, иллюстрируемое притомъ адскою музыкою и демонстрируемое звѣрскими выкриками.

Самъ Радама въ восторгѣ. Глаза его, въ сущности добрые, свѣтятся теперь огонькомъ звѣрства. Онъ по временамъ бряцаетъ своей новой саблей, вынимаетъ ее изъ ноженъ и неистово машетъ въ воздухѣ.

Миловидныя личики жонъ короля также измѣнились сообразно общему настроенію: онѣ глазъ не могутъ отвести отъ своихъ прекрасныхъ кавалеровъ, танцующихъ танецъ смерти. Нѣкоторые изъ нихъ отъ восторга плещутъ руками.

Наконецъ, Радама кричитъ что-то стоящимъ сзади воинамъ съ копьями. Тѣ удаляются и черезъ нѣсколько минутъ приводятъ связаннаго человѣка. Это такой-же туземецъ, какъ и всѣ прочіе, только татуированъ нѣсколько иначе.

— Это плѣнный,—пояснилъ французъ:—онъ изъ другого племени и взять съ оружіемъ въ рукахъ.

Плѣннаго становятъ передъ королемъ. При видѣ врага звѣрь просыпается въ Радамѣ. Онъ говоритъ что-то французу.

— Его величество хочетъ испробовать достоинство сабли, подаренной ему его величествомъ царемъ, поясняетъ этотъ послѣдній.

Не успѣли наши послы глазомъ мигнуть, какъ Радама махнулъ въ воздухъ саблей. Клинокъ сверкнулъ, и голова плѣннаго упала къ ногамъ торжествующаго короля, страшно вращая зрачками. Изъ упавшаго трупа кровь хлынула ручьемъ.

Беніовскій и его спутники въ ужасѣ вскочили на ноги.

— Какой негодяй!—невольно вырвалось у Хруцова.

Радама торжествовалъ. Онъ махалъ надъ головою окровавленнымъ клинкомъ и что-то бормоталъ скороговоркою.

— Его величество въ восторгѣ отъ прекраснаго подарка его величества царя,—переводилъ его восторгъ французъ.

— А чортъ-бы его взялъ съ его восторгомъ, подлеца!—не вытерпѣлъ Батурнинъ, содрогаясь при видѣ отвратительной картины.

— Боже! какіе звѣри!—шепталъ Хруцовъ.

— А мы не то-же дѣлаемъ на войнѣ?—пожалъ плечами Беніовскій:—Хуже! И вы тоже дѣлали и будете дѣлать.. На то мечи и сабли.

Дикій танецъ, однако, кончился. Сановники и воины, тяжело дыша, опять стали полукругомъ.

— Его величество приглашаетъ васъ къ своему столу,—обратился французъ къ нашимъ посламъ.

— Благодарите его величество за честь,—отвчалъ Беніовскій.

— Его величество желаетъ угостить васъ жаркимъ вотъ изъ этого убитаго.

— Какъ!.. мясомъ этого несчастнаго?

— Да, мосье,—тѣломъ врага.

— Но мы не людоеды...

— Его величеству пріятно будетъ угостить васъ,—это его любимое блюдо.

— Но повторяю—мы не канибалы.

— Его величество говоритъ, что самое вкусное блюдо—это тѣло убито-го врага.

Нимнымъ посламъ съ трудомъ удалось выпутаться изъ этого щекотливаго положенія.

Когда они возвращались къ своему гальоту, навстрѣчу имъ попался какой-то старикъ, повидимому, не туземецъ. Онъ былъ очень старъ. На головѣ у него была широкополая тростниковая шляпа, а въ рукахъ онъ держалъ четки съ распятиемъ.

Беніовскій догадался, что это былъ патеръ Леонъ Сандо. Оно подошелъ къ старику.

— Не реверендиссимумъ-ли патеръ Леонъ, котораго я имѣю честь привѣтствовать?—любезно поклонился Беніовскій.

— Да, мосье: я патеръ Леонъ Сандо, служитель святой католической церкви и миссіонеръ острова Мадагаскара,—отвѣчалъ старикъ.—А съ кѣмъ я имѣю честь говорить?

Беніовскій назвалъ себя и своихъ товарищей.

— Я имѣю къ вамъ, реверендиссime патеръ, посланіе отъ капитана Шокэ,—сказалъ первый.—Я слышалъ, что вы желаете возвратиться во Францію. Въ такомъ случаѣ, нашъ гальотъ къ вашимъ услугамъ.

— О!—радостно поднялъ къ небу увлажненные слезами глаза старикъ:—благодарю тебя, Господи!

XXIII.

Пожаръ на морѣ.

Нѣсколько недѣль простоялъ „Святой Петръ“ у береговъ Мадагаскара, запасаясь всевозможною провизіею для своего далекаго плаванія, и здѣсь-то въ головѣ Беніовскаго окончательно созрѣлъ его грандіозный планъ. Но онъ по-прежнему продолжалъ хранить его въ тайнѣ.

Онъ часто сходилъ на островъ и изучалъ какъ его топографію, такъ привычки дикихъ туземцевъ. Въ этихъ экскурсіяхъ его сопровождалъ мосье Пикэ, главный оберъ-церемоніймейстеръ короля Радамы и его придворный парикмахеръ. Онъ былъ когда-то куафферомъ въ Парижѣ, собственно гарсопомъ въ одной парикмахерской, и, поссорившись съ хозяиномъ, поступилъ въ матросы на корабль, отходившій въ Индію. На кораблѣ онъ, должно быть, проворовался, хотя увѣрялъ, что „не поладилъ съ негодяемъ-капитаномъ“ и потребовалъ, чтобъ его высадили на Мадагаскарѣ. Корабль былъ купеческій—и его высадили. Сначала дикари хотѣли съѣсть мосье Пикэ, но патеръ Леонъ заступился за соотечественника, и ему даровали жизнь. Впослѣдствіи онъ вошелъ въ милость у королевы-матери, и теперь онъ—„первое лицо при дворѣ его мадагаскарскаго величества, непобѣдимаго Радамы“ и „какъ сыръ въ маслѣ катается“.

Прочіе офицеры гальота также часто охотились на островѣ, а мат-

росы совѣмъ подружились съ дикарями; научивъ ихъ дѣлать дудочки изъ тростника и играть на нихъ. Маленькіе подарки, подносимые дикарямъ—то гвоздь, то мѣдная пуговица,—окончательно сблизили ихъ.

Одна Аванасія стыдилась своихъ голыхъ гостей и никакъ не могла къ нимъ привыкнуть. Зато она очень привязалась къ старому прелату, и старикъ самъ въ ней души не чаялъ. „Мое дитя, мое дорогое дитя, милая Атанаси“—эти слова не сходили съ его старческихъ устъ. Аванасія порядочно говорила по французски, и потому патеру легко было съ ней объясняться. Онъ постоянно рассказывалъ ей то о своей „*chère pays la France*“, то о жизни своей между дикарями Мадагаскара, между которыми онъ многихъ обратилъ уже въ христіанство. Онъ жалѣлъ только объ одномъ, что безъ него они опять станутъ язычниками и забудутъ истиннаго Бога. Онъ-бы навѣрно обратилъ въ христіанство и самого Радаму, если-бъ только его не пугало въ божественной религіи то, что онъ долженъ былъ-бы отказаться отъ всѣхъ своихъ женъ и оставить при себѣ только одну, старшую и первую, которую онъ раньше другихъ приблизилъ къ себѣ. Но зато рассказы старика о далекой Франціи были полны такой задушевности и теплоты, что и Аванаси она представлялась очаровательною странною.

При этихъ бесѣдахъ всегда присутствовала няня Пахомовна, съ неизмѣннымъ чулкомъ въ рукахъ, и тоже полюбила старика, хоть онъ былъ и „не русской вѣры“.

Наконецъ, когда Беніовскій ближе познакомился съ береговою полосою острова и отчасти съ внутреннею частью Мадагаскара и его обитателями, рѣшено было пуститься въ дальнѣйшій путь.

Прощальная аудіенція была такъ-же торжественна, какъ и первая, хотя уже безъ воинскихъ танцевъ и безъ пробы достоинства русской сабли на шеѣ плѣннаго врага. На прощанье Беніовскій подарилъ королю красный шелковый фуляръ, которымъ дикарь тотчасъ же и обвязалъ свои бедра, а королевѣ-матери презентовалъ зеленый, уже подержанный вуаль Аванаси, которымъ старая кокетка и украсила свою жирную шею, завязавъ его подъ подбородкомъ очень изящнымъ бантомъ, при видѣ котораго Степановъ чуть не лопнулъ отъ сдерживаемаго съ трудомъ смѣха. Каждая изъ молодыхъ красавицъ получила по парѣ блестящихъ, тоже копѣечной цѣны сережекъ.

Съ своей стороны король богато одарилъ пословъ. Онъ слышалъ отъ мосье Пикэ, что европейцы очень цѣнятъ слововую кость, и велѣлъ натаскать ей цѣлыя груды: этимъ дорогимъ подаркомъ и нагрозили часть трюма гальота.

Когда корабль снялся съ якоря, пушечными выстрѣлами сдѣланъ былъ послѣдній салютъ. Самъ Радама, весь его дворъ, жены, сановники и воины стояли на берегу и смотрѣли на уходившій корабль. Мосье Пикэ усердно махалъ съ берега своею циновочною шляпою, а патеръ Леонъ, стоя на палубѣ, крестообразно осѣнялъ своимъ распятіемъ островъ, тогда какъ слезы тихо, тихо катились по его морщинистому лицу.

— Вѣдь, пятьдесятъ лѣтъ, пятьдесятъ лѣтъ протекло подъ этимъ небомъ моей жизни! — шепталъ онъ набожно. — Oh, mon Dieu!

Азаназія съ глубокимъ сочувствіемъ глядѣла на старика, и на глазахъ ея тоже показались слезы.

Долго еще видны были берега покинутого острова, пока, наконецъ, онъ совсѣмъ не скрылся за подернутымъ дымкою дали горизонтомъ океана.

Гальотъ держалъ курсъ на юго-западъ, къ мысу Доброй Надежды, чтобы, обогнувъ южную оконечность Африки, выйти въ великій западный океанъ.

Снова началась обычная, однообразная морская жизнь. Дни, казалось, тянулись цѣлую вѣчность.

Беніовскій, чтобы не скучать отъ бездѣйствія, кромѣ писанія своего дневника, выдумалъ себѣ новое занятіе. Онъ, казалось, очень привязался къ старому миссіонеру и сталъ съ нимъ, изъ любознательности, изучать языкъ обитателей Мадагаскара.

Но умыселъ другой тутъ былъ... Онъ входилъ въ его планы...

Ловкій конфедератъ очень прилежно учился незнакомому языку. Разспрашивая у старика названія всевозможныхъ обиходныхъ предметовъ, онъ все это заносилъ въ особую тетрадь и заучивалъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ заставлялъ старика составлять фразы обиходнаго разговора, и все это тоже записывалъ и заучивалъ. Успѣхи новаго ученика были необыкновенно быстры, и старикъ удивлялся способностямъ и прилежанію, съ какимъ относился къ этому дѣлу „monsieur le baron“.

Скоро они стали уже немного объясняться на неблагозвучномъ языкѣ Радамы.

Между тѣмъ, няня Пахомовна съ тайной тревогой замѣчала, что ея любимица барышня постоянно худѣетъ. Куда дѣвались ея аппетитъ и сонъ! Все болѣе и болѣе она становилась задумчивою, грустною. Спросить бывало ее Пахомовна — „что съ тобою, мое золото червонное?“ — и получить ласковый, съ улыбкой, но какой-то за сердце хватающій отвѣтъ: „ничего, няня милая“.

„Таешь какъ свѣчка“, грустно покачивала головой Пахомовна, и обращалась къ лѣкару, къ Мейдеру: „что съ моей барышней?“ — „Ничего, нянюшка“, отвѣчалъ тотъ: — „возрастъ такой хрупкій; но у ней ничего нѣтъ такого — какъ бы сказать — органическаго порока... молодость, скоро повеселѣетъ, ежели“... Но онъ никогда не договаривалъ.

Азаназія не желая отстать отъ Беніовскаго, также училась у патера языку обитателей Мадагаскара, и, обладая замѣчательной памятью, усвоила этотъ языкъ еще быстрѣе, чѣмъ Беніовскій, чѣмъ приводила своего стараго учителя просто въ умиленіе. — „О, мое дитя, мое дорогое дитя!“ повторялъ онъ восторженно. Но и онъ не могъ не видѣть, что его обожаемая любимица таетъ день ото дня. — „Вы слишкомъ много учитесь, дитя мое!“ — иногда говорилъ онъ: — „ваша милая головка утомляется отъ этого варварскаго языка“. — „Нѣтъ, mon cher papa“ (она стала называть

его этимъ дорогимъ для нея именемъ):— „мнѣ безъ занятій было-бы скучнѣе“.

Время между тѣмъ шло. Выдерживая и бури, и мертвые штили, гальотъ давно миновалъ уже мысъ Доброй Надежды, гдѣ онъ запасался водой и освѣжалъ провизію. Въмѣсто юга и юго-запада наши бѣглецы держали теперь путь отчасти на сѣверъ, ко вторичному пересѣченію линіи экватора. Съ каждымъ днемъ температура воздуха опять стала повышаться, зной становился все убійственнѣе, штили повторяться чаще, и если-бъ не окачиванье водой по нѣскольку разъ въ сутки, то едва-ли самый крѣпкій организмъ могъ-бы выдержать это пекло. Экваторіальный зной губительно дѣйствовалъ и на организмъ Аванасіи. Она почти ничего не ѣла и худѣла съ каждымъ днемъ. Ни Пахомовна, ни Анна, жена Андреянова, не отходили отъ нея. Добрый патерь и утромъ и вечеромъ молился объ ея здоровьѣ и по цѣлымъ часамъ сидѣлъ около нея, безмолвный, грустный, или старался развлечь ее свѣтлыми перспективами недалекаго будущаго.

— Скоро, дитя мое, мы минуемъ линію экватора—эту адскую полосу земного шара, а тамъ все ближе и ближе будемъ двигаться къ милой Франціи.

Дѣвушка молча слушала, улыбаясь слабою, дѣтскою улыбкою.

Одинъ Беніовскій, повидимому, не замѣчалъ роковой переменъ въ своей маленькой Фанни, а если и замѣчалъ, то старался не показывать этого. Въ глубинѣ своей души онъ не могъ не сознавать, что все, что случилось прежде и могло случиться послѣ, все это дѣло его рукъ: онъ слишкомъ много взялъ на себя, не подумавъ о возможныхъ и неизбежныхъ послѣдствіяхъ. Какъ ни всецѣло владѣлъ его душою эгоизмъ, однако, трудно ему было отогнать отъ себя сознаніе, что бѣдная невинная дѣвушка, благодаря его эгоизму, потерявъ отца и родину, очутилась выброшенною изъ своего гнѣзда, не будучи совсѣмъ приготовленною къ жизни. Какъ было ему раньше не подумать, что это должно неизбежно случиться.

Одно неожиданное обстоятельство сильно подѣйствовало на впечатлительную душу Аванасіи и окончательно надломило ея хрупкій и нѣжный организмъ.

Была темная штилевая ночь. Гальотъ, застигнутый мертвымъ штилемъ, казалось, спалъ на поверхности океана; повинувшись только тихому сѣверному теченію океанской стихіи. Небо искрилось такими дивными свѣздами южнаго полушарія, о коихъ сѣверъ и понятія не имѣеть. Южный Крестъ стоялъ надъ океаномъ въ величавой красѣ. Поверхность океана вспыхивала иногда фосфорическими огоньками. Аванасія сидѣла на палубѣ, вдыхая усталою грудью живительную прохладу тропической ночи послѣ зноянаго, мучительнаго дня. Рядомъ съ нею, перебирая четки, тихо шепталъ молитву старый патерь, а по другую сторону дѣвушки сидѣлъ Хрущовъ, созерцая звѣздное небо, которое всегда дѣйствовало на него чарующимъ образомъ.

Вдругъ Аванасія увидѣла на горизонтѣ свѣтящуюся точку, какъ бы выходящую изъ океана. Но это не была звѣзда—не тотъ свѣтъ; но это и не луна—свѣтлая точка выходила изъ воды на сѣверозападной линіи горизонта. Точка увеличивалась все болѣе и болѣе, поднимаясь отъ воды и расширяясь. Свѣтлое пятно становилось все болѣе и болѣе багровымъ. Дѣвушка стало что-то страшно.

— Что это такое, Петръ Алексѣвичъ?—спросила она и спуганно.

— Что, Аванасія Григорьевна?—какъ-бы очнулся тотъ.

— Вонъ, тамъ, точно зарево.—что это?

— Зарево и есть! Помилуй Богъ!—тревожно проговорилъ Хрущовъ.

— Что-же?—пожаръ?

— Непремѣнно пожаръ!

— Да развѣ близко земля?

— Нѣтъ, Аванасія Григорьевна, пожаръ на морѣ:—тѣмъ онъ и страшенъ.

— Развѣ корабль горитъ?

— Непремѣнно корабль.

Зарево замѣчено было и матросами, и другими офицерами. Огонь разостался все сильнѣе и сильнѣе. Къ небу взвивались огненные языки сквозь клубы дыма. Виднѣлся даже громадный остатъ корабля, изъ люковъ котораго вырывались и исчезали въ дыму огненные струи.

Все столпилось на палубѣ гальота къ сторонѣ видимаго пожара. Встревоженный Беніовскій, выбѣжавшій изъ каюты, гдѣ онъ работалъ, глядѣлъ на пожаръ въ зрительную трубу.

— Корабль погибаетъ... онъ весь въ пламени... нѣтъ спасенья!—торопливо проговорилъ онъ.

— Боже мой!.. на немъ люди!—съ ужасомъ говорила Аванасія:—развѣ нельзя спасти?... не поздно?

— Слишкомъ далеко, милая Фанни,—а теперь, видишь, штиль: мы не можемъ подать ему помощи,—успокаивалъ ее Беніовскій.

Дѣвушка ломала руки. Старый прелатъ безпомощно топтался на мѣстѣ, повторяя: „oh, mon Dieu! quel horreur!.. oh, mon Dieu!“.

— Надо, однако, попытаться спасти!—блѣдный отъ волненія проговорилъ Хрущовъ.

— Да! да, милый Петръ Алексѣвичъ!—умоляла его Аванасія.

— Надо спѣшить со шлюпками,—продолжалъ Хрущовъ.—Я ѣду!

— И я съ вами!—прибѣжалъ Уфтюжаниновъ.

— Ятакже,—сказалъ Мейдеръ.—Можетъ, тамъ нужна лѣкарская помощь.

— Да, да, ради Бога!—волновалась Аванасія.

— Пару шлюпокъ на воду!—скомандовалъ Беніовскій:—двѣ перемѣны гребцовъ!

Моментально шлюпки очутились на водѣ. Матросы держали весла. Едва Хрущовъ, Мейдеръ и Уфтюжаниновъ вскочили въ шлюпки,—весла сверкнули, какъ крылья, и шлюпки понеслись по направленію къ зареву, извлекающая изъ океана фосфорическія искры.

XXIV.

Спасеніе Хуана.

Не долго, однако, шлюпки были видимы съ гальота. Черезъ нѣсколько минутъ онѣ скрылись изъ глазъ. Видно было только, какъ на горѣвшемъ кораблѣ свирѣпствовало пламя.

Долго смотрѣли съ гальота на роковое пламя: это было слишкомъ страшное видѣніе, чтобъ можно было оторваться отъ него.

Между тѣмъ время тянулось мучительно долго: то было время тревожнаго ожиданія, которое минуты превращаетъ въ часы,—часы растягиваетъ до безконечности. Часовыя стеклянки опорожнялись отъ песку, вахты смѣнялись, вахтенный колоколъ звонилъ уже не одинъ разъ.

И вдругъ—страшное видѣніе исчезло!—пламя погасло! Но погасло-ли оно? Вѣрнѣе всего, что оно вмѣстѣ съ остатками догоравшаго корабля захлебнулось въ пучинѣ океана.

Теперь началось новое ожиданіе—ожиданіе возврата шлюпокъ. Съ чѣмъ-то воротятся великодушные смѣльчаки? Спасли-ли они погибавшихъ? Подоспѣли-ли во время? Не бросились-ли несчастные, въ порывѣ ужаса и отчаянія,—не бросились-ли они съ погибавшаго корабля въ море, на такую же вѣрную смерть, чтобы избѣжать ужаснаго пламени?

Вотъ что написано было на блѣдномъ личикѣ Аванасіа, когда она стояла неподвижно на палубѣ, устремивъ взоръ въ безпросвѣтную даль. И нявюшка, и старый патеръ, и Беніовскій упрасивали ее идти въ каюту—лечь, успокоиться, забыться сномъ:—она продолжала стоять и смотрѣть въ даль, повторяя иногда какъ-бы машинально: „бѣдныя! бѣдныя!“

Но вотъ въ темнотѣ послышался плескъ весель.

— Слышите?—тревожно заговорила Аванасія.—Не наши-ли возвращаются?

— Кто ѣдетъ?—прокричалъ въ рупоръ Беніовскій.

— Свои!—послышался откликъ изъ темноты.

— Благополучно-ли?

— Нѣтъ!—опоздали!—былъ отвѣтъ.

— Господи!—всплеснула руками Аванасія:—неужели всѣ погибли?

Шлюпки скоро пристали къ гальоту. Вотъ что сообщили Хрущовъ и Мейдеръ. Горѣвшій корабль былъ очень далеко. Все время, когда шлюпки спѣшили къ нему на помощь, страшное зарево освѣщало ихъ путь. Корабль, повидимому, былъ громадной величины. Горѣло, какъ можно догадываться, изнутри, изъ трюма, гдѣ, должно быть, и начался пожаръ. Когда шлюпки приближались къ нему, то весь его верхъ обіялъ былъ пламенемъ и только гигантскій кузовъ его, ближе къ водѣ, еще былъ цѣлъ, но весь массивъ корабля уже сильно накренился къ кормовой части, видимо погружаясь въ океанъ. Ясно, что вода уже ворвалась внутрь, и именно отъ кормы. Казалось, гигантъ трепеталъ, все болѣе и болѣе погружаясь въ море. Еще нѣсколько мгновеній—и онъ исчезъ подъ во-

дою, какъ-бы взмахнувъ въ послѣдній разъ надъ поверхностью океана исполинскимъ, гигантскимъ горящимъ факеломъ. И вдругъ настала страшный, абсолютный мракъ.

— Волосы стали дыбомъ у меня на головѣ,—пояснилъ Хрущовъ.

Аванасія болѣзненно простонала. Старый предать поднималъ руки къ небу, какъ-бы призывая Божіе милосердіе на тѣхъ, для которыхъ уже все было кончено.

— Но не можетъ-же быть, чтобы погибли всѣ!—съ силою проговорилъ Беніовскій.—Вѣдь, на кораблѣ-же были шлюпки, корабль горѣлъ медленно, долго, пассажиры и экипажъ имѣли время сойти въ шлюпки и спастись, хоть не всѣ: конечно, отъ страху и въ борьбѣ за обладаніе шлюпками многіе погибли въ морѣ—безъ этого нельзя—опасность на морѣ, когда погибаетъ корабль, обезумливаетъ людей, но кто-нибудь да спасся.

— Можетъ быть,—сказалъ Хрущовъ:—но мы ничего не видѣли.

— Мы кричали,—пояснилъ Мейдеръ;—но голоса наши потерялись въ пространствѣ—и къ намъ не донеслось ни откуда ни звука—мертвая тишина!

— Это удивительно!—продолжалъ Беніовскій.—Должны-же остаться шлюпки! Шлюпки никогда не погибаютъ:—это пробки, которыя всегда всплывутъ наверхъ.

— Можетъ быть, онѣ и всплыли, но мы ихъ не видали,—грустно замѣтилъ Хрущовъ.

— Ну, можетъ, днемъ это удастся,—замѣтилъ Батуринъ:—къ утру-же, кажется, готовится попутный вѣтеръ.

И утро, дѣйствительно, оказалось благопріятнымъ для путешественниковъ. Еще до полного разсвѣта, паруса гальота въ состояніи были дѣйствовать, и „Святой Петръ“ продолжалъ свое плаванье.

Нѣкоторое время ничего не видно было на поверхности океана, но потомъ на этой поверхности стали попадаться иногда обуглившіеся куски дерева.

— Я вижу перегорѣвшіе остатки погибшаго корабля,—замѣтилъ Хрущовъ, все время напряженно смотрѣвшій на море.

— А вонъ обгорѣвшій конецъ каната,—указалъ Уфтюжаниновъ.

— А тамъ!... тамъ что?—взволнованно заговорила Аванасія, почти не сходявшая съ палубы.

— Гдѣ?... что?—послышались возгласы.

— Вонъ.. тамъ—далеко, какая-то точка маячить.

— Да, да!... тамъ есть что-то—это какой-то предметъ.

— Можетъ быть, шлюпка.

Беніовскій въ зрительную трубу подтвердилъ, что виденъ какой-то предметъ, но едва-ли это шлюпка.

Таинственный предметъ обозначался все явственнѣе и явственнѣе. Скоро можно было рассмотреть, что, это была, повидимому, опрокинутая шлюпка.

— Шлюпка и есть,—подтвердил Уфтюжаниновъ.

— Только вверхъ килемъ,—замѣтилъ Беніовскій.

— Значитъ, люди потонули?—со страхомъ спросила Аванасія.

— По всей вѣроятности.

Шлюпка все ближе и ближе. Теперь несомнѣнно, что она носится по морю вверхъ килемъ.

— Но на ней что-то видно,—снова замѣтилъ Уфтюжаниновъ.

— Что-то движется—точно,—подтвердилъ Беніовскій.

Скоро все объяснилось. Когда галюоть приблизился нѣсколько къ опрокинутой шлюпкѣ, то глазамъ всѣхъ представилось печальное зрѣлище. Казалось, что на шаткой, изогнутой поверхности кила, лежалъ оконченнѣйшій трупъ. Но это не былъ трупъ: въ немъ по временамъ замѣчались конвульсивныя движенія. На крикъ съ галюота, то, что лежало на килѣ шлюпки, вздрогнуло, казалось, всѣми членами.

— Это живой человѣкъ!—крикнулъ Хрушовъ.

— Спасите его, спасите!—молила Аванасія.

— Шлюпку на воду! Живѣй!

Въ одно мгновеніе шлюпка была на водѣ, а въ ней Уфтюжаниновъ, Хрушовъ и Андреяновъ. Еще мгновеніе—и шлюпка у цѣли... Но то, что лежало на килѣ внизъ лицомъ, сдѣлало конвульсивное движеніе, сорвалось съ неустойчивой поверхности и скатилось въ воду.

— Боже! онъ погибъ!—отчаянно крикнула Аванасія и безъ чувствъ упала на руки няни и Батурина.

Но въ это мгновеніе быстрымъ движеніемъ багра Уфтюжаниновъ зацѣпилъ за платье упавшаго въ воду человѣка, и онъ былъ подтянутъ къ шлюпкѣ. Тотчасъ его зацѣпили другимъ багромъ, приподняли надъ водою и втащили въ шлюпку.

Спасенный потерялъ сознаніе. Мейдеръ, приводившій въ чувство Аванасію, оставилъ ее на попеченіи няни, Батурина и Беніовскаго, приказавъ имъ давать ей нюхать спиртъ, а самъ тотчасъ-же занялся вытѣщеннымъ изъ воды человѣкомъ. Ему терли виски, руки, животъ. Мейдеръ насильно влилъ ему въ ротъ нѣсколько большихъ глотковъ рому, и снова велѣлъ оттирать, чтобы вызвать реакцію въ оконченнѣйшемъ организмѣ.

— Утонулъ?—было первое слово, которое произнесла Аванасія, открывъ глаза.

— Нѣтъ спасенъ—вотъ онъ,—торопливо успокоилъ ее Беніовскій.— Побереги себя, дитя мое!

Мало-по-малу къ спасенному начала возвращаться жизнь. Это былъ ~~загорѣлый~~ молодой, давно небритый, широкоплечій и приземистый субъектъ, съ рыжими съ просѣдью волосами и бакенбардами, въ старомъ костюмѣ испанскаго чароса. Скоро онъ окончательно пришелъ въ сознаніе, и новая, хорошая ~~идея~~ рому окончательно, такъ-сказать, вытрезвила его.

Спасенный, дѣйствительно, оказался испанскимъ матросомъ. Много скитаясь на своемъ кораблѣ по всѣмъ морямъ и океанамъ, заходя

въ порты всѣхъ странъ, онъ нѣсколько наметался въ разныхъ языкахъ и зналъ порядочно по-итальянски и по-французски.

Отъ него узнали слѣдующее. Корабль ихъ—одинъ изъ большихъ въ Испаніи, по имени „Саламандра“, нѣсколько недѣль тому назадъ отошелъ отъ западныхъ береговъ Африки, возвращаясь съ острова Кубы съ разными грузами и направляясь въ Испанію, къ городу Кадиксу. На кораблѣ было нѣсколько сотъ пассажировъ, возвращавшихся въ Европу какъ съ Кубы, такъ и съ другихъ острововъ и колоній, потому что корабль ихъ считался почтово-пассажирскимъ. Плаваніе ихъ было благополучно до вчерашняго вечера. Но вчера замѣтили въ трюмѣ огонь, который, повидимому, давно тамъ тлѣлъ и охватилъ много тюковъ, легко воспламеняющихся. Огонь сталъ распространяться до того быстро, что потушить его не было никакой возможности. Пассажирами овладѣла паника. Капитанъ, прежде всего, распорядился посадить въ шлюпки женщинъ и дѣтей. Хуану (такъ звали спасеннаго испанца) и другимъ его товарищамъ пришлось принять въ свою шлюпку именно этихъ трусливыхъ и безпкойныхъ пассажировъ,—женщинъ и дѣтей. Но въ испугѣ женщины бросались, не соображаясь съ тѣмъ, сколько она подниметь,—и шлюпка была переполнена. Когда они отбѣжали отъ горѣвшаго корабля на значительное разстояніе, корабль весь обьяло пламенемъ. Это привело въ такой ужасъ женщинъ,—онѣ до того стали метаться въ шлюпкѣ, что она зачерпнула однимъ бортомъ воды; испуганныя женщины рванулись къ другому борту шлюпки, наклонили ее—вода ворвалась въ шлюпку—и все было кончено!—шлюпка погрузилась въ океанъ. Началась послѣдняя борьба утопающихъ—борьба со смертью—борьба другъ съ другомъ—всѣ цѣплялись одинъ за другого, и всѣ пошли ко дну, увлекиши за собою и матросовъ. Всѣ погибли. Хуанъ спасся только тѣмъ, что успѣлъ ухватиться за бортъ вынырнувшей изъ воды шлюпки, но утопавшія женщины едва и его не увлекли за собою, цѣпляясь ему за шею, за руки, за ноги. Но и эти долго не удержались—всѣ пошли ко дну.

Что случилось съ другими пассажирами и шлюпками—Хуанъ не зналъ.

XXV.

Смерть и похороны Аенасіи.

Нашъ гальотъ находится уже у береговъ Мадеры. Экваторіальное небо и его знойное солнце остались далеко позади. И здѣсь небо такое-же голубое и солнце тоже жаркое, но въ послѣднемъ есть уже что-то ласкающее, мягкое. Зеленъ острова такая роскошная, освѣщающая.

Вотъ вотъ уже скоро и Европа. Но почему-то на гальотѣ не слышно прежняго оживленія,—ни пѣсень, ни шумныхъ разговоровъ.

Беніовскій, Степановъ и Винбладъ отплыли на берегъ для какихъ-то надобностей, а на гальотѣ остались только Батуринъ и Хрущовъ. Первый изъ нихъ смотритъ какимъ-то болязненнымъ, точно надломленнымъ, а

Хрущовъ много измѣнился за послѣднее время, точно онъ вынесъ тяжкую болѣзнь. Ни Мейдера, ни стараго патера что-то не видно.

— Должно быть, ей хуже,—какъ-бы про себя произнесъ Батуринъ, грустно качая сѣдою головой.

— Да, бѣдная дѣвочка,—такъ-же грустно говорилъ и Хрущовъ:—и за тѣхъ грѣхъ суждена ей такая доля?

— За наши... Чѣмъ она, бѣдненькая, виновата, что ей суждено было родиться въ снѣгахъ Камчатки? За что ей суждено было, притомъ, родиться отъ такого лица, которое поставлено было стражемъ надъ преступниками?

— Да, рокъ безжалостный!—горько махнулъ рукою Хрущовъ.

— Такъ, такъ... Да она-то за что пострадала.

— За то, что мы—на словѣ *мы* Хрущовъ сдѣлалъ удареніе:—мы захотѣли свободы.

— Да, а ея отецъ стоялъ у насъ на дорогѣ.

— Отецъ!—съ горечью сказалъ Хрущовъ:—а она-то?

— Она имѣла несчастье быть его дочерью.

Въ это время на палубѣ показался Мейдеръ. Онъ вышелъ изъ каютнаго отдѣленія.

— Вы отъ нея, Мейдеръ?—тревожно спросилъ Хрущовъ.

— Отъ нея,—отвѣчалъ тотъ.

— Ну что, какъ, не лучше ей?

— Нѣтъ... Я думаю, что ее придется намъ похоронить здѣсь, на этомъ островѣ.

Хрущовъ замѣтно поблѣднѣлъ.

— Да ради Бога,—что съ ней?—спросилъ онъ.

— Ничего! Но вотъ подите-же—таетъ, какъ свѣчка, и кажется, уже догорѣла.

Свѣчка, дѣйствительно, скоро догорѣла и погасла.

Черезъ нѣсколько дней на столѣ, поставленномъ на палубѣ гальота, вся въ цвѣтахъ и въ зелени, лежала мертвая Аванасія. Роскошная дѣвственная коса ея была расчесана и двумя пышными пепельнаго цвѣта пасмами шла черезъ плечо и лежала вдоль ея прекраснаго стана по обѣ стороны. Она лежала какъ живая, только съ болѣе сосредоточенною, хотя все еще дѣтскою задумчивостью на блѣломъ, какъ каррарскій мраморъ, челѣ. Ея одѣлы въ бѣлое платьице—„подвѣнечное“, какъ говорила одѣвавшая ее съ рыданіями няня. Прелестное личико ея, казалось, совсѣмъ не тронуто было смертью; только оно казалось еще нѣжнѣе. Тѣмъ ярче выступалъ миловидный обликъ умершей и вся ея необыкновенно стройная фигура, что смертное ложе дѣвушки было засыпано цвѣтами, а сама она казалась блѣдною лиліею среди розъ, фіалокъ, анемоновъ и пальмовыхъ вѣтвей, перемѣшанныхъ съ миртами и лаврами. Къ дѣвственной груди ея была приколота вѣтка флеръ-д'оранжа, какъ символъ чистоты и невинности.

Какъ и тамъ, далеко у острова Формозы, когда экипажъ гальота безъ

священника отпѣвалъ убитого малайцами Панова, здѣсь у изголовья Аванасіи стоялъ Уфюжанниковъ и раздирающимъ душу униссономъ читалъ „Блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ“. Но теперь рыданія то-и-дѣло прерывали его чтеніе.

У ногъ Аванасіи стоялъ на колѣняхъ старый прелатъ. Старческое лицо его выдавало глубокое состраданіе, смѣшанное какъ-бы съ тихою и такою-же глубокою радостью. Онъ вѣрилъ, что безгрѣшная душа чистой дѣвочки находится теперь у престола Предвѣчнаго и вкушаетъ невѣдомое людямъ блаженство. Полные слезъ глаза его были обращены туда, къ ясному небу, гдѣ... онъ вѣрилъ!

Нянюшка стояла тутъ-же—безъ слезъ, безъ причитаній. Горе задавило ее, уничтожило. То, чѣмъ она жила и для чего жила, то, что давало цѣну ея старой жизни, что привязывало ее къ землѣ, этотъ нѣжный цвѣточекъ, выросшій, казалось, и расцвѣтшій на ея груди, у нея въ душѣ—завялъ, превративъ для нея весь свѣтъ въ пустыню. Для кого-же ей жить?.. куда, за кѣмъ ей идти? А она шла за нею, только за нею, и ея нѣтъ!.. она ушла!

Батуринъ стоялъ глубоко задумчивымъ, низко склонивъ свою сѣдую голову. По временамъ онъ поднималъ глаза на умершую и въ умиленномъ жалостью взглядѣ его не трудно было прочесть то, надъ чѣмъ теперь задумывалась его сѣдая голова: „скоро, скоро и я такъ-же буду лежать, но не въ цвѣтахъ, какъ эта невинная бѣлая лилія,—бѣдное, бѣдное дитя!“

Хрущовъ горько плакалъ, такъ плакалъ, какъ не плакала бы, кажется, родная мать. Тайну его горя никто не зналъ, и онъ никому не выдалъ этой тайны, даже той, которой эта тайна принадлежала. Онъ любилъ Аванасію. Онъ полюбилъ ее давно, еще въ Камчаткѣ. Видѣтъ ее, только, только видѣтъ—и то уже было для него счастьемъ. Но онъ скоро понялъ, что дѣвочка уже сама любила, только не его—и онъ скоронилъ въ душѣ свою тайну. Вотъ почему теперь плакалъ онъ такъ безутѣшно.

Кругомъ видна была скорбь. Никогда матросы въ церкви не молились съ такою теплотою и горемъ, какъ теперь, подъ тихое чтеніе—„Блаженъ мужъ“... Кто этотъ „блаженъ мужъ“—они не знали; но эти непонятныя для нихъ слова звучали такою печальною музыкою, что хоть съ борта да въ воду—такъ и то впору!

Веніовскій не плакалъ, но на душѣ у него было болѣе мрачно, чѣмъ у всѣхъ, кто оплакивалъ покойницу. Какъ убійца, хотя и невольный, онъ не могъ плакать надъ своею жертвой, и ему казалось, что этотъ приговоръ онъ читаетъ въ глазахъ у всѣхъ.

Нѣжный вѣтерокъ тихо шевелилъ шелковистыми волосами умершей и ея длинными рѣсницами, и казалось, что вотъ-вотъ она ихъ подниметъ и обрадуетъ всѣхъ своимъ яснымъ, кроткимъ взоромъ. Надъ моремъ, вокругъ гальота, вились въ воздухѣ чайки и жалостно кричали, какъ-бы внимая однообразному, скорбному чтенію надъ умершей. Хрущову эти крики морскихъ птицъ напоминали давно забытую картину, которая когда-то такъ

глубоко запала въ его душу. Наканунѣ того дня, когда онъ долженъ былъ совершить задуманное имъ и его соучастницами дѣло, онъ проходилъ по Невскому и случайно остановился у витрины одного магазина эстамповъ. Въ окнѣ была выставлена картина съ подписью: „Геро и Леандеръ“. Хрущевъ сталъ вглядываться въ изображенное на полотнѣ. Бурное море, какъ-бы вдавленное въ рамки скалистыхъ береговъ,—это Босфоръ. На востокѣ, за скалистымъ берегомъ, занимается заря. Розовый отсвѣтъ ея падаетъ на сѣдые гребни волнъ, которыя треплуть резметавшееся на ихъ пѣнистой поверхности мертвое тѣло прекраснаго мужчины. Надъ тѣломъ вьются морскія чайки—и Хрущеву казалось, что онъ слышитъ, какъ эти чайки оглашаютъ воздухъ жалобными криками. На томъ скалистомъ берегу, за которымъ занималась заря, у самой воды, на камнѣ, обрызгиваемомъ морскою пѣною, стоитъ дѣвушка и въ отчаяніи ломаетъ руки, съ невыразимой тоской глядя на прибываемый волнами къ берегу трупъ ея возлюбленнаго, который плывъ на свиданіе къ ней и утонулъ.

И теперь такъ-же жалобно кричатъ чайки, но теперь картина не та, и плачетъ онъ самъ, когда-то съ грустью глядѣвшій на ту картину, на другую.

Эту картину общей скорби дополняло еще одно лицо, которое едва-ли кто замѣтилъ. За колѣнопреклоненнымъ, съ обращенными къ небу полными слезъ глазами прелатомъ стоялъ на колѣняхъ Хуанъ. По жесткому лицу его тихо катились слезы: въ этомъ общемъ семейномъ горѣ старый испанецъ чувствовалъ себя еще болѣе чужимъ и одинокимъ.

Въ это время съ берега воротились на корабль Винбладъ и Мейдеръ съ двумя матросами и сказали, что могила готова. Аеанасію рѣшились похоронить вопреки общепринятому моряками обычаю—въ открытомъ морѣ, далеко отъ земли, опускать умершихъ въ ту стихію, во владѣніяхъ которой умершій покончилъ свое земное странствіе:—жалъ было такое прекрасное тѣло, все усыпанное цвѣтами, зашивать въ мѣшокъ и бросать въ море. Для Аеанасіи вырыли могилу на островѣ, на живописномъ возвышеніи. Этимъ печальнымъ дѣломъ распоряжались Винбладъ и Мейдеръ.

Теперь они пріѣхали сказать, что все готово для принятія тѣла покойной.

Начались трогательныя, раздирающія душу прощанья. Всѣ плакали. Хрущевъ долго-долго глядѣлъ въ прекрасное лицо усопшей, какъ-бы желая навѣки сохранить въ памяти милый образъ. Потомъ онъ поцѣловалъ ея холодную руку.

Одинъ Беніовскій не плакалъ.

Матросы раньше высадились на берегъ и построились въ двѣ линіи. Когда гробъ, весь покрытый цвѣтами, вынесли изъ шлюпки на берегъ и несли между рядами матросовъ, они, въ знакъ печали, преклонили ружья. Съ гальота медленно раздавались пушечные выстрѣлы—послѣднее печальное привѣтствіе усопшей.

Когда принесли гробъ — Беніовскій, Батуринъ, Степановъ и Хрущевъ—заглянули въ глубину могилы, они увидѣли, что дно послѣднаго упокоенія бѣдной дѣвочки на четверть усыпано цвѣтами.

Гробъ скоро былъ опущенъ въ могилу подъ благославленіе тихо плакавшаго прелата. Нянюшка порывалась было броситься за гробомъ туда-же, но ее удержали.

Патеръ первый бросилъ на гробъ горсть земли, но вслѣдъ за землей туда посыпались цвѣты и наполнили могилу до половины. Затѣмъ уже всѣ бросили землю.

Насыпь надъ могилой сдѣлана была очень высокая, и матросы обложили ее дерномъ.

На огромномъ крестѣ, сдѣланномъ матросами, изъ толстаго пальмоваго ствола, было написано:

„Здѣсь покойтся тѣло дочери бывшаго воеводы Большерѣцкаго острога и начальника Камчатки Григорія Нилова—дѣвицы Аеанасіи, скончавшейся у береговъ острова Мадеры 6-го сентября 1771 года, на 16 году жизни.

Прими съ миромъ ея чистую душу, Господи!“

Вѣроятно, теперь ни отъ этого креста, ни отъ самой могилы Аеанасіи не осталось и слѣда.

XXVI.

Письмо Хрущева къ сестрѣ.

Франція. Портъ-Луи.

20 мая 1772.

„Милая, дорогая, незабвенная Наташечка! Въ послѣднемъ письмѣ я уже описалъ тебѣ наши походы и бѣдствія, начиная отъ Камчатки и вплоть до отплытія съ острова Мадеры, гдѣ мы похоронили бѣдненькую Аеанасію. Ахъ, Ната,—что это было за существо! Истинно что-то неземное, не отъ міра сего, идеальное. Она и покинула эту горькую юдоль плача, чистый прахъ ея покойся въ прелестномъ краю, въ виду безбрежнаго океана, подъ сѣнію высокихъ пальмъ.

Да что говорить объ этомъ! Только сердце растравлять, а оно и безъ того у меня все изболѣлось: живого, кажется, мѣстечка не осталось.

Тамъ-же, на Мадерѣ, мы разстались съ Степановымъ. Онъ давно подозрѣвалъ нашего молодца, пана Беніонскаго, въ неискренности и эгоизмѣ; но со времени болѣзни бѣдненькой Фанни, когда жестокость и безсердечность этого человѣка проявились еще болѣе, когда онъ не хотѣлъ утѣшить бѣдную дѣвочку хотя-бы теплымъ, задушевнымъ словомъ, между тѣмъ какъ она, кажется, только имъ и дышала,—Степановъ окончательно отшатнулся отъ него, и смерть нашей общей любимцы порвала послѣдніе узы, еще привязывавшіе его къ нашему гальоту и къ его начальнику. Въ виду Мадеры Степановъ распростился съ гальотомъ и пересѣлъ на одинъ греческій корабль, который направлялся въ Мессину, а оттуда въ Таганрогъ съ грузомъ лимоновъ, апельсинновъ и съ винами съ острова Мадеры.

Отъ Мадеры мы направились къ западнымъ берегамъ Испаніи, чтобъ добраться до Франціи. Хотя намъ могъ-бы предстоять и болѣе близкій

путь во Францію черезъ Гибралтарскій проливъ, но мы опасались, какъ-бы насъ тамъ не захватили въ плѣнъ, если-бъ узнали, кто мы такіе. Франція-же втайнѣ помогаетъ польскимъ конфедератамъ въ войнѣ съ Россіею, а потому Веніовскій и рассчитывалъ, что во Франціи насъ примутъ дружелюбно.

Въ океанѣ, у западныхъ береговъ Испаніи, мы потеряли еще одного товарища изъ нашей небольшой семьи бѣглецовъ. Старикъ Батуричъ давно уже началъ чувствовать ослабленіе силъ. Да и неудивительно!—въ такіа лѣта, послѣ двадцатилѣтняго томленія въ шлиссельбургскомъ казематѣ, въ одиночномъ заключеніи, — и такое, почти кругосвѣтное плаваніе, съ морскими бурями и тревогами! — А бѣднякъ все надѣялся увидѣть Россію, хотя на денекъ-на-два — и тамъ ужъ умереть. Такъ нѣтъ, — не суждено ему было дожить до этого утѣшенія. Ахъ, другъ мой, Ната!—ты не знаешь, что значить тоска по родинѣ, когда она для тебя потеряна навсегда и ты не имѣешь права воротиться къ роднымъ, съ дѣтства знакомымъ полямъ!

Да, я заговорилъ тебѣ о нашемъ бѣдномъ Батуричѣ. Какъ трогательно были послѣдніе дни его жизни! Уже послѣ печальныхъ похоронъ бѣдненькой Аванаси онъ началъ чувствовать, что жизнь его угасаетъ, и еще мучительнѣе проснулася въ немъ жажда увидѣть родную страну. Когда онъ былъ еще въ силахъ бродить и сидѣть, то постоянно, бывало, видишь его сѣдую, какъ лунь, голову на палубѣ. Знойный южный вѣтерокъ, бывало, играетъ его длинными сѣдыми космами, а онъ сидитъ на палубѣ, и взоръ его, все болѣе и болѣе потухающій, постоянно обращенъ на сѣверъ. И дни и ночи такъ сидѣлъ онъ. По ночамъ, бывало, одна вахта смѣняетъ другую подъ знакомый звонъ вахтеннаго колокола, а онъ сидитъ безъ движенія, и сѣдая голова, какъ компасъ, все гнется къ сѣверу, глаза его все ищутъ Полярную звѣзду. Иногда подсядешь къ нему изъ участія, думаешь развлечьъ, а онъ все свое: вонъ тамъ наша Россія — вотъ эти звѣзды и тамъ видны — и Полярная звѣзда, что, бывало, свѣтила надъ Шлиссельбургскою крѣпостію — ахъ, то было счастливое время, когда я тамъ сидѣлъ, то была молодость, здоровье, родина — милый сѣверъ! И при поворотахъ корабля, голова его все гнулась на сѣверъ. Во время штиля, бывало, когда матросамъ мало работы, онъ, бывало, проситъ ихъ пѣть про „лучинушку“ — и они поютъ. А ужъ самая любимая для него пѣсня была — „Сторона-ль моя, сторонушка, сторона-ль моя незнакома!“ Эту особенно хорошо запѣвалъ Уфтюжаниновъ, поповичъ, о которомъ я писалъ тебѣ въ первомъ письмѣ. И нерѣдко я видѣлъ, какъ подъ эту пѣсню слезы выкатывались изъ глазъ старика и разбивались о черныя, просмоленные доски палубы, точно крупныя жемчужины. Особенно-же тяжело и трогательно было видѣть старика, когда онъ окончательно созналъ, что у него не хватитъ силъ дожидаться возврата въ Россію, что умереть ему придется въ морѣ. Онъ самъ выбралъ для своего мѣшка-сазана холстъ, выбралъ старое негодное ядро, которое должно было быть привязан-

нымъ къ его ногамъ, и клалъ этотъ саванъ и ядро у своего изголовья, не разъ повторяя мнѣ въ старческой заботливости: „вотъ, дружокъ мой, послѣдній мой походный мундиръ, а это (ядро) мой кавалерственный орденъ: когда я умру, ты самъ зашей меня въ этотъ мундиръ и орденъ прицѣпи къ ногамъ мнѣ, да не вели снимать съ меня старыхъ моихъ сапогъ — можешь, на подошвахъ ихъ осталось хоть нѣсколько крупинокъ родной земли, хоть бы даже камчатской, изъ Большерѣцка“.

Такъ-то, Наточка, онъ самъ напутствовалъ себя къ смерти. Недолго, впрочемъ, и ждать пришлось. На широтѣ Кадикса, во время мертвого штиля, мы и опустили его въ море со всѣми воинскими почестями. А черезъ нѣсколько дней пришли въ устье Гвадалквивира, а тамъ въ гавани Санъ-Лукаръ де Баррамедъ высадили на берегъ своего Хуана, который, при всей его видимой черствости, радостно припалъ къ родной землѣ и цѣловалъ ее съ горячими слезами. Вѣдь, шутка сказать, мой другъ: — не спаси мы его, пришлось бы ему тогда, когда горѣлъ ихъ корабль „Саламандра“ (вотъ насмѣшка судьбы! негоряемая Саламандра—она-то и погйбла въ пламени!), — пришлось-бы ему подъ тропиками измѣрять глубину океана.

Здѣсь уже, въ Портъ-Луи, мы лишились еще одного товарища по изгнанію. Это—Гурчениновъ, тотъ, о которомъ я писалъ тебѣ прежде, что у него языкъ былъ вырѣзанъ. Этотъ хворалъ недолго. Да онъ и старше всѣхъ насъ былъ. Вообрази, дорогая,—ему вырѣзали языкъ еще въ 1742 году, а ужъ онъ и тогда былъ не молодъ, — и вотъ онъ находился въ ссылке до 1771 года—почти тридцать лѣтъ. При исполненіи нашего замысла въ Большерѣцкѣ, Гурчениновъ намъ очень помогъ своимъ безъязычіемъ: показывалъ казакамъ и матросамъ на пенекъ торчавшаго во рту языка и полумычаньемъ объяснялъ, какъ съ нимъ жестоко поступили въ Петербургѣ; онъ этимъ привлекалъ народъ на нашу сторону. Даже дикари на Мадагаскарѣ приходили въ ужасъ, когда видѣли стараго, сѣдого человека съ вырѣзаннымъ языкомъ, хотя сами охотно ѣдятъ людей и очень лакомы до человѣческихъ языковъ и мозговъ. Такъ этотъ Гурчениновъ, милая Ната, передъ смертью, въ горячечномъ бреду, все жаловался (мы могли, хотя съ трудомъ, разбирать его невнятные слова—полумычанье какое-то), такъ онъ все жаловался на то, что у него языкъ вырѣзали, что безъ языка на томъ свѣтѣ ему нечѣмъ будетъ пожаловаться Господу Богу на своихъ палачей. Слушать это, Ната, было ужасно, — и намъ стало легче, когда онъ отдалъ душу Богу.

Теперь, какъ видишь, мы во Франціи, въ Портъ-Луи. Что будетъ съ нами дальше,—никто этого не знаетъ, даже самъ Беніовскій, я думаю. Носится онъ съ какими-то великими планами и увѣряетъ насъ, что мы скоро будемъ и богаты, и славны, и свободны. Всю зиму онъ рыскалъ то въ Парижѣ, то въ Лондонѣ. Въ Парижѣ представлялся королю и высшимъ сановникамъ, а въ Лондонѣ имѣлъ свиданіе съ Франклиномъ. Безспорно, онъ затѣваетъ что-то большое—очень ловкій китрякакъ! Его

именемъ наполнены теперь всѣ газеты. Въ русскихъ газетахъ, ты, конечно, читала о нашихъ похожденияхъ въ Большерѣцкѣ—о „Большерѣцкомъ бунтѣ“, какъ его называютъ, и о смерти Нилова, и о взятіи гальота „Святой Петръ“ и о нашемъ бѣгствѣ моремъ. Но въ здѣшнихъ газетахъ событію этому приданы грандіозные размѣры. Повѣствуютъ о томъ, какъ мы взяли приступомъ Большерѣцкѣ—чуть-ли не первоклассную крѣпость, какъ дрались съ правительственными войсками и убили самого воеводу. Потомъ рассказываются наши походы среди океана, сначала на Курильскихъ островахъ, въ Японіи, на Формозѣ, въ Макао, въ Китаѣ и, наконецъ, на Мадагаскарѣ. Конечно, все это пишется со словъ самого-же Беніовскаго—онъ на это мастеръ,—и его прославляютъ, какъ героя, чуть-ли не великаго человѣка. Зато и бѣдной Россіи достается отъ здѣшнихъ газетъ—и варварская-то она страна, и вся-то Сибирь ея заселена ссыльными (да оно, впрочемъ, и правда). Хотя я и самъ изъ числа этихъ ссыльныхъ, хотя и не могу похвалиться, чтобы святая Русь баловала меня, однако, когда видишь, что другіе ее бранятъ и унижаютъ,—досадно и больно становится.

Ахъ, Ната, Ната! — что-то будетъ, что-то ждетъ меня впереди? А такая тоска по милой родинѣ, что хоть въ петлю—такъ въ пору! Если такъ будетъ продолжаться, то я, кажется, явлюсь домой съ повинною—что будетъ, то и будетъ! А если опять сошлютъ въ Большерѣцкѣ? Если на всю жизнь засадятъ въ крѣпость, въ одиночку? Ужасно!

Ахъ, хоть-бы скорѣй пріѣзжалъ Беніовскій!

А что-то теперь у насъ, въ милой Хрущовкѣ? Я думаю — весна въ полномъ разгарѣ: нашъ садъ уже отцвѣлъ; въ роши неугомонно кричатъ грачи; у тебя подъ окномъ свищетъ иволга; кукушка сулитъ тебѣ неясчлимыя годы жизни; подъ пѣніе соловьевъ ты засыпаешь и просыпаешься; въ старой ветлѣ, въ дуллѣ, снова потатуйка кладетъ яйца и однообразно постукиваетъ отъ утра до вечера. Что отецъ и старая няня?

Не смѣю сказать тебѣ до свиданья. Ахъ, Ната, Ната!—Твой Pierre.“

XXVII.

Таинственная принцесса.

Въ концѣ мая 1772 года Беніовскій, наконецъ, возвратился въ Портъ-Луи.

Это былъ уже совсѣмъ другой Беніовскій. И прежде въ его характерѣ, въ поведеніи, въ самой наружности проглядывало что-то самоуверенное, подчасъ доходившее до высокомерія и заносчивости. Теперь къ этому прибавилось что-то властное, какая-то спокойная увѣренность въ своихъ силахъ, въ своемъ призваніи. Это было спокойствіе фанатика.

Онъ пріѣхалъ изъ Парижа; какъ какой-нибудь сановникъ, въ богатомъ экипажѣ и, повидимому, съ туго-набитымъ кошелькомъ. Въ тотъ-же день онъ заплатилъ всѣ долги по отелю, въ которомъ проживали камчатскіе бѣглецы.

Вечеромъ, сидя на балконѣ отеля, выходившемъ прямо на гавань, въ которой среди другихъ кораблей и морскихъ судовъ стоялъ на якорѣ и галюль „Святой Петръ“, Веніовскій заговорилъ опредѣленнѣе о своихъ планахъ.

— Теперь, господа, я могу окончательнѣе поздравить васъ съ предстоящимъ походомъ,—сказалъ онъ своимъ товарищамъ.

— Съ какимъ походомъ, баронъ?—спросилъ Хрущовъ.

— Съ морскимъ,—неопредѣленно отвѣчалъ Веніовскій:—его величество назначаетъ меня начальникомъ эскадры, отправляемой въ военную экспедицію.

И Хрущовъ, и Винбладъ, и Мейеръ посмотрѣли на него съ недоумѣніемъ.

— Куда и затѣмъ?—спросилъ Винбладъ.

— Въ Индѣйскій и Тихій океаны,—неопредѣленно отвѣчалъ конфедератъ.

— Опять туда!.. назадъ!—невольно воскликнулъ Хрущовъ.

— Не назадъ, а впередъ,—было отвѣтомъ.

— Кто-же насъ посылаетъ?—спросилъ Хрущовъ.

— Я сказалъ: его величество, король французовъ.

— А развѣ мы его подданные?—удивился Мейеръ, до того времени молча курившій сигару.

— А чья-же мы?—озадачилъ его Веніовскій.

— Какъ чья, баронъ! Мы присягали императору Павлу Петровичу.

— Э!—небрежно махнулъ въ воздухѣ рукою Веніовскій: — то были школьныя проказы, а теперь начинается дѣло.

— Но мы ничего не понимаемъ!—съ видимымъ неудовольствіемъ возразилъ Винбладъ.—Въ послѣднее время панъ сталъ держать себя какъ-то странно: хранилъ отъ насъ какую-то тайну.

— То и была тайна, пане Винбладъ,—спокойно отвѣчалъ Веніовскій.

— Отъ насъ-то, баронъ?—удивился Хрущовъ.

— Даже отъ себя самого, не только отъ васъ,—былъ отвѣтъ.

— Почему-же?.. какая это тайна?

— Тайна политическая, господа, государственная, но теперь я могу смѣло открыть мои карты—мои козыри—конечно, только передъ вами, друзья мои... Надѣюсь, здѣсь никто не услышитъ насъ—я хочу сказать: никто не пойметъ русскаго языка.

— Конечно, кому-же насъ подслушивать?

Веніовскій медленно вынулъ сигару, не торопясь закурилъ ее, оглянувшись кругомъ и началъ:

— Вы знаете, господа, что съ тѣхъ поръ, какъ мы во Франціи, я не сидѣлъ сложа руки. Я былъ неоднократно и въ Парижѣ, и въ Лондонѣ. Я изслѣдовалъ политическую почву, и нашелъ, что здѣсь, во Франціи, она прочнѣе, чѣмъ въ Англіи: тамъ она довольно зыбка — я это понялъ изъ намековъ Франклина, съ которымъ имѣлъ продолжитель-

ныя бѣды. Въ Англіи начинается серьезный разладъ съ ея американскими колоніями, и Франклинъ, кажется, правъ, говоря, что старая Англія должна будетъ проститься съ Америкой. Другое дѣло тутъ, во Франціи. Пользуясь замѣшательствомъ гордаго Альбіона, французы охотно готовы подставить ему ножку и уязвить его въ Ахиллесову пятку — въ колоніяхъ дальняго Востока. Этой стрѣлой, которая должна поразить пятку Ахиллеса, буду я, то-есть—мы, друзья мои.

— Какъ-же это, баронъ? — съ прежнимъ недоумѣніемъ спросилъ Хрущовъ.

— Это сложная исторія,—задумчиво глядя на дымъ своей сигары, продолжалъ Беніовскій, какъ-бы не слыша вопроса Хрущова.—Вы знаете, что Франція тайно помогаетъ конфедератамъ въ войнѣ съ Россіею. Храбрый генераль Дюмурье—это было то копье, которое Франція бросила въ войска Екатерины II-й. Копье сдѣлало свое дѣло, но не довело его до конца. Теперь мы, тайно, будемъ готовить этотъ конецъ. Россію ввязали въ войну съ Турціей—это поляки навязали Россіи одно ядро на одну ногу. Мы привяжемъ ей другое—на другую. Въ Парижѣ я нашелъ моихъ соотечественниковъ—князя Казимира Радзивилла, милѣйшаго „*rapie kochanku*“. Вы знаете, что это едва-ли не богатѣйшій вельможа во всей Европѣ. Въ Парижѣ я нашелъ и княгиню Сангушко, очень вліятельную особу при французскомъ дворѣ, наконецъ — графъ Огинскій, нашъ по-славникъ при томъ-же дворѣ. Я имъ открылъ мои планы. Они довели ихъ до свѣдѣнія его величества, короля Людовика XV,—и его величество пожелалъ меня лично видѣть. Я представился, доложилъ ему мой планъ — и вотъ въ нашемъ распоряженіи цѣлая французская эскадра: на-дняхъ она прибудетъ въ Портъ-Луи.

— Но въ чемъ-же заключается планъ пана?—съ прежнимъ нетерпѣніемъ спросилъ Винбладъ.—Мы ничего не знаемъ.

— Сейчасъ—пусть панъ не волнуется,—спокойно отвѣчалъ Беніовскій.—Я все изложу передъ вами, господа. Мы давно не были въ Россіи, и потому не знали, что тамъ дѣлается. А здѣсь все знаютъ, и это все дѣлаетъ исполненіе моихъ плановъ возможнымъ. Тронъ императрицы все-россійской начинаетъ колебаться. Подозрѣваютъ, что императоръ Петръ Третій, котораго десять лѣтъ считали умершимъ, живъ, и тѣнь его начинаетъ появляться то тамъ, то тамъ. Первый разъ она явилась въ Черногоріи, и черногорцы признали въ ней Третьяго Петра. Хотя его и называютъ какимъ-то Стефано-Пикколо—Степаномъ Малымъ, но это не помѣшало ему разбивать турецкія арміи и флоты Венеціанской республики и навести такой страхъ на русскую императрицу, что она отправила въ Черногорію посольство съ княземъ Юріемъ Долгорукимъ во главѣ, съ цѣлью обличить мнимаго Петра Третьяго; однако, черногорцы такъ приняли это посольство, что Долгорукій едва спасся бѣгствомъ. Теперь эта тѣнь господствуетъ почти надъ всѣмъ Балканскимъ полуостровомъ, народы котораго видятъ въ таинственной личности Пикколо всеславянскаго импе-

ратора. Я самъ читалъ объ этомъ въ здѣшнихъ газетахъ. Потомъ въ Воронежѣ явилась другая тѣнь съ именемъ того-же Петра Третьяго, и хотя этого претендента на русскій тронъ, говорятъ, схватили, однако, онъ вскорѣ появился въ третьемъ мѣстѣ—въ Царицынѣ, и его руку приняло и волжское, и донское войско. Можетъ быть, это и самозванцы; но согласитесь, господа, что дыму не бываетъ безъ огня, и этотъ дымъ, видимо, стелется надъ Россіей и надъ южнымъ славянствомъ и очень ѣсть глаза російской императрицѣ.

— Но я не понимаю, баронъ, какое отношеніе все это имѣетъ къ нашему дѣлу?—замѣтилъ Хрущовъ.

— Очень, очень большое отношеніе!—отвѣчалъ съ живостью Беніовскій.—Но выслушайте меня дальше.—Однимъ словомъ, въ русскомъ царствѣ что-то неладно. Теперь обстоятельства слагаются такъ, что мы, недавно бывшіе арестантами у Нилова и у русской царицы, скоро будемъ—какъ вамъ сказать?—господами въ Россіи, то-есть—я, баронъ Беніовскій, вы, господинъ Хрущовъ, и вы, панъ Винбладъ, и вы, наконецъ, господинъ Мейдеръ, мы скоро будемъ распорядителями російскаго трона.

— Что-то странное приходится намъ слушать, — пожалъ плечами Хрущовъ.—Не польскія-ли это мечтанія? Вы, поляки, очень увлекающаяся нація!

— Нѣтъ, не польскія мечтанія!—горячо возразилъ Беніовскій.—Выслушайте меня до конца. Я сказалъ—и не я, а Франклинъ, что Англіи теперь приходится думать о своей шкурѣ. Россіи—тоже. Мы съ французской эскадрою и десантомъ выходимъ въ море. У насъ два пути, даже три: одинъ—черезъ Средиземное море и Дарданеллы, въ союзѣ съ турецкимъ флотомъ—парализовать ноги Россіи: Чернымъ и Азовскимъ морями достигнуть устьевъ Дона, и вмѣстѣ съ донскими и волжскими казаками—къ вамъ присоединятся и яцкіе, которые давно оказались непокорными русскому правительству—вмѣстѣ съ казаками идти на Русь и сажать на російскій престолъ того, кто будетъ нашимъ союзникомъ, вѣрнѣе — нашимъ слугою, хотя-бы это былъ Стефанъ Пикколо. Второй путь—Атлантическимъ, Индѣйскимъ и Тихимъ океанами достигнуть восточныхъ окраинъ Россіи — Камчатки, Сибири, и уже оттуда предписывать указы Петербургу черезъ Парижъ и Варшаву... Понятно?

— Понятно,—грустно отвѣчалъ Хрущовъ:—но это не болѣе, какъ блестящая фантазія.

Въ это время подъ балкономъ отеля простучали колеса громоздкаго экипажа и у подъѣзда остановилась богатая карета, на золотомъ гербѣ которой ярко вырисовывался профиль двуглаваго орла. Сидѣвшій на козлахъ рядомъ съ кучеромъ лакей въ богатой ливреѣ соскочилъ съ козелъ, почтительно подошелъ къ окну кареты и вытянулся въ струнку. Каретное окно опустилось, и откуда выглянуло необыкновенно миловидное женское личико, отдавая какія-то приказанія лакею.

Черезъ минуту ливрейный франтъ стоялъ въ почтительной позѣ въ
т. XXVIII.

дверяхъ, ведущихъ на балконъ, гдѣ сидѣли Беніовскій, Хрущовъ, Винбладъ и Мейдеръ.

— Monsieur le baron Beniowsky?

— Я,—отвѣчалъ конфедератъ.

— Son altesse serenissime, madame la princesse Elisabeth de Wolodimir, проситъ господина барона на пару словъ.

— Сейчасъ—доложите ея высочеству.

Беніовскій заторопился, и, не простившись съ своими товарищами,, моментально сбѣжалъ къ стоявшей у подъѣзда каретѣ. Дверка кареты отворилась, оттуда снова выглянуло то-же миловидное женское личико, озаренное улыбкой, и показало рукой на переднее сидѣнье.

Беніовскій съ глубокимъ поклономъ вошелъ въ карету,—и громоздкій экипажъ помчался вдоль набережной.

Какъ громомъ пораженные, остались на балконѣ Хрущовъ, Винбладъ и Мейдеръ.

— Ея высочество... serenissime?

— Принцесса Елизавета?... Это что такое?...

XXVIII.

„Великій планъ“.

Поздно вечеромъ воротился Беніовскій. Его таинственная поѣздка съ какою-то принцессою Елизаветою, которую величаютъ „ея высочествомъ“, „son altesse serenissime“, и притомъ принцессою Владимірскою,—привела всѣхъ въ недоумѣніе. Сюрпризъ на сюрпризъ! То сношенія съ Франклиномъ, великимъ гражданиномъ Англіи, то аудіенція у короля Людовика XV, то походъ во главѣ цѣлой французской эскадры въ Индійскій и Тихій океаны для завоеванія англійскихъ колоній—и вдругъ какая-то принцесса Елизавета Владимірская, да еще и „ея высочество“! Это—нѣчто изъ „Тысячи и одной ночи“, особенно если принять во вниманіе походы нашихъ молодцовъ въ Камчаткѣ, въ Японіи, на островѣ Формозѣ, на Мадагаскарѣ...

Что-же будетъ еще дальше? Зачѣмъ эта княжна Елизавета съ царственнымъ титуломъ? Кто она, откуда? И какія отношенія можетъ она имѣть къ Беніовскому, а Беніовскій къ ней?

Хрущовъ, Мейдеръ и Винбладъ, сидя въ комнатѣ отеля, въ Портъ-Луи, тихо разговаривали о превратностяхъ своей скитальческой жизни, когда къ нимъ вошелъ Беніовскій. Онъ казался возбужденнымъ болѣе обыкновеннаго. Стальной взглядъ его искрился холоднымъ огнемъ. Что всѣхъ поразило въ немъ, кромѣ этого холоднаго огня его глазъ,—это блескъ на груди какого-то креста, какого они на немъ никогда не видѣли. Это былъ какой-то невѣдомый для нихъ орденъ. Откуда онъ? Что за орденъ?

— Господа!—сказалъ вошедшій торжественно:—наше дѣло принимаетъ грандіозные размѣры: скоро, очень скоро лицо Европы будетъ измѣнено,

и на ландкартахъ, которыя появятся въ школахъ черезъ нѣсколько лѣтъ, ученики будутъ поражены новыми границами государствъ и не будутъ знать, гдѣ начало и конецъ Россіи, гдѣ начало и конецъ Польши.

Тѣ, къ кому относились эти слова, слушали оратора молча, съ видимымъ недоверіемъ. Они давно знали его склонность къ преувеличеніямъ и необузданность его фантазій. Онъ былъ скорѣе поэтъ политическихъ иллюзій, чѣмъ трезвый политикъ, и скорѣе пылкій энтузіастъ, чѣмъ холодный фанатикъ.

Хрущовъ даже улыбнулся. „Настоящій полякъ! подумалъ онъ.—Въ самомъ умномъ изъ нихъ сидитъ ребенокъ“.

— Что-же случилось въ эти нѣсколько часовъ, пока мы васъ не видѣли, баронъ?—спросилъ Хрущовъ.

— Случилось нѣчто необычайное, невѣроятное, и вы все это сейчасъ узнаете,—отвѣчалъ энтузіастъ.

— А что означаетъ этотъ орденъ на груди у пана? спросилъ Винбладъ.

— И это скоро узнаетъ панъ Адольфъ,—былъ отвѣтъ.

Беніовскій сѣлъ въ покойное кресло и закурилъ сигару.

— Я вамъ не успѣлъ сообщить, господа,—началъ онъ,—что въ Парижѣ я былъ представленъ графомъ Огивскимъ, посломъ королевства польскаго и княжества литовскаго, ея высочеству—добавилъ: императорскому высочеству,—законной и прямой наслѣдницѣ всероссійскаго престола.

— Какъ!—изумился Хрущовъ.—Великой княгинѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, супругѣ великаго князя Павла Петровича, котораго мы такъ торжественно возвели въ Бولیверѣцкѣ на всероссійской престолъ?—добавилъ онъ съ горькой вроніей.

— О, нѣтъ!—небрежно отвѣчалъ Беніовскій,—Марія Ѳеодоровна—только супруга того, кого считаютъ наслѣдникомъ престола по императрицѣ Екатеринѣ II; но меня представили настоящей, поймите—настоящей, законной наслѣдницѣ, у которой императрица Екатерина случайно—какъ-бы деликатнѣе выразиться?—ошибкой утащила тронъ изъ-подъ сидѣнья, и такъ-же ошибкой ея шляпку, называемую короной, надѣла на свою голову.

Слушатели, видимо, не могли взять въ толкъ того, что говорилъ имъ, играя словами, неисправимый фантазеръ. Какая „чужая корона“? у кого утащили изъ-подъ сидѣнья тронъ?

Хрущовъ только пожалъ плечами.

— Кто-жъ она такая?—спросилъ Мейдеръ.

— Вы ее видѣли,—загадочно отвѣчалъ Беніовскій.

— Когда? гдѣ?

— Здѣсь, часа три тому назадъ.

— Эта красавица, что подъѣзжала къ нашему отелю въ каретѣ, съ двуглавымъ орломъ въ гербѣ? Такъ это она?

— Да, вы имѣли счастье видѣть наслѣдницу россійскаго престола, родную внучку Петра Великаго.

— Внучку Петра Великаго? Отъ кого же?

— Отъ императрицы Елизаветы Петровны.

— Какъ!—вмѣшался Винбладъ.—Да, вѣдь, Елизавета Петровна не была даже замужемъ!

— Это ничего не значить, — замѣтилъ было Беніовскій; но его прервалъ Хрущовъ.

— Нѣтъ, не говорите этого, — сказалъ онъ серьезно: — императрица Елизавета Петровна была замужемъ за графомъ Разумовскимъ и отъ него имѣла дочь, принцессу Августу, но гдѣ она и жива-ли—это едва-ли кому извѣстно.

— Она здравствуетъ, — торжественно сказалъ Беніовскій: — и вы ее сами видѣли сегодня.

— Но гдѣ доказательства, что это именно принцесса Августа, а не самозванка?—возразилъ Хрущовъ.

— О, доказательствъ много, — отвѣчалъ Беніовскій: — вотъ одно изъ нихъ.

Онъ всталъ, подошелъ къ письменному столу, отперъ его ключикомъ, висѣвшимъ у него на цѣпочкѣ часовъ, и вынулъ оттуда небольшую шкатулку, только-что привезенную имъ изъ Парижа. Посредствомъ какого-то секретнаго механизма онъ открылъ шкатулку и вынулъ изъ нея пакетъ изъ голубого бархата. Въ пакетѣ оказалось письмо.

— Читайте, — сказалъ онъ, поднося письмо къ Хрущову, — читайте адресъ.

Хрущовъ прочелъ: „A son altesse imperiale serenissime, madame la princesse Elisabeth des Toutes les Russies“.

— Понимаете? Всероссийской...

— Понимаю. Что-жъ изъ этого? Кому это адресовано и кто пишетъ?—настаивалъ Хрущовъ.

Беніовскій вскрылъ письмо — оно не было запечатано. На бланкѣ письма оказался гербъ князей Радзивилловъ. Подъ гербомъ—текстъ письма, писаннаго тоже по-французски.

И Мейдеръ, и Винбладъ подошли и съ любопытствомъ стали разсматривать письмо.

Хрущовъ читалъ вслухъ (по-французски): „Я смотрю на предпріятіе вашего высочества, какъ на чудо Провидѣнія, которое бдитъ надъ нашею несчастною страной. Оно послало ей на помощь васъ, такую великую героиню. Его величество, король французовъ, вполне увѣренъ, что ваше высочество со славою выполните вашъ великій планъ“.

— Подпись князя Радзивилла, — пояснилъ Беніовскій.

Изумленіе было общее. Даже Хрущовъ смотрѣлъ такимъ смущеннымъ.

— Откуда же это письмо?—спросилъ онъ.

— Князь Радзивиллъ лично вручилъ мнѣ его для доставленія ея высочеству, государынѣ цесаревнѣ, — былъ отвѣтъ.

— Это принцессѣ Елизаветѣ?

— Именно ей—цесаревнѣ.

- А гдѣ же дѣвалась принцесса Августа?
- Она и есть принцесса Августа,—улыбнулся Беніовскій.
- Странно!—пожалъ плечами Ома не вѣрующій—Хрущовъ.
- Ничего нѣтъ страннаго,—продолжалъ улыбаться Беніовскій:—она же есть и la sultane Aline—ея величество, султанша Алина, Али-Эмете, и madame la princesse-d'Azow—принцесса азовская.
- Часъ отъ часу не легче!—воскликнулъ Хрущовъ.
- Зачѣмъ же столько именъ и титуловъ?—спросилъ Мейдеръ.
- Это все инкогнито ея высочества,—пояснилъ Беніовскій.
- Чудеса въ рѣшетѣ!—не унимался не вѣрующій Ома.
- Чудеса,—согласился и Беніовскій:—только еще не всѣ. Видите вотъ этотъ крестъ у меня на груди?—онъ указалъ на орденъ, блестящій какъ звѣздочка.
- Это еще что такое? Откуда?—спрашивали всѣ.
- Это „крестъ Азіатскаго ордена“,—былъ отвѣтъ.
- Беніовскій досталъ изъ бокового кармана своего камзола небольшой пергаментный свертокъ и показалъ своимъ товарищамъ. Это была грамота на „орденъ Азіатскаго креста“, пожалованный барону Морицу-Іосифу-Анадару Беніовскому.
- La croix de l'ordre asiatique, fondé par notre majesté, la sultane Aline,—прочелъ Винбладъ.
- За что же она его пожаловала?—спросилъ Хрущовъ, терявшій голову въ этой путаницѣ.
- За предстоящую мнѣ миссію—водруженіе креста среди народовъ Азіи и Африки,—былъ отвѣтъ.
- Но почему она называется также и принцессою Владимірскою?—не унимался Хрущовъ.
- Это тоже ея инкогнито,—отвѣчалъ Беніовскій:—мало того, ее называютъ въ Россіи княжною Таракановою.
- Почему же Таракановою?
- Просто—по московской глупости, по деревянности языка москвитовъ,—улыбнулся Беніовскій. — Какъ вамъ извѣстно (продолжалъ онъ серьезно), ея высочество родилась отъ графа Разумовскаго, въ семействѣ котораго она и воспитывалась съ дѣтства. Воспитательницей ея была нѣкая госпожа Дараганъ—извѣстная въ Россіи фамилія. Чтобы скрыть истинное происхожденіе маленькой принцессы, ее выдавали за дочку этой самой госпожи Дараганъ. Ваши же милые москвиты,—обратился онъ опять съ улыбкой къ Хрущову,—имѣютъ дурное обыкновеніе коверкать иностранныя слова и имена: такъ, извѣстная англійская фамилія Гамильтона на русской службѣ передѣлалась въ фамилію Хомутовыхъ—оно, знаете, понятнѣе, роднѣе—отъ хомута. По этой московской привычкѣ и госпожу Дараганъ превратили въ Тараканову—все же пріятнѣе для московскаго слуха: тараканъ—любимое домашнее животное москвитовъ.

Винбладъ и Мейдеръ засмѣялись, а Хрущовъ только насмѣхался.

— О какомъ это великомъ предпріятіи пишетъ ей Радзивиллъ?—спросилъ онъ, немного помолчавъ.—Оно извѣстно вамъ?

— Извѣстно, потому что я, вашъ покорнѣйшій слуга,—творецъ этого великаго плана,—отвѣчалъ Беніовскій съ легкимъ поклономъ.

— Это не тайна для насъ?

— Для васъ, мои друзья, не тайна, потому что я надѣюсь имѣть въ васъ лучшихъ сподвижниковъ въ приведеніи этого плана въ исполненіе. Труднѣйшее нами уже сдѣлано безъ всякой посторонней помощи: кто изъ Камчатки, изъ острога, завоевалъ Францію и Польшу—я говорю иносказательно—тогъ съ такими союзниками, какъ Франція и Польша, завоеуетъ полміра. И мы это сдѣлаемъ, друзья мои.

Хотя Хрущовъ на этотъ разъ ничего не сказалъ, но Беніовскій у него въ глазахъ прочелъ недовѣріе, и нахмурился.

— Вы не одобряете, кажется, моего плана, Петръ Алексѣевичъ?—обратился онъ къ молчавшему Хрущову, и въ голосъ его прозвучала нота задѣтаго самолюбія.

— Я не могу ни одобрить, ни не одобрить его, потому что не знаю вашего плана,—былъ отвѣтъ.

— Хорошо-же, — сказалъ Беніовскій: — я сообщу его вамъ вкратцѣ. Вонъ онъ: Франція высылаетъ вспомогательный корпусъ въ Польшу для подкрѣпленія конфедератовъ; ся императорское высочество вмѣстѣ съ княземъ Радзивилломъ отправляется въ Константинополь для заключенія союза съ блистательною Портою противъ той особы, которая похитила ея тронъ...

— Это противъ императрицы Екатерины Второй?—перебилъ его Хрущовъ.

— Да, именно — противъ той особы, которая запрятала насъ въ Вольшервѣдскій острогъ.

— Ну, и что-жъ дальше?

— Изъ Константинополя цесаревна Елизавета отправляется съ манифестомъ къ русской арміи, которая теперь въ Турціи, и предъявить свои права на всероссійскій престолъ.

— Предъявить-то можно—отчего не предъявить?—да только...

Беніовскій вскопился, какъ ужаленный. Недокуренная сигара его покати-лась на полъ къ ногамъ Хрущова.

— И вы думаете, что надо быть пророкомъ,—вскричалъ онъ,—чтобы предсказать, за кого станетъ русская армія — за внуку-ли Петра Великаго или...

Онъ не договорилъ и нагнулся за своей сигарой.

— А мы-то тутъ причемъ-же?—спросилъ Хрущовъ, вставая.

— Мы съ французской эскадрой пересѣкаемъ океаны и являемся въ Камчаткѣ.

— Опять? Это зачѣмъ-же? Въ острогъ снова попасть? Да для этого не надо пересѣкать океаны: стоитъ только явиться на первый русскій пограничный форпостъ—и мы въ острогъ,—съ какимъ-то раздраженіемъ говорилъ Хрущовъ.

Послѣ смерти Аванасія, которую онъ втайнѣ любилъ и которая сама погибла оттого, что любила Бениовскаго и не перенесла выпавшихъ на ея долю страшныхъ испытаній, Хрущовъ въ душѣ проклиналъ, какъ онъ думалъ, убійцу бѣдной Фани.

Въ это время кто-то постучался въ дверь.

— Войдите! — откликнулся Бениовскій.

Вошелъ Уфтяжаниновъ. Онъ казался сильно взволнованнымъ.

— А, это ты, Уфтяжаниновъ. Что тебѣ? — спросилъ Бениовскій.

— У насъ, господинъ капитанъ, на галютѣ неладно, — отвѣчалъ Уфтяжаниновъ.

— Что такое?

— Экипажъ бунтуетъ, господинъ капитанъ!

XXIX.

Б у н т ь.

На галютѣ дѣйствительно было не ладно.

Матросы, соскучившись безконечной стоянкой въ Портъ-Луи, давно втайнѣ роптали на своего командира. Въ Камчаткѣ, во время низверженія и убійства воеводы Нилова и когда готовились отплыть въ океанъ, имъ сулили золотыя горы; вмѣсто того, имъ предстояли только скитанья по невѣдомымъ морямъ и океанамъ, а иногда и голоданье. Это-бы еще ничего — на то они и шли въ море: назвался грибомъ — полѣзай въ кузовъ. Но за этимъ кузовомъ имъ мерещилась вдали родная сторона, покой, довольство и великія милости отъ начальства. И вдругъ оказывается, что родной стороной ихъ только поманили.

Недаромъ пройдоха Чулошниковъ, бывшій компанейскій приказчикъ купца Холодилова, бросившій своего хозяина и Камчатку тоже ради этихъ сулимыхъ впередъ золотыхъ горъ, недаромъ этотъ жохъ намекалъ, что не видать имъ Россіи, какъ своихъ ушей, что „польскій панъ“ заведетъ ихъ туда, куда воронъ и костей не заноситъ. А тутъ еще стали поговаривать, что имъ придется опять ломать присягу и цѣловать крестъ французскому королю, — это ужъ послѣднее дѣло.

Поповичъ Уфтяжаниновъ, наиболѣе всѣхъ оставшійся преданнымъ своему учителю и полубогу, Бениовскому, недаромъ замѣчалъ, что Чулошниковъ все чаще и чаще сталъ шептаться съ старой Пахомовной, нянею безвременно погибшей Аванасія. Послѣ смерти своей любимицы, старуха иначе не думала о Бениовскомъ, какъ объ „аспидѣ“, о змѣѣ-горынычѣ, высосавшемъ всю кровь изъ сердца ея золотой барышни“, и только и помышляла о возвратѣ въ Россію, чтобъ тамъ поступить въ монастырь и до конца жизни молиться о „чистой душенькѣ своего херувимчика“. Казалось-бы, что до Россіи уже только рукой подать; вѣдь, цѣлый годъ мыкались по морямъ и океанамъ; были и въ такихъ моряхъ, гдѣ въ полдень солнышко ходитъ не по полуденной сторонѣ, а по полунощной, и мѣсякъ встаетъ и садится не тамъ, гдѣ бы ему слѣдовало, какъ у людей. И вдругъ

Чулошниковъ намекаетъ, что придется, поди, опять плыть туда, гдѣ солнышко изъ океана выходитъ.

Чулошниковъ и задумалъ вотъ что: подговоривъ не довольныхъ матросовъ и воспользовавшись темною ночью и попутнымъ вѣтромъ, тайно отъ Беніовскаго и прочихъ офицеровъ сняться съ якоря и плыть прямо въ Россію съ повинными головами.

Но замыслы Чулошникова не могли укрыться отъ зоркихъ глазъ попovichа, притомъ же глуповатый увалень Потоловъ нечаянно проболтался, что „и безъ зеленой грамоты они-де найдутъ себѣ мѣсто“.

Однако, извѣстіе, принесенное Уфтюжаниновымъ, не очень взволновало Беніовскаго. Что ему ничтожная горсть его экипажа, когда въ его распоряженіи скоро будетъ цѣлая эскадра, хорошо вооруженная и съ самыми опытными французскими матросами! Недовольныхъ москалей онъ просто вышвырнетъ за бортъ гальота—оставить ихъ въ Портъ-Луи: пусть идутъ, куда хотятъ.

Явившись тотчасъ на гальотъ вмѣстѣ съ своими офицерами, Беніовскій прошелъ прямо въ свою каюту и приказалъ всему экипажу собраться на палубѣ.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ вышелъ къ матросамъ. Ночь была тихая, лѣтняя. Полная луна, освѣщая встревоженныхъ и угрюмыхъ лицъ матросовъ, бросала фантастическія тѣни на палубу и на море. Откуда-то доносился глухой, невнятный говоръ рупора. Беніовскій остановился такъ, что загорѣлое лицо его заливалъ лунный свѣтъ, а висѣвшій на груди его крестъ таинственнаго „Азіатскаго ордена“ искрился холоднымъ огнемъ.

— Здравствуйте, ребята!—сказалъ онъ глухо.

— Здравія желаемъ,—послышалось нѣсколько голосовъ.

Это были голоса Уфтюжанинова, Андреянова и Потолова. Другіе упорно молчали, потупивъ глаза.

— На-дняхъ мы должны снаряжаться въ дальнюю экспедицію,—продолжалъ Беніовскій, возвысивъ голосъ.—Его величество, всемилостивѣйшій Людовикъ XV, король французовъ, отдаетъ подъ мою команду сильную и хорошо вооруженную эскадру. Намъ ожидаютъ славные подвиги.

Онъ остановился.

— Рады стараться!—выкрикнулъ Уфтюжаниновъ.

За нимъ то-же повторили Андреяновъ и Потоловъ. Прочіе матросы молчали.

Чулошниковъ, стоявшій фланговымъ, ближе къ мачтѣ, замѣтно вздрогнулъ. Изъ-за мачты, освѣщенное луной, глядѣло на него блѣдное лицо старухи. Сѣдые волосы ея выбились изъ-подъ головного платка и свѣтились фосфорическимъ блескомъ. Она дѣлала Чулошникову какіе-то знаки.

— Вамъ благородіе!—вдругъ заговорилъ Чулошниковъ глухимъ голосомъ, точно ему давили горло.—А куда мы пойдемъ отседѣ?

Беніовскій повернулся прямо къ нему и гордо поднималъ голову.

— Какъ куда? Куда я укажу!

Блѣдное лицо старухи опять выглянуло изъ-за мачты.

— Ваше благородіе!—еще глуше заговорилъ Чулошниковъ:—когда мы въ Камчаткѣ чинили то дѣйство надъ воеводою и прочими, вы намъ говорили, что мы моремъ-океяномъ дойдемъ до Питера; а теперича вы хотите опять вести насъ невѣдомо куда. Воля ваша, мы не согласны.

— Кто мы?—спокойно спросилъ Беніовскій.

— Мы всѣ, ваше благородіе,—отвѣчалъ Чулошниковъ.

— Всѣ мы! всѣ!—повторили другіе матросы.

Блѣдное лицо старухи, выглянувшее изъ-за мачты, озарилось радостной улыбкой. Хрущовъ, стоявшій недалеко отъ Беніовскаго, потупилъ глаза.

Беніовскій поднялъ голову еще выше и сдѣлалъ шагъ къ Уфтюжанинову.

— И ты, мой Брутъ!—воскликнулъ онъ театрално.

— Я не Брутъ, мой Цезарь!—отвѣчалъ поповичъ, выступая впередъ:—Если бы какой злодѣй направилъ ударъ на моего Цезаря, я-бы тотъ ударъ принялъ на свою грудь, или поразилъ-бы злодѣя!

— Спасибо, мой юный герой!—съ чувствомъ произнесъ Беніовскій. —Такъ ты отъ меня не отречешься?

— Никогда, мой Цезарь!

— И я за нимъ, ваше благородіе!—выступилъ впередъ Андреяновъ.

— Спасибо!

— И я, ваше благородіе!—брякнулъ Потоловъ.

Между матросами послышался сдержанный смѣхъ.

— Хорошо, ребята, — завтра-же я васъ отпущу на всѣ четыре стороны,—произнесъ Беніовскій.—Спасибо за прежнюю службу!

— Рады стараться, ваше благородіе!—весело вскричала команда.

Далекій рупоръ, казалось, вторилъ этому веселому отклику.

Когда Беніовскій, Хрущовъ, Винбладъ и Мейдеръ возвращались въ свой отель, съ гальота слышалась дружная, заунывная мелодія, и голосъ Чулошникова особенно явственно выносилъ знакомыя грустные слова:

Сторона-ль моя, сторонushка,
Сторона-ль моя, незнакомая!

XXX.

Второе письмо Хрущова нъ сестрѣ.

Франція.—Портъ-Луи.

12 іюня 1772.

„Кому повѣмъ печаль мою? Кого призову съ рыданіемъ!“

Тебѣ, моя дорогая Наташа, все повѣдаю! Тебя, моя незабвенная, призову съ рыданіемъ.

Кажется, моя участь должна скоро рѣшиться: рѣшаетъ ее судьба неизбѣжная.

Беніовскій, наконецъ, воротился изъ Парижа. Если онъ не преувеличиваетъ и не самообольщается, передъ нимъ открывается широкая дорога для великихъ подвиговъ, для славы, величія, но которая можетъ привести его и къ трагическому концу.

Король Людовикъ XV отдаетъ въ его распоряженіе пѣлую эскадру для завоеванія колоній въ Индѣйскомъ и Тихомъ океанахъ. Цѣль этихъ экспедицій—ослабить колоніальныя силы Англіи и усилить въ колоніяхъ владычество Франціи.

Кромѣ того, здѣсь творится что-то необычайное. Появилась какая-то таинственная личность, которую называютъ дочерью покойной императрицы Елизаветы Петровны и которая будто-бы намѣрена возвратить себѣ все-россійскій тронъ, похищенный якобы у нея Екатериною II.

О, Наташа! ты знаешь — за это имя и меня взводили на плаху; это имя и меня послало въ камчатскія тундры. Благодаря этому имени, я мыкаюсь теперь по бѣлу свѣту. Это имя отняло у меня мою родину, мою первую и—последнюю любовь...

И я бы пошелъ за таинственной личностью; но я ожидаю, что она навлечетъ на Россію страшныя бѣдствія. Она вступаетъ въ союзъ съ Польшею и Турціею, и ведетъ на Россію три державы.

Ну, да что объ этомъ, дорогая Наточка!—я не о политикѣ хочу говорить съ тобою. Меня грызетъ мысль о томъ, что мнѣ дѣлать съ собою, куда нести свою горемычную голову? Я все потерялъ, все—и родину, и родныхъ, и все, что любилъ. Я, подобно тому „Марку проклятому“, что толокся по пеклу съ мертвою головою своей жертвы въ торбѣ за плечами, — такъ я толкусь по бѣлу свѣту съ своею торбою, только въ этой торбѣ моя собственная загубленная голова и моя безысходная тоска. Куда дѣваться съ этою ношею? Говорятъ — тоску разстять можно.—Разстѣять! Точно это зерна.—Да, именно зерна — зерна злого, ядовитаго сѣмени. Разъ это проклятое сѣмя завелось въ душѣ, оно отравитъ всю жизнь. Помнишь, когда ты была еще маленькой дѣвочкой, но уже понимавшей меня твоимъ чуткимъ сердчишкомъ, а я уже былъ поручникомъ лейбъ-гвардіи измайловскаго полка и уже носился съ своею проклятою торбою за плечами, какъ носится дурень съ писаною торбою, ты нерѣдко бывало спрашивала меня: „Петя! ты что задумалъ?“ А я задумалъ такое, что довело меня до паники, а потомъ занесло въ камчатскія тундры, мыкало по океанамъ, подъ солнцемъ тропиковъ и экватора, и еще будетъ мыкать, какъ щепку въ морѣ. Вѣдная Фаня! еще когда она была жива, міръ не казался мнѣ пустынею: она замѣняла мнѣ весь міръ. Странное, непостижимое это чувство—любовь. Это такая святыня, такое сокровище человѣческой души, что, кто обрящетъ это сокровище—міръ весь обрящетъ, всю вселенную вмѣститъ въ своемъ сердцѣ. Когда мы носились по невѣдомымъ океанамъ, когда полуденное солнце бросало мою тѣнь не на сѣверъ, какъ это всегда у насъ бываетъ, а къ югу, когда надъ головою моею носились невѣдомыя птицы, а по ночамъ горѣли надо мной никогда

невиданный созвѣздiя и когда я былъ такъ далеко отъ родной земли, что даже мыслью въ нее перенестись было страшно, — я не спрашивалъ себя—гдѣ я и попаду-ли опять въ край родной: — я только одно зналъ, что Фаня близко—и вся вселенная была со мною.

А теперь? Теперь одно осталось у меня: увидѣть родныя мѣста, гдѣ протекло мое золотое дѣтство, увидѣть и обнять тебя. Но какъ пробраться туда, чтобы не очутиться въ еще горшей неволѣ? Вѣдь, въ ссылкѣ я совершилъ вторичное, еще болѣе тяжкое преступленіе. За это меня ожидаютъ, безспорно, смертная казнь. Одно для меня спасеніе—восшествіе на престолъ наслѣдника цесаревича. Вѣдь, его именемъ мы произвели переворотъ въ Камчаткѣ, отъ его имени сносились съ мадагаскарскимъ царемъ Радамою и приобрѣли въ немъ союзника Россіи. Не моя вина, если Беніовскій будетъ теперь дѣйствовать именемъ Франціи и въ пользу Людовика XV-го, а не Павла Петровича: я пребываю вѣроподаннымъ послѣдняго. Мнѣ одно остается—пробраться въ Россію и, скрываясь гдѣ-либо у васъ подъ крылышкомъ, ожидать всемилостивѣйшаго манифеста. Беніовскаго я оставляю: послѣ смерти бѣдной Фани—онъ ея убійца — я не могу дышать съ нимъ однимъ воздухомъ. Да и всѣ наши, кажется, покидаютъ его — Мейдеръ, Чулошниковъ, даже старая няня нашей дорогой покойницы, незабвенной Фани. Съ нимъ останется только—поповичъ Уфтожаниновъ, слѣпая жертва увлеченія, да матросы Андреяновъ и Потоловъ—послѣдній—по глупости: онъ все ждетъ какой-то „зеленой грамоты“. Къ удивленію, съ Андреяновымъ остается и его жена, добродушная Анна. У нея свои аргументы: „кто жъ ево, сердечново (это мужа-то), обшивать, обмывать будетъ на чужой сторонѣ?“ И для нея, вѣроятно, въ ея „сердечномъ“ вмѣщается вся вселенная. Каждому свое — *sonn siuque*...

А что наши березки, которые мы посадили съ тобой передъ отправленіемъ моимъ въ полкъ? — Выросли, не погибли, и которая изъ нихъ переросла—твоя или моя?

Если будешь писать мнѣ, Натуся, и высылать деньги, то адресуй такъ: France. Port-Louis. Hôtel de marins. A m-r Adolphe Vinblad.

Обнимаю тебя горячо, горячо.—Твой старый дружище Петя.“

XXXI.

Тѣнь Банно.

Въ гавани Портъ-Луи обращаегъ на себя всеобщее вниманіе велико-лѣпный фрегатъ дальняго плаванія — „Tonnerre“, вооруженный орудіями солиднаго размѣра и превосходно оснащенный. Надъ нимъ, тихо вздымаемый лѣпнымъ утреннимъ вѣтеркомъ, полощется въ воздухѣ французскій флагъ. На палубѣ видны французскіе матросы.

Войдемъ въ каютъ-кампанію. Это довольно просгорная комната, вся изъ краснаго дерева, узорно отороченнаго блестящею бронзою. Посерединѣ

длинный столъ, окаймленный обитыми бархатомъ сидѣньями съ подвижными спинками. Надъ столомъ, во всю его длину, спускается съ потолка гигантскій цвѣтной вѣтеръ, который качается при малѣйшемъ движеніи фрегата и навѣваетъ прохладу на сидящихъ за столомъ. На столѣ разложены морскія ландкарты и бумаги.

За столомъ, на капитанскомъ мѣстѣ, сидитъ Беніовскій. На немъ мундиръ французскаго контръ-адмирала, а на груди — орденъ Азіатскаго креста. По бокамъ его сидятъ Винбладъ и Мейдеръ. Хрущовъ — у противоположнаго конца стола. За нимъ на табуретѣ, у стѣнки, Уфтюжаниновъ, тоже въ мундирѣ французскаго моряка. У дверей каютъ-кампаніи стоятъ на часахъ Андрияновъ и Потоловъ. Они тоже въ одеждѣ французскихъ матросовъ.

— Его величество, — говоритъ Беніовскій, воля указательнымъ пальцемъ по разложенной на столѣ ландкартѣ, — раздѣляя мое мнѣніе, полагаетъ, что намъ удобнѣе и выгоднѣе будетъ заваять Мадагаскаръ. Это одна изъ самыхъ важныхъ станцій по пути къ восточнымъ владѣніямъ европейскихъ государствъ. Мадагаскаръ долженъ сдѣлаться базисомъ нашихъ дѣйствій на дальнемъ Востокѣ. Мы этимъ подсыкаемъ крылья англичанамъ на мысѣ Доброй Надежды. Когда въ Шербургѣ будетъ готова моя эскадра, мы тотчасъ выйдемъ въ море.

Онъ глянулъ на Хрущова, который, казалось, не слушалъ его. Зато глаза Потолова упорно слѣдили за указательнымъ пальцемъ Беніовскаго, словно бы изъ-подъ него должна была выскочить таинственная „зеленая грамота“, которою чужаки доселѣ бредили.

— Мои планы близки къ исполненію, — продолжалъ Беніовскій, котораго Уфтюжаниновъ, казалось, пожиралъ глазами. — Горе московской державѣ! У меня съ нею личные счеты, и я сведу ихъ скоро, очень скоро! Она третировала меня не какъ свободнаго воина, взятаго въ плѣнъ съ оружіемъ въ рукахъ, а какъ своего измѣнника, какъ вора! Я ей не измѣнялъ, я честно сражался за свою отчизну, и она скоро услышитъ мой голосъ и голосъ моихъ орудій, которыми я буду громить Россію на дальнемъ Востокѣ, гдѣ томятся по острогамъ мои и ваши братья.

— Но, баронъ, — съ горькою ироніей замѣтилъ Хрущовъ, — у Россіи тоже громокъ голосъ и голоса російскихъ орудій тоже очень громки. Не довелось-бы намъ здѣсь, въ Портъ-Луи, услышать, какъ широки горла у русскихъ пушекъ.

Беніовскій презрительно улыбнулся.

— Не бойтесь, — возразилъ онъ Хрущову, — не услышимъ: Москва охрипла и ея орудія гриппъ схватили, промочивъ ноги на Дунаѣ. Понимаете?

— Извините, баронъ, я не понимаю вашихъ иносказаній.

— Это не иносказанія, а горькая правда: знаете, что Русь теперь слаба, вся расшатана.

— Почему-же именно теперь? — спросилъ Хрущовъ.

— А потому, что Россію рвутъ на части и турецкіе, и польскіе, и даже русскіе зубы.

— Ну,—небрежно замѣтилъ Хрущовъ,—она эти зубы разомъ всѣмъ повыбьетъ солдатскими прикладами.

— Не говорите этого, мой другъ,—снисходительно улынулся Беніовскій:—я вижу, что вы ничего не знаете и повидимому не читаете газетъ.

— Я имъ не вѣрю, баронъ.

— Напрасно. Войска Мустафы уже переходятъ Балканы—идутъ въ гости къ москалямъ.

— Милости просимъ; москали ихъ сумѣютъ угостить.

— Сухарями?

— Да—чугунными.

— Ну, это еще вопросъ, а что турецкій флотъ уже пѣннить волны Чернаго моря—это уже не вопросъ.

— Какой это флотъ?—спросилъ Хрущовъ съ улыбкой.—Ужъ не тотъ ли самый, что графъ Алексѣй Орловъ спалилъ при Чесмѣ, какъ стогъ сухой соломы?

— Нѣтъ, не тотъ, а другой; русскій-же флотъ, который могъ-бы съ нимъ потягаться, занимается въ Адриатическомъ морѣ ловлею одной птицы очень высокаго полета.

— Это что за птица? Я не понимаю, любезный баронъ, вашихъ аллегорій,—хладнокровно замѣтилъ Хрущовъ.

— Что за птица?—съ улыбкой спросилъ Беніовскій.—Птицу эту называютъ Петромъ Третьимъ.

Хрущовъ пожалъ плечами,

— Французскія и польскія сказки!—улынулся и Хрущовъ.—Холодную, мертвую руку императора Петра Θεодоровича я самъ цѣловалъ ровно десять лѣтъ тому назадъ.

— Вы могли ее цѣловать, мой милый,—возразилъ Беніовскій:—но та рука, которая держитъ теперь Черногорію, не холодна и не мертва, и ее-то напрасно селятся схватить и графъ Алексѣй Орловъ, и князь Долгоруковъ.

Хрущовъ понялъ, наконецъ, въ чемъ дѣло.

— О, вы говорите о томъ проходимцѣ, котораго черногорцы называютъ Степаномъ Малымъ, а итальянцы—Стефаномъ-Пикколо!.. Я читалъ объ немъ; онъ Россіи не страшенъ,—говоритъ Хрущовъ.

— Не страшенъ? А зачѣмъ-же ваша императрица держитъ около Черногоріи весь свой флотъ, когда онъ ей нуженъ въ Черномъ морѣ? Ясно, что она больше опасается маленькаго Степана, чѣмъ большаго турецкаго флота. Да, наконецъ, даромъ на Руси такія волненія: тотъ императоръ, котораго мертвую руку вы цѣловали всталъ, кажется, изъ могилы, и какъ тѣнь Банко появляется то тутъ, то тамъ. Вамъ, кажется, неизвѣстно, что, кромѣ Черногоріи, тѣнь вашего Банко недавно явилась въ Царицынѣ. Вы этого не знали?

— Не зная, — удивленно отвѣчалъ Хрущовъ.

— И не знаете, вѣроятно, что другая тѣнь Банко явилась въ Воронѣжѣ?

— Тоже не знаю, — пожалъ плечами Хрущовъ. — Что же это за тѣни?

— Царицынскаго Банко называютъ самозванцемъ Богомолowymъ... Нѣтъ сомнѣнія, что и принцессу Елизавету назовутъ самозванкой.

— Можетъ быть — и, можетъ быть, не ошибутся.

При этихъ словахъ Беніовскій выпрямился, глаза его сверкнули холодной сталью. Но онъ сдержалъ себя.

— Но, однако, — сказалъ онъ спокойно, — почему-нибудь да появляются тѣни Банко: безъ огня дыму не бываетъ. Отчего разомъ встаютъ эти тѣни и въ Черногоріи, и въ какомъ-то глухомъ городишкѣ Царицынѣ? Кто онѣ? Ужъ одно появленіе этихъ тѣней что-нибудь да значить. Кто поручится, что не явится еще болѣе грозная тѣнь?

Хрущовъ молчалъ. Слова Беніовскаго разбередили его рану, которую онъ чувствовалъ въ своемъ сердцѣ. Тѣни Банко почему-то напомнили ему ную, милую тѣнь: онъ сегодня видѣлъ ее во снѣ, но не какъ тѣнь, а милую, добрую, ласковую, съ ласковымъ дѣтскимъ взглядомъ. Онъ видѣлъ во снѣ ту маленькую Фаню, которую полюбилъ еще въ Камчаткѣ, когда ей было четырнадцать лѣтъ. И въ душѣ его шевельнулось теперь ѣдкое чувство укора этому человѣку съ холоднымъ взглядомъ, человѣку, который такъ скоро забылъ ее въ чаду честолюбиваго опьяненія.

Винбладъ и Мейдеръ тоже молчали.

— Такъ васъ не прельщаетъ перспектива будущихъ славныхъ подвиговъ моей эскадры? — снова обратился Беніовскій къ Хрущову послѣ непродолжительнаго молчанія.

— А противъ кого будутъ эти подвиги, баронъ? — спросилъ послѣдній.

Противъ той страны, которая лишила и васъ и меня свободы, которая надругалась надъ моими священными правами — правами военнопленнаго, которая посягаетъ на еще болѣе священныя вольности моей отчины и на неприкосновенность ея границъ! — торжественно произнесъ конфедератъ, какъ по писаному.

— Противъ Россіи! — воскликнулъ Хрущовъ. — Это я-то? Поднять руку на свою родину! Нѣтъ, я скорѣе отрублю эту руку по самое плечо.

— Но, вѣдь, на родинѣ васъ ждетъ плахъ!

— Я знаю.

— Что же вы намѣрены предпринять?

— Не знаю. Можетъ быть — утоплюсь... Тогда позвольте броситься въ море съ вашего прекраснаго фрегата.

Тогда Беніовскій обратился къ Винбладу.

— А панъ Адольфъ? — спросилъ онъ: — вы также меня покидаете?

— Да, — отвѣчалъ панъ Адольфъ: — прежде для васъ я родину покинулъ, теперь — для родины я васъ покидаю. Наши пути расходятся.

— А вы? — обратился, наконецъ, Беніовскій къ Мейдеру: — и вы тоже?

— И я, баронъ,—отвѣчалъ послѣдній.

— Но, вѣдь, вы нѣмецъ, а не русскій.

— Нѣтъ, баронъ, я русскій. Россія сама признала меня своимъ сыномъ. Кому-же, какъ не матери моей, знать—сынъ я ей или нѣтъ. И я ей вѣрю.

Беніовскій всталъ и прошелся по каютъ-кампаніи. Потоловъ слѣдилъ за нимъ глазами, точно онъ былъ его арестантъ, и если его спустить съ глазъ, то онъ унесетъ „зелену грамоту“.

Скоро Беніовскій остановился. Онъ былъ, видимо, взволнованъ, и когда началъ говорить, принявъ позу оратора, голосъ его слегка дрожалъ.

— Два года,—произнесъ онъ взволнованно:—насъ съ вами судьба носила по всемъ концамъ земного шара. Бурно прошли эти два года. Отъ сѣверныхъ камчатскихъ, черезъ сѣдья волны океановъ Индійскаго и Тихаго, черезъ волны безчисленныхъ морей планеты нашей, черезъ тропики и черезъ экваторъ знойный,—кто васъ провелъ сюда, вотъ въ эту гавань? Какъ Моисей водилъ народъ избранный въ пустыняхъ аравійскихъ, такъ и я водилъ васъ по лицу земного шара. Но не привелъ пророкъ ветхозавѣтный своихъ людей къ землѣ обѣтованной,—то было суждено другимъ исполнить, а я провелъ васъ по пустынямъ моря къ землѣ обѣтованной: та земля—свобода! Такъ зачѣмъ пророка своего вы покидаете, чтобъ во Египетъ васъ продали и подъ ярмо неволи вложили ваши шеи! Немного помолчавъ, онъ продолжалъ:

— Ну, такъ знайте: весь шаръ земной наполнить громкой славой знакомое вамъ имя! Имя то—Морицъ-Анадаръ, баронъ Беніовскій! Но блескъ той славы не падетъ на васъ, какъ отблескъ солнца отъ воды зеркальной; вы не раздѣлите со мной той славы, какъ раздѣляли вы со мной изгнаніе, камчатскій холодъ, африканскій зной и голодъ безконечныхъ переѣздовъ по океанамъ безконечнымъ. Прощайте-жь! Я васъ не увижу больше; вы же услышите мое имя...

Онъ замолчалъ. По щекамъ Уфтожанинова катились крупныя слезы.

XXXII.

Рановина Ядвиги.

Прошло тринадцать лѣтъ. Мы опять на Мадагаскарѣ.

Кто-бы узналъ въ этомъ, уже не молодомъ мужчинѣ съ сильною просѣдою на вискахъ и въ длинной косматой бородѣ—Уфтожанинова, который, тринадцать лѣтъ назадъ, въ Портъ-Луи, въ каютъ-кампаніи фрегата „Tonnerre“, слушая восторженную рѣчь Беніовскаго, плакалъ отъ умиленія юношескими слезами? А между тѣмъ это былъ онъ, поповичъ изъ Камчатки, большерѣзкаго попа сынъ, на Мадагаскарѣ. Тѣ-же живые, какъ бы нѣсколько раскосоватые глаза, тотъ-же нѣсколько якутскій, сибирскій широкій носъ, тѣ-же выдающіяся скулы, тѣ-же длинныя руки съ длинными тонкими, какъ у женщины, пальцами. Только на худомъ, сумрачномъ лицѣ его лежитъ несмыслимый загаръ тропическаго солнца.

Уфтожаниновъ сидитъ на пологомъ береговомъ уступѣ и задумчиво глядитъ на синюю безбрежную равнину разстилающуюся передъ нимъ океана. Склоняющееся за островомъ къ закату солнце бросаетъ длинныя тѣни отъ зонтикообразныхъ пальмъ и широколистныхъ банановъ.

На головѣ Уфтожанинова бѣлый войлочный индѣйскій шлемъ, съ обмотанною вокругъ него бѣлою чадрою. Бѣлая парусинная куртка и такія-же панталоны, убранныя въ высокіе сапоги. У ногъ его ружье и ягташъ.

Онъ закрываетъ лицо руками и какъ будто плачетъ.

Нѣтъ, глаза сухи. Руки его какъ-то судорожно сжались на колѣняхъ.

— Ахъ, какая тоска грызетъ меня сегодня!

Онъ говоритъ вслухъ, точно бредитъ.

— Да, тяжело, ахъ, какъ тяжело бываетъ порой думать, что уже нѣтъ выхода изъ этой жизни, изъ этого заколдованнаго края! О, моя родина. мое далекое, пасмурное небо!—не видать ужъ мнѣ тебя никогда, никогда! Выросъ я на тундрахъ моей пасмурной, милой Камчатки, подъ суровымъ небомъ, среди бѣлыхъ снѣжныхъ сугробовъ. Какое было мое дѣтство? Тюрьмой, ссылкой, печалью вѣяло вокругъ меня съ колыбели. А мнѣ посулили жаркое небо юга, дивную зелень банановъ, красоту гордыхъ пальмъ. Вотъ они (онъ оглянулся на окружающую его роскошную растительность). А гдѣ мои родныя березы? Гдѣ мои тундры? О, какъ далеко ты, моя грустная родина. Я почти ребенкомъ ушелъ за *нимъ*—столько обаянія было въ *его* словахъ. И *онъ* былъ правъ: я видѣлъ то, что не всякому суждено видѣть въ жизни. А все тоска гложетъ меня—въ тридцать съ небольшимъ лѣтъ доглодала меня, какъ въ пѣснѣ поется, „до сѣдова бѣла волоса“. Что-же тянетъ меня отъ этой роскоши, отъ этого дивнаго юга, изъ этого эдема земного—къ холодному, бѣдному сѣверу? Или мать тамъ плачетъ моя, вечерней порой вспоминая о безъ вѣсти пропавшемъ сынѣ? Или бѣдный старикъ отецъ съ тоской и плачемъ поминаетъ меня на экинѣи, когда молится о страждущихъ, плѣненныхъ и о спасеніи ихъ и, быть можетъ, рыдаетъ горько, когда вынимаетъ изъ просфоры частицу за упокой моей души?

Онъ горько качаетъ головой, прислушиваясь къ жалобному крику чаекъ,

— О чемъ-же тосковать? О прошломъ? Да, о прошломъ. А что было мое прошлое? Жалкій поповичъ въ большерѣцкомъ острогѣ—и вся жизнь въ острогѣ, среди тундръ, снѣговъ и ссылки. А здѣсь я приближенный короля, его любимецъ, царедворецъ... Фу, какая высота!—бѣглый поповичъ—царедворецъ... Да, царедворецъ у такого-же бѣглаго царя, какъ и самъ... Поповичъ изъ Камчатки—царедворецъ! Отряды дикихъ гавасовъ подъ моимъ начальствомъ: поповичъ изъ большерѣцкаго острога—военачальникъ дикихъ ордъ! Король Мадагаскара меня ласкаетъ, дѣлаетъ, а я тоскую: тамъ, въ жалкой Камчаткѣ, къ старушкѣ попадѣ хотѣлось-бы приласкаться, у нея на груди выплакать-бы горькія слезы царедворца, да стараго попа провѣдать—сказать ему: „батюшка! не вынимай изъ про-

сфоры частицу за упокой души твоего бѣднаго сына; лучше молись, чтобъ тоска не грызла могучаго царедворца—не тянуло-бы его на далекій сѣверъ“.

Вдругъ онъ оглянулся. Ему послышался шорохъ за зеленью ближайшихъ банановъ и показалась, какъ будто-бы кто тамъ плакалъ. Онъ взялъ ружье и воднялся на ноги.

— Кто тамъ?—окликнулъ онъ по-гавасски. Въ тринадцать лѣтъ онъ хорошо изучилъ языкъ гавасовъ.

Отвѣта не послѣдовало, но шорохъ опять повторился.

— Я спрашиваю, кто тамъ?

Опять нѣтъ отвѣта. Онъ двинулся къ зелени, держа ружье на готовѣ, и съ изумленіемъ отступилъ назадъ.

— Это вы, панна Ядвига!—воскликнулъ онъ по-русски. Изъ-за зелени показалась женская голова подъ широкой соломенной шляпой съ голубыми лентами. Почти дѣтское личико казалось заплаканнымъ. Заплаканными глядѣли и большіе сѣрые съ длиннымъ разрѣзомъ, какъ у египтянки, глаза.

— Панна Ядвига, что вы здѣсь дѣлаете?—еще болѣе изумился Уфтожаниновъ, замѣтивъ заплаканное личико и глаза той, которую онъ называлъ панною Ядвигою.

Дѣвушка не отвѣчала, только закрыла лицо руками. Плечи ея вздрагивали и сквозь тонкіе, длинные пальцы проступали слезы.

— Панна Ядвига, вы плачете?

Дѣвушка еще пуще расплакалась.

— Боже мой! что съ вами! Невѣста короля—плачетъ! Развѣ вы испугались чегонибудь?

— Нѣтъ,—едва слышно прошептала плачущая дѣвушка.

— Что же съ вами? О чемъ?

Слезы полились сквозь тонкіе пальцы неудержимымъ потокомъ.

Уфтожаниновъ растерялся. Онъ не зналъ, что и подумать. Ему стало страшно.

— Да ради Бога!—что-же съ вами? Развѣ что случилось во дворцѣ?

— Нѣтъ... ничего,—всхлипывала плачущая.

— Что-же такое? Говорите, ради Господа!

— Вы... вы сами...—и опять слезы.

— Да что-же дорогая панна? Я-то тутъ при чемъ?

— Вы... вы плакали... я видѣла... Мнѣ...

Рыданіе еще сильнѣй! И наконецъ, дѣвушка, какъ это дѣлаютъ расплакавшіяся дѣти, съ плачемъ выкрикнула:

— Мнѣ... мнѣ жаль васъ!

Уфтожаниновъ былъ пораженъ и не сразу нашелся, что сказать.

— Меня жаль? Почему-же?

— Вы плакали,—продолжала дѣвушка,—я видѣла. Я давно видѣла, что вы тоскуете, но о чемъ—я не знала. Я не смѣла спросить васъ. Но сегодня я нечаянно... Я собирала вонъ тамъ раковины на берегу моря, а вы вотъ тутъ сидѣли—закрывали лицо руками—плакали...

— Я не плакала, дорогая панна Ядвига.

— Нѣтъ, плакали—я видѣла... Мнѣ жаль васъ стало... Вы тоскуете по вашей Камчаткѣ—я давно это видѣла, только не знала, а теперь знаю... Она опять заплакла.

— Ради Бога! перестаньте! —Уфтюжаниновъ бережно отнималъ ей руки отъ лица.

— Я буду просить Морица,—продолжала дѣвушка плакать.

— О чемъ дорогая панна?

— Отпустить васъ въ Камчатку... Тамъ ваша мама, я слышала... Я буду просить Морица... И у меня нѣтъ мамы—она умерла въ Кіевѣ...

Она продолжала плакать и говорить совершенно по-дѣтски:

— Буду просить Морица, онъ для меня все сдѣлаетъ, онъ меня любитъ...

— Но я не хочу въ Камчатку, я не покину Мадагаскара, — заговорила Уфтюжаниновъ.

Дѣвушка отняла руки отъ лица и разомъ просвѣтлѣла.

— Да? вы не покинете Мадагаскара?—заговорила она быстро:—не оставите насъ однихъ? Морицъ васъ такъ любитъ. И я... Мнѣ такъ жаль васъ...

— Благодарю васъ, дорогая панна. Вы такъ добры, я не стою вашихъ слезъ.

— Да ужъ онъ высохъ,—наивно сказала дѣвушка, вынимая изъ кармана очень причудливую раковину.—Посмотрите, какая прелесть.

— Да, точно звѣзда. Зачѣмъ вамъ она?

— Я Морицу подарю ее.

Уфтюжаниновъ невольно улыбнулся, съ любовью глядя на прелесть дѣвочки.

— Вы чему улыбаетесь?—спросила она.

— Да вотъ тому, что вы его величеству, королю Мадагаскара, хотите подарить раковину:

— Почему-же? Что тутъ смѣшного?

— Да вѣдь его величество не ребенокъ, чтобъ забавляться раковинами.

— А я развѣ ребенокъ?—надула губки панна Ядвига.

— Конечно, ребенокъ.

— Ну-ужъ!—мнѣ шестнадцатый годъ.

— Да—лѣта почтенныя.

Дѣвушка невольно разсмѣялась, сверкнувъ мелкими и бѣлыми, какъ у мышки, зубами.

— Такъ вы не уѣдете въ Камчатку?—спросила она серьезно.

— Нѣтъ, нѣтъ! Я надѣюсь быть шаферомъ на вашей свадьбѣ.

— Ахъ, да—пожалуйста! Я васъ прошу,—весело заговорила будущая королева.

— А когда свадьба?—спросилъ Уфтюжаниновъ.

— На будущей недѣлѣ, когда будетъ готово подвѣнечное платье: Морицъ такъ торопить со свадьбой.

— А вы очень любите вашего жениха?—любуюсь наивностью этого ребенка, спросил Уфтюжаниновъ.

— Ахъ, очень, очень люблю! Когда онъ говоритъ со мной, я заслушиваюсь его, а когда ласкаетъ, я, кажется готова умереть отъ счастья.

„Совсѣмъ ребенокъ,—невольно думалось Уфтюжанинову,—а, вѣдь, нашему королю подь шестьдесятъ. Вѣдная дѣвочка еще ничего не понимаетъ“.

Недалекъ въ-за берегового уступа показались два путника, Судя по одеждѣ, это были не туземцы; послѣдніе, впрочемъ, и не показывались вблизи помѣщеній, занимаемыхъ Беніовскимъ и его приближенными, помѣщеній, отличавшихся отъ туземныхъ мазанковыхъ хижинъ европейскою архитектурою: туземцы питали суевѣрный страхъ къ этому мѣсту, будучи увѣрены, что оно заколдовано, и этотъ суевѣрный страхъ европейцы съ умысломъ въ нихъ поддерживали.

— Вонъ кто-то идетъ сюда,—сказалъ Уфтюжаниковъ.—Вамъ пора-бы во дворецъ, а то ваша статсъ-дама побранитъ васъ за то, что вы ходите одна, безъ фрейлинь.

— Такъ до свиданья, мой шаферъ!—весело сказала дѣвушка и побѣжала домой.

Уфтюжаниновъ грустно проводилъ ее глазами.

— Какое милое прелестное дитя! Плакала обо мнѣ—меня жаль... Чудное дитя! и совсѣмъ почти не полька—въ Кіевѣ воспитывалась.

XXXIII.

Роновое извѣстіе.

Въ путникахъ Уфтюжаниновъ узналъ своихъ земляковъ. То были неразлучные Андреяновъ и Потоловъ, которыхъ Беніовскій называлъ двумя Аяксами.

Они оба тоже очень постарѣли, въ особенности Андреяновъ, хотя Потоловъ оставался все тѣмъ-же идеалистомъ. Онъ продолжалъ вѣрить въ существованіе таинственной „зеленой грамоты“, отъ которой должно послѣдовать для него всякое благополучіе. Онъ твердо былъ убѣжденъ, что всѣ они воротятся „домой, назадъ—въ Россію“. Все, что онъ ни видѣлъ, онъ считалъ временнымъ, не стоящимъ особеннаго вниманія. Съ туземцами, благодаря своей покладистости, онъ сошелся скоро и теперь уже бойко болталъ по-гавасски. Онъ даже женился на молоденькой гаваскѣ, и хотя она была черна, какъ голенище, однако, онъ любилъ ее и любилъ повторять старой Аннѣ, женѣ Андреянова, что „хоша у его Акульки рожа овечья, да душа человѣчья“. Онъ ее выкрестилъ, съ благословенія католическаго миссіонера, отца Жозефа, научилъ креститься „какъ слѣдъ“ и даже преподавалъ ей нѣкоторое духовное образованіе: научилъ ее единственной молитвѣ, которую самъ зналъ въ совершенствѣ, —именно: „Отче нашъ, и здѣсь и на небеса“. Съ однимъ онъ только не могъ помириться на Мадагарскѣ, именно съ тѣмъ, что солнце тамъ ходитъ не такъ, „какъ“

слѣдъ“, да скучаль еще о русскомъ квасѣ, удивляясь, какъ это гавасы при такой жарницѣ могутъ жить безъ холоднаго квасу. А что родичи его жены, да и сама „Акулька“, при случаѣ, не прочь поѣсть человѣчинки, такъ онъ и на это смотрѣлъ съ философской точки зрѣнія: „таковъ у нихъ законъ“.

Оба пріятели, Андреяновъ и Потоловъ, одѣты были въ парусинныя капральскія блузы, а головы ихъ прикрывались отъ тропическаго солнца тростниковыми бѣлыми шляпами.

Приближаясь къ Уфтюжанинову, они отдали ему честь по-военному.

— Здравствуйте, здравствуйте, земляки,—дружески привѣтствовалъ ихъ послѣдній.

— Здравія желаемъ, ваше превосходительство!—былъ дружный отвѣтъ.

— Откуда Богъ несетъ?

— Съ ученія, выше превосходительство! Голыхъ солдатовъ воинскимъ артикуламъ обучали—новичковъ.

— Что-жь, хорошо идетъ дѣло?

— Дѣло ладится, ваше превосходительство. Хоша армія и голенькая у насъ, и босая, а копьемъ метать мастера—и ружей не нужно,—отвѣчалъ Андреяновъ.

— Только, ваше превосходительство, правой ноги отъ лѣвой отличить не умѣютъ,—пояснилъ Потоловъ.

— Ничего, это, вѣдь, новобранцы, попривыкнуть, — замѣтилъ Уфтюжаниновъ.

— Да и старые, ваше превосходительство, ошибаются на маршѣ: нѣтъ-нѣтъ, да и выкинетъ не ту ногу.

— А иной разъ, ваше превосходительство, скомандуешь „налѣво кругомъ“, такъ лбами, либо затылками стучаются дружка объ дружку. А на копьяхъ собаку съѣли.

Уфтюжаниновъ перемѣнилъ разговоръ. О томъ, что дикіе туземцы во фронтѣ постоянно путаютъ правое плечо съ лѣвымъ, онъ уже слышалъ сотни и тысячи разъ, да и самъ давно присмотрѣлся къ этому, когда въ первые годы самъ обучалъ гавасовъ строиться въ ряды и маршировать.

— А что твоя Акулина?—съ улыбкой спросилъ онъ Потолова.

— Покорнѣйше благодарствуемъ, ваше превосходительство! — осклабился послѣдній:—ничего себѣ бабенка.

— А что-жь ты не похвастаешься передъ ихъ превосходительствомъ семейною радостью,—коварно покосился на него Андреяновъ.

— Какою-же это семейною радостью?—спросилъ Уфтюжаниновъ.

Потоловъ замаялся.

— Говори же, братецъ.

— Да что, ваше превосходительство, — смущенно произнесъ Потоловъ:—моя Акулька привела мнѣ такого чернаго дьяволенка, что страхъ.

— Что-жь! весь въ родителя, — подтрунивалъ Андреяновъ.

— И отлично!—засмѣялся Уфтюжаниновъ:—хорошій капраль будетъ.

Андреянскъ вдругъ сдѣлался серьезенъ. Онъ, видимо, хотѣлъ что-то сообщить „генералу“, да не зналъ какъ—и переминался. Уфтюжаниновъ замѣтилъ это.

— Ты хочешь что-нибудь сказать мнѣ, Андреяновъ?—спросилъ онъ.

— Точно такъ, ваше превосходительство!—отвѣчалъ тотъ.

— Что-же? Говори, коли дѣло.

— Да вотъ, эоіопы наши неладное болтаютъ.

— Что-же именно?

— Да быта, ваше превосходительство, французъ гадить: онамедни, сказываютъ, французскій фрегатъ присталъ въ тому берегу съ десантомъ, и съ тамошнимъ ихнимъ царькомъ, что тады наша сторона ему въ-зашей наклала, быта снюхался, и хотятъ быта на насъ войной иттить. Такое эоіопы болтаютъ, ваше превосходительство,—а они вратъ не станутъ.

— Воятся, что побьютъ и поѣдятъ ихъ, и женъ ихнихъ, и дѣтей; давно, сказываютъ, человѣчины не жрали — наголодались, — пояснилъ Потоловъ.

Вѣсти эти были не изъ шуточныхъ. Гавасы всегда было хорошіе лазутчики, и такъ-какъ разные племена ихъ, предводительствуемыя разными царьками, постоянно враждовали между собою, то и слѣдили другъ за другомъ очень усердно. Вѣсти были правдоподобны, тѣмъ болѣе, что, когда Беніовскій съ помощью французской эскадры завоевалъ часть Мадагаскара, отѣснивъ короля Радаму съ нѣсколькими преданными ему племенами гавасовъ на другую сторону острова, и когда впоследствии ловкій конфедератъ, прослывъ между покоренными имъ дикарями за сверхестественное существо, которое изгоняло изъ больныхъ злого духа (Беніовскій удачно лечилъ гавасовъ отъ лихорадокъ и другихъ болѣзней, обусловливаемыхъ климатомъ и самою жизнью дикарей),—провозгласилъ себя верховнымъ судьей и королемъ Мадагаскара, — генералъ Пуавръ, губернаторъ Иль-де-Франса, завидуя славѣ Беніовскаго, возбудилъ противъ него французскаго короля Людовика XVI, какъ противъ измѣнника, отложившагося отъ Франціи и самовольно возложившаго на себя корону Мадагаскара.

— А какъ великъ десантъ, не слыхали? — спросилъ Уфтюжаниновъ послѣ нѣкотораго раздумья.

— Не слышно, ваше превосходительство, а постараемся развѣдать черезъ нашихъ лазутчиковъ,—отвѣчалъ Андреяновъ.

— Да сказываютъ,—добавилъ Потоловъ,—быта ихнему королю Радамѣ штаны привезли, красныя, а онъ ихъ надѣтъ не умѣетъ—все безъ портокъ и доселева ходитъ: только и слава одежи—фартучишко махонькій; а што мы ему въ тѣ поры подарили одежи—всю износилъ.

Но Уфтюжаниновъ его не слушалъ. Онъ обратился къ Андреянову.

— Сегодня-же въ ночь разослать вездѣ лазутчиковъ, да самыхъ опытныхъ и осторожныхъ.

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Да чтобъ развѣдали, какъ великъ десантъ, есть-ли на фрегатѣ легкія полевые орудія и не присланы-ли для войска Радамы ружья и боевые припасы,—приказывалъ Уфтяжаниновъ.

Андреяновъ отвѣчалъ, что все будетъ исполнено въ точности.

Отдавъ приказанія, Уфтяжаниновъ поспѣшилъ во дворецъ.

XXXIV.

Орденъ Азіатскаго креста.

Зданіе, которое называлось дворцомъ мадагаскарскаго короля Морица I-го, состояло изъ каменныхъ и частью глинобитныхъ невысокихъ построекъ, въ одинъ этажъ, съ узкими окнами, задрапированными отъ солнца тростниковыми циновками. Крыши построекъ были плоскія, какъ вообще на Востокъ и въ жаркихъ странахъ. На иныхъ постройкахъ крыши были въ видѣ удлинненныхъ куполовъ, напоминавшихъ огромные муравейники или жилища феллаховъ, зулусовъ и гавасовъ. Стройныя пальмы, сикоморы, тамаринды и бананы, а также гигантскіе арумы освѣняли эти очень скромныя для королевскаго дворца зданія и придавали имъ живописный видъ.

Дворецъ былъ обнесенъ каменною оградю, на которой въ нѣсколькихъ мѣстахъ чернѣли дула пушекъ. У воротъ, ведущихъ въ ограду, стояли часовые изъ туземцевъ, съ ружьями, и тутъ-же на землѣ сидѣло нѣсколько гавасовъ съ копьями. Это былъ дворцовый караулъ.

Король находился въ своихъ покояхъ. Войдемъ туда.

Довольно просторная комната съ бѣлыми стѣнами, на которыхъ развѣшано было оружіе, устланная циновками и освѣщенная длинными прорѣзами въ стѣнахъ и въ потолокъ, составляла кабинетъ короля. Меблированный кабинетъ былъ по-европейски и довольно роскошно для страны людоедовъ: письменный столъ, канделябры, бронза на столѣ, нѣсколько креселъ, качалка, два оттомана—все это какъ-то не гармонировало съ видомъ голыхъ, босоногихъ часовыхъ, оберегавшихъ королевскій дворецъ.

У письменнаго стола сидитъ Беніовскій—король Мадагаскара. Кто бы узналъ Беніовскаго въ этомъ сѣдомъ, какъ лунъ, старикъ! Но это онъ: та же гордая, спокойная посадка бѣлой, какъ серебро, головы; тотъ же ясный, стальной взглядъ почти немигающихъ глазъ; тотъ же свѣжій голосъ, совсѣмъ молодой, когда онъ говоритъ. Только длинная бѣлая борода да бронзовый загаръ лица почти безъ морщинъ обличаютъ и долгіе, долгіе годы, пролетѣвшіе надъ этой гордой, красивой головой, и долгую жизнь подъ тропическимъ солнцемъ, превратившимъ въ бронзу бѣлый цвѣтъ его ве старѣющаго лица.

Беніовскій сидитъ въ полъ-оборота и съ улыбкой смотритъ на стоящую передъ нимъ въ смущеніи панну Ядвигу. На столѣ лежитъ знакомая уже намъ раковина.

— Очень, очень оригинальная раковина, — говорит онъ, продолжая улыбаться.

— Такъ она нравится вашему величеству? — съ нескрываемою радостью спрашиваетъ дѣвушка.

— Очень нравится, милая Ядвига, — отвѣчаетъ Беніовскій.

— А Уфтужаниновъ смѣялся, — съ смущеніемъ замѣтила Ядвига.

— Надѣ чѣмъ, дорогая панна?

— Когда я показала ему раковину и сказала, что подарю ее вашему величеству, — онъ засмѣялся и сказалъ: — „неужели его величество такой ребенокъ, что его могутъ забавлять раковины?“

— Ахъ, нѣтъ, милая Ядвига, — продолжалъ улыбаться Беніовскій, любясь смущеніемъ дѣвушки: — Уфтужаниновъ очень опибается: эта раковина мнѣ чрезвычайно нравится, и я благодарю тебя за этотъ милый подарокъ, — и Беніовскій поцѣловалъ у смущенной дѣвушки руку.

— Я такъ рада, ваше величество... Я пойду скажу...

Она не договорила, и, вся раскраснѣвшаяся, выбѣжала изъ кабинета.

— Какой очаровательный ребенокъ! — сказалъ Беніовскій, смотря ей вслѣдъ и обратясь къ сидѣвшему на оттоманѣ пожилому мужчинѣ съ длинными сѣдыми усами.

— А я могу прибавить, ваше величество, что у моей Ядвиги прекрасное сердце, — сказалъ господинъ съ сѣдыми усами, почтительно кланяясь Беніовскому.

Это былъ отецъ панны Ядвиги, панъ Стемпковскій. Сильно скомпрометированный передъ русскимъ правительствомъ послѣ присоединенія къ Россіи Бѣлоруссіи, гдѣ у него находилось имѣніе, которое у него и было конфисковано, онъ дискредитировалъ себя чѣмъ-то (о чемъ онъ умалчивалъ) и при дворѣ короля Станислава-Августа. Стемпковскій, уже вдовецъ, съ единственною дочерью, панною Ядвигою, эмигрировалъ во Францію. Тамъ онъ узналъ о подвигахъ Беніовскаго на Мадагаскарѣ, и рѣшился ѣхать на службу къ мадагаскарскому королю, съ которымъ онъ познакомился когда-то еще въ рядахъ конфедератовъ. Хорошенькая пятнадцати-лѣтняя Ядвига понравилась Беніовскому, и теперь панъ Стемпковскій надѣялся породниться на дняхъ съ его величествомъ, королемъ Морицемъ I. Ядвига уже официально объявлена была невестою короля.

Въ кабинетѣ находился еще одинъ господинъ, сидѣвшій въ креслѣ по другую сторону стола. Это былъ мужчина среднихъ лѣтъ, съ небольшимъ черною бородкою, въ золотыхъ очкахъ, загорѣлый не менѣе Беніовскаго. Англичанинъ родомъ и путешественникъ по призванію, онъ нѣсколько лѣтъ пробылъ въ Америкѣ, путешествовалъ по Россіи, присутствовалъ въ Москвѣ при казни Пугачова, неоднократно бывалъ въ Петербургѣ, затѣмъ путешествовалъ по Египту, былъ на мысѣ Доброй Надежды и, по пути въ Индію и на Цейлонъ, высадился сегодня на Мадагаскарѣ, когда англійскій корабль, на которомъ онъ плылъ въ Индію, приставалъ къ этому острову, чтобы

запастись водой и топливомъ. Кромѣ англійскаго языка, онъ зналъ нѣсколько другихъ европейскихъ и порядочно говорилъ по-русски.

— Извините, мистеръ Кентъ,—обратился къ нему Беніовскій, когда хорошенькая Ядвига вышла изъ кабинета:—такъ вы говорите, что она кончила трагически?

— Да, сэръ, такъ мнѣ передавали въ Петербургѣ, — отвѣчалъ тотъ, котораго называли мистеромъ Кентомъ.

— Когда же это было?—спросилъ Беніовскій съ участіемъ

— Да помнится, въ 75-мъ году, ровно десять лѣтъ назадъ... Именно въ 1775 году; я теперь вспомнилъ: въ годъ казни Пугачева, —отвѣчалъ мистеръ Кентъ.

— Какимъ же образомъ она погибла?

— Говорятъ, что во время наводненія, когда сильно поднялась въ Невѣ вода, она утонула въ Алексѣевскомъ равелинѣ, въ Петропавловской крѣпости.

— Какъ?! въ крѣпости!—невольно воскликнулъ Беніовскій.—Но какъ она туда попала?

— Ее взяли обманомъ и выдали русскому правительству, — спокойно отвѣчалъ Кентъ.

— Вѣдная! Какое предательство! Кто же взялъ ее?

— Это дѣло графа Алексѣя Орлова.

Беніовскій быстро всталъ и торопливыми шагами началъ ходить по кабинету.

— Но этого не было, кажется, въ газетахъ,—какъ бы про себя разсуждалъ онъ.—Вѣдная! бѣдная! А что за красавица была! Я имѣлъ счастье знать ее лично. Это была обаятельная личность! А у злодѣя достало духу обмануть и погубить ее! Какъ же это могло случиться? — спросилъ онъ мистера Кента, остановившись посреди кабинета.—Вѣдь, у нея были такіе могущественные союзники—французскіе короли Людовикъ XV и Людовикъ XVI, наконецъ, князь Радзивилъ.

— Но я уже имѣлъ честь докладывать вашему величеству, что ее взяли обманомъ,—невозмутимо замѣтилъ мистеръ Кентъ.

— Гдѣ жъ ее взяли?—спросилъ Беніовскій.

— Въ Ливорно, въ Италіи. Тамъ стоялъ тогда русскій флотъ, которымъ командовалъ графъ Алексѣй Орловъ, совершенно незаслуженно получившій титулъ Чесменскаго,—какъ бы въ скобкахъ пояснилъ мистеръ Кентъ:—гурекій флотъ при Чесмѣ сожженъ былъ не графомъ Орловымъ, а нашими, англійскими брандерами. Когда русскій флотъ крейсировалъ въ Адриатическомъ и Средиземномъ моряхъ, юная претендентка освѣдомилась, будто бы графы Орловы ввали въ немалость при русскомъ дворѣ, и потому она довѣрчиво обратилась къ Алексѣю Орлову за совѣтомъ, прося его опубликовать ея манифестъ во флотъ. Орловъ показалъ видъ, что чтитъ законности ея притязаній, если не на всю Россію, то на южную ея половину, вмѣстѣ съ Кавказомъ. Онъ притворился ея союзникомъ, потомъ безумно

въ нее влюбленнымъ. Она повѣрила его страсти, особенно когда онъ предложилъ ей руку и сердце.

— Фу! какая низость!—не вытерпѣлъ Беніовскій.—Ну, и что-же?

— Бѣдная жертва повѣрила ему и отдалась...

— Но какъ-же онъ могъ ее похитить?—спросилъ Беніовскій.

— Онъ заманилъ ее на одинъ изъ кораблей своего флота подъ тѣмъ предлогомъ, что въ Ливорно нѣтъ русской церкви, а на кораблѣ есть. Она и повѣрила.

— И тамъ ее арестовали?

— Да. Но мало того: одинъ грекъ, полковникъ де-Рибасъ, находившійся при русскомъ флотѣ, нарядившись въ священническія ризы, продѣлалъ на кораблѣ „Трехъ Іерарховъ“ обрядъ бракосочетанія Орлова съ до-вѣрчивой претенденткой.

— Это возмутительно!—воскликнулъ Беніовскій, прослушавъ эту печальную исторію.—И что-же дальше?

— Дальше—извѣстный конецъ въ подобныхъ случаяхъ,—сказалъ Кентъ, глядя на потолокъ:—ее привезли моремъ, тайно, въ Петербургъ, засадили въ Алексѣевскій равелинъ, а тамъ она и утонула *).

Беніовскій молча открылъ письменный столъ и вынулъ оттуда небольшой футляръ. Открывъ его, онъ бережно вытащилъ оттуда красивый орденъ на зеленой лентѣ.

— Вотъ ея орденъ Азіатскаго креста,—сказалъ онъ, цѣлуя красивую игрушку:—она лично возложила на меня этотъ орденъ.

Мистеръ Кентъ и панъ Стемповскій подошли и стали съ любопытствомъ разсматривать геральдическую рѣдкость.

— Very good, Very good!—бормоталъ мистеръ Кентъ.

Въ кабинетъ вошелъ Уфтюжаниновъ.

XXXV.

Король Лиръ и шутъ.

При входѣ Уфтюжанинова, лицо котораго выдавало озабоченность, панъ Стемповскій и мистеръ Кентъ встали и откланялись.

Беніовскій и Уфтюжаниновъ остались вдвоемъ.

— По лицу твоему вижу, что ты съ серьезными вѣстями,—сказалъ первый.

— Вы угадали, ваше величество: вѣсти дѣйствительно серьезны,—отвѣчалъ Уфтюжаниновъ.

— Что-же такое? Что случилось?

— Сейчасъ, ваше величество, мнѣ донесено, что къ королю Радамѣ прислано вспомошествованіе.

*) Теперь документально извѣстно, что она умерла въ крѣпости отъ чахотки. Левм.

— Отъ кого?—спросилъ озабоченно Беніовскій.
— Ваше величество, вѣроятно, сами изволите догадаться. Я полагаю...
— Понимаю! Отъ кого ты узналъ?
— Мнѣ донесъ Андряновъ, а онъ узналъ отъ туземцевъ, отъ солдатъ вашего величества: ихъ лазутчики уже провѣдали объ этомъ.

— А въ чемъ состоитъ вспомошествованіе?

— Пока мнѣ извѣстно, ваше величество, только то, что прибылъ фрегатъ съ десантомъ, а какъ велики силы десанта, его вооруженіе и другія подробности—мнѣ неизвѣстно. Впрочемъ, я уже распорядился разослать вездѣ опытѣйшихъ лазутчиковъ, и на утро надѣюсь доложить обо всемъ обстоятельнѣе.

— Благодарю; я полагаюсь на твою преданность и распорядительность.

Уфтюжаниновъ поклонился. Глаза его невольно упали на лежавшую на столѣ причудливую раковину. Ему разомъ вспомнилась недавняя сцена у берега океана, слезы Ядвиги, ея невинная болтовня, которая заронила въ сердце поповича-генерала какинъ-то, доселѣ имъ неиспытанныя, сладостныя и тревожныя ощущенія. Вѣдь, онъ въ своей жизни еще не видалъ женщинъ. Въ Камчаткѣ онъ былъ еще почти ребенокъ. Вся послѣдующая затѣмъ жизнь его протекла въ тревогахъ—то въ скитаньяхъ по океанамъ, то на одномъ дикомъ островѣ. Здѣсь онъ не видалъ тоже женщинъ. Дикія обитательницы Мадагаскара настолько-же казались ему женщинами, насколько женщиной могла быть горилла. А этотъ прекрасный ребенокъ-дѣвочка, которую онъ иногда видѣлъ, казалась ему существомъ идеальнымъ, неземнымъ, не отъ міра сего. И вдругъ она замѣтила его, думала о немъ, жалѣла, плакала такъ горько, такъ по-дѣтски искренно, и даже сказала, что...

Мечты его были прерваны голосомъ Беніовскаго.

— Опять война!—говорилъ онъ какъ бы самъ собою.—Опять боевая тревога. А я думалъ было, что нашелъ наконецъ свое счастье, котораго не зналъ всю жизнь.

Онъ глянулъ на раковину. И Уфтюжаниновъ не спускалъ съ нея глазъ.

— Поздно, очень поздно улыбнулось мнѣ мое личное счастье, „до сѣдова волоса“ оно не являлось мнѣ—и вдругъ...

И въ сердцѣ Уфтюжанинова шевелилась та же мысль—„до сѣдова волоса“, и онъ невольно продолжалъ глядѣть на раковину, которая была свидѣтельницей ея слезъ объ немъ, ея...

— Да,—продолжалъ разговаривать самъ съ собою Беніовскій (къ этому приучаетъ одиночество):—мой злѣйшій врагъ опять нарушаетъ мое спокойствіе, хочеть отнять то, что я только-что нашелъ—мое личное счастье.

„Его счастье!—думалось въ это время Уфтюжанинову:—а мое?“

Раковина, казалось, говорила ему: „цѣть, твое, твое“.

— Онъ не желалъ моей дружбы, моего союза,—говорилъ Беніовскій, какъ будто-бы около него никого не было:—онъ все добро, которое я сдѣлалъ моему народу, хотѣлъ бы приписать себѣ. Ему мозолить глаза и

сердце мое ~~шанка~~—шанка, за которое иногда льются потоки крови... Вот она, моя шанка!

Он указал рукой на стол. Там, под стеклянныиъ колпакомъ, блестяа золотая корона, которая сдѣлана была для него въ Лондонѣ, въ послѣднюю его побѣду въ Англію, когда онъ, видя коварство противъ себя генерала Пуавра, искалъ для Мадагаскара протектората геніальнаго Франклина.

Уфтижанниновъ тоже глянулъ на корону, а потомъ на раковину, и въ душѣ его зашевелилась безумная мысль: онъ бы эту раковину, именно эту—предпочесть коронѣ!

И онъ почти не слушалъ, что говорилъ Беніовскій.

— Пускай!—говорилъ онъ:—тотъ камень, что въ меня онъ хочетъ бросить, полетитъ обратно и угодитъ въ его-же завистливое сердце. Помнишь,—обратился онъ къ Уфтижаннинову,—когда французскій король послалъ меня сюда во главѣ сильной эскадры, онъ, Пуавръ, тогда-же началъ стровить противъ меня бѣвы. Ему хотѣлось быть здѣсь самовластнымъ, а я сталъ ему поперекъ дороги: не ему, а мнѣ король приказалъ сдѣлать Мадагаскаръ французскою колоніей. И я сдѣлалъ это! Ты свидѣтель, что, когда я побѣдилъ и отбѣснѣлъ отсюда дикаго и кроваднаго деспота, короля Радаму, я весь отдался заботамъ о благосостояніи туземцевъ, лѣчилъ больныхъ, кормилъ голодныхъ, уваживалъ ихъ племенные распри, мирилъ враждующія семьи,—они полкбили меня, увѣровали чужь-ли не въ мою божественность и охотно признали надъ собою мою власть. Мои миссіонеры учили ихъ истинамъ христіанской религіи... И вотъ начало неутолимой зависти Пуавра и охлажденія ко мнѣ моихъ покровителей, французовъ!

Уфтижанниновъ не слышалъ его. Онъ давно все это зналъ. Его рука невольно потянулась къ столу и онъ какъ бы машинально взялъ раковину. Она была для него теперь такъ дорога, какъ ничто въ мірѣ: она ее держала въ своихъ рукахъ, она—то дивное видѣніе—и плакала, обѣ немъ плакала! Раковина казалась ему теперь чѣмъ-то живымъ, частицею ея души. Онъ вспомнилъ, что читалъ гдѣ-то, что такъ дорого, какъ ему эта раковина, для влюбленнаго письма его милой, ея почеркъ, слѣдъ ея ноги.

— Ты, кажется, самъ готовъ играть этой раковиной, а еще смѣялся надъ невинною девочкой,—вдругъ услышалъ онъ голосъ Беніовскаго.

Уфтижанниновъ вздрогнулъ и почувствовалъ, что блѣднѣеть. „Значить, она все сказала ему“, какъ молнія поразила его мысль.

— Нѣтъ, ваше величество, я вдумываюсь въ ваши слова и въ положеніе дѣлъ,—пробормоталъ онъ, какъ пойманный школьникъ, кладя на столъ предательскую раковину.

Но Беніовскій ничего не замѣтилъ.

— Да, положеніе дѣлъ такое, что слѣдуетъ въ него вдуматься,—сказалъ Беніовскій, медленно отчеканивая слова.—Ты знаешь мою жизнь: она для тебя не тайна. Настойчиво, неуклонно шель я къ завѣщанію

цѣлямъ; люди меня не могли понять... Пускай! Я ихъ не виню. Наконецъ, цѣли моей жизни осуществились, и сознание этого служить для меня глубокимъ утѣшеніемъ, хотя жизнь моя пройдена...

Глаза его нечаянно упали на раковину.

— Нѣтъ! не пройдена еще!—вдругъ рѣзко перебилъ онъ самъ себя:—хотя мнѣ есть на что оглянуться. Я не говорю о далекомъ прошломъ, о Камчаткѣ, о моей далекой отчизнѣ. Теперь моя отчизна здѣсь—и отчизна, и колыбель моего рода—будущихъ владыкъ Мадагаскара. Я основалъ династію царства Морицидовъ. Меня вспомнятъ потомки. Я много сдѣлалъ для моего народа. Кто провелъ оросительные каналы на этомъ дикомъ островѣ? Кто устроилъ пути сообщенія, водворилъ порядокъ, законность? Я—Морицъ-Іосифъ-Анадаръ баронъ Беніовскій, первый король Мадагаскара моей династіи. Такъ вотъ что гложетъ всѣмъ завистливыя сердца: я, Беніовскій, жалкій плѣнникъ москалей, а потомъ бѣглый колодникъ—я владѣю царствомъ Мадагаскарскимъ! Бѣглый король!—вотъ что думаютъ они. Они не подозрѣвали, что на головѣ арестанта, хотя уже сѣдой, блеснетъ королевская корона. Такъ знайте же: вотъ она!

Беніовскій судорожно взялъ со стола корону и надѣлъ себѣ на голову.

— Вотъ она! Смотрите!

Уфтюжанинову казалось, что онъ видитъ передъ собой сумасшедшаго, и ему стало страшно.

— Вамъ не сорвать ее съ моей головы, развѣ съ головою вмѣстѣ!

„Король Лиръ! король Лиръ!—со страхомъ думалось Уфтюжанинову: такимъ онъ видѣлъ на сценѣ въ Лондонѣ короля Лира,—эти сѣдые волосы, горячіе глаза...

„А я—шутъ его... Да мы оба шуты... Арестантъ и поповичъ изъ Камчатки—владыки Мадагаскара!“

— Немедленно отдать приказы по командамъ!—повелительно сказалъ король-арестантъ, не снимая короны съ головы:—чтобъ все было готово къ утру! Иди, распорядись!

— Слушаю, ваше величество,—покорно сказалъ Уфтюжаниновъ и вышелъ, бросивъ прощальный взглядъ на магическую для него раковину.

XXXVI.

Страшная ночь.

Беніовскій остался одинъ. Наступила быстро тропическая ночь. Въ разпахнутую драпировку дверей лилось ароматическое дыханіе этой дивной ночи. Изъ-за драпировки не ясно вырисовывалась темная профиль часового, поставленнаго тамъ Уфтюжаниновымъ, который почему-то опасался за своего короля.

Въ широкую прорѣзъ потолка глядѣло созвѣздіе Южнаго Креста. Беніовскій увидѣлъ его и вспомнилъ ту ночь, когда они, пятнадцать лѣтъ назадъ, бѣдные бѣглецы, подплывали на своемъ камчатскомъ галіотѣ къ

острову Формозѣ, гдѣ погибъ Пановъ. Онъ вспомнилъ все: какъ живое встало передъ нимъ блѣдное личико Аванаси...

Тихо, неслышными шагами вошелъ слуга туземецъ, зажегъ канделябры на письменномъ столѣ и такъ-же тихо, словно тѣнь, не поворачиваясь къ королю спиной, скрылся за внутренней драпировкой.

— Фанни, бѣдное дитя! какъ далеко отъ своей холодной родины успокоилась ты вѣчнымъ сномъ—вся въ цвѣтахъ, и сама какъ чистая лилія.

Онъ помолчалъ, забывъ про корону, которая при свѣтѣ огней придавала ему видъ чего то фантастическаго и продолжалъ тихо ходить по кабинету.

— Неужели я начинаю стариться, дряхлѣть? Ужели и мозгъ мой и тѣло, что такъ неустанно вели меня къ завѣтнымъ цѣлямъ и никогда устали не знали, теперь начинаютъ утомляться?

Въ глаза ему бросилась знакомая раковина. Онъ выпрямился во весь ростъ.

— Нѣтъ! я не старѣюсь—нѣтъ, нѣтъ! Зачѣмъ-же такъ часто воскресаютъ теперь передо мною эти тѣни прошлаго, картины, сцены, лица, въ калейдоскопѣ которыхъ слагалась вся жизнь моя?—Ужели это старость? Ужели я начинаю прошлымъ жить—глядѣть въ обломки разбитаго зеркала? Вонъ далекая родина моя—горы и темные лѣса, и звонкіе ручьи Карпатъ. А тамъ снѣга Сибири и тундры Камчатки холодной, и милый образъ Фанни, и мертвое лицо Панова въ виду роскошныхъ береговъ Формозы. А впереди что? какъ туда заглянуть? какъ проникнуть за эту дымку будущаго? Тамъ нѣтъ даже осколковъ разбитаго зеркала. Тамъ, за этой дымкой, видѣется, быть можетъ, холмъ взрытой земли, а за этимъ холмомъ чернѣется та удлинненная яма, откуда вынули тотъ зеленый холмъ. Нѣтъ! нѣтъ! лучше эта раковина!

Онъ беретъ раковину и задумывается—онъ уже не видитъ ее—онъ снова въ прошломъ.

— Да,—точно Лотова жена, я обращаюсь назадъ, оглядываюсь на пожираемый огнемъ Содомъ... О, мой Содомъ, о молодость моя! Въ цѣльномъ зеркалѣ я вижу родину мою, я вижу горы милыя, вижу голубое небо сѣвера, землю, по которой я бѣгалъ маленькими ногами, ходить учился. Вотъ хмурые Карпаты глядятъ мнѣ въ дѣтское лицо, а дальше—Польша, знамена, пушки, огни Коломыи, а тамъ—лѣса, огни костровъ, Пулавскіе, Огинскій... Я слышу рокотъ барабановъ, грохотъ пушекъ, стоны раненыхъ... А вотъ звуки русской пѣсни—какъ щемить отъ этихъ звуковъ мое сердце!

Прислушивается. Слышится только равномерный прибой океана.

— Гдѣ я? Это Кіевъ—я въ плѣну... Далекій, пасмурный Петербургъ съ сѣрымъ сводомъ неба и мрачные казематы... А это что? Подъ бѣлымъ саваномъ Сибири—великая могила мощныхъ духомъ и несчастныхъ—и тотъ саванъ стелется далеко, далеко, до самой Камчатки... И вотъ я тамъ, въ узкой темной могилѣ, гдѣ и мертвому лежать тѣсно. Тамъ же

тоскуеть, все по жизни плачетъ, тоскуеть небо свинцовое, и лѣсъ такой же чахлый, какъ трава и люди, и негрѣющее, какъ льдина, солнце, и такое-же холодное и злое-злое, какъ тѣ люди-тюремщики, и, какъ цѣпи, холодное,—все тамъ тоскуеть, все тамъ въ цѣпяхъ, все въ вѣчной ссылкѣ... О, да! Отъ этой страны ужасной лицо Создателя и Бога отвернулось... Что со мной?!

Въ ужасѣ хватается себя за голову.

— Это что?.. А!.. корона—вѣнецъ мученика... Я опять въ Камчаткѣ: я это вижу, чувствую, сознаю, и говорю тѣ же злыя рѣчи, что тогда, давно когда-то говорилъ.

Опять прислушивается къ равномерному, но могучему рокоту океана.

— Я слышу шопотъ чей-то, чувствую, какъ волосы на головѣ становятся живыми, и каждый волосъ что-то шепчетъ... Нѣтъ, я голосъ слышу, и зоветь меня этотъ голосъ...

Въ ужасѣ останавливается.

— Да, это она зоветь, она—а!—„Морицъ! Морицъ! иди ко мнѣ!“ Это голосъ Фанни...

Прислушивается, вытянувъ шею. Изъ-за драпировки сверкаютъ глаза часового, какъ глаза кошки во мракѣ.

— Это Фанни—она плачетъ: „зачѣмъ отца убилъ? зачѣмъ меня засыпалъ цвѣтами и землею?.. А я такъ любила тебя“...

Хлопасть въ ладоши.

— Эй! кто тамъ? Гдѣ часовые?

Сверкая сталью ружейнаго ствола, изъ-за дверной драпировки выступаетъ часовой.

— Ваше величество!

— А! это ты! Спасибо!—машетъ рукой:—Иди—не надо!

Овъ страшенъ въ своемъ странномъ головномъ уборѣ ночью, одинъ, съ безумнымъ взглядомъ. Но появленіе часового заставило его нѣсколько опомниться. Часовой уходитъ.

— Что это со мной? У меня жаръ—я начинаю, кажется, бредить? На меня нападаетъ ужасъ?—да! Стыдно, стыдно, Веніовскій! Гдѣ твоя отвага, когда ты подвигалъ на ноги Большерѣцкѣ, Камчатку и, какъ безконечную нить громаднаго клубка, ты рейсами своего гальота обматывалъ весь шаръ земной, океанъ избороздилъ и не боялся привидѣній.

Садится къ столу и опять задумывается. Затѣмъ опять говорить какъ въ бреду:

— Вотъ Батурия киваетъ мнѣ сѣдою головою, укоряетъ меня... А развѣ лучше было съ паукомъ бесѣдовать въ казематѣ? Что на сѣверъ меня опять зовешь жалкій мертвецъ? Нилова хочешь показать мнѣ? Не я убилъ его, не я! А вотъ и Ниловъ, и Пановъ.

Вскакиваетъ и громко кричитъ:

— Зачѣмъ вы пришли меня тревожить? Кто изъ гробовъ васъ вызвалъ, чтобъ вы пришли тревожить мой королевскій покой? Я—король!

Ниловъ, *vade retro!* Батуринъ! Пановъ! Прочь въ свои могилы! Я часового позову! Эй, часовой!

Хлопаетъ въ ладоши. Опять появляется часовой.

— Ваше величество!

— А! это ты? Я звалъ тебя?

— Звали, ваше величество.

Изъ-за внутренней драпировки показываются Ядвига и панъ Стемпковский. Увидѣвъ Бенювскаго въ коронѣ они останавливаются въ изумленіи. Онъ ихъ не видитъ.

— Ваше величество! что съ вами? вы больны?—испуганно говоритъ панъ Стемпковский.

Ядвига бросается къ нему:

— Ваше величество! Морицъ милый!

— А! Ядвига дорогая! Я испугалъ тебя? Милое дитя!

Ядвига бросается къ нему на шею.

— Ты весь въ огнѣ, мой Морицъ! Папа! онъ боленъ—король за-немогъ.

Панъ Стемпковский бережно уводитъ его во внутренніе покои. Ядвига плачетъ, идя вслѣдъ за ними.

XXXVII.

Развязка.

Прошло нѣсколько дней.

Огненный шаръ солнца медленно выплываетъ изъ пурпурной глади океана и золотитъ зонтикообразныя верхушки пальмъ и гигантскія лопасти арумовъ, освѣняющихъ скромный дворецъ мадагаскарскаго короля.

На плоской кровлѣ этого дворца виднѣются три человѣческія фигуры.

— Ахъ, папа, какъ страшно! Езусъ-Марія!—слышится робкій шопотъ.

— Не бойся мой, аніолэкъ! Ты знаешь, наши силы превосходятъ силы враговъ нашихъ.

— А все, татуню, страшно—я вся дрожу.

Это говоритъ панна Ядвига съ отцомъ. Третья около нихъ фигура—молчаливый мистеръ Кентъ. Онъ смотритъ въ небольшую зрительную трубу, но не видитъ того, что желалъ-бы видѣть.

Но они всѣ трое слышатъ, что дѣлается тамъ, куда направлена зрительная труба Кента. Это слышать и часовые изъ туземцевъ, стоящіе у входа во дворецъ и тревожно прислушивающіеся къ тому, что такъ пугаетъ юную панну Ядвигу.

Изъ-за рощи пальмъ и банановъ доносится гулъ и лопотанье ружейной перестрѣлки. Гулъ то приближается, то удаляется и на время какъ-бы умолкаетъ.

Отъ того мѣста, гдѣ слышится ружейная перестрѣлка, быстро скачетъ всадникъ по направлению ко дворцу. Онъ ближе и ближе все. Во всад-

никѣ узнають слага капрала Потолова. У воротъ дворца онѣ осаживаетъ своего взмыленного коня.

— Ура!—кричитъ онѣ:—наша взяла!

Часовые радостно хлопають въ ладоши и тоже что-то кричатъ.

Потоловъ замѣчаетъ тѣхъ, что на кровлѣ дворца, и вытягивается на сѣдлѣ, дѣлая рукой честь.

— Его величество король прислалъ меня къ вамъ, барышня, сказать, чтобъ вы не изволили бояться!—кричитъ онѣ хриплымъ голосомъ:—наша взяла!

Дѣвушка съ радостными слезами бросается на колѣни и поднимаетъ руки къ небу.

— Разбить непріятель?—съ дрожью въ голосѣ спрашиваетъ панъ Стемпковскій.

— На-голову разбить, ваше благородіе,—отвѣчаетъ Потоловъ.

— О, нѣхъ бэндзэ Христусъ-Езусъ цохвальоны!—радостно восклицаетъ отецъ Ядвига.

Потоловъ поворачиваетъ коня и скачетъ обратно.

Съ мѣста битвы изрѣдка доносятся отдѣльные, разрозненные выстрѣлы. Они все рѣже и рѣже.

— О! скорѣй-бы пріѣзжалъ Мориць!—слышится нетерпѣливый, радостный голосъ Ядвига.

— Потерпи мой аніолэкъ,—успокоиваетъ ее отецъ:—король скоро пріѣдетъ,—нельзя-же моя, крошка: вѣдь, они, вѣроятно, преслѣдуютъ врага.

— Зачѣмъ-же, татуня, когда тѣ бѣжали?

— А какъ-же, моя птичка: надо кончить. Теперь, мой аніолэкъ,—перебилъ себя Стемпковскій:—теперь уже ничто не помѣшаетъ королю вести тебя къ вѣнцу... Ахъ ты, моя маленькая королева! ваше величество! королева Ядвига Первая!

— Нѣтъ, папа, я уже буду королева Ядвига Вторая: первая была за Ягелломъ, а я буду за Морицемъ—я вторая.

— Правда, правда, мой аніолэкъ.

Молчаливый мистеръ Кентъ продолжаетъ смотрѣть въ свою зрительную трубу. Онѣ что-то замѣчаетъ въ отдаленіи.

— Кого-то несутъ на носилкахъ,—говоритъ онѣ, какъ бы про себя.

— Ахъ, Боже мой! должно-быть, раненаго... Вѣднѣй! Кто онѣ?—испуганно говоритъ панна Ядвига.—Вы не видите, мистеръ Кентъ?

— Нѣтъ, миссъ, не вижу.

— Ужъ не пана-ли Илью, генерала?—загадываетъ вслухъ панъ Стемпковскій:—онѣ такой храбрый.

— Это панъ Уфтиужанъ, папа?—дрогнувшимъ голосомъ спрашиваетъ дѣвушка.

— Не знаю, мой аніолэкъ, но простого воина не понесутъ ко дворцу.

Дѣвушка стремительно спускается по внутренней лѣстницѣ внизъ, къ выходу изъ дворца. За нею слѣдуютъ панъ Стемпковский и мистеръ Кентъ. Они выходятъ изъ воротъ и спѣшаютъ догнать бѣгущую молодую дѣвушку.

Движущаяся навстрѣчу имъ процессія все ближе и ближе. Ядвига уже тамъ.

Воздухъ огласился вдругъ болѣзненнымъ, нечеловѣческимъ крикомъ дѣвушки. Видно, было, какъ она, всплеснувъ руками, у самыхъ носилокъ грохнулась оземь.

Ночь. Въ знакомомъ намъ уже кабинетѣ, на письменномъ столѣ Бениовскаго, выдвинутомъ на середину комнаты и покрытомъ бѣлою простынею, лежитъ покойникъ. Смуглое лицо его, окаймленное прядями сѣдыхъ волосъ, отчетливо отдѣляется отъ бѣлаго фона подушки. Длинная бѣлая борода, нѣсколько раздвоенная книзу, и кроткое выраженіе лица, съ глубокою, неразгаданною думою на челѣ, заставляетъ припомнить кроткій ликъ мученика, какой можно видѣть на старинныхъ иконахъ. Какъ-бы въ довершеніе подобной иллюзіи, на головѣ мертвеца—золотой вѣнецъ.

Это лежитъ король Мадагаскара въ коронѣ.

Въ головахъ у него свѣчи. Какъ и недавно еще, такъ и теперь, въ широкую прорѣзъ потолка глядитъ дивное созвѣздіе Южнаго Креста. Въ открытыя окна льетъ южная ночь свое ароматное дыханіе.

Близъ изголовья покойника стоитъ Уфтяжаниновъ и тихо, мучительно протяжно читаетъ псалтырь. Онъ читаетъ его наизусть—вѣдь онъ поповичъ, хотя теперь и генералъ на службѣ у его величества, мадагаскарскаго короля Мориа Перваго.

Вотъ онъ—его величество, въ коронѣ, хотя и безъ порфиры...

— Блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ,—слышится надрывающее душу чтеніе.

Не въ первый разъ ему читать по покойникъ: и надъ Пановымъ читалъ онъ въ виду Формозы, и надъ Аванасіею въ виду Мадеры, и надъ Батуринымъ, Гурчениновымъ—всѣхъ отчиталъ!—послѣдняго отчитываетъ...

Онъ задумался, глядя въ лицо мертвецу. Не свою собственную жизнь переживалъ онъ въ эти горькія минуты, а его, вотъ этого, чье мертвое лицо такъ кротко глядитъ изъ-подъ золотой короны,—его полную тревоженней жизни. На этомъ лицѣ покоились когда-то съ любовью дѣтскіе заплаканные глазки Ванды съ золотистою головкой. Это лицо и эти глаза, всегда загадочные, теперь на-вѣки закрытые, цѣловала бѣдная Аванасія. На этомъ лицѣ, теперь застывшемъ, и въ этихъ глазахъ, теперь закрытыхъ, читала свое свѣтлое будущее бѣдненькая Ядвига. Теперь она, наплакавшись, уснула гдѣ-то тамъ. Онъ одинъ, поповичъ изъ Камчатки, не можетъ уснуть. Да, онъ одинъ теперь остался на свѣтѣ.

А гдѣ Хрущовъ, Мейдеръ, Винбладъ и другіе? Онъ не знаетъ, что тогда-же, много лѣтъ назадъ, они всѣ прямо изъ Портъ-Луи, добравшись кое-какъ моремъ до Кронштадта и Петербурга,—всѣ очутились опять въ казематахъ...

Одинъ поповичъ на свободѣ. И вотъ онъ стоитъ надъ своимъ мертвымъ королемъ и учителемъ...

Слезы тихо катились по его лицу...

— Что-же я теперь!—съ тоскою схватился онъ за голову.—Куда я дѣнусь, я, поповичъ изъ Камчатки, бѣглый царедворецъ, бѣглаго короля? О, мой край родной, далекій!..

— Матушка! матушка!—шепталь онъ, ломая руки:—слышишь-ли ты меня? Отецъ мой! помани меня въ твоихъ молитвахъ! помолись за меня!.. Господи! куда-же я дѣнусь, куда! Гдѣ утоплю тоску мою? Въ океанъ...

Вдругъ онъ невольно вздрогнулъ. Изъ-за внутренней портьеры, словно привидѣніе, вся въ бѣломъ, быстро показалась Ядвига и съ плачемъ бросилась къ нему на шею...

— Мой панъ! мой милый панъ!—шептала дѣвушка:—я не хочу, чтобъ вы умирали, не хочу! Живите, живите ради себя, ради меня! Я... я люблю васъ, люблю!

Уфгюжаниновъ съ невыразимой нѣжностью прижалъ плачущее личико дѣвушки къ своей груди и цѣловалъ ея раскосматившуюся головку.

— О, мое дитя! мое сокровище! радость моя! я буду жить, буду!—шепталь онъ.

И жизнь побѣдила—побѣдила всемогущая любовь...

К О Н Е Ц Ъ .

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
I. Въ Камчаткѣ—алпійская роза	3
II. „Не во вредъ Россіи“	6
III. За Павла Перваго	10
IV. „На родину—безъ меня!“	14
V. Зеленая грамота	19
VI. Усиленіе подозрѣнія	21
VII. Запеканка	25
VIII. Совершилось!	27
IX. Ссылные—хозяева	29
X. „Не надѣнеть!“	33
XI. „Вездѣ было!“	37
XII. Въ Тихомъ океанѣ	38
XIII. Измѣна	42
XIV. На необитаемомъ островѣ	45
XV. Въ Японіи	49
XVI. Отбитое нападеніе	52
XVII. У острова Формозы	55
XVIII. Смерть Панова	59
XIX. „Житейское море!“	63
XX. Мечты о коронѣ	65
XXI. Король безъ штановъ	69
XXII. Пріемъ пословъ	75
XXIII. Пожаръ на морѣ	79
XXIV. Спасеніе Хуана	84
XXV. Смерть и похороны Аеанасіи	87
XXVI. Письмо Хрущова къ сестрѣ	91
XXVII. Таинственная принцесса	94
XXVIII. „Великій планъ“	98
XXIX. Бунтъ	103
XXX. Второе письмо Хрущова къ сестрѣ	105
XXXI. Тѣнь Банко	107
XXXII. Раковина Ядвиги	111
XXXIII. Роковое извѣстіе	115
XXXIV. Орденъ Азіатскаго креста	118
XXXV. Король Лиръ и шутъ	121
XXXVI. Страшная ночь	124
XXXVII. Развязка	127

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ НА

XV-ый годъ
изданія.

„СЪВЕРЪ“

XV ый годъ
изданія.

ежегодный иллюстрированный литературно-художественный журналъ.

Въ 1902 году гг. подписчики „Съвера“ получаютъ: 52 №№ журнала; 52 №№ газеты; 12 №№ журнала „Парижскія моды, Хозяйство и Домоводство“, 12 №№ выкройки. Кроме того, на основаніи приобретеннаго отъ автора права печатанія всѣхъ вышедшихъ въ свѣтъ его произведеній, редакция дастъ въ теченіе 1902 года, въ книжкѣ „Библиотека Съвера“.

24 ТОМА

СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

24 ТОМА

● Д. Л. Мордовцева, ●

ВЪ КОТОРЫХЪ ВУДУТЪ ДАНЫ:

- | | | |
|---|---|--|
| 1—„Идеализмъ и реализмъ“, ист. ром. | 11—„Миллево побоище“, ист. п. | 35—„Грустное воспоминаніе“, разск. |
| 2—„Гайдамачина“, ист. моногр. | 12—„Ахтимандритъ-Гетманъ“, ист. пор. | 26—„Наши пирамиды“, разск. |
| 3—„Венички понизовой вольницы въ 1812 г.“, истор. мат. | 13—„Лжедмитрій“, ист. ром. | 27—„Два призрака“, былъ-фантазія. |
| 4—„Блгзый король“, ист. пов. | 13—„Свѣту большаго“, ист. ром. | 28—„Что онъ?“—еванг. былъ. |
| 5—„Новые люди“, повѣсть. | 15—„Воспоминанія о Шевченкѣ“, пер. съ малор. | 29—„Тысяча лѣтъ назадъ“, ист. пов. |
| 6—„Царь безъ царства“, ист. р. | 16—„Соціалистъ пром. вѣка“, ист. пов. | 30—„Пониманіе есине Богомъ“, истор. пов. |
| 7—„Русскія историческія женщины“ (допетровской Руси), ист. раз. | 17—„Тульскій крещенъ“, ист. п. | 31—„Державная сваха“, былъ. |
| 8—„Русскія женщины новаго времени“ (первой половины XVIII вѣка), истор. очер. | 18—„Видѣніе въ публичной библиотекѣ“, истор. повѣсть. | 32—„Любовь спасла“, ист. былъ. |
| 9—„Русскія женщины новаго времени“ (второй половины XVIII вѣка), истор. очерки. | 19—„Крымская неволя“, ист. п. | 33—„Жертовъ вулкана“, истор. ром. |
| 10—„Русскія женщины новаго времени“ (XIX-го в.), ист. оч. | 20—„Говоръ камней“, 14 разск. | 34—„Иродъ“, истор. романъ. |
| | 21—„Тимошъ“, истор. повѣсть. | 35—„Прометеево потомство“, ист. ром. |
| | 22—„Русскіе колонники въ Турцію“, ист. пов. | 36—„Желѣзо и кровью“, ист. романъ. |
| | 23—„Фанатикъ“, ист. повѣсть. | |
| | 24—„Кавказскій герой“, ист. былъ. | |

Кромѣ этого, годовые подписчики получаютъ **ВЕСПЛАТНО** большой романъ того же автора

„ЗНАМЕНІЯ ВРЕМЕНИ“

Въ отдѣльной продажѣ сочиненія эти стоятъ 28 руб.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ:

На годъ безъ до- ставкѣ въ СПБ.	6 р.	Безъ дост. въ Москвѣ: 1) у Метцль и К ^о 2) у В. Альшвангъ и А. Гер- лахъ (противъ Мал. театра)	6 р. 25 к.	Безъ дост. въ Одессѣ въ кон- торѣ Сквозовъ Г. В. Свисту- нова	6 р. 50 к.	Съ пер- ес. во всѣ го- рода и мѣстн.	7 р.
--	------	---	------------	---	------------	--	------

На 1/2 года съ дост. и перес. 3 р. 50 к., на 3 м.—1 р. 75 к., на 1 м.—60 к. За границу 11 р. Разсрочка допускается по полугодіямъ, четвертямъ года и помѣсячно. Поручительство гг. кн-жечеевъ и управляющихъ не требуется. Подписки въ кредитъ не принимаются. Подписавшіеся съ разсрочкою и уплатившіе не позднее 1-го декабря 1902 года подписную плату сполна, полу-чатъ премію наравнѣ съ гг. годовыми подписчиками.

Кромѣ всего вышеуказаннаго, гг. подписчики „Съвера“ могутъ получить, въ видѣ особой преміи, полное собраніе сочиненій

Е. П. ГРЕВЕНКИ,

въ 10 томахъ, съ приложеніемъ портрета автора, его автографа и біографіи. Указывая на Гребенку, безсмертный Бѣлинскій говоритъ: „Въ талантѣ Гребенки большая аналогія съ малороссійскими пѣснями. Онъ дома, когда говорить о родинѣ, рассказываетъ о бытѣ мнѣ-нушихъ племенъ, приводитъ преданія старины о заповоухахъ. Въ романахъ Гребенки много неподдѣльной теплоты. Староодинъ бытъ Украины прекрасно отразился въ романѣ „Чайковскій“. Авторъ возвышается до паоса очевидца, сочувствуя своему предмету, какъ бы раздѣля казачью удалъ и прининая горячо къ сердцу страданія южной Руси“. Отзывъ Бѣлинскаго можетъ служить лучшей рекомендаціей и вѣрнымъ указаніемъ на большія литературныя до-стоинства произведеній Е. П. Гребенки.

Гг. подписчики „Съвера“, желающіе приобрести таковыя, доплачиваютъ за всѣ 10 томовъ только 3 р. безъ перес. и 3 р. 50 к. съ перес. (безъ разсрочки). Для книг. магаз. и постороннихъ лицъ цѣна 6 р. безъ перес. и 6 р. 50 к. съ перес. Съ наложен. платежомъ высылаются по полученіи 1 р.

Подписки просятъ адресовать въ Главную контору журнала „Съверъ“ (СПБ., Невскій, 170) или въ редакцію-платателя Ник. Фед. МЕРТЦА.

Тип. „В. С. Балашевъ и К^о“

Мертцъ.



Stanford University Libraries



3 6105 012 204 298

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

28D

MAR 4 1996

MAR 4 1996

